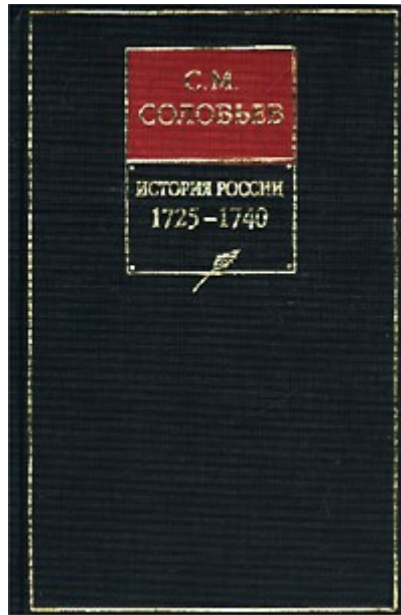


Сергей Михайлович Соловьев
История России с древнейших времен. Книга X. 1725–1740

История России с древнейших времен – 10



Аннотация

Десятая книга сочинений С.М. Соловьева включает девятнадцатый и двадцатый тома «Истории России с древнейших времен». Девятнадцатый том освещает события последних лет царствования Екатерины I, кратковременное царствование Петра II и первые три года – императрицы Анны Иоанновны. Двадцатый том целиком посвящен царствованию Анны Иоанновны, вплоть до ее смерти в 1740 г.

Сергей Михайлович Соловьев
«История России с древнейших времен»
Книга X. 1725–1740

Девятнадцатый том

Глава первая

Окончание царствования императрицы Екатерины I Алексеевны

Дела внешние. – Персидская война. – Мнение Остермана о персидских делах. – Князь Василий Владимирович Долгорукий назначен главнокомандующим. – Его донесения. – Дела турецкие. – Неудачи турок в Персии. – Деятельность Долгорукого. – Внушения французского посланника туркам. – Отношения России к Франции. – Ганноверский союз. – Появление

английской эскадры у русских берегов в угрожающем положении. – Союз России с Австриею. – Дела польские. – Торнское дело. – Деятельность комиссара Рудаковского в Могилеве. – Дела курляндские. – Посольство Ягужинского в Польшу. – Дела шведские; отправление в Стокгольм князя Василия Лукича Долгорукого. – Приступление Швеции к ганноверскому союзу. – Отношения к Дании. – Отношения к Пруссии. – Общий взгляд на внешние отношения России при Екатерине I. – Вопрос о престолонаследии. – Мнение Остермана о соглашении интересов. – Герцог голиштинский, епископ любский-жених цесаревны Елисаветы. – Заботливость о войске. – Меншиков переходит на сторону великого князя Петра. – Движение противной стороны. – Дело Девьера. – Завещание Екатерины. – Кончина ее. – Провозглашение великого князя Петра Алексеевича императором.

Разбираясь в материале преобразования, стараясь выйти из затруднительного положения финансового, правительство Екатерины I постоянно имело в виду необходимость войска. И действительно, войско было нужно, ибо опасность постоянно грозила с юга и запада. Персидская война не прекратилась петербургским договором, который не хотели подтверждать в Персии, да и некому было подтверждать при страшной смуте, господствовавшей в этой стране. В Ряще русское войско с генералом Матюшкиным постоянно должно было отбиваться от нападения персиян, хотя и постоянно отбивалось с успехом, несмотря на многочисленность врагов. В Сальяне полковник Зимбулатов с офицерами были заваны на обед княгинею и изменнически умерщвлены. Шамхал тарковский Алди-Гирей изменил и, поддерживаемый соседними владельцами, приходил осаждать крепость св. Креста, был прогнан, но не переставал враждовать. В апреле 1725 года Сенат постановил о персидских делах следующее: генералу Матюшкину послать указ, чтоб завоевание Мазандерана и Астрабата до времени отложил; для получения большего простора должен по возможности распространять русское владычество в Гиляни и укрепляться в тех местах, где идут сообщения из других областей с Гилянью, чтоб получить безопасность от неприятеля; если для очищения воздуха и безопасности от подходу неприятельского понадобится вырубить лес, пусть вырубает по своему рассмотрению, какие бы леса ни были. На Куре или близ Куры должен занять пост и хотя маленькую крепостцу сделать, по своему рассмотрению также устроить сообщения от Гиляни к реке Куре и укрепиться в наших границах близ моря. Таким образом, круг военных действий уже был ограничен.

При учреждении Верховного тайного совета вице-канцлер барон Остерман, представляя общий обзор отношений России к чужим государствам, говорил о персидских делах, что, по последним известиям, они находятся в самом печальном положении: в Гиляни русские войска не только не могут распространяться внутрь страны, но с великим трудом удерживаются и в занятых прежде местах; жители все разбежались, податей никаких не платится, и кроме народного возмущения от Казбинской и Мосульской стороны собираются многочисленные персидские войска; из Сальянской области и с реки Куры русские принуждены отступить в Баку; шаховы войска хотят идти к Баку и засесть у нефтяных источников; окрестные князьки согласились вырубить в Дербенте

русских и армян; горские народы все в собрании, и от них гарнизон в крепости св. Креста находится в великом утеснении. При этом надобно обращать внимание на следующее обстоятельство: по договору с Портою Россия должна склонить шаха Тахмасиба к принятию этого договора или вместе с Портою возвести на престол другого шаха; если это дело затянется, то Порта может большею частию Персии овладеть, и даже шах Тахмасиб из страха перед сильным наступлением турок может и совершенно им поддаться; турки, увидя слабость русских в тех странах, могут соединиться с тамошними народами и принять намерение вытеснить русские войска. Действовать для предотвращения этих опасностей Россия может двумя способами: способом наступательным – овладеть всеми остальными уступленными провинциями и шаха Тахмасиба низвергнуть, но для этого нужна сила и войско; другой способ оборонительный – отложить на время завоевание других провинций и укрепляться только в занятых уже местах, наблюдать за действиями турок и приводить шаха Тахмасиба к принятию нашего договора с Портою; о совершенном же покинутии персидских дел не должно и думать: это значило бы отворить ворота всем этим народам в сердце России. Остерман больше всего опасался турок и потому советовал показать себя твердыми в Персии, приготавливаться к войне турецкой, а между тем склонять всячески персиян, армян и грузин на свою сторону, даже обещать шаху возвращение части завоеванного. Мнения, поданные другими членами Совета, в сущности были сходны с мнением Остермана. В некоторых из этих мнений, а именно в мнении князя Меншикова, проглядывало сильное желание отделаться от персидских завоеваний, которые слишком дорого стоят. 30 марта члены Совета ходили к императрице с доношением такого своего мнения: персидские провинции и места все содержать не только очень трудно, но почти невозможно, по огромным расходам и вредному для русского войска климату; в определенные туда 20 баталионов отправлено уже рекрут 29000 человек, а теперь еще большего числа требуют, поэтому не лучше ли искать способа мало-помалу из этих персидских дел выйти, однако с тем, чтоб турки не могли в Персии утвердиться; нельзя ли для склонения шаха на свою сторону уступить ему все три провинции – Гилян, Мазандеран и Астрабат? Императрица согласилась

Но затруднение состояло в том, что не с кем было заключать мира, некому уступать выговоренных в трактате областей. Шах Тахмасиб не был владельцем всей Персии; в Испагани господствовал афганский похититель Эшреф, убивший в 1725 году брата своего, Магомета Мирвеиза. Турки пользовались смутою в Персии, действовали наступательно, и успехи их волновали все магометанское народонаселение. Остерман в своей записке упоминал, что Дербент и даже крепость св. Креста находились в опасности. Но это было не совсем так: в октябре 1725 года генерал-майоры Кропотов и Шереметев ходили опустошать владения шамхала и сожгли двадцать селений, в том числе и Тарки, столицу шамхала, состоявшую из 1000 дворов; всего дворов было сожжено 6110.

Шамхал, имея только 3000 войска, не мог сопротивляться превосходному числу русских, у которых одних козаков и калмыков было 8000 человек, не считая регулярных войск, двух полков пехоты и двух кавалерии; Алди-Гирей ушел из Тарок вместе с турецким посланником и разослал грамоты к другим горским владельцам, прося помощи, но получил отказ. В следующем году, в половине мая, объявлен был новый поход; в крепости св. Креста явился андреевский владелец

Гайдемир и от имени шамхала просил отложить поход на три дня: сам шамхал приедет в это время к генералам, а потом отправится в Петербург просить милости у императрицы. Генералы велели ему сказать, что будут дожидаться его три дня, но похода не отложили. 20 мая, когда русские стали лагерем у местечка Кумтаркалы, шамхал прислал в аманаты двоих мальчиков, внука своего Арак-бека и сына одного князька, а сам стоял при ущелье, дожидаясь, чтоб выехал к нему генерал Шереметев и обнадежил, что его не убьют в русском лагере. Вместо Шереметева отправился полковник Еропкин и привез шамхала в лагерь; потом Алди-Гирея отправили в крепость св. Креста и посадили под стражу. В Петербурге хотели отправить на Кавказ искусного генерала, который бы сосредоточил всю власть в своих руках и один был в ответе. Выбор пал на опального, петровского времени князя Василия Владимировича Долгорукого. Новый главнокомандующий в августе писал Макарову из крепости св. Креста: «Никогда такой слабой команды я не видал; прошу для интереса государственного прислать сюда доброго и искусного командира. Зрелое око иметь надобно на здешних горских и других владельцев; что же ко мне писано о шевкале, то доношу, что его отнюдь освобождать не надобно; держать его здесь, а если в Астрахань послать, то всех владельцев в конфузию и в размышление можем привести. Я объявлял шевкалу все продерзости его и чтоб он вину свою заслужил, возвратил бы солдат и других людей, кои у него были в полону и кои лошади детьми его взяты и другими подвластными; обещал возвратить и просился сам, давал за себя поруки; я ему отвечал: видя тебя такого, в продерзостях слабого (неудержливого), отпустить невозможно, покажи себя справедливым: будучи в наших руках, чрез письма все возврати, пиши ко всем владельцам, подвластным князьям, и к детям своим, чтоб они все были в верности к ее императорскому величеству: когда увидим от тебя верность, можешь и свободу получить. Все то принял с радостию и послал письма. Чтоб шевкалу не быть, а разделить его власть по другим зело полезно, только трудно делать по здешнему состоянию: однако буду с здешними владельцами в Дербенте разговор иметь; а что велено мне написать во мнении, кто б удобнее из владельцев на шевкалово место, о сем не могу писать, еще их не знаю, а, надеюсь, все равны: кто будет шевкал, всякий будет вор, такого они состояния люди; полезнее б не быть шевкалу».

Из Дербента в сентябре Долгорукий писал: «Как дагестанские, так и горские владельцы без противности себя показывают, и по здешним оборотам я с ними ныне для разграничивания обхожусь поласковее, чтоб без всякого помешательства в комиссии господина Румянцева дела окончились. За то мне сумнителен и печален отъезд мой в Гилян: как на Судаке, так и в Дербенте безнадежны командиры, о чем уже многажды я доносил, и зело мне удивительно, что от вас скорой резолюции не учинено. Изволь рассудить, какая крайняя нужда для государственного интереса, чтоб были здесь командиры добрые. Здешний народ такой обычай имеет, чтоб командиры были везде генералы, то и боятся, и в дело ставят; они того не знают, что генерал-майор или генерал-поручик; где имя генеральское помянется, то и боятся; а ежели где полковник комендантом, хотя бы он какого состояния ни был, страху от него не имеют и в дело его не ставят и называют его маленький господин. Самая нужда быть добрым командирам на Сулаке и в Дербенте, понеже между Дербентом и Сулаком всех владельцев жилище. Меня отправили для исправления дел в здешних местах и дали мне

полную мочь, чтоб я привел в доброе состояние и безопасность: как возможно мне одному здешние дела в то доброе состояние привести? В такой опасности Дербент и Сулак остаются, что нималой надежды нет, кроме милости божией. Здешнего корпуса генералитет, штаб– и обер-офицеры без прибавки жалованья пропитать себя не могут по здешней дороговизне; офицеры пришли в крайнюю нищету несносную, что уже один майор и три капитана с ума сбрели, уже многие знаки свои и шарфы закладывают; с начала здешнего похода беспеременно здесь кроме несносного здешнего воздуха в великих трудах обретаются, беспрестанно по караулам, в партиях, на работах; а другие, их братья, все служат в корпусе на Украине в великой выгоде и покое, а жалованье получают равное; что на Украине купить на рубль, здесь на 10 рублей того не сыщешь; и, по моему мнению, или в жалованьи прибавку учинить, или офицерам с переменою быть. Еще есть из перемены офицеров и государственная польза, коли офицеры обращаются в воинских случаях всегда в практике; какая польза – одни служат, другие покоятся»

В это время Долгорукий был ободрен неудачами турок.

Мы видели, что еще Петр отправил в Константинополь бригадира Румянцева, который оттуда должен был ехать для проведения новой границы между Россией и Турциею во взятых у Персии областях. Когда пришла страшная ведомость о кончине Петра, то первым делом Румянцева было внушить французскому посланнику Дандрезелю, сменившему Бонака, что эта перемена не произведет в России никаких внутренних смут, и просить его, чтобы он старался внушать то же самое и Порте. Румянцев писал императрице: «Теперь, кажется, все противные мнения у турок отняты; однако по их непостоянству вполне верить нельзя; я и резидент (Неплюев) стараемся, и кажется, что ничего не опущено в делах вашего величества. Теперь вся сила в том состоит, чтоб в Персии войска наши не ослабели, и хотя бы знак сделать, что туда войск прибавлено, потому что турки как нам, так и послу французскому беспрестанно говорят, что наших войск в Персии мало и действовать против Тахмасиба по силе трактата нельзя». В августе 1725 года, извещая о взятии турками Тавриза и дальнейших движениях их, Румянцев писал: «По силе вашего величества указов будем всячески сами и чрез французского посла трудиться и пристойным образом отвращать турок от дальнейших действий, но не думаем, чтоб могли их удержать, а они постоянно упрекают нас, что в Гиляни и других местах наши войска не действуют».

Турки заняли провинцию Лористан; на представления Румянцева и Неплюева, что этим нарушается последний договор, ибо перейдена граница, в нем означенная, получались увертливые ответы; а между тем русские министры получали известия, что турки распоряжаются отправлением войска в Дагестан и вошли в переговоры с Эшрефом, требуя от него подданства султану; об отправлении Румянцева для проведения границы не было и помину, и к довершению неприятностей со стороны французского посла оказалась холодность. На представление Румянцева и Неплюева, что Порта нарушает договор, вступая в сношение с бунтовщиком Эшрефом, им отвечали, что договор был бы нарушен, если б Тахмасиб его принял; но так как этого не последовало и турки с оружием в руках, с потерей людей и денег должны были забирать выговоренные в трактате города, то они не имеют никакой обязанности отвергать предложение Эшрефа по единоверию с ним и потому еще, что, владея в Испагани, он их сосед, и странно было бы Порте преследовать единоверного суннита и

стараться об утверждении на персидском престоле шиита. Наконец визирь велел объявить: вместо того чтоб искать человека, кого бы возвести на персидский престол, не лучше ли России и Турции разделить между собою Персию, как добрым друзьям?

Русские министры не приняли этого предложения, настаивая на точном исполнении последнего договора. 9 декабря 1725 года явился к Румянцеву переводчик Порты с объявлением, что ему не будут более даваться кормовые деньги, ибо он посол, а не комиссар. Причиною такого поступка со стороны Порты было то, что накануне был у визиря английский посланник. Румянцев, обнадеживая переводчика милостию императрицы, выспросил у него, что сообщил англичанин. Сообщение состояло в том, что цесарь римский, покинув Англию и французское посредничество, заключил с Испаниею союзный договор; Англия же, Франция и Пруссия заключили между собою союз, к которому полезно было бы присоединиться и Порте; Голландия будет вместе с ними же; но российский двор в этот союз не вступил, потому что герцог голштинский посредством России старается отнять у датского короля Шлезвиг; Англия не может на это позволить, потому что гарантировала Шлезвиг Дании. И с римским цесарем у русской государыни по причине частных дел союза быть не может, и, таким образом, Россия находится без союзников.

18 декабря в Константинополе раздались пушечные выстрелы: праздновали взятие Ардевиля. На представление Румянцева, что здесь новое нарушение договора, ему отвечали, что турки вовсе не хотели брать Ардевиль, но жители сами просили принять их в подданство.

1726 год Румянцев и Неплюев начали известием о *студености* французского посла, о том, что он получил от двора своего указы, после чего тайно начал сходиться с английским послом в частных домах для совещаний. Но от этих совещаний не последовало ничего вредного русским делам, потому что, с одной стороны, Порта обманулась насчет предложений, которые надеялась получить от Эшрефова посла: вместо просьбы о принятии в подданство Эшреф объявлял, что он занял персидский престол как самостоятельный государь и требовал возвращения занятых турками персидских областей: с другой стороны, Порту встревожило известие о заключении союза между Россиею и Австриею. В мае месяце Румянцев был отпущен на свою комиссию разграничения, и на прощание визирь просил его уверить императрицу, что Порта находится в твердом намерении содержать дружбу. Прежде было постановлено, что вместе с Румянцевым должен отправиться на персидскую границу чиновник французского посольства как представитель посредствующей державы, но теперь французский посол дал знать, что, не получая на свой запрос никакого ответа от своего двора, не может отпустить чиновника.

По отъезде Румянцева Неплюев имел длинный разговор с великим визирем. «Я должен объявить откровенно, — говорил резидент, — что и прежде небесподозрительны были для России действия Турции, которая переходила условленную границу, но с нашей стороны молчали. Порта начала и с другой стороны распространять свои владения: взяла Ардевиль, хочет овладеть и Казбином, а эти места очень близки от Гиляни, и если Порта будет продолжать свои движения, то произойдет нарушение не только персидскому трактату, но и вечно постановленной дружбе, потому что Россия не может допустить к

Каспийскому морю никакой другой державы, не может также допустить и Персию до падения: давно уже мы твердим Порте, что Россия считала и считает эти два пункта главными».

«Удивительно предложение русское, – отвечал визирь, – сами вы ничего не делаете и Порте советуете, чтоб сложа руки сидела. Порта берет города только для того, чтоб охранить их от похитителя Эшрефа, и делает это по просьбе самих жителей и для собственной безопасности, чтоб не отдать их в руки узурпатору. То же самое надобно делать и России с своей стороны. Порта желает, чтоб персидские города были в русских руках, а не у Эшрефа; точно так же и Россия должна быть довольна, что Порта забирает персидские города в свою протекцию, не допуская их попасть в руки общего неприятеля Эшрефа; а после обо всем можно по силе договора согласиться. Удивительно, что Россия лучше желает видеть персидские области в руках Эшрефа, чем у турок, не рассуждая того, что когда Эшреф утвердится, то со временем и у России отберет Гилянъ и Дербент, так как теперь Порте заявил претензию на всю Персию».

«Если будем препираться политическими аргументами, – говорил Неплюев, – то слов наплодим много, а прибыли не получим никакой, потому что с обеих сторон много таких резонов найдется. Но я, оставя свой министерский характер, как желатель покоя, в надежде на вашу благосклонность и мудрое рассуждение беру смелость показать натуральные резоны этого дела. Хотя Россия и в дружбе с Портою, но обе они великие державы и не могут без подозрения смотреть на успехи друг друга, не могут не бояться сближения своих границ. Для сохранения дружбы между ними необходимо самое точное исполнение договоров и значительное расстояние между их границами. Что же касается Эшрефа, то он не может подать повода к такой зависти, потому что он, последняя паутина на свете, владеет почти одною Испаганью и не пользуется любовью персидского народа; и с Кандагаром у него сношения пресеклись, потому что там другой владелец явился, ему враждебный, и потому силам Эшрефовым неоткуда умножиться, но день ото дня ослабевают, и для изгнания его довольно одного согласия между обеими империями, и легко можно рассудить, что Порта взяла Ардевиль не для защиты от Эшрефа, потому что этот город очень далеко от него».

Визирь, рассмеявшись, начал говорить: «Напрасно пренебрегаете вы народом, который владеет целым Персидским государством; но, оставя все споры, объяснюсь и я откровенно: не верю я, что Россия склонит шаха Тахмасиба на принятие трактата, хотя и старается об этом; шах упрямится и имеет причины упрямится, потому что Россия против него ничего не действует; одна Порта с огромными издержками и кровопролитием забрала свою долю, которую надеялась получить по русской медиации, и теперь держит в тех краях 150000 войска. Россия легко может рассудить, какие издержки на это мы должны употреблять и можем ли такое число войска содержать там праздно; разумеется, мы должны употреблять его для изгнания неприятеля и получения себе покоя. Порта думает, что русские предложения состоят в одних словах, а не в деле; видно, что Россия хочет только время проводить под разными предлогами. Но если Россия хочет иметь успех в тех странах, то она должна иметь там сильный корпус войск, без чего тамошних дел окончить нельзя, хотя бы шах Тахмасиб и принял трактат, ибо по тому трактату Россия должна ему сильно помогать; не только Эшрефа надобно выгнать, но и других персиян привести под руку шахову, ибо многие ханы захотят

независимости в своих областях. Если бы Порта знала, что Россия непременно склонит шаха к принятию трактата, то могла бы еще подождать месяц или два и удержать военные действия в Персии, но такой склонности от шаха не надеется». Неплюев сказал, что двух месяцев мало для получения обстоятельного ответа от Тахмасиба, и визирь согласился ждать четыре месяца.

Через четыре месяца дела турок пошли дурно: Эшреф разбил их войска. 30 ноября Долгорукий писал императрице с Кавказа: «Турецкие действия в Персии зело в слабость приходят; армяне неоднократно турок побили и требуют с нашими войсками соединиться, слезно просят хотя б некоторую часть к ним прислать; а мне за указом вашего императорского величества того учинить нельзя для озлобления турок, и сколько могу армян обнадеживаю, чтоб с терпеливостью ожидали несколько времени; однако ж видят они, что от нас им никакой пользы и надежды нет, и сколько могут с великою отвагою против турок мужественно поступают, и, ежели б в нынешнее благополучное время соединиться было можно нашим войскам с армянами, видя слабость турецкую, можно б надеяться, что действия наши сильные могли быть. А что велено мне армян уговаривать, чтоб в завоеванных наших провинциях, в Персии, где похотят, селились бы, и армяне о том слышать не хотят, и, правда, великой резон есть: оставить места удобные и идти в бесплодные. Паша, который был определен для разграничивания с г. Румянцевым, пошел из Шемахи на армян, и, ежели турки пользу какую над армянами получают и приведут в подданство к себе, зело сожалеть нам их, армян, что мы их оставили, и впредь нам армян трудно к себе присовокупить будет. Если бы в нынешнее время при здешнем злом и проклятом народе не Левашова (генерал-майора), крепкого, и искусного, и верного, и радетельного, поступком содержана была здешняя страна, великая бы опасность чаялась». «О здешнем гиянском состоянии доношу о воздухе, какой зной язвительный, нездоровый; к тому же солдаты пропитание имеют зело скудное: только хлеб и вода, к тому ж и жалованья солдаты не получали одиннадцать месяцев; работы великие, партии непрестанные, труд несут несносный, а выгоды не имеют, лекарств, я застал, ничего нет, а коли и отпускают лекарства, равно как на другие полки, на Сулак и в Дербент, а сюда надлежит, по здешнему злему воздуху, отпускать втрое против других мест; к тому ж лекарей мало зело и комплоту нет; надлежит быть здесь дохтуру и аптекарю с полною аптекою, а другому дохтуру – в Астрахани, понеже лазарет в Астрахани великий: к Сулаку из Дербени и из Баки присылаются больные, одному дохтуру как можно везде усмотреть? Лучше людей жалеть, нежели денег на жалованье дохтурам и лекарям».

Не дожидаясь распоряжений из Петербурга, Долгорукий велел выдать солдатам жалованье из местных сборов персидскою монетою по настоящей цене, по недостатку лекарств велел покупать вино, уксус и другие материалы на счет Медицинской канцелярии. Кавалерии содержать было нельзя, потому что прокормление каждой лошади становилось в год около 40 рублей; травы не было, кроме осоки; лошадей кормили соломою и пшеном. В русском войске было две иностранных роты, армянская и грузинская, каждому человеку в них давалось жалованье по 15 рублей; русских козаков было 250 человек, которые служили без жалованья и между тем были чрезвычайно полезны. Долгорукий назначил им жалованье по 10 рублей человеку. «По мнению моему, – писал он, – лучше своим

дать жалованье – они же и служат больше, и неприятелю страшнее: правда, и армяне и грузины служат изрядно, однако козаки отважнее действуют».

1727 год Долгорукий начал прежними увещаниями – воспользоваться слабостию турок и предпринять наступательное движение. В январе он писал Макарову из Рящи: «Видя турецкую слабость, не надобно пропускать благополучного времени и не дать в силу войти туркам; и в слабости турки вступают в наши провинции, а если бы они были в старой своей силе, то не посмотрели бы на трактат: все по берегу Каспийского моря, что в нашу сторону надлежит, намерены присовокупить себе. Чего нам дожидаться? Ежели ныне себе пользы не сыщем, а когда в силу войдут турки, то мы не только прибыли не получим в Персии, и старого удержать трудно. Иной надежды не находится, что в нынешнее благополучное время, согласясь с кем надлежит, помянутых мнимых приятелей выгнать из Персии и самим в ней усилиться и утвердиться и тем государственный убыток исправить».

В следующем месяце Долгорукий доносил самой императрице из провинции Ленкоранской: «Из Ряща поехал я января 29 сухим путем ради многих причин к нашей пользе: первая, чтоб турки и кизильбаши (персияне), к нам недоброжелательные, видели, что мы как водою, так и землею свободно путь имеем; 2) корреспонденция будет скорее сухим путем; 3) великое учинено обнадеживание обывателям, по Каспийскому морю лежащим. Во всех провинциях, коими я ехал, с великою радостью меня встречали ханы, салтаны и все старшины, по их обычаю, с своими музыками и во всем меня довольствовали, не токмо которые в нашу порцию достались, но которые по трактату и не в нашей порции; все желают быть в подданстве вашего императорского величества и просят меня, чтоб я их принимал в протекцию Российской империи, чего мне учинить чрез трактат и без указа невозможно; однако ж как могу с ними обхожусь ласково и вовсе не отказываю, чтоб их не озлобить до времени. Итак, весь здешний народ желает вашего императорского величества протекции, с великою охотою видя, какая от нас справедливость, что излишнего мы с них ничего не требуем и смотрим крепко, чтоб отнюдь нимало им обиды от нас не было, и крепкими указы во все команды от меня подтверждено под жестоким штрафом; а которые в турецком владении так ожесточены, вконец разорены, и такое ругательство и тиранство турки делают, как больше того быть нельзя. Итак, все народы, как христиане, так и бусурманы, все против них готовы, только просят, чтоб была им надежда на нас».

По возвращении в Дербент Долгорукий писал в апреле: «Прибыл я сухим путем в Дербень счастливо и в проезд свой привел в подданство вашему императорскому величеству провинции, лежащие по берегу Каспийского моря, а именно: Кергеруцкую, Астаринскую, Ленкоранскую, Кизыл-Агацкую, Уджаруцкую, Сальянскую; степи: Муранскую, Шегоевенскую, Мазаригскую, с которых будет доходу на год около ста тысяч рублей. Приезд мой великую пользу учинил: как в послушание и надежду весь народ пришли, равным образом неприятель в великое сумнение, понеже как турки, так и при дворе Тахмасибовом и все недоброжелательные персияне имели надежду о слабости нашей, будто мы только можем держаться по гварнизонам и за бессилием больше не можем никаких действий в Персии показывать. И я, видя помянутое их мнение, показал себя, что мы можем действия сильные показывать: наперед себя отправил

бригадира Штерншанца человек в пятистах и потом, взяв с собою 300 человек драгун, пошел; из того числа оставил в Астаре сто человек, а со мною двести было, и в некоторых провинциях крепости приказал делать, а именно: в Астаринской и Ленкоранской, а неприятелю в страх, чтоб не думал о нашей слабости. Всех удивило и в великое размышление пришли, что мы сухим путем тракты узнали. В небытность мою в Дербене писал ко мне генерал-майор Румянцев, что здесь начинаются шатости от горских – Сурхая и Усмея, а до прибытия моего здешние места содержал он, генерал-майор Румянцев, благоизрядно, в чем я им за то доволен, и ежели б его, Румянцева, в небытность мою здесь не было, то б немалая опасность быть могла». К Макарову Долгорукий писал: «Легко можно рассудить, что мой труд несносный на седьмом десятке, в такое злое время, такой дальний путь со выюками проехал по-калмыцки. От роду своего не видывал, чтоб кто в эти лета начал жить калмыцким манером».

В Петербурге были очень довольны действиями Долгорукого – поднятием значения России с малыми средствами, но никак не хотели принимать его совета и действовать против Турции, тем более что со стороны последней не было опасности. Неплюев доносил в начале 1729 года, что султан, человек жестокий и трусливый, сильно испугался успехов Эшрефа над турецкими войсками: боялся он возмущения народного и что турки могут провозгласить султаном Эшрефа по единоверию, как суннита. Султан обратился к визирю с требованием, чтоб как можно скорее был заключен мир с Эшрефом; но визирь представил, что «несчастье произошло от недосмотра Ахмета, паши вавилонского, вверившегося курдам, которых ему и в службу принимать было не велено; а теперь можно распорядиться лучше, послать большое войско и пригласить русский двор к общему действию, от чего по договору он отказаться не может. Этими средствами Эшрефа можно искоренить: если же бог послал его в наказание, то ничто не поможет; однако безвременно и без нужды искать у него мира не следует; послать к нему теперь с просьбою о мире – значит обнаружить свою слабость и подвигнуть его еще больше на Турцию, а народы соседние получают об нас дурное мнение». Эти представления в первое время не успокоили султана; он сердился и бранил визиря всячески: тот отвечал, что если его представления неуютны, то султан волен сменить его и назначить человека более искусного. Султан в сердцах уехал от визиря, но через четыре дня прислал ему соболью шубу и во всем на него положился.

Визирь хотел продолжать войну, но французский посланник внушал муфтию и другим сановникам, что Порте лучше заключить отдельный мир с Эшрефом как можно скорее; тогда Эшреф все свои силы обратит против России и свяжет ей руки, а между тем Порта могла бы в союзе с Францией и другими ганноверскими союзниками возвести на польский престол Станислава Лещинского, чем расторгнется сообщение между Австриею и Россиею и отнимется у них средство помогать друг другу. А если обе империи останутся в покое, в связи с Польшею и Венециею, то Порте со временем немалый вред произойти может. Во всех местах явились подметные письма, что война с Эшрефом незаконная по единоверию.

Таким образом, в царствование преемницы Петра Великого в короткое время отношения изменились: Франция, вместо того чтоб помогать России, как прежде, действует против нее в Константинополе. При вступлении на престол Екатерины в Париже находился старый князь Куракин, которого Людовик XV обнадеживал

неизменно своею дружбою к ее величеству. Все еще имелось в виду примирение России с Англиею посредством Франции, и Куракин уже требовал от английского правительства доказательства, что оно действительно желает этого примирения. Агент его в Лондоне, Третьяков, дал ему знать, что русский эмигрант Аврам Веселовский подал парламенту просьбу о принятии его в английское подданство. Куракин обратился к государственному секретарю графу Морвилю с просьбою употребить французское влияние при английском дворе для того, чтоб Веселовский с братом не только не были приняты в английское подданство, но и позволено их было арестовать, что в Петербурге будет принято за особенный знак дружбы французского короля, и двор английский покажет этим истинное свое желание восстановить доброе согласие с Россиею. Морвиль обещал исполнить желание Куракина, который отправил в Англию канцеляриста своего, Колушкина, с таким наказом: отдать письмо корреспонденту Самуилу Гольдену и с ним советоваться, как бы Аврама Веселовского и брата его, Федора, арестовать. Причины ареста объявить Гольдену такие: оба брата были при иностранных дворах резидентами, и, не сдав своих комиссий и отчета в издержанных деньгах, ушли в Англию, и до сих пор жили скрытно, поэтому надобно их теперь арестовать, после чего императорский двор обстоятельно объявит все причины и счета. По приезде в Лондон Колушкин должен проведать, где Веселовские живут и кто им покровительствует из министров и лордов; узнавши о месте жительства, стараться арестовать, причем в нужном случае получить покровительство французского посла. По Колушкин не мог отыскать Веселовских, просьба которых, впрочем, осталась без исполнения в парламенте.

Мы видели, что еще Петр Великий возложил на Куракина поручение – высватать цесаревну Елисавету за Людовика XV. От 22 марта Куракин писал: «Все мы, министры иностранные, стараемся всячески открыть намерение здешнего двора насчет женитьбы королевской, но никак это нам не удастся; по слухам, имеется в виду дочь Станислава Лещинского, но и этому слуху верить еще нельзя. Верно одно, что король женится в нынешнем году, и потому ищут принцессу, соответствующую его летам». Но от 14 мая Куракин дал знать, что старания герцога Бурбона и епископа Флери увенчались наконец успехом: король согласился жениться на Марии, дочери Станислава Лещинского. Вслед за этим известием Куракин писал: «Понеже супружество короля французского уже заключено с принцессою Станислава и так сие сим окончилось, теперь доношу и напоминаю прежнее желание дука де Бурбона, который требовал себе в супружество цесаревну Елизавету Петровну». В сентябре новое предложение по старому сватовству. «Перед четырьмя годами, – писал Куракин, – его императорскому величеству было предложено от умершего дука Дорлеанса о супруестве государыни цесаревны за сына его, ныне владеющего дука Дорлеанса, первого принца крови и наследника короны французской, ежели король детей иметь не будет, который (дук) ныне овдовел. И ежели вашего величества высокое намерение к тому супруеству государыни цесаревны есть, то велите меня снабдить указами». К этому времени поспел и портрет Елисаветы. Отсылая его к Куракину, Макаров писал: «Зело сожалею, что умедлил оным портретом живописец, ибо писал близко году и ныне пред тою персоною государыня цесаревна гораздо стала полнее и лучше».

На Куракина было возложено и другое семейное дело: он должен был хлопотать об интересах герцога голштинского вместе с посланником его, Цедергельмом; но Куракину было трудно это делать по причинам, какие он сам выставил в донесении своем от 27 марта: «Барон Шлейниц усилил свои интриги против меня и успел присоединить к себе барона Цедергельма, который по наставлению Шлейница и по своему малодушию доносит своему двору все, что может быть на меня вымышлено; я умолчу о других разглашениях, но честь и верность побуждают меня упомянуть о двух главных: во-первых, разглашают, что я принадлежу к партии внука вашего величества и потому, где только могу, повреждаю ваши интересы. Во-вторых, разглашают, будто я здесь внушаю о себе и о сыне своем, что по смерти великого князя, внука вашего, мы по свойству своему с ним (Куракин был женат на Лопухиной, родной сестре царицы Евдокии Федоровны) имеем право на российский престол. Первое разглашение опровергается верностию, какую я показал во время дела умершего царевича, отца великого князя; во все это время я держал себя чуждым всех интриг и партий, ибо честолюбие мое состоит в том, чтоб проводить жизнь честно и беспорочно. Что же касается до свойства моего с великим князем, то это свойство с самого начала вредило моему счастью, нанося постоянное беспокойство. Я надеялся, наконец, снискать себе спокойствие своею верною службою, но враги не хотят дать мне покою». Из Петербурга потребовали указания на те лица, которые сообщили Куракину о рассеваемых против него слухах; Куракин отказался дать эти указания, потому что «предостережения бывают между друзьями, особами знатными и министрами иностранными; пункт этот деликатный, в нем состоит честь каждого и жизнь». При этом Куракин писал, что в исполнение присяги предаёт все забвению и готов действовать заодно с бароном Цедергельмом.

Но все эти семейные дела не могли иметь успеха вследствие охлаждения, происшедшего между петербургским и версальским дворами по причинам политическим. Франция, разорвав с Испаниею) вследствие несостоявшегося брака между Людовиком XV и инфантою и угрожаемая союзом Испании с Австриею, искала союза с Россиею, к которому должна была приступить и Англия. Кампредон вел дело в Петербурге, Куракин – во Франции. «Если бы не герцог голштинский с Бассевичем, то дело о союзе с Франциею) и Англиею и теперь находилось бы в том же положении, в каком было в минуту кончины царя», – писал Кампредон в конце апреля 1725 года. Причиною медленности было то, что главные вельможи разделились на две стороны по вопросу об англо-французском союзе: Меншиков, Апраксин, Голицын, Толстой и, по-видимому, Остерман были склонны к союзу, но канцлер граф Головкин, князь Василий Лукич Долгорукий, князь Репнин и Ягужинский были против него; особенно горячился Ягужинский, настаивая, что никак нельзя союзиться с Англиею; в этих-то спорах об англо-французском союзе шумный Ягужинский поссорился с Меншиковым и пошел в Петропавловский собор жаловаться на обидчика пред гробом Петра. Кампредон так распределял 60000 червонных, назначенных русским вельможам за союзный договор между Россиею и Франциею: гратификации публичные: канцлеру графу Головкину, графу Толстому и барону Остерману – по 3000, Степанову – 1500, секретарям и другим чиновникам – 1000; гратификации секретные: Меншикову – 5000, Толстому, Апраксину и Остерману – по 6000, Голицыну – 4000, Долгорукому – 3000, Макарову – 4000, Ягужинскому – 2000,

Бассевичу – 6000, Рагузинскому – 6000. Приближенным к императрице дамам, Олсуфьевой и Вильбуа, подарки на 1000 червонных. Но Кампредона не столько беспокоили горячность Ягужинского, упорство Головкина, крайняя осмотрительность и осторожность Долгорукого, сколько двусмысленное поведение Остермана, могущественное влияние которого при решении вопросов внешней политики не было тайною для иностранных дипломатов и который не проговаривался ни пред живыми, ни пред мертвыми. Кампредон начал подозревать, что Остерман не очень расположен к Франции и Англии. В самом начале царствования Екатерины приверженцы ее подозрительно смотрели на Австрию, которой не могло быть приятно отстранение от престола великого князя Петра, племянника цесаревны, и эти отношения, естественно, заставляли склоняться к французскому союзу; но с течением времени дела переменились: обнаружилась неодолимая трудность заключения союза с Францией, потому что Россия, имея прежде всего в виду Турцию, с которою ежеминутно можно было ожидать разрыва по делам персидским, требовала, чтоб Франция обеспечивала русские интересы относительно этой державы; но Франция, охотно желая иметь на северо-востоке Европы сильную союзницу, которая заменила бы ей обессиленную Швецию, не могла, однако, пожертвовать своею старинною союзницею – Турциею. «Всему свету известно, – говорил Морвиль Куракину, – как Франции полезна дружба султана; с какою бы европейскою державою Франция ни находилась в союзе, союз ее с Турциею должен быть ненарушим; надобно вспомнить, какие выгоды получили мы в прошлые годы от Турции против Австрийского дома; кроме того, треть королевства Французского получает свое благосостояние от торговли, производящейся во владениях султана; король не может согласиться ни на какое условие, которое могло бы дать хотя малейшее подозрение Порте». Вторая трудность заключалась в голштинском деле: Россия требовала, чтоб герцог голштинский получил по крайней мере равносильное вознаграждение за потерю Шлезвига и чтоб Франция не мешала России добыть ему это вознаграждение, если датский двор отвергнет представления Англии и Франции; но Франция и Англия хотели только обязаться хлопотать о доставлении герцогу какого-нибудь вознаграждения за Шлезвиг, не нарушая гарантии, данной ими Дании на это герцогство. Наконец, Россия требовала, чтоб Франция и Англия настояли на очищении Мекленбургских владений от ганноверских войск; но Англия и Франция обещали только заботиться об интересах герцога Мекленбургского без нарушения законов Германской империи.

Переговоры еще продолжались, когда в сентябре Куракин дал знать своему двору о заключении в Ганновере союза между Франциею, Англиею и Пруссиею против Австрии и Испании. В начале 1726 года Куракин доносил, что он по возможности старается переговоры продолжать и от времени до времени предлагает разные способы к соглашению, но на каждое предложение один ответ, что французское правительство не может ничего изменить в своем последнем решении; причем французские министры прибавляли, что у России идут переговоры о союзе с Австриею и потому Франция должна дожидаться, чем кончится это дело. «Сомнительно одно, – говорил Морвиль, – чтоб австрийский двор оказал русским такие же услуги, какие оказаны были Франциею. Франция повсюду старалась действовать в интересах России, но ваши министры повсюду действуют против интересов королевских, особливо в Испании и Гаге: граф

Головкин Голландским Штатам всячески запрещал и мешал, чтоб не приступали к ганноверскому союзу». «А вы зачем стараетесь склонить Швецию к ганноверскому союзу? – говорил Куракин. – Разве это не вредит русским интересам? Вы знаете, что Швеция в союзе с Россиею, и потому вам следовало предложить о приступлении к союзу не одной Швеции, но и России». Так как главный интерес России в это время сосредоточивался в Турции, то Куракин требовал, чтоб французский посланник в Константинополе продолжал свое посредничество между Россиею и Портою. На это Морвиль отвечал: «Со стороны нашего короля никогда не будет дано нашему послу в Константинополе указов действовать против интересов русской государыни и помогать в чем бы то ни было королю английскому; то же самое будет соблюдено и относительно французских министров при других дворах. Но король не может приказать своему послу при Порте продолжать медиацию в интересах русских; скажу прямо, что посол наш получил приказание отстать от медиации и оставить все дела в том положении, в каком они теперь находятся». «Это объявление изумляет меня, – отвечал Куракин. – Известно, как пламенно государыня наша желала заключения союза с вами и до сих пор не перестала этого желать, но дело остановилось по вашей вине; дела в ваших руках: отнимите трудности, вами противопоставляемые, и договор немедленно будет заключен». Морвиль отвечал: «Всеми свету известно, в какой тесной дружбе находится теперь ваш двор с венским, и, может быть, в сию минуту союзный договор между ними уже и заключен; но какой бы союз ни был заключен вами с цесарем, он будет всегда предосудителен Франции. Объявляю опять: у нас решено нигде ничем не вредить интересам России и этим на будущее время оставить отворенные ворота для приятельских сношений и дружбы с вами и вступления при случае в тесные обязательства, ибо Франция не отступит от плана находиться с Россиею в тесных обязательствах». Куракин отвечал, что старания Франции привлечь к себе в союз Швецию должны казаться гораздо подозрительнее в Петербурге, чем переговоры России с Австриею для французского двора, но императрица смотрит на это равнодушно, чтоб сохранить дружбу с французским королем и на будущее время оставить отворенными ворота для тесных обязательств.

Между тем Кампредон из Петербурга дал знать своему двору, что в России делаются морские приготовления для войны с Даниею, а 15 апреля Куракин написал в Петербург, что английская эскадра из 20 кораблей назначена в Балтийское море по требованию двора датского, также и по требованию короля шведского и его партии, которая хочет этим средством усилиться и настоять на приступлении к ганноверскому союзу.

Действительно, в мае месяце английская эскадра под начальством адмирала Уоджера (Wager) явилась перед Ревелем, и адмирал переслал императрице грамоту короля Георга, в которой говорилось, что сильные вооружения России в мирное время возбудили подозрения в правительстве Англии и в союзниках и потому неудивительно, что он, король, отправил в Балтийское море сильную эскадру для предотвращения опасностей, могущих произойти от русских вооружений. «Ваше величество, – писал Георг, – хорошо знаете, что мы всегда желали не только сохранения тишины в Европе, но и установления полного согласия и дружбы между Великобританиею и Россиею. По вступлении вашего императорского величества на престол мы немедленно вместе с королем

французским объявили вам о нашей готовности окончить переговоры, начатые при покойном императоре; но по долговременных и праздных отлагательствах мы усмотрели, что министры вашего величества требовали внесения в проектированный договор таких отмен, которые не соответствуют истинному Российской империи интересу, противны обязательствам, в каких мы находимся с Франциею и другими государствами, и способны привести северные державы к новым смутам. Не можем также скрыть нашего великого удивления, в какое мы были приведены известием, что при вашем дворе принимаются меры в пользу претендента на корону нашу. После этого вашему императорскому величеству не будет удивительно, что мы, принужденные заботиться о безопасности наших государств, о соблюдении обязательств, заключенных с нашими союзниками, и о сохранении всеобщей тишины на Севере, угрожаемой военными приготовлениями вашего величества, признали необходимым отправить сильный флот на Балтийское море с целью предупредить новые смуты в тамошних прибрежных странах, препятствуя флоту вашего величества выходить из гаваней. Но при этом мы усердно желаем, чтобы ваше императорское величество, зрело рассудя об истинном интересе вашего народа, позволили ему пользоваться благословенным миром, полученным ценою столькой крови и денег под руководством покойного императора; усердно желаем, чтоб ваше императорское величество вместо принятия таких мер, которые необходимо вовлекут Россию в войну и весь Север приведут в смятение, изволили явить своему народу и всему свету опыт вашей склонности к миру и пребыванию в дружбе с вашими соседями».

Екатерина отвечала: «Не хотим скрыть своего удивления, что мы получили грамоту вашего величества не прежде появления вашего флота у наших берегов: было бы сходнее с принятым между государствами обычаем, если бы вашему королевскому величеству угодно было объяснить о своих напрасных подозрениях по поводу вооружения нашего флота и не поступать так недружественно прежде получения нашего ответа. Тогда без всяких убытков с вашей стороны вы бы уверились, что мы вовсе не намерены нарушать покой на Севере, напротив, стараемся отклонить все то, что может подать повод к этому нарушению. А теперь вы отвергаете все дружественные и справедливые способы и пути к окончанию переговоров и требуете от нас того, что нашему интересу и важнее всего нашей чести, и славе, и самой справедливости прямо противно. Из этого оказывается одно – что министры вашего королевского величества никогда не имели прямого намерения к заключению союза между Россиею и Англиею), и отправление эскадры есть следствие той злобы, которую некоторые из ваших министров в продолжение многих лет постоянно везде и явно против нас показывают. Ваши министры не могли придумать ничего нового и потому предъявили старое, ложное и гнилое нареkanie за сношения наши с претендентом. Вы вольны давать своим адмиралам указы, какие заблагорассудите, но при этом не извольте принять за противное, если мы, когда захотим отправить флот свой в море, не допустим себя воздержаться от этого вашего королевского величества запрещением; и как мало желаем мы сами себя возвышать и другим законы предписывать, так мало же намерены принимать законы и от кого-нибудь другого, будучи самодержавною и абсолютною государынею, которая не зависит ни от кого, кроме единого бога. Впрочем, мы весьма склонны и готовы с вашим

королевским величеством постоянное доброе согласие содержать и ничего не предпримем, что могло бы нарушить дружбу между обоими государствами, так как оба государства должны признать, что эта дружба для них очень полезна. Совершенно справедливо, что покойный император, будучи оставлен всеми своими союзниками, с неописанными трудами добыл блаженный мир своему государству, и наша главная цель состоит в сохранении этого мира; но мы знаем, что эта цель может быть достигнута только тогда, когда мы по примеру нашего супруга будем всегда наготове в нужном случае доставить нашим союзникам потребную помощь и наших верных подданных от всякого нападения оборонить. С этой-то целью и сделаны те приготовления, которые возбудили подозрения в вашем величестве». Вслед за тем по примеру Петра Екатерина издала объявление, что, несмотря на враждебные поступки английского короля, подданные его будут пользоваться в России свободною торговлей.

В половине 1726 года Куракин дал знать об удалении герцога Бурбона от дел. Этот переворот был, по-видимому, благоприятен для России. «Теперь, – писал Куракин, – французский двор не так поступает, как при герцогах Орлеанском и Бурбоне, не уступает всем требованиям двора английского, ибо епископ Фрежюс (Флери) имеет только в виду интерес французский без всякой страсти и пенсии от Англии никакой не берет; маршал Дюксель такого же характера и человек упрямый, не во всем будет соглашаться с Англиею». В августе месяце Куракин сообщал Флери о заключении союза между Россиею и Австриею. «Ее величество, – говорил Куракин, – из уважения и постоянной дружбы к вашему королю, приказала мне объявить вам об этом, из чего ясно можете видеть, что ничего предосудительного для Франции этот договор не заключает. Ее величество имеет неперменное намерение пребыть всегда с королем вашим в добром согласии и заключить союзный договор, если с вашей стороны обнаружится к тому склонность». Флери и Морвиль благодарили за откровенный поступок и взаимно обнадеживали намерением своего короля к содержанию дружбы с русскою государыней. Вслед за тем Куракин донес, что Англия не перестает действовать враждебно против России, именно хочет вместе с Швециею и Даниею потребовать от России, чтоб она из завоеваний Петра Великого удержала только земли до Ревеля, остальные же земли отдала герцогу голштинскому в вознаграждение за Шлезвиг; если же Россия откажется исполнить это требование, то союзники объявят ей войну. Но этот английский план не нравится французскому двору, который согласен вместе с Англиею сделать упомянутые предложения России, но участвовать в войне против нее никак не хочет, требует, чтоб ему оставаться нейтральным. Куракин, извещая об этом, советовал готовиться к весне 1727 года, чтоб не ограничиться оборонительной войной, но тотчас после ее объявления действовать наступательно против Швеции и привести в трепет Стокгольм; потом Куракин советовал восстановить поскорее торговлю Архангельска, ибо в случае появления на Балтийском море враждебных эскадр русская морская торговля прекратится на целый год. Мы видели в своем месте, что этот совет был принят.

Но к весне 1727 года военная гроза стала собираться на другой стороне: испанцы начали осаду Гибралтара, ждали открытия военных действий между Австриею и Франциею, а Россия последним договором обязалась в случае нападения на Австрию помогать ей войсками. Это очень тревожило французское

правительство, во главе которого стоял миролюбивый, робкий кардинал Флери. На конференциях с Куракиным Флери уверял, что Франция первая не нападет на императора, почему русская государыня не будет иметь никакой обязанности двигать своих войск; да и во всяком случае можно уклониться от этого обязательства, потому что обыкновенно война начинается так, что трудно разобрать, кто первый напал. Флери толковал также, что Англия не думает предпринимать что-нибудь против России, но высылает эскадру в Балтийское море только для того, чтоб защитить Данию от России, которая своими вооружениями грозит нарушением покоя на Севере.

Итак, союз с Австриею, о котором шли такие длинные и бесполезные переговоры при Петре Великом, действительно был заключен при его преемнице и возбуждал такое опасение на Западе. Во время предсмертной болезни Петра посланник его в Вене Ланчинский хлопотал о приступлении Австрии к шведскому союзу и о том, чтоб цесарь помог в деле возвращения герцогу голштинскому Шлезвига. Ему отвечали: «Окажите нам полную доверенность, а не половинную, как теперь делается; ищите помощи у цесаря, чтоб герцогу голштинскому достался Шлезвиг: здешний двор на это согласен, но в то же время с особенным старанием ведете вы переговоры с Франциею и Англиею не только о том же деле, но и о примирении с Англиею, а нам о ходе этих переговоров ничего не сообщаете, и по всему ясно, что на других вы полагаете большую надежду. Мы хорошо помним, в каком положении находились мы с своим титулярным посредничеством северного мира: одна воюющая держава за другою отдельно примирялись, а мы, державши столько лет министров в Брауншвейге и понесши немалые убытки, принуждены были прекратить конгресс бесплодно и не к чести себе. Не упоминаем других случаев: всегда нас к делам после праздника приглашаете, к чему мы не привыкли. Если надеетесь, что мы можем помочь, то ищите помощи; если же рассуждаете, что и без нас через других можете достигнуть своих целей, то не беспокойте нас». В Вене ждали, чем кончатся переговоры о примирении России с Англиею, и до того времени не хотели высказываться.

Когда Ланчинский в торжественной аудиенции объявил Карлу VI о кончине Петра и о вступлении на престол Екатерины, то цесарь сказал внятно: «Ныне правительствующая царица нас обнадеживает о желании своем продолжать дружбу, к чему и мы с нашей стороны охотно способствовать будем». Потом император сказал еще слов с двадцать, но невнятно, так что посланник ничего не понял. Осенью Ланчинскому начали внушать, что Франция действует в Константинополе против России и Австрии. Когда Ланчинский выведывал, что думает венский двор о браке французского короля на дочери Станислава Лещинского и не принимаются ли по этому случаю какие меры с польским королем, то ему отвечали: «Оставьте мысль, будто наш двор имеет намерение помогать наследному принцу саксонскому в получении польской короны: такое намерение было бы явно против интереса цесарских дочерей; разве захочет наш двор усиливать дом саксонский для того, чтоб после он помешал цесарской дочери получить в наследство австрийские земли или по крайней мере мог что-нибудь отторгнуть от Венгрии, Силезии или Богемии; если бы еще у цесаря были сыновья, то могло бы еще быть подозрение, хотя также неосновательное, ибо интерес цесаря требует, чтоб польское правление оставалось в безурядице.

Правда, двору нашему супружество французского короля с дочерью Лещинского не совсем приятно, но опасность от Лещинского еще очень далека; не видно, чтоб он был очень честолюбив; если же что вперед от него окажется, то в свое время и меры принять можно. Теперь в Европе образуются две партии: в одной – цесарь, Испания и другие державы, которые захотят с ними соединиться; в другой – Франция и Англия с союзниками; так вашему двору надобно решиться однажды навсегда, нашей ли или противной стороны держаться».

Успехи турок в Персии произвели очень неприятное впечатление в Вене, и хотя на требования Ланчинского, чтоб не оставались при этом равнодушными и подумали о следствиях, отвечали, что дело идет в дальнем от них расстоянии, пусть морские державы и Россия об нем заботятся, однако известия с Дальнего Востока не могли не иметь влияния на склонность венского двора удовлетворить давнему требованию двора петербургского приступить к шведско-русскому оборонительному союзу. При этом Ланчинский получил следующие вопросы: 1) в оборонительном договоре России с Швециею означены только европейские державы, и потому в Вене желают знать, угодно ли русской государыне внести в договор и турок? 2) О Польше надобно объяснить откровенно, особенно о Курляндии; надобно постановить ненарушимым правилом, что Польше оставаться при своей вольности и без ущерба земель, ибо интерес обеих сторон того требует. С русской стороны надобно с Польшею обходиться приятнее, потому что она не только в общую партию годна, но и в действиях против турок полезна. Можно думать, что Россия хочет если не удержать Курляндию, то по крайней мере отдать ее принцу, который должен жениться на одной из русских принцесс; надобно знать, какой это принц. В это время Восточную Европу сильно занимало возмущение, вспыхнувшее в Торне вследствие столкновения протестантов с католиками; протестантские державы считали своею обязанностью вступить за своих одноверцев и не выдавать их польскому правительству. Австрийские министры внушали Ланчинскому, что надобно и в торнском деле поступать умеренно, и так как видно, что прусский король под этим предлогом хочет отторгнуть от Польши какую-нибудь провинцию, то, кажется, надобно с русской стороны объявить прусскому королю, что Россия не может допустить Польшу до разорения, а тем менее до уменьшения ее государственной области. 3) Надобно обозначить подробно о числе войска и о способе, каким Россия намерена помогать герцогу голштинскому в возвращении ему Шлезвига. «Знайте, – внушали Ланчинскому, – что все противности происходят от английских интриг; вам через кого-нибудь третьего советуют удержать Курляндию, может быть, для какого-нибудь гессенского принца; вам обещают от того славу, а на самом деле стараются поссорить вас с Польшею. Также стараются через прусского короля поднять войну, будто за религию, а на самом деле хотят вас и нас засуетить, чтоб мы не были в состоянии помочь герцогу голштинскому, ибо дело известное, что у нас с Польшею старый союз и в торнском деле мы не можем оставить ее без помощи: и если б за Курляндию вы поссорились с Польшею, то как в таком случае поступать нашему двору, чью сторону держать?»

Ланчинский получил от своего двора поручение вести переговоры о союзе; к петербургскому двору, где до сих пор находился только секретарь посольства, отправлен был послом граф Рабутин. Испанский посол, известный Риперда, устроивший союз между Австриею и Испаниею, приезжал к Ланчинскому «зело

откровенно и ласково обошелся и, равно как есть нрава зело усердного, так без всяких обстоятельств объявил», что двор английский, увидев признаки союза между Россиею, Австриею и Испаниею, понизил голос и начинает искать примирения в Вене.

«Но я, – говорил Риперда, – всячески буду этому мешать, потому что всё – обман, стараются только о том, как бы опять разъединить и произвести холодность: я уже получил полномочие договориться с вами и Швециею о наступательном и оборонительном союзе, причем король мой согласен гарантировать герцогу голштинскому Шлезвиг; другое полномочие получил я на заключение такого же договора с Португалиею, и необходимо все это дело должно быть окончено в нынешнем году».

Но в конце 1725 года дело только началось и шло очень медленно. В начале 1726 года Ланчинский был у принца Евгения с повторением многократных прежних представлений, чтоб венский двор принял во внимание усиление турок в Персии, что вредно как всему христианству, так особенно цесарю. Принц отвечал, что английский посланник в Константинополе подучает турок к войне против России и Австрии и для того советует им помириться с ханом Эшрефом, причем хвастается ганноверским трактатом. «Мы, – говорил принц, – разумеется, обращаем большое внимание на турецкие дела, и к нашему резиденту при Порте скоро отправлен будет указ, чтоб обходился с русскими министрами откровенно и помогал им при всяком случае». Когда после этого Ланчинский начал говорить ему, чтоб поскорее составлен был проект союзного договора, то принц отвечал, что венский двор вполне уверен в желании России заключить с ним союз, точно так же как и Австрия желает этого, но сильно сомневается относительно Швеции, которая, по многим известиям, близка к ганноверскому союзу: действуют деньги, англичане 100000 фунтов переслали в Швецию; но во всяком случае цесарь готов заключить союз с Россиею и без Швеции. Оказывалось, что в Вене хотели, чтоб Россия приступила к союзу на тех же условиях, на каких приступила к нему Испания; надеялись, что одно заключение союза между Россиею и Австриею удержит турок от враждебных действий против обоих дворов; в случае же если бы английские внушения в Константинополе взяли верх, то надеялись управиться с турками в союзе с Россиею, к которому должна была пристать и Венеция: эта республика сильно встревожена была успехами турок в Персии и толковала о возобновлении священного союза.

В апреле 1726 года приехал в Петербург чрезвычайный цесарский посланник граф Рабутин. После долгих переговоров с ним и пересылок с Ланчинским последний заключил наконец в Вене 6 августа 1726 года договор между «освященным цесарским и королевским католическим величеством и освященным всероссийским величеством». Цесарь приступил к союзу, заключенному между Россиею и Швециею в 1724 году, а русская государыня приступила к мирному трактату, заключенному между Испаниею и Австриею в 1725 году, вследствие чего приняла на себя гарантию всех государств и провинций, находящихся во владении цесарском, так что если кто нападет на цесаря по причине заключенного им договора с Испаниею или по какой-нибудь другой причине, то русская государыня подает ему помощь и в случае нужды объявляет войну нападачику и не заключает с ним мира, пока цесарь не получит удовлетворения. Цесарь с своей стороны перенимает гарантию всех государств и

областей, находящихся во владении ее всероссийского величества в Европе, и, если кто нападет на нее по какой бы то ни было причине, обязуется подать помощь и в случае нужды объявить наступательную войну и не заключать мира, пока Россия не получит удовлетворения. Договаривающиеся державы обязуются не давать убежища и помощи взбунтовавшимся подданным и вассалам друг друга, и, узнавая о вредных умыслах, немедленно друг другу сообщать о них, и содействовать их уничтожению. Относительно взаимной помощи в случае вражьего нападения условлено, что обе державы присылают друг другу по 30000 войска, именно 20000 инфантерии и 10000 драгун. Если бы Россия вознамерилась вооружить флот и употреблять его с согласия цесаря, то флот этот имеет безопасное пристанище не только во всех цесарских, но и в испанских владениях. Положено пригласить к заключаемому союзу короля, королевство Польское и окончательно примирить их с Швециею. Кроме того, цесарь обещал помогать герцогу голштинскому в возвращении Шлезвига, и, наконец, в секретнейшем артикуле обязательство цесаря – подавать помощь вообще против всех нападчиков – было повторено именно относительно Турции.

По отношениям к Востоку сочли необходимым заключить союз с Австриею, но, разумеется, не хотели быть принужденными исполнять условия союза вследствие войны Австрии с ганноверскими союзниками и поэтому сильно хлопотали о примирении Франции с Испаниею, чтоб отнять у Франции необходимость держаться Англии. В начале 1727 года Ланчинский говорил австрийским министрам, чтоб они похлопотали о примирении Франции с Испаниею. Принц Евгений отвечал ему: «Мы сами этого желаем, но добрым способом, а Франция желает этого своим способом». В Вене не надеялись на мир, готовились к войне, вследствие чего и Россия должна была двинуть корпус войск к границам».

В Польше в начале царствования Екатерины особенно занимал вопрос торнский. Зная, что Петр уже являлся в Польше покровителем не одного православного русского народонаселения, но и всех диссидентов, министры протестантских дворов в Варшаве обратились к русскому министру князю Сергею Григорьевичу Долгорукому с требованием, чтоб он вместе с ними поддерживал торнских протестантов. Но Долгорукий советовал своему двору поступать осторожно. «В деле торнском, – писал он, – лучше нейтрально поступить, потому что если б, паче чаяния, у польского двора с прусским произошло столкновение, то ваше величество будете тогда в состоянии принять посредничество; также надобно смотреть, чтоб не привести поляков в отчаяние и не дать саксонскому двору повода исполнить свое намерение, ибо, когда поляки увидят вашего величества соглашение с двором прусским, которого они опасаются и вообще ненавидят, тогда, не видя себе ниоткуда надежды, принуждены будут принять предложение австрийского посланника графа Вратислава и заключить союз с двором цесарским. Поляки прусского двора не боятся, торнского декрета для него не изменят и почти все желают войны с Пруссиею, но при этом по внушению придворных креатур опасаются, что ваше величество вооружитесь против них вместе с прусским королем».

В Могилеве Рудаковский продолжал свою комиссию. От 24 февраля 1725 года он написал еще на имя Петра любопытное донесение: «В здешних краях от злоковарственных и злозамышляющих врагов побликуются сердце и утробу мою

проникающие ведомости, что будто ваше императорское величество соизволил переселиться в небесные чертоги, чему я, раб ваш, не имея известия от двора вашего величества, весьма веры дать не могу. Слыша об этом, мухи мертвые нос поднимать начинают, думают, что Русская империя уже погибла, всюду радость, стрельба и попойки, и мне от их похвальбы из Могилева выезжать нельзя, да и в Могилеве жизнь моя небезопасна». Известие о спокойном воцарении Екатерины вывело Рудаковского из тяжелого положения: он поднял голову в свою очередь и начал толковать, что новая императрица не оставит в сиротстве церковь восточную, но будет всеми силами ее оборонять, как единая благочестивая государыня и протекторка святого благочестия. Донося о слухе, что будет война между Польшею и протестантскими державами по поводу торнского дела, Рудаковский писал: «Смеху достойна отвага здешнего народа, у которого нет ни денег, ни магазинов, ни войска, ни пушек, ни мелкого оружия, который надеется на одни свои сабли, да и те уже очень позаржавели; правда, мелкая шляхта сядет на коней, но не для сопротивления неприятелям, а только для грабежа и разорения своего отечества. Если этот огонь загорится, то ни я, ни князь Четвертинский, епископ белорусский, не можем оставаться здесь спокойно; да хотя бы огонь и не загорелся, то мне без отряда русских воинских людей оставаться здесь нельзя, потому что многие из шляхты присягнули лишить меня жизни; особенно враждебен мне за мою горячность к восточной церкви шляхтич Петр Свяцкий».

Страх перед последствиями торнского дела был выгоден для православных, которых теперь на время оставили в покое.

В апреле 1725 года Рудаковский был вызван в Петербург, по какому случаю канцлер писал епископу Сильвестру, князю Четвертинскому, чтоб он не сомневался относительно этого вызова: императрица не оставит православных без защиты, и как скоро Рудаковский даст отчет о подлинном состоянии православных в Польше, то или он возвратится, или кто-нибудь другой будет отправлен на его место. В ответ на уведомление канцлера Четвертинский писал сам императрице: «Отзыв Рудаковского сильно опечалил церковь Божию и меня с православными, как корабельщиков на море при усилившихся жестоких ветрах. Слезно прошу, да изволите подать руку помощи мне, окруженному отовсюду смертными злоключениями, и немедленно отправить к нам какую-нибудь особу, дабы заступал нас, как господин комиссар, здесь обретавшийся, или его же самого, потому что он знает здешний край и его обычаи, стоял за правду и не молчал против врагов наших».

Опасения епископа не были напрасны. В июне он писал императрице: «По отъезде комиссара из Могилева двоих служителей моих посадили в тюрьму безо всякой причины, оковали им руки и ноги, стоящих к стене за шею приковали и шесть недель голодом морят; боясь такой же беды, прочие духовные и мирские люди разбежались, оставя меня с одним священником. Если не прислан будет скоро комиссар, то принужден буду оставить церковное правление. Тем сильнее действуют иезуиты на могилевских мещан, которые не надеются больше на русское покровительство. Также недавно прислали ко мне мещане бешенковицкие с жалобой, что православный священник от них изгнан и скоро они принуждены будут сделаться униатами. Виленский бискуп Чернявский постановил, чтоб церкви православные не строились выше школ жидовских; в Орше запрещено

строить каменные церкви, а частные обиды делаются православным каждый день».

Но в то же время пришел в Синод донос на Сильвестра из полоцкого Богоявленского монастыря, вследствие чего Синод отправил к нему такое послание: «Радуемся духовно о вашем благочестии, в котором белорусская епархия в том же с великороссийскою и всею восточною церковию соединении непоколебимо пребывает. О сем радуемся, яко о общем нашем и вашем спасении. Не беспечални же есмы, слышаще о других делах твоих, неприличных православному епископу, а именно: будто ты, господин епископ, не по бозе и не по доброй совести, но по властолюбию православные монастыри, не подлежащие твоей власти, вооруженною силою наезжая, под власть свою подбиваешь и по сребролюбию своему грабишь, противящихся озлобляешь и убиваешь и своего, похищенного тобою просящих предаешь анафеме и прочая и прочая. Аще убо помянутые непотребные дела в тебе обретаются, господин епископ, престани по доброжелательному нашему совету оными славиться себе на бесчестие: не простирай насильно власти твоя за пределы епархии твоя, в монастыри, подлежащие Киевской кафедре; похищенное возврати полоцкому Богоявленскому монастырю по реестру, при сем написанному, и к клятве не буди скор».

Между тем в мае того же 1725 года по поводу сейма назначен был опять чрезвычайным министром в Польшу князь Василий Лукич Долгорукий, который по приезде в Варшаву нашел на первом плане торнское дело. В сентябре он писал императрице: «По состоянию здешних дел наилучший способ в торнском деле тот, чтоб склонять обе заинтересованные стороны к принятию медиации вашего величества; для этого нужно, чтоб короли английский и прусский и другие государства, вступающиеся вместе с ними за диссидентов, не ослабевали в своих домогательствах, требуя скорого окончания дела, употребляя угрозы словом и делом, а я в это время всеми способами буду склонять поляков к принятию медиации вашего величества и поступать с ними умеренно». В следующем месяце Долгорукий донес: «Не видя совершенно твердости в поступках протестантских государей, я до сих пор в торнское дело горячо вступать не хотел, чтоб прежде времени не показать намерение вашего величества и тем не озлобить которой-нибудь из заинтересованных сторон».

К концу 1725 года торнское дело затихло, потому что Пруссия, принявшаяся было так горячо за него, испугалась возможности религиозной войны и ослабела в своей настойчивости. Вместо торнского дела на первый план выдвинулось дело курляндское. Мы видели, что в ожидании смерти старого и бездетного герцога Фердинанда соседние державы хлопотали, чтобы будущность Курляндии устроилась согласно с их интересами, причем дело усложнялось и затруднялось тем, что претенденты на курляндский престол должны были вместе быть и женихами герцогини-вдовы Анны Иоанновны. Короли польский и прусский предлагали своих кандидатов; Россия колебалась и медлила, не желая проводить влияния этих королей на Курляндию, а поляки хотели присоединить Курляндию к своему государству как выморочный лен, разделить ее на воеводства, чего никак не хотели допустить Россия и Пруссия, чего не хотел и король польский, хотя явно и не мог этому противодействовать. Самые влиятельные польские вельможи говорили Долгорукому: «Курляндия, бесспорно, принадлежит Речи Посполитой; республика готова оружием защищать свои права и не допустить, чтоб Фердинанд

имел преемника, зная, что новый курляндский князь будет иметь родственников или друзей, отчего Речи Посполитой великие беспокойства и опасность, а Речь Посполитая в своих владениях хочет быть спокойна и для того не пожалеет не только денег, но и крови». До сих пор дело шло тихо, потому что претенденты действовали только дипломатическим путем, посредством покровительствовавших им дворов, но теперь явился претендент, который захотел взять с бою невесту и герцогство. То был молодой Мориц, граф саксонский, побочный сын польского короля Августа II. Мориц, уже заключивший раз брак по расчету с богатою наследницею Викториею фон Лебен, развелся с нею и теперь искал другой богатой невесты. Такою была герцогиня Анна курляндская. Кроме того, саксонский посланник в Петербурге Лефорт писал Морицу, что можно взять Курляндию в приданое и за более привлекательною невестою – именно за второю дочерью императрицы Екатерины, Елисаветою Петровною. Мориц объявил Долгорукому, что желает знать, согласна ли будет императрица на то, чтобы он занял курляндский престол, а без соизволения ее величества дела не начнет. Литовский подканцлер князь Чарторыйский, говоря Долгорукому, что напрасно Мориц затевает такое неосновательное дело, прибавил, что, по слухам, дело начато по согласию с русскою государынею. Долгорукий отвечал, что ее величество не имеет никакого понятия о затеях Морица. Весною 1726 года при польском дворе решили отправить Морица в Курляндию и Петербург под предлогом претензий, которые его мать, графиня Кенигсмарк, имела на некоторые земли в прибалтийских областях. 24 апреля король Август разговаривал в своем саду с Долгоруким в присутствии Морица. Разговор зашел о слухе, что императрица Екатерина отправляется в Ригу; король сказал Морицу: «Если этот слух справедлив, то тебе только половину дороги ехать». После этого разговора Мориц начал говорить Долгорукому, что король велел ему самому ехать ко двору императрицы и просить ее соизволения начинать курляндское дело; Мориц при этом спросил у Долгорукого, что он ему посоветует. Тот отвечал, что лучше ему дожидаться в Варшаве известия о согласии императрицы, и Мориц объявил, что будет дожидаться. 7 мая Долгорукий писал в Петербург: «2 числа приезжал ко мне Мориц и сказал, что король непременно велит ему ехать в Петербург как можно скорее и потому он, Мориц, хочет выехать того же числа, но я его разными рассуждениями удержал и надеюсь еще удержать до 14 числа, но больше не надеюсь, потому что король очень спешит его поездкою; удерживаю я его здесь для того: если это дело вашему императорскому величеству неугодно, то чтоб поездкою Морица не подать полякам напрасного подозрения на ваше императорское величество. Я вижу, что король, не желая озлобить Речи Посполитой, ничего явно в пользу Морица делать не хочет и, что по сие время делается, король от всего отрекается и хочет помогать только под рукою разными способами. Литовский гетман Потей и некоторые другие из вельмож для короля помогают Морицу в этом деле, а другие помогать обещают. А везти Морица в Курляндию думают таким образом: король тайно от министров польских подписал позволение курляндцам созвать сейм для избрания герцога, но на этом позволении нет печати, и хотя Мориц давал подканцлеру коронному Липскому тысячу червонных за приложение печати, однако тот не согласился; поэтому король велел Морицу ехать в Петербург через Вильну, где живут гетман Потей и

канцлер литовский Вишневецкий, который должен приложить литовскую печать к королевскому позволению».

Между тем еще в марте Бестужев дал знать из Митавы, что туда приехал литовского войска генерал-кригс-комиссар курляндский шляхтич Карп с верующим письмом от литовского гетмана Потей к курляндским обер-ратам. Карп объявил, что король позволяет курляндцам просить себе герцога, какого захотят, только бы он был угоден королю, который обещает содержать Курляндию при древних правах и вольностях, при сейме помогать и до разделения на воеводства не допускать. Карп явился и к Бестужеву с объявлением, что он прислан в Митаву разузнать, приятен ли будет курляндцам принц Мориц саксонский, также при дворе царевны Анны проведать, согласна ли она будет вступить в брак с Морицем, и если императрица будет согласна на этот брак, то можно в Митаве сочинить и свадебный договор. Обер-раты с своей стороны объявили Бестужеву, что они желают иметь герцогом Морица, с тем чтоб он женился на герцогине Анне. Несмотря на эту подготовку в Митаве, король Август, особенно по настоянию канцлера коронного Шембека, переменял, разумеется наружно, свое намерение и запретил Морицу ехать в Курляндию. Но Мориц не послушался и тайком ускользнул из Варшавы. В Митаве он представился герцогине Анне и успел ей сильно понравиться, успел он понравиться и курляндскому дворянству. «Моя наружность им понравилась», – писал Мориц. Приехал из Варшавы отправленный туда еще в 1724 году курляндский депутат Бракль и объявил именем королевским, что если курляндцы выберут в герцоги Морица, то он, король, склонит Речь Посполитую признать его и с русской стороны не будет никакого препятствия; другого же никакого кандидата ни король, ни Речь Посполитая не допустят и разделят Курляндию на воеводства.

Но что скажут об этом в Варшаве, Берлине и особенно в Петербурге? В Петербурге 16 мая в Верховном тайном совете рассуждали, что Морица в герцоги курляндские по многим причинам допустить невозможно, а надобно вместо него приискать другого принца, который бы королям прусскому и польскому не был противен, именно двоюродного брата герцога голштинского, второго сына умершего епископа любского. Императрица одобрила это решение, прибавив, что и покойный император не согласился посадить на курляндский престол герцога вейсенфельского как саксонского принца. К Петру Бестужеву в Курляндию отправлен был 31 мая указ: «Избрание Морица противно интересам русским и курляндским: 1) Мориц, находясь в руках королевских, принужден будет поступать по частным интересам короля, который чрез это получит большую возможность приводить в исполнение свои планы в Польше; а планы эти и нам и всем прочим соседям курляндским могут быть иногда очень противны, отчего и для самой Курляндии могут быть всякие сомнительные последствия. 2) Между Россией и Пруссией существует соглашение удержать Курляндию при прежних ее правах; Россия не хочет навязать курляндским чинам герцога из бранденбургского дома; но если они согласятся на избрание Морица, то прусский двор будет иметь полное право сердиться, зачем бранденбургскому принцу предпочтен Мориц? И тогда Курляндия со стороны Пруссии не будет иметь покоя: Пруссия скорее согласится на разделение Курляндии на воеводства, чем на возведение в ее герцоги саксонского принца. 3) Поляки никогда не позволят, чтоб Мориц был избран герцогом курляндским и помогал отцу своему в его замыслах

относительно Речи Посполитой». Но представления Бестужева не имели никакой силы. Все депутаты, съехавшиеся на сейм, хотя и порознь, но единогласно отвечали, что они со стороны России имеют обещание не допускать до нарушения их прав; теперь они поступают по своим правам и крепко надеются, что императрица их прав нарушить не велит, а позволит царевне Анне вступить в брак графом Морицем; если они выпустят из рук настоящий счастливый случай, то он уже никогда не возвратится, Курляндия будет разделена на воеводства, и память ее погибнет. 18 июня сейм единогласно избрал Морица. Анна послала к Меншикову и Остерману письмо с просьбою, чтоб убедили императрицу дать согласие на брак ее с Морицем. Между тем кроме Морица и герцога голштинского явились и другие претенденты: старый герцог Фердинанд предложил принца гессен-кассельского. Разумеется, в Петербурге не могли принять этого предложения по известным отношениям к шведскому королю, также гессенскому принцу; в Петербурге подле прежнего кандидата, молодого епископа Любского, явился новый – светлейший князь Меншиков. Уже лет пятнадцать тому назад Меншиков стал хлопотать о курляндском престоле и в 1711 году хотел предложить польскому королю 200000 рублей, если тот поможет его предприятию; в Курляндии составила партия в пользу Меншикова, главою которой был генерал Ренне, но при Петре Меншикову было трудно ставить свои личные выгоды подле государственных; теперь же обстоятельства переменялись. 2 апреля 1726 года Меншиков написал князю Василию Лукичу в Варшаву следующее письмо: «Г. Бестужев из Митавы пишет, что королевское величество польской предлагал курляндскому управительству, дабы выбрали кого желают в князи курляндские, а понеже тогда как я первый раз имел марш Померании, многие знатные из шляхетства курляндского мне желали в князи; и господин фельдмаршал Флеминг, и двор королевский к тому в те времена были склонны; того ради вашего сиятельства как истинного моего друга прошу изволить в сем случае меня помогать и моею персоною у тамошних министров как наилучче к тому рекомендовать, и господам Флемингу и Шембеку или кому ваша милость запотребно рассудит некоторую сумму денежную от меня обещать, дабы в том помогли, и надеюсь, что его королевское величество за их протекциею тую милость мне явить изволит, паче егда верностию моею и услугами обнадеживан будет». 18 июня императрица изволила рассуждать в Совете, что ни принца гессен-кассельского по представлению герцога Фердинанда, ни принца Морица по старанию короля польского по многим причинам допускать к избранию в герцоги курляндские не надлежит. Все члены Совета единогласно советовали, что для уничтожения этих выборов и для избрания кандидатов, представленных с русской стороны, надобно отправить немедленно в Курляндию знатных персон. Императрица приказала ехать князю Меншикову под предлогом осмотра войск для предосторожности от английской и датской эскадр, а в случае надобности для устрашения курляндцев можно выставить полки за Двину, но при этом не предпринимать никаких неприятельских действий; для склонения курляндских чинов к выбору русских кандидатов вместе с Меншиковым ехать князю Василию Лукичу Долгорукому; если курляндцы не согласятся на выбор князя Меншикова, то предложить им герцога голштинского, сына епископа любского; потом прибавлены были еще два кандидата, принцы гессен-гомбургские, находящиеся в

русской службе. На место князя Долгорукого был назначен в Польшу бывший в Стокгольме Михайла Петрович Бестужев-Рюмин.

26 июня, приехав в Митаву, князь Долгорукий призвал членов правительства, сеймового маршала, депутатов и объявил им, что императрица графа Морица в герцоги курляндские допустить никак не изволит и если он уже избран, то эти выборы должны быть уничтожены и должен быть избран или князь Меншиков, или герцог голштинский; в противном случае императрица лишит их своего покровительства и, быть может, возбудит против них Речь Посполитую. Маршал отвечал, что сейм кончился, депутаты разъехались, а которые остались, те ничего сделать не могут; вновь созвать депутатов и уничтожить выборы нельзя, ибо это противно их правами обычаем; князя Меншикова избрать нельзя, потому что он не немецкого происхождения и не лютеранского закона; герцогу же голштинскому только 13 лет и до совершеннолетия никакой пользы Курляндии от него не будет; притом они не могут избирать никого без позволения королевского. «Когда хотят драться, то берут всегда секундантов», – сказал им Долгорукий, намекая на то, что им предстоит борьба с Польшею, причем необходима русская помощь. Курляндцы отвечали, что не имеют нужды в секундантах, потому что биться не хотят, однако обещали подумать. Но от этого думания Долгорукий не получил никакой пользы: все дальнейшие переговоры оканчивались упорным отказом. 27 июня приехал в Ригу Меншиков и так описывал императрице случившееся с ним здесь: «Вашему величеству всенижайше доношу: прибыл я в Ригу сего месяца 27 числа, а 28-го, уздав о моем прибытии, прибыла сюда царевна Анна Ивановна в коляске с одною девушкою и, не быв в городе, стала за Двиною и прислала ко мне служителя своего, которой мне объявил о прибытии ее высочества и просил, дабы я к ее высочеству приехал туда повидаться, что я, выслушав, тотчас поехал, и, когда прибыл в квартиру ее высочества, тогда изволила принять меня благоприятным образом и, приказав всех выслать и не вступая в дальние разговоры, начала речь о известном курляндском деле с великою слезною просьбою, чтоб в утверждении герцогом курляндским князя Морица и по ее желанию о вступлении с ним в супружество мог я исходатайствовать у вашего величества милостивейшее позволение, представляя резоны: первое, что уже столько лет, как вдовствует, второе, что блаженные и вечно достойные памяти государь император имел о ней попечение и уже о ее супружестве с некоторыми особами и трактаты были написаны, но не допустил того некоторый случай. На что я со учтивостию ее высочеству отвечивал, что ваше величество оного Морица до герцогства Курляндского для вредительства интересов российских и польских допустить не изволите; второе, ее высочеству в супружество с ним вступать неприлично, понеже оной рожден от матресы, а не от законной жены, что вашему величеству и ее высочеству и всему государству будет бесчестно; третье, ваше величество изволите трудиться для интересов Российской империи, чтоб она от сей стороны всегда была безопасна, и для пользы всего княжества Курляндского, дабы оно под высокою вашего величества протекциею при своей вере и вольности в вечные времена по-прежнему было. И для того изволили указать представить сукцессоров, которые написаны в инструкции князя Долгорукого, дабы ее высочество о таком вашем высоком соизволении была известна и избирала из того лучшее; что же Петр Бестужев, имея вашего величества указы и ведая того дела важность, не так поступал и, по-видимому,

чинил факции, об оном особливый указ имею, которое мое предложение ее высочество, выслушав, рассудила все то свое намерение оставить и наивысшее желает, дабы в Курляндии герцогом быть мне, понеже она во владении своих деревень надеется быть спокойна, ежели же другой кто избран будет, то она не может знать, ласково ль с нею поступать будет и дабы ее не лишал вдовствующего пропитания; притом же с великим прошением упоминала, чтоб Бестужева ни до какого бедства не допустить и быть бы ему при ней по-прежнему, на что ее высочеству паки я отвечивал: ежели она чрез труд свой то Морицево избрание опровергнет и вместо того учинит так, как вашего величества высокое есть изволение, то я о отпущении вины его ваше величество с покорностию просить буду, на что с великою охотою склонилась, объявляя, что для опровержения того Морицева дела призовет к себе канцлера Кейзерлинга и прикажет ему, курляндским управителям и депутатам к опровержению того Морицева дела все вышеописанные предоставлять резоны, и с тем намерением вчерашнего числа поехала в Митаву. А после отъезду ее высочества пополуночи в первом часу прибыл в Ригу тайный действительный советник князь Долгорукий и Бестужев, которые мне объявили, что князь Долгорукой по силе своей инструкции представлял имя мое и герцога голштейнского, а о гессен-гомбургских князьях еще не упоминал; курляндцы отвечивали, что того учинить невозможно: меня для веры, а принца голштейнского, что еще молод; притом же депутаты князю Долгорукому объявляли, что о имени моем по киршпиям нигде было не упомянуто, а ежели б о имени моем по киршпиям было объявлено заблаговременно, то б в том деле могли иначе поступать; а понеже объявлено было об одном Морице, которого они по своим правам избрали и переменять не будут, а ежели б того не учинили, то б Речь Посполитая разделила Курляндию на воеводства и вся б Курляндия от того могла пропасть, на что князь Долгорукий им предлагал, что то они учинили – интересам Российской империи весьма противно и ежели не отменят, то с ними другим образом поступлено будет, что, выслушав, хотели советовать. Бестужеву я говорил, для чего он по силе вашего величества указом о мне и князе голштейнском не предлагал и то дело пропустил? И он мне на ТО ОТвечивал, что ему велено о том стараться под рукою, о чем он под рукою старался и с некоторыми о том на словах и спорил, на что ему я пока припоминал, хотя б он о том и подлинно указу не имел, однако ж, видя такой противный случай, письменно б протестовал и оного Морица до того не допускал; но понеже изо всех его оправданий, по-видимому, кажется, что во избрании Морицевом желание было для того, чтоб царевне вступить с ним в супружество, а Бестужеву вечно остаться в Курляндии». По отсылке этого письма Меншиков отправился в Митаву с большим конвоем и велел отряду русских войск вступить ночью в этот город. На другой день утром Мориц явился к нему и не заводил речи о причине его приезда; Меншиков сам стал говорить и говорил то же самое, что и князь Долгорукий прежде, только с большею силою. «Императрица желает, – говорил он, – чтоб курляндские чины собрались снова и произвели новые выборы, которые могут пасть только или на меня, или на герцога голштинского, или на одного из принцев гессен-гомбургских; единственно для этого дела я и в Митаву приехал». «Сейм кончился, – отвечал Мориц, – чины разъехались; сейм выбрал меня и не может выбрать другого; а если заставить выбрать силою, то принуждение отнимет у выборов всю важность. Или Курляндия будет разделена

на воеводства и присоединена к Польше, или удержит свою древнюю форму правления, в каком случае я один могу быть герцогом, или, наконец, Курляндия будет завоевана Россией». «Ничего этого не будет», – сказал Меншиков. «Что же будет с Курляндией?» – спросил Мориц. «Она не может искать другого покровительства, кроме русского», – отвечал Меншиков. В тот же день он призвал сеймового маршала, канцлера и некоторых депутатов и объявил им о необходимости произвести новые выборы; в противном случае грозил им Сибирью, а Курляндии введением в нее 20000 русского войска.

Когда Меншиков 3 июля дал знать об этом в Петербург, то здесь встревожились и рассердились на светлейшего за такой крутой поворот дела, могший повлечь к большим неприятностям при тогдашних отношениях России; герцогиня Анна Иоанновна, приехавшая в это время в Петербург, усиливала раздражение своими жалобами. Императрица написала Меншикову: «Мы вполне одобряем объявление, сделанное вами графу Морицу и курляндским чинам, что мы избранием графа Морица очень недовольны и не можем согласиться на него, как на противное правам Речи Посполитой. Но что касается до того, что вы принудили их собрать новый сейм для избрания кандидатов по предложению князя Василья Лукича, то мы не знаем, будет ли это полезно нашим интересам и намерениям: мы избрание графа Морица особенно опорочили тем, что оно совершилось вопреки правам Речи Посполитой; а если теперь мы сами без ведома и согласия Речи Посполитой будем принуждать курляндские чины к новым выборам, то Речь Посполитая за это на нас может озлобиться, и курляндские чины станут говорить, будто они силою принуждены к новому избранию, и чтоб этим не сделать нашим намерениям остановки и вдруг не затеять безвременной ссоры с королем и Речью Посполитою. Поэтому, пока вы там будете, надобно вам рассуждать и советоваться с князем Васильем Лукичом, который состояние этого дела в Польше лучше знает, и поступайте с общего с ним согласия, как полезнее будет нашим интересам, чтоб безременно с Речью Посполитою в ссору не вступить; и если Речь Посполитая взглянет враждебно на новые выборы, то не лучше ли будет сперва хлопотать в Польше, чтоб Речь Посполитую к нашим намерениям склонить, ибо потом легко будет чины курляндские и добрым способом привести к тому, что будет сочтено для нас полезным. Хотя вы пишете, чтоб вам побыть еще там, пока сейм окончится, и хотя это было бы недурно, однако и здесь вы надобны для совета о некоторых новых и важных делах, особенно о шведских, ибо пришла ведомость, что Швеция к ганноверцам пристаёт; поэтому вам долго медлить там нельзя, но возвращайтесь сюда».

Меншиков выехал из Митавы, а 28 июля в Верховном тайном совете получен был указ императрицы: «Понеже ныне курляндские дела находятся в великой конфузии и не можем знать, кто в том деле прав или виноват, того для надлежит немедленно освидетельствовать и исследовать о поступках тайного советника Бестужева, что он, будучи в Курляндии, все ли по указам чинил, и потом у рейхсмаршала нашего князя Меншикова и у действительного тайного советника князя Долгорукого взять на письме репорты на указы наши и освидетельствовать, что, будучи в Курляндии, все ли они тако чинили, как те наши указы повелевали». Совет в заседании 2 августа оправдал Бестужева; но на другой день императрица сама присутствовала в Совете и объявила, что, по ее мнению, Петр Бестужев не без вины: указы были посланы с осмотрением, и если бы по ним поступленс было,

то б ни до чего не дошло. Несмотря, однако, на это, Екатерина приказала дело прекратить. В заседании Совета 6 августа императрица рассуждала о том, как несостоятельно желание светлейшего князя, ее подданного, быть герцогом курляндским, до чего, конечно, ни король, ни поляки допустить не могут, поэтому приказала послать указ Михайле Бестужеву, чтоб он больше о Меншикове при дворе польском не предлагал, но старался о других кандидатах и если польский двор их не примет, то дать на его волю, кого сам захочет, кроме Морица и принца гессен-кассельского.

Видели, что Меншиков раздражил курляндцев против России, и хотели изгладить неприятное впечатление, произведенное светлейшим, потому что прежде всего хотели поддержать в курляндцах отвращение к слитию с Польшею. В конце 1726 года положили отправить в Митаву генерал-майора Девьера, которому дали секретную инструкцию: «Надобно вам тайным образом разведать, кто из курляндцев желает присоединения Курляндии к Польше и кто этого не желает, кто относится доброжелательно к России и требует ее покровительства. Надобно вам искусным образом чины курляндские уговаривать, чтоб они крепко стояли при своих правах, чтоб быть им по-прежнему под особым своим герцогом. Доброжелательных курляндцев обнадежьте нашею милостию и прилежно трудитесь всякими способами им внушать, чтоб они и противную партию к себе склоняли, чтоб все сообща стояли при своих правах; при этом можно раздавать подарки и денежные дачи, также проведите, нельзя ли склонить к принятию подарков тех польских вельмож, которые назначены будут в комиссию для решения курляндского дела, но так как это дело очень деликатное, то поступайте как можно осторожнее и скрытнее. Также разведайте о Морице, где он теперь и в каком положении находится, постарайтесь с ним повидаться и разузнать обо всех его намерениях, но чтоб это свидание происходило тайным образом и не могло возбудить подозрения ни в поляках, ни в курляндцах».

10 января 1727 года Девьер уже донес императрице о своем свидании с Морицем: «Вчерашнего дня удалось мне видеть тайно господина Морица, и, сколько мог я приметить, желает он сильно быть под покровительством вашего величества и во всем полагается на вашу волю. Когда случалось в разговоре упоминать о имени вашего величества, то у него из глаз слезы выступали; заметив это раза два и три, я спросил у него: отчего это он плакать хочет? И он отвечал: сердце у меня болит, что добрые люди обнесли меня государыне напрасно; много раз писал я ее величеству, чтоб быть мне в Петербурге и донести обстоятельно, как дело было и как нас обнадеживали. Мориц хочет просить у вашего величества высокой милости и дать такое обещание в верности, какое угодно будет вашему величеству. А если ваше величество подозреваете, что он может поступать вопреки интересам русским, то это дело несбыточное, потому что курляндцы не обязаны никому помогать, в этом состоит их право; да хотя бы и хотели, то не могут по недостатку средств. Мориц говорит о здешнем герцогe, что он почти никакой власти не имеет, как будто кукла, и курляндцы не только помогать другим и самих себя едва прокормить могут. Здешние дворяне почти все его любят и все в честь его носят такое же платье, как и он; он ездит часто к ним по деревням, и дворяне иногда говорят между собою в компаниях: надобно нам за него умереть».

Несмотря на это донесение Девьера, столь благоприятное для Морица, в Петербурге посмотрели иначе на это дело, приняв во внимание тогдашние

конъюнктуры . Здесь рассуждали, что дело графа Морица при нынешних конъюнктурах весьма деликатно и небезопасно, во-первых, потому, что за него надобно в ссору вступить с Речью Посполитою, а русские интересы теперь требуют, что если уже войны миновать невозможно, то по крайней мере надобно стараться, чтоб она не была на границах. Во-вторых, в этой ссоре ниоткуда ее величеству помощи не будет, ниже от самого короля польского, который ни в качестве польского короля, ни в качестве курфюрста саксонского с Речью Посполитою ссориться или нам против нее помогать не может и до сих пор никаких предложений об этом не сделал. В-третьих, принявши сторону Морица, озлобляем короля прусского и вовсе его потерять можем. Наконец, нельзя не обратить внимания на сообщение, сделанное на днях от цесарского двора о согласии и обязательствах, в которых будто Мориц находится с Англиею и намерен англичанам отдать одну гавань в Курляндии. Вследствие этого решения 21 января императрица велела написать Девьеру: «Так как мы из реляций твоих усмотрели, что сейм отложен до 14 февраля, то, пользуясь этою отсрочкою, приезжайте сюда к нам на время, и хотя писал к вам нашим указом тайный советник Макаров, чтоб с известною персоною свидание отложить, но так как мы усмотрели из вашей реляции, что свидание уже произошло, то быть тому так, только впредь свидания с ним более не имейте и по возможности от него удаляйтесь, чтоб больше не нажить подозрения». 4 февраля написана была новая тайная инструкция Девьеру: «Курляндцев продолжайте накрепко обнадеживать, что мы им всемерно будем помогать держаться при прежних правах и привилегиях, не упоминая притом ни о графе Морице, ни о каком ином кандидате, и эти обнадеживания можете делать явно и тайно только словесно, а не письменно. Если курляндцы будут требовать, чтобы вы объявили им намерение России относительно графа Морица, то можно двум или трем особам из главных сторонников Морица, которым совершенно верить можно, в самом высшем секрете объявить, что, поспешив своим избранием, сам он виноват в том, что Речь Посполитая на последнем сейме приняла такие жестокие решения, и если мы станем теперь тотчас же снова твердить о Морице, то этим только раздрадим поляков и сами заставим их как можно скорее привести в исполнение принятые на сейме решения. Поэтому надобно сперва стараться как-нибудь утишить дело и политическими, умными и умеренными поступками хотя немного нынешнюю их горячность утолить и основательным доказательством прав курляндских склонить поляков к тому, чтоб они от своего намерения отстали. Так как герцог Фердинанд еще жив и до смерти его полякам Курляндии разделить нельзя, то неприлично теперь частым упоминанием о графе Морице с Речью Посполитою ссориться, от чего самому Морицу не только никакой пользы не будет, но дело его еще больше будет испорчено. Надобно курляндцам внушить, чтобы они на своем сеймике теперь о Морице помолчали и выборов его не подтверждали и не уничтожали. Можете двум или трем особам секретно дать знать, что естественно и необходимо наперед тайно согласиться о графе Морице с королем польским и принимать с ним в этом деле меры сообща».

Итак, курляндское дело могло решиться только в Польше, с которою в Петербурге не хотели ссориться ввиду опасностей от ганноверского союза. Бестужев по прибытии своем в Варшаву должен был объявить королю, что «императрице известно его желание доставить Курляндию принцу Морицу; но

пусть он сам рассудит, что наибольшая часть Речи Посполитой этому сильно противится и потому озлобится не только на него, но и на Россию, что будет сильно озлоблен и король прусский, ибо известно, что покойный император заключил с ним договор насчет передачи Курляндии одному из бранденбургских принцев; и хотя императрица в угодность его королевскому величеству польскому об исполнении этого договора старания прилагать не будет, однако не может согласиться и на избрание принца Морица для избежания ссоры с королем прусским. Императрица имела зрелое рассуждение, избирала из всех принцев, кто бы не был никому противен, и особенно его королевскому величеству польскому, и никого не имела найти удобнее светлейшего князя Меншикова, который ни с какими посторонними державами не имеет никаких партикулярных интересов, его королевскому величеству и никакому другому государю противен быть не может. Поэтому ее императорское величество повелела ему, Бестужеву, просить его королевское величество, чтобы он по дружбе показал свое снисхождение и также склонил Речь Посполитую на избрание князя Меншикова, который всегда пользовался особенною его королевскою милостию и во всех случаях показывал к нему особенное благоговение, а получа новое благодеяние, останется вечно благодарен; императрица также с своей стороны может показать всевозможную склонность относительно других намерений королевских». Бестужев должен был склонять к тому же и сына Августа II, наследного принца саксонского, давши ему искусным образом знать, что Россия за то может быть ему полезна в его честолюбивых интересах. С подобными же предложениями Бестужев должен был обратиться и к саксонским министрам, пользовавшимся особенным расположением короля. Вельможам польским Бестужев должен был объявить, что Россия никак не может допустить до разделения Курляндии на воеводства; Курляндия должна остаться в прежнем положении; но так как Речи Посполитой не может нравиться, чтоб курляндским герцогом был принц саксонский или бранденбургский, то русский двор и предлагает князя Меншикова, который оказал великие услуги как России, так и Польше; кроме того, по владениям своим в Польше он польский шляхтич и в этом звании всегда будет стараться о благополучии Речи Посполитой, которой приятно и полезно, если на престол курляндский сядет кто-нибудь из ее шляхтичей. Если ни король, ни польские вельможи не примут этого предложения, то предложить в кандидаты двоюродного брата герцога голштинского; если не согласятся и на это, то одного из князей гессен-гомбургских.

Король на предложение Бестужева о Меншикове отвечал: «Все то, что со стороны ее величества мне приходит, очень мне приятно» – и более ни слова. Вельможи польские отговорились тем, что дело может решиться только на сейме, который скоро должен собраться в Гродне. 3 августа 1726 года в Верховном тайном совете решили отправить в Польшу на гродненский сейм Ягужинского, который привык при Петре исполнять важные дипломатические поручения. Мы видели, что уже и к Бестужеву был отправлен указ не хлопотать более о Меншикове; теперь Ягужинскому было наказано: «Всевозможные труды прилагать, дабы Речь Посполитую не допустить до вредных для России предприятий относительно Курляндии, особенно не допустить до раздела Курляндии на воеводства, также до утверждения принца Морица и до избрания принца гессен-кассельского и в необходимом случае стараться сейм разорвать; со

стороны ее величества представлять кандидатов прежних, кроме князя Меншикова; если же польский двор ни на одного из кандидатов не согласится, то дать на волю, пусть выберут кого хотят, только б не Морица и не принца гессен-кассельского». Ягужинский отправился прямо на сейм и 26 сентября писал из Гродна: «Я представлял польским министрам, что государственные причины не позволят соседним державам согласиться на перемены в курляндском устройстве; пусть делают кого хотят герцогом, только не Морица; но поляки упрямятся, и потому единственное средство помешать делу – это порвать сейм». Через месяц он доносил: «Неизвестно, чем кончится настоящий сейм: шестая уже неделя, как он продолжается, и дела никакого не сделано, только беспрестанный крик и сочинения разных проектов о Курляндии; заводчик часов – бискуп краковский Шанявский, который не только курляндское дело ведет со всею горячностью, но и в диссидентском деле неусыпно трудится, т.е. хлопчет об искоренении диссидентов. Я, сколько смысла и силы имел, мешал всем этим предприятиям, и не без некоторого успеха: благодаря разным затруднениям сейм затянулся, не сделавши ни малейшего дела, и подозревают, что я виновник этого. Как бы то ни было, никакого основания в курляндском деле еще не положено, и хотя король манит Речь Посполитую обещаниями выдать все оригинальные документы о Курляндии и не защищать Морица, однако все ограничивается одними обещаниями. Король действительно был уже намерен выдать оригинальные документы насчет Морицева избрания; но приятельницы Морица, находящиеся при короле, именно жена маршалка Белинская и гетманша Потеиха, слезно просили короля, чтоб удержался от выдачи документов, в против ном случае получит дурную славу во всем свете, а на споры и шум поляков смотреть нечего: пошумят и перестанут. С другой стороны, Речь Посполитая твердо стоит на том, чтоб Морица выслать не только из Курляндии, но и из Польши; в Курляндию хотят послать комиссию судить курляндцев; сверх того, на последней сессии подконюший литовский предлагал послать депутацию к послу французскому и объявить Морица бесчестным, чтоб он не был терпим и во Франции, где имеет полк и доход. Королевские сторонники в Посольской избе обнадеживают поляков, что король все курляндское дело и Морица выдаст Речи Посполитой, пусть что с ними хочет, то и сделает, и этим средством они достигают того, что сейм не рвется; также стараются привести послов в соединение с Сенаторскою избою, где надеются все по своему желанию сделать». «Здесьние дамы к сибирским (т.е. китайским) шелкам большую охоту имеют, и потому не худо было бы прислать сюда несколько также и мехов лисьих, горностаевых и овчинных. Что же касается до короля, то он великий охотник до завесов китайских и всяких обоев персидских, и потому нужно и таких вещей сюда несколько прислать. Бесстыдный воевода троцкий Огинский беспрестанно, как только со мною увидится, спрашивает, не пришли ли ко мне меха, и удивляется, что ее величество позабыла о нем; я отговариваюсь одним, что сибирские караваны всегда зимою приходят и теперь еще не пришли».

Сейм кончился 30 октября; назначена была комиссия о Курляндии из бискупа варминского Шембека, воеводы полоцкого Денгофа, воеводы мазовецкого Хоментовского, воеводы троцкого Огинского; комиссары должны были договариваться с курляндцами насчет будущей формы правления у них. Король кассировал выборы Морица и выдал оригинальные бумаги, относящиеся к этому

делу. Король уступил, чтоб склонить поляков к утверждению старого договора с цесарем; но поляки позволяли только вступить в переговоры с цесарским послом и принять дело к решению на будущей сейм. Было сделано другое предложение о вступлении в переговоры со шведами, и многие депутаты закричали, что согласны; но другие объявили, что хотя желают всегда быть в дружбе со Швециею, но так как шведского министра в Польше не находится, то они не могут понять, откуда может произойти такое предложение. Дело этим и остановилось. Возбуждено было подозрение, что короли польский и шведский находятся ДРУГ С Другом в тайных сношениях и посредником употребляют литовского подскарбия Понятовского, шведского приверженца в прошлую войну. Ягужинский был уверен в тайных соглашениях между двумя королями, тем более что со стороны Августа II не видал никакого расположения к России. Когда посол хотел выведать намерение короля относительно курляндского дела, то Август отвечал ему: «Я не могу тут ничего ни сделать, ни присоветовать, потому что как только поляки подметят мое желание, противное их намерению, то не миновать конфедерации; я был бы рад, если бы Мориц получил помощь от России, я стал бы помогать под рукою по возможности». Дальнейшей откровенности Ягужинский не мог добиться, а генерал Флюг, с которым он свел дружбу, сказал ему под секретом, что когда король у себя разговаривал о России, то сказал: «Я не верю русским». В это время Ягужинский получает письмо от Анны, герцогини курляндской: «Как здесь слышу, что курляндское дело в Польше весьма худо идет и поляки комиссию сюда отправлять хотят для щету моих деревень и моей претензии, и ежели до того допущено было, то б великое предосуждение российским интересам было, тако ж слышно, что князю Фердинанду хотят лен дать, и то также против российских интересов, из чего здешняя земля в великую канфузию и в дишперацию приходит, и то все делается через здешних плутов Костюшки иофемберховой фамилии и Буххольца и Рацкова, которым предстатель великой канцлер Шембек; я вас прилежно прошу, приискав к тому удобные способы, до того не допустить, а паче до отправления сюда комиссии, чем меня вовеки одолжите и за что, доколе жива, вашу любовь буду в памяти иметь, и пребываю вам всегда доброжелательна Анна».

И в Петербурге желали того же самого; но легко было написать: «Приискав к тому удобные способы, до того не допустить» – трудно было исполнить. Ягужинский видел, что единственное средство сдержать поляков – это действовать решительно, действовать, а не говорить только; но в Петербурге были озабочены ганноверским союзом, делами шведскими и не хотели действовать по курляндскому делу, чтоб не поссориться с поляками. Девьер писал Макарову из Митавы: «Извольте объявить ее величеству, чтоб изволили сильное старание иметь при польском дворе о курляндских делах, потому что без того ничему доброму сделаться нельзя. Хотя курляндцы истинным сердцем хотят стоять при своих правах, однако принуждены требовать помощи ее величества, а без того держаться не могут по своему бессилию. Если от нашего двора не будет сильного старания о том, чтоб не допустить Курляндию до раздела или присоединения к Короне Польской, то курляндцы принуждены будут отдаться в волю полякам; пословица говорит: сила солону ломит; а другая: с сильным не дерись, с богатым не тянись; так и в их делах курляндских, если не будет на кого им опереться, то они будут принуждены поступать по воле Короны Польской. О вышеупомянутом

деле извольте ее величество предостерегать, чтоб осторожно в том деле были, чтоб не допустить до ссоры; а если допустить до ссоры, то извольте видеть, в каком состоянии наше государство. Как видно, наши министры на сейме никакого старания о Курляндии не имели, а если б имели, то б никогда Корона Польская не решилась делать того, что на сейме положили». Это требование – действовать решительно, как действовали при Петре, и в то же время уклоняться от ссоры – ставило Ягужинского в неприятное положение, сердило его. В раздражении он написал следующее письмо Макарову 7 января 1727 года: «В курляндском деле здесь у поляков никакими мерами ничего исходатайствовать нельзя, и хотя умные люди между ними рассуждают, что силою не могут одолеть, если курляндцы хотя одни сами собою заупрямятся, но все хотят попытаться: может быть, и удастся! Мы с своей стороны должны курляндцев обнадеживать, что будем защищать их права, но при этом мы не должны их пугать, ибо в этом деле остался только один, ласковый способ. Приходится действовать одним, потому что на прусского короля нет надежды, скорее надобно ожидать тайного согласия с поляками. Король польский еще болен и раньше трех недель сюда не приедет; между тем вольница польская все по деревням живут, и до прибытия королевского мало их съедется. Флеминг также умирал, а теперь оба, и король, и Флеминг, ожили, и, когда съедутся, будет назначена конференция, а что на ней произойдет, о том можете узнать от бывшего при здешнем дворе министра князя Долгорукова, ибо уже несколько лет сряду всем нашим министрам дается один ответ. Но если таких бывалых и искусных людей ни с чем отправляли, то мне нечего ждать. Я неоднократно доносил, ясно изобразив все дело, и удивляюсь, что до сих пор не присылают мне никакого указа, как далее поступать, а по данной мне инструкции больше делать нечего, ибо поляки, видя только наши словесные представления и не опасаясь никакого действия, не могут быть приведены к резону. Хотя б велено было мне говорить вприбавку, что если не отменят своего решения, то силою будем их удерживать и комиссаров в Курляндию не пустим. Так поступает с ними цесарь: если поляки не дадут удовлетворения за пограничные обиды, то он пошлет полк или два в те места, где была сделана обида, и сделает сам себе удовлетворение; не теперь, а со временем не миновать и с нашей стороны того же. Князь Иван Юрьевич (Трубецкой) пишет ко мне из Киева, чтоб я жаловался здесь на тамошние обиды, которые становятся нестерпимы; но здесь жалобами можно достигнуть только того, что назначат комиссаров для развода пограничных ссор, и когда съедутся – бог весть; а между тем обиды делаются по-прежнему. К тому же в наших пограничных делах заинтересован каждый шляхтич, ибо наши беглые русские почти у каждого есть и церковей греческого исповедания множество в шляхетских имениях; то кто заставит их добровольно выдать беглых? Поневоле надобно будет последовать примеру цесаря. Изволили вы упоминать о русском ордене для Мантейфеля, но он ему не надобен, потому что уже польскую ленту носит, да и Флеминг никакой другой не носит, кроме польской; к тому же ни Мантейфеля, ни Флеминга лентами не склонить на нашу сторону, ибо старый противный дух еще в них находится, и если бы саксонцы не боялись нас, то давно бы в ганноверский союз стали склоняться. Впрочем, оставляю это в глубочайшее рассуждение другим, *которые только любят попереки въезжать, зная и не зная состояния дел* ».

В марте 1727 года приехал в Варшаву курляндский депутат Медем с просьбою от курляндцев, чтоб их оставили при прежних правах и никакой комиссии о перемене их правления не было бы. Когда эта просьба была прочтена в Совете, собранном у примаса Потоцкого, то все присутствовавшие единогласно закричали, что такого бунтовщика и присланного от бунтовщиков надобно взять под стражу и судить, что и было исполнено. «Мы, – писали Ягужинский и Бестужев, – при таком их диком поступке не знаем, что делать: если прямо вступить в дело, то их пуще разъяришь; если же дать им волю, то пуще загордятся. Будем смотреть, как лучше поступить. Что касается до отправления комиссии в Курляндию, то гетманы послали уже третьи подтвердительные указы к войску, чтоб готово было к маю: войско станет у границ курляндских, чтобы войти в эту страну по первому требованию комиссаров. Хотя это грозное войско и не очень опасно, потому что невелико, однако если им позволить отправить свою комиссию, то легко могут осмелиться сыграть торнскую трагедию: дело зависит от мудрого расположения вашего величества и от милостивой защиты бедной Курляндии. О разделении Курляндии на воеводства поляки больше не думают, хотят оставить правительство немецкое, только не хотят слышать об избрании нового герцога. На наши представления в пользу Курляндии один жестокий ответ, что мы в их домашние дела не имеем права мешаться. От других министров помощи никакой не имеем».

Ягужинский не утерпел, чтоб не задеть Меншикова, который «въехал поперек» в курляндское дело. Были обвинения и на Ягужинского; до нас дошло следующее любопытное письмо Михайлы Бестужева к сестре княгине Аграфене Петровне Волконской: «Из вашего письма уведомился я, что Свечников по приказу Павла Ивановича (Ягужинского) старается, чтоб Голембовскому быть здесь, в Польше, резидентом и что уже о том Свечников Алексею Васильевичу (Макарову) говорил. Я даю на рассуждение, сходно ли это с интересом нашим, чтоб поляку быть министром в Польше, и как можно ему дела поверить? Можно поляку быть нашим министром при другом дворе, как Ланчинский в Вене, а не при польском. Злясь на то, что его здесь не оставили, о чем его старание было, он хочет, чтоб и мне не быть, и рекомендует такого человека, которому быть нельзя. К тому же у Голембовского не те поступки и не те ухватки, какие следует министру иметь. Сию цедулку можете показать Антону Мануиловичу (Девьеру) и всячески до того не допускать, представляя означенные резоны. Павел все сватает дочь свою за поляков, а из Москвы велел себе привезти всякого запаса и на продажу китайских вещей и мехов в той надежде, чтоб ему здесь остаться. Усмотрел я, что Свечников Макарову говорил от Павла о Голембовском, чтоб ему в Польше резидентом быть; не извольте этого допускать для того, как поляку в Польше дела поверить? И так Павел худо делал, что ему все открывал; я об этом уже к вам писал, как скоро проведал, что Павел приказал Свечникову о нем стараться. О поездке моей за королем надобно умолчать: я для того писал, думал, что Павла оставят здесь; а теперь так как он поедет отсюда, то надобно умолчать, разве сами повелят ехать, и на то надобны деньги. Можешь узнать дружбу ко мне Павлову из того: Голембовского хотел сделать резидентом, а о себе писал к тестю своему (канцлеру Головкину), чтоб ему здесь остаться, а меня бы копнуть. Он же, будучи пьян, одному саксонскому министру говорил, чтоб ему король дал здесь староство: „Я-де здесь останусь, а в Россию ныне не поеду“, и разных других

речей множество болтает, как напьется пьян, что мерзко слышать: не только министру неприлично так говорить, но и простому человеку не следует; одним словом сказать, человек этот совсем плох, я чаял, в нем больше пути и дела: Антон Мануилович (Девьер) справедливо об нем рассуждает; истинно я в нем чаял больше проку, а теперь вижу, что просто ветреница, что ни говорит – слушать нечего. Нам он приятелем не будет, извольте в этом свои меры взять. Он писал о секретаре Голембовском, который находится при мне, чтоб его сделать здесь резидентом; но так как этот секретарь – поляк родом и ему одному поверить дел здесь нельзя, то Ягужинскому как полномочному здесь быть и другому с ним. Этот секретарь Голембовский не такой человек, чтоб ему министром быть, бог его таким не сделал, и он, кроме языка, не только в резиденты, и в секретари не годится. Он Ягужинскому угождает сватаньем дочери его за поляков, также и племянницу его, Ивана Головкина дочь; и так как Павел сделал Ланчинского, поляка, министром в Вене, то и этот того же от него хочет. Правда, что Ланчинский в дело годится, притом же он при немецком дворе; а поляк при польском дворе опасен, хотя бы и годился, и нельзя его пускать во все письма глядеть, как Павел делал, а я до того не допускал. Изволь об этом с Антоном Мануиловичем в конфиденции поговорить, чтоб никак до этого не допустить. Также Павел писал к Макарову, чтобы домогаться о голубой ленте Лосу, который у нас прежде посланником был, да другому, обер-шталмейстеру королевскому: к стати ли это? Король им и своей ленты не даст, которая не в таком почтении, как наша; разве красную ленту – то пусть дают. Павел только хочет чрез это показать силу свою, будто он у нас при дворе силен. Об этом также скажи Антону Мануиловичу, чтоб не допустить». Девьер должен был взять свои меры и взял; 21 января 1727 года он писал императрице из Митавы: «Сказано мне за тайну обер-ратами, что министр вашего величества при польском дворе будто бы никакого старания о курляндском деле не имеет и будто под рукой полякам говорит, чтоб они никакого опасения не имели, потому что ваше императорское величество в курляндском деле никакого им помешательства делать не соизволите, и хотя я во всем им не верю, однако бешенство его что-нибудь может сделать».

Девьер бездоказательно обвинял Ягужинского в том, что он действовал в Польше вопреки русским интересам; то же обвинение легло на Меншикова в шведских делах, и легло с доказательствами.

В конце царствования Петра Великого мы оставили в Стокгольме представителем России Мих. Петр. Бестужева. Уведомляя графа Головкина о разнесшейся по городу вести о кончине Петра, Бестужев писал: «Доброжелательные и добрые патриоты от всего сердца опечалились, а я в такую алтерацию и конфузию пришел, что не могу опомниться и лихорадку получил, однако через силу ко двору ездил и увидел короля и его партизанов в немалой радости». Новой государыне Бестужев писал: «Двор сильно надеялся, что от такого внезапного случая в России произойдет великое замешательство и все дела ниспровергнутся; но когда узнали, что ваше величество вступили на престол и все окончилось тихо, то придворные стали ходить повеселя нос; таким образом, этот случай открыл сердца многих людей. Намерение здешнего двора было в мутной воде рыбу ловить; надеялись, что герцог голштинский принужден будет выехать из России, от которой не будет иметь более поддержки, и тут можно будет вести

кассельские интриги и умножать свою партию. Эта надежда превратилась в дым вступлением на престол вашего величества; партия герцога голштинского здесь теперь не уменьшится, только при нынешних конъюнктурах надобно ее ласкать, а врагов приводить на истинный путь умным и приятным обхождением».

Шведским послом к петербургскому двору кроме прежнего Цедеркрейца назначен был один из голштинской партии, барон Цедергельм. Бестужев просился приехать вместе с ним в Петербург, чтоб участвовать непосредственно в переговорах и получить подробнейшую инструкцию. Это ему было дозволено, но потом Бестужев уже не возвращался в Стокгольм. Объяснением этому служат отношения его к голштинскому министру в Швеции Рейхелю, зятю Бассевича; перед отъездом в доме Цедергельма Рейхель подошел к Бестужеву и начал его упрекать во вражде к нему, в желании удалить его из Стокгольма и в неблагодарности, потому что своим настоящим положением Бестужев был обязан тестю его, Бассевичу; в заключение разговора Рейхель вызвал Бестужева на дуэль. Шведские вельможи потушили дело, помирили Рейхеля с Бестужевым; несмотря на то, последний писал своему *патрону* Остерману, чтоб он постарался до его приезда в Петербург утешить злобу Бассевича. Но злоба не была утушена: 7 августа 1725 года в тайном совете, держанном в Иностранной коллегии, Бассевич подал мемориал, чтоб Бестужева в Швецию не посылать и что герцог уже доносил об этом императрице.

Вместо Бестужева в Стокгольм был отправлен чрезвычайным посланником флотский капитан граф Николай Головин. Новый посланник дал знать, что виднее всех вельмож в Швеции граф Горн, человек великого ума, и его нужно всевозможными средствами уловлять в русскую партию. В сентябре 1725 года Головин дал знать, что верные друзья предлагают усилить ревельский флот, что должно произвести впечатление и помешать ганноверским интригам; а между тем в Стокгольме уже распускались слухи, что герцог голштинский скоро явится в Швеции с русским войском для занятия престола. В декабре Головин доносил, что часто происходят тайные конференции у короля с министрами французским и английским, в которых бывает иногда граф Горн или гофмаршал Дибен. «Имею подозрение, – писал Головин, – что эти конференции идут о славнейшей ганноверской альянции, в которую ныне призывается Швеция». В конференции с комиссарами Сената министры французский и английский явно предлагали Швеции союз. Предложение перешло из комиссии в Сенат, причем поданы были письменные протесты от сенаторов Тессина, Велинга и Гилленборга.

1726 год Головин начал извещением, что доброжелательные обнадеживают его, что не допустят правительство свое приступить к ганноверскому союзу; но французский и английский министры деньгами привлекают многих на свою сторону и разглашают, что король и его партия дали им твердое обещание, что Швеция приступит к ганноверскому союзу; посредством денег и подарков знают они все, что происходит ежедневно в Стокгольме. 15 февраля граф Горн объявил Головину указом от короля и Сената, что в Сенате принято решение продолжать конференции о ганноверском союзе и выслушивать дальнейшие предложения министров английского и французского, и обещал сообщить, что будет постановлено на этих конференциях. В Сенате же принято было решение не упоминать в конференциях о возвращении Шлезвига герцогу голштинскому до окончания переговоров, при этом большинство голосов в Сенате оказалось у

королевской партии. Несмотря на то, доброжелательные продолжали уверять, что Швеция никогда не приступит к ганноверскому союзу, а барон Гепкин ручался, что из конференции ничего не выйдет, и просил Головина писать об этом императрице. В апреле граф Горн прислал в Сенат письмо, присланное к нему из Петербурга от шведского посланника при тамошнем дворе Цедеркрейца. Цедеркрейц извещал о разговоре своем с Бассевичем, который будто бы сказал ему, что если шведское правительство будет действовать вопреки интересам герцога голштинского, то Россия пошлет к берегам Швеции галерный флот с 30000 войска. Письмо произвело сильное действие, и в Сенате состоялось решение послать инженеров во все крепости и осмотреть их, а король предложил привести в движение полки и делать другие военные приготовления. Вместо русского галерного флота явилась английская эскадра, и члены королевской партии принялись говорить, что эта эскадра спасла Швецию от нашествия русских.

В конце июня в Сенате происходила подача голосов по вопросу: приступать ли Швеции к ганноверскому союзу или нет? В пользу утвердительного ответа были голоса графов Горна, Таубе, Делагарди, Екеблата, Ливена, Банера, Шпара и два королевских голоса; за отрицательный ответ объявили себя графы Кронгельм, Тессин, Дикер, Гилленборг, Лагерберг, старый Горн и барон Цедергельм, возвратившийся из Петербурга. Вследствие такого соотношения голосов дело было оставлено. Несмотря на то, в июле Головин доносил, что благодаря английским деньгам королевская партия усиливается и по всем обстоятельствам можно видеть, что граф Горн прежде созвания сейма постарается ввести Швецию в ганноперский союз. Горн прямо объявил Головину, что король и Сенат давно уже приняли намерение приступить к ганноверскому союзу и приведут это в исполнение при первом удобном случае; и когда Головин заметил ему, что императрица в таком случае должна принимать свои меры, то он отвечал, что русская государыня может принимать меры, какие ей угодно, а Швеция имеет право входить в договоры с державами, смотря по единству интересов, и в настоящем случае новые обязательства Швеции не находятся в противоречии с прежними ее обязательствами относительно России. Наконец в Сенате принято было решение приступить к ганноверскому союзу, и теперь доброжелательные начали утешать Головина тем, что сейм не согласится на это решение.

В сентябре собран сейм и, несмотря на уверения благонамеренных, что русская партия сильнее, председателем сейма, или ландмаршалом, был избран граф Горн. Головин приписывал это торжество противной партии раздаче больших сумм. «А которым от меня дачи происходили, – писал он, – и те все зело твердо и непоколебимо спорили». Головин доносил, что при этих выборах ни одного знатного лица не было на стороне Горна, дало перевес мелкое шляхетство и офицерство, подкупленное деньгами, и если бы известная сумма пришла из России месяцем прежде, то большую часть офицерства и дворянства можно было бы склонить к русской партии. Потерпевши неудачу в дворянском сословии, Головин обратился к купеческому, которому дал некоторую сумму и обещал большую; купцы обещали склонить сословие духовное и крестьянское; вся эта вербовка депутатов, по расчету Головина, не должна была стать дороже 5000 червонных. Герцог голштинский писал к своему министру в Стокгольм, чтобы выдал генерал-майору Ставлю 500 рублей на раздачу мелкому дворянству и

офицерству; но у голштинского министра не было денег, и Головин счел полезным выдать 500 рублей своих.

Видя такое затруднительное положение дел в Петербурге решили отправить в Стокгольм искуснейшего дипломата князя Василия Лукича Долгорукого, как скоро он возвратится из Курляндии; рассуждали, что надобно действовать подкупами, если же не удастся, то сильно протестовать. В заседании Тайного совета 6 августа определено послать в Швецию вексель в 20000 рублей на раздачу шляхетству и другим мелким персонам, которые скудны, а силу имеют, а прочим главным обещать знатные подарки, если они сделают пожеланию русского двора. Князю Долгорукому определено давать по 100 рублей на день, на ливрею и экипаж отпустить 11000 рублей, отпустить обои на одну комнату, сервиз серебряный. Императрица от себя обещала отпустить портрет свой и разных вин, также балдахин, тот самый, который был в Академии, когда императрица недавно там присутствовала, «рассуждать изволила, что не надобно робко с Швециею поступать».

Князь Василий Лукич нашел в Стокгольме два враждебных лагеря один против другого: одна партия тянула Швецию в ганноверский союз, другая, *доброжелательная* в глазах русского посланника, не хотела этого союза. Сначала могло казаться, что силы обеих партий находятся в равновесии, но скоро опытный дипломат начал удостоверяться, что «доброжелательные» слабее. Одним из самых доброжелательных был Цедергельм, но он показался Долгорукому «человеком остроты не пущей», как называют, добрым человеком; Гепкин оказался поострее; с Велингом нельзя было говорить ни о каком деле, потому что к нему приставлены были два офицера: он был обвинен королем в том, что в 1722 году побуждал его занять у прусского короля деньги и заложить остров Вольгаст. «Говорят, – писал Долгорукий, – что острее всех здесь граф Горн, только я его еще не видал, а из доброжелательных никого нет большой остроты; королева здешняя, как говорят, русского народа очень не любит». 25 ноября Долгорукий писал: «Третьего дня мне сказано, что король в тот самый день говорил одному из сенаторов: „Скажите мне сущую правду, какие партии составляются здесь против меня и какими способами русская государыня хочет лишить меня престола?“ Сенатор отвечал, что он ничего об этом не знает и не слышал. Ваше величество, из этого изволите усмотреть, какие со стороны России опасности королю внушены, и если он такое мнение имеет, то как его склонить к постоянной с вашим величеством дружбе? Я для этого намерен после аудиенции искать случаев, как бы мне чаще с королем видеться и внушить ему, что он совершенно безопасен со стороны вашего величества, а потом стану ему показывать, какая опасность грозит ему от короля английского; только, как я слышу, король мнителен от природы и верит людям малознающим, которые при нем; с чужестранцами в разговоры глубокие не входит, только разве что выслушает; однако я буду случая искать ему самому обо всем донести, а через людей нельзя, потому что еще никого не знаю. Надеюсь, что аудиенциею моею здесь не замедлят и что я успею съездить с визитами не только к мужчинам, но и к дамам и, отдав визиты, могу их звать к себе. Я намерен был вчерашнего числа торжествовать тезоименитство вашего императорского величества и делал к тому приготовления, особенно намерен был для подлого народа пустить вино; но некоторые из здешних мне сказывали, будто король для того аудиенцию откладывал, чтобы я не устраивал этого торжества и особенно

чтоб подлого народа не ласкал; хотя я королевского намерения подлинно не знаю, но, как только я об этом услышал, тотчас распустил слух, что торжество отложено и будет устроено дней десять спустя после аудиенции. Иначе мне было сделать нельзя, потому что ни одна дама ко мне не поехала бы, пока я не сделал бы им визитов, а визитов частным лицам прежде королевской аудиенции сделать нельзя».

29 ноября была наконец аудиенция. Для произведения сильного впечатления Долгорукий подарил золотую шпагу королевскому капитану, который привез его на яхте, капитан-поручику – серебряную посуду, рядовым матросам дал по два червонных, унтер-офицерам – по шести. Все остались очень довольны; шпагу король велел принести к себе и рассматривал. «Мое намерение, – доносил Долгорукий, – чтоб короля и особенно Горна, который здесь всемогущ, отвратить от английской стороны; если же этого нельзя, то по крайней мере смягчить, чтоб на нынешнем сейме не приступили к ганноверскому союзу; для того я намерен к Горну привязаться всевозможными способами, чтоб увидеть, нельзя ли как-нибудь с ним сделать по моему намерению; но и других способов помешать союзу не упущу. До сих пор король обходится со мною милостиво и говорит со мною чаще, чем с другими, однако о посторонних делах; у Горновой жены я дважды был и тут видел Горна одного, начал с ним говорить о деле, но окончить не мог. Барон Спар, министр шведский при дворе английском, нарочно из Англии приехал сюда для сейма; как мне сказано, король английский дал ему 5000 фунтов стерлингов для склонения здесь к союзу. Я не раз говорил с ним против союза, бывали разговоры более часа и споры великие; потом Спар у меня обедал, и я у него однажды. Это мое поведение относительно короля, Горна и Спара возбудило было подозрение в некоторых из доброжелательных; но я главным из них объяснил, для чего я то делаю и что я прислан не праведных спасти, а грешных: не смогу их оттянуть к моей стороне, то, быть может, наведу на них подозрение у их единомышленников тем, что они со мною ласково обходятся. Противная сторона очень сильна, особенно Горном и двором; английские деньги, говорят, раздаются здесь в большом количестве не только частным людям, но и сам король, говорят, получает пенсию от английского короля; Горн, говорят, получил 160000 рублей, а доброжелательная партия очень слаба и состоит из людей робких, поэтому я принужден здесь сильнее действовать и говорить, ибо преданные нам люди говорить не смеют, главные более других опасаются. Король пригласил меня ездить с ним на медвежью охоту, и я приготовился; мне сказали, что это знак милости и что всего удобнее говорить с его величеством о делах во время охоты. Здешний двор несравненно хуже датского, начиная с главных, большинство люди посредственные, а есть такие, что с трудом и говорят. Горн показался мне человек острый и лукавый; надобно с ним будет обходиться умеючи и зацеплять его тем, к чему он склонен и что ему надобно, а силою одолеть его очень трудно. Здешний сейм очень похож на ярмарку: все торгуются и один про другого рассказывает, кому что дано; только смотрят, чтоб на суде нельзя было изобличить, ибо наказание – смертная казнь».

Только 13 декабря Долгорукий начал праздновать именины императрицы: в этот день обедали у него сенаторы, иностранные министры и другие знатные особы с женами, а 15 числа был бал и *машкара*: начался в 5 часов пополудни и кончился в 5 часов пополуночи; позвано было 500 человек обоего пола, все без

исключения, которые могли входить в «знатные компании», и все ужинали; графини Горн и Делагарди были выбраны – одна королевою бала, а другая – вице-королевою; после ужина хозяин послал спросить обеих дам, примут ли они от него подарок, но обе отказались.

Ни обед, ни бал с машкарой не помогали. Когда Долгорукий потребовал конференций, то для переговоров с ним назначили людей противной партии, которые спрашивали, для чего в нынешнем году так сильно вооружили русский флот? Зачем привелено 40000 войска в Петербург? Зачем готовили сухари с такою поспешностию, что не было ни одного лучшего дома, чтобы их не пекли? Жаловались, что слышали не только словесные, но и письменные угрозы со стороны русской государыни. Те из приверженцев ганноверского союза, которые не хотели разрывать и с Россиею, толковали, что эта держава не имеет никакой причины считать вступление Швеции в ганноверский союз таким противным для себя делом, потому что Швеция, находясь в дружбе с английским королем, может через него добиться удовлетворения герцогу голштинскому в шлезвигском деле и примирить Россию с Англиею. Главами ганноверской партии были Горн, Делагарди и фон Кохен. Двое последних, по словам Долгорукого, готовы, как раскольники, отдать сжечь себя живыми за короля английского, а Делагарди, как говорили, получал из Англии ежегодную пенсию в 4000 фунтов. Горн поехал на Святки в деревню и взял с собою двоих лучших членов секретной комиссии, Белке и Левенгаупта, чтоб уговаривать их к ганноверскому союзу: одному обещал деревню в Бременской области в 30000 рублей, другому – фельдмаршальский жезл.

Английская, или ганноверская, партия перевешивала потому, что в ней были способные и энергичные люди, чего недоставало русской партии. Ганноверская партия не пренебрегала никакими средствами: в залу, где собиралась секретная комиссия, подкинута было извещение о заговоре, целию которого лишить короля и королеву престола и возвести на него герцога голштинского, причем прописаны были имена заговорщиков – членов русской партии. Людей, не принадлежавших ни к какой партии, застрашиваями заставляли приставать к ганноверской; одним внушали, что когда герцог голштинский будет возведен на престол, то у них отберут их земли и раздадут другим, указывая, кому именно раздадут; другим шептали, что отнимут у них чины. «Я никак не думал встретить здесь такие затруднения, – писал Долгорукий в январе 1727 года. – Главное затруднение состоит в том, что все важные дела решаются в секретной комиссии, а с членами ее говорить никак нельзя, потому что им под присягою запрещено сноситься с иностранными министрами; король в рассуждения о важных делах не входит, а с вельможами, которые хотят приступить к ганноверскому союзу, говорить нечего: легче турецкого муфтию в христианскую веру обратить, чем их отвлечь от ганноверского союза; всякое дело и слово надобно закоулками проводить до того места, где оно надобно». В начале февраля Долгорукий писал: «Были у меня две особы из доброжелательных и ради самого бога просили, чтоб я именем вашего величества обещал субсидии, ибо только одним этим способом можно помешать акцессии: Горн берет верх только представлением, что Швеция находится в крайней бедности, а король английский обещает субсидию безусловно». Долгорукий находился в затруднительном положении: он имел указ обещать субсидии только в том случае, когда бы Швеция согласилась вместе с Россиею

вступить в шлезвигское дело; но если упомянуть об этом условии, то можно было все дело испортить, ибо придворная партия закричала бы, что Россия вовлекает Швецию в войну; сказать неопределенно, что получают субсидии, если вступят с Россией в какое-нибудь общее дело для собственной пользы, станут привязываться, в чем состоит эта общая польза; а если не объявить точно и определенно, то станут говорить, что русский посланник их только обманывает для отвлечения от акцессии. «Дело такое трудное, – писал Долгорукий, – что я до сих пор не найду к нему приступа». Долгорукий нашел такой приступ, что обещал неопределенные субсидии, но не получил никакого ответа на свое предложение.

В марте ганноверская партия достигла своей цели. Некоторые члены секретной комиссии, взявшие русские деньги, противились акцессии; Горн решился перекупить их и дня в три уладил дело; небогатым купцам и сельским священникам дали по пяти сот и по тысяче червонных. Употребивши это могущественное средство, Горн держал членов секретной комиссии от семи часов утра до восьми пополудни и довел дело до того, что вместо удовлетворения герцогу голштинскому за Шлезвиг, чего прежде упорно требовала комиссия, согласились довольствоваться одними добрыми услугами Франции и Англии и тут ограничились словесными обещаниями, потому что министры французский и английский отказались внести этот пункт в договор, ибо короли их обязались прежде удерживать Шлезвиг за Даниею; согласились отпустить за границу шведские войска в числе 8000 на помощь Англии и Франции, которые за это обещали платить субсидии в продолжение трех лет, и платить каждый год вперед по 200000 червонных; но шведское правительство просило по 300000 червонных в год и в продолжение всего времени, пока договор будет в силе. На этом дело остановилось. Долгорукий советовался с цесарским и голштинским министрами, какие теперь употребить последние средства для удержания Швеции от акцессии, и не могли ничего придумать, кроме денег. Долгорукий обещал с русской стороны платить ежегодно по сту тысяч рублей в продолжение трех лет, да столько же обещал цесарский министр от своего государя.

Но и это не помогло: акцессия была принята; король и Сенат согласились на нее. Чтоб истощить все средства сопротивления, Долгорукий и Фрейтаг, цесарский министр, раздали еще 4000 червонных, чтоб произвести по крайней мере сильный крик в полном собрании сейма. «Мало надежды, – писал Долгорукий, – чтоб могли переделать, когда уже сделано; однако увидим, что тот крик произведет».

Крик не произвел ничего: акцессия прошла окончательно на сейме. Но Долгорукого, привыкшего при Петре к уважению, с каким относились к могущественной России, особенно оскорбило невнимание шведских вельмож к предложениям представителя русской императрицы. «При других дворах, к которым я был послан, таких необыкновенных и гордых поступков не видел, – писал он в Петербург. – Хотя я знатные субсидии от вашего величества и от цесаря обещал, однако здешние правители не только не отвечали учтивою благодарностию, но даже не отозвались ни одним словом. По таким здешнего двора гордым поступкам видится, неприлично мне здесь быть в характере, в каком я сюда прислан». В конце марта Долгорукий писал: «По всем поступкам королевским и Горновым и их партии видится, что они мыслят о войне против России; а без такого намерения, как нагло и гордо презря обязательство с вашим

императорским величеством, акцессии они б не учинили и в такое тесное обязательство с королем английским не вошли, особенно в то время, когда он вам неприятель; и если они вскоре войны не начнут, то, конечно, за недостатком и невозможностию; но на все это совершенно положиться нельзя, ибо, как я слышу, усиленно и неусыпно трудятся экономию и государственные доходы как возможно лучше исправить, войско, флот и все нужное к войне в доброе состояние привести. Поэтому для всякого опасного случая нужно Выборг снабдить гарнизоном. артиллерию), амунициею и провиантом. Ежели, ваше императорское величество, повелите войска к Выборгу или к рубежам финляндским послать, всепокорно прошу, прежде нежели войска посланы будут, повелеть меня отсюда отозвать, чтоб я успел вы ехать; а ежели здесь уведают, что войска к рубежам идут, то по нынешним здешним поступкам можно опасаться, что меня здесь удержат, о чем один из друзей моих уже мне и говорил». В секретнейшей реляции Долгорукий доносил, что так как граф Горн был единственным виновником приступления Швеции к ганноверскому союзу, то нельзя не предвидеть его замыслов, которые клонятся к возвращению завоеванных Россиею провинций и к доставлению со временем шведской короны английскому принцу; некоторые из доброжелательных России лиц желают, чтоб к Выборгу скорее были присланы русские галеры с 20000 войска под предводительством фельдмаршала князя Голицына, дабы этим способом принудить к созванию нового сейма и к выбору нового маршала вместо Горна, уничтожить союз с английским королем и утвердить прежний союз с Россиею.

10 апреля в Верховном тайном совете рассуждали о шведских делах. Понятно было сильное беспокойство герцога голштинского, у которого стокгольмские события грозили отнять надежду на наследство шведского престола и на возвращение Шлезвига. Герцог говорил, что в Петербурге находится шведский капитан, который за убийство своего соперника на поединке принужден был покинуть отечество, и предлагает с четырьмя полками конницы завоевать всю Финляндию. Герцог потом советовал министрам исполнить желание австрийского посланника графа Рабутина, пригласить его на конференцию и все его предложения принимать на доношение императрице; внушал, чтобы не только на эту конференцию, но и на все другие допускался с его, герцоговой, стороны министр его, граф Бассевич. Наконец, герцог советовал писать в Швецию к князю Долгорукому, требовать от него и от тамошних доброжелателей мнения, как России поступить со Швециею по случаю присоединения ее к ганноверскому союзу. Члены Совета согласились, и Остерман сейчас же написал проект рескрипта Долгорукому; все члены одобрили проект, один Меншиков требовал добавить, чтоб посол взял от русских доброжелателей список их имен, дабы в случае войны можно было щадить их; но вопреки Меншикову в рескрипте написали, чтоб Долгорукий уведомил, как велика партия доброжелательных к России людей, предупредив их, что приступление Швеции к ганноверскому союзу заставит Россию принять сильные меры, и требовал их согласия на это.

Но прежде получения этого рескрипта Долгорукий объяснил главную причину, почему в Швеции решились порвать с Россиею и с таким презрением относились к представлениям ее посланника. «Горн и его партия, – писал Долгорукий от 13 апреля, – всякому внушают, что за акцессию от стороны вашего величества ни малейшего опасения нет и впредь не будет; а ныне в самом крайнем

секрете мне сказано, что шведский министр Цедеркрейц, который при дворе вашего императорского величества, в реляции своей писал, будто при дворе вашего императорского величества между некоторыми из главных особ великие несогласия; ту его реляцию читали в секретной комиссии, и король с Горном и со всею его партией очень обрадовались и рассуждают, что по причине этих несогласий ни малейшей опасности с русской стороны Короне Шведской быть не может. От других слышу, что и в частных письмах о том сюда пишут, и это производит здесь немалую радость и безопасность». В этом донесении Долгорукий говорил неопределенно о великих несогласиях между главными лицами, но гораздо определеннее писал он Меншикову еще в декабре 1726 года: «Для собственного вашей светлости известия не хотел я преминуть, не уведомляя вашу светлость: сказывали мне человек пять или шесть, всякий за секрет, что писал сюда шведский министр Цедеркрейц, будто он имел с вами разговор, в котором будто вы изволили ему дать знать, что здешняя акцессия не весьма противна ее императорскому величеству будет, ежели Корона Шведская может исходатайствовать его королевской светлости (герцогу голштинскому) удовольствие в деле шлезвигском. Тот разговор, как я слышу, противная партия в пользу себе толкует. Прошу вашу светлость содержать сие тайно, а особливо не объявлять, что я вам доносил; я не хотел преминуть, чтоб по должности моей вашу светлость о сем не уведомить». Впоследствии было узвано о письме Меншикова к шведскому сенатору Дибену, где светлейший князь уверял, что русские министры в Стокгольме действуют против акцессии только для вида, из угождения новому союзу с цесарем, что он, Меншиков, имея в руках войско, не допустит до войны, что здоровье императрицы очень слабо и чтобы в случае ее кончины приятельские внушения его не были забыты в Швеции, когда ему понадобится какая-нибудь помощь. Меншиков сообщал Цедеркрейцу о всем происходившем в Верховном тайном совете, за что получил через него английскими деньгами 5000 червонных.

Голштинское дело сообщало особенное значение отношениям России к Дании. Когда в Копенгагене получено было известие о кончине Петра, то произвело неописанную радость, по словам резидента Ал. Петр. Бестужева: «Из первых при дворе яко генерально и все подлые с радости опилися было». Королева в тот же день в четыре церкви для нищих и в гошпитали послала тысячу ефимков под предлогом благодарности богу за выздоровление короля; но в городе повсюду говорили, что королева благодарила бога за другое, потому что король выздоровел уже неделю тому назад, да и прежде король часто и опаснее болел, однако королева ни гроша ни в одну церковь не посылала. Только король вел себя прилично и сердился на тех, которые обнаруживали нескромную радость. Радость эта происходила оттого, что ожидали смуты в России; уже мечтали о том, что цесарь даст королю инвеституру и гарантию на Шлезвиг и оба двора, как венский, так и копенгагенский, обяжутся доставить русский престол великому князю Петру Алексеевичу, что легко будет сделать, потому что шведы, поляки и турки воспользуются смутою для своих выгод. Восторг прекратился, когда следующая почта привезла известие, что Екатерина признана самодержавною императрицею безо всякой смуты. В высших кругах, впрочем, еще не теряли надежды на смуту: камергер Габель говорил публично и решительно, что через три месяца получится известие о страшной смуте в России. В этом ожидании и в надежде на то, что

Россия во всяком случае будет занята персидскими, турецкими и польскими (по поводу торнской смуты) делами, королевская фамилия со всем двором находилась «в добром и веселом гуморе» и в полнейшей безопасности, так что Бестужев писал, что теперь самое удобное время предпринять что-нибудь в пользу герцога голштинского. Даже известие, что русский флот готовится к походу, не произвело впечатления; при дворе говорили: «Мы уже привыкли, что русский флот каждое лето воду мутит, выходя в море для обучения компасу и навигации».

Но в мае «добрый и веселый гумор» исчез по тревожным вестям из Петербурга от датского резидента при тамошнем дворе Вестфалена: пушки, которые было уже начали свозить с кораблей в арсенал, опять поворотили на корабли, которые были приготовлены наспех, без достаточного числа матросов. Слабая Дания находилась в самом затруднительном положении: Англия и Франция предлагали помощь против России, но за то требовали вступления в ганноверский союз, а с другой стороны, присылал цесарь с обещаниями действовать в пользу Дании, если она обяжется не давать никому своих войск, кроме него, за субсидию; нужна была помощь Англии и Франции, и страшно было отвергнуть предложение цесаря, который мог соединиться с Россией и Швецией. Решили тянуть время, и если с русской стороны не будет нападения, то не вступать ни с кем в обязательства, при первом же появлении русского флота у датских берегов вступить в союз с Англией и Францией. Но ганноверские союзники не могли успокоиться на таком решении Дании; они представляли ей, что бояться нечего, если она вступит в их союз: Пруссия и Голландия – в числе союзников, Швецию уговорят непременно приступить к нему; с другой стороны, Англия и Франция употребят все усилия поднять турок против России, против которой вооружится и Швеция для возвращения завоеванных у нее провинций.

Осенью, когда русский флот возвратился в Ревель, Бестужев имел разговор с канцлером графом Гольстом. «Для чего, – говорил резидент, – Дания каждый год тратится на вооружение флота по ложным внушениям, будто русский флот выходит из своих гаваней с враждебными против Дании намерениями? Кажется, датский двор может ясно видеть, что русский флот выходит в море только для упражнений». «Что же делать? – отвечал Гольст. – Мы не можем помешать, чтоб русский флот не выходил в море для упражнений, а между тем ежегодный выход его возбуждает здесь подозрения, и мы не можем не принимать мер предосторожности». «Лучше было бы обоим государям вступить в соглашение; этим средством Дания скорее достигнет безопасности, чем вступлением в разные союзы», – заметил Бестужев. Канцлер отвечал, что Дания ни в какие союзы не вступает и предпочитает дружбу русской государыни, желая возобновить ее и утвердить древним союзом. «Датская дружба, – говорил Гольст, – для России надежнее, чем какая-нибудь другая; притворство другой новой дружбы со временем окажется, когда турки вооружатся против России; Дания же всегда желала, чтоб Россия была сильнее своих соседей; для собственных интересов Дания не может соперничать с Россией». Приятели внушали Бестужеву, что если обер-секретарю иностранных дел фон Гагену дать тысячу червонных и четыре тысячи посулить да канцлеру графу Гольсту посулить 20000 червонных, то эти деньги более принесут пользы герцогу голштинскому, чем 50 русских линейных кораблей в Балтийском море, потому что датский король охотнее вступит в соглашение с Россией и останется нейтральным, чем пристанет к какой-нибудь

стороне. Но в России считали делом очень трудным уладиться с датским двором насчет шлезвигского дела и не хотели тратиться по-пустому; ждали, чтоб Дания сделала первый шаг и указала какой-нибудь выход из затруднения.

Весною 1726 года на датских водах явился английский флот, и Бестужев заметил, что король и весь двор чрезвычайно обрадовались гостям, избавлявшим их от беспокойства насчет прогулки русского флота. Ганноверский министр Ботмар, встретившись при дворе с Бестужевым, спросил его, видел ли он английский флот, и стал хвалить его: «Прекрасный флот!» «Этого флота я еще не видал, – отвечал Бестужев, – но тот флот, который в 1721 году возвращался от берегов Швеции в Англию, я видел; зачем теперь флот сюда пришел, разве где-нибудь война?» «В Петербурге делаются большие военные приготовления», – сказал Ботмар. Бестужев отвечал ему, что по Адмиралтейскому уставу Петра Великого треть флота ежегодно должна выходить в море для упражнений. «Везде слышно об угрозах, которые переносить нельзя», – возразил Ботмар. Бестужев доносил в Петербург, что с появлением английского флота все стали чуждаться его, резидента, как зачумленного.

Осенью английская эскадра возвратилась, не тронувши русского флота. Это обстоятельство и союз России с Австриею удержали Данию от приступления к ганноверскому союзу; и когда весною 1727 года английская эскадра опять появилась на датских водах и английский адмирал требовал, чтоб датский флот соединился с его флотом, то получил отказ; при этом Бестужев узнал о донесениях Вестфалена из Петербурга, что с русской стороны не будет против Дании никакого неприятельского поступка.

Прусский король Фридрих-Вильгельм I прослезился, когда граф Александр Головкин объявил ему о кончине Петра, и уверял, что будет продолжать дружбу и к его преемнице. «Я по смерти своего дражайшего друга хочу показать свою верность», – сказал король и стал носить траур даже в Потсдаме, чего никогда не делывал; всем велел носить траур четверть года, тогда как по других государях носили только шесть недель. На вопрос своего посланника в Петербурге Мардефельда, как ему носить траур, король отвечал: «Как по мне». Головкин писал императрице: «При нынешних конъюнктурах надобно дорожить дружбою короля прусского, и если ваше величество изволите принять какие-нибудь меры к продолжению взаимной дружбы, то имею надежду успеть в этом, особенно если со стороны вашего величества будет сделано королю что-нибудь угодное, именно присылкою нескольких великанов, потому что этим способом и при блаженной памяти императоре важные дела были исправлены; и другие государства этим же способом его склоняют». Король сам предложил заключить оборонительный союз между Россиею и Пруссиею и особенно обращал внимание Екатерины на Польшу. «Надобно нам между собою ближайшим образом согласиться, – говорил он Головкину, – надобно откровенно друг другу объявить свое мнение, ибо легко может случиться, что король польский осуществит свои вредные замыслы, и тогда трудно и поздно будет препятствовать, надобно заранее обо всем между собою согласиться: недаром саксонские полки готовятся, какие-нибудь злые замыслы имеют». Фридрих-Вильгельм велел объявить саксонскому посланнику, что если через девять дней саксонский двор не объявит подлинного намерения о приготовлениях своих войск, то прусское войско соберется при саксонской границе. «Если саксонцы, – говорил король Головкину, – несмотря на то, вступят в

свои лагеря близ моих границ, то я прямо на них пойду, и, потом что сделается, не я буду виноват и все потери с них требовать буду. Саксонцы такой народ, что им отнюдь ни в чем верить нельзя; но если б какое другое соседнее государство войско свое собирало, например если б ваших войск собралось хотя бы сто тысяч при самых моих границах, то я бы ни малейшего подозрения не имел, потому что я ничего от вас не опасюсь».

Саксонский двор уступил и велел своему посланнику объявить Фридриху-Вильгельму, что не будет больше собирать полков на бранденбургских границах. Король успокоился; но летом 1725 года пришла грамота от английского короля, что Россия вооружает флот против Дании, в пользу герцога голштинского и потому Пруссия, гарантировав Дании Шлезвиг, обязана помочь и в этом случае дипломатическим путем, а в случае нужды и войском. Ответная грамота прусского двора была «в генеральных и прикрытых терминах, чтобы английский двор не мог ни за явный отказ, ни за обещание принять». Но Европа поделилась на два союза – англо-французский и австро-испанский; Фридрих-Вильгельм отправился в Ганновер для свидания с английским королем и по возвращении объявил Головкину: «Так как венский двор с Испаниею) вступил в тесный союз и другие католические державы к этому союзу приглашает, то король английский нашел нужным образовать другой сильный союз, и я вступил в этот союз, который имеет Главною целию сохранение вестфальского и оливского договоров; но уверяю вас, что в этом новом союзе нет ничего предосудительного русским интересам, и все желают, чтоб и Россия в него вступила, того же особенно желаю и я». Россия не приступала к ганноверскому союзу, но это не мешало Фридриху-Вильгельму сохранять с нею дружественные отношения; он объявлял, что с Англиею и Франциею он только в оборонительном союзе и очень рад быть в таком же союзе с Россиею. «Когда мы, – говорил король, – с покойным императором русским в доброй дружбе были, то изрядную фигуру делали».

В марте 1726 года прусские министры предложили Головкину, не угодно ли будет русскому двору посредничество прусского для отстранения препятствий, мешающих России приступить к ганноверскому союзу, итак как главное препятствие состоит в требуемом Россиею вознаграждении герцогу голштинскому за Шлезвиг, то прусский король предлагает отдать герцогу Курляндию. Головкин отказался принять это предложение на доношение, сообразив, что: 1) он ничего не знает о намерении императрицы относительно Курляндии; 2) герцог голштинский уже раз не согласился на это предложение, сделанное ему прямо берлинским двором; 3) дело может произвести неприятное впечатление на поляков. В Петербурге были очень довольны поступком Головкина: «Сей поступок весьма апробуется, и впредь таким же способом от того уклонялся бы». Дружеские сношения петербургского двора с венским сильно беспокоили Фридриха-Вильгельма; но Головкин относительно австро-русского союза говорил ему то же, что король говорил о вступлении своем в ганноверский союз: «Если и заключен будет какой-нибудь договор, то в нем не будет ничего предосудительного для Пруссии, а, может быть, еще подастся случай выговорить что-нибудь в ее пользу». «Я желаю одного, – отвечал король, – чтоб цесарь оставил меня в покое тогда и я бы оставил его в покое; я потому и к ганноверскому союзу приступил». Когда был прислан из Петербурга давно желанный проект союзного договора между Россиею и Пруссиею, то король,

изъявляя готовность принять этот проект, повторял, что желает посредством России получить от венского двора обнадеживание, что двор этот не только не будет делать вперед никаких противностей Пруссии, но и будет ей благоприятствовать. «Другие меня вовсе оставят, а с цесарским двором у меня не гораздо большая гармония, поэтому-то я и желаю получить письменное обнадежение от цесарского двора, что он фаворабельным ко мне себя по кажет, и тогда дела основательно поведены быть могут». «По нынешней ситуации дел в Европе легко может война произойти а мои земли в середине стали, и легко может театрум войны в моих землях быть, и я все думаю, как бы это добрым способом от себя отвести».

Таковы были внешние отношения России при Екатерине I. Мы видели, как в разных странах, враждебных новой империи обрадовались при известии о неожиданной, преждевременной смерти великого царя. Ожидания были обмануты: внутренней смуты в России не последовало; несмотря на то, Россия находилась в затруднительном положении; русские люди прежде всего требовали отдыха, и не было более человека, который мог возбуждать их к постоянной деятельности; внимание было поглощено внутренними делами, тяжелою разборкою в материалах преобразования, финансовыми затруднениями. Хотели поскорее развязаться с войною персидскою, особенно в ожидании войны турецкой и столкновений западных. Смерть Петра произвела свое действие: к России обращались уже не с таким уважением, как в последнее время предшествовавшего царствования; английский флот сторожил русские берега, и теперь над ним не насмеялись так, как насмеялся Петр опустошением шведских берегов; в Швеции русская партия поникла; в делах курляндских остерегались раздражить Польшу. Но и Западная Европа с своей стороны боялась войны: против союза ганноверского образовался союз австро-испанский, к которому, естественно, примкнула Россия и восстановила равновесие. Дряхлый правитель Франции кардинал Флери, полный представитель одряхлевшей французской монархии, сильно боялся, что австрийское войско будет подкреплено тридцатитысячным русским корпусом; Англия также не хотела тратиться на войну, от которой не ждала непосредственных для себя выгод, и довольствовалась тем, что защитила Данию; прусский король боялся больше всего, чтоб в его земле не был театрум войны, – и Россия могла прожить в мире опасное время по смерти Петра Великого, когда нужно было решать столько важных внутренних вопросов, и прежде всего вопрос о престолонаследии.

Приверженцы Екатерины, настоявши на возведении ее на престол, не решали страшного для себя вопроса, а только отсрочивали его решение. «Не сомневаются, что при Екатерине дела пойдут хорошо, но сердца всех за сына царевича», – писал саксонский посланник Лефорт к своему двору. Легко было возвести на престол Екатерину во время малолетства великого князя Петра, но неужели этот единственный мужеский представитель династии, относительно прав которого нельзя было навести ни малейшего сомнения, и в летах совершенных будет отстранен в пользу одной из дочерей Екатерины? Мужеский потомок царей будет отстранен в пользу женщины, которая выйдет замуж или за иностранного принца, или за русского, своего подданного, – в обоих случаях неудобство громадное. Милостями и ласками Екатерина надеялась привязать к себе и к своим детям старых вельмож; но милости и ласки способны привязать к правительству

твердому: у слабого же берут награды и озираются кругом, ища чего-нибудь более твердого. При первом неудовольствии вельмож на правительство по поводу Меншикова грозное имя великого князя Петра переходило из уст в уста, и напуганному воображению уже представлялась украинская армия,двигающаяся к Петербургу под начальством любимого вождя князя Михаила Михайловича Голицына. Неудовольствие вельмож при разрозненности стремлений их к личным выгодам одно могло быть и не опасно; но опасно оно было тем, что находило поддержку в огромном большинстве народа, для которого было немыслимо отстранение Петра II в пользу тетки, как немыслимо было прежде отстранение Петра I в пользу сестры. События конца прошлого века были в свежей памяти у всех, и для всех ясны были причины падения царевны Софьи. Поминовение в церквах обеих цесаревен прежде великого князя Петра Алексеевича как намек на отстранение последнего, первенство герцога голштинского пред великим князем при погребении Петра Великого, хвастовство Бассевича, что он возвел Екатерину на трон и держит ее в своих руках, возбуждали сильное неудовольствие, которое начало высказываться подметными письмами. После 2 апреля 1726 года присутствия в Верховном тайном совете не было две недели: императрица была потревожена подметными письмами, направленными против постановления, по которому царствующий государь имел право назначать себе преемника. Подозревали, что эти подметные письма есть дело людей значительных; министры советовались между собою на словах, и каждый из них лично изъяснял императрице, какими, по его мнению, способами можно оградить престол от потрясений. Остерман подал письменное мнение, в котором всего лучше выставлено было затруднительное положение правительства в вопросе о престолонаследии. Остерман предлагал для примирения интересов женить великого князя Петра Алексеевича на цесаревне Елисавете Петровне. Зная, что главным препятствием этому браку будет близость родства, Остерман писал: «Вначале, при сотворении мира, сестры и братья посягали, и чрез то токмо человеческий род распложался, следовательно, такое между близкими родными супружество отнюдь общим натуральным и божественным законам не противно, когда бог сам оное, яко средство мир распространить, употреблял». Но для нас важнее всего те соображения Остермана, из которых оказывалась невозможность отстранить великого князя в пользу цесаревен: «Если же наследство на одном из ее величества детей или кровных наследников, с исключением великого князя, установить, то всегда в Российском государстве разделения и партии останутся, и может какой бездельный, бедный и мизерабельный мужик под фальшивым именем, однако ж, себе единомышленников прибрать, чего же не может государь при взрослых летах учинить, которого рождение не ложно и которое ему в государстве не токмо многое почтение придает, но и его многие сродники знатные великую часть нации сочиняют, который тако ж и вне государства на римского цесаря, яко своего дядю, сильную подпору в способное время уповать может. Не может такая мудрая императрица ни 12 человек из своих вельмож в соединении содержать; как же возможно уповать, чтоб по смерти ее принцессы, которые в правительстве гораздо не так обучены, без нападков и опасности остались? При которых смятениях обе всего своего благоповедения лишиться могут».

Но Остерман знал, что брак между Петром и Елисаветою не обеспечивал интересов дочерей Екатерины: Петр мог поступить со своею женою подобно деду

– развестись и заключить ее в монастырь, тем более что оправдание найти было легко: незаконность брака по причине близкой степени родства. В избежание этого Остерман предлагал при заключении брака определить порядок престолонаследия: по смерти Екатерины на престол взойдет великий князь Петр, а принцесса Елисавета получит в наследственное владение провинции, завоеванные у Швеции; в случае если у нее кровных наследников не будет, то эти провинции поступают во владение наследников принцессы Анны Петровны, причем гот из ее наследников, который будет призван на шведский престол, не может получить их. Если и великий князь и принцесса Елисавета умрут бездетны, то они не должны располагать после себя престолом, но должно определить, чтоб находящийся тогда в живых наследник принцессы Анны вступил на престол. Чтоб принцесса Елисавета была безопасна во владении завоеванных провинций, жители их заблаговременно должны присягнуть обеим принцессам, а находящиеся в них все полки должны поклясться, что по смерти императрицы будут находиться в послушании у принцессы Елисаветы. Весь народ русский и сам великий князь должны подтвердить присягою это постановление; великий князь подтверждает его вторично, когда придет в совершенные лета, и, чтобы все получило надлежащее начало, принцесса Елисавета должна быть назначена немедленно губернатором завоеванных провинций, как эрцгерцогиня австрийская была в Брабанте; римско-цесарский двор и Швеция должны гарантировать это постановление; все члены императорской фамилии должны его одобрить и с присягою подписать. По словам Остермана, брак Петра с Елисаветою примирит партии, утишит смятения, возвратит спокойствие народу и поселит в соседних державах уважение к России.

В этом проекте чрезвычайно ясно была выставлена невозможность отстранить великого князя Петра в пользу цесаревен, но, разумеется, средство, предложенное Остерманом для соединения интересов теток и племянника, не могло быть принято: искушать русский народ браком племянника на родной тетке было нельзя и упрочивать незаконный и потому легко расторгимый брак прибалтийскими областями было бесполезно, ибо гарантии чужих держав не могли спасти их от вторичного завоевания, тем более что защищать их от русского императора должны были русские же полки! Екатерине оставалось одно: настаивать на своем праве назначить себе преемника и предоставить дело времени, предоставить себе решить его, «смотря по конъюнктурам». Во всяком случае нужно было заботиться о ближайших интересах своих дочерей, и мы видели, как Екатерина хлопотала о возвращении Шлезвига герцогу голштинскому. Относительно второй дочери, цесаревны Елисаветы, желанный отцом и матерью брак ее с королем французским не состоялся; брак с побочным сыном Августа II, искателем приключений Морицем, был слишком непривлекателен. Явился жених более приличный. В Петербург приехал двоюродный брат герцога голштинского, старший родной брат назначавшегося в герцоги курляндские Карл, титулярный епископ любский, был обласкан, получил орден св. Андрея и 5 (16) декабря 1726 года написал императрице следующее письмо: «Чрез некоторое время весь свет единому премудрому ведению всещедрого бога удивлялся, по которому случилось, что его королевское высочество государь герцог Карл-Фридрих шлезвиг-голштинский пред некоторыми летами в Россию приехал, чтоб ему здесь издавеча милостиво поданную сильную руку помощи ныне принять. Потом за

благословением Божиим с ним здесь толь счастливо учиненное кровное свойство есть тому явственному доказательству, что его королевское высочество самый тот путь нашел, чрез который бог определил его паки благословить и его всему княжескому дому крепкую подпору ко впредбудущему благоповедению показать. При сем (то королевскому высочеству весьма увеселительно быть имеет, что чрез некоторое время взаимно в некоторых важных делах уже явственно оказалось, что с ним учиненное соединение Российскому государству тако ж свою превеликую пользу с собою приносит и впредь тому еще вяще полезнее быть имеет. Сии рассуждения, всемилостивейшая императрица, тако ж. и меня, яко его королевского высочества ближнего кровного сродника, возбудили по его склонному совету сюды приехать, чтоб так о помянутом благословенном следовании ныне вкупе порадоваться возможи, как и особливо счастье имети вашему императорскому величеству, персонально знаему быть и вашу неоцененную превысочайшую милость в глубочайшей покорности получить. И к получению оной с Божиею помощию имею я толь наивящшую надежду, понеже ваше императорское величество (за что пока всепокорнейше благодарение воздаю) мне чрез пожалование ковалерии св. Андрея уже милостивый опыт тому подали. Ежели же предвидение всевысочайшего бога то так устроило, чтоб я с моей стороны не знал себе в свете вящего счастья желать, как чтоб и я удостоен быть мог от вашего императорского величества вторым голштинским сыном (für einen zweiten Holsteinischen Sohn) в вашу императорскую высокую фамилию восприятю быть. Может быть, от меня весьма смело учинено, что я дерзаю вашему императорскому величеству вдруг такое откровенное представление чинить. Но ежели я в том проступился, то ваше императорское величество да соизволит милостиво сие мое преступление токмо истинному, совершенному высокопочтению приписать, с которым я несравненные добродетели и высокие дарования прекраснейшей принцессы Елисаветы, ее императорского высочества, в моем сердце почитаю и которое далее утаить мне невозможно было. Якоже и я оставить не могу вашего императорского величества сим всепокорнейше просить ко мне высокую свою милость явить, высокопомянутую принцессу, дочь свою, ее императорское высочество мне в законную супругу матернею высочайшею милостию позволить и даровати. Утверждение моего временного благоповедения предается сим токмо в руке великого бога и вашего императорского величества, и присовокупляю еще токмо к сему сие верное обнадеживание, что я во всю свою жизнь готов буду за ваше императорское величество, императорскую фамилию и за интерес Российского государства и последнюю каплю крови радостно отдать и сакрификовать. В ожидании скорой всемилостивейшей и склонной резолюции пребываю с глубочайшим почтением вашего императорского величества всепокорнейший, преданнейший слуга Карл, бискуп любецкий».

Склонная резолюция последовала, принц Карл голштинский стал женихом цесаревны Елисаветы. Старший герцог голштинский, подкрепленный этою новою связью, мог думать, что крепко утвердился в России; это утверждение было ему теперь тем более необходимо, что надежда на шведское наследство, так усилившаяся в последнее время царствования Петра, начала снова ослабевать. Но в то самое время, когда из Стокгольма приходили дурные вести о торжестве партии, враждебной России и герцогу голштинскому, он был поражен известием,

что Меншиков просил императрицу о согласии на брак его дочери с великим князем Петром и что Екатерина дала согласие.

До сих пор люди, всего более содействовавшие возведению на престол Екатерины, хотя и сознавали, как трудно будет в другой раз отстранить от престола великого князя Петра в пользу одной из его теток, однако могли надеяться, что Екатерина проживет еще долго и обстоятельства могут несколько раз измениться в их пользу. Остерман грозил восстаниями народа за Петра как единственного законного наследника; ему могли отвечать, что войско на стороне Екатерины, что оно будет и на стороне дочерей ее. Привязанность войска сильно поддерживалась. В газетах, которыми правительство старалось действовать на общественное мнение, подле заботливости Екатерины о просвещении, о продолжении дел Петра особенно выставлялась заботливость ее о войске. «Ее императорское величество, – печаталось в газетах, – матернее имеет попечение к своим подданным, а наипаче в тех делах, кои начаты при его величестве, дабы их всемерно в действие произвести, а наипаче о науках молодых шляхтичей, для которых новые профессеры из других краев выехали, и ко оным профессорам великую показала милость и высокую свою протекцию и указала им прежнюю академию рассмотреть, и вновь еще молодых шляхтичей набирать, и школы умножать. Немалое имеет попечение о воинских делах и в прочем, что принадлежит к удовольствию полков, и часто изволит сама при экзерцициях присутствовать. Между теми же полезными государству и подданным своим делами не оставила в Питергофе, яко в любимом месте государя императора, на память его величества славных дел, некоторые дома доделывать и игровыми водами и прочими украшениями украшать». Под девятым числом ноября 1725 года в «Петербургских ведомостях» читали известие, что императрица делала смотр Ингерманландскому полку на лугу, где стоит большой глобус, потом вошла в шатер и всех офицеров из рук своих напитками жаловала; тут же были цесаревны и герцог голштинский. В 1726 году читали известие о следующем случае: «На гаптвахте, что у Зимнего дома, караульный капитан-поручик Петр Чичерин, когда поспешал ко фрунту для отдания чести цесаревне Елисавете Петровне, наткнулся на протазан и жестоко поколосся, так что не чаяли живу ему быть. Ее величество того ж момента изволила, встав из-за кушанья, сама выйти к тому раненому и указала его отнести в особливую палату, архиатер лейб-медикус и лекари придворные призваны, и указала того раненого при себе перевязать и потом едва не по все дни изволила его сама надзирать. И тако тот офицер чрез помощь божию и милостивое призрение живот свой спас». Потом читали, что на гвардейские полки сделан мундир преизрядный, какого никогда в тех полках не бывало.

На войско крепко надеялись, но для войска нужен был искусный предводитель, и таким был фельдмаршал светлейший князь Меншиков, первая военная знаменитость, оставленная славным царствованием Петра. Толстой, несмотря на весь его ум и ловкость, не мог занимать первого места при решительном действии и уступал его Меншикову именно как полководцу. Вот почему Меншиков был так необходим для партии приверженцев Екатерины и ее дочерей, ибо кого можно было противопоставить другому фельдмаршалу, любимому вождю Украинской армии князю Михаилу Михайловичу Голицыну? Вот почему можно принять известие, что когда во время отсутствия Меншикова в

Курляндию против него в Петербурге поднялась сильная буря, то герцог голштинский своим предстательством у императрицы поспешил успокоить эту бурю. Но если Меншиков был так необходим для партии Екатерины и дочерей ее, то легко понять ужас и раздражение этой партии, когда узнали, что светлейший изменяет ей. Что же побудило главу партии к этой измене?

Меншиков, подобно Остерману, должен был понимать, как трудно было бы отстранить от престола великого князя Петра, должен был понимать, что на него, Меншикова, как на самое видное лицо в противной Петру партии, должна была обрушиться вся ненависть приверженцев великого князя, а к этим приверженцам принадлежало народное большинство. В подметных письмах говорилось: «Известие детям российским о приближающейся гибели Российскому государству, как при Годунове над царевичем Димитрием, учинено: понеже князь Меншиков истинного наследника, внука Петра Великого, престола уже лишил, а поставляют на царство Российское князя голштинского. О горе, Россия! Смотри на поступки их, что мы давно проданы». Мысль, что преемником Екатерины должен быть Петр, не ослабевала в народе: осенью 1726 года ходили слухи, что императрица после именин своих поедет в Москву короновать внука. Аранского (Нижегородского) монастыря архимандрит Исаия поминал на ектениях «благочестивейшего великого государя нашего Петра Алексеевича» вместо «благоверного великого князя» и, когда ему возражали, отвечал: «Хотя мне голову отсекут, буду так поминать, а против присланной формы поминать не буду, потому что он наш государь и наследник». Меншикова выставляли Годуновым; но в чью пользу он, по мнению народа, готов был совершить годуновское дело? В пользу герцога голштинского. В самом деле, для чего Меншиков должен был выставлять себя в таком ненавистном свете, подвергаться таким опасностям, поддерживать дело трудное, почти невозможное? Для того чтоб по восшествии на престол цесаревны Анны или Елисаветы уступить все свое влияние какому-нибудь Бассевичу! Меншиков стал добиваться Курляндского герцогства для обеспечения будущности своей и своего семейства, потерпел неудачу и должен был подумать о чем-нибудь другом. Додумался ли он сам? Есть известие, что другие указали ему средства выйти из затруднительного положения.

Россия заняла важное место среди европейских держав с могущественным влиянием, особенно на судьбу держав соседних. Понятно, что последние должны были заботливо следить за внутренними переменами в ней и сильно волноваться вопросом: кто будет преемником Екатерины? Особенно этот вопрос был важен для Дании, которой вступление на русский престол герцогини голштинской грозило страшною опасностью, а вступление великого князя Петра уменьшало или даже уничтожало опасность. Датский министр в Петербурге Вестфален должен был больше всех трудить свою голову над придумыванием средств, какими можно было помочь возвести на престол великого князя Петра, и наконец нашел средство: оно состояло в том, чтоб отнять у партии, враждебной Петру, ее главу Меншикова и заставить его действовать в пользу Петра. Но Вестфален, по известным отношениям своего двора к русскому, не мог сам действовать и обратился к министру другого двора, которого интересы относительно престолонаследия в России были тождественны с интересами датскими. Мы видели, что Остерман, разбирая средства великого князя Петра, указывал на поддержку, которую он должен найти у австрийского двора, будучи племянником

цесаревны. Теперь с австрийским двором был заключен союз, и посланник цесаря, граф Рабутин, занимал самое видное место в Петербурге между представителями европейских дворов, пользовался наибольшею доверенностию и доступом. К нему-то и обратился Вестфален с предложением привлечь Меншикова на сторону великого князя указанием на блестящую будущность, которая ожидает его при Петре, если он выдаст за него дочь свою; со стороны цесаря Рабутин обещал Меншикову первый фьеф, какой только сделается вакантным в империи. Разумеется, Меншиков должен был с радостью принять это предложение, представлявшее ему такой блестящий выход из его затруднительного положения. Оставалось получить согласие императрицы на брак великого князя с княжною Меншиковою. Светлейший воспользовался тем, что дочь его была сговорена за польского выходца графа Сапегу, но императрица взяла этого жениха для своей племянницы Скавронской, и Меншиков в вознаграждение начал просить согласия на брак своей дочери с великим князем. Императрица согласилась. Нужно ли объяснять это согласие одним упадком нравственных сил в Екатерине, о котором доносили некоторые иностранные министры дворам своим, или Екатерина видела невозможность отстранить от престола великого князя в пользу одной из дочерей своих и думала, что упрочивает их положение, соединяя с будущим императором человека, на признательность которого имела право рассчитывать?

Как бы то ни было, дело было решено в марте 1729 года, и это решение привело в ужас цесаревен и их приверженцев. Обе цесаревны бросились к ногам матери, заклиная ее подумать о гибельных следствиях сделанного ею шага: к ним на помощь явился Толстой с своими представлениями: он говорил об опасности, какой императрица подвергает своих детей и своих самых верных слуг; грозил, что последние, не будучи в состоянии с этих пор быть ей полезными, принуждены будут ее покинуть; он сам скорее подвергнет жизнь свою опасности, чем станет спокойно дожидаться страшных последствий ее согласия на просьбу Меншикова. Екатерина защищалась, говорила, что не может изменить слову, данному по фамильным причинам, и брак великого князя на Меншиковой не переменит нисколько ее тайного для всех намерения относительно престолонаследия. Несмотря на то, представления Толстова произвели сильное впечатление на Екатерину, и герцог голштинский стал надеяться на победу; речь Толстова была положена на бумагу: Бассевич носил ее в кармане и всем читал. Но радость была непродолжительна: Меншиков имел вторую секретную аудиенцию, и дело было решено окончательно.

Меншиков торжествовал. На его стороне по крайней мере, по-видимому, был представитель старого вельможества князь Дм. Мих. Голицын, который видел себя наконец у цели своих желаний: в противном лагере раздор, и посредством того самого Меншикова, который возвел на престол Екатерину, можно возвести Петра, а там что бог даст! Соединенные противники были неодолимы, а поодиночке можно одолеть и Меншикова. Другие понимали дело именно так, что Голицын ласкает Меншикова только до поры до времени; но Меншикову, как человеку его происхождения, обремененному до сих пор ненавистию старой знати, приятно было думать, что теперь он становится с нею заодно, в челе ее. С ним заодно был первый делец Остерман, который видел всю невозможность обойти великого князя и пристал к партии, на стороне которой был теперь верный

успех. Меншиков, Голицын, Остерман и австрийский посланник Рабутин составляли теперь тайный совет, в котором рассуждалось о будущем России, и всего важнее было то, что Россия принимала охотно это будущее, которое вполне ее удовлетворяло, обеспечивая ее спокойствие.

Меншиков торжествует, он в безопасной пристани, а Толстой с товарищами играет в опасную, отчаянную игру. Где же его товарищи? Их не видно, он один, а два года тому назад их было много, и все сильные люди. Ягужинский, заклятый враг Меншикова, человек смелый, далеко в Польше; тесть его, граф Головкин, слишком осторожен, напролом не пойдет; великий адмирал граф Апраксин в затруднительном положении между двумя друзьями – Меншиковым и Толстым, разделившись теперь в противоположных стремлениях, а как было прежде хорошо, покойно старику опираться на таких двоих друзей и как обоим друзьям было выгодно держаться за такого старика! Говорили, что Апраксин сделал выбор, стал на сторону Толстова, но от него трудно было ожидать деятельной помощи в минуту решительную. Таким образом, Толстому нечего было надеяться на людей, высоко стоявших, – великого канцлера и великого адмирала. Он должен был обратиться к людям второстепенным, кто посмелее: таковы были старый генерал Ив. Ив. Бутурлин и только что возвратившийся из курляндской посылки граф Девьер, оба враждебные Меншикову, несмотря на то что Девьер был женат на родной сестре светлейшего Анне Даниловне. Недавно, только во время курляндской посылки, Девьер был произведен в генерал-лейтенанты, но он уже мечтал о месте в Верховном тайном совете. Бутурлин и Девьер были равнодушны к вопросу, кто будет преемником Екатерины; они боялись одного – усиления Меншикова, и если они желали отстранения от престола Петра, так потому только, что Петр вступал в брак с дочерью Меншикова; один Толстой прямо не хотел Петра, боясь, что сын оплатит ему за то, что он сделал против отца.

«Меншиков, – говорил Бутурлин, – что хочет, то и делает, и меня, мужика старого, обидел, команду отдал мимо меня младшему, к тому ж и адъютанта отнял, и откуда он такую власть взял? Разве за то он меня обижает, что я ему много добра делал, о чем он сам хорошо знает, а теперь забыто! Так-то он знает, кто ему добро делает! Не думал бы он того, что князь Дм. Мих. Голицын, и брат его, и князь Борис Ив. Куракин, и их фамилии допустили его, чтоб он властвовал; напрасно он думает, что они ему друзья; как только великий князь вступит на престол, то они скажут Меншикову: „Полно, миленький, и так ты нами долго властвовал, поди прочь!“ Если б великий князь сделался наследником по воле ее величества, то князь Борис Иванович (Куракин, как близкий родственник) тотчас прикатил бы сюда. Меншиков не знает, с кем знаться: хотя князь Дмитрий Михайлович манит или льстит, не думал бы, что он ему верен только для своего интереса».

Девьер толковал так же о Меншикове. «Что же вы молчите? – говорил он Толстому. – Меншиков овладел всем Верховным советом; лучше б было, если б меня в Верховный совет определили». Толстой толковал свое: «Если великий князь будет на престоле, то бабку его возьмут из монастыря, а она будет мне мстить за мои к ней грубости и будет дела покойного императора опровергать». Все соглашались, что брак великого князя на дочери Меншикова опасен: Меншиков будет больше добра хотеть зятю своему, чем императрице и ее дочерям. Но как быть? Ждать: а если что случится с императрицею? Меншиков

дремать не будет. Надобно представить императрице необходимость распорядиться поскорее престолонаследием. Но которую выбрать из дочерей? Девьеру и Бутурлину больше нравилась старшая, Анна Петровна: «Нравом она изрядным, умильна и приемна, и ум превеликий, много на отца походит и человечеством изрядная; и другая цесаревна изрядная, только будет посерднее». Но Толстой был за Елисавету, потому что муж Анны, герцог голштинский, смотрел на Россию только как на средство добыть престол шведский. Елисавету Петровну надобно возвести на престол; но как освободить ее от страшного соперника, великого князя Петра? Он еще мал, пусть поучится, потом он поедет за границу еще поучиться, как делают другие принцы, а тем временем цесаревна коронуется и утвердится на престоле.

Но главным орудием успеха считалось войско, и герцог голштинский говорил Толстому: «Хочу просить себе у государыни чина генералиссимуса, а лучше, если б мне отдали Военную коллегия: я бы тогда силен был в войске и ее величеству верен». «Изрядно, – отвечал Толстой. – Извольте промышлять к своей пользе, что вам угодно».

Все эти речи происходили в ожидании, что время еще не ушло, что можно еще и помешать браку великого князя на дочери Меншикова: жених еще молод, ему надобно учиться в России, надобно учиться за границею, а между тем можно склонить императрицу назначить наследницею цесаревну Елисавету. Разумеется, медлить было опасно, потому что здоровье Екатерины не было надежно; надобно поскорее обратиться с этою просьбой к императрице, но кто возьмется за такое деликатное дело? Толстой брался: подговаривал и Девьера, чтоб и тот не упустил благоприятного случая; Девьер трусил, подбивал Бутурлина, которого считал посмелее. «Что же вы не доносите императрице? – говорил он ему. – Я говорил о доносе с Толстым, и тот сказал: лучше донести из нас кому одному». «Для чего вы к ее величеству не ходите?» – спрашивал Девьер Бутурлина. «Нас не пускают», – отвечал тот. «Напрасно затеваете, – продолжал Девьер, – сами ленитесь и не ходите, а говорите, что не пускают». Герцог голштинский говорил, что он пробовал делать императрице намеки, но она промолчала.

Решительная минута наступила ранее, чем ожидали эти господа. 10 апреля у императрицы открылась горячка. Герцог голштинский прислал сказать Толстому, чтоб приехал для совещания в дом к Андрею Ушакову; Толстой отправился к Ушакову, но не застал его дома и пошел во дворец. На дороге нагоняет его герцог голштинский в коляске, сажает его с собою и везет к себе; приехавши домой, рассказывает ему, что императрица очень больна, мало надежды на выздоровление; тут приходит Андрей Ушаков, и герцог говорит: «Если императрица скончается, не распорядившись насчет престолонаследия, то мы все пропадем; нельзя ли теперь ее величеству говорить, чтоб объявила наследницею дочь свою?» «Если прежде этого не сделано, то теперь уже поздно, когда императрица при смерти», – отвечал Толстой, и Ушаков согласился с этим.

Одни, чувствуя свою слабость, говорили, что поздно; другие в сознании своей силы спешили достигнуть цели своих стремлений; по поводу опасной болезни императрицы созваны были во дворец: члены Верховного тайного совета. Сенат, Синод, майоры гвардии и президенты коллегий для совещания о престолонаследии. Было три предложения: за цесаревну Елисавету, за цесаревну Анну и за великого князя Петра. Последнее, разумеется, взяло верх, и

согласились, чтоб новый император оставался несовершеннолетним до 16 лет; во время малолетства Верховный тайный совет сохраняет свое настоящее значение и состав, кроме того, что цесаревны Анна и Елисавета занимают в нем первые места; никакое его решение не имеет силы, если не будет подписано всеми членами без исключения; великий князь и все его подданные должны обязаться страшною клятвой не мстить никому из подписавших смертный приговор его отцу. При совершеннолетию государя цесаревны получают по 1800000 рублей и между ними поровну разделяются все бриллианты их матери.

В то время когда Толстой решил, что уже опоздали, Девьер своим неосторожным поведением во дворце дал Меншикову возможность захватить в свои руки враждебных ему людей. После 16 апреля канцлер граф Головкин получает от Меншикова бумагу при следующей записке: «Извольте собрать всех к тому определенных членов и объявить указ ее величества и всем, не вступая в дело, присягать, чтоб поступать правдиво и никому не манить, и о том деле ни с кем нигде не разговаривать и не объявлять; кроме ее величества, и завтра поутру его допросить и, что он скажет, о том донести ее императорскому величеству, а розыску над ним не чинить». Указ состоял в том, что комиссия должна была допросить генерал-лейтенанта Девьера по следующим пунктам: 1) понеже объявили нам их высочества государыни цесаревны, что сего апреля 16 числа во время нашей по воле божией при жестокой болезни параксизмуса все доброжелательные наши подданные были в превеликой печали, а Антон Девиер, в то время будучи в доме нашем, не только не был в печали, но и веселился и плачущую Софью Карлусовну (Скавронскую, племянницу императрицы) вертел вместо танцев и говорил ей: «Не надобно плакать». 2) В другой палате сам сел на кровать и посадил с собою его высочество великого князя и нечто ему на ухо шептал; в тот час и государыня цесаревна Анна Петровна, в безмерной быв печали и стояв у стола в той же палате, плакала; и в такой печальный случай он, Девьер, не встав против ее высочества и не отдав должного рабского респекта, но со злой своей продерзости говорил ее высочеству, сидя на той кровати: «О чем печалишься? Выпей рюмку вина!» И, говоря то, смеялся и пред ее высочеством по рабской своей должности не вставал и респекта не отдавал. 3) Когда выходила в ту палату государыня цесаревна Елисавета Петровна в печали и слезах, и пред ее высочеством по рабской своей должности не вставал и респекта не отдавал и смеялся о некоторых персонах. 4) Его высочество великий князь объявил, что он, Девиер, в то время, посадив его с собою на кровати, говорил ему: «Поедем со мной в коляске, будет тебе лучше и воля, а матери твоей не быть уже живой» – и при том его высочеству напоминал, что его высочество сговорил жениться, а они за нею (за невестою его) будут волочиться, а его высочество будет ревновать. 5) Ее высочество великая княжна (Наталья Алексеевна, сестра великого князя Петра) объявила, что в то время рейхсмаршал, генерал-фельдмаршал светлейший князь, видя его, Девиеровы, такие злые поступки, ее высочеству говорил, чтобы она никого не слушала, но была бы всегда при матушке с ним, светлейшим князем, вместе.

Девьер отвечал, что 16 апреля в доме ее величества в покоях, где девицы сидят, попросил он у лакея пить и назвал его Егором; князя Никиту Трубецкого называли шутя товарищи его Егором, и когда он, Девьер, попросил у лакея пить и назвал его Егором, то Трубецкой на это слово обернулся, и все засмеялись:

великий князь спросил у него: «Чему вы смеетесь?» И он, Девьер, ему объяснил, что Трубецкой этого не любит, и шепнул на ухо, что он к тому же и ревнив. Софью Карлусовну вертел ли, не помнит. Цесаревне Анне Петровне говорил упомянутые в обвинении слова, утешая ее. Цесаревна Елисавета Петровна сама не велела никому вставать. Великому князю означенных в обвинении слов не говорил, а прежде говаривал часто, чтоб изволил учиться, а как надел кавалерию – худо учиться и еще, как сговорит жениться, станет ходить за невестою и будет ревновать и учиться не станет. Комиссия представила эти ответы императрице, от имени которой было написано следующее: «Мне о том великий князь сам доносил самую истину: я и сама его (Девьера) присмотрела в его противных поступках и знаю многих, которые с ним сообщники были, и понеже оное все чинено от них было к великому возмущению, того ради объявить Девьеру последнее, чтоб он объявил всех сообщников».

Получивши на пытке 25 ударов, Девьер объявил о известных нам разговорах с Толстым и Бутурлиным. Кроме этих лиц и Ушакова к делу примешаны были известный уже нам Григорий Скорняков-Писарев, Александр Львович Нарышкин, молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий, который, как мы видели, находился при герцоге голштинском; все эти лица высказывались против брака великого князя Петра на дочери Меншикова. 6 мая состоялся указ: «Девьера и Толстова, лишив чина, чести и деревень данных, сослать: Девьера – в Сибирь, Толстова с сыном Иваном – в Соловки; Бутурлина, лиша чинов, сослать в дальние деревни; Скорнякова-Писарева, лиша чина, чести, деревень и бив кнутом, послать в ссылку; князя Ивана Долгорукого отлучить от двора и, унизя чином, написать в полевые полки; Александра Нарышкина лишить чина и жить ему в деревне безвыездно; Ушакова определить к команде, куда следует». Потом прибавлено: «Девьеру при ссылке учинить наказанье, бить кнутом».

Герцог голштинский находился в самом печальном положении: хотя и соглашались, чтоб цесаревны занимали первые места в Верховном тайном совете, и обещали им деньги и бриллианты, но это не было обеспечено; не обеспечена была русская помощь при достижении главных целей – возвращения Шлезвига и добытия шведского престола. «Где вы, мой любезный Бассевич? – говорил герцог своему министру. – Если теперь вы нам не поможете, то мы вконец пропали». Бассевич отправляется к Меншикову, начинает ему представлять «с умилением», что обе цесаревны, Анна и Елисавета, дочери Петра Великого, которому он, Меншиков, может приписать свое счастье. Меншиков пришел в умиление и согласился выдать на каждую принцессу по миллиону денег, установить порядок престолонаследия и подтвердить договоры с герцогом голштинским; все это должно заключаться в завещании императрицы, где также должно быть означено, что Петр должен вступить в супружество с дочерью Меншикова. Но кто сочинит завещание? Никто не отыскивался. Тогда Бассевич, не могши вытерпеть, по его словам, чтоб герцог и обе принцессы пришли все в крайнюю нищету, сочинил наскоро завещание, которое Меншиков дал подписать цесаревне Елисавете. Герцог голштинский обязывался при этом заплатить светлейшему князю с миллиона 80000 руб.: 60000 вперед, а 20000 при последней выдаче. Несмотря на то, Меншиков сказал Бассевичу, что герцог должен выехать из России, потому что ему, как шведу, не доверяют.

Нужно было спешить с завещанием. Мы видели, что императрица занемогла 10 апреля; 16-го, когда Девьер неприлично вел себя во дворце, был кризис, после которого стало легче, и несколько дней надеялись на выздоровление; но потом кашель, прежде слабый, стал усиливаться, обнаружилась лихорадка, больная стала ослабевать день ото дня, и явились признаки повреждения легкого. 6 мая, в девятом часу пополудни, Екатерина скончалась. На другой день, 7 мая, собрались в дворец вся царская фамилия, члены Верховного тайного совета, Синода, Сената, генералитет и начали читать завещание покойной императрицы, подписанное собственною ее величества рукою, как сказано в журнале Верховного тайного совета. Завещание это состояло из 15 пунктов: 1) великий князь Петр Алексеевич имеет быть сукцессором, 2) и именно со всеми правами и прерогативами, как мы оным владели. 3) До ... лет не имеет за юностию в правительство вступать. 4) Во время малолетства имеют администрацию вести наши обе цесаревны, герцог и прочие члены Верховного совета, которой обще из 9 персон состоять имеет. 5) И сим иметь полную власть правительствующего самодержавного государя, токмо определения о сукцессии ни в чем не отменять. 6) Множеством голосов вершать всегда, и никто один повелевать не имеет и не может. 7) Великий князь имеет в Совете присутствовать, а по окончании администрации ни от кого никакого ответа не требовать. 8) Ежели великий князь без наследников преставится, то имеет по нем цесаревна Анна с своими десцендентами, по ней цесаревна Елисавета и десценденты, а потом великая княжна и ее десценденты наследовать, однако ж мужеска пола наследники пред женским предпочтены быть имеют. Однако ж никогда российским престолом владеть не может, который не греческого закона или кто уже другую корону имеет. 9) Каждая из цесаревен, понеже от коронного наследства своего родного отца выключены, в некоторое награждение кроме приданных 300 тыс. рублей и приданого один миллион рублей наличными деньгами получить, и оные во время малолетства великого князя им помалу заплачены быть, которых ни от них, ни от их супругов никогда назад не требовать; тако ж имеют они, обе цесаревны, все наши мобилии в камнях драгоценных, деньгах, серебре, уборах и экипаже, которые нам, а не Короне принадлежат, у себя и у своих удержать, наши же лежащие маетности и земли, которыми мы, пока короны и скипетра не получили, владели, имеют между нашими ближними сродниками нашей собственной фамилии чрез правительство администрации по праву разделены быть. 10) Пока лета администрации продолжаются, имеет каждой цесаревне сверх прежних по 100000 рублей плачено быть. 11) Принцессу Елисавету имеет его любовь герцог шлезвиг-голштинский и бискуп любецкой в супружество получить, и даем ей наше матернее благословение; тако же имеют наши цесаревны и правительство администрации стараться между его любовью (т.е. великим князем Петром) и одною княжною князя Меншикова супружество учинить. 12) Его королевского высочества герцога голштинского дело шлезвицкого возвращения и дело Шведской Короны по взятым обязательствам имеет накрепко исполнено, и Российское государство так, как и великий князь, к тому обязаны быть. Что же его королевское высочество герцог здесь по се число получал, не имеет никогда назад требовано или на счет поставлено быть. 13) Все сие имеет тотчас по смерти нашей, кроме что до пункта его королевскому высочеству праведно принадлежащей сукцессии в Швеции касается, опубликовано, присягою утверждено и твердо содержано; а кто тому противен будет, яко

изменник, наказан быть и римского цесаря гарантии на сие искать. 14) Фамилия между собою имеет под опасением нашей матерней клятвы согласно жить и пребывать; великому князю голштинского дому, пока нашей цесаревны потомство оным владеть будет, не оставлять, но по получении совершенного возраста, чего еще не достанет, исполнить. Напротив того, и голштинский дом, и его королевское высочество, когда герцог шведской престол получит, то же с Россиею чинить имеет. 15) Тако ж имеет цесаревнам, когда оне отсюда поедут, свободный транспорт позволен быть, тако ж и на голштинское посольство способной и от всяких тягостей, и судебного принуждения уволенной дом из государственной казны куплен быть.

Когда прочтен был этот знаменитый тестамент, в котором именем Екатерины отменялся закон Петра Великого о праве царствующего государя назначать себе преемника и устанавливался порядок престолонаследия, то все присутствовавшие начали поздравлять нового императора и присягать ему; гвардия, собранная пред Зимним дворцом, также присягнула и крикнула: «Виват!» После этого все отправились к обедне и молебну, а по возвращении из церкви собрались в залу, где бывало заседание Верховного тайного совета. Здесь Петр II сидел в креслах императорских под балдахином; на правой стороне, на стульях, сидели: цесаревна Анна Петровна, ее супруг, великая княжна Наталья Алексеевна и великий адмирал граф Апраксин; по левую руку – цесаревна Елисавета Петровна, Меншиков, канцлер граф Головкин и князь Дм. Мих. Голицын; Остерман, получивший должность обер-гофмейстера, стоял подле императорских кресел справа; также «почтены были стулами» ростовский архиепископ Георгий да вновь вступивший в русскую службу поляк фельдмаршал граф Сапега. Снова прочтено завещание, и решено записать в протокол, что все должно по тому тестаменту исполнять; протокол подписан всеми сидевшими, начиная с императора, потом генералитетом и Сенатом.

Тестамент был обнародован, хотя тут же и пошли слухи, что он подложный: граф Сапега, не отходивший от постели умирающей императрицы, уверял, что он ничего не видал и не слышал. Но на завещание, как видно, мало обратили внимания: для огромного большинства права нового государя были бесспорны. Не боялись смуты и в старой Москве, и не делали никаких там распоряжений. Макаров уведомил о восшествии на престол Петра II главное лицо в Москве – старика графа Мусина-Пушкина следующим любопытным письмом, где Петр является государем по завещанию, по избранию и по наследству: «7 мая, в девятом часу утра, собрались в большую залу вся императорская фамилия, весь Верховный тайный совет, св. Синод, сенаторы, генералитет и прочие знатные воинские и статские чины: по ее императорского величества *тестаменту* учинено *избрание* на престол российской новым императором *наследственному* государю, его высочеству великому князю Петру Алексеевичу»

Глава вторая

Царствование императора Петра II Алексеевича

Меньшиков. – Его меры для упрочения своей власти. – Переезд императора в дом Меньшикова. – Обучение Петра с дочерью последнего. – Остерман, Миних, Голицын и Долгорукие. – Герцог Голиштинский, его выезд из России. – Царица-бабка. – Шафиров. – Разогнание бестужевского кружка. – Макаров, Матвеев и Волинский. – План преподавания молодому императору. – Верховный тайный совет; Сенат. – Финансы. – Уничтожение Главного магистрата. – Деятельность Комиссии о коммерции. – Смягчение нравов. – Дела церковные. – Борьба Феофана Прокоповича с его врагами. – Восстановление гетманства в Малороссии. – Падение Меньшикова. – Положение Голицыных. – Положение Остермана. – Причины выгодного положения Долгоруких. – Царица-бабка; переписка ее с Остерманом. – Переезд двора в Москву. – Отношения императора к бабке по отцу. – Отношения к другой бабке, по матери, герцогине бланкенбургской. – Решительный фавор Долгоруких. – Меньшиков в Березове. – Новая беда с бестужевским кружком. – Герцогиня Анна курляндская и ее фаворит Бирон. – Герцогиня голиштинская Анна Петровна; рождение у нее сына Карла Петра Ульриха; ее кончина. – Придворные движения. – Деятельность Верховного тайного совета. – Уничтожение Преображенского приказа. – Коллегии. – Областное управление. – Полиция. –хлопоты о составлении Уложения. – Деятельность Комиссии о коммерции. – Дурное состояние армии и флота. – Дело адмирала Змаевича. – Деятельность геодезистов. – Академия наук. – Состояние церкви. – Продолжение борьбы Феофана Прокоповича с врагами. – Дела на окраинах. – Внешняя деятельность; дела персидские, турецкие, французские, австрийские, польские, курляндские, шведские, датские, прусские, китайские. – Решение вопроса о соединении Азии с Америкой. – Помолвка императора на княжне Долгорукой. – Болезнь Петра. – Замысел Долгоруких. – Кончина императора.

Новый император был признан беспрекословно: беспокойство, вызванное вопросом о престолонаследии, прекратилось; но второму императору, как называли Петра, было только одиннадцать лет. До совершеннолетия должен управлять Россией Верховный тайный совет вместе с цесаревнами. «Дела решаются большинством голосов, и никто один повелевать не имеет и не может», – было сказано в завещании, которое все поклялись исполнять; но всем было хорошо известно, что в последнее время Меньшиков повелевал в Верховном совете. Меньшикову теперь уже нельзя было приобрести большей силы, большего значения, поэтому он оставил все, как было, и только хлопотал о том, чтоб удержать власть в своих руках. Средствами к тому были: полное подчинение молодого императора своему влиянию, сосредоточение в своих руках военного управления, составление для себя сильной партии из людей способных и значительных, удаление людей враждебных или подозрительных.

Оставить Петра во дворце по одну сторону Невы, а самому жить в своем доме на Васильевском острове было опасно для Меньшикова: свой глаз верней всякого другого, и потому светлейший князь перевез императора в свой дом на остров, который вместо Васильевского велено было называть Преображенским. 25 мая совершено было торжественное обручение императора на княжне Марье Александровне Меньшиковой, которую стали почитать в церквах великою

княжною и нареченною невестою императора; 34000 рублей ежегодно назначено было на содержание ее особого двора. Еще прежде, 13 мая, Меншиков получил наконец давно желанное звание генералиссимуса, которого так хотелось и герцогу голштинскому при Екатерине; теперь не было в войске человека, равного Меншикову.

Но кроме войска всюду нужно было иметь преданных людей. Меншикову должно отдать честь, что он настоящим образом понял свои обязанности в отношении к молодому императору, понял, что Петру надобно долго и много учиться, чтоб быть достойным вторым императором. Кому же вверить надзор за воспитанием? Способнее не было Андрея Ив. Остермана, человека, знавшего много и умевшего прилагать свои знания к делу, следовательно, могшего научить и другого подобному же приложению; притом Остерман имел уже заслуги относительно Петра: он в 1726 году так убедительно представил невозможность отстранить его от престола. Еще при Екатерине, как только улажено было дело о женитьбе великого князя на дочери Меншикова, Остерман был сделан обер-гофмейстером Петра с обязанностью руководить воспитанием. Вице-канцлера стали уже видеть на прогулках вместе с его воспитанником. От этого времени до нас дошла любопытная записка Остермана к Меншикову: «За его высочеством великим князем я сегодня не поехал как за болезнию, так и особливо за многодельством и работаю как отправлением курьера в Швецию, так приготовлением отпуска на завтрашней почте и, сверх того, рассуждаю, *чтоб не вдруг очень на него налегать* ». По восшествии на престол Петра Остерман стал получать по 6000 рублей жалованья, тогда как канцлер Головкин и князь Дм. Мих. Голицын получали по 5000. Остерман – сила, драгоценный человек в делах внутренних и внешних, а между тем он не опасен, у него нет связей, знать смотрит на него свысока, Головкин его не любит, как помощника слишком даровитого; обязанный так много Меншикову, он должен остаться ему верен, как человек, не могущий обойтись без сильной подпоры. Притом, как говорят, во все царствование Екатерины Остерман, чуя, где сила, постоянно держался Меншикова, тем более что Толстой был его заклятый враг, быть может, за расположение к великому князю Петру и Австрии, а привязанность к австрийскому союзу кроме других соображений и побуждений могла происходить в Остермане из убеждения, что великий князь, племянник цесаревны, не может быть отстранен от престола. Изъявлено было расположение и к другому даровитому иностранцу, оставшемуся после Петра, – Миниху: ему дано было 5000 рублей за труды по Ладожскому каналу.

Мы уже видели, что переход на сторону Петра сближал Меншикова с знатью, и теперь генералиссимус старался упрочить это сближение. Бутурлин мог быть прав, говоря, что князь Дм. Мих. Голицын наружно показывал преданность Меншикову, пока тот был ему нужен для возведения на престол Петра; но по крайней мере в первое время царствования Петра продолжались лады между ними. Меншиков, забыв прошлое, старался привязать к себе и другую знатную фамилию – Долгоруких; князь Алексей Григорьевич получил место гофмейстера при великой княжне Наталье Алексеевне, место важное по тому влиянию, какое имела великая княжна на брата-императора; приближение отца необходимо вело, хотя, вероятно, не вдруг, к приближению сына князя Ивана Алексеевича, несмотря на то что этот молодой человек так недавно еще подвергся опале за

противодействие браку Петра на дочери Меншикова. Князь Михаил Владимирович Долгорукий был сделан сенатором. Брат его, князь Василий Владимирович, еще не зная о кончине Екатерины, писал к Меншикову с Кавказа 11 мая: «За высокую вашу, моего государя и отца, милость, показанную к брату моему и ко мне неоплатную, попремно благодарствую и не могу, чем заслужить до смерти моей того, только могу просить всемогущего бога, да воздаст вам, моему отцу, всевышне за ваше великодушие со всею вашею высокою фамилиею. Вашей светлости высокою милостию мы взысканы; по верной вашей светлости службе к ее императорскому величеству и чистой вашей совести предстательствуешь, видя всех нас к ее императорскому величеству верные заслуги; все получаем чрез ваше предстательство, и со всякою охотою свидетельствую самим богом, всем сердцем, сколько слабого моего смыслу есть, с радостию служу, не жалея своего здоровья, и прошу у всевышнего, чтоб мог я исправно положенные на меня дела упредить и пользу принести отечеству своему и верную свою услугу на старости моей ее императорскому величеству показать, и всю свою надежду имею на вашу светлость, моего милостивого государя и отца, и надеюсь на великодушие вашей светлости, что оставлен вашею высокою милостию не буду, и, кроме вас, моего государя и отца, надежды не имею, как вашей милости самому известно».

Желая привязать к себе, с одной стороны, людей даровитых, государственных работников неутомимых, с другой – людей знатных, Меншиков в то же время беспощадно преследовал людей, в которых знал или подозревал вражду к себе и которые стояли на его дороге. Мы видели, как еще до смерти Екатерины он объявил Бассевичу, что герцог голштинский должен оставить Россию. 19 мая герцог голштинский заседал в Верховном тайном совете; явился Бассевич и донес Совету словесно об опасной болезни принца голштинского, епископа любского, жениха цесаревны Елисаветы Петровны, после чего Бассевич подал мемориал: 1) о даче цесаревнам двух засвидетельствованных копий с завещания императрицы Екатерины и с приглашения цесаря к гарантии этого завещания; 2) об определении комиссаров к описи оставшихся после покойной императрицы алмазов, золота и проч.; 3) об определении, из каких сборов получать назначенные герцогу голштинскому и цесаревне Елисавете 100000 рублей на год; 4) о ежегодной уплате известной части из отказанного в завещании обеим цесаревнам миллиона рублей; 5) о покупке для голштинского посольства особого двора в Петербурге; 6) о позволении занять для герцогской свиты несколько комнат в Академии. На этот раз мемориал остался без ответа.

В тот же день, т.е. 19 мая, епископ любский умер. С лишком через месяц, 27 июня, голштинское дело было возобновлено в Верховном тайном совете: призван был гофмейстер цесаревны Елисаветы Сем. Григор. Нарышкин, которому объявлено, чтоб он по данной ему копии брачного договора с герцогом голштинским всячески наблюдал и предостерегал, все ли обязательства этого договора будут исполняться со стороны герцога; приданные 300000 рублей все уже выплачены, и герцог в получении этой суммы прислал расписку; потому приказали, чтоб Нарышкин сделал от имени членов Верховного совета цесаревне Анне представление, что они для выгоды ее высочества желают знать, выплачиваются ли ей надлежащие проценты. На другой день, 28 июня, министры герцога голштинского Бассевич и Стамке явились в Верховный тайный совет и

объявили формально о намерении своего государя и его супруги выехать из России, причем подали новый мемориал, заключающий в себе те же требования, какие мы сидели в мемориале 19 мая. Члены Совета согласились удовлетворить всем этим требованиям, только отказали в выдаче копии с завещания императрицы Екатерины, объявив, что дать эту копию неприлично и невозможно, к тому же она герцогу и не нужна, ибо распоряжение касательно наследства русского престола зависит исключительно от воли императора. Разумеется, голштинские министры могли возразить, что в завещании, которое все, начиная с императора, поклялись исполнять, прямо определен был порядок престолонаследия. Наконец, голштинским министрам было объявлено, что из имени покойной императрицы для цесаревны Елисаветы оставлено будет столько, сколько дано уже герцогине Анне Петровне, остальное же пойдет в равный раздел между обеими сестрами. 24 июля от имени императора за подписью членов Верховного тайного совета герцогу голштинскому дана была декларация, в которой говорилось, что все трактаты и секретные артикулы, которые император Петр I заключил с Швециею в пользу герцога и с ним самим, равно как тайная конвенция, заключенная императрицею Екатериною с цесарем насчет Шлезвига, накрепчайшим образом возобновляются и утверждаются; и пока шлезвигское дело не будет окончено, герцог получает от России ежегодно по 100000 цесарских гульденов; из назначенного ему миллиона рублей герцог получает до отъезда 200000, остальные выплачиваются в восемь лет. Впоследствии Бассевич показал, как мы видели, что между ним и Меншиковым было условлено, чтоб герцог из этого миллиона заплатил Меншикову 80000 рублей, именно: 60000 вперед, а 20000 – при последней выдаче. Когда все дело было кончено и Бассевич привез Меншикову 60000 рублей и письменное обязательство герцога уплатить остальные 20000, то Меншиков отдал это обязательство Бассевичу назад, сказавши ему: «Ваше превосходительство много при том труда имел; я дарю тебе эти 20000, возьми их с герцога, ты их заслужил». Бассевич взял записку и отдал ее герцогу, говоря, что отдает в его волю, чем ему угодно будет наградить его. Герцог, взявши записку, надавал Бассевичу много устных и письменных обещаний, но не дал ни копейки денег; напротив, цесаревна Елисавета Петровна подарила ему алмазный крест, доставшийся ей после отца; и этот крест герцог выменил у Бассевича на свой, который по меньшей мере стоил 4000 ефимков дешевле.

Герцог и герцогиня голштинские уехали из Петербурга 25 июля. По приезде в свою резиденцию Киль Анна Петровна писала к сестре в Петербург: «Государыня дорогая моя сестрица! Доношу вашему высочеству, что я, слава богу, в добром здоровье сюда приехала с герцогом, и здесь очень хорошо жить, потому что люди очень ласковы ко мне; только ни один день не проходит, чтоб я не плакала по вас, дорогая моя сестрица: не ведаю, каково вам там жить. Прошу вас, дорогая сестрица, чтоб вы изволили писать ко мне почаще о здравии вашего высочества. При сем посылаю к вашему высочеству гостинец: опахало, такое, как здесь все дамы носят, мушечную коробку, зубочистку, готовальню, орехи; прислала б здешних фруктов, только невозможно; крестьянское платье, как здесь носят, а шапку прошу ваше высочество отдать Миките Волоките и белую шляпу. Впрочем, рекомендую себя в неотменную любовь и остаюсь верная до гроба сестра и услужница Анна. Прошу ваше высочество отдать мой поклон всем

петербургским, а наши голштинцы приказали отдать свой поклон вашему высочеству». Мы видели, что Толстой, вооружаясь против возведения на престол Петра II, выражал опасения насчет влияния, которое должна будет получить бабка Петра инокиня Елена (Авдотья Федоровна Лопухина). И Меншиков, подобно Толстому, не мог надеяться доброго расположения к себе от первой жены Петра Великого, но оставлять в заключении бабку императора было нельзя; Елену освободили из Шлиссельбурга и отправили прямо в Москву, где она была помещена в Новодевичьем монастыре с приличным содержанием. 3 июня велено было освободить Елену, а 26 июля в Верховном тайном совете состоялся именной указ об отобрании манифестов 1718 года по делу царевича, Глебова и Досифея, чтобы впредь ни в каких коллегиях и канцеляриях и по церквам их не было и не читали; а кто имеет их из частных людей, те должны приносить в Петербурге в Сенат, в Москве – в Сенатскую контору, по городам и уездам отдавать губернаторам и воеводам; утаившие будут отданы под суд. Вместе с означенными манифестами были отобраны манифест 1718 года о наследстве и устав о наследстве престола российского 1722 года; этим хотели показать, что Петр II есть законный император по наследству и что устав Петра Великого потерял силу.

Меншиков не хотел оставить в покое своего заклятого врага Шафирова, который, возвращенный, как мы видели, из ссылки Екатериною, получил место президента Коммерц-коллегии. Но еще в марте 1726 года Меншиков выхлопотал указ, по которому президент Коммерц-коллегии должен был отправиться в Архангельск для устройства китоловной компании. Говорят, что Остерман, для которого бывший вице-канцлер был очень опасен, поддерживал старую вражду и опасения Меншикова. Шафиров по нездоровью остановился в Москве, но 12 июня 1727 года в Верховном тайном совете решили, что надобно определить в Коммерц-коллегию президента настоящего, а Петру Шафирову иметь только титул президента этой коллегии и быть ему в Архангелске для заведования делами китоловной компании; 19 числа приказано было послать в Москву к графу Мусину-Пушкину указ, чтоб Петра Шафирова выслал в Архангельск к китоловному делу немедленно. Ягужинскому, бывшему генерал-прокурору, потом посланнику в Польше, велено было отправиться в противоположную сторону – в Украинскую армию.

Дело Девьера вскрыло для Меншикова кружок людей молодых, невидных, которые, однако, старались подняться наверх с помощью Петра II. В числе людей, выведенных Петром Великим за даровитость и образование, были хорошо уже известные нам члены семьи Бестужевых-Рюминых, состоявшей из отца Петра, которого мы видели русским министром в Курляндии, и сыновей: Михайлы, министра в Швеции и потом в Польше, и Алексея, министра в Дании. Бестужевым, и особенно самому даровитому и самому честолюбивому из них Алексею, не хотелось ограничиваться дипломатическими местами, оставаться постоянно вдалеке от России, без непосредственного влияния на дела, в зависимости от других; их тянуло в столицу, ко двору, к источнику силы и почестей. Это стремление во что бы то ни стало выдвинуться, заискать, пользуясь конъюнктурами, едва было не погубило Алексея Бестужева в самом начале, когда он по воле Петра служил камер-юнкером при дворе курфюрста ганноверского и короля английского Георга. В 1717 году, узнавши, что царевич Алексей ушел из России и находится под покровительством императора, Алексей Бестужев 7 мая

отправил к нему следующее письмо: «Serenissime et augustissime altesuccedens Princeps gratiosissime Domine Czarewicz. Так как отец мой, брат и вся фамилия Бестужевых пользовалась особою милостию вашею, то я всегда считал обязанностью изъявить мою рабскую признательность и ничего так не желал от юности, как служить вам; но обстоятельства не позволяли. Это принудило меня для покровительства вступить в чужестранную службу, и вот уже четыре года я состою камер-юнкером у короля английского. Как скоро верным путем я узнал, что ваше высочество находится у его цесарского величества, своего шурина, и я по теперешним конъюнктурам замечаю, что образовались две партии, притом же воображаю, что ваше высочество при нынешних очень важных обстоятельствах не имеете никого из своих слуг, я же чувствую себя достойным и способным служить вам в настоящее важное время, посему осмеливаюсь вам писать и предложить вам себя как будущему царю и государю в услужение. Ожидаю только милостивого ответа, чтоб тотчас уволиться от службы королевской, и лично явлюсь к вашему высочеству. Клянусь всемогущим богом, что единственным побуждением моим есть высокопочитание к особе вашего высочества».

Царевич истребил письмо, только немецкий перевод его сохранился в венском архиве; беда не коснулась Бестужева по следственному делу, ибо царевич и устно не показал на него; но несчастный исход дела царевича не истребил в Бестужевых убеждения, что права сына Алексева рано или поздно получают силу и что надобно держаться великого князя Петра, а также и венского двора, которого интересы были так тесно связаны с интересами родного племянника цесаревны. Алексей Бестужев, ставши русским министром в Копенгагене, сносился с Веною, а родная сестра его, княгиня Аграфена Петровна Волконская, была в Петербурге душою кружка, который сосредоточивался около двора великого князя Петра. Главною связью кружка с этим двором служил Семен Афанасьевич Маврин, заведовавший с 1719 года воспитанием великого князя. Это место, как видно, Маврин получил по указанию императрицы Екатерины, при которой находился безотлучно в пажках с 1711 года; в 1725 году он был произведен в камер-юнкеры, получил за службы в вечное владение деревни в Гдовском и Кобыльском уездах; в начале 1727 года он упоминается уже в числе камергеров и пользовался немаловажным значением, потому что о свадьбе его на камер-фрейлине княжне Лобановой, гувернантке графини Софьи Скавронской, племянницы императрицыной, упоминает саксонский посланник Лефорт в своих донесениях. Другими членами кружка были: кабинет-секретарь Иван Черкасов, советник Военной коллегии Егор Пашков, сенатор Нелединский, секретарь Исаак Павлович Веселовский, брат известного беглеца Абрама Веселовского, Абрам Петрович Ганнибал, арап Петра Великого, воспитанный им за границую. Принадлежность Бестужевых к этому кружку объясняет нам, почему Михаил Петрович Бестужев был удален из Швеции по настоянию Бассевича и голштинского министра при стокгольмском дворе, как человек неприязненный герцогу голштинскому. Союз России с Австриею и вследствие того сильное влияние венского кабинета в Петербурге, потом известие о перемене в судьбе великого князя внушили Алексею Петровичу Бестужеву большие надежды, показывая ему в то же время основательность его расчетов; от 23 мая 1727 года он писал сестре своей княгине Волконской: «Как к Рабутину (австрийскому посланнику в Петербурге) отсюда писано, так и к венскому двору, дабы он, Рабутин, инструктирован был стараться о

вас, чтобы вам при государыне великой княжне цесарского высочества (Наталье Алексеевне, сестре Петра II) обер-гофмейстериной быть, такожде чтоб и друзья наши Абрам Петрович (Ганнибал) и Псаак Павлович (Веселовский), достойнейше награждены были. Вы извольте согласно с помянутым Рабутином о том стараться. Что же принадлежит до брата нашего и до меня, и я намерен потерпеть, дондеже вы награждение свое, чин обер-гофмейстерины, получите и помянутые друзья наши, ибо награждение мое чрез венский двор никогда у меня не уйдет. Согласитесь с Рабутином о себе и о вышеписанных друзьях наших, такожде и о родителе нашем прилежно чрез Рабутина стараться извольте, чтоб пожалован был графом, что Рабутин легко учинить может».

Но Алексей Петрович Бестужев жестоко обманулся в своих надеждах: Рабутин умирает, а в бумагах Девьера находят письма к нему от Бестужевых, от княгини Волконской, из которых видна тесная связь между всеми этими враждебными Меншикову людьми, ибо светлейший князь был убежден, что Петр Бестужев расстраивал его курляндские планы. Ненависть Бестужевых к камергеру Левенвольду, который был один человек с Остерманом, указывает на сильную борьбу Маврина и его кружка с Остерманом и Левенвольдом, причем назначение Остермана обер-гофмейстером при великом князе Петре должно было возбудить крайнее ожесточение в Маврине и его друзьях. Как бы то ни было, одновременно с арестованием Девьера стража была поставлена и в дом княгини Волконской, которой запрещен проезд ко двору. Важных улик не было. Несмотря на то, к княгине Аграфене Петровне явился секретарь Меншикова Андрей Яковлев и объявил ей, чтоб ехала в Москву, жила там или в деревнях, где хочет, принес и подорожную, где было сказано глухо, чтоб посланным людям давать подводы без означения имен. Против других членов кружка также не было никаких улик, и потому их могли разослать только в почетную ссылку, давши поручения в сибирские города. Маврин и Ганнибал отправлены были в Тобольск, последний с поручением строить крепость, потому что был инженером; из Казани 29 июня он писал Меншикову: «Не погуби меня до конца имене своего ради, и кого давить такому превысокому лицу такого гада и самая последняя креатура на земли, которого червя и трава может сего света лишить: нищ, сир, беззаступен, иностранец, наг, бос, алчен и жажден; помилуй заступник и отец и защититель сиротам и вдовицам» и проч. Иван Черкасов в звании синодского обер-секретаря отправлен в Москву для описи церковной утвари; 7 июня в Верховном тайном совете было решено: «О Иване Черкасове в Сенате объявить, чтоб по посланному к ним указу об отправлении его в Москву чинили немедленно». Изгнанник Федор Веселовский, не зная, что делается в России, думал, что с восшествием на престол сына царевича Алексея наступило удобное время просить позволения возвратиться в Россию. 19 июня в Верховном тайном совете читано было письмо его из Лондона, где он, объявляя причины своего бегства, просил о помиловании. Но в Совете нашли оправдания его не заслуживающими уважения. Остерман понес письмо к Меншикову, и тот объявил, что нельзя дать помилования. Когда старик генерал-адмирал граф Апраксин завел было речь в Верховном тайном совете о Маврине и Петрове, за что они сосланы, то Остерман стал просить его, чтоб он больше об этом не говорил.

Царевна Анна Ивановна спешила умиловить Меншикова унижительными письмами: «Вашей светлости многие милости ко всем людям показаны, и как

прежде, так и ныне чрез вашу светлость получили многие милости; также и государыня моя матушка, и все мы много от вашей светлости одолжены. И с покорностию прошу вашу светлость: как прежде, я имел вашей светлости к себе многую любовь и милость, тако и ныне и по нынешнем нашем свойству меня не оставить, но содержать в милости и протекции, в которую протекцию вашей светлости и себя низжайше рекомендую». В том же роде Анна писала письмо и к жене Меншикова, и к свояченице его Варваре Арсеньевой, но все напрасно!

Петр Михайлович Бестужев вызван был из Митавы в Петербург и задержан здесь, несмотря на жалобные вопли герцогини о возвращении необходимого ей человека; самой царевне Меншиков не позволил приехать в Петербург для поздравления императора с восшествием на престол.

Кабинет, существовавший при Петре Великом и Екатерине I под управлением знаменитого кабинет-секретаря Макарова, был упразднен, как ненужный при малолетнем императоре; Макаров лишился своего важного значения, в котором не мог всем угодить, и был назначен президентом в Камер-коллегию. Приятель его, граф Матвеев, по просьбе за долголетние службы от дел уволен, и позволено ему жить, где захочет. Волынский, уволенный от губернаторства в Казани, жил в Петербурге в звании шталмейстера; его назначили министром ко двору герцога голштинского, потом передумали и назначили в Украинскую армию. Герольдмейстер и обер-церемониймейстер граф Санти был заслан далеко в Сибирь по связи с Толстым, которому он служил переводчиком.

Семена Маврина не было более при императоре; при Петре не было и учителя Зейкина. Иван Алексеевич Зейкин был учителем в доме Александра Львовича Нарышкина, с которым ездил за границу. В 1722 году он получил от Петра Великого следующую записку: «Господин Зейкин! Понеже время пришло учить внука нашего, того ради, ведая ваше искусство в таком деле и добрую вашу совесть, определяем вас к тому, которое дело начни с богом по осени». Зейкин стал отговариваться, выставляя свою неспособность к такому важному делу, и дело затянулось надолго. В ноябре 1723 года Зейкин получил от государя записку уже в другом тоне: «Указ г. Зейкину: определяем вас учителем к нашему внуку, и когда сей указ получишь, вступи в дела свои немедленно». Но и после этого указа Александр Львович Нарышкин не отпускал Зейкина. Тогда Петр написал Макарову: «Нарышкин его не отпускает, притворяя удобьвозможные подлоги, и также я не привык жить с такими, которые не слушаются, смиренно: того ради скажи и объяви сие письмо, что ежели Зейкин по указу не учинит, то я не над Зейкиным, но над ним (Нарышкиным) то учиню, что доводится преслушникам чинить, ибо все сие от него происходит». 10 июля 1727 года Зейкин был выпровожен за границу, в Венгрию, его отечество. Тверской архиепископ Феофилакт Лопатинский, вооружаясь против лютеранства, хвалил благочестие и учение Зейкина, говорил, что он был бы очень надобен в нынешнее время к наставлению государя в добрых правилах и благочестии. Маврин и Зейкин были отстранены; Остерман остался один, но кроме Петра для него очень было важно подчинить своему влиянию сестру императора великую княжну Наталью. Она была только годом старше брата, но была развита выше своего возраста, особенно, быть может, вследствие болезненности, чахоточности, хотя, разумеется, мы не имеем надобности верить восторженным отзывам о необыкновенных способностях Натальи, сохранившимся в некоторых свидетельствах: известно, как

партия, примыкающая к высокопоставленному лицу, обыкновенно преувеличивает достоинства этого лица, тогда как партия противная, наоборот, уменьшает их. Петр очень любил сестру, с которой вместе вырос, и слушал ее; Остерману нетрудно было овладеть волею великой княжны, которая была доступнее внушениям учителя, чем мальчик, который думал об одном – как бы из класса вырваться поскорее куда-нибудь, где повеселее. В бумагах Остермана сохранилось следующее писание Петра II на латинском языке: «Каждый раз, как я с собою рассуждаю, сколь много надлежащее воспитание императора содействует безопасности и благоденствию народа, не могу не принести неизменной признательности светлейшей княжне, моей любезнейшей сестре, которая меня поучает полезными увещаниями, помогает благоразумными советами, из которых каждый день извлекаю величайшую пользу, а мои верные подданные ощущают живейшую радость. Как могу я когда-либо забыть столько заслуг ко мне? Воистину, чем счастливее некогда будет мое государство, тем более, признавая плоды ее советов, поступлю так, что она найдет во мне благодарного брата и императора».

Должно быть, еще Зейкин выучил Петра по-латыни, ибо мы видим, что он на этом языке переписывается с Остерманом, т.е. набирает латинские слова, оставляя фразу русскою. Остерман составил план учения, в который входила: 1) Древняя история: «Читать историю и вкратце главнейшие случаи прежних времен, перемены, приращение и умаление разных государств, причины тому, а особливо добродетели правителей древних с воспоследовавшею потом пользою и славою представлять. И таким образом можно во время полугода пройти Ассирийскую, Персидскую, Греческую и Римскую монархии до самых новых времен, и можно к тому пользоваться автором первой части исторических дел Яганом Гибнером, а для приискивания – так называемым Билдерзаалом»; 2) Новая история: «Новую историю трактовать и в оной по приводу г. Пуфендорфа новое деяние каждого, и особливо пограничных государств, представлять, и в прочем известие о правительствующей фамилии каждого государства, интересе, форме правительства, силе и слабости помалу подавать»; 3) География: «Географию отчасти по глобусу, отчасти по ландкартам показывать, и к тому употреблять краткое описание Гибнерова»; 4) Математические операции, арифметика, геометрия и прочие математические части и искусств из механики, оптики и проч. Обозначены были и забавы: концерт музыкальный, стрельба, игра под названием вальянтеншпиль, бильярд, ловля на острове. Но, кроме того, сохранилась записка, подписанная самим Петром, где говорится: «В понедельник пополудни, от 2 до 3-го часа, учиться, а потом солдат учить; пополудни вторник и четверг – с собаки на поле; пополудни в среду – солдат обучать; пополудни в пятницу – с птицами ездить; пополудни в субботу – музыкою и танцованием; пополудни в воскресенье – в летний дом и в тамошние огороды». Феофан Прокопович написал: «Каким образом и порядком надлежит багрянородного отрока наставлять в христианском законе?»

По плану Остермана Петр должен был каждую среду и пятницу присутствовать в Верховном тайном совете. 21 июня в начале одиннадцатого часа император приехал в Совет и объявил: «После как бог изволил меня в малолетстве всея России императором учинить, наивящее мое старание будет, чтоб исполнить должность доброго императора, то есть чтоб народ, мне подданный, с

богобоязненностью и правосудием управлять, чтоб бедных защищать, обиженным вспомогать, убогих и неправедно отягощенных от себя не отогнать, но веселым лицом жалобы их выслушать и по похваленному императора Веспасиана примеру никого от себя печального не отпускать». После во все время господства Меншикова мы не встречаем известий о присутствии Петра в Тайном совете. Меншиков присутствовал также очень редко; Остерман не присутствовал или приходил поздно; к ним обоим тайный советник Степанов носил дела на дом для получения их мнения; так, под 19 июля читаем в журнале: «Написанный указ о разделении их высочествам государыням цесаревнам вещей носил тайный советник Василий Степанович к барону Андрею Ивановичу Остерману и, возвратясь, донес, что тому указу быть в той силе Андрей Иванович согласился, а светлейшего князя о том доложить не поручил». Иногда от светлейшего князя объявлялись приказы, чтоб изволили издать такой-то указ. Присутствовали обыкновенно трое: Апраксин, Головкин и Голицын.

Вследствие предполагавшегося упразднения Кабинета, 24 мая Верховный тайный совет объявил именной указ, чтоб о новых и важных делах, о которых прежде писали прежде всего в Кабинет, теперь прямо доносили в Совет, именно о нападении неприятеля, о моровой язве или о каких-нибудь замешательствах; относительно же трех первых пунктов, т.е. злоумышления против государя, измены и возмущения из ближних к Петербургу губерний и провинций, писать в Сенат, из дальних – в Москву к генерал-губернатору князю Ромодановскому. Относительно Сената Верховный тайный совет показал свою власть 17 июля: впущен был сенатский обер-прокурор Воейков, и выговаривано ему о неисpravлении дел сенатских, что съезды бывают не ежедневно, и то приезжают поздно, по счетам большой суммы не взыскивают и для чего он, обер-прокурор, должности своей не исполняет; приказано неисpravление его должности расписать и для лучшего в отправлении сенатских дел порядка подавать ежедневно журналы, кто в какой час приедет и как будут отправляться дела.

Главный упрек Сенату был за невзыскание значительных сумм. Работа над средствами поправления финансов продолжалась в Совете. По указу 9 февраля запрещено было посылать комиссаров и подьячих для сбора подушных денег, велено было принимать эти деньги земским комиссарам в городах в надежде, что подданные будут платить подушную подать исправно в указные сроки; но надежда не оправдалась: подданные не уплачивают подати сами в определенное время. Вследствие этого издан был указ: губернаторам и воеводам посылать от себя нарочных в вотчины, не заплатившие податей, и, взявши в города, править деньги на самих помещиках, а где их самих нет – на их приказчиках, старостах, выборных и крестьянах, а в дворцовых и духовных вотчинах – на управителях и крестьянах. Недобор будет взыскан на губернаторах и воеводах; они же будут отвечать, если посланные ими нарочные позволят себе обижать уездных людей. 1 июня в Совете рассуждали о том, чтоб сложить поворотные деньги; в указе, обнародованном 20 июля, говорилось, что поворотный сбор с привозных всяких возов указано отставить для народной пользы и для пресечения воровства от сборщиков; сумму, которая получалась от этого сбора, взяв сбор среднего года, разложить на кабацкие питейные продажи. Имея в виду недостаток людей и денег, продолжали разбирать, нет ли каких учреждений и должностей, которые можно было бы уничтожить. Мы видели, что в предшествовавшее царствование

решились подчинить магистраты губернаторам и воеводам; теперь пришли к мысли, что лучше совсем их уничтожить, потому что люди понапрасну заняты, а дела в губерниях поручить губернаторам и воеводам. Мысль эта не была приведена в исполнение, но порешили с Главным магистратом; 18 августа издан был указ: «Понеже городские магистраты повелено подчинить губернаторам, того ради указали мы в С.-Петербурге Главному магистрату не быть, а учинить только для суда здешнего купечества в ратуше одного бургомистра и с ним двух бурмистров, кроме тех, которые были ныне в магистрате членами, и быть им погодно с переменою за выбором купецких людей, добрым и знатным людям; а которые дела имеют быть между иностранных купцов, тем делам быть в Коммерц-коллегии». В Совете кто-то спросил: «Когда одного магистрата не будет, то городские магистраты, ежели им от воевод обида происходить будет, к кому писать будут?» Но вопрос этот остался без ответа. В Совете рассуждали также, чтоб в Москве коллежским конторам не быть, а посылать из коллегий указы прямо к московскому губернатору; в Синоде обер-секретарю не быть; Московской синодальной конторе и дикастерии не быть, а быть Духовному приказу под ведением крутицкого архиерея; Коллегии экономии и Камер-конторе не быть. Хотели перевести Вотчинную коллегия в Москву, но затруднялись тем, что прежний указ о переписке дач и столбцов был не исполнен, и теперь хотели ограничиться только описанием дач и столбцов и снятием точных копий с одних ветхих дел, ибо если коллегия в Москву отпустится, то чтоб дела не распропали. Был вопрос о переводе Камер- и Юстиц-коллегий в Москву, но тут же решили оставить их в Петербурге.

Мы видели, что в предшествовавшее царствование забота о поднятии торговли возложена была на Остермана, председателя Комиссии о коммерции. Комиссия работала. Петр Великий, имея в виду заведение своих мануфактур, поднял пошлину с сырых произведений, отпускаемых из России за границу: так, с льняной и пеньковой пряжи бралось по 37 1/2 процента. Комиссия о коммерции нашла, что с такою высокою пошлиною пряжи отпускать нельзя, от чего русскому купечеству и крестьянству большое разорение, ибо прежде пряжи отпускалось за границу много, и как купечество, так и крестьянство имели от того пропитание, и пошлин сходило много, тогда как теперь ни пошлин в казну, ни народной пользы. Комиссия представляла, что надобно позволить отпускать пряжу, взимая по пяти процентов ефимками, а русские фабриканты должны уговариваться заблаговременно с поставщиками пряжи, чтобы поставляли им пряжу лучшую, чтоб можно было делать в России полотна одинакие с заморскими. Представление Комиссии было утверждено. Остерман исходатайствовал указ: «Ежели который город или кто и партикулярно в купечестве имеет какое недовольство или в чем признает тягость, или и сами усмотрят, что как генерально и партикулярно к распространению и умножению купечества полезно быть может и чтоб объявляли без всякого сумнения и опасения, с ясным доказательством, и подавали б в городах письменно нашим генерал-губернаторам и губернаторам и воеводам, которым, принимая то, не удерживая, отсылать в учрежденную Комиссию в С.-Петербург, по которому чинено будет в той Комиссии рассмотрение к народной пользе». По доношению той же Комиссии сибирский торг мягкою рухлядью велено отдать в вольную торговлю для всенародной пользы.

Но при этих заботах о материальных средствах государства встречаем распоряжение, которое служит признаком смягчения нравов, стремления дать народу лучшее воспитание, истребляя следы варварских, азиатских привычек. 10 июля объявлен был именной указ: «Которые столбы в С.-Петербурге внутри города на площадях каменные сделаны и на них, также и на кольях винных людей тела и головы потыканы, те все столбы разобрать до основания, а тела и взоткнутые головы снять и похоронить».

К сожалению, блюстительница народной нравственности, главная участница в народном воспитании – церковь представляла неутешительные явления, которые ослабляли уважение к ее пастырям. Сильные жалобы ростовского архиепископа Георгия на оскудение доходов были теперь услышаны; 26 мая объявлен был именной указ: «Ростовской епархии все епаршеские сборы из домовых вотчин, как денежные, так и хлебные доходы, отдать до предбудущего нашего указа в ведомство той епархии архиепископу Георгию на содержание соборной, и домовых, и ружных церквей, и на собственные его и домовых, как духовных, так и светских служителей, обретающихся в той епархии и в С.-Петербурге, расходы, также сиропитательницы и ружников; и для того, которые доходы положены были собирать в Синодскую камер-контору, ныне тех доходов не брать: также ему, архиерею, ни на какое содержание больше тех определенных с его епархии доходов не требовать, и все надлежащие расходы исправлять теми епаршескими и собираемыми с домовых вотчин доходами, кроме собираемых с венечных памятей пошлин, которые по прежнему указу отсылать на гошпиталь». 12 июня члены Верховного тайного совета рассуждали о том, чтоб деревни отдать архиереям по-прежнему, архиереи же должны платить в Камер-коллегию положенные на эти деревни сборы.

Но слышалась жалоба с другой стороны не на материальные недостатки, а на ослабление той меры, посредством которой Петр Великий старался поднять нравственное значение духовенства. Ректор московских славяно-греко-латинских школ архимандрит Гедеон Вишневецкий донес Синоду, что указом 1723 года велено во всех монастырях переписать молодых монахов и выслать в школы для учения; но прислано только из Смоленской епархии два иеродиакона, из которых один и теперь в школах, а другой бежал, да из Сибирской епархии один иеродиакон, который в 1726 году по указу из Московской синодальной канцелярии отпущен домой в Сибирь, да своею охотою учатся 4 человека; из прочих епархий и из московских монастырей, хотя в них и довольно молодых и к учению способных монахов, из которых бы мог быть плод церкви и произошли бы в учителя и предикаторы, и поныне никто не присылыван. Синод приговорил послать подтверждающие указы о высылке молодых монахов в Москву.

В отношениях Верховного тайного совета к Синоду мы не замечаем уважения, должного верховному церковному правительству. Мы видели, что с Англиею у русской церкви были постоянные сношения, и канцлер граф Головкин представил Совету письмо находящихся в Англии русских духовных особ, в котором объявляли, что прислан к ним из Синода указ о приводе к присяге новому императору, но им приводить к присяге некого. Распоряжение Синода, если в нем и заключалась некоторая неосмотрительность, не заслуживало, однако, того, чтобы на него нужно было обратить большое внимание. Несмотря на то, Совет решил: синодских членов, призвав, выговорить, что им такого указа, не спросясь,

посылать не надлежало. Спустя немного времени после того в одно из заседаний Совета явился обер-секретарь и объявил от светлейшего князя приказ, чтоб изволили определить указом коломенскому архиерею иметь смотрение над петербургскими попами по примеру архиерея крутицкого, заведовающего духовенством московским. Странно, что петербургское духовенство поручалось коломенскому архиерею мимо архиепископа новгородского; но этот архиепископ, самый представительный член Синода по дарованиям и образованности, был вовлечен в неприятное дело, которое было не без влияния на отношения Верховного тайного совета к Синоду.

Мы видели, что церковные преобразования, совершившиеся при Петре, возбуждали неудовольствие не в одних низших слоях народонаселения, но и между сенаторами, которые и указывали Синоду на некоторые крайности и неприличие приемов в этих переменах. Главными поборниками нововведений в деле церковном считались двое главных членов Синода – Феодосий Яновский и Феофан Прокопович. Первый, человек страстный, неосторожный, непоследовательный и не выдававшийся своими дарованиями, пал в начале царствования Екатерины – и никто не жалел о нем. Феофан был ловок, осторожен и последователен, потому не сталкивался с Петром; преобразователь видел в нем человека, вполне сочувствовавшего преобразованию; разбирать же, в чем Феофан переходил должные пределы или нет, Петр не имел возможности; Стефан Яворский с своими приверженцами упрекал Феофана в неправославии, но на самого Стефана сыпались такие же упреки из столицы православия Константинополя. Петр защитил Стефана от константинопольского патриарха и тем более мог считать своим правом и обязанностью защитить Феофана от рязанского митрополита. Но другие смотрели иначе на дело и считали Феофана главным виновником неприятных им церковных преобразований. Навлекши на себя негодование одних как автор «Духовного регламента», Феофан навлек на себя негодование других как автор «Правды воли монаршей» – сочинения, направленного против прав великого князя Петра. Понятно, что Феофан должен был примкнуть к стороне, которая хлопотала о возведении на престол Екатерины, и вздохнул свободно, когда эти хлопоты увенчались успехом. Мы видели, что падение Феодосия очистило для Феофана первое место в Синоде; но архиепископ новгородский скоро увидал, что твердой руки, поддерживавшей его, не было более, что Екатерина и для него не могла заменить Петра. И человек, менее Феофана проницательный, мог легко усмотреть слабость императрицы, происходившую сколько от характера, столько же и от положения, чрезвычайно непрочного, что заставляло ее продолжать и на престоле прежний образ действий, к какому она привыкла при жизни мужа, т.е. угождать всем, заискивать у всех, не обращая большого внимания на последовательность, на подчинение отдельных отношений общему, единому плану действия; Екатерина уступала всякой силе, желая с каждою жить в ладу, не иметь ни одной против себя. Она покровительствовала Феофану, но в то же время уступила просьбам людей, не расположенных к нему, которые хотели ввести в Синод ему соперника, человека совершенно противоположного направления и характера, именно Георгия Дашкова, архиепископа ростовского. Мы видели деятельность Георгия во время астраханского бунта, деятельность, которая обратила на него внимание Петра; Дашков был сделан келарем, потом архимандритом Троицкого монастыря, а в

1718 году посвящен в епископы в Ростов, даже несмотря на то, что не был ученым монахом, и даже несмотря на то, что не был оправдан по доносу в злоупотреблениях богатою казною Троицкого монастыря. В лице нового ростовского архиерея, энергического, честолюбивого, ловкого, умевшего заводить связи и пробиваться к своей цели всякими средствами, способного природными дарованиями прикрывать недостаток образования, – в лице Дашкова получили своего представителя те великорусские духовные, которые были отстраняемы от высших степеней ненавистными ляшенками, малороссийскими монахами, управлявшими русскою церковию потому только, что учились в школах. Георгий не мог равнодушно снести, что ляшенки наполняли Синод, а он не был членом Священной коллегии; тотчас же, в 1721 году, он столкнулся с Синодом, написавши к нему доношение, «весьма противное и дерзостное во многих нарекательных терминах»; Синод отвечал ему выговором с угрозою, что если не испросит у Синода прощения, то не останется без должного наказания. Дашков смирился, но не оставил мысли попасть в Синод каким бы то ни было способом; он обратился к любимцу императрицы Монсу с просьбою, чтоб тот выхлопотал ему или место вице-президента в Синоде, или по крайней мере перевод на Крутицы: место крутицкого архиерея было очень важно, во-первых, потому, что он заведовал московским духовенством, во-вторых, потому, что двор и Сенат посещали древнюю столицу и долго в ней оставались. Ни то, ни другое желание Георгия не было исполнено в царствование Петра Великого, но он недолго дождался: Екатерина в 1725 году назначила его членом Синода, несмотря на нежелание последнего. Время было благоприятное: люди, враждебные церковным нововведениям и нововводителям, могли высказываться свободнее без Петра; Екатерине могли указать и сама она могла заметить раздражение против неблагоприятных нововводителей в разных слоях общества, начиная с высшего, и, разумеется, в выгодах было смягчить это раздражение, приобрести популярность более православным поведением; не без расчета могли поступить строго с Феодосием, принести его в жертву всеобщему неудовольствию, и не без расчета спешили назначить в Син в товарищи Прокоповичу и Лопатинскому неляшенка, человека с противоположным направлением. Георгий – представитель старого направления церкви, член Синода: Феофану, представителю нового, неловко; он недоволен: недоволен Екатериною, которая изменяла в его глазах делу Петра Великого, возвышая людей, враждебных этому делу, недоволен особенно Меншиковым, который, как главный между птенцами Петра, не поддерживал своих, позволял давать дорогу людям, им враждебным. Феофана не трогали, как знаменитость прошлого царствования, и по неимению поводов: но поводы могли найтись и действительно нашлись.

Еще в начале 1725 года Синоду было донесено, что в Псковском Печерском монастыре лежат на полу 70 икон со снятыми окладами и венцами, и в допросе показывали, что снимать венцы и оклады приказывал архимандрит монастыря Маркелл Родышевский, а Маркелла поставил архимандритом и судьей архиерейского дома Феофан. В 1725 году Феофану удалось замять дело – выручить своего клиента: но в начале 1726 года дело возобновилось, быть может, не без цели привлечь к нему и Феофана, оставшегося теперь главою нововводителей. Маркелл приехал в Петербург отвечать пред Синодом на обвинение, ходил к Феофану; однажды явился он к нему в большом страхе и

рассказывал, что два раза встретил гвардейского солдата, который грозил ему: «Будем вас, федосовщину, за то, что ругаете и обираете св. иконы, с вашими начальниками скоро губить: помни это крепко! Вот скоро дождемся колокола, и будет вам!» Сначала Феофан старался успокоить Маркелла и, приписывая его ужас болезненному состоянию, призывал к нему доктора, но потом счел необходимым препроводить его для допросов в Преображенскую канцелярию. Поступок совершенно понятный: человек свидетельствует о приготовляющейся смуте; пусть он донесет об этом, где следует: ибо если Маркелл сам пошел бы с доносом в Преображенскую канцелярию и в допросе сказал, что объявлял об угрозах солдата преосвященному новгородскому, то последнего не поблагодарили бы. Феофан, впрочем, объяснял свой поступок тем, что убедился в притворстве Маркелла, отчего родился в нем страх, не знает ли и в самом деле он чего-нибудь подобного и не распускает ли этих слухов нарочно для смущения народа и для опечаления ее величества. Как бы то ни было, если понятен поступок Феофана, то понятно также, что Маркелл, отосланный в Преображенскую канцелярию человеком, от которого ждал только милости и защиты, сильно раздражался против Феофана и решился выпутаться из своего страшного положения и вместе отомстить Феофану и приобрести расположение и защиту его врагов доносом на новгородского архиерея.

В Преображенской канцелярии Маркелл показал, что он болен меланхолией, которую навели на него слова двоих александроневских монахов; один сказал ему: «Бог знает, увидимся ли с тобою!», а другой говорил: «Я подарил тебе одну лютеранскую книгу, возьми у меня еще две такие же». Из этих слов Маркелл заключил, не грозит ли беда некоторым синодальным членам за их противности к церкви, и боялся, не взяли бы и его понапрасну, потому что он о противностях к церкви некоторых синодальных членов знает и объявит, где будет приказано. Меланхолия напала на него еще и оттого, что шел за ним какой-то унтер-офицер, бранил бывшего архиерея Федоса за иконоборство и, обратившись к нему, Маркеллу, сказал: «Вы и ваши начальники такие же иконоборцы и церкви противники, потому что против Федоса ни в чем не спорили, помните, что за это скарает вас бог». На другой день гвардейские солдаты, указывая на него, говорили: «Это все федосовщина; хорошо бы всю федосовщину истребить». Маркелл объявил и о разговорах своих с Феофаном политического содержания. Однажды Феофан говорил ему: «Государыня императрица благоволила немного ошибиться в том, что светлейшего князя изволила допустить до всего, за что все на него негодуют, так что и ее величеству не очень приятно, что она то изволила сделать. Поистине говорю, что я наипаче ее величество и на престоле всероссийском утвердил, а то по кончине его императорского величества стали было иные насчет этого прекословить. А ныне многие негодуют, особенно за светлейшего князя, что ее величество изволила ему вручить весь дом свой, и бог знает, что будет далее. Подождать мало: вот в скором времени у нас произойдет что-нибудь великое; про ее императорское величество говорят и то, что она иноземка и лютеранка. Когда императрица изволила смотреть строю, и в то время чуть ее из ружей не убили дважды, и пулею убило человека, который был от нее в полусажени, из чего видно, что многие ее величеству не благоприятствуют; только один, кажется, верен – граф Толстой, но и тот, как все вознегодуют, к ним же приклонится; и то захотелось ей жеманиться, да отнюдь не пристало, потому что

вот на нее какие замахы; а воинство муштровать есть на то генералы, а не ее дело». При нем, Маркелле, был у Феофана александроневский архимандрит и говорил: «Вчерашнего числа был у нас в монастыре светлейший князь и пел молебен». Феофан, покачав головою, сказал на это: «На что бога обманывать: он самый недобрый человек, многим зло делает, а показывает себя богомолем и молебны поет». Спрошенный, кто именно синодальные члены и какие противности к церкви имеют, Маркелл представил обличение на Феофана в неправославных мнениях и указал на людей, которые разделяют эти мнения, между прочим на известного проповедника Гавриила Бужинского. Между тем в Синоде продолжалось дело о Маркелле, и явилось на него новое обвинение: между его вещами нашли епитрахиль и пелену со споротыми жемчугами. Синод прислал в Преображенскую канцелярию вопросные пункты Маркеллу, и тот отвечал, что он обирал жемчуг с епитрахили и пелены по приказанию Феофана.

Императрица по докладу Тайной канцелярии приказала потребовать объяснения от Феофана. Феофан представил объяснения. Ему легко было написать, что Маркелл оклеветал его относительно «непристойных слов»; но некоторым, особенно Меншикову, трудно было поверить, что Маркелл все это выдумал. Феофан дал такой смысл своим речам о государыне и Меншикове: «Когда мне сказал страхование свое и слова мятежные Маркелл. тогда, отводя его от одного страха или мечтания, говорил я, что солдат, который будто на него и прочих кричал и угрожал мятежом и сечением, был некто от малконтентов; таковой (молвил я), ярости полный, увидя тебя и дело твое об окладах иконных слышав, яд гнева своего на тебя излевал. На пример же малконтентов, вспомянув о письме подметном и о выстреленной пуле на экзерциции, и приложил и сие, что, может быть, некие ярятся и на князя светлейшего за превосходство его: все же то сказал я вкратце и не к бесчестию князя светлейшего, и не к поношению ее величества, но просто к его (Маркеллову) утешению, понеже сей лукавец притворял себе великий страх и трепет. Нерядовой же и клеветник, который слово похвальное переделает на ругательное. Он и предики мои похвальные перетолкует на хульные. Воспоминаю, какова известная моя и к ее императорскому величеству, и ко всей ее величества высокой фамилии, и ко всему Российскому государству верность: ибо не токмо никто и никогда ни в деле, ниже в слове моем никакой не мог признать противности, но и многими действиями моими должная моя верность свидетельствована стала. Свидетельствуют о ней многие мои проповеди и не едина книжица изданная, в которых тщательно и многократно поучаю, как верни поддании и послушливы должны быть государям своим; свидетельствуют иные мои сочинения, которыми, как ни есть, по силе моей славе их величества послужил я.. То ж свидетельствуется и от прошлогодского дела о Феодосии. А еще в прошлых 1708 и 1709 годах, когда Мазепина измена была и введенный оною в отечество неприятель, – каков я тогда был к государю и государству, засвидетельствует его сиятельство князь Дмитрий Михайлович Голицын. Но паче всего каковое о моей верности свидетельство блаженные и вечнодостойные памяти государь император неоднократно произносил, их сиятельству высоким министрам известно. А о Маркелле. как к плутовству охотный он, все ведают, кто его изблизка знает: и в прошлом 1718 году, когда он тщался клеветою погубить преосвященного Феофилакта, тверского

архиепископа, его величество государь император, яко премудрейший государь, и слушать не похотел».

Ссылкою на свидетельство Петра Великого Феофан начинает защиту свою против обвинений в неправославии: «Известно всем, что я поучений никогда не говорил, разве в присутствии множества честных людей, но и самого императора. Смотри же, благорассудный, как беснуется Маркелл: всех честных людей без всякого изъятия в дураки ставит. Сам Петр Великий, не меньше премудрый, как и сильный монарх, в предиках моих не узнал ереси, а в преблаженной кончине своей и с лобзанием принимал сие мое учение (об оправдании верою), которое Маркелл ересью нарицает. Известно же нам, что тот же монарх две предики Маркелловы в Кронштадте, яко безумные и хульные, обличил, а в моих не усмотрел, что усмотрел Маркелл. Что же надлежит до моих книжиц, первую (о отроческом наставлении) апробовал императорское величество, и как именным указом его сделана, так его ж величества указом везде разослана, и повелено из нее учить детей российских; а книжицу „О блаженствах“ его ж величество в Низовом походе прочел и на письме своем своеручном прислал об оной книге таковое в Синод свидетельство, что в ней показуется прямой путь спасения. Кто ж не видит, коликое Маркеллово дерзновение? Кто бо не видит, что он терзает славу толикого монарха?»

Маркелл обвинял Феофана в мнении, что одно св. писание полезно нам к спасению, а св. отец писание имеет в себе многие неправости, потому не надобно его в великой чести иметь и на него полагаться. Феофан отвечает: «Все мы учим и исповедуем, что едино св. писание есть учение основательное о главнейших догматах богословских; приемлем и предания, оному непротивная; а св. отец книги хотя и во втором по св. писанию месте полагаем, однако же многополезные нарицаем. О моем к отеческим книгам почитании не едино свидетельствует дело мое: привожу в предиках из книг отеческих свидетельства, то ж делаю в книжице „О блаженствах“, и в книжице „Правда воли монаршей“, и в книжице „О крещении“ и проч.; и в библиотеке моей есть особливая от иных прочиих часть всех церковных учителей, авторов числом больше 600 содержащая, на которые издержал я больше тысячи рублей. И давно уже по силе обучаюсь и навыкаю ведать, о чем который отец св. пишет, дабы в случающихся церковных нуждах скоро можно было выписывать свидетельства. А Маркелл, подлинно ведаю, ни единой никогда книги отеческой и в руках не держал, разве у меня в шкафе стоящие и неотверзтые видел». В другом месте он пишет о Маркелле: «И не ложно могу сказать, что если бы так часто хлеб ел он, как книги читает, то в три-четыре дни не стало бы его».

Маркелл обвинял Феофана: «Св. икон в чести достодожной не содержит, а содержит так, как содержат люторы». Феофан отвечает: «Протолковал бы Маркелл, кая честь иконам св. достодожная, и тогда бы то или другое говорил на меня. А мое о чести, иконам св. подобающей, толкование напечатано в наставлении отроческом, и не мое самого, но всего собора седьмого». Маркелл доносил: «Мнит Феофан и прочим сказывает, что водоосвящение в церкви суеверие есть и ни к чему оное не полезно». Феофан отвечает: «А для чего ж в домовой моей церкви водоосвящение бывает и в мою и в прочии келии приходит священник с водокроплением?» Между прочими обвинениями Маркелл написал: «Чудотворца Николая многожды бранил Феофан и называл русским богом».

Феофан отвечает: «Да не сподобит мене бог достигнуть оногo блаженства, которое и Николай св., и прочии угодницы божии получили, если не лжет Маркелл! А то правда, что плотникам и другим простакам по случаю говорил, дабы св. Николая не боготворили, с полезным рассуждением для того, что память св. Николая выше господских праздников ставят». Маркелл написал: «Говорит, что учения никакого доброго в церкви св. нет, а в лютеранской церкви все учение изрядное». Феофан отвечает: «Говорил часто со вздыханием не о лютеранах одних, но и о папистах, кальвиниках, арминианах и о самых злейших и магометанскому злочестию близких социнианах, что у них школ и академий и людей ученых много, а у нас мало. И ино есть учение, ино же – ученый человек. Учение церковное в св. писании, тако ж в соборах правильных и книгах отеческих. А ученый человек, который умеет языки, знает многие истории, искусен в философских и богословских прениях, хотя доброго, хотя злого он исповедания. Моя же речь есть о ученых людях, а не о церковном учении, в книгах заключенном. Известно всем ученым, какового учения Маркелл, что не токмо не чел и не читает ни св. писания, ни отеческих, ни соборных и никаких книг, но и разуместь не может, и из латинского языка перевесть не умеет: и когда некую книжицу переводить тщался, то между бесчисленными смешными погрешениями и сей толк положил, который и доселе для забавы воспоминается. Написано было: „эра троянская“, а он перевел – „мать троянская“. И не дивно: еще бо и в школах тупость его ведома была. Из которого его невежества произошло, что и в сих пунктах своих некие главные церкви св. догматы ересью нарекл. Как же таковой невежа может сие учение рассуждать и судить? Дадим же ему и умение, и силу искусства богословского (которой не бывало), и если в 47 артикулах мои ереси содержатся, как то он описует, то я не рядовой, по мнению его, еретик. Для чего же Маркелл доселе молчал? Для чего не охранял церкви от толь вредного развратника? Еще же и вящше, для чего мене не отвращался, но благословения у меня требовал, и отцем и пастырем нарицал мене, и имя мое, яко пастырское, в церкви при священнослужениях возносил? Была бы его вина, если б он толь многие ереси за мною ведал, не скоро, где надлежит, донесл, хотя бы и свободен доносил, а то тогда уже доносит, когда в важном деле за арест уже посажен. А по шестому правилу св. собора второго вселенского не важно на архиерея доношение того, который сам донесен, покамест сам не оправдится». Феофан заключил свою защиту так: «Если я не от всего сердца желаю сынам российским спасенного пути и вечного блаженства и если Маркелл прямо и по совести сия на мене написал, то да буду анафема от Христа Иисуса, господя моего! А на него клятва сия и на его (аще кии суть) сообщников и пособников падет, аще не покаются».

Несмотря на неудовлетворительность ответов Феофана относительно «непристойных слов», его не могла постигнуть участь Феодосия: Феодосий не имел блестящих способностей, резко выдававшихся достоинств, и выходки его против благодетеля еще более оправдывали всеобщее нерасположение к нему, тогда как Феофан был знаменит своими дарованиями и ученостию, занимал в этом отношении, бесспорно, первое место в русском духовенстве, был одним из самых блестящих украшений великого царствования, слава которого осеняла и царствование настоящее; Феофан был великолепный памятник петровского времени: разрушить памятник значило наругаться над этим временем; недаром Феофан настаивал на том, что вся его деятельность, против которой теперь

вооружаются, освящена одобрением Петра Великого: это имело особенный смысл для Екатерины, которая блистала светом, заимствованным от Петра; притом Феофан не возбуждал против себя такого всеобщего негодования, как Феодосий; напротив, за Феофана были люди, которым дорог был новый порядок вещей, новорожденное русское просвещение, в глазах которых удар Феофану был тяжелым ударом этому просвещению; можно сказать, что в глазах этих людей, для которых новый порядок вещей представлялся светом в сравнении с прежнею тьмою, в глазах этих людей Феофан был наследником Петра, главным носителем идей преобразования в смысле образования; Феофан был вождем этих людей в их борьбе с детьми мрака, Георгием Дашковым с товарищи. Низвержение ученейшего архиепископа новгородского было бы в глазах этих людей и в глазах Европы самым верным знаком покинутия дела Петрова и возвращения к прежнему варварству; но подать этот знак никак не могли согласиться люди, с уст которых не сходило, по крайней мере официально, имя великого преобразователя. Феофан недаром старается выставить свое дело с Маркеллом как борьбу науки, учености с невежеством. Но если бы даже и решились низвергнуть Феофана, то каким способом можно было это сделать, воспользовавшись настоящим случаем, доносом Маркелла? Был один донос без свидетелей; по обычному порядку надобно было пытаться доносчика, и если бы он на пытке не сговорил, то надобно было пытаться обвиненного, и этот обвиненный был Феофан Прокопович! Разумеется, Екатерина не могла на это согласиться, и потому дан был такой указ: «Архимандрита Маркелла Родышевского за его сумнительные предерзкие слова держать в С.-Петербургской крепости от других колодников особо под крепким караулом до указа. А что он, Родышевский, показал на новгородского архиепископа Феофана о непристойных словах и о церковных противностях, и тому его показанию верить не указала (императрица) потому: оный архиерей в ответах написал под заключением проклятия и анафемы, что он против показания его, архимандричья, непристойных слов и прочих не говаривал и никакой противности к церкви святой не имеет; да и потому: оный архимандрит в Преображенскую канцелярию взят по доношению одного архиерея в его сумнительных к устрастию смертного мятежа словах, о чем оный архимандрит хотя не во всем, однако же показал, что-де был в некоторой боязни от приключившейся ему меланхолии, чего было ему, собою рассуждая, о таковых страхованиях говорить и сомнения иметь, не зная подлинно, не надлежало».

По этому указу Феофан выходил с торжеством из дела: верить доносу было не указано; но Феофану было сделано другое объявление, в котором ему показано, что он не вполне оправдался, что он остается в подозрении не только относительно непристойных слов, но и относительно православия своего образа мыслей и поступков, и чтоб впредь вел себя как прилично православному *великороссийскому* архиерею, иначе не будет ему такого снисхождения, какое оказано теперь: «Слушав его ответы, в которых некоторые против показания архимандрита Маркелла и неподлинно изъяснены, следовать и тому архимандритскому показанию верить императрица не указала; а впредь ему, архиерею, противностей св. церкви никаких не чинить и иметь чистое безсоблазненное житие, как все великороссийские православные архиереи живут; также чтоб и в служении, и в прочих церковных порядках нимало отмены не чинил пред великороссийскими архиереями; а если он в противности св. церкви

по чьему изобличению явится виновен, и в том ему от ее императорского величества милости показано не будет» (8 декабря 1726 года).

Но беда этим не кончилась. Через несколько месяцев Екатерина умирает; на престол восходит Петр II, против прав которого было направлено знаменитое сочинение Феофана «Правда воли монаршей»; Меншиков, озлобленный на Феофана по делу Родышевского, теперь всемогущий правитель. Новгородскому архиепископу нельзя было ожидать ничего хорошего для себя. Первый удар состоял в том, что «Правду воли монаршей» велено было отбирать; второй удар получен по поводу старого дела Родышевского. Мы видели, что указом Екатерины велено было держать Маркелла в крепости *до указа*, следовательно, должны были снова поднять и пересмотреть это дело, чтоб положить окончательное решение. Меншиков не мог низвергнуть Феофана и теперь по тем же побуждениям, по каким он не мог этого сделать при Екатерине, тем более что теперь нужно было еще уничтожить решение покойной императрицы; но сочли нужным повторить для Феофана унижение, уже испытанное им в прошлое царствование. 20 июня в Верховном тайном совете рассуждение имели по делу новгородского архиерея с архимандритом Маркеллом, и положено архимандрита послать в Невский монастырь и жить ему там в братстве; архиерея призвать в Верховный тайный совет и объявить ему: «Понеже по тому делу является немалая важность, *а он в ответах своих многого не изъяснил*, о чем надлежало было в подлинник исследовать, однако ж то оставляется, но чтоб он знал, что ему то оставление учинено из его императорского величества милости».

В то время как представитель малороссийских духовных, вызванных Петром для распространения просвещения между духовенством великороссийским, подвергался унижению, что, естественно, поднимало людей, враждебных ляшенкам, архиереев из великороссиян и главного из них, Георгия Дашкова, который уже начинал мечтать о патриаршестве, – в это время на родине Феофана происходила перемена в угоду малороссийскому народу, как говорили в Петербурге, но вопреки мысли Петра Великого решено было уничтожить Малороссийскую коллегия и восстановить гетманское достоинство. Побуждениями к тому могли быть: 1) общее движение, высказывавшееся по смерти Петра, к восстановлению прежней простейшей формы одноличного управления, требующей менее денег и людей; 2) постоянное опасение турецкой войны, в которой Малороссия по своему положению должна играть важную роль, и потому хотели, чтоб малороссияне были довольны и привязаны к России и движения казацкого войска имели более единства: еще при Екатерине, в начале 1726 года, в Верховном тайном совете было положено: прежде войны с турками приласкать малороссиян, позволив им выбрать из своей среды гетмана; подати, с них собираемые, отменить, а в рассуждении сборов на жалованье и содержание войск поступать, как бывало прежде при гетманах; суд и расправу производить им самим, и одни апелляционные дела отправлять в Малороссийскую коллегия; наконец, 3) к восстановлению прежнего порядка могли побудить жалобы на членов Малороссийской коллегии и ее президента Вельяминова. Меншиков мог иметь личные побуждения: приобрести благодарность и расположение влиятельнейших жителей Малороссии и верного слугу в гетмане, которым назначал своего старого клиента Апостола. Новый император в первое заседание свое в Верховном тайном совете определил: «В Малой России ко удовольствию

тамошняго народа постановить гетмана и прочую генеральную старшину во всем по содержанию пунктов, на которых сей народ в подданство Российской империи вступил». Еще 12 мая объявлен был именной указ: «Пожаловали мы, милосердую о своих подданных малороссийского народа, указали: доходы с них денежные и хлебные собирать те, которые надлежат по пунктам гетмана Богдана Хмельницкого и которые сбираны при бытности бывших потом гетманов, а которые всякие доходы положены с определения коллегии по доношениям генерал-майора Вельяминова вновь, те оставить вовсе и впредь с них не собирать и о том в Малую Россию к тамошней старшине и во все полки послать наши указы из Сената и притом их обнадежить, что к ним в Малую Россию гетман и старшина будут определены впредь вскоре, как прежде было, по договору гетмана Богдана Хмельницкого; а Малороссийской коллегии президенту Вельяминову с приходными и расходными книгами быть в С.-Петербург немедленно». Того же числа в Верховном тайном совете отвергнуто было предложение Сената о позволении великороссиянам покупать земли в Малороссии, «чтоб от того малороссиянам не было учинено озлобления». До Петра Великого дела малороссийские и козацкие были ведомы в Посольском приказе; Петр Великий дела козацкие, как дела известной части войска, отдал в ведение Военной коллегии, а дела малороссийские передал из Иностранной коллегии в Сенат, чем уничтожилось значение этих областей как отдельных от империи, ибо только в этом смысле сношения с ними могли производиться чрез Иностранную коллегию. Теперь же, когда задумано было восстановление гетманства, 16 июня, в присутствии Меншикова в Верховном тайном совете было положено – малороссийским делам быть в Иностранной коллегии по-прежнему.

22 июля был издан указ: «В Малороссии гетману и генеральной старшине быть и содержать их по трактату гетмана Богдана Хмельницкого, а для выбора в гетманы и в старшину послать тайного советника Федора Наумова, которому и быть при гетмане министром». Инструкцию Наумову, составленную в Иностранной коллегии, тайный советник Степанов носил к светлейшему князю, и его светлость в секретных пунктах о выборе в сотники и другие чины добрых людей дополнить велел: «Кроме жидов», притом же рассуждать изволил, что полковник Лубенский, шурина гетмана Скоропадского, из жидов, и много от него народу в полку его тягости, так лучше его отставить. Относительно жидов Меншиков остался верен взгляду Петра Великого, так и после на доклад о жидах приказал: «Чтоб жидов в Россию ни с чем не впускать».

Малороссия получила гетмана; лифляндское шляхетство просило сейма, и в Верховном тайном совете на 1727 год сейм позволили, рассуждая, что ныне там генерал Леси (Ласу, Ласси, Лассий) с командою.

Таковы были правительственные распоряжения в первые четыре месяца царствования Петра II, когда власть сосредоточивалась в руках Меншикова. Через четыре месяца Меншиков пал; какие же были причины его падения? Отвечают обыкновенно: придворные интриги, указывают на Остермана, на Долгоруких, князя Алексея Григорьевича и его сына Ивана как на главных виновников низвержения Меншикова. Но обратим прежде всего внимание на источник власти Меншикова, на его отношения к императору. Начнем с того, что на положение, какое имел Меншиков в описываемое время, он не имел никакого права: в знаменитом завещании Екатерины I он не был назначен правителем, вся власть

была передана Верховному тайному совету. Меншиков распоряжался, заставлял Совет принимать свои мнения, дожидаться своих решений единственно потому, что никто ему не противоречил, никто не спрашивал у него, по какому праву он так поступает. Но почему же его боялись и молчали, почему считали его сильным? Во-первых, потому, что между людьми, могшими не молчать, не было никакого единства, все жили врознь, и, кто бы хотел высказаться против Меншикова, тот не имел никакой уверенности, что другие его поддержат, не выдадут светлейшему; во-вторых, Меншиков был будущий тесть императора, который жил в его доме, находился в его руках. До тех пор пока существовали такие отношения между Петром и Меншиковым, пока все думали, что воля Меншикова и воля Петра одно и то же, до тех пор все преклонялись пред Меншиковым. Следовательно, вот где был источник власти светлейшего князя, источник власти всех людей, близких к самодержавному государю, всех фаворитов. Но фавор Меншикова был самого непрочного свойства. В первые дни мальчик подчинился человеку, который казался очень силен, который содействовал его возведению на престол; но очень скоро без всякого постороннего внушения при первом неприятном чувстве от неисполнения какого-нибудь желания должна была явиться мысль: по какому праву этот человек мною распоряжается, меня воспитывает, держит в плену? Эта мысль должна была явиться особенно тогда, когда надобно было расплачиваться за услуги, которые не могли очень ясно сознаваться, когда нужно было обручиться с дочерью Меншикова, которая вовсе не нравилась. Мальчик был не охотник учиться, любил погулять, страстно любил охоту; но обо всем надобно спрашиваться светлейшего князя и часто ждать сурового отказа, и по какому праву он отказывает? Барон Андрей Иванович – другое дело: он воспитатель, умнейший, ученейший человек, получше Меншикова знает, что надобно делать, но и он не отказывает.

При таких отношениях столкновения между Петром и Меншиковым были необходимы и должны были обнаружиться очень скоро. При таких отношениях что было делать окружающим? На какую сторону становиться? Легко было предвидеть, что рано или поздно дело кончится разрывом; не вооружая пока против себя Меншикова, надобно упрочить свое положение при Петре старанием ему понравиться; а ему никак нельзя понравиться внушением, что надобно слушаться Меншикова, да и как это внушать? Легко внушать мальчику, что надобно слушаться отца, сестры, наставника, кого-нибудь уполномоченного законом; но светлейшего князя кто уполномочивал распоряжаться? Положение Остермана было труднее всех: он был обязан смотреть, чтоб молодой император хорошо учился, не потакать его стремлению к удовольствиям, и в этом отношении он должен был действовать заодно с Меншиковым: но нельзя же слишком налегать на мальчика, особенно в летнюю пору, когда двор переехал в один из «веселых домов» в Петергоф; очень удобно понравиться государю, складывая всю вину стеснительных мер на Меншикова; притом находиться под властью Меншикова, отдавать ему во всем отчет очень стеснительно: тяжелый, повелительный, несимпатичный человек; и что он смыслит в воспитании и по какому праву распоряжается? Когда его не будет, никто не будет мешать искусному воспитателю взять совершенно воспитанника в свои руки.

Итак, барон Андрей Иванович очень добрый человек, он же самый умный и ученый человек – это постоянно говорит сестрица Наталья Алексеевна, а сестрица

Наталья Алексеевна необыкновенная умница, которую надобно во всем слушаться, – это последнее говорит Андрей Иванович, самый умный и ученый человек. С бароном Андреем Ивановичем весело: он такой добрый; весело с сестрицей: сироты изначала привыкли жить душа в душу; весело с князьями Долгорукими: добрые люди только и хлопочут о том, как бы угодить, как бы повеселить. Но всего веселее с тетушкой цесаревной Елисаветой Петровной.

Елисавете Петровне было 17 лет; она останавливала взоры всех своею стройностию, круглым, чрезвычайно миловидным личиком, голубыми глазами, прекрасным цветом лица; веселая, живая, беззаботная, чем отличалась от своей серьезной сестры Анны Петровны, Елисавета была душою молодого общества, которому хотелось повеселиться; смеху не было конца, когда Елисавета станет представлять кого-нибудь, на что она была мастерица; доставалось и людям близким, например мужу старшей сестры герцогу голштинскому. Неизвестно, три тяжелых удара – смерть матери, смерть жениха и отъезд сестры – надолго ли набросили тень на веселое существо Елисаветы; по крайней мере мы видим ее спутницею Петра II в его веселых прогулках и встречаем известие о сильной привязанности его к ней. Близкое родство благоприятствует частым свиданиям и бесцеремонному обращению, а между тем могло быть узвано, что умнейший и ученейший человек барон Андрей Иванович подавал проект о необходимости брака Петра на Елисавете – брака, примирявшего все партии и упрочивавшего спокойствие государства. Как было бы тогда весело! А теперь эта скучная, противная Меншикова! Барон Андрей Иванович, бесспорно, самый добрый, умный и ученый человек.

Прусский двор хлопочет, как бы устроить брак Елисаветы с одним из своих принцев, имея в виду приданое – Курляндию; но Елисавета отклоняет предложение: она желает остаться в России; за нее идет спор у Петра с сестрою его Натальею, которую беспокоит дружба брата с теткою; но Петр не хочет ничего слышать; мальчик стал упрям, повелителен, он не терпит противоречий и проводит время на охоте, в веселых прогулках с неразлучною спутницею – цесаревной Елисаветою Петровною. Чего же смотрит Меншиков? Он сильно болен: кровохаркание и лихорадка изнурили его вконец; он собирается умирать, пишет прекрасное наставительное письмо императору, указывает ему его обязанности относительно России, «этой недостроенной машины», увещевает слушаться Остермана и министров, быть правосудным, пишет и к членам Верховного совета, поручает им свою семью. Что будет, когда умрет Меншиков? Многим будет легко: избавятся от деспота; старинные фамилии поднимутся; князь Дмитрий Михайлович Голицын будет иметь первый голос в гражданских делах, брат его фельдмаршал князь Михаил Михайлович – в военных. Но уже той силы в правительстве, какая была при Меншикове, не будет. Император не женится на княжне Меншиковой.

Меншиков выздоравливает, но роковая болезнь уже произвела свое действие: Петр пожил на свободе и, разумеется, употребит все усилия, чтобы не возвратиться назад к своему тюремщику. Не хочет этого возвращения Остерман, великая княжна Наталья, цесаревна Елисавета, не хотят Долгорукие и весь двор, не хотят члены Верховного тайного совета. Все готово, но никто не решится начать дела, кроме императора, хотя этому императору только 12 лет. Меншиков вызывает его на борьбу, потому что в государстве и во дворце играет роль

самовластного господина. Еще перед болезнью у него была сцена с императором. Цех петербургских каменщиков поднес государю 9000 червонных, которые Петр отослал в подарок своей сестре; но посланный встретился с Меншиковым, который велел ему отнести деньги в свой кабинет, сказавши при этом: «Император еще очень молод и потому не умеет распоряжаться деньгами как следует». Петр, узнавши об этом, спрашивает у Меншикова раздраженным голосом, как он смел помешать исполнению его приказа? Светлейший князь, который никак не ожидал подобного вопроса от покорного до сих пор мальчика, сначала обеспамятел, потом отвечал, что государство нуждается в деньгах, казна истощена и что он в тот же день хотел представить проект, как лучше употребить эти деньги. Петр топнул ногою и сказал: «Я тебя научу, что я император и что мне надобно повиноваться». С этими словами он повернулся к нему спиною и пошел; Меншиков отправился за ним и успел успокоить мальчика, еще не привыкшего к подобным выходкам.

По выздоровлении Меншиков, как видно, забыл эту сцену. Царскому камердинеру дано было 3000 рублей для мелких расходов императора; Меншиков потребовал отчета у камердинера и, узнав, что он дал Петру небольшую сумму из этих денег, разбранил его и прогнал. Петр поднял из-за этого страшный шум и принял снова к себе камердинера. В другой раз Петр потребовал у Меншикова 5000 червонных. «Зачем?» – спрашивает Меншиков. «Надобно», – отвечает Петр и, получивши деньги, опять дарит их сестре; Меншиков, взбешенный, велит взять деньги у великой княжны. Петр выходит из себя, не может равнодушно ни видеть, ни слышать Меншикова; а тут старик великий канцлер граф Головкин умоляет государя заступиться за его зятя Ягужинского, которого Меншиков ссылает в Украинскую армию; Петр говорит об этом с Меншиковым, требует удержания Ягужинского в Петербурге; но Меншиков не соглашается и после крупного разговора с самим Головкиным Меншиков настаивает на своем: Ягужинский должен выехать из Петербурга. Меншиков видит, что Долгорукие служат ему дурную службу при Петре, хочет опереться на Голицыных, хочет устроить брак своего сына на дочери фельдмаршала Голицына; князь Алексей Григорьевич Долгорукий, чуя беду, хлопочет о соединении Головкина, Голицына и Апраксина против Меншикова. Но более других должен отвечать Остерман за поведение своего воспитанника. Остерман продолжает давать отчет Меншикову, переписывается с ним, когда отправляется на охоту с императором. 19 августа он писал Меншикову: «Сего момента получил я вашей высококняжеской светлости милостивейшее писание от 19-го. Его императорское величество радуется о счастливом вашей великокняжеской светлости прибытии в Ораниенбом и от сердца желает, чтоб сие гуляние ваше дражайшее здравие совершенно восставить могло, еже и мое верное всепокорнейшее желание есть; при сем вашей высококняжеской светлости всенижайше доношу, что его императорское величество намерен завтра после обеда отсюда идти и ночевать в Стрельне, а оттуда в понедельник в Ропшу, и надеюсь, что в четверток изволит прибыть в Петергоф, и хотя здоровье мое весьма плохое, однако ж туда ж побреду. Вашу высококняжескую светлость всепокорнейше прошу о продолжении вашей высокой милости и, моля бога о здравии вашем, пребываю с глубочайшим уважением вашей высококняжеской светлости всенижайший слуга А. Остерман». Петр приписал: «И я при сем вашей светлости, и светлейшей кнегине, и невесте, и

своячине, и тетке, и шурина поклон отдаю любительны. Петр». 21 августа новое донесение из Стрельны: «Вашей высококняжеской светлости милостивейшее писание из Ораниенбома я вчерашнего ж дня во время самого выезде из С.-Петербурга в путь исправно получил и благодарствую и при сем в скорости токмо сие доношу, что вашей высококняжеской светлости за оное всепокорнейше его императорское величество вчерашнего дня ввечеру, в 9 часу, слава богу, счастливо сюда прибыть изволил, и сего утра, позавтракав, поедем в Ропшинскую мызу при провождении всей охоты нашей. Его императорское величество писанию вашей высококняжеской светлости весьма обрадовался и купно с ее императорским высочеством любезно кланяются, а на особливое писание ныне ваша светлость не изволите погневаться, понеже учреждением охоты и других в дорогу потребных предуготовлений забавлены, а из Ропши, надеюсь, писать будут. Я хотя весьма худ и слаб и нынешней ночи разными припадками страдал, однако ж еду». Любопытно, что ни Петр, ни сестра его в приготовлениях к охоте не находят времени написать Меншикову.

26 августа в Петергофе в день именин великой княжны Натальи Меншиков узнал, что Остерман обманывал его в своем письме насчет расположения императора к нему. Только что Меншиков начинал говорить с Петром, тот поворачивался к нему спиной, на поклоны светлейшего князя он не обращал никакого внимания и был очень доволен, что мог унижать его. «Смотрите, – сказал он одному из приближенных, – разве я не начинаю вразумлять его?» На невесту свою он также не обращал никакого внимания; услышав, что Меншиков жалуется на это, Петр сказал: «Разве не довольно, что я люблю ее в сердце; ласки излишни; что касается до свадьбы, то Меншиков знает, что я не намерен жениться ранее 25 лет».

Приближенные видят, что борьба в разгаре; но чем дело кончится – неизвестно, и, по-видимому, Меншиков господствует, как прежде. В начале августа в Верховном тайном совете было постановлено, что так как расходы государственные определяются вопреки назначению своему, то не выдавать ниоткуда денег без собственноручного повеления императорского. В начале сентября издан указ, что это постановление не касается князя Меншикова, потому что еще при Петре I словесные и письменные повеления его исполнялись, притом же он по бытности его всегда при дворе часто получает приказы от самого императора.

В Ораниенбауме, именин Меншикова, к 3 сентября готовилось большое торжество – освящение церкви. Меншикову хотелось непременно, чтоб император присутствовал на торжестве: это уничтожило бы слухи о неприятностях между ними, и притом можно было бы постараться разными средствами смягчить Петра и устроить примирение. Самые униженные просьбы со стороны светлейшего князя были употреблены, чтоб склонить Петра к посещению Ораниенбаума, и тот сначала не отказывался, но, когда все было готово, послал сказать, что не будет; есть известие, что Меншиков имел неосторожность не пригласить цесаревну Елисавету. Церковь была освящена без императора. Это было в воскресенье; на другой день, 4 числа, Меншиков приехал в Петергоф на ночь и едва мог вскользь видеться с императором. Быть может, на другой день, день именин цесаревны Елисаветы, можно будет найти случай объясниться. Тщетная надежда: рано утром император отправился на охоту; великая княжна Наталья, чтоб не встретиться с

Меншиковым, выпрыгнула в окно и отправилась вместе с братом. Осталась именинница цесаревна Елисавета. Меншиков пошел поздравлять ее; на сердце было очень тяжело, хотелось облегчить себя, высказавшись; и вот светлейший начинает жаловаться цесаревне на неблагодарность Петра, вычисляет свои заслуги и заключает, что, видя все свои старания тщетными, хочет удалиться в Украину и принять там начальство над войском. Не дождавшись возвращения царя в Петергоф, Меншиков отправляется в Петербург со всем семейством. Но в этот же самый день в Петербурге в заседании Верховного тайного совета, где присутствовали Апраксин, Головкин и Голицын, объявлен был указ его величества интенданту Петру Мошкову: «Летний и зимний дома, где надлежит починить и совсем убрать, чтоб к приходу его величества совсем были готовы, и спрошен он, Мошков, был, как те дома вскоре убраны быть могут; Мошков донес, что дни в три убраны быть могут».

Дворцы надобно было прежде всего убрать теми вещами императора, которые находились в доме Меншикова, и в среду, 6 числа, по приказанию Верховного тайного совета все вещи императора были перенесены из меншиковского дома в летний дворец. В этот день Петр был на охоте и ночевал в Стрельне, а на другой день, в четверг, 7 числа, приехал в Петербург и остановился в летнем дворце. Он и с ним вместе многие другие освобождались из-под ига Меншикова; но можно ли было им на этом успокоиться, покончить борьбу, оставив Меншикова в прежнем значении генералиссимуса, члена Верховного тайного совета, с его огромным богатством, с влиянием на войско, на администрацию, где у него везде были свои люди, или отпустив его начальствовать войском на Украине? Борьба, разгоревшаяся до такой степени, что император говорил: «Я покажу, кто император: я или Меншиков», – не могла так кончиться; Петр не мог выносить присутствие Меншикова, им вдвоем было тесно; прекрасное средство освободиться из подобных отношений отъездом падшего вельможи за границу еще не было тогда изобретено, притом Меншиков выходил из ряду обыкновенных падших министров: его побоялись бы отпустить за границу. Нам говорят, что Петр был упорен в своих желаниях не по летам; мы знаем, как был упорен его отец, но у отца упорство было страдательное, потому что ему воли не было, а у сына была теперь воля: его желания всеми исполнялись, кроме Меншикова, и легко понять, как не любил он Меншикова: «Или я император – или он». Ненависть увеличивалась еще тем, что было обязательство жениться на дочери Меншикова; ненависть увеличивалась тем, что Меншиков считал себя вправе упрекать в неблагодарности. Ненависти можно было предаться: она оправдывалась тем, что, освобождая себя из-под ига, Петр освобождал и других, всю Россию; сестра Наталья Алексеевна не может выносить Меншикова, говорят, она первая поклялась, что нога ее не будет в его доме; цесаревна Елисавета не может быть расположена к Меншикову, особенно после удаления сестры цесаревны Анны. 5 сентября в Петергофе Меншиков с полчаса тайно разговаривал с Остерманом, и есть очень вероятное известие, что разговор был крупный, ибо Меншиков, видя отвращение Петра к себе, должен был прежде всего потребовать объяснения у воспитателя. Чтоб пригрозить Остерману, Меншиков стал его упрекать в том, что он старается отвратить императора от православия, за что будет колесован; Остерман отвечал, что он так ведет себя, что колесовать его не за что, но что он знает человека, который может быть колесован.

Наталья, Елисавета, Остерман были главные привязанности и авторитеты; Долгорукие и с ними весь двор вторили им; члены Верховного тайного совета не окажут сопротивления.

Светлейший князь в страшном положении, в каком никогда не бывал при Петре I, потому что тогда от гнева грозного царя были у него постоянно два могущественных защитника – Екатерина и сам Петр. Но теперь где защитники? Меншиков в мучительной тоске ищет, на кого бы опереться, пишет к князю Михаилу Михайловичу Голицыну: «Извольте, ваше сиятельство, поспешать сюда, как возможно на почте, и когда изволите прибыть к перспективной дороге, тогда извольте к нам и к брату вашему князю Дмитрию Михайловичу Голицыну прислать с нарочным известие и назначить число, в которое намерены будете сюда прибыть, а с Ижоры опять же обоих нас паки уведомить, понеже весьма желаем, дабы ваше сиятельство прежде всех изволили видеться с нами». Голицыны приласканы, довольны, они помогут, потому что не захотят видеть усиления Долгоруких или немца Остермана. Этот Остерман больше всех виноват: он обманывал, уверял в добром расположении Петра и сестры его; Остермана надобно непременно свергнуть; но кем заменить, кто был бы угоден? Некем больше, как старым учителем Зейкиным, и светлейший пишет к Зейкину, который еще не успел выехать из России: «Господин Зейкин! Понеже его императорское величество изволил вспомнить ваши службы и весьма желает вас видеть, того ради извольте ехать сюда немедленно; ежели же за распутием ехать сюда не похочете, тогда извольте быть у Александра Львовича Нарышкина, а мы тебя весьма обнадеживаем, что мы вас не оставим, а паче прежнего в милости содержаны быть имеете».

Еще день, другой – и, быть может, Меншиков вспомнил бы и о Маврине, но ему не дали времени припоминать людей, на которых бы он мог опереться в борьбе с приближенными Петра. В тот самый день, когда он написал письма к Голицыну и Зейкину, 7 сентября, Петр по своем прибытии в Петербург послал объявить гвардии, чтобы она слушалась только его приказаний, которые будут объявлены ей майорами ее, князем Юсуповым и Салтыковым. Вечером этого дня невеста императора и ее сестра явились в летний дворец поздравить Петра с приездом, но были так приняты, что должны были очень скоро уехать. 8 сентября, в пятницу, в день Рождества Богородицы, судьба Меншикова решилась: поутру к нему явился майор гвардии генерал-лейтенант Семен Салтыков с объявлением ареста, чтоб он со двора своего никуда не съезжал. Услыхав это, Меншиков упал в обморок; ему пустили кровь; жена его вместе с сыном и сестрою Варварою Арсеньевой поспешила во дворец, где на коленях встретила императора, возвращавшегося от обедни; но Петр не обратил никакого внимания на просьбы этой достойной женщины, которую все уважали и о которой все жалели. Она бросилась к великой княжне Наталье, к цесаревне Елисавете, но и те ушли от нее, не сказавши ни слова. Оставалась последняя надежда: нельзя ли умиловить Остермана, убедить его, что он может не бояться колесования и не погубив светлейшего князя. Три четверти часа княгиня стояла на коленях пред Остерманом понапрасну. Барону Андрею Ивановичу нужно было спешить в Верховный тайный совет, куда должен был приехать сам император. Здесь Петр подписал указ: «Понеже мы всемилостивейшее намерение взяли от сего времени сами в Верховном тайном совете присутствовать и всем указам отправленным быть за

подписанием собственннх нашае руки и Верховного тайного совета: того ради повелели, дабы никаких указов или писем, о каких бы делах оные ни были, которые от князя Меншикова или от кого б иного партикулярно писаны или отправлены будут, не слушать и по оным отнюдь не исполнять под опасением нашего гнева; и о сем публиковать всенародно во всем государстве и в войске из Сената».

Меншиков прислал чрез Салтыкова следующее письмо к императору: «Всемиловейший государь император! По вашего императорского величества указу сказан мне арест; и хотя никакого вымышленного пред вашим величеством погрешения в совести моей не нахожу, понеже все чинил я ради лучшей пользы вашего величества, в чем свидетельствуюсь нелицемерным судом Божиим, разве, может быть, что вашему величеству или вселюбезнейшей сестрице вашей, ее императорскому высочеству, учинил забвением и неведением или в моих вашем величеству для пользы вашей представлениях: и в таком моем неведении и недоумении всенижайше прошу за верные мои к вашему величеству известные службы всемиловейшего прощения и дабы ваше величество изволили повелеть меня из-под ареста свободить, памятуя речение Христа, спасителя нашего: да не зайдет солнце во гневе вашем; сие все предаю на всемиловейшее вашего величества рассуждение: я же обещаюсь мою к вашему величеству верность содержать даже до гроба моего. Также сказан мне указ, чтоб мне ни в какие дела не вступаться, так что я всенижайше и прошу, дабы ваше величество повелели для моей старости и болезни от всех дел меня уволить вовсе, как по указу блаженной и вечной достойной памяти ее императорского величества уволен генерал-фельдцейгмейстер Брюс. Что же я Кайсарову дал письмо, дабы без подписания моего расходов не держать, а словесно ему неоднократно приказывал, чтобы без моего или Андрея Ивановича Остермана приказу расходов не чинил, и то я учинил для того, что, понеже штат еще не окончен, и он к тому определен на время, дабы под образом повеления вашего величества напрасных расходов не было. Ежели же ваше величество изволите о том письме рассуждать в другую силу, и в том моем недоумении прошу милостивого прощения». На письмо это не последовало никакого ответа.

На другой день, 9 сентября, в Верховном тайном совете докладывали его величеству о князе Меншикове и о других лицах, к нему близких, по записке руки барона Остермана, которая была сочинена перед приходом государя по общему совету всех членов. Меншикова лишали всех чинов и орденов и ссылали в дальнее имение его Ораниенбург. Государь согласился; по его выходе из Совета указ о лишении чинов был написан; государь подписал его в своих покоях и отправил объявить его Меншикову генерала Семена Салтыкова, который привез во дворец две кавалерии, взятые у бывшего генералиссимуса, — Андреевскую и Александровскую. 10 числа в Верховном тайном совете продолжали рассуждать о Меншикове. Положили дать офицеру Пырскому, назначенному провожать его, 500 рублей на расходы да на 50 подвод прогонных денег, а за другие 50 подвод князь Меншиков должен был платить свои деньги. Призвали новгородского архиерея и сказали ему указ, чтоб впредь обрученной невесты в церквах не поминали. Призвали Алексея Макарова и Петра Мошкова и приказали им, чтоб они взяли у Меншикова большой яхонт. Во время этих распоряжений Меншиков присылает просьбу из четырех пунктов: 1) государыни обрученной невесты Марии

Александровны ее гофмейстер просит милости уволить в деревни свои; 2) о деньгах, пожалованных на жалованье ее высочеству и служителям, которые определены были и заслуженное жалованье не брали, оные б (деньги) позволено было вывезть, сумма 34000; 3) светлейший князь просит с покорностию милости о дохтуре и о лекаре, который лекарь шведской породы и полонен и при нем живет с 20 лет, чтоб повелено было при нем отпустить; 4) о Петре Апостоле, гетманском сыне, который жил при его светлости, позволено ль будет его с собою взять? Прежде всего призвали гетманского сына и сказали ему указ, чтоб он с князем Меншиковым не ездил, а жил в Петербурге безвыездно и часто являлся в Коллегию иностранных дел. На остальные пункты последовали решения: 1) кто захочет с нею ехать, тот бы ехал, а кто захочет остаться, тот бы оставался; 2) о жалованных деньгах справиться; 3) дохтуру и лекарю с князем Меншиковым ехать позволить. В тот же день, в 4 часа пополудни, Меншиков выехал из Петербурга. Впереди огромного поезда ехали четыре кареты шестернями: в первой сидел сам светлейший князь с женою и свояченицею Варварою Арсеньевою; во второй – сын его с карлюю; в третьей – две княжны с двумя служанками; в четвертой – брат княгини Арсеньев и другие приближенные люди; все были в черном. Поезд провожал гвардейский капитан с отрядом из 120 человек. По городу ходили слухи о страшных злоупотреблениях Меншикова и о том, что он не довольствовался своим положением, но простирал взоры к короне; рассказывали, что найдено письмо Меншикова к прусскому двору, где он просил дать ему займы 10 миллионов, обещаясь возратить вдвое, как только получит русский престол; рассказывали, что уже отданы были приказания удалить под разными предлогами гвардейских офицеров, чтоб заменить их людьми, вполне преданными Меншикову. Начали толковать и о завещании Екатерины: рассказывали, что герцог голштинский и Меншиков заставили цесаревну Елисавету подписать это завещание вместо матери, которая ничего о нем не знала; говорили, что будет нехорошо и голштинскому двору, и уже читали на озабоченном лице его министра сознание затруднительности своего положения; догадывались, что Меншикова не оставят покойным в Ораниенбурге, что его вместе с свояченицею зашлют в Сибирь, а жену с детьми оставят на свободе; а Другие предсказывали, что оба, муж и жена, недолго наживут.

По словам сторонних наблюдателей, трудно было изобразить всеобщую радость, произведенную падением Меншикова. Многие, разумеется, радовались от души; другие же показывали радостный вид, чтоб угодить радующимся от души. В Киле обрадовались от души. Цесаревна Анна Петровна писала сестре: «Что изволите писать об князе, что ево сослали, и у нас такая же печаль сделалась об нем, как у вас». В другом письме Анна писала: «Зело меня порадовало письмо ваше, что уведомилась о здравие вашем, такожде, что государь вам пожаловал деревни матушкины, чем вас поздравляю, матушка моя, и дай боже, чтоб так бы всегда счастливой вам быть; при том прошу вас пожалуйста не отставайте от государя. Пожалуй Лестоку поклон мой рапской отдай и поблагодари за обнадежение милости его, такожде изволь у него спросить, так ли он много говорит про Гришку да Марфушку».

От души был рад Феофан Прокопович. Он писал к одному из архиереев: «Молчание наше извиняется нашим великим бедствием, претерпенным от тирании, которая, благодаря бога, уже разрешилась в дым. Ярость помешанного

человека, чем более возбуждала против него всеобщей ненависти и предускоряла его гибель, тем более и более со дня на день усиливала свое свирепство. А мое положение было так стеснено, что я думал, что все уже для меня кончено. Поэтому я не отвечал на твои письма и, казалось, находился уже в царстве молчания. Но бог, воздвигающий мертвых, защитник наш, бог Иаковль, рассыпавши советы нечестивых и сомкнувши уста зияющего на нас земного тартара, оживотворил нас по беспредельному своему милосердию».

От души были рады члены кружка Бестужевых и Маврина, которые думали, что по низвержении Меншикова опять откроется им доступ ко двору, что Петр прежде всего вспомнит о старых своих приверженцах. Пашков писал Черкасову в Москву: «Прошла и погибла суетная слава прегордого Голиафа, которого бог сильною десницею сокрушил; все этому очень рады, и я, многогрешный, славя св. Троицу, пребываю без всякого страха; у нас все благополучно и таких страхов теперь ни от кого нет, как было при князе Меншикове».

Радовались напрасно.

Меншиков свергнут; надобно было поделить наследство; это наследство была воля малолетнего царя, которую надобно было овладеть, чтоб стать в челе управления, занять место светлейшего князя. Ошибались те, которые думали, что власть перейдет в Верховный тайный совет, а Совет будет находиться под влиянием самого видного из своих членов, князя Дмитрия Михайловича Голицына, опиравшегося на брата своего, фельдмаршала князя Михаила, теперь первую военную знаменитость России. Голицыны действительно сияли собственным светом, но этот свет был слаб в сравнении с тем, которым озарялись ближайшие к солнцу планеты. Никто из вельмож не имел большего права на расположение и благодарность Петра, как Голицыны, изначала и постоянно приверженцы его отца и его самого, считавшие его одного законным преемником деда. Но эта приверженность по принципу редко оценивается как следует; тем менее могла она быть оценена теперь по характеру Голицына, по характеру и положению Петра. Самый лестный отзыв о князе Димитрии состоял в том, что это был человек честный, но жесткий; он не был способен для какой бы то ни было цели отказаться от своей самостоятельности и независимости, передать себя в полное распоряжение другому; совершенно был не способен постоянно смотреть в глаза, угодничеством добиться *фавору* при дворе, а при тогдашних условиях только фаворит мог занять первое место. Меншиков, фаворит Петра I, не хотел быть фаворитом Петра II. хотел быть опекуном, отцом – и чем покончил? Из-под тяжелой опеки освободились и, конечно, поостерегутся дать большое значение человеку, который хоть сколько-нибудь напоминал бы прежнего опекуна. И действительно, современники-наблюдатели указывают нам на сильное нерасположение Петра к Голицыным, указывают на неблагоприятный прием императором первой военной знаменитости империи князя Михаила Голицына, только что приехавшего в Петербург. Объясняли это тем, что Голицыны в последнее время сблизились с Меншиковым и хотели выдать дочь фельдмаршала князя Михаила за молодого Меншикова. Ходил слух, что фельдмаршал на представлении своем императору заступался за Меншикова; быть может, произнесены были неприятные слова. что не следует наказывать, ссылать человека без суда. Естественно. что Голицыны были не прочь ослабить значение светлейшего князя, заставить его искать в других, поделиться властью, были не

прочь дать Верховному тайному совету то значение, какое предоставлено было ему в известном тестаменте, но не хотели совершенным низвержением Меншикова поднимать Долгоруких или Остермана с его Левенвольдом. Голицын не мог бороться за фавор: он не имел решительно к тому средств ни в характере, ни в положении, не будучи человеком близким, придворным. Главою могущественной аристократической партии он быть не мог. Новая Россия не наследовала от старой аристократии, она наследовала только несколько знатных фамилий или родов, которые жили особно, без сознания общих интересов и обыкновенно во вражде друг с другом: единства не было никакого, следовательно, не было никакой самостоятельной силы: сильною могла стать та или другая фамилия только через фавор. Фавору добиваться, за фавор бороться могли только люди близкие, они только могли делить меншиковское наследство. После падения Меншикова виднее всех при дворе и ближе всех к императору остался Остерман. Но положение Остермана по-прежнему было очень затруднительно: он был воспитатель молодого императора, должен был заботиться о том, чтобы Петр хорошо воспитывался, хорошо учился; а Петр не хотел учиться, хотел жить в свое удовольствие. При Меншикове положение Остермана облегчалось тем, что он мог нравиться, угождать, являясь добрее, снисходительнее светлейшего князя, не налегая так. А теперь Петр слышать не хочет о серьезных занятиях, всю ночь напролет гуляет с молодым камергером князем Ив. Алекс. Долгоруким, ложится в 7 часов утра. Все представления Остермана остаются тщетными, усиливать их и раздражать Петра опасно: будет то же, что с Меншиковым. потому что враги поджидают первой вспышки неудовольствия Петра на воспитателя, чтоб свергнуть последнего, а, с другой стороны, вся ответственность за дурное поведение императора, за дурное воспитание его лежит на Остермане, и враги также воспользуются этим, чтоб выказать пред своими и чужими все недостоинство воспитателя. Однажды Остерман обратился к Петру с просьбою уволить его от должности воспитателя, ибо иначе ему придется дать строгий отчет: у Петра сердце не успело очерстветь. он был очень привязан к Остерману: со слезами на глазах он умолял его остаться, но к вечеру не преодолел искушения и, по обычаю, пробежал всю ночь по городу: своей воли не доставало. а чужая не сдерживала. Остерман, видя, что плыть против течения нельзя, пошел на сделку с совестью и с обстоятельствами: он решился остаться при Петре, пользоваться своим влиянием на него для достижения своих целей по делам управления, в которых он теперь не признавал себе соперника, но не учить и не воспитывать человека против его воли, не одобрять поведения Петра, не угождать исполнением его желаний, но и не раздражать бесполезными наставлениями.

Остерман удержался: Петр перестал видеть в нем скучного воспитателя с вечными выговорами и наставлениями, видел в нем искусного, необходимого министра с обширными способностями и познаниями, которых никто отвергать не мог, и успокоился, не выдавал Остермана врагам; враги эти были разъединены и робки, не смели огорчать императора неприятными для него предложениями, а предложение об удалении Остермана было бы ему очень неприятно: нужно было решиться на сильную борьбу и с Петром, который исполнял только то, что было ему приятно, и с великою княжною Натальею, продолжавшею иметь сильное влияние на брата и продолжавшею быть под сильным влиянием Остермана.

Сначала зашевелился было старик великий канцлер Головкин, которому Остерман был очень неудобен, как человек, заслонявший его в иностранных делах. Против Остермана трудно было что-нибудь выставить, кроме равнодушия к религии, и, говорят, Головкин обратился однажды к нему с такими словами: «Не правда ли, странно, что воспитание нашего монарха поручено вам, человеку не нашей веры. да, кажется, и никакой». Думали, Что Головкин хочет заменить Остермана своим сыном. Но борьба с Остерманом была не под силу Головкину, особенно когда ходила страшная молва, что Голицыны хотят захватить власть в свои руки и возвратить Меншикова: а мы видели, в каком отношении находился Головкин к Меншикову, который сослал зятя его. Ягужинского. в Украинскую армию: Ягужинского возвратили тотчас же после падения Меншикова, пожаловали в генералы от кавалерии и в капитан-лейтенанты от кавалергардии: но дела могли пойти иначе с усилением Голицыных и возвращением Меншикова, который, обязанный теперь Голицыным, конечно, не будет препятствовать возвышению близкого им человека – Шафирова, а Шафиров Головкину – острый нож: из двух зол надобно было выбирать меньшее; Головкин выбирает Остермана; нам указывают партию, членами которой были Апраксин, Головкин и Остерман, и 26 сентября состоялось решение Верховного тайного совета: быть Петру Шафирову в Москве до зимнего пути, а зимним путем ехать в Архангельск.

Труднее было Остерману бороться с Долгорукими, которые сначала также хотели свергнуть его. Положение Долгоруких и деятельность их были очень просты и легки: они должны были как можно чаще находиться с императором, во всем угождать ему, делать себя чрез это приятными и необходимыми, приобрести фавор. Долгорукие, как видно, сделали уже большие успехи на этом поприще и при Меншикове, когда князь Алексей был гофмейстером при великой княжне Наталье: теперь, чтоб иметь право быть еще чаще при Петре, он выпросил себе место помощника воспитателя, т.е. помощника Остерманова при самом императоре; сын его, князь Иван, сделан камергером на место Левенвольда, а Левенвольд получил место гофмаршала при великой княжне. Охотники до разных соображений сейчас же обратили внимание на то, что у Долгорукого хорошенькие дочери, которые должны играть роль. Долгорукие в самом начале сильно схватились с Остерманом, который мешал им своим авторитетом, но получили отпор, увидели, что влияние Остермана на Петра поколебать очень трудно. В свою очередь, когда Остерман вздумал было указать Петру, что постоянное общество молодого Долгорукого вредит ему, то император не отвечал ни слова. Остерман заболел от этого молчания, и Петр два раза в день ездил навещать его с сестрою и теткою Елисаветою Петровною. Несмотря на молодость, Петр с известного рода смыслом распоряжался отношениями к близким людям: прямо показывал Остерману, что он его любит, считает необходимым для дел правительственных: пусть, он и занимается этими делами, но не вмешивается в его удовольствия, где необходимы ему Долгорукие, которых он не выдаст Остерману точно так, как не выдаст Остермана Долгоруким. И Долгорукие, и Остерман наконец должны были понять свои взаимные отношения, понять пределы того круга деятельности, которые начертал для них Петр, и успокоились. Но это успокоение, разумеется, не могло быть полно и произойти вдруг.

После падения Меншикова взоры всех хотевших поделить его наследство обратились к Москве, куда светлейший князь перевел бабку императора инокиню

Елену, которая, однако, не иначе называла себя как *царицею*. Петр и сестра его по чужим внушениям и сами по себе должны были чувствовать неловкость в присутствии ославленной бабушки, репутацию которой нельзя было восстановить отобранием Петровых манифестов о ее похождениях. Внуки были довольны, что они в Петербурге, а бабушка в Москве; но бабушка не была этим довольна и 21 сентября написала внуку: «Державнейший император, любезнейший внук! Хотя давно желание мое было не токмо поздравить ваше величество с восприятием престола, но паче вас видеть, но по несчастию моему по сие число не сподобилась, понеже князь Меншиков, не допустя до вашего величества, послал меня за караулом к Москве. А ныне уведомилась, что за свои противности к вашему величеству отлучен от вас; и тако приемлю смелость к вам писать и поздравить. Притом прошу, если ваше величество к Москве вскоре быть не изволите, дабы мне повелели быть к себе, чтоб мне по горячности крови видеть вас и сестру вашу, мою любезную внуку, прежде кончины моей». Вслед за тем другое письмо: «Дай, моя радость, мне себя видеть в моих таких несносных печалях: как вы родились, не дали мне про вас слышать, ниже видеть вас». Петр отвечал: «Дорогая и любезная государыня бабушка! Понеже мы уведомились (только теперь!) о бывшем вашем задержании и о нынешнем вашем прибытии к Москве, того ради я не хотел оставить чрез сие сам к вам писать и о вашем нам весьма желательном здравии осведомиться. И для того прошу вас, государыня дорогая бабушка, не оставить меня в приятнейших своих писаниях о своем многолетнем здравии. Такожде прошу ко мне отписать: в чем я вам могу услугу и любовь мою показать? Еже я верно исполнять не премину. Я сам ничего так не желаю, как чтоб вас видеть, и надеюсь, что с божиею помощью еще нынешней зимы то учиниться может». Это свидание, необходимое вследствие преднамеренной поездки государя в Москву для коронации, беспокоило многих: что, если кровь заговорит и внук подчинится влиянию бабушки, единственного родного существа у круглых сирот? Предусмотрительный Остерман постарался тотчас же приобрести благосклонность царицы, тем более что его легче можно было погубить в ее мнении, как иностранца, вывезенного Петром I. Вместе с первым письмом от внука Елена получила письмо и от его воспитателя. «Всемиловитивейшая государыня! – писал Остерман. – Когда я о подлинном состоянии вашего величества уведомился, то я не оставил его императорскому величеству немедленно о том доносить; и потому его величество сам изволил при сем к вашему величеству писать, при котором случае и я дерзновение восприял ваше величество о всеподданнейшей моей верности обнадежить, о которой как его императорское величество, так и, впрочем, все те, которые к вашему величеству принадлежат, сами вяще засвидетельствовать могут». Затем последовал целый ряд писем, в которых барон Андрей Иванович обнадеживал царицу «в горячести», какую чувствует к ней внук, и уверял, что «по своей должности не пренебрежет его величество при тех склонностях содержать стараться». Царица отвечала: «Благодарна за услугу твою, что хранишь здоровье внука моего, и впредь о том же прошу, чтоб мне порадоваться, как услышу про здоровье их, и за писание твое благодарю ж и впредь прошу, а за твою услугу воздаст тебе бог, а сколько силы моей будет, и я вам всегда доброхотствовать буду». Жена Остермана Марфа Ивановна, урожденная Стрешнева, также писала царице: «вручала себя в высочайшую ее величества милость», уверяя при этом,

что муж ее государю и ей, царице, со всяким усердием верно служит и служить будет. 22 октября Остерман, посылая царице службу, сочиненную в день рождения государя, рисунок фейерверка, сожженного в этот день, и манифест о коронации, писал: «Яко я на сем свете ничего иного не желаю, кроме чтоб его императорскому величеству без всяких моих партикулярных прихотей и страстей прямые и верные свои услуги показать, так и ваше величество соизволите всемилостивейше благонадежны быть о моей вернейшей преданности к вашего величества высокой особе. Потому не распространяю, понеже ведаю, что как его императорское величество, так и ее императорское высочество государыня великая княжна мне в том верное свидетельство подать изволят, и верная моя служба всегда более в самом деле, нежели пустыми словами, явна будет». Елена поняла последние слова так, что Остерман жалуется на людей, которые наносили ей на него, писали пустые слова против него, и отвечала: «Еще ж ты упоминаешь, что будто ясно мне пустыми словами: и я истинно об вас ничего пустова не слыхала, кроме всякой услуги ко внуку моему и ко мне: и ежели б кто мне и говорил, и у меня никогда етова не бывало, чтоб мне верить, и впредь не будет, что я вижу от вас услугу к нему и к себе. И как ты начал служить, так и служи и храни ево здоровье: и я чаю, что ты ни на ково ево здоровье не променяешь, и надеюсь на тебя крепко». Об этом письме царицы узнали, и пошел слух, что действительно Долгорукие, и отец и сын, писали Елене письмо, в котором выставляли свои заслуги, а на Остермана взводили всевозможные обвинения, что Елена переслала письмо Долгоруких к Остерману и в своем письме хвалила его и благодарила за попечение о ее внуках.

Но во время этой борьбы не забывали о Меншикове. Сильно боялись энергической свояченицы светлейшего князя Варвары Арсеньевой, и 5 октября Остерман, пришедши в Верховный тайный совет, объявил, чтоб Варвару послать в Александров монастырь и взять ордена у сына и дочерей Меншикова, также и у Василья Арсеньева, шурина его. После Андрей Иванович объявил в Совете, что кавалерии Св. Екатерины, взятые у сына и дочерей Меншикова, император подарил сестрице своей; кавалерия Св. Александра отдана князю Ивану Долгорукому, а перстень обручальный взят ко двору его величества. Петр по-прежнему делал подарки сестрице, и Остерман заботился о ней по-прежнему: так, еще в сентябре он принес в Совет алмазы, которые предлагал купить для великой княжны за 85000 рублей: члены Совета, видя, что алмазы очень дешевы, согласились купить. Остерман приходил и объявлял: Петр позабыл свое обещание присутствовать в Верховном тайном совете, и члены его воспользовались первым случаем, чтоб напомнить ему об этом обещании. В ноябре русский посланник при шведском дворе граф Головин донес об известном письме Меншикова к шведскому сенатору Дибену. Донесение Головина было прочтено в Верховном тайном совете, после чего члены его представили государю, что по всем поступкам шведов видны их неприязненные замыслы против России; чтоб дать шведам отпор, они, министры, прилагают всевозможное старание о содержании войска в добром порядке и приведении его в лучшее состояние, чем как было при Меншикове, что приказано вооружить к будущей весне 24 линейных корабля и 120 галер и что для поощрения и усмотрения трудов Верховного тайного совета нужно присутствие его величества. На это государь изъявил свое благоволение и обещал чаще присутствовать в Совете. Насчет Меншикова Петр рассуждал, что

такие поступки его могут почестся изменою, и приказал послать к нему нарочного, который бы обо всем допросил его с принуждением и угрозами; также приказал опечатать все его имение и обстоятельно пересмотреть находящиеся при нем и в Петербурге письма. К Меншикову отправлен был действительный статский советник Плещеев, которому кроме шведских дел велено было допросить Меншикова о деньгах, взятых с герцога голштинского. Секретарь Меншикова Вист представил в Верховный тайный совет биографию Меншикова (гисторию о княжом житии), сочиненную бароном Гизеном.

В конце 1727 года начались сборы двора в Москву для коронации. Эта поездка имела теперь совершенно другое значение, чем последние поездки Петра Великого в древнюю столицу. Теперь на вопрос, долго ли останется двор в Москве, уже слышался ответ: быть может, навсегда, а этот ответ был очень приятен одним и приводил в отчаяние других. Нравился он русским вельможам, которые до сих пор не могли привыкнуть к неудобствам новооснованного города, в стране печальной, болотистой, вдали от их деревень, доставка запасов из которых соединялась с большими затруднениями и расходами; тогда как Москва была место нагретое, центральное, окруженное их имениями, расположенными в разных направлениях, и откуда так легко было доставлять все нужное для содержания барского дома и огромной прислуги, а это было главное при отсутствии денег, при неразвитой еще роскоши, требующей произведений иностранных. Ужасом обдавал этот ответ тех, которые в удалении из «парадиза» видели удаление от дела Петра Великого, удаление от Европы, пренебрежение морем, флотом, упадок значения России как европейской державы. Боялись переезда в Москву люди, созданные новым, преобразовательным направлением и в его ослаблении видевшие ослабление собственного значения: в челе таких людей стоял человек самый видный по своей государственной деятельности и близкий к государю – Остерман. За границей смотрели так же на это дело: как только узнали здесь о падении Меншикова, так сейчас же явилась мысль, что вельможи увезут императора в Москву и Россия возвратится к прежнему, допетровскому порядку. Польский король объявил об этом испанскому герцогу Лириа, отправлявшемуся в Россию в качестве посланника. Житель Пиренейского полуострова Лириа привык приписывать английским деньгам страшное могущество, и потому первая мысль, пришедшая ему в голову, была та, что английские деньги заставят и русского царя поселиться навсегда в Москве. Одни с надеждою, другие со страхом ожидали следствий свидания императора с бабушкою: в Петербург доходили вести, что Шафиров под предлогом болезни не поехал в Архангельск по первому пути, а вместо того ежедневно бывает у старой царицы.

В начале января 1728 года двор выехал из Петербурга в Москву, но на дороге император заболел и принужден был пробыть две недели в Твери. Петр остановился на несколько времени под Москвою, чтоб приготовиться к торжественному въезду. Бабушка рвалась к нему: писала к великой княжне Наталье: «Пожалуй, свет мой. проси у братца своего, чтоб мне вас видеть и порадоваться вами: как вы и родились, не дали мне про вас слышать, не токмо что видеть». Писала к Остерману: «За верную вашу службу ко внуку моему и к нам я попремногу благодарствую, а у меня истинно на вас надеяние крепкое. Только о том вас прошу, чтоб мне внучат своих видеть и вместе с ними быть; а я истинно с

печали чуть жива. что их не вижу. А я истинно надеюсь, что и вы мне будете ради, как я при них буду: и мне истинно уже печали наскучили, и признаваю, что мне в таких несносных печалях и умереть: и ежели б я с ними вместе была, и я б такие свои несносные печали все позабыла. И так меня светлейший князь 30 лет крушил, а ныне опять сокрушают, а я не знаю. сие чинится от ково». К самому Петру писала: «Долго ли. мой батюшка, мне вас не видать? Или вас и вовсе мне не видать? А я с печали истинно умираю, что вас не вижу: дайте, мой батюшка, мне вас видеть! Хотя бы я к вам приехала». Писала опять к Остерману: «Долго ли вам меня мучить, что по сию пору в семи верстах внучат моих не дадите мне их видеть? А я с печали истинно сокрушаюсь. Прошу вас, дайте, хотя б я на них поглядела да умерла».

4 февраля был торжественный въезд в Москву. Когда было первое свидание с бабушкою, неизвестно: известно только, что оно было холодно со стороны внука, который потом явно избегал свиданий с старою царицею: и брат и сестра при свидании с бабушкою имели при себе цесаревну Елисавету, чтоб старушка не увлекалась разговорами о некоторых деликатных делах; но уверяли, что царица успела поговорить внуку о его поведении, советовала ему лучше жениться, хотя даже на иностранке, чем вести такую жизнь, какую он вел до сих пор. Внешние приличия были соблюдены: 9 февраля Петр явился в Верховный тайный совет и, не сядя на свое место, стоя, объявил, что он из любви и почтения к государыне бабушке своей желает, чтоб ее величество по своему высокому достоинству была содержана во всяком довольстве: так пусть члены Совета учинят определение и ему донесут. Сказавши это, император удалился, а члены Совета принялись рассуждать о штате для царицы и назначили ей по 60000 рублей в год и волость до 2000 дворов. С этим решением отправились к царице князь Василий Лукич Долгорукий и Дмитрий Михайлович Голицын, причем донесли ей, что если. и сверх того изволит чего потребовать, то его величество по особенной своей к ней любви и почтению исполнит ее требование. Определивши со держание бабушки по отцу, не забыли и бабушку по матери: Остерман объявил в Совете, чтоб бабке его величества герцогине бланкенбургской давать пенсию по 15000 рублей в год. Эта бабушка очень хлопотала, чтоб внук вел себя получше и берег свое здоровье; до нас дошли два письма ее, как видно, к брауншвейгскому поверенному в делах при русском дворе, в которых она поручает обратиться к князю Ивану Долгорукому и сказать ему от ее имени, что, зная, как император уважает его достоинства, она умоляет его уговорить молодого государя, чтоб он больше заботился о своем драгоценном здоровье. В другом письме герцогиня пишет: «Дайте почувствовать князю Ивану Долгоруком необходимость вывезти императора из Москвы. Князь Долгорукий человек знатного происхождения, не такой, как Меншиков, вышедший из черни, человек без воспитания, без благородных чувств и принципов; это обстоятельство доставляет мне бесконечное удовольствие, ибо я не сомневаюсь, что этот вельможа (Долгорукий) всегда будет внушать моему дорогому императору чувства, достойные великого монарха».

Решительный фавор Долгоруких обозначился тотчас по приезде двора в Москву: накануне торжественного въезда князь Василий Лукич и Алексей Григорьевич назначены были членами Верховного тайного совета; 11 февраля молодой князь Иван Алексеевич сделан был обер-камергером. Князь Алексей и сын его были всем обязаны приближению, фавору; но между Долгорукими были

двое известных своими способностями и заслугами: знаменитый дипломат князь Василий Лукич, как мы видели, получил место в верховном правительственном учреждении; здесь он достойно представлял фамилию подле главы другой соперничающей фамилии – подле князя Дмитрия Михайловича Голицына, и подле другого соперника по приближению и первого дельца – подле Остермана; но у Голицыных был знаменитый полководец князь Михаил Михайлович, фельдмаршал; Долгорукие против него выставили свою военную знаменитость – князя Василия Владимировича, которого военное поприще было прервано опалю, но в последнее время было восстановлено в Персии; Долгоруким было важно иметь его при себе, и потому под предлогом болезни он был вызван из Персии и 25 февраля, на другой день коронации, был сделан фельдмаршалом вместе с князем Иваном Юрьевичем Трубецким, губернатором киевским. Миних был пожалован в графы; эту милость приписывали тому, что Миних сговорил жениться на обер-гофмейстерине цесаревны Елисаветы графине Салтыковой. Генерал-майор Волынский, назначенный было Меншиковым к удалению в Голштинию, остался в России и был восстановлен на старом своем месте, Казанском губернаторстве, с поручением ему дел башкирских. Мы видели, что Шафиров не поехал по зимнему пути в Архангельск: об нем доносили, что он очень болен, страдает меланхолией и беспрестанным жаром, доктор опасается за его жизнь. В феврале 1728 года Шафиров уволился от всех дел по его челобитной; таким образом он избавился от почетной ссылки в Архангельск, какую назначил ему светлейший князь.

Но сам Меншиков покончил ссылкой в Сибирь. Находившийся при нем в Раненбурге офицер Мельгунов прислал требование, что для лучшего надзора необходимо прибавить еще капральство. По этому поводу 16 января Верховный тайный совет имел рассуждение, не лучше ли послать князя Меншикова куда-нибудь подальше, например в Вятку, и держать при нем караул не так большой. 9 февраля Остерман объявил в Верховном тайном совете, что его императорское величество изволил о князе Меншикове разговаривать, чтоб его куда-нибудь послать, а пожитки его взять, оставив княгине и детям тысяч по десяти на каждого да несколько деревень, и чтоб об этом члены Совета изволили впредь учинить определение, потому что из Военной и других коллегий и канцелярий подаются доношения, что князь Меншиков взял из казны деньги и материалы, и требуют возвращения из пожитков его; также Мельгунов пишет, что многие служители Меншикова требуют отпуску; из деревень к нему пишут, и он отвечает. Верховный тайный совет почему-то замедлил своим решением; но дело подвинулось тем, что 24 марта у Спасских ворот было найдено подметное письмо в пользу Меншикова; следствием было то, что 9 апреля из Верховного тайного совета был дан указ Сенату о посылке Меншикова с семейством в Березов, о даче им и людям их кормовых денег по шести рублей на день и о пострижении Варвары Арсеньевой в Белозерском уезде, в Сорском женском монастыре, и о даче ей по полуполтине на день. Ссылка Меншикова в Сибирь не улучшила участи тех, которые были им сосланы. Мы видели, как обрадовались падению Меншикова члены бестужевского кружка; но оставшиеся из них в Петербурге очень скоро увидели, что возвратить сосланных и пробиться ко двору будет очень трудно: там сильные люди боролись за власть, и один из этих сильных людей, Остерман, с своим приятелем Левенвольдом знали прежние связи и стремления Маврина и

Бестужевых. В участи Девьера произошла только та перемена, что жене его позволено было отправиться к нему, т.е. сочли удобным сослать сестру Меншикова под видом позволения соединиться с мужем. В сентябре 1727 года Егор Пашков писал княгине Волконской: «О суетном состоянии нашем всего вам описать не могу: так было хорошо от крайних приятелей наших, которые нас без совести повреждали; много того случалось, что и смотреть на них не смели; однако же ото всех их нападений избавил нас бог, а их слава суетная пропала вся до конца. Надлежит вам чаще ездить в Девиный монастырь искать способу себе какова. О Семене Маврине и об Абраме стараюсь, чтоб их взять из ссылки, да не могу, чрез кого учинить, все, проклятые, злы на них как собаки. Ныне у нас много хотят быть первыми, а как видим по их ревности бессовестной, не потеряют ли и последнего. Про компанию нашу прежнюю часто и милостиво изволит упоминать (Петр), только от прежних ваших неприятелей невозможно свободного способу сыскать, как бы порядочно донести, однако же хотя и с трудом, только делаем сколько возможно». Черкасову Пашков писал: «Мне кажется, лучше вам быть до зимы в Москве и чаще ездить молиться в Девиный монастырь чудотворному образу Пресвятой Богородицы». «О верных приятелях наших, об Абраме и об Семене, прилежно стараюсь, каким бы случаем их взять, и кажется, что многие об них сожалеют, а говорить никто не хочет за повреждением себя (т.е. боясь повредить себе), а Левольд бессовестно старою своею компаниею их повреждает и всячески тщится, чтоб их не допустить ко взятию; надлежит вам с княгинею Аграфеною Петровною стараться, чтоб каким случаем дойти государыни царицы Евдокии Федоровне и, будет допустит какой случай, обо всем донести с ясным доказательством о ссылке их в Сибирь, а впредь, уповая на милость божию, как прибудем в Москву, бессовестная *клеатура*, можно надеяться, что скоро пропадет, а их никому удержать будет невозможно. Ныне у нас в Питербурхе многие говорят и показывают верность свою, кто какие заслуги показал, которые безмерно трусят и боятся гневу государыни царицы Евдокии Федоровны, а паче всех боится бессовестная *клеатура* Левольдова; одним словом сказать, как будем в Москве, все будет другое». За границу, в Копенгагене, разумеется, дело не казалось так трудным, и Алексей Петрович Бестужев, получив известие о падении Меншикова, был в полной надежде, что сестра его и приятели могут снова явиться в Петербурге и начать прежнюю деятельность. В октябре он писал сестре: «Конечно б по желанию всех вас и коегождо особно учинилось, ежели б смерть графа Рабутина в том не попрепятствовала и ежели б его императорское величество да не свободил империю свою от ига варварского, то б мне трудно было толь скоро всем вам вспомочь; ныне же уповаю, что вы с друзьями нашими и без посторонней помощи по отлучении известного варвара (Меншикова) всякой сами себе вспомочь можете. Понеже чрез печатные указы опубликовано, чтоб указов Меншикова не слушать, того ради, не ожидая себе никакого позволения, поспешите в С.-Петербург, о чем и к друзьям нашим, господину Маврину и прочим, советуйте, ибо так оным, как и вам, не от его императорского величества, но от Меншикова повелено было». В ноябре Алексей Бестужев писал: «Посол цесарский граф Вратислав в пользу всех вас от двора своего накрепко инструктирован, токмо она помощь медленна будет, ибо он ко двору нашему прежде не может прибыть, как после Пасхи. И того ради стараться так о себе, как о Маврине, Петрове и Веселовском, чрез заступу царевны Анны Ивановны».

Ссылные не считали возможным без позволения отправиться в Петербург, но и они крепко надеялись, что Бестужевы с своими петербургскими приятелями освободят их. Абрам Петров писал княгине Волконской из Томска: «Что вы мне обещали сделать, пожалуй, не забывай, чтоб *Панталон* и *Козел* (Михайла и Алексей Бестужевы) приложили к тому свое старание, особливо больше моя надежда на Козла, что он меня не оставит». Маврин мечтал уже о дворе, о приближении и писал Волконской из Тобольска: «Прошу, чтоб вы труд приложили за меня, а ныне случай будет изрядный, как здесь слышно, что его император, вел. изволит прибыть в Москву и, конечно, с бабушкою своею будет видеться, и тут можно будет обо мне, бедном, вспомнить. Княгине Настасье Федоровне (Лобановой) можете вы растолковать, что у них при его величестве никого нет, на кого бы они прямо свою надежду имели, и им такой человек надобен. Я всегда был их слуга».

Из Тобольска, Томска и Копенгагена торопили; из Петербурга советовали поступать осторожнее. Пашков писал княгине Волконской: «Писал я к вам, чтоб порядочного искать случая, на которое мое письмо изволите объявлять, что сыскать не через кого; в том опасаться не извольте, может, бог хотя одного не оставит компании нашей, то будем довольны; сколько мерзкой клеотуре (креатуре – Остерману и Левенвольду) не искать себе защищения по своим худым делам, только им себя не можно никак закрыть; ведают они и сами, что делали худо, да миновать ныне никак нельзя, что им всем обид заплатить. Отважно ни в какое дело вступать не извольте, пока время покажет спокойное. Надлежит вам всем, буде станете ездить в Девичь монастырь, беречься Степановой Лопухина сестры, которая старицею, чем бы вас не повредила, понеже они люди добрые и очень всем известны по своей совести бездельной». Пашков отыскивал членов разогнанной партии и просил уцелевших от погрома хлопотать при каждом удобном случае о попавших в беду. «Просил я о вас Кириллу Петровича Матюшкина, – писал он Черкасову в Москву, – чтоб он вас не оставил в случае хорошем, что и обещал, а он компании нашей и добрый человек».

Но главная надежда партий основывалась на двух лицах царского дома, на старой царице и на царевне Анне Ивановне. Мы видели, как последняя не щадила униженных просьб к Меншикову и Остерману, чтоб только отпустили назад к ней в Митаву необходимого ей Петра Михайловича Бестужева. Понятно, в каком восторге была Анна, получивши известие о падении Меншикова. Немедленно отправила она письмо императору: «Я неоднократно просила, чтоб мне позволено было по моей должности вашему императорскому величеству с восприятием престола российского поздравить и целовать вашего величества дорогие ручки, но получила на все мои письма от князя Меншикова ответ, чтоб мне не ездить. Ныне паки всепокорно вашего императорского величества прошу повелеть мне для моей поездки в Петербурх поставить в прибавку почтовых, как прежде мне давано было, лошадей». Такие же письма были отправлены к великой княжне Наталье и к Остерману. Но Анна позабыла, что у Остермана были такие же сильные побуждения, как и у Меншикова, не давать ходу бестужевской партии, не допускать ее покровительницу герцогиню курляндскую хлопотать за нее при личном свидании с императором: Остерман тем более должен был теперь остерегаться Бестужевых, что Петр Михайлович не сидел сложа руки в Петербурге, но, увидавши борьбу между Остерманом и Долгорукими, стал

заискивать у последних. Прошло несколько месяцев, и только в конце 1729 года Анна получила приглашение отправиться прямо в Москву на коронацию; тогда же отпущен был к ней и Бестужев, ибо стало известно, что он не может быть опасен, что у Анны уже другой фаворит.

Этот фаворит был знаменитый Эрнст Иван Бирон, или Бирен, сын придворного служителя герцогов курляндских. Говорят, что он еще в 1714 году приезжал в Петербург искать места при дворе принцессы Софии, жены царевича Алексея, но получил отказ, как человек низкого происхождения. Достоверно одно, что в 1722 году он долго сидел под арестом в Кенигсберге за то, что участвовал в ночной драке с городской стражей. По возвращении в Курляндию он был принят ко двору герцогини Анны благодаря покровительству обер-гофмейстера Бестужева. Это покровительство объясняли связью обер-гофмейстера с сестрою Бирона. Обер-камер-юнкер Бирон сопровождал герцогиню в Москву на коронацию Екатерины в 1724 году и сблизился там с *своими*, с камергером Левенвольдом, что видно из письма его к последнему от 25 июля 1725 года: Бирон описывает несчастье, случившееся с ним в Кенигсберге, говорит, что он выпущен оттуда только с условием заплатить 700 талеров штрафа, и просит ходатайствовать пред прусским двором о сложении штрафа. Не знаем, получил ли Бирон желаемое; знаем только, что он стал известен императрице Екатерине как знаток в лошадях и хороший человек. До нас дошел указ императрицы Бестужеву: «Немедленно отправить в Бреславль обер-камер-юнкера Бирона или другого, который бы знал силу в лошадях и охотник к тому был и добрый человек, для смотрения и покупки лошадей». В отсутствие Бестужева, задержанного Меншиковым в Петербурге, Бирон сблизился с герцогинею и стал ее фаворитом, так что когда Бестужев возвратился в Митаву, то был принят ласково, но между собою и Анною уже нашел другого человека. Герцогиня отправилась в Москву; по прежним расчетам, там своим влиянием она должна была поднять «компанию»; но теперь сделает ли она это, уже высвободившись из-под влияния Бестужева, находясь под другим, враждебным влиянием? Бестужев писал своей дочери княгине Волконской в Москву: «Я в несносной печали: едва во мне дух держится, потому что чрез злых людей друг мой сердечный от меня отменился, а ваш друг (Бирон) более в кредите остался; но вы об этом не давайте знать, вы должны угождать и твердо поступать и служить во всем, чтоб в кредите быть и ничем нимало не раздражать, только утешать во всем и искусно смотреть, что о нас будет (Бирон) говорить, не в противность ли? Вы ищите случая, как бы вам с вашими неприятелями помириться и брата помирить, а так как друзей Маврина допускать не будут, то вы осторожно поступайте; с Дмитрием Соловьевым дружески поступайте, отпишите осторожно под чужим конвертом о состоянии двора ее высочества (Анны); отпишите, как ее высочество от кого принята будет. Степан Лопухин как был вам неприятель, так и мне делал обиды и затевал на меня, а теща его ко мне добра: вы ищите чрез нее случай с уклонкою с ними в дружбу войти. Абрамова жена (Лопухина) вам сватья и ласкова, вы ищите дружбы и с другими, кто имеет кредит. Вы про ее высочество ни с кем ничего, кроме милости ее, не говорите, потому что обещано мне в милости содержать. Ради бога осторожно живите и пишите, и, как ее высочество сюда поедет, вы старайтесь с нею ехать или и наперед отпроситесь, усмотря, как лучше. Особенно вы должны приобрести любовь князя Алексея Григорьевича и Павла Ивановича (Ягужинского), Степана

Васильевича. Если вам станут говорить о фрейлине Бироновой, то делайте вид, что ничего не знаете. Поговорите у себя в доме со Всеволожским, чтоб между служителями ее высочества было как можно более смуты и беспорядка, потому что я знаю жестокие поступки того господина (Бирона). Вы о моей обиде не давайте знать, как будто ничего не знаете; служите старательно и верно, безо всякой противности, хотя что и видите – молчите, только меня уведомляйте; всего печальнее для меня то, что я не знаю, в каком состоянии находитесь вы и прежние ваши друзья: однако я слышу, что Александр (Бутурлин) в кредите. Я в такой печали нахожусь, что всегда жду смерти, ночей не сплю; знаешь ты, как я того человека (Анну) люблю, который теперь от меня отменился». В марте 1728 года Бестужев писал дочери: «Послал я Салова к вам и велел ему побывать на Москве, и от кого можно осведомиться, нет ли гнева на меня ее высочества, потому что из писем вижу и опасаясь, чтоб наш приятель (Бирон) за наши многие к нему благодеяния не заплатил бы многим злом. Чтоб об нем (Салове) никто, кроме вас, не знал и чтоб сестра ваша не знала, также чтоб он остерегался всех там людей (при дворе герцогини), а особливо тенориста и Кобозова, от которого все зло мне происходит. Салова у себя не держите, отправьте ко мне немедленно, велите ехать не скоро, матери и мужу не сказывайте, что он у меня был, ради бога осторожнее, чтоб не дознались, что отсюда ехал; они могут мне обиду сделать: хотя бы она (Анна) и не хотела, да он (Бирон) принудит».

Никакие осторожности не помогли. Люди князя Никиты Волконского Зайцев и Добрянский явились к Остерману и донесли, что помещице их, княгине Волконской, за продерзости ее велено жить в деревне, не въезжая в Москву, а она живет в подмосковной деревне двоюродного своего брата Федора Талызина, откуда ездит тайно под Москву, в Тушино, для свидания с Юрием Нелединским и с другими некоторыми людьми, между прочим, виделась и с секретарем Исааком Веселовским; ведет тайную переписку со многими лицами в Москву и другие места; недавно привез тайно же из Митавы от отца ее, Петра Бестужева, человек его письма, зашитые в подушке. Волконскую схватили и со всеми письмами от родных и друзей. 10 мая 1728 года в собрании Верховного тайного совета она была допрошена и объявила, что действительно виделась в Тушине с Нелединским и Веселовским, с первым – по свойству, а со вторым – по давнему знакомству и дружеству. У нее потребовали объяснения темных мест в письмах, к кому относятся неблагоприятные отзывы: она нигде не показала на Остермана, вместо него вставляла царевну Анну, хотя иногда и некстати. Волконская запиралась, что по письмам к ней в Москву не ездила и ни у кого не была; но у Талызина нашли от нее такое письмо: «В слободе (Немецкой) побывай и поговори известной персоне, чтоб, сколько ему возможно, того каналью хорошенько рекомендовал курляндца, а он уже от меня слышал и проведал бы, нет ли от канальи каких происков к моему родителю, понеже ему легко можно знать от Александра (Бутурлина), и чтоб поразгласил о нем где пристойно, что он за человек». В допросе княгиня Волконская объявила, что известная персона в слободе – это лекарь цесаревны Елисаветы Лесток, а каналья – Бирон.

В Верховном тайном совете состоялось такое мнение, что «княгиня Волконская и ее приятели делали партии и искали при дворе его императорского величества для собственной своей пользы делать интриги и теми интригами причинить при дворе беспокойство и, дабы то свое намерение сильнее в действо

произвесть могли, искали себе помощи чрез венский двор и так хотели вмешать постороннего государя в домовые его императорского величества дела, и в такой их, Волконской и брата ее Алексея, откровенности может быть, что они сообщали тем чужестранным министрам и о внутренних здешнего государства делах, сверх же того, проведовали о делах и словах Верховного тайного совета». За такие вины Совет рассудил: княгиню Волконскую сослать до указа в дальний женский монастырь и содержать ее там неисходно под надзором игуменьи; сенатору Нелединскому в Сенате у дел впредь до указа не быть; Егору Пашкову в Военной коллегии не быть; Веселовского сослать в Гилян; шталмейстера Кречетникова записать в прапорщики и послать служить в армейские полки; Черкасова – в Астрахань к провиантским делам. Это мнение отправлено было к князю Алексею Григорьевичу Долгорукому при таком письме: «Сиятельный князь! Понеже дело княгини Волконской и прочих по тому делу ко окончанию привелено, того ради ваше сиятельство просим, изволите по тому мнению его величеству доложить и, что изволит указать, о том нас уведомить. А что написано о Егоре Пашкове, чтоб ему у дел в Военной коллегии не быть, и то в такой силе, что по отлучении от этих дел определить его на Воронеж вице-губернатором. Вашего сиятельства слуги: Апраксин, Головкин, брат ваш князь В. Долгоруков». Князь Алексей прислал ответ: «Сиятельные тайные действительные советники, мои милостивые государи! По письму ваших сиятельств и по присланном приговоре его императорскому величеству докладывал и чрез сие мое объявляю: его величество по приговору ваших сиятельств быть повелел, и тако сие донесши, пребываю ваших сиятельств нижайший слуга князь Алексей Долгорукой».

Оба брата княгини Волконской, Алексей и Михаил Бестужевы, хотя и заподозренные в приговоре, остались, однако, на своих дипломатических постах; но отец их не мог остаться спокойно в Курляндии. Когда дело Волконской вскрылось, Бестужев был взят из Курляндии «с опалою», бумаги его были запечатаны. Царевна Анна с Бироном были в это время в Москве. Конечно, «креатуры» дали знать «каналье курляндцу», как он трактуется в захваченных письмах. Бестужев недаром писал: «Они могут мне обиду сделать: хотя б *она* и не хотела, да *он* , принудит». Возвратившись в Митаву, Анна старалась поддержать «высочайшую милость» императора и сестры его «всеглубочайшим респектом», которым дышат ее письма к ним, и угождениями. В одном письме она уведомляет великую княжну Наталью: «Доношу вашему высочеству, что несколько собак сыскано как для его величества, так и для вашего высочества, а прежде августа послать невозможно: охотники сказывают, что испортить можно, ежели в нынешнее время послать. И прошу ваше высочество донести государю-братцу о собаках, что сысканы, и еще буду стараться». Анна старалась насчет собак для императора и сестры его; Бирон, будучи в Москве, обещал князю Ивану Долгорукому сыскать для него собаку; по возвращении в Митаву ни о чем больше не думал, как об исполнении своего обещания, и нашел собаку самой лучшей породы. За собак должен был расплатиться Бестужев. В начале августа 1728 года Анна писала царевне Наталье: «О себе вашему высочеству нижайше доношу: в разоренье и в печалях своих жива. Всепокорно, матушка моя и государыня, прошу не оставить меня в высокой и неотменной вашего высочества милости, понеже вся моя надежда на вашу высокую милость». В том же месяце оказалось, от кого было разоренье и печали. Великая княжна получила такое письмо от Анны: «По

необходимой моей нужде послала я моего камер-юнкера Корфа в Москву, велела донести его императорскому величеству, каким образом меня разорил и расхитил Бестужев, которого камер-юнкера рекомендую в высокую милость вашего высочества и покорно прошу меня не оставить милостивым защищением. А моя вся надежда крепкая на ваше высочество». В просьбе своей императору Анна писала: «Вашего величества свету похвальное правосудие упричиняет, что я прибежище мое к вашему величеству приемлю и во всей покорности представляю, коим образом прежний мой обер-гофмейстер Бестужев обманом поступал: 1) он, Бестужев, чрез свою злую диспозицию меня разорил; 2) подлинныя доказательства мои, касающиеся отдачи вдовьих маетностей моих, которые отданы от здешнего княжеского правления, тайно утащил и к великому повреждению моему с собою увез, чрез что я осталась без обороны, из чего довольно можно усмотреть, что понеже я на верность его полагалась, а он меня неверно чрез злую диспозицию свою обманул и в великий убыток привел чрез *финесы* свои, как обо всем от меня посланный камер-юнкер Корф обстоятельно представит и доказательство учинит». Вследствие этой просьбы учреждена была комиссия, чтоб считать Бестужева. Корф был обвинителем; но Бестужев в свою очередь начал насчитывать на Анну свои вещи и деньги. Дело затянулось, несмотря на то что Анна просила Остермана приказать как можно скорее окончить его: «Понеже вашему превосходительству известно, что я разорена, а нынче мой камер-юнкер в Москве, и ежели еще долго пробудет, и мне не без убытку его содержать так долго. А я на ваше превосходительство, в весьма великой надежде, что ваше превосходительство меня не оставите по вашей ко мне склонности и дружбе; а мне изволь верить, что я вам и вашей фамилии вечно пребуду в верности и отслужу за вашу ко мне великую склонность». Вместо Бестужева русский двор назначил для управления делами Анны курляндца Рацкого, вступившего в русскую службу; Рацкий писал Остерману, что при дворе герцогини много лишних людей и царствует сильная роскошь не по средствам: гофмаршалом – Сакен, обер-гофмейстериною – фон ден Рек, камергером – Бирон, сверх того, три камер-юнкера, шталмейстер над двумя цугами и футтер-маршал, две камер-фрейлины, одна камер-фрау и множество гофратов, рейтмейстеров, секретарей, переводчиков и комнатных служителей, которые все ни за что получали жалованье: сверх того, герцогиня приняла еще в службу курляндца Корфа, назначенного в Москву резидентом с жалованьем по 1200 рублей в год; Рацкий жаловался также, что его дурно принимают при дворе Анны.

Падение Меншикова и влияние цесаревны Елисаветы должны были сближать молодого императора с родной его теткою герцогинею голштинскою Анною Петровною. В конце февраля 1728 года приехал в Москву из Голштинии майор Дитмар с известием, что 10(21) февраля у цесаревны Анны родился сын герцог Петр, и с просьбою к императору быть восприемником; Дитмар получил 300 червонных в подарок за радостное известие; при дворе был бал по этому случаю. Феофан Прокопович счел нужным отправить длинное поздравительное письмо герцогу и герцогине: «Родился Петру Первому внук, Второму-брат, августейшим и державнейшим сродникам и ближним – краса и приращение, Российской державе – опора и, как заставляет ожидать его кровное происхождение, великих дел величайшая надежда. А смотря на вас, счастливейшие родители, я плачу от радости, как недавно плакал от печали, видя вас, пренебрегаемых, оскорбляемых,

отверженных, униженных и почти уничтоженных нечестивейшим тираном. Теперь для меня очевидно, что вы у бога находитесь в числе возлюбленнейших чад, ибо он посещает вас наказаниями, а после печалей возвеселяет, как и всегда делает с людьми благочестивыми». Описавши огорчения, претерпенные мужем и женою, Феофан особенно останавливается на притеснении от Меншикова и не дает пощады падшему: «Вас постигло то, что почти превышает меру вероятия. Этот бездушный человек, эта язва, этот негодяй, которому нет подобного, вас, кровь Петрову, старался унижить до той низкой доли, из которой сам рукою ваших родителей был возведен почти до царственного состояния, и вдобавок наглый человек показал пример неблагодарной души в такой же мере, в какой был благодетельствован. Этот колосс из пигмея, оставленный счастьем, которое довело его до опьянения, упал с великим шумом. Что же касается до вас, то вы можете ожидать всего лучшего оттого, что поставлен в безопасности августейший ваш племянник, наш всемилостивейший государь; но и в вашем доме отец щедрот посетил вас своею милостию, даровав вам сына. Поздравляя вас с таким благом, дарованным для вас, для августейшей фамилии, для многих царств и народов, молю всеблагого бога, чтоб он, услышав ваши молитвы, увенчал ваши надежды исполнением и сохранил родителей и рожденного невредимо радостными и цветущими на многие лета».

Пожелания Феофана не пошли впрок. По поводу крещения новорожденного принца в Киле была иллюминация и фейерверк. Герцогиня хотела смотреть их и стояла у открытого окна в холодную сырую ночь. Придворные дамы представляли ей опасность и затворили окно; она смеялась над ними, хвалясь своим русским здоровьем; но их опасения сбылись: герцогиня простудилась и скончалась на десятый день (4 мая). Так как в завещании она просила, чтоб тело ее положено было при гробах родительских, то велено было отправить в Голштинию генерал-майора Бибикова с архимандритом, тремя священниками, диаконами и певчими и потребною утварью на корабле «Рафаил» и фрегате «Крейсер» под командою контр-адмирала Бредаля.

В том же году случилась беда с человеком, которого при Петре Великом придворные слухи назначали женихом цесаревны Анны Петровны, с Александром Львовичем Нарышкиным. Мы видели, что он попался в девьеровское дело и был сослан в свои деревни. Нарышкин жил в подмосковном селе своем Чашникове. Когда ему дали знать, что император охотится поблизости и что ему, Нарышкину, следует выехать к государю с поклоном, то он отвечал: «Что мне ему, с чего поклоняться? Я и почитать его не хочу; я сам таков же, как и он, и думал на царстве сидеть, как он; отец мой государством правил; дай мне выйти из этой нужды – я знаю, что сделать!» – «Его императорское величество по примерной своей к милосердию склонности и великодушию не указал оное дело розыском вести и чтоб оное, яко весьма мерзкое и ужасное, не могло б разгласиться и в народе рассеяно быть, того ради его величество указал послать его, Нарышкина, в дальнюю его деревню».

Цесаревна Елисавета осталась в России предметом искания для разных женихов, предметом нескончаемых толков для придворных, для министров иностранных. Виднее всех молодых людей был фаворит императора князь Иван Алексеевич Долгорукий, привязанность Петра к которому достигла высшей степени; и вот начинаются толки, что князь Иван влюблен в Елисавету и что

Остерман, без которого ничего не может сделаться, нарочно раздувает эту страсть, чтоб погубить обоих – и Елисавету, и Долгорукого. Откажут в руке Елисаветы знаменитому жениху всех выгодных невест Морицу саксонскому, выскажется князь Долгорукий с негодованием о предложении Морица – это служит подтверждением, что он сам имеет виды на цесаревну. Другой вопрос первой важности, занимающий всех, – это в каких отношениях находятся две силы – Долгорукие и Остерман? Остерман столкнулся с фаворитом, поссорились: Остерман помирился с фаворитом – вот важнейшие новости; от этого зависит возвращение двора в Петербург, чего желает Остерман и чего не хотят русские вельможи; если фаворит помирился с Остерманом, то и он будет уговаривать императора возвратиться в Петербург; да прочно ли это примирение? Князь Иван ненавидит Остермана, а князь Алексей расположен теперь к Остерману, считает его умницею; князь Алексей не любит сына своего Ивана, фаворита, любит другого, вследствие чего самые представительные из Долгоруких делятся: князь Василий Лукич на стороне князя Алексея, заправляет им; князь Василий Владимирович на стороне фаворита. Остерман пользуется этим разъединением, держится, и крепко держится, заправляет делами внутренними и внешними. Его не любят, против него работают при дворе; но, случись какое-нибудь трудное дело в Верховном тайном совете, все обращаются к Остерману, потому что он трудолюбив, на него все любят складывать тяжесть подробностей.

Остерман держится крепко, но покоен быть не может; он силен разъединением противников, но его партия слаба, ему не на кого опереться в случае невзгоды; уже толковали, что старый Головкин должен будет отказаться от должности великого канцлера, но его место займет не Остерман, а князь Василий Лукич Долгорукий, человек, имеющий большую дипломатическую опытность и свой взгляд, противоположный взгляду Остермана. Петр отвык совершенно от серьезного занятия, от серьезных разговоров; кто хотел приблизиться к нему, тот должен был говорить о вещах, ему приятных, доступных: об охоте, собаках и т.п. Остерман не мог, не умел об этом говорить, что же ему оставалось! Да и трудно было найти доступ к императору: он надолго уезжал из Москвы на охоту с Долгорукими, которые могли, умели с ним говорить, умели забавлять его и потому овладели им. Петр дичал, горизонт его суживался; ему неловко уже становилось при чужих людях, а чужими становились все те, которые не участвовали в его забавах. Внук завел свою *компанию*, но эта компания походила одним только на компанию деда – бесцеремонностию, грубостию обращения. Фаворит охорашивался пред иностранными министрами, которые заявляли ему, что он не Меншиков, не из черни, но человек знатный, образованный, что ему следует блюсти за молодым государем, сдерживать его; фаворит охорашивался, начинал играть роль недовольного и отзывался с презрением о компании, в которой отец его был главным лицом; фаворит говорил, что не ездит за город с государем потому, что не хочет быть свидетелем глупостей, которые заставляют делать Петра, и наглости, с какою компания обращается с ним. Но иностранные министры подозревали, что фаворит не ездит с царем для того только, чтоб во время отсутствия царя предаваться собственным удовольствиям; русские современники своими рассказами подтверждали их подозрения.

Фаворит с негодованием отзывался о забавах императора во время его выездов; но если он действительно чувствовал негодование, то не имел силы

характера, гражданского мужества для того, чтоб воспользоваться своим влиянием для противодействия этим забавам, или считал, подобно Остерману, всякое противодействие бесполезным для царя и только вредным для того, кто захочет противодействовать. Фаворит уклонялся от выездов по каким бы то ни было побуждениям, не провожала императора и тетка цесаревна Елисавета: между нею и племянником произошло охлаждение, она жила в уединении, но вредные для ее репутации слухи не переставали кружить в обществе; приятели Долгоруких толковали, что князь Алексей нарочно увозит императора так часто и на такое продолжительное время из Москвы, чтоб удалить его от опасной Елисаветы. Стал нравиться императору камергер князь Сергей Дмитриевич Голицын, сын князя Дмитрия, человек, по отзывам современников, достойный; допустить влияние Голицыных – страшная опасность для Долгоруких, и князя Сергея постарались удалить, назначив его посланником в Берлин. Прежде сильным влиянием на императора пользовалась сестра его, великая княжна Наталья, проводница остермановского влияния, но болезненная Наталья занемогла летом 1728 года, не могла следить за братом, провожать его на охоту и 22 ноября скончалась. Таким образом, не было более никакого влияния, которое бы противодействовало влиянию Долгоруких; из женщин Петра провожали на его прогулки княгиня Долгорукая, жена князя Алексея, с двумя дочерьми, и стали толковать, что одна из них будет объявлена невестой императора.

«Все в России в страшном расстройстве, – доносили иностранные посланники своим дворам, – царь не занимается делами и не думает заниматься; денег никому не платят, и бог знает, до чего дойдут финансы; каждый ворует сколько может. Все члены Верховного совета нездоровы и не собираются; другие учреждения также остановили свои дела; жалоб бездна; каждый делает то, что ему придет на ум. Об исправлении всего этого серьезно никто не думает, кроме барона Остермана, который один не в состоянии сделать всего». В этих известиях была правда. Действительно, с первого взгляда все должно было представляться в страшном расстройстве; но при этом видимом расстройстве правительственной машины более внимательные наблюдатели замечали, однако, что народ вообще был доволен: это довольство происходило прежде всего от мира, продолжавшегося уже семь-восемь лет, от уменьшившихся тягостей, поборов людьми и деньгами вследствие мер, принятых при Екатерине 1; по последствия этих мер сказывались только теперь; торговля и промышленность усиливались благодаря деятельности остермановской Комиссии о коммерции что же касается до злоупотреблений, до бесцеремонного обращения с казенными деньгами, то всякий иностранец и прежде, и после мог услышать несколько поразительных примеров и на их основании провозглашать страшное расстройство. Посмотрим же на основании свидетельств неголословных, что было сделано в это время и хорошего, и дурного.

В Верховном тайном совете половина членов – Апраксин, Головкин и Голицын – были недовольны: император не присутствует в Совете, и двое членов его, князь Алексей Долгорукий и Остерман, являются посредниками между императором и Советом; сами они почти никогда не ходят в заседания, и к ним нужно посылать мнения Совета с просьбою провести дело, доложив императору. Мы привели образчик подобной отсылки мнения Совета к князю Алексею Долгорукому по поводу дела княгини Волконской. Для примера подобных же

сношений с Остерманом можно привести следующий случай: 4 сентября 1728 года в собрании Совета положено было переменить при гетмане в Малороссии министра, послать вместо Федора Наумова кого-нибудь другого, и представлены кандидаты, генералы Матюшкин, Мамонов и Салтыков, с запискою; об этом решении послан был к барону Андрею Ивановичу Остерману обер-секретарь, которому велено просить барона, чтоб изволил о том доложить императорскому величеству. Остерман приказал господам министрам донести, что по записке их императору докладывать нельзя, потому что не означено точно, кому из трех особ быть при гетмане; он, барон, думает, что император изволит спрашивать их министерского мнения, и для того изволили бы точно определить, кому при гетмане быть; барон изволил при этом также сказать, что завтра у цесаревны Елисаветы Петровны на именинах изволит быть император, будут и министры, следовательно, тут всем сообща можно будет доложить его величеству. Министры Апраксин, Головкин, князь Василий Лукич Долгорукий и Голицын написали другую записку, где указали прямо на Солтыкова, но доклад последовал только 23 октября, и государь посылать Солтыкова в Малороссию не указал. 9 ноября того же года Совет потерял старшего из своих членов – генерал-адмирала графа Апраксина.

Восшествие на престол Петра II удовлетворяло огромное большинство в народе, и потому не могло быть значительных протестов. Преображенскому приказу было мало дела, и его уничтожили 4 апреля 1729 года, в самый приличный день, в Страстную пятницу; дела его были разделены между Верховным тайным советом и Сенатом, смотря по важности. Сенаторам опять в 1728 году Верховный совет сделал замечание в небрежном отправлении должности, велел спросить, для чего не сидят? В коллегиях по-прежнему чувствовался недостаток в способных членах; опыт показал, что приглашением иностранцев горю помочь нельзя, и Остерман в мае 1728 года представил, что в коллежских членах великий недостаток и, когда случаются вакансии или отлучки, тогда определяются от других дел люди непривычные. Поэтому рассуждено, чтоб во все коллегии выбрать по три человека из молодого шляхетства, которым быть там для обучения, и хотя им голосов не иметь, однако рассуждения от них требовать. Летом того же года велено было коллегиям – Военной, Юстиции, Камер-, Берг- и Ревизион- и Докладной канцелярии быть в Москву – знак, что двор намерен был остаться в древней столице; в Петербурге оставлены были конторы под управлением одного члена. В Москве уже начали чувствовать неудобства сосредоточения всех дел в Губернаторской канцелярии и потому начали думать об учреждении особых приказов, одного – для дел гражданских, другого – для уголовных, в которых было бы по одному судье с товарищем; из Московской губернии было показано 21388 нерешенных дел. В сентябре составлен был в Сенате и одобрен в Тайном совете наказ губернаторам, воеводам и их товарищам, необходимый вследствие того, что в предшествовавшее царствование отступили от направления Петра Великого, соединили все дела по-прежнему в одном губернаторском и воеводском управлении, только подчинивши городовых воевод провинциальным воеводам, а этих – губернаторам. В наказе говорится: все прежде бывшие в разных конторах дела, *а ныне в единой собранные* между канцелярскими служителями расписать, как прежде бывало, повытья или столы, то есть: у которых судные и розыскные дела или счета и

прочее им подобное, у таких никакого денежного прихода не было б, а у которых денежный прием и расход, таким прочих судных и розыскных дел не придавать. Во всех городах в ратушах бурмистрам суд иметь между купечеством и кто на купцов будет бить челом, кроме дел уголовных, которые поручены губернаторам и воеводам; в гражданских делах от бурмистров апелляции к воеводам и губернаторам, а от губернатора – в Юстиц-коллегию. Дворцовые крестьяне судятся между собою в Дворцовой канцелярии, но в уголовных делах – у губернаторов и воевод. Синодского ведомства крестьянам и приказчикам и прочим чинам, кроме духовных, в судах и розыскных делах быть в ведении губернаторов и воевод, а в крестьянских собственных ссорах, в брани, в бою, в займах расправу иметь управителям и приказчикам так, как помещики со своими крестьянами поступают. Подушный сбор положен на губернаторов и воевод, которые имеют окладные книги и по этим книгам собирают деньги по третям года; для сбора быть при них земским комиссарам: деньги эти губернаторы отдают штаб-офицерам, присланным Военною коллегиею, а эти отсылают куда следует по указам. Кроме подушных денег, собираемых на войско, губернаторы и воеводы должны иметь от Камер-коллегии окладную книгу всяким доходам. Если где явится моровая язва, то около тех мест по всем дорогам и по малым стежкам поставить крепкие заставы, дабы отнюдь никакого проезда и прохода не было. В которых домах язва явится, из тех домов людей вывести в особые пустые места и около их завалить и зарубить лесом, дабы они никуда не расходились, а пищу и питье приносить им и класть в виду от них, и, не дожидаясь их, принесшим здоровым людям отходить немедленно, а дома их с пожитками, скотом и лошадьми, если возможно, сжечь с таким осмотрением, чтоб от того другие дома не погорели. За безопасностью от пожаров в городах смотрят ратуши и бурмистры под ведением губернаторов и воевод. Меры предосторожности старые: для стряпни летом делать печи на дворах, в огородах, подальше от строения, а в хоромах летом нигде не должны топить и поздно с огнем не сидеть; если особой печи за теснотою сделать будет нельзя, то с мая по сентябрь топить только два раза в неделю.

Старые предосторожности против огня – старые пожары! 23 апреля 1729 года в шесть часов вечера в Москве, в Немецкой слободе, загорелся дом, и в полчаса пламя обхватило уже шесть или восемь домов. Гвардейские солдаты с топорами в руках прибежали на пожар и стали, как бешеные, врываться в дома и грабить, грозя топорами хозяевам, когда те хотели защищать свое добро, и все это происходило перед глазами офицеров, которые не могли ничего сделать. Другие русские, сбежавшиеся на пожар, говорили громко: «Что за важность! Горят все немцы да французы». Государя не было в Москве: увидавши зарево, он прискакал во весь дух, и его присутствие остановило грабеж; солдаты начали помогать тушить. Пожар, однако, продолжался до двух часов ночи; сгорело 124 дома, не считая флигелей и служб; потеря простиралась до 300000 рублей. Когда Петру донесено было о грабеже, то он велел забрать виновных; но фаворит постарался затушить дело, чтоб выгородить гренадер, которые все были замешаны, а он был их капитаном.

Другое бедствие продолжало свирепствовать в прежних размерах – это разбои, происходившие особенно на восточной Украине, в странах, близких к козачеству, где еще пахло разинским духом. В 1728 году Верховный тайный совет

узнал, что в Алаторском уезде разбойники, человек с 40, выжгли село князя Куракина Пряшево и приказчика убили, сожжено было две церкви и больше 200 дворов. Писали, что пострадало не одно это село и разбойники стоят близ Алатыря в большом количестве со всяким оружием и пушками и хвалятся, что возьмут и разорят город, где гарнизона нет, и для поимки воров послать некого. Писали, что разбойники ездят многолюдством и разоряют в Пензенской провинции и других низовых уездах помещиков и крестьян мучат и бьют; самое главное пристанище их в селе Торцеве, где поселилось года в четыре всякого *многонабродного* народа с пять тысяч человек: живут в горах, земляных избах и лачугах; другие поселились в пустых местах на вершине реки Хопра, по двум речкам Сетреницам и по речке Терешке; иные вновь селятся в пустых, разоренных деревнях на речке Печалойке, а деревни эти разорены и выжжены за воровство, и жители их высланы на старые жилища. Совет предписал деревни эти опять разорить, беглых бить кнутом и выслать на прежние жилища и вновь селиться не позволять; против разбойников послать генерал-майора или полковника с драгунами.

Еще было старое зло, против которого правительство тщетно придумывало разные средства: то были грабежи и проволочка дел в судах. Мы видели, что в царствование Екатерины для скорейшего составления Уложения придумали назначить к этому делу по две персоны из духовных, гражданских, военных и из магистрата. Но дело не двинулось. Теперь придумали другое средство; вероятно, кто-нибудь вспомнил, что при царе Алексее Михайловиче были выборные из областей. Кроме того, переменили план: оставили свод русского Уложения с иностранным, велели прежнее Уложение пополнить, для чего все указы и новоуказные статьи разобрать: которые из них явятся в пополнение старому Уложению, а не в противность или что еще потребно сверх того пополнить, то выписывать и приносить в Сенат, а в Сенате слушать немедленно; и когда будет утверждено, подавать в Верховный тайный совет, и когда здесь будет одобрено, то, напечатав, присоединять к соответствующим главам Уложения. Чтоб не было проволочки, как только разобраны будут соответствующие известной главе указы, так сейчас же представлять их в Верховный тайный совет, не дожидаясь остальных. Для этого дела выслать в Москву из офицеров и из дворян добрых и знающих людей из каждой губернии, кроме Лифляндии, Эстляндии и Сибири, по пяти человек, за выбором из шляхетства, которым давать по полтине на день человеку жалованья. Новая тяжелая служба! Только что некоторые высвободились из полков по недавним указам, чтоб пожить в деревнях, и вот надобно снова ехать в Москву! Разумеется, начали отбывать; притом лучшие и знающие люди были у дел, и здесь был в них недочет: где же было сыскать праздных? Прислали кого попало, вовсе не добрых и не знающих людей, глухих и хромых, старых и дряхлых, мелкопоместных, имевших по одному двору или даже и ни одного, и опять указ: «Указали мы офицеров и дворян, которые из губерний высланы к Москве для сочинения Уложения, ныне отпустить в дома их по-прежнему; а к губернаторам послать наши указы, чтоб на их место выбрали других знатных и добрых людей, которые б к тому делу были достойны, из каждой губернии по *два* человека, согласясь губернаторам обще с дворянами, и те выборы, закрепя им, губернаторам, и тем дворянам, прислать прежде их (выборных) высылки в Верховный тайный совет, а их самих до нашего указа к Москве не высылать. А

ежели усмотрено будет, что губернаторы выберут к тому делу неспособных людей, то взыскано будет на них и для того повелено будет с такими людьми к Москве быть самим губернаторам или товарищам их, чтоб могли сами ответствовать»

Относительно поправления финансов, казалось, все было придумано в прошедшее царствование, как бы ограничить расходы, и оставалось только барону Остерману в своей Комиссии о коммерции хлопотать о поднятии промышленности и торговли и посредством их увеличивать доходы. По доношению Комиссии о коммерции, императорское величество, милосердуя к верным своим подданным, повелел табачный торг отворить в вольную продажу с платежом пошлин, дабы купечество от прежде бывшей при табачной продаже службы не токмо было свободно, но тем табачным торгом пользовалось; а казенную продажу и табачные откупы отставить, и впредь оным не быть и ни под каким предлогом и вымыслом не вчинать. Комиссия о коммерции увидала понижение вексельного курса, вред от этого торговле, убыток казне; начала рассуждать; отчего это происходит, и нашла, что из разных коллегий и канцелярий ежегодно за моря переводят чрез вексель большие суммы денег; в России иноземцам по договору за высылку материалов выдаются из казны большие деньги; русские купцы за море на свой счет товаров мало или и ничего не посылают и, кому из них случится в деньгах нужда за морем, берут у иноземцев векселя; и когда на вексель из казны отдача случается, то иноземцы векселя низко держат. Для поправления вексельного курса Комиссия признавала лучшим средством то, чтоб русские купцы сами умножили отпуски своих товаров за море и корреспондентов имели, потому что в других государствах деньги на государственные расходы чрез купцов переводят, а своего государственного капитала в чужих краях не имеют. Но так как нельзя скоро сравнять русское купечество с иностранным в этом отношении, то Комиссия придумала такой способ, чтоб казенные товары, которые продаются при русских гаванях, – поташ, смольчуг, сибирское железо, икру, клей, треску и сало – продавать в 1728 году на готовые ефимки, которые отдать в Голландии или Гамбурге кому-нибудь в Комиссию, чтоб при первом случае хотя небольшой капитал в тамошних местах завести; если в нынешнем году казенные товары будут у портов дешеветь, то отпустить их на казенный счет в Комиссию этому известному лицу и приказать, чтоб там их продали, а вырученные ефимки держали для подачи по векселям в готовности; а с 1729 года учредить особенную комиссию или контору, которая бы по образцу регулярных купеческих контор могла производить покупку и продажу казенных товаров за морем и держать деньги и векселя для государственных расходов, также без подрядов высылать иностранное серебро в монетное дело. В 1729 году Комиссия о коммерции сочинила Вексельный устав «для пользы и лучшего распорядка в купечестве и для удержания излишних расходов и опасностей».

Усиление промыслов было также предметом забот Комиссии о коммерции. Так, она нашла, что слюдяной промысел в Архангельской губернии и Сибири не размножается потому, что берут с промышленников в казну десятый пуд лучшей слюдою и другие препятствия делаются. По представлению Комиссии промыслу слюдою дана была вольность: кто захочет, тот и промышленяет беспрепятственно, и вместо десятого пуда брать пошлину с настоящей цены по гривне с рубля. По

представлению той же Комиссии с 1728 года соляные промыслы и продажа соли отданы были в вольную торговлю. Наконец, Комиссия о коммерции представила, что из сибирских отдаленных мест ездить за позволением заводить разные металлические заводы не только в Петербург, но и в Екатеринбургский Бергамт тяжело, притом же заводчик должен серебро и медь отдавать в казну и платить от прибыли десятую долю, что невозможно делать из отдаленных сибирских мест, и потому в земле скрытое богатство и общая польза остаются втуне.

Вследствие этого представления состоялся указ: за Тобольском в Иркутской и Енисейской провинциях всякий может строить заводы, какие захочет, свободно и безвозбранно и все выработанные металлы и минералы свободно продавать с платежом одной таможенной пошлины; десятой доли от прибыли не брать десять лет; но за границу золото и серебро отпускать запрещается. Горное начальство должно оказывать этим заводчикам всякое вспоможение, давать мастеров и учеников безденежно. Так как в Сибири находятся многие цветные камни, то добыватели могут продавать их без всякой пошлины и явки.

О крестьянах особой комиссии не было; но вопрос, возбудивший такое сильное внимание в предшествующее царствование, вопрос о необходимости облегчения участи крестьян, удерживал свою важность и теперь: в июле 1729 года Сенату объявлен был приказ Верховного тайного совета, чтоб подушных денег в работную пору не правили.

Все современники, как описывающие черными красками состояние России в царствование Петра II, так и находившие светлые стороны в этом времени, одинаково жалуются на печальное состояние армии и флота. Роспуск офицеров по домам, предпринятый, как мы видели, в финансовых целях, не мог не подействовать вредно на армию и флот; кроме того, после ссылки Меншикова не было президента Военной коллегии; Миних был вице-президентом, но, когда коллегия отправилась в Москву, он остался в Петербурге по другим своим занятиям. В Верховном тайном совете рассуждали, что когда Военною коллегиею заведовал князь Меншиков, то вследствие непорядочного управления армия пришла в слабость, сказывается недостаток в амуниции и магазинах; многие молодые и способные офицеры отставлены, и потому необходимо определить в Военную коллегию президента человека знатного, заслуженного и умного, который бы мог все то поправить, также очень нужно быть генералу кriegс-комиссару для осмотра армейских полков; в эту должность надобно взять Григория Чернышева из Риги; в Смоленске, как порубежном городе, нужно быть русскому губернатору; в Ригу на место Чернышева отправить Матюшкина; в Петербург генерал-губернатором назначить князя Ивана Трубецкого. В октябре 1729 года Верховный тайный совет доложил государю, что в Военной коллегии уже давно нет президента и членов недостаточно, вследствие чего в делах слабое отправление и остановка, особенно относительно доброго содержания армии, снабжения ее как людьми, так и мундиром. В 1729 году при императрице Екатерине велено было для этого учредить особую комиссию, но указ не был приведен в исполнение; поэтому Верховный тайный совет думает, что теперь надобно его привести в исполнение, рассмотреть, каким бы образом армию содержать в добром и исправном порядке, без излишних расходов; освидетельствовать армейские полки с того времени, как начался подушный сбор: сколько в каждом году который полк получил жалованья, мундира и амуниции,

провианта и фуража и что против положения в котором году должно быть в остатке. Комиссия должна рассмотреть штаб- и обер-офицеров, которые по кончине Петра Великого от армейской службы отставлены и определены к делам, также которые и вовсе от дел уволены, и, если которые из них окажутся еще годными к армейской службе, тех определить в нее по-прежнему, чтоб при полках было больше старых офицеров. В этой комиссии быть генерал-фельдмаршалам, находящимся теперь в Москве, и с ними потребному числу из генералитета и полковников; но обстоятельства помешали и теперь комиссии составиться. Не могло осуществиться и намерение Остермана – устроить весною 1729 года в окрестностях Москвы лагерь в 12 или 15 тысяч человек и попробовать, нельзя ли этим средством удержать хотя на несколько времени Петра от его бесплодных поездок и дать ему некоторое понятие о военном искусстве. Но люди, в руках которых находилась теперь власть, успели провести выгодную для себя меру, которой, как мы видели, они не могли провести при Екатерине: запрещено было принимать в полки вольницу из боярских людей и крестьян.

Строение кораблей было прекращено, хотели ограничиться строением одних галер. В апреле 1728 года в собрании Верховного тайного совета, бывшем в Слободе (Немецкой), во дворце, по довольном рассуждении император указал: для избежания напрасных убытков корабли большие, средние и малые и фрегаты, что касается корпуса их и принадлежащего к ним такелажа, содержать во всякой исправности и починке, чтоб в случае нужды немедленно можно было вооружить их к походу, провиант и прочие припасы заготовлять на них подождать, только изготовить из меньших кораблей пять для обыкновенного крейсирования в море, для обучения офицеров и матросов, а в море без указа не выходить; фрегатов к Архангельску послать два да, сверх того, два флейта; а в Остзее крейсировать двум фрегатам, однако не далее Ревеля; галерам же быть в полном числе, готовить и делать их неослабно. Рассказывают, что Остерман, желая все возратить Петра в Петербург, подговорил родственника его, моряка Лопухина, представить ему, что флот исчезает вследствие удаления его от моря; Петр отвечал: «Когда нужда потребует употребить корабли, то я пойду в море; но я не намерен гулять по нем, как дедушка».

И кратковременное царствование Петра II не обошлось без суда над одним из самых видных людей, обвиненным в казнокрадстве. В декабре 1727 года велено было судить адмирала Змаевича за то, что он, имея в своем заведовании галерную верфь и галерную гавань и строение переведенцам светлиц, под видом займа от определенных при тех делах обер-офицеров брал на свои потребности много казенных материалов; отдал иностранному шкиперу, будто по знакомству, казенные канаты безденежно; по его приказанию майор Пасынков переделывал списки служителей, которым следовали заработные деньги, с прибавкою на тех, которым по указам денег давать не следовало, и вследствие этой переделки Змаевич получил 333 рубля, в чем и повинился; при подряде присвоил себе 1100 бревен; большое число служителей своей команды брал для своей собственной работы, в чем не запирался. Суд приговорил Змаевича и Пасынкова к смертной казни; но по решению императора Змаевич понижен был чином, написан впредь до выслуги в вице-адмирала и послан в Астрахань командиром тамошнего порта, а за ущерб, причиненный казне, велено взять с него втрое; Пасынков написан в капитаны и послан на службу в новозавоеванные персидские провинции.

Если поддержка армии и флота в том состоянии, в каком они находились при Петре Великом, встречала сильное препятствие в самом втором императоре, который ни по летам, ни по привычкам не был способен даже играть в солдаты и корабли, то остальные дела преобразователя, которые не шли вразрез склонностям государя и интересам вельмож, поддерживались и развивались, ибо сознательного, преднамеренного противодействия делу преобразования мы не замечаем ни в ком из русских людей, стоявших в это время наверху. Петр Великий разослал по всему государству геодезистов для составления ландкарт и описания областей. Дело шло, но к концу не приходило. В 1728 году Сенат, видя, что из многих губерний и провинций ландкарты в Сенат уже присланы, а из некоторых городов не присланы, слушал выписок доношений и справок и, рассуждая, что ландкарты нужны, и если полного описания не кончить, то сводить сделанные уже ландкарты в общие губернские, тем менее составить из них государственную нельзя, распорядился рассылкою геодезистов для составления ландкарт остальным местам. Из Сибирской губернии прислана была только одна ландкарта Тобольского уезда, и потому сибирскому губернатору подтверждено понуждать геодезистов в описании и составлении ландкарт, в которых означать не только жилище русских, но и кочевья тамошнего народа; журналы вести, и из них прилагать к ландкартам экстракты, где какие народы, каких вер и чем питаются, и какой где хлеб родится или не родится, и о прочем, что прилично географическому описанию. Сенату стало известно, что некоторые геодезисты, ездя по уездам, понуждают подавать себе сказки о деревнях, реках, озерах, болотах и расстояниях, чем вводят крестьян в убыток и свое дело задерживают, и потому им велено накрепко подтвердить, чтоб они письменных сказок не требовали, но словесно спрашивали и записывали у себя в журнале.

Мы видели, что по смерти Петра Великого учреждения прекратили присылку известий для напечатания в газетах; Екатерина, узнавши об этом, предписала присылать по-прежнему; но Сенат не распорядился привести в исполнение указ императрицы; теперь Академия Наук вошла в Сенат с доношением, что при академической типографии печатаются газеты на латинском, немецком и российском диалектах с иностранных газет и чтоб велено было из коллегий, канцелярий и контор всякие ведомости для напечатания в газетах присылать в Академию; Сенат привел в исполнение указ покойной императрицы. Академия имела свою типографию. В октябре 1727 года, по доношению Синода, велено быть друкарням (типографиям) в двух местах: для напечатания указов – в Сенате, для напечатания же исторических книг, которые на российский язык переведены и в Синоде одобрены будут, – при Академии; а прочие типографии, которые были в Синоде и в Александровском монастыре, перевести в Москву и печатать только одни церковные книги, и Синоду смотреть прилежно, чтоб в печатании этих книг никаких погрешений и противности как закону, так и церкви быть не могло Академия Наук, требуя для печатаемых ею газет известий отовсюду, сама заявляла в газетах о своей деятельности по поводу разных торжественных случаев. Так, в «Петербургских ведомостях» 22 февраля 1729 года было напечатано: «В будущий понедельник, т.е. 24 дня сего месяца, в 9 часу поутру, будет здешняя императорская Академия Наук ради торжественного дня коронования его императорского величества публичное собрание иметь, в котором г. профессор Лейтман предлагать будет о новоизобретенных весках без стрелки, которые зело

исправно сделаны, также и о полиэдре, которое персону его императорского величества Петра Второго, безобразно изображенную, весьма ясно показывает, на что г. профессор Мейер именем всея Академии будет отвечать». 25 февраля напечатан был отчет о торжестве: «Вчерашнее публичное собрание Академии Наук зело преславно отправлялось. Были епископ псковский Рафаил, адмирал Сиверс, граф Миних. Обе машины были всем зрителям ради осмотра оных поставлены, причем большая часть особливо о искусно граненном полиэдре удивлялася, понеже во оном вместо написанного в середине доски российского орла персону его императорского величества Петра Второго видели, которая из многих меж другими фигурами разделенных частей паки совершенно соединялася, и оную зело ясно видеть возможно было». 29 октября Академия удивила праздником не в честь какого-нибудь русского счастливого события, но в честь рождения дофина во Франции. «29 октября отправлял г. профессор Делиль ради счастливого рождения дофина во Франции великое торжество. Торжество происходило в большой академической зале. При входе в залу и внизу на лестнице поставлено было на караул 30 человек гренадеров. Все кушанье было зело деликатное и в великом множестве. Самые лучшие виноградные пития были каждому по требованию подаваны, а за здравие пили при игрании на трубах и битии на литаврах; снаружи были также все палаты со всех сторон иллуминованы; также имела бы и большая башня обсерватория во всех жильях лампадами иллуминована, и на спице той башни иллуминованный лазоревыми золотыми лилеями украшенный небесный круг поставлен быть, но великий ветер и дождевая погода в том препятствовали. А как покушали, чинено приуготовление к балу, который от г. Штерлинга с госпожою Делилшею и от г. генерал-майора фон Тессина с фрейлиною фон Сивершею начат».

Академия Наук поделила типографию с Синодом; в ее руках издание «Ведомостей»; но у Синода осталась цензура книг, печатаемых в академической типографии. Западное образование допускается под условием не вредить православию. Для многих вопрос об отношениях нововводимого просвещения, преобразования к старому православию был на первом плане: церковь должна быть охранена от влияния иноверных учителей. Но подверглась ли уже она этому влиянию? Чисты ли от него все пастыри церкви? Новая форма церковного управления достаточна ли для того, чтоб охранить православие в опасной борьбе? Не следует ли возвратиться к прежней форме, тем более что движение к старым формам уже началось в областном управлении? Эти вопросы занимали очень многих, и потому неудивительно, что по поводу их происходит борьба, за них хватаются люди, преследуя свои личные интересы, нападая на своих врагов и соперников или защищаясь от них. Мы видели, как по смерти преобразователя, когда свободнее и спокойнее можно было заняться разными вопросами, возбужденными преобразованием, главный деятель преобразования в сфере церковной Феофан Прокопович подвергся нападению: враги увидели, что это не Феодосий Яновский, что его не так легко свергнуть, как последнего: но зато и Феофану пришлось пережить тяжелое время, когда он, первый архиерей русский, оставлен был в подозрении, когда ему объявили, что он освобождается от должного ему наказания только по милости императора. Разумеется, он не мог быть покоен при Меншикове. в котором видел врага своего. После ссылки светлейшего князя Феофан вздохнул спокойнее, но не избавился от опасности;

по-прежнему должен был вести трудную оборонительную войну, с напряженным вниманием следить за движениями врагов. Самым главным, самым опасным врагом Феофана был, естественно, самый видный по энергии, способностям и связям архиерей Георгий ростовский, стремившийся к первенству, думавший и о восстановлении патриаршества для себя и потому необходимо сталкивавшийся с Феофаном, занимавшим первое место. Обстоятельства после ссылки Меншикова были таковы, что могли возбуждать в разных лицах разные надежды и заставлять их начинать движение, начинать борьбу; но обстоятельства были вместе таковы, что не допускали решительного окончания борьбы. Когда Меншиков сильной рукой держал правление, тогда решение всех вопросов зависело от него и, конечно, он не мог благосклонно отнестись к мысли о восстановлении патриаршества. После его падения такого сосредоточения власти уже не было; все зависело от того, кто в известную минуту и в известном вопросе окажет больше влияния на молодого императора. За это влияние спорили или делили его полюбовно Остерман и Долгорукие. Остерман не мог, разумеется, желать восстановления патриаршества, и все симпатии его были обращены к Феофану: оба они были дети одних и тех же условий известного времени и должны были подавать друг другу руки для поддержания этих условий, для поддержания направления, господствовавшего при Петре Великом; Долгоруким не было ни времени, ни охоты думать о вопросах, подобных вопросу о восстановлении патриаршества; у них было одно на уме – удержаться в фаворе, закрепить его для себя как можно сильнее. Для других вельмож придворные отношения – придворная смута была на первом плане; все внимание их было обращено туда, все другие дела покидались; при случае могли потолковать о Синоде и патриаршестве и высказать свое сочувствие к последнему, высказать больше сочувствия к Георгию, чем к Феофану; но словами это сочувствие и ограничилось, и Георгий Дашков понапрасну раздаривал лошадей своим влиятельным людям, как утверждали его враги. Таким образом, Феофан мог держаться крепко против всех нападений, на него направленных. Другая громадная выгода его положения состояла в том, что враги были гораздо ниже его по своим личным средствам, борьба с ним была тяжела; если и Меншиков не мог решиться наложить свою тяжелую руку на эту звезду красноречия и учености, то кого другого можно было заставить содействовать низвержению Феофана? Многие могли его не любить, как Остермана, но когда представлялся случай, требовавший особенного знания и умения, то должно было обращаться к Феофану, как в затруднительных вопросах дипломатии и внутренней администрации обращались к барону Андрею Ивановичу. Преобразование сделало свое дело: оно породило потребности, для удовлетворения которых необходимы были Остерманы и Феофаны; Феофан Прокопович мог быть свергнут таким же Феофаном Прокоповичем, но никак не Георгием Дашковым с товарищи.

Но Георгий после падения Меншикова начал борьбу, думая, что обстоятельства теперь благоприятны; его, как многих других, манила надежда на Москву, куда собирался двор для коронации, манила надежда на влияние царицы-бабки. Средство действовать против Феофана было указано – обвинение в неправославии; орудие также готовое – старый обвинитель, Маркелл Родышевский. Маркелл в конце 1727 года подает в Верховный тайный совет донос, что с 1722 года появились в России разные книжки неизвестно чьего

сочинения и неизвестно кто осмелился одобрить эти книжки указом императора Петра Великого и тем опорочить его преславное имя, потому что в них содержится кальвинская и лютеранская ересь. Но прежде чем донос был подан, Феофан, узнал о нем, достал его и представил в Синод вместе с своими опровержениями. «В этом злоречьи, – пишет Феофан, – заключается не одна ложь, но плевелы и клеветы мятежные: Синод обвиняется в ереси и достойной смерти дерзости, ибо выходит, что Синод дерзнул опорочить славное имя Петра Великого, потому что книжки напечатаны по приказанию Синода». В заключение Феофан внушает Синоду, что «хотя мятежеслов Маркелл дерзок и шаток, бесстыден и бессовестен, однако отнюдь не отважился бы так поступать сам собою; но есть один или несколько людей, которые для интересов своих, им душепагубных, церкви же и государству зловредительных. сего элодея употребляют к такому возмущению и его в продерзостях беспечальна творят и великими обещаниями дурака обнадеживают». В доказательство этого Феофан скоро представил в Синод расспросные речи двух своих слуг, которые разговаривали с Маркеллом в Невском монастыре: по их показанию, Маркелл говорил: «Я желаю покориться его преосвященству (Феофану), пошел бы я на коленях в дом его архиерепства из Невского монастыря, только б меня во всей моей вине простил, да не велит мне вышняя моя власть, преосвященный ростовский, который вскоре будет патриархом, да превысокие мои господа и милостивцы, на которых и надеюсь».

С таким напутствием от обеих борющихся сторон отправился Синод в Москву. 8 января выехал двор из Петербурга. 13-го убежал из Невского монастыря Маркелл прямо в Москву, оставив на имя архимандрита любопытное письмо: «Понеже получил я именной его величества словесный указ – ехать мне по моей челобитной в Москву, того ради и поеду прямо, и гнать за мною не для чего, понеже в лицо, а не от лица еду и не ухожу, только от бед избавляюся. *К тому несобственный никакой имею интерес явится ее величеству, всепресветлейшей государыне императрице Евдокии Феодоровне* ». Когда в Синоде началось дело Маркелла, то Феофан отстранил Дашкова, как причастного к делу. Тогда Маркелл, видя беду, сделал то же, что часто делывали люди в его положении: перевел дело в Преображенскую канцелярию, объявив за собою государево слово. Здесь он донес, что в службе на праздник по случаю мира с Швециею заключается поношение чести царевича Алексея Петровича: в «Правде воли монаршей» написано против прав царствующего государя и т.д. Доносить об этом было не нужно, потому что все это было всем известно, и в марте 1729 года по указу Верховного тайного совета Родышевский был отослан в Симонов монастырь, чтоб быть ему там неисходно. Феофан остался нетронут, и надежды Дашкова на патриаршество не осуществились: не осуществились надежды на покровительство «государыни императрицы Евдокии Феодоровны».

Как только по смерти Петра Великого обнаружилось враждебное движение против главных деятелей церковного преобразования, когда Феодосий был сослан и Феофан подвергся нападкам за неправославное, именно протестантское, направление, так, естественно, должны были вспомнить о покойном Стефане Яворском, который обвинял Прокоповича в том же направлении. Мы видели, что еще при Екатерине подняли вопрос об издании книги Яворского «Камень веры», написанной против протестантов. При Петре II Верховный тайный совет окончил

это дело: в заседании 25 октября 1727 года велено книгу «Камень веры», которую свидетельствовал тверской архиерей (Феофилакт Лопатинский), к нему послать, чтоб он на ней подписал своеручно, что он ее свидетельствовал, а как подпишет, послать в Синод при указе, чтоб, напечатав ее, пустить в продажу. На другой день посланный к Феофилакту донес, что архиерей книгу своеручно не засвидетельствовал, а объявил, что ему ее еще надобно посвидетельствовать и поправить и чтоб на то время дано было ему до 28 числа. С такими предосторожностями была издана наконец книга, которой суждено было иметь такую громкую известность.

Но в то время, когда печатали книгу против протестантов, генерал-майор Алексей Потемкин донес из Смоленска, что здесь между шляхтою распространяется католицизм и некоторые из принявших латинство смолян находятся в Москве. Один из них, Ларион Лярский, уехал за польский рубеж и постригся в ксендзы. Верховный тайный совет велел смоленского епископа выслать в Москву, а на его место назначить другого, вызвать в Москву и всех смолян, принявших латинство, в Смоленске завести школу. Смоленский епископ Гедеон составил пункты о мерах к удержанию смоленской шляхты от принятия латинства; пункты были утверждены Верховным тайным советом и состояли в следующем: находящимся на границе караульным офицерам и драгунам подтвердить с жестоким прещением, чтоб из Польши и Литвы не допускали выезжать в Россию римских ксендзов, а смоленскую шляхту выезжать за границу без указа и паспортов. Если какой-нибудь ксендз придет по своим делам, о таком объявлять губернатору, а губернатор дает знать архиерею; ксендзу назначается время, в какое он должен исправить все свои дела, и берется с него письменное обязательство, чтоб он русских людей по римской вере не исповедовал и не причащал, никакими вымыслами к своей вере не склонял, в дома их для того ни тайно, ни явно не ходил и не носил другого платья, кроме того, какое носят ксендзы. У всех смоленских шляхтичей взять сказки под жестоким истязанием, чтоб они нигде с римскими ксендзами ни тайно, ни явно сообщения не имели, в дома к себе их не пускали, для исповеди к ним не ходили и никаких наговоров от них не слушали. Ослушников ксендзов и шляхтичей брать и, сковав, присылать в Сенат немедленно; Сенат расспрашивает их и доносит немедленно же в Верховный тайный совет и послабления в том никому никакого не делает. Смоленской шляхте детей своих для науки за границу в Литву и никуда отнюдь не отдавать, отдавать в смоленские, московские и киевские школы. Если кто по обучении в русских школах захочет ехать в другие государства, тех отпускать под присягою и брать поруки, что отъезжающий за границу не останется, веры греческого исповедания не переменит и против Российской империи в службу нигде ни к кому не вступит. Смоленской шляхте в домах своих для обучения детей и родственников отнюдь не держать римских учителей или инспекторов, а иметь инспекторов из русских подданных и веры греческого исповедания; если же таких сыскать не могут, то по нужде могут брать из-за границы, только православной веры греческого исповедания и со свидетельством архиерейским; а когда русских инспекторов будет довольно, тогда из-за границы не брать никого, чтоб под видом православных не было римской веры ксендзов. Если из-за польского рубежа римской веры девицы и вдовы захотят выйти замуж за смоленских шляхтичей, то им это позволять, когда они примут православную

веру греческого исповедания, а смоленской шляхте дочерей и родственниц за границу замуж не выдавать за католиков и униатов. Из смоленской шляхты желающих постригать в монахи в указные лета, а возвратившихся из-за границы шляхтичей, которые стали там ксендзами и захотят быть в греческой вере монахами или бельцами, принимать и писать о том в Синод. Школы в Смоленске завести и быть им в городе при монастыре; учителей брать из киевских монастырей и из московских школ по указам из Синода: учить латинскому, французскому и немецкому языкам, и, которые захотят быть в священниках, тех учить и греческому языку. Смольнян, принявших католицизм, сначала велено было отправить в ссылку и деревни отобрать в казну, но в сентябре 1728 года Остерман объявил в Верховном тайном совете императорский указ, чтоб их не ссылать, оставить на житье в Москве и деревни не конфисковать.

Но в то время как принимались такие строгие меры, чтоб ксендзы не пробрались в Смоленск и под видом учителей и инспекторов не водворялись в шляхетских домах, ксендз под этим именно видом пробрался в Москву и совещался здесь с русскими духовными о соединении церквей. Этот ксендз был аббат Жюбэ, приехавший в 1728 году в Россию под видом наставника детей княгини Ирины Петровны Долгорукой, урожденной Голицыной, которая приняла католицизм, будучи с мужем своим князем Сергеем в Голландии. Пользуясь покровительством двух самых сильных фамилий, Долгоруких и Голицыных, и посланника испанского герцога Лирии, Жюбэ в подмосковной Голицына толковал о соединении церквей с тверским архиереем Феофилактом Лопатинским и другими знатными духовными лицами.

Неизвестно, по каким побуждениям приняты были меры и против протестантской пропаганды. В ноябре 1728 года препозитом лютеранских церквей объявлен был синодский указ, чтоб пасторы не дерзали русских православных христиан учить своим догматам и привлекать в лютеранскую или другие веры. Приходящих на исповедь детей духовных пасторы должны спрашивать не были ли они в вере греческого исповедания, и если окажется что были, то таких не принимать, но немедленно объявлять о них в канцелярии Синода. При браках спрашивать, оба ли сопрягающиеся лица лютеранской веры, одно из них не греческого ли исповедания и невеста не оставила ли живого мужа за несогласием относительно веры.

Касательно дел на украинах, на Дону шел старый и жизненный для козачества вопрос о выдаче беглых. Летом 1728 года отправился в Черкасск полковник Тараканов, чтоб высланы были все беглые, поселившиеся на Дону с 1695 года. Козаки собрали круг, прочли императорскую грамоту, посоветовались и пришли к Тараканову с объявлением, что во всем будут исполнять государев указ и вышлют беглых, поселившихся у них с 1712 года; о пришедших же с 1695 по 1712 год посылают в Москву старших бить челом его императорскому величеству: выслать этих беглых нельзя, потому что из них у нас старшины и все лучшие люди и его императорского величества слуги; если их выслать, то все городки опустошить, службы служить, границы и черты охранять будет некому. Вместе с этими вестями пришли вести более тревожные: полковник Роговский, командированный с полком в транжемент на перемену, приехал в урочище Распопинский Юрт; наказной атаман Яким Расторгуев выехал к нему навстречу, привез проводников, но при этом начал говорить: «Дай тебе бог дойти до

транжемент в добром здоровьи, потому что у нас по Дону и по другим запольным речкам не смирно: козаки волнуются, потому что хотят высылать беглых с 1695 года, опасно, чтоб, собравшись, не ушли на Кубань: по степным местам к Кубани дорога им безвозбранная». Фельдмаршал князь Михаил Михайлович Голицын, донося об этом в Верховный тайный совет, писал: «Я дал указ Чекину, что, если из расспросов Расторгуева будет достоверно козацкое возмущение, дал бы мне знать как можно скорее, а сам бы с полками был готов; смотря по ходу дела, я сам пойду для усмирения козаков или пошлю генерала Вейсбаха. Только доношу: Чекин репортовал мне, что в его полках больных более 600 человек и число их беспрестанно увеличивается, на день занемогает человек по 20 и по 30, штаб- и обер-офицеры едва не все больны, и если козацкое возмущение действительно вспыхнет, то тамошним царицынским корпусом утешить его нельзя; в Малороссии и слободских полках находится только 10 полков, но и то за раскомандированием очень малолюдны, едва по 300 человек в полку; притом здешние места оставить небезопасно, и на ландмилицию за ее новостью, что люди огня не видали, слабая надежда».

Когда в Верховном тайном совете выслушано было донесение Голицына и отписки Донского войска с просьбою не выдавать беглых раньше 1712 года, то решили беглых вывозить с 1710 года; атамана Расторгуева подвергнуть розыску; князь Голицын должен послать в команду свое предписание, чтоб прежде времени с донскими козаками не поступали жестоко. Расторгуев с пытки не повинился; но так как полковник Роговский подтвердил свое показание присягою, то атамана сослали в Сибирь. При всяком слухе о какой-нибудь смуте, о самозванце козаки были тут; так, разглашали, что у Евдокии Лопухиной есть сын, которого она хочет воцарить, и что он живет на Дону у козаков, и что подметные письма, явившиеся в Петербурге, подкинута козаками. Смут, впрочем, никаких не было при Петре II; даже раскольники в своих пророчествах говорили: «Антихристовы страсти – исповедные всенародные тричастные книги умершим, новорожденным (метрические книги), и нашим Российским государством овладеют еретики, и что ныне Синод, то антихристов престол, и будет князь великий императором вторым, и при нем сыщется истинная вера пред богом и будет людям жить добро, да недолго».

С донскими козаками не велели поступать жестоко потому, что приходили известия о калмыцких и башкирских движениях. В конце 1727 года получены были из Казани известия, что калмыки находятся не в прежнем состоянии: к Дундуку-Омбо приехали башкирские посланцы, 12 человек, и объявили, что у них пронесся слух, что будто калмыки намерены воевать против России, и если это правда, то приняли бы они и башкирцев к себе в союз; эти посланцы остались у Дундука-Омбо, дожидаются, на что решатся калмыки, переправившись с Луговой стороны на Горную. Вследствие этого русским правительством отправлены были по всем дорогам увещательные грамоты, чтоб башкирцы жили спокойно и, если от кого есть им обиды, чтобы жаловались и получают удовлетворение без волокиты, могут ехать с жалобами в Петербург или Москву; асессор Уфимской провинции Лихачев, обвиняемый башкирцами в обидах и взятках, был вызван к ответу.

В распоряжениях относительно Малороссии, состоявшихся при Меншикове, не было сделано никакой перемены. В тайной инструкции Наумова говорилось: хотя в грамоте его императорского величества, с ним посланной к

малороссийскому народу, и в данной ему инструкции написано, что его императорское величество указал в Малой России гетмана выбрать по-прежнему обыкновенно, однако сие избрание написано для лица, а в самом деле его императорского величества соизволение быть гетманом миргородскому полковнику Данилу Апостолу, зачаемо, что от народу не иной кто, но он, Апостол, по старшинству и по заслугам и ради имеющегося его у них кредиту избран будет. Прибыв в Глухов смотреть и разведывать, его ли, Данила Апостола, в гетманы народ будет избирать, и ежели б некоторые из того народа о ком ином намерение имели в гетманы обирать, в таком случае того предостерегать и путь к тому предуготовить, чтоб, конечно, Данилу Апостола, а не иного кого в гетманы народ избрал. А как приедет в Глухов Данила Апостол, и ему объявить секретно, что его императорское величество указал его, а не иного кого в гетманы обирать и чтоб он служил верно и непоколебимо. Ежели, паче чаяния, старшина и народ малороссийский Данилу Апостола в гетманы обирать не станут, а будут выбирать иного кого по своей воле, и ему, Наумову, того учинить не допустить и то обранье под каким пристойным претекстом остановить и писать в Коллегию иностранных дел. Наумов, приехав в Глухов 18 сентября, объявил, что государь указал быть у них, в Малороссии, гетману по-прежнему, кого они выберут из малороссийского народа вольными голосами по прежнему обыкновению. Потом Наумов спрашивал *партикулярно и обще*, кого хотят выбрать в гетманы, и получил единогласный ответ, что миргородского полковника Данилу Павловича Апостола. 1 октября созвана была рада из духовных и светских людей. Министр спрашивал всех вслух, кого себе избирают в гетманы? И все единогласно сказали, что желают миргородского полковника. И долгое время все его просили, до последнего человека, а он отговаривался, что стар и такого великого правления понести не может. Тогда тайный советник и министр объявили, что по избранию малороссийского народа его императорское величество жалует Апостола в гетманы. Тут полковники, подхватя его под руки, поставили на стол, все поздравляли его и шапками на него махали. Новоизбранный бил челом за милость его императорского величества, а народ кланялся. Из чиновников упраздненной Малороссийской коллегии Наумов должен был некоторых удержать в Глухове, потому что явилась странность: он привез с собою копию с приходных ведомостей, получавшихся в Сенате от президента коллегии Вельяминова, но когда Наумов сравнил эти ведомости с поданною ему в Глухове за секретарскою рукою, то нашел большую разницу, а именно: в 1722 году в сенатской ведомости показано было в приходе 45527 рублей, а в коллежской – 22672; в 1723 году в первой – 85854, а во второй – 47734; в 1724 году в первой – 141342, во второй – 108054. Наумову велено было под рукою проведать о коллежских членах, и услышал он о великих обидах от них народу.

Сильные жалобы поданы были Наумову также на войсковых командиров из немцев, находившихся в Малороссии; к жалобам малороссиян присоединялись жалобы полковников из великороссиян. Полтавский полковник писал на генерала Вейсбаха, что постоянно требует для разных домовых посылок подвод, сторожей, водовозов, ремесленников, баб для кухни, по обывательским лугам косит сено даровыми работниками и возит его на полковых подводах, рыбаков берет перемененно по четыре человека с сотни, две слободы поселил себе на обывательских землях людьми Полтавского полка и уволил эти слободы от

квартирной и порционной обязанности. На генерал-поручика Роппа и генерал-майора Дукласа нежинский полковник Хрущев с старшиною показали, что Ропп занял себе квартиру не по указу и без отводу, требует неуказных всяких съестных и других припасов ежедневно; находящийся при нем прапорщик Михнев бил комиссара смертным боем и окровавил, а полковника Хрущева Ропп держал под караулом, отобрав шпагу, а старшину полковую грозил бить киями; племянник его, прапорщик Виттин, пришедши в прилуцкую ратушу, требовал у войта подвод без прогонов, войт не дал и за то был прибит плетью; обозному того же полка Виттин проломил голову. Дуклас отяготил народ в Переяславском полку требованиями леса на постройки. Наумов написал Вейсбаху, чтоб исследовал о поступках Роппа и Дукласа: полковникам послан указ, чтоб лишнего никому ничего не давали, а кто будет насильно брать, о том писали бы к нему и присылали обстоятельные ведомости. Наумов оканчивает свои донесения так: «А чтоб в том справедливость была учинена, о том познать не по чему, понеже и на самого его, генерала Вейсбаха, обиды показываются более других».

В наказе Наумову говорилось: выбрать кандидатов в генеральную старшину, а именно: в обозные, генеральные судьи, генеральные писаря, есаулы, бунчуковые, хорунжие и прочие чины, которые при гетманах обыкновенно бывали, а выбирать в те кандидаты гетману по совету с Наумовым во всякий чин человека по два и по три, и Наумову притом смотреть и предостерегать, чтоб кандидаты были люди добрые и ни в чем не подозрительные, особенно такие, которые были верны во время измены Мазепиной; имена избранных прислать в Коллегию иностранных дел, а до получения указа быть при гетмане в тех чинах наказным (исправляющим должность), потому что без старшины гетману быть нельзя. Наумов писал, что в обозные лучше всего назначить полковника Галагана, ибо хотя он и писать не умеет, однако отличался всегда верностию императорскому величеству; к судейской должности способны Троцына и Стороженко; к писарской – Турковский, хотя и говорят, что он не из знатных; в есаулы достойны Гамалея и Лисенко, люди добрые и смирные; в хорунжие – Борозна; в бунчужные – Василий Савич.

Относительно суда и расправы было постановлено: быть по прежнему их обыкновению суду в городах на ратушах у сотников; отсюда дела переносятся в полковой суд, на который апелляция в Глухов к генеральному войсковому суду; но так как на этот суд были жалобы от малороссийского народа и теперь приходят, что в нем делаются большие неправды из-за взяток, вследствие чего бедные козаки и посольство бывают обвинены, полковая старшина, на которую подаются челобитья от козаков и простых людей, случается в свойстве и дружбе с генеральными судьями и потому не может быть без похлебства, то император указал в этом генеральном суде заседать из русских троим. Если кто генеральным судом не будет доволен, тот может подавать челобитную гетману, который рассматривает и вершит дела вместе с Наумовым.

Относительно податей Наумов должен был объявить малороссийскому народу, что новые сборы, положенные при существовании коллегии, уничтожаются.

Так как прежние полковники назначали сами сотников и других урядников без объявления гетману по своим личным отношениям и за взятки, то теперь велено было полковнику собирать раду из полковой старшины и сотников и на

этой раде по общему приговору назначать двоих или троих кандидатов и присылать их к гетману и Наумову, которые из них выбирают, по их мнению, достойнейшего.

Но и Наумов должен был столкнуться с гетманом, и прежде всего относительно судебного порядка. Мы видели, как определен был этот порядок, как постановлена была апелляция от суда городского к генеральному и от генерального к гетману. Несмотря на то, продолжалось прежнее обыкновение подавать челобитные на имя гетманское, и гетман по старине, приняв челобитную, отдавал ее в генеральную канцелярию генеральному писарю, который прикажет на обороте челобитной выписать кратко, кто и о чем просит, на кого жалуется, и к ответчику посылается от гетмана универсал, или позывный лист, с приказанием, чтоб он или помирился с истцом, или явился бы на срок к гетману, и когда явится, то гетман посылает обоих в генеральный суд. «Это напоминание от гетмана прежде суда не худо, – писал Наумов, – но бывает у них и то, что гетман посылает мимо генерального суда сыщиков, которые привозят свои сыски в генеральную канцелярию, и гетман по этим сыскам судит сам мимо генерального суда». «Тут не без сомнения, да и порядку нет, – продолжает Наумов, – и другие подобные резолюции бывают из генеральной канцелярии. Я этому противлюсь, но гетман отвечает мне, что в том состоит их прежний суд, а в императорской грамоте написано, что суду и расправе быть по прежнему их обыкновению» Потом гетман, получив челобитье, не сообщая о нем генеральному суду, поручал суд известным лицам; Наумов указал не сколько таких случаев, которые продолжались, несмотря на представления его гетману. Когда случалось некоторые дела слушать Наумову вместе с гетманом и с общего согласия полагать решения по обыкновению с императорским титулом, то гетман не скреплял этих приговоров, отговариваясь, что прежде у них при говоры на письме не делались и не закреплялись. Наконец, гетман, отправляясь в Москву, посылал в генеральный суд универсалы, чтоб до счастливого его возвращения на резиденцию приговоров по известным делам не приводили в исполнение.

Мы видели, что все новые сборы, положенные при существовании Малороссийской коллегии, были уничтожены. Но Наумов должен был привести в известность и порядок финансовое положение страны. Поэтому до избрания гетманского и после него много раз принимался он говорить с старшиною и духовенством, каким образом собирать подати с малороссийского народа, и спрашивал у них, были ли прежде какие-нибудь сборы с Малороссии в казну государеву. Все единогласно отвечали, что не были. Наумов показывал им пункты Богдана Хмельницкого; на это был ответ, хотя и не единогласный, что говорено было посланцами Хмельницкого, а в грамоте его об этом не было прошено, и хотя посланцы и говорили о сборе в царскую казну, но на деле ничего не сделано. Брюховецкий, будучи в Москве, согласился на сбор доходов в царскую казну, но по возвращении изменил, и дело осталось без исполнения. Наумов уговаривал старшину и духовенство, чтоб Малороссия платила в императорскую казну ежегодно известную сумму денег, но не мог уговорить. Из доходов, объявленных Малороссийскою коллегиею на бумаге, налицо не оказалось до 100000 рублей.

В 1728 году гетман, приехав в Москву на коронацию, бил челом, чтоб возвращены были Малороссии ее старые права по пунктам Богдана Хмельницкого, чтоб никто из великороссиян не вступался в суды войсковые. На

это в Верховном тайном совете был написан ответ, что малороссияне будут судиться своими в сотенных и полковых судах; но если кто будет недоволен решением последних, то имеет право переносить дело в генеральный суд, состоящий из трех великороссиян и трех малороссиян; гетман получает значение президента этого суда, и мимо нижних судов прямо в генеральный суд челобитен подавать нельзя; если же кто не будет доволен и решением генерального суда, тот может бить челом императору в Коллегию иностранных дел. На просьбу об избрании урядников вольными голосами из «родимцов малороссийских» был ответ, что генеральную старшину и полковников выбирать вольными голосами несколько кандидатов и требовать императорского указа, которым один из кандидатов и определяется; кандидаты же в полковую старшину и сотники выбираются вольными голосами, и один из них утверждается гетманом, который обязан писать об этом императору с объяснением причин утверждения. Относительно сбора доходов было постановлено, что для предупреждения гетманского произвола при сборе и расходовании учредить подскарбиев, одного из великороссиян, а другого из малороссиян. Отменен был указ, изданный при Меншикове, чтоб великороссиянам не покупать имений в Малороссии; сказано: «Продажа во всей Российской империи маетностей и прочего недвижимого должна быть свободна, и потому как великороссиянам (кроме иноземцев) в Малороссии, так и малороссиянам в великороссийских городах всякие недвижимые имения покупать и продавать невозбранно, причем определяется всем великороссиянам, владеющим землями в Малороссии, с тех земель службы, подати и повинности отправлять и все нести с прочими малороссиянами, равно и быть под судом малороссийским; только великороссийским вотчинникам запрещается в малороссийские деревни свои переводить крестьян из деревень великороссийских». О раскольниках, поселившихся в Стародубском и Черниговском полках, определено: «Выслать их по важным резонам невозможно; а ведать их тому, кто при гетмане будет: он должен послать доброго офицера и освидетельствовать, а если их сверх прежней переписи прибавилось, то и окладу на них прибавить, и собираемые деньги присылать в Коллегию иностранных дел; если раскольники обидят кого-нибудь из малороссиян, то судить их и по сыску указ чинить гетману вместе с тем, кто будет при нем от императорского величества. А что они других в свою ересь обращают, за то грозить им смертною казнию и велеть по возможности их самих от ереси отводить, как в Великой России делается, и некоторые обращаются». Таким образом, гетман не получил желаемого; но всего более неприятно ему было то, что он был подчинен главнокомандующему Украинскою армиею фельдмаршалу Голицыну.

Весть о восстановлении малороссийской старины, об избрании гетмана скоро достигла запорожцев и подала им надежду, что русское правительство согласится снова принять их в подданство. Кто-то распустил у них слух, что гетманом назначен Сапега, и они прислали к нему письмо с шляхтичем Хмелевским, в котором выражали желание удалиться от Агарянской страны и, поклонившись его императорскому величеству, под его властью по-прежнему жить. Кошевым атаманом подписался Павел Феодорович. Наумову и гетману велено было так отвечать Хмелевскому словесно: «Мы не безнаджны, что милосердый монарх склонится на желание запорожцев, вины их простит и при удобном случае в державу свою по-прежнему принять укажет, как и Малую Россию в прежнее

состояние восстановил и гетману быть повелел; но для этого запорожцам нужно показать непоколебимую верность, в знак которой должны сноситься со мною и с гетманом, уведомляя нас о тамошних происшествиях». Но в Запорожье желали более решительных действий со стороны России; отсюда писали к гетману: «Хотим поклониться его царскому пресветлому престолу и вашу вельможность просим: умилосердись, как щедролюбивый отец, не попусти нас погибать, чтоб мы не подпали врагам-татарам на расхищение. Доброувещательных писем ваших не можем слышать, потому что начальствующие, находясь под игом татарским, боятся войску объявлять; а когда умилосердится ваша вельможность и подаст нам свою помощь войсковую, тогда все будет явно и ясно. Мы обещаемся монаршему маестату и вашей вельможности верно служить до конца нашей жизни, и все Войско Запорожское Низовое на Старую Сечу собирается, от Крымской стороны совсем отступает, потому что хан несколько сот нашей братьи на свою службу заслал за море и атамана кошевого со всею старшиной захватил под свою державу».

5 июня 1728 года Верховный тайный совет, слушав доношение фельдмаршала князя Голицына, гетмана Апостола и тайного советника Наумова и письма запорожцев, в которых они объявляют свое намерение – забрав из Новой Сечи войсковые клей ноты, перейти в Старую Сечь и объявить, что они находятся под покровительством его императорского величества, – рассудил, во-первых, присланных к гетману из Запорожья четырех козаков отправить назад с таким же словесным приказом, как и в прошлом году, прибавя, что если они в нынешнее время учинят какие противности турецкой стороне, то они в русские границы никак впущены не будут. Во-вторых, послать указы к фельдмаршалу и гетману, чтоб они повсюду подтвердили – запорожцев, если они придут многолюдством и с ружьем, отнюдь не принимать и от границ отбивать оружием, а под рукою словесно обнадеживать их, что при удобном времени они будут приняты; это объявлять им при случае тайно чрез важных людей, а от других содержать в наивысшем секрете; полагается на рассуждение фельдмаршала, к какому из запорожцев и подарки посылать, чтоб содержать склонными к стороне его императорского величества. В-третьих, в Царьград к резиденту Неплюеву писать, чтоб он принес Порте на запорожцев жалобу, что, по слуху, они из всех мест, где поселены по трактатам, хотят приближаться к русским границам, переходить в Старую Сечь и другие места, где по договорам строению быть не следует; так чтоб Порта не допускала их до этого, ибо от этих беспокойных и непостоянных людей и без того купечеству русскому происходят обиды. Понемногу и без оружия запорожцев велено было принимать и прежде и теперь, и полтавский полковник доносил, что по первое июня 1728 года пришло запорожцев на житье в Малороссию 201 человек, а в последних числах приходят ватагами человек по десяти и пригоняют с собою стада, более желают жить по Самаре и ниже ее. Голицыну писали из Москвы, что этого много и нельзя защищать тех запорожцев, которые поселятся по Самаре, потому что по договору эта река в стороне турецкой. Но в то время, когда в Москве делались распоряжения о непринятии запорожцев, они поднялись и перешли на Старую Сечь, прислав на имя императора такую грамоту от 30 мая: «Склонивши сердце своих порушенные мысли ко благому обращению и повергши мизерные главы свои до стопы ног вашего императорского величества, отлагаемся от бусурманской державы.

Осмотрелись мы, что вере святой православной, церкви восточной и вашему императорскому величеству достойно и праведно надлежит нам служить, а не под бусурманом магометанским погибать. Отвори сердца своего источник к нам, своим чадам, разреши ласково преступления нашего грех и нареки нас по-прежнему сынами жребия своего императорского. Еще же просим: подайте нам войсковое от руки своей подкрепление, дабы не попали мы в расхищение неверным варварам, ибо не знаем, зачем орды от всех своих краев подвинулись: для того ли, что мы уже от них отступили со всеми своими клейнотами 24 мая и пребываем уже в Старой Сечи, или они это делают по своим замешательствам?»

Но вслед за тем к генералу Вейсбаху явился кошевой атаман Иван Петров Гусак и рассказывал: «В Новой Сечи от крымского хана было нам много притеснений: в прошлом, 1727 году в декабре месяце Калга-салтан, стоя по реке Бугу, забрал на промыслах козаков с две тысячи, повел их в Белогородчину и там показал хану некоторые противности; пришел в Белогородчину сам хан, Калгу схватил и сослал в Царьград, а запорожцев, бывших при нем, разослал на каторги, а других распродали, будто бы за то, что они с Калгою бунтовали, а Калга прежде говорил, что берет их по приказу ханскому. Видя такое насилие, мы и стали советоваться, что лучше быть по-прежнему под державою его императорского величества в своей православной вере, нежели у бусурмана терпеть неволю и разорение. Когда мы забирали клейноты и хоругвь, чтоб идти в Старую Сечь, то старый кошевой, изменник Костя Гордеенко да Карп Сидоренко и другие стали нам говорить: „Для чего же нам из Новой в Старую Сечь идти? Нам и тут жить хорошо!“ Однако они нас не могли удержать, да и не могли много говорить, боясь, чтоб их войском не убили. И чтоб от них больше возмущения не было, то мы взяли Костю Гордеенка и Карпа Сидоренка под караул и везли их под караулом до самой Старой Сечи и, приехав туда, отколотили их палками и отпустили на свободу. После этого мы послали в Глухов к гетману; но посланные возвратились ни с чем, объявив, что гетмана в Глухове нет, он в Москве; тогда войско стало волноваться, начали говорить: „Если мы от императорского величества милости не получим, то кошевого и старшину, которые перевели нас сюда, побьем до смерти; испугавшись этого, я ушел“.

В марте 1729 года князь Михаил Михайлович Голицын писал императору, что, по вестям, турки хотят объявить войну России и потому надобно принять запорожцев. Ему отвечали из Верховного тайного совета, чтоб он в обнадеживании запорожцев насчет принятия их при способном и удобном случае поступал по своему мнению и по прежним указам, потому что теперь еще нет удобного времени, пока не обнаружится явная противность с турецкой стороны.

В 1727 году при восстановлении гетманства подвергся опале лубенский полковник Андрей Маркович; явились жалобы на его злоупотребления, но главною причиною опалы, как видно, было близкое родство с Скоропадскими и Полуботками и вражда гетмана Апостола. Сын Андрея Марковича, Яков, отправился в Москву хлопотать за отца и вместе за тетку, вдову бывшего гетмана Скоропадского, которую теснил новый гетман. Этот Яков оставил по себе любопытные записки, которые переносят нас в тогдашнюю Москву, старую столицу новой, преобразованной России, и обрисовывают нам отношения малороссиян к императорскому правительству. С начала эпохи преобразования малороссиянин, ехавший в Москву или Петербург, был уверен, что найдет там

покровителей в земляках своих как между знатным черным, так и между белым духовенством. Так и наш Яков Маркович, приехав в Москву, прямо остановился у духовника государева отца Тимофея Васильевича. Маркович приехал в Москву в январе 1728 года, когда еще все думали, что царица-бабка будет иметь сильное влияние на дела; и вот он отправляется в Новодевичий монастырь, куда ведет его тамошний священник Василий и приводит к игуменье из малороссиянок Олимпиаде Коховской, к которой он привез письмо от тетки Скоропадской; был у царицы, которая потчевала его из своих рук водкой. Когда он пировал после того у священника Василия, туда же приехал карла царицы, и Маркович счел за нужное побрататься с ним и в знак любви подарил пять червонных. Понятно, что Маркович не мог обойти представителя малороссийских духовных Феофана Прокоповича. Он был у него несколько раз и записал, о чем шла беседа: «Вечеру был у архиерея новгородского, где и архимандрит Крулик был, и тут происходил разговор о сентенции картезианов, всякое чувство от животных всех отнимающих, а только единому человеку, имущему ум, причитающих, будто чувство без ума не может быть; и потому называют они животных автоматами. В разговоре же было то, что оное мнение Картезия есть не крепкое, ибо явственно спорит против повседневных экспериментов, по которым видимы диковинные животных поступки, которым без чувствий и без памятования (якое Картезий чувством называет) невозможно быть. Также о существе духа рассуждение было, что не в самом помышлении оного духа существо содержится, но есть особливейшее нечто, чего мы не видим, но должны признать. Из такого рассуждения можно некоторый вид дебелого и весьма скудного помышления животным причесть, однако оного бессмертным назвать невозможно, а какое оно есть, неизвестно, для того что не только духа, но и тела существ (сущности) не знаем и от незнаемой вещи знаемую утверждать невозможно, разве вопреки». Но не всегда у Феофана Прокоповича были такие философские разговоры. В другой раз Маркович записал: «Ездил до архиерея новгородского, который в разговоре объявлял мне способ садить регулярно малину, ежевику и другие ягоды; он же сказывал и способ делать простые барометры». Наконец, записано: «Ездил до архиерея новгородского, который в разговоре сказывал: чтоб пиво было вскоре светло, должно песку крупного, придавши к оному мало сахара, разжарить и всыпать в бочку то за неделю, а много за две, будет светло».

Монастырями и архиерейскими подворьями малороссийскому челобитчику, разумеется, ограничиться было нельзя, и потому Маркович немедленно отправился к секретарю Иностранной коллегии Курбатову и отдал ему письмо от отца и тетки Скоропадской вместе с 30 червонными; потом опять был у секретаря, поиграл с ним в карты (шнип-шнап) и на другой уже день отправился к канцлеру графу Головкину с просительным письмом от отца и Скоропадской, и чрез день Курбатов дал ему письмо Головкина к Наумову, чтоб не притеснять старика Марковича. Молодой Маркович счел нужным побывать и у других вельмож; но важнее всего было побывать у производителя дел Верховного тайного совета Степанова, а к производителям дел и секретарям с пустыми руками ездить было нельзя, и Маркович к письмам отца и Скоропадской присоединил 40 червонных. При таких средствах дело пошло на лад, и старика Марковича велено сделать генеральным подскарбием.

Между тем молодой Маркович, человек любознательный, покупал в Москве книги: купил шесть польских книг за семь рублей с гривною: *Speculum Saxonum*, Конституции коронная, Статут, Твардовский, о Турецком государстве и Политику Аристотелеву, да, сверх того, книжку о небоземных глобусах за полтину; купил русскую книжку Синописис за полтину, книжку о князьях – за полтину; для церкви годовую Минею – за 23 рубля, два календаря – за полтину; возвратясь в Малороссию, он пересчитал свои книги и нашел, что их было 340. У иноземца Морица он купил в Москве барометр, заплатил рубль.

Но не одними книгами и барометрами запасался малороссиянин в столице, покупал и рыбу: за осетра, две лосося и 10 стерлядей заплатил 3 рубля, за фунт икры – 5 копеек, за фунт чаю – пять рублей с полтиной, за фунт кофе – 20 алтын, за фунт сахару канарского-полкопы, за 20 свечек благовонных – 16 копеек. Купил камлоту на кунтуш, заплатил по 20 алтын за аршин; мех беличий купил за 2 рубля 20 алтын; 18 пар соболей – за 140 рублей; в тележном ряду купил английскую коляску за 22 рубля, карету – за 38 рублей. Квартира в Китай-городе, у Москворецких ворот, три избы с кладовою и погребом, стоила ему три рубля в месяц.

Маркович воспользовался своею поездкою в Москву, чтоб подлечиться у знаменитого доктора Быдла (Бидлоо); доктор прописал ему рецепт на декокт, а на другой день прислал лекаря, который поставил ему пиявки и получил за это четыре талера.

Из дел внешних по-прежнему более всего тяготила томительная война персидская. Сначала боялись турецких успехов, а потом стали беспокоиться, что турки, потерпев неудачу, поспешат помириться с Эшрефом, который будет иметь возможность обратиться со всеми силами против России. 17 ноября 1727 года в Верховном тайном совете предложено было императору о персидских делах, что Эшреф победил турок, которые теперь ищут мира, хотя с уступкою всего, а это может быть вредно для России; представляли, что солдатам русским от воздуха в тамошних местах немалая убыль. Государь, наслышавшись этих толков и жалоб прежде, рассуждал, что нам от Гиляни никакой прибыли нет, а только убыток в людях и казне. Представляли о неприязненных намерениях калмыков, вступивших в связь с возмущившимися башкирцами, что между калмыками находится турецкий подданный Бахты-Гирей-дели-салтан, которого до сих пор нельзя было ни приманить, ни поймать, что для этого и теперь Верховный тайный совет посылает указы с нарочными к калмыкам и донским козакам. Государь изволил сказать, что козаки скоро поймать его могут.

Мы видели, что человек, посланный при Екатерине для восстановления единства и силы движения русских войск в прикаспийских областях, князь Василий Владимирович Долгорукий, оказался, по соображениям своих родственников, нужнее в Москве. При отъезде он получил рескрипт, что хотя в прикаспийских областях опасность очевидная, однако нельзя послать туда сильной помощи по европейским обстоятельствам, которые заставляют держать в готовности армию на западе; что в Персию из Казани и Воронежа назначены два регулярных полка с донскими козаками, но двигаются еще шесть полков к Казани, чтоб в случае нужды явиться на помощь Персидскому корпусу.

Долгорукий сдал начальство генералам Левашову и Румянцеву, сдал и обязанность заключить мир с Эшрефом, хотя бы с уступкою всех завоеванных у

Персии провинций, выговорив одно условие, чтоб персияне не допускали турок на берега Каспийского моря. В 1729 году русских войск в прикаспийских областях было 17 пехотных полков и семь конных. Положено было увеличивать только нерегулярные полки, для чего написали Румянцеву, чтоб он, сколько возможно, велел князю Бековичу-Черкасскому набирать из грузин, армян и горских черкесов таких, которые бы к войне были обычны и во всем исправны, обещая каждому жалованья по 15 рублей в год или и больше. Положено было также убедить донских атаманов Краснощеченка, Ивана Матвеева и Данилу Ефремова, чтоб они подговорили добровольно две или три тысячи донских козаков и с ними поселились около крепости св. Креста и около реки Аграхани, за что назначить Краснощеченку жалованья по 1000 рублей и обнадежить, что он будет над этими козаками войсковым атаманом. Турки действительно заключили мир с Эшрефом. Неплюев начал свои донесения новому императору сообщением слов рейс-эффенди, что если в нынешнюю кампанию турки будут оставлены Россией без помощи, то в счастья и несчастья отрекутся от исполнения договора и не будут признавать за Россию персидских областей, выговоренных в трактате. Резидент представлял своему визирю, что вина на стороне турок: тавризский паша нарушает трактат, вступаясь в принадлежащие России места; Дауд-бек шемаханский также поступает неприятельски; комиссия разграничения не окончена по турецкой же вине; русские войска могут тогда только действовать против общего неприятеля, когда будут покойны со стороны границ. Визирь возражал: «Хотя бы все это и правда была, но странно, что вы, будучи здесь резидентом, не можете нам означить, сколько русских войск в Персии, отговариваетесь, что число их вам неизвестно: ясно, что там войск очень мало, поэтому о числе их и не объявляете. Пограничные ширванские дела вовсе не имеют важности: надобно прежде с общим неприятелем управиться, а другие дела решить всегда время будет, и если б русское войско двинулось в Персию, то на пути могло бы все места взять в свое владение; если же придавать важность пограничным ссорам, то и Порта имеет право жаловаться, что Россия подданным своим калмыкам позволяет соединяться с турецкими изменниками и грузинского хана Вахтанга отправила в Персию будто для ведения переговоров с Тахмасибом, а Вахтанг между тем бунтует турецких подданных». Резидент на это сказал: «Россия от принятия общих мер по трактату не отрекается, только бы Порта отстранила зависящие от нее затруднения, именно окончила бы ширванское разграничение по договору и велела Дауд-беку и пашам своим сохранять договор». Визирь отвечал: «Как бы ни было, мы, с своей стороны, отстраним все затруднения, пошлем крепкие указы, чтоб паша и Дауд-бек в русские владения не вступали и комиссары произвели разграничение немедленно; за это Россия должна сдержать калмыков, вызвать из Персии отправленного ею туда грузинского царя Вахтанга и велеть своим генералам, чтоб они по возможности действовали против общего врага Эшрефа; Порта ничего от Персии не желает, кроме своей доли; Порта не требует большего числа войск русских, но пусть ваши генералы по возможности сделают диверсию: вступят с разорением в землю общего неприятеля, пусть подойдут к Казбину, если к Испагани идти не в состоянии; главное дело – изгнать общего неприятеля, после чего Порта на все будет готова – разделить ли Персию или поставить там независимого государя. России надобно рассудить: если Порта одна победит, то она от всех обязательств

признает себя свободною: а если, паче чаяния, Эшреф победит, то он будет враждовать одинаково к России и к Турции, сколько мочи его станет». «Извините меня за откровенность, – сказал на это резидент, – я не понимаю, почему Порты в марте месяце не приняла этого решения и упустила благоприятное время, потому что тогда мои предложения были точно такие же, какие теперь вы сами мне сделали; теперь бы ширванское разграничение было уже окончено, все затруднения отстранены и нашим генералам ничего больше бы не оставалось, как действовать против общего неприятеля». Визирь смолчал на это и велел подавать шербет.

Скоро после этого Неплюев стал доносить о возможности мира между Турциею и Эшрефом; писал, что не только султану и министерству, но и всему турецкому народу персидская война омерзела, кажется несносною. Эшреф прислал к турецкому муфтию и ко всем муллам письмо, в котором говорил, что султан поступает противозаконно, отторгнув персидские провинции и не признавая его, Эшрефа, законным государем персидским, тогда как он завоевал Персию у еретиков; Эшреф писал, что муллы отдадут ответ пред богом за междоусобное кровопролитие между мусульманами; а он стоит в ополчении, готовый к миру и войне. надеясь на правду свою. По выслушании этого письма все муллы единогласно сказали: «Изо всего видно, что помощь божия с Эшрефом, а не с нами; следовательно, против воли вышнего отваживаться нельзя, но лучше заблаговременно мира искать». На это визирь сказал, что Эшреф запрашивает взятых турками областей и без того не мирится. Муллы отвечали, что прежде неверным полякам отдали Каменец, тем легче теперь можно сделать уступку единоверному Эшрефу. Визирь остался очень доволен этим ответом, ибо видел невозможность продолжать войну по беспорядочности и несклонности народа, предвидя и для себя близкую гибель, если приключится новое несчастье, тем более что требовали отправления его самого в Персию. Решили приступить к мирным переговорам, которые были поручены вавилонскому (багдадскому) паше Ахмету, и 19 октября 1727 года получено было в Константинополе известие, что мирный договор с Эшрефом заключен. Рейс-эффенди, объявляя об этом Неплюеву, прибавил, что если и Россия пожелает помириться с Эшрефом, то Порты не отрекается употребить к тому свои старания. Русский двор изъявил на это согласие.

Но это согласие не могло повести ни к чему. Весь 1728 год прошел в спорах Неплюева с турецкими министрами насчет пограничных столкновений. Турки жаловались, что калмыки, соединясь с их бунтовщиком Бахты-Гиреем, опустошали их владения; Неплюев жаловался, что турецкие паши в новых границах вступаются в принадлежащие России земли и народы. Неплюев писал своему двору: «Не думаю, чтоб турки легкомысленно провинции вашего величества действительно беспокоить дерзнули, и войны с Россиею они удаляются по многим причинам: 1) знают неискусство своих войск; 2) настоящее министерство ищет себе покоя; 3) если б они и получили что-нибудь от России со стороны Персии, то России от этого вреда не будет, а им может быть большой вред от войны с европейской стороны, где у них никаких приготовлений нет, а здесь они один Азов не променяют на все персидские провинции. Однако за такой варварский непостоянный двор ручаться нельзя: может случиться перемена министерству или другой какой случай, а в таких случаях у них принимаются

скорые и слепые меры. Теперь они, сколько возможно, желают держать персидские владения вашего величества в беспокойстве». В 1729 году Неплюев писал: «Все пограничные паши, также и Суркай, пишут к Порте, что если она не вытеснит русских из Персии, то никогда не сможет обезопасить там своих владений, потому что русские генералы возмущают тамошние народы против турок и в нужном случае оказывают им покровительство; вытеснить же русских из Персии можно, потому что их там немного». Вести об этих письмах передал Неплюеву переводчик Порты, который прибавил, что не знает ничего о решениях Порты по этому делу, но замечает в ней холодность к России. Вслед за тем Неплюев донес: «Изо всего видно, что турки намерены в будущую осень напасть на персидские наши провинции, считая это время самым благоприятным, ибо в октябре и ноябре в европейском климате зима, препятствующая воинским действиям. Я здесь почти не имею никакого значения, потому что турки моих предложений не слушают, о делах мне не сообщают, посылать курьера запрещают. Неприятеля визиря внушили султану, что русских давно можно было бы выгнать из Персии, но время упущено вследствие неспособности визиря к войне; он заключил с Россией договор, предосудительный Порте, уступил России многие персидские провинции с единоверными туркам народами, которых султан должен был по единоверию защищать, а не отдавать в подданство неверным. Султан с гневом выговаривал за это визирю, почему тот принужден на все отваживаться. Мир может сохраниться в двух случаях: если турки увидят, что Россия готова к войне и что находится в союзе с цесарским двором; азиатским войскам уже велено двигаться в персидские области». Потом другое известие: «Хотя не все утихло, но и не возрастает; только пограничные паши ложными своими известиями не перестают плевелы сеять». Цесарский резидент Дальман предъявил полномочие быть посредником в спорах между Россией и Турцией; но Неплюев опасался, чтобы турки не предложили посредничества французского посла на том основании, что последний договор у них с Россией заключен был при посредничестве Франции.

Франции не доверяли по-прежнему. При вступлении на престол Петра II Куракин, извещая о предстоящем заключении договора между Францией, Англией, Испанией и императором, писал, что во Франции очень рады мирному окончанию дела, но что министр английский в Париже Вальполь недоволен, ему лучше бы хотелось войны, он боится, что Франция, сблизившись с Испанией и Австрией, освободится из рабства Англии. «И всю сию оперу, – писал Куракин, – при помощи божеской надемся увидеть в свое время». Для окончательного улажения дел назначен был конгресс в Камбрэ, и Россия, как принимавшая участие в последних движениях в качестве союзницы императора, назначила на конгресс своих уполномоченных – князя Бориса Куракина и графа Александра Головкина. По наказу они должны были стараться о допущении своем прямо ко всем переговорам как представители стороны интересовавшейся, чтоб дело герцога голштинского было окончено на конгрессе, чтоб при постановлении генеральной гарантии и Россия была в нее включена. Между тем умер английский король Георг I, которому наследовал сын его Георг II; этою переменою хотели воспользоваться для восстановления приятных сношений между Россией и Англией. Флери был посредником, и 27 августа Вальполь, приехав к Куракину, объявил ему, что король его ничего так не желает, как предать забвению все прошлое, восстановить

дружбу и сношения с русским императором, и готов отправить от себя знатного человека поздравить Петра II с восшествием на престол, причем надеется, что и со стороны русского двора будет поступлено таким же образом.

Но князю Борису Куракину не суждено было привести к окончанию всех этих дел: 18 сентября он умер, и место его занял сын его, князь Александр, с титулом советника посольства. Но и князь Александр в 1728 году получил позволение возвратиться в Россию, потому что весь интерес сосредоточился теперь в Суассоне, где был назначен конгресс вместо Камбрэ. В Суассон отправился один граф Александр Головкин, который получил новый подробнейший наказ: по приезде в Суассон он прежде всего должен осведомиться об установленных там порядках относительно церемониала. Его императорское величество в церемониале излишнего ничего не требует, но, кроме цесаря римского, никому из коронованных глав первенства уступить не может. Наблюдать, чтоб с ним поступаемо было так, как с министрами ганноверских союзников, преимущественно с шведскими. Относительно возвращения Шлезвига герцогу голштинскому или достойного ему вознаграждения должен согласиться с цесарскими министрами и делать все то, что они делать станут; особенно должно действовать на кардинала Флери, представляя ему, что французский интерес требует улажения этого дела с полным удовлетворением герцога. Стараться, чтоб Россия непременно включена была в общую гарантию; если же представится затруднение по причине турок и персиян, то его величество будет доволен, если гарантия будет постановлена относительно одних европейских его владений. Более всего граф Головкин должен быть в согласии с цесарскими министрами, искать их доверенности и помогать им во всех их требованиях, которые не противны русским интересам; потом должен искать доверия кардинала Флери, особенно стараться проведать о намерениях Франции относительно Швеции и Дании; внушить кардиналу Флери, что русский император вовсе не думает заставлять Швецию возвести на престол герцога голштинского, предоставляя это дело воле божией и склонности шведского народа; возбудить в кардинале подозрение относительно замыслов Англии в Швеции. С министрами английскими должен иметь политическое дружеское обхождение, объявлять им, что с русской стороны никакой причины к озлоблению не подано, у обоих государств нет причины друг другу завидовать и потому могут находиться в вечной дружбе.

Более всего Головкин должен был действовать в согласии с цесарскими министрами. Ланчинский начал свои донесения новому императору известием о радости, в какой находится венский двор, начиная с цесаря и цесаревны, что племянник последних занял русский престол, и хотя копия с завещания Екатерины и не была еще получена в Вене, но уже толковали, что оно написано во всем предусмотрительно и основательно, и только по воле божией скипетр перешел из одной руки в другую, и спокойствие Русского государства упрочено. Ланчинский именем нового императора повторял о высоком почитании его к цесарю и цесаревне и о истинном намерении не только сохранять прежнюю дружбу, но и еще более укреплять ее. Но вслед за тем Ланчинский донес своему двору, что в Вене *бесплодность* в делах еще продолжается; ограничивались уверениями, что цесарь намерен на конгрессе стараться прилежно о шлезвигском деле, и выражали уверенность, что на конгрессе ни Гибралтар за Англиею, ни

Шлезвиг за Даниею остаться не могут. В доказательство своей тесной связи с венским двором русское правительство велело Ланчинскому объявить цесарским министрам, что со стороны Англии сделаны предложения о прекращении несогласий, но что со стороны России не дано еще никакого решительного ответа, ибо император будет ждать совета римского цесарского величества, как при настоящих конъюнктурах поступить? Принц Евгений отвечал: «И нам англичане делают предложения в разных местах, однако не видим их прямого намерения и знаем, что в то же время они делают цесарю всевозможные неприятности. С русской стороны надобно зрело рассудить, что англичане отторгнули от русского союза Швецию, деньгами и интригами приклонили ее к ганноверскому союзу и беспрестанно при шведском дворе куют против интересов русских; герцога голштинского гонят несносно и не только стараются отнять у него всякую надежду на шведский престол, но, что хуже всего, стараются приготовить путь к этому престолу для одного из своих принцев. Прошлого года с такою гордостью присылали в Балтийское море эскадру и если не сделали никакого вреда, так только потому, что нашли Россию в готовности отражать силу силою. Как же такие великие противности могут они загладить тем, что пришлют к русскому двору министра? Всего лучше вам удержаться от ответа на английские предложения и смотреть на обращение конъюнктур». После этого русский двор считал себя вправе требовать, чтоб между ним и венским двором произошло полное соглашение насчет того, как их уполномоченным действовать на Суассонском конгрессе, чтоб на основании этого соглашения можно было и дать инструкцию русскому уполномоченному; Ланчинский требовал у австрийских министров, чтоб они объявили ему, как они намерены действовать на конгрессе относительно русских интересов, именно: гарантии русских владений и вознаграждения герцога голштинского. Министры отвечали уклончиво, что у них еще нет системы относительно действий на конгрессе, что все должно зависеть от хода переговоров, но что цесарь с своей стороны употребит все старания для удовлетворения желаниям русского государя; к этому ответу принц Евгений прибавил, что Англия старается оттеснить Россию от европейских дел, Австрия же, наоборот, старается ввести ее в европейские дела.

Несмотря на уклончивость Австрии относительно русских требований, в начале 1729 года Ланчинский по приказанию своего двора должен был объявить цесарским министрам от имени своего государя, что, каков бы ни был исход Суассонского конгресса, русский император никогда не отступит от цесарского величества и всегда пребудет твердо и нерушимо при союзе с ним. За это принц Евгений отплатил объявлением, что если дойдет до трактата относительно шлезвигского дела, то в этом трактате будет положено доброе основание и определится срок, в который герцогу голштинскому должно быть дано удовлетворение, и что цесарь ни на что не согласится прежде, чем русский государь и герцог голштинский заявят, что довольны решением дела; Ланчинскому указывали надежду на благоприятный исход голштинского дела в том, что Франция и Англия хотя и гарантировали датскому королю обладание Шлезвигом, однако признали, что герцогу голштинскому надобно дать вознаграждение. В России желали, чтоб Суассонский конгресс кончился генеральным и формальным трактатом, а не каким-нибудь провизиональным актом, ибо для России и Австрии всего важнее порвать ганноверский союз, а этого

можно достигнуть только в первом случае. На представления Ланчинского об этом принц Евгений отвечал: «Как это сделать, чтоб ганноверский союз разорвался? Как союзникам ганноверским запретить, чтоб и после формального трактата они не продолжали оставаться в прежнем союзе?» Другие министры прибавляли, что как цесарю никто не может запретить после какого бы то ни было Суассонского трактата оставаться в прежних отношениях с своими союзниками, так и ганноверским союзникам нельзя запретить оставаться при старых обязательствах. Остерман по этому случаю писал Ланчинскому, что австрийские министры не поняли, в чем дело: если в Суассоне будет заключен формальный трактат, прекращающий все столкновения, то Франция необходимо выйдет из ганноверского союза, ибо кому не известно, да и сами французские министры, не таясь, нашему послу не раз говорили, что настоящие их обязательства собственным и естественным французским интересам противны и что они ищут одного – как бы с честью выйти из этих обязательств и снова получить свободные руки поступать по натуральным своим интересам.

Россия могла еще сквозь пальцы смотреть на уклончивость и неопределенность ответов австрийского кабинета на вопросы не первой важности для нее, ибо австрийский союз считался необходимым по отношениям турецким и польским, преимущественно первым; но австрийский кабинет обнаруживал такую же уклончивость и относительно другой союзницы своей, Испании, которая не хотела смотреть на это сквозь пальцы, потому что испанский двор, повинувшись желаниям королевы Елисаветы, настойчиво добивался испомещения испанских принцев в Италии; в этом заключалась главная цель союза Испании с императором. Франция и Англия воспользовались медленностью, уклончивостью Австрии в исполнении желаний Испании и предложили последней получить желаемое с их помощью. Испанский двор принял предложение, и в ноябре 1729 года был заключен в Севилле договор между Испаниею, с одной стороны, Франциею, Англиею и Голландиею – с другой. Австрия осталась одна с Россиею. Этот севильский договор изменил отношения иностранных министров при русском дворе; испанский посланник герцог Лириа, который прежде действовал заодно с австрийским посланником графом Вратиславом, теперь стал действовать наперекор ему, хлопотать, чтоб Россия не исполняла обязательств своего договора с Австриею), не посылала своего войска на помощь цесарю. Кроме дел западноевропейских предметом сношений между обоими дворами были дела польские, ибо в Москву и Вену приходили известия о стараниях Швеции и Франции посадить по смерти Августа II на польский престол Станислава Лещинского. На представления Ланчинского по этому поводу граф Цинцендорф отвечал, что венский двор думает согласно с русским, что Польшу надобно удерживать при нынешнем ее состоянии без всякой перемены: Станислава Лещинского от польского престола отстранить непременно, а потом, смотря по ходу дел, возвести на престол или наследного принца саксонского, или Пяста; получено также известие, что некоторые польские вельможи склонны к брату португальского короля инфанту дону Эмануэлю, но что, впрочем, о польских делах нужно сноситься и с королем прусским.

В Польше на первом плане продолжало стоять курляндское дело. Ягужинский был отозван из Варшавы еще при Екатерине, оставив там одного Бестужева, который в первом донесении своем новому императору писал: «По

получении известия о кончине ее величества поляки сильно загордились и начали явно говорить, что Курляндию делить на воеводства; они льстили себя надеждою, что в России при нынешнем случае произойдет смута, которою они воспользуются: чего желают, тем себя и льстят. Я всякими мерами опровергаю эти их рассуждения и, получая академические печатные ведомости, давал им читать, чтоб они могли видеть, что за помощью всемогущего в России все тихо и благополучно». В июне 1727 года Бестужев извещал, что Мориц отправился в Курляндию и, будучи в Дрездене, говорил польским министрам, что из уважения к королю и для общего блага готов отказаться от притязаний на титул герцога курляндского и ограничиться штатгалтерством; если же и этого нельзя, то может согласиться на такую сделку: когда назначенная комиссия прибудет в Курляндию, то пусть его обнадежат, что будут избирательные воеводы, причем он надеется быть избранным, а он за это обещает склонить курляндцев к принятию предложений комиссии, потому что пользуется между ними большою любовью и доверием.

В России не хотели допустить ни одной из этих сделок, и, чтоб отнять у поляков повод распоряжаться в Курляндии, генерал Леси, перейдя с войском Двину, выгнал Морица из этой страны (в августе 1727 г.). Но Мориц и тут не хотел успокоиться относительно России; в ноябре того же года присланный от него советник Бакон подал в Верховный тайный совет следующие предложения: так как Мориц один только может удержать поляков от присоединения Курляндии к Польше, то, если Россия признает его герцогом курляндским, он обяжется быть русским данником, будет платить ежегодно по 40000 рублей до того времени, пока Курляндия формально примет покровительство России и сделается леном ее, причем он, Мориц, дает честное слово держать столько войска, сколько ему предпишет Россия. В начале 1728 года Бакону было объявлено, что предложение его не может быть принято и чтоб он немедленно выехал из России. Но в то же самое время саксонский посланник Лефорт доносил своему двору, что Миних поднял вопрос о браке Морица на цесаревне Елисавете, и отправление Бакон Лефорт объяснял так: «Все разговоры с Баконом и поспешность, с какою его отправили, имеют один сокровенный смысл: ступайте и привозите его к нам». Год с лишком Лефорт манил Морица этим браком и только в марте 1729 года написал, что нет более надежды. Но еще прежде предложения Морицева изумило предложение старого герцога Фердинанда, который объявил, что желает вступить в брак с цесаревною Елисаветою или с другою русскою принцессою. В Верховном тайном совете решили: относительно цесаревны Елисаветы отказать, предложить ему царевну Анну Ивановну или, если не согласится, то сестру ее, царевну Прасковью.

Но возвратимся к Курляндии. Здесь Леси по изгнании Морица послал польским комиссарам объявление, чтоб они удержались от вступления в Курляндию. На жалобы польских министров Бестужев отвечал, что высылкою Морица император сделал угодное королю и Речи Посполитой и поступил согласно с своими интересами, ибо есть известие, что Мориц имел сношение с враждебными России державами, притом он вступил в Курляндию с немалыми людьми и военною амунициею, получив от некоторой державы значительную сумму денег; наконец он стал укрепляться на острове, поджидая к себе еще людей, и потому, предупреждая вредные следствия этих поступков, император

распорядился согласно с своими интересами и согласно союзному договору с королем и Речью Посполитою; что же касается до объявления генерала Леси, чтоб комиссары не вступали в Курляндию, то комиссия назначена была для уничтожения выборов графа Морица, а так как он всеми своими людьми выслан из Курляндии, то этим самым выбором уничтожены, и в комиссии нет более никакой нужды. В разговоре с великим канцлером коронным Шембеком Бестужев объявил, что Россия не допустит до перемены формы правления в Курляндии; а Шембек отвечал, что Речь Посполитая по смерти герцога Фердинанда никогда не допустит до избрания нового герцога, хотя бы из этого проистекли и дурные последствия.

Несмотря на объявления Леси, польские комиссары въехали в Курляндию и начали свое дело; Леси протестовал. По этому поводу Бестужев имел крупный разговор с польскими министрами в октябре. «Для чего, – кричали поляки, – генерал Леси против нашей комиссии протестует и так явно в наши домашние дела мешается? Еще мы вами не завоеваны, чтоб вы могли законы нам предписывать; мы объявим об этом не только пред всеми дворами европейскими, но и при Порте». Бестужев повторял одно, что Курляндия Польшею не завоевана, присоединилась добровольно и Россия не может допустить нарушение в ее правительственной форме; дело курляндское не домашнее, польское, а публичное; турок император не боится, и эти угрозы Портою приносят полякам более стыда, чем чести и пользы. В Курляндии образовались партии: одна, желавшая сохранить старый порядок и потому державшаяся России, хотевшей того же самого, и польская; комиссары начали притеснять членов первой и выдвигать на важные должности членов второй, отставили ландгофмейстера Бринка и должность его передали главному противнику России обер-бургграфу Костюшке, католику; канцлера Кайзерлинга посадили под арест, и на его место канцлером сделан Бракель, который орудовал Морицевым делом. В ноябре Бестужев представил польским министрам, что комиссары их в Курляндии позволяют себе жестокости и насилия, некоторые оберраты и депутаты сеймовые были содержаны под стражею, и оберраты поневоле должны были дать комиссарам запись, что по смерти герцога Фердинанда не будут избирать себе нового герцога и даже предъявлять право свое на избрание. Против таких поступков генерал Леси протестовал именем императорским, а теперь он, Бестужев, объявляет, что император никогда не допустит до изменения правительственной формы в Курляндии. Поляки отвечали: «Если бы курляндцы сами просили вашего государя о покровительстве и помощи, то была бы еще причина ему вступаться в это дело; но так как просьбы никакой нет, то удивительно, что посторонняя держава в наши домашние дела хочет мешаться; что же касается до комиссии, то она не имеет права что-либо установить в Курляндии, но должна о всем том, на чем согласится с курляндцами, донести сейму, который утвердит эти соглашения или не утвердит». В конце 1727 года Бестужев получил от своего двора приказание не предлагать ничего более польским министрам о курляндских делах, но дожидаться сейма. Но сейма не было в 1728 году по причине болезни королевской, и все дела остановились, кроме одного – о притеснениях православным от католиков. В начале 1728 года белорусский епископ князь Четвертинский прислал императору подробное описание бедствий, которым подвергалась его епархия после отзыва комиссара Рудаковского: «Повелено было

моему смирению доносить о своих нуждах князьям Долгоруким, Василью Лукичу и Сергию Григорьевичу, бывшим тогда при польском дворе; они старательно предлагали королю и Речи Посполитой, чтоб нас оставили в покое, но ничего не воспоследовало, только одни декларации. На сейме 1726 года генерал Ягужинский прилагал неусыпный труд, чтоб православным была отрада, и получил декларацию, что наше дело должно окончиться на конференциях. Теперь министр Бестужев также всячески старается о нас, но получает один ответ, что дело решится на сейме, а на сейме о нем ни полслова, отлагают до конференций. Прежде всего прошу, чтоб г. Бестужев исходатайствовал позволение управлять по моей смерти Белорусскою епархией назначенной от меня особе до тех пор, пока выберут другого епископа, ибо многие униаты уже теперь стараются получить привилегию и восхитить престол белорусский: чтоб выдан был королевский универсал, запрещающий обижать православных и отбирать у них церкви, пока не назначат к сейму комиссаров для рассмотрения обид: прошу о присылке в Могилев русского комиссара, потому что прежний был великою помощию для православных: прошу дать указ из св. Синода, чтоб архиепископ киевский не вступался в мою епархию, равно как и другие архиереи».

Эта просьба была последняя: 13 февраля 1728 года князь Четвертинский скончался: духовенство немедленно избрало игумена Гедеона Шишку наместником и архидиакона Каллиста Заленского администратором Белорусской епископии: но могилевский магистрат обратился к киевскому архиерею с просьбою назначить наместника и с жалобой на Заленского, что он при жизни епископа (Сильвестра ссорился с городом и братством и теперь сильно вредит вере благочестивой, потому что в нем нет ни веры, ни благочестия, ни правды, один обман и лесть, старается всячески высвободиться из-под власти киевского архиерея: магистрат просил, чтоб духовенство не делало ничего без горожан, которым должно быть предоставлено свободное избрание достойного в епископы. Таковую же жалобу магистрат отправил и прямо в Синод, называя Заленского волком в коже овечьей, приписывая ему то, что церковь кафедральная, сделанная из досок, гниет, тогда как он на ее строение собирает большие деньги с венечных памятней: священники, угнетаемые им, обращаются в унию; а киевский архиерей доносил Синоду, что Заленский хочет похитить Могилевское епископство и отступить от православия, причем многие знатные особы из католиков и шляхты стоят за него.

Синод передал дело в Верховный тайный совет, который в мае 1728 года отправил в Могилев смоленского шляхтича Швейковского, приказав ему увидаться наедине с архидиаконом Заленским и сказать ему, что при императорском дворе он, архидиакон, известен как человек, управлявший лет 20 всеми делами епархии при прежнем епископе, и потому приехал бы он сам в Москву для донесения, какого бы человека доброго, благочестивого и веры православной блюстителя выбрать на епископию белорусскую. Потом Швейковский должен был разведать пристойным образом, кто из членов магистрата люди постоянные и православия ревнители, и поговорить с такими тайно, чтоб архидиакон не узнал: сказать им, что прошения их приняты милостиво императором, который приказал узнать, кого они из своих духовных считают достойным епископства, чтоб русскому двору можно было помочь такому при избрании и утверждении королевском. Наконец, Швейковский должен был в

Могилеве и в других местах расспросить у православных русских людей, духовных и мирских, в чем между духовными и светскими людьми, и особливо между магистратом и архидиаконом, распря и каков сам архидиакон в благочестии и духовном правлении, можно ли ему верить?

В августе воротился Швейковский из Белоруссии и донес, что магистрат между могилевскими духовными не знает ни одного достойного человека и просит прислать к ним кого-нибудь от Синода или из Киева. В то же время приехал в Москву и Заленский, привез письмо от всего духовенства, которое заявляло о достоинствах архидиакона и просило верить ему во всем. Так как могилевцы, не имея на кого указать из своих, избрание епископа предоставили Синоду, то в Москве и выбран был межигорский архимандрит Арсений Берло, и для прекращения усобицы решено было, что Заленский не возвратится более в Могилев. Но смута этим не прекратилась: новый епископ писал в Москву, что прибытие его в Могилев тамошним жителям, и особенно братству, неприятно, с братством заодно и бывший наместник Геден Шишка, и вскоре по приезде его, епископа Арсения, явились на него пасквилы, против чего он протестовал в могилевской ратуше, объявив, что этот позор терпит он от Шишки. Арсений писал также, что ругатели веры православной грозят его убить; шляхта в селах и городах православные церкви насильно отторгает к унии. Иезуиты могилевские, имея у себя в школе двух воспитанников, сыновей знатных горожан могилевских, совратили было их в свою римскую церковь; старанием игумена Братского монастыря Сильвестра мальчиков отняли у иезуитов и снова присоединили к православию, но за это католический епископ позвал к суду игумена и русских горожан; епископ прибавлял, что все эти затруднения и бедствия делаются по интригам Каллиста Заленского, бывшего архидиакона могилевского. Канцлер граф Головкин отвечал Арсению, что напрасно он нарекает на Гедена Шишку, человека честного и заявившего о своем расположении к нему, Арсению, что пасквилы написаны врагами православия и не следовало ему жаловаться на них в ратуше, но оставить их без внимания, ибо в тамошнем вольном государстве много того бывает, поляки иногда и на своих государей пишут пасквилы, но таких злодеев сыскать нельзя; о гонениях на православие должно писать к русскому посланнику в Варшаве; интриг от Каллиста Заленского никаких быть не может, потому что он сам не захотел возвращаться в Могилев и уже поставлен архимандритом в Межигорский монастырь. «Ваше преосвященство, – писал Головкин, – должны сноситься с Заленским и требовать его совета, потому что вы еще теперь не можете узнать тамошних людей; да и с Геденом Шишкою извольте приятно обходиться, как с человеком, знающим все тамошние дела, и советоваться с ним».

Избранный в Москве Арсений Берло не мог в Могилеве называться епископом и назывался только номинатом до получения королевского утверждения. Об этом утверждении должен был хлопотать снова отправленный в Варшаву в качестве полномочного министра князь Сергей Григорьевич Долгорукий, хотя Михайла Бестужева и оставили там в качестве чрезвычайного посланника. В начале 1729 года Долгорукий писал: «О епископе белорусском хотя чаю быть не без трудности, дабы из киевских архимандритов позволили, однако ж всемерно стараться буду». При свидании с примасом Потоцким Долгорукий объявил ему, что он прислан для обнадежения короля и республики непременною

дружбой; император не имеет никаких партикулярных интересов в королевстве Польском, имеет только один общий с Речью Посполитою интерес, именно чтоб она в своих правах и вольностях была ненарушима вовеки; посланник прибавил, что император особенно уважает его, примаса, лично и всю его фамилию. Поблагодаривши за это, примас начал говорить, что короля очень долго нет в Польше; жаловался, что Август имел свидание с прусским королем, что возбуждает подозрение, не постановили ли они чего-нибудь противного вольности польской и не было бы сделано какого насилия относительно королевского избрания. Посланник именем своего государя обнадежил, что в таком случае Россия будет помогать Речи Посполитой, равно как и Австрия. Потоцким очень не нравилось возвышение Понятовского, которого король прочил в гетманы/ Возвышение Понятовского по его отношениям к Швеции и Лещинскому не нравилось, и России, и потому Долгорукий должен был действовать сообща с Потоцкими, в чем их и обнадеживал. Брату примасову маршалку надворному Потоцкому хотелось быть гетманом, хотелось и короны, но Долгорукий писал к своему двору: «Для интересов вашего величества ни Лещинского, ни Потоцких не надобно, а, по моему рабскому рассуждению, годнее всех в гетманы кто-нибудь из князей Вишневецких».

Свидание польского и прусского королей сильно беспокоило и польских вельмож, и русского посланника. Долгорукий отправился в Дрезден и оттуда давал знать в Москву о трактате, будто бы заключенном между Саксониєю и Пруссиею, по которому Пруссия обязалась помогать возведению саксонского наследного принца на польский престол, за что получит польскую Пруссию, а прусский король обещал отдать свои швейцарские владения Морицу вместо Курляндии; если же Пруссии нельзя будет получить польской Пруссии, то король Август обязался уступить ей часть Лузании. Долгорукий не сомневался в существовании подобного трактата. «Понеже, – писал он, – нужнее прусскому двору польские Пруссы, нежели кусок в Швейцарах. Двор здешний, по-видимому, никогда надежен не был на свои прогрессы, как ныне, и во всех компаниях говорят почти публично уже как бы заподлинно, что королевич королем будет в Польше». Из Москвы успокаивали Долгорукого: «Есть ли какие секретные обязательства между королями польским и прусским насчет польского престола, о том до сего времени подлинного проведать мы не могли, и можно думать, что таких обязательств нет; по всем вероятностям, при нынешнем министерстве прусском за такую химеру, как приобретение польской Пруссии, не возьмутся, ибо никто из соседей не допустит, чтоб польская Пруссия была оторвана от Речи Посполитой, особливо цесарь никогда на это не согласится; несмотря на то, надобно вам стараться подлинно проведовать о тайных обязательствах между двумя дворами, чтоб мы могли заблаговременно свои меры взять». Но Долгорукий не успокаивался и причиною беспокойства выставлял сильный набор войска в Саксонии и небывалую прежде дружбу с Пруссиею, а возвратившись в Варшаву, посланник доносил, что здесь все убеждены насчет трактата между Саксониєю и Пруссиею о возведении наследного принца саксонского на польский престол.

В августе месяце открылся сейм в Гродне. «Неимоверно, – писал Долгорукий, – с каким желанием король и все придворные сторонники стремятся доставить гетманскую булаву Понятовскому, не жалея ни труда, ни денег, все единодушно, кроме фамилии Потоцких, князя Сангушки и гетмана литовского

Потех, которые со мною чрезвычайно сблизились; я обещаю Потоцким милость вашего величества и вспоможения для получения гетманства члену их фамилии; надеюсь, что королю ни в чем не будет успеха и сейм скоро разорвется, потому что по рабской моей должности неусыпное старание имею и на сеймиках некоторых послов избрать помог пристойными дачами». Сейм разорвался.

В Швеции после отъезда князя Василья Лукича Долгорукого остался по-прежнему в звании чрезвычайного посланника граф Николай Головин. Он начал свои донесения новому императору жалобами на холодность, какую оказывало ему шведское правительство. Какой-то благонадежный друг за великую конфиденцию сказывал Головину, что шведское министерство ищет всякого способа, как бы заставить русский двор объявить Швеции войну, чтоб можно было приписать России начало враждебного движения, и таким образом, в силу договора о приступлении к ганноверскому союзу, требовать помощи от Франции и Англии. С русским посланником обходились холодно, а присланного от султана агу осыпали ласками. Граф Горн с товарищи везде разглашал, что теперь самое благоприятное время для отобрания у России завоеваний Петра Великого. Отправили шведскому посланнику в Петербурге Цедеркрейцу приказание объявить русским министрам, что шведское правительство не будет давать их государю императорского титула, если Россия не уступит Швеции Выборга. Но Цедеркрейц отвечал, что такое предложение теперь делать неудобно, потому что правительство в России идет порядочно, никакой смуты нет и вперед ожидать нельзя, войско в хорошем состоянии и хотя относительно флота есть упущения, однако все можно исправить в непродолжительное время. Эти донесения заставили переменить тон: Горн чрез своих сторонников начал разглашать, что так как герцог голштинский и его министры удалены из России, то этим все столкновения между русским и шведским дворами прекращаются. В сентябре Головин сообщил любопытное известие: «Здесь недоброжелательные к России люди очень жалеют об удалении князя Меншикова от двора, говорят явно, что они потеряли в своих намерениях великого патрона». В то же время Головин дал знать, что к турецкому аге приезжали министры английский и французский и говорили, чтоб он отписал своему двору о необходимости приготовляться к войне с Россиею и цесарем. Война должна быть начата будущей весной, когда Швеция с помощью английского и французского флотов нападет на Россию. Ага действительно написал об этом к Порте, за что получил от английского и французского министров 2000 червонных. Горн и сенатор Дибен с своей стороны говорили аге, что если по его старанию Порта объявит войну России, то он получит от шведского правительства 10000 червонных, а в задаток подарили ему 1000 червонных и мех соболий. Надежный приятель сказал Головину, что как скоро турецкий ага выедет из Стокгольма, то король пошлет от себя к Порте в звании чрезвычайного посланника Нейгебауера, который уже был там министром при Карле XII. Головин доносил, что так называемые доброжелательные барон Цедергельм и граф Тесин просят пенсионов, выставляя на вид, что пострадали за приверженность к России; к этим двоим Головин прибавлял также графа Дикера; но в России против его донесения заметили: «Мнится, что хотя б и дать на год, на другой по несколько, когда усмотрим, как наши дела с Швециею обойдутся». В Швеции также дожидались, как дела в России обойдутся. Головин доносил, что

граф Горн и его партия бесстыдно льстят себя надеждою, что в России будет бунт и царь намерен вовсе оставить Петербург и жить в Москве.

Но в конце 1727 года ветер переменился: король принял Головина чрезвычайно милостиво, и было узвано, что с двух сторон, из Англии и из Франции, пришли внушения не ссориться с Россиею до времени. Горн также начал рассыпаться в уверениях насчет своей преданности к России и объявил, что в скором времени представит доказательства этой преданности. Впрочем, Горн имел и другие побуждения переменить обращение с Головиным: он разладил с королем, а король продолжал ласкать турецкого агу, подущая его писать к Порте против России, именно что скоро будет бунт на Украине и Порта может воспользоваться этим случаем для приведения Украины под свою власть, а Швеция в это время отберет завоеванные у нее Петром Великим области.

В начале 1728 года Головин доносил, что вражда между королем и Горном день ото дня увеличивается и Горн соединяется с русским сторонником фельдмаршалом графом Дикером для поддержания шведской вольности, угрожаемой королем. На это извещение посланник получил ответ из России: «Вражду между графом Горном и королем содержать и, ежели возможно, еще умножать весьма б полезно было; но потребно будет в том со всякою осторожностью поступать». «Буду об этом стараться, – писал Головин, – только надобно иметь некоторую сумму денег для раздачи фаворитам графа Горна, чтоб они побуждали его к большей ссоре с королем; теперь время перетянуть Горна на русскую сторону, и сделать это легко, заплативши ему 12000 ефимков, которые должен ему герцог голштинский, потому что при последнем свидании граф Горн упоминал мне об них, ставя себе в обиду, что герцог не отдает ему долга».

В ноябре 1728 года приехал в Стокгольм на побывку бывший в Петербурге посланником барон Цедеркрейц и донес королю, что сухопутное войско русское находится в добром порядке и может выступить в поход по объявлении указа в три дня; касательно галерного флота объявил, что хотя каждый год строится по несколько галер, однако теперь галерный флот перед прежним сильно уменьшается, а корабельный флот приходит в прямое разорение, потому что старые корабли, находящиеся в Кронштадте, все гнилы и на будущий год из Кронштадтской гавани больше четырех или пяти линейных кораблей вскоре вывести нельзя, а постройка новых кораблей ослабела, потому что при отъезде его только два или три линейных корабля при Петербургском адмиралтействе на штапелях были, из которых один к будущей осени может быть готов; в Адмиралтействе такое несмотрение, что флот и в три года нельзя привести в прежнее состояние, а об этом приведении в прежнее состояние и не думают. Но рассказы об упадке русского флота не могли успокоить короля, когда в то же время давали знать, что сухопутное войско в порядке, следовательно, Финляндия не может быть безопасна. Король удивил Головина своим ласковым обхождением и высказыванием желаний сблизиться с Россиею; посланник приписывал это сближению своему с графом Горном и неудовольствию шведов на англичан; но, как видно, была еще другая важнейшая причина: придворная партия интриговала, чтоб брату королевскому гессен-кассельскому принцу Георгию дан был в Швеции чин генерал-фельдцейгмейстера и таким образом проложен был путь к престолу шведскому; но так как права голштинского дома на шведский престол поддерживались Россиею, то король хотел сблизиться с русским двором в

надежде, что император для дружбы со Швециею откажется от покровительства герцогу голштинскому. Головин доносил, что голштинская партия слабеет, во-первых, от того, что членам ее не выплачиваются пенсии, а во-вторых, от высокомерного обращения голштинского резидента в Стокгольме Рейхеля, которого переменить нет надежды, потому что он зять Бассевича.

Предложение о назначении гессенского принца фельдцейгмейстером не прошло в Сенате, но король все продолжал заискивать дружбу русского императора. В апреле 1729 года он отозвал Головина в свой кабинет и объявил, что желает восстановления дружбы и тесного союза между Россиею и Швециею, распространялся в похвалах Петру II, мудрости его правления и в заключение сказал, что получены верные известия о намерении императора предпринять летом путешествие в Германию и если ему угодно будет ехать чрез Кассель, то он, король, сильно желал бы там с ним повидаться. Но восстановление дружбы и союза зависело не от одного короля, а Горн объявил Головину, что это восстановление произойдет, когда Россия поможет Швеции в ее денежных нуждах, именно заплатит за нее голландский долг, и при этом давал знать, что и он должен получить за свои труды вознаграждение. О голландском долге сказал Головину и сам король. На донесения об этом Головин получил такой ответ из Москвы: «Что надлежит до голландской претензии, то вовсе в том не отказывай, но и не обязывайся платежом, а под пристойными предложениями отводи дело вдаль, ибо надлежит и нам смотреть, каким образом Швеция вперед будет поступать относительно нас, особливо когда сейм будет».

Легко понять, что известие о вступлении на престол Петра II нигде не было принято с таким восторгом, как в Дании. Ал. Петр. Бестужев, описывая в своих донесениях этот восторг, прибавляет: «Король надеется получить вашу дружбу и готов искать ее всевозможными способами, прямо и посредством цесаря; впрочем, здешний двор с беспокойством ждет известия, герцог голштинский по-прежнему ли будет присутствовать в вашем Тайном совете, ибо в таком случае король датский не может поступать откровенно с вашим величеством и, не получа искренней вашей дружбы, не может потерять дружбу королей французского и английского; вот почему, хотя здешний двор и не хочет отпустить свою эскадру в море, тем менее соединить ее с английскою, однако должен в запас приберегать связь с Англиею и Франциею и, чтоб выманить субсидии, велел трем полкам выступить в Голштинию». Герцог голштинский выехал из России, и датский двор успокоился, объявляя на все стороны, что хочет держаться строгого нейтралитета.

В Пруссии в июле 1727 года Головкин заметил любопытную перемену во взгляде на польские дела. Когда русский министр по обыкновению начал говорить Фридриху-Вильгельму, что в случае смерти Августа II по требованию общих интересов России и Пруссии надобно хлопотать о возведении на польский престол какого-нибудь шляхтича, то король отвечал: «Я и сам того же мнения; но если, паче чаяния, в Польше образуются две сильные партии, саксонская и Станислава Лещинского, то лучше будет поддерживать саксонскую партию, чем Станиславу». Перемена объяснялась тем, что Франция и Англия с своими союзниками начали стараться о возведении на престол Лещинского, что было бы вредно для Пруссии и всей Германской империи, потому что Станислав будет всегда держаться Франции и Англии: и для общих интересов полезнее было бы, чтоб наследный принц саксонский стал королем польским, ибо он удобнее может

преодолеть сторонников Лещинского, чем Пяст. Но, разумеется, Пруссия не хотела помогать Саксонии даром, и та обещала ей не выкупать Эльбинского округа, но оставить его в вечном владении Пруссии. Касательно курляндского дела прусские министры прямо говорили Головкину: «Если нашему принцу нельзя быть в Курляндии, то зачем нам и вмешиваться в дела этой страны; нам приятнее, чтоб это герцогство разделено было на воеводства, чем досталось такому принцу, который не был бы склонен к нашей стороне». Между тем прусский посланник Мардефельд сделал Петербургскому кабинету также предложение относительно кандидатуры наследного принца саксонского в Польше. Головкин по указу своего двора объявил лично королю, что такая перемена в прусской политике не *безудивительна* для русского императора, который думает, что к этим саксонским намерениям надобно относиться осторожно. Король отвечал: «Теперь образовались в Европе две партии: цесарская и французская; Польша должна непременно пристать к одной из них, и потому надобно заранее принять в рассуждение, какая партия общим интересам может быть полезнее, а я думаю, что наследный принц саксонский, принадлежащий к цесарской партии, гораздо полезнее Лещинского, который втянет Польшу во французскую партию». Головкин заметил на это, что не следует необходимо предполагать приступления Польши к какой-нибудь из европейских партий: Польша живет особняком и при избрании короля будет смотреть на свои интересы, а между тем и европейские отношения могут перемениться; его величество может сам рассудить, как полезно будет для России и Пруссии, если на польский престол вступит король, у которого будет 20000 и больше собственного войска, и, какие бы выгодные условия ни были предложены Пруссии со стороны Саксонии, все эти условия химерические и никогда исполнены быть не могут. Король отвечал, что если император не желает видеть саксонского наследного принца на польском престоле, то и он, король, не даст на это своего согласия и будет свято соблюдать договоры с Россиюю.

Еще в царствование Екатерины, в 1725 году, отправлен был в Китай иллирийский граф, чрезвычайный посланник и полномочный министр Савва Владиславич Рагузинский: «Понеже с китайской стороны для приключившихся пограничных некоторых несогласий не токмо с Российскою империею отправление купечества пресечено и по прежнему обыкновению отправленный российский караван в Китай не пропускается, но и агент Лоренц Ланг, бывший при дворе ханове в Пекине, и все российские купецкие люди из китайского владения пред двумя годами высланы, а наиглавнейшая с китайской стороны претензия и домогательство чинятся в разграничении земель и об отдаче перебежчиков». Как Владиславич начал свое трудное дело, видно из доношения его, присланного из Иркутска в мае 1726 года: «По прибытии в Тобольск трудился я сколько мог в тамошней канцелярии для приискания ведомостей о беглецах, о границах и о прочем и что мог собрать, то взял с собою, хотя ничего в подлинном совершенстве получить не мог за худым управлением прежних губернаторов и комендантов и за таким дальним расстоянием мест и разности народов. Приехавши в Иркутск, получил я письма от агента Ланга из Селенгинска и при них ландкарту некоторой части пограничных земель. Эту ландкарту я осмотрел подробно и увидел, что из нее мало пользы будет, потому что в ней, кроме реки Аргуна, ничего не означено, а разграничивать нужно в немалых тысячах верст на

обе стороны... Увиделся я здесь с четырьмя геодезистами, которые посланы для сочинения ландкарт сибирским провинциям, и отправил двоих из них для описания тех земель, рек и гор, которые начинаются от реки Горбицы до Каменных гор и от Каменных гор до реки Уди, потому что при графе Головине все это осталось неразграниченным. Других же двоих геодезистов отправил я вверх по Иркуту-реке, которая из степей монгольских течет под этот город, и оттуда велел им исследовать пограничные места до реки Енисея, где Саянский камень, и до реки Абакана, которая близ пограничного города Кузнецка; также велено им ехать по Енисею-реке за Саянский камень до вершин... Все пограничные крепости – Нерчинск, Иркутск, Удинск, Селенгинск – находятся в самом плохом состоянии, все строение деревянное и от ветхости развалилось, надобно их хотя палисадами укрепить для всякого случая... И китайцы – люди неслуживые, только многолюдством и богатством горды, и не думаю, чтоб имели намерение с вашим величеством воевать, однако рассуждают, что Россия имеет необходимую нужду в их торговле, для получения которой сделает все по их желанию».

В августе 1726 года с речки Буры Владиславич писал: «Сибирская провинция, сколько я мог видеть и слышать, не губерния, но империя, всякими обильными местами и плодами украшена: в ней больше сорока рек, превосходящих величиною Дунай, и больше ста рек, превосходящих величиною Неву, и несколько тысяч малых и средних; земля благообильная к хлебному роду, к рыболовлям, звероловлям, рудам разных материалов и разных мраморов, лесов предовольно, и, чаю, такого преславного угодыя на свете нет; только очень запустела за многими причинами, особенно от превеликого расстояния, от малолюдства, глупости прежних управителей и непорядков пограничных. Во всей Сибири нет ни единого крепкого города, ни крепости, особенно на границе по сю сторону Байкальского моря; Селенгинск не город, не село, а деревушка с 250 дворишков и двумя деревянными церквами, построен на месте ни к чему не годном и открытом для нападений, четвероугольное деревянное укрепление таково, что в случае неприятельского нападения в два часа будет все сожжено; а Нерчинск, говорят, еще хуже».

С августа 1726 года до мая 1727 года от Владиславича не было никаких донесений, потому что он находился в это время в Пекине и все сношения по распоряжению китайского двора были пресечены. По словам Владиславича, императрицыну грамоту богдыхан принял на престоле своими руками с превеликим почтением и прочее обхождение чинено по достоинству императрицы и соответственно характеру посла, с большою отменою против прежнего. Потом для переговоров определены были три верховные министра, с которыми Владиславич имел более тридцати конференций. С китайской стороны явились сильные запросы, объявили, что Монгольская земля простирается до Тобольска, потом спустились до Байкала и реки Ангары, где хотели провести границу; своих перебежчиков насчитывали больше шести тысяч. В 23 конференции согласились на словах и трактат написали начерно, что каждая империя должна владеть тем, чем теперь владеет, без прибавки и умаления. Но спустя два дня министры объявили Владиславичу, что они говорили это от себя и его тешили, а богдыхан не согласился, потому что монгольские владельцы прислали просьбу, чтоб Российской империи земель их не уступать, что после головинского мира русские завладели монгольскими землями на несколько дней, а в некоторых местах и по

неделе ходу; и если это им не будет возвращено, то они станут отыскивать свое, хотя и вконец разорятся. Потом министры прислали проект трактата с такими крючками и неправдою, что немалая часть Сибирской губернии отрывалась от Русской империи. Восемь конференций китайцы настаивали на принятии этого проекта, то грозили послу, то обещали большое награждение. Владиславич отвечал *с равномерною гордостью*, как сам выражается, что он не изменник и не предатель отечества и о таком трактате и слышать не хочет, не только его подписывать. Тогда начали притеснять посла и свиту его и, наконец, стали посылать свите соленую воду, отчего половина людей занемогла. Когда и тут Владиславич объявил, что хотя бы все и померли, но договора не подпишет, китайцы сказали ему: «Ты упрямец, а не посол; ты приехал сюда только для поздравления богдыхана и отдачи подарков: возьми подарки к своей императрице и поезжай ни с чем». Призванный в Верховный совет, Владиславич говорил: «Российская империя дружбы богдыхана желает, но и недружбы не очень боится, будучи готова к тому и другому». «Или ты нам войну объявляешь?» – сказали китайцы. «Войну объявить указу не имею, – отвечал Владиславич. – Но если вы Российской империи не дадите удовлетворения и со мною не обновите мира праведно, то с вашей стороны мир нарушен, и, если что потом произойдет противно и непорядочно, богу и людям будет ответчик тот, кто правде противится». После этого китайцы потребовали проекта от посла и, получив его, поднесли богдыхану; тот несколько раз прочел и наконец решил, что в Пекине ничего не заключат, дабы монгольских владельцев не озлобить, а послать на границу с Владиславичем трех министров, на границе все дела окончить и границу определить.

«Я более жил за честным караулом, чем вольным послом, – писал Владиславич. – Как можно видеть из всех их поступков, они войны сильно боятся, но от гордости и лукавства не отступают; а такого непостоянства от рождения моего я ни в каком народе не видал, воистину никакого резону человеческого не имеют, кроме трусости, и если б граница вашего императорского величества была в добром порядке, то все б можно делать по-своему; но, видя границу отворену и всю Сибирь без единой крепости и видя, что русские часто к ним посольство посылают, китайцы пуще гордятся, и, что ни делают, все из боязни войны, а не от любви. В мою бытность в Пекине имел я письменные сношения с тамошними иезуитами и многие известия чрез них получил; они очень усердствовали, однако могли оказать мало помощи, потому что сами терпят большие притеснения от нынешнего богдыхана; некоторые бояре китайские, которые приняли было римскую веру, казнены за это. и всякая религия, кроме китайской, подвержена гонению, поэтому преосвященному Кульчицкому (Иннокентию, назначенному в Китай еще Петром Великим), хотя и договор заключится, в Пекине быть нельзя. Государство Китайское вовсе не так сильно, как думают и как многие историки их возвышают; я имею подлинные известия о их состоянии и силах, как морских, так и сухопутных; нынешним ханом никто не доволен, потому что действительно хуже римского Нерона государство свое притесняет и уже несколько тысяч людей казнил, а несколько миллионов ограбил; из двадцати четырех его братьев только трое пользуются его доверием, прочие же одни казнены, а другие находятся в жестоком заключении; в народе нет ни крепости, ни разума, ни храбрости, только многолюдство и чрезмерное богатство, и как Китай начался, столько золота и

серебра в казне не было, как теперь, а народ помирает с голоду; народ малодушный, как жида; хан тешится сребролюбием и домашними чрезмерными забавами, никто из министров не смеет говорить правду, почти все старые министры отставлены, как военные, так и гражданские; на их местах молодые, которые тешат хана полезными репортами и беспрестанною стрельбою, пушечною и ружейною, будто для воинских упражнений, а более для устрашения народа и ханских родственников, чтоб не бунтовали. Перед отъездом моим из Пекина я завел цифирную переписку с французским иезуитом патером Парени, который пользовался большим расположением покойного хана, и хотя теперешний хан к нему не очень благоволит, однако часто его в совет призывают. Этот патер нашел возможность установить тайную дружбу между мною и ханским тайным советником алегодою Маси, который сделал мне некоторые полезные предостережения; я его одарил, и он обещал мне помогать в пограничных переговорах, которые я буду вести с китайскими министрами».

20 августа 1727 года на реке Буре Владиславич заключил с китайскими министрами договор, на основании которого он домогался в Пекине, т.е. чтоб обе империи на будущее время владели тем, чем теперь владеют. С северной стороны на речке Кяхте – караульное строение Российской империи; с южной стороны на сопке Орогойте – караульный знак Срединной империи; между этими караулами разделить землю пополам, и тут будет отправляться с обеих сторон пограничная торговля. Отсюда на обе стороны отправить комиссаров для определения границы, которую проводить между русскими и монгольскими караулами и маяками: если вблизи владения русских или монгольских людей находятся какие-нибудь сопки, хребты и реки, то их причесть за границу, а где сопок, хребтов и рек нет, прилегли степи, то разделить посредине поровну от обоих владений. Донося об этом уже императору Петру II, Владиславич писал: «Могу ваше императорское величество поздравить с подтверждением дружбы и обновлением вечного мира с Китайскою империею, с установлением торговли и разведением границы к немалой пользе для Российской империи и неизреченной радости пограничных обывателей, в чем мне помогал бог, счастье вашего величества и следующие причины: во-первых, я был отправлен с поздравлением нового богдыхана со вступлением на престол, что было ему чрезвычайно приятно, и он велел меня принять в Пекине, иначе я бы в этом городе не был и ни одного бы дела не окончил. Во-вторых, в бытность мою в Сибири приискал я на китайцев с русской стороны большие претензии, которые дали мне возможность держаться твердо в Пекине; всегда я им на одно слово отвечал двумя и грозил войною, хотя и не явно; я представлял им, что Россия сносила их обиды до настоящего времени, потому что вела три войны – шведскую, турецкую и персидскую, которые все кончила чрезвычайно для себя выгодно: теперь же, не имея ни с кем войны, послала меня к ним искать дружбы и удовлетворения. В-третьих, чрез подарки, посредством отцов иезуитов, сыскал я в Пекине доброжелательных людей, которые хотя мне помочь не могли, однако посредством тайной переписки открывали мне многие замыслы, лукавства и намерения китайских министров; больше всех я обязан названному мною в прежнем донесении тайному советнику (по их – алегода) Маси, которому я послал с караваном в подарок мягкой рухляди на 1000 рублей, а посреднику патеру Парени – на сто рублей. В-четвертых, на границе труднее всего было мне спорить с одним из китайских министров, дядею богдыхана Лонготою, и вдруг в полночь 8

августа приехали из Пекина офицеры и этого гордого Лонготу взяли и отвезли в столицу под крепким караулом, оставшиеся же два министра были гораздо умереннее; кроме того, сблизился я с одним старым тайшою, или князьком, монгольским, который пользуется большим уважением между китайцами, он меня во всем предостерегал и уведомлял о поступках и замыслах китайских министров, и, о чем они днем с ним советовались, о том ночью давал он мне знать чрез своего свойственника; за это я его наградил и обещал давать ежегодно по двадцати рублей до самой его смерти, а долго он не проживет, потому что ему за 70 лет. В-пятых, прибытие тобольского гарнизонного полка на границу, закрытие некоторых городов и мест палисадами, построение новой крепости на Чикойской стрелке, верность ясачных иноземцев, бывших в добром вооружении со мною на границе, более всего помогли заключению выгодного договора». При этом Владиславич доносил о разных злоупотреблениях в Сибири: так, пограничные правители отправляли в Китай своих людей для торгу или для других частных прихотей, а в грамотах писали их посланниками и посланцами, вследствие чего в Китае давали им корм и подводы. Сборщики ясака черных соболей брали себе, а в казну ставили желтых, которых коптили так искусно, что ни Владиславич, ни сибирский губернатор не могли отличить копченого соболя от настоящего; но китайцы различали, и это делало большой подрыв каравану, отпускаемому правительством с его товарами.

Большую заботу доставляло Владиславичу устройство церковных дел в Пекине. Он писал в Петербург, что архиерея послать туда нельзя, ибо это возбудит сильное подозрение китайцев и взволнует европейцев других исповеданий. Вследствие этого Иннокентию Кульчицкому велено было остаться в Сибири в сане епископа иркутского, а в Пекин назначен был архимандрит Вознесенского иркутского монастыря Антоний, который в сентябре 1729 года и приехал в Селенгинск, но вместо иеромонаха привез с собою только одного белого священника, «который совершенный шумница» (пьяница). Антоний жаловался, что Иннокентий, осердясь на него, не дал ему священников, не выдал за первый год жалованья и показывал всякие другие противности как явному неприятелю. Иннокентий с своей стороны писал Владиславичу на Антония, что тот вконец разорил монастырь, монастырских денег на нем более 3000 рублей, и просил эти деньги с него взыскать. «Кто из них прав, о том бог ведает», – писал Владиславич в Петербург.

Заключенный на Буре договор был найден в России очень выгодным, и Владиславич был пожалован тайным советником и кавалером ордена Александра Невского. На другом конце Сибири Беринг, выполняя инструкцию Петра Великого, нашел, что Азия отделяется от Америки широким проливом, и после пятилетнего путешествия в марте 1730 года возвратился в Россию; он не застал уже здесь и второго императора.

В начале сентября 1729 года Петр выехал в сопровождении Долгоруких из Москвы с 620 собаками и возвратился только в начале ноября. Следствия такой долгой отлучки оказались 19 ноября, когда торжественно было объявлено, что император вступает в брак с дочерью князя Алексея Григорьевича Долгорукого Екатериною, которой было 17 лет. 30 ноября было обручение, княжну Екатерину Алексеевну уже начали называть императорским высочеством. По рукам ходила речь фельдмаршала Долгорукого, сказанная им племяннице при поздравлении:

«Вчера я был твой дядя, нынче ты – моя государыня, и я буду всегда твой верный слуга. Позволь дать тебе совет: смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твоя фамилия многочисленна, но, слава богу, она очень богата, и члены ее занимают хорошие места; итак, если тебя будут просить о милости кому-нибудь, хлопочи не в пользу имени, но в пользу заслуг и добродетели: это будет настоящее средство быть счастливою, чего тебе желаю».

Но вместе с этой речью ходили слухи, что фельдмаршал Долгорукий, наиболее уважаемый из всей фамилии, противился браку племянницы с императором, как не могущему повести к добру. Ходило много зловещих слухов: предсказывали, что Долгорукие, идя по стопам Меншикова, будут иметь одинаковую с ним участь; их все ненавидят, они не хотят приобрести ничьего расположения, женят императора силою, употребляя во зло его малолетство; но когда он достигнет 15 или 16 лет, то верные министры разъяснят ему сущность дела, тогда он раскается в своей женитьбе, и Долгорукие погибнут, а царица, наверное, кончит монастырем. Толковали, что Долгорукие уже делят между собою высшие должности: Алексей хочет быть генералиссимусом или первым министром, Иван – великим адмиралом, Василий Лукич – великим канцлером, Сергей – обер-шталмейстером. Но иностранные министры зорко подсматривали, как обходится император с своею невестою, и поражались холодною их отношений, точь-в-точь как Петр обходился с прежнею своею невестою княжною Меншиковою; но при этом шли слухи, что невеста и неохотно принимала бы нежности жениха, потому что сердце ее отдано другому – графу Миллезимо, родственнику цесарского посла графа Вратислава.

Петр находился теперь в более тяжелом положении, чем при Меншикове. Тогда он вооружился за свои права против человека, незаконно похитившего власть и употреблявшего ее во зло; тогда он схватился с человеком, который хотел держать его в руках, не давать ему воли, оскорблял его, людей к нему близких, тиранствовал, как уверяли, над Россиею. Но к Долгоруким другие отношения: они постоянно самым ревностным образом исполняли все его желания, угождали, забавляли его без малейшего прекословия; он сам отдался им в руки, его притянула к ним его собственная страсть, нерасположение заниматься серьезным делом, желание забавляться, развлекаться. Каким бы образом ни было сделано внушение о браке, он его принял, согласился, не имея сил порвать с людьми, к которым привык, не имея сил вынести печальных лиц *компани*; он согласился, дело не без него сделалось, его не принуждали. Как легко ему было оборачиваться спиною к Меншикову, так тяжело было это сделать относительно Долгоруких. А между тем тяжело и сохранить прежние отношения: невеста не нравится, самолюбие страдает: позволил завести себя дальше, чем следовало; как они смели? Но сам согласился, сам одобрил и оправдал их смелость; где была сила воли, где характер? И все считают его бесхарактерным ребенком, потому что с какой стати ему, императору, жениться на Долгорукой, которая старше его и которая вовсе ему не нравится? Раздражение тем сильнее, чем труднее выход из положения, возбуждающего раздражение.

«Царь начинает стряхать с себя иго», – пишут иностранные министры к своим дворам в начале 1730 года. Недавно тайком ночью уехал он к Остерману и у него имел совещание еще с двумя другими членами Верховного тайного совета.

Виделся он и с теткою цесаревною Елисаветою, которая со слезами жаловалась ему на свое печальное положение: во всем терпит она страшный недостаток, даже соли не отпускают сколько надобно. Петр отвечал, что он не виноват, он много раз давал приказания удовлетворить ее требованиям, но он скоро найдет средство разбить свои оковы. До самого конца ходили упорные слухи, что фаворит хочет жениться на принцессе Елисавете, но что она никак не соглашается на это и объявила, что скорее вовсе не выйдет замуж, чем выйдет за подданного. Ненависть к ней Долгоруких могла происходить отсюда; могла происходить и из опасения ее влияния над Петром: они постоянно могли видеть помеху своим планам. Слух, что ей грозил монастырь от Долгоруких, подтверждается последующим признанием князя Ивана, который приписывал опалу своей фамилии наговорам цесаревны и объявил, что хотел сослать ее в монастырь и с отцом своим наедине о том говаривал для того, что казалась к ним немилостива.

Долгорукие готовились к двум свадьбам: свадьбе императора на княжне Екатерине Алексеевне и свадьбе фаворита, князя Ивана, на графине Наталье Борисовне Шереметевой, дочери покойного фельдмаршала. Враги Долгоруких толковали о несогласиях, господствовавших в фамилии: князь Алексей не может терпеть сына Ивана, которого ненавидит также и сестра, невеста императора, потому что фаворит не дает ей бриллиантов, принадлежавших великой княжне Наталье Алексеевне.

6 января водоосвящение на Москва-реке и парад: войска к Иордани вел фельдмаршал Василий Владимирович Долгорукий; когда они построились в каре, приехал император из Слободского, или Лефортова, дворца, где жил в это время, и занял полковничье место.

На другой день слухи, что император нездоров; придворные озабочены, грустны – значит, болезнь опасная. У государя оспа!

Иностранные министры уже толкуют о том, что будет, если случится несчастье; указывают на четыре партии: партию цесаревны Елисаветы, партию царицы-бабки, партию невесты княжны Долгорукой, партию малолетнего герцога голштинского; и самые сильные из этих партий – партия царицы-бабки и невесты Долгорукой. Идут слухи, что князь Алексей хочет обвенчать больного Петра в постели на своей дочери. Больше всех иностранных министров волнуется датский, Вестфален. Три года тому назад ему удалось отстранить герцогиню голштинскую и сестру ее от русского престола, но теперь опасность возобновляется: Вестфален разъезжает то к Долгоруким, то к Голицыным. Князю Василью Лукичу он говорит: «Слышал я, что князь Дмитрий Голицын желает, чтоб быть наследницею цесаревне Елисавете, и если это сделается, то сами вы знаете, что нашему двору это будет очень неприятно; если не верите, то я вам письменно сообщу об этом, чтоб вы могли показывать всякому, с кем у вас будет разговор». Князь Василий отвечал ему: «Теперь, слава богу, оспа высыпала, и есть большая надежда, что император выздоровеет; но если и умрет, то приняты меры, чтоб потомки Екатерины не взошли на престол; можете писать об этом к своему двору как о деле несомненном». Вестфален, однако, прислал письменное заявление, которое состояло в следующем: «Слухи носят, что его величество очень болен, и если престол российский достанется голштинскому принцу, то нашему Датскому королевству с Россиею дружбы иметь нельзя. Обрученная невеста из вашей фамилии, и можно удержать престол за нею, как Меншиков и

Толстой удержали престол за Екатериною Алексеевною; по знатности вашей фамилии вам это сделать можно, притом вы больше силы и нрава имеете». Князь Василий Лукич прочел письмо в кругу родных, но тут об этом деле не рассуждали, потому что императору стало легче.

Но скоро ему опять стало хуже. Из головинского дворца, где жил князь Алексей Григорьевич с семейством, посланы были гонцы по родственникам, чтоб съезжались. Родственники съехались и нашли князя Алексея в спальне на постели. «Император болен, – начал он, – и худа надежда, чтоб жив был; надобно выбирать наследника». Князь Василий Лукич спросил: «Кого вы в наследники выбирать думаете?» Князь Алексей указал пальцем вверх и сказал: «Вот она!» Наверху жила дочь его, обрученная невеста. Князь Сергей Григорьевич начал говорить: «Нельзя ли написать духовную, будто его императорское величество учинил ее наследницею?» На это возразил князь Василий Владимирович: «Неслыханное дело вы затеваете, чтоб обрученной невесте быть российского престола наследницею! Кто захочет ей подданным быть? Не только посторонние, но и я, и прочие нашей фамилии – никто в подданстве у ней быть не захочет. Княжна Катерина с государем не венчалась». «Хоть не венчалась, но обручалась», – сказал князь Алексей. «Венчание иное, а обручение иное, – возразил князь Василий Владимирович, – да если б она за государем и в супружестве была, то и тогда бы во учинении ее наследницею не без сомнения было». Григорьевичи представляли ему, что стоит только энергически приняться за дело и в успехе сомневаться нельзя: «Мы уговорим графа Головкина и князя Дмитрия Михайловича Голицына, а если они заспорят, то мы будем их бить. Ты в Преображенском полку подполковник, а князь Иван майор, и в Семеновском полку спорить о том будет некому». «Что вы, ребячье, врете! – возразил князь Василий Владимирович. – Как тому можно сделаться? И как я полку объявлю? Услышав от меня об этом, не только будут меня бранить, но и убьют». После этого спора князь Василий Владимирович уехал вместе с братом Михайлою. Тогда князь Василий Лукич, севши у камина на стул и взяв лист бумаги да чернильницу, начал было писать духовную, но скоро перестал и сказал: «Моей руки письмо худо, кто бы получше написал?» Стал писать князь Сергей Григорьевич со слов Василья Лукича и Алексея Григорьевича и написал два экземпляра. Тут князь Иван Алексеевич, вынув из кармана черный лист бумаги, начал говорить: «Вот посмотрите письмо государевой и моей руки: письмо руки моей слово в слово как государево письмо; я умею под руку государеву подписываться, потому что я с государем в шутку писывал» – и написал «Петр». Все нашли, что похоже, и решили, чтоб Иван подписал под духовную, если государь за тяжкою его болезнию сам подписать духовной будет не в состоянии

Государь уже не был в состоянии подписывать. В бреду он все звал к себе Андрея Ивановича (Остермана), наконец произнес зловещие слова: «Запрягите сани, хочу ехать к сестре» – и скончался с 18 на 19 января, во втором часу ночи, 14 лет и трех месяцев со днями.

Глава третья

Царствование императрицы Анны Иоанновны

Избрание Анны на престол. – Ограничение самодержавия. – Неудовольствия в духовенстве, генералитете и шляхетстве. – Посольство в Митаву. – Анна соглашается на условия, ей предложенные. – Поведение Ягужинского; его арест. – Мнения о государственном устройстве, подававшиеся в Верховный тайный совет. – Проекты Верховного тайного совета. – Приезд Анны. – Похороны Петра II. – Торжественный въезд Анны в Москву. – Новая форма присяги. – Движения партий. – Восстановление самодержавия. – Вторичная присяга. – Характер новой императрицы. – Уничтожение Верховного тайного совета. – Восстановление Сената в прежнем значении. – Присутствие императрицы в Сенате. – Уничтожение майората. – Учреждение Кадетского корпуса. – Меры относительно правосудия. – Хлопоты об Уложении. – Изменение в судопроизводстве. – Разделение Сената на департаменты. – Восстановление должности генерал-прокурора. – Учреждение Судного и Сыского приказов. – Восстановление Сибирского приказа. – Распоряжение относительно воеводских злоупотреблений. – Финансовые меры. – Заботы о войске. – Флот. – Вопрос о штатах. – Деятельность Комиссии о коммерции. – Полиция. – Церковь. – Дела на окраинах. – Гонение на Долгоруких. – Бирон, Левенвольд и Остерман. – Увеличение гвардии. – Роскошь при дворе. – Неудовольствия. – Опала Румянцева. – Сильное ожесточение. – Смерть князя Мих. Мих. Голицына и опала князя Васил. Владим. Долгорукого. – Причины торжества иноземцев. – Восстановление Преображенского приказа. – Учреждение Кабинета. – Удаление Ягужинского и Шафировова. – Переезд двора в Петербург. – Внешняя деятельность в три первые года царствования Анны.

Три архиерея, совершавшие елеосвящение над умиравшим государем члены Верховного тайного совета и многие из сенаторов и генералитета находились во дворце во время кончины Петра. Князь Василий Владимирович Долгорукий именем других светских сановников сперва просил архиереев подождать немного, потому что скоро должно начаться совещание об избрании нового государя, но спустя несколько времени явился к ним опять и объявил, что Верховному совету заблагорассудилось назначить собрание в десятом часу утра в палатах Верховного совета, куда приглашаются архиереи и архимандриты – синодальные члены. Архиереи уехали, но светские остались, и началось предварительное совещание о том, кому должен достаться престол. Остермана не было; по его показанию, он находился при теле государя. По другим известиям, когда его приглашали на совещание, то он отказался под тем предлогом, что он иностранец и потому примет общее решение. Князь Алекс. Григ. Долгорукий потребовал престола для дочери своей и показал «некое письмо, якобы Петра II завет»; но на это письмо не обратили внимания, равно как на предложение об избрании монахини Лопухиной, сделанное неизвестно кем. Прежде, как мы видели, толковали о четырех партиях: цесаревны Елисаветы, царицы-бабки, герцога голштинского и княжны Долгорукой, но ясно, что партий не было; кончина последнего из мужской линии Романовых поразила всех врасплох; притом мы должны осторожно обходиться с известиями иностранцев о партиях в России. Петр Великий, несмотря на все свое старание, не мог в короткое время приучить русских людей действовать сообща,

«кумпанствами»; обыкновенно все шли вразброд, личные и фамильные интересы были на первом плане, что и давало возможность сильному человеку захватывать власти больше, чем сколько ему следовало. Иностранцы говорят, что из означенных четырех партий сильнее всех были партии княжны Долгорукой и царицы-бабки, но эти же самые иностранцы говорят, что против Долгоруких было всеобщее нерасположение; кто же мог составлять сильную партию княжны Екатерины? Ясно, что должно разуть здесь силу не партии, а фамилии; и действительно, если бы в фамилии не было разногласия, если бы все Долгорукие решились действовать так же энергически, как действовали Меншиков и Толстой в 1725 году, то еще можно было бы ожидать успеха; но этой энергии недоставало, а с одним «неким письмом» нельзя было ничего сделать. Указывают на силу другой партии – царицы-бабки; это значит, что много людей произносили имя Лопухиной, и понятно почему: многие, застигнутые врасплох страшным событием, не зная, на ком остановиться, хотели поскорее занять праздное место лицом, не могшим долго на нем оставаться, но дававшим время пообдумать, подготовиться; никакой сильной партии не было и здесь. При отсутствии партий, при всеобщем недоумении и нерешительности голос сильного человека решает дело, особенно если он находит решение наиболее удовлетворительное. Теперь это был голос князя Дмитрия Мих. Голицына, который объявил, что дом Петра I пресекается смертью Петра II и справедливость требует перейти к старшей линии царя Иоанна Алексеевича; старшую из дочерей его, царевну Екатерину, трудно выбрать, потому что она замужем за герцогом мекленбургским, тогда как вторая, Анна, герцогиня курляндская, свободна и одарена всеми способностями, нужными для трона. Все закричали: «Так, так, нечего больше рассуждать, мы выбираем Анну!» Тут приглашен был Остерман и с радостью присоединил свой голос.

Почему князь Дмитрий Голицын остановил свой выбор на Анне, это понятно: он смотрел не очень благосклонно на брак Петра Великого с Екатериною и на детей, от этого брака происшедших, притом когда пресекалось мужское колено, то имели право обратиться к старшей женской линии; завещание Екатерины I, устанавливавшее порядок престолонаследия, нельзя было приводить как акт неоспоримый; кроме молодости и отсутствия серьезности в поведении цесаревны Елисавету отстраняли от трона права племянника, сына старшей сестры, герцога голштинского; но малолетство последнего не давало никакого обеспечения, а приезд герцога, отца его, да еще с Бассевичем, никому не мог быть желателен. Анна слыла женщиною очень умною, отличалась серьезностию поведения, величественною, царственною наружностью; приезжая в Петербург и в Москву из Митавы, всегда с просьбами о помощи, о поддержке, она старалась заискать расположение всех и потому оставляла после себя приятное воспоминание. Старик Бестужев не мог нарушить этой приятности: он был один, его друзья разосланы. Были известны некоторые курляндские отношения, но князь Дмитрий Михайлович уже придумал лекарство от болезней власти – ее ограничение.

Вспомнив судьбу Голицына, мы поймем, каким образом в голове его созрела мысль об ограничении императорской власти. Гордый своими личными достоинствами и еще более гордый своим происхождением, считая себя представителем самой знатной фамилии в государстве, Голицын, как мы видели, постоянно был оскорбляем в этих самых сильных своих чувствах. Его не отдаляли

от правительства, но никогда не приближали к источнику власти, никогда не имел он сильного влияния на ход правительственной машины, а что было виною – фаворитизм! Его отбивали от первых мест люди худородные, но умевшие приближаться к источнику власти, угождать, служить лично, к чему Голицын не чувствовал никакой способности. С негодованием смотрел Голицын на брак Петра I с худородною женщиною, около которой сосредоточивались ненавистные выскочки, и должен был преклониться пред этою женщиною, как пред самодержавною государынею. Наконец он дождался счастливого времени: вступил на престол законный наследник, от честного брака рожденный, и какая же награда Голицыну, человеку, сильнее которого, конечно, никто не желал воцарения сына Алексея? Чуть-чуть не опала, и вся власть в руках людей из враждебной фамилии, вся власть в руках двоих Долгоруких, и, как нарочно, самых незначительных из фамилии по личным достоинствам. Долго ли же терпеть? Петр II умирает; Голицын указывает ему преемницу, и все повинуются этому указанию. Как же благодарна будет новая императрица Голицыну, главному виновнику ее избрания? Но Голицын научен горьким опытом: он знает, что сначала будут благодарны, сначала поласкают человека, неспособного быть фаворитом, а потом какой-нибудь сын конюха, русского или курляндского, через фавор оттеснит первого вельможу на задний план. Вельможество самостоятельного значения не имеет; при самодержавном государе значение человека зависит от степени приближения к нему. Надобно же покончить с этим, надобно дать вельможеству самостоятельное значение, при котором оно могло бы не обращать внимания на фаворитов.

Когда все изъявили свое согласие на избрание Анны, князь Дмитрий начал говорить: «Воля ваша, кого изволите, только надобно нам себе полегчить». «Как себе полегчить?» – спросил кто-то. «Так полегчить, чтоб воли себе прибавить», – отвечал Голицын. Если верить собственному показанию князя Василия Лукича Долгорукого, он возразил: «Хотя и зачнем, да не удержим этого», на что Голицын отвечал: «Правда удержим» – и, видя, что никто не решается произнести своего согласия, продолжал: «Будь воля ваша, только надобно, написав, послать к ее величеству пункты». После или прежде этого предварительного совещания было, как видно, заседание Верховного тайного совета, где «рассуждено фельдмаршалам князю Михайлу Мих. Голицыну и князю Василию Владимировичу Долгорукому присутствовать в Верховном тайном совете». Таким образом, Совет прежде всего обнаружил свою власть, сам назначив новых своих членов. Это назначение было знаком соединения двух самых сильных фамилий. Об этом соединении, по некоторым известиям, сильно хлопотал в последнее время князь Алексей Долгорукий, чтоб не встречать в Голицыных сопротивления своим замыслам насчет женитьбы государя на своей дочери; но теперь Голицын для проведения своих замыслов нуждался в помощи Долгоруких, и самых лучших из них; для поддержания значения Верховного тайного совета было необходимо, чтоб между его членами находились обе военные знаменитости, принадлежавшие к обеим фамилиям; притом было известно, что князь Василий Владимирович вовсе не жил в ладах с князем Алексеем, а при падении значения последнего и князь Василий Лукич не стал бы ему поддакивать. Обыкновенно число членов Верховного тайного совета в описываемое время полагается восемь, и к известным уже нам

семи присоединяют князя Михаила Владимировича Долгорукого, но мы не знаем, когда последовало его назначение.

В этих совещаниях и распоряжениях прошло время до десятого часа, когда в залах дворца собрались Сенат, Синод и генералитет. Члены Верховного тайного совета вышли к собравшимся, и канцлер граф Головкин объявил, что, по мнению Совета, российская корона следует курляндской герцогине, но требуется согласие всего отечества в лице собравшихся чинов. Согласие последовало полное, и Феофан Прокопович изъявил желание духовенства немедленно отслужить благодарственный молебен в Успенском соборе; но при этом столь естественном предложении верховники (как называли членов Совета) смутились и отвечали, что надобно еще подождать с молебном.

Между тем Голицын все хлопотал с *пунктами*, видя, что многие из генералитета уже расходятся, он вошел и сказал: «Надобно их воротить, чтоб не было от них чего». И воротили Дмитриева-Мамонова, Льва Измайлова, Ягужинского и некоторых других; Голицын говорил им: «Станем писать пункты, чтоб не быть самодержавствию».

Написали сперва письмо от Верховного тайного совета к новоизбранной императрице: «Премилостивейшая государыня! С горьким соболезнованием нашим вашему императорскому величеству Верховный тайный совет доносит, что сего настоящего году января 18, пополудни в первом часу, вашего любезнейшего племянника, а нашего всемилостивейшего государя, его императорского величества Петра II не стало, и как мы, так и духовного и всякого чина шведские люди того ж времени заблагорассудили российский престол вручить вашему императорскому величеству, а каким образом вашему величеству правительством иметь, тому сочинили кондиции, которые к вашему величеству отправили из собрания своего с действительным тайным советником князем Васильем Лукичем Долгоруким да сенатором тайным советником князь Михайлом Михайловичем Голицыным и с генерал-маеором Леонтьевым и всепокорно просим оные собственною своею рукою пожаловать подписать и не умедля сяды, в Москву, ехать и российский престол и правительство воспринять. 19 января 1730». Кондиции, которые должна была подписать Анна, были написаны в такой форме: «Через сие накрепчайше обещаемся, что наиглавнейшее мое попечение и старание будет не токмо о содержании, но и крайнем и всевозможном распространении православная наша вера греческого исповедания; такожде по принятии короны российской в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять; еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного согласия: 1) ни с кем войны не всчинать; 2) миру не заключать; 3) верных наших подданных никакими податями не отягощать; 4) в знатные чины, как в стацкие, так и в военные сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, а гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного тайного совета; 5) у шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать; 6) вотчины и деревни не жаловать; 7) в придворные чины как русских, так и иноземцев не производить; 8) государственные доходы в расход не употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать; а буде чего по сему обещанию не

исполню, то лишена буду короны российской». Под письмом подписались: канцлер граф Головкин, князь Михайла Голицын, князь В. Долгорукий, князь Дмитрий Голицын, князь Алексей Долгорукий, Андрей Остерман.

Как только узнали о новости, затеянной в Верховном тайном совете, сильное волнение и неудовольствие обнаружилось в высших слоях общества. Вместо одного государя – восемь. Россия должна потерять всякое значение, снизойти на степень Польши и Швеции, где иностранные державы приобретают влияние деньгами, которые они раздают членам ограничивающих королевскую власть учреждений. Россия, Австрия и Пруссия постоянно договариваются, чтоб в Польше сохранялся существующий порядок, т.е. чтоб Польша оставалась постоянно слабою; а теперь в России хотят заводить подобный порядок! Все гарантии для осьми, а против осьми для остальных где гарантии? И кто эти восемь? Четверо Долгоруких и двое Голицыных, остальные – Головкин и Остерман. Шестеро принадлежали к двум знатым фамилиям, двое – к людям, выдвинувшимся в эпоху преобразования; нет никакого равновесия между сторонами, обозначившимися по смерти Петра Великого. Сначала восторжествовала вторая восшествием на престол Екатерины, и мы видели, как это торжество выразилось в составе Верховного тайного совета, где один Голицын был из древнего знатного рода. Измена Меншикова своей стороне, ссылка Толстова, ссылка Меншикова, смерть Апраксина, господство Долгоруких переменили отношения, и птенцам Петровым, оставшимся в таком меньшинстве, стало страшно среди Голицыных и Долгоруких; они не могли спокойно и радостно принять новое величие, осенившее верховников, вовсе не обеспеченных в том, долго ли они останутся верховниками, долго ли старинные князья, потомки Рюрика и Гедимины, позволят заседать с собою ненавистным выскочкам. Таким образом, среди самого Верховного совета были люди, не сочувствовавшие новости. Взгляд этих людей разделяли другие дети преобразования, и в челе их первый архиерей и первая знаменитость в духовенстве по талантам и учености преосвященный новгородский Феофан Прокопович.

Феофан вздохнул свободно после падения Меншикова; но еще свободнее вздохнул он, когда по смерти сына Алексея избрана была герцогиня курляндская, не имевшая никакого отношения к его предшествовавшей деятельности. Но вот страшная новость, что новая императрица не будет иметь никакой власти; вся власть будет в руках людей, от которых Прокоповичу нечего ждать добра, которые смотрят на него как на еретика и рабского исполнителя повелений деспота. Андрей Иванович Остерман не может удержаться при таком порядке, и тогда придется проиграть дело с Георгием Дашковым. У Феофана есть друзья и почитатели, истые дети преобразования, преданные науке, обожающие преобразователя, считающие его непогрешительным и не терпящие никакой реакции его направлению; они убеждены в необходимости самодержавия для России, они требуют стройности, порядка, единства и силы в государственном управлении. Таков князь Антиох Кантемир, второй сын приютившегося в России молдавского господаря; таков уже известный нам Василий Никитич Татищев. Как смотрели на дело люди, видные по своим талантам, люди из шляхетства и генералитета, но не из первых фамилий, видно из письма казанского губернатора Волынского: «Слышно здесь, что делается у вас или уже и сделано, чтоб быть у нас республике. Я зело в том сумнителен. Боже сохрани, чтоб не сделалось вместо

одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилий: и так мы, шляхетство, совсем пропадем и принуждены будем горше прежнего идолопоклонничать и милости у всех искать, да еще и сыскать будет трудно, понеже ныне между главными как бы согласно ни было, однако ж впредь, конечно, у них без разборов не будет, и так один будет миловать, а другие, на того яряся, вредить и губить станут. Второе, понеже народ наш наполнен трусостию и похлебством, и для того, оставя общую пользу, всяк будет трусить и манить главным персонам для бездельных своих интересов или страха ради. Итак, хотя бы и вольные всего общества голоса требованы в правление дел были, однако ж бездельные ласкатели всегда будут то говорить, что главным надобно; а кто будет правду говорить, те пропадать станут, понеже уже все советы тайны быть не могут. К тому же главные для своих интересов будут прибирать к себе из мелочи больше партизанов, и в чьей партии будет больше голосов, тот, что захочет, то и станет делать, и кого захотят, того выводить и производить станут, а бессильный, хотя б и достойный был, всегда назади оставаться будет. Третье, не допусти, боже, если война на нас будет, и в то время потребно расположить будет обществом или рекрутский набор, или прочий какой сбор для пользы и обороны государства, для того надлежит тогда всякому понести самому на себе для общей пользы некоторую тягость, в том голосов сообразить никак невозможно будет, и, что надобно сделать и расположить в неделю, того в полгода или в год не сделают; а что и положено будет, то будет на главных всегда в доимках, и мы, средние, одни будем оставаться в платежах и во всех тягостях. Четвертое, если офицеры перед штатскими не будут иметь лишнего почтения и воздаяния, то и последняя пропадет у тех к военной службе охота, понеже страха над ними такова, какой был, чаю, не будет. Еще же слышно, что делается воля к службе, и правда, что в неволе служить зело тяжело. Но ежели и вовсе волю дать, известно вам, что народ наш не вовсе честолюбив, но паче ленив и нетрудолюб, и для того если некоторого принуждения не будет, то, конечно, и такие, которые в своем доме едят один ржаной хлеб, не похотят через свой труд получать ни чести, ни довольной пищи, кроме что всяк захочет лежать в своем доме, разве останутся одни холопы и крестьяне наши, которых принуждены будем производить и в тое чести надлежащие места отдавать им, и таких на свою шею насажаем непотребных, от которых впредь самим нам места не будет, и весь воинский порядок у себя, конечно, потеряем. Притом же под властью таких командиров, боже сохрани, так испотворены будут солдаты, что злее стрельцов будут. И как можно команду содержать или от каких шалостей унять одному генералитету, если в полках не будет добрых офицеров? Еще же и то: ежели из армии из рядовых выпущено будет подлое шляхетство, то уже им трудами своими от земли питать себя не привыкнуть, для того разве редкий будет получать хлеб свой от своих трудов, а прочие, большая часть, разбоями и грабежами прибылей себе искать станут и воровские пристани у себя в домах держать будут, а для того хотя б и выпускать, однако ж, по моему мнению, разве с таким рассмотрением, чтоб за кем было 50 и по последней мере 30 дворов, да и то, чтоб он несколько лет выслужил и молодые и шаткие свои лета пробыл под страхом, а не на своей воле прожил».

Движение идет сильное: Сенат, генералитет, знатнейшее шляхетство недовольны. Насчитывают человек 500, которые волнуются, собираются, кричат против верховников. Но эта масса без вождя; она уже делится на два стана: одни

хотят употребить смелую, решительную меру – напасть внезапно на верховников с оружием в руках, и если они не захотят отстать от своих замыслов, то перебить их; другие против такой насильственной меры: они хотят войти спокойно в собрание Совета и представить верховникам, что затеи их не тайны, что немногим переделывать состав государства преступно: если бы даже они придумали и что-нибудь очень полезное, то нельзя этого скрывать. Первая мера оказывается слишком сильною, вторая – слишком слабою; третьей не придумывают, спорят; одни хотят удержать прежнюю форму правления непременно, другие готовы и переменить, сердятся на верховников только за то, зачем они взяли все себе, с другими не поделились. Верховники знают обо всем: между пятьюстами человек не без предателей, да и вообще трудно удержать тайну в таком множестве; верховники знают и действуют угрозами и увещаниями, распускают слухи, что мятежные сборища им известны, что беспокойные головы, их составляющие, уже отмечены, судятся как враги отечества и скоро будут перехватаны; что напрасно надеются они на свое множество: войско в руках Верховного совета, между членами которого находятся оба фельдмаршала; напрасно надеются, что можно будет укрыться от беды: стоит только схватить несколько человек, и те на пытках укажут всех своих товарищей. Угрозы произвели свое действие: многие, особенно те, которые не могли надеяться на сильную поддержку, испугались до того, что боялись жить в своих домах, переходили по ночам с места на место переодетые, под чужими именами. Напугать людей незначительных было легко, но этим цель не достигалась: сильные не трусились, и неудовольствие их получит особенное значение, когда придет императрица и захочет опереться на них, чтоб высвободиться из-под опеки Верховного тайного совета. В отношении к этим сильным надобно действовать иначе, не угрозами, а ласкою, надобно соединить их интересы со своими. И вот верховники призывают к себе значительнейших противников, принимают с распростертыми объятиями, клянутся, что начали дело не в собственных интересах, жалуются, что напрасно обвиняют их в утайке этого дела от общего сведения: прежде всего они хотели узнать, как взглянет на это новая государыня, а как скоро она согласится, то Верховный тайный совет намерен созвать все чины и просить у них совета, как с наибольшею пользою устроить на будущее время государственное управление. Некоторые заподозрили искренность верховников, но другие, и большая часть, решились спокойно дожидаться ответа из Митава и призыва к совещанию о новых правительственных формах.

Второго февраля повестка от Верховного тайного совета: просят на другой день членов Сената, Синода и генералитета пожаловать в собрание, зачем – неизвестно; посланные говорят, что будет рассуждаться о государственном установлении. Большая часть приглашенных поверили этому показанию; другие, не отличавшиеся храбростию, начали говорить, что не надобно ехать: тут новая хитрость верховников – или силою заставят принять свой план, или вдруг захватят противников. Верховники и слуги их очень веселы – дурной знак! Говорят, что из Митава пришло какое-то известие: должно быть, желание верховников исполнилось.

3 февраля чины собрались; вошли верховники, пригласили к молчанию и велели читать письмо императрицы. «Хотя я рассуждала, – писала Анна, – как тяжело есть правление толь великой и славной монархии, однако же, повинуюсь

божеской воле и прося его, создателя, помощи, к тому ж не хотя оставить отечества моего и верных наших подданных, намерилась принять державу и правительствовать, елико бог мне поможет, так, чтобы все наши подданные, как мирские, так и духовные, могли быть довольны. А понеже к тому моему намерению потребны благие советы, как и во всех государствах чинится, того для пред вступлением моим на российский престол, по здоровом рассуждении, изобрели мы за потребно, для пользы Российского государства и к удовольствованию верных наших подданных, дабы всяк мог ясно видеть горячность и правое наше намерение, которое мы имеем к отечеству нашему и верным нашим подданным, и для того, елико время нас допустило, написав, какими способы мы то правление вести хотим, и подписав нашею рукою, послали в тайный Верховный совет, а сами сего месяца в 29 день, конечно, из Митавы к Москве для вступления на престол пойдём. Дано в Митаве 28 января 1730 года». Вслед за этим письмом прочтены были известные пункты, подписанные Анною: «По сему обещаю все без всякого изъятия содержать».

Пусть Феофан Прокопович на своем оригинальном языке расскажет нам о впечатлении, произвели ином чтением этих бумаг: «Никого, почитай, кроме верховных, не было, кто бы, таковая слушав, не содрогнулся, и сами тин, которые всегда великой от сего собрания пользы надеялись, опустили уши, как бедные ослики; шептания некая во множестве оном прошумливали, а с негодованием откликнуться никто не посмел. И нельзя было не бояться, понеже в палате оной, по переходам, в сенях и избах многочисленно стояло вооруженное воинство. И дивное было всех молчание! Сами господа верховные тихо нечто один другим пошептывали и, остро глазами посматривая, притворяясь, будто бы и они, яко неведомой себе и нечаянной вещи, удивляются. Один из них только, князь Дмитрий Михайлович Голицын, часто похаркивал: „Видите-де, как милостива государыня! И какого мы от нее надеялись, таковое она показала отечеству нашему благоденствие! Бог ее подвинул к писанию сему: отселе счастливая и цветущая Россия будет!“ Сия и сим подобная до сытости повторял. Но понеже упорно все молчали и только один он кричал, нарекать стал: „Для чего никто ни единого слова не проговорит? Изволил бы сказать, кто что думает, хотя и нет-де ничего другого говорить, только благодарить толь милосердой государыне!“ И когда некто из кучи тихим голосом с великою трудностью промолвил: „Не ведаю, да и весьма чуждуся, отчего на мысль пришло государыне так писать?“ то на его слова ни от кого ответа не было». Слова, выражавшие неудовольствие, исчезли в толпе, и присутствующие стали подписывать протокол, в котором говорилось, что «Верховный тайный совет, св. Синод, Сенат, генералитет и прочие тех рангов, выслушав за такую ее императорского величества показанную ко всему государству неизреченную милость, благодарили всемогущего бога и все согласно объявили, что тою милостию весьма довольны и подписуемся своими руками». Первая подпись – Феофана Прокоповича, потом Георгия ростовского, Игнатия коломенского, Сильвестра казанского, Гавриила рязанского, Леонида крутицкого, Иоакима переяславского, графа Ивана Мусина-Пушкина, князя Ивана Трубецкого, князя Михаила Долгорукого, *енарала* Матюшкина и т.д.; всего подписей с пятьсот. Но при этом князь Алексей Михайлович Черкасский потребовал на словах, чтоб ему и другим позволено было подать мнения о новом государственном устройстве. Верховники согласились, исполняя этим свое

прежнее обещание. Им нельзя было раздражать людей, которые согласились с ними в основании дела и не соглашались только относительно подробностей; но они хотели показать пример строгости над человеком, который решился пойти прямо наперекор основанию их дела: в самом собрании 3 февраля был арестован Ягужинский.

Между показаниями князей Долгоруких находятся любопытные известия о поведении Ягужинского во время избрания Анны 19 января. После того как Верховный тайный совет объявил Синоду, Сенату и генералитету об этом избрании и все согласились на него, Ягужинский подошел к князю Василию Лукичу и стал говорить ему: «Батюшки мои! Прибавьте нам как можно воли!» Князь Василий отвечал ему: «Говорено уж о том было». Князь Сергей Григорьевич Долгорукий показывал, что Ягужинский и ему в то же время говорил: «Мне с миром беда не убыток: долго ли нам будет терпеть, что нам головы секут? Теперь время думать, чтоб самовластиею не быть». Князь Сергей отвечал ему: «Не мое это дело». Мы видели также, что Ягужинский был из числа тех немногих вельмож, которые по распоряжению князя Димитрия Голицына были возвращены в залу собрания для написания пунктов. Мы не знаем, как вел себя при этом случае Ягужинский, только видим, что он немедленно же переменял свои мысли: решимость верховников сосредоточить всю власть в одних своих руках; невыбор Ягужинского, бывшего генерал-прокурора, в члены Верховного совета, несмотря на ревность, высказанную им к делу, задуманному верховниками; пополнение Совета только из двух фамилий – Голицыных и Долгоруких, показывавшее аристократическое стремление и лишавшее людей новых надежды получить когда-либо в нем место; опасность, которая начала вследствие этого грозить и Головкину, тестю Ягужинского, – все это могло повлиять на перемену мнений последнего и заставить его решительнее всех действовать в противоположном смысле. Несмотря на заставы, расположенные около Москвы, на удержание почт, чтоб никто не мог проехать в Митаву прежде посланной туда от Верховного совета депутации, отправленный Ягужинским Петр Спиридонович Сумароков успел пробраться туда и передать Анне от Ягужинского, что «ежели изволит его послушать, чтоб не всему верить, что станут представлять князь Василий Лукич Долгорукий и которые с ним посланы, до того времени, пока сама изволит прибыть в Москву. Ежели князь Василий Лукич по тем пунктам принуждать будет подписываться, чтоб ее величество просила от всех посланных трех персон такого письма за подписанием рук их, что они от всего народа оное привезли, ежели скажут, что с согласия народа; а ежели письма дать не похотят, то б объявила, что ее величество оное учинит по воле их, только когда она прибудет к Москве, чтоб оное так было, как представляют». Ягужинский велел также сказать Анне, чтоб была благонадежна, что они все желают прибытия ее в Москву. Князь Василий Лукич с товарищами, узнав, что Сумароков в Митаве, велели схватить его, допросили и допросные его речи и его самого в окопах отправили с генералом Леонтьевым, который повез письмо Анны и подписанные ею пункты в Москву. Вследствие этого верховники схватили Ягужинского и других, которые знали о поездке Сумарокова: но одного из знавших о поездке Сумарокова, именно Воина Корсакова, не нашли в Москве: он отправился в свои новгородские деревни: это обстоятельство очень обеспокоило верховников, которые тотчас же отправили

нарочного к новгородскому губернатору, чтоб велел схватить Корсакова и держать под крепким караулом.

Обрадованные согласием Анны на пункты и в то же время озабоченные делом Ягужинского, верховники забыли о деле чрезвычайной важности: 3 февраля, после того как объявлено было о согласии Анны принять престол и об известной милости ее к верным подданным, синодальные члены стали говорить, что теперь уже не для чего более откладывать благодарственное молебствие: никто не возражал, и в Успенском соборе был отслужен молебен, причем протодиакон провозгласил Анну по прежней форме, самодержицею. Верховники спохватились, но уже было поздно: с этим же титулом Синод в тот же день разослал извещения по епархиям. Чтоб не было разногласия, положили оставить пока по-старому до присяги, которую отложили. 4 февраля Верховный тайный совет издал манифест об избрании Анны и что она согласилась принять престол и находится на дороге к Москве; манифест оканчивался словами: «А как ее императорское величество к Москве прибудет, тогда о приводе к присяге от ее императорского величества указы выданы будут впредь немедленно». 5 февраля издан был указ, что новая императрица будет иметь такой же титул, как и покойная императрица Екатерина. Дело это, однако, сильно беспокоило верховников. 7 февраля в заседании Совета рассмотрен был манифест печатный, и рассуждал князь Василий Владимирович Долгорукий, чтоб «в оный внести кондиции и письмо ее величества, чтоб народ ведал ради соблазну». Головкин и оба Голицыны говорили: «Чтоб о кондициях объявление тогда учинить, когда ее императорское величество прибудет, от ее лица, для того чтоб народ не сумневался, что выданы от Верховного тайного совета, а не от ее величества; а когда приедет ее величество, тогда от своего лица ту свою милость объявить изволит». Остерман согласился с ними; по князь Алексей Григорьевич Долгорукий объявил, что «в Москве всемерно надлежит публиковать кондиции, чтоб инако их не толковали».

Между тем в Верховный тайный совет начали подаваться мнения, и все они требовали увеличения числа членов Верховного тайного совета вообще и уменьшения числа членов из одной фамилии, следовательно, все посягали на настоящий состав Совета. Под одним мнением подписались: один полный генерал, один генерал-лейтенант, статских того ранга – четыре, генерал-майоров – пять, статских того ранга – четыре, итого – 15 человек. Мнение состояло в следующем: 1) к Верховному тайному совету, к настоящим персонам, мнится, прибавить, чтоб с прежними было от 12 до 15; 2) ныне вприбавок и впредь на вакансии в Верховный тайный совет выбирать обществом, генералитету военному и статскому и шляхетству на одну персону по три кандидата, из которых одного выбрать предоставляется Верховному тайному совету; 3) или, выбрав в Верховном тайном совете трех персон и из тех трех персон баллотировать (балантировать) генералитету военному и статскому и шляхетству не меньше 70 персон, в котором бы числе одной фамилии более двух персон не было; а которые будут выбираться в кандидаты, тем бы не баллотировать, а для баллотирования выбрать бы других таким же образом, только б было не менее вышеозначенного числа. Под вторым мнением подписались: генерал-лейтенанта – 3, статских того ранга – 4, генерал-майоров – 9, статских и придворных того ранга – 13, обер-прокурор Синода, всего – 30 человек. В мнении говорилось: 1) вначале

учредить вышнее правительство из 21 персоны; 2) дабы оное множеством дел не отягчить, того ради для отправления прочих дел учинить Сенат в 11 персоне: 3) в вышнее правительство, и в Сенат, и в губернаторы, и в президенты коллегий кандидатов выбирать и баллотировать генералитету и шляхетству, а в кандидаты более одной персоны из одной фамилии не выбирать, также и при баллотировании более двух персон из одной фамилии не быть, а при баллотировании быть не меньше 100 персон; 4) в вышнем правительстве и в Сенате впредь, кроме обращающихся ныне в Верховном тайном совете, более двух персон из одной фамилии не быть, считая в обоих, как в вышнем правительстве, так и в Сенате. В третьем мнении, графа Ив. Алекс. Мусина-Пушкина, также говорилось, что число членов в государственном Правлении должно быть увеличено и должны быть они выбраны общим советом и между ними не должно быть более двух персон из одного рода. При этом высказывались разные требования, не относившиеся к главному делу, которые и были удовлетворены в царствование Анны: так, требовалось ограничить срок шляхетской службы двадцатью годами, уничтожить майорат.

Верховный тайный совет отвечал на эти мнения: «Понеже Верховный тайный совет состоит не для какой собственной того собрания власти, точю для лучшей государственной пользы и управления в помощь их императорских величеств, а впредь ежели кого из того собрания смерть пресечет или каким случаем отлучен будет, то на те упалые места выбирать кандидатов Верховному тайному совету обще с Сенатом и для апробации представлять ее императорскому величеству из первых фамилий из генералитета и из шляхетства людей верных и обществу народному доброжелательных (не вспоминая об иноземцах). И смотреть того, дабы в таком первом собрании одной фамилии больше двух персон умножено не было; и должны рассуждать, что не персоны управляют законом, но закон управляет персонею, и не рассуждать ни о фамилиях, ни же о каких опасностях, токмо искать общей пользы без всякой страсти, памятуя всякому суд вышний. Бude же когда случится какое государственное новое и важное дело, то для оногo в Верховный тайный совет имеют для совету и рассуждения собраны быть Сенат, генералитет, коллежские члены и знатное шляхетство, бude же что касаться будет к духовному правлению, то и синодские члены, и прочие архиереи по усмотрению важности дела».

Видя, что этот ответ не удовлетворяет, в Верховном тайном совете начали рассуждать о новых уступках: полагали впустить в свою среду еще четырех членов, чтоб было 12. Для привлечения высшего духовенства полагалось уничтожить Коллегию экономии и управление имениями отдать епархиям и монастырям. Обещали, что как архиереи, так и иереи почтение иметь будут как служители престола божия. В Сенат, коллегии, канцелярии и в прочие управления будут выбираться члены из фамильных людей, из генералитета и из знатного шляхетства, достойные и доброжелательные обществу, также и все шляхетство будет содержано, как и в прочих европейских государствах, в надлежащем почтении и в ее императорского величества милости и консидерации, а особливо старые и знатные фамилии будут иметь преимущества, получают ранги и к делам будут определены по их достоинству. Шляхетство в солдаты, матросы и прочие подлые и нижние чины неволею не определять; а чтоб воинское дело не ослабевало, то для обучения военного устроить особливые кадетские роты, из

которых определять по обучении прямо в обер-офицеры и производить чрез гвардию, а в морскую службу – чрез гардемаринов. Которые находятся в управлении гражданском, хотя и не из шляхетства, а дослужились рангов, те будут присоединены к шляхетству, и определять их к делам как заблагорассудится. Приказных людей производить по знатным заслугам и «по опыту верности всего общества», а людей боярских и крестьян не допускать ни к каким делам. После казненных смертью у жен их, детей и сродников имения не отнимать и тем их не укорять. О солдатах и матросах смотреть прилежно, как о детях отечества, дабы напрасных трудов не имели, а до обид их не допускать. Лифляндцы и эстляндцы, как шляхетство, так и гражданство, да будут содержаны равною ее императорского величества милостию, как и российские, и во всем поступаться будет по их правам и привилегиям; также и к прочим иноземцам, которые теперь находятся и которые впредь будут в русской службе, иметь почтение и склонность ко всякой любви, и по контрактам жалованье да будет неотъемлемо. К купечеству иметь призрение и отвращать от него всякие обиды и неволи, и в торгах иметь ему волю, и никому в одни руки никаких товаров не давать, и в податях должно купцов облегчить, а прочим всяким чинам в купечество не мешаться. Крестьян в податях сколько можно облегчать. Резиденции, убегая государственных излишних убытков и для исправления всему обществу домов своих и деревень, быть в Москве непременно и в другое место никуда не переносить.

Не знаем, было ли известно об этих уступках недовольным; во всяком случае они не могли удовлетворить; надобно было действовать решительнее, немедленно же назначить четверых новых членов Верховного тайного совета из самых сильных людей между недовольными; но этого не сделали. Духовенство, разумеется с Феофаном Прокоповичем в челе, усердно работало против верховников: князь Дмитрий Голицын не скрывал своего презрения к членам Синода за то, что по смерти Петра Великого они позволили возвести на престол Екатерину мимо Петра II, и члены Синода не могли быть благодарны за это самому видному из верховников. Все с нетерпением ждали приезда новой императрицы. Верховники, желая по крайней мере уничтожить неудовольствие в собственной среде, успокоить старика Головкина, решились выпустить зятя его, Ягужинского, из-под ареста и восстановить его в прежнем значении; но Ягужинский не согласился принять от них прощения в вине, которой за собою не признавал. «Вы меня запятнали, – говорил он, – но очистить меня вы не можете».

10 февраля получено было известие, что императрица уже недалеко от Москвы, и три архиерея с тремя сенаторами отправились к ней навстречу; на заставе офицер потребовал от них паспортов от Верховного тайного совета, и когда паспорта были объявлены, то офицер пересчитал всех, и господ, и слуг. Архиереи и сенаторы нашли Анну в Чашниках, и, в то время как они ее приветствовали, сопровождавший ее князь Василий Лукич Долгорукий зорко оглядывал их с ног до головы. В тот же день Анна приехала в село Всесвятское под Москвою и здесь остановилась, давши приказание похоронить на другой день Петра II.

II февраля чем свет собрались все чины в Лефортовский дворец, где находилось тело покойного государя, и долго дожидались: причиною медленности оказалось то, что невеста княжна Долгорукая требовала себе в церемонии места и всей обстановки особы императорского дома. Эта бестактность со стороны

Долгоруких возбудила против них сильное негодование. Погребальное шествие тронулось без невесты. Но в то время как многие бранили княжну Екатерину и ее родственников, на печальную церемонию смотрела из окна шереметевского дома другая женщина, которой суждено было дать фамилии Долгоруких другого рода блеск – блеск нравственной чистоты и мужества в страданиях: то была невеста бывшего фаворита князя Ивана Алексеевича Долгорукого Наталья Борисовна Шереметева. Когда она обручилась с Долгоруким, то отовсюду только и слышали восклицания: «Ах как она счастлива!» Но это счастье продолжалось только несколько дней. После известия о смерти Петра II «не можно было плачь мой пресечь», писала потом Наталья Борисовна. «Я довольно знала обыкновение своего государства, что все фавориты после своих государей пропадают; чего было и мне ожидать? И так я плакала безутешно. Свойственники, сыскав средство, чем бы меня утешить, стали меня уговаривать, что я еще человек молодой, а так себя безрассудно сокрушаю; можно этому жениху отказать, когда ему будет худо; будут другие женихи, которые не хуже его достоинством, разве только не такие великие чины будут иметь; а в то время, правда, что один жених очень хотел меня взять, только я на то не склонна была, и сродникам моим всем хотелось за того жениха меня выдать. Это предложение так мне тяжело было, что ничего на то не могла им ответствовать. Войдите в рассуждение, какое это мне утешение и честна ли эта совесть, когда он был велик, так я с радостью за него шла, а когда он стал несчастлив, отказать ему? Я такому бессовестному совету согласиться не могла; а так положила свое намерение, когда, сердце одному отдав, жить или умереть вместе, а другому уже нет участия в моей любви. Я не имела такой привычки, чтоб сегодня любить одного, а завтра другого; я доказала свету, что я в любви верна. Во всех злополучиях я была своему мужу товарищ и теперь скажу самую правду, что, будучи во всех бедах, никогда не раскаивалась, для чего я за него пошла... Пришел тот назначенный несчастливый день: нести надобно было государево тело мимо нашего дому, где я сидела под окошком, смотря на ту плачевную церемонию. Боже мой, как дух во мне удержался! Началось духовными персонами, множество архиереев, архимандритов и всякого духовного чину; потом несли государственные гербы, кавалерию, разные ордены, короны, в том числе и мой жених шел перед гробом, нес на подушке кавалерию, и два ассистента вели под руки. Не могла его видеть от жалости в таком состоянии: епанча траурная предлинная, флёр на шляпе до земли, волосы распущенные, сам так бледен, что никакой живости нет. Поравнявшись против моих окон, взглянул плачущими глазами с тем знаком или миной: кого погребаем? В последний, в последний раз провожаю». Петра погребли в Архангельском соборе, вынувши для его гроба два гроба сибирских царевичей.

Мысли многих присутствовавших 11 февраля в Архангельском соборе обращались в Всесвятское. Верховники уже были недовольны: тотчас по приезде Анны в Всесвятское явился туда батальон Преображенского полка и отряд кавалергардов; Анна вышла к ним, объявила себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов и каждому из последних поднесла сама по рюмке водки. Это распоряжение насчет полковничества и капитанства гвардии было явным нарушением условий; однако 14 числа Верховный тайный совет, Сенат и генералитет отправились в Всесвятское благодарить императрицу за дарованную народу милость, причем граф Головкин, как старший кавалер, поднес

ей орден Св. Андрея; есть очень вероятное известие, что Анне не понравилось это поднесение от Верховного совета, ибо она считала себя вправе на этот орден как императрица. «Ах, правда, я и позабыла его надеть», – сказала она, взяла орден и велела надеть его на себя одному из окружающих, не допуская сделать это кого-нибудь из членов Верховного совета. На другой день, 15 февраля, императрица имела торжественный въезд в Москву. Все чины были созваны к присяге в Успенский собор, который был обставлен войском. В Синодской палате Феофан Прокопович внушал духовенству, что присяга есть дело великое; беда, если кто присягает на том, что противно совести или чего он не хочет или не знает, и настоял, чтоб Синод прежде всего потребовал от Верховного совета форму присяги, которая, как ходили слухи, изменена. Несколько раз ходили секретари из Синода в Верховный совет с требованием формы присяги; верховники несколько раз обещались ее прислать, но не присылали, и вдруг прислано сказать архиереям, что члены Верховного совета уже в церкви и ждут духовенства. Феофан советовал не ходить, но другие архиереи двинулись, и он не решился остаться один. Только что архиереи вошли в собор, как верховники приступили к ним с убеждением, чтоб первые присягнули, как всего народа пастыри и в духовных делах предводители. Тут Феофан начал опять говорить о важности присяги; в толпе шляхетства послышались вздохи и восклицания, что присяга дело страшное. Феофан настаивал, чтоб форма присяги прежде всего была прочтена всем вслух с амвона. Князь Дмитрий Голицын возражал ему, но другие верховники, боясь смуты, согласились. Новую форму присяги прочли: в ней хотя некоторые прежние выражения, означавшие самодержавие, и были исключены, однако не было и выражений, которые бы означали новую форму правления, и, главное, не было упомянуто о правах Верховного тайного совета и о подтвержденных императрицею условиях; существенная перемена состояла в том, что присягали государыне и отечеству: поэтому присутствовавшие, рассудив, что новая форма не приносит верховникам никакой пользы, решились принять ее и присягнули. Говорят, была попытка заставить присягнуть государыне и Верховному совету; такую форму присяги попытался было предложить фельдмаршал князь Василий Владим. Долгорукий Преображенскому полку, но получил ответ, что если он будет настаивать на этом, то ему ноги переломают.

От новой формы присяги не было пользы верховникам, но не было и вреда; они были сильны бессилием своих противников, недостатком единства между ними, отсутствием энергических вождей. Феофан Прокопович не решился или ему не позволили сказать громко приветственную речь новой императрице в день ее торжественного въезда в Москву; он подал речь на письме; в ней говорилось: «Твое персональное доселе бывшее состояние всему миру известно: кто же, смотря на оное, не воздохнул, видя порфирородную особу, в самом цвету лет своих впадшую в сиротство отшествием державных родителей, тоску вдовства приемшую лишением любезнейшего подружия, не по достоинству рода пропитание имущую, но и, что вспомнить ужасно, сверх многих неприятных приключений от неблагодарного раба и весьма безбожного злодея страх, тесноту и неслыханное гонение претерпевшую. На сии смотря, котории о промыслах божиих искусно рассуждают, узнавали величество ваше быти в числе любимых чад божиих; а суемудрии человецы, может быть, в сердцах своих говорили: „Бог

оставил ю. А се ныне отец наш небесный, сира и вдову приемлющий, всему миру ясно показал, как не оставил тебе“».

Феофан здесь указывал на гонение, претерпенное Анною от Меншикова, «неблагодарного раба и весьма безбожного злодея», но он старался внушить, что Анна и теперь терпит страх, тесноту и неслыханное гонение от неблагодарных рабов и весьма безбожных злодеев; люди, действовавшие по мысли Феофана, духовенство били на чувство преданности к царской особе и возбуждали сострадание к печальному положению государыни, которая находится в неволе: князь Василий Лукич Долгорукий поместился во дворце, и никому нельзя было приблизиться к императрице без его позволения; даже сестры ее могли говорить с нею только в его присутствии. «Смотрите, – говорили, – она никуда не показывается, народ не видит ее, не встречает радостными криками; князь Василий Лукич стережет ее, как дракон; неизвестно, жива ли она, и если жива, то насилу дышит». «Сими сим подобная, когда везде говорено, другой компании (противной верховникам) ревность жесточае воспламенялась; видать было на многих, что нечто весьма страшное умышляют», – рассказывает сам Феофан. Но у верховников было не без приверженцев, которые также по молчали; образчиком их речей может служить рассказ бригадира Козлова казанскому губернатору Волынскому о московских происшествиях: «Теперь у нас прямое правление государства стало порядочное, какого нигде не бывало, и ныне уже прямое течение делам будет, и уже больше бога не надобно просить, кроме чтоб только между главными согласие было. А если будет между ими согласие, так как положено, конечно, никто сего опровергнуть не может. Есть некоторые бездельники, которые трудятся и мешают, однако ж ничего не сделают, а больше всех мудрствует с своею партишкою князь Алексей Михайлович (Черкасский), однако ж ничего не успевают, и не сделается. И о государыне так положено: что хотя в малом в чем не так будет поступать, как ей определено, то ее, конечно, вышлют назад в Курляндию, и для того будь она довольна тем, что она государыня российская; полно и того. Ей же определяют на год 100000, и тем ей можно довольной быть, понеже дядя ее, император, и с теткой ее довольствовался только 60000 в год, а сверх того, неповинна она брать себе ничего, разве с позволения Верховного тайного совета; также и деревень никаких, ни денег не повинна давать никому, и не токмо того, ни последней табакерки из государевых сокровищ не может себе вовсе взять, не только отдавать кому, а что надобно ей будет, то будут давать ей с расписками. А всего лучше положено, чтоб ей при дворе своем свойственников своих не держать и других ко двору никого не брать, кроме разве кого ей позволит Верховный тайный совет. И теперь Салтыковых и духу нет, а впредь никого не допустят. И что она сделана государынею, и то только на первое время, помазка по губам».

Борьба между двумя «компаниями» состояла в том, что верховники старались убедить Анну поскорее явиться в их заседание и торжественно подтвердить новое государственное устройство, а противная компания уговаривала императрицу, чтоб она этого не делала. Но князь Василий Лукич стерег Анну, как дракон, и потому последней компании сноситься с нею было трудно; надобно было действовать тайком, через женщин; главной посредницею была свояченица князя Черкасского штатс-дама Прасковья Юрьевна Салтыкова, урожденная Трубецкая, по мужу свойственница императрице. Рассказывали, что употреблялись и другие

средства сноситься с императрицею: будто приносили к ней каждый день ребенка, Биронова сына, и клали ему за пазуху записки о ходе дела; наконец, будто Феофан Прокопович подарил Анне столовые часы, в которых под доскою она нашла уведомление, что преданные ей люди положили действовать решительно. Ходил также слух, что верховники, утраченные всеобщим неудовольствием и не надеясь выиграть дело, предложили Анне провозгласить ее самодержицею, на что она отвечала: «Это для меня слишком мало – получить самодержавие от осьми персон.

Как бы то ни было, в то время как «другая компания» собиралась в разных домах для совещаний о решительных мерах, для подписания просьбы императрице о пересмотре подписанных ею в Митаве пунктов, Верховный тайный совет продолжал распоряжаться и 24 февраля решил участь лиц, к которым императрица не могла быть равнодушна, а именно: тайный советник Петр Бестужев был назначен губернатором в Нижний Новгород; арапа Аврама Петрова велено освободить из-под караула и быть ему в Тобольске при полках майором. На другой день, 25 числа, члены Совета также собрались на обычное заседание; сидели князь Михаил Михайлович Голицын, его брат князь Дмитрий, князь Алексей Григорьевич Долгорукий и занимались разными делами, как вдруг входит князь Василий Лукич и зовет их к императрице. В большой зале дворца нашли они государыню и множество из Сената, генералитета и шляхетства, человек 800, от имени которых начали читать просьбу; в ней говорилось, что императрица по своей неизреченной милости изволила подписать условия, предложенные ей Верховным тайным советом, за что все верноподданные приносят ей глубочайшую благодарность за себя и за потомков своих, которые не перестанут благословлять имя ее величества; несмотря на то, обязанность верноподданных заставляет представить ее величеству, что в означенных пунктах заключаются обстоятельства, заставляющие опасаться впредь для народа событий неприятных, которыми враги отечества могут воспользоваться; после зрелого размышления об этих условиях сделаны были Верховному тайному совету письменные представления; требовалось, чтоб по большинству голосов установлена была правильная и хорошая форма правления. Но Верховный тайный совет отвечал, что ничего нельзя сделать без соизволения ее величества. Зная натуральное милосердие императрицы, присутствующие наипокорнейше просят приказать рассмотреть различные проекты, предложенные ими, призвавши одну или двух персон из каждой фамилии для установления такой правительственной формы, которая бы угодна была всему народу. Хотя просьба подписана и немногими лицами, потому что боялись собираться, однако присутствующие уверяют, что все шляхетство ее одобряет.

Когда чтение было кончено, князь Василий Лукич обратился к императрице с просьбою обдумать вместе с членами Верховного тайного совета, какой ответ дать на подобное прошение. Тут вдруг подле Анны очутилась сестра ее Екатерина Ивановна, герцогиня мекленбургская, с пером и чернилицею в руках. «Нечего тут думать, государыня, – сказала она сестре, – извольте подписать». Анна подписала; но тут встала буря, и не со стороны членов Верховного тайного совета, которые стояли совершенно пораженные; гвардейские офицеры и другие из шляхетства, хотевшие полного восстановления прежней правительственной формы, начали кричать: «Не хотим, чтоб государыне предписывались законы; она должна быть

такую же самодержицею, как были все прежние государи». Когда Анна, раздраженная шумом, стала их унимать, то они бросились перед нею на колена с криком: «Государыня, мы верные подданные вашего величества; мы верно служили прежним великим государям и сложим свои головы на службе вашего величества; но мы не можем терпеть, чтоб вас притесняли. Прикажите, государыня, и мы принесем к вашим ногам головы ваших злодеев». Тут Анна сказала капитану гвардии: «Вижу, что я здесь небезопасна; повинуйтесь генералу Салтыкову, и только ему одному».

Шляхетство имело теперь в руках подписанную императрицею просьбу о пересмотре всех проектов и установлений с общего согласия новой правительственной формы. Но к чему повело бы это, когда уже так громко было заявлено желание, чтоб восстановлен был старый порядок вещей, когда представители вооруженной силы высказались, что не позволят предписывать законов государыне? Благоразумно ли было давать опереживать себя в преданности и подвергаться явной опасности? Понятно, что при таких обстоятельствах голос людей, требовавших полного восстановления самодержавия, взял верх, и дворянство, вышедши в другую залу, положило просить императрицу о принятии самодержавия. Но для написания новой просьбы требовалось время, и потому стали просить о допущении на аудиенцию после обеда. Анна согласилась и пошла за стол, к которому пригласила и членов Верховного тайного совета: таким образом, последние не имели возможности подумать вместе о своем положении.

В четвертом часу пополудни дворянство возвратилось во дворец с новою просьбой, в которой говорилось: «Когда ваше императорское величество всемилостивейше изволили пожаловать всепокорное наше прошение своеручно для лучшего утверждения и пользы Отечества нашего сего числа подписать, недостойных себе признаем к благодарению за тако превосходную вашего императорского величества милость. Однако ж усердие верных подданных, которое от нас должность наша требует, побуждает нас по возможности нашей не показаться неблагодарными; для того в знак нашего благодарства всеподданнейше приносим и всепокорно просим всемилостивейше принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели, а присланные к вашему императорскому величеству от Верховного совета и подписанные вашего величества рукою пункты уничтожить. Только всеподданнейше ваше императорское величество просим, чтоб соизволили сочинить вместо Верховного совета и высокого Сената один Правительствующий сенат, как при Петре Первом было, и исполнить его довольным числом – 21 персоною; такожде ныне в члены и впредь на упалые места в оный Правительствующий сенат и в губернаторы, и в президенты повелено б было шляхетству выбирать баллотированьем, как то при Петре Первом уставлено было; и притом всеподданнейше просим, чтоб по вашему всемилостивейшему подписанию форму правительства государства для предбудущего времени ныне установить. Мы напоследок, вашего императорского величества всепокорнейшие рабы, надеемся, что в благорассудном правлении государства, в правосудии и в облегчении податей по природному величества вашего благоутробию презренны не будем, но во всяком благополучии и довольстве тихо и безопасно житие свое препровождать имеем». Февраля 25, 1730». Подписи: князь Иван Трубецкой, Григорий Чернышев, Ушаков,

Новосильцев, князь Григорий Юсупов, Михайла Матюшкин, князь Алексей Черкасский, Сукин, Олсуфьев, князь Никита Трубецкой, граф Михайла Головкин и т.д., подписей 150.

Когда прочли эту просьбу, императрица притворилась удивленной. «Как, – сказала она, – разве пункты, которые мне поднесли в Митаве, были составлены не по „желанию целого народа?“ „Нет!“ – отвечали собравшиеся. „Так, значит, ты меня, князь Василий Лукич, обманул!“ – сказала Анна. О последующем в протоколе Верховного тайного совета записано: „Пополудни в четвертом часу к ее императорскому величеству призван статский советник Маслов, и приказано ему пункты и письмо принести к ее величеству, которые в то же время и отнесены и ее величеству от господ министров поднесены, и те пункты ее величество при всем народе изволила, приняв, разорвать. Февраля 26: господа министры изволили быть во дворце, куда призван статский советник Маслов, и велено ему сочинить вновь присягу о самодержавии ее величества, которая в то же время и сочинена, и ее величество тою присягу опробовать соизволила, и господа министры, тою присягу подписав, вручили ее величеству. 28 февраля по всем улицам с барабанным боем объявлено, чтоб завтра, т.е. 1 марта, в 8 часов утра, все шли паки к присяге в соборы и церкви“.

Бригадир Ив. Мих. Волынский так уведомил об этих событиях двоюродного брата своего Артемия Петровича Волынского: «Здесь дела дивные делаются. По кончине его величества выбрали царевну Анну Ивановну с подписанием пунктов, склонных вольности, и чтоб быть в правлении государства Верховному совету восьми персонам и в Сенате одиннадцати. И в оном спорило больше шляхетство, чтоб быть в Верховном совете 21 персоне и выбирать оных баллотированием, а большие не хотели оного, чтобы по их желанию было восемь персон. И за то шляхетство подало челобитную ее величеству, чтобы быть в 21 персоне, и она челобитная ее величества собственною рукою подписана тако: „По сему рассмотреть“, и потом ее величество и оную челобитную изволила отдать князю Алекс. Мих. Черкасскому. И с шляхетством подавал челобитную князь Алексей Михайлович, и потом за опасностию шляхетство подало челобитную другую ее величеству, чтоб соизволила принять суверенство, и тако учинилась в суверенстве, и присягу вторично сделали, а оное делал все князь Алексей Михайлович и генералитет, с ним и шляхетство, и, что от того будет впредь, бог знает. Ныне в великой силе Семен Андреевич Салтыков, и живет он. вверху и ночует при ее величестве, а большие в великом подозрении и в стыде обретаются две фамилии, и с ними Матюшкин, Измайлов, Еропкин, Шувалов, Наумов, Дмитриев, Матвей Воейков, и такова дела от начала не бывало».

Присягнули самодержице Анне Иоанновне, ей одной только, и, за очень немногими исключениями, все были очень довольны; перепугались только, как говорят, когда вечером 25 числа красный цвет северного сияния покрыл горизонт. В кругу людей близких князь Дмитрий Михайлович Голицын произносил зловещие слова: «Трапеза была уготована, но приглашенные оказались недостойными; знаю, что я буду жертвою неудачи этого дела. Так и быть: пострадаю за Отечество; мне уже немного остается, и те, которые заставляют меня плакать, будут плакать более моего».

Но от кого же плакать? От самой императрицы? Мы уже несколько раз встречались с герцогинею курляндскою, и все в затруднительных обстоятельствах

ее жизни. Жизнь до сих пор действительно была незавидная. Раннее и бездетное вдовство в стране слабой, за влияние над которою спорили три сильных соседа, сделало из Анны игрушку политических отношений и соображений; она стала невестою всех бедных принцев, желавших получить Курляндию в приданое; планы о браке ее составлялись и разделявались, смотря по отношениям между Россиею, Польшею и Пруссиею; неприятно было положение Анны при великом дяде; еще неприятнее при Екатерине I и Петре II. Чаша унижения была выпита до дна, а натура была жесткая, гордая, властолюбивая, чувствительная к унижению. Во всем препятствия, борьбы; за отношение к Бестужеву гонение от матери, царицы Прасковьи, на которую Анна была очень похожа жестокостию и энергиєю; понравился Мориц саксонский – «неблагодарный раб» расстроивает дело; из-за Бирона неприятная история с Бестужевым. Выбрали в императрицы, когда уже Анне было 37 лет; но князь Василий Лукич Долгорукий привез ограничительные пункты и требует, чтоб Бирон не ездил в Москву; князь Василий Лукич стережет, как дракон. Наконец тюрьма отпирается, Анна на полной свободе, она – самодержавная императрица; наконец-то можно пожить, но уже молодость прошла, оставив много горечи на сердце; да и дадут ли спокойно пользоваться властью? Выбрали с ограничением; ограничительные пункты разорваны, но остались недовольные, и недовольны сильные и знатные люди; при первом неудовольствии к ним пристанут и другие и начнут смотреть в другую сторону: в Голштинии соперник опасный – родной внук Петра Великого! Надобно смотреть зорко и жить в постоянном страхе, а подозрительность и страх – это такие чувства, которые не умягчают душу. Русское знатное шляхетство подозрительно; правда, оно было против верховников, но оно сочиняло разные проекты государственного устройства и 25 февраля просило свободы просмотреть эти проекты и составить один наиболее удовлетворительный; только энергическое движение гвардии заставило поспешить восстановлением самодержавия. Надобно привязать к себе эту гвардию, увеличить ее число и, главное, сосредоточить всю власть в руках людей вполне преданных, которых интересы неразрывно связаны с интересами Анны, которым грозила и постоянно грозит беда, если власть перейдет в руки русской знати. Эти люди – иностранцы. Но возвышением иностранцев, и особенно одного из них, который в глазах народа не имел никакого права на возвышение, оскорблялись русские; Анна при своем уме, которого у нее никто никогда не отнимал, не могла не сознавать этого и потому не могла быть покойна. Чтоб успокоиться, забыться среди постоянно тяжелых обстоятельств жизни для натуры, не способной уходить во внутренний мир души и оттуда вызывать успокоение, для натуры недоступной, не приготовленной образованием к высшим средствам восстановления падающих сил духа, – для такой натуры оставалось одно средство – внешнее развлечение, празднества, окружение себя существами, которые бы постоянно развлекали, гнали бы далеко докучную мысль и тяжелое чувство, и Анне необходимо иметь подле себя женщин, которые бы болтали без умолку. Так, она писала в Москву: «У вдовы Загряжской Авдотьи Ивановны в Москве живет одна княжна Вяземская, девка; и ты ее сыщи и отправь сюда, только чтоб она не испугалась: то объяви ей, что я ее беру из милости, и в дороге вели ее беречь, а я ее беру для своей забавы: как сказывают, что она много говорит». В другой раз Анна писала в Переяславль: «Поищи в Переяславле из бедных дворянских девок или из посадских, которые бы похожи были на Татьяну

Новокщенову, а она, как мы чаем, что уже скоро умрет, то чтоб годны были ей на перемену: ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которые бы были лет по сороку и так же б говорливы, как та Новокщенова или как были княжны Настасья и Анисья». Впоследствии люди знатные оскорблялись тем, что при Анне в числе шутов были два князя – Волконский и Голицын; но желание развлечься насчет ближнего, поймать его, посмеяться над ним было так сильно в Анне, что она не останавливалась ни пред каким саном, что видно из письма ее к казанскому архиерею: «Преосвященный архиерей! Письмо ваше из Казани мы получили, в котором пишешь, что ты приехал туда в самой Благовещеньев день, и даешь знать, что то есть марта 25 числа; за то мы благодарствуем, что научил нас здесь, в Петербурге, знать, в котором числе оный день бывает; а мы до сих пор еще не знали, однако ж уповали, что то как в Казани, так и здесь в одно время прилучается». В заключение представим два портрета Анны, нарисованные в разные времена, один – наблюдателем совершенно беспристрастным, другой – наблюдательницею очень пристрастною, но все же и второй портрет заслуживает внимания. Голштинский камер-юнкер Берхгольц в 1724 году так описывает визит, сделанный его герцогом курляндской герцогине Анне: «Она приняла его высочество очень ласково, но не просила его садиться и не приказывала разносить вино, как обыкновенно здесь водится. Герцогиня – женщина живая и приятная, хорошо сложена, недурна собою и держит себя так, что чувствуешь к ней почтение». Другой портрет от 1730 года: невеста князя Ивана Алексеевича Долгорукого Наталья Борисовна Шереметева смотрела на торжественный въезд Анны в Москву и описала ее так: «Престрашного была взору; отвратное лицо имела; так была велика, когда между кавалеров идет, всех головою выше и чрезвычайно толста».

Как же началась деятельность нового правительства? Просьба генералитета и шляхетства об уничтожении Верховного совета и восстановлении Сената в том значении, какой он имел при Петре Великом, была немедленно исполнена (4 марта). Число сенаторов, как именно просили, было назначено 21: канцлер граф Головкин, фельдмаршалы князя Голицын, Долгорукий и Трубецкой, князь Иван Федорович Ромодановский, князь Василий Лукич Долгорукий, князь Дмитрий Михайлович Голицын, барон Андрей Иванович Остерман, князь Алексей Михайлович Черкасский, генерал Ягужинский (освобожденный из-под ареста 25 же февраля), Григорий Петрович Чернышев, Иван Ильич Мамонов, князь Григорий Дмитриевич Юсупов, Семен Андреевич Салтыков, Андрей Иванович Ушаков, князь Юрий Юрьевич Трубецкой, князь Иван Федорович Борятинский, Семен Иванович Сукин, Василий Яковлевич Новосильцев, князь Григорий Алекс. Урусов, граф Михаил Гаврилович Головкин. Этот список не поражал новостью в сравнении с прежними временами: из двадцати одной фамилии только одна была немецкая – Остермана, но и барона Андрея Ивановича, как прежде Брюса, переставали считать иностранцем. На другой день, 5 марта, сенаторы присягали и немедленно имели рассуждение, надлежит ли в Сенате быть генерал-прокурору, обер-прокурору и рекетмейстеру? Рассудили, что рекетмейстеру быть надлежит, но от беспокойных блюстителей и напоминателей закона себя освободили. 18 марта «ее императорское величество изволила присутствовать в Сенате и заседать в своем месте. Притом изволила отдать пункты и указала по оным о сбавке подушных денег, рассмотря доложить ее императорскому величеству. Изволила же

дать указ с благочестивом содержании православные веры и прочего, что касается ко св. церкви, и по прочтении оных министры за такую ее императорского величества милость благодарили. Изволила слушать реестр докладам и указала те доклады взнести со временем в дом ее императорского величества, и тогда рассматривать изволит. Потом изволила отсутствовать».

Мы видели, что Верховный тайный совет, желая удовлетворить недовольное шляхетство, обещал уничтожение майората и учреждение военного училища, из которого молодые шляхтичи могли бы выходить прямо офицерами, не подвергаясь унижительной службе в солдатах. Самодержавная императрица признала за нужное исполнить эти обещания уничтоженного ею Совета. В декабре 1730 года утвержден был доклад Сената, что «в 1714 году Петр Первый, император, по первенству одного наследником учинить соизволил в таком всемилостивейшем намерении: 1) чтоб от разделения деревень в разные руки фамилии и знатные дома не упали и крестьяне не отягчены были помещиковыми податями и для того б исправнее государственные подати платить могли; 2) чтоб те дети, которые к деревням наследники не будут, принуждены были хлеба искать службою, учением и торгами. Но ныне усмотрено, что те пункты по состоянию здешнего государства не к пользе происходят, а именно 1) отцам не только естественно, но и закон божий повелевает детей своих всех равно награждать, и для того, которые у себя имеют по два или по три сына и по нескольку дочерей, те всячески ищут, каким бы образом всех равно удовольствовать, и если прочих движимым наградить нечем. то принуждены с крестьян излишнее брать или деревни продать в чужой род, чтоб деньги на раздел прочим оставить, или те ж деревни перепродавать чрез несколько лиц для укрепления меньшим детям, и в платеже пошлин несут великие убытки; а если кто при себе не сделает, то принужден написать в духовной на себе немалый долг и с клятвою наследнику завещать под тем образом заплатить меньшим детям, и некоторые, исполняя волю отцовскую, платят, продав те же отцовские деревни, а иные наследники, ведая, что на отце их такого долгу не было, духовные оспаривают, и происходят между братьями ненависти, и ссоры, и продолжительные тяжбы с великим с обеих сторон убытком и разорением, и в такой ненависти и злобе вечно принуждены оставаться, и не безызвестно есть, что не токмо некоторые родные братья и ближние родственники, но и отцов дети побивают до смерти. 2) Хлеб, лошадей и всякий скот за движимое почитают и отдают меньшим братьям с сестрами, и, таким образом, у наследника без хлеба и без скота деревни в состоянии быть не могут, а у меньших братьев без деревень хлеб и скот пропадают, и как наследники, так и кадеты от того в разорение приходят. И хотя определено, чтоб те, которые к деревням не наследники, искали б себе хлеба службою, учением, торгами и прочим, но того на самом деле не исполняется, ибо все шляхетские дети, как наследники, так и кадеты, берутся в службу сухопутную и морскую в нижние чины, что кадеты за двойное несчастье себе почитают, ибо и отеческого лишились, и в продолжительной солдатской или матросской службе бывают, и до такого отчаяния приходят, что уже все свои шляхетные поступки теряют. 3) Деревень в приданое за дочерьми давать не велено, чтоб они в чужие роды не выходили; это также с немалою тягостию происходит, ибо, вместо того чтоб дать в приданое деревни, принуждены их продавать и те деньги за дочерьми давать, потому что без этой продажи дать нечего, и потому деревни стали больше

прежнего выходить из роду, тогда как отдачею деревень в приданое ущерба фамилиям быть не может: когда кто деревню отдаст за дочь, то вместо того сын его возьмет за женою из другого рода. 4) В делах превеликое затруднение и волокита происходят, потому что Устав, как в государстве необычный, разным образом толкуется; а так как благополучие государства и польза состоят в правосудии и благосостоянии подданных, то мы, всеподданнейшие вашего императорского величества рабы, собрание Правительствующего сената, доносим и всепокорно просим верных рабов своих пожаловать, повелеть с сего указа в разделении детям как движимых, так и недвижимых имений чинить по уложению и то, какое награждение давать женам и дочерям, определить вновь пунктами; которые дела решены по пунктам 1714 года, а спору и челобитья нет, тем быть так; а которые отцы уже сделали наследником одного из сыновей, а теперь пожелают разделить всем, или кто из братьев по смерти отцовой сделан один наследником, а пожелает сам с меньшими братьями разделить полюбовно и о том будут бить челом, тем дать на волю».

При Екатерине I и Петре II происходили отмены уставов Петра Великого, но майорат не был тронут, потому что власть находилась в руках немногих людей, самых богатых и знатных, старых или новых – все равно; самое установление Верховного тайного совета уже обозначало это выделение немногих богатейших и знатнейших людей, для которых майорат не мог быть тяжек: они имели средства наградить своих младших сыновей, или кадетов, как тогда называли, движимым, имели возможность выгодно устроить их браки, выгодно устроить, их службу. Но для массы землевладельцев майорат, разумеется, был страшно тяжек в государстве земледельческом, с слабым промышленным и торговым развитием, с ничтожным потому количеством денег; новая Россия, несмотря на средства, данные ей преобразованием, была еще очень недалеко от старой России, где за отсутствием денег землю платили за государственную службу, землю платили за помин души и, где надобилось движимое, там вместо денег употребляли звериные шкуры, меха; понятно, что землевладельцу неоткуда было добывать денег для надела младших сыновей и дочерей, он мог жить только день за день доходами с земли, получая их преимущественно натурою, и отсюда все указанные в сенатском докладе неудобства; пропущено еще одно зло – что при редкости денег желавшим продавать деревни трудно было найти покупателей и деревни должны были продаваться за низкую цену. Понятно, что верховники, желая привлечь на свою сторону массу землевладельцев, бывшую против них, не могли придумать лучшего средства, как обещать уничтожение майората, и правительство Анны точно так же нашло необходимым для себя исполнить это обещание. Масса землевладельцев, или шляхты, требуя равенства прав для всех своих членов и восторжествовав над верховниками, этими людьми, которые хотели быть старшими, привилегированными братьями в семье дворянской, – масса землевладельцев воспользовалась своим торжеством, чтоб просить о восстановлении равенства между братьями в каждой частной семье шляхетской.

Другое обещание верховников было исполнено не ранее половины 1731 года, вероятно по финансовым затруднениям. 29 июля дан был указ Сенату об учреждении Кадетского корпуса. «Весьма нужно, – говорилось в указе, – дабы шляхетство от малых лет к воинскому делу в теории обучены, а потом и в практику годны были; того ради указали мы: учредить корпус кадетов, состоящий

из 200 человек шляхетских детей от 13 до 18 лет, как российских, так и эстляндских и лифляндских провинций, которых обучать арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, артиллерии, шпажному действию, на лошадях ездить и прочим к воинскому действию потребным наукам. А понеже не каждого человека природа к одному воинскому склонна, также и в государстве не меньше нужно политическое и гражданское обучение, того ради иметь при том учителей чужестранных языков, истории, географии, юриспруденции, танцованию, музыки и прочих полезных наук, дабы, видя природную склонность, по тому б и к учению определять. И на содержание того корпуса и учителей на прочие расходы определяем сумму 30000 рублей». В ноябре издан был Устав корпуса, где говорилось, что «Корпусу кадетов быть в С.-Петербурге, понеже тамо они как в определенной при Академии Наук Гимназии в разных науках обучены быть, так же и от Академии самой, к вящему их в науках успеху, потребные способы получать могут; сверх того ж, в С.-Петербурге всегда знатное число войск, артиллерия и полный арсенал содержится, также ежедневно гражданской и военной архитектуры строения отправляются, причем обучаемые молодые люди купно с теориею со временем и практику видеть могут, не меньше же к обхождению с разными иностранными нациями и к обучению их языкам больше и лучше случая имеется». Для помещения Корпуса отдан дом князя Меншикова на Васильевском острове. Корпус разделяется на 4 класса: в четвертом, или низшем, кадеты обучаются русскому и латинскому языкам, чистописанию и арифметике; в третьем классе – геометрии, географии и грамматике; во втором – фортификации, артиллерии, истории, правильному в письме складу и стилю, риторике, юриспруденции, морали, геральдике и прочим воинским и политическим наукам. В первом классе обучаются далее тем наукам, к которым в прежних классах больше склонности, прилежания и понятия показали; переводятся в этот класс и выпускаются из него военными и гражданскими чинами после строгого экзамена. Русскому, французскому и немецкому языкам кадеты обучаются во всех классах, также и латинскому – по охоте. В кадетском доме высших трех классов всякому кадету должно пять или шесть лет неотлучно в учении быть, чтоб фундаментальное знание могли получить, а которые, имея охоту к высшим гражданским наукам, желают еще более ими заниматься, те могут учиться у профессоров Академии Наук. Число русских кадет должно быть 150, эстляндских и лифляндских – 50.

Новое учреждение представляет нам естественное развитие в истории учебных заведений в России. Академия Наук по плану Петра Великого заключала в себе Академию Наук, Университет и Гимназию. Теперь выделилось высшее учебное заведение, вовсе не специально военное, ибо это специализирование по тогдашним средствам России было еще невозможно; новое учреждение носит характер военный и гражданский вместе, ибо, как говорится в указе и уставе, не всякий способен к военной службе и гражданское образование так же нужно в государстве, как и военное.

Мы видели, что императрица в первом заседании своем в Сенате дала указ о «благочестивом содержании православной веры»; после она сочла необходимым придать другой указ о решении дел судьям по чистой совести: «Понеже правосудие есть целость и здравие государства, а где того нет, там божие благословение и милость отъемлются и в праведный его гнев впадают». Но одни

подобные провозглашения не могли подействовать на судей, и в июне 1730 года дан был Сенату указ, чтобы каждую субботу подавались императрице два рапорта за подписью сенаторов: в одном должно быть означено, сколько в прошедшую неделю решено было в Сенате таких дел, которые могли быть решены на основании существующих законов; во втором рапорте должны быть означены такие дела, которые не могут быть покончены без собственного решения и указа императрицы, и за получением этого указа сенаторы должны являться каждую субботу к императрице или все, или по крайней мере от 5 до 6 человек.

Но «ничто так не было нужно к праведному и незазорному суду, как совершенное Уложение, ибо после старого российского Уложения многие разные указы и в разные времена выдавались и затем есть один с другим не вовсе согласные, чрез что случай подается бессовестным судьям, подбирая указы, на которую сторону хотят дело решить несправедливо». «Относительно Уложения до сих пор ничего не сделано, – говорилось в указе 1 июня 1730 года. – И мы, последуя нашего дяди намерению, милосердя к верным подданным нашим, чтоб во всей нашей империи был суд равный и справедливый, повелеваем начатое Уложение немедленно оканчивать и определить к тому добрых и знающих в делах людей по рассмотрению Сената, выбрав из шляхетства, и духовных, и купечества, из которых духовным и купецким быть в то время, когда касающиеся к ним пункты слушаны будут; а чтоб поспешнее оканчивали, то, коль скоро которую главу окончат, слушать в Сенате всем собранием и, утвердя по крайнему рассуждению и подписав, вносить к нам, и, как от нас апробовано и подписано будет, тогда, напечатав, публиковать и по оным дела решать и так одну по другой главы к совершенству привести». Мысль о присутствии выборных из областей при составлении Уложения не была покинута, и вслед за приведенным указом Сенат распорядился, чтоб дворян, которые по указу 1729 года выбраны в губерниях для сочинения Уложения, достойные по выбору тамошнего шляхетства, тех выслать в Москву непременно к 1 сентября 1730 года, а где еще не выбраны, там выбирать и высылать к тому же сроку.

Сенат воспользовался поднятием дела об Уложении, чтоб возбудить вопрос о майорате; в июле сенаторы рассуждали: «Если ее императорское величество даст позволение, чтоб о наследствах поступать по прежним указам и Уложению, то в сочинении нового Уложения вотчинной главы труд очень уменьшится, потому что многие пункты прежнего Уложения достаточны будут». Но надобно было немедленно исполнять указ об окончании нового Уложения.

Мы видели, что это дело было поручено Ивану Познякову и секретарю Сверчкову. Они были призваны в Сенат и спрошены, что делают. Отвечали, что сведена глава о богохульниках, которую и представили. Потом сенаторы начали рассуждать, что первому титулу о законодателе быть не надобно, что надлежащую до духовности главу надобно рассматривать Синоду или определить с светскими некоторых духовных персон. Рассмотревши форму главы о богохульниках, приказали Познякову и Сверчкову, чтоб сводили по той форме только, что касается из Кормчей книги до гражданства, того также не выписывали бы и шли б по оглавлениям, и титул по титуле, на основании прежнего Уложения, разнося по приличности глав. Сочли необходимым прибавить работников и приказали быть у сочинения Уложения: Григорью Ергольскому, Степану Колычеву, Семену Карпову, Ивану Кожину, Петру Лобкову. Приехали выборные из областей, но Сенат

убедился, что они не могут принести никакой пользы делу, и потому в конце 1730 года определил отпустить их по домам, новых не вызывать, а увеличить число знающих людей: в декабре приказали у сочинения и *окончания* Уложения быть сверх прежде определенных тайному советнику Феодору Наумову; действительным статским советникам: Алексею Зыбину, Алексею Баскакову, бригадиру Петру Засецкому; статским советникам: Афанасью Савелову, Ивану Вельяминову, советнику Дмитрию Потемкину, Ивану Алмазову, Василью Высоцкому – и для скорого сочинения и окончания Уложения присутствовать из членов прав. Сената по одной персоне с переменою понеделельно; а как будут сочиняться надлежащие до Юстиц– и Вотчинной коллегий главы, в то время быть при том тех коллегий членам.

Окончание Уложения было только на бумаге; а между тем громко вопили против несправедливых решений в судах. Сенат думал, как помочь делу, и в начале 1731 года придумал такое средство: «Прежде во всех приказах, и особенно в судных, спорные дела судьи слушали при самих истцах и ответчиках, и челобитчики были этим очень довольны, потому что подьячие не могли неправо докладывать, и если б захотели одной стороне сделать ущерб, а другой норовить и для того выпустить что-нибудь из дела или утаить, то истцы и ответчики предостерегали сами и тогда же судьям о том спорили и напоминали. А теперь не только в коллегиях и канцеляриях, и в самых нижних судах в Москве и городах воеводы, в ратушах бурмистры спорные дела слушают без истцов и ответчиков; и хотя утверждают на том, что по спорным делам истцы и ответчики прикладывают к выпискам руки, однако тут бывает не без греха; часто случается, что одна какая-нибудь речь всю силу дела в себе содержит, а секретарь или подьячий эту сильную речь или содержание указа пропустит, что судьи и усмотреть не могут, и таким образом истец или ответчик обвинен быть может. Для избежания этого приказали: во всех судных местах спорные дела слушать при истцах и ответчиках, как такой порядок был прежде, а притом им никаких излишних речей и споров не иметь, дабы от того в слушании дел помешательства и затруднения не происходило».

Ошибки в докладах и выписках выставлены главным побуждением в указе 1 июня 1730 года, которым предписывалось разделение Сената на департаменты: «Так как все дела в прав. Сенате определяются по докладам и выпискам, делаемым канцелярскими служителями, и легко случиться может, что в этих докладах и выписках не по пристрастию, а от простоты, многодельства, поспешности или от какого-нибудь другого случая бывают погрешности, от которых и без всякой вины прав. Сената в резолюциях по временам могут произойти какие-нибудь несходства, к тому же от множества дел, как государственных, так и челобитчиковых, которые надобно слушать и решать всему собранию, недостает времени для решения государственных дел без продолжения и челобитчиковых без волокиты, поэтому рассуждаем за благо в правит. Сенате по примеру других государств все дела разделить по разным департаментам, например: 1) о духовных делах, в чем они до правит. Сената касаться будут; 2) о военных сухопутных и морских делах; 3) о Камер-коллегии делах и доходах и расходах государственных; 4) о юстиции и челобитческих делах; 5) о купецких делах и государственных заводах, фабриках и бергверках. При каждом департаменте были бы четыре или пять человек из членов прав.

Сената, которых должность в том состоять будет, что когда в правит. Сенат какие дела войдут, касающиеся их департамента, то они наперед между собою эти дела сами рассмотрят, надлежащим образом исследуют – одним словом, все то изготовят, что к полному решению и определению его потребно, а потом с объявлением своего мнения в полном собрании правит. Сенату для решения предложат. Чрез это: 1) всякие погрешности в канцелярии правит. Сената упредятся; 2) всякие дела с лучшим основанием и благоугодным правосудием и 3) безволочитно и без остановки решены и отправлены будут; 4) правит. Сенату великое облегчение сделается».

Мы видели, что при восстановлении своем в прежнем значении господина Сенат хотели избавиться от прокуроров, но наверху кто-то постарался представить, что это установление великого дяди необходимо, без него дела идут дурно и, главное, каким образом исчезли прокуроры, о том никто не знает. 2 октября 1730 года явился манифест: «Небезызвестно нам есть, что в коллегиях и канцеляриях в государственных делах слабое чинится управление и челобитчики по делам своим справедливого и скорого решения получить не могут, и бедные, от сильных утесняемые, обиды и разорения претерпевают. А так как блаж. пам. дядя наш и государь при сочинении должности сенатской такие непорядки и утеснения бедным не точию отвратить искал, но, дабы оные весьма искоренить и совершенный, добрый порядок ввести, рассудил учинить особое определение. Для этого не понапрасну чин генерал-прокурора и ему помощника обер-прокурора при Сенате, а в коллегиях и тогда бывших надворных судах прокуроров учредить изволил. *Каким же указом оный чин по кончине дяди нашего отставлен и кем отрешен, о том нам неизвестно*. Поэтому повелеваем и учреждаем быть по определению дяди нашего и государя при Сенате чину генерал-прокурора и ему помощником обер-прокурору; также во всех коллегиях и других судебных местах прокурорам быть по-прежнему». Временно исправлять должность генерал-прокурора поручено было Ягужинскому; обер-прокурором назначен был стат. совет. Маслов.

Мы видели, как скоро почувствовано было, что в стремлении сократить число учреждений, явившихся при Петре Великом, перейдена была граница, как скоро почувствовано было, что в Москве нельзя было уничтожить Надворный и Провинциальный суды и все дела сосредоточить в Губернской канцелярии. В марте 1730 года Сенат подал доклад, что до учреждения губерний в Москве было семь приказов для суда и расправы и волокиты челобитчикам не было! (Через 30 лет старина уже начала забываться, стали забываться жалобы людей XVII века на знаменитую московскую волокиту!) Потом были учреждены надворные и провинциальные суды, но в 1727 году надворным судам быть не велено, а суд и расправа были положены на губернаторов и воевод, вследствие чего судные и розыскные дела взяты в Московскую губернскую канцелярию, и в том числе невершенных дел 21388. По обширности города Москвы и губернии Сенат считал необходимым учредить в Москве Судный и Сыскной приказы: в первом давать суд всякого чина людям, которые будут находиться в Москве, во втором ведать воровские, разбойные и убийственные дела с апелляциею на оба приказа в Юстиц-коллегию. Доклад был утвержден. В декабре того же года Сенат представил о необходимости восстановления Сибирского приказа, потому что сибирские губернаторы имеют слишком обширную власть, воеводы не могут

мимо их ни о чем писать ни в Сенат, ни в Камер-коллегию и в таком дальнем краю ничего не видно, как воеводы поступают. Доклад был утвержден, и возобновленный приказ был поручен Ягужинскому. Относительно коллегий в октябре 1731 года Берг-коллегия и Мануфактур-контора соединены были с Коммерц-коллегиею, «потому что от разделения их никакой пользы не было, кроме казенного убытка и в делах затруднения и между ними излишних переписок».

Мы видели, что еще при Петре II стали тяготиться отменой мер Петра Великого относительно областного управления, сосредоточением всей власти в руках воевод, которых сами правительственные лица называли волками. Волки бросились на добычу, и отовсюду поднялись страшные вопли, как было в допетровской России, и вот появляется указ, как будто списанный с указов прежних царей: «Известно учинилось, что многие воеводы как посадским, так и уездным людям чинят великие обиды и разорения и другие непорядочные поступки и берут взятки, о чем уже и челобитные многие в правит. Сенат на них поданы, а на иных и бить челом опасаются, для того что те воеводы многие годы живут беспеременно; того ради великая государыня императрица указала во всех городах воеводам быть с переменою на два года и по перемене приезжать им с росписными и счетными списками приходу и расходу ведомства их и с ведомостями о доимках, как денежных, так рекрутских, в Сенат. И буде который исправен и после смены в год челобитчиков на него не будет, таких определять в воеводы же по рассмотрению». Потом догадались, что воеводы без секретаря или подьячего все равно что без рук, и потому велено приезжать вместе с воеводами для отчета и секретарям или, где секретарей нет, подьячим, составлявшим ведомости, «дабы воеводы по тем ведомостям и счетным спискам лучшую отповедь чинить имели без всяких отговорок».

Губернаторов и воевод обвинили в беспорядках относительно сбора подушных денег с крестьян и на этом основании восстановили систему Петра Великого. В указе, данном Сенату в октябре 1730 года, говорится, что Петр Великий на крестьян всего государства положил одну подать, и для того велено армейские и гарнизонные полки расписать по уездам и расположить на вечные квартиры, и, чтоб крестьянам излишних тягостей сверх подушного не было, сбор поручен был земским комиссарам под смотрением полковников; земских комиссаров по окончании года считали и на их места выбирали новых сами помещики, которые имели власть наказывать комиссаров, которые были замечены в отягощении крестьян; сверх того, польза от расположения войск по уездам была очевидна в удержании воровства, разбоев, крестьянских побегов и в охранении крестьян от гражданских правителей. В 1727 году, продолжает указ, это полезное определение отменено, подушный сбор положен на губернаторов и воевод, офицеры от сбору отрешены, от чего в уездах от воевод и от подьячих многие непорядки и крестьянам тягости, а именно послаблением многая на крестьянах доимка запущена, что крестьянам к большему разорению, а не к пользе произошло, комиссары излишние и вымышленные сборы производили и, приняв деньги, отписей не давали, а писали в доимку; произошло многое в уездах воровство и разбой, и крестьяне бегут: Поэтому подушный сбор положен по-прежнему на полковников с офицерами. В следующем, 1731 году новый именной указ, что по ведомостям, присланным от офицеров, показано множество

доимок, которых запускать не надлежало, и потому императрица повелела объявить, чтоб помещики, архиереи и монастырские власти заплатили эту доимку в три месяца без всякого отлагательства, а взыскивать на них офицерам без всякого послабления. В то же время был издан регламент Камер-коллегии, в котором постановлялось: «Подушные деньги платить самим помещикам, а где самих помещиков нет – прикащикам и старостам или тем людям, кому эти деревни приказаны, а дворцовых, архиерейских и монастырских вотчин самим управителям, не дожидаясь повестки, деньги отвозить самим в город и отдавать воеводам; в случае непривоза денег в срок полковники вместе с воеводами посылают в незаплатившие деревни экзекуцию, велят немедленно править на помещиках или прикащиках и старостах». В конце 1731 года первый указ был повторен с угрозой штрафов. Тогда же дан был указ Дворцовой канцелярии, что на дворцовых волостях много доимки, которую взыскать на судьях и управителях, ибо их несмотрением доимка запущена.

Подушные деньги шли на войско, состоянием которого были недовольны и в прошлое царствование. Еще Верховный тайный совет накануне знаменитого 25 февраля издал указ о принятии иностранных инженеров в русскую службу «за недовольством в Инженерном корпусе обер-офицеров», и в тот же день на содержание пограничных крепостей и артиллерии определена сумма в 70000 рублей в год. В июне 1730 года самодержавная императрица издала указ: «Всякий верный сын отечества признать должен, что крепость и безопасность государства, содержание мира и святого покоя от чужих неприятелей и, следовательно, благополучие всех подданных по бозе от содержания порядочной и благоучрежденной армии зависит; а по кончине дяди нашего многие непорядки и помешательства при ней явились и ныне еще являются и происходят, для поправления которых еще при тетке нашей и племяннике нашем особливые комиссии учреждены были, но в действо не произведены. Наше соизволение есть – учреждение Петра Великого крепко содержать, все непорядки и помешательства исправлять и привести армию в доброе состояние без излишней народной тягости, и потому мы заблагорассудили учредить особливую комиссию с двоякою целью: 1) дабы сухопутную нашу армию в порядочном состоянии всегда содержать; 2) дабы обстоятельно можно было знать, какая сумма именно на содержание войска необходима». В июне 1730 года в Сенате рассуждали, что Военная коллегия и Комиссариат состоят не в таком порядке, как надлежит, многое упущено и ведомостей Коллегия в Сенат не подает; Комиссариату надобно быть особо, а не в ведении Военной коллегии. Впущен был заведовавший Комиссариатом генерал-майор Кропотов, спрошен о ведомостях и доносил, что в Военную коллегия поданы, и притом говорил, что некоторые расходы Коллегия делает мимо Комиссариата и сообщает для ведома после. Собрание объявило ему, чтоб он ведомости в Сенат от себя подавал прямо, мимо Военной коллегии, потому что впредь он в ведомстве этой Коллегии не будет. Кропотов отвечал, что если так, то он будет подавать в Сенат ведомости с показанием непорядков Военной коллегии; он же доносил, что комиссары должны быть не из офицеров, потому что от них много продерзостей; но Сенат рассуждал, что могут быть и офицеры, только по прошествии каждого года они должны быть присылаемы в Комиссариат к ответу и отчету. Тогда же Сенат слушал доношение Военной коллегии о рекрутах, в какие

лета и в какую меру их брать. Приказали принимать мерою не меньше двух аршин с четвертью, а летами от 15 до 30.

Относительно флота в июле 1730 года императрица дала указ Сенату: «Мы, последуя дяди нашего установлению и рассуждая о нужде, которая для благополучия и безопасности государства нашего в содержании корабельного и галерного флотов имеется, повелеваем нашему Правительствующему Сенату в Коллегию адмиралтейскую накрепчайше подтвердить, чтоб корабельный и галерный флоты содержаны были по уставам, регламентам и указам, не ослабевая и уповая на нынешнее благополучное мирное время». Но в следующем году толковали, что флот погибает, едва 12 кораблей могут выйти в море. Некоторые стали выражать мысль, которую имел еще Меншиков, не лучше ли уничтожить военные корабли и оставить одни галеры? Мысль эта нравилась при дворе, потому что освобождала от издержек, но против нее восстал дядя императрицы Салтыков; он говорил, что главные издержки на флот уже сделаны при Петре Великом, а теперь остается только поддерживать. Адмирал Сиверс был того же мнения, говорил, что галерный флот один без военных кораблей не может выйти в море, первая буря даст возможность неприятельским кораблям уничтожить его, притом Россия без флота потеряет значение на севере. Решено было увеличивать число военных кораблей.

Сенат сильно занимал вопрос о штатах: в ноябре 1730 года князь Василий Владимирович Долгорукий предложил, что статские чины жалованья получают много, а военные против них находятся в обиде, во-первых, умалением ранга, во-вторых, жалованья получают гораздо меньше, вследствие чего отнимается охота к военной службе и стараются быть определенными к статским делам; поэтому надобно статским чиновникам убавить жалованья. Остерман согласился с этим мнением. Князь Черкасский предложил, что до 1715 года в приказах дьяков и подьячих было гораздо меньше, а дела исправлялись без остановки; а как с 1715 года определено жалованье, то секретарей и подьячих стало больше, и теперь в коллегиях такие дела, которые прежде бывали у одного понытчика, разделены на многие понытья, и от того увеличено число секретарей и подьячих; а в ведомостях из коллегий показывают, что без такого числа в делах исправиться нельзя. Для этого надобно сенатским членам, хотя поденно, свидетельствовать коллежских и канцелярских служителей, какие у них дела и можно ли из них убавить, дабы лишних служителей не было, потому что лучше оставить хотя немногих, только достойных, которым по их достоинству и жалованье определить. Князь Дмитрий Михайлович Голицын предложил, что у статских жалованья убавить нельзя и приказных служителей убавлять не следует, чтоб коллегии недостаточным числом служителей в исправлении дел вперед не отговаривались, а хотя и свидетельствовать, только не о числе служителей, но о сумме, какой коллегии за излишний труд перед прочими прибавить, а где меньше труда, у тех убавить. Князь Черкасский представлял, что для сочинения штата надобно рассмотреть о числе коллегий, всем ли им надобно быть или убавить, потом привести их в лучший порядок; а затем определить, сколько надобно где членов и служителей и с каким жалованьем, а особливо говорил о Берг-коллегии, что не так смотрит над заводами, как следует, и надобно в коллегиях разделить дела между членами по частям.

Относительно торговли продолжала работать остермановская Комиссия о коммерции. По ее донесению в 1731 году позволена была свободная торговля по всей России всякого звания иноземцам с уплатою положенной пошлины. В 1730 году Сенат занимал вопрос о казенных товарах; в последнее время эти товары отдавались прусским купцам, которые за то поставляли сукна на русское войско; но теперь, вследствие того что враждебные отношения между Россией и Англиею готовы были прекратиться, английские купцы явились соперниками прусским, и Сенат явно склонялся на их сторону. В июне месяце сенаторы согласно рассудили: написав предложения как английских, так и прусских купцов, доложить ее величеству и притом представить, что с англичанами истари русский торг производится, от которого большая польза: англичане покупают русские товары на свои деньги и сукна английские лучше прусских; русские купцы в своих торговых делах с англичанами довольны ими, тогда как на прусских купцов и от своих, и от иностранцев много жалоб, притом же пруссаки деньги из государства вывозят. Комиссия о коммерций представила в Сенат донесение русских купцов о помехе торгам их вследствие поставки прусских сукон. Выслушав это донесение, сенаторы начали рассуждать, не лучше ли казенные товары послать для продажи за море в Комиссию, чтоб не было монополии? В пользу этого мнения Остерман представлял, что если здесь продажу казенных товаров и поставку сукон заключить на пять лет с одними купцами, то будет две монополии: первая в продаже в одни руки товаров, вторая в поставке одними купцами сукна; а если товары отпустить в Комиссию, то хотя расходов на них будет и больше, только не будет монополии и помехи русским купцам в их торгах; если казенные товары продавать и в России, то не все, а небольшое число, чтоб поднять им цену, а сукна покупать у вольных продавцов, кто из них возьмет дешевле, не входя ни с кем в обязательство; вперед казенных товаров, поташа и смольчуга, для заморского отпуска или продажи в России заготовлять с некоторою убавкою по последующим причинам: 1) от многого заготовления этих товаров лес истребляется; 2) чем больше заготовлено товаров, тем цена на них меньше; 3) если товаров заготовлять меньше, то цена их будет высока и лес не так будет выводиться. Дела не решились без совета с знающим человеком; послали спросить Осипа Соловьева: казенные товары здесь ли продать полезнее на известных условиях или послать за море и на каких судах, и кому в комиссию поручить? Соловьев отвечал: если отпускать на своих кораблях, то довольно отпустить в Амстердам на комиссию 1500 бочек смольчуга, 500 поташа, сверх того, если Виллерс или Меер примут на свои руки 1000 бочек и пошлют к своим корреспондентам на комиссию, то это будет полезно. Меер объявил, что возьмет 1500 бочек поташа по 17 ефимков. Но Остерман представил, что императрица по докладу его указала: поташ отправить в Англию на комиссию, на каких условиях Сенат заблагорассудит, а смольчуг и прочие товары продать русским купцам. Осип Соловьев донес, что для загрузки ластовых судов, которые должны отправиться с казенными товарами, чтоб наем не был даром, надобно купить у Архангельска пеньки, холста, льну и пряжи. Спросили его: какому надежному человеку поручить покупку? Он отвечал: Льву Семенникову, который учился в Англии. Согласились.

Относительно полиции обратились к мерам Петра Великого против нищих. В июле 1730 года императрица говорила Сенату в своем указе: «Усмотрели мы, что нищие прямые, престарелые, дряхлые и весьма больные без всякого призрения по

улицам валяются, а иные бродят; с другой стороны, нам известно, что в богадельни вместо прямых нищих записывают таких, которые могут работою питаться, а иные и в богадельнях не живут, но одно жалованье получают, и не без греха, что бедные без призрения страждут, а вместо них тунеядцы хлеб похищают; поэтому повелеваем немедленно тунеядцев из богаделен выслать или определить на работу, а прямых нищих в богадельни ввести; помещичьих отдать помещикам, посадских в посады для пропитания; малолетних мужеского пола определять в гарнизонные школы, чтоб выросши, годились в службу вместо рекрут; девочек на фабрики или кто захочет взять их на воспитание и в услужение». Сенат распорядился немедленным исполнением указа, но в ноябре должен был писать, что многие нищие по улицам бродят, и грозить полиции жестоким наказанием. Полиция не имела никаких средств исполнить указ Сената и обратилась к Синоду, признаваясь, что, несмотря на строгие указы, число нищих умножилось, и особенно находят они себе убежище в церквях и рядах; чтоб св. Синод дал указ священникам не позволять просить милостыни при церквях. Синод дал указ; но какие средства имели священники для его исполнения?

Плохое состояние медицинского дела побудило к смене архиатера (Блументроста); Медицинской канцелярии дали коллегиальное устройство, назначив ее членами докторов: Быдла, Шоберта, фон Дегульста, Севаста и Теульса. Главную обязанностью конторы было смотреть за аптекою, лабораториею и магазином и отправлять в войско искусных лекарей «без всякого похлебства, ни по дружбе, ниже по ненависти».

Так как Москва была резиденциею, то в 1730 году озаботились об ее освещении. Для зимних ночей по большим улицам велено сделать из Полицмейстерской канцелярии и поставить на столбах фонари стеклянные на расстоянии 10 сажень один от другого; горело в них конопляное масло с фитилем в те ночи, когда об этом дан будет приказ от двора; содержать их и чинить должны были обыватели.

С каким трудом отвыкали русские люди от диких привычек в пользу общежития, видно, между прочим, из того, что указы против скорой езды по улицам, начавшиеся издаваться еще с XVII века, оставались без действия. «Хотя прежде сего на Москве опубликовано, – говорит указ 1730 года, – дабы всяких чинов люди как дневным, так и ночным временем ездили как в санях, так и верхами смирно и никого лошадыми не давили и не топтали, однако ныне ее величеству известно стало, что многие люди ездят в санях резво и верховые их люди пред ними необыкновенно скачут и, на других наезжая, бьют плетьюми и лошадыми топчут». Велено было посылать разезды из драгун и солдат и ловить таких резвых людей. Правительство сочло нужным напомнить указом, что за волшебство закон определяет сожжение: «Известно ее величеству, что в России некоторые люди показывают себя, будто волшебства знают и обещаются простым людям чинить всякие способы».

Мы видели, что верховники потребовали прежде всего от новой императрицы, чтоб она была верна православию. Анна, сделавшись самодержавною, не упускала случая показывать свою ревность к православию, чтоб не подумали, что долговременное пребывание в стране иноверной ослабило эту ревность. 17 марта подписан был ею манифест, в котором она провозглашала, что прилежное попечение имеет о хранении и защищении православного закона

христианского восточной церкви и прочих преданий, славы ради и хвалы божия учрежденных, и повелевала правит. духовному Синоду «прилежное попечение иметь, дабы все христиане закон божий сохраняли, тайны святыя, на спасение наше от Спасителя нашего нам преданные, и прочие предания, от церкви святой узаконенные, со тщанием и благоговением исполняли, и в праздники и в воскресные дни на службу божую в церковь приходили со тщанием, и во время службы святой в церквах благочиние сохраняли; сущие же под властью нашею разные народы, которые не знают христианского закона, также раскольников, невежеством своим противляющихся св. церкви, обращать увещанием и учением во благочестие и соединение св. церкви; храмы же святыя и нищепитательные дома, которые от скудости или иным каким образом опустели, возобновить и всеми потребными удовольствовать. Училища учредить по Регламенту духовному. Установленные же в нашей империи крестные ходы и благодарные моления во дни тезоименитства нашего и нашей фамилии и в прочие определенные дни также на памяти усопших предков наших молитвы и поминовения отправлять неотложно и во время посылаемых от бога разных наказаний молитвы и прошения творити об отвращении праведного его гнева со смирением, благоговением и с наложением по рассуждению поста по примеру ниневитскому и во оных всех ходах и молитвах для чести и показания собою образа присутствовать архиереям и отправлять благочинно и порядочно, не оставляя ничего, *так, как прежде сего, при их величестве деде и отце нашем, было,* и при том присутствовать по одной персоне из сенаторов и по две персоны к тому из других чинов по рассмотрению сенаторскому».

Манифест был, по-видимому, направлен против архиереев-нововводителей, пренебрегавших крестными ходами, на что сердился Сенат еще во времена Петра Великого; архиереем-нововводителем считался Феофан Прокопович; в манифесте заключалась даже выходка против дяди-преобразователя, объявлялось, что все будет по старине, как было при деде и отце государыни. Но все это было, по-видимому, в первые минуты, когда в страхе перед сильною борьбою хотели прикрыться ревностию к православию и прикрыть Бирона. Усердие Феофана Прокоповича не могло остаться без награды, его не могли выдать врагам. Феофан в стихах прославлял 25 февраля:

В сей день Августа наша свергла долг свой ложный,/ Растерзавши на себе хирограф подложный,/ И выняла скипетр свой от гражданского ада,/ И тем стала Россия весела и рада,/ Таково смотрение продолжи нам, боже,/ Да державе Российской не вредит ничто же./ А ты, всяк, кто не мыслит вводить строй отманский,/ Бойся самодержавной прелестниче Анны./ Как она бумажка, все твои подлоги/ Растерзанные падут под царские ноги.

Неизвестно, с какой стороны было внушено, надобно заняться, и 20 мая дан был указ: «Все́м дядя наш, Петр Великий, правит. духовный Синод учредил и регламентами принадлежащими удовольствовал, который тогда состоял в довольном числе персон; а ныне Синод не в таком состоянии, как прежде был. Рассуждая об этом как об очень благопотребном деле, благоизволяем Синод в добрый порядок привести и повелеваем духовному правит. Синоду, снесшись с правит. Сенатом, общим советом постановить: такому же ли числу персон быть в Синоде, как положено в Регламенте, или еще прибавить и по скольку из каких чинов быть? Персонам, определенным в Синод, неперемennem ли быть или

переменным; и если положено будет переменять, то во сколько времени переменять? Выбрать кандидатов по именам для избрания в число, какое определено будет. Так как в Синоде число персон очень малое, только четыре, то повелеваем для совета о вышеписанном деле взять вприбавок из духовных персон людей, к тому достойных».

Сенат прежде совещания с Синодом обсудил это дело один и решил: быть в Синоде членам с переменою по два года, а именно: из архиереев – по 4, из архимандритов и игуменов – по 2 да 2 протопопа, в том числе половина малороссиян и половина великороссиян. 9 июня была конференция у Сената с Синодом. Сенаторы объявили свое решение; но члены Синода предлагали, чтоб быть членам из архиереев и архимандритов 12 человекам без перемены, потому что если всех вдруг переменять, то новые не могут знать, что прежде их в Синоде делалось, также и обхождения канцелярского не знают; игуменам и протопопам не быть, потому что они при начальниках своих свободного голоса иметь не могут, притом протопопы еще указом Петра I отставлены; в епархии для управления определять vikариев, или сами архиереи, присутствующие в Синоде, могут по временам посещать свои епархии. Во второй конференции сенаторы стояли за свое прежнее мнение о перемене членов Синода, говорили, что от такой перемены в делах остановки не будет, ибо в Синоде такие же церковные дела, какие и в епархиях бывають, а vikариям быть не следует, потому что они потребуют лишнего расхода; если же непременным членам Синода для осмотра епархий отъезжать на время, то в такое короткое время ничего осмотреть нельзя, а когда будут члены Синода переменные, то и в епархиях лучшее смотрение будет. Синод, видя, что надобно уступить, предлагал, чтоб из 11 членов быть шести архиереям, и если им быть переменным, то переменяться каждый год по одному, так что в шесть лет могут все перемениться. Синодальные члены, и особенно Феофан новгородский, предлагали, чтоб архиереев и архимандритов выбирать баллотировкою или каждому члену, написав имена кандидатов, не означать своего имени, кто кого выбирает; но Сенат настаивал, чтоб написать всем росписи и выбирать достойных. Императрица по выслушании всех этих мнений указала: в Синоде присутствовать новгородскому и нижегородскому архиереям беспеременно и к ним еще определить двоих архиереев да архимандритов и протопопов, чтоб всех было одиннадцать персон, между которыми половина (?) была бы из великороссиян, а другая из малороссиян. Но число членов не достигло одиннадцати: в конце 1731 года назначено было жалованье только девяти членам: новгородскому архиепископу – прежний его вице-президентский оклад 2500 рублей, прочим трем архиереям – каждому по 1500 рублей, трем архимандритам – по 1000 рублей, двум протопопам – по 600 рублей.

Феофан Прокопович и Питирим нижегородский, знаменитый борец против раскола, два самые видные архиерея эпохи преобразования, – на первом плане, они непременные члены Синода. Феофан и Питирим – один человек, значит, Феофан в силе; эта сила ему очень нужна, потому что враги не оставляют его в покое.

Мы видели, как по смерти Петра Великого, защищавшего людей, которые помогали ему в церковных преобразованиях, и бравшего на себя всю ответственность, поднялись люди, враждебные этим преобразованиям, и напали на помощников преобразователя, оставшихся теперь без прикрытия. После

падения Феодосия Яновского нападения сосредоточились на Феофане, но он стоял, отбиваясь ловко и упорно. Смутное время царствования Петра II, останавливая все вопросы, всякое движение, остановило и борьбу Феофана с его противниками; восшествие на престол Анны возобновило ее. Знаменитый манифест 17 марта обманул врагов Феофана, заставив их думать, что пришло наконец удобное время низвергнуть еретика, которого не будет защищать правительство, провозгласившее, что в церковном отношении обращается к старине допетровской. Мы оставили Маркелла Родышевского в заточении в Симоновом монастыре. Так как были люди, и люди значительные, считавшие Маркелла борцом за правое дело. мучеником, то заключение его не могло быть очень тесным: вольно было к нему приходить, вольно было ему самому выезжать, содержали его хорошо. В это время познакомился с ним человек, считавшийся дельным и знающим, верный слуга преобразования и преобразователя, который, однако, был встревожен движением преобразования, показавшимся ему опасным для веры, для церкви, и стал употреблять усилия, чтоб остановить это движение: то был управлявший прежде типографией известный нам Михаил Петрович Аврамов. Сам Аврамов рассказывает, что еще при Петре Великом, когда никто не смел говорить против церковных преобразований и преобразователей, он своими представлениями и внушениями государю сдерживал опасное движение: «Благоволил бог чрез меня, последнего изверга, о заблуждении и лукавых вымыслах еретиков – Феодосия, Феофана, Гавриила (Бужинского) и прочих их единомышленников – объявить таким образом. Когда эти льстецы, вкравшись в многоутружденную святую монаршескую душу и обольстя государя, смело начали поносить древнее благочестие тетрадками, книжечками и словесно старались вводить свое злочестивое лжеучение, явно начали посты святые разорять, дела добрые, как ненужные для спасения, отвергать, покаяние и умерщвление плоти выставлять баснословием, безженство и самовольное убожество в смех обращать, девство представлять делом невозможным и под покрывалом имени христианского стали везде осматривать и перебирать св. мощи, ломать часовни и обирать св. образа, обдирать их привесы и оклады, уничтожать все чудотворные образа; когда лютерского еретичества пьянством беснующийся ересиарх Федос в приходской церкви образ богородицы казанской ободрал и возил с собою ругательством, тогда я, написавший челобитную на него, еретика, и единомышленников его, во дворце подал его величеству, и государь в тот же день в доме генерала Чернышева на крестинах более часа со мною уединенно разговаривал и отпустил милостиво и скоро после того, в день рождения цесаревны Елисаветы Петровны, на старом почтовом дворе при мне публично за столом в присутствии императрицы, архиереев и министров долго говорил о чудотворных образах и других св. церкви догматах. И после того эти отчаянные смельчаки, как земляные кроты, забившись в норы, с излишними своими вымыслами на долгое время было утихли, а потом опять мало-помалу начали подниматься и, укрепившись пуще прежнего, достигли того, что государь подписал Духовный регламент, под которым подписались из страха духовные и мирские особы, без рассмотрения скрывавшихся в этом Регламенте ересей. С этих пор, в наказание, испортилось здоровье государя».

При Петре II Аврамов сочинил книгу «О благих в обществе делах» и подал ее императору, но книга «досталась в руки лукавого Остермана и у него до времени

погасла». Теперь Аврамов подал императрице Анне проект «О должности, как ее императорскому величеству управлять христианскою, боговрученною ее величеству империею». Здесь Аврамов требовал уничтожения присяги, восстановления патриарха, только не от польских и малороссийских людей: «Во всем с патриархом о полезном правлении духовенства российского сноситься и о лучшей пользе промышлять, чтоб оное духовенство в древнее ввести благочиние и доброе благосостояние. И все гражданские уставы и указы, обретающиеся с ним, рассмотреть прилежно, согласны ли они с законом Божиим и церковными св. отец уставами, также и с преданиями церковными, и, буде которые несогласны, те бы оставить, а впредь узаконять в согласии Божьего закона и церковного разума».

Кто же будет патриархом? Для такого искреннего ревнителя древнего благочиния, как Аврамов, который для искупления старых грехов (а между страшными грехами своими считал он и напечатание мифологии) умерщвлял плоть свою веригами, – для такого искреннего ревнителя кандидатом на патриаршество не мог быть Георгий Дашков, которого немонашеская деятельность, немонашеский образ жизни слишком выдавались наружу; не мог быть и Феофилакт Лопатинский, которого некоторые прочили за его ученость, но против которого было также нареkanie за немонашеские привязанности: об нем говорили, что скрипочки да дудочки мешают ему быть патриархом; для людей, хотевших ученого патриарха и знавших, что такого можно найти только между малороссиянами, идеалом был покойный Стефан Яворский, подобного которому не находили, и надобно заметить, что кроме других нет благоприятных условий восстановлению патриарха именно мешало то, что не было лица достойного; кроме того, между людьми, желавшими восстановления патриаршества, господствовало сильное разногласие; новые потребности были сильны, и потому многие не могли себе представить неученого патриарха; другие ни под каким видом не хотели на этом месте малороссиянина. Аврамов, для которого чистота православия и благочестия были на первом плане, не думал об учености и остановил свой выбор на духовнике императрицы троицком архимандрите Варлааме, отличавшемся монашескою жизнью, благочестием, не скажем наружным, потому что историк не может произносить своего суда, выслушавши только одну сторону, не может основаться на сатирическом представлении Варлаама, сделанном противниками.

Аврамов убеждал Варлаама попросить императрицу об освобождении Маркелла Родышевского и для показания его невинности возобновить дело о доносах его на Феофана. «Пусть напишет прошение, а на книги, что знает, изъяснение», – отвечал Варлаам, и Родышевский написал прошение, чтоб дали ему с новгородским архиереем очную ставку; при этом Родышевский просил, чтоб еретические руки Феофана не допускать до миропомазания и коронования ее величества, потому что второго императора, Петра Алексеевича, короновал Феофан и государь скоро скончался; так чтоб и ее величества здравие охранить». Еще более распространился об этом в своем доносе на Феофана дворянин новгородского архиерейского дома Носов, который писал, что Феофан хуже Феодосия: церкви и монастыри грабил, деньги, полученные за проданные церковные вещи, на непристойную монашескую роскошь употреблял, например на покупку вина; несмотря на то, он, как беспорочный, над духовными начальствует и подвизает гнев Божий, который и обнаруживается: он был допущен до

коронации императрицы Екатерины Алексеевны и Петра II, и царствование их величеств было очень кратковременно; Петра II Феофан обручал с двумя невестами, а свадьбы не было; венчал цесаревну Анну Петровну с герцогом голштинским, и цесаревна скоро скончалась.

Не смотря на эти доносы, новгородский архиепископ первенствовал и при коронации Анны, совершенной 28 апреля; первенствовал не по сану только, первенствовал умением говорить красноречивые речи. А между тем Феофану приготавливали полное торжество люди, возбуждавшие подозрительность Анны, тогда как преданность архиепископа новгородского заподозрить было нельзя, и притом странно было бы верить его врагам, выставившим его неправославие, когда он недавно просил императрицу за православных сербов, принуждаемых австрийским правительством к унии.

Подозрительность императрицы была возбуждена происшествием в Воронеже: когда здесь получен был манифест о кончине Петра II и восшествии на престол Анны, то епископ Лев Юрлов в Неделю православия (первое воскресенье Великого поста), где надобно было поминать государыню, велел возглашать: «О благочестивейшей великой государыне нашей царице и великой княгине Евдокии Феодоровне и о державе их», потом о благоверных государынях цесаревне и царевнах. Вице-губернатор, известный нам Пашков, требовал, чтоб архиерей объявил манифест; тот отвечал, что без точного указа из Синода этого не сделает, потому что может случиться какая-нибудь перемена. Пашков донес в Москву; потребовали объяснения отсюда; Лев отвечал, что Пашков клеветает на него напрасно, по злобе. Когда в Синоде 20 марта слушали это объяснение, то Георгий Дашков сказал: «У воронежского архиерея с вице-губернатором давняя ссора, и друг на друга пишут по ссоре. Подождать, не будет ли от губернатора какого объяснения». Дело этим на первый раз кончилось, потому что на первых порах опасались употреблять строгие меры против подозрительных лиц, как светских, так и духовных. Но в половине года нашли, что можно действовать посмелее. Мы видели, что непременно членами Синоду назначены были двое – Феофан и Питирим; к ним были приданы сменяемые – крутицкий Леонид и суздальский Иоаким, а трое прежних – Георгий ростовский, Феофилакт тверской и Игнатий коломенский – уволялись; уволены были, таким образом, люди, неприязненные Феофану, который теперь стал господствовать в Синоде, ибо остальные члены коллегии были его покорные слуги. Теперь уже не боялись никакой помехи и возобновили дело Юрлова, с которого сняли архиерейский сан и монашество и отослали в Сенат для розыска, как обвиненного в государственном преступлении. По высочайшему именному указу Юрлова сослали в Крестный монастырь, где велели содержать в келье неисходно, не допуская к нему никого, не давая чернил и бумаги, вода в церковь за караулом. Юрлов оговорил Дашкова и Игнатия, что писал к ним о заступлении и помощи, причем Дашкову послал чувал винных ягод. Игнатия лишили сана и послали в свияжский Богородицкий монастырь; Дашкова сначала приговорили сослать в Харьковский монастырь с сохранением сана, потом за те же вины велели снять сан и сослать в Каменный вологодский монастырь; здесь мы должны обратить внимание на это постепенное усиление наказания, что увидим и в судьбе светских людей. В том же 1730 году лишен был сана и сослан в Кириллов-Белозерский монастырь киевский архиепископ Варлаам

Вонатович за то, что не отслужил благодарственного молебна о восшествии на престол Анны.

Но в то же время как Феофан торжествовал над враждебными ему архиереями, Маркелл Родышевский писал «Житие новгородского архиепископа еретика Феофана Прокоповича»; монах Иона, добавляя это сочинение разными вставками в виде гимнов, псалмов и молитв, распространял его в народе. В начале 1731 года список «Жития» попался в руки Феофану, и он донес об нем, указав на Родышевского как автора и на других как распространителей возмутительных тетрадей. В то же самое время архимандрит Варлаам представил императрице другие обличительные сочинения Родышевского на Феофана. Родышевский, Иона и Аврамов были арестованы.

В бумагах Родышевского заключались возражения на Духовный регламент и на указ о монашестве. Он доказывал, что патриаршество есть древнейшая и единственно законная форма церковного управления. В возражениях на указ о монашестве Родышевский не отрицает необходимости исправления монашества, но ему не нравятся способы, определенные в указе; он представляет свой способ: «Первое дело власти императорской – велеть духовному правлению искать себе от монашеского чина самых богодухновенных монахов и, освидетельствовав, что они действительно таковы, как о них слух идет, производить в архиереи и архимандриты. Когда такие добрые епископы будут, то станут всячески стараться по епархиям своим исправить все монашество, особенно когда в главнейшем духовном правлении будут такие же или такой человек будет поставлен главным правителем церкви, ибо он будет производить в епископы только подобных себе. Которые же в семинарии будут учиться у лютеранских учителей или хотя и у своих, но духом еретическим зараженных, такие начнут не назидать, но развращать всю церковь и хотя постригутся в монахи, но сделают это не ради монашества, а в надежде архиерейства и архимандритства. А в архиереи и архимандриты не так нужны люди ученые, как богодухновенные и добродетельные, которые учили бы не столько словом, сколько делом».

Иона показал, что «по означенным в пунктах Родышевского резонам новгородский архиерей звания своего недостоин; о тех резонах он, Иока, сам не сведом и видел их в экстракте Родышевского. Долгорукие, архиерей ростовский и прочие за вины свои сосланы; а по показанию Родышевского на новгородского архиерея указа не учинено, и потому мыслил он, Иона, что об нем ее величеству от господ не донесено; поэтому и написал на них, господ, что божескую честь презирают, должно быть охраняя его, архиерея, потому что если б ее величеству о том было донесено, то по показанию Родышевского давно бы исследовано было, ибо ее величество благочестивую веру содержит твердо и по вступлении своем на российский престол прежде ревность возымела о св. божиих церквах, чем о гражданских делах. А противных дел за новгородским архиереем он, Иона, не знает, а усмотрел о том из писем Родышевского. Только знает он, Иона, за ним, архиереем, то, что он церкви у себя в доме не имеет и в мясоеды и во все посты мясо ест; а о том мясоястии сведом он, Иона, от повара его, Петра».

По окончании следствия состоялся указ: «Так как Маркелл Родышевский в доносах своих на Феофана, архиепископа новгородского, доказательств, кроме своей персоны, никаких не представил; так как дерзнул развратно толковать Регламент духовный и разные книги, изданные изволением Петра Великого и

советом всего Освященного собора; так как раздиакон Осип (Иона) к непристойным укоризнам Родышевского на архиепископа Феофана прибавил от себя еще другие, которые хотя темно, однако касаются к поношению высочайшей чести и власти; так как Михайла Аврамов эти книги с Родышевским читал и почитал их полезными к защите церкви и старался о представлении их ее императорскому величеству; так как они всеми этими делами против присяги своей дерзали миру и тишине церковной вредить, самодержавную ее императорского величества честь поносить, сочиненные книги развращенно толковать и тем причину подавать к отвращению людей от пути спасительного и благонравного жития, за что по всем государственным правам должны быть казнены смертию; однако ее величество смертию казнить их не указала, а указала Маркелла послать в Белозерский монастырь, Аврамова в Иверский, Осипа, бив кнутом, в кексгольмский Валаамский, не выпускать их никуда, чернил и бумаги не давать».

Так рассеялись надежды, возбужденные в ревнителях древнего благочестия манифестом 17 марта; знаменитый нововводитель, тот архиерей, которого они называли еретиком, восторжествовал; мечта о патриаршестве исчезла. Но эта борьба автора Духовного регламента и указа о монашестве с ревнителями древнего благочестия имеет важное значение: победа была куплена очень дорого, что научило осторожности, указало границы, дальше которых идти было нельзя. Петр Великий, по своему смыслу, мог положить эти границы, мог в своих преобразованиях не увлечься, как увлекся Генрих VIII в Англии; но Петр Великий представлял явление чрезвычайное; для будущего России важно было не то только, как вопрос был поставлен в бурное время преобразования волею великого человека; важно было то, как этот вопрос решался обществом при спокойном разбирательстве в материалах преобразования, без руководства преобразователя, которое могло являться насильственным. Феофан Прокопович восторжествовал, сказали мы; но здесь дело идет не о торжестве одного отдельного лица: восторжествовала коллегиальная форма церковного управления, восторжествовал тот принцип преобразования, по которому пастыри церковные должны были быть учеными; Аврамов с товарищи из опасения одностороннего результата этого принципа поворачивали к другой односторонности, вред которой создала еще допетровская Россия: они требовали пастырей благочестивых только, а не ученых, ибо наука, говорили они, может только заразить ересями. Очень важно было, что обе стороны были сопоставлены, из чего увидели, что разделять их нельзя. При Петре Великом выставлялось преимущественно одно требование – требование образования, учености, и Феофан Прокопович был порождением этого требования; после Петра Великого указали на односторонность его и выставили другое требование, которого односторонность была также очевидна, но очевидно было и то, что на оба требования нужно было обратить внимание. Феофан Прокопович восторжествовал, но какого рода было это торжество? Дал ли он торжество тем убеждениям, за которые на него нападали? Нисколько. Необычайными усилиями, постоянною борьбою ему удалось *защититься*, избежать участи Феодосия Яновского; он защищался от упреков в неправославии, следовательно, должен был стараться быть православным, и здесь-то смысл дела; отсюда дальнейшая невозможность того направления, проводником которого считали Феофана. Нам вовсе не нужно исследовать, справедливо или

несправедливо считали Феофана проводником этого направления, потому что общая история России не нуждается в этой биографической подробности; для нас важно то, что Феофан защищался от обвинений в неправославии. Он защитился, или его защитили, обвинителей его заточили; но они заставили Феофана клясться, что он православный, отчураться всеми средствами от протестантского направления.

В описываемое же время Синод и Сенат занимало дело казанского архиерея Сильвестра с Иосифом Салникеевым, бывшим архимандритом Спасского казанского монастыря Ионою. Сильвестр обвинил Иону в разграблении имущества вверенного ему монастыря; Синод приказал отрешить Иону от управления монастырем и взыскать с него деньги за проданные вещи; тогда Иона в свою очередь подал донос на Сильвестра, как «ругателя указов и императорского величества». Донос был найден неосновательным; Иону расстригли и высекли кнутом, но он подал новый донос на Сильвестра, что тот рвал челобитные и другие бумаги, писанные на высочайшее имя. По этому доносу наряжено было следствие в Казани, и в числе следователей был тамошний губернатор Волинский. У Сильвестра с Волинским давно уже были неудовольствия; архиерей уже прежде подавал на губернатора жалобы в Сенат, Юстиц-коллегию и другие места; теперь, чтоб отстранить Волинского от следствия, Сильвестр подал прошение в Синод с прописанием всех обид, нанесенных ему губернатором: Волинский отнял землю, принадлежавшую архиерейскому дому; материал, приготовленный для построек, взял себе и употребил на строение своего дома; в архиерейском саду и огороде травил собаками волков и зайцев, молодые деревья велел выкопать и перенести на свой загородный двор; вырубил рощу около архиерейского монастыря; дьякона и двоих церковников велел отстегать прутьями до полусмерти; велел до полусмерти прибить архиерейского домового иконописца и духовной школы аудитора; за секретарем духовного приказа гонялся с обнаженною шпагою, и тот едва ушел; увидавши во время крестного хода на одном диаконе стихарь из персидской золотой парчи, велел принести его к себе, распорол, парчу оставил у себя, а оплечье прислал назад; по делу Салникеева велел привести к себе секретаря архиерейского Богданова, сперва бил его и за волосы драл сам, а потом велел бить палками и топтунами солдатам и оставил едва жива; даром заставлял работать на себя архиерейских мастеровых людей; потворствует раскольникам; летом и зимою ездит со псовою охотою многолюдством и топчет архиерейский и монастырский хлеб, ночует в архиерейских и монастырских деревнях и разоряет крестьян; в Чебоксарах по согласию с тамошним воеводою велел из пушек палить, и в то время от потехи их пушку разорвало и побил человек с пятнадцать. «Об этом наше смирение, – писал Сильвестр, – боясь суда божия по должности моего звания, и умолчать опасаясь, понеже от их господских чрезвычайных забав люди божии без всякого христианского исправления лишены сего света безвременно».

Волинский с восшествием на престол Анны и с принятием ею самодержавия мог надеяться для себя всего хорошего по родству с Салтыковыми. Мы видели, что он был за самодержавие и донес дяде своему, Салтыкову, о речах бригадира Козлова. Салтыков написал ему, что императрица приказала прислать обстоятельное доношение, какие имел Козлов разговоры и кто был при его разговорах с Волинским, «чтоб произвести в действие можно было». Волинский

отвечал: «Служить ее императорскому величеству так, как самому богу, я и по должности, и по совести должен. Притом же и предостерегать, конечно, повинность моя, не только что к высокой ее императорского величества пользе касается, но и партикулярно к стороне вашего превосходительства надлежит служить мне, как свойственнику и милостивому моему благодетелю, за толикие ваши ко мне отеческие милости. А чтоб мне доносить и завязываться с бездельниками, извольте отечески по совести рассудить, сколько то не токмо мне, но и последнему дворянину прилично и честно делать? И понеже ни дед мой, ни отец никогда в доносчиках и в доносителях не бывали, а и мне как с тем на свет глаза мои показать? Извольте сами рассудить, кто отважится честный человек итить в очные ставки и в прочие пакости, разве безумный или уже ни к чему не потребный. Понеже и лучшая ему удача, что он прямо докажет, а останется сам и с правдою своею вечно в бесчестных людях, и не только кому, но и самому себе потом мерзок будет».

Салтыков, который не понимал, что доносить тайно есть обязанность, а доказать справедливость доноса бесчестно, так что доноситель и с своею правдою самому себе мерзок будет, – Салтыков написал племяннику: «Понеже уповал я на то, что вы, государь мой, изволили писать ко мне, и я думал, что писали вы очень благонадежно, что след какой покажется от вас. А как ныне по письмам от вас вижу, что показать вам нельзя: на чтоб так ко мне и писать, понеже и мне не очень хорошо, что и я вступил, а ничего не сделал. И будто о том приносил я напрасно, а то все пришло чрез письмо от вас ко мне, понеже вы изволили писать, что он говорил при многих других, а не одному, и я, на то смотря, и доносил, и то, стало быть, и мне не хорошо, что будто неправо я сказывал, и потому видно, что лучше б вам того не писать, что при многих сказывал, а после по письмам не так обошлось. Того ради я советую лучше против прежнего письма извольте отписать, какие он имел разговоры с вами, чтоб можно было произвести в действо. Понеже как для вас, так и для меня, что о том уже коли вступили, надобно к окончанию привести. Что же извольте причитать, что вам будет нехорошо, и то напрасно так рассуждается, худо бы к вам никакое не причтется, разве причтет тот, который доброй совести не имеет». Но Волынский отвечал, что его обязанность была донести тайно, обязанность же правительства – поверить ему на слово и не требовать доказательств: «Должность моя была к вам писать, и вам, конечно, надобно было о том сообщить той персоне, поверя мне, что я не лгу и не затею, в чем и теперь извольте мне поверить; я не солгу и не затею от себя, и для того не только ныне, и впредь от того, что писал, не отпрусся никогда, но все, как было, не отрекаюся подробно сам донести, да только приватно, а не публично. Ежели б я ведал тогда, что так будет, как уже ныне по благости господней видим, поистине я бы, несмотря на то, хотя бы кто лучше меня был, конечно, и здесь бы начало дела произвел явным образом, и то б мне приличнее было, да не знал, что такое благополучие нам будет. И вправду донести, имел к тому немалый и резон: но, понеже и тогда еще дело на балансе было, для того боялся так смело поступать, чтоб мне за то самому не пропасть. Понеже прежде, нежели покажет время, трудно угадать совершенно, что впредь будет. И для того всякому свою осторожность иметь надобно столько, чтобы себя и своей чести не повредить».

Салтыков сердился, и вот к усилению его раздражения Синод пересылает в Сенат жалобу Сильвестра на Волынского, и тот обращается к дядюшке с

просьбою о помощи и с оправданиями: «Есть ли какая моя вина по прихотям моим или по какой моей страсти сыщется, я не буду просить никакого милосердия; а буде и то явится, что то на меня затеяно, прошу, чтоб я от такой наглой и нестерпимой мне обиды оборонен был. Для того я, ваше превосходительство, милостивого государя и отца, всепокорно прошу показать ко мне отеческую милость, пожаловать поговорить архиереям, также и господам сенаторам, чтоб приказали про меня, безо всякого мне послабления, исследовать, какие я кому делал обиды. Я столько смело доношу, что я готов подписаться на смерть, если он на меня что докажет дельно. Покажи божескую над мной милость, обороните меня, бога ради, от такого плута! Понеже столько меня замарал и запачкал, что я теперь никуда не гоюсь и что многие, по его старости и чину, верят ему». Салтыков отвечал: «Мне кажется, государь мой, лучше жить посмирнее. Что из того прибыли, что много жалобы происходит. И так кроме архиерея жалуются много и толкуют о вас не очень хорошо. Пожалуй, изволь меня послушать и жить посмирнее. Лучше вам будет самим. А как казанский архиерей сведал, что вы мне свой, то тотчас приехал ко мне и сказал мне, что истинно-де я не знал того, что Артемий Петрович свой тебе, а то б ни о чем просить не стал; хотя б де и обидно было, лучше б мог вытерпеть. И не знаю, – продолжает Салтыков, – для чего так вы, государь мой, себя в людях озлобили, что, сказывают, до вас доступ очень тяжел и мало кого до себя допускать изволите, и это не очень хорошо, можно и оставить. Которые на вас пункты подал архиерей, и, ежели то правда, что показано в пунктах, истинно мне очень удивительно. Не токмо чтоб поступать так, и стыдно слушать, как будут честь. Я не знаю, как изволишь так строго поступать. А я ведаю, что друзей вам почти нети никто с добродетелью о имени вашем помянуть не хочет. Я как слышал, что обхождение ваше в Казани с таким сердцем и, на кого сердисься, велишь бить при себе, также и сам из своих рук бьешь. Что в том хорошего и с таким сердцем на что поступал и всех озлобил? Я наперед сего до вас, государя моего, писал, чтоб вы прислали доношение против прежних своих писем (о Козлове). На что изволили ко мне писать: как-де я покажу себя в люди доносителем? А мне кажется, что разве кто не может рассудить, чтоб тебя мог этим порекать. А ныне сами-то себя показали присланные ваши два доношения на архиерея, в которых нимало какого действия, только что стыдно от людей, как будут слушать. Сколько возможно, извольте осмотрительно и осторожно охранять себя как от архиерея, так и от других. Я вижу здесь, сколько вам недрузей на сколько друзей, что вы и сами известны; а я воистину сколько могу, вас охраняю, однако ж трудно против многих охранять».

Вслед за тем Сильвестр подал новую жалобу Салтыкову на его племянника: Волынский пытал перед собою канцеляриста Плетеневского в застенке тремя стряпками смертно, спрашивая: что к вам архиерей и вы к нему пишете и в чем он в Москве на меня доносит? У Плетеневского выломали руки и ноги бревном: кроме того, губернатор с великим боем и нестерпимыми пытками производил следствие о церковных пошлинах, желая подыскаться под архиерея. В сентябре состоялся страшный для Волынского указ: «Казанскому губернатору Волынскому, пока исследовано будет по делу с архиереем, губернию не ведать, а ведать товарищу его Кудрявцеву». Волынский видел, что одно родство с Салтыковым не поможет, и отправил в Москву лошадей в подарок сильным людям. Некоторые приняли, другие нет; богач Черкасский принял двух иноходцев, сказавши «Хотя и

мелки, только не стары». Но и лошади не помогли: Волынский лишен был совершенно губернии и получил приказ приехать в Москву. Волынского утешали, что эта перемена послужит ему в пользу; но он смотрел на дело иначе и отправил в Москву доверенного человека с наказом стараться, чтоб его не сменяли, а только во время следствия не заседать ему в губернской канцелярии и в команду не вступать; с другой стороны, и архиерея отрешить на то время от епархии, и Кудрявцеву не присутствовать в канцелярии, потому что у него с Волынским ссора. Он отправил прошение на имя императрицы, которое должен был дать ей Салтыков; по этому поводу Волынский писал дяде: «Ежели вы меня ныне оставите, истинно вам за то будет сам бог мститель, и я с печали умереть могу». Так как незадолго перед тем Волынский потерял жену, «человека доброго», по его словам, то он наказывал доверенному человеку «наведаться о невесте, нет ли какой».

Доброжелатели советовали Волынскому ехать как можно скорее в Москву; Волынский умолял оставить его в Казани до весны 1731 года; но просьба его не была исполнена, несмотря на оправдательную записку его, в которой он отвечал на каждый пункт Сильвестровых обвинений: некоторые из этих обвинений он решительно отрицал, другие поступки свои выставлял в ином виде, чем как они были представлены у Сильвестра. Например, относительно порубки рощи Волынский писал: «Все оное архиерей солгал, понеже того ничего не бывало, оная роща и теперь цела вся». Побои, нанесенные дьякону и дьячкам, Волынский объяснял тем, что эти люди купались перед его домом и за то были отогнаны прутьями: относительно стихаря утверждал, что обменял его на новый с согласия архиерейского, и т.д.

Волынский приехал в Москву, и в начеле 1731 года последовало назначение его в Украинский корпус. Но Волынский увидал в Москве, что беды еще не прекратились, врагов много; известно, как в это время тяготились персидскою войною, как сильно желали поскорей окончить ее, и вот Волынский узнает, что его выставляют виновником этой ненавистной войны, этого бедствия! Волынский пишет в свою защиту: «Ежели принесено на меня то, будто я причиною был начинанию персидской войны, на сие ответственую. Не только я в том невинен, но ниже сам от себя его императорское величество Петр Первый сие намерение воспрять изволил, но последовал тем делом родителю своему, царю Алексею Михайловичу. о чем явно доказать можно. Понеже в Морском уставе имянно о том напечатано, как его царское величество воспрять намерение делать корабли и навигацию на Каспийском море и как вывезен был из Голландии капитан Давид Бутлер с компаниею мастеров и матросов, которые и сделали корабль, именуемый „Орел“, да яхту, или галиот; но сему делу препятствовал бунтовщик Стенька Разин, который в нашествии своем на Астрахань оное начатое дело разорил и капитана Бутлера убил, и прочие той компании избиты, а двое из них, а имянно лекарь Иван Термунт да корабельный мастер Брант, ушли через Персию в Индию, откуда паки по умирении бунта возвратились в Москву, и лекарь Термунт во время государствования Петра Первого титулован доктором и взят ко двору и в крайней его величества был милости, от которого, а притом и от корабельного мастера Бранта о вышеупомянутом отеческом деле, также и о Персии изволил наслышаться, как я от его императорского величества о том сам слыхал. понеже до семисотого года присланы были мастера-иноземцы в Казань, которые сделали

кроме галер и других мелких судов больших шмаков 150 или 160 такой пропорции, что на каждое судно можно было посадить для транспорта по 300 человек да провианта положить тысячи полторы или по две тысячи четвертей. Из которых судов уже несколько десятков сплавлены были к Астрахани еще в то время, когда там воеводою был Иван Алекс. Мусин-Пушкин, и несколько туда морских офицеров-иноземцев с матросами было отправлено; только и сему астраханскому флоту такое ж несчастье приключилось, как и первому, понеже, когда забунтовали там стрельцы, тогда, и оных офицеров и матросов побили, а суда оные разорили. И когда такие флоты начинали на Каспийском море оные славные монархи, отец и сын, какая там нужда была иметь военные корабли и иные великие суда, если б не имели издавна намерения воевать Персию? Не ведаю намерения царя Алексея Михайловича (понеже я тогда не родился); что же о его императорском величестве, конечно, могу без сомнения сказать поистине: не меньше великого Александра оный августейший монарх наш желал везде славу свою показать. Понеже по замыслам его величества не до одной Персии было ему дело. Ибо если б посчастливилось нам в Персии и продолжил бы всевышний живот его, конечно бы, покусился достигнуть до Индии; а имел в себе намерение и до Китайского государства, что я сподобился от его императорского величества по его ко мне, паче достоинства моего, милости сам слышать и кроме себя могу в том и ныне на сие его величества намерение и высокие замыслы несколько свидетелей представить, которые, надеюсь, многократно и пространнее, нежели я, сами от его величества о том слыхали. Буде же кто нарекает на меня и клепает тем, будто бы я склонил его императорское величество и привел к тому, что он изволил воспринять поход свой в Персию, и то явная ложь, понеже памятуется мне, что я еще был в Турецкой земле, а его императорское величество изволил послать несколько морских офицеров и навигаторов в Астрахань описать Каспийское море и берега. А потом в прошлом, 715 году, не я искал, ниже желал быть в таком отдаленном, а паче в варварском государстве, токмо принужден ехать по воле его императорского величества и теперь имею инструкцию ту, которая тогда дана мне (следует изложение известной нам инструкции). Посему всякому добросовестному легко можно рассудить, что не по выезде моем из Персии, но за несколько лет прежде уже имел, конечно, его императорское величество оное свое намерение и что подлинно не я тому причина. И что же, мне ли б возможно было обуздать моими слабыми представлениями такого мудрого монарха и вести туда, куда б его величество сам итти не изволил, и потому б было не моей силы дело, понеже тогда уже его величество был в лучшей крепости совершенного мужества своего, а я моложе его величества был без мала двадцати летами? А какая деференция противу его величества в недостатке ума моего, о том, сколько я о себе ведаю, столько б и прочим знать мощно, понеже сие не закрытое, но всем было явное. Сверх того, представляю и сие последнее мое оправдание: когда его императорское величество изволил вступить уже в персидскую войну, видел совершенно сам в том деле многие неудачи и убытки в людях и в прочем, однако ж того ничего на мне взыскивать не изволил: сам его величество подлинно изволил ведать, что тому делу не я был виною, и не только Персию оставить не хотел, но и сам паки в прошлом, 1725 году итти был по вскрытии воды намерен, токмо то скорая смерть пресекла».

«А кто, злодействуя мне, говорил то, что его императорское величество гневался на меня в Низовом походе, и вменяет в том образе, будто б прогневался за неудачу персидского дела, и то подлинно солгано, понеже тогда еще ни Персию можно было рассмотреть, ни о будущих неудачах возможно было ведать, а сделалось сие мне несчастье таким образом: когда мы при его величестве перешли море и стал флот на якорях подле персидских берегов, повелел его величество, забавляясь, купать в море, начав с адмирала, всех до последнего (а притом и сам купаться изволил); между тем хотелось адмиралу и Петру Толстому, чтоб и я был купан, к чему и его величество склоняли: но я поупрямился в том, понеже тогда был пьян, и тем своим упрямством его величество прогневал; под то ж время получены были письма от бригадира Витерянова о взятии города, именуемого Андреева Деревня, который велено было тому бригадиру доставать, но он непорядочно в том поступал и потерял одного подполковника и с 80 человек драгун. Под такой случай адмирал и Толстой, злодействуя мне, привели его величество на наибольший гнев, претворяя себе в жалость о убытках так, как бы уже многие тысячи пропали, и притом рассуждали, что тем делом неприятелю, на кого шли, будто великий авантаж будет, и прочее тому подобное внушали его величеству, но оным господам ни побитых жаль было, ни о неприятеле нужда рассуждать была, кроме что до меня одного было дело, чтоб тем больше повредить и ввести в побои, что по их желанию и сделалось. Понеже его величество скоро с адмиральского судна на свое изволил притить (хотя тогда и ночь была), однако ж изволил прислать по меня и тут, гневаяся, бить тростью, полагая вину ту, что будто тот город явился многолюднее, нежели я доносил, токмо всемилостивейшая государыня императрица до больших побой милостиво довести не изволила. Но хотя ж и претерпел я, однако ж не так, как мне, рабу, надлежало терпеть от своего государя, но изволил наказать меня, как милостивый отец сына, своею ручкою и назавтра сам всемилостивейше изволил в том обмыслиться, что вины моей в том не было, милосердуя, раскаялся и паки, как милосердый отец и государь наш, изволил меня принять в прежнюю свою высокую милость».

Но гораздо труднее было Волынскому отвечать на жалобы ясачных иноверцев, которые обвиняли его в лишнях поборах. Волынский был арестован и признался, что взял с ясачных 2500 рублей за освобождение их от корабельной работы. В награду за признание его освободили и оставили в Москве, хотя он числился между генералами Украинского корпуса. С Сильвестром случилось хуже: он был впутан в дело Игнатия коломенского и в конце 1731 года сослан в Невский монастырь, но, как тогда обыкновенно водилось, в следующем году наказание усилено: его заперли в Выборгскую крепость.

Преследуя отдельные лица в духовенстве, правительство оставалось верно манифесту 17 марта. Мы видели, что при Петре II обращено было внимание на католическую пропаганду среди смоленской шляхты. При новой императрице в апреле 1730 года Сенат распорядился: присланного из Смоленска бернардина Вербитского, который вышел из-за польской границы в Россию для навращения русских обывателей в римскую веру, послать в Смоленскую губернию под караулом при указе, велеть его отдать за польскую границу тамошним командирам и объявить, чтоб таким в Российскую империю выход был запрещен; а если впредь такие будут выходить, то с ними поступлено будет по правам; также и на

учрежденных форпостах смотреть накрепко, чтоб таких отнюдь не пропускать. Не хотели потакать и лютеранам. В Малороссии стоял отряд немецкого войска, взятый еще Петром Великим у герцога мекленбургского и потому известный под именем Мекленбургского корпуса. Черниговский епископ жаловался, что начальники этого корпуса не хотят хоронить своих мертвецов вне городов и сел, в определенных местах, самовольно хоронят при православных церквах и делают каменные капища, также принуждают священников приобщать св. тайн находящихся при них малороссиянок, по роду жизни своей этого недостойных: когда священник отрекается, то присылают к нему солдат, бранят, грозят побоями. Синод послал указ в Военную коллегия, чтоб как в Мекленбургском корпусе, так и в других местах находящихся на службе императорской лютеран, кальвинистов и других иноверцев при церквах не хоронили, над ними капищ не делали и священников не обижали, а черниговскому епископу построенные капища велеть сломать. Относительно раскольников восстановлены были распоряжения Петра Великого и Синода его времени, по которым Питириму нижегородскому для обращения раскольников отданы были из синодальной области города Балахна, Юрьевец-Поволжский, Галицкий уезд по реку Унжу, Ярополч, Гороховец, Арзамас и Вязниковская слобода «для ревностного его преосвященства тщания, чтоб раскольническому суемудрию размножения не происходило». По смерти Петра Великого противодействие его распоряжениям шло дальше отобрания нескольких городов из Питиримовой епархии: в сентябре 1727 года по распоряжению Синода велено было отобрать от всех церквей службу св. Александру Невскому на 30 августа и запрещено праздновать святому в этот день, а велено праздновать по-прежнему 23 ноября. Теперь, в сентябре 1730 года, по именному указу императрицы и по определению Синода опять велено праздновать 30 августа.

Синод должен был обратить внимание на явление, которое приверженцы старины могли также приписывать вредному влиянию нового духа. Мы видели, что в допетровской России мужья легко отделялись от нелюбимых жен, заставляя их постригаться в монахини; теперь это было невозможно, и потому, естественно, должны были умножиться случаи разводов; для противодействия этому в декабре 1730 года издан был указ: которые люди с женами своими, не ходя к правильному суду, самовольно между собою разводиться будут, то отцам их духовным ни к каким разводным их письмам рук отнюдь не прикладывать под тяжким штрафом и наказанием и под лишением священства.

Мы видели, что с торжеством Феофана Прокоповича должно было восторжествовать требование образованности от духовенства, и потому вправе ожидать, что Синод, в котором новгородский архиепископ получил такую силу, выскажет громко это требование. Действительно, в конце 1731 года встречаем указ, в котором говорится, что по доношению ректора московской Славяно-греко-латинской академии священники, дьяконы и причетники не отдают своих сыновей в эту Академию вопреки указам Петра Великого, отчего число учеников умалилось и распространение учения пресекается; а вместо Академии духовенство отдает детей своих в разные коллегии и канцелярии в подьячие. Синод предписал духовенству отдавать детей своих в Академию без всякого отлагательства и отговорок и в подьячие не отдавать под страхом лишения чинов и бесщадного наказания; а в Сенат сообщено ведение, чтоб сыновей духовенства запрещено было принимать в подьячие и другие светские чины.

Таковы были правительственные распоряжения в два первые года царствования Анны. Относительно украин в августе 1730 года канцлер и вице-канцлер докладывали императрице о малороссийских денежных доходах, что в 1728 году положено разного звания сборов по 85577 рублей на год, а теперь не соизволит ли ее величество из тех сборов убавить до указа, а именно: со пчел, за табачную десятину, с мостов, с перевозов и с гребель, отчего убудет 26624 рубля: императрица согласилась. Тут же князь Алексей Шаховской подтвержден министром при гетмане, и в тайной инструкции ему кроме обычных пунктов помещено: «Если бы стали ему говорить о сборе с Малороссии доходов, что прежде у них такой тягости не бывало, то отвечать: прежде, когда все сборы были в ведомстве гетманов, подскарбиев не было и ведали сборы гетманские люди, то по гетманской воле с одних доходы собирались, а с других нет; собранными деньгами сборщики корыстовались, расход им был непорядочный по одной гетманской воле, в войсковом скарбе ничего не оставалось, и народу была несносная и немалая обида; а теперь ее величество указала доходы собирать в войсковой их скарб с одних только промыслов для их же пользы и чтоб ее величество о доходе с них могла знать». Заметное в новом правительстве возвращение к мерам великого дяди не обещало Малороссии, что восстановленное при Петре II гетманство будет долго существовать. Это всего яснее обозначалось в письме Анны к находившемуся при гетмане императорскому министру князю Алексею Шаховскому от 31 декабря 1730 года. Письмо это было написано по поводу индуктного откупа, который, согласно указу Петра Великого, велено было отдавать только природным малороссиянам Шаховской имел неосторожность представить, что откуп лучше отдать Гавриле Владиславичу Рагузинскому, иначе прежние откупщики, севские жители Шереметцевы, возьмут его себе, подставив каких-нибудь малороссиян для наружного соблюдения закона. Раздраженная этим представлением императрица отвечала Шаховскому: «Доношение твое от 5 ноября не только нам удивительно, но и странно; ты в нем об индукте малороссийской такое делаешь представление, какова мы от тебя не надеялись, потому что должность твоя состоит в том, чтоб иметь прилежное смотрение об одних делах публичного интереса без всякой страсти, но из дела видно, что ты поступаешь более похлебственно или, паче чаяния, корыстно, потому: хотя гетман против Шереметцевых и имел бы какое нареkanie, и то надлежит прежде освидетельствовать, и если б найдено было что противное, то можно б тогда в том им отказать; а что угадыванием забегаешь, что Шереметцевы могут, малороссийского народа людей сыскав, в откупщики представить, а под их именем сами индуктою владеть и купечество разорять, то эта предосторожность без всякого основания: во-первых, ты знаешь, что дядя наш именным своим указом накрепко утвердил, чтобы индуктному откупу быть за малороссийскими природными обывателями; во-вторых, тех малороссиян, которые будут требовать, чтоб им дали на откуп, можно освидетельствовать, справиться о их состоянии и имуществе; в-третьих, как ты можешь дать Гавриле Владиславичу право считаться между малороссийскими жителями? Ты объявляешь, что он содержит индукту порядочно и купцы довольны; это может служить похвалою его персоне, но тебе в этом никакой выправки нет, ибо ты затем там и живешь, чтоб народ наш верный малороссийский от всяких обид и непорядков был охранен. Более всего чувствительно нам то, что и ты, пристав к неосновательному рассуждению,

стращаешь нас, что народ малороссийский, будучи легкомыслен, всякую новизну за противность принять может; объясни, что ты под этим разумеешь; а нам довольно известно, что при блаж. пам. дяде не только такое малое дело, о котором народ едва знает, *но самая перемена в правлении малороссийском от народа с великою благодарностию принята, только старшине, грабительства и других злых намерений ради, то было противно.* И так видно, что ты, последуя прежним нарушителям благоопределения дяди нашего, то же, что и они, делаешь и должностию своею пренебрегаешь. Мы слышим, что малороссийского народа в купечестве обращается самое малое число, но более торгуют греки, турки и жида; итак, нечего опасаться, чтоб легкомысленный народ новизну эту принял за противность, потому что в этом деле ни новости, ни великой народу простому пользы не обретается». Итак, императрица знала или ей внушили, что уничтожение гетманства при дяде ее большинством малороссийского народа было принято с великою благодарностию, но не понравилось только старшине из дурных побуждений.

Относительно прибалтийских областей замечательно было одно из заседаний Сената в июне 1730 года: слушали доношение ревельского губернатора и приложенную при том челобитную тамошнего рыцарства на ревельских депутатов. При этом Остерман собранию предлагал, что съездов и сеймов, о которых упомянуто в губернаторском донесении, без здешнего (т.е. сенатского) указа и без ведома губернаторского делать не надлежит.

И отдельные лица, имевшие причины быть довольными, и официальные органы прославляли в стихах и прозе, по-латыни и по-русски новое царствование. Феофан Прокопович воспевал:

Прочь уступай, прочь./ Печальная ночь!/ Солнце восходит,/ Свет возводит,/ Радость родит./ Прочь уступай, прочь./ Печальная ночь!/ Коликий у нас мрак был и ужас!/ Солнце Анна воссияла – / Светлый нам день даровала./ Богом венчанна/ Августа Анна!/ Ты наш ясный свет,/ Ты красный цвет./ Ты красота,/ Ты доброта,/ Ты веселие/ Велие./ Твоя держава – / Наша то слава./ Да вознесет бог/ Силы твоей рог,/ Враги твоя побеждая,/ Тебя в бедах заступая./ Рцыте, все люди:/ О буди, буди.

В «Петербургских ведомостях» писали из Москвы от 22 июня 1730 года: «Хотя ее величество еще непрестанно в Измайлове при нынешнем летнем времени пребывает, однако о государственных делах превеликое попечение иметь изволит, понеже не токмо Сенат здесь (т.е. в Москве) свои ежедневные заседания имеет, но такожде и два дня в неделю назначены, чтоб оному у ее императорского величества в Измайлове собираться, и в ее присутствии в среду иностранные, а в субботу здешние государственные дела воспринимать; такожде изволит ее величество сверх того министров до аудиенции ежедневно допускать». Извещая о поездке Анны к Троице на праздник св. Сергия (5 июля), «Ведомости» прибавляют: «Изволила при отправлении службы божией всевышнему богу с великим благоговением молиться». В «Ведомостях» объявлялось также, что императрица экзерцировала полки. Под 15 марта 1731 года читаем: «Ее величество изволит еще непрестанно о правительстве неизреченное матернее попечение иметь. Ее императорское величество изволила вновь знак высокой своей природной императорской милости и великодушия явно показать: оставшуюся после бывшего князя Меншикова (умершего в Березове в октябре 1729 года) фамилию, сына и дочь, паки сюда привезти повелеть изволила. При

прибытии оных, сына и дочери, в Москву поехали они прямо во двор ее императорского величества и представлены того ж часа в их черном платье, в котором они из ссылки прибыли. Сын пожалован по-прежнему в поручики Преображенского полка, а дочь в камер-фрейлины, и оным на надлежащий экипаж некоторую сумму денег с алмазными вещми пожаловать изволила».

Этим знаком великодушия к детям «неблагодарного раба», быть может, желали ослабить впечатление, производимое опалами. 25 февраля поставило новое правительство во враждебные отношения к двум самым видным фамилиям – Голицыных и Долгоруких; обе желательно было удалить, но боялись действовать круто и начинать царствование опалами; соображали, против которой из двух фамилий и против кого именно из ее членов можно безопаснее начать преследование. Разумеется, безопаснее всего было начать с Долгоруких. Фавор последних в предшествовавшее царствование и неумеренное пользование этим фавором возбудили к ним нерасположение очень многих. Иностранные наблюдатели писали: «Радуются, что смерть Петра II убавит спеси у Долгоруких, которая стала нестерпима и своим и чужим; посланники австрийский и испанский по целым часам дожидались у них в передней, когда они пили кофе». Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая рассказывает, что когда в день въезда Анны она возвращалась из дворца домой и проезжала через полки, то одни кричали: «Это отца нашего невеста!», подбегали к ней: «Матушка наша, лишились мы своего государя!», а другие кричали: «Прошло ваше время, теперь не старая пора!» Мы видели, как возбуждалось общество против Долгоруких внушениями, что они захватили себе в руки всю власть и томят государыню, как пленницу. Несмотря, однако, на то, что Долгорукие не могли найти себе защитников, ждали, думали более месяца; лично ненавистного Анне князя Василья Лукича удалили в подмосковную; в продолжение нескольких дней Анна советовалась с Остерманом, и, наконец, 8 апреля Сенат получил указ за подписанием собственной руки императрицы, что действительный тайный советник князь Василий Долгорукий определяется губернатором в Сибирь; князь Михаил Долгорукий – в Астрахань: тайный советник князь Иван (Григорьевич) Долгорукий – воеводою в Вологду; князю Алексею Григорьевичу со всем семейством и брату его князю Сергею велено жить в дальних деревнях. В тот же день Сенат получил указ, что назначенный было Верховным советом в губернаторы в Нижний Петр Бестужев ссылается на житье в дальние деревни: дочь его, княгиню Волконскую, велено было содержать в Тихвине девичьем монастыре под крепким караулом. Но участь ее приятеля, Абрама Петрова, была облегчена: в сентябре 1730 года Ягужинский объявил собранию Сената, что ее величество указала лейб-гвардии от бомбардир-поручика Абрама Петрова, которому велено быть в Тобольском гарнизоне майором, послать в команду графа фон Минихена, а ему определить его в Пернове к инженерным и фортификационным делам по его рангу.

Подождали еще несколько дней, прислушались – ропота нет, и ударили посильнее; быть может, также внушили, что озлобленные вельможи будут опасны как правители отдаленных областей. 14 апреля издан был манифест: «Объявляем во всенародное известие. Понеже всем нашим верным подданным известно есть, коим ненадлежащим и противным образом князь Алексей Долгорукой с сыном своим князь Иваном, будучи при племяннике нашем, блаженной памяти Петре Втором, императоре и самодержце всероссийском, не храня его величества

дражайшего здравия, поступали, а именно: по пришествии его величества к Москве, во-первых, стали всеми образы тщиться и не допускать, чтоб в Москве его величество жил, где бь всегда правительству государственному присматривался и своих подданных, как вышних и знатных чинов, так и прочих, обхождение видеть мог; но всячески приводили его величество, яко суще молодого монарха, под образом забав и увеселения отъезжать от Москвы в дальние и разные места, отлучая его величество от доброго и честного обхождения, что тогда народу весьма прискорбно и печально было. И как прежде Меншиков, еще будучи в своей великой силе, ненасытным своим властолюбием его величество взяв в свои собственные руки, на дочери своей в супружество сговорил, так и он, князь Алексей, с сыном своим и с братьями родными его величество в таких молодых летах, которые еще к супручеству не приспели, богу противным образом, без всякого ближайшим кровным нашей императорской фамилии и прочим, которым ведать о том надлежало, сообщения, и Совету, и противно предков наших обыкновению, привели на сговор супружеством дочери его, князя Алексеевой, княжне Катерине. Многие и непорядочные, и противные дела, и в чины по своим прихотям, производили, о чем от нас впредь рассмотрено и указом объявлено будет. Не храня его императорского величества дражайшего здравия и не имея о том попечения, непрерывными и дальними от Москвы отлучками не токмо в летние дни, но и в самые осенние студёные времена и зимою привели к беспокойству, от чего его императорского величества здравью вред учинили и в последнюю его величества тяжкую болезнь, даже до дни кончины, о том министрам подлинно не объявили, но все то тайно содержали, не допуская знать не точию министров и прочих, но и придворных. Они ж, князь Алексей и сын его князь Иван, многий наш скарб, состоящий в драгих вещах на несколько сот тысяч рублей, к себе забрали и заграбили не точию при жизни племянника нашего, но и по кончине уже, при вступлении нашем на российский наш престол, что ныне указом нашим у них сыскано и отобрано. И понеже все те продерзости и преступления чинили он, князь Алексей, с сыном своим князь Иваном и с братьями своими родными по согласию обще, за что по государственным правам подлежали жестокому истязанию; однако ж мы того чинить им не указали, а повелели ему, князь Алексею, женою и со всеми детьми и брату его, князь Сергею, с женою ж и с детьми жить в дальних их деревнях, а братьев его, князь Ивана и князь Александра, определить в отдаленные города воеводами и чины у всех у них, которые получили не по заслугам и к нам верности, також и кавалерии, данные им, у них отобрать. А князь Василья княж Лукина, сына Долгорукова, за многие его нам самой и к государству нашему бессовестные противные поступки, и что он, не боясь бога и страшного его суда и пренебрегая должность честного и верного раба, дерзнул нас весьма вымышленными и от себя самого токмо составными делами безбожно оболгать и многих наших верных подданных в неверство и подозрение привести, как он в некоторых делах уже сам повинную принес; и за такие его преступления, хотя и достоин был наижесточайшему истязанию, однако ж мы, милосердуя, пожаловали вместо того, указали, лиша всех его чинов и кавалерии сняв, послать в дальнюю его деревню, в которой жить ему безвыездно за крепким караулом».

Таким образом, одни из Долгоруких наказывались за явные вины: князь Василий Лукич – за какую-то таинственную вину против самой императрицы. В

следующих показаниях князя Василия находится любопытное известие, относящееся к описываемому времени. «Как ее императорское величество соизволила шествовать в Москву, и в то время, будучи в пути, – доносил он, – что духовная о наследствии княжны Екатерины сочинена и ныне помнится ему, что и о том, что оную подписал князь Иван, он доносил же, и по пришествии ее величества в Москву, как он выслан был в подмосковную, и тогда приезжал к нему генерал Чернышев и об оной духовной его спрашивал, и он, сожалея своих братьев, сказал, что не помнит, доносил ли ее величеству о духовной. И потом приехал к нему князь Александр Григорьевич Долгорукий и говорил, что прислал к нему брат его Алексей и приказал сказать: ежели будут его, князь Василия, спрашивать о духовной, чтоб он отнюдь не мог сказывать, понеже от того можем пропасть; и после того приехал к нему гвардии капитан Хрущев и спрашивал его об оной же духовной, и он, сожалея своих братьев, сказал, что он, князь Василий, доносил государыне ложно, желая чрез то получить ее милость». Но действительно, по какому побуждению мог князь Василий сказать об этом Анне во время дороги? Неужели для того, чтоб получить ее милость? Вероятнее для того, чтоб напугать ее известием о существовании духовной в пользу княжны Долгорукой; что же касается до подписи духовной князем Иваном, то сам князь Василий говорит, что *помнится ему*, что доносил и об этом: при вторичном страшном допросе ему было выгодно сказать так, хотя и тут он не решился сказать утвердительно.

Теперь пока и за это донесение с последующим отрицанием князь Василий подвергался обвинению в оболгании, обмане, хотя таинственное обвинение главным образом относилось к другому. «Так ты, князь Василий Лукич, меня обманул», – сказано ему было 25 февраля. Фельдмаршала князя Василия Владимировича Долгорукого не тронули: он остался с прежним значением. Еще более опасались тронуть Голицыных. Люди, господствовавшие при дворе, – Левенвольд, сделанный обер-гофмаршалом, и фаворит Бирон – хотели *разделяя властвовать*, говорили, будто они послали сказать Голицыным, что если они будут держаться их стороны, то они помогут им и будут их верными друзьями. Действительно, фельдмаршал князь Михаил Михайлович Голицын при коронации был пожалован волостями, селами и деревнями в Можайском уезде из дворцовых, сделан был президентом Военной коллегии; но Голицыны могли тотчас же заметить, что приближения и влияния на дела им не дадут. Самый приближенный человек, фаворит, был иностранец низкого происхождения. Анна и Бирон понимали очень хорошо, что русские люди, и прежде всего русская знать, не могли сносить этого спокойно; Анна и Бирон чувствовали, что есть оскорбленные, и, естественно, оскорбители питали неприязнь к оскорбленным. Естественно было окружить себя людьми, которые не могли быть оскорблены иноземством фаворита, для которых он был свой и давний приятель; таков был Остерман, умнейший и опытнейший государственный человек в делах внешних и внутренних, которого сами русские признавали необходимым: таков был неразлучный друг Остермана Левенвольд. Но у русских две военные знаменитости, два фельдмаршала – Голицын и Долгорукий; надобно противопоставить им своего, и такой есть – генерал-фельдцейгмейстер Миних, военный талант первоклассный: Миних является председателем упомянутой нами выше Комиссии об исправлении военной части в России. Таким образом,

опираясь на Остермана в делах внутренних и в делах внешней политики, на Миниха в делах военных, на Левенвольда при дворе, можно быть покойну. Можно ласкать и русских, людей неопасных, без претензий: таков князь Алексей Михайлович Черкасский, знатный человек и первый богач, но не опасный по личным средствам, способный удовольствоваться одним почетом; Салтыковы – родственники императрицы – также не опасны по личным средствам: великий канцлер граф Головкин и в молодости не отличался беспокойным характером: его можно держать в большом почете как развалину славного царствования великого дяди; беспокоен, и очень беспокоен, зять его Ягужинский; но с одним человеком можно справиться.

Еще перед коронацией фельдмаршал Голицын со слезами жаловался на презрение, какое оказывают заслуженным особам. Во время коронации (28 апреля) Голицыны представляли печальную фигуру: императрица не удостоивала их взглядом, тогда как особенное внимание оказывала Остерману, пожалованному в графы, и князю Черкасскому. Против заслуг графа Андрея Ивановича трудно было спорить; князь Черкасский – знатный человек и в последнюю смуту очень выдвинулся своим усердием. Но неизвестный курляндец Бирон пожалован в обер-камергеры, наследство прежнего фаворита, князя Ивана Долгорукого, украшен кавалериями! Он пожалован в обер-камергеры за то, говорилось в рескрипте, что «сиятельный, особливо нам любезно верный граф Яган Эрнест фон Бирон, чрез многие годы будучи в нашей службе при комнате нашей (камергером), во всем так похвально поступал и такую совершенную верность и ревностное радение к нам и нашим интересам оказал, что его особливые добрые квалитеты и достохвальные поступки и к нам показанные многие верные, усердные и полезные службы не иначе как к совершенной всемилостивейшей благоугодности нашей касаться могли».

Уже в мае 1730 года иностранные министры замечают, что Бирон и Левенвольд управляют императрицею как хотят и русские ненавидят этих немцев, но сзади их стоит Остерман и управляет империею. Против неудовольствия надобно принять меры. Надобно увеличить число гвардейских полков. Князь Михаил Михайлович Голицын, будучи главнокомандующим Украинскою армиею, составил из мелкой шляхты шеститысячный корпус милиции; из этого корпуса выбрано было 2000 человек для составления нового гвардейского полка, который назван Измайловским по имени села Измайлова, любимого подмосковного пребывания императрицы. Князь Голицын надеялся, что ему в благодарность будет поручен выбор офицеров, но императрица сама назначила графа Карла Густава Левенвольда полковником нового полка и поручила ему набрать остальных офицеров «из лифляндцев, эстляндцев, и курляндцев, и прочих наций иноземцев и из русских». Этот Левенвольд был брат обер-гофмаршала графа Рейнгольда Левенвольда; в звании лифляндского ландрата явился он в Москву в числе других депутатов, приехавших просить новую императрицу о подтверждении лифляндских привилегий, остался в Москве, был пожалован генерал-лейтенантом, а потом обер-штабмейстером. Шотландец Кейт, перешедший из испанской службы в русскую, назначен был подполковником Измайловского полка.

Национальное чувство было сильно оскорблено, но в то же время обнаружилось посягательство и на материальное благосостояние. Мы видели, что

уже в Курляндии жаловались на сильную роскошь, которою отличался двор герцогини-вдовы. Сама Анна любила роскошь, развлечения, празднества: люди, к ней близкие, чужие для России, спешили весело пожить на чужой счет, ибо получали деньги даром от щедрот императрицы. И вот праздник следовал за праздником, бал сменялся маскарадом, и отличались они необыкновенною роскошью, требовали огромных издержек. «Во всем городе устроены иллюминации, и такие великолепные, подобных которым не видали в этой стране. Вчера мы были приглашены во дворец, где был бал и ужин, и никогда не видал я такого блестящего праздника и такого отличного ужина. Вы не можете себе вообразить роскошь этого двора. Я был при многих дворах, но могу уверить, что здешний двор своею роскошью и великолепием превосходит даже самые богатейшие, не исключая и французского». Так писали иностранные министры к своим дворам; но у нас есть и русские официальные известия, из которых видим, что не пропускалось никакого случая для празднества; в 1731 году, 15 февраля, праздновали даже годовщину публичного въезда Анны в Москву. В «Петербургских ведомостях» писали по этому случаю: «Кушали при дворе все иностранные и здешние министры с знатнейшими дамами. Пополудни был бал, причем такожде и машкарадом увеселялись; в 10 часу ввечеру имеет изрядный фейерверк зажжен быть». От 18 февраля известие из Москвы: «Машкарадом здесь еще и поныне непрестанно забавляются (маскарад начался 8 февраля), причем машкарадное платье всегда переменяется. Итальянские придворные комедианты короля польского сюда уже прибыли и будут на сей неделе первую комедию при дворе действовать». Известие от 25 февраля: «В прошедшее воскресенье был машкарад при дворе: во вторник был машкарад у великого канцлера, а потом – у фельдмаршала князя Долгорукого, сегодня – у вице-канцлера Остермана».

Не забудем, что эти великолепные праздники, «причем машкарадное платье всегда переменялось», происходили в государстве чрезвычайно бедном. Знать была очень небогата: обязанная службою, она, если б даже хотела и умела, не могла успешно заниматься хозяйственною деятельностью, откуда и неодолимое у многих стремление увеличивать свои скудные доходы служебными же средствами на счет казны, на счет управляемых и подсудимых. При Петре Великом было тяжело, принуждены были для нужд военных и преобразовательных платить много: разорил Петербург, где нужно было строить дома, где жизнь была дорога вдали от деревень, доставлявших продовольствие; но зато не было никакой роскоши, сам царь подавал пример сокращения расходов вследствие умеренности и простоты жизни. При Екатерине I и Петре II отдохнули от войны и сильного преобразовательного движения, успели перебраться и в Москву; удобства жизни увеличивались, но роскоши заметно не было. Теперь, со вступлением на престол Анны, начинается сильная роскошь: к каждому празднику новое платье! До сих пор богатый человек, т.е. имевший много деревень, доставлявших ему много съестных припасов, показывал свою роскошь тем, что давал сытные пиры, кормил много приживальцев и приживалок, содержал большую дворню, множество лошадей; но денег было мало, и потому не щеголяли переменным платьем, не стыдились, но старине, носить платье отцовское и материнское: а теперь требуется к каждому празднику новое платье: где же взять денег на покупку дорогих заморских материй? Приходится продавать деревни! Ропот страшный: вздыхают о временах Петра Великого, о знаменитых, теперь уже, несмотря на

близость, баснословных временах простоты и умеренности, временах гонения на роскошь. Неудовольствие не могло ограничиться знатью, людьми, имеющими проезд ко двору. В мирные царствования Екатерины I и Петра II при убеждении, что надобно льготить крестьянина, от благосостояния которого зависит благосостояние других частей народонаселения, смотрели сквозь пальцы на доимки; по за чем теперь вдруг приводятся в исполнение строгие указы против доимок? Разве нужно заводить снова войско и флот, разве снова швед вступил в русские пределы? В три месяца помещики, архиереи и монастырские власти должны заплатить доимки: на помещиках или их приказчиках офицеры правят доимки. Войны нет – куда же пойдут деньги? На фаворитов-немцев, на балы и маскарады!

В связи с неудовольствием на роскошь было дело Румянцева. Мы видели, что один из близких к Петру Великому людей был отправлен с дипломатическо-военным поручением на персидско-турецкие границы. Румянцев, игравший такую роль в деле царевича Алексея, разумеется, не мог пользоваться особенною благосклонностию правительства в царствование Петра II. При Петре Великом он получил часть деревень, отобранных у Лопухиных и других опальных; при Петре II у него отобрали эти деревни для возвращения прежним владельцам. Анна, рассчитывая на неудовольствие Румянцева предшествовавшим царствованием и желая приобрести верного слугу в видном генерале и, главное, в одном из любимцев великого дяди, не могшем иметь ничего общего с Голицыными и Долгорукими, вызвала Румянцева в Москву и приняла необыкновенно любезно: он был сделан сенатором, подполковником гвардии, получил 20000 рублей в вознаграждение за отобранные при Петре II деревни. Но императрица и фавориты ошиблись в расчете: Румянцев был человек совершенно петровского закала: господство немцев и роскоши при дворе его возмутили; он столкнулся с братом Бирона и отделал его. При дворе забили тревогу: Анне стали внушать, что она жестоко ошиблась в Румянцеве, что это человек подозрительный, как любимец Петра Великого, он радеет потомству своего благодетеля. Императрица призывает его к себе, упрекает в неблагодарности, говорит, что она не может оставить его подполковником гвардии, как человека, к ней нерасположенного, но назначит его президентом одной из финансовых коллегий. Румянцев отвечает, что он всегда служил верою и правдою, что, будучи всегда солдатом, он ничего не смыслит в финансах, и, разгорячившись, начинает высказывать то, что было на душе у русских людей; говорит, что он не умеет выдумывать средств для удовлетворения роскоши, введенной теперь при дворе. Тут Анна прервала его, выгнала вон, велела арестовать и отдать на суд Сената. Сенат решил, что Румянцев за неповиновение воле императрицы достоин смерти; Анна переменяла смертную казнь на ссылку в казанские деревни; Александровская лента была с него снята и 20000 р. взяты назад. Опала Румянцева, явившегося героем, произвела страшное раздражение против немцев. Польский посланник Потоцкий в разговоре с секретарем французского посольства Маньяном сказал: «Боюсь, чтоб русские теперь не сделали того же с немцами, что сделали с поляками во время Лжедмитрия, хотя поляки и не подавали таких сильных причин к ожесточению». Маньян отвечал ему: «Не беспокойтесь: тогда не было гвардии, а теперь у русских нет вождя по смерти фельдмаршала Голицына».

Голицын умер в конце 1730 года, и легко понять, как отлегло на сердце у фаворитов. Оставался другой фельдмаршал – из Долгоруких; ему передали место Голицына, президентство в Военной коллегии; но и он недолго оставался в покое. Долгоруких продолжали казнить постепенно, жечь медленным огнем. После известных распоряжений относительно их участи в апреле в середине 1730 года последовали новые распоряжения: князя Алексея с детьми сослали в Березов; князя Василия Лукича – в Соловки, князя Сергея – в Ораниенбург, князя Ивана Григорьевича-в Пустозерск, мать князя Алексея-в Ораниенбург. Судьба князя Алексея не могла возбуждать сожаления, потому что одновременно с этими распоряжениями в журналах Сената записывалось: «Допущен был действительный статский советник Шереметев и подал за своею да за князя Петра Черкасского и князя Якова Голицына руками доношение и при нем реестр забранным из дому покойного дяди их, генерал-адмирала графа Апраксина, князь Алексеем Долгоруким безденежно вещам, и чтоб те вещи или за них деньги к ним возвратить». Но в конце 1731 года издан был манифест, из которого узнали, что самый видный и самый почтенный из Долгоруких за какие-то таинственные преступления заточен в крепость. «Хотя всем известно, – говорилось в манифесте, – какие мы имеем неусыпные труды о всяком благополучии и пользе государства нашего, что всякому видеть и чувствовать возможно из всех в действо произведенных государству полезных наших учреждений, за что но совести всяк добрый и верный подданный наш должен благодарение богу воздавать, а нам верным и благодарным подданным быть. Но кроме чаяния нашего явились некоторые бессовестные и общего добра ненавидящие люди, а именно: бывший фельдмаршал князь Василий Долгорукий, который, презря нашу к себе многую милость и свою присяжную должность, дерзнул не токмо наши государству полезные учреждения непристойным образом толковать, но и собственную нашу императорскую персону поносительными словами оскорблять, в чем по следствию дела изобличен; да бывший гвардии капитан князь Юрий Долгорукий, прапорщик князь Алексей Борятинский, Егор Столетов, которые, презрев свою присяжную должность, явились в некоторых жестоких государственных преступлениях не токмо против нашей высочайшей персоны, но и к повреждению государственного общего покоя и благополучия касающихся, в чем обличены и сами признались, а потом и с розысков в том утвердились. За которые их преступления собранными для того министры и генералитетом приговорены они все к смертной казни. Однако ж мы по обыкновенной своей императорской милости от той смертной казни всемилостивейше их освободили, а указали: отобрав у них чины и движимое и недвижимое имение, послать в ссылку под караулом, а именно: князь Василья Долгорукова – в Шлиссельбург, а прочих – в вечную работу: князь Юрья Долгорукова – в Кузнецк, Борятинского – в Охотский острог, а Столетова – на Нерчинские заводы».

Двоих русских фельдмаршалов нет более – один в могиле, другой в крепости. У русских нет вождя, говорит умный француз, и потому недовольствие их неопасно. Сила немцев упрочена, потому что у них есть вожди – Остерман. Миних. Как же это случилось, что русские очутились без вождей, куда исчезли люди, которых оставил России Петр Великий? Много важных задач завещал решить русским людям преобразователь, для чего так старался возбудить их духовные силы, приучить к самостоятельности, к действию сообща; но самая

важная задача состояла в том, чтоб выйти невредимо из страшной опасности, необходимо связанной с преобразованием: выучиться всему нужному у чужих, не давши учителям значения больше, чем сколько им следовало, сохранить свое национальное достоинство, удержав за своею национальностью господство. Мы видели, как Петр заботливо охранял достоинство русской национальности, как высоко держал ее знамя, как, привлекая отовсюду полезных иностранцев, не давал им первых мест, которые принадлежали русским. Петр оставил судьбу России в русских руках. Чтоб такой порядок вещей продолжался, нельзя было ограничиться одним физическим исключением иностранцев; для этого нужно было поступать так, как учил Петр Великий: не складывать рук, не засыпать, постоянно упражнять свои силы, сохранять старых людей способных и продолжать непрестанную гоньбу за новыми способностями. Появление Остермана между членами Верховного тайного совета показывало, что русские люди, стоявшие наверху, не могли преодолеть искушения сложить тяжелый труд изучения подробностей на даровитого и приготовленного иностранца. Это бы еще не беда: для такого человека, как Остерман, можно было сделать исключение и из правила Петра Великого. Но что всего хуже, русские люди, оставленные Петром наверху, начинают усобицу, начинают истреблять друг друга. Двое людей, которые при соединении своих сил были так могущественны, что дали престол Екатерине, начинают усобицу, и Меншиков засылает Толстова в Соловки; чрез несколько месяцев сам Меншиков очутился в ссылке; по смерти Петра II дворянство и генералитет, раздраженные олигархическими стремлениями верховников, выдают их новому правительству, и в два года не досчитываются двоих даровитых деятелей – князей Василия Владимировича и Василия Лукича Долгоруких; смерть поражает фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына, и чрез это отнимается значение у брата его, князя Дмитрия. Апраксин умер еще при Петре II, Головкин одряхлел, да и никогда не отличался энергиею; из знаменитостей Петровского времени остался один Ягужинский, по один в поле не воин. Ряды разредели; на Салтыковых и Черкасских не было благословения Петра Великого, и на праздные места выступают таланты, завещанные также преобразователем, но иностранцы – Остерман и Миних. Можно было помириться с возвышением этих иностранцев, очень даровитых и усыновивших себя России, неразрывно соединивших свою славу с ее славою, благоговейно чтивших память великого человека, давшего их России; но нельзя было помириться с теми условиями, которые их подняли и упрочили их значение: перед ними стоял фаворит обер-камергер граф Бирон, служивший связью между иностранцами и верховною властью. Бирон и Левенвольды, по личным своим средствам вовсе не достойные занимать высокие места, вместе с толпою иностранцев, ими поднятых и им подобных, были теми паразитами, которые производили болезненное состояние России в царствование Анны. Бирон, красивый и привлекательный в своем обращении господин, нравившийся не одним женщинам, но и мужчинам своею любезностию, не был развращенным чудовищем, любившим зло для зла; но достаточно было того, что он был чужой для России, был человек, не умерявший своих корыстных стремлений другими, высшими; он хотел воспользоваться своим случаем, своим временем, фавором, чтоб пожить хорошо на счет России; ему нужны были деньги, а до того, как они собирались, ему не было никакого дела; с другой стороны, он видел, что его не любят, что его считают не достойным того

значения, какое он получил, и но инстинкту самосохранения, не разбирая средств, преследовал людей, которых считал опасными для себя и для того правительства, которым он держался. Этих стремлений было достаточно для произведений *бироновицны* .

В начале царствования, именно в апреле 1730 года, издан был указ против ложных доносов; велено было обнародовать, в какой силе состоят первые два пункта; запрещено верить доносам воров и разбойников, приговоренных к смерти, «дабы, продолжая живот свой, не затевали и невинные бы по лживым их доносам напрасно не страдали». Но в марте 1731 года нашли нужным восстановить учреждение, известное под именем Преображенского приказа и уничтоженное, как мы видели, при Петре II: восстановленное учреждение было поручено генералу Ушакову и получило название Канцелярии тайных розыскных дел. Тайные дела были взяты из Сената, потому что, как сказано в указе, они мешали отправлению прочих государственных дел. И относительно других дел поспешили избавиться от многолюдного собрания сенаторов, между которыми были люди неприятные. Еще в начале царствования, в апреле 1730 года, в высших сферах носились слухи об учреждении Кабинета или Совета из четырех или пяти приближенных лиц. Но только 10 ноября 1731 года был дан указ Сенату: «Для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел, к собственному нашему всемилостивейшему решению подлежащих и ради пользы государственной и верных наших подданных, заблагорассудили учредить при дворе нашем Кабинет и в оный определить из министров наших канцлера графа Головкина, вице-канцлера графа Остермана, действительного тайного советника князя Черкасского». На следующий день новый указ: «Ныне мы, ревнуя закону божию и имея о верных наших подданных богоугодное попечение, чтоб всем суд происходил нелицемерный, неотменно и безволочитно, по учреждению нашего Кабинета заблагорассудили из всех обретающихся здесь вышних и нижних судебных правительств, как из Сената и из Синода, так из коллегий, приказов и канцелярий, для собственного нашего в тех челобитчиковых делах усмотрения, безволочитно ль оным решения бывают, собирать в Кабинет наш краткие рапорты помесячно».

Так же рано, в мае 1730 года, императрица начала уже публично говорить о переезде в Петербург, даже назначала для этого время – следующую зиму, но прибавляла при этом, что не останется в Петербурге навсегда, главная резиденция будет в Москве. Зима прошла, двор оставался в Москве: только в конце 1731 года переезд в Петербург был решен окончательно. Мы видели, что фельдмаршал Долгорукий вместо Петербурга отправился в Шлиссельбург; из старых верховников возвращались в Петербург граф Головкин, князь Дмитрий Михайлович Голицын и Остерман. Генерал-прокурор Ягужинский не переехал в Петербург; это был беспокойный и опасный человек, способный усиливать глазную болезнь, которою часто страдал Остерман. В 1731 году, в праздник восшествия на престол Анны, Ягужинский во дворце, выпивши или, как говорят, притворившись пьяным, принялся бранить Остермана и брата его, мекленбургского посланника; императрица, любившая подобные сцены, смеялась и говорила, что это действует вино; но Остерман не смеялся и говорил: «Жаль, что закон не позволяет обиженному самому отомстить обидчику». На другой день Анна сделала Ягужинскому легкий выговор; тот клялся, что ничего не помнит, что

наболтал под влиянием бахуса, и, по обычаю, давал зарок не пить больше. Императрица не выдавала Ягужинского, а тут еще новая связь по жене: третий сын графа Головкина, Михаил, женился на княжне Ромодановской, двоюродной сестре императрицы (княгиня Ромодановская и царица Прасковья Федоровна были родные сестры). Несмотря на то, к концу 1731 года успели удалить и Ягужинского в почетную ссылку – отправили его посланником в Берлин. Был еще человек неудобный, хотя и не так опасный и беспокойный, как Ягужинский, – то был старый вице-канцлер Шафиров, о котором не переставали твердить как о человеке способностей необыкновенных; Меншиков хотел заслать его в Архангельск; теперь послали его в противоположную сторону, на персидские границы, с важным дипломатическим поручением. В августе 1730 года действительный статский советник барон Петр Шафиров призван был в Сенат, и пред собранием объявлен ему указ ее императорского величества о бытии в Гиляни вторым полномочным министром. Шафиров доносил, что он ее императорскому величеству со всякою верностию и усердием служить готов, только имеет великие болезни и беспамятство, и чтоб от того в делах ее величества не учинились упущения; к тому ж он, Шафиров, одолжал немалыми долгами, и отправиться ему туда нечем, и просил о том доложить ее величеству. Средства, с чем отправиться, были даны; на болезни и беспамятство не обратили внимания. Опасные и беспокойные люди были все отстранены; с Головкиным и Черкасским Остерману было легко отправиться в Петербург; князь Алексей Михайлович одно время побеспокоился было: у него была одна только дочь, наследница громадного имения, на которое обратил внимание Левенвольд и предложил княжне свою руку. Отец был в страшном затруднении: сильно не хочется выдать дочь за Левенвольда и отказать нельзя; согласился; обручили; но наверху сочли неудобным огорчать Черкасского и позволили разорвать дело даже после обручения.

В начале 1732 года двор был уже в Петербурге. Оставленный в Москве главнокомандующим, обер-гофмейстер и генерал Семен Салтыков получил следующий наказ: 1) чтоб во всем здесь, на Москве, надлежащий добрый порядок содержать и всякие непорядки, конфузии и замешания по крайней возможности пресережены и отвращены были. 2) И для того надлежит ему как явно, так и под рукою за оставшимися здесь как главными, так и прочими управителями, коллегиями и командирами прилежно смотреть, дабы все их поступки были порядочные и каждый должность свою по своему званию с таким верным радением и прилежанием отправлял, как по присяжной всеподданнической должности надлежит. 3) А ежели б кто тому противно поступал, то не токмо нам о том немедленно доносить, но и, смотря по важности дела, с общего сношения с оставшимися здесь сенатскими членами, с таким поступать, как наши указы и регламенты повелевают. 4) А ежели б такое дело случилось, о котором ему б и сенатским членам сообщить было невозможно и которое б времени не терпело, то в таком случае чинить и ему одному все то, что к нашим интересам и к пресережению опасных непорядков потребно будет, и нам о том без всякого упущения времени репортовать. 5) Ему ж прилежно в Сенате присутствовать и смотреть, дабы дела порядочно и во всем по нашим указам и регламентам в оном отправлены были без всякой волокиты и остановки. 6) Надлежит же ему смотреть, дабы оставшиеся здесь батальоны от полков гвардии нашей в добром порядке и

военной дисциплине содержаны были, тож смотреть и за прочими здешней команды полевыми полками и чтоб она команда порядочно и по военным нашим регламентам во всем отправлена была. 7) Впрочем, имеет он обо всем, что здесь происходить станет и к нашему ведению для интересов наших принадлежит, нам часто и обстоятельно доносить, и в прочем сии пункты весьма секретно содержать, и никому, кто б ни был, об оных сообщать или объявлять.

Обратимся к делам внешним.

Смерть Петра II, разумеется, должна более всего огорчить австрийский двор: цесаревне не решились вдруг объявить об этом несчастье, но приготовили ее исподволь; узнавши, она сказала, что сердце ее с самого начала предчувствовало беду. Цесарь, выслушав у Ланчинского извещение о смерти Петра и восшествии на престол Анны, отвечал: «Сердечно сожалеем о преждевременной кончине государя, подававшего такие великие надежды; потеря нам очень чувствительна как по дружбе, так и по свойству, но преклоняемся пред волею божию. Похвальна осторожность российских чинов, что праздный престол немедленно заместили: и с новою царицею мы готовы продолжать ту же дружбу и обязательство, какие имели с покойным царем и его предшественниками». Прусский король обнадеживал также своею дружбою новую императрицу; но особенную радость Фридрих-Вильгельм обнаружил, когда узнал о восстановлении самодержавия в России: за столом пил за здоровье Анны из большого бокала и давно не был так весел. «Теперь, – говорил он, – я уже не стану смотреть на Польшу в делах курляндских». Король шведский изъявил желание усилить дружбу с русскою государынею; король польский обнадеживал постоянною дружбою и *партикулярным* почтением. В Копенгагене радовались всего более, что преемницею Петра была Анна, ибо видели в этом утверждение своей безопасности со стороны России.

Прежде всего нужно было покончить с Персиею, где Тахмасиб брал верх над Эшрефом благодаря знаменитому визирю своему Тахмасу Кулы-хану. Посол Тахмасиба находился в начале 1730 года в Москве и в конференции объявил следующие пункты: 1) чтоб Россия помогла его шаху очистить его государство от неприятелей, после чего шах уступит императрице все провинции, как занятые русскими войсками, так и обещанные в договоре, заключенном с Петром Великим; 2) если же с русской стороны помощи не будет, то Россия должна возвратить ему все провинции, и дружба и торговля между обоими государствами будет по-прежнему, русским купцам дастся позволение торговать в Персии беспопшлинно, также дадутся им места для построения домов, где они сами пожелают; 3) так как турки и афганцы очень непостоянны, и потому русские не должны им ни в чем верить: они могут у России обманом взять персидские провинции, чего шах не сделает.

Иностранная коллегия представила рассуждение о мерах для успешнейшего окончания персидских дел. В рассуждении говорилось, что у России с Турциею заключен был договор, в котором оба государства обязались покончить персидские дела с общего согласия. Несмотря на то, турки, увидя силу Эшрефа, заключили с ним формальный трактат без согласия России. Эшреф теперь побежден законным шахом Тахмасибом, который усиливается и, по всем вероятностям, утвердится на персидском престоле. Порта всеми способами старается помириться с Тахмасибом и сильно вооружается, чтоб тем скорее

склонить его к миру или в противном случае силою оружия удержать за собою завоеванные места. Так как сомнительно, чтоб шах Тахмасиб вдруг согласился на уступку Турции занятых ею областей, то Порта предлагает России исполнить договор, т.е. окончить персидские дела с общего согласия; это она делает нарочно, чтоб Россия не заключала отдельного договора с Тахмасибом или, что еще хуже, не соединилась бы с ним против Порты. Россия хотя также, по примеру Турции, заключила договор с Эшрефом, но при этом не порвала сношений и с Тахмасибом, которого посол и теперь находится в Москве. С одной стороны, война персидская ее императорскому величеству очень убыточна и тяжка становится, а содержание завоеванных персидских провинций очень трудно, и едва ли когда-нибудь могут быть получены от них выгоды, каких сначала ожидали; с другой стороны, турки не желают расширения и утверждения русского владычества в Персии, точно так, как и усиление турок там противно русским интересам, и Россия никаким образом не может допустить турок до Каспийского моря: на этом основании еще генерал-фельдмаршалу князю Долгорукому даны были указы, подтвержденные потом и Левашову, – если усмотрят, что в Персии утвердится такой владетель, который в силах поддержать себя, то заключить с ним мир, хотя бы и с уступкою занятых областей. Из этого краткого предисловия видна уже дорога, по которой надобно будет идти в настоящем деле, но здесь, однако, должно различать две части: отношения турецкие и отношения собственно персидские.

Так как турецкие дела в Персии находятся не в цветущем состоянии, то нельзя думать, чтобы Порта могла объявить войну России, особливо зная союз ее с цесарем, и потом персидская война становится туркам очень тягостна. Поэтому они предлагают теперь России решить персидские дела с общего согласия, и если бы на турок можно было положиться, если б можно было ожидать от них умеренности, то этот способ и для России был бы самый надежный: но на турок полагаться нельзя; гораздо более вероятно, что они предлагают это только для того, чтоб усыпить Россию: притом дальнейшие военные действия в Персии, если б Порта по общему соглашению стала их требовать, тяжелы для России, тем более что она никаких дальнейших завоеваний себе там не желает, и эти действия могут приносить пользу одним туркам. Но так как русский интерес требует, чтобы Порта одна, без соглашения с Россиею, не оканчивала своих дел с шахом Тахмасибом, то надобно подать Порте надежду, что ее императорское величество склонна поступать в персидских делах с общего согласия, и в то же время всевозможно стараться отводить Турцию от отдельного примирения с шахом. Для успеха в этом деле необходимо поступать с твердостью и всегда быть в состоянии в нужном случае дать надлежащий отпор, ибо общее и неопровержимое правило говорит: кто хочет избежать войны, тот должен быть всегда к ней готовым.

Что касается Персии, то там надобно поступать по-прежнему, именно подтвердить Левашову, чтоб старался как можно скорее заключить договор с шахом Тахмасибом и употреблял все способы для отклонения его от договора с Портою. Если шах не согласится на договор без уступок, то уступка может быть обещана в договоре, но действительно сделать ее опасно до тех пор, пока шах не утвердится на престоле и окончит свои дела с турками, ибо при неудачной войне Тахмасиба с последними они могут овладеть уступленными областями. Перед Турциею можно отговориться тем, что: 1) у России с шахом Тахмасибом давно уже заключен договор и новый договор есть только подтверждение старого; 2) что

турки подали пример, заключив мир с Эшрефом без общего согласия: 3) что в договоре Россия не обязалась помогать шаху против Порты. Так как исход дела еще неизвестен, то надобно держать наготове значительные силы и потом стараться удерживать тамошние народы при русской стороне, для чего находящихся здесь посланников от тамошних владельцев надобно вполне удовлетворить и отпустить домой.

23 мая императрица одобрила этот план. Найдено также неудобным, что начальство в Закавказье делилось между двумя генералами – Левашовым и Румянцевым: Румянцев был отозван, и вся власть поручена одному Левашову, но на помощь ему при ведении дипломатических переговоров был отправлен, как мы видели, Шафиров.

1730 год прошел в бесплодных переговорах: в начале 1731 года Левашов доносил из Рящи, что состояние шахова двора «худое, удивительное и развращенное является; безмерно наполнены гордости и суеверия, ничего слышать не хотят, по беспутной амбиции признают себя умнее всего света, и по разногласию партий один боится другого». При этом еще глубокие снега зимою мешали сообщениям. Весною Левашов и Шафиров получили от своего двора указы: оставя все претензии на денежное вознаграждение, объявить шаху, что императрица не хочет оставить за собою ни одной из персидских провинций и повелела вначале очистить все занятые земли по реку Куру, когда шах прикажет заключить договор о восстановлении соседственной дружбы и ратификует его; и прочие провинции от реки Куры будут уступлены, когда шах выгонит неприятелей из своего государства. Предписывалось спешить заключением договора, чтоб предупредить турок. Левашов и Шафиров исполнили волю императрицы, но когда донесли в Москву об этом исполнении, то получили замечание, что уступку провинций следовало шаху только обещать, а не вдруг покидать свою прежнюю твердость, что персияне могут почесть признанием в слабости и возгордиться, тем более что персидские дела в надежный порядок еще не пришли и турки из Персии еще не изгнаны; вследствие этого повелевалось стараться о заключении договора по прежним указам, об уступке Гиляни до Куры только обещать, а уступку земель от Куры до Баки и прочих мест вдруг не обещать и не утверждать, что и они будут уступлены, но объявлять только на словах, что, когда турки из всей Персии будут выгнаны, тогда и об этих землях будет соглашение и склонность императрицы к шаху может быть показана: если же шах будет требовать уступки областей по последнему предложению, то требовать с него за это знатной суммы денег. Новый указ, впрочем, заключался тем, что все предоставляется на рассуждение Левашова и Шафирова, которые должны сообразоваться с тамошним состоянием дел и движением турок. Левашов и Шафиров отвечали, что не признают никакой пользы для интересов императрицы в отступлении от проекта договора, уже предложенного ими персидскому двору, требовать с шаха денег за уступленные провинции также бесполезно, потому что вследствие крайнего расстройств в финансах он заплатить ничего не в состоянии; это требование может понести только к разрыву и заставить персиян поспешить заключением мира с турками.

Но в Москву пришли известия, что турки одержали над персиянами значительную победу под Эриванью и потому отложили всякую мысль мириться с шахом; прежних послов его отдали под стражу, нового отправили в ссылку и вознамерились энергически вести войну в Персии; с другой стороны, афганцы

начали опять усиливаться, одержали верх над Тахмас Кулы-ханом, и Магометов брат Гуссейн уже стал величать себя персидским шахом. Остерман подал мнение: «По вышеозначенным турецким и персидским ведомостям прилично ли тотчас уступить Гилянскую провинцию или нет? По отправленным к Левашову и Шафирову последним указам так просто сделать уступку не велено, по положено на их рассуждение, смотря по тамошним конъюнктурам и опасностям. Главным основанием русских интересов в персидских делах положено было то, чтоб никак не допускать турок к Каспийскому морю и в соседство к нему. Теперь хотя турки заключенный с ними Россией договор и не соблюли, однако этот договор во всех делах с Портою служил основанием; но нему Гилянская провинция с прочими остается за Россию, вследствие чего турки до сего времени явно и на деле к ним не прикасались. Но если русские войска теперь из этой провинции выступят, то мы сами отступим от договора и турки получают желанную возможность направить свои действия к Каспийскому морю, утвердиться там и порвать все сообщения русских с шахом. Выступление русских войск из Гиляни безо всякой видимой нужды может быть почтено знаком слабости, почему тамошние народы могут возмутиться и беспокоить русские войска, соединившись с дагестанскими и ширванскими народами, находящимися в турецком подданстве. Если выступить только из Гиляни, а страну по сю сторону Кура удерживать до тех пор, пока турки выгнаны будут из Персии, то от этого России никакого облегчения не будет, только потеряются доходы, получаемые из Гиляни, велики ли они или малы. Русская торговля в Персии, начавшая было приходить в некоторый порядок вследствие уступки Гиляни, может опять остановиться, и если, по несчастию, турки засядут в Гиляни, то может совсем прекратиться к немалому государственному убытку. Против этого могут возразить: занимаемые нами персидские области слишком обширны и нашим небольшим там войском все они не могут быть охранены от неприятельских нападений; если не выступить из Гиляни, то находящиеся там наши войска могут быть отрезаны турками или персиянами и пропасть: что персидская война очень тяжела и от тамошнего климата люди умирают в большом числе. На это можно отвечать: 1) если охранять каспийские берега от турок признается необходимым, то самая обширность земель заставляет остерегаться, чтоб турки в каком-нибудь месте внезапно не утвердились: 2) по нынешним ведомостям не видно никакой опасности ни с турецкой, ни с персидской стороны, и турки не посмеют напасть на Гилян, пока там находятся русские войска, зная, что следствием этого будет генеральная война; 3) чтоб русские войска не могли быть отрезаны в Гиляни, можно генералу Левашову под твердить, чтоб он в случае явной опасности выходил из Гиляни и отступал за Кур; 4) уже восемь лет Русское государство несет эту тягость, и в более опасных обстоятельствах Гилян и другие области удерживало за собою не для чего иного, как только для того, чтоб не допустить турок к этим местам. По всем этим соображениям, кажется, выгоднее будет помедлить теперь действительною уступкою Гиляни: надобно подождать и посмотреть, как пойдут в Персии турецкие дела. а генералу Левашову дать позволение уступить Гилян, когда персидские дела так понравятся, что от турок опасности больше не будет; а персиян между тем под рукою всеми способами побуждать к сильным действиям против турок».

В конце сентября, уведомляя о турецких успехах, Левашов и Шафиров писали: «Мы прикажем уверять шаха, что мы готовы заключить договор, только

бы он нас уведомил, как он намерен действовать против турок; велим его ободрять, чтоб он, собравши войско и призвав Тахмас Кулы-хана, не допустил турок до расширения в своих наследных провинциях; однако, не увидя в его делах прямой надежды, не посмеем с ним договор заключить без указа; мы сомневаемся, успеют ли наши представления при его слабости после поражения и при его безумных поступках, происходящих от шумства (пьянства); если б он не был так беспутен, имел хороших полководцев и сохранял порядок, то вследствие численного превосходства своих войск над турецкими вышел бы победителем из борьбы. Мы теперь находимся в крайней печали и опасаемся, что если турки покажут хотя малую склонность к миру, то он, не видя себе ниоткуда помощи, помирится с ними на каких бы то ни было условиях: а упредить нам турок никак нельзя как по указам вашего величества, так и по нашему о нынешнем состоянии шаха рассуждению: отдать ему областей нельзя, турки у него их отнимут; а без уступки областей шахов посланник мирза Ибрагим не соглашается заключать мирного договора. В таких обстоятельствах мы решились послать тайно из здешнего народа верного и неглупого человека к Тахмас Кулы-хану побуждать его к действиям против турок и обнадеживать помощью с нашей стороны, уверяя в склонности вашего величества к их персидской стороне и к нему особенно, признавая его одного из всех персидских полководцев добрым воином и благонамеренным оборонителем своего отечества; при этом мы прикажем своему посланцу выведать намерения Тахмас Кулы-хана, хочет ли он вступить за шаха или искать своих выгод, и, смотря по тому, велим говорить».

В конце года Левашов и Шафиров получили от своего двора указы ни под каким видом не позволять туркам предупредить Россию заключением мира с Персией; с другой стороны, разнесся слух, что главнокомандующий турецкими войсками Ахмет-паша уже заключил этот страшный мир и персияне стали упрямее: посланник шаха мирза Ибрагим объявил, что не заключит мирного договора с Россией, если еще до шаховой ратификации хотя часть Гиляни не будет очищена от русских войск. Левашов и Шафиров сочли нужным согласиться на это требование, рассуждая, что если б после отдачи одной крайней провинции, а именно Лагеджани, шах и не подтвердил договора, чего, впрочем, никак ожидать нельзя, то можно будет эту провинцию и опять занять, потому что в ней никаких крепостей нет; согласились и на то, чтоб отданы были шаху доходы с областей за несколько месяцев до выхода из них русских войск, на том соображении, что когда жители областей узнают об уступке их Персии, то станут всеми мерами уклоняться от платежа податей в русскую сторону и ничего с них получить будет нельзя, разве силою оружия. Договор с Ибрагимом был заключен 21 января 1732 года, а 22 марта получена шахова ратификация.

Ход персидских дел зависел от турецких отношений: главным основанием политики служило то, чтоб не допускать турок к берегам Каспийского моря; заключением мира с персиянами спешили, чтоб предупредить мир Порты с ними. Кроме дел персидских предметом сношений у России с Турцией были пограничные ссоры. Известный нам Суркай напал на русские владения; Румянцев наказал его; Порта требовала удовлетворения за эту расправу Румянцева с подданным турецким, отказалась иметь дело с Румянцевым. Неплюев писал новой государыне: «Порта не будет вступать в ссору с вашим величеством, но, по варварскому своему обыкновению, хочет испытать вас при восшествии вашем на

престол, как вы поступите. И по смерти императора Петра I турки таким же образом поступали, пока не получили решительного ответа от императрицы Екатерины Алексеевны. Очень вероятно, что по состоянию своих внутренних дел и по персидским отношениям Порты не отважится на ссору с вашим величеством, разве, паче чаяния, ослепится, чего при настоящем министерстве ожидать нельзя; хотя турки по природе и горды, но слабость свою хорошо знают».

Порта не менее России желала поскорее заключить мир с Персиею и, чтоб вы нудить у шаха выгодные условия, страшала его самозванцем, который жил в Константинополе и выдавал себя также за сына Гуссейнова, следовательно, брата Тахмасибова; в конференциях с персидским посланником турецкие министры говорили, чтоб шах прежде отобрал от России свои провинции, а потом нашел бы средство и с Портою дружески согласиться, как государь единоверный; посланник отвечал, что у них с Россиею ссоры нет, желают они прежде с Портою покончить, а потом найдут средство к соглашению и с Россиею, которая обещает им уступку. Порта такой уступки не обещала. Персия не хотела мириться без уступки; Неплюев нашел средство сноситься с персидским посланником и уговаривал его не уступать, потому что шах находится в лучшем положении, чем прежде, и Россиею покинут не будет; русская императрица непременно хочет охранять Персию против всех врагов, и особенно против турок. В половине 1730 года в Константинополе был написан проект мирного договора между Турциею и Персиею, по которому Порта отказывалась от последних своих завоеваний, довольствуясь уступкою Грузии, Армении и Ширвани: но Порта не верила, что шах согласится подтвердить этот договор, а потому объявлен был поход визиря и самого султана в Азию.

Осенью 1730 года Неплюев донес о перевороте в Константинополе: 17 сентября произошел бунт, и султан в угоду бунтовщикам должен был предать смерти визиря, муфтия и капитан-пашу; но этим бунтовщики не удовольствовались, свергли султана и возвели на престол племянника его Махмуда, сына султана Мустафы. Крымский хан Каплан-Гирей находился при новом султани и участвовал во всех советах; Неплюева беспокоили слухи, что хан вооружает Порту против России; другие успокаивали резидента, утверждая, что при настоящем волнении хан не выражает самостоятельных мнений, а следует только мнениям других. «Чему верить, не знаю, – писал Неплюев, – за хана ручаться нельзя, понеже и он того же ехиднина порождения сын; буду смотреть прилежно». Беспокоил резидента и другой слух – будто французский посол через хана склоняет Порту вступить в посольские дела и поддерживать кандидатуру Станислава Лещинского, потому что когда последний будет польским королем, то вместе с Франциею будет постоянно держаться турецкой стороны. «По природному французам легкомыслию и склонности к интригам, – писал Неплюев, – от сего рода, кроме пакости, ожидать ничего невозможно; но не думаю, чтоб преуспеть в чем могли, покуда Порта своего интереса где не усмотрит». Скоро, однако, Неплюев счел себя вправе донести своему двору, что хан по внушениям французского посланника действует против России; следствие этих интриг было то, что с известием о восшествии на престол нового султана к русскому двору был назначен чиновник низшего ранга, чем к дворам французскому и венскому. Неплюев протестовал, что Россия не Рагуза, и настоял, чтоб отправляемого в Россию чиновника повысили в чине, хотя все не сравнивали с

отправленным в Вену, отговариваясь старым обычаем. Неплюев писал, что отправленный в Россию Саид-эффенди – человек знатный и умный; не худо б его удовольствовать, а если можно, то и другом сделать, подкупить хотя бы и большими подарками, а на подкуп он подается, потому что человек повадный и мало суеверен, говорит по-французски, и потому вице-канцлер может давать ему деньги непосредственно.

Конференции резидента с турецкими министрами о делах персидских не оканчивались ничем; Неплюев в начале 1731 года обратился к капитан-паше за объяснением, почему Порта не хочет в этих делах действовать сообща с Россией. Капитан-паша отвечал, что советует не докучать более Порте персидскими делами, ибо, невзирая на заключенный прежним правительством договор с шахом, персияне нанесли туркам много обид и теперь Порта вооружается, чтоб отомстить и покончить дело; от России же требуют одного, чтоб она персиянам не давала помощи и оставалась при своих владениях, в которые Порта не вступается и вступаться не будет. «Порта ищет мира со всею горячностью, – писал Неплюев, – но может ли его получить – время покажет; отвратить турок от этого желания мира нельзя, потому что трудность ведения войны для них очевидна; но Порта не хочет и не может покинуть всех завоеванных в Персии провинций, ибо в таком случае произойдет новый бунт, так как весь народ знает, что прежнее правительство заключило договор, по которому персияне уступили Турции многие места». Персидские послы теперь именно требовали этих уступок, и потому война должна была решить дело.

Мы видели, что в этой войне успех обнаружился на турецкой стороне, и видели, какое влияние этот успех произвел на взгляд русского Кабинета относительно мирных переговоров с Персией. Но мирные переговоры не остановились, тем более что с осени 1731 года у России начинаются столкновения с Турцией на другой стороне. Преемник князя Мих. Мих. Голицына в начальствовании Украинскою армиею генерал-аншеф граф фон Вейсбах прислал в Москву из Полтавы от 25 августа донесение, что крымский хан с Крымскою, Белгородскою и Ногайскою ордами и запорожцами из Сечи стоит, готовый к походу, а куда пойдет – неизвестно: некоторые думают, что на Кабарду, другие указывают иные места. Вейсбах приказал регулярным войскам тотчас выступить к границам и написал малороссийскому гетману, чтоб он немедленно шел туда же со всеми козацкими войсками. Неплюев принес визирю жалобу на хана «в самых крепких терминах», требуя, чтоб войска ханские были немедленно распущены. Визирь отвечал, что он об этом ничего не знает и не думает, чтоб хан мог сделать какую-нибудь дерзость, потому что ему накрепко приказано сохранять соседственную дружбу с Россией, и обещал повторить это приказание. «Уповаем на бога, – писал Неплюев, что до ссоры не дойдет, потому что сама Порта ее не желает; визирь – человек старый и увечный, и хотя не глуп, но и не очень умен, человек откровенный и несамовластный, потому что до сих пор султанским умом владеет Кизляр-ага; кроме того, турки, отягченные персидскою войною, принуждены сохранять дружбу с вашим величеством. Визирь при окончании конференции сказал, чтоб мы о ханских поступках в народе не разглашали; а потом рейс-эффенди, призвавши к себе нашего переводчика, сказал ему, что султан удивился и руками и ногами замахал, как хан крымский осмелился поступать против его воли и указов, и велел изготовить указ к хану, чтоб не только

не смел приближаться к русским границам, но и оставил свои вооружения против кабардинцев и жил бы в тишине. Рейс-эффенди объявил также резиденту, что в Азов отправлен из Кандии губернатором паша первого класса Бенгли-Мустафа, которому накрепко наказано охранять всякую соседственную дружбу с Россией». Муфтий и другие сановники говорили Неплюеву, что если хан хотя малую дерзость себе позволит, то не только смещен, но и смертью казнен будет, потому что им, туркам, теперь ссориться ни с кем нельзя. Но дело этим не покончилось: Неплюев получил от своего двора извещение, что татарское войско вступило в Большую Кабарду, причем не оставило в покое и Малой. На жалобы Неплюева в конце 1731 года рейс-эффенди отвечал, что, как видно из ханских доношений, крымцы ходили в Кабарду для успокоения народов, подвластных хану, и этим походом никакого подозрения России не подано, тем менее показана какая-нибудь обида; мало того, хотя это дело касалось одного хана, однако по указам от Порты хан оставил его и распустил свое войско.

Но тут начался спор о Кабарде и Черкесах – кому они принадлежат, потому что Неплюев никак не хотел признать над ними господства крымского хана. В начале 1732 года рейс-эффенди велел объявить Неплюеву, что указ, данный прежде Портою хану о выводе войска его из Кабарды, произошел от незнания настоящего дела: хан имел полное право вводить свое войско в эту страну, потому что Кабарда, и Большая и Малая, исстари принадлежит Крыму и Россия по договору никакого права на Кабарду не имеет; русских земель хану касаться не велено, и так как он человек умный и хорошо знает миролюбивые намерения визиря, то никогда в чужое вступаться не дерзнет. Неплюев находился в затруднительном положении, потому что не знал отношения России к Кабардам; он писал: «Прошу снабдить меня указом, как мне в кабардинских делах поступать, а именно как о Большой Кабарде объявить? И как давно Малая Кабарда находится под русским покровительством? Как давно ее князья дают нам аманатов и где эти аманаты содержались до персидской войны, чтоб я мог Порте обстоятельно доказать и тем ханские ложные донесения опровергнуть. Это кабардинское дело больше беспокойства принесет, чем последнее Суркаево, потому что хан крымский при Порте гораздо больше имеет значения, чем Суркай, особенно если Россия захочет присвоить себе Большую Кабарду. Этим дело поднимется, если же держать в своей защите одну Малую Кабарду и там иметь хотя немного русского войска, то хотя и за это много спору будет, однако не думаю, чтоб Порта позволила хану начать ссору; только с нашей стороны надобно сдерживать князей Малой Кабарды, чтоб они ногайцев и кубанцев не обижали». Положение Неплюева затруднялось еще тем, что, основываясь на грамоте Петра Великого к султану 1722 года и на указе императрицы Анны 1731 года, он объявил Большую Кабарду вольною и только недавно узнал, что русские генералы на Кавказе принимают под русское покровительство и князей Большой Кабарды. Турецкие министры настаивали, чтоб пограничные дела улаживали пограничные командиры и дворов своих ими не утруждали; но когда с русской стороны было сделано об этом распоряжение, то наместник хана крымского (калга) на Кубани отказался сноситься о кабардинских делах с генералом Еропкиным, командовавшим в крепости св. Креста, грозился не только Кабарду разорить, но послать и в Россию татар и запорожцев, крича, что может Россию плетями заметать. Рейс-эффенди говорил переводчику русского посольства: «Резидент нам кабардинскими делами

голову вскружил, представил претензию на Кабарду Большую и Малую с доказательствами из своих архивов, так что мы не знаем, что хану крымскому писать, потому что прежде таких претензий с русской стороны никогда не бывало». Переводчик отвечал: «Прежде не представляли с нашей стороны доказательств о Кабардах, потому что крымские ханы никогда не присвоили себе права на владение ими».

Турецкое министерство молча соглашалось с Неплюевым, что Кабарду должно оставить в покое как страну нейтральную и не начинать об ней разговора, пока со стороны хана не окажется какого-нибудь нового неприязненного поступка. Но крымцы не успокаивались: ханский наместник на Кубани Нурадин-султан, называя Кабарду своею, грозил вступить в нее с войском, и Неплюев в октябре 1732 года объявил рейс-эффенди, что при первом движении татар русские войска вступят в Кабарду для ее зашиты. Неплюеву было трудно говорить с турками, потому что в 9 пункте последнего мирного договора было прямо сказано, что Черкесы принадлежат хану. Произошло и другое столкновение: известный нам калмыцкий хан Дундук-Омбо отложился от России и отдался под покровительство крымского хана; Россия требовала его выдачи; но в том же 9 пункте мирного договора и о калмыках было сказано так, как будто бы они были вольные. Турецкие министры налегали на этот 9 пункт не так сильно только потому, что были обеспокоены со стороны Персии, где Тахмас Кулы-хан вышел из повиновения шаху и объявил, что будет продолжать войну с турками. Подкупленные Неплюевым, турецкие чиновники дали ему знать, что к хану отправлены указы не подавать ни малейшего повода к ссоре с Россиею, которой дружба теперь очень нужна Порте, каким бы то ни было образом поскорее выслать Дундука-Омбо и в Кабарду войск не посылать, в таком случае и русские войска туда не пойдут. Указы возымели свое действие, потому что, как выражался Неплюев, у Порты довольно было чаду в голове от персидских дел: Тахмас Кулы-хан свергнул шаха Тахмасиба, обвиняя его в заключении последнего мира с турками, провозгласил шахом новорожденного сына Тахмасибова и взял всю власть в свои руки; война между Персиею и Турциею была, следовательно, неизбежна.

Какое же положение должна была принять Россия при таких конъюнктурах? Как должна была воспользоваться ими? Решение этого вопроса зависело от состояния дел европейских. Европа по-прежнему представляла два враждебных лагеря, хотя и с переменою отношений вследствие севильского договора. Венский двор не хотел уступить требованиям Испании и ее союзников относительно надеда испанских принцев в Италии; вследствие этого толковали о неизбежности войны, хотя никто не хотел ее. Но если война откроется, то Австрия по договору получит русский тридцатитысячный вспомогательный корпус, и в Москве австрийский посланник граф Вратислав хлопочет, чтоб новое правительство выполнило договор; испанский посланник Лириа и секретарь французского посольства Маньян хлопочут о противном; Англия смотрит равнодушно на эти континентальные отношения, пока они не касаются прямо ее интересов, и при каждом удобном случае дает знать России, что сильно желает возобновить с нею дружбу. Австрия ничего не теряла со смертью племянника цесаревны Петра II, пока при новой императрице находился в силе Остерман, убежденный в необходимости австрийского союза по отношению России к соседним державам,

Турции, Польше и Швеции; и так как восточные дела находились в том же положении, какое привело к австрийскому союзу при Екатерине I, и так как со дня на день нужно было ждать перемены в Польше, то, по мнению вице-канцлера, и надобно было поддерживать австрийский союз, хотя бы даже и пришлось двинуть вспомогательный корпус. За Остермана был, разумеется, Левенвольд; Бирон не вмешивался в важные вопросы политики, по его легко привлечь подарками. Бирон будет иметь влияние на императрицу, но она не подчинится этому влиянию беспрекословно: она самолюбива, любит показывать свое значение, свое влияние на дела, прислушиваться к разным мнениям, ее надобно убедить. Против Остермана сильная партия, так называемая русская, во главе которой находится Ягужинский. Хотелось во что бы то ни стало сохранить мир, необходимый при скудости финансовых средств страны, и не для того спешили покончить персидские дела с уступкою Петровых приобретений, чтоб вмешаться в совершенно чуждые для России дела западные и тратить войско безо всякой выгоды. Маньяну передали, что когда в апреле 1730 года граф Вратислав приехал к Ягужинскому и настаивал, чтоб Россия помогла цесарю войском, то Ягужинский отвечал, что, без сомнения, Россия останется верна своим обязательствам и поможет императору; но когда Вратислав вышел, то Ягужинский расхохотался и сказал: «Они считают нас дураками! Очень нам нужно вмешиваться в отдаленные распри, тогда как мы можем у себя наслаждаться покоем».

Но Ягужинскому трудно было бороться с Остерманом. В июне 1730 года граф Вратислав вручил обер-камергеру Вирону диплом на графство Священной Римской империи, портрет императора, осыпанный бриллиантами, и 200000 талеров, на которые, прибавив своих денег, Бирон купил поместье Вартенберг в Силезии. У Вратислава в запасе было еще четыре портрета, и Лириа доносил своему двору: «Графа Вратислава и прусского посланника при здешнем дворе осыпают любезностями, а со мною ограничиваются только обыкновенными вежливостями; из этого ясно, что отличия, которыми меня удостоивали прежде, были оказываемы в уважение тогдашней нашей дружбы с венским двором, который может теперь здесь делать все, что ни захочет. Думаю, что 30000 войска тотчас же выступят в поход, как только их потребует император, хотя русские вельможи и противятся этому. Они смертельно ненавидят иностранцев, приближенных к царице, явно говорят, что те думают только о своих собственных интересах, а не об интересах страны, служат больше чужим государям, чем своему, что Бирон удостоился такой чести от императора, конечно, не за службу своей государыне; прибавляют, что и немцы будут иметь такой же конец, какой имели и прежние временщики». В июле подарен был портрет императора, украшенный бриллиантами, князю Черкасскому. А между тем французский двор оказал услугу австрийскому, протестовавши слишком поспешно против выступления тридцатитысячного вспомогательного корпуса и употребивши в своем протесте выражения, которые заключали в себе угрозу. Маньян объявил Остерману от имени своего правительства, что так как участники севильскою договора вовсе не имеют намерения нападать ни на императора, ни на империю, то трудно себе представить, почему бы русская государыня стала вмешиваться в предстоящую войну; что весь вопрос заключается в занятии крепостей Тосканы и Пармы гарнизонами или испанскими, или швейцарскими, что не имеет никакой важности для русского двора; так как было всегда доброе согласие между

Франциею и Россиєю, то король, его государь, надеется, что царица не примет участия в войне, в противном же случае король не будет в состоянии скрыть свое неудовольствие. Остерман смутился и, дрожа, отвечал: «Нельзя не удивляться, что это не было объявлено русскому посланнику в Париже, не сделано ему даже никакого намека. Императрица всегда желала сохранить дружбу с его христианнейшим величеством, но она знает свои обязательства и пределы, до которых они простираются. Ее величество не входила в причины, заставившие короля вступить в новые обязательства по севильскому трактату, но она не откажется и от своих обязательств: моя государыня и ее союзники никогда не потерпят, чтоб какой-нибудь монарх предписывал им законы». Маньян дрожание Остермана принял за следствие затруднения, в какое он поставил его своим объявлением; но Лириа доносил своему двору: «Я его (Остермана) знаю и приписываю это дрожание гневу и бешенству, потому что, несмотря на свое низкое происхождение, это один из самых высокомерных людей».

В то же время французский посланник в Стокгольме сделал такое же объявление при шведском дворе. По поводу этих объявлений граф Александр Головкин имел разговор в Компьене с кардиналом Флери и хранителем печати Шовеленом. Он представлял кардиналу, что оборонительный договор России с цесарем не вредит никому и заключен прежде севильского договора, что Россия готова заключить такой же оборонительный союз и с Франциею. Кардинал отвечал, что и Франция имеет одинаковое желание быть в доброй дружбе с Россиєю, но так как Россия дружнее с цесарем, то с таким раздражением и принимает объявления, сделанные французским министром в Швеции и секретарем Маньяном; лучше об этом позабыть, потому что все произошло на словах, а не на бумаге. Флери изъявил сожаление, что цесарский двор не показывает нималого снисхождения и потому война необходима, хотя он, кардинал, всячески трудился об ее отвращении. Хранитель печати высказался с большею горячностью. Головкин представил ему о неприличии поступка Маньяна, который не аккредитован при русском дворе, представил, что его слова не согласны с уважением, какое самодержавные государи между собою сохранять должны, и с дружбою, которая существовала всегда между Россиєю и Франциею, и неужели употребление угроз есть прямая дорога к сохранению мира, о котором Франция хлопочет с такою достохвальною ревностию. Хранитель печати отвечал «Представление сделано именно вследствие намерения Франции сохранить дружбу с Россиєю; кроме того, всему свету известно, что севильские союзники не намерены напасть на цесаря, которому сделаны такие умеренные и разумные предложения, что по справедливости ему нельзя их отвергнуть, разве он имеет намерение овладеть всею Италиєю; в таком случае мы должны употребить силу. Но если дела находятся в таком положении, то ваш оборонительный союз с цесарским двором едва ли имеет силу в этом случае. Мы не отводим вас от вашего союзника, но представляем вам, чтоб вы не шли далее условий вашего союза: а впрочем, как вы в этом случае будете поступать с нами так и мы с вами. Мы вашей дружбы всегда искали и думали даже прежде министра к вам отправить». Когда Головкин заметил ему что императрице будет приятно иметь при дворе своем французского министра, то хранитель печати отвечал: «Дело теперь в таком положении, что не только нового министра посылать, но и Маньяна есть ли зачем держать».

Между тем в Москве шла борьба между Ягужинским и Остерманом, и сначала толковали, что первый берет верх, особенно когда он был снова назначен генерал-прокурором. Но в 1731 году, как мы видели, Остерман пересилил, и Ягужинский должен был отправиться в Берлин. Россия не вмешалась в войну, потому что войны не было: император уступил требованиям Испании и Англии, которые за то признали прагматическую санкцию. На этот раз миролюбивая политика восторжествовала; но впереди готовились новые борьбы. После борьбы религиозной, окончившейся в XVII веке Тридцатилетнею войною, в Европе начали господствовать чисто светские интересы. Усилить себя, расширить свои владения и не дать другому усилиться – вот основание политики европейских государств от Вестфальского мира до конца XVIII века. В это время важное значение имели вопросы о наследстве, возбуждаемые прекращением династий, когда вследствие кровных связей государства могли соединяться под одну властью или под одною по крайней мере династиею и таким образом нарушать политическое равновесие. Неудивительно, что в это время мы видим три войны за наследство. В начале новой истории не было войны за то, что Габсбургский дом соединял под своею властью государства Западной и Средней Европы; но XVIII век начинается страшною войною за наследство испанского престола. Теперь предстояло два подобных же вопроса: вопрос о том, кто будет в Польше преемником Августа II, которому оставалось очень недолго жить, и вопрос о том, кто будет в австрийских владениях преемником императора Карла VI, у которого не было сыновей и который захотел оставить все владения свои дочери Марии Терезии. Признания прав этой дочери на наследство, или так называемой прагматической санкции, от европейских держав он старался получить дипломатическим путем, но встречал препятствия. Саксония, Бавария, Пфальц не хотели признать санкции вследствие претензий своих государей на австрийские владения по родственным связям. Извечная соперница австрийского дома Франция не хотела, чтоб все владения этого дома остались нераздельными под одною властью, тем более что наследница их, Мария Терезия, была обручена за герцога Франца лотарингского, и, таким образом, страна, находившаяся в такой тесной связи с Франциею, должна была примкнуть к Австрии. С вопросом об австрийском наследстве для Франции тесно соединялся вопрос польский. В своей постоянной борьбе с Австриею Франция всегда домогалась влияния на востоке Европы, именно в соседней с Австриею Польше. Теперь домогаться этого она должна была ввиду борьбы за австрийское наследство, и к тому же претендент на польский престол, имевший более других надежды на успех, был Станислав Лещинский, тесть французского короля. По теперь на востоке Европы существовала новая могущественная держава, которой интересы были сильно замешаны в польском вопросе, – то была Россия. Отсюда понятно, что в Петербурге, куда переехал теперь русский двор, Австрия и Франция должны были вступить и окончательную дипломатическую борьбу для решения вопроса, на чьей стороне будет Россия.

По-видимому, вопрос был решен еще в Москве удалением Ягужинского, торжеством Остермана – главного поборника австрийского союза. Но в Петербурге Остерман нашел себе другого соперника. Смерть фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына и заключение в крепости фельдмаршала и президента Военной коллегии князя Василия Владимировича Долгорукого

выдвигали на первый план даровитого иностранца; генерал-фельдцейгмейстер Миних сделан был фельдмаршалом, президентом Военной коллегии, губернатором петербургским. Русские стерты; иностранные министры пишут к своим дворам: «Нет более помина о партии старых русских (*parti des vieux Russes*): вожди удалены, и никто не посмеет внушать что-нибудь против настоящего порядка вещей». Но если русские не имеют никакого значения, то нельзя ли обратиться к могущественному немцу Миниху, противопоставить его Остерману? Франция так и сделала. В середине 1732 года у Маньяна с Минихом был разговор. Миних говорил: «Швеция дала нашей государыне императорский титул; мы не ждем с ее стороны никакого беспокойства как по причине превосходства наших сил, так и по форме ее правления. С Данией не может быть никакого столкновения, когда голштинское дело решено; с Англией и Голландией также; с Персией – мир. Остается Турция, которая связывает наши интересы с интересами императора: чего мы в этом отношении должны ожидать от Франции? Нам тяжело переносить, что Азов у турок; быть может, мы пойдем вырывать его у них с оружием в руках, если не удастся достигнуть этого мирным путем, если султан не согласится взять Дербент за Азов. Кроме Турции – Польша; поляки не дают нам удовлетворения: подле Киева находится пространство земли, которое по договорам должно оставаться пустым, но поляки его населяют и кем же? Беглыми из России, которые принимаются радушно и потому толпами переселяются в Польшу! Потом Польша не отказывается от своих притязаний на Ливонию. Далее, интерес России требует, чтоб Курляндия, отделяющая ее от Пруссии, была отдельным владением, чего поляки не хотят. В случае смерти короля у императрицы большая партия в Польше, и Россия будет действовать, чтоб не был избран человек, преданный императору. Будет ли Франция во всех этих вопросах поступать согласно желаниям России? Наконец, согласится ли французский король дать государыне императорский титул и платить субсидии, ибо здесь нет денег? Если да, то императрица согласится держать в распоряжении Людовика XV не только 30, но 40 и 50 тысяч войска, 12 или 15 хороших кораблей и 100 галер».

Когда Маньян дал знать об этом разговоре своему правительству, то оно отвечало ему: «Что вам сказал Миних о тождестве интересов императора и России относительно турок, справедливо в теории, но на практике это вещь чисто идеальная, и мы всегда удивлялись, что русские серьезно рассчитывают на исполнение своего договора с императором за помощь тридцатитысячным корпусом; тогда как мы можем сказать без хвастовства, что благодаря нашему влиянию в Константинополе мы оказали во времена Петра I такие услуги России, каких империя не могла бы оказать, хотя бы употребила все свои силы. Таким образом, благоразумная политика требует, чтоб Россия не вводила нас ни в какое обязательство, которое могло бы нас поссорить с Портою; но вы можете уверить именем королевским, что, как скоро у нас будет заключен союз с Россиюю, мы будем поддерживать русские интересы в Константинополе так, что в уме царицы не останется ни малейшего сомнения насчет верности и пользы нашей дружбы, и потому достаточно, если в договоре будет заключаться взаимная гарантия всех европейских владений. Обратите внимание г. Миниха на то, что никогда Россия не получит существенной помощи от императора против турок и что никогда этот государь не станет поддерживать турок против России. Относительно Польши чрезвычайно трудно заключить какие-нибудь определенные условия, не

повредивши делам царицы; дайте почувствовать фельдмаршалу Миниху, что Россия может быть покойна насчет сохранения Ливонии, если в договоре будет условлена общая гарантия европейских владений: что касается Курляндии, то мы будем очень рады видеть на ее престоле кого-нибудь удобного царице; но никак не следует прямо идти против последнего сеймового решения в Польше относительно Курляндии; это решение должно быть предметом переговоров, в которых мы будем охотно помогать России. Мы достигнем здесь больших результатов, если со временем будет в Польше король, на которого мы могли бы вполне положиться; итак, мы думаем, что было бы опасно входить в подробности и что достаточно на словах согласиться в принципах, по которым будем действовать впоследствии. Мы с удовольствием дадим царице императорский титул. Мы уверены, что с русской стороны не будут настаивать на субсидии, так как мы не хотим быть в тягость России, заставляя ее держать наготове чрезвычайные силы. Когда мы будем находиться именно в обстоятельствах, обозначенных в договоре, то понятно, что мы сочтем своим долгом помочь России, и мы это сделаем без предварительных обязательств. Если Миних будет настаивать, то можно постановить вообще, что мы будем поддерживать интересы России при Порте, без означения, в чем именно, и не называя Азов. Относительно Курляндии никак нельзя составить никакого условия; если бы в Польше узнали о соглашениях России с Францией, противных последнему сеймовому решению, то король Август воспользовался бы этим для соединения поляков в пользу своего сына, который охотно согласится поддерживать распоряжения республики относительно Курляндии, и царица тогда только достигнет своих целей, когда будет содействовать возведению на польский престол человека, который бы мог находиться совершенно под нашим влиянием. Подарки, которые мы сделаем участникам при составлении договора, будут более значительны, если мы не будем обязаны платить ежегодные субсидии».

Французские предложения должны были поставить Миниха в затруднительное положение: разрозненность русских и французских интересов по отношениям к Турции и Польше была очевидна, а при такой разрозненности союз мог ли быть возможен? Россия постоянно имела в виду войну с Турцией; война последней с Персией давала возможность выгодного вмешательства для уничтожения тяжелых условий договора 1711 года; а Франция продолжала твердить одно: не ссорьте меня с Турцией, я вам буду помогать в Константинополе, как помогла при Петре 1; но тогда Франция могла помочь, потому что Россия, имея на плечах персидскую войну, не хотела разрывать с Турцией; теперь же обстоятельства были совсем другие: Россия искала союзника в войне, а не помощника для избежания войны. В Польше Франция обещала также помогать, но твердила, что Россия прежде всего должна была помочь ей возвести на польский престол человека, вполне подчиненного французскому влиянию, т.е. Станислава Лещинского; кто же мог поверить, что Франция в угоду России будет ослаблять значение преданного ей короля и свое собственное влияние, заставляя Речь Посполитую уступать русским требованиям? Неискренность, явное желание употреблять Россию только орудием для достижения своих целей просвечивали в каждом слове французских предложений, и в таком виде Миних, разумеется, не мог настаивать на их принятии, должен был требовать от Маньяна большей определенности и широты в предложениях. 23 сентября он объявил ему, что очень

доволен вчерашним вечером: вместе с Бироном он объяснял императрице пользу союза с Францией; Анна и Бирон убеждены в этой пользе: императрица непременно хочет отделаться от связей с Австрией, ибо прагматическая санкция до нее вовсе не касается, тем более что сама она ни у кого не просит гарантировать ее наследство. Но при этом Миних внушал Маньяну, что со стороны Остермана сильное сопротивление, и особенно вице-канцлер возражает на предложения о Польше, следовательно, чтоб уладить дело, несмотря на сопротивление Остермана, Франция должна еще более приблизиться к требованиям России. Маньян отвечал, что Франция не может выйти по этому предмету из своих принципов и что если дело поступило на рассмотрение Остермана, то напрасно будет с ним спорить. «Я этим очень огорчен, – говорил Маньян. – Остерман непременно даст знать в Вену обо всем». «Не посмеет, отвечал Миних. – Во всяком случае если союз с Францией не состоится, то и союза с императором не будет: он никогда не получит тридцатитысячного корпуса на помощь, Россия останется нейтральной; императрица объявила решительно, что она непременно хочет освободиться от венских трактатов, что Екатерина заключила; их единственно в интересах герцога голштинского, а теперь этих интересов не существует для русского двора». При этом Миних внушал, что Франция должна подарить Бирону 100000 экю, а самой императрице прислать гобелинов.

Чем затруднительнее было положение Миниха, тем легче было положение Остермана, которому немного труда стоило показать несостоятельность французских предложений и пользу старого союза с Австрией. Относительно предложения французской гарантии европейских владений России он замечал: «Надобно зрело подумать о том, можно ли для французской гарантии пренебречь всеми другими, и надобно еще знать, как Франция при таком дальнем расстоянии может на самом деле исполнить свое обязательство относительно гарантии, чтобы Россия могла быть вполне безопасна; также, естественно, можно ожидать, что те державы, с которыми вследствие французского союза разойдемся, могут против России принимать всевозможные меры». Относительно Курляндии: «Подлинное намерение всего предложения не очень ясно; нельзя понять, как согласить два дела: герцог должен быть выбран, а между тем нельзя действовать против последнего сеймового решения, по которому герцога быть не должно, Курляндия должна быть присоединена к Польше. Ясно, что пока сеймовое определение не будет уничтожено, то и герцог не может быть выбран. Вести дело переговорами, особенно при французском посредничестве, – это значит связать у России руки, поступать согласно с своими интересами и в нужном случае употребить силу. Так как поляки на основании французского договора не будут ничего опасаться от России, то тем меньше будут склонны к уничтожению своего сеймового решения, разве в другом месте получат какие-нибудь выгоды и удобства; но так как Франция за великою отдаленностью ничего такого доставить им не может, то вся тяжесть и падет на одну Россию». Относительно Турции: «Зрелейшего рассуждения требует то, можно ли русские интересы отдать в руки одной Франции, а Франция прямо объявляет, что она не сделает никакого поступка, которым бы могла возбудить нерасположение к себе Порты, что и естественно по ее интересам. Что римский цесарь туркам против России никогда помогать не будет – это естественно; но чтоб он также России против турок никогда помогать

не захотел – об этом, как о будущем, подлинно узнать нельзя, а по человеческому рассуждению и по естественным цесарским интересам надобно ожидать, что он помогать будет, ибо цесарь, отступив от договоров с Россиею, нанесет вред только самому себе: Россия будет тогда в состоянии чувствительно отомстить ему за неисполнение договоров». Относительно выборов польского короля: «Франция требует согласного действия; но так как она об этом ничего подлинного постановить и, следовательно, ни в какие обязательства насчет одного какого-нибудь кандидата вступить не хочет, то и не видно, как можно поступать согласно с нею. Французский интерес требует быть с Швециею и Портою в тесной дружбе, следовательно, и на польский престол возвести такого кандидата, который одинакие с нею склонности и намерения имеет; во сколько это согласно с русскими интересами, не видно. Предложенным обязательством с Франциею у России будут связаны руки поступать по своим прямым интересам, не говоря уже о том, что другие, особенно ближайшие соседи, не замедлят воспрепятствовать согласному действию России с Франциею. Франция обещает признание императорского титула и субсидии, если по поводу союза с нею у России произойдет разрыв с другими державами. Определение субсидий, по-видимому, предоставляется великодушию Франции, и за это она требует, чтоб Россия отступила от всех своих союзников, и хочет платить субсидии, когда за это у России начнется с ними война; но стоят ли такие субсидии опасности войны и разрыва с союзниками? Франция требует, чтоб Россия не гарантировала австрийскому дому прагматическую санкцию и не вступала ни с кем ни в какие обязательства насчет этой санкции без согласия с Франциею. Это требование предосудительно, ибо Россия за то ничего, кроме признания императорского титула и до действительного разрыва отлагаемых и числом не определенных субсидий, не получает, потому что прочие все французские предложения прямым русским интересам более вредны, чем полезны».

Между тем шли переговоры и заключались конвенции насчет Польни с старыми союзницами – Австриею) и Пруссиею. Осенью 1730 года граф Вратислав подал следующий проект договора между Россиею и Австриею на случай смерти Августа II: 1) Станислав Лещинский решительно не допускается к занятию польского престола; 2) наследный принц саксонский допускается только в том случае, если согласится на требования союзников; 3) в кандидаты должен быть предложен кто-нибудь из Пястов; 4) если нельзя будет выбрать кого-нибудь из поляков, то можно иметь в виду какого-нибудь немецкого принца, одного из младших сыновей владельческих. Кадет, или младший сын, назначался потому, чтоб не было соединения Польни с каким-нибудь немецким владением. Проект был принят русским двором. Скоро Австрия выставила кандидата, которого предлагала и прежде русскому двору – инфанта Эммануила, брата португальского короля, который в 1730 году приезжал в Москву с целью получить руку императрицы, но уехал с отказом: отказано было и прежнему жениху – Морицу саксонскому: Анна решилась не выходить замуж, а упрочить русское наследство в линии царя Иоанна посредством брака племянницы своей Анны Леопольдовны, дочери герцогини мекленбургской Екатерины Ивановны: и брат гофмаршала генерал-поручик граф Карл Густав Левенвольд отправился за границу искать жениха; при этом ему поручено было также улаживать в Вене и Берлине польское дело.

Мы видели, какую радость произвело в Берлине известие о восстановлении самодержавия в России. Когда князь Сергей Голицын дал знать об этой радости в Москву, то ему велено было уверить Фридриха Вильгельма, что императрица по своему высокопочитанию к его особе будет нерушимо сохранять дружбу к Пруссии и приложит особенное старание усилить ее и утвердить и исполнит все обязательства, как прилично верной союзнице. Король отвечал, что у России с Пруссией дружба старая и если б он сам не хотел этой дружбы, то государственный интерес принуждает его к ней: что хотя его области находятся и близко от России, однако с обеих сторон нет никаких претензий и запросов, которые могли бы повести к нарушению согласия. Король спешил предложить возобновление союзных договоров между Россией и Пруссией; русский двор отвечал, что охотно исполнит желание королевское, пусть только пришлется проект, в какой форме желают возобновления договора. В сентябре заключен был договор, по которому оба двора обязались не допускать на польский престол Лещинского и наследного принца саксонского, поддерживать существующий порядок вещей в Польше, не позволяя ни отречения Августа II в чью бы то ни было пользу, ни избрания нового короля при жизни старого.

В октябре того же года князь Сергей Голицын был отозван из Берлина; на его место был назначен отозванный от польского двора Мих. Петр. Бестужев, который в декабре разменялся с прусскими министрами ратификациями возобновленного союзного договора.

Мы уже упоминали, что в конце 1731 года был отправлен к прусскому двору Ягужинский. В инструкции, ему данной 23 ноября, говорилось: «Так как ее императорское величество, по нынешним конъюнктурам и обращаемым делам в Европе, за потребно рассудила, ради лучшего предостережения высоких своих интересов, иметь при дворе королевского величества прусского знатную персону, потому изволила повелеть обретающегося ныне там министра Михаила Бестужева отозвать и отправить ко двору шведскому, а его, господина генерала графа Ягужинского, к тому прусскому двору избрать». Но «знатная персона» не была доверенною персоною, и граф Карл Густав Левенвольд два раза являлся в Берлин для переговоров по польскому делу. Во вторую поездку в 1732 году он объявил, что отношения в Петербурге очень натянуты: Миних овладел волею императрицы, Бирон колеблется, Август II предложил ему Курляндию и полмиллиона, Франция делает императрице огромные обещания; теперь ему, Левенвольду, и его братьям удалось под держать Остермана, которого Миних старается удалить, но всего лучше поддержит его заключение союза между тремя черными орлами. Союзный договор был написан: союзники обязывались употребить все средства, чтоб на польский престол избран был кандидат, способный сохранять доброе согласие с соседними державами; обязывались во время выборов выставить армию на польских границах не для стеснения выборов, а, наоборот, для охранения польской вольности от чужестранного стеснения; цесарь выставляет кавалерийский корпус в 4000 человек и один гусарский полк; русская императрица – 6000 конницы и 14000 пехоты; король прусский – 12 батальонов пехоты и 20 эскадронов конницы; войска должны быть расположены таким образом, чтоб могли соединиться в течение четырех недель. Союзники обязывались в случае нужды увеличить это число и даже действовать, всеми своими войсками, пока цель союза не будет достигнута, и, если в это время

какая-нибудь посторонняя держава нападет на одного из союзников, другие помогают ему. Курляндия должна сохранить прежнюю форму правления, а не сливаться с Польшею; новый герцог курляндский должен отказаться за себя и за своих наследников от владения другими землями; Польша по-прежнему сохраняет свое верховное право над Курляндиею. К договору присоединены были сепаратные артикулы: 1) союзники постановили предложить в кандидаты на польский престол португальского принца Эммануила. Для доставления успеха своему кандидату каждый из союзных дворов должен отправить своим послам в Варшаве не менее 36000 червонных, причем цесарь будет стараться у португальского короля, чтоб эти деньги или вовсе не понадобились, или были возвращены союзникам. 2) Русская императрица обещает стараться всеми силами, чтоб по смерти нынешнего герцога курляндского был избран второй сын прусского короля. В составлении договора участвовал и австрийский посланник при прусском дворе граф Секендорф.

Когда 5 декабря договор надобно было подписывать, Левенвольд объявил, что он готов подписать трактат, но не сепаратные артикулы; если же король даст письменное обещание заплатить Бирону 200000 талеров, то он ручается головою, что не только получит приказание подписать трактат, но и доставит ратификацию императрицы. Секендорф советовал отпустить Левенвольда в Петербург с условием, чтоб он в шесть или восемь недель доставил ратификацию. Левенвольд отправился с письменным королевским обещанием для Бирона, и в Берлине могли считать дело конченным.

Обратимся к Скандинавским государствам. Легко понять чувство, с каким Алексей Петрович Бестужев-Рюмин узнал в Копенгагене о восшествии на престол Анны; горечь должна была еще усиливаться мыслию, что года два тому назад воцарение Анны было бы для него величайшим счастьем. Но чувство было сжато в груди, и Бестужев спешил написать новой императрице: «Что всемогущий императора Петра Алексеевича из сего временного в вечное блаженство преселил, а ваше императорское величество по единогласному всех чинов Российской империи совету и желанию ко всенародному порадованию (*наипаче мне, вашему издревле верному рабу и служителю*) на российско-императорский престол державнейшею императрицею и самодержицею всея России щедромилоливо избрать соизволил: того ради, падая к подножию высочайшего вашего престола, дерзаю из глубины сердца моего со всеподданнейшим респектом ваше императорское величество со счастливым восшествием на престол с неописанно велиею радостию поздравить и притом всею крепостию сил моих сердечно пожелать, да возложит всещедрый бог венец благословения на освященную главу вашу со всяким изобилием по желанию сердца вашего и да одарит ваше императорское величество счастливо-разумно-премудрым правлением и долгоденствием до высочайшей степени человеческой жизни к вечной радости всем верным подданным. Могу засвидетельствовать, что не только король, министерство и весь двор, но и весь народ оказывает великую радость о восшествии вашего императорского величества на престол, тем более что не племянник вашего величества принц голштинский или кто другой к тому избран, ибо чрез нынешнее избрание Корона здешняя не токмо почитает себя от Российской империи в безопасности, но и уповает в прежнюю дружбу, доброе согласие и теснейшие обязательства придти».

18 апреля Бестужев повторил свое поздравление и привел письмо Анны к себе из Митавы от 10 февраля 1729 года: «Очень сожалею о вашем пожарном разорении, а что вы просите о вспоможении вам, я истинно буду рада вам вспоможение учинить, понеже я от вас никакой противности к себе не видала, кроме ваших ко мне верных служб; ежели бог меня исправит, но возможности моей вас не оставлю». «Государыня всемилостивейшая, – пишет Бестужев, – всещедрый бог молитву мою услышал и толь ваше императорское величество исправил, что ныне не токмо но возможности вспомочь мне в состоянии, но и все сие временное по бозе в высочайшей деснице, власти и силе вашей и самовечную мне и всей моей бедной фамилии фортуны учинить». Перечисляя свои заслуги, Бестужев жалуется, что не имеет никакого авансаменту: «По успении Петра Великого повсягодно многим авансаменты, промоционы и разные награждения учинены, и не токмо российским служителям разные грациалы учинены, но и здешнему министру Вестфалю кавалерия пожалована; а я, бедный и беспомощный кадет (за десятилетние мои вернорабские услуги и за мое здесь претерпение для присутствия герцога голштинского в России и для его претензии на Шлезвиг всегда был здесь ненавидим, и житие мое было не легче полону), однако всегда я был забвению предан. С начала моего сюда прибытия и поныне всегда я высочайшую вашу ко мне и к бедной моей фамилии милость прославлял и прославляю, чего ради всему двору здешнему известно, что у вашего императорского величества был я обер-камер-юнкером и что ваше императорское величество у всех моих трех сыновей всемилостивейше соизволила быть высочайшею восприемницею, и того ради при восшествии вашего императорского величества на российско-императорский престол все мне при дворе здешнем и в городе знакомые поздравляли к скорому моему авансаменту, и, ежели я забвению предан буду, какие при дворе здешнем разные о мне рефлексии учинены быть могут, не только к чувственнейшему моему прискорбию и печали, но и толь паче к предосуждению вашего императорского величества высочайшего здесь респекту и интересам Российской империи, что я толь наипаче во уничтожение здесь приду и нигде толь свободного приступу и с достойною дистинкциею обхождения иметь весьма не буду».

30 сентября 1730 года умер король Фридрих IV, и ему наследовал сын его Христиан VI. Бестужев воспользовался этим случаем и написал императрице: «Слезно прошу, да соизволите во всемилостивейшую консидерацию принять, что уже я в осьмой год вступаю яко камергером и в одиннадцатый яко резидентом, так что уже во оном характере четыре кредитива подал; для всещедрого бога да соизвольте помилосердствовать надо мною, беспомощнобедным и весьма сирым кадетом, пожаловать меня при дворе здешнем чрез сей новый и пятый кредитив чрезвычайным посланником».

Вместо повышения весной 1731 года Бестужеву велено было отправиться резидентом в ганзейские города Гамбург, Любек и Бремен, а на его место в Копенгаген отправлен был человек верный, курляндец фон Бракель, принятый в русскую службу в чине действительного тайного советника. Бракель по приезде в Копенгаген писал императрице в особой реляции: «Ваше императорское величество приказали, чтоб я вам партикулярно доносил, о чем сочту нужным; а потому доношу, что здешний обер-камергер Плейсе, королевский фаворит, у меня был с объяснением, что датский король охотно с вашим величеством желает

вступить в тесный союз, причем сделает все в угоду вашего величества и даже кой-что в пользу герцога голштинского, если ваше величество гарантируете королю герцогство Шлезвигское. Я ему отвечал, что еще указу не имею, но думаю, что императрица будет довольна, если герцогство Шлезвигское останется за королем при условии некоторого вознаграждения за это герцогу голштинскому. Цесарь, Швеция, Пруссия молчат относительно голштинского дела, а вашего величества интерес требует освободиться от этого дела и привести в забвение голштинскую партию в России, императорский титул и другие полезные условия от Дании получить и вступить в естественный и полезный союз, который России никогда не вредил, а герцог голштинский может быть доволен и тем, что он из России получил. Поэтому я не вижу, для чего пропускать удобный случай сблизиться с Даниею и ссориться с нею за такое дело, которое вашему величеству никакой пользы принести не может, ибо надобно выбирать одно из двух: или оставить герцога голштинского, или из-за него начать войну. Прошу это мое письмо в совет не приносить, чтоб оно мне не наделало врагов».

Мнение Бракеля, разумеется, очень понравилось; но переговоры затянулись по медленности венского двора, который по своим обязательствам должен был принять участие в голштинском деле. Только весною 1732 года приехал в Копенгаген цесарский посол при прусском дворе граф Секендорф для решения этого дела. Начали торговаться; датские министры объявили, что король их относительно герцога ничем не обязан и с ним никакого дела не имеет, но для восстановления доброго согласия и старой дружбы с цесарским и русским дворами он соглашается дать 600000 ефимков, а издержать более Дания не в состоянии. При этом датские министры показали Секендорфу и Бракелю договор, заключенный Даниею с Ганновером, по которому Георг I обязался, что если Дания когда-нибудь будет принуждена заплатить что-нибудь за герцогство Шлезвигское, то он платит половину; но нынешний король английский Георг II велел объявить датскому кабинету, что он не намерен давать ни одного ефимка, потому что не видит, кто может принудить Данию к уплате при английской и французской гарантии. Бракель настаивал на уплате двух миллионов и требовал, чтоб дело было донесено в Петербург и Вену; но Секендорф не соглашался так долго жить и Копенгагене, а датские министры объявили, что если шлезвигское дело не будет окончено теперь же, в присутствии цесарского министра, то они более ждать не будут и заключат союз с Франциею, которая предлагала миллион ливров субсидий; с другой стороны, Англия требовала от Дании, чтоб она не обещала России никакой гарантии, а заключила бы союзный договор с Швециею, к которому приступит и Англия и также будет платить Дании субсидии. В таких обстоятельствах Секендорф и Бракель сочли необходимым заключить такой договор: Дания уплачивает герцогу голштинскому миллион ефимков; если он на это не согласится, то Россия и Австрия прекращают в отношении к нему свои обязательства; Дания соглашается на прагматическую санкцию и гарантирует русские владения, а Россия и Австрия гарантируют настоящие владения датского короля. Договор был заключен 26 мая 1732 года.

Из Швеции граф Головин начал свои доношения новой императрице известием, что он отдал 5000 червонных графу Горну; муж не брал, так он отдал жене, после чего муж заставил его дать клятву держать дело об этом подарке в величайшей тайне, а сам уверял, что будет прилагать старание при всяком случае

к распространению дружбы между обоими государствами и удержанию равновесия между королем и герцогом голштинским, как прилично истинному патриоту. Фельдмаршал и сенатор граф Дикер, получив 2000 червонных, обещал свои покорные услуги до смерти; граф Белке и барон Дибен получили 2000 червонных; графы Гилленборг и Гилленстерн, барон Кронштет – 1000; гоф-канцлер фон Кохен и граф Бонде – по 1000; последний прямо сказал, чтоб деньги были отданы не ему, а жене, хотя и в его присутствии. Несмотря на 5000 червонных, данных Горну, Головин сильно хлопотал, чтоб на будущий сейм, назначенный в январе 1731 года, Горн не был избран ландмаршалом, уговаривал гвардейских и артиллерийских офицеров, чтоб они не подавали своих голосов в пользу Горна. В декабре Головин извещал, что партия Горна сильна, потому что французский и английский посланники помогают ему покупать голоса. К 1731 году Головину было перевелено из России 10000 рублей «на употребление при сейме потребным особам»; при этом Головину писали именем императрицы: «Мы на твое искусство и известное к нашим интересам речение надеемся, что ты всемерное старание иметь будешь, дабы выбор маршала по нашему намерению к интересам нашим произведен был; но ежели б ты, паче всякого чаяния, предусмотрел, что тебе никаким образом в том предуспеть невозможно было, в таком случае себя содержать тихо; все твои поступки с такою осторожностью поведены быть имеют, дабы противную сторону, ежели б она очень сильна была, явно не озлоблять и тем им к предосудительным относительно нас поступкам повод не подать». Граф Головин отвечал, что «английский министр Финч получил от своего двора 60000 фунтов стерлингов и почти ежедневно угощает у себя сенаторов и других знатных особ». «Поэтому, – писал Головин, – я переведенною ко мне суммою никак не в состоянии отворать предложения английского двора, и хотя в секретной комиссии находится много доброжелательных персон, однако они мне откровенно сами и через других дают знать, чтоб им дано было некоторое награждение, в противном случае они могут пристать и к другой стороне; поэтому я переведенною ко мне сумму на них почти всю употребил, так что другим доброжелательным и на покупку новых голосов для сопротивления английским интригам денег неостанет».

Маршалом сейма был выбран граф Горн, и в апреле 1731 года Головин доносил, что маршал старается склонить членов секретной комиссии к французскому союзу, обещая хорошие субсидии. Члены секретной комиссии уверяли Головина, что Горново предложение не пройдет, но между тем объявили, что Швеция смотрит на одно, откуда бы ей субсидии получить, потому что ей без того пробавиться никак нельзя; так если бы они могли быть уверены, что получают субсидию от России, то легко провели бы предложение о возобновлении союза с нею. Горн явно избегал разговоров с русским министром, извиняя себя тем, что по своей должности он не может сноситься с иностранными министрами, хотя в то же время должность не мешала ему иметь тайные конференции с французским посланником графом Кастежа.

Но Англия и Голландия помирились с цесарем; ганноверский союз рушился, Франция оставалась одна, и потому союз с нею не был очень выгоден. Гоф-канцлер фон Кохен приехал к Головину с предложением, не может ли Россия перенять на себя уплату денег, которые Швеция должна Голландии. Головин отвечал, что если со шведской стороны будут показаны знаки дружбы, то можно

надеяться, что императрица переймет на себя голландский долг. «Что же Швеции надобно для этого сделать?» – спросил Кохен. «Возобновить союз с Россией, – отвечал Головин, – изготовьте проект, я его отправлю к своему двору». Члены комиссии, выслушав донесение Кохена о разговоре его с Головиным, изъявили сильное желание составить требуемый проект союза; но Горн возразил, что дело требует зрелого рассуждения, ибо, как видно, русский двор желает, чтоб Швеция начала его.

В мае Головин узнал, что датский посланник Шметтау хлопочет также о союзе, причем поддерживается французским посланником; Кастежа прибавил, чтоб и его двор был включен в датско-шведский союз, за что Франция будет давать субсидии – по 100000 ефимков ежегодно. Между тем король, зная, что новое русское правительство не имеет сильных побуждений хлопотать за герцога голштинского, оказывал Головину особенные знаки внимания: однажды нечаянно приехал к нему в шесть часов вечера, ужинал и оставался до двух часов пополуночи, причем говорил, что более всего желает усиления дружбы между Россией и Швецией. Головин отвечал, что теперь, по случаю сейма, самый удобный случай исполнить это желание, именно возобновить прежний союз. «Очень бы я желал, – отвечал король, – возобновить союз; но здесь, в Швеции, много других господ королей, которые, руководясь своими интересами, делают что хотят; но я с своими приверженцами буду внушать чинам о возобновлении союза».

Предложение о датском союзе было отстранено на том основании, что еще неизвестно, как поступят Испания и Франция вследствие венского договора, заключенного между Австриею, Англиею и Голландиею; отложено было и дело о возобновлении русского союза; ждали, не предложат ли цесарь и Англия, чтоб Швеция приступила к венскому договору. В июне сейм окончился, и французский посланник остался очень недоволен Горном за то, что тот не настоял на заключении союза с Даниею.

В 1732 году граф Головин был сменен переведенным из Берлина Михайлом Петровичем Бестужевым. Новый «чрезвычайный посланник» начал свои донесения известиями о движениях французского посланника графа Кастежа для привлечения Швеции во французский союз. Так как теперь у Франции с Россией уже было покончено, то Кастежа не довольствовался тем, что предлагал субсидии, но внушал, что королю его было бы всего приятнее видеть Швецию в прежнем могущественном положении, давая этим знать, что Франция скорее всех может помочь Швеции в возвращении от России завоеванных Петром областей. Известие о заключении союза между Россией и Даниею было приятно королю и королеве как доказательство, что русский двор отступил от герцога голштинского, и неприятно министрам, которые досадовали, что позволили России предупредить себя. За эту неприятность они отплатили русскому двору тем, что заключили мир с Польшею, тогда как по Ништадтскому договору мир между Швецией и Польшею долженствовал быть заключен при посредстве России.

Обратимся, наконец, к Польше, из-за которой было столько хлопот. Первое важное известие, полученное в новое царствование из Варшавы, было известие о продолжающемся гонении на православных. В начале 1730 года к русскому посланнику Михаилу Петровичу Бестужеву приходили жалобы из Бреста-Литовского, из Бельска; везде главными деятелями были иезуиты. «На

конференции и в другое время, – писал Бестужев, – я настаиваю, чтоб православным дано было удовлетворение, но ничего из этого не выходит, потому что римское духовенство имеет здесь большую силу, всякими средствами действует у министров, чтоб православным не дано было удовлетворения, не дано было покоя; поэтому я считаю нужным, чтоб ваше величество прислали об этом грамоту к королю и Речи Посполитой, чтоб мне при подаче грамоты можно было делать более сильные представления. Также нужно прислать другую грамоту насчет утверждения белорусского епископа Берла, потому что на первую до сих пор нет ответа, а между тем есть опасность, чтоб и на эту последнюю епархию не посадили униата, ибо здешние духовные немалое лакомство к тому имеют и постараются исполнить свое желание».

Осенью собрался сейм в Гродне, но полномочным министром туда был отправлен не Бестужев, а генерал Вейсбах, который уведомил, что король выдал указ против Берла, который выставлялся человеком, приехавшим на Белорусскую епархию нахально, без ведома и воли короля и Речи Посполитой, и потому могилевским жителям под страхом наказания запрещалось признавать его владыкою и слушаться его. Сейм был разорван по интригам Потоцких, которые хотели, чтоб гетманство великое коронное досталось одному из них, но когда увидели, что король на это не соглашается, то чрез одного из своих креатур и разорвали сейм. Вейсбах отправился в Варшаву и представил королю о притеснениях, которым подвергается епископ Берло и вообще все православные; король отвечал, что всякое удовольствие в желаниях русской государыни показать стараться будет; Вейсбах подал промеморию вице-канцлеру Липскому о гонениях на православных, и следствием было то, что отправлено было к могилевскому эконому письмо, в котором приказывалось оставить Берла жить спокойно и безопасно в Могилеве: наконец, Вейсбах выхлопотал и грамоту королевскую, по которой Берло мог приехать в Варшаву для представления королю и министрам и получения привилегии на епископство.

Вейсбах долго не остался в Польше. Полномочным министром туда был отправлен граф Левенвольд-третий (Фридрих Казимир, действительный камергер). В начале 1731 года министры прусский, английский и голландский, находившиеся при польском дворе, обратились к Левенвольду с просьбою ходатайствовать вместе с ними за диссидентов; Левенвольд согласился. Но, ходатайствуя вместе с другими за диссидентов вообще, он никак не мог добиться, чтоб Берлу дана была привилегия на Белорусское епископство, и тот принужден был ни с чем уехать из Варшавы назад в Могилев. «Я нахожу, – писал Левенвольд, – что если со стороны вашего величества сильная резолюция принята не будет, то от Речи Посполитой во всех этих обидах скорого удовлетворения трудно дожидаться». Главное препятствие относительно утверждения Берла Левенвольд встретил в вице-канцлере Чарторыйском, «русскому двору и всем его интересам явном неприятеле». Мало того, что Берла выпроводили из Варшавы: ему приказали по приезде в Могилев немедленно забрать свои вещи и ехать, откуда приехал, и это приказание прописано было в паспорте, выданном ему Чарторыйским; в Могилев отправлен был королевский указ, который грозил жителям лишением всех вольностей и жестокою казнию, если они немедленно не выпроводят Берла, и эконом объявил последнему, чтоб чрез неделю непременно выехал, в противном случае велит солдатам выкинуть его за город; войты

могилевские с целым магистратом и посполитыми людьми приходили к Берлу и говорили ему: «Изволь, преосвященство твое, не дожидаясь большей конфузии, немедленно выехать от нас, больше твое преосвященство держать не можем, потому что король грозит нам отнятием вольностей и смертною казнию». По получении этого известия в Москве сделано было сообщение польскому посланнику Потоцкому, который написал могилевскому эконому, чтоб тот удержался от насильственных действий против Берла до будущего решения между обоими дворами. Поэтому канцлер граф Головкин писал епископу, чтоб он оставался в Могилеве и ехал в Москву только в случае принуждения. «Но и в таком случае, – писал Головкин, – весьма потребно вам надлежащую твердость возыметь и выездом не торопиться, ибо нельзя ожидать, чтоб поляки действительно показали к вам какой-нибудь неприятельский поступок: по известному польскому обыкновению они более угрозами страшат, а в самом деле того не отваживаются чинить».

Берло остался в Могилеве; но в конце 1731 года писал императрице: «Шляхта белорусская продолжает отторгать церкви православные к унии; меня, бедного, нестерпимым ругательством поносят и архиерейским вотчинам, в которых только 30 мужиков имеется, превеликую обиду и разорение чинят, а недавно и совсем отнять хотели, так что я, продав лошадей и платье свое, принужден был оплачиваться и оплатился на время; все это они делают для того, чтоб меня отсюда выжить. Хотя я живу здесь по всемилостивейшему вашего императорского величества указу для управления духовных дел и для всяких епархии Белорусской порядков, однако духовенство здешнее, зная о королевских указах, запрещающих иметь меня епископом, и не боясь бога, самовольно живут, отчего происходит всенародный соблазн и великое бесчинство; меня, мнимого своего архиерея, ни во что вменяют, ни с какими делами ко мне не обращаются, мира освященного от меня принимать не хотели, сверх того, заочно меня ругают, из них едва кто твердо стоит в православии, более же готовы к унии. А я всегда болен обретаюсь и для того не могу здешних польских церемоний и политик трактовать и, как зарубежный человек, здешних прав не ведаю, а теперь в старости обучаться им не могу, также и православию святому, во всегдашнем гонении обретающемся, никакой пользы и помощи в здешнем свободном народе не учиню. Слезно прошу, да повелит ваше императорское величество меня от сего послушания, которое выше силы моей, освободить».

В январе 1732 года Головкин писал Арсению, что на требование его утверждения польский посланник Потоцкий отвечал: «Король и республика вовсе не препятствуют, чтоб на Белорусской епархии был епископ греческой веры, но не могут допустить Арсения Берла, потому что он не из поляков и не шляхтич польский; если обыватели Белорусской епархии выберут себе в епископы другого кого-нибудь, польского происхождения, то король и республика без малейшего отлагательства дадут ему конфирмацию». Ему сказали, что императрица соглашается на это под таким условием, чтоб Арсений Берло без всякого беспокойства мог оставаться в Могилеве и отправлять все духовные должности, пока будет избран и подтвержден другой епископ, в чем Потоцкий и обнадежил. «Итак, ваше преосвященство, – писал Головкин, – извольте по этому соглашению жить в Могилеве до избрания и утверждения нового епископа, ведите себя тихо,

исправляйте одну духовную должность, а по избрании нового епископа будете по своему достоинству в России к пристойной епархии определены».

11 июля 1732 года вольными и согласными голосами избран был в белорусские епископы находившийся в одном из киевских монастырей игуменом Иоасаф Волчанский, природный польский шляхтич. Левенвольду послан был из Петербурга указ «прилежное старание приложить и ревностно домогаться», чтоб Волчанскому дано было королевское утверждение. «Если же усмотрите, – говорилось в указе, – что для скорейшего исходатайствования королевской привилегии надобно кому-нибудь презенты небольшие учинить, то можете на то употребить пристойное число денег из имеющейся у вас нашей казны». Левенвольд прилагает всевозможное старание получить привилегию, но папский нунций также прилагает всевозможное старание, чтоб удержать ее; наконец благодаря добрым людям привилегия была написана в литовской канцелярии и отправлена в Саксонию для подписи королевской.

Но подле русского вопроса стоял вопрос собственно польский, занимавший одинаково и Россию, и Австрию, и Пруссию, и Францию, – вопрос о том, кто будет преемником Августа II, которому уже оставалось очень недолго жить. В начале 1733 года он приехал в Варшаву, где был созван чрезвычайный сейм. Вельможи и земские послы волновались слухами, что король непременно хочет насильственными средствами сломить польскую конституцию в пользу своего дома. Действительно, Август заискивал в Берлине и ставил Фридриха Вильгельма в затруднительное положение между Россией и Австрией, с одной стороны, и Саксонию – с другой: Россия и Австрия обещали одну Курляндию, и то не непосредственно, тогда как Август за содействие его планам обещал польскую Пруссию, часть Великой Польши, Курляндию. Приманка была сильная, но и дело было крайне опасное, и потому в Берлине заключили Левенвольдов договор; но Август не отставал, обещал, что опасности никакой не будет, что он удовлетворит и Россию, и Австрию и что «четыре орла разделят между собою пирог». Сейм начался среди обычной борьбы партий, из которых одна старалась довести его до конца, а другая – разорвать, как 1 февраля король умер. Весть об этом событии отозвалась в Европе призывом к войне.

Приложения

1) *Выписки о переводчике Суворове в Сербии.* В 1724 году, февраля 5 дня, именным указом бл. пам. его императорского величества Петра I определено послать из св. Синода в Сербию для обучения тамошнего народа детей латинского и словенского диалектов двух учителей, а жалованья давать им по 300 рублей на год человеку. И в 1725 году, в августе месяце, отправлен в Сербию, в Белград, синодальный переводчик Максим Суворов. А в 1732 году, сентября в 16 день, по указу из Сената в Коллегии иностранных дел определено, что он, Суворов, чрез доношения свои требовал с прибавкою, объявляя себе немалые нужды, также и о позволении, чтоб ехать оттуда в Россию, и о подъемных деньгах; также новоопределенный в Сербии митрополит от тамошнего в Сербии ему учения отказал и его, Суворова, содержать не хочет, и живет он тамо праздну, возвратиться ему в Россию по-прежнему, и для того его выезду перевести к нему из Коллегии иностранных дел до ста рублей, которые б он, Суворов, для

ускорения времени на дорожный проезд в Вене занял. Против чего Суворов посланнику Ланчинскому представил, что указу его императорского величества повиноваться готов и рад тамошнее бедственное житье переменить, но что ему в Вене займы денег дать никто не поверит и путь свой он в Россию ста рублями отнюдь с женою и младенцем управить не может. А хотя получил он, Суворов, жалованье на 1731 и на 1732 годы, то все те деньги одному сегединскому жителю за долги, которые еще в Сербии нажил, заплатил. И хотя ему, Суворову, новосербский митрополит пред некоторым временем объявил, что он учительства его, Суворова, в Сербии не требует, но как потом оный митрополит по часту в болезни припадать стал и оказалась оная болезнь быть водяною и небезопасною, то петровородынский епископ Висарион к нему, Суворову, от 19 и от 24 июня того 1733 году писал, объявляя желание свое и прочих сербских архиереев иметь его, Суворова, по-прежнему в Сербии учителем, хотя бы помянутый митрополит и не хотел, которые письма он, Суворов, ему, Ланчинскому, казал. И потом он же, епископ Висарион, к нему, Суворову, от 12 июля того ж 1733 году паки писал, требуя, чтоб он, Суворов, приехал в город Петровородын как скоро может, где сам он выразумет его, епископа, и народное требование быть ему тамо по-прежнему учителем. В той же силе писал к нему, Суворову, от 6 июля и епископ Хратской Исаия. При таковых обстоятельствах он, посланник Ланчинской, видя поправление зазора, которой оный Суворов претерпел, что хотя новый митрополит сербской отказал было оному от учения, то ныне иные архиереи его, Суворова, имеют для того учения желают; к тому ж, заподлинно ведая, что римско-цесарскому двору обучение сербского народа весьма не неприятно, то, хотя тот Суворов уже ему, Ланчинскому, 150 гульденов был должен, увидя епископа Висариона собственноручные письма, не мог он, Ланчинской, уклониться дать ему еще 100 гульденов как на проезд в Петровородын, а больше еще на оплату его в Вене квартиры и чтоб необходимо себя содержать, тако ж жену и младенца в Вене до поворота своего мог на пропитание снабдить. А потом в реляции посланник Ланчинской из Вены от 15 сентября того ж 1733 году доносил, что сверх писем к переводчику Суворову, от петровородынского епископа Висариона присланных, еще весьма сильный новый опыт оказался сегединского города жителей: прислали к нему, Ланчинскому, зело докучное просительное письмо за подписью и печатми 9 знатнейших персон, которым просят о присылке к ним помянутого переводчика Суворова для обучения детей их. А потом он же, посланник Ланчинской, из Вены от 1 февраля 1735 года доносил, что вскрылося от новоопределенного митрополита сербского отрешение Суворова от школьного учения, что, имея оной митрополит при венском дворе агента Иосифа Ямбрековича, ему верил, который, ведая за собою тяжкие преступления и дабы оные не вскрылися, старался всякие персоны от митрополита отдалять, которые бы либо его коварствы проникнуть могли, в том же числе предпринял и на Суворова лживым внушением клеветать, якобы цесарскому двору было противно, что чужестранную персону в учителя употребляли. Чего не только никогда не бывало, но и весьма тому насупротив при избрании нынешнего митрополита камисар цесарской генерал Локателли всему собранию указом декларовал, что, чем более народ сербский во обучении прилежать будет, тем милостивее цесарское величество сие примет; но он, Ямбрекович, толковал сие, будто сказано за лице, и свои ковы распространял;

когда же Суворов из Сербии в Вену приехал, то и из Вены наипаче его выбить старался, и митрополиту весьма лживо доносил, будто он весь народ тамо, в Вене, оглашает. Но наконец исподволь все вскрылося, и он арестован, и дело его следует. Чего ради сербской митрополит Викентий Иоаннович писал именем всего клира и общества к российскому Синоду как со объявлением о вышеупомянутых Ямбрековича тяжких преступлениях, так и с прошением, дабы указом ее императорского величества Суворов у них был по-прежнему оставлен.

В Синод переводчик Суворов доносил из Сегедина от 1 марта и от 17 мая 1736 года, что он, Суворов, по писму епископа сегединского Висариона и с позволения по оному посланника Ланчинского поехал чрез Горватскую землю, где виделся с епископом Симеоном, прежде бывшим его, Суворова, учеником, и оттуда в Сегедин приехал в ноябре месяце, но епископа Висариона не застал, понеже прежде приезде его, Суворова, с асистенциею немецкой команды белградской митрополит взял его нагло без всякого суда за арест и в Корловицком своем дворе запер в тесной комнате, имение же его все освоил и пред народом всюду писмом и словом публиковал его безместным беззаконником и хотевшим быть униатом и тайным с Российским царством и посланником корреспондентом. Помянутое гонение, начатое от митрополита, дело не знающих причины сначала всех удивило, что виделось из-под руки, якобы всюду команды различными мерами, якоже и духовенство римское, ему помогали и в разговорах речи мирволили; но 30 января сего году сегединский капитан, он же и цесарский толмач, римлянин (Румун?) греко-российские веры, пред тремя офицерами сказал, что митрополит обещался быть у них и весь клир, и народ сербский, под цесарскою державою сущий, на унию привести и для того-де епископ Висарион, что он не есть и униатом быть не хочет, под крутым арестом содержится. Но епархиане его, несмотря на публикации митрополитовы, где надлежит, просительные протестации учинили и в Вену депутатов послали, и собравшись несколько в декабре месяце в ночи внезапно из ареста епископа Висариона освободили и в Сегедин привезли, где он испросил себе у сегединского коменданта караул, под которым в своем доме пребывает; а потом в великий четверг он, епископ Висарион, указом цесарским от Надворного военного совета ареста свободен и караул от него сведен и оставлен до будущей комиссии, яко под протекцию цесарскую ему прибегшу; а митрополит белградской, впав в болезнь, которую доктора врачевать отrekliсь, привезен 10 мая в Петровородын. Помянутой же митрополит домогался чрез знатную персону о указе, чтоб сегединской комендант его, Суворова, яко выгнанного из России, волочая взял под арест, но комендант сие учинить, яко с чужестранным человеком и союзной потенции подданным, извинился.

(Москов. архив Мин. иностр. дел)

2) В листе к его императорскому величеству архиепископ и митрополит белоградский Моисей из Вены от 20 февраля 1728 года пишет, что они его императорское величество за протектора признавают, а они ныне, т.е. сербословенский народ, кой есть под властью римского цесаря, великие имеют налоги и несносные и прямые неправды и напасти, под коими скрытое творится насилие вере православной, дабы они были униаты, как Кроации и Трансильвании

учинено, о чем многие командующие римляне явно им говорят, и они сами видят, что для того утесняют их, и данные им привилегии уничтоживают, и поущаемы суть от своих духовных, которые весьма нашу церковь ненавидят паче жидовской. Просит именем всех, дабы его императорское величество благоволил в вере их православной предложением цесарскому величеству римскому вспомоществование учинить, якоже от самого и предцесоров его дарованные им привилегии гласят, однако таковым благоразумным способом (дабы от них не познано было, якобы они о сем что донесли его императорскому величеству) да бедный народ их в подозрение б коварства не пришел, а наипаче б ко двору папы римского какое за сих заступление быть могло, дабы духовенству заповедано было их не напаствовать ни тайно, ни явно, ни под каким претекстом, коварного насилия им не чинить, ибо они в таком случае сильны, где сами не делают, то больше чрез мирскую власть действуют, и ежели за них заступления не будет, то они пропасть могут. И ныне, по их мнению, изрядный случай быть может на будущем конгрессе империяльном о том стараться. В докладе канцлеру невский архимандрит Петр представлял о том же, ссылаясь на письмо, полученное им из отечества, из Сербской земли.

(Москов. архив Мин. иностр. дел)

3) *Письмо княгини Аграфены Петровой Волконской к Девьеру:* «Государь мой милостивый Антон Мануйлович! Сего время изволила у меня быть Анна Даниловна, и при ней принесли с почты писма, в которых были ваши, токмо писма принесены пакеты оба подпечатаны, что мне очень удивительно, и ваши писма от царевны и отца моего без всякова куверта положены, которые Анна Даниловна изволила взять. В писме отца моего к вам писано о желтом гродетуре и о золотом позументе; я зело жалею, что она ведала о желтом гродетуре, только мне заказать изволила, чтоб я не сказывала, что она читать изволила. Я надеюсь, конечно, ваши писма были запечатаны в куверте, только мой куверт был в чьих-нибудь руках и с вашева куверт снят. В прочем остаюсь вам, государю моему милостивому, со особливым почтением верная слуга. А. В. Сие прошу изодрать».

(Курляндские дела в Московск. архиве Мин. иностр. дел)

4) *Лист гетмана Апостола .* Мои ласковые приятели войсковой канцелярии и судов енеральных правители! Памятно нам есть добре же при отъезде нашем в Москву полецаючи вашим милостем правление судов войсковых енеральных, приказалисмо о том, дабы справа судии полкового черниговского з нецнотливым сыном Лисеневичем и публичною курвою Томаровною, а его женою была реферована до щастливого нашего на свою резиденцию повороту, а поневаж з певного донесения известилисмося же ваша мосць, презирая наш указ, дерзнулисте самоволно чинити в том следствие и по своему мнению децидовати неправильно, тому немало удивляемся, таковое же ваше дерзновение в небрежении нашего указу знатое чиним, а ораз пилно упоминаем, а бысте до тех дел, которые до нашего повороту отложены суть, не интересовалися, и не тикло децизии, но и следствия оным чинити не дерзали о тех нецнотах, понеже и тая

неправильно по вашему мнению оконченная справа за прибытием нашим обновлена и по артикулам правным слушною моет быть окончана децизиєю.

(Архив Мин. юстиции, Дела Сената по Малорос. экспедиции)

5) О капуцине Петрусе Хризологусе явилось следующее сего 1725 года. Дан ему был паспорт 20 дня января сего года, по которому велено ему из Российской империи чрез Ригу за границу выехать в месяц, а он того не учинил, а жил своевольно в Ревеле. Он же, капуцин, будучи в С.-Петербурхе, своего закона люд разглашал, якобы ее величество римская императрица рекамандовала ему российского великого князя Петра Алексеевича и искать тайно способу его высочество видеть, а учрежденным при его высочестве персонам о том не сказывал.

(Моск. архив Мин. иностр. дел)

6) *Письмо княжны Марии Алекс. Меншиковой к великой княжне Наталье Алексеевне:* «Милостивейшая государыня великая княжна! Зело сожалею, что вчерашнего числа ходила я к вашему высочеству проститься, но не получила за отъездом ваше высочество видеть; однако ж чрез сие яко персонально ваше высочество поздравляю и мой достодолжной отдаю поклон и нижайше прошу от меня поздравствовать его императорскому величеству вседражайшему вашего высочества братцу; не могла я того оставить, чтоб вашему высочеству не донести, что государь мой дражайший родитель зело печалится: 1) что его величество вчерашнего числа не получил видеть; 2) что по прибытии сюда услышал, якобы его величество и на дворе его светлости стоять не изволит, и ныне прибыл сюда генерал-лейтенант господин Салтыков и объявил, что его величество весьма переездом из дому его светлости поспешать приказал; напротив же того его светлости неизреченную приносит радость милостивое вашего высочества предстательство, что изволили его величество о свидании з батюшкой вчерашнего числа дважды просить; того ради, о сем вашему высочеству донесши, прошу: изволите его императорское величество просить, чтоб по прибытии сюда изволил прибыть в дом его светлости дражайшего родителя моего и с ним видеться, дабы как внутренние его императорского величества и вашего высочества и его светлости неприятели, так и пограничные соседи, видя такие отмены, не порадовались». Письмо без подписи, едва ли было отправлено.

(Моск. архив Мин. иностр. дел)

7) *Отзыв князя Куракина об испанском министре Риперде:* «Я оного Риперда знал довольно в Голландии, когда был депутатом в собрании статов, и мне был добрым приятелем, которого портрет в состоянии описать: есть человек смелый и нахальный, правда, ума довольно, но не очень основательного, и, но своей великой дерзновенности, уповать надобно, что правлением своим всеконечно приведет до войны в Европе, и что есть внутренним неприятелем Англии не токмо ныне, но когда еще и в Голландии был, и что, без сумнения, в интерес кавалера св. Георгия будет стараться».

(Моск. архив Мин. иностр. дел)

8) *Письмо графини Остерман (урожденной Стрешневой) к мужу:* «Любимый мой друг, дорогой батюшка Андрей Иванович! От всего моего сердца желаю тебе, моему дорогому, многих лет и доброго здоровья. Я тебя поздравляла со вчерашним торжественным праздником в двух моих письмах и ныне еще повторяю: здравствуй, мой батюшка дорогой, и дай бог многие лета тебе, моему другу, жить в добром здоровье и в радости и мне бы тебя, любимого своего друга, видеть поскорее; а я благодарю бога, что сей праздник прошел; я желала, чтоб вся неделя прошла поскорее для того, что мне пуще в праздник тошно и скучно. Сам ты, мой друг, можешь рассудить, есть ли мне причина тужить: праздник такой великий, все веселятся в домах своих с своими мужьями, также с своими сродниками, а я, бедная, теперь одна была. Я вчера у обедни сколько могла крепилась, что в такой великий день не плакать, только не могла укрепить: слезы сами пошли. Когда я поехала от церкви, подумала, что севодни великий праздник, я приеду домой – кто меня встретит? Кто меня ласковым словом утешит? Кто обо мне попеченье имеет? Когда ты, мой друг, при мне был, я приеду домой – ты меня встречаешь с приятными милостивыми словами и имеешь обо мне попечение: Марфушка! Что тебе севодни есть и чтоб тебе было угодно? Ныне кто обо мне так имеет попечение? Когда я сие все стану думать, как я могу, бедная, не плакать? Хотя я надеюсь на бога, что он даст тебе, моему другу, здоровье и даст мне тебя видеть, и ты меня содержишь в неотменной своей милости, однако ж не могу верить, что тебя, милого друга, скоро видеть. Вчера у меня после обедни был Семен Иванович с женою; я просила их, чтоб они обедали у меня: они сказали, что у них дети дома, желают быть с ними обедать. Еще пришел Шуберт поздравствовать, я его удержала обедать; обедали у меня Шуберт и наша мама и я, и это первый раз, что я без тебя обедала в средней горнице. После обеда делать нечего, сидеть не с кем, я, бедненькая, посидела маленько с Федяшей, он ничего не смыслит, пришла к себе и легла на постеле, не вставала до вечерен; после приехал Синявин и жена его, ради их встала с постели и сидела с ними».

(Бумаги Остермана в Государственном архиве)

9) *Дело черниговского епископа Иродиона Жураковского с бунчуковым товарищем Лизогубом. Доношение Иродиона св. Синоду:* «В доношении епархии моей шостовицкого попа Алексея Незридовича написано: ездил-де он с писмом из консистору к Семену Лизогубу в обиде своей просить, чтоб он заграбленные его кони войтом Лизогубовым ему, попу, возвратил, и, когда о возвращении грабежа только помянул Лизогубу, тогда без всякой причины начал бранить его, попа Алексея, м..., называя блазном и скурвым сыном, злодеем, послежде велел наготовити киев и батожья и принести оные, в яком разе два его, Лизогуба, служители великороссийской породы тыя до побою инструмента принесли и, взяв его, попа, за руки, распяли и держали распятого, сам же он, Лизогуб, многократно прискаковал и порывался с кулачем хотя бить, но не бил, плювал во очи и, отошедчи в комнаты, велел вести до тюрьмы, но, не ведучи, толко выбить в шию с двора приказал, и выбито. Он же, Лизогуб, моего смирения называл бездельником,

чортом и прескаредными поносил словами и те слова велел попу, чтобы мне сказал. Убо хотя на те слова священника отца Алексея и донос его уповати не для чего б, обаче понеже неединократно уже Лизогубом пред паствою поносится имя мое, чрез что и во исправлении церковном кого-либо о том известного наклонити пастырски потрудно, здесь же честь архиерейская в Малой России дешева, и хотя просить, то веема не у кого. Да он же, Лизогуб, возбраняет роковщини по древнему обычаю на препитание давать священникам, виновных, к суду духовному подлежащих, не выдает людей, посылает венчаться людей своих вне епархии моей, за границу, в Польшу, иные ж обвенчани и живых имущие жен; говорил же еще многим людям и сие по некоторым делам: что-де ваш Синод? И он сице архиерею своему в силе, яко не над ним Синод и я не его пастырь; того ради прошу святейшества вашего не мене ради, старца, но чести ради архиерейской в юрода место Лизогубом без зазрения вменяемой и в прочих церкви противных действиях милостивый его императорского величества указ учинить, без зазрения бо совести мне донесено, и аз доношу». Лизогуб заперся во всем, дело же с священником объяснил так, что священник сам прежде пограбил у его мужиков четырех лошадей и воз с солью, которые, лошади и соль, до сих пор у епископа.

(Архив Мин. юстиции, дела Сената по Малороссийской экспедиции)

Двадцатый том

Глава первая

Продолжение царствования императрицы Анны Иоанновны

События в Варшаве по смерти Августа II. – Усиление партии Станислава Лещинского. – Поведение Франции. – Действие польских вельмож. – Россия требует исключения Лещинского из кандидатов на польский престол. – Декларации Франции и Австрии. – Конвокационный сейм. – Действия русского уполномоченного графа Карла Густава Левенвольда в Варшаве. – Понятовский, князя Чарторыйские, примас Федор Потоцкий. – Обращение противников Лещинского к России. – Россия и Австрия выставляют своим кандидатом на польский престол курфюрста саксонского. – Сопротивление Пруссии и сношения с нею. – Неудача Рудомины, присланного станиславцами в Петербург. – Избирательный сейм. – Большинство избирает Лещинского. – Протест меньшинства. – Приход русских войск. – Причины, заставившие Россию употребить вооруженное вмешательство. – Поход генерала Леси. – Избрание Августа III в польские короли. – Отношения между Левенвольдом и русскими генералами. – Образование конфедераций в пользу Лещинского, утвердившегося в Данциге. – Поход Леси под Данциг. – Миних сменяет его. – Миних берет предместья и бомбардирует город. – Переписка его с прусским королем. – Движение конфедератов на помощь Данцигу и неудачи их. – Неудачный приступ русских к Гогельсбергу. – Французская помощь Данцигу. – Первый бой русских с французами. – Сдача Данцига. – Поездки Левенвольда в Вену, Лейпциг и Берлин. – Сношения с Даниею, Швециею, Англиею. – Положение дел в Польше. – Успехи

русских войск против станиславцев. – Миних в Польше. – Неудовольствие жителей Литвы. – Поход генерала Леси к Рейну на помощь к императору Карлу VI. – Столкновение России с Турцией. – Посольство кн. Голицына в Персию. – Причины турецкой войны.

По смерти короля первым лицом в Речи Посполитой Польской становился примас архиепископ гнезненский Федор Потоцкий, и этот первый человек, от которого так много зависело, был приверженцем Станислава Лещинского. Примас распустил сейм, распустил гвардию покойного короля, велел 1200 саксонцам, находившимся на службе при дворе Августа, немедленно выехать из Польши; это так напугало немецких ремесленников в Варшаве, что они поспешили продать свое имение и выехать из Польши вместе с придворными чиновниками; войска были двинуты к прусским и австрийским границам. Партия Лещинского явно усиливалась; сам примас однажды после обеда проговорился Левенвольду о своей приверженности к Станиславу. Левенвольд советовал своему двору действовать решительно, расположить войска на польских границах и двинуть их в глубь страны, как только потребуют обстоятельства. Франция и Австрия уже начали действовать деньгами: из Франции было прислано более миллиона ливров, из Вены – более 100000 червонных: саксонский посланник давал в пользу своего курфюрста ежедневные обеды на 40 человек. Торги шли деятельно, вельможи переманивались на ту или другую сторону не одними наличными деньгами, но и обещаниями выгодных мест в будущем: так, французский посланник маркиз Монти сманил люблинского воеводу Тарло на сторону Станислава обещанием коронного гетманства. Киевский воевода Потоцкий также добивался этого места и, видя, что Тарло выговорил его у Франции, обратился к австрийскому послу, а коронный маршалок Мнишек хлопотал о польском престоле для себя у Левенвольда.

В то время как в Варшаве шла эта живая, но тайная торговля, из Петербурга отправлена была к примасу грозная грамота, в которой императрица требовала исключения Станислава Лещинского из числа кандидатов на польский престол: «Понеже вам и всем чинам Речи Посполитой давно известно, что ни мы, ни другие соседние державы избрание оного Станислава или другого такого кандидата, который бы в той же депенденции и интересах быть имел, в которых оный Станислав находится, по верному нашему доброжелательству к Речи Посполитой и к содержанию оной покоя и благополучия и к собственному в том имеющемуся натуральному великому интересу никогда допустить не можем и было бы к чувствительному нашему прискорбию, ежели бы мы для препятствования такого намерения противу воли своей иногда принуждены были иные действительные способы и меры предвосприять».

Французское правительство, имея в виду преимущественно Австрию, сообщило через своих министров всем дворам декларацию, что поведение венского двора ясно показывает намерение его нарушить свободу поляков при королевском избрании; достоинство и значение французского короля и желание сохранить всеобщий мир не позволяют ему смотреть равнодушно, чтобы какая-нибудь держава нарушала права государства, находящегося в дружбе и союзе с Францией; потому король объявляет, что будет всеми силами противиться

намерениям стеснить свободу избрания нового польского короля. Венский кабинет отвечал декларациею, что император никогда не думал насильственно вмешиваться в избрание польского короля; по соседству с Польшею он должен желать, чтоб избран был человек ему невраждебный, но он будет стараться достигнуть этого мирным путем. Что касается отряда войск, собранного в Силезии и возбудившего подозрение французского двора, то это необходимая мера предосторожности на случай волнений, без которых не обходится королевское избрание в Польше: император имеет право располагать свои войска в своем государстве, где ему угодно, не отдавая никому отчета, тем более что сам никогда не спрашивал отчета в том же у других государей. Стороны высказались; противники стали друг против друга, готовые к бою.

27 апреля открылся конвокационный сейм, предшествовавший избирательному, и было постановлено, что в короли может быть избран только природный поляк и католик, не имеющий своего войска, ни наследственной державы и женатый на католичке. Этим постановлением прямо исключали курфирста саксонского и всякого другого иностранного принца. По настоянию примаса сейм уполномочил его разослать универсалы на посполитое рушение и просить субсидий у иностранных держав, если бы соседние державы силою захотели препятствовать возведению Лещинского на престол, если бы которая-нибудь из них ввела войска в Польшу или в присоединенные к ней провинции. Наконец, было постановлено признавать врагом отечества того, кто провозгласит короля без согласия сейма, и было запрещено частным людям собирать войска под каким бы то ни было предлогом. Но когда надобно было присягать в исполнении всех этих статей, то многие сенаторы и послы отказались от присяги. Примас велел вычеркнуть из акта статью, запрещающую присягавшим брать взятки с кандидатов на престол, и ночью разослал своих приверженцев склонять других к присяге угрозами и деньгами. Средство, однако, не помогло; когда на другой день примас с крестом в руках начал первый присягать, то раздались сильные протесты; другие присягали с разными оговорками. Когда нужно было подписывать акт и потребовали, чтоб он был прочтен, то открылось, что в него вставлены были выражения, о которых сейм не знал. Многие подписались также с оговорками, многие послы уехали, не подписавшись, с намерением протестовать против всего постановленного на сейме. Все показывало, что державы, которые захотят действовать против избрания Лещинского, могут объявить себя защитниками вольного избрания и найдут на кого опереться.

Чтоб избавиться от присутствия на сейме опасных свидетелей, которые не имели обыкновения оставаться холодными зрителями явлений, примас хотел привести в действие давно забытый закон, запрещающий иностранным послам оставаться в Варшаве во время избирательного сейма. Но когда послам дано было знать, что они должны удалиться, то Левенвольд-старший отвечал, что не знает, будет ли он в Варшаве во время выборов, но если останется до этого времени, то очень сожалеет, что не может исполнить объявленного ему закона, потому что не может выехать из Варшавы без повеления императрицы; он прислан не для того, чтоб повиноваться польским уставам, особенно если они противны международному праву. Граф Вильчек отвечал, что пусть ему пришлют письменное объявление; он отправит его в Вену и будет ждать повелений

императора, до получения которых не тронется. Вильчек прибавил и угрозу. «В Варшаве я безопасен, – сказал он, – хотя меня охраняет караул только в 30 человек, тогда как за городом мне трудно будет найти безопасное место, разве император увеличит мой караул на 30000 солдат».

Ни для кого не могло быть тайной, что могущественные соседние державы против Станислава, и потому его приверженцам нужно было для усиления своей партии действовать не одними деньгами, но и внушениями, что вражда соседей к Станиславу бессильна. Пруссия не станет действовать заодно с Россией и Австрией, Россия не захочет довести дело до войны, Австрия же одна ничего не может сделать; притом Швеция за французские субсидии вышлет войско свое к устьям Вислы, и Турция не останется спокойною, если русские или цесарские войска вступят в пределы Польши: огромное татарское войско уже готово. Во главе Станиславовой партии стоял французский посол маркиз Монти, из поляков же способнее и деятельнее всех был коронный региментарь Понятовский, опиравшийся на родственников своих по жене Чарторыйских: примас был орудием в руках названных лиц. Левенвольд писал даже в Петербург о своих подозрениях, что самый видный по личным средствам из поляков Понятовский готовил престол не для Лещинского, а для себя, но избрание Понятовского, по мнению Левенвольда, было еще опаснее, чем избрание Лещинского. Затруднительность положения союзных дворов состояла в том, что из польской и литовской знати не было никого, кого бы можно было предложить в короли, притом все паны жили врознь и согласить их действовать в пользу одного из них не было никакой возможности.

Как бы то ни было, надобно было действовать, чтоб не пустить Лещинского на престол; надобно было составить партию, противную ему, без означения кандидата, партию, во имя которой можно было бы приступить в случае нужды к решительным мерам. Написана была и отправлена к русскому двору декларация от имени одобрительных, из которых, однако, никто не подписался под нею. Доброжелательные объявляли, что ввиду опасностей, которые грозят правам и вольностям отечества со стороны Франции и ее приверженцев, позволивших себе насилиями вынуждать присягу у своих собратий, они, доброжелательные, обращаются к союзным державам с просьбой о защите драгоценнейшего сокровища Польши – права свободного избрания короля. «Мы признаем королем того, кто окажется достойнейшим и кого даст нам бог, будет ли это пяст или *чужестранец*. Мы не обязуемся союзным дворам за оказанную нам помощь никакою вещественною благодарностью, но обязуемся только не предпринимать ничего такого, что могло бы нарушить вечную дружбу между нами и ими». Подписей, как сказано, не было в декларации, но из списка лиц, имени которых русские войска должны были щадить, мы узнаем, что этими доброжелателями были: Мнишек, великий маршалок коронный, Липский, епископ краковский, Сангушко, гофмаршалок литовский, Любомирские, Радзивиллы, Сапега, Шембеки, Браницкий, хорунжий коронный, и некоторые другие.

Партия Лещинского узнала о движениях доброжелательных и не могла оставаться равнодушною: депутация от Сената явилась к Левенвольду с требованием объявить имена тех, которые жалуются на притеснение во время конвокационного сейма и просят помощи императрицы. Левенвольд отказался назвать тех, кто у него бывает в доме, и прибавил, что людей, потерпевших

насилие, нельзя порицать за то, что они ищут защиты, да и не в первый раз поляки обращаются к России с просьбой о помощи. Депутация спрашивала также, вступят ли русские войска в Польшу или нет? Левенвольд отказался отвечать на это сам, без спроса у своего двора, но заметил, что поляки ищут помощи у турок и татар. Депутация жаловалась, что полякам мешают в вольном избрании того или другого кандидата. Левенвольд отвечал, что нельзя требовать от соседних держав, чтобы они хладнокровно смотрели на избрание короля, который не будет соблюдать с ними мира. Вскоре после этого объяснения обер-шталмейстер Левенвольд отправился в Петербург.

В Вене обрадовались и поспешили отослать проект договора к курфирсту, но в Петербурге не хотели спешить: принуждаемый необходимостью изменить своей постоянной политике относительно Польши и поддерживать сына Августа II в домогательствах на польский престол, прокладывая таким образом путь к наследственности, русский двор хотел по крайней мере хорошо вознаградить себя за это и обеспечить от опасности, хотя, разумеется, лучшим обеспечением служил характер курфирста, не способный тревожить покой соседей стремлением нарушить польскую конституцию. Россия требовала, чтоб Август, получивши польский престол, отказался от притязаний на Лифляндию и оставил нетронутым старый правительственный быт Курляндии, но Август не хотел принять на себя эти обязательства, зная невозможность исполнить их при ограниченной власти польских королей. Это несогласие охладило русский кабинет; при вторичном отправлении обер-шталмейстера Левенвольда в Варшаву он получил инструкцию в случае медленности курфирста удовлетворить требованиям России, хлопотать о возведении на польский престол князя Любомирского. Но дело уладилось между Россией и Саксонию, и 14 августа Левенвольд заключил в Варшаве с саксонскими комиссарами следующий договор: императрица и курфирст заключают на 18 лет оборонительный союз, гарантируя друг другу все их европейские владения и выставляя вспомогательное войско: Россия – 2000 кавалерии и 4000 пехоты, а Саксония – 1000 пехоты и 2000 кавалерии; курфирст признает за русской государыней императорский титул, а по достижении польской короны будет стараться, чтоб и Речь Посполитая сделала то же самое; обе стороны пригласят к союзу Пруссию, Англию и Данию; по вступлении на польский престол курфирст употребит всевозможное старание, чтоб Речь Посполитая удовлетворила всем требованиям России, основанным на договоре вечного мира (относительно земель приднепровских и прав православного народонаселения), чтоб отказалась от притязаний на Лифляндию; курфирст обязуется употребить все свое старание, чтоб герцогство Курляндское осталось при прежнем своем образе правления, и обещает не нарушать образа правления Речи Посполитой; императрица обещает содействовать курфирсту в его намерениях относительно Польши переговорами, деньгами, а в случае необходимости и войском, если только это может быть сделано без нарушения вольного избрания.

Россия решилась изменить своей прежней политике и обязалась пригласить к тому же и Пруссию. Та, как мы видели, и прежде была не прочь допустить сына Августа II к польскому престолу за хорошую долю в добыче. И теперь весь вопрос состоял в том же. Но Пруссия была теперь раздражена тем, что надобно было вести еще новые переговоры с неподатливою Саксонию, а между тем старый договор, в котором была выговорена такая богатая добыча – Курляндия, договор

Левенвольдов 1732 года, не был подтвержден в Петербурге. В марте 1733 прусский посланник в Петербурге Мардефельд дал знать своему двору, что Саксония сильно хлопочет привлечь на свою сторону петербургский двор, обещает Бирону Курляндию. Фридрих-Вильгельм знал, что и Россия, и Австрия заключают выгодные договоры с саксонским курфирстом, и потому написал своему посланнику в Варшаве: «Если дело пойдет о саксонском курфирсте, то он должен прежде удовлетворить нашим требованиям, иначе персона его нам не годится». Курфирст медлил входить в сношения с Пруссией; Фридрих-Вильгельм написал на докладе министров: «Надобно прежде выслушать, что Саксония хочет для нас сделать. Как скоро договор (Левенвольдов) будет подтвержден, я его исполню в точности; если он не будет подтвержден и Саксония будет умна, то я так сделаю, что император останется мною доволен: если Саксония ничего не сделает, то и я сделаю только ла-ла-ла-ла».

Чего же хотела Пруссия от саксонского курфирста? Кроме уступок в споре о землях германских (Юлих-Клеве-Берга и других) Фридрих-Вильгельм требовал, чтобы Август по восшествии на польский престол признал за ним королевский титул, на что до сих пор не соглашалась Речь Посполитая; благоприятствовал намерениям Пруссии относительно Курляндии; не мешал Пруссии оставить за собой уезды Эльбинский и Драгинский, заложенные ей Польшею во время Северной войны. Здесь хотя, кроме пункта о титуле, от Августа требовалось только благоприятствовать и не мешать, однако уже он связал себе руки обязательством стараться об удовлетворении известных русских требований; обязаться еще действовать в прусских интересах значило явно показать себя в Польше орудием чужой политики, плательщиком на счет Польши за услуги, оказанные королю соседними державами при достижении им престола; что же касается до уступок в Германии, то против них была Австрия; таким образом, Август находился между двух огней. В надежде, что Пруссия не решится действовать прямо против императорских дворов и что помощь ее не очень нужна при помощи России и Австрии, Август решился по возможности отделяться от тяжелых обязательств относительно Пруссии, представляя, что Фридрих-Вильгельм заключил союз с Россией и Австриею прежде, чем он, Август, объявил желание взойти на польский престол: зачем же он будет платить Пруссии, когда она и без того должна действовать заодно с Россией и Австриею по союзным обязательствам с ними? Потом, выставя ограниченность королевской власти в Польше, Август обещал только соблюдать доброе соседство и оказывать прусскому королю всевозможные услуги.

Из Петербурга и Вены шли увещания Фридриху-Вильгельму не делать больших запросов саксонскому курфирсту и действовать заодно с императорскими дворами в Польше. Из Петербурга внушали королю, что не должно смешивать вопроса об устранении Станислава с вопросом об избрании курфирста саксонского; что первое необходимо точно так же для Пруссии, как для России и Австрии; что же касается до второго, то с курфирстом вошли в сношения, потому что он один имеет в Польше сильную партию, которую можно противопоставить партии Станислава, а потом нужно также отвлечь Августа от союза с Франциею; при крепком союзе между Россией, Австриею и Пруссией курфирст саксонский не может быть опасен, если даже будет и королем польским; при ограниченности своей власти в Польше Август может обещать только добрые

услуги относительно прусских требований; если же обещает больше, то поступит нечестно, обязавшись большим, чем сколько может исполнить.

Эти внушения только раздражали Фридриха-Вильгельма: не подтвердили Левенвольдова договора и заставляют даром действовать в пользу саксонского курфюрста, который в надежде на Россию и Австрию не хочет ничего сделать для Пруссии, прямо говорит, что прусский король обязан даром все для него сделать по своим обязательствам с императорскими дворами. Но где эти обязательства? Ни в одном договоре Фридрих-Вильгельм не обязывался препятствовать избранию Лещинского; правда, в одном договоре находилось такое обязательство, именно в Левенвольдовом, но сами Россия и Австрия не подтвердили этого договора и вместо португальского инфанта подставили саксонского курфюрста, не объяснивши прусскому кабинету своих побуждений. И зачем отдавать предпочтение Августу пред Станиславом? Лещинский при первой попытке нарушить польскую конституцию и повредить соседям легко будет задавлен соединенными силами союзников, окружающих Польшу с трех сторон, но курфюрст саксонский владеет большим и богатым государством, может распоряжаться своим многочисленным и хорошо устроенным войском. Притом сопротивление Лещинскому может вовлечь Пруссию в войну с Францией, в войну, опасную по разбросанности прусских владений: тогда надобно будет защищаться от французов на Рейне и в Невшателе, от поляков на прусских границах и от шведов в Померании. Если хотят, чтоб Пруссия действовала в интересах саксонского курфюрста, то пусть последний, исполнит требования прусского короля и обяжется вознаградить его за военные издержки. Фридрих-Вильгельм ограничил, наконец, свои требования одним прекращением спора о юлихском наследстве; Август не согласился, и Фридрих-Вильгельм объявил, что будет нейтральным в польских делах. Чтоб заставить выйти из этого нейтралитета, в Петербурге тронули опять нежную струну: императрица призвала Мардефельда и объявила ему, что она не ратификовала декабрьского (Левенвольдова) договора, потому что польские дела совершенно изменились, но, чтоб засвидетельствовать свое уважение к королю, она подтвердила сепаратную статью о Курляндии, и эту статью граф Левенвольд возьмет с собою в Варшаву, но Фридрих-Вильгельм не прельстился и этим, потому что дела начали принимать серьезный оборот. «Я не могу растянуться на две стороны и разориться, – говорил король, – не могу воевать в одно время и с Францией, и с Польшею».

В Петербурге должны были отказаться от надежды действовать втроем. Обер-шталмейстер Левенвольд возвращался в Варшаву, из Варшавы ехал в Петербург посол от примаса брацлавский постельничий Рудомина с жалобами на Левенвольда, зачем он уехал из Варшавы, не давши о том знать правительству Речи Посполитой. В письме примаса, привезенном Рудоминою, выражалась надежда, что императрица не нарушит свободы королевских выборов и будет зеркалом справедливости для прочих держав. Рудомина объявил, что прислан за советом, как утвердить внутреннюю тишину и обеспечить внешнюю безопасность Польши, потому что до избирательного сейма и во время его можно все устроить к общему удовольствию. Ему отвечали, что уже через обер-шталмейстера графа Левенвольда императрица объявила правительству Речи Посполитой, что она и союзники ее не только не хотят сами ничего приобрести от Польши, но ее величество не допустит никого другого отнять у республики хотя фут земли;

императрица не стоит особенно ни за кого из кандидатов, хочет поддержать свободную подачу голосов, исключает только одного Станислава Лещинского, потому что он был всегда врагом России; избрание его она сочтет нарушением мира и будет препятствовать утверждению Станислава на престоле всеми силами, данными ей от бога. Для подлития масла в огонь Рудомина стал жаловаться на Левенвольда, зачем уехал из Варшавы, не давши никому знать об этом, и просил от имени примаса, чтоб в Варшаву был прислан посол русского происхождения. Ему отвечали, что Левенвольду не нужно было прощаться с примасом, потому что он уезжал на время, а русской императрице нельзя предписывать, каких послов держать ей в Варшаве; притом какого бы происхождения ни был посол, он действует по указу ее величества. Но этой бестактности и незнания положения дел со стороны примаса с товарищи было мало: Рудомина привез письмо от князя Вишневецкого к одному из князей Трубецких; Вишневецкий жаловался Трубецкому, что давно не получал от него писем, напоминал о происхождении их фамилий от одного рода (Гедиминова) и просил его как знатного сенатора противодействовать людям, советуя императрице послать войска свои в Польшу до избрания короля; уверял, что новый король будет соблюдать договор со всеми соседями, особенно с Россиею, по славянскому братству обоих народов; выражал надежду, что князь Трубецкой примет на себя звание полномочного посла в Польше, чтоб мирными средствами поддерживать согласие между обоими государствами. Младший Левенвольд достал копию с письма и переслал ее в Петербург с своими замечаниями, что Вишневецкие, Сангушки и Чарторыйские принадлежат к одному Гедиминову роду с Трубецкими, Голицыными и Куракиными и потому было бы очень опасно, если бы этот могущественный род достиг польского престола в особе князя Вишневецкого.

В конце июля опять приехал в Варшаву нежеланный обер-шталмейстер Левенвольд. Русское и саксонское посольства начали подвергаться оскорблениям, и на жалобы их примас отвечал, что не в состоянии никого защитить от народной ненависти. Левенвольд сказал на это: «Если нас от народной ненависти защитить не могут, то и я против козацкой пики защитить никого не могу».

25 августа назначен был избирательный сейм. К этому числу поля, прилегавшие к Варшаве, покрылись знаменами воеводств и поветов, сошедшихся на выборы. Но Литва стояла в отдалении, в Венгрове, за несколько миль от Варшавы; она была против Станислава, требовала уничтожения стеснительной присяги, установленной на созывательном сейме, требовала подтверждения уставов, изданных в 1717 и 1718 годах против Станислава. Главным деятелем между Литвою был Радзивилл, воевода новогрудский, и вообще Литва была склоннее ко внушениям из России, во-первых, по соседству, во-вторых, из страха, что ее области пострадают первые при вступлении русских войск, в-третьих, по врожденной оппозиции к короне, то есть Польше, а в-четвертых, наконец, вследствие подарков, получаемых влиятельными людьми от русских агентов Даревского и Ливена, разъезжавших перед тем по Литве с целью набирать противников Станиславу. Получив от примаса неудовлетворительный ответ на свои требования, воеводства Новогрудское, Минское и Подляшское образовали конфедерацию для сохранения *liberum veto*. Примас с товарищи старались уговорить их отстать от конфедерации, но напрасно, и тут Литве досталось много денег, потому что партии должны были бороться в ее лагере золотым оружием.

Сейм начался 25 августа, и начался ссорами, так что 29 числа региментарь литовский князь Вишневецкий перешел с своими приверженцами в числе около 3000 человек на правый берег Вислы в Прагу, за ним последовал краковский воевода князь Любомирский. Начались выборы в сеймовые маршалы, и партия Лещинского восторжествовала, потому что избран был киевский подкоморий Раджевский, свойственник Станислава. Но между тем слухи о приближении русских войск подтверждались все более и более, и приверженцы Лещинского издали 4 сентября манифест, наполненный проклятиями и угрозами против тех поляков, которые призвали эти войска. По поводу манифеста вожди противной партии имели свидание с примасом, и Любомирский говорил ему: «Вместе с своим манифестом вы должны издать и привести в исполнение другой манифест – против тех, которые хотели призвать сюда французов, турок и татар. У вас тот враг отечества, кто не стоит за Станислава, но разве у вас нет других кандидатов, более достойных? (Тут Любомирский указал на Сангушка.) Я объявляю, что не хочу такого кандидата, который вовлечет нас в войну с иностранными державами. Кто виноват в том, что русские войска приближаются? Станислав. Вы хвалитесь, что выгоните русских, но где у вас силы? Выйти против русских с горстью людей – значит заставить весь свет смеяться над Речью Посполитой. Но у вас есть другие средства удалить русских: откажитесь от Станислава, пусть на выборах господствуют свобода и законность, и перестаньте говорить, что того, кто подаст голос против Станислава, надобно изрубить в куски, как врага отечества». Любомирский указал также на важное нарушение польской свободы, допущенное большинством; составление и пересмотр условий, на которых избирался король, отложены были до избрания.

Протест Любомирского произвел сильное впечатление, но большинство все же было за Станислава, который 9 сентября прибыл тайком в Варшаву, проехавши по Средней Европе под видом купеческого приказчика. На другой день, 10 числа, начались приготовления к выборам, которые должны были происходить в поле между Варшавою и местечком Волей. Здесь около большого деревянного здания (шопа), занимаемого Сенатом, расположилось до 60000 шляхты на конях. 11 числа, когда примас должен был собирать голоса, паны, стоявшие отдельно на правом берегу Вислы, прислали протест против кандидатуры Станислава, но примас объявил, что только тот протест считается законным, который высказан на поле избрания, в шляхетском кругу, или так называемом рыцарском Коле. Началось отбирание голосов. Восемь часов под проливным дождем объезжал примас верхом ряды избирателей и спрашивал, кого они хотят в короли, и повсюду слышались громкие крики: «Да здравствует Станислав!» Но меньшинство утверждало потом, что примас поступал недобросовестно, вовсе не спрашивал тех, которые открыто были против Станислава, быстро проезжал мимо подозрительных хоругвей, причем свита его при звуке труб и рогов кричала: «Да здравствует Станислав!» – и заглушала крики противников; меньшинство утверждало, что 40 хоругвей протестовало против избрания Станислава. Но никто не высказывался прямо и за курфирста; так, Любомирский на вопрос примаса, за кого он, отвечал: «За того, кто не вовлечет Польшу в войну»; кастелян радомский Малаховский раскрыл грудь и сказал громко примасу: «Здесь грозят изрубить в куски того, кто протестует против Станислава. Я протестую: кто посмеет изрубить

меня в куски? Станислав на сеймах объявлен врагом отечества; где его заслуги? Разве то вменить в заслугу, что он с шведами опустошил наше королевство?»

Но как бы то ни было, к вечеру 11 числа большинство явно высказалось в пользу Станислава, меньшинство ночью ушло в Прагу, где всех сенаторов набралось теперь до 20, с свитой до 4000 человек; к ним присоединился и князь Сангушко, увидавши, что никто не высказался за него. 12 числа примас продолжал собирать голоса, и теперь никаких протестов уже не было, потому что меньшинство ушло. Это отдаление меньшинства, стоявшего в сомкнутом и потому грозном положении, сильно тревожило примаса, который понимал, что державы, враждебные Станиславу, обопрутся на это меньшинство. Он отправил в Прагу депутацию с просьбой, чтоб меньшинство присоединилось к большинству, долго дожидаясь возвращения депутации, наконец уступил требованиям большинства и провозгласил королем Станислава Лещинского, которого торжественно ввели в костел Св. Яна. Между тем меньшинство не тронулось просьбами двух депутатий от большинства, оно выдало манифест, в котором жаловалось на уничтожение *liberum veto*, и отступило в Венгров, отбившись от наступавшего на него большинства.

Таким образом, торжество большинства и короля его далеко не было обеспечено. Никто не сомневался в приближении русского войска, а Станиславу нечего было противопоставить ему, ибо коронная армия существовала только по имени. Выдавши универсалы, призывавшие к посполитому рушению, Станислав 22 сентября выехал в Данциг в сопровождении главных своих приверженцев, также французского и шведского послов: здесь хотел он дожидаться французской помощи, также движения в свою пользу иностранных государств – Швеции, Турции и Пруссии.

Удаление Станислава не облегчило участи русского и саксонского посольств. Еще прежде Левенвольды должны были переехать в дом цесарского посольства: их дом был разграблен; к ним никого не пускали; все курьеры были останавливаемы, у них отбирали бумаги и распечатывали. Дом саксонского посла был взят кровопролитным приступом, посол должен был выехать из Варшавы. Наконец 30 сентября на правом берегу Вислы показалось двадцать тысяч русского войска под начальством Леси.

Что же побудило Россию действовать так решительно? 22 февраля 1733 года по указу ее величества было в Кабинете генеральное собрание, присутствовали министры, Сенат и генералитет, а именно: канцлер граф Головкин, генерал-фельдмаршал граф фон Миних; действительные тайные советники вице-канцлер граф Остерман, князь Черкасский, генерал Ушаков; действительные тайные советники князь Трубецкой, барон фон Миних, вице-адмирал граф Головин, тайный советник граф Головкин, и по выслушании реляции, присланной из Польши от камергера графа фон Левенвольда, рассудили следующее: 1) по русским интересам Лещинского и других, которые зависят от Короны Французской и Шведской и, следовательно, от Турецкой, до Короны Польской допустить никак нельзя; 2) для того отправляемые в Польшу министры должны усиленно стараться денежные и другие пристойные способы употреблять сообща с министрами союзников, чтоб поляков от избрания Лещинского и других подобных ему отвратить, для того этих министров надобно снабжать денежными суммами; 3) а так как может случиться, что вышеозначенные способы для отвращения таких

вредных Русскому государству предприятий окажутся недостаточными и надобно будет силу оружия употребить, то признается нужным, без упущения времени, на самых границах поставить 18 полков пехоты и 10 полков конницы и расположить их в таком расстоянии, чтоб в случае нужды немедленно могли собраться и маршировать, а как скоро вешнее время наступит, собрать их в два или три корпуса и велеть их вывести к самым границам литовским и польским; 4) к этому корпусу регулярному нарядить нерегулярного войска: донских козаков 2000, гусар украинских – сколько есть, слободских полков – 1000, из Малороссии – 10000, чугуевских калмыков – 150 да волжских тысячи 3; 5) к этому корпусу определить главного командира и прочих от генералитета с таким именным указом, чтоб по первому требованию от главного министра ее величества, обретающегося в Польше, вступил в Польшу и действовал бы во всем по его определению. В собрание был приглашен князь Дм. Мих. Голицын; он не мог быть по болезни, потому кабинетский секретарь ездил к нему на дом, и, по мысли Голицына, в нерегулярное войско прибавлены калмыки.

Решение генерального собрания было исполнено, войско выставлено на границу, и 29 июня состоялось другое решение: партия Станислава в Польше очень сильна, подкреплена большими французскими деньгами и намерена действовать на собственные средства, чтоб провозгласить его королем; поляки, которые этого не хотят и которых немало, не будучи обнадежены в нашей действительной помощи и не имея подпоры в наших войсках, боятся оказывать явное сопротивление, и потому многие из них, составя письменную декларацию, нас и союзников наших призывают на помощь, и поэтому рассуждается: 1) что по русским интересам Станислава до короны польской допустить нельзя, ибо известно, что он Русскому государству отъявленный неприятель, так тесно связан с французскими, шведскими и турецкими интересами, что, кроме злых поступков, ожидать от него ничего нельзя; притом он по правам польским объявлен изгнанником и никогда не прощаемым врагом своего отечества, следовательно, может быть выбран в короли не иначе как с насильственным ниспровержением польских прав и конституций, а России крайне нужно не допускать их до нарушения, ибо если эти конституции нарушатся, то могут быть нарушены и другие многие, постановленные в прошедшую шведскую войну и касающиеся до России; 2) если допустить партию Станислава насильственно и скоропостижно выбрать его в короли, то трудно будет после его выслать и другого на его место поставлять.

На другой день послан был указ лифляндскому губернатору генерал-аншефу Петру Петровичу Леси, чтоб ехал немедленно к полкам Рижского корпуса, расположенным на польской границе, и приготовил их к походу так, чтоб мог выступить на другой день по получении о том указа. Такое же повеление было послано к генерал-поручику Загряжскому, начальствовавшему Смоленским корпусом. Одним из членов генералитета при этом корпусе назначен был генерал-майор Артемий Волынский, находившийся тогда в Москве по делам Конюшенного ведомства; ему велено было, передав эти дела кому-нибудь из находившихся при нем штаб-офицеров, ехать немедленно в Смоленск. Оба корпуса, Рижский и Смоленский, должны были соединиться и идти к Гродно под главным начальством Леси, которому было предписано по дороге обывателям отнюдь никаких обид не делать и, что понадобится, покупать за настоящую цену и

платить деньги без удержания. Для этого штаб-, обер- и унтер-офицеры получали полуторное жалованье, а рядовые – по три копейки на день.

31 июля Леси перешел русскую границу в Лифляндии и через Курляндию направил путь в Литву, откуда доносил, что все тихо, войсковых собраний и никаких других съездов нет; гусарские и панцирные хоругви стояли по квартирам, но в них было мало людей; знатное шляхетство в домах своих не сказывалось, объявляли, будто уехали в Варшаву, но некоторые приезжали к Леси и объявляли, что согласны с намерением русской императрицы, и бранили своих сенаторов, что заставили Россию вмешаться в польское дело вооруженною силою. 18 августа приехал к Леси Ковенского повета маршал Забело с просьбою, чтоб войска не делали никаких обид жителям, которые Варшаве не присягали и благодарны русской императрице за оборону Речи Посполитой и вольностей ее. 25 августа, не доходя до Гродно, Леси получил от Левенвольда письмо, в котором тот просил его спешить к Варшаве. Леси писал в Петербург, что более спешить, как он до сих пор спешил, не может, ибо, несмотря на страшную грязь, шел по три и четыре мили в сутки и во весь поход отдыхали только шесть дней, люди и лошади устали. 27 августа Леси пришел в Гродно. 13 сентября, не доходя местечка Нура, явились к Леси послы от конфедерации, поздравляли его с счастливым прибытием в Польшу, всенижайше благодарили императрицу за высокую милость и защиту и просили не оставить их при нынешних их крайних нуждах: они не могли сдержать сильного нападения Станиславовой партии при Варшаве, принуждены были отступить, причем потеряли несколько товарищей и часть обоза, и теперь находятся в осьми милях от Нура, в окопе под местечком Стременчином. Леси советовал им как можно скорее соединиться с русским войском.

В ночь на 20 сентября Леси явился с своим Рижским корпусом в Прагу и на другой день на берегу Вислы, против самой Варшавы, устроил батарею о пяти пушках; польская конница и пехота занимали противоположный берег и остров на Висле между Варшавою и Прагою. Между обоими войсками началась перестрелка, но с русской стороны она скоро прекратилась, потому что из наших полковых пушек ядер не доносило до польских батарей; урон с русской стороны был незначительный: двое убитых и пять человек раненых солдат. 21 числа приехали в Прагу епископ познанский и светские вельможи Любомирский, Радзивилл, Сапега, Огинский, Завиша, Понинский с большим числом шляхты, объявили Леси, что приехали для королевских выборов, и просили, чтоб главнокомандующий позволил им находиться под покровительством русского войска. Леси, обнадежив их, отправился вверх и вниз по Висле мили по две в каждую сторону для осмотра, где бы можно было переправиться на ту сторону к Варшаве, но не нашел ни одной лодки: все были переведены на ту сторону или изрублены; мост между Прагою и Варшавою был сломан и сожжен. Несмотря на то, усмотревши два удобных для переправы места, одно вниз, а другое вверх по реке, Леси выслал к ним отряды для постройки плотов.

22 сентября под неумолкаемую пальбу с варшавского берега, не причинявшую, впрочем, никакого вреда, поляки, приехавшие в Прагу, составили конфедерацию, маршалом которой выбран Понинский. 24 числа, в пятом часу пополудни, в полмиле от Праги, в урочище Грохове, сконфедерованная Речь Посполитая выбрала в короли Фридриха-Августа, курфирста саксонского: после избрания были виват и стрельба, и потом в церкви Бернардинов отправлен

благодарственный молебен; в русском войске также выстрелили 93 раза из пушки и 3 раза из ружей беглым огнем. 26 числа Леси, оставя при Праге генерал-майора Любераса с несколькими полками, сам с двумя драгунскими и четырьмя пехотными полками отправился вниз по Висле и в трех милях, у деревни Сухотино, стал переправляться на другой берег, причем польские отряды отступили без малейшего сопротивления, а 28 числа Люберас дал знать главнокомандующему, что отступило и то неприятельское войско, которое находилось около Варшавы. Скоро Леси получил письмо и от Левенвольда, что все войско ушло из Варшавы к Кракову. После этого Леси, разделив свое войско по недостатку продовольствия на две колонны, одну поставил в Скерневичах, другую – в Ловиче (оба места в десяти милях от Варшавы); здесь он хотел побыть для поправления людей и лошадей, пока получит известие о вступлении в Польшу нового короля Августа III. При Варшаве оставлено было четыре пехотных полка, один драгунский и несколько иррегулярных; кроме того, отряд из одного драгунского и трех пехотных полков поставлен был в Плоцке под начальством генерал-майора Густава Бирона. Но вместо известия о вступлении нового короля в Польшу в конце 1733 года Леси получил указ выступить к Данцигу против Станислава Лещинского.

Леси был рад уйти подальше от Варшавы, потому что тяжело ему было находиться под командою у Левенвольда. Леси, знавший только свое военное дело, человек скромный и без связей при дворе, не жаловался на могущественного обер-штабмейстера, но мы видели, что одним из отрядов командовал Густав Бирон, брат фаворита. Бирон 25 октября написал брату следующее письмо: «Здесь как высшие, так и низшие страшно недовольны, потому что старший граф Левенвольд, министр наш, неслыханным образом сурово с нами поступает; решения его так слабы и непостоянны, что почти каждую минуту их отменяет и сам не знает, чего хочет; войско наше разбросано и подвержено неприятельским нападениям; людей наших перед нашими глазами перехватывают: вчера унтер-офицер с четырьмя солдатами в плен взят. Этого бы ничего не было, если бы мы лучше охраняли заслуженную славу нашего войска, шли за неприятелем и его разогнали, но мы благодаря нашему министру теряем время, занимаясь посторонними и неважными делами, без всякой причины стоим в Варшаве с несколькими пехотными и конными полками; принуждены на 6 или на 7 миль фуражировать и за недостатком потребного пропитания почти пропадаем. Сверх того, люди наши никогда покоя не знают, но принуждены день и ночь работать, укреплять Варшаву, все улицы рогатками перегораживать, как будто неприятеля боимся, тогда как прежде к нам было писано, что если б только 100 человек здесь было, то б все дело можно было покончить. Но министр никаких представлений не выслушивает и всем добрым распоряжениям генерала Леси препятствует и так нас обременяет, что терпеть больше нельзя. Кроме того, при всех здешних господах он говорит странные речи, будто некоторые из нас подкуплены были и потому медлили походом, хотя не было никакой возможности пройти с армиею 120 миль скорее, чем мы прошли. Но суровый министр наш не принимает никаких резонов, надобно, чтоб все только по его воле делалось. О пропитании войска нашего старания нет; вместо того чтоб неприятеля выгнать и о зимних квартирах думать, мы бездельно стоим в Варшаве и допускаем неприятеля усиливаться, а все это оттого, что министр возымел ложную мысль, будто неприятеля можно

приклонить мирными средствами: здесь интриги саксонских министров, которые благодаря нам достигли своей цели и, может быть, теперь думают, что мы им больше не очень потребны. Между тем наше войско час от часу слабеет; генерал Леси не смеет слова выговорить, боясь нареканий от графа Левенвольда, который и с родным братом своим в ссоре».

Такие отношения между послом и генералами, препятствовавшие единству и быстроте движения войск, давали партии Лещинского надежду поддержать свое дело. В конце 1733 года в разных местах образовались конфедерации в пользу Станислава: сандомирская, составленная в Опатове люблинским воеводою Тарло; волинская, составленная в Луцке Михаилом Потоцким, воеводою бельзским; подольская, составленная в Каменце Стадницким; киевская в Житомире – Вороничем. Поляки думали найти сочувствие в русских, недовольных владычеством немцев в Петербурге, и потому в манифесте сандомирской конфедерации говорилось: «Яснее солнца для каждого, который исследует причины вещей и откуда встала буря на нашу вольность, что не русская монархия сама по себе была виновницею настоящей революции в Польше и в Европе, ибо эта революция в основании противна интересам России, которая сама находится под гнетом немецкой власти, стремящейся ко всемирной империи и ненавидящей нашу вольность, как соль в глазу. Видя, что насилие, учиненное нашему королевству московскими войсками, сделано не по совету доблестных вельмож, правдивых наследников российского имени, обязали мы нашего маршала объявить войскам российским и чинам панств московских, что с ними враждовать не желали бы».

Но человек, в пользу которого составлялись эти конфедерации, Станислав Лещинский, меньше всех ожидал от них проку; он очень хорошо знал, что эти нестройные толпы шляхты, как бы даже многочисленны ни были, не в состоянии держаться и против незначительных отрядов регулярного войска соседних держав. Вся надежда Станислава была на Францию, и то только в том случае, если бы она употребила большие усилия, если бы сделала с Августом III то же самое, что Карл XII сделал с отцом его, т.е. если бы ее войско заняло Саксонию и в Дрездене заставило курфюрста отказаться от Кракова и Варшавы. Станислав прямо писал своей дочери: «Если король Людовик XV не овладеет Саксонией, то буду принужден покинуть Польшу и возвратиться во Францию». Но если для утверждения Лещинского в Польше необходимо было французам напасть на Августа в Саксонии, то для утверждения Августа в Польше русским необходимо было выгнать Станислава из Данцига, куда к нему на помощь легко могли явиться морем французы, а быть может, и другие союзники морем и сухим путем. Вот почему, как мы видели, Леси получил от своего двора приказание немедленно идти к Данцигу. Несмотря на то что в Польше находилось в это время тысяч пятьдесят русского войска, большая часть его была необходима здесь для сдерживания конфедератов, и Леси мог взять с собою к Данцигу не более 12000 человек. В январе 1733 года Леси занял Торн, жители которого присягнули Августу III и приняли русский гарнизон. Но жители Данцига решились твердо держаться Станислава в надежде на французскую помощь и на то, что и другие, особенно морские, державы не позволят разорить такой важный торговый город; присутствие французского посла Монти, французских инженеров и шведских офицеров поддерживало эти надежды, тем более что у них было втрое более

людей, чем у осаждающих. Малочисленность войска, недостаток во всем нужном для осады и неблагоприятное время года не могли позволить Леси вдруг сделать что-нибудь важное, а в Петербурге торопились, боясь весны и появления французских кораблей с войском, и потому отправили под Данциг первую военную знаменитость империи – графа Миниха.

Мы видели, что по смерти князя Михаила Михайловича Голицына и заточению князя Василия Владимировича Долгорукого между русскими не было более военных знаменитостей из славной школы Петровой и немцы могли сделать своего фельдмаршала, которому спешили передать все высшие военные должности: Миних, как фельдмаршал, командовал армиею, был президентом Военной коллегии и воинской комиссии, генерал-фельдцейгмейстером, петербургским генерал-губернатором, имел над всеми империи Российской фортификациями вышнюю дирекцию, был шефом Кадетского корпуса, заведовал Ладожским каналом. Даровитый, энергический и сгоравший честолюбием, Миних брался за все, оказывал всюду большую деятельность, не щадя трудов, еще менее щадил слов для выставления этих трудов, для прославления своих заслуг, для указывания беспорядков, которые были до него. Места и почести, которые посыпались вдруг на Миниха, только раздражали его честолюбие, он стремился захватить еще более, стать в челе управления. Бирона он не трогал. В Бироне заискивал, тем более что Бирон не был правителем, с ним легко было не сталкиваться, но трудно было Миниху не столкнуться с Остерманом, у которого была самая обширная сфера управления, который был давно уже первым министром на деле. И Миних столкнулся с ним, столкнулся даже в иностранных делах: мы видели, что Миних вопреки Остерману держался французского союза. Но Остерман привык считать за собою значение первого государственного дельца. Таким образом, два самых даровитых иностранца враждебно столкнулись, и, как русские вельможи должны были уступить первенствующее значение немцам вследствие усобицы, переевши друг друга, так теперь и немцы начинают также усобицу, которая повлечет падение их партии. Остерман и неразлучные с ним Левенвольды начали подкапываться под Миниха, но самым лучшим средством для этого было поссорить его с Бироном. Фавориту начали внушать, что Миних опасен, что он приобретает час от часу большее влияние на императрицу, что он кончит тем, что овладеет полною ее доверенностию и оттеснит его, Бирона. Фанорит затрепетал за свое выгодное место и подослал шпионов наблюдать за Минихом; шпионы донесли, что фельдмаршал как-то невыгодно отнесся об обер-камергере. Для Бирона этого было довольно: когда саксонский посланник жаловался ему на деспотический образ действий Миниха с иностранными купцами, то Бирон признался, что сам удивляется поступкам Миниха и жалеет, что так много сделал для этого хамелеона. Но надобно было спешить поправить ошибку, и вот Миних получает приказание очистить дом, который он занимал недалеко от дворца, и переехать подальше, на Васильевский остров, под предлогом, что прежнее помещение фельдмаршала нужно для принцессы Анны мекленбургской. Миних испугался участи Ягужинского и стал хлопотать об умиловлении Бирона; общие друзья, боявшиеся, как видно, для себя усобицы между главными членами немецкой партии помогли ему; примирение последовало, но только видимое, а в 1734 году явилась возможность удалить

неприятного фельдмаршала, поручив ему осаду Данцига, медленность которой приписывали, по крайней мере отчасти, медленности Леси.

Миних отправился под Данциг под именем артиллерийского полковника Беренса, но инкогнито не могло сохраниться: в Мемеле за несколько дней до его приезда уже знали, что едет Миних, а не Беренс. Из этого города 22 февраля Миних писал императрице: «Ваше императорское величество верно обнадеживаю, что я по прибытии моем к армии город Гданск так осадить чрез божию помощь уповаю, что из оногo и в оный никто, кроме бомб и ядер, которые с стороны вашего величества туда посылаться будут, попасть не может, и с магистратом уповаю так поступить и город в такое утеснение привести, чтоб полную сатисфакцию вашему величеству, також и славу вашего величества войску подучить, ежели б только чрез помощь божию вскоре туда прибыть мог». 5 марта Миних приехал под Данциг с канцеляриею, небольшой свитой и с 13 тысячами тремястами червонных. Немедленно был созван войсковой совет; Миних объявил повеление императрицы, не продолжая времени, поступить с городом неприятельски без всякого сожаления и представил, каким образом думает овладеть немедленно лежащими перед городом горами; генерал-майор фон Бирон был согласен с мнением Миниха, но генерал-майор Волинский, генерал-лейтенант князь Борятинский и генерал Леси остались при мнении, что с таким малым войском атаковать горы небезопасно, а надобно ждать артиллерии. 9 марта Миних донес о взятии приступом богатого предместья Шотландии, сильно укрепленного: неприятель побит, пушки, ядра и порох отобраны и русские обедают в Шотландии неприятельским хлебом; Миних писал, что нельзя описать и достаточно восхвалить храбрость офицеров и солдат, которую они оказали при нападении, промаршировавши всю ночь под дождем и сильным ветром. На другой день началось бомбардирование города; пушки и ядра были польские, взятые в Шотландии. «Бессильные французы, – писал Миних, – еще долго пробудут на море и меня отсюда не выгонят, ибо я знаю, что бог пребывает с оружием вашего величества; мне фураж на здешнюю армию нужен только до травы, и в провианте никакого недостатка нет, потому что Шотландия помогла». О данцигских вестях Миних сообщил, что Станислав болен и писал к французскому королю, что хочет сложить голову свою в Данциге; примас целый день пьян, маркиз де Монти и Понятовский все делают.

Главное их дело состояло в том, чтоб побудить как-нибудь прусского короля подать помощь Станиславу; в Берлине боролись послы – русский Ягужинский и французский маркиз Шетарди. В июле 1733 года Ягужинский доносил из Берлина: «В дела польские сильным и явным образом вступить здесь склонности не видно, о чем мне откровенно министр Подвил сказывал: так как недавно заключенный договор не ратификован, то король в польские дела мешаться не обязан, к тому же положение прусских земель необходимо требует нейтралитета в польских делах: здесь хорошо помнят, в каких беспокойствах были при владении короля Августа, а теперь требуют возведения курфирста саксонского на отцовский престол; цесарю в том находка, что сильную противную партию в деле наследства привлекает на свою сторону, но как же требовать от прусского короля помощи курфирсту без всякого за то вознаграждения? Здешнему двору нет причины ни помогать курфирсту, ни препятствовать Станиславу». Ягужинский писал, что король сказал цесарскому послу графу Секендорфу: «Хотя мне возведение на

польский престол курфюрста неприятно и интересам моим противно, однако когда цесарь и Россия этого хотят, то я противиться не буду, сверх того, надеюсь, что русская императрица удержит поляков от нападения на русские земли, также надеюсь, что Курляндия будет отдана одному из здешних принцев». Ягужинский обращал внимание своего двора на то, что и французскому министру оказывается в Берлине большая ласка. Сам король говорил Ягужинскому: «Помогать курфюрсту саксонскому я не обязывался; притом же курфюрст у меня не заискивал, обращался только к двум императорским дворам; было постановлено возвести на польский престол или португальского принца, или кого-нибудь из поляков, а теперь за одного курфюрста усиленно увязались; какую может императрица встретить противность в Станиславе? Чем он может повредить, потому что король польский своею особою ничего не может сделать?» «Персона Станиславова, – отвечал Ягужинский, – не просто одна персона, но с целым королевством Французским связана, и дружбы к императрице, цесарю и к вашему королевскому величеству от него ожидать нельзя». Когда Ягужинский настаивал, чтобы Фридрих-Вильгельм действовал сообща с императорскими дворами и отправил корпус войск к границам, то король сказал: «Корпуса отправить нельзя, потому что если с двух концов свечу зажечь, то скоро исчезнет; цесарь требует, чтоб на Рейн еще корпус отправить; да против поляков и не нужно большой силы: с десятью или двенадцатью тысячами их можно ко всему принудить».

Когда в Берлине были получены известия о двойных выборах в Варшаве, то король явно высказывал свое нерасположение к курфюрсту саксонскому, а о Станиславе говорил, что готов заплатить миллион, чтобы только удержать его на престоле. Эти отношения объяснялись словами Фридриха-Вильгельма, сказанными Секендорфу: «От Станислава делаются мне предложения, а от курфюрста ничего». И в 1734 году во время осады Данцига, провозглашая строгий нейтралитет относительно польских дел и готовность помочь цесарю по договору отрядом войск против Франции, Фридрих-Вильгельм продолжал оказывать свое расположение к Станиславу и твердить, что дела его еще могут поправиться. Шетарди и Понятовский, приехавший в Берлин от Станислава, предлагали Фридриху-Вильгельму признание Польшею его королевского титула, а Курляндию для его второго сына. С другой стороны, из Петербурга приехал в Берлин прусский посланник при русском дворе Мардефельд с предложениями от императрицы Анны – города Эльбинга, Курляндии по смыслу Левенвольдова договора и полосы земли в Западной Пруссии для непосредственного соединения Восточной Пруссии с Помераниею. Последнее предложение было особенно соблазнительно; король потребовал мнения у своих министров, и Подевилльс отвечал: «Польское дело еще не созрело, оно подвержено еще многим и сильным переворотам; дело состоит в том, чтоб Пруссию всеми неправдами притянуть на сторону Саксонии и втянуть в открытую войну с Франциею, притом Россия не надеется управиться в Польше без прусской помощи». Король порешил: «Мое намерение постоянно: оставаться в дружбе с Россиею, но не давать связывать себе руки. Воевать разом в двух местах – на Рейне и в Померании или Пруссии – невозможно; в одном месте, пожалуй, но в двух – нет! Я убежден, что Франция никогда не заключит мира иначе как с условием удержания Станислава на польском престоле; тогда я все мои завоевания потеряю, ибо для ради моих седых волос они не станут продолжать войну. Долго ли может продолжать войну

император? По большей мере до 1735 года; без Англии и Голландии воевать долее невозможно, и тогда мне придется сидеть между двух стульев. Поэтому мое мнение – не принимать ничьей стороны. Мой честный, верный Ильген тысячу раз говаривал по поводу саксонского преемства на польском престоле: если бы Польша навеки уступила Вармию, Помореллию, Данциг и Мариенбург, то и тогда можно было бы сомневаться, было ли бы это выгодно для Пруссии; ибо если саксонец будет в Польше самодержавен, то со всеми этими приобретениями нельзя будет ему противиться; интерес Пруссии состоит в том, чтоб Польша оставалась республикою, ибо в таком случае она никогда не будет в состоянии предпринять что-нибудь важное против Пруссии по причине бессвязности польского правительства». С этим Мардефельд и поехал назад в Петербург.

Порешивши соблюдать нейтралитет, Фридрих-Вильгельм не хотел пропускать чрез свои владения ни русского, ни французского войска, не хотел пропустить русскую артиллерию, шедшую из Риги к Данцигу. Легко понять, с каким чувством узнал об этом Миних; с обычным своим спехом и пылом он обратился прямо к королю с требованием пропуска артиллерии; Фридрих-Вильгельм отвечал ему:

1 апреля в устьях Вислы появился французский фрегат с шведским войском и оружием, но Леси принудил его уйти назад в море; к русским пришла артиллерия, отправленная из Риги и Ревеля, прибыли и саксонские мортиры по почте в закрытых телегах: их пропустили чрез прусские владения, потому что их выдали за экипажи герцога вейсенфельского. Эти экипажи расставили 18 апреля на русские батареи и начали стрелять по городу. В это время пришла французская эскадра, и несколько людей успели высадиться, но французы не нашли никакой возможности ни соединиться с польским войском, ни войти в город, потому что Миних взятием форта Зоммершанц совершенно пресек сообщения Данцига с его гаванью Вейхзельмюнде. Французы два дня имели намерение атаковать русские посты, находившиеся на берегу Вислы, но отчаялись в успехе при виде незначительности своих сил, сели на корабли и вышли в море. Тогда Миних в последних числах апреля решил положить конец осаде взятием самого сильного укрепления – форта Гагельсберга. Три тысячи солдат должны были идти на приступ и пять тысяч их поддерживать. Около полуночи русские двинулись на приступ в необыкновенном порядке и сохраняя глубокое молчание; они овладели уже батареею с семью пушками, но, по редкому несчастью, предводители всех трех колонн, почти все офицеры генерального штаба и инженеры, были убиты или ранены при первом залпе неприятеля. Колонны, вместо того чтоб идти отдельно, смешались, и солдаты, не имея вождей, остановились и стояли неподвижно три часа сряду под страшным огнем осажденных. Миних, заметя беспорядок, послал адъютантов с приказом идти назад, но солдаты не послушались и отвечали, что все лягут на месте, а не отступят ни на шаг. Леси принужден был сам отправиться уговаривать солдат к отступлению, и они послушались, потому что очень любили его. Осаждающие потеряли более 2000 человек убитыми и ранеными и 120 офицеров. Миних утешал императрицу тем, что такие потери не представляют ничего необыкновенного, и притом же русские показали удивительную храбрость; императрица в свою очередь утешила фельдмаршала милостивым рескриптом.

Осажденные не воспользовались гагельсбергскою неудачею русских; они не двигались, все дожидаясь французской помощи. Миних доносил 7 мая: «До сих

пор в город уже 1500 бомб брошено, и, несмотря на то, осажденные не обнаруживают никакой склонности к сдаче; у меня есть еще бомб на 10 дней, а между тем надеюсь, не придет ли саксонская или наша осадная артиллерия». 13 мая показались опять на рейде 11 французских кораблей, которые также высадили войско на берег. 16 мая это войско атаковало русские ретраншаменты, и в то же время осажденные в числе 2000 с пушками сделали вылазку, но и те и другие были отбиты, причем с русской стороны отличился полковник Олонецкого драгунского полка Лесли. Узнали, что французскими войсками командует бригаадир Ламотт де ла Пейруз, а число всего войска 2040 человек. Так в первый раз померились силами русские с французами. «Русские офицеры и солдаты, – по словам Миниха, – в сей акции превеликий кураж, охоту и радость оказывали и ничего так не желали, как чтоб французы еще сильнее пришли и в другой раз бы отведали». Вслед за этим Миних был обрадован прибытием саксонского войска. Русского войска с подошедшими из Варшавы отрядами было в это время под Данцигом 16337 человек.

В начале июня Миних доносил о прибытии русского флота с артиллериею на данцигский рейд, вследствие чего французская эскадра, оставив войско в Вейхзельмюнде, удалилась, и тридцатипушечный фрегат, который был при Вейхзельмюнде, при отплытии своем сел на мель; зато три русских галиота попались в руки французам, которые в своих известиях из трех галиотов сделали пять военных кораблей, нагруженных бомбами. Миних, получив артиллерию, начал делать апроши к Вейхзельмюнде и послал к бригадиру Ламотту с требованием сдачи; Ламотт снесся с находившимися в городе Станиславом и маркизом де Монти, и те отвечали, что намерены обороняться до последнего человека и надеются, что Вейхзельмюнде может держаться по крайней мере четыре недели, а между тем получится сильная французская помощь, и если Вейхзельмюнде будет защищаться как следует, то вся русская пехота может погибнуть. Миних дал знать Ламотту, что, по известиям от министров из Голландии и Англии, на французскую помощь не может быть никакой надежды, а русский флот уже на данцигском рейде, и если французы по истечении трех дней не сдадутся, то никакой капитуляции и пощады не получат. 12 июня французы сдали Вейхзельмюнде. На другой день сдалось укрепление Мюнде; 17 июня русский флот повез сдавшихся французов, чтобы высадить их в одном из портов Балтийского моря; отвозом французов надобно было спешить, тем более что пришло известие о вступлении в Балтийское море осьми французских военных кораблей с новым вспомогательным войском из осьми батальонов. Шведов, находившихся в Мюнде, Миних отправил с паспортами. Станислав успел уйти, переодевшись в крестьянское платье, после чего 28 июня сдался Данциг с обязательством быть верным королю Августу III; польские вельможи, находившиеся в городе, – примас Потоцкий, епископ плоцкий Залуский, воевода русский Чарторыйский, воевода мазовецкий Понятовский и другие – отдались в волю и милосердие русской императрицы. Город Данциг должен был отправить в Петербург торжественную депутацию из самых знатных граждан по выбору императрицы с просьбою о всемилостивейшем прощении; войска, находившиеся в городе, сдались военнопленными; город обязался не принимать никогда в свои стены неприятелей императрицы и заплатить ей за военные издержки миллион битых ефимков; за то, что во время осады в противность военному обыкновению

звонили в колокола, город должен заплатить 30000 червонных; за уход Станислава Лещинского город должен был выплатить миллион ефимков, если не представит беглеца в четыре недели. Сдавшихся французов привезли в Кронштадт, откуда отправили в Копорье, где держали в лагере. Так как по условию надобно было их высадить в одну из балтийских гаваней и, конечно, французы не разумели здесь Кронштадта, то надобно было их отправить в отечество, но прежде хотели попробовать, нельзя ли извлечь из их пребывания в России какую-нибудь выгоду. 23 июля 1734 года императрица отправила в Копорье флотского капитана Полянского с таким наказом: «Ехать тебе в Копорье в лагерь, где обретаются французы, и объявить наш указ гвардии майору Албрехту или Астраханского полка подполковнику Лопухину, что мы указали быть тебе при тамошней команде обще с ними, потому что ты французского языка умеешь, и французам также объявить, что ты для них нарочно прислан. Притом майору или подполковнику секретно объявить, чтоб они помянутых французов впредь так крепко не держали, как ныне, и ежели б кто из них стал уходить тайно, то за теми присматривать и от того их удерживать не велеть, а для сыску за ними никуда не посылать, понеже из них многие есть мастеровые люди, и буде они будут уходить, то тот их побег к лучшему нашему интересу воспоследует, чего ради не токмо б их от того удерживать, но еще по крайней возможности в том им способствовать и к тому приговаривать и как можно тайно отправлять их в С.-Петербург».

Первый акт борьбы за польский престол кончился взятием Данцига; местом второго действия должна была быть более широкая сцена. Из письма генерала Густава Бирона мы видели, что братья Левенвольды перессорились в Варшаве; младший, камергер, просил отозвать его; просьба была исполнена, и на его место был отправлен к польскому двору действит. стат. советник и президент Академии Наук Кейзерлинг, который, впрочем, должен был играть второстепенную роль; обер-шталмейстер Левенвольд по-прежнему заправлял польскими делами, сносясь с тремя дворами – венским, берлинским и дрезденским.

Левенвольд из Варшавы отправился в Краков для присутствия на коронации Августа III, а отсюда в начале 1734 года поехал в Вену. Здесь нужно было толковать об окончании польских дел, а между тем Левенвольд должен был предложить и другой, турецкий вопрос, представив, что Порты относятся враждебно к австро-русским интересам в Польше и татары нападают на русские границы, чего терпеть нельзя. Эти представления были очень неприятны венскому двору: польское дело еще не кончено, предстоит война с Францией, а тут Россия поднимает турецкую войну, в которой Австрия должна помогать ей. Цесарские министры отвечали Левенвольду, что государь их самым прилежным образом советует *диссимулировать* с турками и, пока они находятся в покое, ничего против них не начинать, потому что теперь не время: французы воспользуются случаем, чтоб с большим успехом делать внушение и подстрекательство как у Порты, так и в других местах, особенно в Швеции: Франция ободрится новыми беспокойствами и затруднениями, неизбежными для союзников при новой войне; при виде этих новых беспокойств и затруднений и те, от которых цесарь ожидает помощи или имеет право ее требовать, станут уклоняться. Что же касается татар, то с ними можно расправиться, и Порты не почтет это нарушением мира. Относительно австрийской помощи против турок принц Евгений говорил, что ему нужно непременно знать наперед о военных распоряжениях с русской стороны, и

в то же время требовал, чтоб Россия по договору помогла Австрии войском против французов. Левенвольд отвечал, что русские войска и без того заняты и разбросаны в разных местах и еще новую тягость налагать на них нельзя; что императрица относительно соседей своих находится в таком положении, что принуждена думать о защите собственных границ: в Польше действует одна армия, и конца тамошним делам еще не предвидится; надобны войска в Персии, и должно готовить другие в ожидании войны турецкой, которую татары уже начали своими нападениями; не меньшую осторожность надобно наблюдать и со стороны Швеции, которая волнуется французскими интригами. Если по желанию цесаря с турками и диссимулировать, то не мешает заблаговременно условиться о необходимых мерах, чтоб императрица могла знать наверное, какую помощь получит она от цесаря, если турки нападут на ее владения, тем более что эту помощь цесарь должен оказать и в видах собственной безопасности, ибо интересы обеих империй относительно Турции нераздельны. Австрийские министры отвечали, что все это справедливо и русская государыня должна быть уверена, что цесарь подаст ей помощь в турецкой войне некоторым числом конницы и во всяком случае будет стараться доказать свои верно-союзнические намерения. Жаловались на Пруссию, что благодаря ее равнодушию цесарь лишен помощи остальных князей германских, которые соображают свои поступки с поступками Пруссии. Левенвольд писал императрице, что, по его мнению, венский двор по возможности обнаруживает добрую склонность, а что в польских делах войсками сообща действовать не может и против турок никаких других мер, кроме содержания на границах довольно числа войск, предпринять не в состоянии – единственною причиною тому бездействие прочих союзников, которые на одного цесаря возлагают всю тяжесть французской войны. Французы все входят далее и далее в глубь империи и везде собирают большие контрибуции, только в землях курфюрста пфальцского все деньгами платят и раздают опасные грамоты, что служит знаком доброго согласия их с курфюрстом. Курфюрст кельнский набирает войско и возбуждает также сильное подозрение, а приверженность к Франции курфюрста баварского давно открылась, и легко рассудить, что Франция будет всеми средствами усиливать свою партию в империи. В Саксонии боятся, чтоб французы через Кассель и Тюрингию не пробрались к саксонским границам.

В конце апреля Левенвольд выехал из Вены и отправился в Саксонию для свидания с польским королем. Августа III он нашел в Лейпциге и стал ему внушать, что все затруднения происходят от прусского короля, который не оказывает союзным дворам должной помощи, сердясь за возведение на польский престол его, курфюрста, который поэтому обязан привлечь Фридриха-Вильгельма на свою сторону всякого рода угождениями; Август III согласился угождать прусскому королю, предложить ему с саксонской стороны отдать в заклад амт Гоморн, а с польской – Эльбинг.

Из Лейпцига Левенвольд отправился в Берлин, где имел с королем длинный разговор, подробно изъяснял ему ход польских дел, как Франция, стараясь возвести на престол Станислава Лещинского, имела в виду одно – проложить дорогу к польскому престолу французским принцам и привести Польшу в полную от себя зависимость, что было бы и Пруссии так же вредно, как и другим соседним державам. Оба императорские двора сначала вовсе не думали о курфюрсте саксонском и хотели, согласно с желанием прусского короля, возвести

на престол какого-нибудь Пяста; но при господстве французской партии, при употреблении огромных денежных сумм и при сильных вооружениях не было никакой возможности думать об ином кандидате, кроме самостоятельного государя, который был бы в состоянии содержать свою партию собственными силами и деньгами. Выбравши поляка, надобно было бы поддерживать его войском и деньгами, но прусский король объявил, что в польском деле деньгами помогать не будет, и прусские министры в Польше с самого начала держали себя в таком отдалении от министров русского и австрийского, что противная партия могла выводить отсюда самые благоприятные для себя заключения. Наконец, при таких обстоятельствах нельзя было найти ни одного поляка, который был бы так смел, что решился бы принять престол.

Король, выслушав все это, сказал: «А цесарь теперь находится в трудном положении от французов; как он из таких затруднений выпутается?» Левенвольд отвечал, что исход дела в руках его, Фридриха-Вильгельма, если с прямою ревностью вступит в дело, выставит побольше войска против французов или по крайней мере сбором и движением его покажет вид, что хочет содействовать восстановлению общего спокойствия. Король сказал на это, что дело требует еще долгого обдумывания и что ему прежде надобно знать подлинно, какую безопасность он в Пруссии будет иметь со стороны Польши, чтоб польская смута как-нибудь не обратилась во вред ему; что он совершенно спокоен относительно русских войск, но не может быть спокоен насчет поляков, если объявит себя против них и выведет свои войска из Пруссии. Левенвольд отвечал, что союз с Россиею служит для него лучшим обеспечением и, если он хочет, Россия может возобновить свою гарантию Пруссии, хотя и трудно себе представить, чтоб при существующем союзе между Россиею и Пруссиею поляки осмелились напасть на последнюю. Наконец Левенвольд коснулся главного пункта – вознаграждения Пруссии со стороны Августа III, упомянул, что дело об амте Гоморн может быть легко улажено, и просил короля объявить, чего он еще желает. Вместо ответа король спросил, чего от него хотят. «Признания Августа III королем польским и удаления отсюда французского министра Шетарди», – отвечал Левенвольд. «Немедленно велю своим министрам вступить с вами в конференцию», – сказал король и отпустил русского посланника. Но когда результаты конференции были донесены королю, то Левенвольду объявлено было требование, чтоб курфирст Август уступил Пруссии Курляндию и Померанию с городом Эльбингом, и требование предъявлялось на основании обещаний, полученных от русского двора. Взятие Данцига положило конец этим требованиям.

Союзную России Данию польские дела поставили в затруднительное положение. В марте 1733 года Бракель писал в Петербург: «Здесьнее министерство насчет проезда короля Станислава чрез Зунд находится в сомнении: Франции прямо отказать не хотят и пропустить также не желают. Я буду уговаривать их, чтоб не пропускали и признали за повод к войне, если французская военная эскадра пойдет в Балтийское море». Французский посол толковал, что его государь вмешивается в польские дела для охранения польской вольности, стесняемой цесарем и его союзниками; Бракель внушал, что, наоборот, Франция стесняет польскую вольность, навязывая полякам Лещинского; датские министры отвечали, что им сомнительно в этом деле принять ту или другую сторону, но обнадеживали Бракеля, что будут содержать заключенный с Россиею союзный

договор. В мае французский посол потребовал, чтоб Дания по крайней мере оставалась нейтральною в польском деле, ибо как скоро хотя один человек войдет в Польшу для противодействия избранию Лещинского, то необходимым следствием будет война с Франциею. Датские министры отвечали, что король их не отступит от австро-русского союза. Француз грозил союзом Франции с Швециею, что производило впечатление на датчан. В начале июля французский посол объявил, что король его счел нужным отправить военную эскадру в Балтийское море, и так как французский двор находится с датским в добром согласии и дружбе, то он, посол, обращается с просьбою, чтоб для этой эскадры был свободный пропуск чрез Зунд и чтоб в нужном случае французские корабли могли найти пристанище и помощь в датских гаванях. Ему отвечали, что в проходе чрез Зунд никакой державе отказано быть не может и датские гавани открыты для французских кораблей, если только французская эскадра посылается не с тем, чтоб вступить в какое-нибудь неприязненное столкновение с союзниками Дании.

До сентября Бестужев не мог известить ни о чем важном. От 14 числа этого месяца он дал знать, что известие об избрании Лещинского в Варшаве произвело в Стокгольме несказанную радость как при дворе, так и в народе. Но радость эта скоро утихла, когда вслед за тем получено было известие, что Станислав с своими приверженцами должен был удалиться в Данциг и противная партия провозгласила королем Августа III. В конце октября Кастежа начал хлопотать, чтоб Швеция за деньги дала Лещинскому от 10 до 15000 вспомогательного войска. Видя нерасположение шведского правительства так явно вмешаться в дело, Кастежа начал набирать в Швеции охотников – солдат и офицеров – для отправления в Данциг к Станиславу. В офицеры было принято 40 человек молодежи, при каждом по два человека рядовых солдат, которые в паспортах были показаны лакеями офицеров. В конце года Бестужев доносил, что хотя в Швеции генералы все склонны к французской стороне, однако правительство держит себя нейтральным, и надобно надеяться, что не переменит своего поведения до будущего сейма. Король так явно выказывает расположение свое к России, что даже возбуждает народный ропот. Когда однажды Бестужев был у него и в это время пришли проститься с ним пажи, завербованные Кастежа в службу к Станиславу, мальчики от 14 до 15 лет, то король тихонько сказал Бестужеву: «Вот воины, которые едут выручать Данциг; да и между другими, отправляющимися туда, половина негодных».

Кастежа не переставал требовать, чтоб Швеция отправила корпус войска на помощь Данцигу, обещая за это большие деньги; с другой стороны, Англия предложила субсидии, с тем чтобы иметь наготове шведское войско для поддержания равновесия в Европе при настоящих конъюнктурах. Поставленный этими предложениями в затруднение, шведский Сенат определил в феврале 1734 года созвать чрезвычайный сейм. Положение русского министра в отношении к сейму было теперь совершенно иное, чем прежде. Мы видели, что прежде русские министры противодействовали всеми мерами придворной партии, избранию ее кандидата в председатели сейма или ландмаршалы, но теперь отношения переменились, и Бестужев с большим огорчением доносил, что Горну, продолжавшему враждовать с королем, удалось отстранить придворного кандидата и провести в маршалы человека противной партии, графа Левенгаупта,

потому что только при торжестве королевской партии Бестужев рассчитывал на нейтралитет Швеции в польских делах. Впрочем, Бестужев утешал свой двор тем, что Левенгаупт считался добрым патриотом, притом он человек не очень искусный в делах и большой опасности от него ожидать нельзя; доброжелатели надеются, что он пойдет прямою дорогою из страха, что противная ему партия так же сильна, как и его; таким образом, ход дела будет зависеть преимущественно от того, какие члены будут выбраны в секретную комиссию. Скоро Бестужев уведомил, что выборы в секретную комиссию удовлетворительны: только треть членов подозрительны, а две трети королевской партии, да и вообще депутаты кажутся миролюбивыми, так что едва ли нынешнее лето Швеция окажет помощь Данцигу и Станиславу, несмотря на то, что французский посол волновал небо и землю, чтоб склонить шведский народ на свою сторону, и ежедневно угощает влиятельных лиц.

Но угощения не помогали; планы Кастежа расстраивались известиями о слабой помощи, какую французы подают Данцигу и Станиславу, и Бестужев все более и более уверялся, что Швеция сохранит нейтралитет. Когда разгласилось известие о сдаче Данцига, то вся охота помогать Лещинскому исчезла, и французов стали бранить, зачем они Станислава так безбожно и бесстыдно покинули. Но в то же время торжество России возбудило в Швеции сильный страх и раздражение и начали смотреть во все стороны, на что бы опереться против опасной соседки. В секретном комитете было решено отправить указ к шведским агентам в Константинополе, чтоб они наблюдали за поступками Порты, и если увидят склонность ее начать войну с Россией, то обнадежить визиря, что немедленно будет отправлен в Царьград шведский министр для заключения союза. В то же время Бестужев дал знать, что граф Горн приходит в большую силу, сеймовый маршал действует во всем по его наставлению и русский доброжелатель Гепкин сильно трусит. Кастежа опять «начал делать великие движения». Но скоро Горн охладел к Франции: согласно желанию Англии, он завел дело о союзе между Швециею и Даниею в видах создать оплот против могущества России на севере, но чрез это произошла сильная ссора между Горном, Гилленборгом и Гепкином; голштинская партия, естественно не желавшая союза с Даниею, пристала к французской. Неприятели Горна стали внушать народу, что дело идет о браке между сыном принца Вильгельма кассельского и принцессою английскою и когда этот брак состоится, то Англия не только овладеет всею шведскою торговлей, но и может упрочить наследство шведского престола в кассельском доме. Кастежа воспользовался этим и чрезвычайно усилил свою партию в секретном комитете; он говорил, что хотя министерство ему и противно, однако он надеется посредством народа достигнуть своей цели. Бестужев отправился к Горну и, сообщив ему об этих разглашениях Кастежа, начал говорить, как неприлично иностранному министру сноситься с народом: ясно, что Кастежа хочет поссорить министерство с народом. Горн отвечал, что французский посол идет тою же самою дорогою, какою шли русский посол князь Василий Долгорукий и цесарский граф Фрейтаг во время приступления Швеции к ганноверскому союзу; впрочем, он, Горн, надеется, что и французский посол теперь получит такой же успех, как и те два министра.

В сентябре Бестужев уведомил о заключении союзного договора между Швециею и Даниею и об упадке французского влияния в Стокгольме; в октябре

доносил о новом неожиданном его усилении: в начале ноября опять сообщал успокоительные известия. В конце месяца доносил, что партия, во главе которой стоит граф Гилленбург, склонна к Франции не по доброжелательству к ней и не по ненависти к России, но по вражде к Горну и по ненависти к Англии. В декабре окончился сейм, не постановивши ничего относительно вступления в союз с тою или другою державою, но предоставивши королю и Сенату поступить в этом деле смотря по конъюнктурам. Французская партия выиграла одно, что чины заявили королю удовольствие нации, если он получит субсидии от французского правительства. Это получение субсидий без всякого за то обязательства со стороны Швеции было важно для Франции и других держав в том отношении, что препятствовало связи Швеции с Англиею, получению от нее субсидий. «Итак, – писал Бестужев, – если у английского двора есть истинное намерение разлучить Швецию с Франциею и привлечь к себе, то надобно ему без потери времени предложить здешнему двору такие субсидии, которые бы превосходили французские и могли быть приняты безответно. Я на днях говорил английскому министру, просил его написать в Лондон, что если английский двор и теперь поступит так же слабо, как поступал во время сейма, то король и Сенат, несмотря на свое расположение к английскому союзу, принуждены будут принять французские субсидии».

Таким образом, после знаменитой ганноверской ссоры по мекленбургскому делу интересы России и Англии впервые соединились. Мы видели, что по смерти Георга I английское правительство начало выражать желание возобновить дружественные отношения к России. Удаление Англии от Франции и сближение с Австриею еще более облегчили путь к этому. Англия сделала первый шаг, назначив прежнего секретаря посольства Рондо резидентом при русском дворе. Старый русский резидент в Англии Федор Веселовский не возвратился в Россию, боясь подвергнуться ответственности за брата своего Абрама, нашедшего убежище в Англии. В 1731 году Федор Веселовский начал сообщать Остерману известия об английских делах и в мае месяце писал ему: «Я оставил было мою корреспонденцию, будучи в сомнении, что то вашему превосходительству может быть неуютно, но, к немалой моей радости, уведомился я на сих днях от господина Фандербурга (русского резидента в Голландии), что вы позволяете мне ее продолжать и по великодушию своему даже изволили все мои письма ее величеству представить. За такое ваше милостивое благодеяние всепокорным сердцем благодарю и всенижайше прошу предстательствовать у ее величества, дабы благоволили воззреть на меня милосердным оком как на природного своего подданного, не отменившегося ни в своей ревности, ни в верности к ее освященной особе или к отечеству, но несчастным, невольным случаем испуганного. Представляю это не в извинение себе, но как несчастный подданный, молящий о милосердии ее величества и усердно желающий употребить последние дни жизни своей на службу отечеству». В конце 1731 года русским резидентом при английском дворе был назначен поручик гвардии князь Антиох Кантемир.

В 1732 году Кантемир не мог донести своему двору ничего важного; в 1733 по случаю смерти Августа II Кантемир известил свой двор, что по его представлению Георг II приказал отправить к своим министрам в Вену и Варшаву инструкции, чтоб при выборе нового короля поступали согласно с министрами

обоих императорских дворов. Кантемир писал: «Нынешнее министерство всеми средствами старается сохранить внутри и вне государства тишину, которую английский король парламенту своему и в прошлом, и в нынешнем году обещал; поэтому я не надеюсь, чтоб против французского двора английский король захотел поступить открыто». В мае английское министерство «немалое довольство показало» Кантемиру, что русская императрица намерена вместе с цесарем поддерживать саксонского курфюрста, потому что этим средством французский двор лишится немалой подпоры в Германии. Кантемир предложил английским министрам, как нужно для сохранения спокойствия в Европе Англии и России прийти в теснейшее согласие; ему отвечали именем королевским, что его величество от всего сердца желает заключить союз с Россиею и не упустил бы этого случая для засвидетельствования своего высокого уважения к русской императрице, но, как известно, король в таких делах нуждается в согласии парламента и народ по внушению противной двору партии станет упрекать короля и министров, что Англию вводят в новые обязательства и в новые издержки, заключая союз с таким отдаленным государством, как Россия; король думает, что для удовлетворения народа хорошо было бы заключить трактат коммерческий и дружественный. «Из этих речей, – писал Кантемир, – ваше величество изволит усмотреть, что намерение здешнего двора клонится к тому, чтоб чрез коммерческий трактат получить новые выгоды, а к союзу мало склонности из опасения новых убытков и нареканий от противной партии. Я думал, что неприлично было бы долее настаивать: не подумали бы министры, что, ваше величество, из-за какого-нибудь своего партикулярного интереса или по нужде так горячо добиваетесь их союза. Но так как ваше величество повторяете мне свои прежние указы, то я не оставлю прилагать всевозможное старание для соглашения здешнего двора к союзу, употребляя такой разговор, из которого бы нельзя было усмотреть, что ваше величество непременно этого желает. Я соглашусь насчет этого и с цесарским послом, который до сих пор никакой помощи мне не дал. Он мне говорил, что для склонения здешнего двора в интерес его государя необходимо, чтоб австрийские войска не вступали в Польшу, потому что если король французский нападет на цесаря за Польшу, то английский король может объявить в парламенте, что цесарь к войне причины не подал и потому Англия должна помогать ему; если же цесарь введет войска свои в Польшу, то оппозиция будет иметь основание противиться даче субсидий, представляя, что Англия обязана помогать цесарю только в таком случае, когда на него нападут, и введением своих войск в Польшу он будет нападчиком. Поэтому цесарский посол здесь внушал, что ваше величество по своей самовластной воле приказали своим войскам вступить в Польшу и что цесарь не может вам в том указывать. Думаю, что поступок венского двора может быть полезен для склонения здешнего двора объявить себя против Франции».

В ноябре, когда польское дело затянулось и можно было ожидать сильных мер со стороны Франции, появления ее флота на Балтийском море, Кантемир получил от своего двора приказание возобновить предложение о союзе. Кантемир поневоле отправился к управляющему иностранными делами лорду Гаррингтону и начал тем, что предлагаемый им союз должен быть основан на существующих договорах для сохранения общего спокойствия в Европе, и особенно на севере; союзники должны защищать друг друга в случае нападения, но исключен будет

случай нападения на Россию турок, потому что тогда Россия не может ожидать от Англии никакой помощи; Россия не потребует ничего больше, как помощи одною эскадрою, если которая-нибудь из северных держав начнет против нее войну, а сама императрица причины к войне никогда не подаст, довольствуясь существующими границами своего государства и не желая прибавлять к нему ни одной пяди земли. Такой союз не может быть в тягость английскому народу, потому что Великобритания для собственного интереса, для защиты своей торговли и без всякого обязательства принуждена будет посылать в Балтийское море эскадры, если мир на севере будет нарушен, как и не раз случалось. Потом, английский народ никогда не тяготился морским вооружением, потому что для этого употребляются английские матросы и деньги из государства вон не выходят. На это Гаррингтон отвечал, что английский народ привык роптать против всех обязательств, в которые английский король вступает с другими государствами, хотя бы и близкими, жалуясь на падающие на него отсюда тягости, и потому надобно ожидать большого неудовольствия от нового союза с такою отдаленною державою, как Россия. Союз может быть полезен только одной России, потому что если Англия подвергнется нападению, то от России не может ожидать никакой помощи, ибо в кораблях и деньгах нужды не имеет, а перевозить русские войска в такое отдаленное место неудобно. Действительно, Великобритания послала эскадру в Балтийское море, но теперь никакой нужды в том нет, потому что она в добром согласии со всеми северными державами, а это согласие могло бы нарушиться, если б она вступила в союз с Россиею без всякого повода со стороны северных держав. Король не может понять, каким бы образом пред английским народом оправдать меры, принятые для защиты России безо всякой нужды. Вслед за тем приехал к Кантемиру брат первого министра Роберта Вальполя Горас Вальполь. Роберт отказался от сношений с Кантемиром, потому что тот не мог объясняться по-английски, а Вальполь не знал никакого другого языка, кроме своего. Горас Вальполь объявил еще откровеннее, что к заключению союза с Россиею у англичан мало склонности; с самого начала возобновления приятельных отношений между Россиею и Англиею он, Вальполь, и другие английские министры не раз представляли кардиналу Флери и цесарским министрам, что английский король сильно желает быть в тесной дружбе с Россиею и защищать ее интересы добрыми услугами при каждом удобном случае и договоры дружественные и торговые заключить готов, но вступить во взаимную гарантию всегда отговаривался, потому что в таком союзе вся выгода будет на стороне России, а вся тягость падет на Англию. Горас Вальполь, продолжая дружески разговаривать с Кантемиром, выразил удивление, что русские министры стараются затруднить заключение торгового договора, требуя, чтоб вместе заключен был и союзный договор, как будто торговый договор не столько полезен России, сколько Англии. Если англичане увидят, что для торгового трактата они должны взять на себя тягость защиты России, то заведут в своих американских колониях те самые товары, которые теперь принуждены брать из России. Притом нынешние конъюнктуры очень неблагоприятны для заключения союза с Россиею, потому что спокойствие на севере уже некоторым образом нарушено польскими делами и король должен ожидать окончания этих дел. Несмотря на то, в конце 1733 года Кантемир по приказанию своего двора должен был сделать английскому министерству еще новое предложение о союзе; чтоб отделаться, ему отвечали, что

ждут от русского двора письменных условий для союза, но предупреждают, что король никак не может отправить эскадру в Балтийское море, потому что предвидится надобность во флоте на Средиземном море, в Индиях и для охранения берегов Великобритании.

Для успокоения Польши отправлен был Миних, который перед отъездом к армии 11 февраля 1735 года подал императрице следующий доклад:

1). Так как тамошнего корпуса походная комиссариатская комиссия членами не довольно снабжена, к тому же, не имея полномочия, по многим делам требует наперед резолюции от главного кригс-комиссариата, отчего в делах происходит большая остановка, как это в бытность мою под Данцигом действительно оказывалось, то чтоб было повелено эту комиссию членами снабдить и определить, чтоб она, не списываясь с главным кригс-комиссариатом, во всем исполняла по моим предложениям, и если для присутствия в ней есть люди достойные при тамошнем корпусе, то было бы повелено определить их по моему усмотрению. Резолюция: учинить по сему пункту, а в тамошний комиссариат определить людей добрых и достойных с согласия тамошнего генералитета.

2). Чтоб на курьеров, шпионов и прочие чрезвычайные расходы по моим предложениям безо всякой остановки отпускались деньги из той же комиссии; я буду подавать об них обстоятельные отчеты. Резолюция: отпускать деньги без остановки по письменным требованиям генерал-фельдмаршала.

3). Если некоторые иностранные офицеры будут просить о принятии в русскую службу, то принимать ли достойных теми же чинами? Резолюция: принимать до капитана, а о штаб-офицерах доносить обстоятельно, какие их прежние службы и достоинства.

4). Чтоб позволено мне было производить в чины достойных офицеров не по старшинству и не по баллотировке, а по заслугам. Резолюция: производить до капитана, а о высших чинах доносить с изображением их службы.

В апреле Миних приехал в Варшаву, откуда писал, что в июне надеется восстановить общее спокойствие в Польше, ибо неприятель приведен в совершенное бессилие. Станислав и маркиз Шетарди всю зиму обнадеживали Яна Тарло, воеводу люблинского, что весной 12000 шведского и 13000 прусского войска явятся в Великой Польше с значительным числом денег. Но когда Тарло вступил с своим отрядом в Великую Польшу, то не только не нашел обещанных войск, но и узнал, что прусский король требует от поляков аманатов, чтоб они в границах его не делали никаких беспорядков. Тут же было получено письмо от Станислава: претендент писал воеводе люблинскому, что на получение иноземной помощи нет надежды и чтоб он как можно скорее отступал. Узнавши об этом письме, войско взволновалось, и хотя воевода представлял, что их более 10000 и потому можно было бы вторгнуться в Саксонию, но войско отвечало, что он своими лживыми обещаниями хочет только привести их в конечную погибель для своих честолюбивых видов. С этих пор дисциплина исчезла, ратники начали разбегаться и попадали в руки к русским.

Пора было кончить дело в Польше и выводить оттуда войска, потому что в Литве слышались сильные жалобы. В мемориале, поданном Миниху литовцами, говорилось, что господа генералы русской армии интересуются в сборе казенных доходов с Великого княжества Литовского, не оказывают никакого уважения литовским войскам, выживают их с квартир. Сыск русских крестьян в

княжестве Литовском происходит насильственным образом, со многим разорением и обидами, и потому литовцы просят, чтоб сыск производился определенною с обеих сторон комиссиею. Господин Бересневич, приверженец Лещинского, производивший многие разбои и грабительства в поветах Вилкомирском и Упитском, получил прощение от господина фельдмаршала и обязался собирать рекрут в русскую службу – литовцы просили, чтоб под покровительство императрицы не был принят человек, грабивший и разорявший доброжелательных России людей, но принужден был вознаградить за причиненный им убыток. Великие контрибуции, собираемые русскою армиею как провиантом и фуражом, так и наличными деньгами, привели княжество Литовское в крайнюю скудость, и потому литовцы просят, чтоб этих налогов не было более; честь ее императорского величества требует охранять и щадить те поветы, которые в нынешних трудных обстоятельствах республики оказали явные опыты твердости в сохранении договоров и соседней дружбы с Российской империею. Осужденный за многие преступления пан Корейво, находясь при русской армии у кирасирского подполковника Роппа, всячески придирается к шляхетству и нападает на его дома – просят, чтоб Корейво велено было возвратить все им похищенное у помещиков Вилкомирского и Упитского поветов. Находящийся под командою генерала Бисмарка подполковник Кикебуш собирает провиант и фураж с несною тягостью, и хотя в 1734 году три магазина были наполнены, однако в нынешнем, 1735 году он начал опять собирать провиант, фураж и наличные деньги, грозя помещикам всякими муками; он употребляет жида Гирза Межеровича, который вымышляет всякие налоги и нападки на помещиков, чтоб только взять с них деньги, их берут под стражу, бьют батогами – просят, чтоб жид был отдан под суд и наказан в пример другим.

Не в одной Польше и Литве должны были действовать русские войска. Император Карл VI напрасно удерживался от посылки своих войск в Польшу под предлогом, что в противном случае союзники не помогут ему, как нападчику. И без того никто не помог ему, когда Франция объявила ему войну за Польшу, усилив себя союзом с Испаниею и Сардиниею. Две французских армии направились на Германию, и в то же время союзнические войска напали на итальянские владения императора Неаполь и Ломбардию. Неаполь и Сицилия скоро достались испанцам; Миланская область также почти вся занята была французами и сардинцами. В империи Бавария, Майнц, Кельн и Пфальц приняли сторону французов; между курфирстами ганноверским и бранденбургским было сильное несогласие. Французы заняли Лотарингию, овладели Келем, Филипсбургом. Мы видели, что Австрия по союзному договору требовала от России вспомогательного войска, и русское правительство решилось дать его, чтоб ускорить окончание войны. Леси получил приказание с двадцатитысячным корпусом пехоты двинуться на помощь войскам императора.

8 июня 1735 года Леси выступил из Польши в Силезию. Здесь на первых днях бежало из полков до 20 человек солдат; некоторые из них были переловлены и казнены смертию. «Впрочем, – писал Леси, – по отдалении от польских границ и при настоящем в пище и прочем довольстве надежно, что бегать не будут». Провиант и фураж получали из цесарских магазинов, а именно в сутки чистого ржаного хлеба по два фунта с половиною, соли и круп соответственно месячным русским обыкновенным дачам; за фунт мяса получалось деньгами по три копейки;

сена – по 16 фунтов, овса и сечки – по два гарнца, соломы – по одному снопу в сутки. По вступлении в Богемию, где, по выражению Леси, тутошные обыватели с солдатами безнуждны имеют разговор, бежало из всех полков до 20 человек. 30 июля войско вступило в Нюренберг, откуда Леси писал: «До сих пор поход совершался благополучно: солдаты в пропитании нужды не имели и жалоб ни от кого никаких на войско не приходило; в здешних краях очень удивляются, что многочисленная армия содержится в таком добром порядке; из дальних мест многие приезжают смотреть наше войско, особенно когда во время роздыха бывают экзерциции». 15 августа русская армия соединилась с цесарскою и была расположена между Гейдельбергом и Ладебургом, подле реки Некара. В сентябре войска были перемещены, и русский корпус расположился у реки Инца, в двух милях от Филипсбурга. «В команде моей, – доносил Леси, – все состоит благополучно, больных меньше, чем в других войсках, и болезни нетяжкие». В октябре армия расположилась на зимних квартирах в Дурлахской и Виртембергской области, причем Леси со штабом поместился в местечке Форцгейме.

Русское войско не участвовало в битвах, потому что с его движением к Рейну начали двигаться мирные переговоры между Франциею и Австриею. Кардинал Флери был не охотник до войны и спешил прекратить ее на выгодных условиях; до Польши же, за которую и началась война, ему было мало дела. В конце ноября заключено было перемирие, и Леси должен был спешить с своим корпусом назад, чтоб принять участие в турецкой войне.

Мы видели, что до сих пор все сношения русского двора с Портою обращались около дел восточных: персидских, крымско-кабардинских, калмыцких, но теперь к этим делам присоединяются польские. В январе 1733 года Неплюев, уведомляя, что будет иметь с визирем разговор о польских делах, писал: «Не думаю, чтоб Порта захотела вмешаться в эти дела, потому что у нее уже и так полны руки других дел, особенно в нынешнем положении султана, визиря и всего министерства; притом обуздает Порту согласное со мною действие цесарского резидента, в чем турки увидят крепость союза между двумя сильнейшими державами». Неплюев представил визирю все неправды поляков относительно России: русских подданных перерезывают, беглых принимают, с оружием в руках впадают в соседние русские области и разоряют их; завладели многими местами, принадлежащими России по договору, и русскими людьми населяют те места, которые по договору же должны оставаться впусе; три православных епископства насильно превратили к унии вопреки договоров, да и четвертое неслыханными насильственными способами принуждают к унии, делают православным обиды, неслыханные и между идолопоклонниками, уши и носы режут, и никакие представления с русской стороны не помогают; наконец, получены при дворе императрицы достоверные известия о намерении ниспровергнуть настоящую форму правления в Польше, установить наследственность и самодержавие, для чего хотят ввести в Польшу иностранное войско – дело предосудительное и опасное интересам всех соседних держав; все это заставило императрицу приготовить на

10 мая сильно смутил Неплюева переводчик Порты, принеши оригинальную грамоту Петра Великого к султану, где говорилось, что государь отказался принимать в покровительство кабардинских князей и не велел подданным своим

мешаться в их дела. Неплюев отвечал, что из грамоты не видно, чтоб кабардинцы были турецкие подданные, и хотя Петр Великий не захотел вмешиваться в ссоры кабардинских князей, однако велел астраханскому губернатору примирить их, что тот и сделал; грамота свидетельствует также именно, что исстари кабардинцы к русским государям прибегали и аманатов им давали. Переводчик Порты возражал, что это ничего не значит: и Порты в прошлом году старалась помирить Дундука-Омбо с калмыцким ханом; аманатов же кабардинцы давали потому, что иначе русские не позволяли им ездить к Теркам для рыбной ловли. Неплюев отвечал, что посредничество турецкое по калмыцким делам не принято и Петр Великий не мог бы кабардинцев с Портою судить, на свете такого примера нет, чтоб от чужих подданных аманатов брать. Но переводчик Порты сказал: «Донесите вашей государыне, чтоб она в Кабарды мешаться не изволила, потому что они всегда принадлежали крымскому хану и грамота Петра Великого в русское подданство их не присвоит; донесите, что Порты, освидетельствовав все свои права, не уступит Кабарды, до чего б ни дошло: хотя Кабарды и небольшой важности, но честь государственная запрещает уступить свою землю». Неплюев отвечал: «Если Порты желает ссоры, то можно ее начать и без Кабарды; если же хочет дружбы, то не должна по-своему толковать грамоты Петра Великого; что же касается государственной чести, то она одинакова как у Русского, так и у Оттоманского государства, и моя императрица не может отступить от своих прав, для защиты которых способы найдутся».

Переводчик Порты с торжеством носил грамоты к иностранным послам, а Неплюев был в страшном затруднении, не зная, как их очистить. «В них явственное изображение в пользу турецкую, – писал он в Петербург, – и по лучшей из них, 1722 году, постороннему и беспристрастному человеку иначе нельзя почесть Кабарды как нейтральною». Но резидент скоро был выведен из затруднительного положения вступлением татарского войска в русские владения для прохода в Персию. Несмотря на протесты Неплюева и командовавшего в прикавказских владениях генерал-лейтенанта принца гессенгомбургского, предводитель татарского войска Фети-Гирей-салтан объявил генерал-майору Еропкину, начальствовавшему отрядом при гребенских городках, что похода своего остановить не может, потому что он предпринят по указу Порты и от петербургского двора дано позволение пройти ему чрез русские владения; если же Еропкин будет ему препятствовать, то он примет свои меры. Меры состояли в том, что он не пошел к гребенским городкам, чтоб не встретиться с стоявшим там русским войском, а переправил через Терек войска и пошел горами, но все русскими же владениями. Тогда Еропкин отошел от гребенских городков и стал на реке Белой, куда прибыл и главный командир принц гессен-гомбургский. Принц опять послал Фети-Гирею письмо с увещанием отложить поход; опять Фети-Гирей отвечал, что он идет по указу Порты и потому возвратиться не может. 11 июня татары начали выбираться из гор у деревни Горячей, где поставлена была для их удержания команда из 500 человек. Татары бросились на команду, которая построилась в каре, выдержала их натиск, а между тем к ней на помощь подоспел принц гессен-гомбургский; татары с ожесточением напали и на него, но были обращены в бегство и преследованы на пространстве 10 верст. Это дело стоило русскому войску 55 человек убитыми и 87 ранеными. Татары остановились в чеченских землях и начали возмущать тамошних жителей против России.

Визирь объявил австрийскому резиденту, что Россия Порту уничтожает не только изгублением многих татар в Дагестане и захватом Кабарды, но и введением войска в Польшу вопреки договору и не предупредив об этом Порту, своими войсками назначила королем курфюрста саксонского и таким образом ввела наследственность; так пусть цесарь склонит Россию дать Порте в этом удовлетворение, а если удовлетворения не будет, то Порта за свою честь объявит войну. Резидент отвечал, что государь его справедлив и, давши России слово, исполнит договор, станет ее защищать, если на нее кто-нибудь нападет. Визирь отдал от себя письмо к принцу Евгению, требуя, чтоб ответ был доставлен в 50 дней. «Порта времени терять не будет, – говорил визирь, – прошло время, когда Россия могла кормить завтраками, мы ее не очень уважаем, и хотя у нас война с персиянами, но это не помешает: против России не нужно всех наших сил, довольно одних татар, которых соберется до 300000». Призвавши потом Неплюева, визирь начал ему говорить, что он отправил одно письмо к принцу Евгению, а другое приготовил к русскому канцлеру и требует скорого ответа. Неплюев отвечал, что скорого ответа дать нельзя, потому что надобно будет прежде согласиться с венским двором. «Мы признаем Русскую империю независимую от Римской: давно ли установилась такая зависимость?» – сказал визирь. «Это делается не вследствие зависимости, а вследствие союза», – возразил Неплюев. «Такое же сношение, – продолжал визирь, – следовало бы иметь и с Портою, государством пограничным и немалым, но Россия, не давши знать Порте, ввела 60000 войска в Польшу и назначила королем курфюрста саксонского, что Порте противно, и хотя Порта желает всячески с Россией дружбу сохранить, но за честь свою принуждена будет другие меры принять». Неплюев отвечал, что немедленно по смерти королевской он сам объяснил Порте, по каким побуждениям русское войско введено в Польшу; что же касается до избрания курфюрста, то и неприятели России не могут доказать, чтоб она кого-нибудь предлагала полякам в короли. Визирь продолжал толковать, что Россия оскорбила Порту, назначивши без ее согласия королем курфюрста саксонского; да и кроме польских дел Порта оскорблена Россией: 1) союзный трактат относительно Персии перенебрежен; 2) в проходе татар чрез Дагестан много их погублено; 3) при Тахмас-Кулы-хане находится русский министр. На эти обвинения Неплюеву, разумеется, отвечать было очень легко. Наконец, визирь сказал, что Франция побуждает Порту воспользоваться благоприятными обстоятельствами и объявить войну обоим императорским дворам, но Порта не обращает внимания на эти внушения и принимает меры только для охранения своей чести. Переводчик Порты под клятвою, как христианин, сообщил Неплюеву о причинах крутого поворота в отношениях Порты к России: визирь Али-паша никогда не хотел мешаться в польские дела и теперь не хочет, но французы напели всем в уши, что вступление русских войск в Польшу есть явное нарушение договора, существующего между Россией и Портою, что Россия во всех своих действиях оказывает явное презрение к Порте; враги визиря, пользуясь этим, везде кричат, что честь Порты Оттоманской оскорблена, а тут еще хан крымский пишет ко всем знатным людям, жалуется на Россию за Кабарду и также выставляет на вид бесчестие, которое терпит Порта от захватов русских. Все это бесчестие приписывается визирю; в народе ропот. Али-паша, видя пред собою гибель, принужден делать демонстрации, созвал совет для рассуждения о поступках

России и внушает, что намерен требовать удовлетворения за нарушение договора; для этого пишет письмо к канцлеру и требует немедленного ответа. При этом переводчик Порты внушал, как следует канцлеру отвечать на письмо визиря; надобно выставить, что явный неприятель России Станислав Лещинский вступил в Польшу и присвоил себе корону с французскою помощью; русская императрица ввела свои войска в Польшу для его изгнания, ибо по трактату с Портою Россия имеет право вводить войска в Польшу для изгнания своих неприятелей, и, когда Станислав будет изгнан, тогда и русские войска возвратятся и Россия не будет вмешиваться в королевские выборы. Переводчик Порты открыл также, что у турок общее мнение, будто цесарь – союзник России только на словах, а не на деле, потому что он Россию в польские дела ввел, а сам ни одного человека в Польшу не послал. Неплюев сказал на это, что цесарь должен свои войска держать против Франции, которая уже объявила ему войну. «Если б тесный союз был, – возражал переводчик, – то цесарь непременно бы послал хотя 15000 своего войска в Польшу, чтоб показать единство действия. Вы думайте как хотите, а посторонних не заставьте верить, пока на самом деле не увидят этого единства, и, по дружбе вам сказать, Порта Россию очень легко ценит, помня прутские дела».

В свите французского посланника Неплюев имел преданного человека, который уведомлял его о всем, что делалось и говорилось против России; то был Бон, племянник генерала, находившегося в русской службе. Бон давал знать, что хотели прежде всего свергнуть визиря, считая его преданным России; потом толковали, что надобно помочь Швеции возвратить от России все завоевания Петра Великого, ибо без этого Франция не может получить никакой пользы от союза с нею. Шведы могут и в Германию, и в Польшу вступить только морем, но русский флот может пресечь им совершенно этот путь. Англичане и голландцы будут очень рады под рукою способствовать французскому намерению для пользы своего купечества в Балтийском море. С другой стороны, пока Ливония будет в русских руках, Россия всегда будет иметь возможность помогать против Франции цесарю, не только нынешнему, но и наследникам его, из каких бы германских домов они ни были, ибо у России с Германиею есть общий интерес и разделить их трудно, потому что между ними никаких споров ни на земле, ни на море быть не может. Шли толки и о том, чтоб возвратить полякам Смоленск и Киев и выгнать русских из завоеванных ими земель у берегов Каспийского моря; одним словом, хотели привести Россию в положение, в каком она была сто лет тому назад, и думали, что для исполнения этих планов тогдашние обстоятельства были самые благоприятные, ибо легко возбудить против России множество неприятелей внешних, а если война начнет распалиться, то и внутри встанет смута вследствие раздора между русскими и иностранцами, имеющими участие в правлении, тем более что правление вообще очень слабо.

Страшное поражение, претерпенное турецким войском от персиян, сильно помешало Вильневу. В декабре он представил визирю, что если Станислав не получит помощи, то принужден будет возвратиться во Францию и потому он, посол, именем государя своего требует, чтоб Порта объявила войну России; в противном случае цесарь, Россия и креатура их – польский король Август выгонят турок из всех европейских провинций, и тогда французский король за Порту не заступится и о целости ее заботиться не будет, как до сих пор делал. Вильневу отвечали, что Порта сама очень желала бы воспользоваться нынешнею

европейскою войною для борьбы с Россиею и цесарем и считает нужным для себя, чтоб королем в Польше был Станислав, но при войне персидской нужно ей прежде всего закрепить союз с Францией, именно чтоб Франция не мирилась с цесарем без согласия Порты. Вильнев не мог сам собою согласиться на это требование, должен был просить разрешения своего двора.

1734 год Неплюев начал ободрительными донесениями, не советуя своему двору улаживать дела с Портою: «Лучше туркам не мешать в азиатский поход вязнуть: тогда всячески будет удобно с ними поступить, как вашему величеству будет угодно. Кабарды уступить нельзя и этим открыть татарам дверь в Дагестан. Здешнее государство в сильном расслаблении и совсем увязло в Азии, так что давно в таком дурном состоянии не было. Долго будет дожидаться такого удобного случая привести их в резон и смирить, а ложные их мнения о русской империи уничтожить, однажды навсегда покой себе доставить и пограничные свои народы от ига татарского освободить. Голландским послом мы чрезвычайно довольны и не сомневаемся в его доброжелательности и откровенности; не можем и на английского пожаловаться, только он не имеет здесь такого кредита; впрочем, довольно того, что он публично нашу сторону держит, и потому Порта не может считать цесаря очень слабым. Французский посол склоняет всячески Порту против цесаря, показывая его слабость, и советует как можно скорее помириться с Персиею, хотя бы отдавши ей все, потому что вместо тамошних пустых мест Порта может от цесаря в Сербии и Венгрии получить знатные выгоды. Французский посол предложил свое посредничество в примирении с Персиею, для чего французский консул Главани уже отправился к Тахмас-Кулы-хану. В Константинополе Вильнев внушает, что бояться России нечего, против нее довольно татар, притом же есть надежда возмутить Козаков; голландский посол нам сказывал, что сын Орлика, живший у французского посла под именем офицера, отправлен тайно на Запорожье или в Украину возмущать Козаков и хлопотать о их соединении с татарами. Но как бы то ни было, в нынешнем году турки никаким образом не могут начать военных действий в Европе, и вашему величеству предстоит решить вопрос, дожидаться ли, пока они освободятся от персидской войны, или теперь же наступить на расслабленные турецкие силы и укрепить персиян».

Пришли ответы на визирские письма и от принца Евгения, и от русского канцлера. Неплюев был встревожен разноречием, которое находилось в этих ответах. «Турки, – писал он, – не верят, чтоб между вашим величеством и цесарем в такой степени союз был, как мы показываем; толкуют они это по многим поступкам цесарского двора и, наконец, по письму принца Евгения, но, разумеется, еще сильнее поднимут толки, когда увидят письмо канцлера, в котором объявлено, что польские дела предприняты вместе с цесарем, и оборонительный союз выставлен в высочайшей степени, а в письме принца Евгения не только не написано, что цесарь в польских делах действует вместе с вашим величеством, но и союзницею цесаря ваше величество не названы. О письме принца Евгения здесь толкуют публично; английский посол при мне выговаривал цесарскому резиденту, как это общим интересам предосудительно». Скоро Неплюев узнал, что хан в Бендерах, что при нем находится старый Орлик, назначаемый в козацкие гетманы. В России турки старались возмутить Козаков с помощью Орлика, в австрийских владениях венгров с помощью Рагоци; Неплюев

успел достать любопытное письмо к этому венгерскому изгнаннику от Станиславова приверженца люблинского воеводы Тарло. «Ударил благополучный час, – писал Тарло, – пространнейших земель наследие перед вами; избавление паннонской вольности от ига германского пришло; мы получаем письма от многих благородных венгров, дают нам знать, что у них все готово к восстанию, только желают знаменитого вождя, и все надежды и мысли их обращены к вашему высочеству. Если бы венгерская и польская сила соединились вместе к защите общего дела вольности, то действительно могла бы сокрушиться наконец гордость владычества австрийского, тяжкая обоим народам и всему свету. Надеемся, что и русские народы, которые отягощены владычествующею у них австрийскою факциею и германским министерством, дерзнут что-нибудь предпринять у себя; мы не преминули побуждать их к великодушному усилию сладостью вольности и всеми другими способами, о чем сообщит вам в Константинополе посол французский».

1 марта Неплюев имел конференцию с визирем, пред началом которой подал ему ответное письмо канцлера и согласно с его содержанием распространился о миролюбивых намерениях России и о правильности ее действий в Польше, о согласии их с договором, существующим у России с Портою. Визирь отвечал на это, что они сами получают частые и верные известия о том, что делается в Польше, знают очень хорошо, что там вольность в неволю превращена, законы попораны, государство разорено и разоряется русскими войсками; договор нарушен; Россия одна ввела свое войско и хочет посадить короля по своей воле. Неплюев отвечал, что все эти известия ложны, выдуманы французами и станиславцами, пусть турки спросят людей беспристрастных, как делаются дела в Польше.

Между тем крымский хан уже начал неприятельские действия: сделал набег на русские владения к реке Орели. Это заставило обратить внимание на Запорожье.

Мы видели, с какою осторожностью русское правительство относилось к запорожцам, просившим принять их снова в подданство.

В январе 1732 года генерал Вейсбах доносил, что вследствие тайной посылки его в Запорожье за поверенными для выслушания указа о прощении их вин явились к нему трое знатных запорожцев, которые спрашивали: что им делать, если крымский хан будет от них требовать отряда в кабардинский поход или велит им переходить на другое место, ближе к Крыму? Вейсбах отвечал, что он сам отвечать им не может, а спросит в Петербурге. При этом генерал спросил, сколько у них войска. Запорожцы отвечали, что много, добрых и вооруженных соберется до 10000 человек. О быте запорожцев в это время было известно, что в Сечи находилось 38 куреней, а людей с полторы тысячи; другие запорожцы кочевали куренями по рекам Бугу, Великому Ингулу, Исуню, Ингульцу, Саксагани, Базулуку, Малой и Великой Каменкам и по Суре, а по ею сторону Днепра – по рекам Протовче, Самаре и по самому Днепру, по обоим берегам, начиная от границы по самое устье.

Из Петербурга на спрос Вейсбаха отвечали в марте: «Грамоты от нас к запорожцам и никакого письменного обнадеживания послать и их всех вдруг в подданство принять в настоящее время, когда у нас с турками мир еще твердо содержится, нельзя, ибо такой поступок турки могут почесть нарушением

мирного договора, в котором запорожцы означены в турецкой стороне, и особливо то место, на котором они живут, и прочая земля от самой Самары-реки вниз Днепра уступлена Порте, а они, запорожцы, не захотят отказаться от своих вольностей, звериной и рыбной ловли и перейти жить в наши границы. Поэтому вы должны с ними поступать по нашим прежним указам, делая им при всяком случае тайно словесные обнадеживания, что после при удобных обстоятельствах мы их примем, но чтоб до тех пор имели терпение. Внушите им, чтоб они всевозможными способами уклонялись от посылки вспомогательного отряда к хану в кабардинский поход, но если отговориться будет никак нельзя, то пусть отправят часть козаков и накажут им тайно, чтоб они, приближаясь к Кабарде, отправили от себя кого-нибудь в крепость св. Креста к тамошнему командиру с уведомлением, сколько в походе крымских, кубанских и других войск, и их, запорожцев, хан ли сам или какой султан командует, и с каким намерением идут на Кабарду, и что командир крепости им прикажет, то б они и делали. Что же касается ханского намерения переселить запорожцев на другую сторону Днепра, ближе к Крыму, то в случае их сопротивления хан станет искать способа накрепко прибрать их всех в свои руки или под предлогом ослушания разорить их, и с нашей стороны тогда им, пока у нас мир с турками, никакой помощи подать или прямо в подданство принять нельзя; и потому здесь рассуждается, что им противиться хэну ненадобно, пусть переходят без спора; находясь поблизости к Крыму, они могут удобнее против него действовать. Впрочем, все это полагается на вас: вы о тамошних местах можете знать лучше». Теперь церемониться более было нечего, и запорожцев приняли в подданство.

После сдачи Данцига Неплюев писал: «Если ваше величество успеете в нынешнем году польские дела совершенно успокоить, то не лучше ли в будущем году турок остановить, не дожидаясь, когда персияне, утомясь, склонятся к миру с ними, ибо слабость персидская видима, а если вы начнете с турками войну, то персияне могут ободриться, и можно будет подать им помощь; персидская война туркам тягостнее, чем союз цесаря с вашим величеством и его помощь России, потому что Персия всю Азию завязала. Если же турки во время европейской войны от персиян освободятся, то все свои силы употребят против вашего величества, потому что хотя бы и против немцев начали, то тягость войны, по бессилию немцев, все же ляжет на Россию. Предоставляю высокомуудрому соизволению вашего величества заблаговременно принять меры к укрощению этих варваров, чтоб, не выпустив их из персидской войны, привести в резон и Российской империи покой доставить, потому что теперь еженедельно пленных подданных вашего величества привозят; мы требуем у турецких министров их выдачи, но они, не отказывая, кормят завтраками, давая время хозяевам укрывать пленных. Что касается английского посла, то как мы ни старались его и переводчика его удобрять, однако, кроме словесной ласки и некоторых публичных дел, едва ли много успели, а цесарский резидент не понимает или понимать не хочет; нам же и всему здешнему свету видимо, что его турки спать кладут, желая государя его отлучить от союза с Россиею». Вслед за тем Неплюев писал: «Английский посол лорд Кинуль, последуя переводчику своему Луке Кирику, обращается с нами, с голландским послом и с римско-цесарским резидентом, волком в овечьей коже, отдавшись турками французскому послу в руки: нам дал знать, что вел разговор с визирем в оправдание поступков вашего величества, а на

самом деле Россию во всем обвинял. Порту во всем оправдывал; только уговаривал ее не разрывать с Россией и обратиться о всех делах письменно к английскому королю, который по своему могуществу держит всю Европу в равновесии и в состоянии заставить одуматься и Россию и Австрию, тем более что ему союз России с цесарем небесподозрителен и самовластие России в польских делах неприятно. Трудно себе представить поведение английского посла: по письмам князя Кантемира из Лондона лорд Кинуль получает крепкие указы от своего двора, чтоб был с нами в тесном согласии и дружбе и удалялся от французского посла, но он еще чаще бывает у Вильнева и с Стадницким ежедневно публично и приватно везде пьет и ест, то сам к нему, то Стадницкий у него, и всем станиславцам сходбище и лучший прием у английского, чем у французского посла».

В ноябре 1734 года Неплюев писал: «Порта увидала, с одной стороны, что французы до Саксонии и тем менее до Вены не дошли и на успех Станислава надежду потеряли; с другой стороны, Тахмас-Кулы-хан уязвил их за живое своим вступлением в Ширван, и потому кажется, что Порта не признает полезным вмешаться в европейскую войну, пока не окончит дела с Персиею; вот почему она молчит и о переходе запорожцев в подданство вашего величества и желает только, чтоб они были переведены внутрь границ России, называя ту землю, где они теперь живут, своею, что по договору и действительно так».

В начале 1735 года из Константинополя приходили те же вести: «Визирь, приятели его и враги и все вообще рассуждают, что Порте нельзя с христианскими державами, и особенно с Россией, войну начинать; и французы теперь к возбуждению турок иной путь приняли, только пугают их, что Россия тотчас по окончании польских дел нападет на них и потому они должны для своей безопасности приготовить к обороне границы, и Порта находится в большом затруднении: приготовлениями к войне боится возбудить подозрение обоих императорских дворов, а не приготовляться также опасно в случае нападения, ибо турки знают, сколько досад наделали России и Австрии, которые с своей стороны знают, что если турки не объявили им войны, так единственно по бессилию. Визирь наконец решился приводить границы в оборонительное положение, но при этом распускать слухи, что Порта не имеет никакого злого намерения против императорских дворов». Но при этом Неплюев не переставал жаловаться на поведение английского посла. 19 марта приехали к русскому резиденту австрийский резидент Тальман и голландский посол Калкун, причем последний жаловался, что терпит сильные притеснения от турецких министров по согласию их с французским и английским послами и не видит способа быть здесь полезным общему благу, пока лорд Кинуль и переводчик его Лука Кирик, злой инструмент, не будут удалены из Константинополя, и если этого нельзя добиться у английского короля, то он писал Штатам, чтоб отозвали его, Калкуна.

За болезнью Неплюева помощник его Вешняков был в конце марта на конференции у визиря, который требовал, чтоб русские войска не занимали Каменца; при этом визирь, улыбнувшись, спросил: «Какая же эта польская воля, которая должна быть ненарушима, когда поляки такою силою принуждаются к тому, к чему явно не имеют склонности?» Вешняков отвечал: «Во всяком обществе обыватели должны иметь волю, однако не такую, чтоб всякий делал, что хотел по прихоти своей; воля должна быть не такая, как у диких зверей, но

рассудительная, законами дозволенная; такая воля в Польше сохранена верными и законными детьми отечества и высокою защитою ее императорского величества». На это визирь сказал, что он в спор вступать не намерен, оставляя делам идти как идут; однако он знает, как что идет.

Визирь знал, как что идет, и готовился к войне; из этих приготовлений самым опасным в глазах Неплюева и Вешнякова было образование регулярного войска, совершившееся с помощью ренегата Бонневалья и двоих его товарищей, также французов-ренегатов. Вешняков писал императрице от 30 апреля: «Нельзя без ужаса смотреть на следствия этого дела для всего христианства, и особенно для соседних Турции держав. Одно средство помешать делу – это удалить Бонневалья с двумя его товарищами из Турции; сделать же этого иначе нельзя, как если бы одна из христианских держав перезвала их к себе на выгодных условиях. Бонневаль сильно жалуется, что несчастье и французский посол довели его до такой напасти против его желания и намерения; сильно тяготится он, что, будучи человеком таких великих способностей и достоинств, находится между такими варварами и совершенно неведущими скотами. Вышеписанных ради резонов господин контр-адмирал и резидент Неплюев я приемлем дерзновение вашему величеству донести, не изволите ли повелеть предложить чрез голландского посла свой покров и убежище этим французам для общего блага».

Дела пошли к развязке скорее, чем ожидали русские резиденты: 15 мая они донесли, что Порта приняла решение отправить крымского хана с 70000 войска в Персию опять через русские владения, и все представления, сделанные на этот счет Вешняковым визирю, остались напрасными. Английский посол высказал Вешнякову свое мнение, что Россия могла бы пропустить татар, находясь в нейтралитете, и что он это мнение свое передал и визирю. «Не знаем уже, как с сим министром быть, ибо так явно и бесстыдно злодействует», – писал Вешняков. Переводчик Порты сказал одному из русских приятелей: «Удивляюсь, что же русские резиденты спали! Порта о Кабарде, о дагестанских народах и о всех своих претензиях при всяком случае упоминала, следовательно, ждала только благоприятного времени одно за другим отыскивать и теперь дождалась этого времени, а прежде всего она должна окончить свои персидские дела». Визирь объявил всем иностранным министрам, что, не отправивши хана дагестанским путем, Порте нельзя никаким образом покончить персидской войны. Известие, полученное в Константинополе 21 июня, что Тахмас-Кулы-хан поразил турецкое войско при Эриване, заставило еще более спешить отправлением хана чрез Дагестан, потому что только этим средством надеялись отвлечь победителя. «При таком благополучном случае, – писал Неплюев, – от вашего величества зависит смирить турецкую гордость, ибо они при вступлении хотя малого русского корпуса в их землю принуждены будут у вашего величества мира просить и постановить выгодные условия с переменою договора, если на конечную свою гибель не ослепнут. Сей неприятель день и ночь умышляет на зло против вашего величества, ибо пред получением ведомости о поражении сочинили проект для посылки в Швецию с предложением союза против России. Если такого неприятеля при полезном случае не укротить и дать ему время поправиться, тогда надобно ожидать от него больших бедствий; неоднократно показали они, что при всяком хотя мало полезном для них случае змеиный свой яд изблевать готовы. Если вашего величества соизволение будет на войну, в таком случае хотя бы паче

чаяния и татары зачем не пошли, можно законные причины найти к ним привязаться, ибо Тахмас-Кулы-хан с ними скоро мира не заключит, тем более если услышит, что и Россия поднялась против них. Если же вашему величеству не угодно будет турок укротить войною, то самый верный способ удержать их – это показывать более готовности к войне, чем охоты к миру».

В июле резиденты уведомили о новой важной новости – свержении великого визиря Али-паши, причем Вешняков писал: «Кажется, всевышний к тому все предусмотрел, чтоб отдать их в волю вашего величества, лишив их последней надежды спасения, визиря Али-паши, как недостойных такого великого и дивного ума, единственного человека, имевшего истинное рачение о благе общем». Между тем английский посол получил от своего двора внушение, чтоб поведением своим не подавал повода к жалобам русского и австрийского резидентов. Лорд Кинуль явился к Неплюеву и Вешнякову с оправданиями, говорил, что его главная обязанность была служить обоим императорским дворам, ибо такова воля его государя; что если он имел сношения с французским послом, так это единственно с целью иметь сведения о всех его движениях; польза его сближения с Портою очевидна: благодаря этому сближению до сих пор сохраняется мир; что же касается до Луки Кирика, то он оклеветан своими врагами, которых у него много, потому что он умнее всех других переводчиков, и если вы хотите, прибавил Кинуль, то я прекращу с французским послом всякие сношения. Неплюев отвечал ему, что они не смеют предписывать ему правил, как вести себя, но должны ему сказать, что его тесная связь с Вильневым и Стадницким истолкована при Порте так, что он по предписанию своего государя гораздо более сочувствует французским, чем австро-русским интересам; что же касается Луки Кирика, то он, Неплюев, вследствие долгого пребывания своего в Константинополе очень хорошо знает все отношения и не мог ошибиться относительно поведения переводчика английского посольства. Резиденты доносили, что внушения, полученные лордом Кинулем из Лондона, только раздражили его и Луку Кирика, и они будут теперь еще враждебнее действовать против императорских дворов и лично против них, Неплюева с Вешняковым; что теперь лорд Кинуль видится с французским послом вместо четырех только один раз в неделю, но это несколько не изменило их прежних отношений; голландский посол дал знать, что лорд Кинуль принимает сильное участие в переговорах о союзе Турции с Швециею против России. Положение дел показалось резидентам так смутно после свержения Али-паши, что в июле месяце они почли за полезное передать всю имеющуюся у них денежную сумму (31250 левков) послам венецианскому, голландскому и цесарскому резиденту, на случай если лишатся свободы. В последнем случае доносить в Петербург о константинопольских делах они поручили своему приятелю – переводчику дубровицкому (рагузинскому) Андрею Магрини.

30 октября голландский посол сообщил Вешнякову важную новость: прискакал курьер с письмами очаковского паши, который доносит, что русские войска перешли Дон наступили в Кубанскую область, а другие в числе 80000 появились у Перекопи. Приехал другой курьер из Крыма с вестью, что русские войска в 19 часах пути от Перекопи, что запорожские козаки разорили одну татарскую деревню, из которой увезли 400 семей. При Порте засуетились, немедленно собрали совет из всех главных и второстепенных военных и

гражданских чинов, и по окончании совета явился к Вешнякову от визиря переводчик Порты с требованием объяснения, что все это значит. Вешняков отвечал, что ничего не знает о движениях русских войск и если известия верны, то можно объяснить их тем, что императрица, не получая никакого удовлетворения по дружеским представлениям своим Порте, наконец, не будучи в состоянии сносить более татарских продерзостей, решилась отомстить хану, ибо Порта в 1733 году и после давала знать, что Россия сама может управляться с татарами, но при этом Порта может быть удостоверена, что против нее ничего не будет предпринято, и, без сомнения, императрица охотно возобновит с нею мир на разумных условиях. Переводчик Порты, по словам Вешнякова, был тих и в смятении. «Не могу изобразить, – писал Вешняков, – как велика здесь между министерством констернация, не знают, за что взяться и что делать, и потому можно ожидать, что если не будет бунта, то поступят умеренно и вступят в переговоры, на что буду склонять. Правительство сильно боится народа и потому начало таить ведомости и складывать вину на татар».

Итак, Россия начала неприятельские действия против Турции, когда еще Станислав Лещинский жил в Кенигсберге и не отказывался от польской короны, когда одно русское войско должно было еще занимать Польшу, а другое действовать на Рейне в пользу императора. Из донесений Неплюева мы узнали, что именно он своими представлениями должен был более всего заставить свое правительство спешить начатием неприятельских действий против Турции. С одной стороны, наглость Порты, рассчитывавшей на безнаказанность нарушения русской территории, должна была сильно раздражить русское правительство; с другой стороны, резидент доносит о слабости Порты, о возможности легко получить от нее удовлетворение, но только в том случае, если Россия будет действовать немедленно, чем побудит и персиян продолжать войну, которая обеспечит успехи русских войск. Отсюда понятно, что Россия должна была употребить все усилия, чтоб воспрепятствовать заключению мира между Персиею и Турциею.

С этой целью отправлен был еще в 1733 году в Персию чрезвычайным посланником князь Сергей Дмитриевич Голицын. На дороге узнал он о заключении мира между Персиею и Турциею, бросил свой багаж и налегке поехал для свидания с Кулы-ханом, чтоб, «смотря по состоянию обстоятельств, всякими пристойными способами домогаться его не только против турок поощрять, но и к разрыву мира привести». В мае 1734 года Голицын приехал в Испагань и начал конференцию с доверенным человеком от Кулы-хана Хулефою. «Хотя я, – писал Голицын, – всячески стараюсь, чтоб поощрять Кулы-хана к разрыву с турками, однако встречаю при этом немалые трудности: Кулы-хан – человек гордый, величавый и не любит, когда от него настойчиво чего-нибудь требуют, поэтому надобно с ним обращаться очень осторожно. Хлопотал я, чтоб он обязался без сообщения России не принимать от турок никаких предложений и не заключать мира, а если турки начнут войну с Россиею, то и он должен ее начать: сначала он согласился, но потом ежедневно начал присылать новые запросы, проводя только время». Голицын предложил помощь Персии с русской стороны; Кулы-хан отвечал: «Очень благодарен и на дружбу русскую благонадежен; только теперь не хочу отягощать своих приятелей, да и не могу понять, каким образом эта помощь может быть мне доставлена: к Багдаду русские войска не пойдут, разве к Шемахе.

Но если обстоятельства принудят меня разорвать теперь мир с турками, то надеюсь и без посторонней помощи с ними управиться, и, если буду счастлив, побью их и вступлю в Анатолию, то и Россия может напасть на турок с другой стороны, и кто что себе добудет, то у него и останется». По мнению Голицына, Кулы-хана побуждало к миру печальное состояние Персии: народ разорен войною, всякий должен отдавать последнее: в войске Кулы-хана не любят, так что едва ли не всякий желает ему погибели, держится он одним страхом: за малые вины казнят смертью, давят, и это случается каждый день в его присутствии. Кроме того, Кулы-хан сильно сердится на русское правительство за то, что оно не отдавало Персии Баку и Дербента, выставляя условие мирного договора, что эти города будут отданы тогда только, когда Персия совершенно освободится от неприятеля. Когда Голицын жаловался Кулы-хану, что персидский сердарь требует от русских властей высылки в персидские границы кочевых народов, находившихся до сих пор под покровительством России, то Кулы-хан отвечал, что эти народы – подданные персидские, которые приходят к нему теперь сами, и отгонять их от себя неприлично, точно так как с русской стороны удерживать их не следует, и когда Голицын продолжал настаивать на недружелюбности этого поступка, то Кулы-хан с сердцем отвечал: «Полно говорить о таком малом деле; послу о соломе представлять неприлично, а мне слышать стыдно; надобно о другом важном деле говорить; ты прислан от такой великой монархини, и все говорили, что имеешь полную мочь, а между тем не можешь отдать таких малых и разоренных городишков, как Баку и Дербент, отговариваясь, что не имеешь полномочия; вижу давно, что ваша дружба только на словах; я вас испытал. Вы мне с вашею мнимою помощью наскучили; помощь эта только на словах; сам рассуди: если я от вас потребую теперь только десять тысяч войска, то знаю, что вы этого мне дать не можете. Полно меня обманывать! Благодарю бога, что мне в вашей помощи нужды нет, особенно теперь, когда я помирился с турками. Поэтому объявляю, что, соединясь с ними и с другими мусульманскими народами, с разных сторон пойдем войною против России до самой Москвы. Я был на турок сердит и хотел идти на них войною, но вы принудили меня остановиться, потому что Баку и Дербента и требуемых мною людей не отдаете и ни в чем другом не соглашаетесь. Предлагаю вам два дела, одно легкое, другое тяжелое: первое – без всякой отговорки выдайте мне моих бунтовщиков: Даргу-салтана, Юз-башу-мусу-бека и Али-Кулы-хана; за это пойду отбирать турецкие города Генжу, Тифлис, Эривань, и, когда трубы мои затрубят в этих городах, тогда пошлю к русским командирам с требованием отдачи Баку и Дербента, и надеюсь, что по силе Ряцинского договора мне их отдадут без всякого отлагательства и затруднения. И за то, что получу эти города прежде времени, даю на себя вечную кабалу никогда не мириться с турками; прямо отсюда пойду в Константинополь, а вы, если хотите, ступайте с другой стороны, и если возьму города с той стороны, то отдам их вам: ибо когда бог меня так возвысил, то я в покое сидеть не умею». Кулы-хан требовал, чтоб Голицын немедленно отправил в Петербург за ответом и чтоб этот ответ пришел до получения ратификации мира с турками.

Персидское войско действительно осадило Генжу, но по неискусству в осадном деле не могло скоро взять ее. Голицын, находившийся в войске при Кулы-хане, счел эту медленность противною русским интересам, потому что турки могли усилиться, и потому предложил Кулы-хану под рукою помощь для

скорейшего отобрания турецких крепостей. В начале ноября он обратился к генералу Левашову, находившемуся в Баку, и тот прислал ему инженерного офицера и четырех бомбардиров, которых Голицын одел в персидское платье. Кулы-хан был очень доволен, а 16 декабря Голицын объявил ему, что императрица, имея полную надежду на скорое очищение Персии от неприятелей, согласна и до истечения срока возвратить ему оставшиеся в русском владении персидские города под тем условием, что города эти никогда не будут отданы в неприятельские руки и что Кулы-хан свято исполнит Ряцинский договор, по которому обязан признавать неприятеля России своим собственным неприятелем и письменно подтвердить данное ему, Голицыну, обещание наисильнейшим образом стоять против общего врага. Кулы-хан так обрадовался, что изменился в лице, и объявил, что готов все сделать, чтоб отблагодарить императрицу за такую милость, пусть императрица располагает им как своим последним слугою, и, обратясь к стороне Генжи, крикнул: «Горе вам! Не только вы все, но и сам ваш султан погибнет от персидской сабли, если бог продолжит мою жизнь».

В 1735 году Кулы-хан продолжал войну с турками, но не мог взять Генжи, что приводило в сильное беспокойство и его самого, и Голицына. Летом, оставя небольшое войско под Генжою, Кулы-хан отправился к Карсу и в двух битвах поразил турецкое войско. После этого благоприятного оборота дел Голицын отправился в Россию, так как заключен был окончательный договор с персидским правительством и русские войска очистили Баку, Дербент и даже крепость Св. Креста. Таким образом, из Персии приходили благоприятные известия, что Кулы-хан будет воевать с турками, и это заставляло склониться на представления Вешнякова о выгоде немедленного начатия войны с Портою в расчете на легкость и непродолжительность этой войны. Мы видели, что в Петербурге уже давно хотелось начать ее: отдали Персии области, завоеванные Петром Великим, и как ни оправдывали эту отдачу тем, что эти области вместо пользы причиняют страшный вред, служа кладбищем для русского войска, однако было очень неприятно начинать царствование уступками приобретений великого дяди; поэтому желалось вознаградить себя за эти уступки приобретениями со стороны Турции, желалось возвратить то, что было уступлено Петром, изгладить таким образом бесчестие Прутского мира. Миних сильно желал турецкой войны, желал славы, которая необходимо приносила с собою силу, и рассчитывал на верные и полные победы, тогда как последние данцигские лавры были не без терния: роковое слово «Гагельсберг» было постоянно в устах врагов фельдмаршала. «Россия находилась тогда в самых благоприятных обстоятельствах, которые могли обещать ей верный успех в предприятии. Казна была полна, войско в хорошем состоянии, и при государственном устройстве соседних европейских государств (Польши и Швеции) их нечего было опасаться; не было опасности и со стороны Азии. Анна взшла на престол с твердым намерением следовать правилам своего дяди Петра I, совершить начатое им, опираясь более на честность и способность иностранцев, чем природных русских. При таком повороте (ибо до Анны вельможи, в руках которых находилась власть, старались только в том, чтоб разрушить начатое Петром В.) почли нужным армию и всю нацию занять чем-нибудь внешним и вместе следовать плану Петра I. И так как теперь приняли за основание не увеличивать более своих пределов на счет европейских государств, а только удерживать их при существующем правительственном

устройстве, то и обратились к востоку». Желали войны, но непродолжительной; хотели напугать турок и заставить их исполнить требования России, поэтому Остерман в письме к великому визирю объявлял, что императрица поступками турок и татар вынуждена употребить силу, но употребляет ее с сожалением, и только для того, чтоб установить мир на прочных основаниях; если, следовательно, Порта также желает мира, то должна выслать на границы полномочных министров для переговоров.

23 июля Миних получил грамоту от кабинет-министров, что императрица желает предупредить турок, которые намерены будущей весною наступить на Россию со всеми своими силами; что на него, Миниха, возложено нынешнею же осенью предпринять осаду Азова, для чего он должен прямо из Польши идти к Дону, а в Польше распорядиться так, чтоб его отсутствие не могло принести делам никакого вреда. В Польше должно было оставаться 40000 войска. Кабинет-министры требовали от Миниха, чтоб он содержал все дело в величайшей тайне, от которой особенно зависит успех. «Повеление об азовской осаде, – писал Миних императрице, – принимаю я с тем большею радостью, что уже давно, как вашему величеству известно, я усердно желал покорения этой крепости, и потому жду только высокого указа, чтоб немедленно туда двинуться; при этом я надеюсь, что сделаны уже все приготовления к осаде, о которых предложено несколько лет тому назад и для которых генерал-квартирмейстер Дебриньи отправлен на Дон. Что касается войны, то сам я об этом деле ни с кем не говаривал и ни малейшего повода к подозрению подавать не буду, но поляки и министры иностранные имеют известия из Константинополя о турецких декларациях, и люди недоброжелательные, которых ежедневно можно встретить в королевской, передней, и здесь, точно так же как в Кенигсберге и Берлине, ласкают себя надеждою, что нам войны с турками не миновать».

Глава вторая

Продолжение царствования императрицы Анны Иоанновны

Неудачный поход генерала Леонтьева на Крым. – Совецание Миниха с запорожцами насчет будущей кампании. – Ссора Миниха с принцем гессен-гомбургским. – Вести из Персии и Австрии. – Кампания 1736 года. – Осада Азова. – Крымский поход Миниха. – Столкновение его с князем Шаховским. – Взятие Перекопи, Козлова, Бакчисарая. – Возвращение Миниха к Днепру. – Взятие Кинбурна и Азова. – Столкновение Миниха с Леси. – Переписка его с императрицею. – Донесения резидента Вешнякова из Константинополя. – Выезд его оттуда. – Известия из Персии, из Вены. – Кампания 1737 года. – Взятие Очакова. – Донесение австрийского военного агента Беренклау. – Крымский поход Леси. – Действия австрийцев. – Немировский конгресс. – Кампания 1738 года. – Второй поход Леси в Крым. – Австрийские известия о способе ведения русскими войны. – Действия персиян и австрийцев. – Посредничество Франции. – Донесения русского посланника Кантемира из Парижа. – Кампания 1739 года. – Интриги Орлика. – Ставучанская битва. – Взятие Хотина. – Занятие Ясс. – Мир.

В августе 1735 года Миних переправился через Дон и остановился в Новопавлопске. Здесь 29 августа получил он высочайший указ, в котором отдавалось на его волю – начать ли осаду Азова нынешнею же осенью или отложить до весны, а зимою держать крепость в тесной блокаде. Миних отвечал, что избирает последнее, но, чтоб не терять времени, немедленно отправится к украинской линии в местечко Кишенки к тамошней армии, чтоб с нею предпринять поход на Крым: время для этого самое благоприятное, потому что татары перебрались на кубанскую сторону для персидского похода. В это время Миних избавился от неприятного ему человека: умер командовавший Украинскою армиею генерал Вейсбах, на которого возложена была крымская экспедиция: он считал себя старше фельдмаршала и потому не хотел подчиняться ему. Жалуясь на Вейсбаха, Миних писал, что генерал Леси, который также старше его, никогда не предъявлял подобных претензий.

В сентябре, находясь в Полтаве, Миних и вся свита его занемогли местною лихорадкою, но болезнь не помешала фельдмаршалу распорядиться отправлением в Крым генерал-лейтенанта Леонтьева с 22000 регулярного и 26000 иррегулярного войска (но собственно Леонтьев мог выступить только с 39795 человеками). Уведомляя об этом императрицу, фельдмаршал писал: «Если крымская экспедиция окончится благополучно, то пленных христиан, которых там считают до 20000 семейств, куда прикажете отвезти для поселения?» Леонтьев выступил в поход 1 октября от реки Орели по направлению к реке Самаре. От постоянной засухи вода в степных реках была очень низка, и войско переправлялось через них беспрепятственно, но на случай поднятия воды к обратному пути солдаты все же строили мосты. Сам Миних переехал из Полтавы в местечко Царицынку, лежащее на границе, где предполагал оставаться до тех пор, пока приведет в безопасное состояние сообщения и постирунги вплоть до Перекопи, чтоб войско могло иметь надежный обратный путь. 6 октября Леонтьев стоял на речке Вороне, а на другой день достиг речки Осаковки, где местами степь летом была выжжена татарами, однако уже поднялась молодая трава, и армия в дровах, воде и конском корме нужды не терпела. У реки Конские Воды русские напали на аулы ногайских татар, убили более тысячи человек, захватили с лишком 2000 штук рогатого скота, 95 лошадей, 47 верблюдов. «Причем, – писал Миних, – наше войско со всякою бодростию поступило, и никому пощады не было». Этим делом и ограничился поход: с 13 числа начались дожди, потом снег, крепкие морозы, и 16 числа на урочище Горькие Воды Леонтьев собрал военный совет, на котором предложил вопрос: идти ли далее или возвратиться? Ответ был, что надобно возвратиться, потому что уже пало около 3000 лошадей: схваченные татары и возвратившийся из Крыма прасол объявили, что далее лесу и воды нет, до Перекопи еще десять дней пути и в это время при такой погоде все лошади перемерут.

Миних сильно досадовал на возвращение Леонтьева ни с чем, тем более что это была его мысль идти в Крым осенью, после уборки хлеба, но делать было нечего. В ноябре он вызвал в Царицынку запорожского кошевого Милашевича с другими знатными козаками для совещаний о будущем походе. Фельдмаршал спрашивал их, в каком числе они могут собраться к походу. Запорожцы отвечали, что войско их ежедневно прибывает и убывает и потому о числе его подлинно

показать никак нельзя, надеются, однако, собрать до 7000 человек, хорошо вооруженных, но не все будут на конях. Потом, спрошенные, каким образом и в какое годовое время, но их мнению, удобнее идти в крымский поход, запорожцы отвечали: армия должна выступить в поход 10 апреля от реки Орели, потому что в это время в степи от недавних снегов и дождей еще не может быть нужды в воде, трава везде в полном росту и неприятелем сожжена быть не может, также по пашням озими весною способны быть могут; в Крыму нынешним летом был урожай, следовательно, и там армия в хлебе нуждаться не будет, ногайцы против регулярного войска не устоят, и русская армия беспрепятственно войдет в Крым: перекопские укрепления остановить ее не могут.

Серьезная война еще не начиналась, а уже генералы перессорились. Миних оставил войска в Польше под начальством генерал-фельдцейгмейстера принца гессен-гомбургского, который должен был выводить их на Украину. Фельдмаршал был недоволен некоторыми его распоряжениями и выразил свое неудовольствие в письме к нему; принц отвечал: «Что, ваше графское сиятельство, в наставление мне писать изволите, чтоб впредь того не чинить: и за оное (хотя при моих летах знаю, что чинить надлежит) вашему сиятельству благодарствую; однако притом доношу, что я уже имею честь быть в службе ее величества четырнадцать лет, а еще того не чинил, чтоб ее величеству противно было, и того не надеялся, чтоб я от вашего графского сиятельства за то, что к лучшей пользе интересов ее величества чинил, мог реприманды получить, и весьма чувствительные, и прошу меня оными обойти».

Из Персии также начали приходиться в Петербург не совсем благоприятные вести. После отъезда Голицына резидентом при Кулы-хане остался секретарь Калушкин, который, приехав к нему под Карс, удивлен был бездействием персидского войска. Причиною бездействия было то, что турки хлопотали о мире, обещали сдать Эривань и исполнили обещание, после чего Кулы-хан отправился в Тифлис, куда последовал за ним и Калушкин. 13 октября из Тифлиса резидент послал к Остерману отчаянное письмо, в котором извещал, что Кулы-хан согласился на мир с турками, обещая, впрочем, Калушкину, что без участия России мир не состоится. В ноябре Калушкину было объявлено, что Порта противится включению России в мирный договор, ибо Россия сама с нею ищет ссоры, нападая на Польшу, которая находится под покровительством султана. Калушкин объяснил Кулы-хану, что Польша – государство вольное, избирает сама себе короля и теперь избрала сына прежнего своего короля, но французский король, друг Турции, хотел ей навязать тестя своего в короли; поляки просили Россию защитить их вольность, что она и исполнила. «Вижу вашу правду, – сказал на это Кулы-хан, – бог меня не помилуй, если я заключу мир с турками без России, потому что такую великую милость русской императрицы никогда из памяти моей не выпущу; ни я, ни все Персидское государство за эту милость заслужить не можем; я не забыл, от кого я действительно доброжелательство видел и кто Иранскому государству руку помощи подал: все это сделала Россия, выше которой никого в свете не почитаю».

Такие же уверения слышались и со стороны европейского союзника: в Вене императорские министры прославляли пред Ланчинским опыты дружбы, которые оказывала Россия Австрии, и уверяли, что цесарь не преминет отплатить такими же услугами. В июле Карл VI велел послу своему в Петербурге графу Остейну

принести императрице торжественнейшую благодарность за великодушное вспоможение войском, причем отозваться с похвалою о дисциплине русских полков. Россия не преминула потребовать от Австрии *таких же услуг*, потому что Порту надобно было принудить к начатию мирных переговоров более сильными средствами.

В марте 1736 года Миних лично начал осаду Азова, но, когда каланчи и укрепление Лютик были взяты, фельдмаршал поручил окончание дела генералу Левашову, а сам отправился на Днепр к войску, назначенному в крымский поход и собиравшемуся в городке Царицынке на украинской линии под начальством принца гессен-гомбургского. 14 апреля он писал императрице из Царицынки: «Хотя капитан-паша из Царьграда к Азову и отправлен и туда прибудет, только надеюсь, что он будет свидетелем, а не помощником городу, как французы при Данциге, ибо Азов от 5 апреля по диспозиции моей кругом, как сухим путем, так и водою, уже осажден и никакой помощи получить не может, а наши войска с верхнего Дона ежедневно прибавляются, артиллерии с излишеством вскоре прибудет, также и морские суда – 15 галер и 9 прамов. Я бы желал, чтоб турецкого войска было побольше туда отправлено, ибо чрез это силы неприятеля разделились бы – для крымской экспедиции немалая польза и туркам напрасный убыток. На помощь Крыму большого турецкого войска прийти не может, ибо отправление водою требует большого транспорта, которого скоро сделать нельзя, а на сухом пути предстоят четыре переправы чрез большие реки – Дон, Днестр, Буг и Днепр, и турки должны будут пройти почти двойное расстояние против нашего. Что Порта хочет избегать с нами сражений и вести оборонительную войну, это нам выгодно, потому что развязывает нам руки против татарских орд. Что касается азовских подкопов и мин, то прошу ваше величество положиться в этом на мое попечение и искусство в инженерном деле. Крепко надеюсь, что как скоро осадная артиллерия под Азов прибудет, то город вскоре сдастся, сопротивление не может продолжаться далее 15 мая, после чего можно будет с Дону от 15 до 16000 человек подле берега Черного моря прямою дорогою отправить в Крым; это войско в половине июня соединится в Крыму с главною армиею; к этому же времени должны подойти и те полки, которые идут из Польши и Богемии, и нанесут туркам большой страх. Татарам но должно давать времени, и потому спешу с крымскою экспедициею. Всенижайше прошу в благополучном сих экспедиций произведении никакого сомнения не иметь; ни в войске, ни в провианте и воде и в прочем никакого недостатка и опасностей быть не может». 17 апреля приехал в Царицынку другой новопожалованный фельдмаршал, Леси, возвратившийся из рейнского похода, и тотчас же имел конференцию с Минихом; было решено: Леси на другой же день ехать под Азов, а Днепровской армии немедленно выступить к Крыму; к полкам, которые шли к Днепру с Дона и Донца, также из Богемии и Силезии, послать указы, чтоб по возможности поспешили к Царицынке, где, взявши на два месяца провианта, идти за армиею, действующею против Крыма. 20 апреля Миних выступил из Царицынки с армиею, простиравшеюся до 54000 человек и разделенною на пять колонн: генерал-майор Шпигель командовал первою колонною, составлявшею авангард; принц гессен-гомбургский вел вторую; генерал-лейтенант Измайлов – третью; генерал-лейтенант Леонтьев – четвертую и генерал-майор Тараканов – пятую. 21 Миних перешел реку Самару и вошел в турецкие владения; 30 апреля армия

остановилась у речки Белозерки, в трехстах верстах от Царицынки, и здесь держан был совет, какую дорогою идти к Перекопи – прямо ли степью или подле Днепра; на основании мнения запорожского кошевого и других знающих козаков избран был второй путь. Остановкою на Белозерке Миних воспользовался для того, чтоб написать императрице донесение насчет украинской линии. Для работ на этой линии он потребовал 53263 человека; распорядившись в Малороссии князь Шаховской представил в Петербург, что такое число работников без разорения народа наряжено быть не может и с козаков, употребленных на работу, податей брать будет нельзя. В Петербурге согласились с мнением Шаховского и отказали Миниху. Тогда тот написал, что, находя работу необходимою, по присяжной должности снова представляет о ней. «При существовании укрепленной линии, – писал Миних, – армию не нужно раздроблять, оставляя полки и целые корпуса для защиты границ, для чего достаточно было бы гарнизонов с ландмилициею и козаками. Генерал-майор Дебрины, управлявший работами по линии, только испортил дело, потому что сам не смотрел, а полагался на рапорты, на лошади он ездить не может, пешком линии обходить далеко и трудно, в коляске объезжать нельзя по причине ям и неровностей. Я прошлую зимою по узкой и не прямой дороге, с опасностью жизни объехал верхом линию и осмотрел все подробно; я нашел, что необходимо прикрыть новою линиею Бахмутскую провинцию с ее соляными варницами и магазином в Изюме. Граница от Днепра до Донца прикрыта весною разливающимися реками и непроходимыми болотами, сверх того, в военное время содержатся форпосты на реке Самаре, и таким образом эта граница имеет двойную оборону; несмотря на то, на ней работа произведена, крепости построены, и сделано без пропорции множество негодных редутов, а Бахмутская провинция, лежащая открыто по той стороне Донца близ турецкой границы, забыта. Какие же следствия? Не только тамошние жители и приезжие за солью захватываются в плен татарами, но и генерал Леси во время проезда чрез степь подвергся нападению и грабежу и едва успел спастись под защиту линии. Донские козаки за реками Доном и Донцом прикрыты и, как привычный к войне народ, против татарских набегов сами обороняться будут; и этих разбойников, беспрестанно нападающих на Бахмутскую провинцию, они могли бы удержать, если бы с турецкой стороны калмыкам, ногайцам и крымцам не было дано позволения к грабежу в наших границах, а нашим козакам и калмыкам на таких разбойников ходить и за границу их преследовать под смертною казнию (не знаю, по какой политике) запрещено, хотя и мы могли бы выставить то же оправдание, какое выставляют и турки, т.е. что без указа все сделано. Вследствие этого ваше величество потеряли многие тысячи подданных своих, которые умножают число турецких рабов и отчасти против нас самих служат. Такие разбойничества утаиваются, об них не доносят, и никто лучше генерала князя Шаховского об них не знает, ибо ему ежегодно известна прибавка и убавка жителей во всей Украине. Оставить линию от Донца до Лугани недоделанною и только по счастливом окончании нынешней войны возобновить работы – это все равно как если бы корабль во время бури оставить между камнями и в опасности, а после бури в гавань его вводить. В прошлом году так много тысяч людей к той работе прислано, что с ними пять таких линий отделать и Бахмутскую провинцию прикрыть можно было бы; эти люди тогда вследствие плохого присмотра без дела гуляли, отчасти нарочно трудились, чтоб линию

испортить; ибо вместо тележек шубы и концы кафтанов своих употребляли для переноски земли, и где места ровнять было нужно, тут бесчисленное множество ям выкапывали. А когда теперь под моею дирекциею при опасном военном времени все распоряжения сделаны, инженеры в разных расстояниях расставлены, неприятель возбужден, армия от границ отдалается, время не терпит и важная польза получена быть может, то вместо требуемых 24000 ни одного человека не дают, остальных – поздно и, когда уже время прошло, присылают под предлогом, чтоб народ не разорить: но кто против нападающего неприятеля укрепление строит и против разбойников ворота затворяет, тот не разоряет, а защищает. Тяжкий ответ должны дать богу и вашему величеству генералы князь Шаховской и Тараканов за то, что во время их управления в Украине народ до конца разорен; в государственное великодушнейшей императрицы, неусыпно пекущейся о благе подданных, козацкие города, на обыкновенных дорогах лежащие, опустошаются, и заложенные помещиками слободы внутри земли, в сокровенных местах, свободны от прихода войск, подводов и постоев; хлеб в них перекуривается в вино, что умножает пьянство и гуляние, а в магазины вашего величества провиант покупается так же дорого, как на Балтийском море, и едва за деньги его достать можно; магазины оттого пусты и войска без хлеба. Владельцы слобод обещают козакам на несколько лет вольность, и те как бешеные туда бегут, покинув дворы и землю: когда вольные годы прошли, то они к другому помещику побегут и такими переходами целый год работу пропустят. Когда таким образом козак по всем помещикам переходил и нигде счастья не нашел, то охотно бы возвратился в старый свой город, ибо там обыкновенно лучшие места, но это им запрещено под жестоким наказанием, и города остаются пустыми, а командующие в Украине генералы заботятся только о приращении новозаложенных слобод своих. Козаки многими тысячами в Польшу, к запорожцам, татарам и туркам бегают и против России служат, а Украина, такая благословенная земля, опустошается. Наказной переяславский полковник Тамара сегодня мне сказал, что в нынешнем году до 1800 козаков из его полку сбежали, о чем он в надлежащее место и репортовал. В прежние времена гетманские козаки могли выставлять в поле до 100000 человек: в 1733 году число служащих убавлено до 30000 и в нынешнем году до 20000, из которых теперь 16000 человек наряжены в крымский поход; им велено в начале апреля быть у Царицынки в полном числе, но мы уже прошли 300 верст от Царицынки, а козаков гетманских при армии только 12730 человек, и половина их на телегах едут, и отчасти плохолоудны, отчасти худоконны, большую часть их мы принуждены возить с собою, как мышей, которые напрасно только хлеб едят. Напротив того, запорожцы из того же народа, беглые из той же Украины, на каждого человека по 2 и по 3 хороших лошади имеют, сами люди добрые и бодрые, хорошо вооруженные: с 3 или 4 тысячами таких людей можно было бы разбить весь гетманский корпус. Из слободских полков наряжены были 4200 человек; из них теперь при армии только 2360 человек, отчасти плохие люди, отчасти худоконные. Причины тому такие, например, что старый полковник, искусный солдат, дома оставлен, а полковником сделали молодого человека, брата острогожского полковника Тевяшова, и дали ему команду над козаками, но так как этим старые офицеры обижены, то они над командой такого молодого человека, который никогда неприятеля не видал, только смеются, и от них происходят беспорядки и всякие непристойности. Помянутый

острогжский полковник Тевяшов в прошлом году в поход не пошел, потому что страдал головою болезнью, а теперь занимается важным делом, лошадей собирает: дело в том, что он жену взял из Арсеньевской фамилии, сам богат и патронов имеет. Полтавский полковник Кочубей имеет в Москве важное поручение при составлении нового уложения для Украйны, для такой земли, где никакого права нет, но, кто больше даст, тот и дело в суде выигрывает. В Изюмский полк, требующий особенно доброго полковника, определили человека совершенно неспособного: он при обер-гофмейстере князе Трубецком бандуристом был. Прочие гетманские и слободские полковники по домам сидят. хотя полки их в поход идут: причина та, что они люди богатые: смотря на них, лучшие сотники и козаки также дома остаются, и только бедные, без связей идут в поход. Генерал князь Шаховской лучше бы сделал, если б заблаговременно уехал от двора вашего величества, осмотрел назначенных в поход козаков и поставил их в определенный срок. Я теперь генерала Тараканова понуждаю поставить 10000 человек ландмилиции, но с господами сенаторами трудно дело иметь. Ваше величество, благоволите генерала Ушакова или другого какого-нибудь верного человека хотя на один месяц прислать в Бахмутскую провинцию и изюмские города: он на тамошнее разорение, так же как и я. без слез смотреть не будет, как не только дворы, но целые улицы и слободы давно впусе лежат, и тогда узнается, что разорение народное происходит от чего-нибудь другого, а не от работы на линии».

20 мая Миних донес, что он уже в Крыму и хан с огромным войском отброшен; когда армия дошла до перекопской линии (рва, тянущегося на 7 верст от Азовского до Черного моря), то была неприятно удивлена: ее обнадежили, что линия везде осыпалась, так что местами верхом и в телегах переехать можно, а на деле увидали, что ров очень глубок, склон так крут, как каменная стена, и голова закружится, когда посмотришь на дно, брустверк по всему валу вновь сделан и башни насажены янычарами. Но передние русские плутонги летом пометались в ров: когда они с помощью пик и рогаток всходили на вал, задние плутонги и артиллерия производили беспрестанную пальбу. Через полчаса русские были на валу. Турки, сидевшие в одной башне, оборонялись целый час и были все истреблены; сидевшие же в другой башне, от Черного моря, в числе 130 человек сдались военнопленными; вечером занята была третья каланча, к Гнилому морю; 22 мая сдалась и самая крепость Перекопская с условием, чтоб турецкий гарнизон, состоявший из 2554 человек, был выпущен. 24 числа войско пошло далее по направлению к Козлову, и 30 числа на рассвете донские козаки и гусары ворвались нечаянно в татарский лагерь, достигли шатра внука ханского Калги-салтана, перебили несколько сот татар, но, не поддержанные главным войском, которое слишком далеко было позади, должны были отступить, причем потеряли с лишком 100 человек убитыми. 31 мая войско расположилось лагерем в 54 верстах за Перекопью, против деревни Ходжамбах. Отправив генерала Леонтьева с 10000 регулярного войска и с 3000 козаков к Кинбурну, Миних держал военный совет по вопросу: идти ли дальше? Принимая в соображение, что войско в схватках с неприятелем имело до сих пор постоянный успех, что город Перекоп с линиею, каланчами, турецким гарнизоном, бунчук и знамена Калги-салтана в наших руках и знатные люди неприятельские побиты, генералитет единогласно решил идти с поспешностью к Козлову, но не далее. Мнение подписали генералы: князь Репнин, Магнус фон Бирон, фон Шпигель,

Измайлов, принц гессен-гомбургский и Миних. 5 июня войско приблизилось к Козлову, и гренадеры с частью артиллерии, также половина донских и запорожских козаков отправлены были для изгнания из города неприятеля, но город уже был оставлен гарнизоном и жителями, и наибольшая часть его выжжена. Татары вышли из города так торопливо, что оставили русским богатую добычу: свинцу досталось на всю армию да еще немало побросали в море; хлебом армия запаслась на 24 дня; козаки из близлежащих деревень нахватили до 10000 баранов; получено было также много медной посуды, жемчугу, парчей и прочего добра. «Ныне армия, – писал Миних, – ни в чем недостатка не имеет и вся на коште неприятельском содержаться будет, что во время военных операций великим авантажем служит; по пословице, мы успели свою лошадь к неприятельским яслям привязать». Это обеспечение армии насчет провианта заставило переменить решение военного совета и двинуться из Козлова далее к Бакчисараю. Татары шли постоянно впереди русского войска и пользовались всяким случаем к нападению. Два самых сильных нападения были 17 июня у Бакчисарая, причем русские потеряли убитыми и взятыми в плен 284 человека. «Мы полную викторию получили, – писал Миних, – но в то время наши люди в таком были сердце, что никак не возможно было их удержать, чтоб в Бакчисарае и в ханских палатах огня не подложили, отчего четверть города и ханские палаты, кроме кладбища и бань, сгорели. Об этих палатах ханских и о городе на французском диалекте сделанное капитаном Манштейном описание при сем прилагаю: палаты строены по китайскому обыкновению, и чище этого строения мало видано». 25 июня было решено возвратиться в Перекоп и приблизиться к Днепру, чтоб армии дать отдых, особенно в ожидании сильных жаров, также для того, чтоб быть в состоянии сделать отпор туркам, которые, по вестям, собирались на Дунае и намерены были идти к Днепру или Очакову. Татарская туча, видневшаяся до сих пор впереди войска, теперь виднелась назад. Татары были в страшном горе: они думали, что русские пойдут от Бакчисарая к Кафе, и опустошили все по дороге к этому городу. 6 июля войско достигло Перекопи, и в тот же день Миних получил известие от Леси о сдаче Азова и от Леонтьева о сдаче Кинбурна. 17 июля Леси велел полковнику Ломану с тремястами гренадер, семьюстами мушкетеров и шестьюстами козаков взять неприятельский палисадник. Ломан при пушечной стрельбе с русских батарей и судов взял палисадник, окруженный рвом в три сажени глубиною, побивал и гнал турок до самых городских ворот, отнял у них пушку и бочку пороху. После этого азовский паша прислал фельдмаршалу письмо, в котором изъявлял некоторую склонность к сдаче. «Но хотя бы эта склонность и отменилась, – писал Леси, – то 110 сделании бреш-батарей, которая через семь дней будет окончена, в скорых числах надеюсь взять город штурмом». Но до штурма не дошло: 19 числа паша прислал с просьбою о капитуляции, а на другой день прислал и городские ключи; по договору все мусульманское народонаселение города было отпущено в Турцию. При осаде Азова было употреблено с чем-нибудь 25000 человек; из них было убито менее 200 человек, ранено 1500; в числе легкораненых находился сам фельдмаршал.

В Петербурге были недовольны возвращением войска к Перекопи и требовали, чтоб Миних возобновил нападение на Крым в августе и сентябре. Фельдмаршал отвечал, что он возвратился для того, чтоб иметь с своими

границами свободное сообщение и посылать как можно чаще донесения императрице, также турок чрез Днепр не пропустить, войско провиантом удовлетворять и отдых дать: люди от дальнего и постоянного хода очень устали, лошади за неимением в достаточном количестве воды большею частью попадали, и хотя до сих пор сильных жаров не видали, однако больных при войске немало, и болезни все усиливаются. «В порученной мне важнейшей экспедиции, – писал Миних, – поныне исполнено столько, сколько в человеческой возможности было. Теперь моя цель – привести полки в доброе состояние, укрепить перекопскую линию, усилить крепость и держать татар в Крыму, чрез что они сами себя принуждены будут разорить, усилить Кинбурнскую крепость и, умножа тамошнее войско, не перепускать турок на сю сторону. Что касается нового сильного нападения на Крым в августе и сентябре, то это зависит от снабжения армии достаточным провиантом, ибо в разоренном Крыму получить уже более ничего нельзя, также от движения турецкого, и, если будет возможность, ничего не упущу для исполнения воли вашего величества».

Эта воля не была исполнена; 24 июля Миних с генералами – принцем гессен-гомбургским, Измайловым, Леси, князем Репниным и Аракчеевым – имел военный совет, на котором решено: так как провианта при здешней армии имеется только дней на десять или с нуждою на две недели с прибавкою в пищу мяса; так как от здешнего худого воздуха и от соленой воды, особенно же при настоящих жарах, в людях болезни умножаются и здоровые в слабость приходят; так как лошади беспрестанно падают и живые, вместо того чтоб поправляться, ежедневно в худшее состояние приходят, и нельзя-надеяться, чтоб армия, оставаясь здесь, пришла в лучшее состояние, то необходимо здешнее место оставить, идти к Днепру, где лучший воздух, добрая вода и ближнее получение провианта. Так как для входа в Крым регулярному войску с артиллериею и обозами другого пути нет, как чрез перекопскую линию, а, напротив того, татары могут всегда перебираться, минуя эту линию, чрез Гнилое море и так как в крепости Перекопской регулярному гарнизону за недостатком хорошего воздуха и воды и за несвободным сообщением быть трудно, то Перекопскую крепость и каланчи до подошвы разорить и подорвать, а пушки и амуницию с собою взять.

Миних двинулся с армиею к Днепру, складывая вину отступления на Леси, который долго не присылал ни войска, ни провианта. Но Леси писал: «Я как прибыл под Азов, то начал изыскивать всякие способы отправить провиант водою и сухим путем, но галеры не могут пройти в море, да хотя бы и прошли, то негде им пристать в Крыму; сухим путем нельзя было послать за неимением лошадей, телег и до взятия Азова людей; я много раз писал об этом в Кабинет и к самому фельдмаршалу Миниху писал, чтоб не надеялся на присылку от меня провианта. Что же касается распоряжения его, чтоб я по взятии Азова шел к нему с полками, то по выступлении из Азова турецкого гарнизона, 4 июня, отправил я к нему генерал-лейтенанта графа Дукласа чрез Изюм с двумя драгунскими полками. С 27 июня по второе число августа, 35 дней, дал я солдатам отдохнуть, а между тем приготавливал их к походу; они же разрывали около города шанцы и апроши и исправляли другие нужнейшие работы; 2 августа, выбравши лучших и здоровых пехоты пять тысяч человек да 300 конных и снабдив их на два месяца провиантом, отправил к Перекопи чрез степь, как вдруг получаю от фельдмаршала Миниха уведомление, что он отошел от Перекопи, и я должен был идти для соединения с

ним к Изюму». Миних разместил полки на зимние квартиры, но при этом велел им быть в готовности к походу, так чтоб могли выступить в 24 часа по получении приказа. Фельдмаршал осень и зиму занимался укреплением важнейших мест на Украине. Запорожская Сечь и два ретраншементы при Самаре приведены были в оборонительное положение, так что без формальной атаки неприятель не мог им ничего сделать; запорожские козаки письменно обязались зимовать в Сечи в количестве от 2 до 3 тысяч человек; Васильков обведен был ретраншементом. В Киеве крепостные работы производились ежедневно, и в декабре оставались неукрепленными только некоторые отдаленные монастыри. Миних очень ценил здоровое, выгодное положение Киева, поэтому хотел сосредоточить при нем корпус в 20000 и больше, построить магазины и несколько казарм. Татары иногда прорывались чрез линию, и хотя им не позволяли больших разбоев, но, естественно, рождался у некоторых вопрос: к чему же служил поход фельдмаршала Миниха в Крым – поход, в котором была потеряна, как считали, почти половина армии, и все по нераспорядительности главнокомандующего, потому что от неприятельского оружия погибло не более 2000 человек? Миниха упрекали, зачем он выступил в поход в самое неудобное время года? Зачем повел войско на авось, в одном предположении, что оно может кормиться на счет неприятеля? Кроме того, Миниха упрекали в жестокости относительно солдат: вместо того чтоб идти ночью или выступать за несколько часов до рассвета, в прохладное время, войско выступало в поход несколько часов спустя по восходе солнца, что страшно развило болезни. Усталость и жара так изнуряли солдат, что некоторые падали мертвыми на ходу. Наконец, к большому несчастью, между генералами господствовало несогласие. Принц гессен-гомбургский, которого упрекали в лени и нерадении, скучал тягостями похода и позволял себе дурно отзываться о главнокомандующем не только пред офицерами, но даже пред солдатами; оказывая сожаление к ним, он внушал, что виноват во всем фельдмаршал, который, без сомнения, хочет поморить их всех от голода и усталости. Эти внушения усиливали неудовольствие войска, которое начинало роптать при малейшей усталости. Принц привлек на свою сторону некоторых генералов, и между прочими Магнуса Бирона, и под Бакчисараем предложил им воспротивиться приказаниям фельдмаршала, если тот предпримет дальнейшее движение, и, если Миних будет упорствовать в своем решении, арестовать его и передать команду старшему по нем, т.е. ему, принцу. Генералы не согласились на это предложение, и принц должен был удовольствоваться тем, что написал обер-камергеру Бирону жалобу на Миниха, а Бирон переслал ее в оригинале Миниху, и легко понять, какие после того установились отношения между Минихом и принцем.

Выход армии из Крыма с огромными потерями, ссора между генералами, дурные вести из Персии, медленность Австрии в исполнении своих обещаний – все это сильно тревожило императрицу. Ее тревожное состояние всего лучше видно из следующего письма к Остерману: «Андрей Иванович, из посланных вчерашних к вам рапортов и челобитной, из письма, которое он пишет к обер-камергеру, довольно усмотришь, какое несогласие в нашем генералитете имеется; чрез это не можно иначе быть, как великой вред в наших интересах при таких нынешних великих конъюнктурах. Я вам объявляю, что война турецкая и сила их меня николи не покорит, только такие копдувиты, как ныне главные

командиры имеют, мне уже много печали делают, потому надобно и впредь того же ждать, как бездушно и нерезонабельно они поступают, что весь свет может знать. От меня они награждены не только великими рангами и богатством, и вперед им я своею милостью обнадежила, только все не так, их поступки несходны с моею милостью. Того ради принуждена буду другие меры взять и через сие вам объявляю: 1) Нам одним Турецкое государство вовсе разорить или сгубить невозможно будет, и нынешнего году довольно это показало наше войско, как люди и лошади пропали, хотя на будущий год она (армия) и будет комплектована, только это все люди молодые будут. 2) По всем видимостям, Персия мир с ними (турками) хочет делать. 3) Видеть по всем их (австрийцев) делам, что они своим обнадеживанием нас довольствоваться хотят... по ведомостям, они свое войско по винтерквартирам распускают. 4) Теперь надобно рассудить, и требую вашего совету: 1) Что при таком несогласии нашего генералитету делать и как им знать дать о их поступках, которые не только касаются до наших интересов, но и до чести нашей. 2) Пруцкой трактат был великой вред и бесчестье нашему государству, который в ту пору от нужды был делан, и ежели такой способ найдется, чтоб этот трактат уничтожен был, также старые наши границы присовокупить – не лучше ли войну прекратить, только как в том деле зачинать, то мы на ваше искусство и верность надеемся; вы можете обнадежены быть, что я вас и фамилию вашу николи в своей милости не оставлю, и желаем вам скорого здоровья, и пребываю в милости».

Не знаем, к кому относится выражение императрицы: «Из письма, которое *он* пишет к обер-камергеру». Кто это он? Принц гомбургский или Миних, потому что и Миних написал к обер-камергеру сильное письмо по следующему случаю. Фельдмаршалу Леси по возвращении из азовского похода дано было приказание собрать точные сведения о состоянии Миниховой армии. Миниха это взорвало, и 9 октября он написал императрице: «Принимая в соображение, какие неусыпные старания и труды без упущения времени требуются от командующего армиею, дабы высочайший интерес вашего величества утрачен не был, я принужден всенижайше донести, что слабость здоровья моего вседневно умножается и отнимает надежду исправлять надлежащим образом вверенное мне дело. Поэтому всеподданнейше прошу ваше императорское величество поручить команду над армиею фельдмаршалу фон Леси, а меня от оной уволить, ибо я не в состоянии нахожусь тех трудов, которые донныне со всевозможною ревностью нес, более продолжать». Анна отвечала 22 октября: «Господин генерал-фельдмаршал. В сих днях получили мы вашу челобитную, в которой вы об отпуске своем из службы нашей просите. Мы не можем вам утаить, что сей ваш поступок весьма нам оскорбителен и толь наипаче к великому нашему удивлению служить имеет, понеже не надеемся, что в каком другом государстве слыхано было, чтоб главный командир, которому главная команда всей армии поручена, во время самой войны и когда наивысшая служба от него ожидается, к государю своему так поступить похотел, особливо еще без всякой законной и праведной причины и еще с употреблением таких чувственных толкований, как вы в письме своем к нашему обер-камергеру употребляете. Подлинно, что мы, по нашей к вам всегдашней милости и положенной на вас совершенной конфиденции, никогда того от вас ожидать не имели. Мы же и ныне еще уповаем, что вы сие свое намерение не токмо вовсе оставите, но такожде верным и усердным продолжением службы

вашей и нам повод и причину к неотменному продолжению нашей к вам милости подадите, якож вы в таком случае на оную и о том обнадежены быть можете, что мы во всем такие учреждения учиним, что ни вам и никому в службе нашей какая обида учинена была, что мы вам во всемилостивейшую резолюцию объявить запотребно рассудили, но которой неотменное исполнение ожидая, пребываем к вам нашею императорскою милостью благосклонны – Анна».

Миних отвечал 9 ноября длинным письмом: «Ожидая, что вашего величества соизволение (что ни Миних и никто другой не потерпят обиды) непременно исполнено будет, всенижайше благодарствую, что оным всемилостивейшим писанием пожаловать мне, нижайшему, в нынешних печальных обращениях ободрение придать соизволили, и, как никто вашего величества высочайшему соизволению противиться не может, так и я оное при всяком случае за законное приемлю и за великое и за совершенное счастье причитаю такой великой, богоизбранной и беспримерной монархине, как ваше императорское величество, всеподданнейше служить. Так как во время войны благополучие государств зависит отчасти от армии, то командующему генералу от всех пристрастий честолюбия и своего прибытка совершенно свободно быть должно, и как самому о себе, так и о происходящих событиях неленостное рассуждение иметь, может ли он такую важную должность настоящим образом исполнить; в противном случае лучше от такой команды удалиться, нежели рисковать славой своей государыни и государственным интересом. Достопамятнейшая победа, которую греки получили над персами, приписывается благоразумному воздержанию генерала Аристидес, который товарищу своему Милциадю команду уступил, чрез то Греция от сильного неприятеля освободилась; таким образом, успех армии зависит от нераздельной команды. Граф Монтекукули во время французской войны 1674 года признал за лучшее удалиться от команды, чем ее делить с курфирстом бранденбургским, который начальствовал над остальным немецким войском. В наше время, во время шведской войны, граф Шуленбург команду уступил графу Флемингу и получил от короля Августа увольнение от службы. В последних итальянских войнах граф Кенигсегг уступил команду над цесарским войском графу Валлису. Ваше императорское величество потому всемилостивейше рассудить соизволите, что всенижайшим требованием увольнения от службы я не имел ничего более в виду, кроме одного охранения вашего величества славы и интереса, что мне никогда в сем, так. и в будущем веке в предосуждение быть не может, я лучше хотел оставить тридцатишестилетнюю тяжкую службу и уступить славную команду своему товарищу, нежели хотя малым чем вашего величества высочайшую славу и интерес уронить, от которого своего принцепия никогда не отстану, ибо от него зависит счастливое ведение начатой ныне войны. Командующему над армиею генералу надобно быть, во-1), сильным и здоровым; 2) от вашего величества всемилостивейшую конфиденцию и при армии достаточный кредит иметь: 3) надобно ему быть свободну от всяких неприятностей, ибо и без того команда лежит на нем тяжелым бременем. Что касается моего здоровья, то известно, что в прошлом году в Полтаве я был болен горячкою; в апреле месяце этого года по возвращении из-под Азова заболел сильною лихорадкою и, едва получил облегчение, выступил с охотою в крымский поход, где отнялся у меня левый бок, так что почти во всю кампанию меня принуждены были снимать с лошади; по окончании похода в таком находился

бессилии, что не без труда мог на ногах стоять, и, хотя попечением присланного по всемилостивейшему вашего величества ко мне милосердию доктора мне теперь получше, только боюсь, чтоб почти не впасть мне в бессилие.

При армии вашего величества команда в таком разделении имеется, что генералитет и офицеры в несоединенном на меня уповании состоят, так что во многих требующих быстроты случаях намерения мои не могут быть приведены в исполнение: притом некоторыми из Кабинета вашего величества указами приведен я был в немалое сомнение, что вашего величества высокая ко мне конфиденция пред прежним умалилась. Особенно было мне прискорбно, что указы приходили в такое время, когда я, не оставляя армии ни одного часа, из Крыма, из Бакчисарая, куда никогда никакой неприятель не проникал, вывел ее обратно с немалою викториєю и взятою у неприятеля артиллериею и пленными. И так как разделенная команда к успешному действию никогда вести не может, а я никому никогда не завидовал, то и просил без всякого сомнения поручить главную команду товарищу моему, генерал-фельдмаршалу Леси, одному».

А Леси писал 8 октября: «Понеже я с начала отбытия моего в Польшу уже четвертый год в домишке моем не бывал и бедной фамилии моей не только не видал, но за отдалением и мало писем получал, паче же дети мои одни без всякой науки, а другие без призрения находятся, того ради ваше императорское величество приемлю дерзновение утруждать, чтоб нынешнее зимнее время соизволили от команды меня уволить в Ригу». Но вместо увольнения в отпуск фельдмаршал получает выговор за несоблюдение предписанной тайны, тогда как тайны, по его убеждению, ему не предписывалось; он отвечал: «В присланном ко мне от 24 октября указе между прочим написано, что велено мне о прямом состоянии армии под рукою проведать и верные о том репорты прислать, учинить то под рукою, что, разумеется, тайно, а ныне с немалым ее величеством неудовольствием известна, что о вышеписанном указе при армии ведомо, и не можно понять, от меня ль самого о сем указе разглашено или из моей канцелярии пронесено, но, как бы то ни было, оное ее императорскому величеству весьма чувственно. Но в том от 14 сентября указе именно изображено: по прибытии моем к армии мне о состоянии оной как в людях, так и во всем прочем ее величеству особливый свой верный репорт прислать и для того б мне путь свой туда с наискорейшим поспешением предвосприять, а чтоб, о том разведав, под рукою репортовать, того в указе не написано, и затем, чтоб к тайности весьма было склонно, дознаться не мог, и за распушением той армии на квартиры о состоянии полков видеть и обстоятельно и верно доносить было невозможно, и для того, опасаясь ее величества за неисполнение высокого гневу, принужден был о том генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху объявить».

Несмотря на эти неблагоприятные условия для ведения успешной войны, императрица, как мы видели, надеялась прекратить ее выгодным миром, т.е. уничтожением Прутского договора. Эту надежду поселили в ней донесения резидента Вешнякова.

В начале 1736 года все еще хотели дать вид, что Россия, вынужденная враждебными действиями татар, ведет войну против них одних; с Портою разрыва не было, и Вешняков оставался в Константинополе, откуда 1 января он прислал такое описание состояния Турции: султан сам дел не знает и очень недалек; его умом и волею владеет кизляр-ага; все думают, что надобно оставить дела в этом

положении, пока все рухнет вследствие или внешнего несчастья, или внутреннего волнения. Визирь – человек тупой, чуждый всякого знания света, все делает его кегая, а этот следует советам Бонневалея и французского посла: первый советует заблаговременно вооружаться, но не враждебно относиться к России и ласкать ее посланника; второй же требует сильного наступательного действия и недавно подал Порте на турецком языке сочинение, в котором рассматривается вопрос: французская ли или русская теперь возрастающая сила более вредна европейскому равновесию? Выводится, что туркам всего опаснее Россия, которая хочет овладеть Азовом и Крымом взамен уступленных Персии провинций, точно так как прутские несчастья были вознаграждены приобретениями по Ништадтскому миру, и, таким образом, Турции предстоит участь Швеции. Но, как видно, Бонневалеи внушения действительнее. После кегая влиятелен рейс-эффенди, а муфтий – человек старый и малоумный. Крымцы, представляя свою опасность со стороны России, требуют немедленной помощи, в противном случае грозятся или бежать, или отыскать защитника надежнее. И Порта вооружается, но без всякого шума и озлобления в народе против России, ибо говорят, что татары сами вызвали русские нападения. «Дерзновенно и истинно донесу. – пишет Вешняков, – что в Турции нет ни начальников политических, ни руководителей военных, ни разумных правителей финансовых; все находится в страшном расстройстве и при малейшем бедствии будет находиться на краю бездны. Страх пред турками держится на одном предании, ибо теперь турки совершенно другие, чем были прежде: сколько прежде они были воодушевлены духом славы и свирепства, столько теперь малодушны и боязливы, все как будто предчувствуют конец своей незаконной власти, и да сподобит всевышний ваше величество ее искоренить. Попечения об общем благе в Турции нет, заботятся только о частных выгодах; достойные и искусные люди изгублены и погибают, остались только одни недостойные, вследствие чего добрый порядок пренебрежен как в политическом, так в военном и экономическом правлении, и, оставив прежние свои основные правила, новых не приобрели и потому ослабели. Татары, зная все это, теперь, как здесь все говорят, в верности к Порте начинают колебаться. Насчет христианских подданных турки опасаются, что все восстанут, как только русские войска приблизятся к границам. Здешние константинопольские греки большею частью бездельники, ни веры, ни закона, ни чести не имеющие, их главный интерес – деньги, и ненавидят нас больше самих турок, но греки областные и еще более болгары, волохи, молдаване и другие так сильно заботятся об избавлении своем от турецкого тиранства и так сильно преданы России, что при первом случае жизни не пожалеют для вашего императорского величества как уповаемой избавительницы. Все это турки знают».

Турки действительно трусили, и рейс-эффенди в марте говорил секретарю русского посольства, что Порта усердно желает мира и дружбы с императрицею, только не понимает, для чего делаются такие большие приготовления при русских границах, что заставляет и Турцию готовиться с своей стороны; от ссор никакое государство пользы не получает, и потому лучше все недоразумения дружески окончить. Рейс-эффенди поручил секретарю просить Вешнякова приложить всевозможное старание к примирению и этим прославить начало своего министерства. Но Вешняков поставлял свою славу в другом и писал императрице: «Теперь самое полезное время не только к сломлению зверской гордости, по и к

окончательному ниспровержению всего этого незаконного сонмища. Хотя я малая и недостойная жертва, но для славы вашего величества и спокойствия отечества готов истину представленного мною запечатлеть моею кровью, лишь бы всевышний сподобил начать дело. Ничто не препятствует, все страхом поражены, ваше величество законно владеет сердцами всех добрых христиан, находящихся под игом издыхающего варварства». В начале апреля в Константинополе стало известно об осаде Азова и движении русских войск к Очакову. Правители, трепеща пред народом, который им приписывал разрыв, беспрестанно съезжались на совещания, а в народе разглашали, что виновником всему хан с своими татарами, раздраживший Россию вопреки султановым указам, что Азов – место ничтожное, а между тем охранять его очень трудно Порте. Делались приготовления для обороны ближайших областей, но главная надежда полагалась на то, что Франция, Англия, Голландия и Швеция, кто дипломатическим заступничеством, кто интригами и действительною помощью, до окончательного разрушения Турцию не допустят, ибо интерес их требует не допускать Турцию до разрушения, а Россию – до великих завоеваний. При Порте начали ласкать министров всех названных держав, льстить и цесарскому резиденту. Последний советовал Порте поступать как можно тише в делах и не притеснять русского резидента: то же советовал и Бонневаль, представляя, что дурное обращение с Вешняковым будет неприятно всем христианским государствам.

В июне визирь с войском выступил из Константинополя, велевши ехать за собою и Вешнякову, а между тем послов цесарского, голландского и английского просил о посредничестве для восстановления мира между Россиею и Турциею. «В правительстве и народе сильный страх, – писал Вешняков, – с ужасом начинают произносить русское имя, и до сих пор не только я, но и последний из моих слуг бранного слова не слышали. Еще удивительнее, что когда я ходил по Пере, то многие турки на улице место уступали, чего прежде никогда не бывало. В начале мая выдан был султанский указ под смертною казнию не делать никакой обиды франкам, никого в брань не называть русским, тем менее обижать самих русских. И с христианскими подданными своими турки обходятся очень ласково. Так как Турция находится в крайней слабости, то от вашего величества зависит повелеть войскам своим идти прямо на Константинополь: как скоро они вступят в Буджак, то тамошние татары покорятся: Молдавия и Валахия поднимутся непременно; по переходе через Дунай и овладении магазинами встанет и остальное народонаселение, отягченное и разоренное до такой степени, что домов своих отступается; христиане поднимутся во всей Греции; останется напугать Константинополь и заставить бежать султана; для этого достаточно несколько морских судов подвести к каналу и высадить тысяч двадцать войска; самое способное для этого время – будущие осень и зима». Вешнякова привезли в Адрианополь, откуда он писал: «Хотя я совершенно свободен, однако для избежания дерзостей от черни словом или делом веду себя очень тихо, никуда не выхожу, даже в церковь, чтоб не оклеветали христиан». Из Адрианополя Вешнякова перевезли в Бабаду (в Болгарии), а 22 октября он получил письмо от переводчика Порты, что отпускается с честью и безопасностью до русских границ.

Русский резидент выехал из Турции; русский резидент, находившийся в Персии, Калушкин присылает печальные известия: турецкая сторона брала верх,

потому что в Персии все, от мала до велика, жаждали мира; притом турецкий посланник щедро одаривал влиятельных людей, тогда как с русской стороны никто не слыхал ни малейшего обещания подарка. Калушкин дал знать, что 5 февраля Тахмас-Кулы-хан избран всем народом в шахи, причем старый шах Тахмасиб и сын его Аббас были совершенно отстранены от престола и получили только название мирзы; новый шах получил имя Надира. Вслед за этим Калушкин доносил, что его шахово величество ударился в непорядочные забавы: всякий день поутру веселится с музыкой у жен своих и подпивает, а после обеда созывает всех знатных к себе, и напиваются так, что их без памяти вон выносят, и всему войску дал волю пить, от чего ежедневно происходят большие беспорядки. В июне Калушкин получил из Петербурга указ передать Надиру, что Россия объявила войну Порте, осадила Азов и теперь для Персии самое благоприятное время действовать против турок, которые должны обратить все свои усилия против России и потому персидскому войску противиться не могут. Надир велел отвечать на это Калушкину, что хотя он теперь оружием против Порты не действует, однако турками мутит и их миром проводит и обманывает и без России никак мириться не намерен; теперь же ему необходимо идти в поход на бунтовщиков-бахтиарцев. Странно, заметил на это Калушкин, что шах своими усиленными домогательствами поднял Россию против турок, а теперь ее оставляет одну, от России удаляется и пристает к новым друзьям, туркам, которые ищут только гибели персам; здравому смыслу противно – оставя главное дело, от которого зависит все благополучие государства, схватиться за самое ничтожное, именно идти наказывать бахтиарцев. Шахово величество говорит, что он обманывает турок, но изо всего видно, что турки преодолели его коварством. Когда приближенный к Шаху мирза Махти передал эти слова Надиру, тот велел отвечать: «Осада русскими Азова, взятие трех крепостей турецких, отправление войска в Крым и на Кубань – все это дело ничтожное; Персии в Азове никакой нужды нет, точно так как России в Багдаде. Шах требует от русского двора ответа, согласен ли он вместе направить поход в Царьград, причем императрица должна сама подняться в этот поход или по крайней мере послать верховного министра. Нечего войною спешить, не постанова между собою твердого соглашения; надобно прежде обдумать, чтоб войну начать и кончить с честью, а не так, как теперь с русской стороны делают, и такими поступками мы от мира отдалимся, а к войне не пристанем. Шах не хочет мириться с Портою, пока не получит ответа от русского двора, а между тем он к миру и к войне готов, как того Россия пожелает».

Донося об этих разговорах, Калушкин писал, что персидские вельможи становятся к нему день ото дня холоднее, видя с русской стороны беспрестанные побуждения шаху к продолжению войны турецкой, тогда как в Персии все желают мира с Портою. И нельзя было не желать мира, потому что, по донесениям резидента, Персия находилась в опасном положении: азербиджанцы взбунтовались; афганцы приготовили большое войско, чтоб не пускать Надира в Кандагар; Грузия отложились, и соединенные владельцы ее поразили персидское войско недалеко от Тифлиса; дагестанцы начали разбойничать, а шаху набрать войска негде за скудостью в людях и за крайним разорением, всего Войска у него пятидесяти тысяч не наберется, поэтому до сих пор и бахтиарцев покорить не может. Бедность была страшная: мать бывшего при русском дворе посла Ахмет-хана нанялась в работницы в доме Калушкина; из дома Хулефы,

находившегося теперь послом в Петербурге, беспрестанно приходили к Калушкину просить денег, потому что жены его умирали с голоду. Отсюда падкость вельмож ко взяткам, чем пользовались турки и не щадили подарков. В таких обстоятельствах Надир решился тянуть переговоры с Россиею и потребовал, чтоб императрица прислала к нему министра в Кандагар, к границам индийским, а зачем – неизвестно. Видя такие поступки Надира, Калушкин прислал в Петербург просить возвести на престол старого шаха, воспользовавшись удалением Надира в Кандагар.

У другого европейского союзника, цесаря, Ланчинский в начале года с трудом мог выхлопотать согласие на немедленное возвращение вспомогательного русского войска из Богемии, ибо оно надобилось самой императрице вследствие нерасположения турок к миру. Фельдмаршал Леси в марте приехал из своей квартиры в Нейгаузе на короткое время в Вену и был принят там с большим отличием: цесарь подарил ему свой портрет, осыпанный бриллиантами, и пять тысяч червонных в бархатном красном мешке с золотыми шнурками. Окончив войну на западе, Австрия немедленно должна была начать другую, с турками, вследствие союза с Россиею. Австрийские министры толковали, что обиженная сторона, то есть Россия, естественно, должна объявить, какого требует удовлетворения от турок, и для получения этого удовлетворения употребляются добрые услуги. Ланчинский отвечал, что время для добрых услуг уже прошло и от них теперь нельзя ожидать никакой пользы; Порта еще может бояться союза между обоими императорскими дворами, но как скоро Австрия вместо объявления войны предложит добрые услуги, то этот страх исчезнет; предложенное отовсюду посредничество только мешает России получить удовлетворение от Порты. Ланчинский в сентябре доносил своему двору, что сам цесарь, генералитет и гражданские правители очень желают войны с турками, но некоторые генералы представляют, что ее можно начать разве только весной 1737 года, потому что полки, шедшие из Италии в Венгрию, утомлены; в них много больных, провиант в магазинах не в достаточном количестве, на фураж надеяться нельзя, потому что в турецких областях везде места гористые; прежде всего надобно добыть город Виддин, который турки недавно сильно укрепили, а в цесарской пехоте особенно много больных, наконец, артиллерийских лошадей мало, надобно привести их из Германии. В ноябре Ланчинский представил канцлеру графу Синцендорфу, что между турками и персиянами заключен договор, следовательно, теперь с цесарской стороны необходимо принять серьезные решения, не упуская времени; что нельзя более откладывать формального объявления войны Порте, что зима слывет длинною, а проходит скоро. Синцендорф отвечал, что должен быть прислан в Вену русский генерал для сочинения точного операционного плана, чтоб бремя войны падало одинаково на обе державы, турки ближе к австрийским землям, чем к русским, и потому могут надеяться скорее оторвать что-нибудь от первых, чем от последних. Ланчинский возражал, что, по последним известиям из Константинополя, турки намерены обратить всю тяжесть войны на Россию, а не на Австрию. Синцендорф представлял, что в письме военного президента графа Кенигсегга к визирю объявление войны довольно явно. Ланчинский возражал, что он письмо читал и действительно в нем о войне упоминается, но гораздо более высказывается желание мира, условиями которого письмо и оканчивается.

Синцендорф кончил разговор тем, что прежде всего надобно начертать основательный план военных действий с обеих сторон.

Для составления плана военных действий Миних в конце 1736 года отправился в Петербург. 23 января 1737 года он выехал оттуда и с дороги благодарил императрицу: «За всемилостивейшее отправление с высочайшею милостью и с полною на все его представления резолюциею и за пожалование украинскими покойного графа Вейсбаха и прочими деревнями, за которые неизреченные высокие милости долженствует он со всею фамилиею вечно бога молить и рабские службы оказывать до последней капли крови». В Глухове Миних свиделся с Леси, отдал ему составленный в Петербурге план кампании и держал с ним конференцию насчет общих действий. 40000 рекрутов пополнили армию; в Брянске усиленно работали над судами, которые должны были спуститься вниз по Днепру и действовать на Черном море. Надобно было спешить распоряжениями, потому что 12 февраля, на Масленице, неприятель переправился чрез Днепр выше Переволочны, причем истреблен был на льду реки русский отряд, состоявший с небольшим из 100 человек, но при нем находился генерал Лесли; генерал был убит, сын его взят в плен; в тот же день татары напали на подполковника Свечина; тот отбивался пять часов, до самой ночи, и отбил, причем взял в плен мурзу с тремя татарами и освободил из плена 150 малороссиян. Но 16 числа неприятель переправился обратно за Днепр, потому что полили дожди и надобно было опасаться скорого вскрытия рек. Несмотря на то, Миних был очень смущен этим событием и писал в Петербург: «Бесчисленные примеры в истории военного искусства показывают, что еще не сыскано никакой возможности границы, растянутые от двух до трехсот миль, как от Киева и от Днепра до Азова и Дона, охранить так, чтоб легкий неприятель в какое-нибудь место не прорвался, потому что если везде войско иметь, то на таком протяжении надобно его сильно раздробить». Миних жаловался также на запорожцев, которые дали знать о приближении неприятеля только 11 февраля.

После этого неприятель не появлялся более в русских пределах и дал Миниху время приготовиться к походу; целью похода был Очаков. В конце апреля войско выступило в поход в числе от 60 до 70000 человек; между именами генералов находилось давнее знакомое имя – Александра Ивановича Румянцева. В 1735 году он был освобожден из ссылки, восстановлен в прежнем чине генерал-лейтенанта, получил опять Александровскую ленту, сделан астраханским, а потом казанским губернатором и назначен командующим войсками, отправленными против взбунтовавшихся башкирцев; теперь, когда бунт стих, Румянцева назначили правителем Малороссии, но скоро потом перевели в действующую армию.

Степи войско прошло беспрепятственно; только недалеко от Очакова татары выжгли степь, отчего русская армия должна была оканчивать поход в пыли и пепле. 30 июня она приблизилась к Очакову, и в военном совете было положено сделать нападение на крепость как можно скорее, чтоб гарнизон, и без того уже сильный, не дождался новой помощи от турок. В ту же ночь начаты были осадные работы, которым мешали краткость ночи и лунный свет. На другой день, 1 июля, в 6 часов утра началась сильная перестрелка, и к вечеру неприятель принужден был отступить за палисадник, а русские приступили к крепости под ружейный выстрел; урон с обеих сторон считали равным, взятых в плен не было, «ибо наше войско, а особливо козаки никому пощады не чинили». Днем турки тушили

производимые русскою артиллериею пожары в городе, но в ночи произошел почти в самой середине города сильный пожар, и на рассвете 2 числа большая часть города находилась в пламени. Фельдмаршал хотел воспользоваться этим и на рассвете же приказал палить беспрестанно из мортир и пушек, сколько они снести могли, и велел подойти к городу половине армии с барабанным боем и распущенными знаменами и всеми полковыми пушками, чтоб испугать неприятеля генеральным штурмом и отвлечь от тушения огня. Это средство удалось, пожар тушили плохо, и чрез несколько часов два пороховые магазина взлетели на воздух. Между тем русское войско с правого крыла под начальством генерала Румянцева и Бирона, а с левого – Кейта и Левендаля приступило к городу так близко, что фельдмаршал принужден был подкрепить его остальным войском, которое повел сам с обнаженною шпагою в сопровождении герцога Антона Ульриха брауншвейгского. Но русские под самым гласисом задержаны были широким и столь глубоким рвом, что спустившиеся в него солдаты не могли друг другу помочь вылезти, и русское войско очутилось в 15 или 20 шагах от палисадника без всякого прикрытия под беспрестанным неприятельским огнем. Несмотря на то, «акция» в такую сильную горячность пришла, что с обеих сторон все гранаты и патроны из сум выстрелены были, так что, пока патронные ящики были привезены к осаждающим из лагеря, турки бросали лопатками, кирками, топорами, камнями и землею, а русские отбрасывали им эти вещи обратно. Русские во время этой «акции» подались несколько назад. Так представляется дело в донесении Миниха; другие известия не противоречат донесению, но чрез прибавку некоторых черт выставляют дело резче. По одному из них войска, находясь два часа под огнем, двинулись наконец назад в значительном беспорядке; в то же время несколько сот турок сделали вылазку и убили много отступавших русских, преимущественно раненых, не могших скоро идти; если бы сераскир сделал вылазку с целым гарнизоном, то нанес бы русскому войску решительное поражение и заставил бы его не только снять осаду, но и оставить турецкие владения. Фельдмаршал был в отчаянии, думая, что все погибло. Другое известие прибавляет, что у Миниха выпала из рук шпага, и он, ломая руки, закричал: «Все пропало!» Но страшный пожар, все более и более распространявшийся в городе, поправил дело осаждающих: он нагнал на турок такой страх, что несколько тысяч конницы и пехоты бросились из города к морю, но русские, ободрившись, наступили на них с артиллериею, побили и потопили людей и лошадей. Тогда осажденные в 10 часу пополудни убрали с валу все знамена, на одном бастионе выставили знамя и прислали фельдмаршалу янычарского офицера с просьбою прекратить неприятельские действия на 24 часа; Миних обещал исполнить просьбу, если турки отдадут одни ворота русскому караулу и пришлют аманатов, но в это самое время пришло известие, что русские гусары и казаки уже ворвались в крепость с морской стороны тем проходом, которым сераскир с пашами хотел бежать к галерам и который в смятении оставался открытым. Таким образом, Очаков был взят приступом, и сераскир опять прислал к фельдмаршалу, сдаваясь на всю его волю, прося только о пощаде жизни. Турки объявили, что в этот день, от рассвета до десятого часа, погибло более 10000 человек обоего пола как от русского огня, так от пожарного и взрыву магазинов. Победителям досталось в плен 4650 человек; русские потеряли убитыми 8 штаб-офицеров, 39 обер-офицеров, 975 нижних чинов; ранены были 5

генералов, два бригадира, 27 штаб-офицеров, 55 обер-офицеров и 2752 человека нижних чинов. «Очаковская крепость, – писал Миних, – будучи сильна сама собою и окрестностями, имея многочисленный гарнизон, 86 медных пушек и 7 мортир, снабженная провиантом и военными запасами с излишеством, имея также свободное сообщение с моря, где находилось 18 галер и немалое число прочих судов с пушками, ожидая на помощь из Бендер 30000 войска, а в августе самого визира с 200000, могла бы обороняться три или четыре месяца долее, чем Азов, и, однако, взята на третий день. Богу единому слава! Я считаю Очаков наиважнейшим местом, какое Россия когда-либо завоевать могла и которое водою защищать можно: Очаков пересекает всякое сухопутное сообщение между турками и татарами, крымскими и буджакскими, и притом держит в узде диких запорожцев; из Очакова можно в два дня добрым ветром в Дунай, а в три или четыре в Константинополь поспеть, а из Азова нельзя. Поэтому слава и интерес ее величества требуют не медлить ни часу, чтоб такое важное место утвердить за собою, и так как огнем, кроме крепости, все разорено, то не должно жалеть денег на построение казарм, цейхгаузов, церкви, гошпиталей, магазинов, лавок и прочего, надобно прислать из Адмиралтейства великое множество архитекторов, плотников, каменщиков, также материалов; о бревнах и досках я уже писал к командующему в Малороссии князю Борятинскому и киевскому губернатору Сукину; я армиею сколько возможно стану работать, но Кабинету следует чрезвычайную помощь подать рабочими людьми и деньгами. Сегодня давал один из пленных турок, не из самых важных, 20000 рублей выкупу за себя, и надеюсь, что миллион рублей от всех пленных получить можно. В Брянске суда надобно достраивать и послать туда искусного и прилежного флагмана и мастеров; взять в службу старых морских офицеров из греков, которым Черное море известно; на порогах при низкой осенней воде большие камни подорвать, чему я велю сделать пробу. От состояния флотилии и от указа ее величества только будет зависеть, и я в будущем году пойду прямо в устье Днестра, Дуная и далее в Константинополь».

Относительно укрепления Очакова не было отказа: в Малороссию к князю Борятинскому отправлены были указы о посылке в Очаков плотников, каменщиков, всякого рода работников и материалов, и, кого и чего в Украине не достанет, брать из ближайших губерний: отправлены были указы в Киев и Брянск о сыске по Днепру и Десне готовых бревен и досок и немедленной сплавке их к Очакову. Миних представил к получению двухмесячного жалованья всех офицеров и рядовых за то, что они «поступали против неприятеля, как верным рабам императорского величества надлежит, зело храбро, не щадя живота своего». Но в Петербурге определено было выдать жалованье только за месяц и только тем, которые действительно были при атаке; генералитет и штаб-офицеры обнадежены особенными наградами. Миних писал: «При благодарственном молебствии за взятие Очакова Архангельского драгунского полка священник Афанасий Клянцев чинил проповедь, но моему разумению, видится, изрядную и вашему величеству угодную, и человек суть (sic) доброго состояния и достойный высочайшей милости». Фельдмаршал переслал в Петербург и проповедь, о которой может дать понятие следующее место: «О, Александре великий и всебессмертний славы прежняго века монархе! аще бы были дние живота вашего в нынешнее время, довольно было бы со удивлением очесам и уму вашему, видивше таковые

российского воинства операции, их же к похвалению вся историческая писания изречти не возмогут, за счастьем всемилостивейшей государыни нашей, трудами же и верностию, что суть нынешняго века империи Российской воинства, ибо неусыпными трудами и денным и ночным попечением Петра Перваго, который в жизни сей кто и каков был, сей и ныне богомужественным действием жив российский Самсоп, каковый дабы мог явиться, никто в мире не надеялся, но явившемуся весь мир удивлялся: застал он в России свою силу слабую и соделал по имени своему каменною, адамантовою; застал воинство в доме вредное, в поле некрепкое, от супостат ругаемое, а ввел. отечеству полезное, врагом страшное, всюду грозное; такожде неслыханное от века дело совершивше, строение и плавание корабельное, новый в свете флот, но и старым не уступающий, власть же российскую, прежде на земле зыблющуюся, ныне и на море крепкою, состоятельною сотвори». В начале проповеди оратор называет Иоанна Богослова «самой небесной монархии министром и секретарем тайн божиих».

Приведши в оборонительное состояние Очаков, «неприятельскую в ноги занозу», как выражался Миних, он 5 июля двинулся к Бугу и пошел вверх по этой реке в ожидании турецкого войска. 21 числа в удобном месте, при устье речки Чичаклеи, армия начала переправляться на другую сторону Буга по недостатку конских кормов от степных пожаров и, приблизившись к Лиману, остановилась в 40 верстах от Очакова. По Днестру, как писал Миних, нельзя было предпринять никаких дальнейших действий по отсутствию судов и мостов; в продолжение двух месяцев было не более трех дождей, отчего вода в Буге и Лимане позеленела и стала вредною для больных; так как степные пожары продолжались, то фельдмаршал принужден был 24 июля отпустить запорожцев к Кизикермену; 1 августа – гвардию с пленными и генерала Румянцева с некоторыми драгунскими и ландмилицкими полками по прежней дороге, которою войско подошло к Очакову; 17 августа – донских козаков прямо к Самаре: наконец, видя в кормах крайний недостаток, 22 августа отпустил и генерала Бирона с остальными драгунскими полками и частью украинских козаков; при фельдмаршале на Лимане осталось 27 пехотных полков с гусарами и остальными козаками. В конце августа Миних отправился водою в Очаков и Кинбурн для осмотра этих крепостей и для совету с морскими офицерами, находившимися на прибывших сверху судах: но контр-адмирал Дмитриев-Мамонов, несмотря на строгие предписания фельдмаршала, не приехал в Очаков; вообще морских служителей Миних нашел очень мало, особенно офицеров; старший из них, капитан Брант, был болен, а другие офицеры на требование Миниха, чтоб были готовы на своих судах к морскому походу, отвечали, что на их флоте в море показаться никак нельзя, суда годны только на Днепре да на Лимане. «И понеже, – писал Миних, – по моему рассуждению, благополучное произведение будущей кампании и все авантажи зависят от того, кто на море сильнее быть может, того ради всеподданнейше прошу указать о строении довольного числа годного флота, а понеже ныне уже время позднее, а расстояние от границ немалое, того ради я и с достальным войском следую к границам, куда прибыть надеюсь поздно».

Миних на 1737 год довольствовался взятием Очакова, выставя при всяком удобном случае чрезвычайную важность этого приобретения, но вот пошли слухи, что Очаков взят вопреки всем принятым военным правилам, и эти слухи пустил австрийский полковник фон Беренклау, находившийся при Минихе во время

взятия Очакова. Беренклау писал, что Очаков был атакован против военных обычаев, не устроивши надлежащих батарей, не дождавшись всей осадной артиллерии, только с четырьмя мортирами и шестью пушками. На это обвинение Миних отвечал, что военный совет решил брать крепость немедленно приступом, без формальных атак, потому что около Очакова весь фураж было потравлен и пожжен, так что русскую армию можно было держать под Очаковым не более осьми дней. Миних прибавил при этом: «Если решение военного совета было неизвестно Беренклау, то это можно считать опытом умения сохранить тайну; что же касается артиллерии, то выходит, что Беренклау ее не видал, ибо действовали 15 пушек, 8 мортир и 4 гаубицы». Потом Беренклау упрекал Миниха в том, что русское войско во время штурма стояло без всякого прикрытия и в солдат стреляли, как в собак, насмерть. Миних возражал: «Когда русское войско, пользуясь пожаром, приступило к крепости и стояло без всякого прикрытия, то тут полковника Беренклау было не видно. В настоящее время по воинским правилам войско во время штурма или сражения в прикрытии никогда не бывает, так и наше войско в означенное время стояло без прикрытия и беспрестанно стреляло, отчего неприятельский гарнизон, кроме пленных, был весь побит и вокруг крепости мертвые тела людские и конские сплошь лежали в кучах непроходимых. При этом генеральном штурме, как иначе быть не может, с нашей стороны около тысячи человек побито, и приличнее сказать, что они пали как храбрые люди и прямые солдаты, а не, как собаки, были перестреляны; турецкий же гарнизон, стоявший за стеною и палисадами, потерял от 18 до 19 тысяч побитыми». Беренклау писал к своим, что очаковским штурмом русская армия разорена вконец, так что в ней не более 40000 человек здоровых, урон нынешнего года превышает урон прошлого; большая часть драгун пеши, а у конных лошади очень плохи, притом на дороге к Очакову пало до 14000 лошадей и пар волов. Миних возражал: «По подлинным репортам от полковых командиров, при штурме побито 1022 человека, ранено 2841, и из раненых большая часть вылечились и службу исправляют, а во время похода к Очакову. в людях и лошадях почти никакой потери не было». По донесению Беренклау, в бытность под Очаковым пали многие тысячи лошадей и волов, потому что от 7 до 17 июля не было фуражировано, хотя фуражировать было можно. Миних возражал: «Это известие основательно в том смысле, что служители Беренклау опоздали, не вышли вместе с фуражирами и донесли ему, что фуражировать запрещено. Фуражировали до 5 июля, когда армия за неимением фуража отошла от Очакова. От этого недостатка фуража и чрез мерных жаров пало лошадей 1720 да волов 685 пар, но их в армии было с излишеством, и от неприятеля гораздо более получено в добычу, чем сколько потеряно». Беренклау писал, что по взятии Очакова армия приведена была в такое бессилие, что не могла предпринять ничего более, и если б турки на нее напали, то не встретили бы сопротивления. Миних на это мог отвечать одно, что армия отведена от Очакова с викторией, в добром состоянии. Беренклау объявлял, что на русское войско напал великий страх и оно быстро удалялось от Очакова, рассылая козачков далеко в степь, чтоб выжигать ее и тем затруднять преследование турок. Эту «бесстрашную и бесстыдную ложь» Миних опровергнул указанием на медленность движения, особенно сравнительно с походом к Очакову. Русский двор жаловался австрийскому на Беренклау, который позволил себе так клеветать на Миниха. Беренклау не появлялся более в русском лагере, но у фельдмаршала

был адъютант, известный Манштейн, который в своих мемуарах делает ему не менее сильные упреки, как и Беренклау. «Надобно было иметь счастье Миниха, чтоб выйти с успехом из этого дела, – говорит Манштейн, – потому что после ошибок, сделанных фельдмаршалом, он заслуживал быть разбитым и принужденным снять осаду. Он начал нападение, не разузнавши сначала, каким образом город был укреплен, даже не зная его положения: он велел приступить к стороне, наиболее укрепленной, не имея необходимых вещей для перехода через ров, о существовании которого не имели понятия, пока не подошли к нему, тогда как было бы гораздо легче овладеть городом со стороны моря, где он защищался простою стеною, и то во многих местах поврежденною».

В начале октября Миних съехался в Полтаве с вице-адмиралом Сенявиным, который был назначен командиром очаковской флотилии с обязанностью поступать во всем по наставлениям фельдмаршала. Миних уговорился с Сенявиным, какие суда строить в Брянске и как спускать их к морю, причем положил Сенявину в Очаков не ехать, а быть в Брянске для надзора за постройкою судов. Фельдмаршал писал императрице: «На вице-адмирала крепкую надежду иметь. можно, что он порученное ему дело исправит, от приготовления же нового надежного флота зависит возможность принудить турок к миру, потому что я тогда могу за неприятельским флотом всюду следовать и брать турецкие корабли, как крепости». Так как положено было устроить верфь несколько повыше Запорожской Сечи, то Миних писал по этому случаю: «Поступками запорожских козаков я очень доволен, все мои предписания они исполняют, жалованием и провиантом удовлетворены, кроме того, получили большую добычу в нынешнюю и прошлогоднюю кампании и потому очень довольны, присылали ко мне депутатов с благодарностию. Хотя они люди дикие, но своевольных теперь между ними немного, и нельзя думать, чтоб они могли затеять что-нибудь противное; строение верфи не может их раздражить, потому что она выше их Сечи и не в близком расстоянии, однако за поступками их я прилежно наблюдаю». Но в то время как Миних уговаривался в Полтаве с командиром очаковской флотилии, Очаков должен был выдержать осаду от турок. Комендантом Очакова был генерал-майор Штоффельн; гарнизон вначале состоял из 8000 человек, но болезни уменьшили его до 5000, когда в октябре месяце под стенами крепости появилось 20000 турок и столько же татар. Несмотря на несколько отчаянных приступов, гарнизон отбил, и турки побежали от Очакова, потерявши под его стенами больше 20000 человек как от оружия осажденных, так и от болезней, происходивших от позднего времени года и от непрерывных дождей. Гарнизон потерял с лишком две тысячи.

Обратимся к действиям другого фельдмаршала. 3 мая Леси выступил из Азова с двадцатипяти тысячным корпусом, в котором почти поровну было регулярных и нерегулярных войск. Армия должна была переправляться через реки Миус, Калмиус, Калчук. Берды, Молочные Воды, 7 июля перешла Гнилое море и направилась к Карасу-Базару: села и деревни по рекам Салгиру и Индаки были разорены и выжжены. 12 июля за 29 верст от Карасу-Базара Леси встретил татарское войско под предводительством самого хана, разбил и гнал его 15 верст до самых гор, которые скрыли бегущих. После этого регулярное войско отдыхало на реке Карасу, а нерегулярное рассеялось во все стороны разорять и жечь: в этом деле особенно отличились калмыки, которые в один день привели в лагерь тысячу

человек пленных и много другой добычи. 14 июля русское войско снова поразило неприятеля перед Карасу-Базаром и выжгло этот город; потом, идя к Сангару, опустошило все на 15 или 20 верст; неприятельские нападения не причиняли большого урону, но сильно тяготили жары, недостаток воды и конских кормов, так что по решению военного совета 24 июля фельдмаршал направился к Молочным Водам, а оттуда к Волчьим и Самарским вершинам. Уведомляя императрицу о своем походе, Леси оканчивал так: «А чтоб больше в Крыму быть и для разорения перекопской линии иттить, оного за вышеписанными препятствии ни по которым мерам без великого армии разорения миновать было нельзя, а ныне оная, кроме одного лошадиного упадка, при всяком благополучии состоит».

Теперь посмотрим, как действовали союзники-австрийцы. Мы видели, что граф Кенигсегг отправил визирю письмо, в котором высказывалось желание мира. Такой тон письма всего более должен был способствовать к тому, что ответ был прислан неудовлетворительный, и в Вене увидали необходимость войны против турок. Начались конференции, в которых кроме министров и генералитета участвовали президент камеры и директор банка, ибо дело шло о средствах к войне. По указу цесаря придумывались всевозможные способы, как бы достать денег внутри государства; цесарь сказал: «Где бы ни взять и во что бы ни стало, хочу царице сдержать слово, потому что она честно исполняет свои обещания». В начале мая вся цесарская армия должна была собраться на турецких границах. Наступил май, пришло известие, что Миних перешел Днепр, и Ланчинский начал ездить по министрам с «докучными и пространными представлениями», что пришло время цесарскому войску вступать в Турцию. Министры отвечали: «Хотя русская армия через Днепр и перешла, однако цесарское войско в то же время в неприятельскую землю вступит, если не раньше; весна холодная, и русская армия не найдет за Днепром довольно фуражу. Не беспокойтесь, все будет исправно: мы должны действовать, потому что, так сильно истратившись, мы будем требовать себе от турок вознаграждения, а без военных действий получить его нельзя». Несмотря на то, от 7 мая Ланчинский писал, что медленность австрийцев его сокрушает; из Петербурга присылали ему приказания торопить министров и объявить им, что русская императрица никак не согласится на остановку военных действий, к мирным договорам может быть приступлено только с оружием в руках, к Миниху отправлены новые указы, чтоб отнюдь не останавливался вследствие делаемых турками предложений. «И у нас решено, – отвечали министры, – чтоб не допускать до перемирия, не надобно давать неприятелю времени собирать силу, а мы с своей стороны делаем все, чтоб как можно скорее начать военные действия; кавалерия за неимением травы в полях везла с собою сено». Генерал Секендорф откровенно признался, что дело не за ним, а за деньгами: нужно три миллиона гульденов, а налицо только один. Наконец генералы отправились из Вены к армии, которая начала двигаться к границам; прошел май, июнь; в начале июля в Вене с нетерпением ждали от фельдмаршала Секендорфа известия о вступлении его в неприятельскую землю, «а между тем, – писал Ланчинский, – усматривается здесь опасение насчет продолжения войны: и на нынешнюю кампанию денег с трудом сыскали; поэтому нетерпеливо ожидается известие о начатии конгресса, мира алчно желают». Наконец пришло известие, что в самом начале июля Секендорф перешел турецкую границу со стороны Ниссы и начал успешно неприятельские действия. Скоро пришло

известие о сдаче Ниссы, но зато в Боснии дела шли неудачно, так что известие о взятии Очакова Минихом не могло ослабить грустного впечатления от известий из Боснии.

Между тем еще в марте месяце отправлены были в Немиров на конгресс с турецкими уполномоченными действительный тайный советник и сенатор барон Шафиров, обер-егермейстер Волынский и тайный советник Неплюев, бывший резидентом в Константинополе; им дано было на содержание и другие расходы 20000 рублей, три тысячи золотых червонных да мягкой рухляди на 4000 рублей; с цесарской стороны уполномоченными на конгрессе были назначены граф Остейн, посланник в Петербурге, и барон Тальман, посланник в Константинополе. Русские уполномоченные получили от своего двора инструкцию смотреть на цесаря не как на посредника, но как на действительного союзника России и содоговаривающуюся сторону и потому не позволять австрийским уполномоченным таких поступков, которые бы давали им вид посредников. Шафиров, Волынский и Неплюев должны были ехать сначала в Киев и самим от себя туркам не отзываться, первого шага не делать, а предоставить графу Остейну, потому что конгресс собирается по настоянию австрийского двора. Так как граф Остейн без сомнения будет сношаться с находящимся при визире бароном Тальманом, то при всякой посылке от Остейна к Тальману русские уполномоченные должны под видом провожания или под каким-нибудь другим предлогом посылать надежного человека не только для надлежащего присматривания под рукою поступков обоих цесарских министров, но и для проводывания о всех турецких движениях, равно как постоянно отыскивать всякие способы и пути для добывания надежных ведомостей, которые сообщать как в Петербург, так и фельдмаршалу Миниху. Морские державы Англия и Голландия предлагают свою медиацию, но нам принять ее трудно, потому что морские державы для торговли и других связей своих с турками всегда имеют причину щадить Порту; вот почему с здешней стороны убегали от принятия этой медиации, стараясь всегда отыскать непосредственный путь к сношениям с Турциею. Так, если английский и голландский послы по призыву визиря явятся на конгресс, то полномочные министры должны с ними обходиться дружески, только от принятия их медиации учтивым образом отходить, отговариваясь неимением указа.

11 июля уполномоченные приехали в Немиров. Они могли надеяться, что весть о взятии Очакова Минихом сделает турецких уполномоченных сговорчивее, но ошиблись: турки объявили секретарю австрийских уполномоченных, что успехи русских вовсе не так велики, как разглашается, что русская армия при взятии Очакова потерпела такой урон, что не в состоянии более ничего предпринять, и потому у них, турок, будет довольно времени поправить свои дела. Цесарские министры с своей стороны объявили русским уполномоченным, что находящийся при армии Миниха австрийский полковник Беренклау дает знать то же самое и упрекает фельдмаршала, что город взят без всякого порядка, отчего и потеряно так много людей. Граф Остейн сообщал все это с великим сожалением и оговорками, чтоб русские уполномоченные не оскорблялись его словами, что он принужден объявить об этом как министр союзного государя, и просил, чтоб уполномоченные не ссорили его и полковника Беренклау с графом Минихом. Потом Остейн начал жаловаться, что турки, безопасные теперь с русской стороны,

обратят все свои силы против Австрии, которая одна должна будет взять на свои плечи всю тяжесть войны, и от настоящих переговоров с турками нельзя ожидать успеха, потому что турки будут держать себя высоко, как уже и теперь видно из их поступков. В Вене Кенигсегг жаловался Ланчинскому на беспрестанные злоупотребления, особенно на болезни, свирепствовавшие в цесарской армии от нездорового воздуха: хотя больные и не умирают, но не могут служить службы; заболевают и генералы; скот падает неслыханным образом. Шафиров, Волынский и Неплюев находились в очень неприятном положении, не зная, кому и чему верить, тем более что не получали от Миниха ни одной строки, тогда как сами писали к нему уже пять раз; они не знали ничего верного об успехах русского оружия, а в инструкции им было сказано, чтоб они соразмеряли свои требования именно с этими успехами. До сих пор благодаря лету уполномоченные стояли в палатках около Немирова, но если конгресс протянется и наступит осень, то оставаться в палатках будет нельзя, а в городе жить негде, ибо Немиров представлял самое бедное местечко. Боялись и разбойников (гайдамаков), которые собирались большими шайками и уже разорили несколько окрестных деревень; кроме гайдамаков могли напасть и татары. Цесарские министры требовали от русских, чтоб те писали к своему двору о перемене места конгресса, и предлагали Львов, но русские не соглашались по отдаленности Львова от русских границ и от русского войска и предпочитали город Полонный.

Между тем надобно было начать переговоры. Остейн убедил русских уполномоченных оказать учтивость турецким, сделать им первый визит, как прежде приехавшим. Этот визит был сделан 29 июля, и цесарские послы были у турок накануне. 30 числа турки отдали визит австрийским уполномоченным и 31 – русским. Остейн для первой конференции приготовил речь на латинском языке, и когда сообщил ее русским уполномоченным, то они сделали в ней поправки, потому что он хотел показаться главою конгресса и обратить речь не только к туркам, но и к русским. В это время пришло известие о смене великого визиря, на место которого назначен бендерский сераскир Мусук-Оглу-паша. Это известие произвело неприятное впечатление в Немирове, потому что Неплюев знал нового визиря как человека отважного, и потому можно было предполагать, что он нападет на армию Миниха.

В начале августа приехал в Немиров курьер от Миниха: фельдмаршал давал знать, что он переходит с армиею на сю сторону Буга и будет медленно двигаться в надежде встретить турецкую армию, с которою хочет разделаться оружием: курьер рассказывал, что армия потеряла под Очаковом немного более двух тысяч убитыми да около трех тысяч было ранено, а лошадей и волов потеряно около сорока тысяч, потому что татары всю степь выжгли. В то же время получено было известие о взятии австрийцами города Ниссы; Остейн придавал важное значение этому успеху, говорил, что взятие этого одного города выгоднее двух выигранных сражений, потому что у турок теперь нет более прикрытия, австрийская армия может идти беспрепятственно вплоть до Константинополя. 5 августа начались конференции. Русские уполномоченные объявили, что так как в прежних ссорах и в настоящей войне виновны татарские народы, то, пока эти народы будут существовать между обеими империями, мир между ними невозможен, и потому земли татарские: Кубань, Крым и прочие, до реки Дуная лежащие, должны остаться со всеми жителями и крепостями во владении Российской империи. Ее

императорское величество желает этого не для прибыли какой-нибудь, но для вечного покоя, ибо и Порты от этих диких народов никакой выгоды не получала. С той же целью, т.е. для сохранения мира, императрица требует, чтоб Валашское и Молдавское княжества получили независимость под особыми владельцами, только по единоверию будут они пользоваться покровительством России. Эти требования были представлены под тем условием, чтоб и союзник императрицы, цесарь, был удовлетворен в своих требованиях, потому что одна сторона без другой мира не заключит. Турецкие уполномоченные отвечали, что такие требования со стороны России несоразмерны с успехами ее войск; что Турция вовсе не находится в таком состоянии, чтоб должна была принять такие тяжкие условия; надобно припомнить, что Порты, находясь во время прутской кампании и в более выгодном положении, чем теперь Россия, удовлетворялась, однако, одним городом Азовом. Русские уполномоченные повторяли, что императрица желает одного: именно таких границ, при которых был бы возможен вечный мир; что русские войска еще находятся в походе и от турок зависит порешить с ними дело в свою пользу; что они, русские послы, не говорят, в каком состоянии находится Турция, а о Пруте упоминать не хотят, потому что если говорить подробно о всех тогдашних поступках Порты, то уполномоченным турецким было бы не очень приятно слышать. «Если такой мир будет заключен, – говорили турки, – то не нужно и договора писать: государства друг от друга удалятся так, что и в сношениях не будет нужды; такой мир не мир, но порабощение или плен». По окончании конференции австрийские уполномоченные начали говорить русским, что напрасно они упоминали о Валахии и Молдавии, потому что первая вся, а второй немалая часть уже находятся во владении цесарском, и давали знать, что Австрия имеет в виду требовать Валахии себе. Остейн упоминал о разговорах турецких уполномоченных еще прежде конференции, что Порты рискнет и Константинополем, а Крыма не уступит; Остейн прибавил, что если императрица будет настаивать на уступке Крыма, то не только Немировский конгресс разорвется, но и в десять лет мир не получится, да и другие государи не позволят России овладеть Крымом, как о том послы их в Константинополе явно говорили; Остейн прибавил, что Австрия с своей стороны готова помириться с удержанием того, чем теперь владеет (*uti possidetis*), и думает, что Россия может ограничиться Азовом, Очаковым, Кинбурном, ногайскими и кубанскими землями.

Представления Остейна и еще более известие, что Леси вышел из Крыма, заставили русских уполномоченных умерить свои требования. Следующую конференцию начал рейс-эффенди словами, что условие о границах, предложенное русскими уполномоченными, несносно; как такого великого владетеля, т.е. хана крымского, столько веков государствующего, со многими князьями, мурзами и многочисленным народом искоренить? Русские уполномоченные отвечали, что если уступка Крыма так тягостна для Турции, то Россия удовольствуется, чтоб границею была река Днестр; земли от Азова до Днепра, Кинбурна, Кубани и остров Тамань останутся в русских владениях: перекопскую линию турки должны разорить. Турецкие уполномоченные требовали для ответа сорок дней сроку, потому что на такие важные уступки султан без совета решиться не может.

Во всех этих переговорах участвовали только Шафиров и Неплюев, Волынский был болен: оправившись, он поехал 16 августа к турецким

уполномоченным благодарить их за посещение во время болезни, а между тем хотел воспользоваться этим случаем, чтоб войти с турками в ближайшие объяснения. Турецкие уполномоченные сами желали таких объяснений и, выславши лишних людей, начали говорить: «Мы сильно желаем мира с Российской империею, но встретились нечаянно такие затруднения, что сами не знаем, что делать: другие в эту войну примешались и хотят корыстоваться, и мы не знаем, кому из двоих удовлетворять». «Вы, – отвечал Волынский, – как искусные министры, легко можете рассудить, кого прежде надобно удовлетворить и кто главная воюющая сторона». «Мы бы сыскали средство удовлетворить Россию, – сказали турки, – но римский цесарь нам несносен; пристал он со стороны без причины, для одного своего лакомства, и хочет от нас корыстоваться; Россия – другое дело, ваши условия нам известны, но цесарские министры только затрудняют и проволაკивают дело, и мы принуждены послать к султану с донесениями переводчика Порты, а сами оставаться здесь без дела». Волынский отвечал на это, что отсутствие переводчика Порты не беда, его место в сношениях между русскими и турецкими уполномоченными может занять ассессор русского посольства Муртаза Тевкелев, человек, на которого можно вполне положиться. Турки с радостью приняли это предложение, и Тевкелев на другой же день начал сношения с ними. Турецкие уполномоченные прямо объявили ему, что с Россиею они могут обо всем договориться без отписки к Порте, но держит их одно объявление – что Россия и Австрия друг без друга удовлетворены быть не могут, и потому без решения вопроса, как будет вести себя Россия относительно цесаря, когда получит полное удовлетворение, они не могут приступить к переговорам об этом удовлетворении. Семнадцатого же августа Шафиров и Волынский отправились к графу Остейну, чтоб сообщить ему вчерашний разговор Волынского с турками и не подать преждевременно повода к подозрению. Как только Остейн услышал, что Волынский был у турок, то сказал со смехом: «Вы у них порядочно-таки высидели; я сам был недалеко и подумал, что уже вы окончательно заключили с ними мир». «Вы действительно были недалеко, гуляли на другой стороне пруда, – отвечал Волынский, – и если бы я был так счастлив, что как приехал, так и мир заключил, то, разумеется, поспешил бы, по близости, пригласить и вас участвовать в этом заключении». Потом Шафиров и Волынский сообщили Остейну по секрету, какие упреки делают турки австрийцам за остановку дела. «В Остейне вдруг произошла перемена: прежняя веселость исчезла, и он начал толковать серьезно о необходимости в этом же году общими военными действиями принудить турок к миру, что если этот год будет пропущен, то в будущем мира не получить: что другие державы не позволят ни России, ни Австрии распространять своих завоеваний за Дунаем; наконец, просил, чтоб из Петербурга присылали в Немиров известия о персидских делах. Шафиров и Волынский отвечали, что Россия до заключения мира не прекратит военных действий; что Австрия должна показать умеренность в своих запросах, чтоб не возбудить подозрительности других держав; что сколько дело ни тянуть, а наконец надобно же изъясниться о своих условиях. Разговор шел дружеский, но Шафиров и Волынский заключили, что Остейн сильно встревожен пересылками между русскими и турецкими уполномоченными.

В августе же Тевкелев отправился к туркам с объявлением, что на вопрос их не будет ответа, потому что вопрос сделан прямо с целью испытать крепость

союза между двумя императорскими дворами. Если турецкие послы имеют полную мочь и прямое намерение удовольствовать Россию, то пусть объявят, примут ли объявленные им на конференции условия, после чего и русские послы изъяснятся, каким образом отнесутся они к своим союзникам. На это рейс-эффенди отвечал, что хотя они и не могут согласиться на все русские требования, однако могут найти средство удовлетворить Россию: что же касается Австрии, то они ни на четверть аршина не уступят ей земли, скорее все турки пропадут и Порта Оттоманская исчезнет. Они желают знать, какой способ сыщут русские послы отстать от своих союзников, а без этого не могут идти далее в переговорах. По возвращении Тевкелева уполномоченные написали в Петербург: «Турки хотят у нас выведать, чтоб потом поссорить с цесарем, как сначала пытались то же самое сделать с австрийцами чрез князя молдавского. Мы принуждены с ними поступать осторожно и дня два Тевкелева к ним не посылали, ибо и так уже цесарские послы немалое подозрение имеют».

Турки действительно хотели тянуть время и между тем разорвать союз между императорскими дворами. Австрийцы объявили наконец свои условия и неумеренностью их изумили и русских и турецких уполномоченных. Последние, разумеется, спешили с своими внушениями, что цесарцы полгода как вступили в войну и требуют вдвое более земель против русских. Шафиров, Волынский и Неплюев заметили Остейну насчет неумеренности австрийских условий и получили грубый ответ. В Петербурге рассердились на Остейна, и Остерман сказал австрийскому резиденту Гогенгольцеру, что если граф Остейн будет продолжать свою злобу против него, Остермана, то он принужден будет пасть к ногам императрицы и просить ее освободить его от сношений с цесарским двором. Между тем предложили срок, постановленный между Австриею и Турциею для окончания конгресса, именно 15 октября нового стиля, и вдруг Остейн объявляет русским уполномоченным, что он по предписанию своего двора должен предложить туркам новые, легчайшие условия мира и назначить новый срок для переговоров, именно последнее число октября. «Цесарь, – говорил Остейн, – хочет показать всему свету, что он мира желает, хочет уменьшением своих требований оправдаться, что не по его Вине мир не состоялся, ибо настоящие требования государя нашего так малы, что не стоят и двадцатой доли употребленных на войну иждивений». Русские министры представляли ему, что объявить новые, легчайшие условия мира, не получив ответа на прежде предложенные условия, – это значит ободрить турок: из уменьшения требований они легко поймут, что цесарю мир нужен. Остейн отвечал, что, имея от двора своего указ, иначе поступить не может: отложить объявление об уменьшении требований нельзя, потому что венский двор дал уже знать об этом другим дворам и Франция склоняет Порту к миру. Новые условия состояли в том, что цесарь отказывался от всех претензий на Молдавию и Валахию, но удерживал крепость Ниссу с остальною частию Сербии, бывшею до мира в турецком владении. Русские уполномоченные с своей стороны объявили, что императрица не требует Тамани, Темрюка и всех земель, лежащих по ту сторону Кубани, довольствуется Азовом, Очаковым и Кинбурном с пристойными границами. Но в ответ на эти требования турецкие уполномоченные объявили, что они уезжают, не имея права переговаривать на таких основаниях. Турецкие послы выехали из Немирова 10 октября; вслед за ними отправились австрийские, а потом и русские.

Австрийский двор, сильно встревоженный успехами турок и разрывом Немировского конгресса, обратился к Франции за дипломатической помощью. Из России спешили поддержать дух испуганного союзника, и 27 ноября Анна писала цесарю, что она нисколько не намерена удаляться от французского посредничества, но дела, слава богу, еще не в таком состоянии, чтоб нельзя было иметь основательной надежды на приличный мир, если только со стороны императорских дворов будет показана настоящая твердость и цесарь будет поступать с тою ревностию, какою обнадежил союзный двор и с какою поступает Россия. Императрица изъявляла полную готовность во всем условиться с цесарем относительно плана будущей кампании и «обязаться во всем, что только состоятельно и в ее возможности быть может», для чего велела быть в Петербург обоим своим фельдмаршалам.

Оба фельдмаршала были действительно вызваны. В начале 1738 года Миних возвратился в Полтаву очень довольный: жена и дочь его получили богатые подарки, сыну дана значительная сумма денег на отправление к заграничным водам; все было, по-видимому, улажено, как вдруг он получает в конце февраля рескрипт, из которого узнает, что императрица уведомила, будто во время прошедшей кампании при армии возили провиант по большей части мукою; из нее за неимением удобных мест и дров солдаты принуждены были печь хлеб в землянках травкою и питались некоторое время почти сырым тестом, а не печеным хлебом, отчего было не без потери в людях; будто при войске возили с собою принятые натурою мундирные и амуничные вещи, в которых во время похода нужды быть не может, отчего происходило затруднение лишними обозами и расход подъемным лошадям. Императрица приказывала изготовить на все войско сухарной толчи и толокна и при выступлении раздать на человека по фунту того и другого, а когда изойдет, то опять раздать, чтоб при них без перевода было по фунту; в местах, неудобных для печения хлеба, раздавать сухарями: а в удобных – печь хлебы, готовить сухари и толчу и с собою излишних тягостей не возить.

Оскорбленный фельдмаршал отвечал, что императрице донесено неосновательно. «Я, – писал Миних, – как поверенный главный командир по моей присяжной должности и ревности к службе особенно заботился о том, чтоб войско, и преимущественно больные, не имело никакой нужды в пропитании, чего в прошлогодние походы и достигнуто. Уже третий год, как я ношу на себе трудную должность комиссариата. Когда в 1736 году, отправляясь для осады Азова, я приехал в крепость св. Анны, то в тамошних магазинах не нашел ни одного куля муки, хотя там должно было быть 50 тысяч мешков: солдаты помирали с голоду, и мне не с чем было двинуться под Азов. Делать нечего, принял я комиссариатскую должность на себя и разослал офицеров вверх по Дону и Донцу; припасы были собраны, и я получил возможность двинуться к Азову и положить начало осаде. Приехал из-под Азова в Изюм: генерал-провиантмейстера Полибина нет, помощник его сидел под арестом за нерадение: я опять начал хлопотать о сборе провианта, и с князем Никитою Трубецким, и с армейскими офицерами столько его отправлено, что никакого недостатка не было и азовская экспедиция благополучно окончилась. Когда в том же, 1736 году предпринималась крымская экспедиция, то по прибытии моем на генеральное рандеву при Царицынке и в прочих магазинах провианту почти ничего не было, и я опять стал хлопотать, разослал офицеров для покупки в разные места, и столько было

получено, что в довольстве до Перекопи дошли, а в Крыму так много всего найдено, что некуда было брать, по дороге бросали и на возвратном пути до днепровских магазинов без нужды дошли. И перед очаковским походом в Персволочне я нашел провианта очень мало, провиантмейстер Рославлев под арестом сидел, но от этого толку не было, я сам с армейскими офицерами трудился над сбором, и дело опять вполне удалось. Что же касается до питания сырым тестом, то после долгих и зрелых рассуждений с генералитетом взято сухарей почти две трети против муки; о толчи же поданы были письменные мнения от генералитета, на основании которых ее не делали. Провиант мукою и сухарями выдавали по требованию от полков, смотря по местным удобствам, где можно или нельзя было дров достать: однако и в дровах не во многих местах была нужда, ибо, где лесу не было, там употреблялся камыш и толстый былник, как везде в Украине и на линии употребляют, кроме того, по моему приказанию для печения хлеба употреблялись все оставшиеся из-под провианта и других тяжестей сломанные телеги и роспуски, а что касается толокна, то его без указу вашего величества не заготовлялось и в здешних местах достать очень трудно. Потеря в людях бывала от того, что временно выдавалась мука для печения хлебов – этого никто доказать не может: ни один генерал, ни один полковой командир, ни один доктор не представил мне эту причину смертности, все показывали одно – что солдаты умирают от жаркого климата и дурной степной воды. Что солдаты пекут себе хлеб в землянках, то и офицеры и генералы то же делают, и солдаты навыкли печь такой хороший хлеб, что я сам в продолжение всей кампании другого хлеба при столе моем не употреблял».

В Петербурге спешили успокоить взволнованного фельдмаршала: императрица писала ему: «Основание сего известия, по которому мы вам о том сообщить запотребно рассудили, в том состоит, что отправленный в прошлом году отсюда полковник Епишков, слыша от солдатства такие разговоры, о том сюда партикулярно писал, и, когда то до Кабинета нашего дошло, обойтись не могли, чтоб вам о том не сообщить, дабы вы, будучи наилучше известны, что в том происходило и колико оное известие основано или не основано, нам о том потребное изъяснение дать могли, якоже для того оное дело на ваше рассмотрение отдано, и в прочем вам при том ни малейше какое изменение о ваших при поверенной вам нашей армии ревностных во всем диспозициях и известном в службе и по интересам нашим неусыпном радении не показывали, якоже оное нам неотменно по всемилостивейшей благоугодности касается, и мы как доньше, так и впредь на оное во всем в совершенной и бессумненной надежде пребываем, в чем вы весьма покойны и обнадежены быть можете». Над Епишковым нарядили следствие, и за неправильное объявление учинили ему крепкий реприманд.

Получивши от императрицы изъявление полной доверенности, Миних выступил в поход; 18 мая армия имела генеральное рандеву при реке Омельнике; 23 июня фельдмаршал с генералитетом переправились чрез Буг, но из Очакова и Кинбурна приходили постоянно дурные вести: тамошние гарнизоны таяли от заразительных болезней, которые начали распространяться и вверх по Днепру, появились в Сечи; по украинской линии устроены были карантинны. Буг был перейден беспрепятственно, но на Днестре, к которому армия приблизилась в июле, она была встречена неприятельскими выстрелами. 26 июля было довольно значительное дело с аккерманским султаном, который стоял с татарским и

турецким войском по сю сторону Днестра. В первых числах августа за неимением кормов армия должна была двинуться к речке Каменке, причем принуждены были везти с собою воду; скота и лошадей потеряно было много, а между тем неприятель окружал армию. «Здесьние места, – писал Миних, – для воинской операции такой большой армии очень трудны и неспособны, потому что в малых речках, впадающих в Днестр, для всей армии воды не довольно, высокие и каменистые берега мешают приблизиться со скотом для водопоя, а по самому Днестру по причине каменистых берегов еще хуже, нет ни кормов в достаточном количестве, ни удобных дорог, но везде глухие и пустые горы и буераки, а какие деревни и были, то татары разоряют и разгоняют обывателей, и потому нельзя знать подлинно, где достать воды и фуражу и миновать трудные дефилеи. Хотя неприятель сильно и часто нас окружал и нападал, однако в армии в продолжение всей кампании не более 700 человек побито и 250 ранено; напротив того, неприятель всякий день от нас немалый урон терпел и, конечно, был бы разбит, если б перешел на сю сторону Днестра; переход же нашей армии на ту сторону этой реки при нынешнем состоянии припряжки решительно невозможен. Генералитет весь в добром здоровье, а рядовые чрезвычайно бодры, и всякий желает сражения, дабы железо, свинец и порох в честь и славу вашего величества употребить, а везти все это назад с собою будет не без труда. Болезни, особенно в рекрутах, продолжаются, только опасности никакой не видно».

Кампания не удалась. Миних утешал императрицу тем, что в этой неудаче явно видна рука божья, потому что если бы армия перешла Днестр и двинулась к Бендерам, то должна была бы проходить страны, в которых свирепствовало моровое поветрие, тогда как теперь, чрез отступление, армия сохранена в целости. Но в Петербурге были безутешны, требовали, чтоб армия шла к Хотину или по крайней мере остановилась в ожидании дальнейших распоряжений, и Миних должен был отписываться, настаивая на невозможности продолжения кампании. «Кто решается на дело, успех в котором невозможен, тот не имеет права надеяться на божескую помощь, – писал он 8 сентября, – провианта у армии только до октября месяца; здесь уже началась необыкновенная стужа, трава вянет, и нет надежды продержатъ лошадей и скот в поле долее 1 октября; люди прошлую зиму покоя не имели и в продолжение всей кампании маршировали беспрестанно, а рекруты к армии приведены, когда уже полки из зимних квартир выступили, и многие померли, другие больны, остальные очень истомлены; в лошадях и скоте немалый урон; мундирные вещи по причине дурного прошлогоднего зимнего пути не все к армии привезены, и с собою ничего, кроме самого нужного, взять было нельзя; таким образом, армия должна немедленно обмундироваться в своих границах. Бомбы мы принуждены были зарыть и потопить, а тяжелые лафеты близ Днестра, где скот воды не имел и немалый упадок был, разбить, чтоб неприятелю не оставить; таким образом, осадная артиллерия в Киеве комплектована быть должна. Драгуны и солдаты бегут, и удержать их от побега можно только надеждою возвращения в отечество и покоя».

Но Миниху давали знать, что союзники, австрийцы, громко жалуются на возвращение его ни с чем из похода, чему приписывают свои неудачи и требуют вспомогательного русского войска для обороны своих земель.

4 октября из Киево-Печерской крепости Миних писал императрице, что вся армия благополучно достигла границы и регулярные полки размещены на зимних

квартирах, а нерегулярные распущены по домам. «Глубокую печаль, – прибавляет Миних, – в какую погружен генералитет вместе со мною, что нельзя было исполнить повелений вашего величества, может разогнать только высочайшее обнадеживание вашего величества, что нашими всеподданнейшими при сем деликатном деле поступками довольны быть изволите, чем бы я мог обрадовать генералитет после таких понесенных им в минувшую кампанию трудов. Жалобы австрийского двора на возвращение русской армии, на безуспешность обеих кампаний, вследствие чего будто бы все турецкие силы обратятся против Австрии, эти жалобы неосновательны: обоими нашими походами, и прошлогодним и нынешним, отвлечено было от австрийских границ сильное турецкое войско и все татары, и теперь когда наша армия благополучно возвратилась и в скором времени будет пополнена, то и впредь неприятель будет на нее смотреть и в этой стороне сильное войско держать. Что в воинских действиях против сильного неприятеля не всегда можно положенное в операционных планах исполнить, это цесарцы сами испытали, ибо, имея сильное войско, в две кампании не только Виддина взять не могли, но и свои крепости потеряли. Ваше величество уже согласилось на отправление двадцатитысячного вспомогательного корпуса к австрийцам, и потому мне остается только исполнить высочайшую волю без рассуждения. Но по присяжной должности и ревности не могу не донести, что войско наше очень истомлено, в людях и лошадях немалая была убыль и зимою надобно иметь крепкую осторожность, войско по границе в готовности держать. В походе чрез Польшу, какие бы ни были взяты предосторожности, нельзя удержать наших драгун и солдат от побегов, не только рекруты, но и старые драгуны и солдаты дезертируют, по их собственным словам, не выдержав нынешних трудных походов, надеясь найти там свой закон и соплеменников и прожить военное время между ними в покое. Опасная болезнь свирепствует в Каменце-Подольском, в Бухаресте, Яссах, в Венгрии почти до самого Дуная, и потому очень опасно такой большой корпус отправить этою дорогою, да и без заразительных болезней в тех местах, чрез которые нашему корпусу надобно будет проходить из Польши в Венгрию, постоянно дурной воздух и нездоровая вода. Пропитание корпуса будет очень затруднительно; пойдет одним трактом – горы и трудные перенравы через реки; самая удобная дорога – к силезским и богемским границам, но это такая даль, что если корпус выступит в поход и зимою, то успеет к цесарскому войску не ранее будущей кампании. Если наш корпус вступит в Польшу, то турки и татары могут вторгнуться в это государство, побить и в плен забрать многие тысячи людей, особенно греческой веры, которые по той границе преимущественно живут, могут все разорить и сжечь, отнять у нашего корпуса средства существования, и он принужден будет начать воинские действия в Польше, что произведет среди недоброжелательных поляков опасные последствия. К такому корпусу надобно заблаговременно назначить добрый и искусный генералитет, но из состоящих при здешней армии генерал Румянцев обязан многими украинскими делами, генерал Кейт до сих пор еще не выздоровел, генерал Бирон просит отпуска, того же хочет и генерал Левендаль, генерал Загряжский под военным судом и неспособен, Бутурлин и князь Репнин исправны и надежны, но здоровьем слабы».

Грустное впечатление от неудачи миниховского похода усиливалось еще тем, что моровая язва принудила оставить Очаков и Кинбурн; гарнизоны при выходе

разорили обе крепости. Зараза не исчезала в степи, проникала в Украину; Миних писал, что употребляет все средства для пресечения сообщений зараженных мест с незараженными, но встречает большие препятствия, потому что обхватить караулами всю границу трудно; притом никак нельзя удержать пограничное народонаселение по его легкомыслию и непостоянству от переходов из одного места в другое, никакие караулы и запрещения под смертною казнию не помогают.

8 ноября Миних получил желанный рескрипт, в котором выражалась *аппробация* поступков его и всего генералитета относительно возвращения армии от Днестра. Фельдмаршал для пополнения армии занимался в это время вызовом в русскую службу валахов; из них устраивался особый корпус, начальство над которым было поручено князю Константину Кантемиру, «человеку достойному и попечительному», по отзыву Миниха.

Другой фельдмаршал, Леси, был немного счастливее в своем походе 1738 года. Прежде выступления в поход он должен был уладить любопытное дело на Дону. В начале 1738 года Леси получил письмо от двух заслуженных старшин Донского войска – Ефремова и Краснощекова. Ефремов писал премилосердному государю отцу Петру Петровичу, что наказной войсковой атаман Фролов вопреки приказанию фельдмаршала не удовольствовал ни его, ни Краснощекова знатными командами, почему им и в кубанский поход идти было нельзя, а теперь пущая обида: во время кубанского похода сына его, Ефремова, полковник Степан Фролов поносил скверными словами, мало того, отнял у него данные войском знамена и приказал ехать в Черкасск как арестанту. «При сем доношу, – писал Ефремов, – ныне отсюда войсковой наказной атаман с братом Иваном Фроловым, с зятем Федором Поповым и с войсковым дьяком ко двору ее императорского величества просить вечного атаманства отправились, хвалясь, что имеют предстателей и надеются, что один из них будет пожалован атаманом; поэтому покорно прошу милостивейшее предстательство употребить с изъяснением о рабских моих службах, за которые бы я обещанной мне милости не был лишен и пожалован был войсковым атаманом. Теперь старшина Краснощеков в пребезмерной дружбе находится со мною и склонен к тому, что если ее величество меня атаманом пожаловать изволит, то он в обиду себе не поставит, если же из Фроловых кто-нибудь атаманом будет пожалован, то он весьма в обиду себе причтет, о чем к господам кабинетным министрам и в прочие места Краснощеков доносить обещался, и если из двоих братьев Фроловых кто-нибудь пожалован будет войсковым атаманом, то мне и старшине Краснощекову весьма будет обидно». Краснощеков писал: «Если кто из Фроловых тем рангом будет пожалован, то мне будет весьма обидно, а я бы лучше желал, чтоб атаманство по старшинству и заслугам Даниле Ефремову пожаловано было, и не поставлю того себе в обиду, потому что от Фроловых теперь несносные обиды мы претерпеваем; если же они получают себе вечное атаманство, то нам житье от них будет плохое». Леси отправил эти письма к Остерману, прибавив от себя, что, сколько он мог усмотреть, Ефремов пред прочими во всех тамошних происхождениях и распорядках поискуснее и в прошлую кампанию действовал против неприятеля, не щадя себя. Ефремов был сделан атаманом. 26 июня Леси перешел через Сиваш в Крым, 27 приблизился к Перекопской крепости и потребовал у коменданта сдачи, и когда тот отвечал, что определен для охранения крепости, а не для сдачи, то русские начали *посещать* крепость бомбами, как выражается журнал военных

действий; от этого посещения 29 числа гарнизон сдался военнопленным. 4 июля появилось у Перекопи неприятельское войско и начало беспокоить русский лагерь. Здесь 6 числа был держан военный совет, на котором положено: так как армия терпит недостаток в воде и конских кормах, а неприятель прежде изнурения нашего войска не намерен вступить в сражение, а далее идти в Крым по известному в воде и кормах недостатку нельзя, то надобно идти от Перекопи прямейшим трактом к Днепру для подкрепления тамошней армии. На другой день, разорив Перекопскую крепость, армия двинулась в поход; турки и татары, по обыкновению, провожали ее и, наконец, сделали сильное нападение, так что русские сначала замешались, но скоро оправались и так погнали неприятеля, что сам хан едва спасся бегством. Русская армия потеряла 562 человека побитыми, ранено было 483 человека.

Леси чувствовал, что результатами его похода не могли быть довольны в Петербурге, и послал просьбу об увольнении, но получил в. ответ, что императрица благодарит его за службу и желает ее продолжения. Леси обрадовался и написал: «Хотя по моей старости и слабости здоровья я и возымел было смелость ваше императорское величество подлейшим моим прошением трудить, но ныне по высочайшему соизволению, за превысочайшую мне явленную не в пример моей недостойнейшей службы высокомонаршескую милость, до дня окончания жизни моей, елико всевышний творец мне да поможет, к высоким же вашим императорского величества службам употребить себя наиревностнейшее желаю».

Мы видели донесение обоих фельдмаршалов о их военных действиях; теперь мы должны обратить внимание на показания постороннего свидетеля о движениях русской армии – показания австрийского капитана Парадиса. Парадис пишет, что русские пренебрегают порядочным походом и затрудняют себя огромным и лишним обозом: майоры имеют до 30 телег, кроме заводных лошадей; брат фаворита генерал Бирон рассказывал при Парадисе, что при нем 300 быков и лошадей, 7 ослов, 3 верблюда и что есть такие сержанты в гвардии, у которых было по 16 возов. «Может быть, – пишет Парадис, – что они хотели тем выставить богатство своего народа, но я думаю, что они тем показали слабость свою в войне, ибо такой неслыханно большой обоз эту знатную армию сделал неподвижною. Я не видал, чтоб когда-нибудь армия прежде двух, трех, а часто и четырех часов по восхождении солнца выступала в поход: причиною тому громадность обоза и некоторое застарелое нерадение в русских офицерах: генерал-аншефу нельзя быть везде самому: он может заставить себя бояться, но такой рабский страх принуждает трудиться только в его присутствии; наконец, последний дивизион арьергарда вступает в лагерь очень поздно, часто на рассвете. При беспорядке обоза возы так между собою перепутываются и сцепляются, что армия принуждена иногда по два и по три часа на одном месте стоять, тогда как воздух наполнен криком множества извозчиков, которые в этом поставляют все свое искусство. Русская армия употребляет более 30 часов на такой переход, на какой другая армия употребляет четыре часа. Всякая телега хочет обогнать идущую впереди, отчего сцепляются и перепутываются; скот, находящийся в тесноте, без пищи, беспрестанно погоняемый, падает мертвым, а который и придет в лагерь, то такой слабый и измученный, что даже при траве и воде (что, однако, редко случается) не может в несколько дней поправиться. Извозчики так измучены и

выбиты из сил, что не могут иметь надлежащего попечения о скоте; их желудок не переваривает и сухарей с водою; то же можно сказать и о всех солдатах, страдающих постоянным расстройством желудка; при моем отъезде было более 10000 больных, их клали по 4 и по 5 человек на одну небольшую телегу, на которой два человека едва улежся могут; разумеется, их клали друг на друга, телегою управлял человек, едва освободившийся от болезни, похожий более на мертвого, чем на живого. Уход за больными невелик: недостает искусных хирургов; всякий ученик или рудомет, приезжающий сюда, тотчас определяется полковым лекарем».

«Хотя русские имеют больше других народов нужду беречь фураж, однако я не заметил, чтоб они малейшее попечение прилагали о том во время походов, напротив, мнут его телегами и лошадьми и выбивают, и когда из одного лагеря переходят в другой, то кругом лежащие места все вытолочены, и если татары армию окружают и немного стеснят, как они часто делали, то она принуждена кормить скот уже толченою и завялою травою, и скот в 24 часа сделает место чистым, как ток. Если на другой день там же дневать станут, то всякий по своей воле фуражирует где может, и выходят из лагеря без всякого порядка, равно как и приходят, одни вечером, а некоторые на другой день поутру. Правда, козаки беспрестанно разъезжают, как бы для их прикрытия, но так как они похожи на волонтеров или, лучше сказать, на сволочь, то на них нельзя много надеяться, и если бы 13 августа принято было в рассуждение, что по флангам были большие татарские толпы, то у нас тысячи двухсот человек и более двух тысяч скота и лошадей не пропало: татары порубили и угнали их в двухстах шагах от фрунта. Правда, что 400 человек под командою полковника было послано для прикрытия фуражиров, но отряд этот очень плохо стал в ложине, откуда ничего не мог видеть. Татары нечаянно напали на фуражиров, а команду в ложине ничем не тронули; она оказала им взаимную учтивость, отпустила с добычею, за что полковник под арестом ожидает решения своего дела, и генерал Загряжский также несколько дней под арестом был, для чего не сделал лучшего распоряжения».

«В кавалерии у русской армии большой недостаток: донских козаков и калмыков, которых можно назвать храбрыми, немного, едва две тысячи; с семью—или осмьюстами гусар венгерских и сербских нельзя стоять против большого числа татар; правда, есть драгуны, но лошади их так дурны, что драгунов за кавалерию почитать нельзя; оружием своим и багажом они так покрывают и отягощают лошадей, что те едва могут двигаться, и часто случалось видеть, как драгуны, сходя с лошадей, валяли их на землю. Таким образом, необходимо фуражиров прикрывать инфантериєю, которая и без того измучена походом да, кроме того, имеет очень плохую пищу; я никогда не видал, чтоб хотя четыре капральства кашу сварили. Всякому известно, что для прикрытия фуражиров надобно пехоты вдвое или втрое больше, чем конницы. Из этого ясно, что пока состояние русской армии не изменится, ей нельзя предпринять долговременную осаду» °°.

Плохой успех кампании 1738 года должен был сильно расположить к миру и в Петербурге, не только в Вене; в Петербурге должны были располагать к миру и неблагоприятные отношения на западе и востоке, движения враждебных России партий в Швеции, Польше, волнения башкирцев. Мы видели, что еще в 1737 году было принято посредничество Франции. Франция без значительных

пожертвований, без побед заключила чрезвычайно выгодный мир с Австриею. Мир этот, переговоры о котором, как мы видели, начались в половине 1735 года, заключен был окончательно только осенью 1738 года, лишенный русскими войсками польской короны Станислав Лещинский удерживал королевский титул и получил во владение Лотарингию, которая после его смерти переходила к Франции – приобретение чрезвычайной важности для последней. Герцог лотарингский Франц-Стефан, зять императора Карла VI, взамен своего наследственного владения получал Парму и Пиаченцу и в будущем Тоскану – по смерти последнего ее герцога; Неаполь и Сицилию Карл VI уступил испанскому принцу дону Карлосу. Таким образом, польский вопрос и возгоревшаяся по его поводу война между Франциею и Австриею послужили только к тому, что Франция получила большие выгоды, Австрия – ущерб. Но торжество Франции было далеко не полное: честь ее сильно страдала, ибо она покинула Польшу, поднявшуюся за Станислава вследствие ее обещаний. Восторжествовав над Австриею, отомстивши ей за победы Евгения савойского, одержанные во время войны за испанское наследство, Франция должна была уступить ее могущественной союзнице, испытать неудачу под Данцигом и отдать Польшу в распоряжение России. Эти неудачи заставили Францию еще более хлопотать о том, чтоб сблизиться с Россиею, разорвать ее союз с Австриею, особенно в ожидании кончины императора Карла VI, когда возникнет самый важный вопрос – вопрос об австрийском наследстве. И вот благодаря неудачам Австрии в войне турецкой Франции предоставляется возможность достигнуть своей цели. Большим торжеством было для нее то, что Россия, отвергнувшая союз с нею вследствие отношений польских и турецких, не надеявшаяся получить от Франции никакой пользы для себя относительно Турции по разрозненности интересов, теперь обращается к Франции за посредничеством для заключения мира с той же Турциею. Россия сочла выгодным для себя союз австрийский именно в виду действовать соединенными силами против турок; оба императорские двора действительно начали войну с Портою, но Австрия вела ее так, что принудила Россию искать посредничества Франции для прекращения войны. Франция берет на себя посредничество, ибо, во-первых, это ее поднимает, дает ей важное значение; во-вторых, дает ей возможность разорвать союз России с Австрией, заставив Австрию заключить сепаратный мир с Портою; в-третьих, если даже союз императорских дворов и не вдруг разорвется, то Франция все же получит возможность сблизиться с Россиею, иметь в Петербурге своего посланника, иметь средство знать внутреннее состояние страны, где существует сильное неудовольствие настоящим правительством, следовательно, можно будет, подавши помощь недовольной стороне, свергнуть это правительство, если оно будет по-прежнему упорствовать в своем нерасположении к Франции. В Швеции Франция успела приобрести для себя покорное орудие: от нее зависит напустить ее на Россию при первой надобности. Игра в партии удалась в Швеции: отчего же она не может удалась в России, отчего нельзя свергнуть господствующих немцев и не отдать власть в руки русских, которые из благодарности будут на стороне Франции или, что всего вероятнее, перенесут столицу опять в Москву и откажутся от участия в европейских делах, а это также будет чрезвычайно выгодно для Франции.

В мае 1738 года Остерман писал французскому посланнику в Константинополе Вильневу, что императрица согласно с цесарем дает ему полную мочь для заключения прелиминарного трактата с Портою и пользуется этим случаем для засвидетельствования христианнейшему королю, как она ценит посредничество его величества и в какой мере полагается на искусство и благоразумие его, Вильнева. При этом Остерман сообщил французскому посланнику, что императрица, принимая посредничество Франции, не могла отказаться и от принятия посредничества морских держав; следовательно, Порта имеет полную свободу заключить прелиминарные пункты или с одним Вильневым, или соединенно с посланниками морских держав. С русской стороны уполномочен был для заключения мира фельдмаршал Миних, с австрийской – герцог лотарингский, с которыми Вильнев должен был непосредственно сноситься. Условия мира были самые умеренные со стороны России; она требовала одного Азова и разорения укреплений Очакова и Кинбурна. Но турки тянули переговоры и особенно стали пренебрегать ими, получивши обеспечение со стороны персидской.

Мы видели, что шах Надир, воспользовавшись войною между Россиею и Турциею, обратил все свое внимание на Восток, занялся покорением Кандагара, а потом походом в Индию. Целый 1737 год он тянул мирные переговоры с Турциею, выжидая, какой оборот примет война между нею и Россиею, а Калушкину твердили, что шах медлит заключением мира с Портою единственно из дружбы к России.

Со стороны европейского союзника России, цесаря, турки также были обеспечены. В начале года Ланчинский доносил: «Что мне всемилостивейше повелевается, дабы здешний двор к надлежащей союзнической твердости наиприлежнейше поощрять и от заключения сепаратного мира пристойным образом удержать, то я рабскою верностию засвидетельствовать могу, что здесь к такому срамному поступку ни малого оказательства нет, и оный по великодушию цесарскому весьма нечаятелен. но морщатся и говорят, что сию кампанию могут с крайним последним трудом еще отправить и протори на оную хотя с неописанною тягостию собрать, но, как бы им далее поступить, примениться не могут; все камеральные приходы под закладом, и уже более от чужестранных никто взаймы не даст для того, что ипотеки не находится, провинции же вконец изнурены, и не диво, понеже в те две последние войны цесарская армия, из казны во всем снабдена будучи, сверх того еще летом и зимою домашними проторми содержится и от неприятельской земли ничего не профитировала: и того ради алчно желают мира». В начале июля австрийцы блестящим образом начали кампанию, поразили турецкое войско, заняли Меадию; в Вену привезли более 30 знамен, взятых у неприятеля, но после этого успеха положено было вести войну только оборонительную, дожидаясь, пока русские подкрепят союзников взятием Бендер или каким-нибудь другим значительным делом. В то же время пришло известие из Константинополя от Вильнева, что турки не уклоняются от заключения мира, если могут получить его на выгодных условиях, но торопиться не имеют причины, потому что цесарь не имеет средств делать завоевания в их земле; что же касается России, то ее войску путь дальний, и Порта имеет средства не допускать его в свои границы. В конце июля австрийские министры запели Ланчинскому печальную песню, что русская армия двигается чрезвычайно медленно, что

поэтому все турецкие силы обращены против них, что во всем Банате свирепствует язва, в Темешварском гарнизоне умирает по 20 и 30 человек на день, и австрийская армия должна была отступить сначала от скудости фуража в горах, потом должна была выйти и из обильных фуражом мест, чтоб избежать язвы. В половине августа пришло грустное известие, что важная крепость Оршова принуждена была сдаться туркам. «У нас все злосчастно, – говорил Синцендорф Ланчинскому печальным голосом, – турки с огромною силою вторгнулись в нашу сторону, и подтверждается известие, что ваша армия идет назад от Днестра». Австрийский двор стал требовать присылки русского отряда для подкрепления своего войска; в Петербурге это требование сильно не понравилось, еще больше не понравилось оно Миниху, но делать нечего, надобно было согласиться, ибо несогласием давался Австрии повод к заключению отдельного мира. Согласились на отправление вспомогательного корпуса, но требовали, чтоб он находился на содержании цесарском. В Вене просили, чтоб доброе дело было довершено, чтоб вспомогательный корпус находился на русском иждивении. В конце ноября Ланчинский описывал рассуждение австрийских министров: «Казна цесарская вконец исчерпана; России не придется много платить, потому что в Трансильвании все очень дешево, и полки русские не будут там долго оставаться и должны немедленно вступить в неприятельские земли и действовать, издержки не дойдут и до миллиона гульденов. Если императрица не окажет снисхождения и полки не придут, то Австрия принуждена будет вести только оборонительную войну, и Россия, может быть, сделает то же, только России будет гораздо легче, имея пред собою Днепр и отдаленность турецких владений, и от татар оборониться легко, тогда как австрийские земли прямо граничат с неприятельскими. Конец всему будет такой, что Россия, хотя главная воюющая держава, останется без потери; Австрия же, будучи только совоюющею державою и не будучи в состоянии вести долго и оборонительную войну, принуждена будет купить мир дорогою ценою, т.е. уступкою Белграда, Темешвара, Трансильвании и части Валахии».

Французский посланник при Порте Вильнев посредничал в Константинополе, но кроме непосредственной пересылки с ним для России важно было иметь своего посланника при версальском дворе, чтоб участвовать в направлении деятельности Вильнева и сообщать в Петербург о расположении французского правительства, о степени добросовестности и искренности его в посредничестве. Князь Антиох Кантемир был переведен из Англии во Францию. В сентябре 1738 года Кантемир приехал в Париж и был принят Амелотом и Флери «весьма ласково и учтиво», преимущественно кардиналом, который с особенною благосклонностию более часу с ним разговаривал. Флери уверял Кантемира в истинной королевской склонности к возобновлению доброго согласия с ее величеством и в усердии, с каким он намерен по возможности своей содействовать этому полезному делу. Кантемир обнадеживал его в сильнейших терминах о подобной со стороны императрицы диспозиции, равно как об особенных ее к нему, кардиналу, эстиме и конфиденции. Флери дал заметить, что французскому правительству не нравится, что морские державы Англия и Голландия также являются посредницами при заключении мира между Россиею и Портою; Кантемир отвечал, что его государыня могла бы совершенно удовольствоваться посредничеством одной Франции, ибо нельзя было бы передать

свои интересы в лучшие руки, но что же делать, если морские державы давно уже предложили свое посредничество? Исключить их было нельзя, не подавши повод к неудовольствию. На замечание Кантемира насчет умеренности русских требований Флери сказал, что теперь Порты, после некоторых успехов в Венгрии, не так стала склонна к заключению мира, и только успехи русского оружия на Днестре могут усилить эту склонность. Наконец, Кантемир намекнул на то, что французский посол в Стокгольме Сен-Севери» поддерживает там враждебную к России партию; Флери отвечал, что, по всем известиям из Стокгольма, никаких военных замыслов с той стороны опасаться уже нельзя и С.-Северину сильнейшими королевскими указами запрещено вступаться в домашние дела тамошнего правления. Кантемир в своих первых донесениях замечает, что один только кардинал желает примирения России и Австрии с Портою, остальные или совершенно равнодушны, или более добра желают неверным, чем христианам. В донесении от 8 ноября Кантемир извещал свой двор по удостоверению Амелота о посылке указов к Вильневу, чтоб тот внушал Порте: 1) чтоб никакой надежды не имела на разделение двух союзных дворов – петербургского и венского; 2) чтоб не ждала отмены в предложенных Россиею условиях; 3) что продолжение войны может быть для нас опасно, ибо на будущую кампанию могут присоединиться к России и Австрии новые союзники. Амелот уверял Кантемира, что со стороны королевской употребляются все средства для приведения Порты к *резонабельному* миру, что он сам, Кантемир, не мог бы сильнее действовать в интересах своей государыни, чем как действует Вильнев, но когда Кантемир потребовал с французской стороны объявления Порте, что Франция наконец будет принуждена вступить за цесаря, то Амелот отвечал, что такое объявление не согласно с обязанностию посредника и что, сверх того, Вильнев должен умерять свои речи при таком дворе, где послов в тюрьму сажают. Амелот изъявлял также сожаление, что русские срыли укрепления Очакова и Кинбурна, ибо это рассердит Порту, которой обещано возвращение означенных городов с крепостями. Россия настаивает на сохранении в целости для себя Азова на том основании, что для татар иначе узды не останется, а теперь турки станут толковать, что после разорения Очакова и Кинбурна им не будет никакой защиты от русских козаков, и Вильневу трудно будет теперь настаивать на сохранении азовских укреплений. Флери говорил то же самое.

На скорый мир была плохая надежда в конце 1738 года; надобно было ускорить его удачными военными действиями.

1 марта 1739 года Волынский, князь Черкасский и графы Остерман и Миних подали императрице мнение о военных операциях будущей кампании: «При составлении плана будущей кампании надобно обратить особенное внимание на требование австрийского двора и на весь ход наших сношений с ним. Дела этого двора находятся теперь в таком слабом состоянии, что он туркам не может оказать надлежащего сопротивления, чем и заключение мира все более и более затрудняется. По известным причинам мы отказали цесарю в присылке вспомогательного корпуса, а предложили вместо того значительную сумму денег, но цесарь денег не принимает, а усиленно просит о немедленной присылке вспомогательных войск, представляя всю опасность своего положения. Если мы исполним просьбу цесаря и отправим к нему войско через Польшу, то в Польше может составиться конфедерация, неприязненные поляки соединятся с нашими

неприятелями и тем приведут нас в затруднительное положение; неприятель в Польше все разорит и тем отнимет у нашего войска продовольствие; сомнительно, можно ли будет тогда что-нибудь предпринять против Хотина. С другой стороны, если не помочь цесарю войском, то он может быть сокрушен превосходными турецкими силами и принужден будет заключить отдельный мир и вся неприятельская сила обратится против нас одних. Это бы еще не беда: и при Карловицком мире Россия была оставлена одна, однако потом очень честный и полезный мир получила, но надобно обратить внимание на другие обстоятельства: Франция желает окончания войны для Австрии, с которою находится теперь в дружбе, а не для нас, и если бы цесарь принужден был к отдельному миру, то Франция при продолжении у нас войны с Турциею, вместо того чтоб препятствовать Швеции сблизиться с Портою, будет ей в том помогать и как шведов, так и поляков станет возбуждать против нас по старой злобе за польские дела, для пользы своей союзницы Швеции и чтоб не дать нам возможности вмешиваться в другие европейские дела. Если мы положим на весы все эти соображения *за* и *против*, то едва ли не перетянут последние, и нам лучше поднять против себя польскую конфедерацию, чем заставить цесаря заключить отдельный мир. Притом если бы и образовалась в Польше конфедерация, то она будет частная, без одобрения короля и Речи Посполитой. Деньгами мы можем составить себе в Польше хорошую партию; от Швеции на нынешний год опасаться нечего, а турецкая и татарская помощь послужит только полякам к разорению собственных их земель; король польский нам доброжелателен, и у него много средств к успокоению поляков; наконец, поляки, несмотря на великое с нашей стороны к ним снисхождение, беспрепятственно пропускают нашего неприятеля через свои земли, беспрепятственно уведомляют его о состоянии нашего войска, снабжают его провиантом и другими потребностями; одним словом, дают туркам возможность продолжать с нами войну; против таких поступков надобно взять надлежащие меры, на что мы имеем полное право. Поэтому мы думаем, что с главною армиею надобно идти прямо через Польшу к Хотину и действовать, смотря по неприятельским движениям: ибо одному корпусу идти чрез Польшу опасно, а сильной армии поляки побоятся и удержатся от конфедерации; с другою армиею, для диверсий, действовать против Крыма и Кубани».

Императрица согласилась с этим мнением, и Миних, очень довольный, отправился в Украйну, где в его отсутствие отбиты были от границ татары с большим для них уроном. 21 марта из Нежина Миних писал: «В нынешний мой чрез Украйну проезд мог я видеть, что счастливое отбитие татар так ободрило здешний народ, что Орлику трудно будет привести в исполнение свои планы, составленные на нынешнюю кампанию». Миргородский полковник Капнист, бывший свидетелем впадения и отбития татар, уверял, что их непременно тысячи четыре побито и потонуло, в том числе два султана и 30 мурз. Что планы Орлика не могли быть исполнены, доказательством служило то, что запорожский кошевой, не распечатывая, переслал к Миниху грамоту, присланную к нему от Орлика. Претендент на гетманство свободной Украйны писал, что он выбран на чин гетманский и в церкви принес присягу стараться всеми силами и способами любезную отчизну, заднепровскую Украйну, освободить от мучительного и более нежели пленнического московского подданства, равным образом и все Войско Запорожское присягнуло на том же. «Я, – продолжал Орлик, – стою при своей

присяге и всеми силами стараюсь о том при пресветлой Порте и при господине хане, зная обстоятельно, что вся Малороссийская сторона и все Запорожское городское войско пришли от Москвы в крайнее разорение и, не будучи в состоянии сносить более неслыханные обиды, возлагают надежду освобождения только на божескую помощь и на мое старание; не надеются они более на Войско Запорожское Низовое, которое, не жалея несчастной своей матери-отчизны, не трогаясь воплем отцов, матерей, братьев, сестер и сродников, наруша свою присягу, от меня, вольными голосами выбранного своего гетмана, отступило и пришло под протекцию неприязненной Москвы; мало того, Москву к себе в Сечу допустили, что все равно, как бы змею у груди своей пригрели и этим отчизну свою и себя погубили. Таким нарушением присяги со стороны Войска Запорожского мог бы и я освободиться от своих присяжных обязательств, но не хочу повредить душу и стою при моем прежнем предприятии. Сердечно жалею о скорой гибели славного Войска Запорожского, так что и имени его при Днепре не останется: в прошлом году, когда послы московские, турецкие и немецкие вели переговоры в Немирове, то русские и немецкие послы домогались, чтоб Порта отвела от границ великороссийских и малороссийских Ногайскую орду и поселила где-нибудь подальше, чтоб татары разбойническим образом в русские земли не въезжали и приязнь между двумя монархиями не нарушали. Турецкие послы отвечали, что Порта непременно это сделает с ногайцами, но потребует, чтоб то же самое с русской стороны сделано было с запорожцами. На это русские послы сказали: запорожцы – плуты и воры, ни вам, ни нам не нужны, ни нам, ни вам, ни полякам верно не служили, от них только нарушение мира между соседними государствами, и потому наша государыня прикажет из Сечи, или, лучше сказать, разбойнического гнезда, взять к себе кошевого и некоторых других постоянных козаков, остальных же оставить вам, что хотите с ними, то и делайте: или вырубите, или в плен заберите, чтоб только разбойничье гнездо навеки было искоренено: если же Порта на это не согласится, то императрица наша знает, что с ними сделать. Порта, милосердая над Войском Запорожским, несмотря на то что оно пред нею погрешило, велела меня обнадежить, что она примет Запорожское Войско под свою крепкую охрану, позволит ему всякие промыслы и подтвердит его вольности, если я поручусь, что оно впредь будет верно и не подаст никакого повода к нарушению мира с соседними государствами, и я осмелился принять на себя это поручительство».

Но время Дорошенки прошло для Малороссии безвозвратно; запорожцы очень недавно возвратились из-под турецкого подданства и их нельзя было обмануть фразами о несносных мучительствах московских. Скоро Миних донес в Петербург, что Орлик находится у Порты и у хана в худом кредите и живет в одном монастыре близ Ясс, что запорожцам за их верность выдано денежное и хлебное жалованье, и когда пришло известие, что хан послал от себя возмутительное письмо к запорожцам, то Миних писал: «При нынешнем походе запорожцев на судах с генералом фон Штофелем и сухим путем и при надежной команде в Сечи никакой опасности от них быть не может, и к татарам пристать им не для чего, потому что татары сами голодны, и, кроме того, здесь при мне до 500 человек из лучших запорожцев». Но выдача денежного жалованья не обошлась без неприятных последствий: отправлено было в Сечь 6150 рублей, причем велено четыре тысячи отдать публично всем козакам, а 2150 рублей кошевому и

старшине тайно разделить. Так и было сделано, но вот кошевой Тукала репортует фельдмаршалу, что козаки, проведав о получении им и старшиною особой суммы, напали на них нечаянно и жестоко избили с немалым ругательством и бесчестьем и пограбили не только вновь полученные деньги, но и те, которые у них прежде были. Потом пришел другой репорт, что Тукала лишен должности и, лежав несколько дней болен, умер и на его место выбран Иван Фоминич. «Хотя таковые их, запорожских козаков, поступки, – писал Миних, – весьма непристойные и воле ее величества противны, однако при нынешних обстоятельствах ничем огорчать их нельзя, тем более что новый атаман человек добрый и к службе ревностный».

28 мая армия перешла чрез польскую границу от стороны Василькова. 3 июня в лагере на речке Каменке Миних получил рескрипт императрицы, в котором она требовала «скорейшего марша и всевозможного поспешения произведением неприятелю чувственных каких действий». Армия спешила к Бугу четырьмя дивизиями разными трактами, причем дивизии не отдалялись одна от другой. К 27 июня армия перебралась за Буг в двух местах, у Константинова и Межибожа. Воспользовавшись тем, что турки стянули свои войска к Хотину, Миних послал козаков захватить и сжечь Сороки и Могилев на Днестре, что и было исполнено; Миних поздравлял с этим успехом императрицу, потому что при разорении означенных мест получена была большая добыча деньгами и прочим и войско было ободрено в начале кампании. 19 июля войска перешли через Днестр в Молдавию; 22 числа, в четверг, сильнейший неприятель напал на русский лагерь перед деревнею Синковцами, но был отбит; у русских было побито 39 человек и 112 ранено, причем, по заявлению главнокомандующего, «люди наши несказанную охоту к бою оказывали». 5 августа армия двинулась от Днестра к Пруту. Не проходило дня, чтоб несколько валахов не вступило в русскую службу, что побудило Миниха разослать манифесты по Валахии для большего привлечения ее жителей. Русские направились к Хотину, но турки не хотели допустить их к этой важной крепости, и сераскир Вели-паша с войском, простиравшимся до 90000 человек, стал крепким лагерем при деревне Ставучанах, на большой хотинской дороге, в полутора милях от крепости. Кроме выгодного положения в гористой местности лагерь был окружен тройным ретраншементом со многими батареями, на которых было поставлено до 60 пушек и мортир; на правой руке неприятель имел непроходимый густой лес и горы, перед собою – маленькую речку с прудами и болотами, слева – глубокие буераки и высокие горы, с тылу – крепость Хотин: лагерь был расположен на таком возвышении, что русские не могли достать до него никакою пушкою. Русская армия уже двое суток была окружена неприятелем; в сене и дровах чувствовался недостаток, неприятель своими нападениями не давал покоя ни днем, ни ночью, а из лагеря Вели-паши была беспрестанная стрельба. Фельдмаршал признал невозможным стоять долее на одном месте и 17 августа решился напасть на неприятельский лагерь: турки не выдержали нападения и бросили лагерь, который достался победителям. Извещая о победе, Миних писал: «Всемогущий господь, который милостию своею нам предводителем был, всевышнейшею своею десницею защитил, что мы чрез неприятельский непрерывный огонь и в такой сильной баталии убитых и раненых менее 100 человек имеем; все рядовые полученной виктории до полуночи радовались и кричали: „Виват великая государыня!“ И означенная виктория дает нам надежду к великому сукцессу,

понеже армия совсем в добром состоянии и имеет чрезвычайный кураж». Не успел еще Миних отослать свое донесение, как 19 августа сдился Хотин.

24 августа Миних выступил из Хотина, 28 и 29 армия перешла Прут, направляясь во внутренность Молдавии; армия шла весело, имея обилие в фураже и в съестных припасах; неприятель был поражен страхом, турки бежали за Дунай, татары – за Днестр. 1 сентября русский авангард вступил в Яссы, и молдавская депутация, явившись в лагерь к Миниху, признала русскую императрицу государынею Молдавии; несмотря на страшное разорение страны, молдаване обязались на первый год содержать 20000 русского войска, а по прошествии года верно объявить все государственные доходы; Миниху подарили 12000 червонных и обязались давать на стол по 1500 червонных. «Ваше императорское величество, соизволите всемилостивейше рассудить, – писал Миних, – что мы при выступлении от границ провианта на армию взяли только на три месяца, ибо для возки его с нуждою упряжку собрать могли, потому же и на мясо скота ничего не взяли, теперь же под моим ревностным и счастливым приводом до 10 октября провианта в запасе имеем и еще достать надеемся, припряжки и скота на мясо с излишеством, от неприятеля получили пороху, ядер и свинца более, чем сколько мы чрез всю кампанию издержали, и более двухсот медных пушек и мортир, славную баталию выиграли, крепостями и провинциями овладели, гордого неприятеля усмирили, и потому на великодушную вашего императорского величества материнскую милость бессумненную надежду имею, что не только сим данным добровольно мне от здешних статов *грациалом*, но и, сверх того, высочайшим знаком меня пожаловать соизволите, якоже я в высочайших интересах ничего не упущу и уповаю, что скоро авантажный и славный мир воспоследует. Понеже здешняя Молдавская земля весьма преизрядная и не хуже Лифляндии и люди сей земли, видя свое освобождение от варварских рук, приняли высочайшую протекцию с слезною радостию, поэтому весьма потребно ту землю удержать в руках вашего величества; я ее со всех сторон так укреплю, что неприятель никак нас из нее выжить не будет в состоянии; будущеею весною можем Бендерами без труда овладеть, выгнать неприятеля из страны между Днестром и Дунаем и занять Валахию».

Распорядившись относительно гарнизона и укрепления Ясс, Миних 10 сентября отправился к армии, взявши с собою молдавские чины, как духовные, так и светские. Армия уже перешла через Прут на буджакскую, или бендерскую, сторону; по прибытии своем к ней Миних 12 сентября отправил торжество покорения Молдавского княжества императрице всероссийской: «Молдавские статьи оказывали немалую радость, видя такую славную христианскую армию, которая, как они говорили, к их избавлению пришла». Обедню в церковном намете служил молдавский митрополит. 13 числа армия выступила в поход, и молдавские чины возвратились в Яссы, обещаясь прислать депутатов в Петербург. Армия имела в виду «приключить чувственный вред буджакским татарам и прикрыть Яссы».

Но в тот самый день, когда Миних торжествовал покорение Молдавии, он получил «нечаянное и печальное» известие о заключении австрийцами мира с турками, «мира стыдного и весьма предосудительного», по выражению Миниха. «Бог судья римско-цесарскому двору за таковой учиненный к стороне вашего величества нечаянный злой поступок и за стыд, который из того всему

христианскому оружию последует, и я о том поныне в такой печали нахожусь, что не могу понять, как тесный союзник таковым образом поступить мог». Несмотря на то, Миних думал о продолжении войны, о новых завоеваниях: «Всепоподданнейше прошу во всемилостивейшую консидаерацию принять, что с начала этой войны турки и татары ни малейшего над нами авантажа не имели и вперед иметь не будут: не только здешние народы с неизреченною радостью желают покорения под вашу державу, но и сербский патриарх Арсений слезно просит покровительства вашего величества, принося жалобу на слабость цесарскую, что всю их землю под иго варварское отдает».

Но в Петербурге торопились миром. В начале 1739 года Кантемир доносил, что у него была конференция с цесарским послом в Париже князем Лихтенштейном: читали вместе депеши Вильнева и согласно признали, что в них видна излишняя склонность к защите турецких интересов, но заключили конференцию тем, чтоб французским министрам не подавать ни малейшего вида насчет этого и довольствоваться только изъяснением, что императрица никогда не оставит своего союзника и не должно надеяться отдельного мира ни с какой стороны; что укрепления Очакова и Кинбурна велено разорить не по нужде, а для большего показания умеренности со стороны России; что Вильнев не должен ожидать нового плана мирных переговоров, ибо разорение крепостей не может повести ни к какому затруднению, если только Порты имеет прямую склонность к миру; императрица, увидав по опыту, что, чем больше обнаруживает умеренности, тем больше становится гордость неверных, никаких новых предложений делать Порте не намерена. Дипломаты решили ограничиться этим, ибо в противном случае при обнаружении подозрения боялись, что французское министерство перестанет сообщать им депеши Вильнева или по крайней мере станет утаивать все подозрительные места. Остерман заметил на донесении: «Сие апробуется, ибо показанием хотя малейшего сумнения подлинно такие несходства произойти могут». Флери и Амелот продолжали уверять Кантемира в ревности своей к интересам союзных императорских дворов; Флери просил его удостоверить императрицу, что никогда она не найдет ни одного его слова лукавым или ложным. В апреле Кантемир доносил, что медленность в отправке указов Вильневу при обстоятельствах, в которых утрата времени чрезвычайно вредна, подает новую причину полагать, что о скорейшем заключении мира здесь немного заботятся, хотя на словах повседневно о противном удостоверяют. «Я и цесарские министры прилагаем всевозможное старание проникнуть в виды кардинала, но до сих пор в этом удачи иметь не можем. В таких сомнительных обстоятельствах я по крайней возможности умеряю свои слова, чтоб не подать никакого повода к неудовольствию, а если случай потребует сильнейших представлений, буду употреблять цесарских министров». Так, посол не сказал ни слова ни кардиналу, ни статс-секретарям, когда узнал, что из Бреста отправляется в Балтийское море французская эскадра. Потом Кантемир жаловался на отказ французских министров сообщать ему депеши Вильнева. «Благосклонность кардинала к цесарю, – писал Кантемир, – ненадежна, да если б кардинал и действительно желал тесной дружбы между своим королем и цесарем, то кардинал уже стар, а всякий другой министр, его преемник, станет держаться старых правил, основанием которых было унижение австрийского дома. Можно почти смело

сказать, что здешний двор охотно б вступил с Россиею в тесные обязательства, если б имел надежду разлучить ее с цесарем».

Между тем происходили и непосредственные сношения с Вильневым. В начале года Остерман писал к нему, что из письма его, Остермана, к кардиналу Флери он, Вильнев, может усмотреть, что императрица отдает полную справедливость ревности и необыкновенному благоразумию, с какими он поступает в таком трудном деле; что императрица откровенно сознается, сколько она ему обязана за это, и хотя неутомимые заботы маркиза до сих пор не имели желанного результата, однако ее величество надеется, что провидение даст ему средства счастливо окончить великое дело. Турки не хотят отдать Азова, выставляя опасение, что Россия заведет там флот и будет угрожать им Порте, но это химера, ибо русский флот, некогда там находившийся, слишком дорого стоил России и она другого не заведет; как бы то ни было, впрочем, императрица готова дать формальное обязательство, что в Азове не будет флота, что Таганрог не будет восстановлен. Все опасения, высказанные турецкими министрами, суть пустые слова, ибо они сами очень хорошо знают, как трудно России предпринять какое-нибудь движение для распространения своих границ на счет Порты, не возбудив против себя европейских держав, и особенно могущественную Францию. Остерман заключает свое письмо уверением, что союз между Россиею и Австриею неразрывен и что отдельный мир только с одною из этих держав невозможен.

В апреле сочли нужным еще смягчить условия. Остерман писал Вильневу: «Чтоб заключением мира не умедлить и удовлетворить требованиям своего союзника, ее величество наконец на то соизволила, чтоб все наружные и другие азовские крепости, кроме стены и рва, были разорены и впредь никогда не возобновлялись, но ее величество имеет право построить новую крепость между Азовом и Черкасским островом, а Порта будет иметь право построить крепость у Кубани, в определяемых ей миром границах; если же турки и этим будут недовольны и будут упорно настаивать на совершенном разорении Азова, то ее величество и на это готова согласиться, предоставляя себе только право на устье Дона для безопасности от внезапного нападения построить батарею или шанцы».

Ставучанская победа и взятие Хотина возбудили в Петербурге надежду на скорейшее и выгоднейшее заключение мира, именно надеялись, что турки за возвращение Хотина уступят Азов со всеми укреплениями, как вдруг пришла роковая весть, что союзник уже заключил прелиминарные статьи с турками. Мы видели, что в конце 1738 года между обоими императорскими дворами дело шло о присылке вспомогательного русского корпуса в Трансильванию для подкрепления здесь австрийских войск. Но главное затруднение состояло в том, что этот корпус должен был пройти через Польшу, а поляки не соглашались пропустить его. Цесарь и министры его были в страшной досаде. Министры говорили Ланчинскому: «Напрасно у вас обращают внимание на сопротивление поляков: от них был бы только шум, а на деле не воспротивились бы, и прежде пошумели за проход от Бендер, да и перестали. Надобно было только коронному гетману и знатнейшим панам раздать деньги. Теперь будут две невыгоды: турки станут доверять противным полякам, а те поднимут головы и станут думать, будто и вправду их сопротивление так сильно и важно, что они одни помешали проходу русских войск, и то и другое и теперь и впредь интересам России и Австрии будет

вредно». На помощь Ланчинскому с представлениями о невозможности провести вспомогательный корпус чрез Польшу отправлен был в Вену известный нам барон Бракель, но австрийские министры были глухи ко всем представлениям, твердили одно – что цесарь не может отстать от требования вспомогательного войска, ибо это единственный способ принудить неприятеля к миру. В июле Ланчинский известил о кровопролитном и для австрийцев злосчастном бою с турками при Гродске; австрийцы потеряли до 6000 убитыми и ранеными; потом пришло известие, что фельдмаршал Валлис отметил туркам также сильным поражением и получил возможность помочь Белграду, осажденному турками. Вслед за тем граф Синцендорф объявил Ланчинскому, что вследствие предложения визиря фельдмаршалу Валлису дано полномочие для заключения мира, и когда Ланчинский заметил, что мир должен быть общий, то Синцендорф отвечал, что в этом не может быть никакого сомнения, притом же Россия имеет при маркизе Вильневе своего эмиссара. 28 августа получено было в Вене известие о взятии Хотина Минихом, по этому случаю один из министров проговорился, что это известие желательно было бы получить двумя неделями раньше; Синцендорф выразился в том же смысле, избегая дальнейших объяснений. Наконец, 1 сентября Ланчинский отправил к своему двору депешу: «С неописанным прискорбием принужден я донести, коим образом мирная негоциация, которая в турецком лагере отправлялась чрез генерала Нейберга и толь долгое время содержана была в крайнем секрете, наконец вскрылась зело гнило, неслыханно и такова, что добрая союзничая верность и здешнего двора честь повреждена и репутация оружия ногами попрана. Граф Синцендорф с немалым печальным предисловием объявил мне: „Принужден я о тяжких погрешениях здешних генералов говорить и об ужасных последствиях злосчастного при Гродске бою. Прибавить имею, что на фельдмаршала Валлиса была великая надежда как на искусного генерала, а на деле оказал себя во всем так плохо, что и говорить о том мерзко. После той акции, в которой против всякого резона в тесных местах употребил кавалерию, все делал поперек; потом начал переписку с визирем и вздумал, что для избежания дальнейших потерь надобно пожертвовать Белградом; написал об этом сюда и, не дожидаясь ответа, созвал совет для избрания генерала в посылку к визирю для мирных переговоров. Генерал Нейберг из неразумной ревности сам вызвался и принял на себя дело, которого не понимает, а мы и эмиссара посылать не думали“. „Как же, – заметил Ланчинский, – вы сами мне сказали, что посылка генерала Нейберга здесь одобрена?“ „Помню, – отвечал Синцендорф, – но иногда говорится для покрытия; к тому же нельзя было тогда надеяться, чтоб от этой посылки были такие злые и в свете неслыханные последствия. Визирь от Нейберга писем пропускать не хотел; наконец без ведома и против инструкции Нейберг заключил срамные прелиминарии, а Белград очень долго еще мог стоять“. Ланчинский спросил: „Что же определено об Азове?“ Синцендорф отвечал уклончиво: „В конференциях кроме французского посла Вильнева присутствовал и ваш эмиссар Каниони“. На вопрос Ланчинского: „Будут ли прелиминарии ратификованы?“ – отвечал: „Теперь все в турецких руках и назад идти нельзя, потому что, не ожидая ратификации, начали уже укрепления Белграда взрывать: Нейберг согласился, чтоб Белград очистить и срыть“. Сам цесарь „с зело прискорбною миною“ объявил Ланчинскому, что известия из Белграда „толь тяжко его проникли и опечалили, что прискорбия своего

совершенно изобразить не может; что срамные прелиминарии без ведома и указу его заключены, которые по необходимой нужде ратификовал, понеже вспять идти нельзя было, когда, нимало не описався, начали приводить их в исполнение, и был бы от того вящий вред как общему, так и всего христианства делу, а если б возможно, то б, конечно, не ратификовал. Ныне уже того переменить нельзя, авось-либ всемогущему богу угодно будет впредь способ подать сего ко исправлению. Но как сие дело учинено без его ведома и инструкции, так и немедленно оное остро разыскать велел и докажет как вначале пред русскою государынею, так и перед всем светом, что в сем срамном поступке не имеет никакого участия; надеется он на правосудное сердце русской государыни, что из-за этого злосчастливого случая дружбы своей к нему не переменит, но более сожалеть будет“. Ланчинский спросил, упоминается ли в злосчастливых прелиминариях об интересе ее и. в-ства? „Упоминается, – отвечал цесарь, – только не в такой мере, как надлежало и как я желал“. Ланчинский доносил: «От ближних придворных слышу, что цесарь никогда так прискорбен не был: потеря Неаполя, Сицилии, знатной части Миланской области, отдача Оршовы ему не так были чувствительны, как нынешний случай, и, как ни старается, не может по ночам спать; хотя себя и принуждает к веселым разговорам, но прямой отрады получить не может; всякий может видеть, что в лице изменился; цесарева принимает сильное участие в этой печали и несколько дней уже нездорова». В газетах было объявлено, что заключение генералом Нейбергом прелиминарии сделано без ведома и прямо вопреки указу цесаря. Это успокоило народ, начавший сильно роптать, но когда разнеслось, что для окончательного заключения мира первым полномочным назначен тот же Нейберг, то ропот возобновился, появились подметные письма, почему удвоены были в Вене караулы по ночам и приняты меры, чтоб войска могли немедленно задавить мятеж, но все обошлось спокойно.

Во Франции, говоря о прелиминариях австрийского сепаратного мира, обнаруживали пред Кантемиром крайнее изумление, непонимание дела, но Кантемир писал к своему двору: «Не трудно рассудить, что это приключение так согласно с их намерением, что если бы сами об нем старались, то лучшего успеха получить не могли. Разделение двух союзнических дворов было всегда их главною целью. Кажется, главное намерение кардинала состоит в том, чтоб всю Европу держать в постоянном смущении и тем удобнее усиливать свою власть при всех дворах и в мутной воде рыбу ловить. О намерении его разделить Россию с Австриею вновь мне сообщено в крайнем секрете тосканским посланником, которому кардинал сам внушал, что все несчастья цесарского двора происходят от союза с Россиею».

Но как бы то ни было, русское правительство не хотело одно продолжать войну, несмотря на то что турки представили еще новое условие, именно чтоб Азовский округ остался пустым. Вильнев заключил мир условно с представлением русской государыне права отвергнуть его. Для окончания дела отправлен был в Турцию известный уже здесь Вешняков. Когда он убеждал Вильнева изменить некоторые условия договора в пользу России, обещая за это высокое удовольствие и достойные знаки благодарности со стороны императрицы, то французский посол отвечал уверениями в своем доброжелательстве к России и в своих крайних стараниях соблюсти ее интересы, но по обстоятельствам он не мог достигнуть всего, чего бы желал. «Главные причины неудачи, – говорил

Вильнев, – заключались в дурном положении дел и поступках ваших союзников: главные лица при венском дворе заботятся не о государственных, а о своих собственных интересах, оттого там господствует совершенный раздор между всеми, чему я сам был свидетелем: все генералы в армии один другого злословили передо мною; поступки венского двора становятся день ото дня непонятнее: Так, безо всяких причин стал он давать туркам великие выгоды». Мир был заключен на следующих условиях: Азов остался за Россию, но укрепления его должно было скрыть, окрестности его должны были остаться пустыми и служили разделением между обеими империями, но Россия получала право построить крепость на донском острове Черкаска, а Порты построить себе крепость на Кубани. Таганрог не мог быть возобновлен, и Россия не могла иметь кораблей на Черном море, могла торговать на нем только посредством турецких судов. Большая и Малая Кабарды остались свободны и должны были отделять обе империи друг от друга.

Вешняков добивался, чтоб в договоре вместо Московской империи было поставлено: Российская; переводчик Порты и согласился было, но рейс-эффенди объявил, что хотя можно и надобно сделать эту перемену, но если не знающие в серале услышат об ней, то подумают, что договор заключен с кем-нибудь другим, а не с русскою государынею. Вешняков обратился к переводчику Порты с просьбою, чтоб помог ему исполнить некоторые желания двора своего, например чтоб султан согласился давать русской государыне императорский титул. Гика клялся Христовым именем, что визирь и рейс-эффенди охотно исполнили бы желания императрицы, видя такое снисхождение с ее стороны, но что сделаешь с здешним невежественным и гордым народом, который никак не может понять, чтоб кто-нибудь мог оказать ему добро не по нужде, заключает поэтому, что и Россия делает уступки по нужде. Императорского титула русской государыне Порты не может дать потому, что дают его государства мелкие: Швеция, Дания, Венеция, Голландия, Гамбург, папа, а главные государи – цесарь, короли французский, испанский, английский и польский – не дают; если б цесарь или Франция признали титул, то и Порты признала бы его немедленно. Тщетно Вешняков возражал, что султан сам собою великий государь, образца ни от кого не требует, ни от какой державы не зависит, честь его требует показать другим образец собою; цесарь дает русской государыне автократорский титул, который почти равен императорскому и приличен только русской государыне, ибо никто таких высочайших преимуществ не имеет; другие государи зависят от чинов и парламентов, от советов и инквизиций, употребляют все свои силы и хитрости, чтоб им противоборствовать, но русская императрица никому отчета в действиях своих не дает. Турки не спорили против этого, но все же предоставили вопрос о титуле будущему времени. Вешняков доносил, что и французский посол никак не в состоянии переломить упорство турок. Вильневу были благодарны и за то, что он сделал; Вешняков вручил ему вексель в 15000 ефимков, а «сожительнице его, посольше» – бриллиантовый перстень. Перстень был принят, но от векселя посол отказался: «Когда будет все окончено, и тогда время не уйдет». Вешняков намекнул на андреевский орден; посол пропустил этот намек без внимания, но в разговоре с посольшею наедине Вешняков уразумел, что ордена желают. Вешняков отзывался о Вильневе так: «Человек уже в летах, доброго нрава, ума не первоклассного, но здравого рассуждения, правдив, а чтоб французский министр

был добротнее и откровеннее с нами, чем с турками, – этого нет и требовать невозможно, ибо было бы противно французским интересам».

В 1740 году отправился в Константинополь бывалый там человек генерал Александр Румянцев для выполнения условия об отправлении с обеих сторон торжественных великих посольств. О новых отношениях Румянцева к правительству можно получить понятие из письма его к императрице с дороги из Киева: «Вашего императорского величества высочайший и всемилостивейший указ я здесь со всеподданнейшим и рабским респектом, со всесердечною радостью имел честь принять, усмотря из одного вашего императорского величества высочайшую и неизреченную к себе милость, что бедной жене моей в небытность мою на пропитание две тысячи рублей денег пожаловать соизволили, а мне ж, всеподданнейшему и всепоследнейшему рабу, в Москве каменный дом князя Алексея Долгорукого в вечное владение пожаловали, и сия высочайшая милость ко мне сотворена с единого своего высокомонаршеского и материнского милосердия, кроме всяких моих рабских бедных служб. Подвергая себя и всю мою бедную фамилию пред высочайший вашего императорского величества маестет, всенижайшее мое рабское благодарение приношу с таковым моим всеподданнейшим обещанием, что сию высочайшую милость ничем иным заслужить не могу, кроме излития остатней капли крови моей».

Кончилась турецкая война, стоившая России 100000 человек и огромных денежных сумм. Что же делалось во время ее внутри России и на окраинах, которые не переставали сильно озабочивать правительство?

Глава третья

Продолжение царствования императрицы Анны Иоанновны

Кабинет. – Сенат. – Коллегии. – Областное управление. – Войско. – Срок дворянской службы. – Распоряжение об отставных беспоместных людях. – Рекрутские наборы. – Флот. – Финансы. – Промышленность. – Деятельность Татищева на сибирских горных заводах. – Крестьяне. – Первый банк. – Правосудие. – Полиция. – Пожары. – Повальные болезни. – Разбои. – Нравы и обычаи. – Образование. – Кадетский корпус. – Академия наук. – Российское собрание. – Тредиаковский. – Манкиев. – Татищев. – Кантемир. – Феофан Прокопович; его последние борьбы и кончина. – Духовенство.

Мы видели, что в 1731 году был учрежден Кабинет для лучшего отправления дел, подлежащих решению императрицы. Тайные дела еще прежде были взяты у Сената и переданы в особую Канцелярию тайных розыскных дел, и в январе 1734 года велено главной Полицеймейстерской канцелярии быть в дирекции одного Кабинета; в сентябре 1739 года принадлежащие Кабинету дела велено расписать по экспедициям, «дабы впредь конфузии происходить не могли». По смерти канцлера графа Головкина Остерман назывался *первым* кабинет-министром. Жалованья кабинет-министры получали по 6000 рублей. Двор переехал в Петербург, но сначала думали или, вероятнее, хотели заставить думать, что это

переселение временное, и потому только часть сенаторов была взята в Петербург, другая оставлена в Москве, здесь же оставлена и Тайная канцелярия, но уже в августе 1732 года Тайная канцелярия переведена была в Петербург, в Москве только оставлена ее контора. В ноябре 1732 года обер-прокурор Анисим Маслов подал репорт: «Ныне в Петербурге сенаторов семь человек, только полного собрания никогда не бывает, и редко случается, чтоб было три или четыре человека, обыкновенно же по два, прочие же не присутствуют, одни за болезнью, другие за дежурством при дворе, иные обязаны другими делами, и хотя к отсутствующим дела посылаются на дом, однако за болезнями дел слушать и резолюций крепить не могут, которые же государственные дела требуют основательного рассуждения, по таким без общего собрания, заочно согласить очень трудно». Между прочим, Маслов доносил, что вотчинная глава нового Уложения сочинена определенными в Москве членами, а в Петербурге не слушана за всегдашним неполным сенатским собранием и таким образом остановилось 209 государственных дел да 289 челобитчиковых. Вероятно, вследствие этого представления в июне 1733 года велено остававшимся в Москве сенаторам со всею канцеляриею быть в Петербурге и присутствовать в общем собрании, в Москве же оставить от Сената контору, в которой из сенатских членов быть генералу и обер-гофмейстеру графу Солтыкову; он должен был иметь то же самое значение, какое имел с 1723 года остававшийся в Москве сенатский член, т.е. первенствующее значение.

Сенаторы переехали в Петербург с старою привычкою – съезжаться поздно в заседание и разъезжаться рано; в 1733 году императрица «накрепко повелела» съезжаться в Сенат всем в одно время, именно в семь часов пополуночи, и оставаться пять часов, до первого часа пополудни. В 1737 году сенаторы положили съезжаться в 8 часов пополуночи, а уезжать в час пополудни. Члены коллегий и канцелярий не смели уезжать из своих мест, пока сенаторы присутствовали в Сенате. Но в 1739 году опять указ, в котором говорится, что сенаторы приезжают не в указные часы, очень поздно, уезжают рано, а некоторые редко и ездят; поэтому велено съезжаться по регламенту и сидеть до второго часа пополудни и для самых нужных дел съезжаться и пополудни в четвертом, а выезжать в седьмом часу. Сначала велено было кандидатов в городские воеводы и в секретари к разным делам представить для утверждения в Кабинет, но в начале 1734 года Сенату возвращено было право определять воевод и секретарей без представления императрице. В 1736 году императрице донесли, что в Москве не только в коллегиях и канцеляриях, но и в Сенатской конторе дела решаются не только медленно, но и большею частию «по партикулярным страстям»; графу Солтыкову прислан был указ: «При отъезде нашем во всемилостивейшей на вас надежде нарочно для того вас оставили в Москве, чтоб накрепко смотреть, дабы дела во всех судебных местах порядочно отправлялись, потому мы обо всем этом с великим неудовольствием узнали, и ныне накрепчайше вам подтверждается смотреть чтоб дела не проволакивались, особенно же чтоб правосудие безо всяких взяток везде отправлялось; если же вашим несмотрением и нерадением впредь такие же непорядки происходить и судьи дела по страстям решать будут, то вы за то пред нами в ответе будете». В 1736 году возобновлено было учреждение Петра Великого – Чрезвычайный, или Высший, суд вследствие просьбы князя Константина Кантемира, что дело его с мачехою о четвертой ее части после мужа

решено неправо. Членами суда были назначены: адмирал граф Головин, обер-шталмейстер князь Куракин, обер-егермейстер Волынский, гофмаршал Шепелев и генерал-полицеймейстер Солтыков; в суде присутствовала сама императрица; суд списывался с Кабинетом сношениями, а в Сенат, коллегии и все прочие места посылал указы. Вышний суд нашел, что дело в Сенате было решено неправильно, и обвинен был обер-секретарь сенатский, зачем не представлял сенаторам о неправильности их рассуждений и, если представлял, зачем не записал своих представлений в журнал.

Сенаторов понуждала сама императрица добросовестнее исполнять свою должность, приезжать не поздно и уезжать не рано, а сенаторы в свою очередь слали строгие указы в коллегии против поздних приходов и ранних выходов их членов, предписывали последним приезжать и уезжать по регламенту, ибо прокуроры жаловались, что интересные (денежные) и о колодниках дела отправляются медленно, составление счетов и репортов идет слабо. В 1737 году коллегиям возвращено право штрафовать губернаторов, «дабы губернаторы в порученных им делах, в сборах и по посланным указам в ответах прилежно и рачительно поступали».

За то губернаторам дано было право штрафовать своей губернии воевод, если который из них также законных причин не представит. В 1733 году издан был указ о должности губернского прокурора. «Смотреть ему накрепко, дабы губернатор с товарищи должность свою хранили и в звании своем истинно и ревностно без потери времени все дела порядочно отправляли; также смотреть накрепко, чтоб в канцелярии не на столе только дела вершились; смотреть, чтоб в судах и расправах праведно и нелицемерно поступали, а ежели что увидит противное этому, должен тотчас предлагать губернатору с товарищи с полным изъяснением, в чем они не так делают, и они обязаны исправить; если же не послушают, то прокурор должен протестовать письменно, дело остановить и немедленно письменно генерал-прокурору донести, а губернатор с товарищи должны себя очищать и в Сенат обстоятельно писать. Прокурор должен иметь крепкое смотрение, чтоб губернатор с товарищи всем доходам имел окладную книгу и чтоб все доходы собирались на определенные сроки сполна без доимки, также чтоб всякие откупы и подряды делались порядочно, без потери времени, к лучшей казенной пользе; смотреть, чтоб в Губернской канцелярии колодников долговременно и без решения дел не держали; должен все доношения, от кого бы ни были, касающиеся интересов ее величества, принимать и по ним инстиговать и, если где будет пренебрежено и опущено, немедленно доносить генерал-прокурору, и, „единым словом, сей чин – око генерал-прокурора в той губернии“. Если же в чем поманит или иначе должность свою ведением и волею преступит, то смертью казнен или с вырезанием ноздрей в вечную работу сослан и всего стяжания лишен будет». В этом указе упоминаются товарищи губернаторские: из резолюции кабинет-министров на доклад Сената 1736 года узнаем, что товарищи при губернаторах уже определены, но так как жалованье и ранги им не назначены, то теперь положено впредь до сочинения штата давать им по 300 рублей в год и быть им в ранге коллежских советников. В 1737 году губернаторы получили право, не описываясь в Сенат, определять воевод и воеводских товарищей, дабы в делах не было остановки, а по определении писать в Сенат.

Мы видели, что когда двор переехал в Петербург, то Москва была поручена родственнику императрицы, генералу, сенатору графу Семену Андреевичу Солтыкову; видели, что императрица была не очень довольна управлением Солтыкова; в 1739 году Сенату дан был указ: «Понеже мы Москву, яко первую и главнейшую в государстве губернию, генерал-губернатором паки снабдить и к такому чину особливо при происшедших в оной губернии доныне упущениях и для поправления оных знатную особу определить за благо и потребно рассудили, того ради мы к тому нашего генерал-фельдмаршала князя Трубецкого, будучи надежны на его ревностное и прилежное в том радение, избрать соизволили и потому определили ему быть в Москве генерал-губернатором и присутствовать ему в Сенатской там конторе так, как он здесь в Сенате был».

Два царствования – Екатерины I и Петра II – прошли мирно, если не считать незначительных военных движений в странах прикавказских, но в царствование Анны Россия вела две тяжелые войны, и потому мы вправе ожидать усиленной деятельности правительства относительно военного устройства. Постоянная вооруженная сила еще не привыкла себя сдерживать среди мирного народонаселения и своими часто безнаказанными насилиями вызывала самоуправство со стороны последнего: в указе 1732 года императрица жалуется, что боярские люди и из других чинов, также компанейщики в Москве нападают и дерутся с гвардейскими солдатами, увечат и даже убивают их. Военная комиссия, бывшая под председательством Миниха, распорядилась, чтоб с января 1732 года жалованье русских офицеров сравнено было с жалованием иностранных офицеров, служивших в русском войске. Несмотря на то, русские люди продолжали всеми средствами отбывать от военной службы. В 1732 году правительство должно было объявить, что многие недоросли у герольдмейстера не явились и в службу не определены, живут в домах своих праздно; также многие из морского флота, из гвардии и армии штаб- и обер-офицеры оставлены молодые, а к герольдмейстеру не отосланы и к делам никуда не определены. Недоросли из дворян, отбывая от службы, записывались в купечество: в 1736 году велено одного такого недоросля взять из купечества и отдать в солдаты в гарнизон, а с бурмистров и секретаря ратуши, которые его записали в купечество, взять 100 рублей штрафа. В том же году правительство объявило, что многие офицерские, дворянские, солдатские, рейтарские, козачьи, пушкарские и всяких служилых людей дети под разными видами кроются, а некоторые из них вступают в дворовую службу к разным чинов людям и переходят из города в город, дабы звание свое утаить и тем от службы отбыть; от таких людей вперед никакого добра ожидать нельзя, ибо праздность всему злу есть корень, что и на самом деле обнаруживается: многие из них уже пойманы на воровствах и в других дурных делах. Для малолетних велено учредить школы, чтоб все служилых отцов дети, имея надежное пропитание, обучались, кто к каким наукам склонность имеет, дабы со временем не только государству могли быть полезны, но и сами себе теми науками пропитание снискать могли, но они от наук бегут и сами себя губят.

Но никакие меры против отбывания от службы не помогали, и потому сочли необходимым удовлетворить всеобщему желанию дворянства ограничить срок военной службы и дать возможность некоторым вовсе не вступать в нее. В представлении, поданном в Кабинет неизвестно кем, говорилось: «В отлучении всего шляхетства от своих домов всеми их домами и деревнями владеют

приказчики и старосты, которые непорядками своими помещиков и крестьян разоряют, шляхетство своим фамилиям вспоможения учинить не может, а в крестьянских сборах доимки, крестьяне помещикову и свою пашню запускают, в воровствах и разбоях являются, тюрьмы таковыми везде наполнены. Надобно определить двойное число обер-офицеров и расписать в полки пополам, отпустить одну половину в дома без жалованья, а другой половине быть три года в полку неотлучно. Притом не соизволено ли будет некоторое определенное время положить, сколько в военной и штатской службе быть, а потом отставлять: то всякий с прилежанием и охотою службу свою отправлял в такой надежде, что, ежели бог веку его продолжит, будет иметь время деревнями своими довольствоваться и веселиться и экономии свои исправлять, а из сего еще польза: 1) особливых офицеров и солдат на вечных квартирах держать не для чего, но всякий помещик вначале в своих деревнях порядочный сбор подушных денег установить и деревни в лучшее состояние привести может; 2) охранены будут крестьяне от воеводских и приказных лишних сборов и нападков; 3) может всякий помещик сам подушный оклад без высылки заплатить; 4) крестьян от воровства удерживать не потребны будут сыщики, от которых не меньше офицерского бывает обывателям разорения». Мы знаем, что первая половина проекта не была новостью: так распоряжались, хотя на других основаниях, при Екатерине I, но теперь предпочли вторую половину, и в последний день 1736 года издан был манифест, составивший эпоху в истории русского дворянства в первой половине XVIII века: «Всемиловнейше указали мы для лучшей государственной пользы и содержания шляхетских домов и деревень следующий порядок учинить: 1) кто имеет двух или более сыновей, из оных одному, кому отец заблагорассудит, оставаться в доме для содержания экономии; также которые братья родные два или три, не имея родителей, пожелают оставить в доме своем для смотрения деревень и экономии, кого из себя одного, в том давать им на волю, но чтоб те оставшиеся в домах довольно грамоте и по последней мере арифметике обучены были, дабы оные в гражданской службе годны были; 2) прочие все братья, сколь скоро к воинской службе будут годны, должны вступить в военную службу. Но понеже какое время быть в воинской службе, по сие время определение было не учинено, и отставляются весьма старые и дряхлые, которые, приехав в свои дома, экономию домашнюю как надлежит смотреть уже в состоянии не находятся; и для того всем шляхтичам от 7 до 20 лет возраста их быть в науках, а от 20 лет употреблять в военную службу, и всякий должен служить в воинской службе от 20 лет возраста своего 25 лет, а по прошествии 25 лет всех, хотя кто еще и в службу был годен, от воинской и статской службы отставлять с повышением одного ранга и отпускать в дома, а кто из них добровольно больше служить пожелает, таким давать на их волю; 3) которые шляхтичи за болезнями или ранами по свидетельствам явятся к службе неспособны, могут быть отставлены и отпущены в дома свои и до урочных лет. А понеже ныне с турками война, то отставлять по вышеписанному только по окончании войны».

В начале следующего, 1737 года был издан дополнительный указ: всем недорослям от семи лет являться и записываться в Петербурге у герольдмейстера, а в Москве и губерниях у губернаторов, которые по окончании каждого года присылают свои записные книги к герольдмейстеру; потом недоросли должны явиться в другой раз, когда им минет 12 лет, причем должны быть обучены

чтению и письму, и если отец или родственники пожелают обучать их долее в своих домах, то позволять только с обязательством, чтоб к следующему смотру были обучены закону божию, арифметике и геометрии основательно; если же отец или родственники такого обязательства взять на себя не захотят, то записывать детей по их склонности в государственные академии и другие школы. Третий смотр в 16 лет: тут недоросли могут являться только в двух местах – в Петербурге и в Москве, где в Сенате их свидетельствуют, и если окажется, что арифметике и геометрии они обучены основательно, а родители и родственники пожелают и доле обучать их в домах, то отпускать их до двадцатилетнего возраста, но опять с подпискою, чтоб обучались географии, фортификации и притом истории; если же родители или родственники такой подписки не дадут, то брать детей и определять до урочных лет в государственные академии для обучения географии, фортификации и истории; и которые на смотре с 16 лет явятся более способными к гражданской службе, таких определять в эту службу по усмотрению Сената. Тут же, на смотре в 16 лет, родители и родственники должны указать тех недорослей, которых хотят оставить дома для экономии, и на последний смотр их представлять уже не обязаны. Если на смотре в 16 лет недоросли окажутся необученными, то их определять в матросы без выслуги, не исключая и тех, которые будут назначены оставаться дома для хозяйства по имению, потому что им арифметику и геометрию особенно знать нужно для порядочных счетов в домашней экономии, для землемерия и защиты прав своих, чтоб не уклоняться по невежеству в богомерзкие ябеды, от которых происходят напрасные убытки и разорения; да и какой пользы в домашней экономии можно ожидать от того, кто никакого радения не показал при изучении таких нетрудных и полезных наук. В 20 лет последняя явка в герольдии для определения в военную службу, и те, которые более успели в науках, должны быть скорее других произведены в чины в награду за прилежание. По поводу этих указов Сенат в 1737 году сообщил в Кабинет, не повелено ль будет указом ее величества выбрать недорослей из шляхетства в Сенат, коллегии и канцелярии для обучения приказных дел и содержать их таким образом: из недорослей от 15 до 17 лет, умеющих читать и писать, за которыми не меньше 100 душ, выбрать в Сенат, а за которыми не меньше 25 душ – в коллегии и канцелярии, чтоб они могли не только определенным им жалованьем, но и своими собственными доходами содержать себя честно, чисто и неубого; к тому же между канцелярскою должностию обучаться и другим наукам, приличным шляхетству, чем могут подать и другим охоту искать определения в статские чины. Хотя они определятся сначала в копиисты и жалованье копиистское будут получать, но должны называться дворянами Сенатской канцелярии или дворянами такой-то коллегии или канцелярии, чем могут придать другим охоты и отвести от себя нарекания и уничижения приказных людей (т.е., как мы думаем, нарекание и уничижение, связанное с должностию приказных людей). Жалованье получают год копиистское, два года-подканцеляристское, два года – канцеляристское, а по прошествии 5 лет достойных производить в секретари. Если в течение этих пяти лет некоторые окажутся неспособными к гражданству, таких отсылать в Военную коллегия для определения в военную службу. Кабинет отвечал, что так как по этому предмету довольно указов издано, то не следовало бы и требовать мнения от Кабинета. Несмотря на то, Кабинет согласен с представлением Сената, только с таким изъяснением, чтоб выбраны были к тем делам люди достойные, грамоте

довольно знающие и чисто писать умеющие, чтоб они в бытность свою при делах в первые годы хотя и не будут называться копиистами, подканцеляристами, однако должности свои исправляли, как и другие, в том иметь за ними крепкое смотрение, и, если кто по окончании первого же года явится достоин, такого вести далее, в противном случае отсылать немедленно в Военную коллегия для определения в полевые полки в солдаты.

По окончании войны охотников воспользоваться законом о двадцатипятилетнем сроке явилось слишком много; подавали просьбы об отставке молодые люди, едва достигшие тридцати лет, но записанные в полки 10 или 12 лет и с тех пор считавшие годы своей службы. Это заставило правительство (7 августа 1740 года) распорядиться, чтоб отставки как от военной, так и от гражданской службы давались только в Сенате, причем генерал-прокурору князю Никите Юрьевичу Трубецкому было предписано «смотреть накрепко, чтоб вместо немощных здоровые, вместо экономии для одной праздности от службы никто освобожден не был». Поставлено на вид, что указ 31 декабря 1736 года касается только тех, «которые в продолжение 25 лет служили верно и порядочно, как верным рабам и честным сынам отечества надлежит, а не таких, которые всякими способами от прямой службы отбывали и время втуне проводить искали». Генерал-прокурору велено было поступать по следующим пунктам, которые он должен был держать в секрете: 1) прежде отставки подлинно осведомиться о прямых офицера летам; 2) смотреть, чтоб начало службы сочтено было от 20 лет, и то, если кто с того же года и служить начал, ибо если бы кто и прежде 20 лет был записан в службу, то этого ему, как малолетнему, зачтено быть не может; если же вступил в службу старше 20 лет, то считать с года вступления в действительную службу; 3) рассмотреть, просящиеся в отставку действительно ли и порядочно ли при армии служили и свои чины от солдатства службою своею и прямым порядком получали; также осведомиться о домашних их нуждах, до экономии касающихся, и только тогда отставлять; 4) если будут проситься в отставку такие, которые хотя военными слыли, однако военную службу при армии действительно не отправляли и в прошедших войнах ни при каких потребах не бывали, а по летам и здоровью своему служить в состоянии, таких не отставлять, ибо несправедливо было бы, чтоб они с прямо заслуженными людьми при сем случае в равенстве быть могли; 5) чтоб те, которые по прошествии 25 лет порядочной службы хотя об отставке просить и будут, а по летам и здоровью служить еще в состоянии и люди достойные, к продолжению ревностной своей службы были поощрены, переменять их одним чином, невзирая на их к производству линию; 6) раньше 55 лет от рождения не отставлять тех, которые в военной службе не бывали и в одних статских чинах служили, разве такие явятся, которые никакой службы отправлять будут не в состоянии.

Таковы были распоряжения относительно войска, оставленного старою, допетровскою Россиею, служилых людей, обязанных за свои поместья являться на службу по первому призыву правительства. При новом порядке вещей они были призваны к постоянной службе, и тут явились новые условия: во-первых, необходимость приготовления к службе, образование; во-вторых, необходимость деления на две службы – военную и гражданскую – с различными приготовлениями к обеим; в-третьих, являлся вопрос об экономии, об управлении недвижимой собственностью, огромное количество которой было сосредоточено в

руках этих служилых людей. Надобно, следовательно, делить их на три части: одна идет в военную, другая – в гражданскую службу, третья должна оставаться для управления имениями; для последней же цели сокращается и срок службы.

Для земледельцев сокращается срок службы, чтоб они еще с свежими силами могли приняться за управление своими имениями, но что делать с теми, которые по выходе из службы не имеют, чем управлять, не имеют, куда головы приклонить? Петр Великий назначил таким убежища в монастырях, но в русском войске находилось много иностранных офицеров, которые за старостию и ранами отставлялись от службы и не имели средств пропитания. В 1732 году Военная коллегия спросила у Сената, что делать с такими офицерами, потому что им при монастырях для пропитания *по их законам* быть нельзя. Сенат отвечал: «В том никакого предосуждения нет, потому что получать будут пропитание по указам, а до веры их в том не касается». В описываемое время придумано было еще средство давать пропитание отставным служилым людям. В указе 1736 года говорится, что при царях Михаиле и Алексее учреждены были в Новгородском, Белогородском, Севском, Казанском, Симбирском и других раз рядах служилые люди прежних служб и дана им поместная земля по их окладам, с которой они конную и пешую службу служили и пограничные места охраняли без жалованья, а теперь служащие в армии и гарнизонах унтер-офицеры и рядовые, не имея надежды, что они по отставке от службы собственное пропитание иметь будут, и, смотря на других, свою братью отставных, без определения шатающихся, не так ревностно службу отправляют, а многие и бегают, на разбоях и в воровствах являются. Поэтому мы указали: отставных от службы за ранами болезнями и старостию унтер-офицеров и рядовых и нестроевых селить близ границ на пустых местах, и именно: по Волге и впадающим в нее рекам, на оставшихся от поселения волжских козаков и в других между Царицыном и Астраханью местах, в Казанской губернии, в пригородках – Старом и Новом Шешминске, Заинске, Тинске, Ермклинске, Билярске, по реке Кондурче, начав от закамской линии до городка Красного Яра, и в других около башкирцев местах. Отводить земли на каждую семью от 20 до 30 четвертей, причем давать ссуды каждой семье от 5 до 10 рублей. Этими землями владеть им, женам и детям их вечно, но в приданое за дочерьми не отдавать, также не продавать и не закладывать. После кого останется сына два или три и больше, из них отцовскую землю наследовать одному, ему же кормить братьев малолетних, и, которые из них возмужают и поспеют в службу, тем отводить особые участки. При неимении сыновей дочери-наследницы, но с своим недвижимым приданым должны выходить замуж за солдатских же детей. Когда эти поселения отчасти умножатся, то при них церкви построить, священников и церковных причетников искусных и ученых определить, при церквях учредить школы для обучения солдатских детей читать и писать, обучать же их тем священникам и церковникам, за что определить им указную плату, а кто из детей пожелает обучаться высшим наукам, таких отсылать в гарнизонные школы и обучать тем наукам, к которым окажут склонность. В начале 1739 года Сенат сообщил в Кабинет, что по разным губерниям отставных находится 4152 человека, но желающих получить землю в указанных местах явилось только шесть человек. На это сообщение последовала высочайшая резолюция: из этих 4152 человек, которые не очень дряхлы и надежда есть, что могут жениться и дома свои содержать, всех отправить на поселение в означенные места и впредь

всех отставных солдат туда же посылать. По мысли правительства, выраженной в приведенном указе, дети поселенцев должны были учиться в своих сельских и гарнизонных школах; та же обязанность указом 1738 года была распространена и на всех солдатских детей: обретающихся в школах солдатских детей, которые от 15 лет и выше, всех определить в гарнизонные и полевые полки в солдаты, а оставшихся затем школьников обучать чтению, письму и другим наукам; непонятливых обучать разным художествам и ремеслам, какие при полках потребны. Позаботились и о вдовах обер-офицерских, не имеющих пропитания: их велено определить в женские монастыри белицами, но только таких, которым не менее 50 лет, если увечны и собственного пропитания не имеют.

Рекрут собирали со всех положенных в подушный оклад, кроме однодворцев Воронежской, Киевской, Казанской и Астраханской губерний, потому что из этих однодворцев учреждались ландмилицкие полки; кроме сибирских жителей, из которых набирались тамошние полки, и, наконец, кроме слобод, приписных к Екатеринбургским заводам, потому что отсюда вместо военной службы брали в ученики к горным делам и для охранения заводов. Подтверждалось в указах, чтоб рекрут набирали порядочно, чтоб офицеры принимали их у плательщиков без всяких волокит, в простом платье, какое у кого случится, и никаких бы взяток и приметов не было, но правительство признавалось, что, несмотря на жестокие наказания, несмотря на то, например, что в 1701 году капитан Аладченинов с подчиненными за взятки от приема рекрут по военному суду лишен был офицерского чина, бит кнутом и с вырезанием ноздрей сослан навеки в каторжную работу, приметки и волокиты при приеме рекрут продолжают, вымогают такого мундира, который принуждены покупать дорогою ценою, также берут взятки деньгами и съестными припасами; некоторые наборщики не принимали объявленных в рекруты людей, а принуждали ставить именно детей и братьев зажиточных крестьян, чтоб вымучить себе больше денег. Правительству оставалось только повторять и усиливать свои угрозы.

В 1732 году подано было в Кабинет мнение, как видно от Миниха, о порядке сбора рекрут. Автор записки говорит, что в настоящее время набор делается таким образом: велено, например, набрать 16000 человек; эти 16000 разделяются на провинции и губернии по пропорции душ мужского пола, и приходится на 320 душ поставить одного рекрута; 320 человек крестьян соглашаются кого-нибудь покупать в рекруты, чтоб никому из них своего брата или сына не поставить; собирается для этого с каждого двора по три или по четыре гривны, и на каждого рекрута придется от 100 до 120 рублей, а с другими подмогами – от 170 до 180 рублей, и, взявши среднее число – 150 рублей, со всех крестьян, обязанных ставить рекрут, придется от двух до трех миллионов. Такими великими деньгами (каких не дается во всей Европе, где крестьяне побогаче русских) нанимается бобыль, ни к чему не годный, часто пьяница, больной или увечный; если же такого нет, то крестьяне ищут какого-нибудь беглого мужика или бурлака. Таким образом деньги отнимаются у лучших крестьян и отдаются негодным бурлакам, армия, флот и артиллерия снабжаются самыми дурными рекрутами; в других европейских государствах годному и добровольному человеку дают задатку по 3, 4 или по 5 рублей, а в России от 150 до 200 дают негодьям, которыми безопасность империи и спокойствие народа охранены быть не могут. Причины, почему в России так мало охотников идти в солдаты или матросы, почему такое

отвращение от военной службы, что бегают, пальцы себе срубают и большими деньгами откупаются, суть следующие: 1) во время тяжелой двадцатилетней шведской войны каждая семья должна была отдать в рекруты брата или сына, и не одного, и все эти рекруты погибли на войне или по крайней мере домой не возвратились; 2) от неприятеля столько людей не побито, сколько погибло от дурного распоряжения офицеров, например, при строении Петербургской крепости и Ладожского канала в первые годы; 3) но главная причина та, что солдаты из военной службы не отпускаются до глубокой старости или увечья, так что когда они приходят домой, то родным ни в чем помогать не могут и принуждены питаться от их милостыни; отсюда бегство крестьян от военной службы за границу, так что многие провинции точно войною или моровым поветрием разорены. Зло может искорениться следующим образом: когда, например, 320 душ обязаны поставить одного рекрута, то между ними переписываются все молодые и здоровые люди от 15 до 30 лет, исключая тех домов, где находится один сын, или брат, или родственник, или приемыш; потом бросается жребий, и, на кого падет, тот без отговорки идет в службу; чтоб он шел охотнее, дается ему 10 рублей деньгами от крестьян, а из Военной коллегии выдается уверительное письмо, что если он прослужит 10 лет рядовым и не получит повышения или сам не захочет долее служить, то ему непременно дана будет отставка. Чтоб меньше было нужды в рекрутах и народу было облегчение, надобно прилежно приискивать всех солдатских и матросских детей и обучать в гарнизонных и других школах, а потом записывать в солдаты и матросы; они крестьянского житья в деревнях не знают и с молодости получают охоту к солдатской жизни, из них будут лучшие рекруты.

В апреле 1733 года кто-то подал в Кабинет записочку: «Слышно, что доимочных рекрут выбирают с 726 года, а надлежало бы с 719; эта доимка оставлена напрасно, ибо подлинно известно, что многие рекрутские подрядчики собрали немалые деньги, сами столько лет корыстуются, а в казну ни рекрут, ни денег не платят, и потому велеть Сенату справиться, для чего эта доимка без рассмотрения оставлена, и, справясь, подать ведомость. Доимку эту выбирать надобно лучше деньгами, которые по рассмотрению можно вменить и в подушный недобор, потому что рекрут довольно будет, а подрядчиков те сами, кто им сдавал, могут показать по обнародовании указов». Вследствие этого издан указ: «Рекрутскую доимку с 719 по 726 год велеть выбирать деньгами по 20 рублей за человека».

Известно, что со времен Петра Великого на Украине существовал гусарский полк, составленный из сербов; впоследствии тяжесть низового, или персидского, похода уменьшила в нем число людей, так что в 1733 году сербов оставалось только 197 человек; по докладу генерала Вейсбаха в этом году велено было ему сделать новый вызов сербов в русскую службу.

Мы видели, как шляхетство, помещики воспользовались законом о двадцатипятилетнем сроке и ринулись в отставку. Для простых солдат не было срока службы, и потому они изывали ее побегам. В 1732 году считалось в бегах 20000 солдат. Побегии кроме других причин могут объясняться и из следующего указа, данного в 1736 году заведовавшему Генеральным кригс-комиссариатом тайному советнику Новосильцеву: «Хотя так много кратными жесточайшими указами под штрафом лишения живота тебе подтверждено с Генеральным

кригс-комиссариатом наиприлежнейшее о том попечение иметь, дабы армия наша мундиром и всеми потребными амуническими вещами с крайнейшим поспешением снабдена и все в том доньше великие недостатки поправлены были, однако, к величайшему нашему неудовольствию, ныне вновь из полученных от фельдмаршала Лесия доношений усмотреть принуждены, что его команды полки еще доньше во всех потребных вещах крайнюю нужду имеют и в весьма мизерном и сожаления достойном состоянии находятся: все то от оплошного Кригс-комиссариатом присмотра и старания про исходит. И ты, боясь бога, сам рассудить имеешь, коль безответно есть, что от вашей оплошности бедный солдат такие крайние нужды, особливо при беспрестанных его трудах, претерпевает»

С учреждения регулярной конницы драгунов военные тяжести увеличились еще сбором лошадей: драгунские лошади собирались и теперь с государства со всех чинов, с духовных и светских, с 370 душ – по одной лошади, считая лошадь с постав кою и кормом не более 20 рублей. И тут правительство должно было грозить смертью за взятки. Вместо поставки натурою позволено было платить по 20 рублей за лошадь.

Мы видели, что решено было поддерживать флот, и потому в 1732 году в соответствии с комиссией о приведении в добрый порядок сухопутного войска учреждена была комиссия для при ведения в добрый порядок и флота под дирекциею графа Остермана: «Понеже в содержании флота и морской нашей силы не меньше нужды, пользы и безопасности государства нашего со стоит». Адмиралы и вице-адмиралы обязаны были представить в Кабинет письменные мнения о лучшем содержании флота Комиссия просила прежде всего императрицу определить: быть ли флоту в таком числе судов, какое положено Петром Великим? На это последовала резолюция: иметь старание, чтоб сперва привести флот в положенное число – 27 кораблей линейных, фрегатов – 6, паромов – 2, бомбардирных – 3, пакетботов – 8. В том же году была издана инструкция о разведении и по севе корабельных лесов, также о их сбережении и рубке. По Волге велено было удалить чуваш и черемис из соседства под чищенных и посеянных дубовых рощей.

Две войны, следовавшие одна за другою в продолжение семи лет, должны были потребовать от бедного государства сильны; пожертвований, и легко понять, что строгость, с какою правительство взыскивало доимки в начале царствования Анны, когда не было войны, не могла смягчиться в военное время. В таможенных, кабацких и канцелярских сборах с 1720 по 1732 год было в доимке: в Московской губернии – 1944039 рублей, Новгородской – 1306270, в Белгородской – 420438, в Киевской – 36959, в Нижегородской – 54213, в Казанской 495613, в Астраханской – 483044, в Архангельской – 921214, в Воронежской – 326806, в Сибирской – 120879, в Смоленской – 140996, в Петербургской акцизной камере – 7056036. 29 мая 1733 года Камер-коллегии прокурор Мельгунов репортовал, что в 1732 году надлежало в губерниях и провинциях таможенных, кабацких и прочих доходов в сборе быть 2439573 рубля, а по присланным репортам тех доходов явилось в сборе только 186982 рубля, а остальные сполна ли в сборе и что в доимке осталось – неизвестно, потому что из многих губерний и провинций репортов не прислано. Губернаторам и воеводам, от которых репортов не прислано, послано в прошлом, 732 году и в нынешнем году по 12 указов, и, сверх того, подано на них в Сенат три доношения, и по определениям сенатским послано три указа, велено

тех губернаторов и воевод за неприсылку репортов держать под караулом, а секретарей и подьячих – в оковах, но и после этого репортов все же не прислано. В том же, 1733 году императрица объявила о своем немалом неудовольствии на то, что труд Петра Великого относительно введения порядка в сборе доходов и отчетности является напрасным, указы его не исполняются; по плану Петра она восстановила Ревизион-коллегию и снабдила ее регламентом, по которому коллегия должна была иметь вышнюю дирекцию в свидетельстве и в ревизии счетов о всех государственных доходах и расходах, какого бы они звания ни были, начиная с 1732 года. Тогда же учреждена была Генеральная счетная комиссия, которая должна была проверить все счета с 1719 по 1732 год. Вслед за тем указ об учреждении в Москве особенного Доимочного приказа, потому что с 1720 по 1732 год более семи миллионов в доимку запущено от несмотрения и нерадения генерал губернаторов, губернаторов, вице-губернаторов, воевод, приказных людей и самой Камер-коллегии. В 1734 году Доимочному приказу велено было, доправивши сполна всю доимку на должниках, расписать штраф на губернаторов, воевод и приказных людей, по небрежению которых доимка была запущена, располагая на всех не меньше как по десяти процентов в год. Надеялись больших выгод от Генеральной счетной комиссии и жестоко обманулись: в ней было семь членов, экзекутор, пять секретарей, 88 подьячих, четверо сторожей, всего 105 человек, но результаты деятельности ее оказались ничтожны: до 1736 года она рассмотрела 78 счетов на сумму 2204712 рублей, и начетов явилось только 1152 рубля, тогда как на жалованье служащим и канцелярские расходы тратилась ежегодно большая сумма. Невыгодное учреждение упразднили, заменив небольшою конторою, которая должна была находиться в ведении Ревизион-коллегии. В 1734 году с дворцовых сел и волостей приходилось взять 154842 рубля, а взято только 84485 рублей; управители и крестьяне объявляли, что доходов взыскать нельзя за всеконечную скудостью, за недородом хлеба и за побегом крестьян; из некоторых волостей присланы были образчики хлеба, каким принуждены питаться крестьяне. Неутомимый взыскатель доимок и преследователь сенаторских не порядков обер-прокурор Анисим Маслов умер в конце 1735 года, но перед смертью донес императрице о злоупотреблениях, которые позволял себе президент Коммерц-коллегии барон Шафиров и товарищи его сенаторы. «Всем не порядкам и воровству причина та, – писал Маслов, – что в ревизию ниоткуда не присылают счетов, а Сенат за это не взыскивает, потому что из сенаторов господин барон Шафиров, который теперь самый сильный в Сенате голос имеет. сам счетов коллегии своей уже три года не отправляет в ревизию. О прочих многих не порядках и упущениях, особливо барона Шафирова и тайного советника графа Головкина, например о конечном упущении монетных дворов, теперь по причине болезни своей пока ваше величество не утруждаю, но так как эти господа знают, что я молчать не буду, то составляют против меня советы и трудятся уже несколько дней, не только пересылаясь между собою по делам, но и в Сенате советуются, высылая вон обер-секретаря и секретарей». В 1736 году опять было замечено, что все сборы запускаются в доимку слабостию губернаторов, воевод и сборщиков, и пошли им указы, чтоб на 1736 год все сборы были доставлены без доимки, в противном случае недвижимые имения их будут конфискованы бесповоротно; если же Военная и Камер-коллегия будут слабо смотреть за губернаторами и воеводами, то все доимки и недоборы будут

взысканы на этих коллегиях. В 1739 году новые жалобы правительства на доимки, которые приписываются прямо злоупотреблению правительственных лиц; указ написан, как видно, с целью оправдать верховное правительство ввиду страшных жалоб на разорение от беспощадного взыскивания доимок: «Всем известно, какая высочайшая милость к нашим верным подданным показывана, а именно в прошлом, 1730 году подушные деньги на майскую треть, а потом в 1735 году на первую половину года со всего государства сложены, всего близ 4000000 рублей. Однакож, видя такую высочайшую милость, о платеже такой доимки нимало не старались и намножили на себя великие суммы, в чем не иной кто причиною, но вначале знатные персоны, а на них, смотря или и норовя им, губернаторы, и воеводы, и определенные к таким сборам управители. Что же касается о таковой же доимке на наших дворцовых и приписных к казенным разным заводам, також и цесаревны Елисаветы Петровны, и синодальных, архиерейских и монастырских, и имеретинской царевны вотчинах, то ежели б бывшие в них управители, приказчики и старосты порядочно поступали и взятков с крестьян не брали, то б такой великой доимки на оных вотчинах быть не могло: ибо заподлинно мы уведомились, что оные управители не о доходах государственных старались, но всегда о своем обогащении вымышляли, как бы им несправедную корысть получить, и для того изо взятков крестьянам потакали и от времени до времени отсрочивали, а крестьяне, не разумея их такой хитрости и не рассуждая того, что такие отсрочки к крайнему разорению привести их могут, давали им немалые посулы. Иные же управители крестьянам представляли, что такие доимки могут с них со временем вовсе сложены быть, и на то, собирая с них великие суммы, себе похищали, а их от времени до времени обнадеживали; и тако бедное крестьянство от таких вымышленных им послаблений и обманов вовсе разоряются, и доимки на них год от года умножаются, и ежели исчислить такие с них за отсрочку в доимках взятки, когда б они прямо в казну нашу доходили, а не у таких плутов в руках оставались, то бы всеконечно на крестьянах не такая б великая доимка оставалась. А понеже таких великих доимок складывать отнюдь не возможно, для того что ежели оную доимку сложить, то тем только польза быть может, которые упрямством своим и ослушанием таких податей не платили, а, напротив того, другие, которые с крайним своим изнеможением упомянутые подушные деньги сполна платили, останутся обижены, ибо того, что они заплатили, из казны им возратить будет невозможно, да и, сверх того, войска наши в жаловании и в прочем могут претерпеть крайнюю нужду. Того ради во всенародное известие объявляем, что мы всемилостивейшее намерение имеем нашим верным подданным впредь особливую нашу милость показать, кроме складывания доимок, дабы нашею милостию все равно пользоваться могли, а на складывание доимок надежды нималой не имели». В самом начале 1740 года подтверждено было взыскание доимок на основании прежних распоряжений. Относительно уплаты доимок слышались сильные жалобы на монастыри. В 1736 году председатель Коллегии экономии донес, что на архиерейских домах и монастырях большая доимка. По указу императрицы велено было заплатить ее в два месяца, но указ не был исполнен. Коллегия экономии представила об этом Синоду; Синод приказал заплатить немедленно, а пока не будет уплачено, в монастырях властям на свои властелинские места в церквах не становиться. Но и после этого доимки не только не были заплачены, но и еще умножились. Коллегия экономии послала

офицеров для взыскивания доимок, но до конца 1739 года доимка все еще не была заплачена. На Саввино-Сторожевском монастыре оставалось доимки 20415 рублей. Председатель Коллегии экономии оканчивал свое донесение об этом так: «Приказные и стряпчие тех монастырей хотя и содержатся скованы под караулом, точю они власти то задержание ни во что вменяют»

Что касается расходов, то в 1734 году на содержание двора выходило 260000 рублей, на содержание императорской конюшни – 100000, в комнату принцессы Анны Леопольдовны – 6000, пенсии вдовствующей маркграфине бранденбургской Марии-Доротее, сестре покойного герцога курляндского, мужа императрицы, – 10000, пенсии вдовствующей герцогине саксен-мейнингской Елизавете-Софии, свекрови императрицы, – 10000, пенсии другой сестре покойного герцога курляндского, герцогине Елеоноре брауншвейг-бевеернской – 12000, пенсии вдовствующей княгине Амалии-Луизе – 10000, царю грузинскому Вахтангу Леоновичу и брату его царевичу Симеону – 29111, в Коллегию иностранных дел на министерские, курьерские и калмыцкие дачи – 102200, в две академии – Наук и Адмиралтейскую – 47371, в Медицинскую канцелярию – 16006, в Адмиралтейство – 1200000, в артиллерию – 370000, лейб-гвардии на 4 полка – 402112, лейб-гвардии на Московский отставной баталион – 13176, на Мекленбургский корпус – 13249, на полки Низового корпуса, которые на подушный сбор не положены, – 422520, на содержание полевых драгунских шести полков – 175557, нерегулярному войску – 141525, кабинет-министрам, сенаторам, коллежским президентам, членам и прокурорам – 96082, приказным и нижним служителям – 153688, на расходы по учреждениям – 17072, канцелярским, таможенным да портовым служителям и обер-директору – 14332, в московской полиции и в 5 комиссиях членам, офицерам и приказным служителям – 9748, служащим в провинциях – 36525, геодезистам и школьным учителям – 4500, в губерниях и провинциях на канцелярские расходы и на прогоны – 14465, арестантам и ссыльным кормовых – 1746, в Ревельской губернии и в Выборгской провинции и в Нарве с привозной заморской соли, которые отсылаются в Соляную контору (?), – 14792, ружникам, придворным, протодьякону, уставщику и певчим, жалованье нищим и на отопление богаделен – 41876, на пенсионные дачи – 38096, на строения – 256813; сумма – 4040570. Сюда должно прибавить 3767015 рублей подушного сбора, шедшего на армию.

Прибегали к разным средствам уменьшения расходов и увеличения доходов; в 1732 году Сенат подал императрице доношение: в 1730 и 1731 годах фельдмаршал Миних доносил, что работы по Ладожскому каналу счастливо окончены, и требовал наложения на проходящие этим каналом суда и плоты пошлин, объявляя, что пошлин с судов и кабаков будет достаточно для произведения всех остальных работ, равно как для содержания канала и выкладки берегов его диким камнем. Но потом в прошлом же, 1731 году потребовал на достройку шлюзов 50000 рублей, объявляя опять, что этими деньгами и пошлинами исправятся все доделки по каналу, почему и отпущены ему требуемые 50000 рублей. Но в нынешнем, 1732 году фельдмаршал представил новое требование – 110000 рублей на ту же достройку канала; отпущено 50000, а остальных 60000 не отпущено по неимению денег. «Понеже, – писал Сенат, – тем каналом уже другой год всякие суда со всякими припасами проходят свободно, и такой нужды, чтоб какие вдруг многие работы великим коштом исправлять, быть

не рассуждается, того ради не соизволите ли, ваше императорское величество, повелеть то канальное дело за неимением ныне денежной казны оканчивать но прежним его, генерал-фельдмаршала, представлениям на одни только сборные при канале пошлинные и прибыльные деньги и, сверх того, придать еще ладожские таможенные и кабатские доходы, которых имеет быть на год больше 40000 рублей». При этом Сенат приложил ведомость, из которой оказывалось, что канал с 1718 года стоил казне 2459900 рублей. На доношение Сената императрица отвечала приказанием отпустить 60000 рублей и впредь отпуска из доимочных денег, сколько когда будет востребовано фельдмаршалом.

В самом начале 1735 года императрица отдала кабинет-министрам поданный ей проект и для его обсуждения приказала в Кабинете быть собранию из особ, назначенных ею самою. В проекте говорилось: 1) в государстве много иноверных народов, называемых ясачными; прежде они платили деньгами и звериными кожами, но когда установлена подушная подать, то на эти народы неосмотрительно наложена подать, именно 110 копеек, а так как эти народы поселены на самых лучших местах, в хлебе и скоте имеют большое довольство, притом звериные, рыбные ловли и пчеловодство, многие из них и торгуют, то эта подать для них безмерно легка, тогда как в других государствах везде иноверцы более податей платят, нежели природные единоверцы; поэтому надобно положить на них еще прибавочную подать умеренную, со всякой души по 150 копеек на год, и так как их около полумиллиона, то прибавочной суммы будет тысяч двести и больше; 2) из бесхлебных мест выбежали многие крестьяне, так что в некоторых местах только половина против генеральной переписи осталась, а кой-где и меньше, снять хлеб стало некому, подати за беглецов принуждены платить оставшиеся; когда же до того дойдет, что они, распродав в подати скот свой и последний хлеб, придут в нищету, тогда принуждены и они, оставя дома, или скитаться по миру, или сбежать в дальние места, отчего во многих местах быть голоду и пустоте. Большая часть беглецов умещается внутри государства там, где хлебные и свободные места, а особливо в ясачных русских волостях, также в слободах, называемых старых служб, т.е. в солдатских, козачьих, пушкарских, затинщических, рейтарских, стрелецких и бывших засечных лесных сторожей, ибо многие из этих служилых людей поселены в низовых и заочках городах в лучших местах. Помянутые старых служб, также и ясачные крестьяне других податей не платят и работ не работают, кроме что платят на полки, и затем живут, как ясачные крестьяне, сами по себе, по своей воле, и это их своевольство приносит государству немалый вред и делает из их земель пристанище беглецам по причине доброты земель, на которые навозу не кладут, и потому земледельцам только половина труда, а там, откуда бегут, приходится по полтора и по два рубля на каждую душу, и надобно уравнением податей пресечь бегство. Надобно ясачным волостям ревизию сделать, приемщиков наказывать и, сверх того, за то, что принимали, прибавить к подушному окладу в год по 10 копеек для страха впредь; 3) завести магазины и наполнять их при дешевых ценах, а в голод продавать по умеренным ценам; 4) по нынешним хлебным недородам весьма нужно уменьшить в государстве винокуренные заводы, особенно во внутренних и малохлебных местах – в Новгородской Московской, Нижегородской, Смоленской губерниях; видим, что уже во многих местах доходит до самого голода, однако, вместо того чтоб тот хлеб мог идти на пропитание оскуделому и голодному

народу, употребляем его в отраву человеческую – в вино для прибытка нескольких частных лиц; на кабаки же вино подряжать из Малороссии и из Польши; 5) учредить особую контору и подчинить ее Сенату; она должна знать, где есть хлебные и бесхлебные места, по какой цене в котором месяце бывает в губерниях во всех городах какой хлеб в продаже, знать положение и расстояние мест и течение рек; контора эта также должна заботиться о пресечении побегов.

Князь Александр Борисович Куракин подал мнение, что надобно сравнить прежние ясачные подати с нынешним окладом, и если можно будет наложить, то лучше хлебом, который пойдет на войско, но главное, чтоб при сборе подушного оклада и этого хлеба не обижали иноверцев и не брали с них взяток; слышно, что эти народы от воевод, всяких посыльщиков и приказных людей терпят разорение. Куракин указал, что беглые живут также на фабриках и заводах, особенно в Сибири: там у медных и железных заводов населены немалые слободы беглыми крестьянами, надобно эти слободы освидетельствовать и с владельцев взыскать за беглых в пользу помещиков. Утверждая необходимость общей ревизии, Куракин замечал, что особой конторы, указанной в проекте, не нужно, все это дело надобно поручить одному из сенаторов.

По мнению графа Михаила Гавриловича Головкина, Синод должен был стараться приводить иноверцев в христианскую веру и тем их обуздать; на остающихся в прежней вере ясак прибавить, а принявших христианство уравнивать с русскими. В Сенате известно, что в Польше, поблизости от границ, многие шляхтичи в своих землях публикуют с барабанным боем, чтоб русские шли к ним в подданство, и обещают им многие облегчения, также и в русские города посылают шпионов и подговаривают многих к себе, особенно из Смоленской губернии, которая за хлебным недородом многих лет пришла в великую скудность и разорение; видя их ласковый привет, множество идут за границу и селятся, получая льготы на большое число лет. Поэтому надобно послать туда значительное войско и велеть не только беглецов возвратить, но и польских подданных, забрав, перевести на царицынскую линию, а по границе лежащие места перед другими уездами надобно облегчить в подушном окладе, дабы жители их не имели охоты бежать за границу. Из челобитных смоленской шляхты можно видеть, в каком худом состоянии эта губерния ныне находится, особенно когда на прошлый, 1734 год правили вдруг за обе половины года и оттого почти всех в Польшу разогнали.

Где земля хотя и плодоносная, а крестьянство в добром охранении не будет, там и хорошая земля не удержит, бегут туда, где бы хотя несколько времени могли пожить в покое. Соглашаясь на учреждение хлебных магазинов, Головкин замечал относительно винокуренных заводов: если губернаторы увидят, что урожай хорош, то могут дать позволение хлеб на вино тратить, ибо когда цены на хлеб будут очень низки, то крестьянство не может исправиться в платеже подушного оклада, и потому надобно устанавливать цены хлебу умеренные; также не должно запрещать винокурения в тех местах, из которых неудобно провозить хлеб за неимением судоходных рек. Если губернатор усмотрит, что хлеб родился худо, то надобно ему ограничить винокурение наполовину, а в случае великой нужды и вовсе прекратить.

Волынский в своем мнении указал, что по реке Самаре живут многие тысячи беглых. Уменьшение винокуренных заводов признал делом самым нужным: если

взять две равные меры хлеба и из одной пересидеть вино и передвоить, а другую половину перепечь в хлебы, то на всякую чарку придется по целому хлебу такому, что человек доволен им будет четыре дня; сколько ж пьяница-тунеядец таких хлебов в один день чарками проглотит и у скольких человек на тот день пищи отнимет! Содержатели винокуренных заводов отнимают пропитание у подлого народа излишними наддачами в хлебным ценам, а если б не они, то, конечно, не было бы в государстве такой скудости. «Того ради, по моему слабому мнению, по истинной совести доношу, что всеконечно в малохлебных местах винокуренные заводы разорить надобно, невзирая на то, что народным вредителям, одним только заводчикам и откупщикам и протекторам их, будет из того некоторый убыток, однако ж вместо того во многих местах целому бедному народу в пропитании будет великая польза, как о том всяк совестный и добрый христианин легко рассудить может. Если скажут, что люди на винокуренных заводах добывают себе хлеб, то на это возражение: эти люди были бы земледельцы, а теперь летают из места в место в легких работах и сами едят хлеб из чужих рук, как мыши, а в государстве нашем лучшим из всех сокровищ хлеб почитать нужно, и когда земледелец отвыкает от пашни, то уже никогда снова земледельцем не сделается».

По мнению Черкасского и Остермана, по 40 копеек на ясачных прибавить можно было бы, потому что и теперь не меньше того с них сходит, если не больше: ежегодно выбираются у них старосты и выборные, которые сверх подушного оклада собирают немалую сумму денег под названием мирского сбора, из которого расходуют на подводы, дрова, бумагу, свечи, из той же суммы сами старосты довольствуются и даже обогащаются, приказчикам и воеводам немалые дачи производят, а приказчики и воеводы об уменьшении сборов не стараются, ибо, чем больше старосты собирают, тем больше им дают. Поэтому надобно определить, кому такие мирские сборы и расходы свидетельствовать и назначать, по сколько в котором селе собирать, на какие необходимые расходы и по сколько их употреблять; чрез это излишние мирские сборы, которые прежде шли в частное пользование, обращены будут в государственное пользование. Чтоб не принимали беглых, вместо пожилых денег позволить помещикам брать земли, где поселены их беглые: этот способ больше всяких штрафов устроит, ибо крестьяне из своих дач не хотят потерять ни малейшей части земли, хотя бы оставалось у них еще слишком много; они готовы умереть за малейшую часть земли, когда дело идет о том, чтоб чужое себе присвоить или из своего не уступить, что по спорным о земле делам видно. Против винокуренных заводов оба кабинет-министра привели еще то, что около Москвы и других значительных городов на них тратится множество лесов, где уж и так лесов становится мало и цены на дрова возвысились, а по положению нашего государства, по великой стуже дрова нужны не менее хлеба. Винокуренные заводы надобно уничтожить в Московской, Нижегородской, Новгородской и Смоленской губерниях и оставить их в Малороссии и в тех великороссийских областях, откуда отпуска хлеба водою не бывает. Помещикам можно позволить в деревнях курить вино, но только для своих нужд.

Главный вопрос о ясачных решил обер-прокурор Анисим Маслов, представив ведомости, что иноверцы платят теперь гораздо больше, чем платили прежде, и такого числа их нет, как написано в представлении, именно: по справке явилось меньше половины, и чрез прибавку податей можно получить только 80000 рублей,

по из-за таких небольших денег не стоит подвергаться опасности, что ясачные разбегутся к чужим народам.

В 1736 году прибегли к старому средству – выплачивать гражданским чиновникам жалованье сибирскими и китайскими товарами, кроме служащих при Кабинете, в Академии Наук и иностранцев, служащих по капитуляциям; в 1739 году восстановлен был закон Петра Великого, чтоб чиновники, служащие в Москве и других городах, получали жалованье вполовину меньше против служащих в Петербурге; тогда же запрещено было из Штатс-конторы из наличных денег производить жалованье статским чинам, начиная с сенаторов, прежде чем будут удовлетворены денежною казною Военная и Адмиралтейская коллегии и артиллерия; статские чины должны были получать жалованье из доимочных денег, опять исключая членов Академии Наук и иностранцев, служащих по капитуляциям. В июле 1740 года Сенат представил, чтоб дано было из Соляной конторы заимообразно денег по крайней мере до 200000 рублей, показывая, что с начала 1740 года по 19 июля на чрезвычайные расходы издержано 456319 рублей и потому в рентереях денег нет и платить не из чего. На это представление последовал выговор в именном указе: императрице весьма удивительно, отчего ныне в деньгах недостаток явился! Все нужнейшие и государству нашему полезные дела упущены, и до того дошло, что о пополнении государственных доходов нималой надежды нет, в сборах многие непорядки явились, и оттого сборы умяляются; доимки в нескольких миллионах состоят, казенные деньги частными людьми похищены и другими коварными вымыслами захвачены. Сенат, оставя такие дела, по которым государственная казна растеряна и раскрадена, без надлежащего следствия и взыскания и не рассуждая того, откуда деньги без утруждения нас и без отягощения наших верных подданных сыскать можно и нет ли таких расходов, которые могли бы быть и оставлены, и, не рассматривая, с каким порядком собираются доходы, нам самим представлять стали о даче в займы из соляной суммы! Об этом мы Сенату внушить принуждены, что соляной сбор употребляется на экстраординарные расходы по особливым нашим соизволениям, поэтому его никуда и употреблять не надлежит. Что же и до дел челобитчиковых принадлежит, то многие с многолетнею волокитою и до сего времени решения получить не могут, а для того некоторые челобитчики принуждены нас везде беспокоить и своими прошениями утруждать; также и колодников так умножилось, что и караулами обнять не могут.

Люди, как Остерман и ему подобные, понимали, что одним взысканием доимок нельзя увеличить государственные доходы, что надобно усиливать промышленную деятельность народа. По господствовавшему в то время взгляду ослабление промышленной деятельности приписывали недостатку правительственного надзора, и в 1734 году на основании мнения Коммерц-коллегии Сенат приказал определить обер-комиссара и троих комиссаров, достойных и искусных людей, для смотра над фабриками и приведения их в лучший распорядок; деньги на жалованье этим новым чиновникам собирались с фабрикантов. Прежде всего обращено было внимание на распространение суконных фабрик, «дабы армию без вывоза чужестранных российскими сукнами удовлетворять». Для этого велено было Военной коллегии и Комиссариату принимать русские сукна прежде иностранных и русским фабрикантам деньги платить наравне с иностранными без всякого задержания,

хотя некоторое время, для размножения тех фабрик. Мы видели уже, что по скудости народонаселения на огромных пространствах в России нельзя было пробавиться вольнонаемным трудом, и, как в XVI и XVII веках правительство, раздавши земли служилым людям, должно было обеспечить их относительно работников, так и в XVIII веке правительство, заводя и поощряя заводить фабрики, должно было также обеспечить их относительно работников; поэтому и в описываемое время встречаем указы об укреплении за фабрикантами оказавшихся у них на фабриках разного ведомства людей и крестьян, о позволении фабрикантам покупать людей и крестьян без земель. Так как кроме этого фабрикантам давались большие льготы – освобождение их с детьми, братьями и приказчиками от всяких служб и постоев, то в привилегиях, даваемых для заведения новых фабрик, говорилось: «Повелеваем ту фабрику размножить сильною рукою, а не под видом содержать, чтоб оною от служб и от постоев быть свободным». В 1736 году составила компания из московских купцов для заведения суконной фабрики; компаньонами были Еремеев, Васильков, Товаров, Носырев, Колобов, Журавлев, Бабкин. Из старых суконных фабрик знамениты были Щеголина, Полуярославцева в Москве и вдовы Микляевой в Казани, с этих фабрик брали мастеров для обучения учеников во вновь заводимых фабриках. Полуярославцев ставил в год на армию по 70000 аршин сукна, компанейщики московской фабрики Болотин и Докучаев ставили по 180000 аршин, московский фабрикант Сериков мог сделать в год до 25000 аршин. По господствовавшему в меркантильной системе правилу не позволять вывоза сырых произведений за границу, в 1736 году восстановлен был указ Петра Великого, запрещающий вывозить козлиные сырые кожи; в следующем году указ был повторен.

Кроме суконных фабрик особенное внимание правительства было обращено на устройство конских заводов и горное дело. Независимо от страсти к лошадям всемогущего фаворита продолжительная война должна была указать на печальное состояние русской конницы; мы видели, как иностранным наблюдателям смешны казались русские драгуны, подавлявшие своих жалких лошадеков. В указе 1732 года говорилось: «Известно всем, коим образом до сего времени при нашей кавалерии употребляемые лошади по породе своей к стрельбе и порядочному строю весьма неспособны и такожде за малостию в нужных случаях такую службу показать не могут, какой от порядочной и доброконной кавалерии ожидать надлежит, а таких рослых и добрых лошадей из чужих краев доставать великое иждивение и труд требуется и не всегда возможно. Того ради указали мы в пристойных местах учредить конные заводы». Для этого составлена была особая комиссия, порученная обер-шталмейстеру графу Левенвольду, но так как последний отвлекаем был дипломатическими поручениями, то устройство конских заводов было поручено известному Волынскому. Он был отправлен в Москву, чтоб там составить комиссию и разослать в разные губернии офицеров для осмотра и описи удобных мест. Посланные нашли 104 удобные местности, в которых, по их мнению, можно было содержать до 36000 лошадей. В Кабинете положено было на первое время выбрать удобные места в дворцовых и ясачных дачах на 2000 заводных кобыл и на 240 жеребцов, вследствие чего в Казанской и Нижегородской губерниях выбрано было десять мест. Но мы видели, что по случаю польской войны и Волынский должен был отправиться к действующей армии. После, в 1739 году, встречаем распоряжения об устройстве конских заводов в малороссийских и

слободских полках; тогда же велено было учредить государственные лошадиные заводы в синодальной области и в архиерейских и в монастырских вотчинах.

Относительно горного дела в 1733 году учреждена была особая комиссия под председательством графа Михайлы Головкина; она должна была решить старый вопрос: что выгоднее – на казенном ли коште содержать железные и медные заводы или отдать частным людям и на каких условиях? Сильным побуждением к поднятию этого вопроса были жалобы старика Геннина на затруднительность его положения. Геннин в 1732 году жаловался на усольского воеводу Овцына, который приписным к заводам крестьянам не велел ходить на заводские работы и употребляет их в подряды у соляных промышленников к строению судов на том основании, что эти крестьяне – лодочные плотники, но если такой воеводский порядок допустить, писал Геннин, то и вся Пермь, отбывая от работ, станет говорить, что все – лодейные плотники и их свойственники, к заводам от воеводы раденья нет: всех заводских крестьян желает взять под свой приказ и власть. Казенным заводам еще противность от тех, которым следовало больше других иметь об них попечение, а именно от горной экспедиции Коммерц-коллегии; ныне до того дошло, что некому юстицких и счетных и всех конторских дел управлять и в добром порядке содержать, а он, Геннин, в том неискусен, да хотя бы и умел, да некогда за частыми отлучка на другие заводы для их исправлений и для строения новых заводов, а от Сената и от Коммерц-коллегии спрашивают дел много под штрафом, и хотя у всех горных и заводских дел подьячих имеется со 130 человек, и без того быть нельзя, только смотреть за канцелярскими делами, распределять их и в добром порядке вести. счета свидетельствовать и юстицкие дела отправлять некому, а тюрьма наполнена колодниками, также много там ссыльных, и опасно, чтоб, сообщаясь с тюремными сидельцами, не сделали какого зла, потому что место, с башкирами пограничное. Никто туда ехать не хочет, думая ему, Геннину, тем досадить и чтоб он один пропал и не мог обещанную сумму железа и меди поставить. Частными людьми медные и железные заводы строятся не в дальнем расстоянии от казенных заводов, а другие на казенной заводской земле; заводы строились и строятся без ведома его по точным из бывшей Берг-коллегии указам и не справясь прежде с Сибирским обер-бергамтом, и более в небытность его, Геннина, а из Сената требуют от него мнения, чтоб прислать в Коммерц-коллегию, а потом чтоб эта коллегия дала свое мнение, не будет ли от частных заводов казенным вреда. Но такого важного дела ему одному делать невозможно, да и Коммерц-коллегия, не видав дела на месте, чрез репорт дать мнения не может: надобно прислать особую комиссию. Представляя все это, Геннин писал Остерману: «По возможности труждаюсь при казенных заводах. чтоб к государственной славе и интересу привести, и того ради на все стороны ссориться понужден, чтоб губернатор и провинциальные воеводы вымышленно помешательства не чинили, такожде чтоб господа сенаторы, а наипаче Коммерц-коллегия помогали. сверх того, утруждаю Кабинет, понеже ее и. в-ство изволила мне указать, дабы я писал прямо к ней, ежели какая остановка заводам будет или чего когда понадобится. Ныне опасен более Кабинет и Сенат утруждать моими частыми докуками, не знаю что делать: докукою скучать ли или не требовать и молчать, и буде так делать, то заводы могут остановиться, а на мне того спрашивают, и того ради прошу вашего графского сиятельства Е том меня в своей милости содержать и к пользе государственных горных и заводских дел

вспоможение учинить для славы государственной, а я бы рад, чтоб сильное лицо здесь было, нежели я, и который бы более патронов и голос имел; что мне, чужестранцу, делать, когда меня оставляют и на меня гневаются? Я живу воистину в великой печали».

В июле 1733 года Геннин писал Остерману решительно: «Припадая к ногам вашим, прошу, чтоб я отсюда был уволен, а быть бы мне при артиллерии, понеже мне такие великие дела одному более управить несносно, и вижу, что я в делах оставлен и никакой помощи нет, но более помешательства, дабы мне здесь от того напрасно, будто за неисправление, в чем я не виноват, не пропасть за мои верные в России чрез тридцать три года службы. А я признаваю, что мой злодей и поноситель на меня асессор Горчаков более виноват и доносит везде, будто я имею здесь людей, с кем управлять довольно, а он сам чрез коварства свои отсюда отбыл, а Коммерц-коллегия ему верит и. может быть, и другие. А которых управителей ныне здесь я имею, оные почти все плуты и пьяницы, и более оные за плутовства содержатся под караулом, также и о тех их плутовствах следуются дела, нежели настоящие заводские дела делаются, а как их переменить – я людей не имею». В следующем году на смену Геннина отправлен был в Сибирскую и Казанскую губернии для заведования горными заводами известный Василий Никитич Татищев.

Устроивши все как следует в Екатеринбурге и Перми, Татищев должен был ехать в Томский и Кузнецкий уезды и стараться построить там сильные заводы; если самому нельзя, то отправить за тем же товарищей в Нерчинск, Иркутск и другие дальние места. Татищев должен был в Башкирии отыскать то место, где еще во времена царя Алексея Михайловича найдена была серебряная руда; должен был стараться некоторые работы исправлять вольным наймом, потому что Демидов, у которого нет и четвертой части приписных крестьян против казенных заводов, несмотря на то, отпускает железа вдвое более против казенных заводов. Татищеву поручен был надзор над всеми частными горными заводами баронов Строгановых, дворян Демидовых и других; он должен был смотреть, чтоб заводчики негодного железа и нечистой меди не продавали, расплачивались с мастерами добросовестно, лишнюю передачу мастеров друг от друга не переманивали, не держали беглых крестьян и друг друга не притесняли, смотреть накрепко, чтоб они на своих заводах не выделяли никаких военных орудий. Во всех законных требованиях Татищев должен был помогать им советом и делом, защищать от обид и в случае распрей между ними давать правый и скорый суд.

Татищев донес, что в Сибири в разных местах найдено руд множество, так что можно хотя тридцать заводов построить, и предлагал вызвать охотников для построения заводов; правительство согласилось. В сентябре 1735 года Татищев писал из Екатеринбурга императрице: «Сего сентября 5 числа ездил я отсюда на реку Кушву и, приехав на оную 8 числа, осматривал: она гора есть так высока, что кругом видеть с нее верст по 100 и более; руды в оной горе не токмо наружной, которая из гор вверх столбами торчит, но кругом в длину более 200 сажень, поперек на полдень сажень на 60; раскапывали и обрели, что всюду лежит сливная одним камнем в глубину; надеюсь, что и во многие годы дна не дойдем. Для такого обстоятельства назвали мы оную гору Благодать, ибо такое великое сокровище на счастье вашего величества по благодати божией открылось, тем же и вашего величества имя в ней в бессмертность славиться имеет».

Сильное развитие горного дела в приуральских странах и далее на восток, многосложность отношений, увеличение числа промышленников, частые столкновения между ними требовали точных определений и правил, и Татищев немедленно же занялся составлением горнозаводского устава, взявши для него за основание богемский горнозаводской устав, но перед началом дела он счел за нужное созвать в Екатеринбурге всех частных промышленников и приказчиков, к которым обратился с просьбою подавать свои мнения и защищать их свободно: «Всяк имеет волю свое мнение объявить, колико ему бог в том знания уделил, и при том остаться, доколе или тот, или другой, познав лучшую истину, первое переменит; я же вам всем по моей должности и по крайнему разумению служить и моим советом помогать желаю». Верный мысли Петра Великого, Татищев в своем уставе обратил особенное внимание на поддержание коллегиального порядка в Канцелярии главного правления сибирскими горными заводами, как он назвал учреждение, носившее до сих пор название Обер-бергамта; при этом Татищев указывает на беспорядки, существовавшие в его время в коллегиях: «В некоторых тому подобных *собранных правлениях* не весьма уставу следуют, яко главные, прежде выслушать нижних голосов, свое мнение объявляют, для которого иногда нижние за почтение, из маности или за страх, истинное свое мнение и сущую надлежность не объявля, оставляют и оному неправильному согласуют и последуют, а потом, когда к суду позваны бывают, тем отговариваются, что не они большие; другие же коварно при даянии голосов весьма молчат, и когда протокол к закреплению придет, тогда, показывая себя, начинают спорить и новые доводы показывать, чрез что в делах токмо делают продолжение; некоторые же по закрепе дерзают противу порядка из домов своих протесты присылать или протоколисту отдают, ища токмо других невинно опорочить». Татищев вооружился также против злоупотреблений относительно пыток и казней и здесь, следуя мысли преобразователя, высказанной в Уложении и процессе воинского суда. «Некоторые судьи, – говорится в горном уставе, – забыв страх божий и вечную души своей погибель и презрев законы, многократно по злобе или кому дружа, а наипаче проклятым лихоимством прельстяся или кто глупым и нерассудным свирепством преисполняя, людей неподлежаще на пытки осуждают и без всякой надлежащей причины неумеренно и по неколику раз пытаются; некоторые же до смерти пытаются, и на смерть или к лишению чести без всякого к тому надлежащего доказательства осуждают». По уставу Татищева земский судья не мог никого пытаться без извещения главного заводского правления и общего согласия. Смертный приговор мог быть постановлен только в присутствии всех членов Канцелярии главного правления; человек из шляхетства и заслуживший знатный ранг не мог быть пытан и лишен чести; полагалось поступать без всякого послабления в истязании и наказании только с сущими ворами, особенно с ссыльными.

В марте 1735 года Татищев писал обоим кабинет-министрам, Остерману и Черкасскому вместе, любопытное письмо: «О здешних делах ныне иного донести не имею, токмо что раскольников по всем заводам стали переписывать, и хотя я думал, что их душ 1000 либо наберется, однако слышу от них самих, что их более 3000 будет. От оных приходил ко мне первый здешний купец Осенев и приносил 1000 рублей, и хотя при том никакой просьбы не представлял, однако ж я мог выразуметь, чтоб я с ними так же поступил, как и прежние; я ему отрекся, что

мне, не видя дела и не зная за что, принять сумнительно. Назавтра пришел паки да с ним Осокиных приказчик Набатов и принес другую тысячу, но я им сказал, что ни десяти не возьму, понеже то было против моей присяги, но как они прилежно просили и представляли, что ежели я от них не приму, то они будут все в страхе и будут искать других мест, и я, опасаясь, чтоб какого вреда не учинить, обещал им оные принять, когда о невысылке их указ получу, а до тех бы мест держали те деньги у себя, и с тем их отпустил. А по выходе Набатова Осенев мне говорил, что гененал-поручик Геннин, приехав последний раз с Москвы, объявил-де мне, что он весьма разорился и якобы ему более 10000 убытка стало, и посылал-де меня к Демидова приказчикам говорить, чтоб за показанные его благодеяния тот его убыток наградили, и потому приказчик Демидова Степан Егоров ему, генерал-поручику, то число денег привез и отдал, которым и меня склонял, чтоб я так же поступил, но я ему на то сказал, что я как Демидову, так и вам во всем том, что не противно моей должности, помогать и охранять готов без всякой за то мзды, а ежели в чем есть им нужда, то б благонадежно мне сказывали. По оному те раскольники так стали быть благонадежны, что они мне их тайности стали открывать, первое показали о двух пустынях, в которых много попов-старцев, стариц и других беглецов поселились в лесах близ Демидова заводов, и спрашивали, надобно ль их переписать, прося токмо, чтоб их податями не отяготить, и я им велел подать доношение, по которому пошлю их переписать, а о податях обещал донести ее в-ству, чтоб брать с возможных; токмо и для той переписи велел выбрать человека, кого они хотят. Другое: весьма они опасаются, чтоб в школах детей их не принуждали по новым книгам учиться, но я им обещал токмо обучать арифметике и геометрии, а до прочего якобы мне дела нет. Третье: просили, чтоб на заводах кабакам не быть, опасаясь, чтоб чрез то многие учения их не отстали, и говорили паки, что Демидовы и прочие промышленники тот откуп на себя снимут, и меня обещали довольно наградить но я им в том весьма отказал, показуя данную мне инструкцию где написано точно: на казенных и партикулярных заводах кабаки учредить. И сие вам доношу не для самохвальства или по какой злости, но паче чтоб вы о всем были известны, и, ежели потребно усмотрите, можете благонадежно за истину ее величеству донести, и я все то доказать могу. При сем же покорно нижайте прошу вашего сиятельства милостивых моих государей, чтоб посланные мои доношения изволили рассмотреть, и, ежели я в чем хотя ни от какой страсти, но разве от неразумения пристойность преступил, милостивое ваше защищение покажите и меня уведомить повелите, дабы я впредь от неведомого погрешения мог остеречься».

Остерман отвечал ему на это: «Мы ее и. в-ству доносили, и ее в-ство изволили указать к вам писать, чтоб вы весьма тайно и секретно того Демидова приказчика Стефана Егорова прислали сюда, в Петербург, с такою крайнею осторожностью, чтоб ни хозяин его, ни другие про то ведать не могли, понеже ее величество здесь оное дело исследовать повелит секретно. И ежели б оный Осенев для доказательства потребен был, то имеете и оного прислать особливо». Егоров был отправлен в Петербург и здесь показал, что в 1729 году Геннин был на заводе у Демидова и говорил Егорову: «Я теперь разорился, пропало у меня за морем в банке 10000 рублей: отпиши к хозяину, чтоб мне уступил железа здесь при заводе 20000 пуд за 30 копеек пуд и доvez до Петербурга на своих судах, а за провоз я заплачу и за то ему всегда буду слуга». Егоров писал об этом хозяину, но

тот отвечал, чтоб выдали Геннину 4000 рублей деньгами, что Егоров и исполнил; других же дач деньгами Геннину не было, давали посуду медную и другие мелочи. Как ни тайно вели дело, Геннин, однако, узнал, что Егоров прислан доносителем на него, и написал Остерману, что в продолжение тридцати семи лет службы он ни от кого не корыстовался, во всем чист, и требовал строгого допроса Егорову в Кабинете и очных ставок. Но в декабре по приказу господ министров Егоров из-под караула освобожден и отпущен на заводы.

Геннин был отомщен тем, что скоро явились жалобы и на Татищева.

Несмотря на желание нового начальника жить в мире с частными владельцами заводов и сочинять Горный устав сообща с ними, в Петербург пошли жалобы на него от главных заводчиков – Строгановых и Демидова. Строгановы жаловались, что Татищев нападает на их приказчиков, грозит бить их кнутом на том основании, что приказчики запрещают своим крестьянам приискивать руду, тогда как приказчики вовсе этого не запрещают, не велят только своим крестьянам ставить руду на чужие заводы; потом велит прокладывать дорогу, в которой нет никакой надобности, потому что летом ездят водою, а зимою – по льду. Демидов жаловался, что Татищев берет у него даром материал для казенных построек, берет на казенные заводы с его заводов мастеров и рабочих. Неизвестно, как правительство удостоверилось, что правы жалобщики, только в апреле 1736 года Татищеву были посланы указы: «Вследствие его нападков строгановских приказчиков и крестьян не ведать, по делам горным ведать их в Комерц-коллегии, а по соляным – в Соляной конторе, также и Демидова ведать в Комерц-коллегии для вышепоказанных от вас обид и происходящих между вами приказных ссор». 24 августа 1736 года Татищев писал Остерману и Черкасскому: «Вашему сиятельству известно, что я сюда ехать никакой охоты не имел и никогда и ни к какому делу не искал, но когда ее и. в-ство по всевысокой ее воле повелела мне здесь быть, а ваше сиятельство по прежней ко мне и природной ко всем показуемой милости меня тем и всегдашним от нападчиков защищенном и в положенном на меня деле помощью милостивою обнадежили, и потому я не токмо с охотою ехал, о исполнении повеленного и приобретении великой ее и. в-ства прибыли никакого сомнения не имел. Но, как всякий человек несовершен, часто зло за добро, а вредное за полезное почитать, чем чае благополучия, оттого погибает, так сие со мною наипаче учинилось, что я от крайней глупости, хотя ни из коей собственной прихоти или злости, против воли и намерения ее и. в-ства безумно так великих и сильных людей господ баронов Строгановых и дворянина Акинфея Демидова к жалобам на меня и утруждению ее и. в-ства и вашего сиятельства подвинул и за то вижу, что достойно так тяжким гневом наказан, и, обещанной милости и помощи вашего сиятельства видя себя лишена, в страхе крайней гибели и отчаяния всякого благополучия пришед, ничего начать ниже представить смею. Большой паче всех страх и печаль наносят мне дела по тайным розыскам, которые здесь от плутов ссыльных объявляются и о розыске оными ныне точный ее и. в-ства указ, но потом из Канцелярии тайных розыскных дел с гневом прислан был указ, якобы я не в свое дело без указа вступил». Новый Горный устав не был утвержден. Татищев объясняет свои неудачи немилостью Бирона, которую он навлек на себя тем, что, «усмотря, что от бывших некоторых саксонцев в строении заводов все чины и работы, якоже и снасти, по-немецки названы, которых многие не знали и правильно выговорить или написать не

умели, сожалея, чтобы слава и честь отечества и его труд теми именами немецкими утеснены не были, ибо по оным немцы могли себе неподлежащие в размножении заводов честь привлекать, еще же из того и вред усмотря, что незнающие тех слов впадали в невинное преступление, и дело во опущении, яко полномочный, все такие звания оставил, а велел писать русскими». Представление его в Кабинет об этой перемене было одобрено императрицею, но Бирон «так сие за зло принял, что не однажды говаривал, якобы Татищев – главный злодей немцев». Но если б и действительно Бирон рассердился за перемену немецких названий на русские, то не здесь, однако, нужно искать причины неутверждения нового устава; сам Татищев в другом месте объясняет дело удовлетворительно переменою главного управления горным делом вообще: «Берг-директориум учинен в 1736 году вместо Берг-коллегии; когда Бирон вознамерился оный великий государственный доход похитить, тогда он, призвав из Саксонии Шемберга, который хотя и малого знания к содержанию таких великих казенных, а паче железных заводов не имел и нигде не видел, учинил его генералом берг-директором с полною властью, частью подчиня Сенату, но потом, видя, что Сенат требует о всем известия и счета, а Татищев, которому все сибирские заводы поручены были, письменно его худые поступки и назначение представил, тогда, оставя все учиненные о том комиссии представления, все заводы под именем Шемберга тому Бирону с некоторыми темными и весьма казне убыточными договоры отдал». По свидетельству Татищева, Бирон и Шемберг в два года похитили более 400000 рублей. Комиссия, о которой упоминает Татищев, была составлена в 1738 году, ей был предложен на разрешение тот же вопрос: «На казенном ли коште заводы прибыльнее содержать или в компании партикулярным отдать?» Комиссия отвечала, что выгоднее отдать в компанию. На этом основании в 1739 году издан был берг-регламент. Но еще прежде, в 1737 году, Татищев в чине тайного советника был переведен в Оренбургскую экспедицию для устройства Башкирского края.

Что касается самого многочисленного класса промышленников-земледельцев, то мы видели, что главное внимание было обращено на то, чтоб они исправно платили подати и доимки С этой целью в 1732 и 1733 году запрещено было помещиках переселять крестьян из одного места на другое, не подавши просьбы о том в Камер-коллегию, «дабы от такого безуказного пере вода в платеже подушных денег и рекрут и прочих указных сборов немало помешательств и доимок, и ее императорского величества армии в даче жалованья не было нужды». Но в том же, 1733 году во многих местах не родился хлеб и крестьяне пошли по миру; в апреле 1734 года императрица, «имея попечение не токмо о том, дабы крестьяне в таком случае пропитаны были, по паче сохраняя благополучие и целость государства своего», повелела публиковать указами, чтоб помещики, управители и эконоы крестьян и людей своих кормили, по миру ходить не допускали и семенами снабдевали, дабы земля праздна не лежала. Но указы не имели надлежащего действия, и в конце года явился новый указ, в котором говорилось, что крестьяне, не получая ссуды и вспоможения, терпят в хлебе великую нужду, земли к будущему году засеяны рожью не все, крестьяне бродят по миру и иные бегут в разные места; в указе накрепчайше подтверждалось помещикам, духовным властям, управителям и приказчикам кормить крестьян и снабдить семенами для посева ярового хлеба, грозя в

противном случае жестоким истязанием и вечным разорением; губернаторы, воеводы и штабных дворов офицеры будут подвергнуты тому же, если не будут наблюдать за исполнением указа и репортовать об ослушниках. Но пришли известия, что бедствие достигает высшей степени, во многих местах крестьяне от голода пухнут, лежат больны, а некоторые и умирают, и потому в начале 1735 года Сенат приказал купить провиант в Нижнем до 5000 рублей, в Арзамасской провинции – до 2000, в провинциях и городах Московской губернии – до 6000 и раздавать этот хлеб совершенно неимущим, которые крестьян своих пропитать не могут, займы с расписками и самим крестьянам, ходящим по миру, давать в милостыню с записками; в Москве, Смоленске и Твери производить такую раздачу из магазинов, при этом смотреть, чтоб не раздавали таким, которые сами крестьян своих прокормить могут, как в 1734 году делал московский вице-губернатор Вельяминов-Зернов. Крестьяне от голода бежали; их ловили и отдавали прежним землевладельцам, но по указу 1721 года беглого при отдаче должно было наказывать кнутом, чтоб другим бегать было неповадно; нашли жестоким применить этот закон к крестьянам, бежавшим от голода, и в 1736 году издан был указ, чтоб беглых наказывать кнутом или кошками, плетью или батогами по воле помещиков, а дворцовых и церковных крестьян – по воле их начальников, кто кого как пожелает наказать.

Вступление русского войска в Польшу дало возможность отыскивать в ее владениях и возвращать русских беглых крестьян, но с выходом войска оттуда в 1735 году эта возможность начала прекращаться. Смоленский губернатор Александр Бутурлин доносил в 1735 году, что из пограничных польских мест беглых крестьян высылают, а из отдаленных сами собою беглые очень редко выходят, а принудить их к тому нельзя, хотя и ездят туда смоленские помещики; поляки только вид делают, что готовы выдать, а крестьяне по взятии их снова уходят и уже скрываются, потому что крестьянство от польских обывателей так приманено и приласкано слабостью и вольностью, что, который мужик и возвратится, и тот уже никакой работы лишней перед тамошней понести не может и всячески проискивает, как бы опять уйти, и для того, будучи во дворе своем, ничего не прочит и не радеет о себе. Бутурлин предложил странное средство к удержанию русских крестьян от бегства в Польшу: которые крестьяне не бегали, с тех брать подати по-прежнему, а которые возвратились из бегов, с тех брать с уменьшением, именно сколько в Польше берут. Увидя это, многие и не подумают бежать, и ушедшие с радостью возвратятся, даже природные поляки многие переселятся в Россию для избежания происходящих у них междоусобий и беспокойств.

Бегство крестьян, конфискация купеческого имущества при взыскании доимок, разумеется, препятствовали развитию торговли, процветанию городов. Летом 1734 года Татищев, едучи в Сибирь, писал с дороги, из Нижнего, Остерману, что урожай плохой, потому что мало сеяно, и крестьяне бегут толпами. Несмотря, однако, на это, он нашел, что в городах хлеб был недорог, прежде был дороже; доискиваясь причины такого удивительного явления, Татищев нашел, что дешевизна хлеба происходит от великой скудости в деньгах, стал расспрашивать, отчего денег мало, и узнал, что купечество везде упало и почти не торгует, крестьянских товаров не покупает, ибо на всем почти купечестве великая доимка показана, дворы и пожитки описаны; в Переяславле-Рязанском

было описано более двух третей посадских дворов, отчего некоторые, и будучи в состоянии торговать, но, надеясь оправдаться в доимке, не торгуют, другие торговали на кредит, но теперь никто им не верит. В Нижнем Татищев знал многих купцов, которые торговали тысяч на десять и больше, а в описываемое время ничем не торговали. Макарьевскую ярмарку Татищев нашел в очень дурном положении. Относительно внешней торговли продолжались еще завещанные древнею Россиею жалкие хлопоты о продаже так называемых казенных товаров. В 1732 году Сенат нашел, что отправлять казенный товар – поташ – на русских кораблях от Архангельска за границу на комиссию очень убыточно, что гораздо полезнее продавать казенные товары при русских портах верным купцам. При этом Сенат представлял необходимость уменьшить добывание поташу и смольчуга, ибо во многих местах, где бывали поташные и смольчужные заводы, там стали степи и на дрова лесу не осталось. Выгоднее было, по мнению Сената, умножить железное и медное производство. Но по указу императрицы поташ и железо были отданы купцам Шифнеру и Вольфу по 12 ефимков за берковец; продан был весь наличный поташ, да, кроме того, казна обязалась поставлять им по 2000 бочек ежегодно в продолжение пяти лет для чего приписано было на поташные заводы 10000 душ крестьян к прежним 17000.

Для увеличения доходов старались усилить промыслы, в неурожайные годы заставляли землевладельцев кормить крестьян и снабжать их семенами, но для всего этого нужны были капиталы, а их было мало в бедной непромышленной стране; кто хотел занять денег для заведения или усиления промысла, для прокормления крестьян, на покупку семян во время голода, тот с трудом мог найти денег, и если находил, то должен был платить большие проценты, которые делали заем разорительным. В указе 1733 года говорится, что многие, имея нужду в деньгах, принуждены занимать у иностранцев и своих с несносными великими процентами и с такими залогами, которые вдвое больше занятых денег, процентов дают по 12, 15 и 20, чего во всем свете не водится, и случается, что проценты вычитают из данных денег вперед; есть и такие бессовестные грабители, что, если должник пропустит хотя несколько дней за срок, не отдадут залога, хотя бы и деньги приносил. Вследствие этого императрица для государственной и всенародной пользы указала монетной конторе давать займы деньги всякого чина людям за 8 процентов в год с залогом в золоте или серебре, и в случае неплатежа из залога бралась только данная сумма, остальное же возвращалось должнику.

Большие проценты, заключая в себе большую страховую премию, указывали также ясно на неудовлетворительное состояние правосудия в стране, причем заимодавец не мог надеяться получить при своем иске скоро безубыточное удовлетворение; потому же для обеспечения требовались и залогом. В конце 1732 года императрица жаловалась, что как в Петербурге, так и в областных городах в правлениях и судебных местах дела отправляются не с таким порядком и прилежанием, как требуют регламенты и указы. В Переяславле-Залесском двое помещиков велели людям своим убить одного крестьянина Троицкого Сергиева монастыря, и те задавили несчастного. Наряжена была особая комиссия для следствия по этому долу и в 1736 году открыла, что воевода и секретари из-за взяток покрывали виновных. Воеводу и секретарей велено было казнить смертью «и о такой экзекуции публиковать во всем государстве, что ежели кто также будет

неправо и в противность указов и изо взятков дела производить, то таким тож чинено будет безо всякие пощады».

Порядочные почты существовали только от Петербурга до Москвы, от Москвы до Украины и в Украине до Киева. Только в 1740 году встречаем указ, чтоб и во все другие губернии и провинции *к знатым городам* учреждены и порядочно содержаны были почты как для лучшего отправления купечества, так и для всяких других потребностей.

Успехи промышленности и торговли находились также в тесной связи с состоянием общественной безопасности, с состоянием полиции. Понятно, что императрица Анна относительно охранения порядка полагалась особенно на своих родственников по матери, Салтыковых, и потому в 1732 году назначила генерал-полицеймейстером генерал-майора Салтыкова, который был обязан иметь «главную дирекцию над всеми полициями в государстве». Но над чем ему было иметь главную дирекцию? Несмотря на распоряжения Петра Великого, в самых значительных городах полиций не было; в 1733 году Полицеймейстерская канцелярия представила императрице доклад об учреждении полиции в десяти губернских и тринадцати провинциальных городах; императрица утвердила доклад. Одним из побуждений к этому распоряжению был доклад принца гессен-гомбургского, который, возвратившись из Астрахани, жаловался, что в этом городе от несоблюдения чистоты господствует самый вредный и язвительный смрад. Но в 1737 году Сенат признал за лучшее отдать полицию в городах, кроме двух столиц, в ведение ратуши на том основании, что если определить в те полиции особых офицеров и дворян, то надобно давать им жалованье и определить к ним приказных служителей и рассыльщиков с жалованьем же, от чего будет казенный убыток; притом от этих офицеров и дворян будут обывателям обиды. В 1733 году, принимая снова меры против бродяжничества, вспомнили указы Петра Великого, который, вооружаясь против способных к работе тунеядцев, приказывал в то же время строить богадельни для неспособных работать; Сенат приказал построить в Петербурге 17 богаделен при церквах, так чтобы с прежде существовавшими было 20; в них должно было давать приют четверемстам человекам мужского и женского пола, помещая по 20 человек в каждую богадельню.

В 1734 году голод увеличил число нищих, и потому разрешено было подавать милостыню; кроме того, были приняты чрезвычайные меры: у помещиков и хлебных торговцев описали хлеб, чтоб не продавали высокою ценою; продажа хлеба производилась беспошлинно, движение хлеба в Петербург для вывоза за границу остановлено; в провинциях, терпящих от голода, велено остановить взыскание подушных денег. В 1736 году правительство должно было признаться, что указы против бродяг недействительны; как в Петербурге, так и во всех других городах число нищих увеличилось и час от часу увеличивается, от множества их трудно проезжать, и все люди способные к работе. Таких, если они не были наказаны, велено было брать в военную службу, а наказанных употреблять на казенные работы. Через два года видим новое признание правительства, что указы его против нищенства недействительны. В начале 1740 года опять именной указ, что бродящих нищих людей многое число, а в середине года другой с тою же жалобою и перечислением всех прежних указов.

Другое, почти постоянное в русских городах бедствие должно было обращать на себя внимание полиции – пожары. В 1735 году объявлено петербургским жителям с подпискою, чтоб чистили трубы и смотрели за их твердостью. В следующем году велено уничтожить пивоварни между жильем. Полиция содержала печников и трубочистов; последние получали с обывателей по копейке с каждой печи. Во время сильного пожара в Петербурге в 1736 году «многие от солдат и матросов беспорядки происходили, и вместо тушения пожара многие из них только в грабеж и воровство пуще разбойников ударились: на почтовом дворе из тех пожитков, которые от самих хозяев выношены были, сундуки насильственно разломали, пожитки растащили, письма и бумаги разбросали и, одним словом сказать, так поступали, что и в неприятельской земле хуже поступать было невозможно». В Москве сильный пожар 3 июля 1736 года под Новинским и около Арбата, во время которого сгорело 817 дворов, заставил распорядиться, чтоб улицы были широкие, свободные и прямые, от четырех до девяти сажен в поперечнике; московская ратуша должна была содержать четыре большие заливные трубы. Но в то время как хлопотали о предупреждении пожаров в отдаленных частях древней столицы, страшное бедствие постигло части самые значительные и населенные. 29 мая 1737 года, в Троицын день, в одиннадцатом часу утра загорелось недалеко от Каменного моста, в приходе Антипы Чудотворца, в доме Милославского. Поварова жена зажгла в своем чулане восковую свечу перед образом, а сама пошла в кухню готовить кушанье; свеча отпала от образа и зажгла чулан, а увидеть и погасить было некому: все люди были у обедни. При страшном вихре пламя начало разбрасывать во все стороны, выгорел Кремль, Китай и Белый город, в Земляном выгорели Басманные улицы, старая и новая, Немецкая слобода, Слободской дворец, Лефортовская слобода. Пожар длился до четвертого часа утра 30 числа. Сгорело внутри 39 церквей, обгорело снаружи 63, монастырей – 11, дворцов – 4, богаделен – 17, частных домов – 2527, людей погибло 94 человека. В Кремле сгорели: конюшенный двор, цейгауз, синодальный двор, житный двор; в Китае между сгоревшими зданиями упоминаются: библиотека, комендантский двор, аптека, печатный и посольский дворы, ряды. В сенатском архиве сгорело 926 переплетенных книг с делами по Сенатской канцелярии, 32 книги с делами Вышнего суда, в Главной дворцовой канцелярии в архиве сгорели старые и новые дела и протоколы этой канцелярии, также дела бывшего приказа Большого дворца, писцовые, приходные, расходные и прочие книги и всякие ведомости, всего в десяти палатах; сгорел архив московской ратуши; сгорели окладные и доимочные книги московским дворам и домовым баням, так что и споры о землях решать стало не по чему. Из коллегий, канцеляций, контор и приказов показано убытку на 414825 рублей; по заявлениям частных лиц, убытку понесено ими на 1267384 рубля, но многие сказок не подали.

29 мая Москва сгорела от денежной свечки, но 4 июля за Москвою-рекою, в доме секретаря Остафьева, произошел пожар: воровские люди зажгли сушило. 8 июня за Петровскими воротами, на дворе девицы Волынской, у крестьянина ее в избе нашли заткнутый в стену сухой порох, завязанный в тряпку. На другой день прислана была к розыску дворцовая девка князя Мих. Влад. Долгорукого Марфа Герасимова с тряпицей и горелым охлопком, которыми она зажигала в доме своего господина на Тверской, и с одного розыска повинилась; ее сожгли живую. 13 июня загорелось у Ильи Пророка на Воронцовом поле: плотник повинился, что зажег с

сердца на хозяина, который в Троицын день не накормил его и не напоил пивом. В том же месяце в Петербурге, на Адмиралтейской стороне, в Греческой улице, подле дома цесаревны Елисаветы Петровны, у иностранного купца Линзена на крыше найдена кубышка смоленая, внутри оклеена бумагою, обвязана мочалом, и сверху в твориле ее насыпано пороху золотника с два.

Этим пожарам в столицах летом 1734 и 1735 годов предшествовали пожары лесные. В июле 1735 года императрица писала генералу Ушакову: «Андрей Иванович! Здесь (в Петербурге) так дымно, что окошка открыть нельзя, а все оттого, что по-прошлогоднему горит лес; нам то очень удивительно, что того никто не смотрит, как бы оные пожары удержать, и уже горит не первый год. Вели осмотреть, где горит и отчего оное происходит, и притом разошли людей и вели как можно поскорее, чтоб огонь затушить».

Наконец, нужно было принимать меры против третьего народного бедствия – повальных болезней. Здесь средства государства были так же недостаточны, как и средства против пожаров у московской ратуши, у которой было четыре заливные трубы на всю Москву. В 1737 году Главная полицеймейстерская канцелярия представила в Медицинскую канцелярию, что в Пскове в одну неделю заболело головою болезнью 355 человек, из которых умерло 8, болезнь все усиливается, а в городе лекарей нет. Медицинская канцелярия донесла императрице, что у нее лишних докторов и лекарей нет; есть штатт-физикус с лекарем, но и те нужны в Петербурге; в Москве при ратуше есть лекарь, которому жалованье производится от той же ратуши, и необходимо, чтоб и в других губерниях и провинциях обыватели содержали лекарей. Определено, что по крайней мере в знатные города Медицинская контора должна назначить по лекарю, которые будут получать жалованье из ратуш, одинаковое с полковыми лекарями, и, кроме того, квартиру; лекарства они должны заготавливать сами и брать за них плату от больных.

Как относились в провинциях к медицине, можно видеть из донесения архиатеру из Новопавловска от аптекарского гезеля Ролофа в 1735 году: «С порученною мне полевою аптекою прибыл я сюда счастливо и сейчас же явился доктору Санхесу и подал ему свою инструкцию; тот мне сказал, чтоб я шел к коменданту Либгеру, который укажет мне дом. Но Либгер отвечал мне, что дома у него нет, потому что порожние дома берегутся для генералов, если приедут, а прочие все солдатские дома. На другой день после того приказал он мне чрез господина квартирмейстера отвести три двора: в каждом дворе только одна изба, в которую если три или четыре человека войдут, то повернуться не могут. Я репортовал об этом доктору Санхесу, и тот пошел вместе со мною к генералу Дебриньи, а генерал послал со мною адъютанта к Либгеру с приказом, чтоб отвели мне хороший дом. Либгер отвечал, что домов про аптеку у него нет. Тут сидел у него бригадир Пашков и говорил: „Все приезжают из Москвы и хотят здесь великими господами быть: и лекаря, и доктора, и аптекаря; доктор требует дом на госпиталь, и укус, и постели; все бы это привозили с собою из Москвы, и дома также“. Я сказал: господин бригадир! Это не моя аптека, но ее величества, мне она поручена, я за нее отвечаю. Бригадир отвечал на это: можешь свою аптеку под горою поставить и сеном обвертеть. Я отвечал, что не могу с аптекою ее величества так поступить. Тогда он мне сказал, чтоб я держал рот за замком; он видел в моей инструкции, что я только гезель, и давал мне весьма злые слова, и я пошел прочь, ибо, кроме того, хотел приказать меня прибить. О господи! После

такого тяжелого пути хотят так со мною поступать! Больше четырех недель я на улице спал и здесь, в Новопавловске, уже две ночи с аптекою на улице стоял».

Когда в 1737 году в Москве свирепствовала горячка с пятнами, то народ искал причину болезни в том, что ночью на спящих людей привели слона из Персии. Но правительство находило другие причины: в 1738 году оно объявило, что болезни в Петербурге могут умножиться от привоза на продажу весьма дурного мяса; полиция должна была послать офицеров и лекарей для осмотра продаваемого мяса. В том же году Синод получил из Кабинета указ ее величества, что несмотрением священников могилы копают мелкие и земли над ними не утаптывают, отчего тяжелый дух чрез рыхлую землю проходит. Наконец, в именном указе 1739 года встречаем жалобу императрицы на полицию, которая нимало не смотрит, что по пустырям и глухим местам мертвечина валяется и множество непотребных собак в городе бегают и бесятся; 16 сентября одна бешеная собака вбежала в Летний дворец и жестоко изъела двоих дворцовых служителей и младенца. От пожаров и моровых поветрий не обеспечивала слабая полиция и бедные средствами городские ратуши; не обеспечивали они жизни и собственности граждан от другого бедствия, которое продолжало свирепствовать в обширных размерах, – от разбоев. В 1732 году до сведения императрицы дошло, что в городах Московской губернии происходят немалые разбои; в Дмитровском уезде воровские люди разбили дом стольника Татищева; для поимки воров велено послать военные отряды. Через два года отправлен был в Москву к графу Салтыкову из Кабинета именной указ об искоренении многих разбойничьих компаний около Москвы, из которых присланы были три письма к фельдмаршалу Брюсу с требованием денег и с великими угрозами в случае неисполнения требования. В 1735 году Сенат, по докладу Полицеймейстерской канцелярии, велел вырубать леса от Петербурга до Соснинской пристани по *проспектиеной* дороге, чтоб вора́м пристанища не было, а так как воровство умножилось близ самого Петербурга, многих людей грабят и бьют, то для их искоренения Военная коллегия и Полицеймейстерская канцелярия должны были отправить пристойную партию драгун или солдат. Велено было очищать и новгородскую дорогу от лесов по 30 сажен в обе стороны, потому что умножились воровские компании. В 1736 году девять человек разбойников днем ворвались в келью игумена московского Сретенского монастыря, били его, ранили в голову ножом, побрали деньги и вещи. В апреле 1735 года, на Пасхе, в Шацком уезде, на Вышенской пристани, воровские люди, человек со 100, которые работали на той пристани на стругах у купцов по паспортам, пристань разбили дневным разбоем, взяли у купцов, на кабаке и в таможене тысячи с две денег, убрались в лодке и поехали по реке Выше; ночью подплыли к пристани Солтыковской и в селе Благовещенском-Солтыкове разбили помещичий двор, приказчиков мучили и жгли огнем, двоих конюхов убили. Потом поехали вниз по Выше-реке и, выплыв в реку Цну, пристали к селу Конобееву, ночью напали на помещичий двор (Нарышкина), приказчика застрелили и деньги у него побрали; отправившись отсюда вниз по Цне, подъехали под село Сасево, днем разбили таможеню, кабак и соляной двор, взяли денег тысяч с пять. В Сасево от шацкого провинциального начальства было выслано несколько солдат, которые и вступили в бой с разбойниками, но те убили и ранили сасевских крестьян, человек с десять, поехали вниз по Цне, разорили многих помещиков и приказчиков. Остановившись в селе Ушакове, они дали священнику 3 рубля денег,

чтоб поминал конобеевского приказчика и убитого их товарища, да еще дали три рубля, на которые велели купить колокол. Подъехавши Цною к селу Агламазову, вызвали священника с образами на берег, подходили ко кресту и давали священнику по копейке и по деньге; в селе Зляткове заставили священника служить молебн и за то дали ему денег пять рублей да в церковь камки красной аршин. Отправлены были солдатские команды по рекам для перехвата разбойников; началась война: в 30 верстах от Нижнего, на Оке, разбойники осилили гнавшуюся за ними команду, убили начальствовавшего ею поручика. «Разбойнические компании чинили вверх по Оке великие разорения и смертные убийства».

В 1740 году в Ярославле на полотняной фабрике Ивана Затрапезнова открыт был заговор фабричных, о котором один из главных заводчиков так рассказывал: «В прошлом, 1739 году был я в большом кабаке с другими фабричными, и во время питья сошлись с нами из бурлаков человек пять, из них одного зовут Смолюю, и все эти бурлаки работали на бумажной мельнице Затрапезного. Во время питья бурлаки начали говорить мне и товарищам моим: „Что вы на фабрике так терпите, воли вам пошалить нет, бьют вас и держат в колодках; лучше вам хозяина своего Затрапезного убить и фабрику его выжечь, от того была бы вам воля“. Я стал звать Смолу и товарищей его делать дело вместе, но бурлаки не пошли, а сказали: „Теперь бурлаков мало, соберем их в другой год с Низу человек сто“. В нынешнем, 1740 году, будучи на большом кабаке, уговорились мы с товарищами сделать так: собравшись, идти ночью за фабрику в лес, из лесу, разобрав от поля забор, войти на мануфактурный двор, зарезать караульных, стоящих у казенной палаты, потом одному, зашедши от конюшни, зажечь, а прочим вломиться в хоромы, зарезать хозяина и всех живущих при нем людей, разломать Двор казенной палаты, забрать все, что там имеется, и идти на Низ, на Демидовы заводы, а лодки и паспорта хотели промыслить у бурлаков, в чем *посулился* нам тот же Смола. Хозяина своего убить хотели мы за то, что он поступает не так, как брат его Димитрий: Димитрий Затрапезнов, когда мы и провинимся, не наказывает, как хозяин наш Иван, за грабежи, драки и озорничества больно наказывает и велит в колодках держать немалое время, что нам очень скучно». В 1739 году казнили в Москве разбойника князя Лихутьева. В 1740 году в самой Петербургской крепости воры убили часового и украли несколько сот рублей казенных денег. Для сыску воров и разбойников назначен был особый постоянный отряд войска под начальством подполковника Реткина, который имел пребывание в Нижнем Новгороде. В 1732 году из взятых им 440 человек 20 убийц были казнены смертью, 15 воров и разбойников, беглых солдат были сосланы на вечную каторгу, 85 воров-пристанщиков по наказанию кнутом и батогами освобождено, беглых солдат и рекрутов отослано на службу 6 человек, умерло под караулом 14, отослано к гражданскому суду 10, прочие освобождены. В 1733 году из 424 человек казнено смертью 11, сослано на вечную каторгу 23. пристанщиков наказано и освобождено 91, к гражданскому суду послано 27, беглых солдат – 19, умерло под караулом 30. В 1734 году из 570 казнено смертью 24, сосланы 18, по наказании освобождено воров и татей 160, к гражданскому суду отослано 45, беглых солдат – 50, умерло под караулом 25, убежало из-под караула 2. В 1735 году из 633 казнено смертью 94, сослано 29, по наказании освобождено 168, беглых солдат – 21, под караулом померло 56. В 1736 году из 835 смертью

казнено 102, сослано 37, по наказании освобождено 157, беглых солдат – 21, под караулом померло 26.

Все описанные явления – побеги, голод, поварьные болезни, недостаток медицинских пособий, разбои – не могли содействовать быстрому увеличению народонаселения. В конце царствования Анны в великороссийских губерниях считалось жителей 5565259 человек мужского и 5327929 женского пола.

Жестокость казней свидетельствовала о жестокости нравов, не смягчившейся со времен Уложения. Те же времена напоминало другое явление, против которого с конца XVII века постоянно вооружалось правительство, и все понапрасну: то была привычка к скорой езде, имевшая нередко очень печальные последствия и обличавшая дикую, степную удаль и неуменье сдерживать себя вниманием к безопасности и удобству других членов общества, а это неуменье обличало и, к сожалению, обличает до сих пор незрелость русского общества, непонимание самых первых приемов общественных. В 1732 году правительство объявило, что, несмотря на прежние указы, многие люди и извозчики ездят в санях резво и верховые их люди перед ними необыкновенно скачут и на других наезжают, бьют плетями и лошадьми топчут; за такую езду указ грозил жестоким наказанием или даже смертною казнью. Угроза не помогла, и в 1737 году новый указ с жалобой, что прежний не исполняется, и с угрозою, что за скорою езду лакеев будут бить нещадно кошками, а с господ брать денежный штраф. Но в конце того же года какие-то люди парой в санях с дышлом насккали на фельдмаршала Миниха, ехавшего также в санях, и самого его чуть не зашибли, а стоявшего на запятках адъютанта так ударили, что едва остался жив; вследствие этого новый указ – скоро и с дышлами в санях не ездить. И этот указ оказался недействительным: в ноябре 1738 года от скорой езды задавили ребенка до смерти; новое запрещение, и теперь уже придумали другое средство кроме угроз: на больших улицах велено обывателям учредить денные караулы, которые должны были ловить и приводить в полицию тех, кто помчится на бегунах или в санях с дышлами, также извозчиков, которые поедут на санях, а не верхами.

Конечно, в этом пренебрежении указами против скорой езды не без участия был господствовавший в то время порок – пьянство; этот порок не только был терпим, но в некоторых случаях даже требовалось быть шумным. Оставленный главнокомандующим в Москве граф Семен Салтыков писал Бирону в мае 1732 года: «Прошедшего апреля 28, в день коронавания ее и. в-ства, здесь торжествовали в доме ее и. в-ства обретающиеся здесь, в Москве, архиереи, и господа министры, и генералитет, и дамы, и статские чины, и лейб-гвардии полков штаб- и обер-офицеры, также и других полков штаб-офицеры, обедали и все веселились довольно и очень были шумны, так что иных насилу на руках снесли, а иных развезли, однако ж все по благости божией благополучно; токмо в то число Федор Чекин был беспокоен. Как еще сидели за столом и не очень были шумны, то он, Чекин, многова не пил, и которые офицеры подносили, пришли ко мне и сказали, что он, Чекин, не пьет, и я ему стал говорить: ведаешь ли, что ты в доме ее и. в-ства, а не хочешь пить и сказываешь, что будто вино худо, ведь ты это зашел не в Вотчинную коллегию и не на Каток, и оное я ему сказал для того, что он, Чекин, беспрестанно живет в Вотчинной коллегии и кабаке, что подле Вотчинной коллегии, который называется Каток; и он стал со мною в спор говорить и хотел браниться, только я с ним браниться и в спор говорить не хотел в

доме ее и. в-ства и в такой торжественный день; токмо я против него умолчал и так сделал, что будто ничего не слышал, а потом Григорий Петрович Чернышев через стол начал с ним говорить, что он не пьет и выбирает вино: ведаешь ты, что дом ее и. в-ства, и он, Чекин, к нему придирается, однако ж Григорий Петрович от того умолчал и не хотел с ним браниться и показал, что будто ничего не слышал; да герольдмейстер Квашнин-Самарин объявил мне, что в то ж число, как из стола в зале в наугольной встали и пили на коленках, и как стал пить он, Квашнин-Самарин, то пришед к нему оный Чекин и толкнул его, Квашнина-Самарина, больно, отчего он упал и парик с головы сронил и стал ему, Чекину, говорить: для чего ты так толкаешь, этак генерал-поручики не делают, а он, Чекин, сказал, что я тебя толкнул в надежде, и он, Квашнин-Самарин, сказал ему, что эта надежда худа, что больно, и после, как уже все стали разъезжаться, он, Чекин, пришед в покои, где я по ее и. в-ства милости живу, и в тот час вышел я в другой покой ненадолго, и без меня в тот час он же, Чекин, убил (т.е. прибил) дворянина Айгустова, с которым у него в Вотчинной коллегии дело, который был в те числа у меня, а как я вшел в покои и увидел, что оный Айгустов плачет, и я ему, Чекину, стал говорить, для чего так в доме ее и. в-ства противно делает и дерется, и он, Чекин, со мною стал говорить противно, и я его, Чекина, велел выслать из дому ее и. в-ства, а после того он же, Чекин, пошел к князю Ивану Юрьевичу и стал ему на меня жаловаться и бранил меня у него м....., за что и от него, князь Ивана Юрьевича, он, Чекин, выведен из дому. Он же, Чекин, дворянину Айгустову чинит многие обиды и разорил его без остатку, от которого его разорения оный бедный Айгустов живет у меня, и я его кормлю для того, что он, Чекин, разорил его вконец, да и где оный Чекин в соседстве не живет, то великие жалобы на него показывают в земле и в прочих непорядочных его поступках, и я с оным Чекиным не смел ничего сделать, для того что он имеет чин генерала-поручика, и правда, что всем нам этот его чин только стыд наносит».

Из столиц, от пиров, происходивших в высокаторжественный день в доме ее и. в-ства, от любопытных отношений главнокомандующего к генерал-поручикам перейдем в провинцию, к нравам и обычаям, в ней господствовавшим. Здесь мы должны, собственно, ограничиться образом жизни одного высшего, дворянского сословия, или, как тогда называли, шляхетства, и только по отношению к нему можем что-нибудь сказать и о других сословиях. Причина, почему мы должны таким образом ограничиться, ясна: благодаря мерам Петра Великого дворянство сделалось сословием обязательно грамотным, образованным; вследствие этой образованности в его среде явились люди, которые не хотели прожить молча, которые имели способность наблюдать окружающие их явления, подмечать особенно любопытные и прилагать к ним свои новые взгляды, судить о явлениях по соответствию или противоречию их этим новым взглядам. Мысль передать свои воспоминания в литературной форме пришла к ним гораздо позднее описываемого времени вследствие новых побуждений, вследствие дальнейшего общественного развития, но воспоминания их молодости относятся к описываемому времени, и мы должны ими воспользоваться. Из других сословий могли выходить люди ученые, и величайшего из русских ученых выставило низшее сословие, крестьянское, но эти ученые, посвящавшие все свое время науке и литературе, не имели времени и побуждений записать подробно свои воспоминания. Таким образом, о состоянии духовенства, купечества, крестьянства

мы можем узнать из императорского указа, из письма правительственного лица или из записок дворянина, но понятно, что дворянин больше всего рассказывал о своих.

В описываемое время жили безвыездно в своих имениях старики, носившие еще допетровские чины, например стольников, носили бороду и жили воспоминаниями о старой Москве; для них Полтава, «преславная виктория», не имела значения, но подробно рассказывали они о Чигиринском походе, в котором участвовали. Жили они по старине в высоких хоромы на омшаниках, снизу в верхние сени вела предлинная лестница, которую покрывал своими ветвями стоявший близ крыльца широкий и густой вяз. Но высокие хоромы состояли только из двух жилых горниц, разделенных сенями: в одной горнице хозяин жил летом, в другой зимою. У других, победнее, особой кухни не было, сени разделяли две горницы, из которых одна была белая, другая черная; в последней готовили кушанье. Говорили эти старики странною речью, да и не они одни, а у всех, как говорят, была такая мода или привычка: примешивали к словам какую-нибудь ничего не значащую примолвку, например: *«неты юж дарюку»* или *«воистину положи меня»*. Явление любопытное, показывавшее, как мало слово соответствовало мысли, как мало обращалось внимания на точность и ясность выражения, вследствие чего в речи и являлись совершенно ненужные наросты, слова и целые выражения – паразиты. Около стариков толпились внучата, воспитывавшиеся уже иначе, выраставшие под другими впечатлениями, но послушаем, что рассказывает ребенку старушка родственница, жившая в доме; она рассказывает не сказку, а истинное происшествие, как ее дедушка, которого она еще помнила, был взят в плен татарами и долго томился в тяжелой неволе; стариком удалось бежать ему из плена; он возвращается в свое поместье и видит, что все переменялось: старого дома его уже нет. «Чьи вы?» – спрашивает он у встречного крестьянина; тот называет его племянников. А где же семья прежнего помещика? Сыновья побиты на войне, жену разбойники разбили и до смерти замучили.

Второе поколение дворян, живущих в поместьях, – это отставные офицеры и солдаты петровского войска. У них уже другие предания, как, например, у одного государь сам ножницами отрезал висящие на жилах отстреленные при нарвском штурме пальцы, причем в утешение страждущему изволил сказать: «Трудно тебе было». И в это время еще сохранялся родовой быт, родовое единство и самоуправление. Младший брат получает от матери в исключительное владение ее четвертую вдовью часть имения; старший брат созывает всех членов рода, которые принуждают младшего удовольствоваться четвертым жребием матери и не вступаться в отцовское имение. Младший, обремененный семейством, не мог жить доходами с этого материнского участка и обратился с просьбою к сильному благодетелю; по влиянию этого благодетеля он получил место по управлению вотчинами Троице-Сергиева монастыря, стал получать отсыпной хлеб и деньги. Но тут опять является родовое единство и авторитет: родственники сочли бесчестием для целого рода, что один из членов его «определился к монастырю, отрешили его по просьбе своей от монастырской должности и положили содержать его на своем общем иждивении». Тут же видим и признаки падения могущественного некогда начала; только один из членов рода долее других сдерживал свое обещание, помогал младшему, а потом и он, подобно остальным,

ограничился одним сожалением. Служба монастырю считалась неприличною между дворянами, но по-прежнему искали они средств покормиться от государственной службы: так, привлекали их новые полицейские должности, потому что, по свидетельству одного из них, «все полицейские офицеры живут довольно». Воеводы кормились по-прежнему; видим и еще способ собирать кормы, известий о котором не встречаем прежде: в Рождество воевода отпускал сыновей своих и проживавших у него молодых родственников в уезд Христа славить и с ними посылал по пяти и больше порожних саней: славельщики каждый день привозили эти подводы, наполненные хлебом и живыми курами, также по несколько денег; где воеводичи не славили, там собирали кур воеводские люди.

Относительно военной службы этого второго поколения, особенно тех из них, которые, ничем не отличаясь, служили весь век в солдатах, встречаем любопытные известия в записках; напри мер, одному из мелких помещиков, Астафьеву, служившему солдатом в гвардейском Семеновском полку, «досталось наследств 900 душ; он старался оное наследство за себя справить по закону но в Вотчинной коллегии учинены были от родственников его споры, которые хотели быть ему в наследстве участниками. Астафьев подарил свою прежнюю вотчину (50 душ) бывшему тогда в Вотчинной коллегии секретарю Каменеву; Каменев, получа деревню, рассмотрел дело в коллегии вправду и утвердил законным наследником Астафьева. Тот, получа большое наследство, неприлежно стал уже в полку служить, а как в тогдашнее время отставки от службы не было или трудно ее получить было, то он нашел милостивца в полковом секретаре, который его отпускал в годовые отпуска за малые деревенские гостинцы. Секретарь доволен был, когда за паспорт получит душек двенадцать мужеска пола с женами и детьми с обязательством таковым, когда Астафьев на срок оных подаренных крестьян не вывезет, куда назначено было, тогда неустойка награждалась прибавкою к двенадцати душам. Чтоб не потерять дружбы, таковым полезным от секретаря отпуском Астафьев пользовался каждый год по договору. При самом уже его в отпуск отъезде из полку не оставят у него писари полковые и ротные постели и подушек, хотя он даже сидел в кибитке, и то вытаскивали из-под него и делили по себе, как завоеванную добычу. Полковой писарь гораздо был совестнее секретаря своего: он брал только по одному человеку на паспорт. Астафьев, пользуясь частыми отпусками, не видал конца своему имению, веселясь в деревне, живучи разными забавами. Один из дядьев его родных зазвал к себе племянника, для которого делал веселое собрание и пир, да и взял с него закладную в 5000 рублей на село, что наилучшее, а денег за оное село едва получил Астафьев одну тысячу рублей. Напоследок за великою его слабостью усовестился секретарь гвардии держать Астафьева на своей шелковинке: оставили его из полку в отставку, только на провожаньи недешево ему стало. Пожив в деревне больше уже в болезни и пьянстве, нежели в веселостях, укрепил деревни своей жене; после того вскоре умер. Вдова претерпела великое притеснение от наследников мужа своего; они запретили в деревнях ее слушать и ничего ей не давать, а на отправленный из деревни запас для нее в Москву дорогою набегли и разграбили, как разбойники».

Помещик, чтоб получить годовой отпуск из полку, давал секретарю взятку – по 12 *душек* крестьян, писарю – по одной душе; чтоб выиграть 900 душ, дарит

секретарю Вотчинной коллегии имение с 50 душами. Таким образом, мы имеем дело с государством землевладельческим, первобытным, где нет развитой промышленности и торговли, где нет денег; а где нет денег, там вольнонаемный труд невозможен и господствует рабство, крепостное право. В старину правительство, не имея денег, платило своим слугам жалованье землею; землевладельцы, не имея денег, отдавали монастырям на помин души земли. К землям прикрепили крестьян, чтоб дать служилому человеку постоянного работника; человек, рабочая сила, был дороже земли, ибо земли было много, а людей мало, имение ценно по населению, а не по количеству и качеству земли, и потому сейчас же счет начался вестись душа ми: он имеет столько-то душ, потому богат или беден, а количеств земли имеет второстепенное значение, и взятки даются душками крестьянскими на своз, а не десятинами земли.

Относительно обращения душевладельцев с этими душками, которыми давались взятки, встречаем примеры хороших и дурных господ; например, об одной помещице говорится, что она «повелевала своими служанками более ласкою, нежели дворянскою обыкновенною властью». Но последнее выражение *обыкновенная* власть показывает, что обхождение доброй помещицы было явлением не очень обыкновенным; хотя, с другой стороны, как что-то необыкновенное также выставляется и такое обращение: «Вдова охотница великая была кушать у себя за столом щи с бараниной; только, признаюсь, сколько времени у нее я не жил, не помню того, чтоб прошел хоть один день без драки: как скоро она примется свои щи любимые за столом кушать, то кухарку, которая готовила те щи, притаща люди в ту горницу, где мы обедаем, положат на пол и станут сечь батожьем немилосердно, и покуда секут, и кухарка кричит, пока не перестанет вдова щи кушать; это так уже введено было во всегдашнее обыкновение, видно, для хорошего аппетита».

Не всегда крестьяне спокойно переносили такое обращение: один данковский помещик подал прошение в Воеводскую канцелярию, что крестьяне его сделали ему непослушны. «Воевода, собрав сколько у него при канцелярии было солдат и рассыльщиков с ружьями и копьями, послал подьячего по инструкции забрать крестьян-ослушников в канцелярию для наказания, но бунтующие крестьяне приготовились заранее к принятию таковых не званных к себе гостей, не забыли вооружить себя камнями, поленьями, дубьем и рогатинами для своего защищения. Притом они имели у себя из бунтовщиков одного главного уговорщика и предводителя, который объявлял о себе, что он от пули заговорит не только себя, но всех товарищей, которые с ним городской команде противиться будут. Товарищи его, с великою надеждою на своего предводителя и заговорщика пуль уповая, выступили с женами и детьми своими против городской команды на драку; городская команда по малости своего числа, видя против себя великое множество собравшегося со всяким оружием народа, захватила для себя удобное место в деревне, дабы кругом не быть обхваченной от бунтовщиков, кои неустрашимо шли прямо на посыльных, и перед ними предводитель и заговорщик ружья, человек молодой, роста великого и стройного; приближаясь, бунтовщики пустили из рук своих камень и поленья как град и повторили раз за разом с великим криком и бранью, которым швыряньем они многих городских поранили. Между тем и городские посыльные, защищая себя, из своих ружей сделали несколько выстрелов без ошибки по толпе бунтующих, а одному удалось так

небрежно выстрелить из ружья по самом предводителе и заговорщике пуль, что он не успел своих заговорных слов выговорить и пал на землю мертв. Увидя бунтовщики предводителя своего мертва, дрогнули все и зачали спасать себя бегством, куда кто мог скрыться; городские, видя такое смятение, не упустили сего случая и начали ловить бегущих и столько нахватили их, сколько им можно было взять с собою. Крестьяне были все молодые и здоровые, по платью и по рубашам не походили они на степных крестьян, а на гулящих самых бурлаков; при допросе они отвечали с зверским видом».

Татарского плена не испытывал никто из дворян второго поколения, но от разбойников они страдали так же, как и предки. Первое, что мог передать из своей жизни один дворянин третьего поколения, было следующее происшествие с его отцом и матерью: «В 1722 году случилось отцу моему ехать от свойственников своих с моею матерью, при коей и я находился в младенчестве у груди; проехав город Венёв, стали подъезжать к реке Осетру, расстоянием от дому своего не более пяти верст; время тогда было зимнее, а день приклонялся к сумеркам; набежали на них несколько саней, в коих человек десять или более было разбойников. Отец мой, сидя на облуку у той кибитки, в которой мать моя со мною сидела, а человек правил (как я от отца моего оно приключение слышал), вооружен был только одним палашом; узнав он из той воровской шайки одного мужика из деревни Соколовки, одного к церкви прихода, сказал ему, что по соседству нехорошо так поступать и что он знает их. Оно слово не умягчило сих бездельников, а может быть и пьяных; они закричали воровским обыкновением: „Атаман, потчивай, он знает нас“. После сего слова кинулись разбойники с дубьем на отца моего и начали бить; отец мой против толикого числа разбойников недолго оборонялся, отбежал, обороняясь, от дороги несколько сажень, где они сбили его с ног на землю и били столь бесчеловечно, что чуть жива оставили, и, накинув петлю на шею ему, потащили и бросили в сани; потом, своротя с дороги в сторону, привезли к реке Осетру и при многом обыкновеном от разбойников страшанье и угрозах то резать, то топить в воде хотели, ограбя всех дочиста, объявляя притом, что они о младенце (т.е. обо мне) сожаление имеют, дабы не ознобили, дали несколько самого худейшего одеяния и одну без узды лошадь, сами ускакали возвратно. Слуга, который был при нас, взяв лошадь за гриву, повел ее за собою, повезли отца моего, едва жива, в санях положенного, а мать моя и при ней престарелая девка шли пешком, несли меня на руках попеременно. Отец мой чрез немалое время хотя и пришел, казалось, в прежнее свое здоровье, однако календарь оный, данный ему от разбойников, очень верен был, всегда чувствовал он к переменной в воздухе погоде превеликую боль во всем своем теле». Разбойники навестили и знаменитую вдову-помещицу, которая была такая охотница до щей с бараниною: «Пришли к ней ночью разбойники, вломились в хоромы, убили у ней любимую постельную собачку, а ей выбили передние все зубы ружейным прикладом; забрав пожитки и несколько бочонков с вином и водкою, ушли из деревни вскоре. За разбойниками учинена была собранная от соседей погоня, тогда разбойники покидали за собою на дороге по одному бочонку с вином для питья погонщикам; погонщики выпивали вино для смелости за разбойниками гнаться. Сим вымыслом разбойники погоню за собою остановили и скрылись восвояси».

Теперь обратимся к третьему поколению, которого воспитание относится к описываемому времени. Мы видели старания правительства поддержать требование Петра Великого относительно образования дворян. В указах мы видели требования; теперь увидим, как эти требования удовлетворялись и как само правительство учило тех дворянских детей, которые попадались в его школы. «От роду моего лет семи или более, – говорит дворянин, оставивший нам свои воспоминания, – отдали меня в том же селе, где отец мой жил, пономарю Филиппу, прозванием Брудастому, учиться. Учитель наш жил только один с своею женою весьма в малой избушке; приходил я учиться к Брудастому очень рано, в начале дня, и без молитвы дверей отворить, покуда мне не скажет „аминь“, не смел. Памятно мне мое учение у Брудастого и поднесь по той, может быть, причине, что часто меня секли лозою: я не могу признаться по справедливости, чтоб во мне была тогда леность или упрямство, а учился я по моим летам прилежно, и учитель мой задавал мне урок учить весьма умеренный, по моей силе, который я затверживал скоро, но как нам, кроме обеда, никуда от Брудастого отпуска ни на малейшее время не было, а сидели на скамейках бессходно и в большие летние дни великое мученье претерпевали, то я от такого всегдашнего сидения так ослабевал, что голова моя делалась беспамятна и все, что выучил прежде наизусть, при слушании урока, к вечеру и половины прочитать не мог, за что последняя резолюция – меня, как непонятого, сечь. Брудастого жена во время нашего учения понуждала нас в небытность своего мужа всечасно, чтоб мы громче кричали, хотя б и не то, что учим». Таково было образование, которое могли дворянские дети получить дома на собственные средства. Теперь послушаем, как шло учение в правительственных школах. Автор воспоминаний был записан в Московскую артиллерийскую школу: «Оная школа была еще учреждена внове на полковом артиллерийском дворе, и было в онаю прислано из герольдии дворянских детей, бедных и знатных, по желанию семьсот человек, а как в новой школе не было ни порядка, ни учреждения, ни смотрения, то через четыре года разошлось оное большое собрание без позволения школьного начальства по разным местам в настоящую службу, куда кто хотел записались, а осталась только некоторая часть дворянских детей, кои прилежали охотно и хотели учиться. Но великий тогда недостаток в оной школе состоял в учителях. С начала вступления учеников было для показания одной арифметики из пушкарских детей два подмастерья; потом определили по пословице волка овец пасти штык-юнкера Алабушева. Алабушев тогда содержался в смертном убийстве третий раз под арестом; был человек, хотя несколько знающий, разбирал Магницкого печатный арифметик и часть геометрических фигур показывал ученикам, почему и выдавал себя в тогдашнее время ученым человеком, однако был вздорный, пьяный, редкий день приходил в школу непьяный. Напоследок для поправления в школе порядка еще определен был сверх штык-юнкера Алабушева капитан Гринков: человек был как прилежный, так и копотливый и был великий заика, однако завел в школе порядок лучше Алабушева. Он вперял в учеников охоту учиться с обещанием чести и довел до того, что его старанием несколько человек из учеников пожалованы были в артиллерию сержантами и унтер-офицерами. Ученики были все помещены в четырех великих светлицах, стоящих через сени, по две на стороне; когда позволялось покинуть ученье и идти обедать или по домам, тогда, бывало, учинят великий и безобразный во все голоса

крик наподобие „ура“, протяжно „шебаш“. В один день мне случилось идти за Москвою-рекою, усмотрел я в одном доме на окошке поставленный каменный попугай, раскрашенный изрядно; я, любопытствуя, остановясь против того окна, глядел на попугая пристально; в тот же самый час барыня дородная и хорошего лица, подошед к окну, спросила меня, что я за человек. А как узнала от меня, что я артиллерийский ученик и притом дворянин, то просила меня учтивым образом, чтоб я вошел к ней в хоромы. Призвала она своего сына, который тогда был на голубятне, гонял тонким шестом вверх голубей; мать его просила меня, чтоб я спросил сына ее, что он учит и хорошо ль знает арифметику. Я, узнав от него по свидетельству, сказал ей, что он очень мало знает. Она, услыша от меня сие, прибавила своего ко мне учтивства и ласковости, просила меня: не могу ль я ей сделать одолжение, перейти к ней жить и показывать, когда свободно будет, сыну ее арифметику. Я рассудил, что приличнее мне компанию делать дворянской жене и ее сыну, Вишняковым, нежели свойственника своего управителю, у коего я был оставлен на удовольствии. Живши несколько времени у Вишняковой, выучил сына ее арифметике. Сестра родная Вишнякова была в замужестве за Секериным, который записан был в нашей же школе учеником; прилежно просила она меня перейти жить к ней, дабы вместе ездить с мужем ее в школу. Я за полезное принял от нее сие предложение, перешел к Секериной; намерение ее было, чтоб и муж ее, так же как и племянник, от меня несколько занял учение, но не удалось ей сего произвести по ее желанию в действо, ибо муж ее, Секерин, великий был шалун, ничего учить не хотел, переписался из школы в армейские полки и тем отбыл от учения».

Но мы видели, что в новой столице, под глазами двора, под наблюдением энергичного Миниха было учреждено училище для шляхетских детей, так называемый Кадетский корпус. Первоначально училище было устроено на 200 воспитанников, 150 русских и 50 остзейцев, но в 1732 году Миних докладывал, что желающих записалось в корпус 237 человек русских, 32 лифляндца и 39 эстляндцев, почему просил составить корпус из трех рот, по 120 кадет в каждой, и к прежде назначенной сумме 33896 рублей прибавить еще 26508 рублей в год да вместо деревни от 30 до 50 дворов назначить деревню от 80 до 100 дворов. Императрица согласилась. В 1737 году «для содержания лучшего порядка и побуждения кадетского к наукам, чтоб сия от нас учрежденная Академия надлежащий государству плод принесла, заблагорассудили определить, чтоб быть в каждом году двум публичным смотрам в присутствии одного из сенаторов, профессоров Академии Наук, учителей Адмиралтейской академии и Инженерной школы». Смотры эти и экзамены производились всем кадетам без исключения, во-первых, для страха всем кадетам и для побуждения к прилежнейшему учению; во-вторых, чтоб усмотреть, которые к наукам способны и которые нет, и не напрасно деньги на них тратить. Узнав, что кадеты больше всего и почти каждый день обучаются воинской экзерциции, правительство в 1737 году дало корпусу указ, что так как от этих частых экзерциции происходит препятствие в обучении прочим наукам, то вперед обучать кадет воинской экзерциции только по одному дню в неделю. По рапорту, поданному Минихом в 1733 году, видно, что обязательными для всех кадет были только три предмета: закон божий, военные экзерциции и арифметика; остальным же наукам и языкам учился кто хотел; так, из 245 русских кадет только 18 учились русскому языку, французскому – 51,

латинскому – 15, зато немецкому – 237! Из наук геометрии училось 36 человек, несмотря на то что Петр Великий ввел эту науку в необходимый курс для дворянина; географии училось 17, истории – 28, юриспруденции – 11; из искусств преобладали танцы: им училось 110 человек, тогда как музыке – 39 и рисованию – 34, но любопытно, что верховой езде училось только 20 и фехтованию – 47 человек. Если из русских такая большая часть считала для себя нужным немецкий язык, то немцы платили тем же относительно русского: лифляндцы (27 человек) занимались все русским языком; из 42 эстляндцев занимались 24, из детей иностранных офицеров – все 14 человек. До нас дошли от 1739 года аттестаты кадет, поступивших в корпус с начала его основания, в 1732 году, и достигших 19, 20 и 21 года. Здесь замечательно различие в объеме предметов, которые усвоили себе молодые люди ровесники, вступившие в одно время в корпус и в одно время из него выходявшие. Так, у одного из французского языка отмечено: переводит с немецкого на французский екстемпоре – исправно; у другого – учит вокабулы и разговор; у одного в истории отмечено: знает русскую и польскую историю; у другого – в универсальной дошел до новой истории или дошел до короля Магнуса; из географии у одного: в математической географии начало доброе имеет; у другого – окончил пять карт европейских специальных: португальскую, гишпанскую, французскую, британскую и итальянскую. Были и такие, которые, имея в виду поступить в гражданскую службу, занимались латинским языком, философиею и юриспруденциею. В аттестате одного из таких отмечено: с немецкого на латинский компонует екстемпоре; в графе: философия, юс натуры, институционес юстинианес, пандектум и юс феудале – отмечено: в философии Гейнеции элемента, юс секундум ординем пандекторум до 41 книги дошел.

Несмотря на то что, как видно, кадет не очень обременяли занятиями, через год, в 1733, бежало из корпуса пять человек, все русские; по представлению Миниха, положены были наказания: за первый побег отсылать для учения с солдатскими детьми в гарнизонную школу на полгода, а за второй – в ту же школу на три года. В 1739 и 1740 годах кадеты начали попадаться в воровстве: виновных били кошками публично в зале корпуса и писали в барабанчики, с тем чтоб выше рядового солдата никогда не производить.

Кроме воспитанников Кадетского корпуса в гражданскую службу приготавливались молодые дворяне при самих правительственных и судебных учреждениях: в Сенате – по 12, в Синоде и Сенатской конторе – по 6, в Иностранной коллегии – по 12, в Военной, Вотчинной, Юстиц- и Коммерц-, Камер-, Ревизион-коллегиях и в Штатс-конторе – по 6, в Генерал-берг-директориуме, Монетной канцелярии и Судном приказе – по 4, в Канцелярии конфискации – по 2. Они отправляли должность копиистов, но при этом секретари обучали их приказному порядку и знанию указов, а два дня в неделю обучались они арифметике, геометрии, геодезии, географии и грамматике. Любопытно, что в сенатском указе приказным служителям запрещено было озлоблять этих молодых дворян каким-нибудь невежеством и ругательными словами. Самим дворянам указ предписывал оказывать свою природу добрыми поступками, честным обхождением и учтивостью, запрещал им ходить в вольные и непристойные дома, пьянствовать, играть в карты и кости; предписывал содержать себя чисто в платье и белье и всякий день пудрить волосы, чтоб не

бесчестно было являться пред честными людьми, тем более что им позволено было в праздники наравне с кадетами являться ко двору.

Мы видели, что первою причиною, почему Кадетский корпус учреждался в Петербурге, было выставлено то, что в этом городе находилась Академия Наук. С основания этого учено-учебного учреждения прошло уже 15 лет, и потому мы имеем возможность бросить взгляд на первоначальную его деятельность. На первый раз было приглашено из-за границы несколько замечательных ученых – Герман, двое Бернулли, Бильфингер, Беккенштейн, но они недолго оставались в Петербурге, потому что нашли себя здесь в зависимости от человека, которого не могли уважать ни за ученые заслуги, ни за нравственные достоинства, наконец, ни за высокое положение или происхождение: то был Иоган Даниил Шумахер, родом из Эльзаса, принужденный оставить Страсбургский университет за какие-то вольные стихи. В 1714 году он является в Россию, где поступил в службу секретарем по иностранной переписке к лейб-медику Петра Великого Арескину, заведовавшему всею врачебною частью в России; Арескин заведовал также библиотекою, собранною Петром, и кабинетом редкостей; Шумахер был определен библиотекарем и хранителем кабинета. Здесь уже Шумахер показал свою ловкость, умение служить людям прежде, чем делу, заискивать, заявлять себя, приобретать связи, делать себя необходимым для начальства; он заботился о попугае Арескина, и когда приехал из-за границы переплетчик, то Шумахер прежде велел ему переплести великолепно собственные книги Арескина, а потом уже приняться за казенные книги в библиотеке. Шумахер умел удержать свое место и значение и при Лаврентии Блюментросте, преемнике Арескина, умершего в 1718 году. Явилась мысль об основании Академии, которой первоначальный проект был написан, как говорят, сообща Блюментростом и Шумахером, и последний в 1721 году отправляется за границу «с учеными корреспонденции произвести для умножения художеств и наук, а наипаче для сочинения социетета наук, подобно как в Париже, Лондоне, Берлине и прочих местах». Шумахер был обязан осматривать все библиотеки и музеи, приглашать в русскую службу ученых и мастеровых, приобретать физические инструменты, анатомические препараты, модели, рисунки машин и проч. Через год Шумахер возвратился в Петербург и продолжал от имени Блюментроста вести переписку о вызове академиков из-за границы.

Наконец ученые приехали, заседания Академии открылись; президентом был Блюментрост, но у Блюментроста самым близким, своим, доверенным человеком был Шумахер. «Ему, – говорит Ломоносов, – президент отдал под смотрение и денежную казну, определенную на Академию. Посему выдача жалованья профессорам стала зависеть от Шумахера, и все, что им надобно, принуждены были просить от него же. Сверх сего, Шумахер, будучи в науках скуден и оставив вовсе упражнение в оных, старался единственно искать себе большой доверенности у Блюментроста и других при дворе приватными услугами. На что уже и надеясь, поступал с профессорами не таким образом, как бы должно было ему оказывать себя перед людьми толь учеными и в рассуждении наук великими, отчего скоро воспоследовали неудовольствия и жалобы».

Неудовольствия и жалобы особенно усилились, когда в начале 1728 года Блюментрост отправился за двором в Москву и поручил все академические дела библиотекарю Шумахеру. Понятно, что академиком было тяжело находиться в

распоряжении библиотекаря; они не могли скрывать свое неудовольствие на такой порядок вещей, свое нерасположение и неуважение к человеку, который не имел никакого права управлять Академиею, кроме умения заискивать расположение сильных, кроме умения избавлять президента от черной работы по управлению, и чрез то сделал себя для него необходимым. Шумахер, видя враждебность академиков, разумеется, платил им тою же монетою и в письмах к президенту старался выставить их характеры и поведение в дурном и смешном свете; Блюментрост верил Шумахеру, потому что он к Шумахеру привык, Шумахер был ему необходим; самолюбие президента сильно раздражалось, потому что, оказывая неуважение к Шумахеру, академики оказывали неуважение самому Блюментросту, который поручил все дела Шумахеру; последнему было легко раздражить начальническое самолюбие Блюментроста, выставивши академиков людьми беспокойными, которые однажды решились, мимо президента, обратиться прямо в Верховный тайный совет с жалобою, что им не выплачивается жалованье, причем Бильфингер, самый беспокойный из академиков, имел дерзость послать своего лакея к Шумахеру с приглашением в залу конференции. Этот самый Бильфингер с некоторыми другими товарищами, неизвестно почему, не явился на обед к Миниху; Шумахер дал знать и об этой дерзости Блюментросту. Внушения Шумахера, что на беспокойных людей должна быть гроза, сильная власть, действовали: Блюментрост облакал этою властью Шумахера; трое академиков подали президенту жалобу на *библиотекаря*, который сделался правителем Академии, поступает высокомерно и самовольно. Эта просьба только еще более раздражила Блюментроста против беспокойных людей; в ответе он старался натянуть, что Шумахер пользуется важным значением законно, что он секретарь и библиотекарь его императорского величества и, следовательно, имеет право сообщать повеления его величества и наблюдать за их исполнением, но тут же вырвалось и настоящее дело, настоящий источник власти Шумахера. «Позвольте сказать вам, – писал Блюментрост Бильфингеру, – что в мое отсутствие я могу поручать кому хочу заведование академическими делами». Шумахер постоянно требовал грозы на беспокойных академиков, просил президента не стесняться, приводить их в надлежащий порядок и достиг своей цели; он был прозван, по свидетельству Ломоносова, «бичом на профессоров» (*flagellum professorum*). Убегая этого бича, академики при первой возможности начали уезжать из России, «затем, – говорит Ломоносов, – что приобыкли быть всегда при науках и, не навывкнув разносить по знатым домам поклонов, не могли сыскать себе защищения». Уехали Герман, Бильфингер, Бернулли. Блюментроста сменили на президентском месте в Академии Кейзерлинг, Корф, Бреверн – и при всех этих сменах, последовавших в непродолжительное царствование Анны, несменяемым был один Шумахер, для всех президентов он был одинаково необходим. Слишком беспокойных академиков он умел выживать из России; другие (как астроном Делиль) благодаря ему не ходили в академические заседания. Кроме того, что академики, занимаясь наукою, не имели ни привычки, ни досуга разносить по знатым домам поклоны, – кроме этого Шумахер пользовался также несогласиями, возникавшими между ними и доходившими иногда до драки в конференции: так, профессор Юнкер ударил профессора Вейтбрехта палкою и расшиб зеркало. Виноватым был признан Вейтбрехт, «потому что, – говорит Ломоносов, – он умел хорошо по-латыне; напротив того. Юнкер едва разумел

латинских авторов, однако мастер был писать стихов немецких, чем себе и честь зажил, и знакомство у фельдмаршала графа Миниха».

Ломоносов упрекает Шумахера и за то, что Академия в начале своего существования не достигала второй своей цели – учебной, столь важной для тогдашней России: «Взяты были из московских заиконоспасских школ двенадцать человек школьников в Академию Наук; оных половина взяты с профессорами в Камчатскую экспедицию, из коих один удался Крашенинников, а прочие от худого присмотра все испортились. Оставшаяся в Санкт-Петербурге половина, быв несколько времени без призрения и учения, распределена в подьячие и к ремесленным делам. Между тем с 1733 года по 1738 никаких лекций в Академии не преподавано российскому юношеству». В 1735 году вытребованы вновь 12 человек школьников и студентов в Академию из московских спасских школ; из них Ломоносов и Виноградов отправлены в Германию для обучения естественным наукам. «По отъезде помянутых студентов за море прочие десять человек оставлены без призрения. Готовый стол и квартира пресеклись, и бедные скитались немалое время в подлости. Наконец, нужда заставила их просить о своей бедности в Сенате на Шумахера, который был туда призван к ответу, и учинен ему чувствительный выговор с угрозами штрафа. Откуда, возвратись в канцелярию, главных на себя просителей-студентов бил по щекам и высек батогами. Однако ж принужден был профессорам и учителям приказать, чтобы давали помянутым студентам наставления, что несколько времени продолжалось, и по экзамене даны им добрые аттестаты для показу. А произведены лучшие в переводчики, а прочие ж распределены по другим местам, и лекции почти совсем прекратились».

Но мы видели, что, по свидетельству того же Ломоносова, академики не могли восторжествовать над Шумахером именно потому, что привыкли быть всегда при науках, и потому мы должны обратиться к следствиям этой привычки, обозреть ученую деятельность первых членов Академии, причем, разумеется, должны долее остановиться на тех, которые занимались изучением России, ее настоящего и прошедшего.

В реестре служащих при Академии и занятий их на 1737 год находим, что «профессор и советник юстицкий *Гольдбах* сочинял всякие до академической корреспонденции с чужестранными учеными людьми касающиеся письма на латинском, немецком и французском языке; он же сам издает математические и другие до наук касающиеся письма. *Делиль*, первый профессор астрономии, имеет в своем правлении обсерваторию, днем и ночью трудится в астрономических обсервациях и над генеральною картою Российского государства, а ныне старается, чтоб свой поданный прожект о измерении земли и поправлении карт Российской империи в действо произвести. *Винигейм*, второй профессор астрономии, проверяет на счете все из чужих краев присылаемые сюда астрономические обсервации и делает потребные при обсерватории таблицы; сочиняет с.-петербургские календари, пишет политическую географию и капитул Российского государства. *Гензиус*, третий профессор астрономии, в обсерватории те же обсервации, которые и г. Делиль делает, и один другому взаимно помогает, а когда первый в ночи, то другой днем астрономические обсервации отправляет для того, что одному человеку сего дела исправить невозможно, и ныне пишет краткое собрание астрономических наук. *Дувернау*, профессор анатомии, делает

анатомию над человеческими телами и зверьми, рассматривает их составы и тела; ныне пишет историю о слоне, морже и ките. *Крафт*, профессор физики и экспериментальной теоретики, рассматривает натуру размышлениями и частыми экспериментами и делает на всякий день метеорологические наблюдения, вписывает в книгу. *Эйлер*, профессор высшей математики, сочиняет высокие и остроумные математические вещи, которые по прочтении в конференции издаются в печать. *Вейбрехт*, профессор физиологии, так же как и анатомик, разнимает человеческие и звериные тела, все их части смотрит и старается как бы употребление их сыскать. *Аммон*, профессор ботаники и истории, рассматривает и описует все, что в трех частях природы случается, а именно: зверей, травы, камни, минералы и все ост-индские и вест-индские семена, а которые из Сибири, Астрахани и Казани присылаются, те садит, а травам делает описание и рисунки; ныне сочиняет книгу о 200 разных травах, которые в Сибири, Астрахани и около тех мест растут, и сия книга началом травной истории всея Российской империи будет. *Гросс*, профессор истории, исправляет историю средних и новейших времен, переводит с французского на немецкий и с немецкого на французский язык, а особливо всякие до Российской истории касающиеся письма на французский язык переводит. *Байер*, профессор антиквитетов (древних вещей), его должность в том состоит, чтоб греческие, римские, а особливо ориентальные древние вещи и языки исправлять; трудится над историею его величества блаженные памяти царя Алексея Михайловича, и по окончании оные истории прочих государей, царей и великих князей российских равным образом сочинять будет; начатый китайский лексикон будет продолжать».

Сочинять историю царя Алексея Михайловича и прочих государей Байеру было трудно по той простой причине, что он не знал по-русски; он мог легко заниматься теми только вопросами, которые решались с помощью иностранных источников, например вопросом о скифах. Имя Байера получило в нашей науке громкую известность, благодаря тому что он первый научным образом коснулся вопроса о происхождении варягов-руси, именно стал доказывать их скандинавское происхождение. Известно, к какой долгой и ожесточенной борьбе подавал повод этот вопрос в нашей ученой литературе; те, которые принимали мнение о скандинавском происхождении варягов-руси, отправлялись в своих исследованиях от выводов Байера, который, таким образом, для них и для противников их получил важное значение главы школы. Но как скоро вопрос о происхождении варягов-руси потерял свое значение, то имя Байера стало упоминаться очень редко, и деятельность этого академика исчезает пред продолжительною, постоянною и разнообразною деятельностью другого иностранца, приглашенного в Петербургскую академию на первых ее порах, пред деятельностью Герарда Фридриха Мюллера, заслужившего более популярное название Федора Ивановича Миллера. Лейпцигский студент Миллер, рекомендованный тамошним профессором Менке, приехал в 1725 году в Петербург и, несмотря на то что ему было только 20 лет, определен был адъюнктом исторического и географического класса при Академии. Но в этой Академии, носившей тройственный характер, специализирование занятий было невозможно, и молодой Миллер первые два года обучает студентов латинскому языку; в звании вице-секретаря Академии издает «Академические комментарии», издает извлечение из них под именем «Краткого описания комментариев», издает «С.-Петербургские ведомости» и примечания на

них; понадобился латинский лексикон – Миллер издает Вейсманов немецко-латинский лексикон с русским переводом и с присоединением «начальных правил русского языка».

Ломоносов, сильно враждовавший впоследствии с Миллером, говорит: «Шумахер для укрепления себе присвоенной власти приласкал на помощь студента Миллера и в начатой без всякого формального учреждения и указа канцелярии посадил его с собою, ибо усмотрел, что оный Миллер, как еще молодой студент и недалеко в науках надежды, примется охотно за одно с ним ремесло в надежде скорейшего получения чести, в чем Шумахер и не обманулся, ибо сей студент, ходя по профессорам, переносил друг про друга оскорбительные вести и тем привел их в немалые ссоры, которым их несогласием Шумахер весьма пользовался, представляя их у президента смешными и неугомонными». Упомянув об оставлении Академии учеными, не хотевшими находиться под начальством Шумахера, Ломоносов продолжает: «Но чтобы Академия не пуста осталась или, лучше, дабы Шумахер имел под рукою своею молодых профессоров, себе послушных, представил в кандидаты на профессорство пять человек, Ейлера, Гмелина, Вейтбрехта, Крафта и фаворита своего Миллера, чтоб старые отъезжающие профессеры их на свое место аттестовали. О четырех первых отнюдь не обинулись дать свои одобрения, а Миллеру в том отказали; однако в рассуждении сего мнение их не уважено затем, что Шумахеровым представлением Миллер был от Блюментроста произведен с прочими в профессеры».

Как бы то ни было, Миллер, получив звание профессора истории, начинает усердно заниматься своим предметом; еще недостаточно зная по-русски, собирает материалы для сочинения полной русской истории и географического описания России, переводит эти материалы на немецкий язык и для распространения за границу верных сведений о русской истории и географии предпринимает с 1732 года издание сборника статей, относящихся к русской истории (*Sammung russischer Geschichte*). Для нас любопытно узнать, как начинает Миллер сам знакомиться с русскою историею и знакомить с нею иностранных ученых. Он начинает как следует, с начала, с начальной летописи: первая статья в сборнике – это известие о древней рукописи, содержащей русскую историю игумена Феодосия киевского. Слова «игумена Феодосия киевского» нас поражают: мы не знаем такого летописца. Но мы не должны забывать, что имеем дело с трудом молодого иностранца, только что начавшего заниматься древними рукописями, неопытного в их языке. В заглавии рукописи «Повесть временных лет черноризца Феодосьева монастыря Печерского» Миллер прилагательную форму Феодосьева принял за существительную, и явился у него игумен Феодосий, летописец. Миллер не понял и Сильвестровой приписки; слова: «А мне игуменящу» – приписал своему летописцу Феодосию, которого сделал преемником Сильвестра на игуменстве в монастыре Св. Михаила. Не забудем также, что Миллер при первом занятии своим летописями не мог иметь никакого руководителя, ибо Татищев привез в Петербург свою историю только в 1739 году; Миллер в 1732 году не мог подозревать, что его *Abt Theodosius* есть тот же Нестор, за которым после он сам утверждал начальную летопись. В своем «Извещии» Миллер сделал обзор первых страниц летописи до времен Рюрика, причем, разумеется, не мог не коснуться вопроса о происхождении варягов: варяги, по его мнению, суть *морские*

люди, мореплаватели , ибо слово *Varech* означает то, что выбрасывается морем. За «Извещением» следуют извлечения из летописи с 860 до 1175 года включительно. Но источники древнейшей русской истории не ограничиваются одними русскими летописями; известия о столкновении руссов с греками находятся у византийских писателей, и Миллер в особых статьях сообщает эти известия. О России упоминается также в северных источниках: Миллер составил извлечение из «Истории норвежских королей» Снорро Стурлезона. Наконец, Миллеру хотелось познакомить иностранных читателей с одним из знаменитых русских исторических лиц несколько позднейшего времени, и он избрал Александра Невского, которого подвиги могли возбудить большой интерес по отношению их к Швеции, Ливонскому ордену, папе и которого имя связано было с Петербургом и стало еще более известно на Западе вследствие установления ордена в честь его. Жизнеописание св. Александра составлено Миллером по двум, тогда не изданным, источникам (Степенной книге и Сказанию, помещаемому обыкновенно в летописях); кроме того, автор пользовался лифляндскою хроникою Руссова, собранием папских посланий, известиями о татарах разных авторов.

Кроме статей по русской истории в «Сборнике» видим статьи об отношениях России к Востоку, статьи по истории и географии прилегавших к России с востока стран. Причину такого выбора объяснить нетрудно: уже при чтении иностранных путешественников по России XVI и XVII веков легко заметить, что преимущественно их занимает Восток, Азия, занимает их особенно эта Сибирь, откуда Россия доставала главный драгоценный товар свой – меха, чрез которую шел путь к заповедным границам китайским; открытие удобных путей на Восток, в Китай, Индию сильно занимало умы на западе Европы в XVI, XVII и XVIII веках; понятно, что взоры всех обращались на Россию как на страну, посредствующую между Европою и Азиею. Миллер хорошо знал это и потому предлагал своим западным читателям преимущественно статьи о Востоке, о сношениях России с Востоком. Он поместил в своем «Сборнике» церемониал приема китайского посольства при русском дворе, в Москве и Петербурге, в 1731 и 1732 годах; новейшую историю восточных калмыков Унковского; извлечение из путевого журнала в Калмыцкую страну того же Унковского; мирный договор России с Персиею 21 января 1732 года с примечаниями на вторую статью, в которых Миллер предложил описание стран, упоминаемых в договоре; известие о редком сочинении голландца Витзена «Северная и Восточная Татария», к которому Миллер составил ключ; о городе Албазине и бывших за него войнах между русскими и китайцами – статью, составленную по Витзену; мирные переговоры между Россиею и Китаем в 1689 году и проч.

При чтении Витзена и Унковского Миллеру пришла мысль написать подробную историю калмыков, тем более что он имел случай получить много известий от членов калмыцких посольств, с которыми он часто разговаривал посредством переводчика Смирнова. Миллер уже составил план своего сочинения и предложил его в «Сборнике».

Но исполнению этого предприятия помешала поездка Миллера в Сибирь. В 1733 году назначена была от Академии ученая экспедиция, известная под именем Камчатской, и Миллер был избран в число ее членов. После сам Миллер таким образом объяснял причины этой командировки своей: «Я так давно близко знаю г. Шумахера: он никогда не прощает, если сочтет себя оскорбленным. Его ненависть

против меня началась с 1732 года, когда Сенат прислал указ профессорам рассмотреть академические штаты, составленные г. Шумахером. Я тогда думал, что долг мой требует присоединиться при этом рассмотрении к прочим профессорам, моим товарищам, и так как в проекте штатов нашлось много заслуживающего порицания, то и не колебался высказать мое истинное мнение, к чему меня обязывала и присяга верноподданного империи. Это привело г. Шумахера в негодование против меня. Для избежания его преследований я вынужден был отправиться в путешествие по Сибири, чему он один благоприятствовал, лишь бы удалить меня от тех, которые пользовались тогда моим пером».

Как бы то ни было, наука выиграла от этого бегства Миллера в Сибирь от преследований Шумахера. В течение десяти лет Миллер обозрел страну от Чердыни до Якутска и границ китайских, причем вел подробные путевые записки, собрал о городах и уездах их исторические, географические и статистические сведения; пересмотрел и привел в порядок архивы почти во всех важнейших городах, особенно в Чердыни, старом главном городе Перми, везде списывал замечательнейшие акты. Из этих списков составилось 50 фолиантов. Но мы обозрели только еще начало деятельности Миллера.

До сих пор мы видели труды только иностранных ученых, призванных в Петербургскую академию наук, но вот в приведенном выше реестре встречаем и русские имена: «*Адодуров*, адъюнкт профессора физики; его главное намерение — физику доканчивать, дабы со временем самому профессорского чина удостоиться; перевел сокращенную механику на российский язык, а ныне переводит математику, сочиненную профессором Эйлером; свои труды читает в Российском собрании и притом слушает всяких переводов, которые другие читают, и старается, чтоб оные переводы на русском языке исправно в печать выходили: обретающихся при прав. Сенате юнкеров обучает по дважды в неделю в чтении и писании русского диалекта».

Таким образом, адъюнкт по кафедре физики читал свои переводы в Российском собрании и поправлял чужие переводы, но что же это было за Российское собрание? Так называлась особая конференция при Академии, имевшая задачу обработку русского языка и слога. Мы видели, что когда Петр Великий, желая передать научные сведения русским людям на их языке, заказал переводы разных книг с иностранных языков и необходимые для этого лексиконы, то ему представился вопрос: на какой язык переводить? Языком религии и неразрывно связанного с нею знания был до сих пор язык так называемый церковнославянский. Это был язык священный, возвышенный, единственно достойный важного предмета; человек знающий, ученый, т.е. начетчик священных книг, мог писать только на этом языке или по крайней мере старался писать на нем, приближать свою речь как можно более к нему; этим он отличался от невежественной толпы. Но подле этого священного и ученого языка в устах народа образовался живой разговорный язык, который сделался и письменным языком, ибо на нем составлялись правительственные акты и деловые бумаги. Петр потребовал, чтоб переводы делались и лексиконы составлялись именно на этом живом народном языке, который называли языком Посольского приказа. Но исполнить желание преобразователя было очень трудно: переводчик книги, составитель лексиконов был человек ученый, следовательно, тянувший к

церковнославянскому языку, считавший странным, неприличным писать на языке подлом, т.е. следовать живой народной речи. А тут новая беда: еще до Петра являются в Москву ученые Южной и Западной России с своими наречиями, искаженными влиянием польского элемента; при Петре эти лица заняли архиерейские кафедры, и удивительный язык их витиеватых *казаний* дорого обошелся русскому уху; влияние живых западных языков было сильно, особенно со стороны лексикологической. Хаос усиливался, но не умирало и стремление выйти из него, не умирало то чувство, которое заставляло русского человека оскорбляться печальным состоянием родного языка, выражения своей народности. Требование очищения русского языка пошло от людей, отличавшихся наибольшею преданностью делу преобразования: Татищев, например, не мог выносить обилия иностранных слов, вошедших в русский язык; он никак не хотел называть нового горного города Екатеринбургом, но всегда подписывал на своих письмах и донесениях: «из Екатерининска». В 1728 году Верховный тайный совет предписал, чтоб «российские при других дворах министры в своих реляциях не включали терминов иностранных, кроме только самых необходимых». Все русские люди, считавшие просвещение необходимым, должны были страшно тяготиться неустройством родного языка, видя, как то, что так легко выразить на чужом языке, с таким трудом передается на русском. А передавать было необходимо. Несмотря на важное значение, приобретенное немцами в царствование Анны, немецкий язык не мог сделаться употребительным даже и при дворе по той простой причине, что огромное большинство русских знатных и деловых людей не знало по-немецки; все официальные бумаги, донесения императрице в Кабинет должны были писаться по-русски, поэтому немцы, которые хотели утвердиться в России, должны были стараться овладеть русским языком, выражаться и писать на нем как можно свободнее, чему пример показал самый даровитый из иностранцев – Остерман. Понятно, что Академия должна была отозваться на требование устройства русского языка, тем более что это требование шло сверху. Мы видели, что учреждена была особая конференция под именем Российского собрания, но кто же был главным деятелем здесь? Как видно, большим знатоком русского языка считался адъюнкт по кафедре физики Адодуров, но у этого Адодурова живет какой-то русский ученый, возвратившийся из-за границы; его зовут Василий Кириллович Тредиаковский.

Когда раздался громкий призыв русским людям к новой, усиленной наукою жизни, в свежем и сильном народе послышались с разных сторон отзвывы: один крестьянский сын с берегов Белого моря оставляет отцовский дом и бежит в Москву учиться в спасских школах; другой, священнический сын, с устьев Волги, из Астрахани, также покидает отцовский дом и бежит туда же в Москву учиться в спасских школах. Различная степень таланта, различные характеры, различный закал характеров вследствие различных условий времени и других, но стремление и форма начального подвига одинаковы.

Сын астраханского священника, выучившийся по-латыни у католических монахов, Тредиаковский оставил родной город, дом и отца с матерью, убежал в Москву, где стал учиться в Заиконоспасском монастыре. По окончании реторики нашел способ уехать в Голландию, где выучился французскому языку. Оттуда пешком вследствие крайней бедности пришел в Париж, где в Сорбоне учился математическим, философским и богословским наукам «при щедром благодетелей

содержании». Из этих благодетелей нам известен только князь Александр Борисович Куракин, который и привез Тредиаковского из-за границы в Петербург. В 1730 году Академия издала труд Тредиаковского «Езда в остров Любви. Переведена с французского на русской чрез студента Василия Тредиаковского и приписана его сиятельству князю Александру Борисовичу Куракину» (*Voyage a l'île d'Amour, par Paul Tallemant*). В предисловии впервые писателем высказано требование писать книги светского содержания разговорным языком, а не славянским; мы видели, что это требование было уже высказано Петром Великим; но Тредиаковский был первый из ученых, из литераторов, который решился отстать от старой привычки: «На меня, прошу вас покорно, не извольте погневаться (буде вы еще глубокословные держитесь словенщины), что я оную (езду) не словенским языком перевел, но почти самым простым русским словом, то есть каковым мы меж собой говорим. Сие я учинил следующих ради причин. Первая: язык словенской у нас есть язык церковной, а сия книга – книга мирская. Другая: язык словенской в нынешнем веке у нас очень темен, и многие его наши, читая, не разумеют, а сия книга есть сладкие любви, того ради всем должна быть вразумительна. Третья: которая вам покажется, может быть, самая легкая, но которая у меня идет за самую важную, то есть что язык словенской ныне жесток моим ушам слышится, хотя прежде сего не только я им писывал, но и разговаривал со всеми». Эта причина и для нас идет за самую важную, и для нас всего важнее то, что человек, привыкший писать и даже говорить словенским языком, вдруг нашел этот язык жестким для своих ушей, признал, что новое вино требует новых мехов, новый духовный обиход русского человека требует нового, живого языка для своего выражения. Русские люди описываемого времени нашли необходимым разделаться с своим *словенским* языком, как западные европейцы нашли необходимым разделаться с мертвым латинским языком и обратиться к языку разговорному, народному. «Ежели вам, доброжелательный читатель, – продолжает Тредиаковский, – покажется, что я еще здесь в свойство нашего природного языка не уметил, то хотя могу только похвалиться, что все мое хотение имел, дабы то учинить». Мы знаем, что Тредиаковский (и не один Тредиаковский) не уметил в свойство нашего природного языка, и причина заключалась в том, что он не знал или если знал, то не понял требования Петра Великого, чтоб переводить книги языком Посольского приказа: в изучении памятников этого живого, сильного, царственного языка Московской Руси преобразователь указал лучшее средство уметить в свойство нашего природного языка.

В 1735 году мы видим Тредиаковского членом новоучрежденного Российского собрания; он открывает первое собрание торжественною речью: «При благословенной державе величайшей монархини Анны сего дождались мы счастья, мои господа, что и совершенстве российского языка попечение восприимлет. Сие колыми полезно есть российскому народу, т.е. возможное дополнение языка, чистота, красота и желаемое потом его совершенство. но мне толь трудно быть кажется, что не страшит, уповаю, и вас трудностию и тягостию своею. Не о едином тут чистом переводе степенных, старых и новых авторов дело идет, что и едино и само собою колико проливает пота, известно есть тем, которые прежде вас трудились в том, и вам самим, которые ныне трудятся, но и о грамматике доброй и справной, согласной мудрых употреблению и основанной на

оном, в которой коль много есть нужды, толь много есть и трудности, но и о дикционарии полном и довольном, который в имеющих трудиться вас еще больше силы требует, нежели в баснословном Сизифе превеликий оный камень, но и о реторике и стихотворной науке, что все чрез меру утрудить вас может».

Чтоб понять речь Трелиаковскаго, надобно заметить, что в Российское собрание были помещены одни переводчики: Адодуров, Волчков, Шваневец, Тауберт, Эмме. О самом Трелиаковском в реестре 1737 года говорится: «Трелиаковский, секретарь, его должность также в переводах и в присутствии при Российском собрании состоит, причем он свои труды читает и других переводы слушает; он перевел с французскаго языка Марсилиеву книгу „О военном состоянии Порты Оттоманской“; ныне оканчивает перевод татарской истории, а впредь во всяких переводах с французскаго на российский язык трудиться будет». Ясно видно, что ближайшею целью учреждения было исправление переводов общими силами всех занимающихся этим делом людей. Но одному из переводчиков, Трелиаковскому, не хочется ограничиться одною этою целью; он указывает на другие необходимые труды: составление грамматики, лексикона, реторики, пиитики; причем, без сомнения, считает себя способнее всех других заняться этими высшими трудами. Так, он говорит в той же речи: «Из основательны грамматики и красны реторики нетрудно произойти восхищающему сердце и ум слову пиитическому, разве одно только сложение стихов неправильностию своею утрудить вас может, но и то, мои господа, преодолеть возможно и привести в порядок: способов не нет, некоторые же и я имею». Действительно, в том же году он издал «Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих названий», где высказал положение, что силлабический размер, которым до сих пор писались в России вирши с тяжелой руки западнорусских ученых, не приходится к русскому языку, потому что в нем нет собственно долгих гласных: «Долгота и краткость слогов в новом сем российском стихосложении не такая, разумеется, какова у греков и у латин в сложении стихов употребляется, но токмо *тоническая*, т.е. в едином ударении голоса состоящая».

Но честь выполнения всех этих трудов, которые Трелиаковский заказывал Российскому собранию, имея в виду взять их на себя, – честь всех этих трудов предвосхитил другой русский ученый, имя котораго произносится с благоговением, тогда как имя Трелиаковскаго произносится с насмешливою улыбкою; отчего же это произошло?

Несчастье Трелиаковскаго происходило, во-первых, оттого, что ему суждено было действовать в самое печальное время для русскаго ученаго, и именно ученаго, предметом занятий котораго были словесны науки. Убеждение в необходимости просвещения было сильно в обществе; учредили Академию, вызвали ученых-иностранцев с большими по тому времени издержками, но вообще на ученых смотрели как на необходимых мастеров, требовали от них непосредственной пользы, и, чем очевиднее была польза от известной ученой деятельности для удовлетворения государственным потребностям, тем ценнее был ученый. Ломоносов был отправлен за границу для занятия естественными науками с целью непосредственного приложения; Ломоносов был первый русский, получивший известность в области этих считавшихся по преимуществу полезными наук, и эта известность вначале служила прочным основанием его

значения. Мы видели, что была потребность занятия русским языком, потребность его образования, очищения, но внутреннее, сознательное или бессознательное недовольство печальным состоянием русского языка было у очень немногих; большинство требовало образования и очищения русского языка для того, чтоб было легко читать на нем; большинство прежде всего нуждалось в переводах нужных книг и сердилось, получая переводы, которые были почти так же непонятны для него, как и подлинники; хорошие переводы были первою потребностью, и мы видели, что Российское собрание было составлено из переводчиков, которые обязаны были поправлять труды друг друга. Таково было главное значение, какое мог иметь в описываемое время человек, занимавшийся русским языком, – значение переводчика; такое значение имел и Третьяковский, но понятно, что это значение не могло быть важно, не могло идти в уровень с значением ученых, самостоятельно занимавшихся своими науками, с значением известных астрономов, математиков, физиков, анатомов; такое значение, повторяем, первый приобрел впоследствии Ломоносов. Но у Третьяковского было еще другое значение. В числе явлений, с которыми познакомились русские при своем сближении с западноевропейскою жизнью, было и то, что важные события в государственной жизни, дела высокопоставленных лиц прославлялись поэтами; торжественная, прославительная ода требовалась, как теперь требуется восхвалительная газетная статья. Восхвалительные оды требовались при дворе Анны более, чем при дворах ее предшественников, потому что чувствовалось более побуждений выставить с светлой стороны действия правительства: с особенным удовольствием слушает похвалу тот, кто боится, что его не хвалят. Для удовлетворения этой потребности явились немцы – известный нам уже Юнкер, Штелин, адъютант Академии, который «упражнялся по должности своей во всем, что касается до ретирики, до стихотворной науки, до правильного писания (на каком языке?) и до прочих к тому надлежащих наук; в 1737 году переводил он с итальянского на немецкий язык Марселиево «Военное состояние Оттоманской Порты»». Но восхваления нужны были и для русских, и вот Третьяковский должен был переводить оды Юнкера и Штелина, потому что заявил себя «пиитю», писал и собственные оды, издали «Способ к сложению российских стихов». Но беда заключалась в том, что верного взгляда, высказанного им в «Способе», оценить не умели, а собственные стихотворения автора и переводы его находили дурными, находили, что в немецких подлинниках бесконечно более гармонии, чем в переводах. Переводчик оказывался бездарным, плохим, и это была главная причина, почему Третьяковского держали в черном теле. Русскому ученому надобно было завоевать сколько-нибудь выгодное положение сильным талантом, блестящими успехами, но Третьяковский сделать этого не мог и нес наказание за эту невозможность. А между тем Третьяковский в описываемое время был главным представителем русских ученых из светских людей, и это, разумеется, не могло быть полезно для русского дела вообще, давая иностранцам основание слишком высоко ценить себя и слишком мало сдерживаться уважением к русским.

В описываемое время общество в России не могло обеспечить писателю самостоятельного существования; писатель искал поддержки в покровительстве сильных и благодарил за эту поддержку восхвалением покровителя. Разумеется, странно было бы упрекать Третьяковского за восхваление главного «командира

Академии» Корфа, когда пред нами множество писем от высокопоставленных лиц к Бирону – писем, наполненных самым рабским духом; когда мы знаем, что подобные восхваления не вывелись и в XIX веке, и когда наконец, популярничанье, старанье служить модному, господствующему в известное время направлению в обществе или стремление служить известному сильному кружку, могущему оказать покровительство, часто вреднее для науки и для общества, чем приписание ораторского таланта президенту Академии Корфу, как это сделал Третьяковский. Не знаем, много ли выгод получил Третьяковский от своей лести пред Корфом, на которую можно смотреть как на форменную, но мы видели, что у него был покровитель, русский вельможа князь Александр Борисович Куракин, который привез его из-за границы и которому он *приписал* свою «Езду на остров Любви». Не можем определить, в чем могло выказаться дальнейшее покровительство Куракина Третьяковскому, но бесспорно, что отношения между ними сыграли главную роль в печальном приключении, постигшем Василия Кирилловича в 1740 году по поводу знаменитого Ледяного дома.

Мы знаем, что в описываемое время шуты составляли необходимую принадлежность двора императрицы Анны, которая нуждалась в том, чтоб подле нее была постоянно женщина, без умолку болтавшая, разумеется, должна была очень жаловать шутов. В числе их находился один князь Голицын, прозывавшийся Квасником. Пятидесятилетнего Квасника вздумали женить на придворной калмычке Бужениновой, и при этом удобном случае решились повеселиться на славу, а главное, как видно, хотели развеселить императрицу, имевшую много причин печалиться. Придумали для новобрачных выстроить Ледяной дом, что легко было сделать при страшных морозах, которыми отличалась зима 1740 года. Дом был построен между Зимним дворцом (старым) и Адмиралтейством «и гораздо великолепнее казался, нежели когда бы он из самого лучшего мрамора был построен, для того казался сделан был будто из одного куска, и для ледяной прозрачности и синего его цвету на гораздо дражайший камень, нежели на мрамор, походил». Народ потешался пальбою из ледяных пушек, стоявших у дома, ледяными дельфинами, которые ночью выбрасывали изо рта огонь из зажженной нефти, «смешными картинами», которые были поставлены за ледяными стеклами дома, освещенного внутри по ночам множеством свеч, ледяными птицами, сидевшими на ледяных деревьях с ледяными ветками и листьями, «что все изрядным мастерством сделано было», ледяным слоном в натуральную величину с сидевшим на нем ледяным персиянином; слон этот днем извергал воду, а ночью горящую нефть. Но этих хитростей было мало: придумали устроить живую этнографическую выставку, выписали по паре инородцев, подвластных России, которые должны были участвовать в торжестве шутовской свадьбы, плясать по-своему, петь свои песни и за свадебным столом насыщаться своими национальными кушаньями. К казанскому губернатору пошел указ: «Указали мы для некоторого приуготовляемого здесь маскарата выбрать в Казанской губернии из татарского, черемисского, мордовского и чувашского народов каждого по три пары мужеска и женска полу пополам и смотреть тою, чтоб они собою были не гнусные, и убрать их в наилучшее платье со всеми приборы по их обыкновению, и чтоб при мужском поле были луки и прочее их оружие и музыка, какая у них употребляется, а то платье сделать на них от губернской канцелярии из казенных наших денег». Такие же указы пошли в

Архангельск, в Малороссию. В Твери получен указ: «Указали мы тех людей, которые напредь сего собираны были во время маскаратов и назывались *Весна*, ныне собрать в Твери, сколько есть из прежних, и к тому выбрать и вновь из тамошних обывателей, чтоб было тех 12 человек». В Москву отправлен приказ: «Выбрать из Калужского и Алексинского уездов деревенских восемь баб молодых и столько ж мужей их, умеющих плясать, которые б собою были не гнусны, да около Москвы набрать из пастухов шесть человек молодых людей, которые бы умели на рожках играть. Також сыскать меделянских 15 хороших собак да набрать петуховых больших перьев, колокольчиков разных рук купить». Сибирский приказ должен был прислать хвостов лисьих и волчьих, мехов заячьих, тулупов медвежьих и проч. Из Новгорода Великого потребованы 50 козлов да баранов четверорогих и пятеророгих до десяти, и чтоб все были большие. Остзейские провинции должны были выслать верховых лошадей для придворных дам.

Устройством праздника распорядился обер-егермейстер и кабинет-министр Артемий Петрович Волынский; для торжества понадобились стихи, приветствие новобрачным; написать и произнести это приветствие поручено было ТрEDIAKовскому. Но как было сделано поручение, об этом так рассказывает сам ТрEDIAKовский в рапорте своем в Академию Наук: «Сего, 1740 года, февраля 4 дня, т.е. в понедельник ввечеру, в 6 или 7 часов, пришел ко мне г. кадет Криницын и объявил мне, чтоб я шел немедленно в Кабинет е. и. в. Сие объявление хотя меня привело в великий страх, толь наипаче, что время было позднее, однако я ему отвечивал, что тотчас пойду. Тогда, подпоясав шпагу и надев шубу, пошел с ним тотчас, нимало не отговариваясь, и, сев с ним на извозчика, поехал в великом трепетании, но видя, что помянутый г. кадет не в Кабинет меня вез, то начал его спрашивать учтивым образом, чтоб он мне пожаловал объявил, куда он меня везет, на что мне отвечивал, что он меня везет не в Кабинет, но на Слоновый двор. и то по приказу его п-ства кабинет-министра Ар. Петр. Волынского, а зачем – сказал, что не знает. Я, услышав сие, обрадовался и говорил помянутому г. кадету, что он худо со мною поступил, говоря мне, будто надобно мне было пойти в Кабинет, и притом называя его еще мальчиком и таким, который мало в людях бывал, и то для того, что он таким объявлением может человека вскоре жизни лишить или по крайней мере в беспмятствие привести для того, что, говорил я ему, Кабинет – дело великое и важное, о чем он у меня и прощения просил, однако же сердился на то, что я его называл мальчиком, и грозил пожаловаться на меня е. п-ству А. П. Волынскому, чем я ему сам грозил, но когда мы прибыли на Слоновый двор, то помянутый г. кадет пошел наперед, а я за ним в оную камеру, где маскаррад обучался, куда вшед, постояв мало, начал я жаловаться его п-ству на помянутого г. кадета, что он меня взял из дому таким образом, который меня в великий страх и трепет привел, но его п-ство, не выслушав моей жалобы, начал меня бить сам пред всеми толь немилостиво по обеим щекам, и притом всячески браня, что правое мое ухо оглушил, а левый глаз подбил, что он изволил чинить в три или четыре приема. Сие видя, помянутый г. кадет ободрился и стал притом на меня жаловаться его пр-ству, что его будто дорогою бранил и поносил. Тогда его пр-ство повелел и оному кадету бить меня по обеим же щекам публично; потом, с час времени спустя, его пр-тво приказал мне спроситься, зачем я призван, у г. архитектора и полковника П. М. Еропкина, который мне и дал на письме самую краткую матерю и с которой должно было мне сочинить приличные стихи к

маскараду. С сим и отправился в дом мой, куда пришел, сочинял оные стихи и, размышляя о моем напрасном бесчестии и увечьи, рассудил поутру, избрав время, пасть в ноги его высокогерцогской светлости (Бирону) пожаловаться на его пр-ство. С сим намерением пришел я в покои к его высокогерцогской светлости поутру и ожидал времени припасть к его ногам, но, по несчастию, туда пришел скоро и его пр-ство А. П. Волынский; увидав меня, спросил с бранью, зачем я здесь; я ничего не ответствовал, а он бил меня тут по щекам, вытолкал в шею и, отдав в руки ездovому сержанту, повелел меня отвезти в комиссию и отдать меня под караул, что таким образом и учинено. Потом, несколько спустя времени, его пр-ство прибыл и сам в комиссию и взял меня перед себя. Тогда, браня меня всячески, велел с меня снять шпагу с великою яростию, и всего оборвать, и положить, и бить палкою по голой спине толь жестоко и немилостиво, что, как мне сказывали уже после, дано мне с 70 ударов, а приказавши перестать бить, велел меня поднять, и, браня меня, не знаю, что у меня спросил, на что в беспамятстве моем не знаю, что и я ему ответствовал. Тогда его пр-ство паки велел меня бросить на землю и бить еще тою же палкою, так что дано мне и тогда с тридцать разов; потом всего меня изнемогшего велел поднять и обуть, а раздранную рубашку не знаю кому зашить и отдал меня под караул, где я ночевал на среду и твердя наизусть стихи, хотя мне уже и не до стихов было, чтоб оные прочесть в Потешной зале. В среду под вечер приведен я был в маскарадном платье и в маске под караулом в оную Потешную залу, где тогда мне повелено было прочесть наизусть оные стихи насилу. По прочтении оных и по окончании маскарадной потехи отведен я паки под караул в комиссию, где и ночевал я на четверток, но в четверток призван я был поутру, часов в десять, в дом к его пр-ству, где был взят пред него и был много бранен, а потом объявил он мне, что расстаться хочет со мною, еще побивши меня, что я, услышав, с великими слезами просил еще его пр-ство умиловаться надо мною, всем уже изувеченным, однако не преклонил его сердце на милость, так что тотчас велел он меня вывести в переднюю и караульному капралу бить меня еще палкою десять раз, что и учинено. Потом повелел мне отдать шпагу и освободить из-под караула и, призвав к себе, отпустил меня домой с такими угрозами, что я еще ожидаю скоро или не скоро такого же печального от него несчастья, буде господь по душу не сошлет».

Что люди сильные в описываемое да и в позднейшее время не разбирали средств, когда им приходилось давать чувствовать свою силу слабым, это мы хорошо знаем; что Волынский принадлежал к числу самых неуправляемых людей – это мы также знаем. Мы видели, что позволил себе библиотекарь Шумахер со студентами, подавшими на него жалобу в Сенат; в описываемое же царствование, именно в 1737 году, в Москве генерал Чернышев прибил сам поленом и потом людям своим велел бить асессора Канцелярии конфискации Глазунова за то, что тот удержал нужного ему, Чернышеву, подьячего. Поэтому не очень можем удивляться такому же поступку кабинет-министра Волынского с секретарем Третьяковским. Но мы не можем себе представлять Волынского человеком, подверженным каким-то припадкам бешенства, способным бить человека безо всякой причины, а причины не было бить Третьяковского за то только, что он подошел с жалобой на кадета, ибо из рассказа ясно видно, что кадет не мог предупредить Третьяковского и пожаловаться на него; кадет начинает жаловаться

тогда только, когда был ободрен тем, что Волынский на жалобу Третьяковского отвечал пощечинами. Нам известно, как позволил себе Волынский распорядиться с князем Мещерским, но нам известно также, что он мстил Мещерскому за оскорбление. Следовательно, и в деле Третьяковского мы должны предположить какое-нибудь особое обстоятельство, заставившее Волынского так распорядиться. Это обстоятельство очевидно: Третьяковский был клиент Куракина, а Куракин был заклятый враг Волынского, который воспользовался случаем выместить на клиенте злобу, которую не мог выместить на патроне. Но этого мало: в челобитной императрице на Волынского Третьяковский приводит слова Волынского, сказанные на прощание после десяти последних палочных ударов: «А притом говорил, чтоб я на него жаловался кому хочу, а я-де свое взял, и ежели-де впредь станешь сочинять песни, то-де и паче того достанется». Итак, причиной гнева Волынского на Третьяковского была какая-то песня, написанная нашим пиитом в насмешку над Волынским, разумеется, в угоду своему патрону, князю Куракину. Между сочинениями Третьяковского не трудно отыскать такую песню, или «басенку», как назвал ее автор: она носит название «Самохвал» и как нельзя больше относится к самому видному недостатку Волынского и к обстоятельствам его жизни:

В отечество свое как прибыл некто вспять,/ А не было его там, почитай, лет с пять;/ То за все пред людьми, где было их довольно,/ Дел славою своих он похвалялся больно,/ И так уж говорил, что не нашлось ему/ Подобного во всем, ни равна по всему.../ и проч.

Кабинет-министр Волынский, таким образом, отомстил *секретарю* Третьяковскому, человеку все же известному, имевшему сильного покровителя, отомстил в Петербурге, во дворце, в покоях фаворита; что же могло делаться в глуши, в провинции, с товарищами Третьяковского? Мы можем иметь понятие об этом из доношения Медицинской канцелярии в Кабинет 1737 года: «К архиатеру и Медицинской канцелярии президенту Фишеру обретающийся при армии доктор Ацаротий письмом представил, что он, архиатер, о непорядках и непокорствах лекарей пред докторами неизвестен, ибо оные надеются на полковых своих штабов и офицеров, им потакающих, их, докторов, мало слушают и почитают, отчего непорядки и в сочинении репортов умедления происходят, и штаб-офицеры оных лекарей хотят иметь во всем в своей команде, понеже оные штабы не токмо их как лекарей содержат, но многих как камердинеров употребляют, заставляют их и парики направлять, а которые лекари пред штабами своими не похотят излишнюю услужность и раболепство несть, на таких нападают и их по своим изволам штрафуют и бесчестят, и которые лекари у полковых штабов содержатся в страхе или в милости и употребляемы за камердинера, такие не токмо докторам послушание не имеют, но и должность свою пренебрегают, к болящим не ходят и более держатся при домах штаб-офицеров, а иные от штабов обиженные служить более не хотят».

Чин давал защиту и право, очень часто давал право чиновному обходиться бесцеремонно с нечиновным. Но малый чин не защищал пред большим, и гражданский чин не защищал пред военным. Третьяковский имел чин секретаря (чин, а не должность), но этот чин не удержал руку Волынского. Так как гражданские чины давали мало почета и защиты, то отсюда естественное стремление гражданских чиновников называться соответствующими по табели о

рангах военными чинами. Но военные чины смотрели ревниво на такое самозванство, и в 1736 году состоялся именной указ: «Наикрепчайше подтверждаем, чтоб все статские служители именовались теми статскими чинами, в которых они написаны, а военными б чинами отнюдь не именовались под опасением лишения чина».

Но если в незрелом обществе одна наука, без ранга не могла внушить уважение к ее служителям, то, с другой стороны, преобразовательное движение возбудило страсть к знанию, к литературе и в людях высокопоставленных по рождению и по рангу; таковы были поздние птенцы Петра Великого, обязанные ему своим образованием, – Василий Никитич Татищев и князь Антиох Кантемир.

Мы видели, что еще в XVII веке на севере и юге России начинаются попытки сколько-нибудь стройного, связного извлечения из летописей; видели также, что Петр Великий заказал такой труд Поликарпову и остался им недоволен. Но во время же Петра пленный русский в Швеции Манкиев в 1715 году составил известное «Ядро Российской истории». Сочинение это было посвящено Петру, но осталось неизданным до времени Екатерины II. Как ни странны иногда отступления автора «Ядра», как ни ошибочны бывают иногда его показания, все же его книга несравненно выше «Истории», т.е. витиеватой родословной, Грибоедова или синопсиса, который, следуя постоянно литовским и польским источникам, перемешивает князей и события, опуская главное, выставляя незначашее, сопоставляя разноречивые свидетельства об одном и том же событии. Книга Манкиева гораздо стройнее; после описания татарского нашествия рассказ событий по княжениям почти везде правилен, и встречаются некоторые любопытные известия, до сих пор ненаходимые в источниках. С большими подробностями рассказывает автор о взятии Новгорода Делагарди, причина тому заключается в тогдашнем положении целого русского народа, отчаянно боровшегося со шведами, и в положении самого автора в особенности: настоящая вражда и «полонное терпенье» заставили живее припомнить неприязнь древнюю. Книга заключается похвалою Петру, который «всю Русь художества и ведением просветил и будто снова переродил». Описать подробно деяния Петра автор не мог потому, что, как говорит он сам, «будучи в Швеции в плену под жестоким арестом, едва вышеписанное, по объявлению, сыскать мог, а больше известий и записок не имея, принужденным нахожуся перо покинуть».

Один бежит за наукою в Москву с берегов Белого моря, другой – из Астрахани, третий пишет русскую историю в шведском плену под жестоким арестом! Таковы были богатыри новой России; духовная сила, выступившая вследствие потрясений преобразования, была им *грузна*, принуждала к подвигам, как была грузна физическая силушка древним сказочным богатырям. К таким же богатырям принадлежал и Татищев, который за границей, изучая горное дело, в Москве, в трудах по Монетной канцелярии, в Сибири, устраивая горное дело, в Самаре, будучи начальником Оренбургской экспедиции, не переставал заниматься русскою историею, собирать ее материалы и устраивать их. Школа, усиление науки в России, очищение и устройство родного языка составляют постоянные мысли, постоянные заботы Татищева. В мнении своем о Монетной канцелярии он предлагает: «Учредить школу ремесл, где обучать, яко начало всех хитростей и просвещения ума, арифметики, геометрии, знаменования механики резного или ваяния как целых телес, так в плоскости и обронного, архитектуры, химии и

металлургии, т.е. пробовать и разделять металлы, которые все едва не во всех ремеслах великую пользу и приращение всем мануфактурам приумножать способны. Языки же чужестранные учить, хотя для разговоров не весьма нужны, но паче чтоб могли других языков полезные книги читать и разуметь, к тому же видим, что у нас от неразумия грамматических и риторических правил в канцеляриях неученые секретари и подьячие весьма пространно и темно и сумнительно или весьма недоразумительно пишут и не токмо бумаги, но и времени над меру теряют. И когда сие малое училище, доброе начало восприяв, плод покажет, тогда удобно высшие науки начать, как то во всех государствах славные академии, малое начало положи, со временем возросли». Приехав в Сибирь начальником тамошних горных заводов, Татищев также сильно хлопочет о школах.

Но среди забот о техническом образовании в России что заставило этого практического человека употреблять столько времени и трудов на русскую историю? Татищев сам рассказывает, что граф Брюс, под начальством которого он служил, занимался составлением русской географии; сперва Татищев только помогал Брюсу в этом деле, а потом должен был один взять на себя географические труды. Ставши разбираться в них хозяином, Татищев заметил, что без полной и верной истории нельзя успеть в составлении полной и верной географии, и вот он начинает заниматься русскою историею, собирает летописи, делает выписки из немецких и польских исторических книг; потому что сам знает эти два языка; из книг же, написанных на языках, ему неизвестных, заставляет переводить все относящееся к России. Собравши материалы, он приступает к пользованию ими, хочет составить из них обширный исторический труд. «Причина начатия сего моего труда, – говорит он, – хотя от графа Брюса, но в продолжение так многому сказанию и произведений главнейшее было желание воздать должное благодарение вечной славы и памяти достойному государю, его импер. в-ству Петру Великому за его высокую ко мне показанную милость, яко же к славе и чести моего любезного отечества».

Предложив во введении понятие истории, под которою разумеет *деяние* в смысле всех явлений и приключений, а не одних только дел человеческих; предложив разделение истории на священную, церковную, политическую, ученую, Татищев переходит к пользе истории, показать которую он считает нужным потому, что ему «не без прискорбности случалось слушать рассуждения о бесполезности истории». По мнению Татищева, богослов, юрист, медик, администратор, дипломат, полководец не могут с успехом исполнять своих должностей без знания истории. Для русских знание своей истории нужнее, чем знание истории других народов, но и для русских нужно изучение иностранной истории, а для иностранцев – русской; одни отечественные источники недостаточны для составления вполне беспристрастной истории, потому что отечественные писатели в своих суждениях могли руководствоваться любовью или страхом. Западноевропейские историки без знания русской истории никак не могут уяснить себе истории древних народов, обитавших в областях нынешней России, притом иностранцы только чрез изучение русской истории могут получить средство опровергнуть ложь, сочиненную нашими врагами. Но Татищев, заставляя и своих и чужих учиться русской истории, должен был и от тех и от других встретить сильное возражение: да какой интерес и какая польза от

изучения истории народа, который стал известен, получил значение только со вчерашнего дня, и что может рассказать о своей истории народ, который до вчерашнего дня пребывал в невежестве, во тьме; какие исторические памятники можно найти у такого народа? Разумеется, Татищев по средствам века не мог научным образом опровергнуть этого возражения, показать невозможность знания новой истории без знания древней, невозможность писать историю России с царя Михаила Феодоровича или выбрать из древнерусской истории какое-нибудь царствование поважнее, например Иоанна Грозного, как хотели делать тогда в Академии; Татищев, как собиратель древних памятников, оскорблялся мнением, что таких памятников не может быть много, не может быть достойных внимания исторических памятников у народа, погрязавшего во тьме невежества, и написал: «Хотя нас европейские историки тем порицают, якобы мы историй древних не имели и о древности своей не знали, для того что они о том, какие мы истории имеем, неизвестны, а хотя некоторые, сочиня выписки краткие или какое-либо обстоятельство перевели (указание на труды Миллера), то другие, думая, что мы лучше оных не имеем, и для того оную презирают: *сему некоторые наши неведущие согласуют*, а некоторые не хотя в древности трудиться и не разумея подлинного сказания, якобы для лучшего изъяснения, но паче для потемнения истины, басни сложа, внесли и сущую правость сказания древних закрыли». Второе печальное явление, на которое указывает Татищев, было необходимым следствием первого: плохое знание русской истории по источникам не только в XVII или XVIII, но и в XIX веке плодило людей, ученых-самозванцев, которые не хотели в древности потрудиться и, однако, на все имели готовое объяснение. Татищев своими словами, вероятно, обозначил Крекшина, известного выдавателя басен под именем истории.

Указав на то, что нужно для историка (обширная начитанность, логика и риторика), изложив правила исторической критики, Татищев перечисляет источники русской истории, которые разделяет на: 1) общие (Несторов Временник, Степенная книга, Хронограф, Синописис); 2) предельные, т.е. местные летописи; 3) акты; 4) участные, т.е. биографии, описания отдельных событий, жития святых. Краткие отзывы о разных перечисленных источниках вообще правильны; между материалов Татищев упоминает и о таких сочинениях, которые были известны ему только по имени и которых, несмотря на все старания, он нигде отыскать не мог. Но если сам Татищев откровенно говорит, какие книги у него были и какие он знает только по имени, подробно рассказывая, какие из них находились у кого из известных людей, то, видя такую добросовестность, имеем ли право обвинять его в искажениях, подлогах и т.п.? Если б он был писатель недобросовестный, то он написал бы, что все имел в руках, все читал, все знает. Мы имеем полное право в его своде летописей принимать одно, отвергать другое, но не имеем никакого права в неправильности некоторых известий обвинять самого Татищева.

Сперва Татищев начал было сочинять «историческим порядком, сводя из разных мест к одному делу, и наречием таким, как ныне наиболее в книгах употребляем». Но ясный смысл, к счастью, заставил Татищева переменить намерение: он нашел в списках летописи разногласия, причем, сочиня историю, разумеется, должен был выбирать; кроме того, списки находились в разных руках, отчего могли затеряться, ссылаться на них нельзя, «и если б, по словам Татищева,

наречие и порядок их переменить, то опасно, чтоб и вероятности не погубить». Это заставило Татищева свести все списки «тем порядком и наречием, каковые в древних находятся, собирая из всех полнейшее и обстоятельнейшее в порядок лет, как они написали, не переменяя, не убавливая из них ничего, кроме ненадлежащего к светской летописи, яко жития святых, чудеса, явления и проч., которые в книгах церковных обильнее находятся, но и те по порядку некоторые на конце приложил, також ничего не прибавливал, разве необходимо нужное для выразумения слово положить, и то отличал вместительною». Потом, думая, что такой свод будет невразумителен для большинства читателей и особенно неудобен для перевода на иностранные языки, Татищев перевел его на употребительный в его время язык.

После исчисления материалов Татищев предлагает разделение своего труда на четыре части: первая включает известия о летописях и описание трех главных народов – скифов, сарматов и славян – до 860 года; вторая заключает свод летописных известий от 860 года до нашествия татар; третья – от татар до Иоанна III; четвертая – от Иоанна III до царя Михаила Федоровича. Татищев хотел остановиться на избрании царя Михаила, во-первых, потому, что события начиная с этого времени еще в свежей памяти и писать историю новой династии никому не будет трудно; во-вторых, потому, что «в настоящей истории явятся многих знатных родов великие пороки, которые, если писать, то их самих или их наследников подвигнут на злобу, а обойти оные – погубить истину и ясность истории или вину ту на судивших обратить, еже было с совестью несогласно». При этом Татищев говорит, что книг, могших быть ему полезными, собрал он более 1000; жалуется на недостаток искусных переводчиков, на неправильность польских сочинений, искажавших древние имена переводом их на новые; говорит, что принесли ему пользу лексиконы: Буддеев – всеобщий исторический, Генсиусов или Мартиньеров – географический, Байлев – истории критический, но жалуется, что относительно русской истории в них нет ни одного верного известия, ибо иностранцы не знают русской истории и географии. «И они в том невинны, – прибавляет Татищев, – когда того и у нас нет».

Введение свое Татищев заключает указанием причины всех приключений и деяний: эта причина, по его мнению, есть ум или отсутствие его, глупость. Такой односторонний взгляд соответствовал тому началу, которое было тогда на очереди в преобразованной России. Преобразование произошло вследствие того, что русские сознали необходимость просвещения, науки для продолжения своей исторической жизни. Отсюда развитие ума на первом плане, тогда как в древней России при недостатке просвещения, умственного развития господствовало чувство – другая «причина всех приключений и деяний». Как всякая сила человеческая, не умеряясь другою, стремится к крайности, производит неправильности и заблуждения, так и чувство, не умеряемое развитием умственным, просвещением вело в древней России к известным печальным явлениям, веру превращало в суеверие. Произошел переворот, на очереди явилось другое начало, и мы также замечаем односторонность и следствия ее, неправильности и заблуждения. Ревностные служители нового начала, дети преобразования, научившись и начитавшись, в своей вражде к искажению господствовавшего в древней России начала, к тому, что они называли суеверием, не поняли, что с одним умом, без чувства в истории ничего не делается, что

чувство есть начало зиждительное, тогда как ум, не умеряемый чувством, может только сомневаться, отрицать и разрушать, но никогда ничего не создаст и не спасет. Умники не поняли и не понимают, что в Западной Европе так называемые средние века, века варварства и невежества, были веками зиждительными для государства и общества, потому что тогда господствовало чувство, а когда наступило господство другого направления – умственное развитие, сомнение, то зиждительства не видим: видим более или менее правильное развитие созданного, да и то только при помощи чувства, одушевления, веры.

Но от увлечений Татищева, понятных при таком ревностном служении новому началу, при сильной борьбе с искажением начала, господствовавшего в древней России, возвратимся к заслугам его. Татищев положил начало исследованиям о Несторе, первый утвердил за ним древнейшую южную летопись, первый указал место, где Нестор должен был остановиться, первый указал на позднейшие вставки, и хотя указанные им места более принадлежат начальному летописцу, чем другие, но здесь важны приемы, взгляд на дело, а не отдельные замечания, которые могут быть неверны или спорны. Татищев с презрением отвергает старания выводить руссов от библейского Роса и т.п. Руссы, по мнению Татищева, финны, но они же могут быть причислены и к варягам вместе с скандинавами, потому что это название промысла (разбойничества), а не народное. Татищев высказал мысль о древности славян в Европе и в тех местах, где они теперь обитают. Рассуждение, где автор отвергает обычное тогда производство Москвы от Мосоха и тому подобные, может служить по тому времени образцом здравого смысла, ясного взгляда на предмет. Татищев отверг существование грамоты, данной славянам Александром Македонским, но отстранено сомнение насчет подлинности договора Олегова с греками. В примечаниях к своду летописей не оставлено без объяснения почти ни одного выпуклого явления древней русской жизни.

Таков труд Татищева, известный под названием Истории Российской. Заслуга Татищева состоит в том, что он начал дело, как следовало начать: собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими, указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований, собрал известия древних и новых писателей о древнейшем состоянии страны, получившей после название России, – одним словом, указал путь и средства своим соотечественникам заниматься русскою историею: кто посвятил себя научным исследованиям, тот знает, как важны первые указания на предмет, на его различные стороны, как бы мнения первого указателя ни были неправильны, тот оценит важные заслуги Татищева как первого указателя, не говоря уже о том, что мы обязаны Татищеву сохранением известий из таких списков летописи, которые, быть может, навсегда для нас потеряны.

Несмотря, однако, на такое важное значение труда Татищева, труд этот был отвергнут современниками. Послушаем самого автора о приеме, который получила его рукопись: «Как скоро я историю сию в порядок привел и примечаниями некоторые места изъяснил, прибыв в 1739 году в С.-Петербург, многим оную показывал, требуя к тому помощи и рассуждения, дабы мог что пополнить, а невнятное изъяснить, так скоро я принужден был от разных разные рассуждения слышать: иному то, другому другое ненравно было; что один хотел,

дабы пространнее и яснее написать, то самое другой советовал сократить или совсем оставить... Одни подвергали недостаток во мне наук, но тем я вышеобъявленное (что преславные философы в сочинении историй погрешают и не науки полезные сочиняют) к моему извинению представил, рассуждая, когда они более науками преисполнены, то б сами за сие весьма важное отечеству взялись и лучше сочинили; другие о порядке и складе порицали, которым кратко сим изъяснил: что я не новое и не для увеселения читающих красноречивое сложение сочиняю, но от старых писателей самым их порядком и наречием собирал, как они положили, а притом если что для изъяснения от иноязычных нужно было, то я так переводил, чтоб сущей разум оного писателя показать, дабы сущие деяния или приключения ясны и доказательны были, а о сладкоречии и критике не прилежал, а, как в философии не учен, для того я все дивные, чудесные и не довольно вероятные дела мало или весьма не толковал, опасаясь, дабы за недостаток оных наук в чем не погрешить. Вместо же того прилежал, чтоб необходимо к гражданской истории нужные обстоятельства, т.е. время – когда, место – где и род государей ли, народов, о которых скажется, изъяснил; ежели же где моего мнения или довода какая погрешность явится, то надеюсь, что благоразумный может легко презреть, рассуждая, что еще до днесь ни одна история, каким бы она мудрецом и в науках всех прославившимся сочинена не была, никогда совсем совершенно не явилась и от неученых иногда полезное улучила. Чему в пример Нестор преподобный: за его доброхотный к отечеству труд вечной похвалы и благодарения достоин, ибо если бы он начало не учинил, то бы, может, и другой не скоро к сочинению оного взялся. Для того как первых, так и других не поносят, и порицать непристойно, но паче прилежать о том, чтоб те погрешности исправить и в лучшее состояние для пользы общей привести. Другие рассуждают, яко бы древних времен историй вновь лучше и полнее прежних сочинить не можно, разве от себя что вымышлять, которого ради яко бы все новосочиненное о древности правым назвать не можно, но на сие отвечает сама сия собранная история, когда благосклонный читатель увидит дополнения, изъяснения и доказательства от таких древних писателей, о которых он прежде не думал, чтоб в таком от нас отдалении о нас или наших предках писали, да, может, не токмо книг тех не читал, но имен их не слышал, то он подлинно поверит, что еще прилежному рачителю и в других потребных к тому языках искусному более сего обрести, изъяснить и дополнить возможно, след., сей мой труд и, познав причину моего начала, в продерзость мне не поставит». Но все возражения остались тщетными: Татищев не видал издания своего труда.

В тесной связи с историческими трудами Татищева находится его Рассуждение, написанное в 1730 году и направленное против голицынского замысла ограничить власть императрицы Верховным советом. Вооружась против поступка членов Совета, Татищев говорит: «По закону естественному избрание (государя) должно быть согласиём всех подданных, некоторых персонально, других чрез поверенных, как такой, порядок во многих государствах учрежден, а не четырем или пяти человекам, *как то ныне непорядочно учинено* ». Отстраняя вопрос о незаконности избрания Анны, потому что народ доволен персоною ее величества, Татищев обвиняет верховников в том, что «они дерзнули собою единовластительство отставить и ввести аристократию, объявляя нам ее величества письмо и пункты, якобы она сама по своей воле учинила, и

принуждают нас под образом слышания оное подписками утвердить, якобы мы их той явной продерзости следовали. И как они самовольно власть себе похитили, выключая достоинство и преимущество всего шляхетства и других санов, то нам должно и необходимо нужно с прилежностью рассмотреть и потому представить, что к пользе государства надлежит, и оное свое право защищать по крайней возможности, не давая тому закоснеть, и паче опасаться (должно), чтоб они, видя нас в оплошности, на большой беспорядок не дерзнули». В своем рассмотрении Татищев говорит, что в отсутствие государя ничто не может быть изменено иначе, как общим народным соизволением. Притом в настоящем случае не было никакой нужды и пользы в изменении образа правления, а только великий вред. В России полезнее всяких других форм самодержавие по обширности государства, окруженного враждебными соседями, и по причине отсутствия просвещения в народе, который потому не может хранить законы без принуждения, из одного сознания пользы и вреда. Вся русская история служит тому доказательством: Россия процветала от Рюрика до Мстислава Великого благодаря единовластию, бедствовала во время «беспутства» княжеских междоусобий, поднялась с Иоанна III, опять пришла в печальное состояние в Смутное время, когда бояре при Шуйском ограничили власть государеву. Потом Россия опять поднимается благодаря усилению самодержавия при царе Алексее и получает великую славу, честь и пользу от самовластия Петра. На возражение о злоупотреблениях самодержавия Татищев отвечает примером шляхтича, безумно разоряющего свой дом, но вследствие этого явления никто не снимает воли со всего шляхетства в правлении и не возложит его на холопей. Так как желавшие ограничения особенно настаивали на вред от временщиков и на ужасы Тайной канцелярии, то Татищев должен был возражать, что бывают временщики дурные, бывают и хорошие; и Тайная канцелярия, порученная хорошему человеку, мало вредна. Но Татищев, подобно многим из шляхетства, не считал бесполезными некоторые изменения в существующих порядках; а хотел только, чтоб перемены совершались законным путем. По его мнению, для высшего управления должен был находиться при императрице Сенат из 21 члена; для дел внутренней экономии долженствовало быть другое учреждение из 100 человек, которые бы занимались делами по третям года; в случаях чрезвычайных, как, например, война или кончина государя, съезжаться всем и присутствовать в общем собрании целый месяц; на высшие места в гражданском управлении и войсках поступать посредством баллотировки; новые законы издавать не иначе как после подробного рассмотрения во всех коллегиях в Сенате; в Тайной канцелярии вместе с назначенным от государыни правителем должны присутствовать помесячно два сенатора; при аресте Тайная канцелярия не касается имени арестуемого; для шляхетства должны быть устроены во всех городах училища; моложе 18 лет не брать в службу и не держать более 20 лет; бедному деревенскому духовенству дать возможность содержать детей в училищах и самим не обрабатывать земли; остатки же от доходов духовенства употреблять на богоугодные и полезные государству дела; купечество избавить от притеснений и дать средства к умножению мануфактур и усилению торговли.

Говоря о заслугах Татищева для русской истории вообще, нельзя не упомянуть также о заслугах его для истории русского права, и здесь он является первым издателем памятников и первым истолкователем их: так, приготовлены им

к изданию Русская Правда и Судебник царя Иоанна с дополнительными статьями. В примечаниях к Судебнику видим первую попытку объяснить наши древние юридические термины, и здесь, как во введении и в примечаниях к своду летописей, рассеяны любопытные указания и потерянные для нас памятники и на современные или на ближайšie ко времени автора события. И здесь заслуга Татищева увеличивается при сравнении его понятий с понятиями современников о предпринятых им трудах; так, он говорит в предисловии к изданию Русской Правды и Судебника: «Небезызвестно и сие, что не ведущие пользы из того оные древности не токмо складом и наречием порицают, но их и печатать более за вред и поношение, нежели за пользу и честь, почитают, говоря: когда мы их в суде употреблять не можем, то они останутся втуне и что их странное сложение и обстоятельства поносны. Да оное никто мудрей не скажет, разве не ведущий древностей, не токмо иностранных, но и своих. По сей причине мню не в избыток изъяснить, что всякая древность к знанию полезна, для которого многие мудрые люди с великим тщанием прилежат древние истории собирать и для пользы всех издавать». Наконец, Татищеву же принадлежат и первые труды по русской географии.

Мы видели, что Татищев был одним из самых деятельных борцов за новое начало, которому стала служить преобразованная Россия, и в этом значении своем враждовал к началу, господствовавшему в древней России, не умея отделить самого начала от тех явлений, которые были произведены односторонним господством его и которые необходимо вызвали противодействие в эпоху преобразования. В подобные эпохи человек бывает не в состоянии назначить себе границы, далее которых идти не должен в своем противодействии старому началу, отчего и бывает, что, спеша обрезать вредные наросты, часто задевают за живое, здоровое тело. Вооружаясь против нароста, естественно образовавшегося в древней России вследствие исключительного господства чувства без умственного развития, вооружаясь против суеверия, поборники умственного развития часто не умели определить границ между суеверием и верою. Преобразовательная эпоха в России соответствовала в известном отношении реформационной эпохе на Западе, и только великий смысл и русская природа преобразователя удержали его от крайностей на скользкой и покатой дороге реформационного движения. Но другие не сдерживались, тем более что, с одной стороны, увлекались новыми учителями, новыми книгами, а с другой – раздражались противодействием старых учителей, которые требовали сохранения своих старых прав, не имея, к несчастью, больших нравственных средств для поддержания своих требований. Сделает ревностный слуга нового начала выходку против этих требований, не поддержанных нравственными средствами, и старые учителя или люди, служащие старому началу во всех его проявлениях, расточают ему названия вольнодумца, безбожника, частью потому, что не могут определить настоящего смысла этих слов, частью потому, что противники их, в минуту увлечения, переходят должные границы и действительно становятся виновны, сами не желая и не замечая этого. К таким людям принадлежал и Татищев, которого, как говорят, Петр Великий по-своему, бесцеремонно, проучил за вольнодумство. Какого рода были речи, возбуждившие гнев Петра, мы не знаем, но что в борьбе с суеверием он перешел границы – это видно из его сочинений; видно также увлечение его в борьбе с старыми учителями, которые являлись в его глазах охранителями суеверия; за это

увлечение он был наказан потемнением смысла при объяснении исторических явлений. Так, например, он говорит: «В России науки не токмо читать и писать, но языков, греческого от самого приятия веры Христовой, а потом и латинский язык введены, и многие училища устроены были, но нашествием татар как власть государей умалилася, а духовных возросла, тогда им для приобретения больших доходов и власти полезнее явилось народ в темноте неведения и суеверия содержать; для того все учение в училищах и в церквах пресекали и оставили». Здесь что ни слово, то ошибка. На 54-м году жизни печальные обстоятельства возбудили в Татищеве религиозное чувство, под влиянием которого он написал завещание сыну – Домострой преобразовательной эпохи. Советуя сыну поучаться в законе божием день и ночь, Татищев указывает необходимые для этого поучения книги: кроме Библии сочинения учителей церковных, изданные в его время в России истолкования десяти заповедей и блаженств предлагает вместо Катихизиса; Юности честное зеркало считает лучшим нравоучением. «Прологи и жития святых в Минеях Четврых надобно читать такому, кто довольно в письме святом искусился и мог бы довольно рассудить, ибо хотя в них многие истории в истине бытия, кажется, оскудевают и нерассудным соблазны к сомнительству о всех в них положенных подать могут, однако ж тем не огорчайся, но разумей, что все оное к благоуханному наставлению предписано, и тщися подражати делам их благим». Татищев не советует сыну вступать в религиозные споры, ибо от этого могут быть дурные следствия, как и с ним самим случилось. «Я хотя о боге и правости божественного закона никогда сомнения не имел, ниже о том, с кем в разговор или прение вступал, но потом что я некогда о убытках, законами человеческими в тягость положенных, говаривал, от несмысленных и безрассудных неведущих божьего закона, и токмо человеческие уставы противу заповедания Христова чтущих, не только за еретика, но и за безбожника почитан и немало невинного поношения и бед претерпел; токмо до днесь, благодатию божиею и великодушием презрев такие клеветы и злонамерения терпеливостью преодолев, их лицемерным поступкам и фарисейским учениям не последовал». В этой выходке против так называемых человеческих уставов указывается протестантская исходная точка, дающая такой простор отрицанию.

Любопытно взглянуть, как Домострой XVIII века отнесся к женщине. «Имей в памяти, – говорит Татищев сыну, – что жена тебе не раба, но товарищ, помощница и во всем другом должна быть нелицемерным; так и тебе с ней должно быть, в воспитании детей обще с нею прилежать, в твердом состоянии дом в правление ее поручать, а затем и самому неленостно смотреть. Однако ж храниться надлежит, чтоб тебе у жены не быть под властью: сие для мужа очень стыдно, и чрез то можешь у всех о себе худое мнение подать и слабость своего ума изъяснить. Сих примеров ныне весьма уже довольно видим, а особливо высокопарные, а лучше сказать, глупые жены безрассудно того желают, иногда своею безумною гордостью, подлыми пересмешками, пустым болтанием, дурацкою ревностью безвинно честных людей много вредят и поносят, а сами всегда такие пустольги и негодницы больше всех в том обращаются и, думая закрыть тем враньем свои пороки, непрестанно бредят, как попугаи, что им на мысль придет, а больше они подобны сонным или в горячке больным, которые говорят, а о чем, после и сами не знают, а за то иногда такую беду или несчастье мужу своему наносят, что он, невинно получа себе от жениной глупости новых и

неизвестных злодеев, принужден будет страдать и несчастье терпеть». В этих словах слышится раздражение, как будто сам автор страдал от подобной женщины... Действительно, Татищев не знал семейного счастья и должен был развестись с своею женою. Впрочем, мы не имеем права заподозрить в преувеличении этого портрета некоторых русских женщин первой половины XVIII века, ибо терем не мог воспитать русской женщины для свободы, и мы видели примеры тому в первых женщинах, вырвавшихся из терема; мы должны только заметить, что подле портрета женщины, нарисованного Татищевым, мы встречаем портрет княгини Натальи Борисовны Долгоруковой; также встречаем любопытный портрет той молодой жены, которая так заботилась, хотя и понапрасну, об учении своего мужа. Вообще мы должны заметить, что семейная реформа Петра, освобождение женщины из терема, совершилась скоро и беспрепятственно – доказательство, что теремное заключение женщины коренилось не в *умоначертании* наших предков, не в каких-нибудь религиозных воззрениях, занесенных из Византии, а в известных неблагоприятных обстоятельствах: грубость нравов делала невозможным пребывание женщины в мужском обществе, ибо в человеке не умирает сознание, что женщина есть блюстительница семейной нравственности, семейного наряда и потому должна находиться в среде более чистой; с другой стороны, давно ли у нас явилась возможность для девушки выходить без провожатого из дому, да и явилась ли еще полная возможность? Итак, девушка, если у нее нет провожатого, должна оставаться дома; усильте неблагоприятные условия, по которым девушка, молодая женщина и вообще женщина, вообще существо слабое не может безопасно выйти из дому, и вы придете к необходимости для женщины сидеть по большей части дома; прибавьте сюда, что некуда и незачем ей выходить из дому, ибо общество не может предоставить ей приличных развлечений, и вы, естественно, дойдете до терема и не станете прибегать за объяснением явления к каким-нибудь небывалым византийским влияниям. Ни один современный писатель не говорит, что семейные реформы Петра встретили сопротивление со стороны каких-нибудь византийских влияний; где же основание предполагать эти влияния?

Любопытны рассуждения нового Домостроя о разных родах службы для дворянства и о других сословиях. Придворная служба, как она была в описываемое царствование, не нравилась Татищеву, особенно потому, что это был человек, пропитанный понятиями петровского царствования, отличавшегося простотою и бережливостью. «Петр Великий, – говорит он, – который великолепие единственно делами своими показывал, сей чин придворных ни во что вменял и в ранг их не токмо на конце, но весьма низкий положил; у него оные весьма в презрении были, и лучше сказать, что никого не было. Ныне же оные рангами, жалованьем и другими преимуществы против европейских государств пожалованы; то я, взирая на их строптивное житье и обхождение, тогда б тебе оного искать не советовал: понеже тут лицемерство, коварство, лесть, зависть и ненависть, едва ли не все вместо добродетели происходит, а некоторые ушничеством ищут свое благополучие приобрести, несмотря на то что губят невинных, сами вскоре судом божеским погибнут». Относительно дворянской службы вообще Татищев объявляет сыну, что жалованьем если прожить можно, но скопить деньги и на них приобрести более 100 душ нельзя, как бы велико жалованье ни было, и то надобно жить очень скупно, причем можно показать себя

«презрительным в людях благородного обхождения». Следовательно, средствами для дворянина приобрести богатства остаются: монаршие награды, наследство, супружество и незаконные поступки. Для купечества больше средств разбогатеть, но мешает безграмотность, незнание правил коммерции, неимение общего банка и контор за границей, разорение потребителя откупам и подрядами под видом государственной пользы, плохой кредит вследствие привычки купцов к обманам.

Приобрел ли дворянин во время службы что-нибудь или нет, все же хотя под старость он должен был освободиться от службы, чтоб по крайней мере сохранить детям приобретенное или полученное от отца имение. Отсюда понятна для дворянства важность вопроса о сроке службы. Мы видели, что Татищев также хлопотал об определении этого срока. В своем завещании он начертывает картину деятельности помещика, приехавшего в деревню после отставки от службы. Если Татищев враждебно относился к духовенству, приписывая ему иногда и то, в чем оно вовсе не было виновато, то вражда его была направлена на высшее, черное духовенство, которое имело голос в управлении, в обществе и которое, несмотря на петровские ограничения, обладало большими еще материальными средствами. Но здравый смысл и опытность должны были заставить Татищева смотреть иначе на низшее, белое духовенство, удрученное бедностью, а в селах и тяжелыми полевыми работами, не дававшими возможности священнику выделиться из паствы своими учительскими Способностями, что было причиною страшного нравственного вреда для массы народонаселения. Делая выходку против некоторых архиереев, которые имели до 30000 дохода и не были довольны, тогда как фельдмаршал не имел столько дохода и был доволен, Татищев и в мнении своем 1730 года, как мы видели, и в завещании требует облегчения низшего духовенства: «Старайся иметь попа ученого, который бы своим еженедельным поучением и предикою к совершенной добродетели крестьян твоих довести мог, а особливо где ты жить будешь; имей с ним частое свидание; награди его безбедным пропитанием, деньгами, а не пашнею, для того чтоб от него навозом не пахло; голодный, хотя б и патриарх был, кусок хлеба возьмет, за деньги он лучше будет прилежать к церкви, нежели к своей земле, пашне и сенокосу, что и сану их совсем неприлично, и чрез то надлежащее почтение теряют. А крестьяне, живучи в распутной жизни, не имея доброго пастыря, в непослушание приходят, а потом господ своих возненавидят, подводя воров и разбойников, смертельно мучат и тиранят, а иных и до смерти убивают. Когда ж где есть ученый поп и доброго поведения человек, к тому ж не имеющий крайней в деньгах нужды, то, конечно, приведет крестьян в благоденственное и мирное житие, и злодеяний таких в тех местах мало бывает». Невежество и бедность сельского духовенства были главными причинами того, что крестьяне были лишены толкования закона божия: «Невежды, ленивые и неученые попы, получая от крестьян алтыны, мирволят и совсем на них того не взыскивают, к тому ж почасту, обращаясь с крестьянами братством, одно только им рассказывают и вымышляют праздники, велят варить беспрестанно пиво, сидеть вино, едят и пьют безобразно, а о порядочной и прямой христианской должности никакого и помышления не имеют».

Необходимое дополнение к завещанию представляют «Экономические записки» Татищева, имеющие предметом сельское хозяйство. Здесь особенно важны для нас те статьи, в которых говорится об отношениях помещика к

крестьянам. По мнению Татищева, «наивящий пункт – учить крестьянина грамоте и писать, чрез что познает закон и страх божий и тем может назваться истинным человеком и различить себя от скота... Смотреть надлежит, дабы летом во время работы нималой лености и дальнего покою крестьянам происходить не могло. Кроме одних тех праздников, которые точно положены, не торжествовать, понеже ленивые крестьяне ни о чем больше не пекутся, как только узнать больше праздников. Работу производить, начав с вечера, ночью и поутру, а в самое жаркое время отнюдь не работать, ибо как людям, так и лошадям оное весьма вредно. Работу же производить, сделав сперва помещичью, а потом принуждать крестьян свою, а не давать им то на волю, как то есть в худых экономиях, где не смотрят за крестьянскою работою, понеже от лености в великую нищету приходят, а после произносят на судьбу жалобу. Когда же убран будет с поля весь хлеб, то староста и прикащик не имеет их больше к работе принуждать и должен им дать покой несколько времени, а за труды их, выбрав свободный день и собрав всех, напоить и накормить из боярского кошту. Крестьян старых и хворых мужеска и женска пола по миру не пущать, а определять их в домовую богадельню, которых поить и кормить боярским коштом». В имении должен быть лекарь, домашняя аптека, баня.

В основном взгляде на отношения своего времени с Татищевым вполне сходится и князь Антиох Кантемир в своих сатирах. Всецело преданный, как и Татищев, интересам нового времени, как они были указаны преобразователем, человек образованный, жадный к знанию, суливший себе блестящую будущность при Петре благодаря именно своей образованности, молодой Кантемир должен был начать свое служебное поприще с обманутыми надеждами: Петр был уже во гробе, его дело останавливалось, даже обнаруживалась реакция; преемниками Петра были – сначала женщина, обманувшая во многом надежды своих приверженцев, потом испорченный дурным воспитанием ребенок, частные интересы сильных людей были на первом плане. Среди борьбы честолюбий молодой Кантемир явился одинок и был затерт с своими личными достоинствами и с своею наукою, которые при Петре так легко прокладывали путь человеку к высшей деятельности. У Кантемира было несколько братьев; по уставу майората, отец имел право из нескольких сыновей выбрать одного, хотя бы и младшего, и оставить ему все недвижимое имение. Старый князь Дмитрий Кантемир, умирая, предоставил назначение майората императору, причем, однако, указывал на младшего сына, Антиоха, как на «лучшего в уме и науках». Конечно, при жизни Петра Великого Антиох на этом основании и получил бы майорат, но Петра не было, и Верховный тайный совет распорядился иначе – отдал майорат брату его Константину, разумеется не без помощи князя Дм. Мих. Голицына, на дочери которого был женат Константин Кантемир. Отсюда сильное раздражение Антиоха против существующего порядка вещей, мрачный взгляд, усиливаемый болезненным состоянием, хотя в свою очередь удары судьбы усиливали болезненное состояние и были не без влияния на преждевременную смерть; отсюда молодой человек, начавший пробовать свой талант в нежных любовных стихах, признал в себе исключительную способность к сатире:

В сатирах хочу состарети,/ А не писать мне нельзя – не могу стерпети.../
Хоть муза моя всем сплошь имать досаждати,/ Богат, нищ, весел, скорбен – буду

стихи ткати;/ И понеже ни хвалить, ни молчать не знаю,/ Одно благонравие везде почитаю,/ Проче в сатиру писать в веки не престану.

Будучи так сильно недоволен настоящим положением дел, т.е. положением их в царствование Петра II, Кантемир естественно и необходимо примыкал к тому немногочисленному кружку, который своею главою считал Феофана Прокоповича, ученейшего из русских людей, за свою ученость подпавшего гонению от исчадий старого мрака. Личные достоинства и знания, пролагавшие при Петре путь к чести, теперь «не в авантаже обретались», и вот по смерти Петра II это печальное положение дел хотят увековечить: две знатнейшие фамилии хотят сосредоточить всю власть в своих руках, свобода для очень немногих, вместо самодержавия олигархия! Легко понять, почему Прокопович, Татищев и Кантемир принимают такое деятельное участие в движении, направленном против ограничения самодержавия Верховным тайным советом, т.е. Голицыными и Долгорукими, ибо остальные члены Совета сами трепетали за свое будущее, никак не надеясь удержать своих мест подле Голицыных и Долгоруких. Дело шло не о том, собственно, чтоб возвратить Россию к допетровскому времени, как мы обыкновенно понимаем это время в противоположность эпохе преобразования; не во власти Долгоруких и Голицыных было заставить Россию отказаться от европейских условий жизни, если бы даже они этого и хотели: дело шло о противодействии стремлениям Петра Великого в известных частностях, выгодных или невыгодных тем или другим лицам, тому или другому сословию, тому или другому кружку. Отсюда и могущественные побуждения к борьбе. Способности и знания обретались в авантаже при Петре; после него обрелись не в авантаже; напротив, люди, обретавшиеся при Петре не в авантаже, подняли головы и чуть-чуть не погубили Феофана; теперь предстоит переворот, затеянный в Верховном тайном совете, но этот переворот мог ли быть выгоден Феофану с товарищи, мог ли возвратить им авантаж? Надежды на это не было никакой: захватывали власть в свои руки люди, считавшие главным правом своим на власть происхождение, люди, которые враждебно относились к деятельности преобразователя именно за то только, что он вывел и дал преимущественное значение худородным людям за таланты и знания. Для одних время Петра было райским, золотым веком, потому что они тогда обретались в авантаже; для других это время вовсе не было желанным, потому что они тогда обретались не в авантаже или по крайней мере не в таком, на какой считали себя вправе. Последние брали решительный верх; первые должны были употребить все усилия, чтоб не дать им господства.

Усилия увенчались успехом: голицынский замысел рушился, но вначале, как мы видели, правительство считало нужным соблюдать большую осторожность относительно врагов и друзей; мы видели, что издан был манифест, направленный против архиереев-нововводителей, пренебрегавших крестными ходами, а главою архиереев-нововводителей считался Феофан; в манифесте заключалась даже выходка против преобразователя, объявлялось, что относительно веры все будет по старине, как было при деде и отце Анны. Должно быть, к этому времени относятся жалобные стихи Феофана:

Коли дождусь я весела ведра/ И дней красных?/ Коли явится милость прещедра/Небес ясных?/ Ни с каких стран света не видно, – / Все ненастье;/ Нет и надежды. О многобедно/ Мое счастье!/ Хотя же малую явит отраду/ И поманит/ И

будто польготит стаду,/ Да обманет./ Прошел день пятый, и под дождевных/ Нет отмены,/ Нет же и конца воплей плачевных/ И кручины.

Кантемир счел своею обязанностью написать Феофану утешительные стихи (*epodos consolatoria*), в которых говорит, что по ясным приметам наступает весна, явилась благодатная Диана (Анна): она скоро затравит диких зверей, разделит добычу (кожи этих зверей) и охранит стадо Феофана, который представляется седым пастухом, воспевающим Диану. В заключение Кантемир указывает на собственный пример: его также постигло несчастье, но он не унывает.

У меня было мало козляток,/ Ты известен,/ Но и сих Егор и его други/
Отогнали./ Уж трижды солнце вокруг обежало/ Путь свой белый,/ А я не имею
льготы нимало,/ Весь унылый,/ Лишен и стадца, лишен хижины,/ Лишен нивы,
Меж пастушками брожу единый/ Несчастливый.

Кантемир надеялся не понапрасну. Молодой человек был отправлен министром в Лондон на основании способностей и знаний. как делывалось при Петре; бедный пастушок получил также и стадце и ниву (деревни в Нижегородском и Брянском уездах) и воспел за это благодатной Диане громкую оду. Но если обычаем времени, господствующими в нем отношениями объясняется вообще привычка поэтов XVIII века сочинять высокопарные оды в честь сильных земли, то тем более понятны похвальные стихи Анне Феофана и Кантемира, ибо они были диктованы благодарностью. Сказавши, что Аполлон запретил ему писать похвалы императрице по неимению достаточного для того таланта, Кантемир заканчивает свою оду так:

Молчу убо, но молча сильно почитаю/ Тую, от нея же честь и жизнь признаваю.

Но для похвальной оды Кантемир не признал в себе способностей; ему больше всего нравилась сатира: что же он осмеивал в ней?

По отношению нашего автора ко времени Петра Великого и последующему за ним уже можно догадаться, кому больше всего достанется в его сатире; поклонник нового начала, умственного развития посредством науки, он прежде всего схватится с старыми учителями, старыми руководителями общества, будет обвинять их в своекорыстном поклонении господствовавшему прежде началу, в его искажении, раздражаясь тем, что старые руководители упрекали его злоупотреблениями, крайностями того начала, которому он служил; он упрекал их в суеверии – они упрекали его в неверии. Борьба велась давно; началась она с тех пор, как в Москву явились новые учителя из Киева и Белоруссии и уличили старых учителей в невежестве, с тех пор как молодые люди стали ездить в Киев для науки и пренебрегать старыми духовниками; наплыв новых учителей усиливался все более и более, молодые люди стали ездить подальше Киева за наукою и возвращались еще более холодными к своим духовным отцам. Но и не одни ездившие за границу для науки обнаруживали эту холодность; пример Тверитинова с товарищами показывал, какие могут быть следствия того, что русские люди пошли в науку к иностранным, иноверным учителям. И старые учителя, которых величают невеждами, оплачивают своим порицателям, указывая в науке источник ереси, неверия. Это производило сильное впечатление; чтоб ослабить его, приверженцам нового нужно было выставить обличителя в смешном виде, показать, что он смешивает существенное с несущественным; что он полагает религию только в одной внешности, в одном обряде, и делает это не

по одному невежеству, но из самых недостойных побуждений, из честолюбия и корыстолюбия:

Расколы и ереси науки суть дети,/ Больше врет, кому далось больше разумети,/ Приходит в безбожие, кто над книгой тает, – / Критон с четками в руках ворчит и вздыхает,/ И просит свята душа с горькими слезами/ Смотреть, сколь семя наук вредно между нами./ Дети наши, что пред тем тихи и покорны,/ Праотческим шли следом к божией проворны/ Службе, с страхом слушая, что сами не знали,/ Теперь к церкви соблазну библию честь стали./ Толкуют, всему хотят знать повод, причину,/ Мало веры подавая священному чину;/ Потеряли добрый нрав, забыли пить квасу,/ Не прибьешь их палкою к соленому мясу./ Уже свечек не кладут, постных дней не знают,/ Мирскую в церковных власть руках лишну чают./ Шепча, что тем, что мирской жизни уж отстали,/ Поместья и вотчины весьма не пристали.

Мы видели, что сухой прозаик Татищев, вооружаясь против излишних доходов высшего черного духовенства, требовал усиления материальных средств низшего, белого духовенства, указывал, что крайняя бедность делает его неспособным исполнять обязанности своего звания. Сатирик Кантемир не дает себе этого труда указывать причину явления; он хватает смешные и не нравственные черты, чтоб только поглумиться над попом и глумлением своим еще ниже погрузить несчастного в ту тину, из которой Татищеву хотелось бы его вытянуть для общей пользы. Говоря о зависти, Кантемир непременно выставит зависть попов соборных; описывая, как он весело и скоро пишет сатиры, сделает такое сравнение:

Проворен, весел спешу, как вождь на победу/ Или как поп с похорон к жирному обеду.

Кантемир не пропустит укорить попа и за то, что он «молитвы ворчит, спеша сумасбродно, сам не зная, что поет». Посмеется и над аппетитом поповской семьи:

Пространный стол, что семьи поповской съестъ трудно,/ В тридцать блюд, еще ему мнилось явство скудно.

Татищев указывает причину, почему священник не учит своих прихожан, а бражничает с ними; Кантемир глумится над явлением и хотя выставляет бедность священника, но не с тем, чтоб возбудить сочувствие к бедствующему:

Вон на пастырей взглянем,/ Так тут-то уж разве дивиться устанем,/ Хочет ли кто божьих слов в церкви поучиться/ От пастыря, то я в том готов поручиться,/ Что, ходя в церковь, не раз потом оболъется./ А чуть ли о том от них и слова добьется./ Естли ж он подошел к попу на кружало,/ То уж там одних ушей будет ему мало./ Не переслушаешь речь его медоточну:/ Опишет он там кругом церковь всю восточну./ Да как? Не учением ведь здравым и умным,/ Но суеверным и мозгом своим, с вина шумным:/ Плетет тут без рассмолу и без стыда враки;/ В-первых, как он искусен все свершать браки,/ Сколько раз коло стола обводити, знает/ И какой стих за всяким ходом припевает./ То, все это рассказав, станет поучати,/ Как с честью его руку должно целовати./ Не знаю, говорит, как те люди спасутся,/ Что давать нам на церковь и с деньгами жмутся./ Ведь не с добра моя в заплатах-де ряса;/ Вон дома назавтра дет на что купить мяса,/ Все-де черт склонил людей и с немцами знаться.

Говоря о трудном деле, Кантемир не преминет сказать: «Трудней то, нежели попу не славить святую неделю». Смешно, и довольно, а почему – сатирик не обязан этого объяснять.

Не щадя духовенства, Кантемир, разумеется, предполагал, что и оно его щадить не будет; так, в сатире на человека он говорит:

Здесь пора бы уж кончить, но зрю пред собою/ Толпу людей брадатых,
черною главою/ Кивающих, и слышу с ярости вопити./ Временной, вечной казни
мя достойна быти – / За то, что тварь изящну, чудну, несказанну./ Наподобие
творца премудро созданну./ Так охулить дерзнуло перо неучтиво.

Мы видели, что Кантемир приписывал свою беду Георгию Дашкову и друзьям его. Мы не имеем права отвергать этого свидетельства; Дашков, архиерей неученый и стремившийся, однако, к первенству, к патриаршеству, враждовавший с Феофаном Прокоповичем, старавшийся показать, что Феофан не имеет права на первенство, потому что основание этого права, ученость, ведет к неправославному образу мыслей, как это и видно в Феофане, – такой архиерей не мог сочувствовать молодому человеку, жаркому поклоннику науки и ученейшего архиерея Феофана; враждебно столкнуться им было где, и устная сатира Кантемира относительно Дашкова, вероятно, предупредила писаную. В начале второй сатиры прямо выводится ростовский архиепископ, опечаленный тем, что не мог достигнуть патриаршества:

Что так смутен, дружок мой? Щеки внутрь опали,/ Бледен, и глаза красны,
как бы ночь не спали!/ Задумчив, как тот, что чин патриарш достати/ Ища, конный
свой завод раздарил некстати.

И в первой сатире, конечно, имелся в виду тот же Дашков:

Епископом хочешь быть? Уберися в рясу,/ Сверх той тело с гордостью риза
полосата/ Пусть прикроет, повесь цепь на шею от злата,/ Клобуком покрой главу,
брюхо бороною,/ Клюку пышно повели везти пред тобою./ В карете раздувшись,
когда сердце с гневом/ Трещит, всех благословлять нудь праву и леву;/ Должен
архипастырем всяк тя в сих познати/ Знаках, благоговейно отцем называти./ Что в
науке? Что с нее пользы церкви будет?/ Иной, пища проповедь, выпись позабудет./
Отчего доходам вред, а в них церкви права/ Лучшие основаны и вся церкви слава.

Георгий Дашков не отличался монашеским образом жизни; отличалось им другое духовное лицо, также враждебное Феофану, а следовательно, и друзьям его, – троицкий архимандрит Варлаам, которого некоторые прочили в патриархи за благочестие. Благочестие! Но это лицемерие, по словам друзей Феофана, и вот сатирик рисует Варлаама:

Варлам смирен, молчалив, как в палату войдет,/ Всем низко поклонится, к
всякому подойдет,/ В угол свернувшись потом, глаза в землю втупит;/ Чуть
слыхать, что говорит, чуть, как ходит, ступит./ Бесперечь четки в руках, на всякое
слово/ Страшное имя Христа в устах тех готово./ Молебны петъ и свечи класть
склонен без меру,/ Умильно десятью в час выхваляет веру/ Тех, кои церковную
славу расширили/ И великолепен храм божий учинили;/ Души-де их подлинно
будут наслаждаться/ Вечных благ. Слово к чему, можешь догадаться;/ О доходах
говорить церковных склоняет,/ Кто дал, чем жиреет он, того похваляет,/ Другое
всяко не столь дело годно богу,/ Тем одним легку сыскать можем в рай дорогу./
Когда в гостях за столом – и мясо противно,/ И вина не хочет пить, да то и не
дивно:/ Дома съел целый каплун, и на жир и сало/ Бутылку венгерского с нуждой

запить стало./ Жалки ему в похотях погибшие люди,/ Но жадно пьют с под лба
глаз на круглы груди,/ И жене бы я своей заказал с ним знаться./ Бесперечь
советует гнева удаляться/ И досады забывать, но ищет в прах стерти/ Тайно
недруга, не даст покой и по смерти.

Но среди этих невежд, честолюбцев, корыстолюбцев и лицемеров поднимается один достойный пастырь, осыпаемый похвалами, – это Феофан Прокопович. Феофан стихами приветствовал первую сатиру девятнадцатилетнего Кантемира, озаглавленную «На хулящих учения». Феофан уговаривал молодого сатирика плюнуть на угрозы сильных глупцов и продолжать свое дело, нападать на «нелюбящих ученой дружины». Кантемир в третьей сатире называет Феофана «дивным первосвященником», которому сила высшей мудрости открыла все свои тайны, пастырем, недремно радующим о своем стаде, часто сеющим семя спасения и растящим его словом и примером, защитником церковной славы, исправителем испорченных нравов пастырских; воля всевышнего исходит из его уст ясною и проч.

Из светских современников Кантемира в сатирах его заметно выдается фаворит Петра II молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий. У автора могли быть с ним и личные столкновения, но и, кроме того, Кантемира могла раздражить противоположность судьбы Долгорукова и его самого: оба были очень молоды, оба были знатного происхождения, но один, богатый дарованиями и знаниями, был беден и занимал ничтожное положение: другой, не имея ни талантов, ни образования, был наверху почестей. Вот что говорит Кантемир о Долгоруком:

Сей новый Менандров друг Ксенон назывался,/ Коему и власть и чин
высокий достался/ В двадцать лет, юность всегда и в узде ретива./ Сего уже
разудав, богиня плешива,/ Ты сам суди, как с одной рыскал на другую/ Пропась,
потеряв совсем дорогу прямую./ Часто смотря на него, я лопался с смеху./ Хоть
меня шутом Менандр ему дал в утеху./ Не умерен в похоти, самолюбив, тщетной/
Славы раб, невежеством наипаче приметной,/ На ловли с младенчества воспитан с
псарями./ Как, ничему не учась, смелыми словами/ И дерзким лицом о всем хотел
рассуждати,/ (Как бы знанье с властьюю раздельно бывати/ Не могло), над всеми
свой совет почитати,/ И чтительных сединой молчать заставляя,/ Хотя искус
требует и труды и лета.

Кроме выходов против пороков духовенства, в сатирах Кантемира встречаем следующие темные стороны тогдашнего общества: судья бежит осторожно от просителя, у которого карман пуст; Целовальник, давши взятку судье, прикрывает свое казнокрадство; купец при продаже беспрестанно божится. В высш обществе автор нападает на щегольство, картежничество; упрекает за дурное обращение с крепостными:

Каменный душою,/ Бьешь холопа до крови, что махнул рукою/ Вместо
правой левою: зверям лишь прилична/ Жадность крови, плоть в слуге твоим
однолична

Целую сатиру Кантемир посвятил «бесстыдной нахальчивости». Это явление особенно свойственно обществам незрелым, каково было русское, и причиняет страшный вред. По отсутствию достаточного образования в лицах правительственных и в массе нет способности и привычки критически и спокойно относиться к явлениям и людям, подвергать их строгой оценке; вследствие умственной Неразвитости человек привык увлекаться первым впечатлением,

внешностью, уступать силе, натиску, считать громкую и быструю речь признаком сильного ума и обширных знаний. Отсюда люди действительно способные, знающие и трудолюбивые, но скромные, добросовестные и занятые, следовательно, не имеющие времени бегать ко всем и всюду и трубить о себе, остаются в тени, забытые, не имеют достойного для их способностей и знаний поприща, а выходят наверх люди способные выставяться, говорить громко, говорить сами о себе, мозолить глаза других своим присутствием всюду и таким образом приобретать памятование о себе, известность, Человек действительно спокойный и знающий работает где-нибудь в углу; кто его знает, кто его помнит? Да если и вспомнят и спросят о чем-нибудь, то чужак ответит: «Не знаю, надобно подумать, справиться», а это скучно; тогда как нахал всегда тут и все знает, ответ на все готов; придумает что-нибудь, всем расскажет по двадцати раз, напишет три строки – объездит всех сильных земли и прочтет. Нужды нет, что эти строки по напечатании сейчас забываются; нужды нет, что и слушающие скучают чтением неугомонного автора, но очень приятно, что человек пришел, прочел, значит, уважает, дорожит мнением, считает способным оценить произведение, помнит, и его за это помнят и напоминают об нем, когда нужно. Поднимется важный вопрос, начнется общее дело – наш молодец тут первый, суетится и кричит громче всех. Кантемир не мог не отозваться с горечью об этом явлении:

Другой, кому боги благосклонны,/ Дали медное лицо, дабы все законны/
Стыда чувства презирать, не рдась, не бледнея,/ У всяких стучит дверей, пред
всяким и шея/ И спина гнется его; в отказе зазору/ Не знает, скучая всем, дерзок
без разбору./ Заслуги свои, род, ум с уст он не спускает,/ Чужие щиплет дела, о
всем дерзко судит,/ Себя слушать и неметь всех в беседе нудит/ И дивиться
наконец себе заставляет./ Редко кто речи людей право вносить знает,/ И склонен,
испытав слов силу всех подробно,/ Судит потом, каков мозг, кой родит удобно,/
Легко те слова; больша часть в нас по числу мерит/ Слов разум и глупцами
молчаливых верит.

Разумеется, Кантемир в своих сатирах не мог не коснуться того унижительного порока, который был так силен в древней России и от которого не отставала новая ни в одном слое общества, – именно пьянства; не мог он не коснуться и того печального взгляда, что финансовые выгоды правительства связаны с поддержанием этого порока. Выставляя опасность, которую могут навлечь на автора его сатиры, Кантемир говорит:

Вон Кондрат с товарищи, сказывают, дышит/ Гневом и, стряпчих собрав,
челобитну пишет,/ Имея скоро меня уж на суд позвати,/ Что, хуля Клитесов нрав,
тщуся умаляти/ Пьяниц добрых и с ними кружальны доходы.

Отвратительная картина пьянства представлена в пятой сатире; сатир рассказывает:

Прибыл я в город ваш в день некой знаменитой;/ Пришед к воротам, нашел,
что спит как убитой/ Мужик с ружьем, как потом проведаль,/ Поставлен был вход
стеречь; еще не обедал/ Было народ, и солнце полкруга небесна/ Не пробегло, а
почти уж улица тесна/ Была от лежащих тел. При взгляде я первом/ Чаял, что мор
у вас был; да не пахнет стервом,/ И вижу, что прочие тех не отбегают./ Там люди, и
с них самых ины подымают/ Руки, или головы тяжки и румяны;/ И слабость ног
лишь не дает встать; словом все пьяны./ Пьяны те, кои лежат, прочи не потрезвее,/
Не обильнее умом, ногами сильнее./ Безрассудно часть бежит, и куды, не знает;/ В

сластолюбных танцах часть гнусну грязь топтает,/ И мимо идущих грязнит,
скользя упадая,/ Сами мерзки; другие, весь стыд забывая,/ Телу полну власть дают
пред стыдливым полом и проч.

Мы видели, в каких отношениях находились Феофан, Кантемир и Татищев и
им подобные ко времени Петра и к последовавшему за ним, в каких надеждах
воспитались они, утвердились при Петре и как обманулись в них по его смерти;
отсюда тоска о золотом веке минувшем, жалобы на настоящее, старание показать,
что лучшее будущее возможно только тогда, когда возвратятся назад, к началам и
стремлениям, господствовавшим при Петре. Положение *ученой дружины* после
Петра резко выражено в следующих стихах Кантемира:

К нам не дошло время то, в коем председа/ Над всем мудрость и венцы
одна разделяла./ Будучи способ одна к высшему восходу./ Златой век до нашего не
дотянулся роду;/ Гордость, леность, богатство мудрость одолело/ Науку
невежество местом уж посело./ Под митрой гордится то, в шитом платье ходит,/
Судит за красным сукном, смело полки водит./ Наука ободрана, в лоскутах
обшита/ Изо всех почти домов с ругательством сбита./ Знаться с нею не хотят,
бегут ее дружбы,/ Как, страдавши на море, корабельной службы.

Что эти стихи вылились прямо из сердца, переполненного тоскою по светлом
прошедшем, смененном мрачным настоящим, доказывает поэтическое
достоинство их. Превосходно выражение, взятое из знакомого тогда всем
местничества: «Науку невежество местом уж посело». Превосходно сравнение:
«Как, страдавши на море, корабельной службы». Действительно, многих во время
качки преобразовательной эпохи сильно тошнило от науки, требуемой
преобразователем; приятно им было теперь отдохнуть и, разумеется, враждебно
смотрели они на тех, которые приглашали их опять в море. По убеждениям
Кантемира, посредством «мудрых указов Петровых русские стали новым
народом». Петр есть отец новых русских людей, отец «ученой дружины» (в
смысле древнегреческого героя, родоначальника):

Большу часть всего того, что в нас, приписуем/ Природе, если хотим
исследовать зрело,/ Найдем воспитания одного быть дело,/ И знал то, высшим
умом монарх одаренный,/ Петр, отец наш, никаким трудом утомленный,/ Когда
труды его нам в пользу были нужны./ Училища основал, где промысл услужный/
В пути добродетелей умел бы наставить/ Младенцев, осмелился и престол
оставить/ И покой; сам странствовал, чтоб подать собою/ Пример в чужих брать
краях то, что под Москвою/ Сыскать нельзя: сличные человеку нравы/ И
искусство. Был тот труд корень нашей славы./ Мужи вышли годные к мирным и
военным/ Дела, внукам памятни нашим отдаленным.

После Петра все пошло дурно; даже и в старании исполнить его
предначертания относительно просвещения не умели вести дело как следует. Так,
наш ученый сатирик недоволен Академиею Наук:

Вон дивись, как учения заводят заводы:/ Строят безмерным коштом тут
палаты славны;/ Славят, что учения будут тамо главны;/ Тщатся хоть именем
умножить к ним чести/ (Коли не делом); пишут печатные вести/ Вот завтра учения
высоки зачнутся,/ Вот уж и учителя заморски сберутся:/ Пусть как можно всяк
скоро о себе радеет,/ Кто оных обучаться охоту имеет./ Иной бедный, кто сердцем
учиться желает/ Всеми силами к тому скоро поспешает,/ А, пришед,
комплиментов увидит немало,/ Высоких же наук там стены не бывало.

Кантемир имел одинаковую участь с Татищевым: и его сочинения не были изданы при его жизни; сатиры ходили по рукам в рукописях, и легко понять, что одним из главных распространителей их был «дивный первосвященник» Феофан Прокопович. Для него очень важно было распространять сочинения, в которых осмеивались его враги и в которых он выступал единственным достойным пастырем Христова стада; здесь дело шло не об одном удовлетворении самолюбия: сатиру Кантемира Феофан выставлял как щит от врагов, которые достойнейшего из пастырей, дивного первосвященника не переставали выставлять еретиком, волком, а не пастырем. В собраниях, на вечеринках люди, относившиеся к Феофану и врагам его одинаково с Кантемиром, читали сатиры последнего. Однажды были гости у неевского архимандрита Петра Смелича; в компании были синодальные члены; певчие пели концерт; потом Третьяковский вынул тетрадь и подал ее Феофану, который велел читать вслух: то была сатира Кантемира с выходкою против «Камня веры» Яворского. Отсталые люди, враги Феофана и науки, говорят:

Казанье (проповедь) писать – пользы нет нималой меры:/ Есть для исправления нравов Камень веры.

Мы видели вражду между Стефаном Яворским и Феофаном Прокоповичем, причем первый упрекал второго в еретичестве. Петр Великий старался тушить эту вражду, зная, что обвинение в ереси есть обыкновенное оружие, которое употребляют духовные лица в борьбе друг с другом, что сам Стефан был обвиняем в ереси константинопольским патриархом; не выдавши Яворского византийскому патриарху, Петр был последователен, не выдавши Прокоповича Яворскому. Последний умер, не издавши издания своей книги «Камень веры», написанной в укрепление православия среди опасностей, которые грозили ему от наплыва иноверных наставников с Запада: «Приходят к нам в овчих кожах, а внутри волки хищные, отворяющие под видом благочестия двери всем порокам. Ибо что проистекает из этого нечестивого учения? Убивай, кради, любодействуй, лжесвидетельствуй, делай что угодно, будь ровен самому сатане по злобе, но только веруй во Христа, и одна вера спасет тебя. Так учат эти хищные волки». Говорят, что подобные выходки против протестантов в «Камне веры» заставили Петра запретить ее издание, чтоб не возбудить религиозной вражды, вовсе не соответствовавшей целям преобразования. Но по смерти Петра взгляды переменились, Феофан подвергся опале по обвинениям в неправославии, поднялся вопрос о восстановлении патриаршества, и если бы жив был Стефан Яворский, то, по всем вероятностям, патриаршество и было бы восстановлено, хотя бы на столь же короткое время, как и гетманство малороссийское; мы уже говорили, что неимение достойного лица служило важным препятствием восстановлению патриаршества. Георгий Дашков был архиерей не ученый и не монашеской жизни; Феофилакт Лопатинский был архиерей ученый, но также не монашеской жизни, без силы и серьезности в характере, человек близкий к Яворскому, поклонник его и вместе приятель Прокоповича, хотя и был убежден в его неправославии. На Феофилакту вместо патриаршества возложили тяжелое поручение, послужившее для него источником бед, – поручили издать книгу Яворского «Камень веры», и мы видели, как дело шло чрез Верховный тайный совет и как долго Феофилакт приготавливал книгу к изданию. Наконец книга была издана в 1728 году, а в следующем году явился разбор ее в лейпцигских ученых

актах (*acta eruditorum*). Протестанты не могли равнодушно отнестись к этой книге: на восточную церковь они смотрели как на союзную себе, рассчитывая на одинакие враждебные отношения к католицизму; протестанты в польских областях обращались постоянно к русскому правительству с просьбою о помощи, выставляя единство своих интересов с интересами православного народонаселения в Польше. Преобразование, привлечение множества протестантов в русскую службу, церковные перемены могли возбудить самые сильные надежды по крайней мере на постепенное усиление протестантского направления в России, на постепенное исчезновение того, что в глазах протестантов было суеверием и человеческим вымыслом. И вдруг в России выходит книга, направленная против протестантизма, и, что всего хуже, автор ее мирволил католицизму, умолчал о различии между русской и римскою церковью и брал против протестантов оружие у католических полемистов. Значит, отношения извратились; русские духовные вступают в союз с западною церковью против протестантизма. Вслед за лейпцигскою рецензиею появилась против «Камня веры» целая книга, приписанная известному ученому Буддею; в 1731 году богослов Мосгейм издал диссертацию против одной главы из «Камня веры» – О наказании еретиков. Протестантское движение вызвало католическое: если протестанты вооружились против книги Яворского как полезной католицизму, то католики должны были вооружиться для поддержания союзницы, и доминиканец Рибейра, находившийся в России при испанском посланнике герцоге Лириа, написал сочинение против книги Буддея, в защиту книги Яворского.

Но если книга Яворского возбудила такой интерес между протестантами и католиками, то понятно, что полемика, завязавшаяся по ее поводу, должна была возбудить сильное внимание в России, где к общему интересу присоединялся еще интерес личный. Стефан Яворский был обруган в книге Буддея, а имя Стефана было теперь священным именем для известного кружка людей, противоположного той «ученой дружине», которая считала своим главою Феофана. Рецензент лейпцигских актов противопоставил Лопатинскому, решившемуся издать такую нелепую книгу архиерея новгородского, мужа ученого, благоразумного и умеренного, который не одобрил книги. Лопатинский рассердился, решил отвечать на книгу Буддея и высказывал подозрение, что эта книга вовсе не принадлежит Буддею, а написана Прокоповичем. Но время препираться с протестантами и ссориться с преосвященным новгородским было выбрано самое дурное. Анна воцарилась и самодержавствовала; люди, не любившие Феофана и уже по этому самому сочувствовавшие направлению Яворского, были в опале, не имели никакой силы; русские люди, получившие теперь значение как главные виновники уничтожения голицынского замысла, князь Черкасский с товарищи, должны поддерживать своего ревностного союзника Феофана, который имеет еще других, более сильных защитников; Бирон, Остерман. Левенвольды, Миних – все протестанты и потому, конечно, будут против книги Яворского, но они должны действовать хитро: императрица религиозна и предана вере отцов: манифест 17 марта не был делом притворства с ее стороны; немцы не пойдут прямо сами затрагивать эту сильную струну, они могут легко действовать через русских, которых заступничество за Феофана и советы потушить дело, могущее волновать верноподданных разных вер и наций, Анна не могла заподозрить.

Феофилакт написал «Апокризис, или Возражение на письмо Буддея». Но для издания книги нужно было высочайшее соизволение. К кому же Феофилакт обратился из Твери в Москву для его исходатайствования? К князю Дм. Мих. Голицыну! Князь отговаривался болезнью; тяжело было для его самолюбия признаться, что не может исходатайствовать ничего при дворе, особенно в самом скользком деле, и он говорит посланному от Феофилакта, зачем тот спешит с своим сочинением, если написал, то пусть исправляет; ученый князь приводил в пример св. отцов, которые, написавши книги, долго их исправляли, и преосвященный Стефан долго исправлял «Камень веры», и напечатана она после его смерти. Феофилакт обратился к известному архимандриту троицкому Варлааму, духовнику императрицы. Феофилакта вызвали в Москву, он был во дворце и получил позволение писать на Буддея, но потом его снова потребовали во дворец и обязали под смертным страхом не писать на Буддея. Сам Феофилакт так объяснял дело: «В бытность его во дворце приехал друг новгородского преосвященного, князь Ал. Мих. Черкасский, и знатно, что, по наговору одного архиепископа, князь о том разговорил ее императорскому величеству. И все это препятствие учинилось старанием преосвященного новгородского».

Лопатинскому запретили писать в защиту Яворского, но какой-то протестант написал против него и пустил рукопись под заглавием «Молоток на Камень веры», где Яворский выставлен католиком, иезуитом и вся его деятельность представлена в черном свете. Автора «Молотка» не отыскивали, но отыскивали людей, участвовавших в переводе книги Рибейры на русский язык, двоих архимандритов и членов Синода – новоспасского Евфимия Коллети и ипатьевского Платона Малиновского. Феофан Прокопович, раздраженный тем, что в книге Рибейры было указание на его склонность к протестантизму, считал, что люди, решившиеся перевести такую книгу и посвятить ее императрице, принадлежали к партии его заклятых врагов, не дававших ему покоя доносами, пасквилями и подметными письмами; с своей стороны он решился употребить последние усилия, чтоб вскрыть и низложить эту партию, и для этого воспользовался выходками в книге Рибейры против сильных в России иностранцев-лютеран, чтоб связать свои интересы с их интересами и заставить их помогать себе. Он донес императрице, что действуют все люди одной партии: некоторых сослали, но другие – «того же гнезда сверчки, сидят в щелях и посвистывают, и дал бы бог изыскать их и прогнать». О книге Рибейры Феофан доносил; «Иностранцев в России мужей ругательне нарицает человечками или людишками и придает, что Русское государство их питает, а церковный закон оными гнушается. Видно, *на кого* он за пропитание иностранных в Российском государстве нарекает! Всех сплошь протестантов, из которых многое число честные особы и при дворе, и в воинском и гражданском чинах рангами высокими почтены служат, неправдою и неверностью помарал, из чего великопочтенным особам немало учинил огорчение». Феофана, архиепископа новгородского, почтив титулом премудрейшего, коварно порицает склонностью к протестантам за то, что он в некоем слове своем назвал Буддея зело ученым человеком. А Феофилакту, тверскому архиепископу, сочинил похвалы следующие: «Феофилакт Лопатинский, тверской архиепископ, премудрейший в школах и, по моему известию, преострейший богослов, в епархии предобрейший пастырь, в Синоде правдивейший судья, во всей России из духовных властей прелюбезнейший.

Необычайная похвала, – продолжает Феофан, – да еще тому, с которым Рибейра, сколько мы ведаем, редко когда и видался». Во утверждение того, что будто восточного исповедания люди благосклонны к исповеданию римскому, пишет следующее: «В России случилось мне и с премудрейшими немало число иметь беседы, между которыми едва одного мог бы я познать, что католикам он весьма противен. Мудрии греки не гнушаются латинами, но еще священнослужения их почитают, якоже когда и самую я отправлял св. литургию в великом монастыре Троицком, тогда там благоговейнейше предстоял архимандрит со многими, о чем тысячекратно свидетельствовать буду. Подлинно се не рядовое вранье, – замечает Феофан, – и, по моему известию, является, что Рибейра своим или чужим намерением под видом доброхотной к исповеданию нашему защиты насеял многое число вредных плевел к раздражению иностранных народов на российский народ и к междоусобной внутренней в народе российском смуте».

Коллети и Малиновский посажены были в Петербургскую крепость. По делу о пасквиле на Феофана привлечены были в Тайную канцелярию два монаха – Иосиф Решилов и Иоасаф Макеевский, находившиеся в сношениях с Феофилактом Лопатинским, державшиеся около него в надежде, что он будет патриархом. Теперь они оговорили Феофилакта, пересказали его разговоры с ними. Так, однажды в минуту досады он сказал: «Вот здесь житье: всего бойся. Когда б можно где укрыться или хоть в Польшу уехать, если б то можно было. Я бы рад был и этому». Феофилакт проговорился, что у него есть тысяча рублей свих денег, лежат у купца Корыхалова. «У меня они положены на свою нужду, – говорил он, – не дай бог какой на меня беды или сошлют в ссылку – Корыхалов не оставит». По поводу Стефана Яворского Феофилакт говорил: «Много претерпел он от Федоса (Яновского), и когда б та змия больше на своем престоле посидела, то б больше скорпий высидела. И новгородский архиерей Феофан, хотя мне и друг, их же, лютеранскую, сторону держит». По поводу речи о дурном воспитании Петра II Феофилакт хвалил старого учителя Зейкина как человека благочестивого: «А ныне имеется учитель. Остерман, да и того Долгорукие, чтоб не часто ему с его величеством видеться, устранили. А хотя б он, Остерман, и всегда был при государе, однако в наставлении благочестия нечего доброго надеяться, потому что он лютеранской веры. Надобно бы его величеству о том советовать, да некому. Я б и рад, да не смею. А св. Синоду согласиться невозможно затем, что преосвященный новгородский и сам лютеранский защитник и с ними ж только знается». С поднятия тревоги по поводу «Камня веры» робкий Феофилакт был в постоянном страхе. «Спать не могу, – говорил он, – во сне пугаюсь и наяву всегда боюсь, боюсь, чтоб кто заочно не обнес императрице, знаю, что императрица милостива, только женское сердце пуще мужского». Страх не был напрасен: в 1735 году его вытребовали в Петербург и начали томить допросами.

Через год с чем-нибудь после приезда Феофилакта в Петербург умер Феофан 8 сентября 1736 года, только 55 лет от роду. Феофан не признавался своим, что «во сне пугался и наяву всегда боялся», но сильные тревоги в борьбе, которая могла кончиться низвержением и заточением, сильное умственное напряжение в отыскании средств к защите и к предупреждению врагов должны были истощить его, тем более что эти тревожения начались и продолжались безостановочно, когда Феофану было уже 45 лет – возраст, в который для продления жизни нужно увеличение спокойствия, а не тревог; притом надобно заметить, что Феофан не

отличался умеренностью, любил хорошо пожить и потому так вооружался против «ига неудобноносимого», которому подлежал по своим обетам. Говорят, что, почувствовав приближение смерти, Феофан приставил ко лбу указательный палец и сказал: «О, глава, глава! Разума упившись, куда ся приклонишь?» Слова знаменательные в устах вождя ученой дружины, которая с таким страстным увлечением бросилась упиваться разумом, но вот вождь дружины, «дивный первосвященник», в страшную предсмертную минуту задает себе вопрос: куда приклонится голова, упившаяся разума, достаточно ли этого упивания для человека?

По смерти Феофана объявлен был высочайший указ, «чтобы которые были служителями новгородского архиерейского дома, то оные б не разошлись никуда, а были бы все при том доме, а особливо те ребята, которые в доме его учились, чтоб оные учились по-прежнему и были б содержимы в таковом же довольстве, как и при живом архиерее. А учителю или надзирателю, который к ним приставлен, приказать, чтоб он их обучал и смотрел за ними не леностно». Впоследствии Кабинет представил об этой школе императрице, что Феофан «при жизни своей особливым своим тщанием, собирая сирот, учредил семинарию и содержал оную в весьма добром порядке со многим иждивением своего персонального имения; при кончине же жизни своей во всем оставшемся по нем имении учредил наследниками вышеозначенных из сирот-семинаристов в рассуждении том, что когда из тех семинаристов кто по окончании наук определится куды к делам, дабы оный тем данным ему награждением мог себе озаводиться постройкою двора и завестись домом, чтоб от скудости не оставил своей науки». Кабинет ходатайствовал об исполнении желания покойного Феофана «в рассуждении его верной и ревностной службы, и особливо, что он так добропорядочно из сирот семинарии содержал и немало их обучал в пользу государственную». Императрица согласилась и поручила исполнение дела князю Ал. Мих. Черкасскому, *приятелю* покойного.

Судьба лиц, страдавших из-за Феофана, не облегчилась по его смерти, потому что за Феофаном стояли другие, более сильные лица, считавшие вредными для себя стремления врагов Феофановых. В 1738 году Феофилакт Лопатинский за «злоумышленные, непристойные и продерзостные рассуждения и нарекания» лишен архиерейства, священства и монашества и заточен в Выборгский замок, куда никого к нему не пускали, бумаги и чернил не давали; на содержание его отпускалось по гривне на день. Коллети умер, как видно, в крепости; Платон Малиновский лишен архимандритства, священства и монашества и под именем Павла Малиновского сослан в Сибирь.

Торжество Феофана над противниками и неоспоримое первенство его в Синоде дали возможность строго проводить те меры относительно духовенства, которые были предписаны в эпоху преобразования, меры благодетельные, за которые нельзя было подвергнуться упреку в протестантском направлении. В сентябре 1732 года Синод предписал наблюдать прежние строгие меры относительно поведения монахов, особенно относительно отпуска их из монастырей; Синод объясняет свой указ тем, что многие монахи, презрев обязанности своего звания, не только внутри монастырей не очень исправны, живут не по обещанию, но, исходя самовольно из монастырей (что есть самая непростительная продерзость) и скитаясь без нужды по разным местам, ведут

себя бесчинно, и те, которые должны всякими добродетелями нелицемерно украшать себя к созиданию церкви, – те злообразием дел своих подают соблазн к развращению, нимало не помышляя, что чрез них хулится имя божие». В следующем году Синод запретил постригать в монахи находящихся при школах студентов прежде трехлетнего искуса. В 1734 году запрещено белому духовенству принимать к себе монахов не только на житье, но и для ночлега. и на самое короткое время, потому что ныне, говорит указ, являются чернецы повсюду своевольно бродящие. В том же году Феофан объявил Синоду указ императрицы, чтоб не постригать в монахи никого, кроме вдовых священнослужителей и отставных солдат: архиерей, допустивший нарушение этого указа, должен был платить 500 рублей штрафа и монастырские власти – подвергаться расстрижению и ссылке на каторжную работу. Почему указы Петра Великого требовали таких строгих подтверждений, видно из следующего: в 1731 году известный нам Иоасаф Макеевский, архимандрит Бизюкова монастыря, вместе с известным нам также Иосифом Решиловым поехали погулять в монастырское сельцо Сергиевское и взяли с собой шестнадцатилетнего певчего архиерейского Алексея Давыдова. Отцы, подгулявши, нарядили Давыдова в монашеское платье, в котором он им показался очень красив; тут пришла им мысль сделать сюрприз преосвященному Феофилакту, постричь на самом деле Давыдова, и на другой же день он был пострижен под именем Алимпия. Феофилакт действительно удивился, увидав перед собою шестнадцатилетнего монаха. «На что ты, сударь мой, постригся: ты еще молод и совершенно монашеского чина понести не можешь», – заметил ему добрый архиерей, и этим дело кончилось. Стремление восстановить и развивать меры Петра Великого относительно монастырей продолжалось и по смерти Феофана: в 1738 году императрица издала наказ Синоду, как составить инструкцию для управления Троицкого Сергиева монастыря. По этому наказу архимандрит должен был хранить весь древний церковный порядок благочиния, не смел ничего переменять, иконостасов и утвари не переделывать, но так как правительство имеет особенное старание о снабжении церковей учеными священниками, ибо простой, подлый народ от невежества впадает во всякое зло, а учение есть семя премудрости и благодати божией, всеваемое духом святым в сердца человеческие и от него все добродетели рождаются и процветают; так как необходимо нужно, чтоб в государстве священнический чин просвещен был божественным учением для преподавания слова божия, для искоренения богоненавистных страстей, нечестия, всякого злодеяния, для обращения неверных – мордвы, чуваш, черемис, которых легко привести в веру Христову, если б были учительные священники и архиереи о том старались бы, то императрица повелевает немедленно в Троицком монастыре завести семинарию для обучения латинскому, греческому и, если возможно, еврейскому языку, начав от грамматики даже до риторики, философии и богословия, а для того набрать учеников до 200 человек. Потом близ Троицкого монастыря построить сиротский дом или определить из женских монастырей для воспитания малолетних сирот и принятия зазорных приносных младенцев. Относительно управления монастырем и его громадным недвижимым имуществом наказ велит переменить одноличное управление на коллегиальное: 12 соборных монахов вместе с архимандритом составляют правление монастыря и решают дела на письме, и все подписываются, как в коллегиях и канцеляриях; без общего суда архимандрит не должен никого

наказывать телесно, не может наказывать и переменять соборных монахов. В описываемое время всех монахов в 708 монастырях считалось 7829; монахинь в 240 монастырях – 6453. Число крестьян, которыми владело черное духовенство, простиралось до 758802.

Распоряжения Петра восстанавливались и относительно белого духовенства: в 1732 году возобновлено было запрещение светским людям допускать в свои дома, призывать и определять для исправления каких-либо треб священников, дьяконов и церковных причетников без ведома духовного правительства, ибо Синод сообщил Сенату, что в домах разных чинов людей и у знатных особ явились *продерзатели*, которые или самовольно оставили свои церкви, или, будучи обвинены в тяжких преступлениях, бежали от суда, или не только епархиальными архиереями, но и самим Синодом запрещены и даже совершенно от священства отлучены, а иногда даже и никакой степени священства не имеют. В 1739 году Синод получил указ императрицы, в котором говорилось, что хотя на первое время и трудно сделать, чтоб при всех церквах были ученые священники, по величине государства, по множеству приходских церквей, которых по последним ведомостям показано до 16000, однако по крайней мере надобно выбирать в священники таких, которые бы закон христианский основательно знали, к чтению св. писания прилежали и по возможности рассудить могли, что читают. Но известно, что теперь не только таких священников, не при многих церквах и никаких нет, потому что старые священники померли, другие за вины и непорядочную жизнь отлучены, а между тем люди без покаяния и причастия помирают, в отдаленных от церквей местах принуждены жить без брачного венчания в церкви. Синод должен всюду послать указы ее величества, чтоб приходские люди по сущей справедливости и по совести выбирали ко всякой церкви на одно праздное место по два или по три кандидата, которых архиереи должны свидетельствовать относительно разума, научения закона, прилежания к св. писанию и беспорочной жизни, а потом не меньше трех месяцев всех этих ставленников архиереи должны содержать при своих домах или в ближних городских монастырях и довольствоваться пищею, а между тем ученые священники обучают их заповедям Божиим, преданиям церковным и прочим обязанностям священника с толкованием св. писания, в чем состоит закон христианский и проч., и каждую неделю всех их архиереи сами экзаменуют, а между тем наблюдают за их поведением. Так как после генеральной переписки церковников и их детей не только не убавилось, но прибыло с лишком 57000 человек, то из такого множества при должном рдении архиереев не только можно при всех церквах поставить добрых священнослужителей, но можно и выбрать молодых людей в школы для обучения высшим наукам. Притом должен Синод наиприлежнейшее попечение иметь, чтоб во всех епархиях неотменно были учреждены семинарии. Этот указ огорчил Синод: от него требуют наиприлежнейшего попечения об образовании духовенства и тем косвенно упрекают в недостатке попечения, тогда как не его вина, что со стороны епархиальных архиереев *он* не находит никакой помощи в этом деле. Огорчение Синода высказалось в его указе, разосланном архиереям, чтоб немедленно были определены ученые священники или иеромонахи для обучения ставленников и чтоб немедленно же дано было знать в Синод, кто определен или где таких священников не найдено; в указе говорится: «Хотя об учреждении семинарий и многие указы по епархиям посланы, однако старание об

этом обнаруживается в некоторых местах не только слабое, но почти и никакого, а почему – неизвестно; вина такого нерадения падает преимущественно на *главную духовную команду*, а потому виновные «хотя то и явственно видят, обаче толь отважно и нечувственно пребывают, как бы собственного их долга в том нимало не зависит».

В 1736 году турецкая война потребовала усиленного набора, и велено было из синодальных и архиерейских дворян, монастырских слуг и детей боярских, также, из священнослужительских и причетнических детей набрать 7000 человек. В следующем году велено было переписать всех священнослужительских и причетнических детей, и которые из них будут от 15 до 40 лет – всех взять в военную службу без разбора, но потом вышел дополнительный указ: находящихся в школах и кончивших в них курс в военную службу не брать, а поступить с ними следующим образом: которые кончили курс и пожелают быть в духовных чинах, таких тотчас к местам определить и накрепко приказать, чтоб они во все воскресные дни предики сказывали и наставляли народ в хорошей жизни; кто из них в духовном чине быть не пожелает, таких отсылать к губернаторам и воеводам для определения в гражданскую службу, где они, увидев в тех делах практику, могут знатные чины заслужить. Непонятливых в науках долго в школах отнюдь не держать, но брать их в военную службу, чтоб на таких глупых или ленивых людей напрасно расходы и другим трудолюбивым людям в их науках препятствия от них не было. В 1738 году киево-печерский архимандрит с братиею представил Синоду, что монахи из польских областей, честные и ученые, убегая от нестерпимого униатского гонения, приходят с мольбою принять их в Лавру, в противном случае, возвратившись в Польшу, они должны будут сделаться униатами. На это представление последовала резолюция кабинет-министров: принимать таких, которые знают латинский язык и хорошей жизни, чтоб могли быть учителями школ и производиться в высшие духовные чины. Относительно стараний об улучшении материального быта белого духовенства можно привести только представление Синода в Сенат об увольнении его от постоев и нехождении в ночные караулы и другие полицейские наряды. Сенат отвечал указом – не ставить постоев на тех дворах духовенства, где оно само живет; дневать и ночевать на съезжие дворы, и к офицерам в дома для работ и посылок, и к колодникам для караула духовных лиц не спрашивать, чтоб в церковной службе остановки не было, а караулы к рогаткам и хождение на пожары исправлять им с прочими нарядом.

Священники должны быть учительны, ибо от этого прежде всего зависит улучшение народной нравственности, кроме того, это необходимо для истребления раскола и суеверий. Против раскола продолжают прежние меры. В 1732 году Сенат приказал с записных раскольников – с купечества сверх обыкновенных платежей брать еще по стольку, сколько кто платит подушных денег в гильдиях, с крестьян брать по семи гривен, с разночинцев – по рублю двадцати копеек, а с женщин – половину. По прежним указам у записных раскольников детей должны были крестить православные священники и восприемниками быть православные же люди, и отцы обязывались присягою детей своих, крещенных православными иереями, раскольнической прелести не учить, в семь лет представлять к исповеди и причастию и венчать их по чину церковному; также записной раскольник обязывался и посторонних никаким

образом к расколу не привлекать. На этом основании велено было теперь доставить ведомости о раскольничьих детях для удостоверения, исполняются ли приведенные указы. При Петре Великом, как мы видели, посылались опытные люди для увещания раскольников; тогда эти увещания ограничивались областями Европейской России, но раскольники, избегая преследований и увещаний, давно уже проложили дорогу на северо-восток, к Уральским горам и за них. Татищев, принявши в управление горные заводы, дал знать, что около Екатеринбурга число раскольников очень велико и близ заводов Демидова, в лесу, есть раскольнические пустыни, где находится корень суеверия, и требовал присылки опытного и ученого священника для увещаний. Синод распорядился отправлением туда из Москвы от церкви Трех Святителей, что у Красных ворот, священника Ивана Федорова, известного своим искусством спорить с раскольниками: он должен был отправиться в Екатеринбург на три года, по прошествии которых сменял его другой священник. Но Федорову не хотелось ехать так далеко и на такое долгое время; он обратился к своему духовному сыну генералу и кавалеру Григорию Петровичу Чернышеву, нельзя ли избавить от посылки в Сибирь; тот написал письмо Феофану Прокоповичу, что Федоров «за всеконечную свою древностию при объявленном деле уже пользы показать никакой не может». Чернышев отыскал в одном из своих сел священника, который мог заменить Федорова, именно Тимофея Ипатиева, который обучался в Новгороде словенороссийской грамматике и прочему учению и потом сам обучал в Рязани церковнопричетнических детей и теперь охотно ехал в Екатеринбург. Преосвященный Феофан объявил в Синоде, что, «по его мнению, по требованию его превосходительства учинить можно, уволив от посылки отца его духовного и послав священника Тимофея Ипатиева, который, как человек ученый и притом желающий ехать весьма охотно, может отправлять повеленное указом, нежели под неволю посланный».

Мы знаем также, что кроме Востока много раскольников бежало на Запад, за польскую границу. Когда в 1733 году русские войска вступили в Польшу и остались там на несколько лет хозяйничать, то открылась возможность сыскать посредством них всех беглых, как православных, так и раскольников, и возвратить в Россию на прежние места жительства. Раскольников, которые могли указать, откуда они бежали, возвращали на прежние места; которые же объявляли, что не помнят, чьи они и откуда, тех велено было селить в Ингерманландии по разным деревням понемногу, а не в одном месте, причем разведывать, кто между ними наставники и учителя, как будто для того, чтоб определить их к ним по-прежнему, но как скоро они укажут, то всех наставников и учителей забрать под крепкий караул. Сначала для избежания неудобства и издержек дальней рассылки хотели поселить возвращенных из Польши раскольников на Украине, но потом раздумали по следующим причинам: 1) около тех мест находятся козаки донских городков, из которых многие склонны к расколу, и опасно, чтоб вновь поселившиеся раскольники не совратили козаков или чтоб не перешли за границу, как уж был пример, что многие, ушед за турецкую границу, живут там и для других пристанищем служат; 2) украинская линия сделана и ландмилицкие полки селятся на ней для защиты государства от неприятеля, а от раскольников не защиты, а всякой противности опасаться надобно; также они могут совращать людей из ландмилиции, принимать беглых и к расколу приводить.

Татищев ловил в лесах раскольничьих монахов и монахинь и отсылал к тобольскому архиерею для размещения по монастырям, но архиерей писал в Синод, что раскольники с дороги почти все разбегаются: одна монахиня так искусно притворилась мертвою, что ее положили в гроб, снесли в убогий дом, откуда она была выпровожена живая одним из своих единоверцев; в монастырях, по мнению преосвященного, держать их ненадежно, да и опасно, чтоб они, разбежавшись в мирские жилища, большого вреда православным не оказали. Сенат подал доклад в Кабинет, что так как монашество их раскольничье не важно, то лучше содержать их при горных работах или ссылать в Рогервик, с чем Кабинет и согласился.

С противоположной, самой южной границы пришла также жалоба на раскольников: в 1738 году астраханский епископ Илларион доносил в Синод, что гребенские козаки, несмотря на троекратное увещательное к ним послание, упорно остаются по примеру отцов своих и дедов при двоеперстном сложении креста, молитве и прочем суеверии. Синод отвечал указом, чтоб преосвященный возымел особенное прилежноусердное радение об увещании оных суеверцев и отправил для того немедленно из духовных персон человека ученого и искусного.

Синод требовал от архиереев прилежноусердного радения об увещании раскольников, но в 1737 году рязанский архиепископ Алексей донес Синоду, что из присланных в его епархию раскольников и раскольниц некоторые обратились, а другие в своем заблуждении пребывают и увещаний его, преосвященного, не принимают, затыкая уши свои, аки аспид глухий, и притом ему, преосвященному, при старости своей зело трудно иметь много разглагольства с ними, а потому не лучше ли смирять их постом и стегать плетьюми. Синод отвечал: «Раскольникам наставление чинить не инако как по-пастырски, словом учительским, и за трудность оно не почитать, ибо всякое дело труду есть подлежательно, а кольми паче надлежит приложить труд свой о человеке, гиблющем душою, к чему его преосвященство призван и таковым характером почтен».

В описываемое время правительство узнало, что раскол, непризнание многими русскими людьми авторитета церкви, повело уже, и довольно давно, к самым крайним результатам. Когда учение церкви признано неправильным, когда человек предоставлен, таким образом, самому себе при решении религиозных вопросов, то, естественно, является множество толков. Но как же тут успокоиться, добраться истины, как решить, который толк правильнее? Человек теряется в этом разноречии и, не находя успокоения, стремится привести себя в непосредственное сообщение с божеством, почерпнуть истину в самом источнике, зная, что первоначально истина была добыта этим путем: сам бог воплотился для возвещения истины, и потом дух св. сошел на апостолов, чтоб наставить их на всякую истину. Как выражается стремление войти в непосредственное сообщение с божеством, это зависит, разумеется, от среды, в которой происходит явление. Русский раскол должен был дойти до этих крайних результатов естественным путем, и потому нет никакой нужды предполагать какого-нибудь чуждого заморского влияния или относить начало явления к слишком отдаленным временам, опять с целью отыскать какое-нибудь чужое влияние.

В январе 1733 года управлявший Москвою граф Семен Андреевич Салтыков известил Сенат, что разбойник Семен Караулов показал следующее: в Москве есть четыре дома, где в праздники по ночам собираются монахи, монахини и разных

чинов люди; из них некоторые выбираются начальниками, садятся в передних местах, другие по лавкам и, подходя к начальникам, кланяются в землю, целуют у них руки, отдают собранные деньги, и некоторые из них пророчествуют. По этому показанию Караулова, захвачено было 78 человек обоего пола, и оказалось, что наставницею у них была монахиня Ивановского монастыря Настасья с двумя другими монахинями и монахом. Составлена была комиссия для исследования этой «богомерзкой противности». В чем состояло дело, видно из такого рода показаний: полотняной Тамеса фабрики ученик Ларион Иванов объявил: был он с прочими согласными своими разных чинов людьми на сбиршище в доме парусной фабрики бердного дела мастера Лаврентия Ипполитова, а действо было такое: по приказу Ипполитова сели все по лавкам, а первенство имел Ипполитов; сидя, пели с четверть часа молитвы: господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас! Дух св., помилуй нас, дай нам господи Иисуса! Потом монах Иоасаф, вставши с лавки, вертелся кругом по избе с час и говорил, как бы пророчествуя, что на него сошел дух св. и им, собравшимся, дух св. повелевает иметь чистоту: холостым не жениться, девкам замуж не ходить, женатым с женами не совокупляться. После того вертелась кругом с час же Ивановского монастыря монахиня Анна Иванова и говорила о сошествии на себя духа св. и учила тому же, чему и монах. Потом тот же монах Иоасаф раздавал им разрезанный небольшими кусками хлеб, а монахиня Анна давала запивать ковшом из ведра квасу, и то они вменияли в св. причастие. В заключение Иоасаф велел им всем прикладываться к образу святителю и клясться в том, что все бывшее содержать в тайне и отцам духовным на исповеди не говорить. Старики из «согласия» ходили всюду, ловя людей, казавшихся им склонными к важным религиозным вопросам, и внушая, что надобно креститься двумя перстами, пива и вина не пить, м... не браниться, не лжесвидетельствовать, жить степенно, с женами не совокупляться. Фабрики, соединяя людей отовсюду, очень благоприятствовали распространению «согласия».

В Варсонофьевском монастыре жил истинной веры учитель Алексей Трофимов в келье вкладчицы девки Марфы Павловой; в келье у нее собирались мужчины и женщины человек по двадцати, и Трофимов проповедовал им известное уже нам учение; он и Марфа, сидя, трепетались, потом Марфа ходила по келье с час и что-то говорила; иногда она вертелась часа с три и говорила, что дух св. сошел, чтоб присутствовавшие не боялись: и в прежние времена св. отцы тем же путем спасались. То же делалось в Московском уезде, в долгоруковской деревне Воеводиной у крестьянина Митрофана Тимофеева. В некоторых местах только молились и пели, а не вертелись, потому что такого человека не было. По окончании следствия начальники и начальницы¹ одни были казнены смертию, другие биты кнутом и сосланы в Сибирь в монастырь. Юрьева новгородского монастыря архимандрит Андроник рассказал Феофану Прокоповичу, что «согласие» ведется давно: еще в 1715 году, когда он, Андроник, был архимандритом в углицком Покровском монастыре и судьбою духовных дел, поймал он много раскольников, мужчин и женщин; главным из них был отставной московский стрелец Прокофий Лупкин, который называл себя Христом, а учеников своих апостолами; во время пения молитв на некоторых из них сходил будто бы дух св., подымало их с лавки, и ходили они скачучи кругом по получасу и

1 «согласия»

больше, а в то время клали на стол калач ломтиками и причащались им. Лупкин учил, что наступило последнее время, народился антихрист от монашеского чина. Феофан известил также Синод, что Лупкин и другой еретик, Иван Суслов, который называл себя богом, похоронены в Ивановском монастыре и могилы их пользуются особенным уважением; Синод решил, что трупы Лупкина и Сулова должно сжечь, надгробные здания разобрать, на камнях и на церковной стене надписи сгладить. От убеждения, что известными средствами человек может свести на себя духа св., оставался один только шаг к убеждению, что воплощение могло повториться. В 1730 году донской козак Мирон Елфимов выдавал себя за Христа бога; в 1733 году Ярославского уезда села Ивановского поп Иван Федоров говорил отцу своему: «Ты мне не отец: я родился во чреве матерне чрез духа св., благовестил о мне ангел, и рода я царского».

В 1737 году Синод получил указ, в котором императрица напоминала о постановлениях духовного регламента против кликуш и выражала свое неудовольствие, что в Москве в церквах и монастырях являются вновь многие кликуши, которых не только не унимают, но и дают свободу в этой притворности и шалости, сверх того, над ними и молитвы отправляются. В 1732 году сам Синод распорядился против юродивых, которые производили соблазн в петербургских церквах, но в 1739 году Синод узнал из указа императрицы, что в Новгороде явились два человека ханжей, которые летом и зимою жили в шалашах при городской стене, являя себя простому народу святыми; для прекращения соблазна повелевалось этих ханжей взять тайным образом и без всякого истязания и наказания послать в разные монастыри, а если впредь явятся подобные соблазнители, то стариков отсылать в монастыри, молодых отдавать в солдаты, девиц молодых – крестьянок отсылать к помещикам, из других чинов – к родственникам.

Одну из причин распространения раскола правительство видело в уклонении от исповеди и причастия св. тайн, почему в 1737 году было подтверждено о ежегодном говении, за уклонение от которого велено взыскивать штрафы без всякого послабления. Но была опасность не от одних раскольников, что видно из манифеста 1735 года: «Хотя многими предков наших и нашими указами свободное отправление службы божией других христианского закона исповеданий в нашем государстве позволено, но понеже мы, к неудовольствию нашему, слышать принуждены, что некоторые тех исповеданий духовные особы наших подданных всякими внушениями в свой закон приводить стараются, того ради заблагорассудили повелеть, чтоб никто из них отнюдь не дерзали из наших подданных в свой закон превращать под опасением, что в противном случае с ними поступлено будет по нашим государственным уставам и указам».

Относительно религиозного столкновения русских людей с западными иноверцами приведем следующий случай: в 1737 году императрица получила просьбу из Ярославля, подписанную George Schustern, studiosus juris, а в русском переводе: юридический ученик. Шустерн приносил слезные жалобы на то, что ярославский городской судья и асессор Караулов продерзостно в гостях вопреки всем правам и немецкой вольности, которую император Петр I даровал, велел его жестоко бить. «Я здесь, – писал Шустерн, – единственный иноземец во всем городе для пользы народа и российских молодых шляхетных детей и таким безбожным поступком в моей чести и добром звании оскорблен безо всякой

причины, кроме спорных слов, потому что он уже давно умершего Лютера очень ругательно бранил, что я его собственными словами опровергал, и для того он призвал своих слуг и жестоко меня бил». Наряжено было следствие; Шустерн показал, что в гостях у флотского поручика Милюкова имел он разговор про Мартына Лютера, которого Караулов бранил м..., а Шустерн отвечал: «Попробуй, сделай то сам, что Лютер сделал; нам его не судить, за свои дела получит он воздаяние от бога, а был он честный человек». Тут Караулов ударил его по щеке рукою, схватил парик и бросил на пол, бил кулаком, кафтан изодрал, из горницы выбил вон, потом выбежал за ним на двор, кликнул своих слуг и приказал жестоко бить плетью, отчего он, Шустерн, лежал восемь дней в постели. Воеводский товарищ майор Иван Караулов показал, что никакого разговора о Лютере не было, но Шустерн был пьян, бесчинно шумел и говорил незнаемо какие из библии задачи, которых за недовольным его знанием русского языка не мог он, Караулов, понять, и сказал ему, что, не зная, врет, чего рассудить нельзя. Шустерн в ответ сказал, что русские дураки не знают ничего. Тут он, Караулов, пристал, для чего он русских бранит, и начал его, Шустерна, посылать вон, а Шустерн схватил его за голову, стащил парик и бросил на землю. Караулов вытолкнул его вон из квартиры и велел сослать с двора. Но потом Шустерн возвратился опять на двор и, пришедши под окно, где сидел Караулов, кричал и бранил его, называл канальею, вынул шпагу и кричал: поди сюда ко мне! Тогда он, Караулов, охраняя свою честь, взял у людей своих плеть и вышиб у Шустерна из рук шпагу, чтоб он кого в пьянстве не заколол. Свидетели показали, что не слышали, в чем состоял разговор у Шустерна с Карауловым, но видели, что пьяного Шустерна Караулов выгонял вон из комнаты, причем у них была драка, и потом видели, как на дворе какой-то человек бил Шустерна плетью. Караулов был вызван в Петербург; чем дело кончилось, мы не знаем. В манифесте 1735 года говорится об исповеданиях христианского закона – лютерском, реформатском и римском, но, конечно, никто не мог подумать, чтоб была опасность от еврейского закона, и, однако, флота капитан-лейтенант Возницын был превращен в жидовство и обрезан жидом Борохом Лейбовым; обрезание было совершено в Польше, в Дубровне. И обольститель и обольщенный были сожжены в 1738 году.

Но кроме борьбы с расколом и оборонительных мер относительно западных исповеданий принимались меры для распространения христианства на Востоке, причем имелось в виду также и укрепление украин. Обращено было особенное внимание на Казанскую губернию, наполненную инородцами. Распространение христианства между ними являлось самым верным средством для скрепления связи их с Россиею, но для христианской проповеди нужны были ученые миссионеры, которых должна была приготовить школа; и вот правительство обращает особенное внимание на усиление школьных средств в Казани. Архиепископ Сильвестр завел здесь семинарию, где было 80 учеников, и из них десять человек из новокрещеных; в семинарии был один учитель «польской нации» Свенцицкий с помощником-иеромонахом и двумя аудиторами из учеников. Семинария содержалась на сбор двадцатой части хлеба с монастырей и тридцатой с церковей; кроме того, к семинарии Сильвестр приписал 77 крестьянских дворов, вотчину одного упраздненного монастыря, которая давала 158 рублей оброка. Из этих доходов учитель получал 60 рублей в год жалованья кроме хлебных запасов; помощник его, иеромонах, «учитель словесного учения», получал по 10 рублей,

аудиторы – по 4. В 1733 году новый архиепископ Иларион призвал из Киева двоих учителей: Головацкого – для богословия и Григоровича – для философии с жалованьем по 60 рублей в год, да назначенный правителем семинарии архимандрит Барутович пригласил для низших классов или школ третьего учителя – Соколовского – с тем же жалованьем, и студентов в семинарии было 121 человек. В 1736 году преемник Илариона Гавриил Барутовича уволил, Соколовского отпустил, учеников распустил по домам, оставив только две школы – синтаксику и поэтику. Синод, узнавши об этом, потребовал у Гавриила ответа, причем архиепископ «укорен был не легко». Гавриил отвечал, что ученики Соколовского явились не знающими часовника и псалтири; по этой причине и за оскудением семинарских доходов отданы отцам и родственникам для изучения означенных книг в твердость. Учитель Соколовский уволен за недостатком семинарских доходов, тогда как низшие школы – фару и инфиму – могут обучать и студенты высших школ. Архиепископ Иларион с монастырей и церковей хлеб и оброчные деньги собирал вдвое, потому и мог содержать большую семинарию, притом же взял на нее из монастырской вотчины и заставил эти монастыри кормиться Христовым именем, но теперь не только двойного, но и настоящего оклада с монастырей и церковей благодаря башкирскому разорению собирать нельзя, и потому семинарию содержать не на что. Этим ответом не были довольны: Гавриил отозван из Казани и перемещен в Устюг, а устюжский архиерей Лука Конашевич переведен в Казань с поручением наследовать дело о семинарии вместе с казанским губернатором князем Сергеем Голицыным.

В сентябре 1740 года императрица, видя, что меры, принятые при Петре Великом для распространения христианства между инородцами, не продолжают, приказала отправить в Казань учителя Московской академии архимандрита Димитрия Сеченова для проповедания христианства; для обучения иноверческих детей учредить четыре школы: в Казани – в Федоровском монастыре, в Казанском уезде – в дворцовом селе Елабуге, в городе Цивильске и в городе Царевококшайске; обучать их русской грамоте, причем смотреть, чтоб они и своих природных языков не позабыли.

Глава четвертая

Окончание царствования императрицы Анны Иоанновны

Дела на окраинах. – Малороссия. – Оренбургская экспедиция и башкирский бунт. – Сибирь. – Опасности для западных окраин со стороны Швеции. – Отношения к Польше, Пруссии и Англии. – Французская политика относительно России. – Франция хочет пользоваться неудовольствием в России против правительства. – Причины неудовольствия. – Ссылки и казни. – Могущество Бирона. – Усобица между немцами. – Ягужинский, Волынский, Бестужев-Рюмин. – Болезнь императрицы. – Вопрос о регентстве. – Кончина Анны.

Закрепление окраин составляет одну из самых видных черт правительственной деятельности в царствование Анны. Относительно Малороссии возвратились к системе Петра Великого: гетманство снова признано ненужным, и Малороссия как нераздельная часть России снова находится в ведении Сената, а не Иностранной коллегии. В 1731 году князь Шаховской был „отозван из Малороссии и на его место при гетмане Апостоле был назначен полковник Тургенев, но уже в следующем году он был сменен генерал-майором Семеном Нарышкиным. Князю Шаховскому поручено было устройство слободских полков, которые, по словам манифеста, обретались в беспорядке и в крайнее разорение приходили, так что многие, оставя воинскую службу и свои земли, принуждены были записываться за помещиков.

29 апреля 1733 года Нарышкин писал канцлеру Головкину, что накануне, в день коронации императрицы, был у гетмана обед, и хозяин не мог встать со стула; все подумали, что старик подгулял, но на другой день доктор объявил Нарышкину, что у гетмана паралич, левая рука и нога отнялись. 1 июня князь Шаховской писал самой государыне, что 26 мая он приехал в Глухов и был у гетмана, который очень болен, левою рукою не владеет и ногою, говорит, что кой-что чувствует, но нельзя думать, чтоб он говорил правду, мало надежды, что останется жив; никаких бумаг не подписывает, подписывает вместо него генеральный писарь Турковский, и оттого могут произойти беспорядки. Шаховской нашел в Глухове всю генеральную старшину, стал проведовать, зачем она собралась, и узнал, что старшина желает при жизни гетманской принять правление генеральной войсковою канцелярии, как было по смерти гетмана Скоропадского, когда правление осталось в руках генеральной старшины. «От этого правления, – писал Шаховской, – какие воспоследовали дела, о том вашему величеству известно». Шаховской узнал также, что гетман сам хотел отдать правление войсковою канцеляриею старшине без совета с Нарышкиным. Последний по совету с Шаховским 29 мая отправился к гетману с вопросом, для чего он это делает без совету с ним, следует ему требовать о том указу ее величества, а до получения указа писарь должен о всех делах представлять ему, Нарышкину. Шаховской подтвердил гетману то же самое. Апостол отвечал, что он приказывал писарю докладывать о всех делах Нарышкину, говорил и другие слова, которых за слабостью понять было нельзя; и генеральный писарь Турковский тут же объявил, что гетман приказал ему написать письмо к генеральной старшине, чтоб она приняла правление войсковою канцеляриею, и письмо это было доставлено Нарышкину. 30 мая явились к Шаховскому некоторые из старшины, намерение управлять войсковою канцеляриею без указа императрицы оставили, а требовали совета, каким образом писать в Иностранную коллегию и просить указа. Шаховской отвечал, чтоб они просто просили указа, кому императрица прикажет ведать войсковою канцелярию, а до получения указа обо всех делах докладывали генералу Нарышкину, который и должен давать резолюции. Они согласились; черновая просьба об указе была написана и показана Нарышкину. Но 1 июня Турковский пришел к Нарышкину и объявил, что гетман этой просьбы писать не велел. «Не соизволите ли, ваше величество, – писал Шаховской, – указать от гетмана взять письменно, а генеральную старшину допросить, для чего они по совету генерала Нарышкина не делают, а делают по своим прихотям, и не соизволите ли, ваше величество, впредь до будущего указа

для вышеписанных резонов приказать гетманскую канцелярию принять в управление генералу Нарышкину, чтоб старшина в то правление не вступала?» Шаховскому удалось достать копию с просьбы, которую уже заготовила старшина к императрице на случай смерти гетмана; здесь говорилось, что при смерти гетмана войсковая генеральная канцелярия осталась при генеральной старшине, которая спрашивала: нам ли, генеральной старшине, до избрания нового гетмана ведать правление всяких дел по совету с генералом Нарышкиным?

Между тем Шаховской получил письмо от кабинет-министров Остермана и Черкасского, в котором они требовали его мнения, как поступить в случае смерти Апостола. Шаховской отвечал, что как во время болезни гетмана, так и по смерти его правление войсковою канцеляриею поручить одному Нарышкину, потому что, раз допустивши старшину до правления, в случае неправильных их действий труднее будет их отставить. «В бытность мою здесь, – писал Шаховской, – хотя гетман и один был, однако некоторые дела, по представлениям моим, отправлялись медленно, тогда как одного человека легче склонить, чем восемь. О каких делах по пунктам велено гетману советоваться с старшиною и полковниками, по тем и генерал Нарышкин может призывать их в совет. О намерении ее величества, быть ли гетману или не быть, точно не известен, однако представляю слабое мое мнение: так как по пунктам гетмана Хмельницкого положено гетмана выбирать из настоящих козаков, а не из другого какого-нибудь народа, только эти пункты уже нарушены самими козаками: изменник Мазена и Скоропадский были из поляков, а нынешнего гетмана Апостола отец – волох, и если ее величество впредь гетману быть не изволит, то можно и еще многие резоны собрать. По моему слабому мнению, не соизволит ли ее величество по смерти нынешнего гетмана определить одну персону, как теперь генерал Нарышкин, которого назвать наместником гетманства, чтоб он все войсковые и челобитческие дела отправлял на прежнем основании их малороссийских прав и обыкновений со всяким прилежанием, без медленности и волокиты, дабы весь малороссийский народ мог получать от него всякое удовольствие, чем бы час от часу, а не вдруг, и к прочим обычаям удобнее было их склонять по воле ее величества, а чтоб ныне вдруг переменить и содержать их не по прежним правам, этого я не считаю полезным, ибо при гетманах они управлялись по своим правам, и потому подастся вид, что при гетмане бывало так, а теперь иначе».

12 июня отправлена была Нарышкину императорская грамота с приказанием тотчас войсковую генеральную канцелярию принять в свое ведомство, всякие малороссийские дела управлять по указу и смотреть, чтоб ничего в канцелярии не делалось без его ведома и приказа, особенно чтоб в полки никаких универсалов и писем не посылали. 10 июля отправлена к Нарышкину новая грамота: «Когда гетман Апостол умрет, тогда все правление Малороссии ведать вам с некоторым числом великороссийских персон да из малороссиян, из генеральной старшины и полковников такому же числу, сколько будет великороссиян, делать с общего согласия и совета, подписывать дела и указы всем, смотреть и предостерегать, чтоб ничего противного интересам нашим и народу малороссийскому тяжести не было. Определенному генеральному войсковому суду и подскарбиям войсковым для сборов быть прежним и на прежнем основании, как при гетмане было. Доходы, которые собирались гетману на булаву, на кухню и прочие, собирать по-прежнему определенным к тому особливым сборщикам, а из тех сборов

надобно что-нибудь дать жене гетманской, пока она жива будет, а прочее, что останется, без указа нашего ни на какие расходы не держать. Впрочем, имеете вы нам донести и представить заблаговременно, кто достоин вместе с вами управлять из великороссиян и из малороссиян, о чем вы должны снести с вашим генерал-лейтенантом князем Алексеем Шаховским, и каким порядком вести то правление для нашего интереса, для целости и благосостояния малороссийского народа. До смерти гетмана все это содержать вам в наивысшем секрете, чтоб, кроме вас, никто об этом не ведал».

Гетману стало лучше, и Нарышкин в конце года отправился в Петербург, как вдруг 15 января 1734 года гетману стало опять хуже, а 17 числа он умер. Находившиеся в Глухове великороссийские члены генерального суда полковники Радищев и Кишкин и подполковник Синявин в тот же день послали известие об этом в Петербург и получили в ответ, что князю Шаховскому велено немедленно ехать в Глухов и принять управление малороссийскими делами, а до его приезда они – Радищев, Кишкин и Синявин – вместе с судьями генерального суда должны отправлять все дела и смотреть накрепко, чтоб не произошло какого-нибудь смятения или других противностей, особенно смотреть за старшиною и за всем малороссийским народом. 31 января отправлен был указ Шаховскому: «По уведомлении о смерти гетмана Апостола имели мы рассуждение, каким образом по известному вам нашему намерению в правлении малороссийском впредь поступать, и рассудили за благо учредить правление гетманского уряда, которому состоять из шести персон, и из великороссийских, во-первых, вам, а из малороссийских – обозному Лизогубу, и взять вам к тому правлению на время до указа нашего из тамошних офицеров двоих, а сюда прислать вам свое мнение, кого вы к тому правлению из великороссиян, кто б где ни был, за годного впредь быть усматриваете, а из малороссийских сверх обозного Лизогуба здесь сочлись достойными Андрей Марков да Иван Мануйлов, и если вы за ними ничего подозрительного и противного не знаете и считаете достойными, то извольте их назначить в правление с вами и до нашего указа. А что в объявительной нашей грамоте писано, что правление гетманского уряда определено до будущего избрания гетмана, и сие писано для того, чтоб ныне, в начале сего объявления, народ не имел в том сомнения и не делал противных толкований, а правлению гетманского уряда повелели мы быть под ведением нашего Сената в особливой конторе. Еще имеете доносить, как ведут себя в войсковом генеральном суде великороссийские судьи, и если, по вашему усмотрению, окажутся недостойны, то выберите других, ибо надобно таких людей в той суде иметь, которые были бы правдивы, ко взяткам не лакомы, и не было б от них народу озлобления и обид, чтоб малороссийский народ правосудием великороссийских судей был доволен и привыкал к великороссийскому правлению, а смоленского шляхтича ротмистра Пассека отрешить, ибо ему в суде войсковом быть не годится». В том же месяце Шаховскому был послан секретнейший указ: «Уведомились мы, что смоленская шляхта с малороссийскими, жителями в свойство вступает, с обеих сторон сыновей женят и дочерей выдают. Это противно кажется нашему интересу, а гораздо приличнее и полезнее, чтоб малороссийский народ имел охоту вступать в свойство с нашим великороссийским народом, вследствие чего повелеваем вам, чтоб вы по вашему искусству секретно под рукою приложили особый труд отводить малороссиян от свойства с смольнянами, поляками и другими

зарубежными жителями, а побуждать их искусным образом вступать в свойство с великороссиянами». По доношению войскового генерального суда велено было приступить к исправлению законов малороссийских: так называемые магдебургские и саксонские права перевести на великороссийский язык, сделать свод из трех прав и приложить особенное старание для объяснения сомнительных мест. Чтоб работа эта пошла скорее, велено было выбрать из малороссиян знатных особ, именно из каждой епархии по одному архимандриту или игумну, от Киево-Печерского монастыря соборного старца, из протопопов одного, из генеральной старшины одного, из полковников одного, из прочих чинов сколько надобно, чтоб всех было двенадцать человек, которые должны съехаться в Москву, сделать свод постановлениям и что надобно сократить и прибавить в пользу малороссийского народа, и что к верному нам подданству от одного народа приличествует». Выборы в эту комиссию должен был произвести князь Шаховской. Велено также сделать в Малороссии ревизию козакам, посполитым и *подсуседкам* козачьим, крестьянским и владельческим духовного и мирского чина, которые на их землях живут, и мастеровым всякого звания людям. Архиереям запрещено посвящать в попы и дьяконы из малороссийской старшины и козаков, также из старшинских и козачьих детей без аттестатов полковничья и полковой старшины, а знатных без позволения генеральной войсковой канцелярии, чтоб от этого уменьшения числа козаков не терпела служба. Архиереям запрещено также вступаться в гражданские дела и привлекать мирских людей к своим судам; запрещено за свои частные дела отлучать от входа в церкви и предавать клятве.

Когда старшине объявлена была воля императрицы о форме малороссийского управления, то Шаховской предложил им написать за это учреждение благодарственную челобитную государыне. Челобитная была написана, все приложили руки, но после этого генеральный судья Михайла Забела стал говорить Шаховскому, нельзя ли удержать челобитную до тех пор, пока съедутся в Глухове все полковники. «Дождаться полковников нет нужды, – отвечал Шаховской, – довольно и того, что вы, генеральная старшина, подписались с прочими». Но требование Забелы показалось подозрительно Шаховскому; он стал секретно проведовать, и прежде всего спросил у генерального писаря Турковского, что за причина требования Забелы? Тот отвечал: «Забела обиделся тем, что в челобитной подскарбий Андрей Марков подписался выше его». «Не хочет правды сказать», – подумал Шаховской и начал опять допытываться, нет ли другой причины, поважнее. Тогда Турковский сказал правду: говорил ему секретно генеральный судья Борозна, что в императрицыной грамоте новое управление назначено только до избрания нового гетмана и потому в благодарственной челобитной надобно было просить гетмана. «Кому они гетманом быть желают, – писал Шаховской, – того подлинно я знать не могу, а видно, что они гетмана желают».

Вследствие убеждения в этом желании считали обязанностью соблюдать большую осторожность, доказательством чему служит любопытное распоряжение по поводу черниговского судьи Василья Каневского: он был сослан в ссылку за ложный донос на черниговского епископа Иродиона, но потом состоялось такое определение: «Хотя Каневский и за настоящую свою вину в ссылку сослан, только надлежит его из ссылки освободить и жить ему в своем доме без должности до указа, чтоб знали, что он в ссылку сослан был за вину свою, но высокою ее импер.

величества милостию освобожден, и впредь бы малороссияне в каких-либо и правдивых причинах доносить не опасались».

Но Малороссия оставалась спокойною, несмотря на то что сильно страдала от войны. Укажем из ее жизни несколько любопытных случаев, которые лучше других представляют тогдашние отношения.

В 1733 году в Киеве умер войт Димитрий Полоцкий; гетман Апостол по прошению киевских мещан и по прежнему их обыкновению послал в киевский магистрат генерального есаула Лисенко для присутствия при избрании кандидатов на войтовство. Магистрат и посольство избрали троих кандидатов из бурмистров: Федора Нечая, Михайлу Корнеевича и Кузьму Кричевца. По избрании отправили к гетману просьбу определить из них, кто, по его мнению, годился в войты, причем на выборе и на просьбе подписалось 68 человек урядников и за все посольство; некоторые урядники подали гетману на имя императрицы челобитную, что Кричевец достойнее всех других, и на этой челобитной подписалось 27 человек. Гетман выбор и челобитную препроводил в Коллегию иностранных дел с требованием указа, кому быть войтом. Генерал Нарышкин писал, что лучше всех Кричевец. Но вдруг присылает бумагу киевский генерал-губернатор граф Вейсбах с объявлением, что бунчуковый товарищ в Полтаве Василий Быковский, внук бывшего киевского войта Ивана Быковского, просит, чтоб его включили в число трех кандидатов на войтовство, что он, Вейсбах, велел спросить магистрат о Быковском, и 17 человек членов магистрата объявили Быковского очень достойным, а не поместили его в число кандидатов только потому, что не знали о его согласии; тут же эти 17 человек просили определить в войты именно Быковского, а не кого-нибудь из прежде выбранных кандидатов, особенно не Кричевца, который много должен внутри и вне государства, и они опасаются, чтоб русское купечество за границу из-за него чего-нибудь не потерпело, как уже за брата его многие поплатились, другие умерли под стражею, а Кричевец с 11 товарищами подал доношение, что Быковскому, как бунчуковому товарищу, войтом быть нельзя. Киевский губернатор Шереметев, архиерей, печерский архимандрит и все мещане стояли за Быковского, и так как сам Вейсбах знал его за доброго служаку, то и решился также за него ходатайствовать. Но в Иностранной коллегии справились, что по привилегиям, постоянно подтверждавшимся с царя Алексея Михайловича, киевские мещане выбирают кандидатов в войты из мещан же. На этом основании Сенат приговорил быть войтом Кричевцу. Приговор состоялся в июле 1734 года, но в сентябре Сенат получил следующий указ императрицы: указали мы в киевские войты как ныне определенного из Сената Кричевца, так и прочих представленных кандидатов не определять, а велеть киевским мещанам вместо их выбрать самим в войты из киевских же мещан, и притом к тамошнему губернатору послать секретный указ, дабы он на тот их выбор под рукою смотрел и как возможно старался, чтоб они выбрали из природных великороссийских людей, которые ныне в Киеве мещанами состоят, самого доброго, верного и бесподозрительного человека.

В ноябре 1735 года малороссийское духовенство подало императрице просьбу за подписью троих архиереев – киевского, черниговского и переяславского, чтоб позволено было монастырям и всему духовенству покупать недвижимые имения у мирских людей и чтоб каждый был волен отдавать свои

земли духовенству на помин души; архиереи писали, что это запрещено в резолюции на пункты гетмана Апостола, но таким запрещением нарушены прежние постановления и права. Императрица велела послать указ кн. Шаховскому, чтоб он, призвавши архиереев к себе в Глухов, пристойным образом сделал им выговор, дабы впредь в прошениях своих таких грубых и предосудительных слов отнюдь не включали, а между тем он должен стараться секретнейшим образом склонить генеральную старшину, полковников и прочих чиновников, чтоб прислали просьбу о неукреплении мирского чина людей земель и угодий за монастырями и духовными лицами, на которую просьбу получают желаемую резолюцию. Также людям, находящимся при составлении малороссийского Уложения, напоминать, что малороссийский народ от такого укрепления земель терпит большое разорение и лишены родительского имения, отказанного в монастыри, служить не в состоянии, отчего и государственному интересу вред происходит, склонять их, чтоб пункт о неотчуждении недвижимых имений, как наиважнейший, внесен был в Уложение. Призванные архиереи отвечали, что написали простотою своею, впредь писать не будут и просят прощения.

В 1737 году произошло столкновение у черниговского архиерея Илариона Рогалевского с капитаном Кобылиным, который набирал козаков. Кобылин жаловался, что в церкви после торжественного молебна архиереем не допустил его ко кресту и сказал: «Черт тебе, к... сыну, дал указ, покажи указ!» Князь Борятинский, управлявший в это время Малороссию, произвел следствие и арестовал архиерея, за что получил выговор от императрицы: «Нам зело неприятно и к великому нашему удивлению касается, что вы оного архиепископа без нашего указа под такой крепкий караул брать велели, не рассуждая, что из таких поступков всякие следствия произойти могут». Иларион объявил, что он действительно сказал Кобылину в церкви громко: «Ты недостойн креста, потому что церковь св. разоряешь, хочешь с церкви крест снять». Говорил так потому, что Кобылин, набирая людей для прикрытия границ, приехал в Елецкий монастырь, монахов среди монастыря неизвестно за что бил, а указа никакого ему, архиепископу, о том не объявил. Иларион признался, что сказал еще: «Ты не дворянин и не Кобылин, а кобыла; разве тебе такой указ черт дал, чтоб ты разорял монастыри, а не государыня; государыня таких указов не дает».

Князь Борятинский получил выговор за то, что арестовал архиерея, но не видно, чтоб получил выговор фельдмаршал Миних, который в 1739 году, будучи проездом в Глухове и недовольный решением генерального суда по одному делу, касавшемуся его имения, кричал на судей: «Таких судей повесить или, бив кнутом, сослать в Сибирь». О законах малороссийских отозвался: «Шельма писал, а каналья судил».

В Малороссии вторичное недопущение к гетманскому избранию обошлось даже и без тех движений, которыми сопровождалось первое. Но на Востоке, в странах приуральских, стремление правительства стать более твердою ногою среди варварского народонаселения вызвало со стороны последнего сильное сопротивление.

1 мая 1734 года подписана была резолюция о построении города при устье реки Ори вследствие представления сенатского обер-секретаря Ивана Кириллова, что Киргиз-кайсацкая орда, никому не подвластная, многонародная и военная,

ныне приходит в подданство ее и. в-ства и уже Меньшей орды хан Абул-Хаир с подданными своими, которых около 30000 человек, принят в подданство в 1731 году, а чрез его пересылки и Большая орда прислала просить о подданстве; сам хан желает, чтоб близ его владения, при устье реки Ори, впадающей в Яик, построен был город, в котором обещает по временам жить и службу оказывать.

Для построения этого города отправился тот же Кириллов в чине статского советника и скоро должен был столкнуться с знаменитым правителем горных заводов Татищевым. Осенью Татищев донес в Кабинет, что, будучи в Башкирии, говорил он татарам, что быть там ярмарке. Татары очень обрадовались, но Татищев стал им внушать, что нельзя ограничиваться этою ярмаркою: много лошадей в Сибири купить некому, а можно бы им продать их у Макарья или в Москве. Татары отвечали, что пригонять им лошадей никак нельзя, потому что везде поля засеваются хлебом, офицеры же, присылаемые к ним для покупки лошадей по деревням, делают им великие обиды, если же они, татары, «попротивятся, хотя и правильно», то берут их на Уфу и сильно их разоряют. Татищев представлял, чтоб учредить ярмарку в Уфимском уезде при реке Белой, ниже Бирска, куда купечество со всей России может приезжать; сверх того, устроить там хлебный магазин; там же можно будет покупать недорого илецкую соль, лучшую в России, хотя только про обиход императрицы. Татищев прибавлял, что татары везде его спрашивали, скоро ли переменят нынешнего уфимского воеводу Кошелева, потому что он великий грабитель и бить челом на него не смеют. Вследствие этого представления Татищева Кабинет послал указ Кириллову об учреждении ярмарки в Уфимском уезде на реке Белой; кроме того, он должен был подлиннее наведаться о поведении Кошелева и немедленно отписать в Кабинет. Кириллов отвечал, что лошадиную ярмарку учредить и в обычай ввести никак нельзя, потому что башкирец дожидается купцов к себе в дом, а в город поедет разве по приказной нужде или для гулянья. О Кошелеве дал отзыв неблагоприятный. В Кабинете отдали это дело на усмотрение Кириллова.

Между тем Кириллов, готовясь к построению Оренбурга, жил в Уфе и посылал в Кабинет любопытные известия о стране. Донося в Кабинет о вражде между киргизами и башкирами, он писал: «Никогда не следует допускать их в согласие, а в потребном случае надобно нарочно поднимать их друг на друга и тем смирять».

Кириллов представил подробные известия о состоянии башкирцев: до русского подданства они разделялись по родам, которые при русском владении названы волостями; кроме того, разделились на четыре части, или дороги: Ногайскую, Казанскую, Сибирскую и Осинскую. Все земли и угодья разделены между родами; от некоторых родов произошли уже новые, которые называются аймаками, иногда тюбями. По отношению к России башкирцы разделились на две части: 1) служилые тарханы, которые не платили никакого ясаку, но служили военную службу; 2) ясачные плательщики. Но к башкирцам для своевольного житья, также по причине обширных и изобильных мест несмотрением бывших и нынешнего воевод набрело жить великое множество горных татар, черемис, чуваш, вотяков, так что теперь этих пришельцев вдвое больше, чем башкирцев. Из них в давние времена некоторые крещены, только от нерадения духовных в слабой вере находятся, ибо языка русского не знают, попы толкуют чрез толмачей, и то разве однажды в год. А татары, пришельцы из Сибири, особенно из Казани, их

духовные – ахуны, муллы, абызы – гораздо прилежнее стараются приводить их в свой закон и обрезают и воздержною своею жизнью простяков к себе привлекают, школы имеют, мечетей множество настроили, чего теперь хотя нельзя у этого своевольного народа пресечь, но впредь нужно стараться, ибо и без прибылых людей настоящее башкирское народонаселение чрезвычайно увеличивается вследствие многоженства. Башкирцы, мещеряки и ясачные, хотя и понемногу, будут назначены в службу к городу Оренбургу, однако которое время там пробудут, жены без плода останутся, а которого убьют, тот и вовсе не возвратится. Так исстари наблюдали эту политику во всем государстве над татарами: во время шведской, польской и турецкой войн везде их посылали перед войсками на пропажу, вменяя в службу, а на самом деле затем, что они в домах не надобны, а теперь не только здесь, но и в Казанской и в Воронежской губерниях все живут в домах и множатся, а от платежа подушного сбора или от корабельных работ никогда не убавятся. Воров беспрестанно приводят в Уфу в суд, больше всего в краже лошадей, и почти все пришельцы из других уездов, с которыми воеводы привыкли поступать, ссылаясь на Уложение и на указы: за одну и за две кражи наказывать и освобождать. Такими людьми исстари торговля воеводская происходит: вовремя держания они всякую работу на воевод и приказных людей производят, а потом, кто больше даст, тот скорее и освободится; «поэтому я сделал представление в Провинциальную канцелярию, чтоб уличенных в воровстве отнюдь не освобождали, но отправляли в Казань для отсылки на работу, ибо и без воровства надобно их отсюда убавлять, особенно тех, которые не башкирцы, а пришлые, чем будут довольны настоящие башкирцы: сами о том просят и, приходя ко мне, говорят, что дикого зверя – волков всех перевели, лошадей и скот без пастухов в лесах и степях содержат, а воров уфимские судьи перевести не могут. Суд я застал по здешнему народу весьма обидный: по всякому малому крестьянскому делу принуждены подавать исковые челобитные и в волоките конца не найдут; представил я в воеводскую канцелярию, чтоб волокит убавили, и, если истцы и ответчики, побивши челом в малых делах, съехали в уезд и помирились, таких в город не волочить, а велеть брать на месте мировые пошлины. Еще и то немалая была людям от города отгоня, что за водопой пролубного брали по копейке с лошади, хотя б кто на один час в город въехал, хватали по рынку, а не у водопоя, притом иных бивали, чего ни в каких городах нет, а сбору всего по 12 рублей в год. Я такой малый сбор, вредный интересам вашего величества, отставил, а чтоб табельному окладу не повредить, эти 12 рублей приложил к кабацкому сбору. Служилые люди, дворяне и козаки, ни лошадей, ни оружия годного иметь не могут и в такую мизерию приведены, как крестьяне: работают на начальство, сено косят, дворяне в денщиках лошадей и двор чистят, огороды копают. Я денщиков отрешил и никуда в работы посылать не велел, исполнять им только одну службу. Магометанских духовных, которые попадутся хоть в малой вине, надобно не щадя наказывать и ссылать не только из Уфимского, но из Казанского и других уездов, потому что простые татары в них, как в пророков, веруют, и они привлекли их к себе воздержным житьем и в вере утверждают и умножают. Притом можно бы из них лучших ученых от их мечетей, школ и простого народа отлучать для переводов и толмачества, как и было: из самой Казани многие, и самые лучшие, ученые взяты в Персию, а теперь все тут у мечетей живут».

Мы видели, что Кириллов уже столкнулся с Татищевым, объявив Кабинету, что предложение последнего о лошадиной ярмарке неудобноисполнимо. Скоро произошло другое столкновение: в марте 1735 года Татищев дал знать в Казанскую губернскую канцелярию, что, по известию из Кунгура, у татар великие съезды и советы, каких давно не бывало, вследствие чего приняты меры предосторожности и к башкирцам посланы лазутчики для проведения; притом Татищев писал, что посланный на Уфу курьер с письмами пропал. Узнавши об этом, Кириллов донес императрице, что известие не основательно, все обстоит благополучно, что письмо одного Татищева приводит только к страху и конфузии простых, неведущих кунгурцев, что курьеры ездят безо всякой опасности и ни один из них не пропадал. Башкирцы действительно собираются, потому что им объявлена служба к реке Ори для построения города. Может быть, искореняемые вследствие новых распоряжений его, Кириллова, воришки-конокрады, убегая от поимок, разгласили оному действительному статскому советнику (Татищеву) о пустых опасностях, о чем удобнее было бы ему, по близости, списаться с ним, Кирилловым, и, получив подлинное известие, уже бояться. Теперь башкирцы, увидав правление без лакомства, находятся в таком подданническом послушании, в каком прежде никогда не были, ибо, кто не мздоимец, такому покорны, а кто хочет себя обогатить, тот не воевода, а раб их будет, и что хотят, то воевода поневоле им делает.

В апреле Кириллов двинулся за реку Белую и, разговаривая на дороге с ташкентскими купцами, уже составлял планы о приведении в подданство Ташкента и Туркестана, вызвал из Астрахани индейского купца, чтоб расспросить его об индейском торге и о путях в Индию, а между тем писал кабинет-министрам Остерману и Черкасскому: «Надеюсь, милостивые государи, частыми прошениями досаждаю, да миновать нельзя: ежели от вас оставлен буду, кто же поможет? Не могу от Военной коллегии конца найти в перемене уфимских солдат. Ежели никакие резоны не годятся, то напрасно я в таком великом деле азарт на себя взял, ибо тремя батальонами, со мною на первый случай посланными, обнять и в вечном владении утвердить двух провинций нельзя. Сосед мой Василий Никитич еще изволил покушаться: приведя к самой распутице, отпустил пушечки и фалконеты, наняв безмерною ценою; однако бог свое делает: до места не раскидали, но довели. Ведаю его намерение строить на башкирских землях медные заводы и будто бы башкирцев тем лучше в покорение привести можно, но подлинно он обычаев их не знает, а когда в башкирцах заводам быть, то разве еще вдесятеро беглых прибудет, паче же утеснением на прежние худые замыслы принудим напрасно». Но Кириллов хорошо знал, что если будет оставлен Остерманом и Черкасским, то может помочь ему Бирон, и потому написал к нему 21 июля: «Не иное что придало причину получить всемилостивейшие нашей монархини указы на все мои, нижайшего раба, доношения, в Кабинет, в Сенат и Военную коллегию посланные, как вашего высокографского сиятельства милостивое сему новому делу признание, за что всемогущий бог да подаст вашей фамилии долголетнее здравие с получением всех благ по желанию сердец ваших и слава имени да пребудет в вечной незабвенной памяти, что таковым полезным делам, о которых мало верят, есть скорый помощник. Теперь неимоверно и наполнены эхи от всех сторон неудобностями, опасностями, но здесь в настоящем деле инаково все к тому идет, что в нижайшем

моем проекте написано». Помощь Бирона была очень нужна Кириллову при новой опасности, которой подверглось его дело.

Шедший за ним к Ори-реке из Уфы Вологодский драгунский полк подвергся нападению восставших башкирцев; подполковник Чириков и с ним 60 человек были убиты, из обозу 46 возов было оторвано и разграблено. Кириллов старался представить, что опасность не так велика; так, он писал: «Верные башкирцы многих волостей побрали указы о поимке воров, весьма ненавидят их и ставят в несчастье свое, что такие воры явились, просят отпуску для челобитья вашему величеству, чтоб себя оправдать, а воров перевести». К Бирону 23 июля Кириллов отправил новое письмо: «Буде, милосердый государь, для такого малого воровского нападения да оставлено будет к великой славе и пользе зачатое дело, то не токмо новые многие народы, пришедшие в подданство и еще желающие подданства со многими городами, яко Ташкент и Арал, можем потерять, но и нынешний случай к подборанию рассыпанных бухарских и самаркандских провинций и богатого места Бодокшана упустим, а, сверх того, старым подданным башкирцам случай подастся впредь злодействовать по их махOMETанству внутренних ко христианству врагов, а ежели не послаблено и не оставлено будет, то башкирцев загородкою нового Оренбурга и других по Яику и Белой реке городков со временем в такое подданство удобно будет примать, как казанских татар, причтя к потерянию их вольностей явное их воровство, а между тем вышеупомянутые новые владения присовокупятся и страх на обе стороны прибудет, что во время какого воровства башкирцев койсаками, а койсаков башкирцами смирать, к чему и калмыки близки. Все прежде бывшие в таких же своевольствах – Малая Россия разорением Батурина, яицкие козаки – Качалина и других городков и не упуском за воровства казнями – в надлежащее покорение приведены, а башкирцы – самый плюгавый и неоружейный народ, подобны чуваше и мордве, никакого страху не ведаючи, живут почти без податей и без службы, попущенные к своевольствам, но токмо одни воеводы, бывшие у них, наживаясь, многие тысячи свозили».

5 августа правительствующий Сенат, будучи в Кабинете и слушав с господами кабинетными министрами сообщенных сведений о возмущении башкирском, по общему согласию положили учинить следующее: немедленно послать персону знатную и надежную, которому дать полную мочь и власть, употребляя вначале добрые способы и уговоры, а если добрые способы не подействуют, то употреблять оружие. Если башкирцы будут представлять о своих обидах, то исследовать немедленно по сущей правде тех, на кого они покажут, за крепкий караул брать, обиды тотчас прекратить, ц, сколько возможно, поправить; если б они поставили себе в обиду строение крепости на реке Ори, то объяснить им, что крепость эта строится только для защиты их от киргиз-койсаков. Из Елабуги, из Кунгура приходили известия о немалой опасности от башкирцев и татар; башкирцы присылали в Казанский уезд поднимать тамошних татар – русских людей рубить и деревни жечь.

Кириллов, несмотря ни на какие препятствия, хотел сделать свое дело: 16 августа он прислал императрице поздравление с Новою Россиею, которая приобретена собственным ее величества предвидением и впредь почтена быть может не меньше сысканных от европейских держав земель, прославленных металлами и минералами. Кириллов доносил при этом, что он с командою

благополучно достиг реки Ори; по дороге и на месте будущего Оренбурга нашли благонадежные признаки руд медных и серебряных, также камни порфир, яшму, мрамор.

Знатная и надежная персона, назначенная для усмирения башкирского бунта, был, как мы уже упомянули, опальный А. И. Румянцев, получивший прежний свой чин генерал-лейтенанта и назначенный сначала астраханским, а потом казанским губернатором. Кириллов, получа приказ во всем повиноваться приказаниям Румянцева, писал 23 сентября, что он Оренбург благополучно основал, артиллерию укрепил, солдатскую команду в первую крепость и в казармы ввел и провиантом удовольствовал; потом вследствие известий о башкирских разбоях принужден был оставить в Оренбурге подполковника Чемадунова с десятью ротами, а сам отправился назад для соединения с Румянцевым, который стоял в Мензелинске. Кириллов и Румянцев разрознились в мнениях о средствах потушения мятежа; Кириллов писал, что башкирцы до тех пор не усмирятся, пока не последует розыск и казни и не введутся полки на квартиры в Уфимский уезд; Румянцев же писал, что опасается не взволновать бы этими мерами всех башкирцев, тогда как до сих пор была замешана в бунте только часть их, и думает, что лучше без оружия привести их в повиновение, довольствуясь повинной челобитной от всего народа. В начале ноября Румянцев донес, что башкирское возмущение утушено, причем нельзя наказывать бунтовщиков, во-первых, по малочисленности войска: при Румянцеве находилось только четыре драгунских роты, один батальон Казанского гарнизона и 650 козаков; во-вторых, провианта нет, ни подрядчиков найти, ни натурою собирать нельзя. Относительно причины бунта Румянцев извещал о жалобах башкирцев на суровые поступки полковника Тевкелева. В письме, присланном от башкирских старшин к Румянцеву, говорилось, что им присланы были указы идти на оренбургскую службу; не зная подлинно, как ехать, собрались они всем миром и поехали на место, где дедам и отцам их указы объявлялись, и послали в Уфу осведомиться о подлинном указе, в какой силе они на службу наряжаются. Но Тевкелев одного из их посланных убил, другого высек, двоих под караулом держал; кроме того, худым людям указ дал ловить и приводить в Уфу лучших людей, которые были в собрании. Узнав об этом, лучшие люди заплакали, что жизнь их кончилась, и от такой неволи забунтовали; и с Иваном Кирилловичем ссорились от него ж, Тевкелева. «Не повелите ль, — писал Румянцев императрице, — до удобнейшего времени так их ныне в тишине оставить, ибо народ грубый и вскоре так к верному подданству и к накладу на них податей без всякого их возмущения никак привести невозможно, а надобно время до времени почаще старшин их призывать, и потом, когда какое намерение вашего величества будет, уготовясь совсем заблаговременно, как везде довольные магазины устроить, так и здешние пригородки для убежища людям укрепить, тогда их всех знатных задержать и уже силою оружия к тому приводить».

Главный командир Румянцев был не согласен с мнением Кириллова; Татищев в своих письмах к Румянцеву внушал ему недоверие к планам оренбургского основателя, открывшего Новую Россию. 30 октября Татищев писал Румянцеву из *Катеринска* : «Господин статский советник обнадеживает меня тем, что ныне в Оренбурге завод серебряный, а на Самаре медный заводить намерен, и требует к строению оных ремесленников. И хотя к тому я великую охоту имею, но наче же

должность моя, что то более положено на меня, однако ж мне оно весьма удивительно, ибо хотя б все было спокойно, но завод не прежде строить, как все к тому нужные обстоятельства согласовать будут, и суще: 1) чтоб руд было довольно, но того весьма нет, а по верховным верить нельзя, ибо сверху покажется, да вглыбь ничего; 2) чтоб руды плавки достойны были; но из присланных проб видим, что ни единой достойной нет; ежели же ко мне недостойные присланы, а лучшие оставлены, то и причины не разумею; 3) надобно, чтоб лесов было довольно, но к нам писал наш посланный надзиратель и полковник Тевкелев сказывал, что лесов там весьма недовольно, и потому я в такое сомнительное дело вступать не смею, но хочу ожидать, как ваше прев-ство довольно обстоятельства рассмотрите и меня уведомите».

Императрица одобрила мнение Румянцева, чтобы пока довольствоваться настоящим положением дел между башкирцами, но приказала, чтоб Кириллов приехал из Уфы в Мензелинск к Румянцеву на совещания о мерах окончательного успокоения башкирцев. В декабре 1735 года Румянцев и Кириллов выработали (т.е. Кириллов написал, а Румянцев подписал) такое рассуждение. 1) между башкирцами старинные тарханы никакого ясаку не платят, должны служить, но служат они своему воровству, а не по указам, и потому этот их чин вперед не надобен; остальные башкирцы платят ясак самый малый; 2) мещеряки, служилые татары по указам из других городов накликаны и определены служить по Уфе, но собственными землями не наделены, принуждены жить на башкирских и давать башкирцам подать, почему пошли было в крестьянство к башкирцам, но по приезде Кириллова и Тевкелева они от башкирского послушания отвращены и в нынешнем башкирском воровстве служили верно; их тысяч с пять, способных к службе; 3) тептери и бобыли – из разных уездов беглые татары, чувашаи, черемисы, вотяки, башкирцы – отдают им внаймы свои земли и владеют ими как крестьянами; 4) новокрещенные ясачные, число их малое – дворов с 300, равного состояния с тептерями и бобылями и хотя презираемы в наставлении истинного благочестия, однако весьма в службе верны и за то разорены теперь ворами. Причина нынешней продерзости башкирцев – это послабление их прежним своевольствам и воровствам, и потому впредь надобно: находящиеся здесь полки в надлежащее состояние привести; магазины наполнить провиантом, основать Оренбург и другие назначенные крепости: мещерякам за их верность и службу отдать в вечное и безоборочное владение те земли, которые они нанимают у башкирцев; с тептерями и бобылями старыми поступать точно таким же образом; замешанным в воровстве запретить носить ружья и по домам иметь; в уезде кузнецов и кузниц не иметь, из городов кузнецов и насекальщиков в уезд не отпускать, пусть покупают все нужное в городах; пойманных в воровстве и в бунте и повинившихся казнить или в ссылку сослать, а не освобождать, ибо к будущим воровствам первая надежда, что не только непоиманных прощают, но из тюрем освобождают, а пущих заводчиков, хотя они и прощение получили, по причинам частных дел одного за другим забрать и жестокою казнью казнить; внутри башкирских земель построить городки; каждая волость должна иметь у себя выборных старшин, двух или трех, на которых можно было бы взыскать всякое преступление или неисpravку, а теперь у них всяк большой, и указы пишут обще: тарханам, батырям и всем башкирцам; также запретить сборища делать, отставить обыкновенный старинный мирской сбор в семик у речки Чесновки; в

это время пусть советуются о мирских нуждах, письменно доносят и бьют челом, а не так, как прежде бывало: собравшись поутру, воевод, приказных людей и толмачей на письме бранивали ворами, грабителями, разорителями, а как эти воры их одарят, скота на зарез и поила пришлют, то пьяные к вечеру похвальное письмо напишут и в ночь разъедутся по домам; горланы с таких сборищей деньгами, кафтанами и сукнами рублей по 50 и больше сваживали. Так как есть явное подозрение на магометанское духовенство, то оставить по одному ахуну на дорогу, а взять с них присягу, чтоб о всяких дурных поступках объявляли и из других вер в свой закон не приводили, без указов мечетей и школ вновь не строили, и если ахун умрет, то нового определять правительству, смотря по верности, а не самим башкирцам ставить. Башкирцы, разбогатева, завели свойство с казанскими, слободскими и уездными татарами, и этим способом во всяком деле, что б в Казани ни началось, башкирцам уже давно дано знать: надобно запретить в свойство вступать без позволения казанского губернатора и при позволении наложить подать с свадьбы лошадьми. Снять запрещение покупать у башкирцев земли и угодья, чтоб мешались с посторонними. Меры эти касаются не настоящего только, но будущего времени: башкирцы опасны не настоящею своею силою, но будущим размножением от многоженства и приплыва беглых; если бы противодействовать этому размножению без случая мятежа, то все бы взбунтовались, а теперь легко начать с открывшихся воров; когда они будут прибраны к рукам, тогда остатки легче укротить и так в мутной воде обуздать, как в старину по Волге черемис и мордву. Если же упустить нынешнее удобное время и не взять предосторожности, то вперед надобно опасаться большого зла, особенно в случае войны с единоверными им турками или если между ними явится умный вор, как был Стенька Разин. Если б даже и этого не случилось, то русское бесславие во всю полуденную Азию пойдет, потому что там разглашают они себя не подданными, но независимыми, защищая под своим именем принятых беглецов. Когда же башкирцы будут усмирены, то все новоподданные и желающие принять подданство такие же ветреные народы не посмеют впредь своевольничать или по крайней мере не будут в пример ставить башкирскую вольность. Но для усмирения башкирцев необходим Оренбург, который находится позади башкирского жилья и которым вместе с принадлежащими к нему местечками башкирцы будут огорожены, как стеною.

Кириллов отправился с этим мнением в Петербург, где в начале 1736 года узнали, что башкирцы Ногайской и Казанской дорог опять начали бунтовать и не пропустили к Оренбургу обоза с провиантом. Кириллов воспользовался случаем и подал императрице мнение: не соизволено ль будет воров-башкирцев от Сибирской и Казанской стороны утеснять, разоряя сплошь, а у тех, которые к воровству не приставали, взять в города аманатов – сыновей и братьев знатных людей, а не таких наемников, которые в прошлых годах были; теперь самое удобное время действовать против башкирцев – март и апрель месяцы: сами они голодны и лошади худы. Мнение было принято, и автор его был опять отправлен наскоро в Уфу; Румянцев получил указ немедленно идти из Казани в башкирские жилища, воров всякими мерами искоренять, жилища их разорять, пущих заводчиков казнить смертию, прочих с женами и детьми ссылать в ссылку, годных – в службу в остзейские полки и во флот, негодных – в работу в Рогервик, малолетних и женщин раздать в русских городах, кто взять пожелает, с тем чтоб

назад на свободу отнюдь не отпускали, пожитки и хлеб отбирать на войско и в магазины, лошадей отсылать в драгунские полки. В половине марта Румянцев донес, что хотя около Уфы, также на Сибирской и Осинской дорогах и есть башкирские замешания, однако на обеих этих дорогах уже более двух тысяч воров искоренено и несколько десятков деревень разорено. 3 апреля Румянцев двинулся к реке Деме, в самые воровские жилища; тогда заводчики бунта, отпустя семейства свои в демские вершины, сами явились к нему в числе 19 человек в надежде, что опять получат прощение, но Румянцев взял их всех под караул и шел далее воровскими жилищами до самой крайней деревни вверх по реке Деме; воровские собрания не оказывали нигде ни малейшего сопротивления и бежали перед русским войском; около тысячи воров обоего пола было побито, около ста деревень выжжено. Кириллов писал, что 24 марта вышел он на Ногайскую дорогу и воров-башкирцев разными партиями, как скот, гнали. По рекам Белой, Уршаку, Кегушу, Тору, Селеуку, где было самое воровское гнездо, сожжено около 200 деревень, в которых около 4000 дворов; разорена и первая во всей орде мечеть Азиева, в которой во все бунты башкирцы совещались о восстании и коран целовали; казнено 158 человек, побито обоего пола около 700, живых взято 160 да роздано в Уфе 85, в Остзею в службу послано 99; так как сильное разорение произведено самим Румянцевым по реке Деме, полковниками Мартаковым и Тевкелевым – на Осинской и Сибирской дорогах, из Сибири – тамошними командами под управлением Татищева, так как уже пропало воров около 4000, то такой погром, по словам Кириллова, привел к тому, что воры не знали, куда скрыться, ибо с самого начала подданства ни за которые бунты никогда такой казни и разорения не видали. «По сему началу несумненная надежда есть, что сии плуты в совершенное подданство приведены будут». В мае майор Останков поразил воров от Сакмарска по Ногайской дороге. Несмотря на то, плуты не были еще приведены в совершенное подданство. Румянцев донес из лагеря неподалеку от Мензелинска, что 29 июня вор Килмяк-Абыз из-за реки Белой, собравши башкирцев Ногайской и Сибирской дорог тысяч с семь или больше, нечаянно напал на его лагерь к самому фронту, зная, что у него команда не очень людна, и то вся бывала в «раскомандировании»; ворах хотелось Румянцева убить или взять в плен и освободить всех своих аманатов и пленных, но этого им не удалось; несмотря на сильный натиск башкирцев, причем русские потеряли около 150 драгун убитыми и ранеными, воры побежали, как только увидели пехоту, оставив человек двести на поле сражения. Но эта проигранная битва не отняла духа у башкирцев Килмяковой толпы; они стали возмущать башкирцев Казанской и Ногайской дорог, пожгли и разорили много деревень, которые к ним не приставали, и в верности осталось очень немного деревень, именно только те, которые находились в лесах и засеках. «Теперь вся эта сторона в великом смятении, – писал Румянцев, – и почти все пристали к ворах, даже до самого Казанского уезда. За скорою ездою воров нашим гонять за ними никак нельзя; где сойдутся, башкирцы нимало не стоят, а нашим гнать за ними, за худобою лошадей и за отягчением провианта, нельзя; в летнее время регулярным войскам справиться с ворами никак невозможно, и нерегулярных при мне самарских козаков только 200 человек, а яицкие и до сих пор не бывали; нельзя ли калмыков сюда отправить, хотя малое число? Башкирцы ныне все подозрительны явились, ибо отцы у меня содержатся, а дети к ворах пристали». К калмыкам отправлена

была грамота, чтоб шли на башкирцев, к Миниху – указ, чтоб отправил в Башкирию два драгунских полка, «понеже интерес наш всемерно требует, чтоб чрез нынешнюю зиму тех бунтовщиков усмирить и сие замешание к вящему расширению не допускать». Кириллов продолжал присылать утешительные донесения, причем явно намекал на оплошность Румянцева. От 13 августа он писал: «Об искоренении воров-башкирцев старание прилагаю, и многое число главных плутов уже в разных местах пропало, а прочие бегами живот свой спасают; и хотя в июне и июле воровским обычаем наглости от них были и еще, может быть, произойдут в таких местах, *где оплошных найдут*, однако к тому пришли, что сей бунт подлинно последним останется, и уже Сибирская дорога вся и по Ногайской многие в совершенное подданство приведены, и остальные, если будут продолжать воровство, с голоду и холоду зимою пропадать станут; лошади и скот во многих местах выпали, и теперь еще падеж не утих. Что же до строения городков надлежит, и в том не на одно сие время, но вечный интерес зависит, и слава победоносного оружия вашего величества купно со отворением полезной коммерции во всю полуденную Азию распространится, ибо в самых пустых и доселе неизвестных или брошенных местах несколько новых провинций под державу вашего величества прибудет с таким подземным плодом, о котором многие еще не верят; и к тому страждущее в басурманских руках христианство (т.е. в Хиве, Бухарах, Балхе, Бодокшане и иных) свободу получит, и впредь туда из крайних русских селений никак заяицким татарам воровскими набегами в полон брать или красть будет нельзя. Опричь внутренних в башкирах городов, позади всего их жилья, зачиная от Волги до Сибири и от Оренбурга до Аральского моря, быть имеет 45. Старания прилагать буду, дабы действительно оные населить и на Аральском море российский флаг объявить, а работников с государства к работе оных городков требовать не буду. Кайсацкие три орды состоят в подданстве и присылали ко мне с тем, что они верность свою и службу желают показать над ворами-башкирцами. Понеже в том вашего величества высокий интерес зависит, дабы сии народы всегда в несогласии были, позволил в отмщение своих прежних обид поиск учинить над дальними Сибирской и Ногайской дорог башкирцами. А ко всегдашнему смотрению на поступки тех орд намерен определить в каждую орду человека по два и быть при ханах и лучших старшинах, коих людей из ссылочных выберу, потому что хотя из них в каком-либо случае пропадет – тужить не о ком, а может быть, заслуживая вины свои, прилежнее станут наблюдать». В сентябре Кириллов писал, что несколько новых городков населил охочими козаками, татарами и калмыками: «И тако без всякой помехи и без государственных работников зачало живой линии воспоследовало; ни одного места нет с недостатком к житью человеческому: земля черная, леса, луга, рыбные, звериные ловли довольные». Относительно башкирцев писал: «У сих воров не так, как у других орд, никого главного владельца нет, но, подобно волжским разбойникам, где увидят оплошно, тут добычи ищут; ежели б они столько сильны были, как об них за незнанием рассуждают, то как бы я со 100 драгун и несколькими стами козаков без нападения на меня сквозь самой середины жилья пройти мог?» В то же время Кириллов писал Бирону, подписываясь «вечным рабом» и прося не оставить его, бедного, в здешнем странствовании; писал о своей деятельности, что нигде десяти дней на одном месте не живет; жаловался, что отовсюду затрудняют его пустыми указами: «Навещают отовсюду

указами, и такими, что жаль листа бумаги на ответы терять, только у меня время удерживают; хотя б дали мало основаться и к порядку привести, тогда мог бы на пустые требования пустые и ответы на гуляньи писать».

Румянцев был перемещен в Украину, и отправленный на его место бригадир Хрущов в конце октября 1736 года доносил, что отовсюду башкирцы являются с повинною и присягают; заводчиков бунта задерживали под караулом в виде аманатов. По донесению Кириллова, башкирцы принуждаемы были к покорности голодом, холодом и нападениями киргизов. Но из Петербурга получен был указ, что «хотя при нынешней турецкой войне в войске не без нужды, однако не меньше нужно и то, чтоб здешний домашний внутренний огонь был потушен как можно скорей, и потушен таким образом, чтоб вперед не опасаться новых смут» и потому они должны сделать общее представление о средствах для этого. На основании этого указа Хрущов и Кириллов доносили, что войска распределены ими на пять команд, так чтобы в будущем апреле можно было окружить ими башкирцев со всех сторон, главных заводчиков и товарищей их, до сих пор не пойманных, искоренить, остальных же привести в полное подданство. Башкирцев двух ближних дорог, Казанской и Осинской, кажется, опасаться нечего; относительно же Сибирской стороны, писал Кириллов к Татищеву, который «в начале второго бунта поступал очень осмотрительно, и сам, вступая к башкирцам в малолюдстве, почти с одними крестьянами, привел бунтовщиков в повиновение и два городка в удобных местах построил, почему на него и впредь насчет тамошнего отдаленного края надежда имеется».

В начале 1737 года Кириллов, Хрущов и Татищев получили из Кабинета секретные указы, что Румянцев доносил (а Румянцеву внушил эту мысль Татищев), когда башкирцы будут успокоены, то для уменьшения их числа и приведения в слабость надобно взять у них тысячи две или три лучших и вооруженных людей под предлогом турецкой войны; теперь наступило удобное для этого время, но Кабинет полагается совершенно на Татищева, Кириллова и Хрущева: если они думают, что время еще неудобно, то пусть не трогают башкирцев. Но в то же время Хрущов был назначен в Украинскую армию, его место занял генерал-майор Соймонов, которому, как предвиделось, не могло быть много дела; составлены были такие известия для напечатания в курантах: «Из башкир получены подтвердительные ведомости, что тамошняя комиссия к окончанию приходит. Которые главные бунтовщики подлый народ возмутили, те переловлены, а именно: Килмяк-Абыз, Акай Кусюмов с сыном, Умир Тахтаров, Сабан, Юсуп и другие многие, коим вскоре следствие окончится, а прочих уже несколько сот в разных местах переказнено, также немалое число в Казань для отводу в Остзею – одних в службу, а других в работу в Рогервик послано, женска полу и малых ребят несколько тысяч к вывозу в русские города розданы и не допущены были к жатве сеянного и к севу нового хлеба, деревни воровские все разорены, и так тем успокоено, что, оставя прежние своевольности, приняли вечную присягу, и таким образом, повинуюся, новое учреждение сами испросили к лучшему в порядке сего почти дикого народа содержанию, во всякой волости старшин (т.е. русских старост), сотников и во всякой деревне десятских определили, провиант и фураж на войско безденежно дают; с них же несколько тысяч лошадей собрано, чего никогда не бывало. И по тем спокойным и прибыточным государству обстоятельствам ныне обретаются в башкирах

тамошние гварнизонные и ландмилицкие полки, которые не праздно стоят, но Уфу и другие новые города и городки крепостною работою оканчивать имеют. Также чрез сей случай бытъя в Башкирах множество осмотрено разных руд и минералов, для которых первый завод медный и железный при новом городе Табынске, другой на Ике-реке строятся. *Из Оренбурга* : здесь все благополучно, и прошлого лета зачали из кайсацких орд и из Ташкента приезжать для торгу».

В это благополучное время, 14 апреля, умер строитель Оренбурга Кириллов, и доканчивать его дело поручено было Татищеву. В рескрипте ему от 10 мая говорилось: «Мы на ваше вечное радение и доброе искусство всемилостивейше полагаемся и что вы в оной комиссии тщательнейшие свои труды прилагать не оставите, за что вы и о нашей к вам высочайшей милости и действительном награждении всегда обнадежены быть можете, яко же и ныне в знак того вас в наши тайные советники жалуем». Татищеву, между прочим, поручалось, чтоб установленная с хивинцами торговля всячески усиливалась и чтоб киргиз-кайсаки были приласканы и от всяких противных предприятий удержаны. 25 июня Татищев написал кабинет-министрам Остерману и Черкасскому: «С крайним моим прилежанием трудяся, заводы совсем определить не возмог, чему и болезнь мне немало повредила; видя же, что и так надмерно умедлил, опасаясь за умедление ее и. в-ства гнева, несмотря на мою болезнь, на носилках поехал до пристани, а докончание заводское поручил советнику г. Хрущову, чтоб, сочиняя, ко мне присылал, и надеюсь в месяц все оное окончится, ибо главные заводы окончили, по которому прочих сочинить уже нетрудно. При сем же всепокорно нижайше прошу вашего сиятельства, чтоб благоволили о заводах определить указом, ведать ли мне оные или оставить и более не вступаться». Башкирцы все еще поднимались в разных местах, и, приехавши в Мензелинск, Татищев держал совет с Соймоновым, с уфимским воеводою Шемякиным и полковниками о мерах к окончательному потушению мятежа. При этих обсуждениях и решениях Татищев первенствовал не по чину только, но по уму и опытности. В июле Татищев уже писал Остерману и Черкасскому о непорядках: «Что я к прежним командирам писал и что здесь делалось, то генерал-майор (Соймонов) не знал, а другие запамятовали. Слышу от многих, что великие пакости происходят, о чем и прежде к статскому советнику Шемякину по жалобам башкирским на его канцелярию писал, и здесь на некоторых жаловались, а генерал-майор, как человек тихой, не довольно строго в таких делах поступает, а паче, что до него было, и не знает. Також полковник Бордукевич требовал денег на покупку под драгун команды его лошадей, и как я наедине о том с офицеры разговаривал, то сказали, что он башкирских лошадей, отбирая себе, продавал и ныне-де у него близ 100, а несколько сослано к приятелям в деревни. При толковании пунктов Шемякин о воеводах не хотел подписаться и спорил долго тем, что воеводы и подьячие жалованья не имеют и им брать не запрещено, но я дерзнул сказать, что я имею особый указ и если уведая чьи непорядки, то и без его подписки буду поступать по указу. И генерал-майор ему говорил, чтоб он, не входя в подозрение, конечно, подписался. Хотя сие все делал я по ревности моей к пользе ее и. в-ства, однако ж опасаясь, чтоб такую смелостью паче данной мне власти не прогневать ее и. в-ство, всепокорно нижайше прошу, если противно явится, высокою вашею ко мне милостию меня охранить и на лучшее наставить».

Кроме совещаний в большом числе членов Татищев признал нужным советоваться о более важных мерах только с Соймоновым, Шемякиным и полковником Тевкелевым. Эти меры он изложил в секретном письме к Соймонову 1) «о наряде башкирцев на службу. Мое мнение: сей наряд весьма бы нужен и полезен был, если бы с весны объявлен был, ибо тогда они не могли отговорки иметь, да и главнейшие воры тому не противное показывали; ныне же видится неудобно для того, что они возмнят, яко бы войска российские против турок бессильны были, и тем могут паче в воровстве укрепиться или, видя поздний наряд, возмнят противное; 2) о положении их в подушный оклад; сие ныне говорить весьма оставить, но быть довольными сбором ясака и за женитьбы лошадей, которое близ того придет; и впредь о подушном окладе скоро думать не надобно, но, когда Исетская провинция и крепости от Сибири к Оренбургу устроятся и им с кайсаками коммуникация перережется, тогда положить на них ясак такой, чтоб с поголовным мало разствовал; 3) вор Майдар жалуется на старшин, якобы верные грабительством своим новому смятению причину дали, которое, может быть, правда, и потому разумею, что они, воры, бывши в великом собрании, большого вреда русским деревням не чиня без всякого от войск принуждения, разоря токмо мещеряков и старшин, на которых они наиболее жаловались, в дома возвратились. Что до непорядков, происходящих от офицеров, принадлежит, при толковании одного пункта некоторые, чтоб командирам до башкирских пожитков не касаться, за тяжко поставили, и правда, если бы сие с регулярным неприятелем было; в бунтовщиках же весьма иное состояние, ибо многие невинны находятся. Капитан Житков таким лакомством великий вред сделал тем, что из лакомства верных разорил и побил, которого ее и. в-ство по суду велела казнить смертью. Здесь же майор Бронской таким же случаем великой вред сделал, что, принесших повинную и безоборонных оступя, неколико сот побил, и пожитки себе побрал, который не токмо по указам и уставам не наказан, но и не сужден, а из того многие, увидя, не токмо с повинною не пошли, но и новой бунт воздвигнули, коль же паче известно, что многие командиры для такого лакомства, забыв свою должность, мечутся за пожитками; другие по окончании дела у драгун, козаков и вольницы взятые от воров пожитки обирали и тем у оных охоту отняли; некоторые же полковники, как слышу, видя в полках своих в конях недостаток, избрав башкирских лошадей, продавали и в деревни сослали». Наконец, новый командир нашел, что старый сделал важную ошибку – построил Оренбург на неудобном месте: назначенное для большого города место ежегодно поднимается водою более аршина; по-за Яику надобно идти степью открытою 110 верст, и никогда без конвоя осмелиться нельзя, а по сию сторону Яика прошли великие горы, и объезд не только дальний, но и чрезвычайно трудный. «Надобно город перенести, – писал Татищев, – пока еще многого не построено; кому это в вину причесть, не знаю, ибо инженерные офицеры сказывают, что о неудобствах Кириллову представляли, да слушать не хотел, и офицера искусного в городостроении нет». Татищев обвинял также Кириллова, что при нем канцелярского порядка, как устав повелевает, учинено не было, протокола и журнала порядочно не содержано, списков служителям с их окладами не учинено, и хотя подъячих было немало, но все набраны молодые и малоискусные, а к тому и повытей было неросписано, записок одного дела искать нужно по разным местам. Счеты весьма неправильны, потому что приход и расход был в разных

руках и весьма беспорядочен, чрез что учинились проронки, окладных книг учинено не было, давано жалованье все по выпискам, и оттого учинены передачи. В подряде провианта и провоза великие передачи – из корысти или из продерзости, неизвестно. Но, будучи недоволен управлением своего предшественника, Татищев был недоволен и настоящими отношениями своими к Соймонову. «Что до усмирения башкирцев принадлежит, – писал он в декабре 1737 года, – то я сердечно оного желаю и крайне прилежу, но как я власти и команды более не имею, что над определенными в порученную мне комиссию, а прочее все в команде генерал-майора Соймонова, и мне ему повелевать нельзя, да я, где у него сколько людей и что их к тому намерение, не ведаю, хотя я неоднократно репортом не яко командир, но токмо мне для известия требовал, но не получил, а без того мне порядочно рассудить не можно. Он (Соймонов) человек добрый и служил довольно, но притом в рассуждении весьма медлен и к произвождению холодноват, и для того, может, не все так делается, как надобно, а мне более делать нечего».

Заведенный службою в степь, Татищев должен был встретиться с знаменитым в русской истории явлением – с козачеством, на которое по своей любви к строгому порядку и определенности отношений взглянул сурово. В конце 1737 года, находясь в Самаре, он подал доклад «о беспорядках Яицкого войска». «Старших у них чрезвычайно много, и выбираются большею частью люди безграмотные. По-моему, лучше им определить одного войскового атамана, двух есаулов, одного писаря, а у тысячи козаков одного полковника или старшину; так как козаков с захребетниками считают от семи до десяти тысяч человек, то старшин не может быть более семи. В круг их приходит множество, где и при слушании указов бесчинство, брани и крики бывают, и часто случается, что атаман унять не в состоянии: не лучше ли исполнять указы в избе, а не в кругу атаману с есаулами и старшинами; если же случится войсковое важное дело, то призывать сотников, а если будет дело о наряде войска или какое скорое объявление, тогда созывать в круг и десятников, а всех не созывать, чрез что у них чины будут в большом почтении, а подлость в страхе. Жалованье им небольшое, но и то по причине великих проездов с великою убавкою приходит, вместо 3000 в год достается по семи или осьми сот рублей. Наряды в службу у них беспорядочные: всегда нанимают козаков договором, причем атаман и старшины нанимают для своей корысти самых бездельных захребетников, худоконных и безоружных; лучше разделить их на полки и наряду быть из сотен по очереди. Всего хуже то, что они никакого для суда закона и для правления устава не имеют, поступают по своевольству, не рассуждая, что им полезно или вредно: по обычаю, за бездельные дела казнят смертию, а важными пренебрегают. Не соизволено ль будет главному командиру или губернатору, собрав лучших старшин, сочинить общий устав для донских, яицких, гребенских и волжских козаков, а так как для их многих застарелых вольностей все непорядки вдруг уничтожить и добрый наряд ввести не очень удобно, то новый устав сначала объявить от губернатора или генерала, чтоб по воле ее величества всегда переменить или пополнить было можно». Оканчивает Татищев свой доклад обычным припевом: «Я усмотрел, что атаман и старшины грамоте не умеют, законов знать не могут и потому войсковою и другие писаря что хотят, то пишут, отчего великие беспорядки происходят;

поэтому не соизволено ль будет повелеть им учредить школы с объявлением, что впредь безграмотных ни в какие достоинства не производить».

1738 год для Татищева начался очень неприятно: воровские башкирцы разоряли деревни верных башкирцев, а денег на жалованье войску и покупку провианта Татищев не получал: «Я пришел в крайнюю печаль и вижу, что мне из сего не иначе как конечная гибель воспоследует, понеже без денег, провианта, нужной амуниции, припасов и без довольства людей выступить невозможно». С другой стороны, занимало его тяжелое следственное дело о беспорядках уфимского воеводы Шемякина, который, пришедши однажды в дом к Татищеву с великим невежеством, хотел с ним браниться, чтоб иметь причину отвести его от следствия, но Татищев сдержался и спокойно велел ему уйти; тогда Шемякин объявил, что знает за Татищевым важные интересные дела, и требовал, чтоб для их объявления его отправили в Сенат или к казанскому губернатору: «Я знаю за ним такие важные дела, что или мне, или ему голову отрубят». Из Петербурга прислали указ наведаться обстоятельно о турецких посланцах к киргиз-кайсакам и бдительно смотреть за казанскими татарами, всюду разъезжавшими по торговым делам. Татищев отвечал, что посланцы всего удобнее могли проехать чрез Астрахань и Яик, а письмо легко переслать чрез казанских и уфимских татар; Татищев давал знать, что на Яике между козаками много некрещеных татар, которые на Дон ездят с торгами, и усмотреть за ними атаману нельзя, потому что правление их беспорядочное и своевольное. Синод дал знать в Кабинет о жалобе протопопа при Оренбургской комиссии и ректора Антипы Мартинианова, которого Татищев в Самаре без объявления вины, презрев власть св. Синода, посадил с утра на цепь, водил по улице, как бы напоказ бывшим тогда в Оренбурге киргиз-кайсацким посланцам, и, приведши в канцелярию, держал на цепи до вечерен. Синод представлял, что Татищеву этого чинить весьма не надлежало, и требовал сатисфакции. Татищев по этому случаю писал императрице: «На оное я никакого пред вашим и. в-ством извинения принести не могу, но, признав меня виновна, предаюсь во всевластное вашего и. в-ства наказание, ибо я оное сам признаю, что учинил противно, но при сем и обстоятельства того не ко оправданию моему, но токмо ко известию всеподданнейше доношу. Как я весьма болен был, пришед ко мне хозяин оного протопопа, бил челом, что протопоп противно запрещения велел баню в доме его затопить и, зажегши оную, разломал, по которому я к нему послал адъютанта и велел говорить, что он учинил непристойно и чтоб ту баню починил. Назавтра пришел оный хозяин, жаловался паки, что протопоп жену его обидел непристойными словами и поступками, по которому я, его, протопопа, призвав, пристойными словами представлял, чтоб он вел себя, как его чести пристойно, ведая, что я таким продерзостям терпеть не буду, при котором он жаловался на хозяина, яко бы его бранит непристойно, и потом оный протопоп, пришед в дом свой, хозяйку оную бил запоркою, которая ко мне с матерью прибежала разбитая, и сие привело меня в сердце, что я, видя, еже судить его некому, велел его призвать к себе, и, покричав, велел посадить в канцелярии на цепь, доколе проспится, ибо было после обеда, и был держан часа два или три, но потом, его свобода, хозяина отослал к воеводе и велел за брань того протопопа достойно наказать, но, чтоб впредь ту причину пресечь, велел его, протопопа, перевести на иной двор, по котором он, протопоп, пришед ко мне, просил прощения и чтоб я в

Синод не доносил, и я для избежания впредь ему поношения о жалобе хозяйкиной не токмо в Синод не доносил, но и в канцелярии записать не велел. Потом его неоднократно просил, чтоб он ходил ко мне чаще обедать, и всегда, когда придет, давал ему стул, с которого он, по-видимому, содержал себя изрядно, и я его употребил себе в духовника, но потом просил он меня, чтоб я здешним попам приходским запретил к офицерам и другим порученной мне команды людям с потребою ходить, в котором я ему, яко непристойном, отказал, и сие привело его на меня жаловаться; он же объявил несколько попов пришлых с собою, желающих служить при комиссии, и требовал на них за треть жалованья, но так как из оных некоторые ни ставленных, ни свидетельства о себе не имели и приняты без моего известия, то я, ни словом его не оскорбя, велел тех попов допросить и в жалованье отказать. Апреля 5 числа пришел он, протопоп, пьян в избу хозяина своего, ударил капрала в щеку, по которому козаки, не утерпя, довольно его, протопопа, побили. Понеже оный протопоп хотя и не часто пьян бывает, но когда напьется, то редко без драки проходит, о чем здесь всем известно, но за страх довольно того берегся, ныне же если дать волю, то опасно большого между чужестранцы стыда; по артикулу же положено для смирения отсылать их к духовному суду, но здесь никоего духовного суда в близости нет, на что всеподданнейше прошу повеления, как повелите в таких случаях с ними впредь поступать».

Наконец, обнаружилась опасность и со стороны киргизов. Воры-башкирцы, видя, что не могут бороться с русскими собственными силами, обратились к киргизскому хану Абул-Хаиру, признавая его своим главою. Абул-Хаир прельстился этою честью, женился на башкирке и начал обнаруживать враждебные намерения относительно России. В конце апреля он привел с собою к Оренбургу немалое число воров-башкирцев, но челобитью которых забрал много верных башкирцев, правил на них скот и на себя заставлял платить штраф. Начальствовавший в Оренбурге майор Останков послал ему сказать, чтоб он не судил по челобитью воров, но хан, вынув саблю, отвечал: «Город мой и для меня построен, а кто не послушает, тому голову отрублю». 9 мая Татищев писал императрице: «О успокоении башкирцев паче всякого чаяния весь мой должный труд уничтожился, и они начали новые нападения чинить. Так как многие их старшины пишут, что все покорится, если штрафных лошадей сложить, то я писал к генералу Соймонову обнадежить, что штраф снимется, если они пришлют знатных людей и будут о том просить, а между тем нет способа силою их к покорности принудить. По посланному от меня ордеру майор Останков бывших при Абул-Хаир-хане из главных воровских старшин Кусяпа да Ахмата-муллу, да посланных от Абул-Хаир-хана в Кайсаки четырех башкирцев схватил и содержит под крепким караулом, и хотя они показали, что Абул-Хаир не только их не успокоил, но возмущал, штрафа платить не велел и сына своего в Башкирии ханом хотел сделать, однако я, опасаясь, чтоб он, хан, осердясь или испугавшись, не отъехал и больше пакости не сделал, писал к нему наскоро, что будто бы майор тех старшин схватил без указа, и обещал наказать виноватого, а к майору писал, чтоб их крепко содержал и хана более прежнего довольствовал. Хотя Абул-Хаир-хан свою присягу нарушил, однако я, взирая на глупую их дикость и опасаясь, чтоб других их салтанов и ханов жестокостью не остращать, намерен с ним ласково обойтись и о погрешностях его разговором выговорить. Хотя я, невзирая на великие во всем недостатки и будучи болен, крайне прилежу, чтоб

скорее в поход выступить и сим воров к покорности принудить, но большое препятствие в том, что офицеров и рядовых очень много больных, чему причиною воздух и здешние серные воды».

На все эти донесения Татищев получил грозный указ: «Мы с великим удивлением и неудовольствием усмотрели, коим образом от бунтующих башкирцев новые замешания начались, а наипаче что и хан Абул-Хаир с ними соединился и имеют злое намерение атаковать Оренбург, чего мы никогда не надеялись, ибо вы в прежних своих доношениях именно обнадеживали весь башкирский народ добрым способом в усмирение и должное покорение привести и что уже многие с повинными приходят и штрафных лошадей приводят. Башкирцев в такое своевольство привело и Абул-Хаир-хан к их стороне стал быть преклонен оттого, что как вы, так и генерал-майор Соймонов в удобное время, когда еще у башкирцев лошади были не накормлены, нималого поиску над ними не учинили и таким своим мешканием дали им повод новые беспокойства заводить. Что же доносит, якобы ваш поход остановился за неприсылкою денег, то когда провиант и ружья есть, то хотя б в прочем и недостаток был, за тем останавливаться и времени терять не надлежало, а вам известно, какой важности сие дело есть. Сим нашим указом вам накрепчайше подтверждаем, что всемерно надлежит вам со всею своею командою к Оренбургу поспешать без всякого отлагательства, а ежели над оным городом учинится гибель или людям урон, то особливо вы в том пред нами дадите ответ, ибо мы оную крепость отнюдь потерять не хотим».

Татищев поспешил походом, застал в Оренбурге все благополучно, свиделся с Абул-Хаиром, заставил его подтвердить свое подданство России, хотя хан долго не соглашался подписываться рабом. Абул-Хаир говорил: «Человек живет в свете и детьми память о себе оставляет, но сия память и скоту равна есть, а честь, приобретенная человеку, вовеки не умирает, и я тем ныне наиболее должен радоваться, что мое имя в так великом и славном государстве известно». Татищев сказал на это: «Не только у нас, но и во всей Европе будет известно, потому что у нас такие дела напечатают и всюду разошлют». Киргизы подрались за подарки, данные им Татищевым, Абул-Хаир сказал при этом: «Пожалуй, не осуди, что этот дикий народ так бесчинен, а мне очень приятно, что они теперь тем хвастают, чему прежде смеялись и ругались». Татищев писал кабинет-министрам: «Сей народ столько глуп, что без стыда просят и за столом наставленные конфеты, собирая, в платки вяжут, а тарелки, ложки, ножи серебряные класть пред ними нельзя, и хотя некоторые из знатных тут их бранят, но мало помогает; да и хан, которому я быков, баранов, круп и прочего посылал, не постыдился все это прислать продавать и у меня опять просить, и я принужден вареное и жареное мясо ежедневно посылать. Хан, по-видимому, великое усердие и покорность имеет, ибо его в том польза, но очень непостоянен, его же мало и слушают, а более всех силы имеют Средней орды Жанибек-батырь да Чурек, а в Меньшой – Букей-бай-батырь, которых я, как казенным, так и моим довольно одаря, отпустил. По прибытии моем здешнюю крепость нашел я в ужасном состоянии: оплетена была хворостом, и ров полтора аршина ширины, а сажень на 50 и рва не было, так что зимою волки в городе лошадей поедали. Ныне, сколько время допустило, поправил, ров выкопал 5 аршин ширины, 3 глубины и едва невесь вал снаружи дерном заклат; только с сожалением вижу, как у нас инженерные офицеры в

практике искусства и рассуждения не имеют. В заключение принужден донести, что денег при комиссии ничего нет и солдаты без жалованья целый год претерпевают крайнюю нужду, также провиантским подрядчикам заплатить нечем».

В конце августа Татищев отправил с купеческим караваном поручика Миллера в Ташкент, давши ему наказ вытребовать бес пошлинную для русских купцов торговлю и постараться съездить в бухарские города. За купцами строго смотреть, чтоб жили смирно, с тамошними купцами правильно и порядочно поступали и никаких обманов не употребляли. По дороге реки, озера, горы примечать и записывать с расстоянием, особливо когда будет на Сыр-Дарье. В Ташкенте разведывать о состоянии, силе и власти хана, о силе, власти и порядках магистрата; смотреть, какие товары русские и в каком количестве там могут быть проданы, какие товары, нам нужные, у них есть или сделаны быть могут, сколько в год золота получить можно и дорогих камней. Русским купцам иметь крепкое согласие и поодиночке не торговаться, но с согласия всех. Старательно наведываться о русских пленных и требовать от хана их освобождения; когда не согласится, то выкупать, если не очень дорого будут просить. Если узнается о золотой или серебряной руде, то достать несколько фунтов я место, где находится, записать. Между прочими товарами стараться купить бумаги хлопчатой, тонкой, пряденой пуд 10, особливо, если можно, крашеной, разных цветов, только бы крашены было не линеее, и наведаться, где у них лучше всего прядут и красят. Говорить тамошним купцам, чтоб привозили шерсти верблюжьей хотя по 500 пудов, особливо белой, также бумажные полотна и хорошие выбойки и шелковые материи широкие и хороших цветов; показывать им немецкие выбойки и, как лучше товары делать, разговорами наставлять.

Что касается башкирцев, то они разбойничали только тогда, когда с русской, стороны движение останавливалось или замедлялось, и тотчас же являлись с повинною, как скоро видели наступление русских полков; так и теперь поход Соймонова в горы заставил их смириться и выдать главного возмутителя Бепеню. В конце 1738 года, поздравляя кабинет-министров с усмирением башкирцев, Татищев просился приехать в Петербург, что ему и было дозволено. Приехавши в Петербург, Татищев 20 февраля подал императрице доношение, в котором настаивал, что место, выбранное Кирилловым для Оренбурга, неудобно: место низкое, отделенное от всех русских городов высокими горами, бесплодное, безлесное; что удобнее место найдено им, Татищевым, в 140 верстах, при урочище Красная Гора. Кабинет-министры, обсудив донесение Татищева вместе с ним, решили: город Оренбург строить при Красной Горе, а прежний Оренбург называть Орскою крепостью; в помощь Татищеву определить двоих советников да асессора; строение на Аральском море города отложить до времени. Но вне Кабинета распорядились иначе: вместо Татищева назначен был генерал-лейтенант князь Василий Урусов, которому поручили все башкирские дела, потому что Соймонов переводился вице-губернатором в Казань.

Князь Урусов в марте 1740 года донес из Самары, что между башкирцами, именно по Сибирской дороге, явился новый возмутитель, по одним известиям – турок, по другим – кубанец именем Салтан-Гирей, прозвищем Карасакал, или Черная Борода. Он разглашает, что имеет силы 82000 человек, живет на реке Кубани, а старое его жилище в Башкирии, и потому старается возвратить себе

прежние юрты. Услышав о башкирском разорении, он приехал с 8000 кубанского войска, с 2000 калмыков и с 500 киргизов; войско это он оставил в вершинах реки Эмбы, а сам приехал для проведования о башкирском житье-бытье; войско его придет скоро и вместе с башкирцами станет разорять русские жилища. Башкирцы верят обманщику, волнуются и провозгласили уже Карасакала ханом. В апреле Урусов извещал, что Карасакал посланными против него партиями не только не искоренен, но усиливается большим числом воровских башкирцев, которые уже начали нападать на верных. Впрочем, воры, услышав о движении русских войск, очень жалеют, что рано объявили Карасакала и начали рано бунтовать; говорят, что если к Карасакалу обещанного им войска не будет, то они его выдадут русскому начальству. Урусов писал: «Вышеписанные обстоятельства довольно показывают, что то происшедшее замешание инако прекращено быть не может, как только силою оружия и причинением тем ворами *потомственного* страха, ибо много оказываемое к ним высочайшее милосердие в нечувствительных их воровских сердцах, почитай, никакой желаемой спокойности не учинило, да и всегда такие милосердые наказания по жестокосердию сего народа к лучшему споспешествовать едва могут ли». В мае командовавший русским отрядом с Сибирской стороны полковник Арсеньев поймал главнейшего вора и зачинщика башкирца Аландзиангула, который показал, что Карасакал вовсе не кубанец, а башкирец Ногайской дороги, у которого там дом, мать, братья, жена и дети, а султаном и ханом назвал его он, Аландзиангул, с другими воровскими башкирцами для возмущения прочих; они же разгласили и о войске Карасакаловом, которого никогда не бывало. В июне Карасакал, испугавшись сильных движений русских войск, перешел с своею шайкою Яик и побежал в степь, за ним погнался подполковник Павлуцкий и близ Тобола нанес несколько поражений, но вор ушел далее в степь. Павлуцкий не мог за ним гнаться за присталью лошадей. В июле Урусов получил известие, что Карасакал пойман киргизами. Тогда для *потомственного* страха всему башкирскому народу перевешали и отрубили головы 170 башкирцам, захваченным на возмущении, да в разных командах прежде казнено было 432 человека; роздано разных чинов людям 1862, отослано в остзейские полки и во флот 135, воровских деревень пожжено 107.

Но для утверждения своей власти в отдаленных восточных окраинах правительство считало нужным казнить не одних бунтующих башкирцев. Сибирь продолжала быть театром вопиющих воеводских злоупотреблений. В 1736 году Сибирь, находившаяся до сих пор вся в управлении одного губернатора, разделена была относительно управления на две части – западную и восточную; в восточную часть, в Иркутскую провинцию, был назначен вице-губернатор, совершенно независимый от губернатора западной Сибири, жившего в Тобольске; оба были подчинены Сибирскому приказу. В том же году отсечена была голова иркутскому вице-губернатору Жолобову за взятки, за дружеское обращение с шельмованными людьми, которые были сосланы за важные вины; против офицеров, посланных арестовать его, обнажил шпагу; пренебрегал донесениями о важных делах, сам брал с ясных людей взятки, а казенного сбора упустил 8230 соболей; тайно провозил товары, с крестьян сбирал подати на себя, удерживал козацкое жалованье; китайских перебежчиков за взятки не высылал за границу в противность мирного договора; отбирал у дворян земли и отдавал своевольно

пашенным крестьянам за взятки; беспорядочными поступками нажил 34821 рубль, пытал безвинно, жег огнем. В начале 1739 года дан был Сенату любопытный указ относительно Сибири: «Во многих городах Сибирской губернии определены воеводами из тамошних обывателей, а именно: из купечества и козаков и прочих тому подобных, которые браны в рекруты и дослужились офицерских рангов, в том числе и не умеющие грамоте, а иные, не служа, написаны из козаков в дворяне и воеводы, також и бывшие у некоторых персон в холопстве, да и такие, которые бывали в розысках и наказаниях, а потом чрез их происки воеводами ж определены, и понеже оные люди к таким делам произыскивают не для того, чтоб им труд и радение показать, но чтоб только самим обогатиться, и потому в правлении дел и доброго порядка и пополнения государственных доходов ожидать от них невозможно. Того ради указали мы в оную Сибирскую губернию выбрать воеводами из знатного шляхетства добрых и пожиточных и совестных людей и, росписав, кому из них в котором городе быть, отправить туда без всякого замедления».

Между тем хлопотали об извлечении возможных выгод из соседства Сибири с Восточным океаном. Капитан-командир Беринг по возвращении из своего путешествия, которым подтвердилась отдельность Азии от Америки, представил, что далее Оста море волнами поднимается, также и на берег острова Караганского выбросило большой сосновый лес, который в Камчатке не растет, поэтому он предполагает, что Америка или другие между нею и Азиею лежащие земли недалеко от Камчатки, и если подлинно так, то можно с ними установить торговлю. По этому представлению Сенат приказал: идти ему, Берингу, на морских судах для проведования новых земель, лежащих между Америкою и Камчаткою, также островов, идущих от Камчатского носа к Японии, для установления торгов и наложения ясака на народы, никому не подвластные; только того накрепко остерегаться, чтоб не зайти в такие американские и азиатские места, которые уже находятся под владением европейских государей или китайского богдыхана и японского хана, чтоб не возбудить подозрения и не открыть своим приездом пути к камчатским берегам, у которых, при нынешнем тамошнем малолюдстве, они могут занять нужные пристани. В Охотске Берингу велено было увеличить народонаселение, завести хлебопашество и пристань с малою судовой верфию; к отправленным из Адмиралтейства троим штурманам и шести матросам придать молодых козацких сыновей и обучать их морскому ходу, чтоб там своих штурманов и матросов завести; устроить в Охотске школу не для одной грамоты, но и для цифири и навигации. Морские суда Беринг должен был строить на реке Камчатке или где найдет удобнее. Командиры должны были смотреть накрепко, чтоб камчадалы больных из своих домов или юрт не выбрасывали, сами себя не умерщвляли, утопающих спасали. Для исследования земель по берегам Северного моря Беринг должен был послать добрых и знающих людей водою или сухим путем.

Заботились об охране берегов Восточного океана, но скоро движения Швеции, подогреваемые Франциею, заставили заботиться о безопасности балтийских берегов, приобретенных недавно с такими усилиями.

В начале 1735 года Мих. Петр. Бестужев-Рюмин прислал своему двору содержание ответа секретной комиссии на секретные предложения короля. Здесь относительно России говорилось, что эта держава заслуживает великого

внимания: «Она похитила у нас все наши крепости и защиты, привела нас в нестерпимую зависимость от себя и в такое опасное положение, что и сама столица подвержена ее нападениям и угрозам; поэтому справедливо принимать против нее всякие меры, ибо в ней мы имеем сильного и насилующего соседа, если государство наше в прежнее состояние и безопасность не приведет. Но так как наше оборонительное состояние слабо и недостаточно, то необходимость требует примечать конъюнктуры, ибо для получения назад потерянных провинций кроме датского союза надобны субсидии и помощь других наций; конъюнктуры в настоящее время оказываются неудобными, следовательно, всего лучше оказывать России доверенность и дружбу. Нужно избегать, сколько можно, возобновления союза, но когда срок договора окончится, то в воле короля и Сената поступить, смотря по обстоятельствам. Так как Россия без просьбы в польские беспокойства вмешалась и низвергает там королей и ставит новых, что подобает одному всевышнему, притом стеснила вольности нации и неслыханные насилия причинила, поэтому возбудила против себя зависть и ненависть всех благонамеренных держав. Эти чувства, может быть, вскоре выйдут наружу, и тогда Швеции надобно иметь свободные руки, не связанные никаким союзным договором с Россиею. Пруссия – непостоянный, своекорыстный и очень ненадежный сосед. Польша своим несчастным состоянием подает Швеции пример, что могут произвести несогласие и своекорыстие, особенно при королевском избрании. Шведский интерес требует защищать короля Станислава и Польшу как для общей свободы, так и для сохранения французской дружбы. Надобно и другим державам открыть глаза насчет поступка России с послом Монти вопреки народному праву, чтоб узнали русскую гордость и безмерную силу. Французскую доверенность и дружбу надобно всякими мерами сохранять и утверждать: наш общий с Франциею интерес усилен теперь защитой польской вольности, и хотя Франция не раз охраняла шведский интерес не так, как должно, однако во всей Европе она для нас надежнейшая и полезнейшая держава, одна в состоянии давать нам достаточные субсидии и морем давать помощь. Отношения к Турции у Швеции почти одинаковы с отношениями к Франции: дружба ее нам полезна для сокращения русской безмерной силы, поэтому мы всячески должны стараться сохранять и усиливать дружбу с Портою, и надобно как можно скорее отправить туда аккредитованного министра».

Указания на неблагоприятные конъюнктуры для разрыва с Россиею не нравились горячим патриотам; один член секретной комиссии говорил: «Надобно жалеть, что мы нынешними конъюнктурами не пользовались и войска на помощь Станиславу не послали, особенно в то время, когда город Данциг еще не покорился; мы все ждем революции в России, ждем уже 14 лет и все не дождемся; видно, мы до тех пор будем ждать, когда небо на Россию упадет и всех подавит; тогда нам полезная конъюнктура будет».

Вслед за этими известиями Бестужев донес, что французский посол предложил 500000 ежегодных субсидий с условием, чтоб Швеция не вступала ни в какие обязательства с врагами Франции. Бестужев начал всюду внушать, что это условие не только тяжело, но и бесчестно, потому что Франция хочет Швеции связать руки и распорядиться ею. Бестужев сильно сердился на Англию, которая не хотела соперничать с Франциею в предложении субсидий. «От английского двора, – писал он, – по сие время ничего нет, и богу известно, когда от него что

родится; трудно понять, почему Англия так долго медлит своими предложениями; если с английской стороны и теперь так же слабо будет поступлено, как и на прошлом сейме, то король против воли принужден будет принять французские субсидии». Король на охоте открыл Бестужеву и цесарскому министру, что Франция и ему, как ландграфу гессенскому, предложила особливые субсидии, только он такой дал ответ, что в другой раз не заикнется о том более. «Граф Горн, – писал Бестужев, – по-прежнему у короля в кредит приходит; этот министр теперь со мной очень ласков и откровенен, и я всячески склоняю его к русской стороне». На предложения французского посла Сенат отвечал, что за предложенные субсидии Швеция обещает не заключать наступательных союзов против Франции, но договоры, которые Швеция имеет теперь с другими державами, остаются в прежней силе; также Швеция сохраняет за собою право и впредь вступать в обязательства со всеми державами, с какими заблагорассудит, и возобновлять старые договоры. Французский посол остался очень недоволен этим ответом. В апреле Бестужев писал, что был он у графа Горна вместе с цесарским, саксонским и английским министрами и в это же время приехал к нему король нечаянно, а за ним и французский посол. Увидав такое общество, француз очень смутился, и, когда король поехал домой и все гости проводили его до кареты, один французский посол не двинулся с места. Горн сказал по этому случаю Бестужеву: «Король и так посла французского любит, а после такого поступка особенно будет его уважать».

В июне французский посол объявил, что его правительство склоняется на все шведские требования с одним условием, чтоб Швеция никому не давала своих войск против Франции. Эта нечаянная французская податливость чрезвычайно встревожила короля и министерство: никогда они не воображали, чтоб Франция согласилась давать такие большие субсидии безо всякой для себя пользы. Граф Горн сказал Бестужеву, что скупость английского двора заставляет их против воли принять французские субсидии. Его намерение было заключить сначала договор с Англиею, а потом возобновить договор с Россиею, но так как с английской стороны теперь более ожидать нечего, то он приглашает его, Бестужева, сделать формальное предложение о возобновлении союза, чего король и все благонамеренные люди сильно желают. Короля нашел Бестужев неутешным и в сильном раздражении оттого, что насильно принужден принять французские субсидии. Бестужев посоветовался с цесарским и английским министрами, и те объявили ему, что теперь настоящее время делать предложение о возобновлении союза. Предложение было сделано немедленно, принято Сенатом единодушно, и назначены были комиссары для конференций с Бестужевым об условиях союза. Французский посол явно показывал свое неудовольствие и с своими сторонниками употреблял всевозможные способы воспрепятствовать русскому делу, внушал не только в Стокгольме, но и в провинции, разослал письма с нареканиями на графа Горна и министерство, что они возобновлением союза с Россиею отнимают у Швеции французские субсидии. В конференциях потребовали от Бестужева внесения в договор одного нового пункта – что король и Корона Шведская происшедшие в Польше беспокойства и их следствия не признают за «союзный случай» (*casus foederis*), т.е. Россия не имеет права требовать у Швеции войска для войны с Польшею по этому случаю. Бестужев соглашался подписать договор только *б надежде* на апробацию императрицы.

Горн сказал ему, что если б против него не употреблялось столько происков и коварств, то он бы и не подумал требовать такой предосторожности, ибо уверен, что сама императрица никогда не признает польского дела за *casus foederis*: и если Бестужев подпишет договор с прибавкою *в надежде* на апробацию императрицы, то у французской партии останется еще мысль о возможности остановить заключение русского договора, но если он будет подписан немедленно безо всяких оговорок, то он, Горн, с своими надеется, что Франция перервет переговоры о субсидиях и Швеция останется с свободными руками Бестужев согласился подписать безо всякой оговорки. Но между тем Кастежа требовал, чтоб в Сенате прочитано было письмо к нему от хранителя печати; в письме говорилось, чтоб Швеция отнюдь не возобновляла союза с Россиею, ибо шведские министры сами понимают, какой вред принесет это Станиславу Лещинскому; притом известно, что Россия от польской войны и от посылки вспомогательного войска в Германию так ослабела, что принуждена возвратить Персии завоеванные провинции, и что турки намерены объявить России войну. Действительно, получено было известие из Константинополя о готовящемся предложении Порты, что если Швеция вступит с нею в наступательный союз, то Порта не только откажется от должных ей Швециею денег, но еще будет платить по 500000 ежегодных субсидий. На этом основании сенаторы французской партии представляли, что не следует спешить заключением союза с Россиею, а надобно подождать турецкого предложения. Но Горн возражал, что не должно обращать внимания на такие слухи, ибо турецкое непостоянство хорошо известно, да и прилично ли Короне Шведской вступать в союз с неверными, и так как переговоры с русским послом уже кончены, то прилично ли оттягивать заключение договора без всякой важной причины и возбуждать справедливое подозрение России. Король сильно поддерживал Горна, и после многих споров большинство голосов решило, чтоб на другой же день заключить договор с Бестужевым, что и сделано 5 августа. Французской партии осталось срывать свое сердце на комиссарах, бывших в конференции с Бестужевым разглашая, что все они были подкуплены. Правительство поспешило напечатать договор, но противная партия скупала экземпляры и жгла их.

В начале 1736 года Бестужев доносил о торжестве русской партии в Сенате по поводу турецких и французских дел, но это торжество только приводило в большее ожесточение противную партию, которая употребляла все средства, чтоб отнять доверие народа у министерства. Когда Горн объявил французскому посланнику, что необходимость заставила короля согласиться на возобновление союза с Россиею, который, однако, не так связывает ему руки, чтоб не было возможности при удобном случае удовлетворить желаниям Франции, то граф Кастежа в ответ осыпал Горна упреками, называя возобновление союза с Россиею поступком опрометчивым, оскорбительным для короля французского, постыдным для Швеции. Кастежа и Горн поговорили так крупно, что после того уже не видались, разве очень редко при дворе. Кастежа начал всюду бить в набат против Горна и подал государственному секретарю меморию, в которой жаловался королю на излишнюю поспешность его министра и грозился дать знать о деле сейму, будучи уверен, что государственные чины не одобряют договора с Россиею. Король, оскорбленный этою угрозою, потребовал, чтоб французское правительство отозвало Кастежа, что и было исполнено, но Кастежа действовал не один: взволнованная им молодежь отзывалась с презрением о короле, Горне и всей

его партии. Один иностранный министр заметил Горну, что надобно остановить дерзость молодых людей, но Горн отвечал: «Надобно оставить нашей молодежи удовольствие вести войну с министерством и с Россиею за карточным столом. Безделица может превратиться во что-нибудь важное, если заняться ею. Вино из погреба французского посланника отуманило нашу молодежь, надобно дать ей вытрезвиться». Но сторону молодежи приняли стокгольмские дамы. Начали пить два тоста, которые послужили отметкою партий. Дамы, стоявшие за войну, пили тост: «Was wir lieben»; во главе этой партии стояли три дамы: графиня Ливен, графиня Делагарди и баронесса Будденброк. Графиня Бонде пила при тосте: «Ich denk mirs» – и была представительницею мирной партии. Не проходило ни одной пирушки, где бы различие между этими двумя тостами не было причиною ссор и поединков. Молодые люди начали дарить воинственным дамам ленты, сложенные в форме мужской шляпы, также табакерки и игольники в форме шляп для означения героизма этих дам. Отсюда воинственная партия получила название *партии шляп* в отличие от противной, мирной партии, которой дали название *партии ночных колпаков*. Из верхних слоев два тоста проникли и в нижние, и скоро не было ни одного мещанского дома, куда бы они не внесли раздора, не порознили членов семейства; из мещанских домов тосты перешли к гвардейским солдатам и черни: везде пили, везде спорили. Середина 1736 года прошла тихо, но в конце пошел опять разговор о турецких предложениях, что если Швеция захочет отвлечь русские силы объявлением войны, то Порта обещает дать столько денег, сколько Швеция потребует, и до тех пор не положит оружия, пока шведы отберут у России все свои потерянные провинции; французский посол начал при этом внушать, что Франция готова давать субсидии не только по четвертям года, но вдруг на целый год, если только Швеция предпримет что-нибудь против России. Но ничто не встревожило так Бестужева, как разглашение о чрезвычайном сейме, потому что если б противная партия настояла на его сознании, то это было бы знаком падения русской стороны. Бестужев обратился к Горну и получил такой ответ: «Сами можете легко рассудить, что с турецкой стороны нельзя обойтись без попытки поссорить нас с Россиею к чему здешние турки и французы не перестают употреблять всевозможные интриги. Но, слава богу, король и большая часть сенаторов твердо стоят в одном мнении со мною; король говорит что для войны надобно иметь важные и справедливые причины и добрую совесть, чтоб получить божие благословение; потом надобно иметь все средства к войне, не надеясь на помощь и субсидии других держав. Что же касается чрезвычайного сейма, то будьте покойны и не удостоивайте противную партию чести вашего подозрения. Но когда обыкновенный сейм будет, то ее величеств изволила бы не оставить здесь своих друзей и поддерживать их чтоб противную партию совсем ниспровергнуть». Бестужев обнадежил его, что императрица крепко будет поддерживать своих друзей на будущем сейме. В Сенате Горн говорил: «Еще у нас в свежей памяти, как турки при Пруте, несмотря на все представления покойного короля, заключили мир с Россиею с исключением Швеции. Можно ли полагаться на неверных? Притом расстояния так велики, что и в полгода не узнаем о заключении мира между Россиею и Турциею, а заключение мира зависит от России: отдаст туркам Азов, и мир заключен. Россия свою пользу хорошо знает: скорее туркам что-нибудь уступит, чем приведет в опасность приобретенные от нас провинции, свой флот, свою столицу, стоившую столько людей и денег; король

датский должен будет помогать России вследствие оборонительного союза, а король прусский ждет только случая вырвать из рук наших Штральзунд. Морские державы для торговли не охотно будут видеть войну на севере и нападчику помогать не будут».

В Петербурге сочли нужным наградить Горна за такие услуги, и к Бестужеву отправлены были для него богатые подарки. Горн долго отговаривался принять их; наконец принял с такою предосторожностью: гофмейстер Горна, присланный для принятия подарков к Бестужеву, представил последнему ассигнацию на банк, как будто вещи выписаны Бестужевым для Горна за деньги; Бестужев принял ассигнацию, дал гофмейстеру квитанцию в ее получении и на другой день отвез Горну его ассигнацию назад. Это было в апреле 1737 года, а в апреле 1738 года Бестужев доносил, что после восстановления сношений между Россией и Франциею и видя дружественное обхождение его, Бестужева, с новым французским послом С.-Северином противная партия очень ослабела. Она никак не ожидала, чтоб Франция предложила свое посредничество в примирении России с Портою. Некоторые из этой партии были у С.-Северина с представлениями о своих делах и получили такой ответ, что он прислан не партии заводить, а аккредитован у короля и министерства и пока между шведами будут происходить несогласия, Франция Швециею пользоваться не может. Но в начале мая Бестужев донес, что со стороны Порты возобновлено предложение о наступательном союзе против России. Горн, разговаривая с ним об этом, сказал: «Я ни султана, ни визиря, ни Вонневаля, ни Гилленборга, ни Гепкина никогда не любил, а теперь и больше их возненавидел; надеюсь с божиею помощью, что все они с долгим носом останутся, а вы с своими друзьями должны стараться, чтоб в маршалы будущего сейма выбрали камер-президента Палмфельда: человек он доброжелательный и добрый патриот, потому что противная партия, разумеется, не дремлет и употребляет все на свете для ниспровержения министерства». Французский посол заподозрил себя тем, что начал выхвалять поведение шведских агентов в Константинополе Гепкина и Карльсона, которые были жаркими приверженцами французской партии и турецкого союза; пошел также слух, что С.-Северин помогает противной министерству партии в выборе сеймового маршала.

Наступило самое заботливое время – открытие сейма, и при таких важных обстоятельствах. Что сейм будет не чета прежним, показывало уже то, что на него съехалось такое множество дворянства, какого не бывало прежде, особенно приехало много финляндцев, которые вообще обнаруживали желание мира, но офицеры и стокгольмская молодежь по кофейным и погребкам требовали войны и ниспровержения министерства. Бестужев надеялся, что министерство победит, если только король будет постоянно на его стороне. Соперником Палмфельда, кандидатом противной партии был граф Тессин. Королева, надеясь на свою популярность, велела объявить дворянству, что она не желает избрания Тессина. Как скоро это стало известно, то на площади, где обыкновенно дворянство сходилось для совещаний, поднялся страшный шум и крик: кричали, что нарушается их вольность, королева запрещает выбирать того, кого они хотят, вследствие чего партия Тессина сейчас же увеличилась, и Тессин был выбран 525 голосами, тогда как Палмфельд получил только 140, какого большинства ни на одном сейме не было. После такой неизвинительной ошибки двору и

министерству оставалось одно средство – хлопотать, чтоб по крайней мере в секретную комиссию были выбраны люди их стороны. Но удар следовал за ударом; сначала должно было избрать 24 избирателя, которые и должны были выбрать 50 членов секретной комиссии: все 24 человека были выбраны из Гилленборговой партии, французского духа, большая часть между ними – ребяташки никуда негодные, по отзыву Бестужева. Французский посол, видя явное торжество своей партии, снял маску и начал прямо действовать против министерства. Но свергнуть министерство было трудно потому, что его поддерживал король; чтоб заставить короля покинуть министерство, начали стращать его опасностью, которой подвергается его любовница: начали кричать, что она мешается в дела, раздаёт должности, а отец ее, сенатор граф Таубе, за то деньги получает. Бестужев вместе с английским министром Финчем хлопотали об удержании короля при министерстве; королевские конфиденты обнадеживали их, что король не отступит от министерства, если только оно будет стоять твердо, т.е. если все члены его будут согласны между собою.

Объявлены были имена членов секретной комиссии: из 50 человек только пять или шесть были для Бестужева неподозрительны, остальные все – Гилленборговой партии, большая часть из них – люди молодые, много глупых и ни к чему не годных, по отзыву Бестужева, так что благоразумные люди и противной министерству партии с графом Тессинем во главе были недовольны такими выборами. «Поддай, всевышний, – писал Бестужев, – добрых известий из армии вашего величества, чего наши друзья здесь от сердца желают: тогда все дела здесь иначе пойдут; сохрани, боже, от дурных известий, тогда крику и шуму здесь довольно будет. Между молодым шляхетством и офицерством охота к войне еще продолжается». Горн просил Бестужева недели две или три с ним не видаться, пока страсти успокоятся. Французский посол, получа от своего двора 50000 ефимков, поддерживал ими свою партию, но очень скрытно. Цель французского двора, по письмам Бестужева, состояла в том, чтоб привести в доброе согласие Швецию с Даниею, устроить тройной союз и держать обе скандинавские державы в своем распоряжении. «Я не слышу, – доносил Бестужев, – чтоб французский посол побуждал здешний народ к войне против России, да и не для чего ему этого делать, потому что у здешнего офицерства и без того довольно охоты и склонности к войне. Так как в дворянской палате большая часть офицеров находится, то большинство этой палаты нам противно; в духовном чине большинство на нашей стороне; относительно гражданского чина я не имею полной уверенности, хотя и сделан подкуп, но и с противной стороны действуют также деньги; крестьянский чин держится короля и министров, как меня обнадеживали мои друзья».

30 июня Бестужев доносил, что в секретной комиссии решено было отправить осенью обещанный туркам за долг Карла XII корабль и 10000 мушкетов, остальные же 20000 мушкетов послать в будущем году. Так как упомянутые выше предложения наступательного союза заключались в письмах визиря и Бонневаля, то решено было, чтоб визирю отвечал сам король, а Бонневалю – граф Бонди. «Не известно, – писал Бестужев, – какую дорогою поедет курьер с этими депешами. Я уведомился, что майор Синклер, который в прошлом году был шпионом во Львове и теперь сидит в секретной комиссии, сам предложил, чтоб его опять туда послать для наблюдения, что будет происходить в

армии вашего величества. Слышу, что он и отправился очень тайно, и, может быть, с ним пошлются дубликаты тех депеш, которые он может отдать туркам в Хотине, сам будет держаться около тех мест и шпионить, а поляков возбуждать против короля их и России, как он в прошлом году делал. Будучи великим злодеем и поносителем всей российской нации, он действует здесь против короля и министерства. Мое мнение, чтоб его „анлевировать“, а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки или кто-нибудь другой. Я обнадежен, что такой поступок с Синклером будет приятен королю и министерству».

Курьер отправился в Константинополь через Марсель, повез письма к визирю и Бонневалю, состоявшие в одних комплиментах, но в инструкции шведским агентам при Порте было сказано, чтоб они не королевским именем, а сами собою внушали туркам не спешить миром с Россией и выспрашивали бы, чем Порта вознаградит Швецию, если она объявит войну России. Дубликаты этих депеш должен был везти Синклер. Бестужев повторял в своем донесении: «Весьма потребно сего бездельного человека стеречь и его анлевировать яко шпиона, о чем мне от знатнейших персон под рукою дано знать, и я весьма обнадежен, что королю и министерству оное весьма приятно будет». В следующем донесении, повторяя то же о Синклере, Бестужев прибавил: «Я обнадежен, что взыскивать не станут».

В августе король тяжело занемог; противная партия стала пользоваться этим для своих целей; тогда другая партия убедила короля, чтоб он на время своей болезни поручил правление королеве; это сильно не понравилось противной партии, ибо известно было, что королева будет поддерживать министерство, только с большею твердостью и постоянством, чем муж ее. Бестужев писал, что дела поправляются, жар к войне потухает; что касается поведения французского посла, то он отговаривал от войны, представляя, что теперь не время, но когда Бестужев заговаривал с ним о сохранении настоящего шведского министерства, то он от таких разговоров уклонялся; так же поступал и кардинал Флери в разговорах с цесарским министром при французском дворе. В октябре С.-Северин предложил шведскому правительству субсидии на три года, по 300000 ефимков на год, с тем только, чтоб Швеция обязалась на десять лет не вступать ни с какою державою ни в какие обязательства без сообщения и согласия Франции, которая взаимно обязывается тем же. Предложение, разумеется, было принято. Английский министр Финч сильно встревожился и говорил Бестужеву, чтоб тот постарался отклонить французские предложения, на что будто бы, по письмам Рондо из Петербурга, он получил 50000 ефимков. Бестужев отвечал, что денег не прислано, но если б они и были присланы, то теперь уже поздно действовать, ибо французские предложения таковы, что ни один швед противиться им не будет и не посмеет; от принятия французских субсидий могли бы удержать одни английские. Друзья Англии сильно сердились и прямо говорили Финчу, что Англия друзей своих покинула: если б она не поскупилась и предложила субсидии в удобное время, то, конечно, ее субсидии были бы приняты, и Швеция осталась бы в английских руках. Но французская партия была также недовольна Франциею: она надеялась, что в предложении субсидий будут такие пункты, которые бы содействовали низвержению министерства и замыслам партии против России. В декабре Бестужев снова известил о Синклере: шведские агенты в Константинополе дали знать, что надеются вскоре прислать в Швецию с

депешами Синклера, о котором в Стокгольме все думали, что пропал, изрублен или повешен, как шпион. Секретная комиссия чрезвычайно обрадовалась, что Синклер жив. По этому случаю Бестужев писал: «Надобно чаять, что он поедет через Польшу, и весьма кажется потребно этого шпиона анлевировать. Я обнадежен, что здесь не будет сказано об этом ни слова, ибо никто не надеется, чтоб он так счастливо проехал; все думали, что он сюда назад не возвратится».

Сейм не кончился в 1738 году, перешел на следующий год вследствие того, что городское сословие соединилось с дворянством против духовенства и крестьян. Эта измена *биргеров*, на угощение и подарки которым было истрачено много русских денег, опечалила Бестужева, равно как и добровольный выход Горна из министерства. Несмотря на то, он обнадеживал свой двор, что опасности нет, что французский посол не интригует против России, жар к войне с нею у шведов потух и они обращают свое внимание на Германию, там ищут добычи по поводу столкновения Ганновера с Даниею, а главное, не делается никаких военных приготовлений. Но с февраля 1739 года Бестужев начал сообщать тревожные известия о поступках секретной комиссии: пять сенаторов были удалены из Сената за то, что поспешили заключить союзный договор с Россиею; сейм подтвердил решение секретной комиссии опять вследствие перевеса, который дали противной партии *биргеры*, присоединившись к дворянству. Говорили, что французская партия в одну ночь раздала биргерам с лишком 6000 ефимков. Бестужев писал: «Такой насильственный поступок французской партии около двухсот знатнейших фамилий так озлобил, что, пока живы, никогда этого не забудут и будут искать случая отомстить. Такая страшная вражда партий в здешней нации интересам вашего величества теперь и всегда может быть только полезна. Слышно, что на этом сейме противная сторона истратила около 300000 ефимков, а министр английский Финч уверял меня, что больше. Голштинская партия, как слышу, немало усилилась, и голштинский министр недавно начал угощать у себя в доме офицеров гвардии и артиллерии, которые королю недоброжелательны».

Из Петербурга посланы были в Париж Кантемиру указы – настаивать, чтоб, во-первых, французский двор не помогал шведской неготиации при Порте; во-вторых, чтоб французские послы в Стокгольме и Константинополе действовали против этой неготиации королевскими декларациями и чтоб эти декларации были точны и решительны, а не в общих выражениях. Кантемир отвечал, что если не почитать Флери и Амелота совершенно бессовестными людьми, то нельзя сомневаться, что первое желание императрицы исполнено: так сильны обнадеживания, сделанные ими ему, Кантемиру, и цесарским министрам. Но к исполнению второго желания он не видит здесь никакой склонности: французские министры уклоняются от этого исполнения на том основании, что могут сделаться подозрительны Порте, потеряют чрез это ее доверенность и лишат себя возможности продолжать медиацию; Турция, говорили они, так мало заботится о народном праве, что посадит Вильнева в тюрьму, как скоро увидит, что французское правительство сопротивляется союзу Швеции с нею. По мнению Остермана, Кантемир должен был объявить французскому министерству, что если французская деликатность относительно Порты еще может иметь какое-нибудь основание, то относительно Швеции невозможно понять, каким образом такая деликатность может считаться нужною для французских интересов. Одно

объяснение могло бы быть – если б Франция подлинно желала продолжения войны между Россиею и Турциею, чего предполагать нельзя. Какой вред мог бы произойти, если б Франция прямо объявила в Швеции, что замыслы относительно сближения с Портою 1) несостоятельны, 2) для самой Швеции опасны, 3) французским интересам противно все то, что теперь или на будущее время может подать повод к новым беспокойствам на севере, следовательно, 4) Франция не может допустить исполнения шведских замыслов и считает их противными последней конвенции своей с Швециею. Французским интересам нисколько не может повредить, если Франция и Порте прямо объявит, что война России с Швециею французским интересам противна, а Порте никогда от нее никакой пользы не будет и что Франция должна это объявить как верный друг Порты и посредница в мирных переговорах. Но Кантемир давал знать, что кардинал нимало не склонен явно сопротивляться союзу между Швециею и Портою, желая сохранить свой кредит у обоих этих дворов, хотя и нет основания подозревать, что он станет содействовать переговорам об этом союзе, ибо он так его, Кантемира, и цесарских министров в этом обнадеживает, что надобно быть ему совершенно бессовестным, если эти обнадеживания неискренни. Флери говорил Кантемиру, что он всегда почитал С.-Северина честным и искусным в своем деле человеком, потому крепко надеется, что он точно исполнил королевские указы относительно сношений Швеции с Портою и не преминул бы донести, если бы на шведском сейме усматривались какие военные замыслы или намерения вступить в союз с Портою, но, напротив того, С.-Северин подтверждает, что такого намерения принято не было и никаких военных приготовлений не видит. «Для прекращения такого кардинальского поступка, – писал Кантемир, – один бы способ был доказать ему теми доводами, которые я в своих руках имею, что ваше императорское величество основательно уведомлены о всех шведских происхождениях, но то самое насильнейше вашими указами мне запрещено, и, может быть, открывая то, что он прикрыть намерен, могло бы его раздражать, хотя, впрочем, и понудило бы к лучшему чистосердечию». В последующих депешах Кантемир писал: «Меры, принятые относительно шведских дел, не соответствуют обещаниям кардинала: доношения С.-Северина старательно утаиваются; происками французского двора доброжелательные к России шведские сенаторы лишаются своих мест; все это не показывает большого доброжелательства со стороны французской; с нашей стороны нужно думать о мерах предосторожности, тем более что отправление французской эскадры в Балтийское море вовсе неблагоприятно».

Когда Кантемир указал Амелоту на эту неблагоприятность, тот отвечал: «Удивляюсь, что французский король не может отправить четыре корабля, не подав всему свету на себя подозрения; может ли такое малое число кораблей иметь военное намерение? А что эскадра не будет увеличена, в этом я вас удостоверяю; единственная цель ее отправления – объехать неизвестные берега Балтийского моря для их узнания и обучения морских служителей, и как скоро это будет исполнено, то эскадра возвратится назад, потому ни Швеция, ни Порты никакой надежды на нее иметь не могут. Она могла бы подать повод к подозрению в том случае, если б в Швеции делались военные приготовления, но известно, что ничего нет, и потому надобно презирать всеми неосновательными рассуждениями насчет отправления этой эскадры, которыми наполняются газеты». Сам кардинал

уверял, что при первом слухе о шведских вооружениях С.-Северину отправлено приказание изъяснить шведским министрам, как дерзок был бы их поступок и как мало помощи должны они ожидать от Франции. После, в конце июня, когда нельзя было уже отрицать военных приготовлений Швеции, Флери уверял Кантемира, что эти небольшие приготовления делаются только потому, что подобные же сделаны в России, что в Финляндию переведены два или три полка для облегчения других провинций по просьбе их жителей, что кораблей в Швеции никаких не вооружается. Из Петербурга внушали Кантемиру: «Понеже время все показать имеет, того ради лучше больше в сих делах на тамошнее министерство не налегать, и ежели бы паче чаяния еще вновь что у вас открылось, о чем бы с тамошним министерством себя открывать потребно было, то стараться, сколько возможно, сие учинить чрез цесарских министров».

В половине апреля «беспокойный и опасный» сейм кончился. Граф Гилленборг назначен был президентом канцелярии вместо Горна, и Бестужев начал доносить о военных приготовлениях в Швеции. «Не худо, – писал Бестужев, – гарнизон в Выборге прибавить, войско между Петербургом и Выборгом умножить, флот держать в осторожности, чтоб какой-нибудь сюрприз над ним не учинили, но, соблюдая осторожность, не подавать отнюдь никакой причины шведам к озлоблению, ибо я наверное знаю, что при самом окончании сейма в секретной комиссии были такие разговоры, чтоб Россию раздражить и заставить ее начать войну; тогда шведы объявят, что принимают за оружие для собственной защиты, и король датский по обязательствам оборонительного союза должен будет помогать Швеции, а не России. Подобные разговоры и в других домах производились и теперь продолжаются. Король недавно велел мне сказать чрез своего кассельского министра барона Ассбургга, чтоб я не беспокоился, все по-старому будет, но король в Сенате мало силы имеет, новые сенаторы почти во всем ему противятся; огромное большинство членов на стороне Франции, и до будущего сейма кардинал Флери будет распоряжаться Сенатом и министерством». Относительно могущей произойти войны Бестужев доносил: «Финляндский корпус так далеко в земле расставлен, что и в два месяца собраться не может; сверх того, все жители финляндские вообще шведским правительством очень недовольны. Некоторые финляндские шляхтичи, бывшие здесь на сейме, обнадеживали меня, что если шведы начнут войну, то финляндцы разорять себя не допустят, и если императрица выдаст милостивый манифест с обнадеживанием сохранения их прав и привилегий, то они охотно поддадутся России, и никто из домов своих не выйдет. И Сами шведы такое же мнение имеют о финляндских жителях». Потом Бестужев начал успокаивать свой двор, что вооружения шведские, по всем вероятностям, направляются против Пруссии, а не против России, ибо эти приготовления слишком незначительны для войны с такою сильною империею; во всяком случае шведы не начнут войны с Россиею ранее зимы, когда реки и болота замерзнут.

6 июля Бестужев донес: пришло известие, что Синклер убит русскими по сую сторону Бреславля, между местечками Нейштадтом и Грюнбергом. Шведские министры тотчас запретили курьеру, привезшему эту новость, распространять ее. Гилленборг говорил, что лучше, если бы это дело было сделано тайно, будто разбойниками убит, а не так явно и неосмотрительно. Мы видели, как Бестужев побуждал свое правительство к тому, чтоб *анлевировать* Синклера. Вследствие

этого между двумя императорскими дворами было условлено схватить его, если он объявится в цесарских или польских областях. Миних дал инструкцию драгунскому поручику Левицкому настичь Синклера и постараться его убить или утопить, отобравши письма. Миних дал инструкцию еще двоим офицерам – капитану Кутлеру и поручику Веселовскому – перенять молодого Рагоци и молодого Орлика, ехавших из Франции в Турцию, а также Синклера, если случайно с ним встретятся. Кутлер и Левицкий проведали о Синкере, взяли в Варшаве паспорт от цесарского резидента Киннера и «исполнили свою комиссию». Бумаги Синклера были переданы убийцами Кейзерлингу, который находился тогда в Дрездене при короле Августе. Когда слух об убийстве Синклера разнесся по Стокгольму, 5 июля один приятель дал знать Бестужеву, чтоб был осторожен, ибо поступок с Синклером произвел в городе страшное озлобление, вследствие чего Бестужев сжег секретнейшие реляции и счета по подкупам, а остальные бумаги отдал на сохранение голландскому посланнику. Гвардейские офицеры толковали, что если правда, что Синклер убит русскими, то надобно поступить точно так же и с Бестужевым; правительство тайно приказало городским властям смотреть, чтоб русскому посланнику и его слугам не было нанесено никакого оскорбления. По бумагам, присланным из Петербурга, Бестужев подал шведскому правительству декларацию, что русское правительство не принимало никакого участия в убийстве Синклера. Гилленборг сказал Бестужеву, что они верят безучастию русского правительства в этом деле, но он, Гилленборг, имеет подозрение на графа Миниха, который, по своей горячности быть может, дал указ привезти Синклера живого или мертвого. Несмотря на приказы по армии, чтоб не толковали о Синкере, ожесточение не ослабевало и распространялось даже по провинциям; офицеры приходили к Гилленборгу и требовали войны с Россиею, представляя, что теперь самый удобный случай начать ее, а когда турецкая война кончится, то Россия сама нападет на Швецию. Гилленборг отвечал, что надобно подождать, что сделается с Минихом, и тогда принять свои меры. Бестужев писал, что в случае неудачи Миниха никто не удержит шведов от объявления войны России. Несмотря на заявление Гилленборга, что более двух полков не будет отправлено в Финляндию, в августе месяце в чрезвычайном собрании Сената было решено отправить в Финляндию еще шесть тысяч пехоты; против этого решения с королем было только четыре сенатора. Но старые приятели дали знать Бестужеву, чтоб он не беспокоился, что все это делается по предписанию секретной комиссии – раздражать Россию, чтоб она начала войну, ибо Швеции начать наступательную войну нельзя без сейма. В Стокгольме не было других разговоров, как только о войне с Россиею, а между тем приятели сообщали Бестужеву, что они не дремлют, меры свои принимают; они имеют изо всех провинций верное известие, что весь духовный и крестьянский чин, также большая часть городского, кроме жителей приморских городов, сильно склонны к покою и о войне слышать не хотят, и из дворянства богатые и рассудительные люди также не расположены к войне. Горн советовал, чтоб Россия привела себя в готовность к сильной обороне и спокойно смотрела на все шведские глупости, не подавая никакого случая к озлоблению; отправляемый в Финляндию корпус, не имея чем там содержаться, растает сам собою, за что Гилленборг с товарищами заплатят своими головами. Эмиссар Бестужева, возвратившийся из Карлскроны, объявил, что сам видел, как в гавани этого города

вооружаются 22 линейных корабля; по провинциям почти все офицерство склонно к войне, но крестьянство и духовенство ее не желают; офицеры по провинциям сильно возбуждают народ против России, выставя особенно убийство Синклера. В сентябре, в одно воскресенье, во время службы в русской церкви священник и все присутствовавшие были заперты толпою молодых людей, так что по окончании службы надобно было ломать изнутри двери, чтоб выйти; правительство поставило караул при церкви. Бестужеву подкинута было письмо с угрозою, что с ним поступлено будет, как с Синклером. Известие о Ставучанской победе и взятии Хотина сильно обрадовало Бестужева, но радость была очень непродолжительна: пришло известие о заключении Австриею отдельного мира с турками. «Мне непристойно об этом чрезвычайном деле рассуждать, – писал Бестужев, – только весь свет не может довольно такому нечаянному и чудному поступку надивиться: я же об нем с таким великим соболезнованием и неизреченною печалию уведомился, что чуть паралич меня не ударил. Здесь эта новость произвела такую радость в правительствующей партии, что сказать нельзя». В начале октября опять печаль Бестужева сменилась радостью: пришло известие о заключении мира между Россией и Турциею. «Я теперь, – писал Бестужев, – не только наружно, но и внутренне стал спокоен, ничего более с здешней стороны не опасуюсь, чрезвычайного сейма не будет, и все по-прежнему останется». Члены правительствующей партии начали толковать, что Франция их провела; они были уверены, что Франция никогда не допустит Порту до мира с Россией, а если бы и допустила, то с одним условием – чтоб Швеция была включена в мирный договор и получила от России некоторую часть завоеванных Петром Великим провинций; на таком основании был составлен план в бывшей секретной комиссии.

14 октября 1739 года Кантемир доносил, что в передней у Амелота имел долгий разговор с С.-Северином, приехавшим из Швеции: посланник высказал такое мнение о шведских делах, что министерство шведское, чувствуя свою слабость, нисколько склонности к началу войны не имеет и что все нынешние движения суть следствия народной горячности, которая принуждает министерство к поступку, противному его желанию, поэтому все представления его, С.-Северина, при шведском дворе для отвращения войны не принесут большой пользы, если народ, который резонов не слушает, упрямо войны желать будет. На полях этого донесения Остерман по своему обыкновению написал ответ: «Натурально само собою следует, что если Швеция войну начнет, то это делается или с согласия, или без согласия Франции. Первое может случиться только в явную противность столь многим торжественным обнадешиваниям; во втором случае само собою разумеется, что Франция Швеции помогать не должна и без нарушения своих торжественных обнадешиваний помогать не может, ибо такое вспоможение было бы явным согласием. Но дела в Швеции не на таком основании находятся, как С.-Северин рассуждает: старое министерство ниспровергнуто, и новое поставлено там исключительно французскими стараниями; для этого подкуплены и употреблены молодые офицеры, которые по убожеству, не имея чего терять, желают войны для своего прокормления, но этих офицеров нельзя принять за весь народ, который по большей части недоволен поступками нового министерства и войны безрассудно не пожелает, особенно когда от Франции помощи не будет. Можно положить за верное, что шведы без согласия Франции

войну не начнут и без французской помощи начать ее не в состоянии. С другой стороны, не видно, какой бы Франция могла иметь интерес помогать Швеции в войне с нами. Хотя б Франция подлинно желала для своих интересов и будущих видов привести Швецию в прежнюю силу, то надобно рассудить, что такое желание нелегко исполнить: имея свободные руки от турок, мы можем все свои силы обратить против шведов, и Франции скоро наскучит посылать такую убыточную помощь в такие отдаленные места, умалчивая, что в таком случае мы с другими союзниками укрепиться можем. Но хотя все вышеписанные рассуждения и основательны, однако надобно всегда быть осторожными и хотя до времени от новых домогательств в этом деле удержаться пристойно, однако не мешает на тамошние поступки недреманным оком всегда смотреть». От 24 января 1740 года Кантемир прислал любопытное донесение о разговоре своем с кардиналом: утверждая, что Порта непременно ратификует мирный трактат и, следовательно, Швеция ничего не успеет в своих домогательствах, Флери вдруг прибавил: «Правду сказать, по Ништадтскому миру бедные шведы потеряли все лучшие свои области, которые желали бы себе возвратить, и если б можно было им что-нибудь возвратить из этих областей, то они бы успокоились». Кантемир отвечал, что императрица имеет неоспоримое право на завоеванные у Швеции провинции по торжественным договорам, после которых между Россией и Швециею заключен был союз и три года тому назад возобновлен с уплатою со стороны России немалой денежной суммы. «Я знаю, – сказал кардинал, – что Россия имеет неоспоримое право на эти провинции» – и тем покончил разговор. «Всеподданнейше прошу, – писал по этому случаю Кантемир, – чтоб так с здешней, как с шведской, стороны содержать себя в предосторожности, понеже, как я уже часто доносил, пременчивый нрав кардинальский не позволяет на его обнадеживания совсем полагаться». Это донесение произвело в Петербурге чрезвычайно сильное впечатление. В июле Кантемир писал: «Ваше величество легко судить изволит, что от здешнего двора никакой пользы себе ожидать не может: если в некоторых случаях и являются склонны к интересам вашим, то для того только, чтоб удержать вас от вступления с другими державами в какие-нибудь обязательства, здешним видам противные; когда же опасность таких обязательств минется, то и ласкательство прекратится. С глаз своих здесь не спускают, что во всей Европе только одна ваша сила здешнюю в равновесии держать может и что ваше величество в теснейшем союзе с цесарем находится, отчего на вас смотрят как на главнейшее препятствие к совершенному унижению австрийского дома, что всегда было главною целию здешнего двора. Из этого легко заключить, что когда случай представится для уменьшения вашей неприятной силы, то или под рукою, или явно, смотря по обстоятельствам времени, его не пропустят»

Между тем в конце 1739 года в шведском Сенате рассуждали о необходимости созвать чрезвычайный сейм вследствие изменившихся обстоятельств, но большинство голосов вместе с королем решило, что сейм не нужен. Ожесточение противной партии высказывалось мелкими средствами: бросали камни на крышу русской церкви, два больших камня брошены были ночью в окно к самому Бестужеву. 1740 год Бестужев начал донесением, что в Стокгольме начинают наконец верить миру между Россией и Портою, но за то правительствующая партия делает другие внушения для удержания в народе склонности к войне с Россией, а именно: будто Россия от турецкой войны в такую

великую слабость пришла, что ни людей, ни денег нет, к тому же в народе великое неудовольствие, открыт страшный заговор, более 80 человек из знатнейших фамилий казнено и в ссылку сослано, списки этих людей читались в Стокгольме по кофейным и винным погребам; внушали, что как скоро Швеция нападет на Россию, то в России сейчас же вспыхнет возмущение. Сенатор Спар, будучи у тестя своего графа Гилленборга, рассуждая о настоящих делах, сказал: «*Le vin est tire, il faut le boire*» (вино откупорено, надо его выпить). «Надлежит с нашей стороны, – писал Бестужев, – во всякой осторожности и исправности быть, ибо эта правительствующая партия, видя, как далеко забрела, может для своего спасения решиться на отчаянные средства в надежде: авось либо удастся!» Наконец в марте месяце, когда Бестужев в торжественной аудиенции объявил королю о заключении мира с Портою, всякое сомнение на этот счет исчезло, и Бестужев писал: «Совершение мира с Портою желаемое действие здесь учинило, так что не только в людях, склонных к войне и нападению на Россию, горячность утихла, но и в народе утихать начинает. По рассуждению всех здесь разумных людей, после заключения мира с Портою нет более опасности, чтоб шведы напали на Россию, и если военные приготовления здесь продолжаются, то единственно для собственной защиты, ибо новое министерство подало причину к справедливому гневу вашего величества; чем более будет у нас делаться военных приготовлений, тем более здешнее министерство и вся противная партия будут приближаться к своему падению». Горн прислал к Бестужеву доверенного человека сказать, что министерство и вся его партия в крайнем беспокойстве и затруднении и хотя пред людьми бодрятся и внушают народу, что Россия, истощенная турецкою войною, не в состоянии скоро напасть на Швецию, однако сами убеждены в противном; чтоб Бестужев не обращал никакого внимания на военные приготовления Швеции, ибо дела находятся в таком дурном положении, что Швеция не только напасть и защищать себя не может; половина французских субсидий уже издержана, сделаны долги, а другую половину субсидий государственные чины велели беречь на самую крайнюю нужду; будущую осень сейм будет необходим по расстроенному состоянию дел, и заранее надобно стараться о получении большинства; для этого нужны деньги, чтоб разослать эмиссаров по сеймикам для выбора в депутаты хороших людей. В конце апреля Бестужев лично виделся с Горном и говорил ему, чтоб они русскими военными приготовлениями нимало не тревожились, ибо императрица, несмотря на враждебность нынешнего министерства, пребывает в прежних доброжелательных чувствах, но чтоб они пользовались этим и внушали в народ, в какую крайнюю опасность нынешнее министерство привело Швецию без всякой причины и пользы. Горн отвечал, что такие внушения в Стокгольме и провинциях уже делаются, но прежде всего нужны деньги для получения большинства при выборе сеймового маршала и членов секретной комиссии; из России должны быть присланы немедленно 10000 червонных, а если прежде сейма не получится большинство, то во время сейма деньги напрасно будут истрачены. «Если б мы, – говорил Горн, – на прошлом сейме заранее взяли свои меры и столько на наше справедливое дело не надеялись, то никогда до такой крайности не дошли бы». На это донесение из Петербурга отвечали, что деньги уже переведены и доброе действие от них ожидается. Денег нельзя было жалеть, потому что Швеция успела заключить оборонительный союз с Турциею. Бестужев уведомлял, что противная

партия ищет всякими способами помириться с отставленными сенаторами, особенно с графами Бонде и Белке, обещая на первом сейме восстановить их в сенаторском достоинстве, но те не показывали охоты к примирению, и Бестужев писал: «Никак не надобно допускать до этого примирения; русский интерес требует, чтоб между ними была всегдашняя вражда. Запрещение вывоза из Лифляндии и Эстляндии хлеба произвело здесь желаемое действие: здешние купцы и жители сильно встревожены и озабочены, а после это будет им еще чувствительнее, потому что во всем государстве большая скудость в хлебе, магазинов нет, и если нынешний год будет неурожай, как видится по погоде, то государство постигнет крайнее бедствие».

Чтобы предотвратить шведскую войну, нужно было прежде всего действовать деньгами перед сеймом и во время сейма. Большие деньги надобились и в Польше, где русский посланник Кейзерлинг хлопотал о примирении партий и о составлении из влиятельных людей прежних партий без различия одной большой русской партии, которая бы обеспечивала спокойствие России со стороны Польши. Основу русской партии в конце 1734 года составляли Понятовский и Чарторыйские. В январе 1735 года Кейзерлинг писал: «Так как люди по зависти к счастью Понятовского, с досадою смотревшие и на дом Чарторыйских, до сих пор стараются при дворе, и не без успеха, отнять у них королевское доверие, то я принужден был самым сильным образом представлять при дворе, что так нельзя достигнуть примирения, ибо известно, что Понятовский и Чарторыйские – добрые и достойные люди, которые своим кредитом и народною любовью могут много способствовать успокоению государства. По этому моему представлению и совету король обнадеживал своею милостию графа Понятовского, который чрез мое посредство недавно помирился с князем Вишневецким; король велел выдать Понятовскому 3000 червонных, которые тот должен употребить по своему усмотрению в видах умирения партий». Считали необходимым как можно скорее склонить пленного примаса на сторону короля Августа, и Понятовский предложил подкупить 300 червонных любимца примасова – иезуита. Король, несмотря на представление Кейзерлинга, уже начал раздавать чины; Кейзерлинг вторично представил ему, что эта преждевременная раздача может иметь дурные последствия: надобно непременно оставить в запасе приманку, которою должны быть привлечены вельможи противной партии, ибо если все чины сейчас же розданы будут доброжелательным, то вельможи противной партии не увидят для себя никакой выгоды признать королем Августа и будут продолжать питаться пустою надеждою, что получают желаемое, поддерживая Станислава. Кроме того, для привлечения народа на сторону Августа важно было, чтоб русские войска делали различие между друзьями и врагами, и Кейзерлинг, получив жалобы, что этого различия не делается, писал к генералам, чтоб, согласно намерениям императрицы, берегли жителей, признающих королем Августа, ибо в противном случае никто не склонится на его сторону, не видя от того себе выгоды. Но сильные препятствия своим стараниям встречал Кейзерлинг между поляками, находившимися на стороне Августа. «Нельзя понять, – писал он, – как мало обращают внимания на средства, которыми можно достигнуть общего умирения: всякий имеет в виду только собственный интерес, и полезнейшие советы на некоторое время отлагаются или вовсе не приводятся в исполнение. Я при разных случаях вельможам давал знать, что ваше величество армию свою с тою целью в

польские границы ввести повелели, чтоб вольность и спокойствие республики прямым и основательным образом охранить, а не для подкрепления частной ненависти, зависти и вражды фамилий».

Самым могущественным средством для успокоения Польши были деньги, и король Август обратился за ними к той же державе, которая своим войском возвела его на престол польский: Россия дала ему займы 100000 червонных. Деньги нужны были, тем более что 200000 талеров, отправленных из Саксонии в Варшаву, были захвачены люблинским воеводою Тарло, который разбил и взял в плен саксонского генерала Биркгольца. Понятовский, который до сих пор неудачно хлопотал о привлечении Тарло на сторону Августа, снова послал к нему с представлениями, что напрасно надеется он на французскую помощь и в этой надежде разоряет отечество. Кейзерлинг поручил посланнику уверить Тарло, что он в случае признания короля Августа может надеяться на покровительство и милость императрицы; Кейзерлингу хотелось присоединением Тарло и Ожаровского увеличить русскую партию, образовавшуюся из князя Любомирского и Чарторыйского, Понятовского и Залуского, епископа плоцкого, потому что Кейзерлинг не доверял коронному гетману Потоцкому, врагу Тарло.

Русские войска исправили дело, испорченное саксонскими: генерал Леси нанес Тарло сильное поражение. В мае Кейзерлинг доносил, что большая часть вельмож больше хлопочет о частных интересах, чем об умирении отечества. Пленный примас Федор Потоцкий все еще не признавал Августа королем, и сильная партия поддерживала его в Варшаве: она требовала, чтоб он на свободе мог договариваться с королем. Канцлер, епископ краковский, Липский, гетман Потоцкий, князь Вишневецкий и коронный маршал Мнишек неумолимо старались дать дому Потоцких первенствующее значение в республике, и так как для приобретения популярности между шляхтою было одно средство – захватить в свои руки верховный суд и раздачу чинов, то краковский епископ, как канцлер, домогался, чтоб чины раздавались чрез него, по его рекомендации. Кейзерлинг представлял саксонским министрам весь вред, какой может произойти от этого, и настаивал на своем прежнем требовании, чтоб раздача чинов была отложена до умирительного сейма (*pacificationis*); настаивал также, чтоб король сам роздал чины, ибо таким образом получившие чины будут обязаны одному королю, а не кому-нибудь другому; требовал, чтоб войсковые начальники были независимы от гетманов. Но Кейзерлинг продолжал жаловаться своему двору, что, несмотря на все его представления, прежде умирительного сейма чины уже раздаются сторонникам канцлера, Вишневецких и Потоцких. Чтоб положить этому конец, Кейзерлинг объявил вторично самому королю, что ни его величество, ни союзные дворы не могут надеяться на постоянное и твердое спокойствие, когда вся сила и власть будут в руках только одной партии, и именно той партии, которая подала первый повод к происшедшей смуте, что необходимо уравнивать силу фамилий. Поступки двора привели Кейзерлинга к тому убеждению, что король хочет создать свою собственную партию из опасения, что русские приверженцы, увеличившись в числе, будут владеть и двором, и республикою. Так как коронный гетман Потоцкий (воевода киевский) не был приверженцем России, то Кейзерлинг считал необходимым, чтоб гетманство неполное дано было кому-нибудь не из партии Потоцких, и взял с тайного кабинетного министра фон Брюля обещание, что неполное гетманство не будет никому дано без согласия императрицы.

Кейзерлинг настаивал на созвании умирительного сейма; противная партия возражала, что будет несогласно с польским уставом о вольности, если умирительный сейм будет держан в то время, когда чужие войска находятся в государстве. Кейзерлинг замечал на это, что и прежде бывали случаи, когда сеймы отправлялись в присутствии чужестранного войска, и это присутствие служило к поддержанию польской свободы, а не к уничтожению ее, как, например, присутствие русских войск во время сейма 1717 года, и если все, что происходит в присутствии иностранных войск, незаконно, то незаконны будут избрание и коронование нынешнего короля. В июне Кейзерлинг согласился, чтоб 19000 русского войска были выведены за польские границы, но оставались вблизи их, чтоб в Польше число русских войск вместе с саксонскими простиралось до 50000. Между тем пленный примас в письме своем дал Августу титул королевский, за что, несмотря на возражения Кейзерлинга, король позволил перевести его из Торна в Лович и дал ему свободу. В июле примас приехал в Варшаву и представился королю, которому говорил такую речь на польском языке: «Божие провидение никогда не обнаруживалось столь осязательным образом, как в возвышении вашего величества на польский престол и в утверждении на нем. Я признаю ваше величество законным королем польским, и хотя являюсь с этим признанием между последними, однако мое признание так же полно и истинно, как и признание тех, которые с ним явились первые. При этом прошу королевской милости притесненным и истощенным обывателям королевства, и если настоящие обстоятельства не допускают вывести всех войск из государства, то чтоб по крайней мере была выведена часть их». Король, которому епископ краковский перевел речь примаса, отвечал на французском языке уверениями в своей неизменной милости и расположении. Но примас знал, что одних королевских милостей и расположения мало, и потому написал письмо русской императрице: с глубокою *адорациею* и надлежащим унижением Федор Потоцкий благодарил за милосердие, оказанное хворому и несчастному старику, который остаток жизни своей употребит на молитвы о многолетнем и благополучном государствовании императрицы и будет во всем послушен ее велениям. Кейзерлинг писал, что будет стараться удерживать примаса в таких «добрых сентиментах», но для этого нужен был скорый ответ императрицы Потоцкому с обнадеживаниями в милостях и щедротах, которыми он прежде пользовался; Кейзерлинг советовал прислать примасу бриллиантовый крест. И канцлер Липский, епископ краковский, обратился к Кейзерлингу с просьбою об исходатайствовании щедрот императрицы, ибо все его епископство так разорено, что нет никакой надежды два года получить какой-нибудь доход; епископ по секрету сообщил Кейзерлингу, что двор жалеет денег для подкупов на сеймиках и эта экономия может быть большим препятствием к благополучному исходу дела; наоборот, королевские министры уверяли посла, что двор употребляет для сеймиков невероятные суммы.

Кейзерлинг торопился пацификационным сеймом, но магнаты и министры объявили ему, что депутаты, которые съедутся на сейм, не позволят начать его и не приступят к выбору сеймового маршала до тех пор, пока с русской стороны не будет объявлено, что во все продолжение сейма не будет собираться контрибуция на содержание русских войск, как уже объявлено со стороны короля относительно войск саксонских. Кейзерлинг отвечал, что не знает, чем же войско будет содержаться во все это время; можно сделать одно: расписанные фельдмаршалом

Минихом контрибуции убавить наполовину. Но поляки не согласились. К этой неожиданной неприятности присоединились еще столкновения русских интересов с королевскими. «Все те, которые вашего величества милостию и покровительством пользуются, имеют несчастье быть неугодными здешнему двору», – писал Кейзерлинг в октябре. Епископ плоцкий (Залуский), один из самых преданных России людей, сначала пред министром Сульковским (побочным братом короля) и потом пред королем заявил желание получить место канцлера, ибо краковский епископ по уставу не мог занимать этого места. Но граф Сульковский прямо сказал ему, для чего он прежде заявил о своем желании русской императрице и таким образом оказал плохое доверие своему королю; сам король хотя принял его милостиво, однако дал знать, для чего он не хотел положиться на его милость и просил представительства в Петербурге. Земские послы съехались и действительно не выбирали маршала, настаивая на вывод войск или, еще боле, на прекращение контрибуции. В ноябре Кейзерлинг известил, что сейм без плода рушился, чему столько же почти причин, сколько в Польше частных интересов; двор скупился, и министры оправдывали эту скупость тем, что сейм первый при новом короле, и так как республике самой он очень нужен, то не для чего депутатов приучать к деньгам, в противном случае на будущее время король будет принужден постоянно употреблять деньги, чтоб сейм состоялся. Кейзерлинг мог утешаться по крайней мере тем, что чины были розданы по его представлению, т.е. приверженцам России.

В январе 1736 года в Варшаву приехал молодой Огинский и привез обнадеживание, что как его отец, воевода витебский, так и другие литовские вельможи, находящиеся в Кенигсберге, желают приехать в Варшаву, если только будут иметь средства высвободиться из Кенигсберга, для чего прежде всего нужны деньги для уплаты долгов. Кейзерлинг склонил двор к тому, что он обещал выдать им чрез него, Кейзерлинга, 5000 червонных. Вслед за тем королевские министры дали знать Кейзерлингу, что королю приятно будет слышать, кому императрица желает доставить Курляндию по смерти герцога Фердинанда; король нисколько не имеет намерения доставить это герцогство какому-нибудь саксонскому принцу: ему приятна будет та особа, которую изберет императрица, ибо король в этом деле желает поступать единственно по желанию ее величества. Кейзерлинг, донося об этом императрице, писал: «Чрезвычайно хорошо могло бы быть, если б я был уведомлен наперед и под рукою о высочайшем намерении относительно кандидата на курляндский престол. Я должен вывести из сомнения тех, которые опасаются, чтоб Курляндия не отошла к прусскому или какому-нибудь другому сильному немецкому принцу; из этого опасения проистекает требование, чтоб герцогом был избран непременно кто-нибудь из курляндцев по примеру первого герцога, Кетлера. Но обстоятельства тогдашнего времени были совершенно другие, чем теперь: тогда имения великого магистра ордена были свободны от долгов, а теперь герцогские имения обременены внешними и внутренними долгами, и двор ими содержаться не может, следовательно, будущий герцог курляндский должен быть богат, иметь свои собственные доходы, а такого между курляндцами найти нельзя». Между тем Кейзерлинг продолжал хлопотать о том, чтоб удовлетворить знатнейших станиславцев и тем притянуть их в русскую партию; так, он потребовал, чтоб воеводе люблинскому Тарло дали воеводство Сандомирское, а Люблинское

воеводство – сыну его. Старый Тарло приехал в Варшаву и заявил пред Кейзерлингом желание загладить свое прежнее поведение покорностью воле императрицы. Кейзерлинг вместе с ним сочинил проект приступления поляков, находившихся в Кенигсберге с Станиславом, и король кроме 5000 червонных, выданных литовским вельможам, назначил еще 5000 для поляков, и эти деньги опять пошли чрез Кейзерлинга. С примасом Потоцким продолжались у Кейзерлинга лады: старик открыл ему, что прусский резидент просил иметь в виду кандидатом на курляндский престол второго принца прусского, но что как республика, так и он, примас, никогда на это не позволят; что дело всего лучше сделается таким образом, если король и республика предложат троих кандидатов из природных курляндцев, а курляндские чины изберут одного из них. Кейзерлинг отвечал, что императрица не намерена навязывать никакого кандидата и желает только одного, чтоб Курляндия сохранила прежнюю правительственную форму и право избрать себе герцога.

Станислав Лещинский наконец отправился из Кенигсберга; бывшие при нем поляки возвратились в отечество, признав королем Августа. Кейзерлинг писал об них: «Эти поляки надеются единственно на милость вашего и. в-ства; я не перестаю их в том подкреплять и надеюсь, что они не только теперь, но и вперед могут быть с пользою употреблены для интересов вашего величества. Стражник литовский Поцей от великодушия вашего величества желает получить 3000 червонных для уплаты сделанных в Кенигсберге долгов. Он пользуется доверием и любовью литовского шляхетства и почти единственный человек, который может держать равновесие с радзивилловским домом. Так как он теперь поехал на сеймики, то я ему дал 400 червонных и назначенным от него людям – 250. Описать нельзя, как велико число тех поляков, которые просят милости вашего величества; обо всех нельзя ваше величество утруждать, я осмеливаюсь писать только о тех, которые с большею пользою могут быть употреблены». Благодаря этим влиятельным полякам на сейме 1736 года дело кончилось по желанию русского правительства: постановлено удержать в Курляндии прежнюю правительственную форму и дать королю право назначить нового герцога; это решение состоялось, несмотря на сильное сопротивление духовенства, которое грозило отлучением тем депутатам, которые бы решились говорить о курляндских делах. Кейзерлинг подкупил одного посла, который решился начать говорить о Курляндии и был поддержан преданными России людьми, так что 114 голосов оказалось в пользу и только шесть – против самостоятельности Курляндии; самую деятельную помощь Кейзерлингу оказали новый канцлер коронный Залуский, князя Чарторыйские, каштелян Черский и особенно возвратившийся недавно из Франции Ожаровский, бывший прежде, как мы видели, ревностным приверженцем Лещинского. Когда дело перешло из Посольской избы в Сенат, то здесь духовенство, и особенно епископ Куявский, «двигали небо и землю» для уничтожения решения Посольской избы; епископ Куявский объявил Кейзерлингу, что сам разорвет сейм, если он, посол, не перестанет проводить курляндское дело. Тогда Кейзерлинг по настоянию короля объявил, что в России будет дозволено свободное отправление католического богослужения и в Курляндии будет позволено произвести суд относительно отнятых у католиков двух церквей. Король спросил у духовенства, хочет ли оно упустить из рук такие выгоды и вместе потерять Курляндию? После этого вопроса духовенство перестало

сопротивляться. «Теперь надобно, – писал Кейзерлинг, – чтоб ваше в-ство приняли решение насчет особы будущего герцога, ибо по смерти старого герцога усилия иностранных держав увеличатся и должно будет ожидать больших затруднений. Князь Вишневецкий и Радзивиллы, также примас по представлении ему определенной вашим в-ством пенсии и коронный великий маршал Мнишек показали верность и ревность свою в курляндском деле».

Курляндское дело было главным предметом забот Кейзерлинга. В 1737 году он поехал в Петербург за инструкциями и на возвратном пути в Риге узнал о смерти герцога Фердинанда. Он отправился немедленно в Митаву и оттуда в мае месяце писал императрице, что как можно скорее надобно произвести избрание нового герцога, что такого мнения и доброжелательные польские вельможи: только скорым избранием можно отнять время и случай у католического духовенства и чужих держав возбудить новые затруднения и произвести в здешней стране партии и беспорядок. Кейзерлинг относительно избрания устроил дела так, что по выезде из Митавы мог писать императрице: «Все здесь в такой желанной диспозиции находится, что я совершенно надежен, что никакие прусские деньги, как бы велики ни были, ни малейшего впечатления не произведут, ибо всякому здесь будущая безопасность уставов и вольностей своих приятна; притом же известно, как велика ненависть, которую республика питает к Пруссии». Кейзерлинг не допустил до оберратов курляндских письма к ним от старого искателя герцогства Морица саксонского, который напоминал оберратам о своем прежнем избрании. Мориц писал и к Кейзерлингу, предлагая приехать в Петербург, чтоб покончить там дела, и требуя от Кейзерлинга слова, что его в Петербурге не принудят ни к чему и позволят уехать, когда захочет; письмо осталось без ответа. Кейзерлинг из Митавы спешил в Дрезден, ко двору Августа III, чтоб там устроить вторую половину дела. Получивши известие, что в Митаве курляндские чины единодушно и добровольно избрали в герцоги российского императорского обер-камергера, имперского графа фон Бирона, Кейзерлинг немедленно объявил об этом королю, и тот отвечал, что ему особенно приятно избрание Бирона с исключением других кандидатов и таким образом исполнено желание республики, которая всегда требовала избрания природного курляндца. В Сенате русские приверженцы, составлявшие большинство, решили дело в пользу избрания Бирона, несмотря на протесты епископа краковского, утверждавшего, что курляндские чины преступили пределы прав своих, ибо по смерти герцога только король мог назначить сейм.

В Курляндии и в польском Сенате дело кончилось благополучно, но что скажут на сейме, тем более что коронный гетман Потоцкий обнаруживал враждебные для России замыслы? Самый важный вопрос, который должен был решиться на сейме, – это старый вопрос об умножении польской армии. Кейзерлинг считал утвердительное решение этого вопроса опасным. «Так как, – писал он в мае 1738 года, – коронный гетман уже обнаружил свои вредные замыслы, то надобно его силу уменьшать, а не увеличивать увеличением войска. Я здесь внушал, чтоб это увеличение произошло без отягощения королевских духовных и шляхетских имений, внушал, что оно возбудит подозрение воюющих держав и заведет республику далеко. Главным вождям диссидентов, которых много в Великой Польше, я внушил смотреть на сеймиках, чтоб увеличение войска никак не прошло: теперь представляется им благоприятный случай

получить свободу своей религии и одинакие с католиками преимущества, но гораздо труднее будет этого достигнуть при сильной армии, которая будет подкреплять католическое духовенство». Но из Петербурга посланник получал указы – хлопотать, чтоб Польша приняла участие в турецкой войне; хлопотать, чтоб Польша вступила в войну, и в то же время препятствовать увеличению ее войска было нельзя, и потому Кейзерлинг писал, что если республика вступить в войну не согласится, то он будет мешать увеличению ее войска. В сентябре Кейзерлинг переехал из Дрездена в Варшаву, где составила комиссия для изыскания средств к увеличению войска и уже нашла столько денег, что на них можно было прибавить от 15 до 18000 человек. Кейзерлинг обратился к главным своим друзьям, Понятовскому и Чарторыйскому, с внушением, что Польше следует принять участие в войне. Те отвечали, что они вполне согласны насчет необходимости войны, но вот беда: фельдмаршал Миних в последнюю кампанию прошел чрез польские владения, и это дает возможность неблагонамеренным людям внушать шляхетству, что это сделано нарочно, чтоб втянуть республику в войну, ибо турки не преминули также войти в польские области и опустошить их.

В конце сентября начался сейм, и начался волнениями по поводу прохода русских войск чрез владения республики. Недоброжелательные говорили, что этот поступок противен данному на пацификационном сейме обещанию, что русские войска не будут более входить в польские владения. Кейзерлинг доказывал депутатам, что Миних имел полное право это сделать, ибо татары прежде, в 1737 году, напали на Украину через польские владения; если же этим проходом русской армии кому-нибудь из поляков был причинен убыток, то он непременно будет вознагражден. Но известно, что русскими солдатами подданные республики не биты до смерти, в плен не взяты, города и деревни не сожжены, что именно сделано татарами, и, несмотря на то, о татарах никто ничего не говорит. Но объяснения Кейзерлинга мало помогали, и он успел только в одном – что дело о проходе русских войск было отложено; этим временем посланник воспользовался, чтоб другого рода убеждениями «приводить земских послов к лучшему рассуждению и намерению». Так как не оказалось никакой надежды склонить сейм к объявлению войны Турции, то оставалось действовать против увеличения числа войска. Видя, что большая часть послов убеждена в необходимости этого увеличения, Кейзерлинг вместе с австрийским посланником и королевским двором положили действовать тайно и осторожно, именно давать вид, что умножение войска чрезвычайно для них желательно, а между тем действовать так, чтоб сейм принял умножение войска как дело преднамеренное только (*dispositive*). Это было легко сделать именно потому, что между желающими умножения войска было несогласие относительно того, чем содержать его и от кого оно должно зависеть; так, некоторые хотели, чтоб учреждена была ландмилиция, зависящая от короля и республики, что было оскорбительно для Потоцкого, видевшего здесь недоверие к себе. А между тем срок сейма истекал, и сам гетман, требовавший сначала действительного умножения войска, за день до заключения сейма отказался от своего требования и согласился, чтоб постановлено было преднамеренное умножение. Но уже было поздно, никакие вопросы решены быть, не могли, и сейм «рушился бесплодно».

Потоцкий уехал с сейма недовольный и не переставал обнаруживать вражду к России. Весною 1739 года татары вторглись в русские пределы из польских

владений, где встретили по распоряжению гетмана самый дружественный прием, были снабжены всем нужным. К Потоцкому отправлен был генерал-майор Даревский, которому Кейзерлинг дал две инструкции – явную и тайную. В явной Даревскому предписывалось удостоверить гетмана и всех других, что Россия свято сохранит договоры с Польшею во всех пунктах, и для предупреждения всякого враждебного столкновения между русскими и поляками ему, Даревскому, и велено быть при гетмане, уверить Потоцкого в милости императрицы и в готовности показать действительные ее опыты. В тайной инструкции говорилось: обнадежить коронную гетманшу действительными опытами высочайшей милости и щедрости, как только окажутся полезные действия ее стараний. Так как генерал Мир и староста Струтинский имеют сильное влияние на гетмана, то стараться всякими способами привлечь их на сторону России. Можно дать знать генералу Миру, что он сильно обнесен при королевском дворе и держится в своем чине только силою гетмана, но гетман стар и слаб, следовательно, его покровительство не может быть продолжительно, и потому благоразумие требует искать другого покровительства, именно покровительства русской императрицы; обнадеживать его и пенсией, и ходатайством за него, Кейзерлинга, при польском дворе. Нужно также деньгами и всякими другими способами привлечь на свою сторону Струтинского, чрез которого идет тайная корреспонденция, чрез него, следовательно, можно будет открывать французские, шведские и турецкие намерения. Кроме этих инструкций Даревский был снабжен письмами от Понятовского и Чарторыйского, а главное – от жены коронного маршала Мнишка, матери гетманши Потоцкой; Кейзерлинг более всего надеялся привлечь Потоцкого *этим каналом*, т.е. посредством тещи, которой дано было 1500 червонных и обещано 20000 ефимков. Дочери ее, Потоцкой, дано было 1300 червонных. Кроме этих лиц литовскому гетману князю Вишневецкому дано было 800 червонных и жене его – 2500; самому коронному гетману Потоцкому подарены были часы в 700 червонных; примас получил ежегодной пенсии 3166 червонных; духовник его – 100 червонных; сеймовому маршалу на сейме 1738 года дано было 1000 червонных, разным земским послам – 33000, князю Радзивиллу, воеводе новогрудскому, – 500, некоторым постоянным пенсионерам – 1672 червонных.

Известие о проходе Миниховой армии чрез польские владения опять подняло сильное волнение. Даревский писал, что он в успехе поверенных ему дел сильно сомневается и считает пребывание свое при гетмане бесполезным. Кейзерлинг написал Мнишку и жене его, чтоб они немедленно ехали к Потоцкому и своим присутствием приводили его к лучшему намерению. Кейзерлинг приписывал враждебность Потоцкого особенно тому, что Миних не принял его ходатайства за одного жида. «Он не меньше честолобив, как и сребролюбив, и турки пользуются этою его слабостью», – писал посланник. Но волнения в Польше все усиливались, толковали о конфедерации; поляки из Франции присылали письма в Польшу, что еще нельзя отчаиваться, чтоб старый отец отечества, т.е. Лещинский, снова не явился в Польше. Кейзерлинг на каждой почте внушал Даревскому, чтоб приклонять коронного гетмана на русскую сторону, хотя бы для этого надобно было истратить большую сумму денег. Даревский писал ему, что Миних уже обещал Потоцкому 100000 рублей и Потоцкий хотя не принял, но и не отвергнул, а обещал снестись с коронным маршалом Мнишком и его женою. 23 августа графиня Мнишек уведомила Кейзерлинга, что Потоцкий намерен соблюдать

строжайший нейтралитет и уже вступил с Даревским в секретную и конфидентную конференцию. Но относительно коронного гетмана Кейзерлинг не мог успокоиться, тем более что коронный подканцлер Малаховский сообщил ему проект союза между Польшею и Турциею, с которым подольский стольник Гуровский ездил в Константинополь от Потоцкого и некоторых других сенаторов. В этом проекте поляки предлагали составить конфедерацию, для чего требовали от Порты от 3 до 400000 червонных займы, и Порта обещала исполнить это требование, как скоро конфедерация будет составлена. Порта согласилась и на другое требование – выставить у Хотина и Сорок 50000 турок и татар для подкрепления поляков в их действиях против русских. Поляки требовали, чтоб Порта побудила Швецию прислать к ним на помощь 10000 пехоты и 500 офицеров для обучения польских войск. На это требование Порта отвечала, чтоб поляки сами снеслись об этом с Швециею. Гуровский получил в Константинополе в подарок 6000 ефимков и шесть лошадей и по возвращении подговорил несколько хоругвей коронной армии, соединил их с турецким войском, после чего издал универсалы, призывая к конфедерации воеводство Подольское, но подольский воевода Ржевуский удержал шляхту в покое. Между тем вступление русских войск в пределы республики и грабежи козаков продолжали подавать повод к волнениям, и король для их успокоения по внушению Кейзерлинга отправил как в Петербург, так и в Константинополь посольства с требованием вознаграждения за убытки и достаточного обнадеживания, что впредь с обеих сторон польские границы не будут захватываемы. Но Кейзерлинг продолжал беспокоиться. «Как знатное, так и мелкое шляхетство, – писал он, – почти повсюду желает усиления армии; так как оно твердо уверено, что зависть соседних держав их к тому никогда не допустит, и так как это дело без сейма провести нельзя, а сеймы постоянно рвутся, то уже в прошлом году многие были того мнения, и мелкому шляхетству внушали, что усиление армии может быть произведено только посредством конфедерации, а я конфедерации больше боюсь, чем конвенции Гуровского, тем более что продолжительная война может им в том способствовать и развязывать руки».

Известие о заключении мира между Россиею и Портою успокоило посланника, так что когда в конце 1739 года из Петербурга указали ему на опасность от шведских интриг, то он отвечал: «Слова и представления шведского министра в Польше суть пустые чаши, которые если золотом не наполнены, у поляков никакого впечатления и звука не производят; я старался разведать, употребляет ли шведский министр этот магнит, и, узнав, что ничего из Швеции ему не прислано, успокоился, а теперь, при заключении мира с Портою, еще менее можно опасаться».

Между тем приближалось время сейма. Весною 1740 года граф Брюль объявил Кейзерлингу, что король примет за знак дружбы, если получит конфидентное изъяснение, охотно ли императрица желает, чтоб сейм состоялся, и что желает на нем провести, и склонна ли помогать тому, чтоб он состоялся. В первом случае надобно заблаговременно пресечь все препятствия к успешному окончанию сейма. Первое препятствие – это жалобы многих на обиды, причиненные русскими войсками при проходе их чрез польские области: самый легкий способ к отстранению этого препятствия – назначить с русской стороны некоторую сумму денег, которую русские комиссары разделят между вельможами,

а эти между мелкою шляхтою. Но самый лучший способ к тому, чтоб сейм не порвался, – это провести умножение войска, чего польская нация так усердно желает. Король не несклонен удовлетворить желанию нации, которая не может равнодушно видеть свои обнаженные границы подверженными насильственному вербованию и другим дерзостям со стороны соседних держав. Приведение этого пункта всего больше поможет сейму состояться, и потому король заблаговременно желает знать, угодно ли будет императрице чрез своих друзей проводить умножение войска.

Но решение этого вопроса было важно не для одной России. К Кейзерлингу явился прусский резидент Гофман с объявлением, что король его по дружбе к императрице и по общему соседственному интересу относительно Республики Польской приказал ему поговорить с ним откровенно и условиться, как действовать на сейме, как Отвращать вредное и содействовать полезному. Здесь преимущественно важны три пункта: 1) умножение войска, что не может быть очень приятно для соседей; 2) вопрос торговый; 3) диссидентское дело. Относительно первого пункта Гофман объявил, что по сентиментам его короля умножение войска не доброе дело, и, следовательно, лучше было бы сейм разорвать. Кейзерлинг отвечал, что умножение войска будет не так велико, чтоб могло возбудить опасение соседних держав; очень сильного увеличения войска не может допустить и сам король польский из опасения чрезмерно увеличить значение гетмана; притом дело еще далеко до конца, ибо если увеличение войска составляет предмет общего желания, то, с другой стороны, существует сильное разногласие относительно способов этого увеличения – разногласие по вопросу, откуда брать деньги на содержание войска. Следовательно, все, что может сделать настоящий сейм, – это назначить комиссию для обсуждения вопроса. И так как умножение войска есть предмет общего желания, то стараться противодействовать исполнению этого желания – значит возбуждать против себя всеобщую ненависть, а секретно это делать нельзя, потому что надобно употреблять поляков же; наконец, если поляки увидят, что чужие державы разрывают сеймы для воспрепятствования умножению войска, то обратятся к чрезвычайному средству – к конфедерации, что будет для соседних держав гораздо опаснее. Что касается религиозного вопроса, то поднимать его на сейме бесполезно, ибо всякий раз, как он был поднимаем, постановления против диссидентов подтверждались новыми, более для них тяжкими; надобно настаивать на одно – чтоб привелено было в действие сеймовое постановление 1736 года о комиссии для исследования диссидентского дела.

Кейзерлинг тем более опасался усиливать нерасположение к России, что враждебные действия против нее некоторых, и знатнейших, вельмож продолжались. Воевода подольский Ржевуский успел склонить известного Гуровского к тому, что тот инкогнито приехал в Варшаву и подал королю подробный донос о сношениях вельмож с турками: условлено было образовать конфедерации, и когда волнение распространится, то сильному корпусу турок действовать в Польше, другому корпусу вторгнуться в Богемию, Силезию и идти далее в глубь цесарских владений, а шведам действовать из Финляндии. Связь польских вельмож с Турциею и Швециею еще не прекратилась, сношения продолжают, часть переписки идет через него, Гуровского, но он обязуется доставлять ее королю. В награду за это Август III назначил Гуровскому

ежегодную пенсию. Ночью Ржевуский привез Гуровского к Кейзерлингу, и тот узнал от него, что гетман Потоцкий с трудом согласился войти в обязательство с Портою, а покойный примас был того мнения, что время выбрано неудобное и они находятся не в такой силе, чтоб могли привести в действие задуманный план. Сильнее всех действовал воевода бельзский Потоцкий, который в 1739 году вместе с шведским министром выпытывал у прусского резидента Гофмана, будет ли его король помогать этому предприятию. Гофман отвечал, что он не берется вести это дело, пусть пошлют в Берлин поверенного, который сделает предложение самому королю. Воевода бельзский отправился в Берлин, и король обещал дать конфедератам 50000 ружей с штыками. Кейзерлинг дал Гуровскому 1000 ефимков.

Так обнаруживалась дружба прусского короля к императрице, дружба, о которой говорил Гофман. Мы видели, что помехою этой дружбе были польские дела, возведение на польский престол курфюрста саксонского, который, опираясь на Россию и Австрию, не считал для себя необходимым удовлетворять прусским требованиям. В начале 1735 года Ягужинский был сменен при прусском дворе известным нам бароном Бракем, который был принят королем очень милостиво. «Король, – писал Бракель, – все делает своею головою один, и министры о королевских решениях, ежедневно изменяющихся по конъюнктурам, узнают только тогда, как они уже состоялись. Проект общего мира, предложенный морскими державами, очень не нравится при здешнем дворе. Король за столом, за которым и я имел честь обедать, говорил в очень сильных выражениях о французах, если они примут проект и покинут Станислава. Нельзя описать злобу, которую все здесь питают к королю Августу. Я долго разговаривал с тайным советником Тулемейером, который рассуждал, что Петр Великий с цесарским и здешним дворами согласился никак не допускать саксонского наследного принца на польский престол, а теперь оба императорские двора, обойдя Пруссию, эту конвенцию уничтожили и хотят насильно поддержать на польском престоле саксонского курфюрста против воли прусского короля, у которого ключ к дверям Польши; следовательно, без Пруссии Август никак не удержится на престоле, хотя бы вся Европа была за него. Нельзя понять, для чего императорские дворы хотят усиливать саксонского курфюрста, который сам по себе силен, имеет восемь миллионов дохода и может выставить 30000 войска; для чего хотят ему подать случай по смерти цесаря прежде всех нарушить прагматическую санкцию, Богемию и Силезию отобрать, установить наследственность польского престола в своем доме и, наконец, сделаться самодержцем в Польше. Я отвечал, что опасения насчет усиления курфюрста саксонского неосновательны, гораздо вредней всем соседям, и особенно Пруссии, польский король, который в союзе с Франциею и Швециею и в зависимости от них. Королю не нравилось, что Россия посылает цесарю вспомогательный корпус; он говорил австрийскому посланнику князю Лихтенштейну: „На русское войско никак полагаться нельзя, оно вовсе не так хорошо, как о нем разглашают, притом за недостатком мундира и прочих потребностей не в состоянии предпринять дальнего похода; я уже 20 лет с ними обхожусь и знаю, сколько на них можно полагаться“. Самому Бракелю король выражал опасения, чтобы Август III не сделался самодержавным в Польше и чрез это страшным для соседей; о герцогстве Курляндском сказал, что оно очень нужно для Лифляндии и со временем к ней может быть присоединено.

Фридрих-Вильгельм прямо сказал Лихтенштейну: „Я знаю, что мои министры и придворные взяли и берут деньги от французского правительства, но я на них за это не сержусь, потому что французские деньги в моем государстве обращаются“.

В июне Бракель писал, что здоровье короля очень плохо: страшно кашляет и левая рука сохнет; за обедом, на котором был и посланник, король говорил с наследным принцем и князем Дессау только о своей скорой смерти, какие пойдут после нее перемены и расходы, так что все собранное им в короткое время будет истрачено. Но опасения скоро рассеялись, и в августе король просидел целую ночь, пиша проект об улажении польских дел: он никак не мог привыкнуть к мысли, что Август останется на польском престоле, а потому, видя, что Станислав должен отказаться от него, предлагал, чтоб оба соперника отказались, и Станислав, и Август, и поляки пусть выберут кого-нибудь третьего из своих, а Станислав и Август пусть пользуются королевским титулом и получают некоторую сумму денег. Ночь пропала даром: Август III не думал отказываться от польского престола, и досада Фридриха-Вильгельма вследствие известной его страсти разрешилась самым смешным образом: к Бракелю явился камергер Полниц с просьбою, нельзя ли склонить польского короля, чтоб хотя прислал в подарок шесть человек великанов; Бракель отвечал, что если прусский король в вознаграждение за свой плохой нейтралитет поспешит поздравить Августа III польским королем, то последний, конечно, окажет свою благодарность великанами. Полниц проговорился, что прислан самим королем. Польские вельможи, приверженцы Станислава, нашедшие убежище в Пруссии, должны были заплатить за гостеприимство великанами.

В 1736 году Бракель писал: «Здесь министры меня обнадеживали, что король по получении ведомости о сдаче Азова большую радость оказывал и велел меня поздравить, а так как здесь ласки и учтивости понапрасну не оказываются, то думаю, что явится просьба о позволении набрать в России несколько великорослых людей». Когда в июле месяце берлинский обер-директориум представил королю ведомость о вреде, причиненном разливом рек, то Фридрих-Вильгельм написал в ответ: «В Пруссии у меня украдено 30000000, бог взял у меня два миллиона: да будет воля господня, яко на небеси и на земли». «Это христианское утешение, – замечает Бракель, – подкреплено огромного роста неаполитанцем, который прислан в подарок королем доном Карлосом».

Весною 1737 года сильный интерес в Берлине был возбужден вопросом об избрании курляндского герцога. Однажды за столом король сказал Бракелю, что бьется об заклад в 1000 червонных, что герцогом будет выбран граф Бирон. Бракель отвечал, что может статься, только Бирон несколько о том не старается, и ее величество обнадежила курляндское шляхетство, что она в это дело не мешается. «Однако два полка русского войска в Курляндию вступили, и туда же отправлен русский эмиссар», – заметил король. Несмотря на готовность биться об заклад, известие об избрании Бирона чрезвычайно неприятно поразило берлинский двор: надеялись, что срок избрания назначен будет польским королем и республикой и потому будет время выдвинуть прусских кандидатов. Король прямо обратился к Бракелю с упреком, что курляндское дворянство принуждено было к избранию генералом Бисмарком и его полками. Но все должно было ограничиться упреком, потому что Пруссия находилась во враждебных отношениях почти ко всем своим соседям, особенно к Ганноверу, вследствие

насильственных вербовок, которые Фридрих-Вильгельм позволял себе в чужих владениях; притом очень занимал вопрос о юлихбергском наследстве; наконец, здоровье короля день ото дня становилось все хуже. Когда в начале 1739 года Бракель откланивался Фридриху-Вильгельму перед отъездом своим в Вену, то король просил его уверить императрицу, что если Швеция или Польша нападут на Российскую империю, то он и без требования с русской стороны готов помогать всею своею силою, в чем обязуется королевским словом и честью, только просит полного доверия и откровенности, потому что граф Левенвольд не откровенно с ним поступал, откуда и произошло несогласие в польском деле и некоторая невольная холодность между обоими дворами; он с своей стороны охотно все забывает и надеется также забвения со стороны императрицы. В начале 1740 года больной король был очень огорчен известиями, что Франция проводит его относительно юлихбергского дела и находится в тесной связи с Швециею, которую хочет наградить в Лифляндии. В присутствии Бракеля Фридрих-Вильгельм сказал шведскому послу: «Приведенные в Финляндию шведские войска при теперешней продолжительной стуже или померзнут, или с голоду помрут, и русским там некого будет бить».

В феврале Фридрих-Вильгельм уже слег в постель, тихо и покорно слушал внушения духовных, говорил с сыном, как отец и друг, уговаривал его не предаваться французским прелестям, особенно не позволять театров и маскарадов, объявил духовенству, что от души прощает всем своим врагам, между которыми самый злой – шурин его, король английский, просил жену свою написать об этом брату, однако не прежде кончины, а между тем велел распечатывать все письма, чтоб знать, что пишут о его болезни. Потом королю стало легче, он переехал в Потсдам и продолжал там бороться с подагрой и водяною, к величайшему изумлению медиков, которые утверждали, что всякий другой человек не мог бы бороться и половину того времени. Наконец, 20 мая Фридрих-Вильгельм I умер, и на прусский престол вступил Фридрих II. Находясь в памяти до последней минуты, Фридрих-Вильгельм в присутствии министра Подевильса представлял своему наследнику пользу и необходимость союза с Россиею, уговаривая Подевильса утверждать нового короля в этом мнении; просил наследника ни в чем не торопиться, год или более оставить все как было, пока основательно не изучит людей. Бракель доносил, что старый король умер вовремя, потому что в Берлине хлеба уже не было, и если бы Фридрих-Вильгельм прожил еще два дня, то в народе необходимо произошло бы волнение. Первым делом нового короля было отворить магазины и продавать хлеб за половинную цену. Потом он приказал наведаться у знаменитого Потсдамского корпуса, состоявшего из великанов, каким образом каждый солдат туда попался и кто желает продолжать службу или не желает. Почти все русские (около 300 человек) объявили, что желают возвратиться в отечество, и прислали об этом просьбу к Бракелю. Тот писал императрице: «Так как из них почти все вашим величеством или вашими предками присланы в подарок покойному королю, то неприлично было бы требовать их назад; впрочем, можно найти средство освободить этих людей с соблюдением благопристойности».

Новый король прислал к Бракелю министра Подевильса с объявлением, что он предпочитает русский союз другим, причем Подевильс внушал от себя, что в Петербурге должны пользоваться таким добрым расположением Фридриха II.

Бракель советовал своему двору ждать предложений и условий из Берлина; предложения обязательного союза действительно пошли в ход, когда в октябре получено было потрясающее известие о смерти императора Карла VI. В Берлине говорили, что Франция теперь снимет маску и старый кардинал по известной своей политике с миролюбивою умеренностию воспользуется случаем для приобретения нескольких земель и мест. Думали, что курфюрст баварский вступит в Верхнюю Австрию, Богемию или Тироль, турки разорвут мир, венгерцы взбунтуются. «Какие меры здешний двор при этом примет, – писал Бракель, – о том знать нельзя, потому что король едва ли с своим министерством будет об этом советоваться; во всех важных делах он действует сам собою. Несмотря на жестокою лихорадку и опасения докторов, он работает день и ночь, сочиняет проекты, особенно хлопочет об усилении торговли в своих землях. Прилагаю извлечение из оригинальных рескриптов, из которых видно, какие проекты сочинены для привлечения рижского торга в Кенигсберг. Императорская Коммерц-коллегия, конечно, будет думать о способах, как бы предупредить это намерение».

Понятно, что Франция сильно хлопотала о привлечении молодого прусского короля на свою сторону и могла обещать себе успех, потому что известна была склонность Фридриха II ко всему французскому. Кантемир писал к своему двору из Парижа: «Будет большое счастье, если английский король будет в состоянии уничтожить склонность нового прусского короля к здешнему народу, а с французской стороны ничего не пропускают для улакания его прусского величества. Кардинал мне сообщил как приятную ведомость, что прусский король приезжал инкогнито в Страсбург, где был принят с большими учтивостями. На поступки прусских министров здесь как я, так и другие иностранные министры прилежно смотрим; до сих пор примечается одно, что с отличною учтивостью их принимают».

Легко понять также, что Франция, давно хлопоча о том, чтоб Северо-Восточная Европа оказывала ей не препятствия, а помощь в вопросе об австрийском наследстве, не могла не обратить внимания на Данию. В Копенгагене французский министр Шавиньи настаивал, чтоб датский двор заключил с Франциею субсидный договор, но датское правительство боялось, что эти обязательства с Франциею могут завлечь его в опасные дела, и предпочло субсидный договор с Англиею, который и был заключен в начале 1739 года. Ввиду шведских вооружений Алекс. Петр. Бестужев-Рюмин страшал датских министров внушениями, что если на севере начнутся беспокойства, то Россия принуждена будет всю торговлю свою перевести по-прежнему к Архангельску, отчего в зундской пошлине произойдет ежегодно от 70 до 80000 ефимков недобору, умалчивая о других вредных для Дании последствиях. «Хотя здесь, – писал Бестужев, – более десяти французских партизанов против одного истинного патриота, которые не токмо к шведам, но и к туркам более, нежели к россиянам, склонны и всеми удобоумышленными способами домогаются оные мои инсинуации опровергать, однако довольно мог заметить, что на вышепомянутые мои инсинуации немалая рефлексия чинится, чего ради на все французские и шведские подвиги недреманно око имеется».

Стремления Франции усилить свое влияние в континентальных государствах возбудили наконец опасения и в Англии, заставили ее думать о сближении с

Россию, которая сначала казалась такою отдаленною странюю. Мы видели, в каком неприятном положении находился князь Кантемир в Лондоне, когда он видел ясно, что английское министерство хочет во что бы то ни стало держаться *дешевой* политики невмешательства, а из Петербурга слали ему указ за указом хлопотать о союзе и высылке английской эскадры в Балтийское море. И после долго Кантемиру приходилось вести бесполезную борьбу против политики невмешательства. В феврале 1735 года он доносил о разговоре своем с Горасом Вальполем по поводу шведских субсидий: «Господина Вальполя ответ был, что в негоциации с шведским двором спешить не можно, понеже министерство английское не может безрассудно прибавлять обещанных Швеции субсидий, для того что министры английские должны друзей своих в парламенте хранить для своего безопаства. Вам-де известно, что противная партия не спит и всегда ищет внушать народу, что король много денег аглинских напрасно тратит: каким же образом министерство себя в даче Швеции великих субсидий извинить может, когда старается о негоциациях мирных с надеждою доброго сукцессу? Если мир заключится, к чему нам шведское войско? А если в войну вступим, то тогда время довольно нанимать войско. Мы-де знаем, что опасно, чтоб Швеция не вступила во французские интересы, да что ж нам делать? Обыкновения нашего народа нам руки вяжут и понуждают все дела делать с крайнею предосторожностию». Кантемир жаловался, что английское министерство «свое безопаство предпочитает общему европейскому интересу». Положение Голландии очень верно определил Кантемир в разговоре с лордом Гаррингтоном. Когда тот сказал, что ничего нельзя сделать прежде соглашения с Штатами, то Кантемир отвечал ему, что «он сам ведает, что в Голландии главнейшие правители охотно французов к самым дверям отечества допустят, нежели войну начнут, которая им статгалдера обещает, и что потому нечего от таких людей добра ожидать, если его английское величество своим образцом и другими способами не понудит к защите падающего европейского равновесия, на что он ответствовал, что когда его в-ство примет резолюцию вступить в войну, то подлинно должен понудить Статов Генеральных или вступить в одни с его в-ством меры, или объявиться против его величества, понеже, пребывая неутральными, аглинской торг великий ущерб понесет».

В августе Кантемир имел долгие разговоры с Горасом Вальполем и герцогом Ньюкестлем, изьяснял им опасность, грозящую европейскому равновесию от чрезмерного усиления Франции; настаивал, что интерес обеих морских держав требует предупредить вредные следствия этого усиления; обещал, что Россия будет помогать морским державам, если они решатся наконец на какой-нибудь смелый шаг в пользу цесаря. Из ответов обоих он заключил, что король Георг еще сам не знает, какие меры примет, и что Англия без Голландии войны не начнет.

Кончилась война за Польшу; началась турецкая война, и тут со стороны Англии такое же отсутствие сколько-нибудь энергических мер для ее прекращения. «Министерство английское желает видеть заключение мира, — писал Кантемир в 1737 году, — а каковы к тому способы интересованным державам приличнее — не их печаль». Но когда Россия и Австрия приняли посредничество Франции, когда исход турецкой войны показал всю слабость Австрии, когда политика Франции торжествовала на севере и юге Европы, когда Англия вступила в войну с Испаниею и боялась, чтоб Франция не явилась на помощь последней, то в Англии почли необходимым сблизиться с Россией,

заклучить с нею оборонительный союз и для этого отправили в Петербург полномочного министра Финча, тогда как до сих пор здесь находился только резидент Рондо. В сентябре 1740 года герцог Ньюкестль говорил князю Ивану Щербатову, сменившему в Лондоне князя Кантемира: «Франция под видом дружбы и посредничества в примирении Англии с Испаниею ищет всех способов теснить Англию точно так, как поступала и поступает с Россиею относительно Швеции, имея в виду всегда одни шведские интересы. Поэтому теперь время прежде шведского сейма для предосторожности от Бурбонского дома заключить союз между Россиею и Англиею, в который желательно также привлечь королей прусского, датского и польского, потом и голландцы могут войти в союз, но прежде они боятся открыть себя».

1740 год начался в Петербурге приготовлениями к чрезвычайным торжествам: с особенным великолепием, которое так любила императрица, хотели отпраздновать заключение мира с Портою. 14 февраля более 20000 войска было выстроено на Неве перед Зимним домом (дворцом) под командою генерала Густава Бирона. Императрица в богатой робе, с бриллиантовою короною на голове благоволила шествовать в придворную церковь, препровождаемая его высококняжескою светлостью герцогом курляндским. В церкви на амвоне секретарь Бакунин, окруженный герольдами, читал манифест о мире, после чего в передней перед церковью раздались литавры и трубы, на Адмиралтейской и Петропавловской крепостях загрохотали пушки, войска дали ружейный залп. Когда утихла пальба, преосвященный Амвросий вологодский произнес с немалым красноречием весьма изрядную проповедь. Но Амвросий нисколько не заменял Феофана, и потому ему не позволялось говорить длинных проповедей. В 1737 году по случаю взятия Очакова императрица писала кабинет-министрам: «Господа кабинет-министры! При благодарительном отправлении службы божией и молебствовании говорить казанье вологодскому архиерею, токмо не очень пространное и не долгое». После молебна императрица делала смотр полкам, которые палили с несказанною поспешностью и исправностью. По возвращении со смотра начались поздравления: предводимые обер-гофмаршалом графом Левенвольдом и генералом фон Любрасом, выступили вперед «от всех чинов Всероссийской империи яко депутаты» князь Черкасский, Волынский, фельдмаршалы Миних и Леси, и князь Черкасский от лица всей России говорил поздравительную речь, которая оканчивалась молитвою, чтобы русские, последуя стопам великой императрицы в заповедях божиих, могли творить угодное пред господом. А между тем по городу с помпою при звуках труб и литавр ездил герольды, читали манифест о мире и бросали в народ золотые и серебряные жетоны. Темнота ночи, последовавшей за этим торжественным днем, была почти весьма нечувствительна благодаря великолепной иллюминации, ибо и в самых бедных домах ни на одном окне меньше десяти свеч зажечь нельзя было. На другой день маскарад во дворце; 17 февраля угощение народу: герольды метали на все стороны золотые и серебряные жетоны, «и понеже сие в волнующемся народе производило весьма веселое движение, то ее императорское величество и прочие высокие особы чрез довольное время смотрением из окон веселиться изволили». Когда же народ ринулся к приготовленному для него кушанью и пущенному из фонтана красному вину, то высокие особы еще более увеселились. Во дворце потом бал и ужин, на Неве великолепный фейерверк: «И понеже огни в

приближающийся к месту фейерверка народ нечаянно пущены были, то произвели они в нем слепой страх, смущенное бегство и великое колебание, что высоким и знатным зрителям при дворе ее и. в-ства особливую причину к веселию и забаве подало».

Очень многие могли сравнить это торжество срытия азовских укреплений, за которое было заплачено 100000 русских солдат, с торжеством Ништадтского мира при великом дяде и, сравнивая торжества, сравнить причины их. В манифесте о мире провозглашалось: «Война прекращена в благополучный мир... Чрез оный мир границы наши таким образом распространены, что они уже претерпенным доньше самовольным набегам и разорениям более подвержены не будут, но в потребную безопасность приведены; прежние известного несчастливого Прутского трактата кондиции вовсе уничтожены, и государство наше от таких весьма обидных, предосудительных и бесславных обязательств освобождено». Но многие могли не понимать, каким образом границы распространены так, что татары не могут более в них вторгаться; многие знали, что кондиции Прутского трактата не вовсе уничтожены. Во время фейерверка на Неве горели слова: «Безопасность империи возвращена», но уже было известно, что Порта заключает союз с Швециею, а Швеция грозит войною России. После мирных торжеств весною того же года велено было все крепости, и особенно *остзейские*, в надлежащую исправность и оборону приводить с возможным поспешением. Было известно, что Франция подняла в Швеции антирусскую партию, и в то же время Франция посредничала при заключении мира России с Портою, и в Петербурге на придворном балу по случаю мирного торжества видели давно небывалое здесь лицо: открывал бал менуэтом с цесаревною Елисаветою Петровною французский посол маркиз Шетарди, который во время польской войны так сильно действовал в Берлине против России. Его ждали с нетерпением в Петербурге, надеялись, что с его приездом разъяснится дело и Россия успокоится насчет Швеции, но живой, ловкий, любезный маркиз относительно дел политических хранит упорное молчание. Зачем же приехал Шетарди в Россию?

Французский агент Лалли в записке своей о положении России, поданной кардиналу Флери, говорил: «Я не могу дать более простой и в то же время более верной идеи о России, как сравнив ее с ребенком, который оставался в утробе матери гораздо долее обыкновенного срока, рос там в продолжение нескольких лет, вышел наконец на свет, открывает глаза, протягивает руки и ноги, но не умеет ими пользоваться; чувствует свои силы, но не знает, какое сделать из них употребление. Нет ничего удивительного, что народ в таком состоянии допускает управлять собою первому встречному. Немцы (если можно так назвать сборище датчан, пруссаков, вестфальцев, голштинцев, ливонцев и курляндцев) были этими первыми встречными. Венский двор умел воспользоваться таким положением нации, и можно сказать, что он управлял петербургским двором с самого восшествия на престол нынешней царицы». Лалли оканчивает свою записку так: «Россия подвержена столь быстрым и столь чрезвычайным переворотам, что выгоды Франции требуют необходимо иметь лицо, которое бы готово было извлечь из того выгоды для своего государя».

Таким лицом и был маркиз Шетарди, присланный затем, чтоб освободить Россию из-под австрийского влияния и подчинить французскому, и если этого нельзя было сделать с помощью настоящего правительства, то произвести

переворот, в возможности которого уверяли. На первое было мало надежды: связь петербургского двора с венским, как казалось, была еще более скреплена выдачею замуж племянницы императрицыной Анны Леопольдовны мекленбургской (дочери герцогини Екатерины Иоанновны) за принца Антона брауншвейгского, племянника цесаревны. Кантемир писал, что во Франции недовольны этим браком: когда он известил о нем, то ни король, ни Флери, ни Амелот не отозвались никаким комплиментом. Во Франции очень хорошо понимали значение России; Кантемир писал в 1740 году: «Статского секретаря Морепя недовольство к России основано на его нраве: человек высокомерный и друг одного своего народа, он не только не любит народов чуждых, но тем и хвастает, и так как между всеми державами Россия может более других противиться здешним намерениям, то его недовольство и направлено преимущественно против нее. В деле пенсии математику Мопертюи, как я под рукою проведаль, ему, Морепя, противно показалось, что ваше величество хотели последовать примеру Людовика XIV, награждая ученых людей и вне своего государства, как будто такая слава была позволена только здешним государям». В инструкции Шетарди говорилось: «Россия в отношении к равновесию на севере достигла слишком высокой степени могущества, и в отношении настоящих и будущих дел Австрии союз ее с австрийским домом чрезвычайно опасен. Видели по делам польским, как злоупотреблял венский двор этим союзом. Если он мог в недавнее время привести на Рейн корпус московских войск в 10000, то, когда ему понадобится подчинить своему произволу всю империю, он будет в состоянии наводнить Германию толпами варваров. Германские владетели так разъединены и так слабы, что от них нельзя ожидать твердой решимости предотвратить такое великое несчастье – предвестник их будущего падения, и его величество давно обдумывает способы воспротивиться тому». Указывая на то, что сделано Франциею в недавнее время в Швеции, инструкция дает знать, что все это сделано с целью держать Россию в постоянном опасении со стороны Швеции и этим ослаблять выгоды русского союза для Австрии. Потом инструкция прямо высказывает ту мысль, что самое верное средство порвать союз между Австриею и Россиею – это правительственный переворот в последней: «Состояние России еще не обеспечено настолько, чтобы нельзя было ожидать внутренних переворотов. Иноземное правительство для своего утверждения ничем не пренебрегало в притеснении и разогнании старинных русских фамилий, но все еще остались недовольные гнетом иностранцев; они, вероятно, прервут молчание и бездействие, когда увидят возможность сделать это безопасно и с успехом. Теперь король не может иметь верных подробностей об этом положении, но, припоминая незначительность права, на основании которого герцогиня курляндская взшла на русский престол мимо принцессы Елисаветы и сына герцогини голштинской, трудно предполагать, чтоб за смертью царствующей государыни не последовали волнения. Очень важно, чтоб маркиз Шетарди, употребляя всевозможные предосторожности, узнал как можно вернее о состоянии умов, о положении русских фамилий, о значении друзей принцессы Елисаветы, о приверженцах дома голштинского, которые остались в России, о духе в разных отделах войска и командиров его, наконец, обо всем, что может дать понятие о вероятности переворота»

Шетарди наблюдает, выведывает, хотя ему это очень трудно по незнанию языка: он не может без переводчика объясняться ни с императрицею, ни с Бироном. Но ему не так нужно разговаривать с императрицею и Бироном, как с русскими вельможами, но из них он мог объясняться только с князем Куракиным, другие не умели говорить по-французски, да и не имели охоты сблизиться с французским посланником. Шетарди признавался, что ему надобно вооружиться большим терпением. Несмотря на препятствия, Шетарди кой-что проведаль и спешил донести своему правительству, что есть тайное волнение, возбужденное всеобщим и справедливым неудовольствием народа против владычества иноземцев, но прошедшее достаточно показало, что недоверчивость русских друг к другу и недостаток в людях с головой производят то, что никогда не найдут начальника, способного руководить при перевороте и дать ему успех; притом же это подвержено затруднениям почти непреодолимым при таком тиранически деспотичном правлении; следовательно, с этой стороны, если не увлекаться химерами, нет никакой надежды. Даже нельзя много надеяться и на движение случае смерти царицы.

Есть тайное волнение, неудовольствие. Мы видели уже причины неудовольствия в самом начале царствования Анны, до переезда двора в Петербург. С 1732 года до 1740 причины эти не уменьшались, а увеличивались. Две войны следовали одна за другою; причины и выгодные следствия первой, польской войны для не посвященных в политические соображения были непонятны; понятны были побуждения ко второй, турецкой войне, но результаты ее были слишком ничтожны в сравнении с огромным пожертвованиями людьми и деньгами; предприятие явно не удалось, дело с начала до конца шло не так, как хотели, как надеялись. А тут вместе с разорением от войны башкирский бунт, голод, пожары, повальные болезни, неослабное и суровое взыскание доимок, неперестающие жестокости: свергают, заточают архиереев, не заподозренных в народе относительно их православия пытаются, казнят вельмож самых видных; нет пощады и людям менее значительным. Тайная канцелярия свирепствует страшно.

В беде человек любит жаловаться, ищет, на кого бы сложить вину, даже и тогда, когда никто из существ ответственных не виноват; тем сильнее жалобы, когда есть кого обременить ответственностью, когда есть существо, всем неприятное, за кого никто не заступится, которое находится в печальной необходимости заступаться само за себя против всех, имеет печальную возможность это делать. При Петре Великом и Екатерине I недовольные складывали вину неприятного им положения на фаворита Меншикова, при Петре II также на фаворита Долгорукого и его родственников. И теперь фаворит владеет волею государыни, управляет всем, но этот фаворит хуже всех прежних: те хотя и делали много зла из корыстных целей, но все же были свои, русские и неохотники до иностранцев, а теперешний фаворит – иностранец, немец, и окружен своими земляками. В указах часто говорится о великом дяде, о необходимости восстановить его полезные отечеству распоряжения, но главное правило великого дяди – не давать первенства иностранцам пред русскими, управлять посредством своих – это правило было забыто, а оно-то было всего дороже для русских. Народное чувство было сильно оскорблено, когда увидели небывалое явление – фаворита-иностранца; когда увидели первого кабинет-министра – иностранца, двоих действующих фельдмаршалов-иностранцев, президентов коллегий –

иностранцев. С этим явлением не могли помирить никакие таланты, никакая благонамеренность, никакой блестящий успех в делах внутренних и внешних, а тут, как нарочно, главное лицо, фаворит, был человек без достоинств, бесплодно для России кормившийся на ее счет.

Сначала радовались падению прежнего фаворита и его родственников, но скоро неудовольствие на новых любимцев заставило благодушнее относиться к старым, и когда подвергся опале лучший из Долгоруких, фельдмаршал князь Василий Владимирович, то он уже явился героем-обличителем, погибшим за правду, за народное дело: в народе толковали, что Анна назначила наследником престола своего любимца Левольда (Левенвольда, обер-шталмейстера), что князь Василий в этом поперечил и за то сослан.

Скоро начали подвергаться опалам люди видные, за которыми в народе дурного не знали, и тем охотнее считали их невинными жертвами ненавистных иноземцев. Между людьми, сочувствовавшими попытке Голицына ограничить власть Анны, находился князь Григорий Дмитриевич Юсупов, который, как говорили, заболел и умер с горя, что попытка не удалась. Дочь его Прасковья бросилась к волшебству, чтоб чарами склонить к себе императрицу на милость. Дело открылось, и княжну Юсупову в 1730 году сослали в женский Тихвинский монастырь. В 1735 году ее взяли в Тайную канцелярию по доносу служанки и стряпчего: донесли что она жаловалась на Анну, говорила, что было бы лучше, если б царствовала Елисавета, бранила Бирона. рассказывала, что при Петре Великом Анну и сестер ее царевнами не называли, а просто Ивановнами. За это Юсупову высекли кошками, постригли, назвали Проклою и отправили в Сибирь, в Введенский девичий монастырь (при Успенском Далматове монастыре). Там она оказалась *безчинна*, монастырское платье сбросила, Проклою не называлась; за это в 1738 году ее высекли шелепами.

В 1733 году с удивлением должны были узнать об опале человека знатного происхождения, занимавшего важное место смоленского губернатора, князя Александра Черкасского. Это дело Черкасского есть одно из самых любопытных дел Тайной канцелярии в том отношении, что доказывало всего лучше бессмыслицу тогдашнего розыска, пыток: человек невинный был приговорен к смерти, потому что оклеветал себя из страха пред дыбою. В Гамбурге к известному Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину является служивший прежде камер-пажем при дворе мекленбургской герцогини Екатерины Ивановны Федор Красный-Милашевич и открывает дело великой важности: смоленский губернатор князь Черкасский говорил ему, что теперь в России честным людям жить нельзя, кто получше, те пропадают очень скоро; к нему, Черкасскому, императрица была особенно милостива, Бирон рассердился и удалил его от двора в Смоленск. В Голштинии живет внук Петра Великого, законный наследник престола, которому он, Черкасский, привел на верность многих смольнян. Губернатор поручил Милашевичу ехать в Голштинию и отдать герцогу два письма, одно от него, Черкасского, другое от генерала Потемкина. Милашевич утверждал, что генерал Александр Потемкин со всею смоленскою шляхтою хочет поддаться Станиславу Лещинскому; утверждал, что цесаревна Елисавета ходила к польскому послу Потоцкому в мужском платье. Легко понять, как обрадовался опальный Бестужев-Рюмин случаю освободиться от опалы, выслужиться у нового правительства открытием такого важного дела. Чтоб не упустить случая побывать

в Петербурге и сблизиться с фаворитом, он сам повез Милашевича в Петербург. Сам Ушаков поскакал в Смоленск арестовать Черкасского и исследовать дело о преступных замыслах Потемкина – и не мог ничего открыть. Несмотря на то, дело Черкасского началось в особой комиссии, и несчастный оклеветал себя. Его приговорили к смертной казни, но приговор был смягчен: Черкасского сослали в Сибирь. В 1739 году Милашевич попался по другому делу и, будучи приговорен к смертной казни, объявил, что оклеветал Черкасского, который действительно советовал ему ехать в Голштинию, чтоб удалить его из Смоленска, ибо ревновал его к девице Корсак, в которую был влюблен. Милашевич поехал в Киль, не застал там герцога и, не имея денег, бросился в Гамбург к Бестужеву с вымышленным доносом.

В 1736 году имели наслаждение добратся до князя Дмитрия Михайловича Голицына. Поводом послужила тяжба зятя его, князя Константина Кантемира, с мачехою, княгинею Настасьею. Все обвинение изложено в допросе сыну князя Дмитрия действительному статскому советнику князю Алексею Голицыну: «В прошлом, 1735 году отец твой князь Дмитрий Голицын писал к тебе, что по челобитью вдовы княгини Настасьи Кантемировой на зятя твоего лейб-гвардии поручика князя Константина Кантемира в насильном владении недвижимого ее имения, которое ей дано после мужа ее, велено производить суд, а такого человека, который бы в том суде от стороны того зятя твоего поверенным быть мог, не имеет и годным почитает бывшего тогда Камер-коллегии камерира Лукьяна Перова, и чтоб ты его, Перова, с прошением к тому наговаривал, чтоб ехал в С.-Петербург, и явиться ему отцу твоему. Ты оного Перова сыскал и просил, чтоб он обязался по тому делу поверенным быть, и ежели пожелает, то обещал его произвести в Судный московский приказ секретарем. Когда Перов склонился, тогда ты написал к отцу своему письмо и доношение в Сенат о произведении его в московский Судный приказ в секретари и, запечатав то доношение в один конверт, послал с ним. Перовым, к отцу твоему. Объявлял ты Камер-коллегии членам, что отец твой велел их просить об отпуске в С.-Петербург; как на то члены отказали, что для партикулярного дела Перова отпустить невозможно, тогда ты стал просить, чтоб ему дали указ о взыскании репортов, ведомостей и ответов по камер-конторам. По окончании вышеписанного судного дела писал к тебе отец твой, приказывал просить Камер-коллегии членов о произведении Перова в Камер-коллегию секретарем. Потом как оный Перов секретарем произведен, писал к тебе отец твой, что хотя по упомянутому делу суд и окончен, однако ж Перов еще для того дела потребен и чтоб ты просил Камер-коллегии членов о бытии ему, Перову, в Петербурге в Камер-конторе секретарем. Ведая ты многие указы, что никому государевых людей к своим собственным делам не употреблять, для чего ты Перова проискал своими отнял от государственных дел, исходатайствовал из Москвы для партикулярного своего дела в Петербург, и жалованье ему давано без всякого труда по должности его? В чины велено было производить за службы, показанные ее и. в-ству и государству, а ты искал оного Перова в секретари произвести для своего партикулярного дела». 7 января 1737 года дан был указ судить кн. Дмитрия Голицына в Сенате кабинетному министру, сенаторам, вышнего суда членам вместе с генералитетом и флагманами и с коллежскими президентами и членами. В чем обвинен был сын, в том же обвинен был и отец; кроме того, прибавлено: 1) отговаривался всегда болезнью, не хотя

государыне и государству по должности своей служить, положенных на него дел не отправлял; указы противным образом толковал и всячески правду испровергать старался; 2) некоторые доношения, присланные к нему из Москвы, подлежащие для подания в Сенат, У себя удержал и утаил; 3) научил Перова по делу зятя своего, кн. Кантемира, в суде поступать, вымышлять по тому делу неправость; 4) когда Перов некоторые слова от него противу закона божия и совести услышал и ему ответствовал, что надобно совестно рассуждать, и на то он, князь Дмитрий, так богу противно сказал, что будто совесть подлежит до одного суда божия, а не до человеческого; 5) да он же по призванию в вышний суд к ответу не токмо такие богу противные слова подтвердил, но еще и злее того яд свой изблевал, объявляя пред судом, что когда бы из ада сатана к нему пришел, то бы хотя он пред богом и погрешил, однако ж и с ним бы для пользы своей советовал и советов от него требовал и принимал. За такие противности, коварства и бессовестные поступки, а наипаче за вышеупомянутые противные и богомерзкие слова суд приговорил Голицына к смертной казни, но императрица по высочайшему милосердию повелела послать его в ссылку в Шлиссельбург и содержать под крепким караулом, а движимое и недвижимое имение все отписать.

Новый знаменитый заточник не нашел уже в Шлиссельбурге старого знаменитого заточника фельдмаршала князя Василия Владимировича Долгорукого: он был, переведен в Ивангород. Но в своем новом месте заточения Долгорукий был потревожен возобновлением дела своих родственников. О березовских ссыльных не забывали: для отобрания у князя Алексея Григорьевича Долгорукого и детей его алмазных, золотых и серебряных вещей и у *Разрушенной* (так называли княжну Екатерину) портрета Петра II был отправлен гвардейский сержант Рагозин. Возвратившись в Москву из своей поездки в апреле 1732 года, он подал графу Салтыкову опись вещей, найденных у Долгоруких, о портрете же объявил, что, по показанию князя Алексея и дочери его, он был написан на бумажке за стеклом и носился на руке; при отъезде из Москвы в ссылку стекло разбилось, а бумажка затерялась, куда – не знают. В 1736 году майор Семен Петров был в Березове для допрашивания Долгоруких; в следующем году сын боярский Кашперов и атаман Лихачев были биты батогами и сосланы на службу в Оренбург за то, что бывали у Долгоруких и обедавали и их к себе принимали; за то же биты плетьюми и сосланы в Охоток три священника да дьякон. Наконец, в марте 1738 года в канцелярии свидетельства счетов Сибирской губернии служащий в ней канцелярист Осип Тишин объявил, что, будучи при следствии майора Петрова в 1736 году, он слышал от князя Ивана Долгорукого злые и вредительные слова: неприличными словами он бранил императрицу за то, что разорила фамилию и род их весь, послушавши такой же... цесаревны Елисаветы, которая мстила ему, князю Ивану, за то, что он хотел заключить ее в монастырь, говорил, что императрица наказывала цесаревну плетьюми за дурное поведение; выражался об Анне: «Какая она государыня: она шведка!», порицая ее отношения к Бирону. Для розыска по этому доносу отправлены были в Сибирь гвардии капитан-поручик Федор Ушаков и поручик Суворов. Сначала князь Иван во всем заперся, но потом, когда нужно было приложить руку к белому допросу, повинился; рассказал и о написании ложной духовной. Его подняли на дыбу, но с пытки он прибавил только одно, что на исповеди духовнику березовскому священнику Федору Кузнецову покаялся в подписании ложной духовной и

духовник сказал: «Бог тебя простит». Священник подтвердил показание князя Ивана, в свое же оправдание сказал, что не объявил о словах духовного сына спроста, думая, что Долгорукий и сослан за подписание ложной духовной. Тишину объявили его вины: слышал давно о воровской духовной и не донес, разбалтывал о своем доносе и брал с Долгоруких немалые взятки; несмотря на то, в награду за важность сделанного им доноса ему дали секретарство и 600 рублей денег. Тишин потом припомнил, что Долгорукий говорил: «Я никого так не боюсь, как Павла Ягужинского, он наш гонитель». Долгорукий признался, что говорил эти слова, ибо с Ягужинским у него и у отца его была ссора. Князь Александр Долгорукий как-то успел достать нож, проколол им себе руку и живот, но рану зашили. Долгоруких из разных мест свезли в Новгород и там допрашивали о сочинении духовной. Подробности их показаний уже приведены нами прежде в своем месте; здесь приведем только сказанное князем Василием Владимировичем в оправдание свое, почему он не объявил о духовной в 1730 году: «Думал я, что и кроме моего показания императрице известно, понеже по пришествии в Москву ее величество изволила ему сказывать, что князь Василий Лукич доносил ей во время шествия из Курляндии о дерзости князя Сергея и князя Ивана Григорьевых, что они министров бить хотели, ежели совету их слушать не станут, и притом ее величество спросила меня: было ли так? И я ей донес, что о их дураческом дерзновении что мне и доносить, когда уже князь Василий Лукич доносил; к тому же граф Гаврила Головкин о том, что князь Алексей с братьями дичь свию желал наследницею престола учинить, ведал, и оный граф Головкин благодарил меня, что от этих замыслов князь Алексея с братьями отвращал, почему надеялся я, что и чрез графа Головкина ее величеству уже донесено». Для суда над Долгорукими назначено было генеральное собрание. 12 ноября 1739 года выдан был именной указ, из которого узнали, что в Новгороде князю Ивану Алексеевичу отсечена голова после колесования; князю Василию Лукичу, князьям Сергею и Ивану Григорьевичам просто отсечены головы, князей Василия и Михайлу Владимировичей велено держать в ссылке и, кроме церкви, никуда не пускать.

Разумеется, трудно было поверить, чтобы так жестоко наказаны были люди только за намерение, предпринятое ими десять лет тому назад и не приведенное в исполнение, после чего эти люди уже потерпели тяжкое наказание, и вот для объяснения новгородских казней придумали обширный заговор против настоящего нелюбимого правительства. В № 3 «Байрейтских ведомостей» (Bayreuther Zeitungen) 7 января 1740 года появилась статья с подробным описанием заговора Долгоруких, Голицыных и Гагариных с целью низвергнуть ненавистное иноземное правительство Бирона, придворного банкира жида Линмана, без которого фаворит ничего не делает, и возвести на престол цесаревну Елисавету, которая должна выйти замуж за Нарышкина, находившегося во Франции и с которым она была обручена.

Дали политическое значение делу Вас. Ник. Татищева. Мы видели, что он был задержан в Петербурге и на его место начальником Оренбургской экспедиции был отправлен князь Урусов. Полковник Тевкелев, сотрудник Кириллова и Татищева, подал на последнего донос Бирону в различных злоупотреблениях. Бирон передал дело на рассмотрение графа Михайлы Головкина, который по этому случаю писал герцогу в марте 1739 года: «Пред недавним временем изволил ваша светлость со мною говорить о Василье Татищеве, о его непорядках и притом

изволил мне приказывать, что к тому пристойно, о том бы надлежащим порядком я представил, как в подобных таковых же случаях ее величеству и вашей светлости слабым моим мнением служил. И по тому вашей светлости приказу наведывался, какие его, Василья Татищева, неисправы, и разведал, что полковник Тевкелев вашей светлости о том доносил, того для я призывал его, полковника, и обо всем обстоятельно выпросил. Я из оногo дела усмотрел два вида: 1) о непорядках, нападках и взятках Василья Татищева; 2) что он, Василий Татищев, еще не поставил на мере, где Оренбургу быть пристойно, а посему, что до первого вида касается, то необходимо надобно его, Василия Татищева, от тамошней команды отрешить и исследовать поблизости, в Казани, особливо учрежденной на то комиссии, где как ему, Вас. Татищеву, так и полковнику Тевкелеву для доказательств быть надобно, и что по следствию явится, тогда о том и рассудить можно будет, что делать; что же по второму виду рассуждать, то сперва доношу, что, когда Оренбурга. не было, тогда Россия много у себя повсегодно добра и людей теряла, для того что Башкирская земля почти вся окружена Россиею и отовсюду открыта, и тогда башкирцы иногда своим именем, а иногда именами других степных народов русскую землю разоряли и пустошили, и хотя по посылкам к ним нечто и возвращали, однако ж больше у себя оставляли, как пред несколькими годами брат мой граф Иван Головкин послан был для такого ж возврата и, уласкав их, башкирцев, взял у них 20000 семей русских, и по возвращении брата моего по старому их обыкновению не одну тысячу к себе выгнали, и так невидимо повсегодно людей из государства умаляли и другим народам продавали, а особливо в Бухары, и тамошний Абулфаис-хан набрал себе из русских гвардию, в трех тысячах состоящую, а Иван Кириллов усмотрел сие место, где Оренбург, за способно быть более для коммерции, и понеже оное место от жилья в степь подалось, того ради принужден был дороги от него распорядить: 1) к Уфе, 2) к Самаре, 3) в Сибирь, к Екатеринбургским заводам, и по тем дорогам построил крепостцы для коммуникации и для безопасного проезду и провозу как провианта, так и прочего, и в те крепостцы поселил козаков и роздал им для их удовольствия земли, и то его учреждение очень хорошо, а всемогущий тот распорядок устроил для нижеследующего, ибо сии дороги стали быть мунстук на башкирцев на приклад; ежели они либо похотят взбунтовать и соберутся хотя сто человек, то разезды по крепостцам тотчас сведают и не дадут им усилиться, к тому ж по прежнему своему обыкновению русских разорять и продавать им невозможно, ибо ныне везде связаны тем, что везде крепостцы, а мимо крепостей в степь проезду им нет и везде за ними глаза, и посему необходимо будут смирны, следовательно, где ныне Оренбург, тут ему и быть необходимо, для того что он стал на границе киргизской и дороги от него охватили всю Башкирскую землю; к тому ж, когда Кириллов Оренбург закладывал, тогда башкирцы ему давали великие деньги, чтоб он на том месте его не строил, и для того надобно ему тут и быть».

Эта многоглаголивая записка Головкина, разумеется, нисколько не решала дела относительно Оренбурга, и мы видели, что кабинет-министры согласились с мнением Татищева, но Бирону не было дела до Оренбурга; для него важен был первый *вид* записки, и Татищев был предан суду. Для избежания перерывов мы не будем здесь говорить о ходе этого суда; заметим только, что предан был суду русский человек, бывший по смерти Феофана Прокоповича главным

представителем новой России, новорожденной русской науки, русский человек, которого усердие и услуги императрице и ее власти были бесспорны; бесспорен был его горячий патриотизм – и его опала могла быть приписана только ненависти немцев к русской знаменитости или выказавшейся в чем-нибудь вражде русского патриота к ненавистному владычеству иноземцев.

Подвергся опале такой знаменитый воспитанник Петра Великого, как Татищев, но давно уже содержался под крепким арестом другой русский человек, неразлучный с преобразователем, его перо, – знаменитый Алексей Васильевич Макаров. Человек незнатного происхождения, Макаров, как близкий человек к Петру и Екатерине, встречал от всей знати самые льстивые, самые униженные заискивания, потому что мог в удобное время представить чью-нибудь просьбу государю или государыне. Легко понять, что Макарову менее всего могли простить за это, когда он перестал быть надобным человеком. Анна велела отобрать у Макарова письма, писанные ею в то время, когда ее звали просто Ивановною; Макарова затянули в дела по казенным злоупотреблениям, по недостатку отчетности, по каким-то злоумышлениям. Доказательств виновности не было, а между тем дело тянулось, и старика держали под арестом. В августе 1737 года он писал императрице из Москвы: «Содержусь я, бедный, с женою и детьми под крепким арестом два года и девять месяцев, и в запечатанных пожитках платье и белье и прочие тленные вещи от долговременного лежания без просушки и от копоти после бывшего пожара без разбора тратятся (в том числе заготовленное к замужеству большой моей дочери материнское первой моей жены и мое); также, видя меня, в долговременном аресте содержащегося, деревнишки мои посторонние нападками разоряют; деньги, отданные в долги, на должниках пропадают, а взыскивать на них и по деревенским обидам оправдаться нечем, ибо все крепости с другими письмами забраны, что видя, жена моя и дети многопродолжительное время без отрады весьма сокрушились, а, на их горестные слезы смотря, я, низайший раб, от таких тяжких печалей пришел в крайнюю болезнь и слабость». Императрица вследствие этой просьбы отправила указ в Москву графу Салтыкову: «Понеже дело Алексея Макарова по указу нашему действительно рассматривается и к окончанию привелено быть имеет, того ради по особливому нашему милосердию указали мы его, Макарова, арест таким образом облегчить, чтоб ему в церковь Божию ехать и прочие домашние нужды исправлять позволено было, только б впрочем по компаниям никуда не ездить, толь меньше из Москвы съезжать дерзнул, и в том его обязать надлежащим реверсом, также и к запечатанным пожиткам его допустить и их ему в диспозицию отдать можно, однако же взяв от него по обстоятельному всех тех вещей описанию крепкий же реверс, что из оных без позволения ничего не продать или иным каким образом на сторону не отдать и не растратить, а крепости его деревень из писем его приискать и к вам отправить велено».

Был в приближении у Петра Великого, который считал его полезным, необходимым человеком, а теперь не только не в приближении, но под арестом. Какая вина? Никакой вины нет; одна вина – русский, а теперь в приближении одни иноземцы. «Макаров – человек умный и милостивый и всем был приступен, когда был в силе, а ныне не так; мы надеялись было, что он останется в прежней силе при дворе государыни, а вышло не так, для того что нынче при доме ее величества больше все иноземцы».

Люди высших чинов говорили: «Ныне силу великую имеют обер-камергер (Бирон) и фельдмаршал Миних, которые что хотят, то и делают и всех нас губят; все от них пропали, и никто не смеет с ними говорить. Однако ж бог им заплатит, и сами того же будут ждать». Люди средних чинов говорили: «Бирон взял силу, и государыня без него ничего не сделает. Всем ныне овладели иноземцы. Лещинский из Данцига уехал миллионах на двух, не даром его граф Миних упустил; это все в его воле было. Граф Ягужинский обо всем писал к государыне, а когда граф Миних приехал в Петербург и повидался с Бироном, то и нет ничего, и все пропало: знать, что поделился с ним. Вот какие фигуры делаются у нас! Государыня ничего без Бирона не сделает – все делает Бирон. Нет у нас никакого доброго порядка. Овладели все у нас иноземцы. Бирон всем овладал». В монастырях говорили: «Как не боготворят чрево, когда, тирански собирая с бедного подданства слезные и кровавые подати, употребляют на объядения и пьянства, и как сатане жертвы не приносят, когда слезные и кровавые сборы употребляют на потехи? А на все это государыню приводят иноземцы, понеже у них крестьян нет и жалеть им некого, хоть все пропади, да хотя и есть у них, да не у многих, а хотя б и у всех были, так они брегут ли о наших русских крестьянах? Чай, хуже собак почитают. Пропашее наше государство!»

Разумеется, люди, платившие слезные и кровавые подати, не молчали: они приписывали свои беды женскому правлению: «Где ей столько знать, как мужской пол? Будет веровать боярам; бабьи города никогда не стоят, бабьи сени высоко не стоят. Хлеб не родится, потому что женский пол царством владеет. При первом императоре нам житье было добро, а ныне нам стало что год, то хуже; какое ныне житье за бабою?» Крестьянин винился, что говорил дурные слова про Анну от горести, что за неплатеж подушных денег бит был на правеже. Раскольник пророчествовал, что в 1733 году на Благовещеньев день будет страх велик и гнев божий и сама Анна будет взята на суд в Москву; она из Москвы поехала, как бы ей от того отбыть.

Кто же может избавить от женского незаконного и несчастного правления? Разумеется, царь. Уже в 1730 году слышался говор, что Петр II отравлен Долгоруким и осьмью другими боярами, но есть царевич, живет в горах. В 1734 году в тамбовских местах появились два самозванца – Тимофей Труженик, назвавшийся царевичем Алексеем Петровичем, и Стародубцев, назвавшийся царевичем Петром Петровичем; оба были схвачены и казнены.

В январе 1738 года в селе Ярославце Киевского полка остановились работники, шедшие за Десну для рубки леса. Один из них позвал к себе священника и начал ему говорить: «Я царь Алексей Петрович и хожу многие годы в нищенстве; поди объяви это в церкви пред всем народом; хотя мне смерть или живот будет, только б всем явно было, что я – царь Алексей Петрович подлинно, а как сие в дело пойдет и господь подаст мне счастье, я тебя тогда не оставлю; встретить меня в церкви с крестом и хоругвями, понеже пишет обо мне, чтоб я явился в Москве с болгары, однако все равно, что вместо болгар с малороссийским народом в Москве явлюсь, а если не сделаешь по-моему, то отрублю тебе голову». Священник отвечал, что во всем его слушать готов. На другой день самозванец позвал к себе солдат, стоявших в Ярославце на почте, и говорил им: «Я царь Алексей Петрович и ходил по разным местам, а ныне прямо о себе объявлю, пожалуйста послужите мне верою и правдою, как служили отцу

моему, а я вас за это не оставлю». Солдаты пали на землю и со слезами говорили: «Хотя до больших наших бояр дойдет и хотя донесется и до самой государыни, мы готовы за тебя стоять». «Вставайте, – сказал им на это самозванец, – я вашу нужду знаю, будет вскоре радость: с турками заключу мир вечный, а вас в мае месяце все полки и козаков пошлю в Польшу и велю все земли огнем жечь и мечом рубить». Между тем местное начальство узнало о необыкновенном событии, и сотник прислал козаков схватить самозванца, но солдаты, примкнув штыки к ружьям, взять его не дали и повели в церковь, около которой собралась огромная толпа народа; священник в ризах с крестом на блюде вышел на паперть, с ним несли хоругви; самозванец взял крест с блюда, приложился и вошел с ним в церковь, где были зажжены свечи и отворены царские двери; самозванец царскими дверями вошел в алтарь, поцеловал на престоле евангелие и стал в царских дверях с крестом в руках; священник начал молебен; на ектениях говорил: помолимся о благоверном нашем государе царе Алексее Петровиче и о государыне императрице Анне Иоанновне, и о государыне цесаревне Елисавете Петровне, и о государыне принцессе Анне; весь народ подходил к самозванцу, прикладывались ко кресту и целовали у него руку; потом самозванец положил крест, взял евангелие, и народ точно так же подходил к евангелию. По окончании молебна священник начал читать акафист Николаю Чудотворцу, но в это самое время вбегает в церковь сотник Климович со множеством козаков, схватывает самозванца за кафтан, вытаскивает из алтаря и из церкви, причем бьет палкою, потом отводит к себе на квартиру, кладет на ноги колодки, а на другой день отсылает в канцелярию Переяславского полка. В Тайной канцелярии самозванец объявил, что он польский шляхтич из города Поддубны Иван Петров Миницкий; лет 20 тому назад он вышел в Россию, приставши к одному гренадеру Кропотова полка; потом бродил по монастырям, где его постричь не могли вследствие строгих указов, ограничивших пострижение, но употребляли при управлении вотчинами; в последнее же время жил в работниках. Побуждением к самозванству выставил видение: явился ему Христос и сказал: поди, явись миру и объяви о себе, что ты царь Алексей Петрович, ты на это родился, и искорени Польшу, чтоб пришли в соединение веры. Видение повторилось; он рассказал об нем монаху Иоакинфу Максимовичу, и тот отвечал ему: «Не наше это чернеческое дело, явися с тем миру». Максимович, призванный к допросу, объявил, что Миницкий, находясь в услужении в Киево-Печерском монастыре в разных должностях, бывал в исступлении ума и ничего не делал; когда он, Максимович, однажды спросил его, зачем он не работает, то Иван отвечал: «Что мне работать! Я человек не простой, явился мне Михаил-архангел».

Дело сочли важным по усердию, какое оказали солдаты к самозванцу, и решили произвести сильное впечатление восточными варварскими казнями. Миницкий и священник села Ярославца были посажены живые на колья; некоторые из участников были четвертованы, другим отрубили головы.

Тайная канцелярия работала с небывалым усердием, преследуя дело и слово, охраняя спокойствие страны и честь обер-камергера. Внизу ни одно дерзкое слово против фаворита не оставалось без жестокого наказания; наверху он был окружен раболепством. Все искало его покровительства, все осыпало его лестью. Цесаревна Елисавета собственноручно писала ему: «Сиятельный граф! Ведаю всегдашнюю вашу благосклонность, не хотела упустить, чтоб не уведомить ваше

сиятельство о прибытии моем сюда (в Петербург) и желаю вашему сиятельству благополучного ж прибытия в Санкт-Петербурх; в прочем желая вашему сиятельству здравия и благополучного пребывания, остаюсь Елисавет». Жена князя Алексея Мих. Черкасского княгиня Марья писала: «Всенижайше благодарствую ваше сиятельство за все показанные вашим с-ством к мужу моему милости, а паче за всякие предстательства у ее и. в-ства, как и ныне я уведомилась из письма моего мужа, что ее и. в-ство всемилостивейше изволила пожаловать деньгами, о которой ее и. в-ства к нам, всеподданнейшим ее и. в-ству рабам, милости не сомневаюсь, что и вашего сиятельства по милости своей к нам предстательство было. И паки благодарствуя ваше сиятельство, всенижайше прошу и впредь в своих высоких милостях содержать неотменно. Нижайшая услужница княгиня Марья Черкасская». Дочь ее, княжна Варвара, посылала Бирону туфли, тканые серебром. Баронесса Марья Строганова обращалась к нему с жалобами на Татищева. Жалобы, как мы видели, действовали, да и нельзя было не действовать: баронесса для графини Биронши делала жемчужные нашивки.

Родственник императрицы граф Семен Андреевич Салтыков, управлявший Москвою, думал, что может держаться только при благосклонности фаворита, и потому писал к нему обо всем. 2 мая 1732 года он писал: «Прошедшего апреля 30 дня получил я от ее и. в-ства милостивое письмо, и притом пожаловала мне, рабу, на именины вместо табакерки 1000 рублей: истинно ко мне, рабу, милость не по моей рабской службе, истинно с такой радости и радуюсь и плачу». В том же году Салтыков счел нужным подарить Бирону мех лисий черный. Мы видели, что императрица была недовольна Салтыковым. Получивши от нее выговор, Семен Андреевич обратился к Бирону: «Вашему великографскому сиятельству, милостивому государю и отцу, слезночитою моею совестью доношу, что по указам ее и. в-ства всенижайшее мое исполнение чиню и всякою моею ревностию и верно без всяких страстей и во всем правлении дел имею всегда неусыпное мое попечение и более к смотрению моему я уже не знаю как и делать, что так ее и. в-ству известно якобы о моих неисправностях. Милостивого государя и отца со всенижайшею моею покорностию прошу при благополучном времени о всем доложить ее и. в-ству и чтоб повелено было мне быть в С.-Петербурге, чтоб я мог ее и. в-ству о всем доносить обстоятельно и свою невинность представить; я уже здесь был опасен, чтоб мне безвинно не понести гневу ее и. в-ства, и как я сей указ получил от всемилостивейшей государыни, с того времени и поныне с такой моей несносной печали чуть жив хожу, только не даю себя знать людям, чтоб меня не могли признать в такой моей несказной печали». Бирон отвечал любопытным письмом: «Вашего сиятельства письмо я с моим почтением получил, но токмо что я из оногo усмотрел немалую вашу печаль и о том сердечно сожалею, а особливо для того, что я про тот указ который от ее и. в-ства ваше сиятельство получить изволили, до получения вашего письма был неизвестен, понеже он писан не здесь и не тем ее в-ства секретарем, который при мне обретается. Что же до меня надлежит, в том я уповаю, ваше сиятельство, довольно сами можете засвидетельствовать, что я во внутренние государственные дела ни во что не вступаюсь, кроме того, ежели такая ведомость ко мне придет, по которой можно мне кому у ее в-ства помогать и услужить сколько возможно или что надлежит до общего к пользе и интересу вашему, хотя б и не по моей должности что было,

однако ж старания моего никогда прилагать не оставлю, ибо, как вашему сиятельству известно, что я уже давно в службе ее в-ства обретаюсь, а еще надеюсь, что никто на меня ни в какой обиде жаловаться причины не имеют, особливо же вашему сиятельству от сердца моего желаю всякого благополучия и тому радуюсь, когда ваше сиятельство находитесь в состоянии. О порядке дворцовых волостей ныне я потому ж неизвестен и ни от кого при дворе не слыхал, что они разорены или в лучшее содержание приведены, також и доходы прибавлены или умалились, но токмо, как пред сим от многих ее величеству учинилось, известно, что Раевской, который ими правит, яко бы человек непотребный и весьма худого состояния и от несмотрения его волости дворцовые все разорены, то я еще прошлого года вашему сиятельству о том ясно сообщил, и как на оное мое сообщение ваше сиятельство изволили ко мне отозваться, что те люди напрасно поношение терпят и ни в чем не винны, то уже я затем более в. с-ству и припоминать не хотел. О прибытии вашем сюда я, изыскав благополучное время, ее величеству докладывать буду».

Бирон во внутренние государственные дела не вмешивался, только принимал просьбы, чтоб оказать услугу просящим, да принимал еще участие в делах, касавшихся общей пользы, и такое участие, что правительственное лицо, хотевшее держаться на своем месте и действовать с успехом, должно было непременно посылать свои доклады обер-камергеру. Вот что рассказывает об этом участии князь Яков Шаховской, племянник известного нам князя Алексея Шаховского, управлявшего Малороссиею и столкнувшегося, как мы видели, с Минихом. Незадолго до смерти своей старый князь был в Петербурге и оттуда, отправляясь в Малороссию, заехал в Москву для излечения глазной болезни. В это время Миних уведомил Бирона, что козацкое войско, отправленное Шаховским в поход, явилось в неисправном виде. Следствием этого была сцена, которую пусть опишет сам князь Яков. «В один тогда день герцог Бирон вышел в аудиенц-камеру, где уже много знатнейших придворных и прочих господ находилось, и, подошед ко мне, спрашивал: есть ли дяде моему от болезни легче и скоро ли он в Малороссию к своей должности из Москвы поедет? Я, как и о сем, имел от дяди моего комиссию, чтоб в пристойном случае еще на несколько недель для лечения своего глаза в Москве ему пробывать, выпросить дозволения и объяснительно уверить, что и в отсутствие его порученные ему в Малороссии дела с таким же успехом, как и при нем, происходить будут, представил о том его светлости, но он, от фельдмаршала Миниха будучи иначе к повреждению дяди моего уведомлен, несколько суровым видом и вспылчивыми речами на мою просьбу отвечивал, что он уже знает, что желание моего дяди пробывать еще в Москве для того только, чтоб по нынешним обстоятельствам весьма нужные и время не терпящие к военным подвигам, а особливо там, дела, ныне неисправно исполняемые, свалить на ответы других: вот-де и теперь малороссийское козацкое войско, к армии в Крым идти готовящееся, больше похоже на маркитантов, чем на военных людей. Я, следуя моим правилам, чтобы во всяких случаях справедливость предпочитать всему, робким быть за стыд почитая, на те его светлости речи, не запнувшись, с твердым духом отвечивал, что то донесено несправедливо. На сии мои слова герцог Бирон, осердясь, весьма вспылчиво мне сказал, что как я так отважно говорю? Ибо-де о сем в тех же числах фельдмаршал граф Миних государыне представлял, и можно ль-де кому подумать, чтоб он то представил ее в-ству ложно. Я ему на то

ответствовал, что, может быть, фельдмаршал граф Миних одного войска сам еще не видал, а кто ни есть из подчиненных, дяде моему недоброжелателю, то худо ему рекомендовал; для лучшего же о истине удостоверения счастлив был бы мой дядя, когда б против такого уведомления приказано было кому-нибудь, нарочно посланному, оное козацкое войско освидетельствовать и сыскать, с которой стороны и кем те несправедливые представления монархине учинены? Ибо, когда персональные кредиты, а не существенные доказательства дел в удостоверениях преимущественно брать будут, тогда наисправедливейшие и радательнейшие, от ухищрений коварных завистников безопасными быть надежду потеряв, лишатся своей крепости и негодными ко услугам монархине и отечеству сделаются. Такая моя смелость наивящше рассердила его, и он в великой запальчивости мне сказал: *«Вы, русские, часто так смело в самых винах себя защищать дерзаете»*. Сии его сиятельства речи не столько в робкое, как огорчительное смятение меня привели, на что я скоро ему с печально чувствительным видом отвечал: сие будет высочайшая милость, и вскоре всеобщее благосостояние умножится, когда коварность обманщиков истребляема, а добродетельных невинность от притеснения защищаема будет, и, когда дядя мой и я в каких несправедливых ее в-ству представлениях найдемся, помилования просить не будем. В таких я колких и дерзких с его светлостью разговорах находясь, увидел, что все бывшие в той палате господина один по одному ретировались вон и оставили меня в комнате одного с его светлостью, который ходил по палате, а я, во унылости пред ним стоя, с перерывкою продолжал об оной материи речи близ получаса, которых подробно всех теперь писать не упомяну, но последнее то было, что я увидел в боковых дверях за занавешенным не весьма плотно сукном стоящую и те наши разговоры слушающую ее и. в-ство, которая, потом открыв скоро сукно, изволила позвать к себе герцога, а я с сей высокопочтенной акцией с худым выигрышем с поспешением домой ретировался».

«Худого выигрыша» не было для Шаховских, потому что, во-первых, старик князь Алексей умел показать свою преданность Бирону тем, что обо всем посылал ему доклады, а во-вторых, потому, что Бирон не любил Миниха. Мы уже видели, что так называемая немецкая партия, господствовавшая при Анне, в самом начале не представляла крепкой связи между своими членами, почему и не может быть называема собственно партией. Два самых видных иностранца по талантам и деятельности, фельдмаршал Миних и вице-канцлер Остерман, не умели поделить и столкнулись в соперничестве; обоих не терпел могущественный фаворит, который хотел правительствовать без способностей и знания дел, и видел, что в Остермане и Минихе он вовсе не имеет покорных орудий, что оба они работают для себя и только по наружности сохраняют к нему вынужденное уважение. Тесно связаны были Остерман и Левенвольды, и смерть обер-штальмейстера Левенвольда, случившаяся в 1735 году, не могла не быть чувствительна для этого кружка, потому что покойный, как говорили, пользовался одинаким фавором, как и Бирон. Обер-камергер освободился от соперника, Миних освободился от врага, Остерман лишился друга. Но Остерман был силен сам по себе; мнение о его необходимости в делах внутренних и особенно внешних утвердилось; императрица в затруднительных обстоятельствах прибегала к *оракулу*, как величали Остермана. Относительно Миниха интересы Бирона и Остермана были соединены; оба боялись его честолюбия, оба считали выгодным

пугать его честолюбием. В конце войны его подозревали в желании сделаться господаром Молдавии на том основании, что он хотел продолжения войны после заключения мира австрийцами. По окончании войны его не оставили в Малороссии, передали ее управление генералу Кейту, хотя Миних желал этого места; рассказывали, что Миних просил себе управление Малороссиєю с титулом князя украинского, и будто императрица сказала по этому случаю: «Миних очень скромн; я всегда думала, что он будет просить у меня титула великого князя московского». Миниха пожаловали подполковником Преображенского полка, и в начале 1740 года он явился в Петербург с свежєю славою Ставучан и Хотина, с досадою от обманутых надежд, с жаждою новых надежд, готовым орудием для движения, предметом беспокойства для сильных, не хотевших делиться своею силою.

Миних был страшен Бирону как фельдмаршал, как военная знаменитость. Его нельзя было перевешивать Леси, человеком честным, скромным, но имевшим репутацию недаровитого полководца. У Бирона были в войске братья; был свояк, генерал Бисмарк, родом из Пруссии, но в прусской службе ему не посчастливилось: он долго содержался в строгом заключении, и потом ему не давали полка за то, что убил своего слугу; он перешел в русскую службу, женился на сестре жены Бирона и сделался генерал-лейтенантом, но твердое знание прусского военного артикула, который он вводил и в русское войско, не равняло Бисмарка с Минихом. Миних был страшен тем, что его некуда было удалить. Другое дело – барон Корф, который, как говорили, вздумал перейти дорогу обер-камергеру; ему дали сначала невлиятельное место президента Академии Наук, а потом отправили посланником в Данию. В отеснении Корфа Бирону помогло то обстоятельство, что набожная императрица не могла сблизиться с вольнодумцем Корфом.

Но и Миних был долго в отсутствии из Петербурга, был на войне, хотя война только увеличила его значение. А Остерман был постоянно тут и всем заправлял. Что более всего раздражало Бирона и других, входивших в близкие отношения к Остерману, так это его хитрость и скрытность: никто не знал, что он думает, чего желает в известном случае, куда ведет дело, как относится к тому или другому делу, к тому или другому человеку; захочет кто-нибудь узнать об этом – оракул отвечает темно, двусмысленно, надобно ломать себе голову, чтоб проникнуть смысл оракула, а это страшно раздражало, особенно раздражало Бирона, который все более и более привыкал к раболепству. Отсюда естественное желание отделаться от Остермана, найти человека, который бы мог заменить Остермана и в то же время был бы покорным орудием фаворита, будучи обязан ему всем. Между иностранцами такого найти было нельзя; если бы даже и можно было сейчас же сыскать иностранца даровитого, то ему нужно было долговременное приготовление, чтобы хотя сколько-нибудь сравняться с Остерманом в опытности по делам внешним и внутренним. Надобно было обратиться к русским, к рассеянными птенцам Петровым, детям преобразования. Прежде всего внимание обратилось на Ягужинского, в котором хотя и нельзя было надеяться иметь вполне покорное орудие, особенно во время *шумства*, но возвращение из изгнания (ибо такое значение имело удаление его в Берлин), высокая честь быть кабинет-министром ручались за благодарность, а главное, Остерману выставлялся опасный соперник, в одну берлогу помещалось два медведя, и граф Андрей

Иванович станет непременно тише, будет искать в фаворите поддержки против Ягужинского, а тот будет искать поддержки против Остермана, притом же загородится рот тем людям, которые кричат, что немцы управляют Россией: в Кабинете будет два русских министра против одного немца. 28 апреля 1735 года Павел Иванович Ягужинский, вызванный из Берлина, был сделан кабинет-министром, получив также должность обершталмейстера, упразднившуюся смертью Левенвольда.

Но Ягужинский скоро умер (в апреле 1736 года), и надобно было искать ему преемника. Выбор остановился на Артемии Петровиче Волынском.

Мы видели, в каком неприятном, унижительном положении находился Волынский в начале царствования Анны, но родство с Салтыковыми и заступничество Бирона, покровителя Салтыковых, поддержали его. Мы упоминали о нем как председателе комиссии, составленной в Москве для устройства конских заводов. Ревностью здесь он мог всего скорее угодить фавориту, страстному охотнику и знатоку в лошадях. Австрийский посланник граф Остейн, ненавидевший Бирона, говаривал, что когда фаворит говорил о лошадях или с лошадьми, то он говорил как человек, а когда говорил о людях или с людьми, то говорил как лошадь. Но мы видели, что польская война отвлекла Волынского от конюшенных дел и вызвала его в действующую армию. Об отношении его к Бирону в это время можно судить по письму его от 20 апреля 1734 года: «Приемлю смелость о моем несчастье доносить, как я с начала вступления в Польшу и чрез все прошедшее время с каким усердием служил и трудился, не отрицаясь ни от чего; так о том его графское сиятельство г. обер-шталмейстер фон Левенвольд и прочие все могут засвидетельствовать, какие я имел беспокойства, однакож все то исполнял истинно со всякою охотою моею, и, наконец, по особливому несчастью моему приключилась мне злая животная болезнь, и так был несколько в великой опасности к смерти, и хотя потом некоторую свободу и получил, однакож не только верхом на лошади стало невозможно ездить, но и пешком ходить зело трудно, и затем от генерал-фельдмаршала Миниха отпущен в С.-Петербург и прибыл сюда в Кенигсберг, где, взяв доктора, пользуюсь, и побыв здесь некоторое время для пользования моего, а потом паки буду продолжать до Петербурга по возможности путь мой, и, сие несчастье мое донесши, всепокорно предаю себя в неприменную вашего высокографского сиятельства милостивого государя моего и истинного патрона милость».

Конечно, по старанию истинного патрона Волынский был сделан обер-егермейстером, полным генералом и был назначен одним из уполномоченных на Немировский конгресс. Мы видели, что и здесь болезнь помешала ему приехать вместе с другими товарищами. Перед отъездом из Немирова он написал своим детям следующее письмо: «Любезные мои дети: Антушка, Еленушка, Машичка, Петрушенка, здравствуйте и буди на вас милость и благословение божие. О себе объявляю вам, что мы сей день отъезжаем отсюда до Киева, куда, надеюсь, в семь дней прибудем и там от ее и. в-ства указа ожидать о возвращении нашем будем, токмо, чаю, оной к нам уже и послан. Дай всевышний мне вас скорее и в добром здравье видеть и обще с вами его всещедрого благодарить, а я, слава богу, в совершенном моем здравье, так что, прощаясь на разъезде с здешними господами польскими, и они у меня, и я у них

попили нарочито дни с четыре. Потому можете, любезные дети, уверены быть, что я, конечно, здоров, понеже больному нельзя пить, а я ж и здоровый, ведаете, что неохотник, однако ж за любовь их, что ко мне все особливо ласковы были, принужден был».

Назначение Волынского в число уполномоченных на Немировский конгресс было ступенью к высшему назначению. По смерти Ягужинского одно место кабинет-министра оставалось праздным, следовательно, Кабинет при незначительности Черкасского сосредоточивался в одном человеке – Остермане, чего не хотел Бирон. В Волынском он надеялся найти человека, по способностям и опытности могущего перевешивать Остермана и в то же время долженствовавшего быть покорным слугою фаворита, ибо всем был обязан ему и по своему прошедшему, и по множеству сильных врагов нуждался в постоянном его покровительстве. Бирон считал себя в праве говорить: «Волынский мне обязан тем, что он не был повешен еще тогда, когда двор был в Москве». Хотя в этих словах и было преувеличение, однако после известного нам казанского дела без сильного покровительства трудно было подняться так, как поднялся Волынский. Говорят, будто Ягужинский пророчествовал перед смертью: «Я предвижу, что Волынский посредством лести и интриг пробьется в кабинет-министры, но не пройдет и двух лет, как принуждены будут его повесить». Говорят о прошедшем человеке, и на язык попадает слово – виселица; говорят о его будущем, и опять то же слово – значит, человек для избежания виселицы должен иметь сильное покровительство; и Бирон в расчете на невозможность для Волынского держаться самостоятельно вводит его в Кабинет, отвечая иностранцам, которые высказывали на этот счет свое удивление и беспокойство: «Я хорошо знаю, что говорят о Волынском и какие пороки он имеет, но где же между русскими найти лучшего и способнейшего человека?»

И вот Волынский у цели своих желаний: он кабинет-министр. Он участвует в решении важнейших дел, он ходит с докладами к государыне, имеет возможность говорить с нею, выставлять свои способности и усердие, накидывать тень на людей неприятных, принимать секретные поручения. У Волынского закружилась голова; властолюбие было страшно возбуждено, является стремление играть главную роль, затмить всех, но тут препятствия, которые доводят раздражение до крайности, враги дразнят со всех сторон. Главный враг, способный дразнить, раздражать страшно человека, подобного Волынскому, – это Остерман, оракул, у которого не добьешься ничего ясного, определенного, и Остерман имеет важные причины дразнить Волынского, подставлять ему ногу: Волынский введен в Кабинет для противодействия Остерману. И Волынскому при его горячке трудно бороться с Остерманом, спокойно обдумывающим, как бы уколоть врага и поставить его в неприятное положение. Волынский, начетчик и говорун, станет излагать мнение по какому-нибудь делу; другой кабинет-министр, князь Черкасский, не начетчик и не говорун, не имеющий своих мнений, увлекся, пристаёт к мнению Волынского, но бесстрастный граф Андрей Иванович спокойно произносит свое veto, свое «не так». И это постоянно: Волынский выходит из себя, Волынский, считающий себя и считаемый от многих других умницею; он постоянно рассуждает не так, один Остерман непогрешителен! Но этого мало: Остерман согласится, но с докладом к государыне сам не пойдет; Волынский отправится и получит гнев государыни за неудобное ей решение, а

Остерман в стороне; он с докладом не ходит, а ходит, так и наговаривает государыне на других, возбуждает ее подозрение; он в кредите, его слушают, а Волынский в работе и неприятностях. С другим товарищем своим по Кабинету, князем Алекс. Мих. Черкасским, Волынский был сначала в больших ладах. Черкасский был недоволен Остерманом, Бироном, Анною; ему казалось, что за такие важные услуги он был мало награжден; он досадовал, что ему не дано главной роли: что бы он, по своим способностям, сделал с своею главною ролью, он об этом не рассуждал, только неприятно было, что другие пользуются большим влиянием на дела, чем он; вероятно, он не слыхал, что насмешники говорили, когда их было только двое в Кабинете с Остерманом; насмешники говорили, что Остерман – душа Кабинета, а князь Черкасский – тело. Притом, несмотря на огромное богатство. Черкасский был корыстолюбив и сердился, что мало получал материального вознаграждения за свое усердие; наконец, самая благовидная причина неудовольствия была ссылка его племянника князя Александра по делу очень сомнительного свойства. И вот князь Алексей Михайлович отводит душу жалобами в беседах с новым товарищем. Черкасский жаловался, что Остерман так силен, что ни он, Черкасский, ни страшный начальник Тайной канцелярии Ушаков не смеют против него говорить. «Остерману, – говорил Черкасский, – противно, что Сенат есть, хотелось бы ему, чтоб Сената не было, а съезжались бы коллежские президенты для совещания; Остерман боится, что Сенат усилится, если в нем много будет членов». Черкасский жаловался и на Бирона, называл его злым человеком за то, что племянника его князя Александра напрасно в ссылку послал; стращали его пытками, и он на себя много напрасно говорил, а доноситель научаем и обнадежен был Алексеем Бестужевым. Черкасский жаловался на государыню: «Государыня мне говорила: бог тебя не оставит, также и я, пока буду жива, тебя не оставлю, а какую я от нее милость вижу? Вот безделица: пожаловали было нам троим китайские товары – Головкину, Остерману и мне; когда Головкин умер, тогда изволила сказать: вот вам и его часть отдаю, а после того из тех товаров лучшие выбрала себе на 30000 рублей, а остальные велела разделить на несколько частей, а теперь не подарила мне доимки на крестьянах моих, велела взыскивать. Выйду в отставку».

Такие откровенности были вначале, а потом Черкасский удалился от Волынского, увидавши, что может быть опасно сближение с человеком, на которого косятся сверху, косится не только Остерман, но и Бирон.

За что же истинный патрон стал коситься на своего клиента? За то, что клиент, ставши кабинет-министром, перестал быть человеком ищущим. Волынский был человек живой, деятельный; новая должность заняла его, а если кабинет-министр хотел и любил заниматься, то какой предмет мог быть чужд его внимания, когда все дела сосредоточивались в Кабинете и разделения занятий между его членами не было? Кроме того, Волынский любил почитать, пописать и поговорить с читавшими людьми, и потому он не мог найти много времени для того, чтоб постоянно быть в приемной герцога курляндского. Это отсутствие, разумеется, было замечено. Что же это значит? Уже начал пренебрегать, хочет жить сам по себе, не нуждается более? Неблагодарный! Да куда он девался? Что он делает? «У него дела много, ваша высокогерцогская светлость, – говорят добрые люди, – все проекты пишет, все, по его, не так, всех бранит». А его высокогерцогская светлость приобрел к этому времени окончательно дурную

привычку – не церемониться ни с кем, обходиться со всеми как с лакеями: застанет кто герцога в хорошую минуту, примет хорошо, ласково; застанет в невеселом расположении духа – примет как нельзя хуже. Волынский прежде, когда искал в Бироне, мог переносить это, вероятно даже и не очень замечал: мысли были не тем заняты, но теперь, когда искание прекратилось, цель была достигнута, Волынский стал внимательнее к такому обхождению, обидчивее, ведь он кабинет-министр! Отсюда сильное раздражение и первая мысль: немец, какого происхождения, чем добился до такого положения и смеет так обходиться с лучшими русскими людьми! Посещать Бирона стало неприятно Волынскому, а человеку естественно избегать неприятного: кто его знает, как примет, что за охота терпеть унижение? И вот Волынский еще реже является к Бирону и жалуется, что Бирон перед прежним гораздо запальчивее стал и при кабинетных докладах государыне герцог больше других на него гневался; поглотить на его нрав невозможно, временем показывает себя милостивым, а иногда и очами не смотрит. Черкасский вторит ему, что Бирона нрав переменился и безмерно стал запальчив и не любит, кто с кем дружно живет; ныне опасно жить, что безмерно на всех напрасная суспиция, а ту суспицию внушил паче всех граф Остерман, его вымысел в том состоит, чтоб на всех подозрение привести, а самому только быть в кредите. Немцы – Бирон и Остерман – виновники всему злу, они перебивали дорогу Волынскому, и Волынский жаловался: «Ныне пришло наше житье хуже собаки!» – жаловался с горя, что иноземцы перед ним преимущество имеют. Бирон видит, что Волынский уже не тот, к нему является редко, но с государынею старается быть как можно чаще и говорит с нею как можно долее. Этого Бирон выносить не мог и при первом случае высказал свое негодование Волынскому; когда было получено донесение Миниха о недостатке провианта, тогда как его было много на Днепре, то Волынский пошел к Бирону с представлением о несправедливом требовании фельдмаршала, думал, вероятно, получить хороший прием вследствие вражды между Бироном и Минихом, но получил прием очень нехороший. «Напрасно ты ко мне с этим пришел, – закричал на него герцог, мне какое дело! Поди сам докладывай государыне, ты можешь и по часу говорить с государыней».

Но подозрительность и досада Бирона усилились по самому неприятному для него делу, от которого зависело его будущее. Совершилось событие, напоминавшее волшебные сказки: сын курляндского конюха сделался герцогом курляндским. Но владетельный и наследственный герцог курляндский был обер-камергером русской императрицы и, сделавшись герцогом, остался при петербургском дворе. Это показывало ясно, что все значение его основывалось на отношениях к этому двору, к России, следовательно, для сохранения своего значения Бирону нужно было утвердить свое высокое положение в России. Это положение зависело от фавора императрицы, но что будет по смерти ее? Закон Петра Великого, что царствующий государь имеет право назначить себе преемника, существовал во всей силе; если Анна была избрана, то потому, что Петр II не распорядился назначением себе преемника. Анна хотела утвердить на русском престоле свою линию, а единственную отрасль этой линии была мекленбургская принцесса Анна Леопольдовна, дочь герцогини Екатерины Ивановны. Кто будет мужем принцессы Анны – этот вопрос занимал очень многих и сильно занимал Бирона. Естественно было человеку в его положении

схватиться за мысль об утверждении своего положения в России посредством брака сына своего на принцессе Анне. Бирон тем более мог питать такие надежды, что принцесса чувствовала отвращение к назначенному ей в женихи принцу Антону брауншвейг-бевеернскому; со стороны императрицы Бирон не мог ожидать препятствий; было одно препятствие – молодому Петру Бирону было только 16 лет, но при высших соображениях такие препятствия исчезают. Оставалось приобрести расположение молодой принцессы, чтоб ее склонностью прикрыть все, и вот Бироны начинают сильно ухаживать за нею. Наконец пришло время покончить дело. Сам Бирон взялся предложить принцессе в женихи принца Антона в полной уверенности, что предложение будет отвергнуто, и действительно, принцесса отвечала, что она скорее положит голову на плаху, чем выйдет за принца Антона. Бирон в восторге решился пользоваться благоприятною минутою: дочь генерала Ушакова, бывшая за камергером Чернышевым и пользовавшаяся приближением у принцессы, должна была предложить Анне Петра Бирона, но принцесса страшно оскорбилась этим предложением и под влиянием этого чувства объявила, что переменила прежнее намерение и готова выйти за принца Антона. Императрица очень обрадовалась этому решению, и Бирону ничего более не оставалось, как притворяться также обрадованным. Но как относились к этому делу русские люди? Волынский узнал о намерении Бирона женить сына на принцессе Анне от медика цесаревны Елисаветы Лестока; Лесток рассказывал, что слышал от самой цесаревны, что императрица представила племяннице на выбор обоих женихов, молодого Бирона и принца Антона; принцесса отвергла Петра Бирона и сказала: «Когда на то воля вашего величества, то лучше пойду за принца брауншвейгского, потому что он в совершенных летах и старого дома». Волынский, рассказывая об этом своим друзьям, называл намерение Бирона годуновским намерением. Князь Черкасский говорил: «Если б принц Петр был женат на принцессе, то б тогда герцог еще не так прибрал нас в руки. Как это супружество не сделалось? Потому что государыня к герцогу и к принцу Петру милостива, да и принцесса к принцу Петру благосклоннее казалась, нежели к принцу брауншвейгскому; конечно, до этого Остерман не допустил и отсоветовал: он, как дальновидный человек и хитрый, может быть, думал, что нам это противно будет, или и ему самому не хотелось. Слава богу, что это не сделалось: принц Петр человек горячий, сердитый и нравный, еще запальчивее, чем родитель его, а принц брауншвейгский хотя невысокого ума, однако человек легкосердный и милостивый». Волынский также выставлял вредные следствия брака принцессы Анны с сыном Бирона: опасная Русскому государству власть Бирона еще более усилится, иноземцы окончательно станут владычествовать над русскими, станут русских отягощать податями, вывозить казну, истощать государство и этим подвергнут его страшной опасности в случае неприятельского нападения.

Что дело не ограничилось только сожалениями и опасениями, которые высказывали друг другу близкие между собою люди, видно из наивных слов принцессы Анны, сказанных Волынскому после невольной помолвки ее за нелюбимого принца Антона. Увидавши ее грустною, Волынский спросил о причине печали и получил в ответ: «Вы, министры проклятые, на это привели, что теперь за того иду, за кого прежде не думала, а все вы для своих интересов к тому привели». Волынский сказал на это, что ни он, ни князь Черкасский ни в чем не

виноваты, потому что ни о чем не знали; потом спросил, чем же она недовольна? Принцесса отвечала, что жених очень тих и не смел в поступках своих; Волынский сказал на это, что она может недостатки принца восполнять своим благоразумием, что если принц Антон тих и не смел, то ей же лучше, потому что будет ей больше послушен, а если б ее мужем был Петр Бирон, то хуже бы ей было. После свадьбы Волынский наставлял принцессу, что надобно ей друзей приобретать; учил, как она должна поступать с мужем; относительно Бирона говорил ей, что у него нрав подозрительный и вспыльчивый: пусть будет осторожна и ласкова к фамилии Биронов. Герцог курляндский, страшно раздраженный против принцессы Анны за отказ выйти замуж за его сына, бранил ее Волынскому, говорил, что она *уничтожительно* и неприятно себя к людям показывает. На это Волынский отвечал, что принцесса робка пред государынею и напрасно так робко себя ведет и дикой к людям себя показывает; напрасно также вверилась фрейлине Менгден, потому что фрейлина не очень дальнего ума, а принцесса имеет нрав тяжелый. Несмотря на такой не очень лестный отзыв, подозрительный Бирон не мог не заметить, что старый его клиент сильно забегает к молодому двору и пользуется его расположением; это, разумеется, стало самую сильную причину нерасположения герцога к Волынскому. У последнего был приятель из немцев кабинет-секретарь Эйхлер, которого привязывала к Волынскому ненависть к Остерману; Эйхлер, родившийся в России, был в большом приближении у фаворита Петра II князя Ив. Алекс. Долгорукого, и за ним ухаживали как за министром. После падения Долгорукого Эйхлера затерли, но Ягужинский снова вывел его, а по смерти Ягужинского Бирон сделал его тайным секретарем императрицы. Эйхлер, который вовсе не желал ссоры между Бироном и Волынским, ибо эта ссора могла быть очень выгодна Остерману, остерегал Волынского, чтоб тот не возбуждал подозрений герцога сближением с принцессою Анною. Однажды заклятый враг Волынского князь Алекс. Борисович Куракин бранил его громко во дворце. Когда потом приехал во дворец и Волынский, то подошли к нему принцесса Анна и цесаревна Елисавета и спрашивали, за что его Куракин бранит. Волынский отвечал, что сам не знает, и «их высочества изволили милостиво о нем сожалеть». Эйхлер, бывший свидетелем этих сожалений, говорил после Волынскому: «Я тебя по-дружески предостерегаю: не очень ты к принцессе близко себя веди, можешь ты за то с другой стороны в суспицию впасть: ведь герцогов нрав ты знаешь, каково ему покажется, что мимо его другою дорогою ищешь». Это было летом 1739 года до отъезда двора в Петергоф, но потом и в Петергофе Эйхлер предостерегал Волынского, чтоб он к принцессе не ходил часто. «Мне кажется, – говорил он, – что и так на тебя от герцога курляндского за то суспиция».

Остерман враждебен, Бирон враждебен, князь Куракин громко бранит в самом дворце – значит, не опасается гнева императрицы. Бирон преследует Волынского за то, что тот по целому часу разговаривает с императрицею, но Волынский видит, что эти продолжительные разговоры ни к чему не ведут, и сильно недоволен Анною. «Правду пишут о женском поле, что нрав изменчивый имеет, и, когда женщина веселое лицо показывает, тут-то и бойся скрытого в сердце ее гнева», – рассуждал Волынский при любимом человеке своем Кубанце, от которого у него не было тайн. Рассуждая таким образом, он разумел Анну, которая в каком-нибудь деле сначала покажет персону милостивую, а потом за то

же дело гневается. «Вот гневается, иногда и сам не знаю за что; надобно ей суд с грозою и милостью иметь, а того беда – иногда так, а иногда сяк, и ничего постоянного нет, и в самых государях то худо, ежели скрытность бывает». Однажды, выразившись очень резко об умственных способностях Анны, Волынский прибавил: «Резолюции никакой от нее не добьешься, герцог что захочет, то и делает». Секретарь Анны Эйхлер жаловался на пребезмерную подозрительность ее, что «во всех без причины сомневается; как бы кто верен ни был, без подозрения миновать не может, и бог знает как угодить стало».

Эти слова не могли утешить Волынского. Надежда при частых непосредственных сношениях с императрицею выказать свое усердие и затмить всех своими способностями исчезла. Особенно сердился он на императрицу за головинское дело: Анна поручила ему под рукою разузнать о поступках адмирала Николая Головина, президента Адмиралтейской коллегии; Волынский донес, что Головин взял с одного иностранца 7000 рублей, но донос остался без всякого действия, и Головин, узнавши об нем, сделался смертельным врагом Волынского. Для достижения своих честолюбивых целей Волынский стремился приобрести полное доверие императрицы, но оказывалось, что никакого доверия не было, Анна выдавала его. И российский императорский кабинет-министр с завистью говорит о независимом положении польского пана: «Вот как польские сенаторы живут: ни на что не смотрят и все им даром; польскому шляхтичу не смеет и сам король ничего сделать, а у нас всего бойся».

К этим неприятностям присоединилась постоянная нужда в деньгах; доходов не доставало на петербургскую жизнь кабинет-министра, он принужден был занимать деньги. Волынский так объясняет причины расстроенного состояния своих дел: «Когда я был посажен в тюрьму в Турции (с Шереметевым и Шафировым), отец мой, имев меня, одного сына, опечалился и впал в параличную болезнь, отчего и язык отнялся у него. В то время мачеха моя, которая была весьма непотребного состояния, разорила дом весь, разогнала людей и деревни, так что мне по смерти отца моего от 800 дворов крестьян осталось 37. Свидетель 601, что со всех моих деревень 500 рублей доходу ныне не имею, и редкий год, чтоб я и Москве и в деревнях на 300 или 400 рублей хлеба не купил. Во весь мой век ни едино благополучие мне не воспоследовало, кроме одних убытков, и что больше себе чести получал, тем более долгов присовокупил: чем больше прилагаю трудов, тем больше ненависти и злобы вместо всякой помощи нажил».

Но человек с такою энергиею, как Волынский, не мог предаваться бездействию отчаянию: он писал проекты и читал их в небольшом кругу образованных и преданных ему людей. Этот кружок состоял из известного нам графа Платона Мусина-Пушкина, президента Коммерц-коллегии, Федора Соймонова, обер-штер-кригс-комиссара, Андрея Хрущова, советника, и Петра Еропника, архитектора. Эти люди своими похвалами возбуждали в Волынском блестящие надежды: ему уже мечталось, какое могущественное впечатление произведут его труды, как все должны будут преклониться пред его дарованиями, как прославится его имя. Главное место между его трудами занимало «Генеральное рассуждение о поправлении внутренних государственных дел», разделенное на шесть частей: 1) об укреплении границ и об армии, 2) о церковных чинах, 3) о шляхетстве, 4) о купечестве, 5) о правосудии и 6) об экономии. Приведем из него несколько мыслей: «Мы, министры, хотим всю верность на себя

принять и будто мы одни дела делаем и верно служим. Напрасно нам о себе так много думать: есть много верных рабов, а мы только что пишем и в конфиденции приводим, тем ревность и других пресекаем, и натащили мы на себя много дел и не надлежащих нам, а что делать – и сами не знаем». Переходя к Сенату, Волынский требовал уничтожения генерал-прокурора, как препятствующего свободной деятельности сенаторов; требовал увеличения числа сенаторов, которые должны ежегодно обозревать все губернии для усмотрения тамошних непорядков. Относительно армии требовал поселения ее на границах в слободах. Требовал распространения просвещения между духовенством и шляхетством: для духовенства учредить академии, а знатное шляхетство посылать за границу учиться разным наукам и правам, чтоб у нас были свои природные министры. Учредить по приходам сбор для содержания священников, чтоб им не нужно было заниматься хлебопашеством. Ввести шляхетство в духовный и приказный чин, потому что до сих пор в канцеляриях все люди подлые. Купечество защищать от воеводских обид; восстановить магистрат и т.д.

Хрущов говорил о «Генеральном рассуждении», что «эта книга будет лучше Телемаковой». Но Волынский не ограничился «Генеральным рассуждением» и другими подобными же проектами: у него слишком накопело на сердце, и он решился написать императрице представление о недостоинстве окружающих ее людей, выставляя преимущественно Остермана, и о печальном состоянии людей достойных, разумея себя. Прежде чем подать записку императрице, автор показал ее некоторым лицам, все неприязненным Остерману: князю Черкасскому, Эйхлеру, Лестоку, генерал-берг-директору Шенбергу, президенту Юстиц-коллегии по лифляндским и эстляндским делам барону Менгдену, родственнику Миниха. Князь Черкасский сказал: «Остро очень писано: ежели попадетя то письмо в руки Остермановы, то он тотчас узнает, что против него писано». Шенберг, Эйхлер, Менгден уговаривали Волынского подать письмо государыне. «Это письмо – самый портрет графа Остермана», – говорили они. Не советовал подавать Кубанец, но Волынский, увлеченный похвалами сочинению и ненавистию к Остерману, подал, вручивши прежде немецкий перевод письма Бирону в надежде, что герцог, узнавши портрет Остермана, будет доволен. Нам неизвестно, какое впечатление произвело письмо на Бирона, но на императрицу самое дурное: Волынский забыл, что, выставляя в черном свете людей, окружавших императрицу, он оскорблял ее самолюбие, ибо к ней прямо относился упрек за дурной выбор приближенных. Анна спросила его, кого именно он описывал в своем сочинении. Волынский отвечал, что Куракина, Головина, а больше всего Остермана. «Ты подаешь мне письмо с советами, как будто молодых лет государю», – сказала на это Анна, и слова ее обдали холодом несчастного автора.

Но если Волынский не достигал своей цели подачею записки, то эта подача непосредственно не имела для него и вредных последствий. На радостях заключения мира с Турцией Волынский получил 20000 рублей, как человек, особенно нуждающийся в деньгах. Мы видели, что он распорядился празднествами по случаю свадьбы шута Голицына, и видели, как он воспользовался случаем, чтоб отомстить Тредиаковскому за песенку. И этот поступок Волынского, позволившего себе прибить несчастного пииту в комнатах герцога курляндского, остался бы для него без вредных следствий, если бы он не

имел неосторожности страшно оскорбить Бирона в деле о вознаграждениях полякам, потерпевшим во время прохода русских войск чрез области Речи Посполитой. Бирон, как герцог курляндский, вассал Польши, имел сильные побуждения заискивать расположение правительства республики, т.е. вельмож и шляхты, и потому он настаивал, что надобно дать полякам удовлетворение. При рассуждении об этом деле в Кабинете Волынский настаивал на противном и, разгорячившись, сказал с явным намеком на Бирона, что, не будучи ни владельцем в Польше, ни вассалом республики, не имеет побуждений удабривать истари враждебный России народ. Вероятно, Волынский думал, что в Кабинете он может делать безопасно какие угодно выходки против Бирона, потому что герцог не имел здесь доброжелательных себе людей. Но слова Волынского были переданы Бирону и привели его в страшную ярость, потому что задевали его за самое чувствительное место: Бирон без пользы для России кормился на ее счет, но по этому самому он хотел убедить сам себя и других заставить убедиться, что он приносит чрезвычайную пользу России, которая погибнет, если его высокогерцогская светлость перестанет оказывать милостивое внимание к ее делам; ничем, следовательно, нельзя было его больше уколоть, как мнением, что он своими частными отношениями приносит вред интересам России; особенно это должно было страшно раздражить его в описываемое время, в 1740 году, когда он занят был вопросом о своей будущности, о средствах утвердиться в России по смерти Анны, вопросом трудным вследствие неудавшихся планов относительно Анны Леопольдовны. И тут-то один из кабинет-министров провозглашает, что Бирон вреден России! Притом предстоит трудная борьба для достижения главной цели, от которой зависит все будущее; в таких обстоятельствах надобно приобретать друзей и стереть с лица земли врага, который по своему значению и энергии может быть очень опасен. Да и почему Волынский вдруг стал так смел? Это не даром; надобно начать дело, и тогда, может быть, вскроются очень важные вещи. Но как начать дело? Нельзя придаться к словам, сказанным во время совещания кабинет-министров, да и кто из них будет доносчиком? Бирон вспомнил или ему указали на два основания, на которых можно было начать дело: на записку Волынского, поданную императрице, — это донос, донос важный, о злоупотреблениях лиц, приближенных к престолу; пусть доносчик укажет, кто эти лица, и докажет их преступления. Второе основание, по которому Бирон мог выступить с жалобой на Волынского, — это оскорбление, нанесенное последним герцогу: Волынский прибил ТрEDIAKовского в комнатах Бирона.

И герцог курляндский пишет просьбу императрице на Волынского. Он прежде всего выставляет на вид, что его вмешательство в русские дела было всегда чуждо пристрастных и партикулярных целей; он вмешивался в дела единственно для того, чтоб охранять интересы императрицы, ее спокойствие и дражайшее здравие. Но есть люди, которые стараются очернить самые беспорочные поступки: прошлым летом в Петергофе кабинет-министр Волынский подал некоторое письмо и в нем хотел привести в подозрение людей, которые при высочайшей персоне употребленными быть счастье имеют. Спокойствие императрицы требует, чтоб написанное темными и скрытными изображениями было изъяснено явственнее. Если же автор не может указать именно на лицо, то он виновен в страшно непристойном и продерзостном поступке: такие наставления годны только для малолетних государей, а не для такой великой,

умной и мудрой императрицы, которой великие качества и добродетели весь свет с крайним удивлением превозносит. Наконец, Бирон жалуется на поступок Волынского с Третьяковским и утверждает, что если Волынскому простится такой поступок, то это будет первый пример безнаказанного оскорбления, нанесенного владетельному герцогу приватною особою, что навлечет ему, Бирону, вечное бесчестие во всем свете, ибо при всех иностранных дворах уже известно, как Волынский распорядился в его покоях. Если Волынский других старается привести в подозрение пред императрицею, то справедливость требует, чтоб и его собственные дела и департаменты были рассмотрены и исследованы, тем более что в них великие денежные суммы употреблены, а ожидаемая польза, как сама императрица часто упоминать изволила, донныне невелика была: много проектов он насочинил, а в действие мало привелено.

Бирон требовал суда над Волынским в полной надежде, что его легко засудят. По той же самой причине Анна не хотела отдавать Волынского под суд: она знала, что он будет жертвою личной вражды и новая, видная жестокость падет на нее. Анна не соглашалась, но Бирон не уступал. «Или я, или он», – говорил герцог. Анна плакала; Бирон грозил выехать из России; Анна согласилась нарядить суд. Бирон торжествовал, и не он один: торжествовал Остерман, который приготовился принять дело Волынского в свои руки, дать ему надлежащее направление. Бирон подставил Волынского против Остермана, а теперь сам Бирон губит Волынского, Остерман в стороне. Торжествовал и князь Куракин. Куракин, которому позволялось говорить то, что другим не позволялось, начал однажды в лицо хвалить императрицу за то, что она приводит в исполнение предначертания великого дяди; только одно еще не исполнено. «Что же такое?» – спросила Анна. «Петр I, – отвечал Куракин, – нашел Волынского на такой дурной дороге, что накинул ему на шею веревку; так как Волынский после того не исправился, то если, ваше величество, не затынете узел, намерение императора не исполнится».

С Бироном, Остерманом и Куракиным не могло быть примирения; Волынский попробовал, нельзя ли помириться с Минихом, с которым у него были также нелады. Сначала Миних, враждуя с Ягужинским, сблизился с врагом последнего – Волынским. Еще до переезда двора в Петербург Миних уговаривал Волынского рассказать все, что знает за Ягужинским, и Волынский исполнил его просьбу, рассказывая, и не одному ему, разные разности про Ягужинского, вследствие чего и наряжено было следствие над последним. Но приязнь Миниха к Волынскому была непродолжительна; видя, что гораздо легче подняться посредством обер-шталмейстера Левенвольда, чем посредством Миниха, Волынский перепросился в команду первого, что озлобило Миниха по причине сильной вражды его с Левенвольдом. Волынский хвалился, что он свел в большую дружбу князя Черкасского с Левенвольдом, отчего Черкасскому был «великий барыш», ибо «Левольд», по выражению Волынского, каков бы ни был, а он столько крепок в милости ее величества, что никогда поколебим быть не может. Но крепкий человек скоро умер, и тогда Волынский обратился к другому крепкому человеку – Бирону. Теперь, когда этот крепкий человек стал готовить ему гибель, Волынский обратился снова к Миниху. 25 марта поехал он к нему с просьбою заступиться за него пред Бироном. Случившийся тут родственник Миниха барон Менгден изъявил опасение, что заступничество ни к чему не поведет, потому что «герцог безмерно гневен на Волынского и говорит, что более

с ним вместе жить не хочет». Но, как видно, Миних говорил с Бироном в пользу Волынского, потому что герцог курляндский сильно рассердился. «Что это за союз между Минихом и Волынским, двумя заклятыми врагами!» – говорил он.

Сначала Волынскому запрещен был проезд ко двору; это было на страстной неделе. Но он продолжал еще ездить в Кабинет. Когда он сидел здесь, а приятель его Эйхлер проходил чрез кабинетную палату в секретную экспедицию и в манеж, то Волынский спрашивал его: проходит ли гнев государыни? Эйхлер отвечал: «Не сомневайся, пройдет, только потерпи и дай время, ибо ее величество на дело твое под рукою смотреть изволит». Волынский не знал, за что именно собралась на него беда, и обратился с вопросом об этом к одному из близких своих знакомых, секретарю Иностранной коллегии де ла Суда. Тот отвечал: «Тебя называют проектистом, что ты умеешь проекты писать, а пущее-де то, какое ты подал государыне письмо в Петергофе, о том сильно толкуют и притом, что ты дерзновенно сделал, что секретаря ТрEDIAКОВСКОГО из палат его светлости взял».

12 апреля Волынскому был объявлен домовый арест. Составлена была комиссия из Григорья Чернышева, Андрея Ушакова, Александра Румянцева, князя Ивана Трубецкого, Михайлы Хрущова, князя Репнина, Василья Новосильцева, Ивана Неплюева, Петра Шипова. 15 апреля Волынский привезен был в комиссию, где ему прочли допросные пункты на основании записки, поданной им императрице. Волынский стал говорить: «Причину я имел, что были на меня доносители шталмейстеры, которых поджигал князь Александр Куракин, а граф Остерман во всех случаях говорил мне скрытно, и в одно время граф Остерман горное дело от себя отваливал, а принудил меня доложить горное дело ее величеству, и как я докладывал, и за то от ее величества гнев принял. Павел Ягужинский губил меня и говорил, что за голову мою не жаль дать 30000 червонных; к тому же нападки имел я от Долгоруких и Голицыных. Доношение и письмо подал я с горести и нетерпеливости своей». Тут члены комиссии прервали его замечанием, чтоб от разговоров удержался, а отвечал ясно на вопросные пункты. Вопросные пункты состояли в следующем: «Понеже вы ее имп. в-ству будто в наставление и научение подали некоторое письмо о разных при дворах происходящих бессовестных поступках, а всякого верного раба присяжная должность есть, если он что противное интересам государя своего усмотрит, то государю своему прямо донести с именованьем персон и с подлинным их бессовестных поступков доказательством, а не темными и самодержавной своей государыни непристойными, в генеральных и сумнительных изображениях составленными письмами, худых и добрых, совестных и бессовестных людей у ее величества в подозрение привести старался. Того ради ее и. в-ство указала вам ответствовать: 1) кого в службе ее в-ства знаете, которые на совестных людей вымышленно затевают, вредят и всячески их добрые дела помрачают и опровергают, дабы тем кураж и охоту к службе у всех отнять? Волынский отвечал: в поданном письме своем он таких именовал: графа Павла Ягужинского, князей Долгоруких и Голицыных, князя Александра Куракина, адмирала графа Николая Головина, ибо все они так его, Волынского, вредили и помрачали, что публично бранивали, но только о вышеозначенном о всем написано было им от горести и от горячности об одной своей только персоне, а чтоб они кроме его других совестных людей вредили – за ними и за другими он не знает и в том, что так дерзновенно поступал, признает себя виновным и просит ее в-ства прощения».

Второй пункт: «Кого вы знаете, кои приводят ее в-ство в сумнение, чтоб никому верить не изволила и все подозрением огорчены были и казались быть всякой милости недостойными?» Ответ: «Написал в таком намерении, что граф Остерман имеет себя весьма скрытно, и только чтоб он был в стороне, а другой бы мог ответственствовать, а написал он это от горести своей, которую разумел о прежних на него нападениях и о скрытных графа Остермана поступках; граф Остерман во всех делах скрытно с ним поступал, хотя он, Волынский, много перед ним плакивал, однако он ничего того не отменил».

Третий пункт: «Кого знаете, кои ее в-ству опасности представляют иногда и о таких делах, которые за самые бездельные почитать можно, однако ж оные наиболее расширяют, всякие из того приключения толкуют, а ничего прямо не изъясняют, но все скрытными и темными терминами выговаривают и притом персону свою печальными и ужасными минами показывают?» Ответ: «Разумел Остермана; слышал он об этом от покойного обер-штальмейстера Левенвольда и князя Алексея Черкасского, а сам он, Волынский, того не знает и ничего за Остерманом подлинно не присмотрел, ибо с присутствия его в Кабинете Остерман ни с каким докладом пред ее в-ством не бывал, а видел его, графа Остермана, в таковых минах токмо между собою при конференциях о кабинетных делах».

Четвертый пункт: «Кого знаете, кои к поправлению или к успокоению себя самого рекомендуют и что будто бы уже в том никому иному поверить невозможно или по крайней мере такие мудрости и затруднения в том деле показывают, что иной никто того исправить не может?» Ответ: «Знает он это за одним Остерманом; заметил он, что хотя б что он, Волынский, надлежащее и сделал, но все не годится; только одно то хорошо, что Остерман сделает».

Пятый пункт: «Кто обманщики, кои стараются себя наиболее в кредит привести и показать, яко бы особливую верность и усердие, хотя ничего того нет?» Ответ: «Написал об одном Остермане, а по каким именно делам таким образом Остерман поступал, он, Волынский, не упомнит».

Шестой пункт: «В какой силе вы то написали, что государь, каков он премудрый ни был, принужден во всех делах держаться того политика советов, рассуждаючи так: да кому же мне поверить стало, когда ни в ком другом верности и доверия нет, или кому мне приказать то дело, что никто так хорошо сделать не умеет, как только такой человек, и уже покажется так, что и во всех делах без его трудов или без его советов обойтись никаким образом невозможно. Такие продерзостные рассуждения государыне и ее известной высочайшей премудрости, достоинству и самовластью весьма неприличны и немало оскорбительны». Ответ: «Написал об Остермане по примеру тому, что Петр Толстой во многих делах Петра Великого обманывал».

Седьмой пункт: «Кто именно, которые таким образом бескредитны учинены, чтоб не имели к предвосприятию надежды и не смели по совести говорить?» Ответ: «Написал в такой силе, что не смел он, Волынский, по хитрым Остермана поступкам против него говорить и ее в-ству по совести доносить».

Осьмой пункт: «Кто уповает, что как бы худо и вредительно делано ни было, будет безгласно, ибо никто уже не отважится ни в чем предостерегать?» Ответ: «Написал об Остермане».

Девятый пункт: «Про кого вы написали, что как бы кто праводушен и ревностен ни был, потеряет свой кураж, охоту и ревность к службе, понеже

необходимо принужден себя предостерегать и сколько возможно убегать от таких дел, кои хотя малейшим опасностям подлежат, дабы из того в какую напрасную суспицию не впасть или в бесполезную с кем ссору и злобу не войти и себя в жертву не предать?» В ответе указано на известный случай с графом Головиным.

Десятый пункт: «Кто желают молчанием пользоваться и спокойно жить, думая, что не наше, нечего жалеть, что разоряется и пропадает – не мое и было!» Ответ: «По поводу головинского дела говорил он, Волынский, князю Василью Урусову, для чего он, видя в Адмиралтействе беспорядки и противные поступки, не доносил и о том молчал, и на то Урусов говорил, как ему в том было подняться, что он человек одинокий и доносить смелости не имел, понеже состоит в команде графа Головина».

Одиннадцатый пункт: «Должны вы при именном показании бессовестные поступки доказать?» Ответ: «Причитал все бессовестные поступки к графу Остерману, графу Головину, князю Александру Куракину, а прямо бессовестных поступков за Остерманом, Головиным, Куракиным и за другими не знает, написал с злобы мнением своим».

Двенадцатый пункт: «При подавании того письма рассуждали ли вы о важности такой вашей продерзости – самовластной своей государыне подобные учения и наставления подать, кой и малолетним едва ли пристойны быть могли?» Ответ: признает вину свою и просит прощения.

Тринадцатый пункт: «Вы дерзнули в самых тех покоях, в коих его высококняжеская светлость владеющий герцог курляндский пребывание свое иметь изволит, явные насильства производить, людей бить и силою оттуда выталкивать, то имеете отвечать, для чего вы то учинить дерзнули?» Ответ: признает себя виновна и просит прощения.

Когда Волынский отвечал на пункты и члены комиссии сказали ему, чтоб ехал домой, то он начал говорить: «Пожалуйте, окончайте поскорее». На это Румянцев сказал ему: «Мы заседанию своему время без вас знаем; надобно вам совесть свою во всем очистить и ответственность с изъяснением, не так, что кроме надлежащего ответственности постороннее в генеральных терминах говоришь, и для того приди в чувство и ответствуй о всем обстоятельно». На другой день допросы продолжались; Волынский говорил: «Вчерашнего числа, как по него прислали, состоял он в немалом страхе, что куды быть велено и для чего – не ведал, и как прибыл, увидал, что собранный суд в знатных и во многих персонах состоит, то рассудил за важность и был в робости». Комиссия на это сказала ему, чтоб не плодил постороннего, что к делу его не принадлежит, но отвечал о чем спросят. Тогда Волынский обратился к Неплюеву. «Ведаю, – сказал он, – что вы графа Остермана креатура и что со мною имели вы ссору, пожалуйста оставьте». Неплюев отвечал, что напрасно излишнее он плодит и партикулярной ссоры он, Неплюев, с ним не имел и не бранивался. Волынский стал жаловаться, что «горячести и дерзновения его пришли ему от графа Остермана, что все с ним поступал скрытно и такой он человек, что никому без закрытия ничего не объявит, и жене своей без закрытия не скажет». Тут Неплюев прервал его: «О таких делах, в каковых граф Остерман обращается, жене и ведать непристойно, и сам о том можешь рассудить».

В третьем заседании комиссии, 17 апреля, Волынский говорил, что «все делал он по злобе на графа Остермана, Куракина и Головина и поступал все

против их, думал, что был министр, и мыслил, что он был высокоумен, а ныне видит, что от глупости своей все врал с злобы своей». При этих словах он становился на колена и кланялся. Чернышев сказал ему: «Все ты говоришь плутовски, как и наперед сего по прежним своим делам так же ты в ответах скрывал и беспамятством своим отговаривался, но как в плутовстве обличен, то и повинную принес». Волынский отвечал на это: «Не поступай со мною сурово: ведаю я, что ты таков же горяч, как и я, деток ты имеешь, воздаст господь деткам твоим!» Волынский продолжал жаловаться на свою горячность: «О какая беда, что сам на себя наврал; надеялся на свое перо, что писать горазд, и все на то горячность меня привела!» Жаловался на Бирона, который сказал ему, чтоб подал письмо государыне. Припомнил, как однажды князь Куракин пришел к ее величеству пьяный; государыня сказала: что ты, Куракин, пьян? а Куракин ей доносил, что пьянство напустил на него Волынский.

Волынский недолго ограничивался жалобами на Бирона, Остермана, Куракина и Головина; стал признаваться, что позволял себе дерзкие отзывы о самой императрице, но все ограничивалось одними словами. «Злого намерения и умысла, чтоб себя сделать государем, я подлинно не имел», – утверждал Волынский. Но этому показанию не поверили. 22 мая он был поднят на дыбу и пытан полчаса, было ему 8 ударов; с пытки говорил то же. Все, что мог еще припомнить, – это то, что хвалил житье польских панов, которые никого не боятся. Ему говорили: «Сам он знает, в каких злодейственных словах и рассуждениях против ее величества погрешил, то б и о прочих своих умыслах повинную принес, яко то без наижесточайшего истязания оставить не можно, ибо сам он ведает, что токмо за неснимание полицейскими служителями, идучи мимо двора его, шапок не оставил им того просто, но мучимы были жестокими побоями». Волынский ни в чем не признавался; было ему 18 ударов, и с пыток не сказал ничего нового. Кроме признания в словах выпытать ничего не могли; из дел еще до пыток Волынский признался во взятках: брал с купцов парчами, объярью, тафтами; московские питейные компанейщики подарили ему две тысячи рублей, Моисей Рагузинский – тысячу да дал без расписки займы две тысячи; Демидова зять Федор Владимиров подарил ему тысячу рублей. Это взял он, будучи кабинет-министром. Из казны брал деньги, но возвращал; карлу Ерохина определил в Конюшенной канцелярии с жалованьем по 50 рублей в год, а держал при себе для своих партикулярных услуг, а что в Казани взял взяток около 6 или 7 тысяч рублей, в том государыне повинился и получил прощение.

27 июня Волынскому отсекли руку и голову; Еропкину и Хрущову также отсекли головы; Соймонова, Суда и Эйхлера били кнутом и сослали в Сибирь на каторжную работу.

Кто после этого мог решиться оскорбить его высококняжескую светлость владеющего герцога курляндского? Кто мог осмелиться сказать, что герцог приносит русские интересы в жертву своим интересам? Несмотря на то, владеющий герцог курляндский не был спокоен: гибель Волынского была торжеством для Бирона, но еще большим торжеством для Остермана, а Остерман был опаснее Волынского для Бирона; он был тем более опасен, что его нельзя было поймать на *горячести*, как Волынского. И Бирон никак не хочет, чтоб Остерман по-прежнему оставался душою Кабинета особенно когда и тело Кабинета, князь Черкасский, вследствие признаний Волынского оказывался вовсе

не доброжелательным. Потребность для Бирона иметь в Кабинете совершенно своего человека была теперь сильнее, чем когда-либо, вследствие болезненного состояния императрицы и открытой вражды герцога курляндского с Анною Леопольдовою и ее мужем. И вот Бирон нашел человека, на верность которого мог положиться: то был Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Мы видели печальное положение Алексея Петровича в начале царствования Анны, его опалу, перевод из Копенгагена в Гамбург, но мы видели также, как он воспользовался доносом Красного-Милашевича на князя Александра Черкасского, повез доносчика в Петербург и здесь успел заявить Бирону всю свою преданность. Следствием было то, что Алексея Петровича снова перевели в Копенгаген, а после падения Волынского вызвали в Петербург и назначили кабинет-министром. Это назначение последовало в крещение предполагаемого наследника престола, внука императрицы от Анны Леопольдовны, Иоанна Антоновича. Разрешение Анны Леопольдовны сыном нанесло Бирону сильный удар: он стал так задумчив, что никто не смел к нему подойти. Тем нужнее был для него в Кабинете Бестужев, на которого он мог вполне положиться: новый кабинет-министр не мог сблизиться с Остерманом по зачатой ненависти Бестужевых к последнему; не мог сблизиться с Черкасским, который видел в Алексее Петровиче виновника бесчестия фамилии, виновника ссылки князя Александра Черкасского.

Случай, когда Бирону понадобилась преданность Бестужева, не замедлил. 5 октября 1740 года императрице за обедом сделалось очень дурно. Ездовой поскакал к обер-гофмаршалу Левенвольду: его светлость герцог просит во дворец. Левенвольд отправился немедленно и нашел Бирона в сильном волнении. «Императрице трудно: что делать?» «Я не знаю, – отвечал растерявшийся Левенвольд, – надобно позвать министров». За министрами послали, но первый кабинет-министр оракул Остерман болен, да если бы и здоров был, то, по всем вероятностям, не приехал бы, притворившись больным. «Ступайте к Остерману», – сказал Бирон Левенвольду. Тот поехал и возвратился с неприятным для герцога ответом: оракул объявил, что прежде всего надобно думать о наследстве престола, и если быть наследником малолетнему принцу Иоанну, то матери его, Анне Леопольдовне, надобно быть правительницею, и при ней быть совету, в котором может присутствовать и герцог. «Какой тут совет! – сказал в сердцах Бирон. – Сколько голов, столько разных мыслей будет». В это время доложили, что приехали Черкасский и Бестужев. Бирон вышел к ним и начал говорить: «Императрица в превеликом страхе от болезни, я предлагал ей объявить наследницею племянницу свою принцессу Анну, но она на мое представление не согласилась; говорит, что не только наследницею и правительницею принцессу Анну не объявит и слышать о том не хочет, а изволит наследником определить внука своего, которому при крещении его оное обещать изволила. О том, кому правительство поручить, надобно подумать». Но как двоим кабинет-министрам думать без Остермана, который назывался первым кабинет-министром? Черкасский и Бестужев поехали к Остерману в одной карете и дорогою начали рассуждать о том, кому быть регентом. «Больше некому быть, кроме герцога курляндского, потому что он в русских делах искусен», – сказал Черкасский. Бестужев, разумеется, не противоречил. Но с Остерманом этот вопрос было не так легко решить. У Остермана было порешено насчет манифеста о наследовании престола Иоанну Антоновичу, но когда дошло дело до регентства, то оракул

прекратил рассуждения, сказавши: «Это дело не другое, торопиться не надобно, надобно подумать».

Остерман по своему обыкновению не хотел явно вдаваться в опасный вопрос; пусть решат его другие, а он уже сумеет приладиться к обстоятельствам. Возвратившись к Бирону, Черкасский и Бестужев нашли у него Левенвольда и Миниха. Начался опять разговор о регентстве. Миних отошел в сторону, чтоб не быть принужденным высказаться преждевременно, но Бирон подозвал его: «Слышите, граф, что говорят господа министры о правительстве?» «Нет, не слыхал», – отвечал Миних. «Они говорят, – продолжал Бирон, – что не хотят сделать так, как в Польше, чтоб многие персоны в совете сидели». Тут Бестужев решился произнести роковые слова: «Кроме вашей светлости, некому быть регентом». И вдруг ему стало страшно, и начал он, как обыкновенно делается в подобных случаях, заминать сказанное, возражать самому себе или для того, чтоб заставить забыть свои слова, или вызвать других к их подтверждению, набрать соучастников. «Разумеется, – начал Бестужев по-немецки, – в других государствах странно покажется, что обошли отца и мать императора». «Правда, не без ненависти будет в других государствах, ежели обойти отца и мать», – проговорил Бирон, находившийся в одинаковом положении с Бестужевым. В это время Черкасский начал шептать на ухо Левенвольду. «Что вы шепчете, говорите громко!» – сказал ему тот, и Черкасский начал вслух представлять о необходимости избрания Бирона в регенты. Тут Миних уже не мог отстать от других. Дело пошло. Чтоб поднять Бирона, начали унижать его соперников, представлять, какая беда была бы для России, если бы принцесса Анна Леопольдовна была назначена правительницею. «Отец ее, герцог мекленбургский, поссорит Россию с императорским римским двором, – говорил Миних, – а о характере его известно, что за человек. Если сюда приедет, то всем головы перерубит. А муж принцессы принц Антон был со мною в двух кампаниях: только я еще не знаю, рыба он или мясо».

Но этими толками ничего еще не было решено. Положили собраться на другой день выслушать манифест о назначении наследником принца Иоанна и снова посоветоваться о регентстве; сочли нужным призвать к этому совещанию и других знатнейших людей. Бестужев распорядился последним делом, и его потом обвиняли, что он призвал очень немногих. На другой день приехали во дворец генерал Ушаков, генерал-прокурор князь Никита Трубецкой, князь Куракин и нашли уже там Черкасского, Бестужева, Миниха, которые поспешили объявить им, в чем дело: «Наследником провозглашается малолетний принц Иоанн, но его мать, принцессу Анну, императрица никак не хочет назначить правительницею: так кому же править? Ежели ее и в-ства соизволение будет герцога регентом определить, то по близости герцогства его осторожнее и правее будет в правлении государственным поступать, и отчет должен дать. Ежели же быть правительницею принцессе Анне, то опасно: ее родитель относительно земель своих находится в великом беспокойстве; чтоб не стал домогаться Российское государство привести в войну, понеже он человек горячий и стараться будет генералиссимусом быть, а ежели принца Антона брауншвейгского, мужа принцессы, к тому принять, то опасаться надобно, чтоб он не совсем отдался в диспозицию венского двора; к тому и о нраве его неизвестно, а нрав герцога курляндского все знают». Слыша эти речи от людей, так высоко поставленных, застигнутые врасплох, без

возможности подумать, сговориться, присутствующие, разумеется, могли только изъявить свое полное согласие. Бирон вышел, объявил о слабом здоровье императрицы и о том, что она не хочет назначать правительницею племянницу свою, и получил в ответ, что в таком случае, кроме его, герцога, быть регентом некому. Для соблюдения приличия Бирон стал отговариваться; тут со всех сторон просьбы, уверения, что все почтут своим долгом помогать ему при исполнении столь многотрудной обязанности.

Много было обнаружено горячего усердия к его светлости, но дело было еще далеко до окончания: нужно было согласие умирающей Анны, но как его получить? Когда императрице поднесен был для подписания манифест о назначении принца Иоанна наследником и когда все подписавшие бумагу, кроме Бирона, выходили из спальни, Миних остановился и, держась за ручку двери, решился сказать больной: «Милостивая императрица! Мы согласились, чтоб герцогу быть нашим регентом; мы просим о том подданнейше». Больная ничего не отвечала и, когда Миних вышел, спросила у Бирона, что такое говорил фельдмаршал? Бирон не решился повторить слов Миниха и отвечал, что сам ничего не слышал.

Миних просил за Бирона. Немцам вообще было важно, чтоб на первых порах власть осталась в руках одного из них. Барон Менгден прибегает к Бестужеву и откровенно объявляет: «Если герцог регентом не будет, то мы, немцы, все пропадем! А ведь герцогу самому о себе просить нельзя; так нельзя ли об этом как-нибудь стороною просить ее величество?» Бестужев хотя не был немцем, однако тоже боялся пропасть, если герцог регентом не будет. Бестужев сильно хлопочет, сидит ночь, пишет определение о регентстве Бирона для поднесения императрице к подписи. Бумага внесена в спальню к больной, но лежит там покойно, дело нейдет в ход. Бестужев пишет челобитную от лица всех вельмож, объявивших свое согласие на регентство Бирона, Миних первый ее подписывает, но и эта бумага остается без движения. Бестужев сочиняет *позитивную декларацию* и лист, «якобы вся нация герцога регентом, желает». «Трудное дело, — думает сочинитель, — снабдить декларацию подписями, Сенат и Синод ничего не знают, но все равно: те, которые подписали прежнюю челобитную, подпишут и декларацию, а на них смотря, и Синод, и Сенат подписать не отрекутся».

Наконец, девять тяжелых дней прошли: 16 октября императрица подписала назначение Бирона регентом и 17 скончалась; врачи причиною смерти объявили подагру в соединении с каменною болезнью.

Приложения

1) *Письмо к императрице Анне Иоанновне от неизвестного из Англии с жалобой на архимандрита Геннадия и священника Варфоломея.* «Ревностью нашего святого закона возбужден некоторый христианин к стопам и к престолу вашего священного величества о защищении и заступлении нашей святой веры и достоинства архиереев и священников всенижайшее предложение чина того. Ибо в Лондоне обретаются два священника греческие, Геннадий-архимандрит с Варфоломеем, племянником его, которые давно уже в ересь впали, тогда, когда во время Самуила, патриарха александрийского, купно с епископом Арсением для собирания милостыни в разные страны посланы были, которую милостыню

собрав, оною между собою поделились, а помянутый епископ в Великую Россию приехал, оставя товарища своего в городе Лондоне. И хотя оные от Косьмы патриарха призываны были, дабы вспоможение, собранное милостынею церкви, в убожестве обретающейся, учинили, однако повелений его слушаться не похотели и того для от упомянутого патриарха публичное запрещение и отрешение от сообщения с верными законно получили, которые, оное запрещение уничтожа, ежедневно священнодействовать дерзают и, что горше есть, претворяют себе закон (similant religionern) с великим присутствующих людей соблазном, паче же помянутый Варфоломей достоинство наших патриархов поносит и их за ничто имеет и св. литургию, от св. отец Василия, Афанасия, Иоанна Златоустого и Григория установленную, уничтожает, яко смеху достойное людское вымышление. Сие и тому подобное сказывают они с Варфоломеем дерзновенно, ибо никакого суда не опасаются, потому что под протекциею августейшего величества вашего обретаются, и из того августейшее величество ваше усмотреть можете, какую пользу святая вера наша чрез отпадших от пути истинного получить уповать может».

Реляция князя Кантемира по поводу этого дела от 16 ноября 1733 года: «Обретаемый в здешней греческой церкви архимандрит Геннадий и племянник его Варфоломей в священнослужении со всяким учтивством последуют уставам благочестивого греческого исповедания, и никакой отмены я усмотреть не мог, кроме того, что священник Варфоломей для разумения здешнему народу службу отправляет на английском языке, и не только оные оба ни в какую ересь не впали, но, напротив, священник Варфоломей с начала моего сюды приезде весьма ревностное против еретиков поучение имел на английском языке, от чего удержаться я ему советовал, дабы то причину не подало здешнему епископу запретить публичное греческого исповедания священнослужение, и по всему тому письмо от неизвестного к вашему императорскому величеству с продерзостию писанное, как я по совести могу донести, никакого основания не имеет и писано по самой злобе; автор же того письма есть некто Павел, который называется греческим священником, посланным от константинопольского патриарха для собрания здесь милостыни, и оное подтверждать смелость приемлю для того, что он, Павел, в ссоре, которую здесь имел с попом Варфоломеем, грозил ему, что он на него донести хочет вашему императорскому величеству. Священник Варфоломей к ссоре их причину подал тем, что без моего ведома статского секретаря дюка Ньюкастля в канцелярию чрез безымянное письмо дал знать, что оный Павел подложно сказывается греческим священником и посланным от патриарха константинопольского, и хоть потому много сходности есть, понеже он, Павел, никакого греческого письма от патриарха не имеет, однако ж я попу Варфоломею тогда запретил, чтоб он впредь в такие дела не вступал. Сколько же касается проклятия, которому архимандрит Геннадий предан был от александрийского патриарха, и от оногo чрез того же патриарха он освобожден, как явствуют того патриарха письма, которые я сам у него, архимандрита, видел; а священник Варфоломей, будучи посвящен от св. правител. российского Синода, от патриарха александрийского проклят или прощен как не был, так и быть не мог».

(Москов. архив Мин. иностр. дел)

2) *Господа кабинет-министры* . Из реляции наших министров из Немирова мы усмотрели, коим образом бывший при армии нашей цесарский полковник Беренклау непотребные и лживые производил разглашения о непорядочных генерал-фельдмаршала Миниха при взятии Очакова поступках и о том к своему в Немирове обретающемуся министру графу Остейну писал, такожде и при самом взятии Очакова при нашей армии генерал-фельдмаршалу Миниху такие ж слова говорил и об оных его разговорах генерал-фельдмаршал Миних нашему обер-камергеру писменно знать дал, которое письмо вам сообщено. Того ради мы запотребно рассудили, чтоб вы резидента Гохгольцера, призвав к себе помянутого полковника Беренклау лживые и неосновательны репорты ему обстоятельно объявили с формальным требованием, чтоб он при своем дворе о таких непристойных Беренклау разглашениях надлежащее представление учинил, дабы он не токмо при армии нашей не был, но и совершенная б сатисфакция за такие его лживые слова дана была, чтоб впредь таким непотребным людям поводу не дать неосновательных и вредительных разглашений распространять и о том учинить по сему нашему указу непременно. Анна. Из Петергофа 7 августа 1737.

(Москов. архив Мин. иностр. дел)

3) *Из Кабинета в св. прав. Синод*: «Известно св. Синоду, коим образом от нескольких лет обретался в Лондоне при церкви греческого исповедания архимандрит гречанин Геннадий, которому определено было и повсегодно перевозено по сей, 1737 год жалованья по 500 рублей; а ныне доносил полномочный министр князь Антиох Кантемир, что оный архимандрит Геннадий минувшего февраля 3 числа умре, притом он, князь Кантемир, представляет, что содержание тамо публичной греческого исповедания церкви не токмо для приезжающих туда из Архипелага греков нужно, но содержание такого привилегиума к высокой славе ее императорского величества имени служит, в Лондоне ж при нем, князе Кантемире, обретается один священник, гречанин же Варфоломей, и ежели оному в той церкви служение по-прежнему продолжать, то он, священник, просит, чтоб прислать к нему в помощь из России другого искусного священника, молодого, который мог научиться по-английски и потому в состоянии был исправлять поучения на том языке, как оный Варфоломей чинит. И понеже помянутую церковь в Лондоне содержать весьма потребно, того ради все вышеписанное сообщается св. Синоду для надлежащего и скорейшего в оном о всем, и особливо о духовной особе, ко отправлению в той церкви службы способной; чтоб определяемый туда архимандрит или священник отсюда отправлен быть мог на первых с весны кораблях».

(Там же, марта 12 дня 1737 года)

В Кабинет из св. Синода : «В доношении Синоду бывшего в Лондоне и в Англии греческого иеродиакона Симеона Номикаса представлено: в прошлом, 716 году, как прислан князь Куракин в Лондон в характере полномочного посланника и бывал с свитою своею многократно в нашей церкви, тогда Арсений, митрополит фиваидский, по совету англичан новопросвещенных объявил оному посланнику, что хотят англичане публичную церковь воздвигнуть под такими кондициями: 1) чтоб оной церкви дать имя „Тис Омониас“; 2) чтоб в оной отправлять литургию только Златоустого сначала, дабы у простейших новопросвещенных ради

различия церемоний не было какого сумнительства, на трех языках – греческом, русском и аглинском; 3) ежели возможно, чтоб она церковь была под протекциею блаженные и вечнодостояные памяти государя императора Петра Великого ради защищения от ненавидящих благочестия. И после такого князю Куракину объявления по пришествии его императорского величества в Голландию помянутый преосвященный о всем оном предложил подробну, против чего его величество и обещал оной церкви вспомошествовать и содержать в своей высокой протекции и указал архимандриту Геннадию ради церкви возвратиться паки в Англию и определил годового жалованья по 500 рублей, которой, взяв письменное от епископского собрания позволение, и возвратился, и ныне-де пребывающий по нем племянник его иеромонах Варфоломей, родом по отце французенин, а по матери греческого исповедания, которой ни на латинском, ни на аглинском языках не умеет, только что по-французски, италиански и аглински и просто по-гречески говорит, а что-де предики сказывает – бог его ведает, откуда ему такая премудрость, только-де, как он примечает, ради показания себя не простым, с тех языков, на которых читать умеет, собирает и по-аглински щебечет, и от неискусного сплетения соблазн только и от противных поношение находится; не держит же при церкви никого себе спомощника; но, сам священнодействуя, вкупе и поп, и пономарь, и дьячок, отчего-де великое в церкви нестроение и разорение благочестию, а ходит-де весьма странным образом: до обедни монах, а после обедни белец и притом предлагает (т.е. Симеон), как бы в том поступить, мнение свое такое: дабы первее послать его, Симеона, в Англию в чине иеродиаконом с свидетельством об нем на латинском языке, а он-де, Симеон, тамо просвещенных покойным Арсением митрополитом или детей их, понеже и дети купно с ними были помазаны миром, приискав, станет утверждать, что на место Коссаново будет от св. Синода прислан архимандрит из ученых и искусных людей, чтоб тамошние открылись как покойному архиерею Арсению, и о представлении их ему он, Симеон, стараться будет. Св. Синодом определено: в Кабинет сообщить с таковым представлением, что в Лондоне вящшия ради российския славы и расширения православновосточные церкви и лучшей церковной церемонии, с чего (как оной Симеон представляет) наипаче и прежде просвещенные англичане возлюбили веру греко-российского закона и впредь таким же бы образом могли показать свое к российской церкви желание и приобщение, потребно видится отправить изученых в богословии и искусных и добросовестных людей, архимандрита, который бы по-гречески мог знать или хотя в латинском учении совершен был, и ово в разговорах, ово же на предиках о истине греко-российского исповедания показывать доволен был, да при нем, архимандрите, двух иеромонахов (в том числе и обретающегося ныне в Лондоне Варфоломея до указу), которые бы обучилися греческого и аглинского языков, дабы со временем могли для греков, из Архипелага туда приезжающих, на греческом, а для агличан на аглинском языке сверх отправления служб и треб церковных и казанье говорить; и означенного Симеона иеродиаконом же, да дву дьячков и одного пономаря».

(Москов. архив Мин. иностр. дел, 1 сентября 1738 года)

4) *Указ из Кабинета к генералу Румянцеву 8 марта 1738 года.* Прислан к нам от генерал-фельдмаршала графа фон Миниха, сообщенный ему от вас календарь, печатанный в польском городе Львове на польском языке на нынешний, 1738 год, который сочинен чрез доктора философии и математики, профессора Станислава Дончевского, и находятся в оном в прогностиках многие непристойные и весьма предосудительные о нашей империи злостно вымышленные пассажи, за что оной бессовестной автор за такую продерзость по всенародным правам не токмо великого штрафа, но и жестокого наказания достоин. И понеже по близости нашей Украйны к польским границам в оной такие календари, без сомнения, у некоторых людей есть, а весьма непристойно, чтоб оные мерзостные составлении в нашем государстве для соблазну нерассудительного народу производились, того ради повелеваем вам во всей Малой России и в слободских полках как у духовных и мирских всякого чина людей, так и во всех монастырях такие календари все без остатку отыскать и, собрав оные, яко мерзостные пашквили, заставить в Глухове на площади публично чрез палача сжечь и учинить крепчайшее запрещение, чтоб никто из подданных наших таких календарей у себя не имели и не держали, також бы оных из Польши чрез границу в нашу Украйну и далее, в другие нашей империи места вывозить под опасением жесточайшего наказания отнюдь не дерзали, а употребляли б наши подданные календари, изданные в печать как здесь, в С.-Петербурге, так и в Киеве, которых для того тамо довольно напечатать потребно.

(Москов. архив Мин. иностр. дел)

5) *Из Кабинета в св. Синод* : «Из копии с доношения князя Кантемира св. Синод усмотрит, коим образом объявленные от гречанина иеродиакона Симеона Номикаха на священника Варфоломея порицания неосновательны, и что от него никакого в предиках и в прочих поступках соблазну людям не происходит, и он по-английски пишет и говорит как урожденный англичанин. Церкви ж публичной греческого исповедания в Лондоне нет, но отправляется служба божия в нанятом малом доме, а греческого исповедания прихожан аглинской нации едва десять человек соберется. По сим обстоятельствам, по рассуждению Кабинета, не видится ныне нужды о бытии в Лондоне при оной церкви греческого исповедания архимандриту, но признается за удобно отправить туда в помощь священнику Варфоломею из ученых и искусных людей одного священника и при нем двух или одного дьяка; но весьма потребно такого священника изыскать, который бы был добросовестный и постоянного нрава и воздержного жития и содержал себя тамо без всякого виду к подозрению и порицанию, честно, как чину священническому приличествует и принадлежит, и тем бы мог от восприявших из агличан греко-российский закон в кредит и почтение, но и другим к присовокуплению в оный повод и охоту придавать, також и с приезжими туда греками с потребным нисхождением и приятностию обходиться, дабы чрез такие оного поступки при умножении греческого закона прихожан впредь со временем и церковь публичная построена, и при ней и архимандрит употреблен быть мог. Андрей Остерман, к. Алексей Черкасской, Артемий Волынской».

(Там же)

6) *Р. С. К письму Бирона к Волынскому от 3 октября 1737 года* : «В одном письме вашего превосходительства упоминать изволите, что некоторые люди в отсутствии вашем стараются кредит ваш у ее и. в-ства нарушить и вас повредить. Я истинно могу вам донести, что ничего по сие время о том не слыхал и таких людей не знаю; а хотя б кто И отважился вас при ее и. в-стве оклеветать, то сами вы известны, что ее в-ство по своему великодушию и правдолюбию никаким неосновательным и от одной ненависти происходящим внушениям верить не изволит, в чем ваше пр-ство благонадежны быть можете».

(Москов. архив Мин. иностр. дел)

7) *Из письма Волынского к Бирону от 26 июля 1737 года из Немирова* : «Я до самого въезда моего в Украину столько не знал, что она почти вся пуста и какое множество оного народа пропало, а и ныне столько выгнано, что не осталось столько земледельцев, сколько хлеба им и для самих себя посеять надобно, и хотя и причтено то в их упрямство, что многие поля без пашни остались, но ежели по совести рассудить, то и работать некому и не на чем, понеже сколько в прошлом году волов выкуплено и в подводах поморено, ныне сверх того из одного Нежинского полку взято в армию 14000 волов, а что из прочих полков взято, о том совершенно донести не могу. Не изволите ль взять в Петербург майора Шипова на время под претекстом некоторых дел по его комиссии, от которого можете обстоятельно уведомить, какова стала Украина, и сколько малороссиян поморено, и каков в прошлом годе в Крымском походе урон в армейских полках, и что потеряно нерегулярных».

8) *От того же к тому же 10 августа 1737 года* : «Вашей светлости высокосклоннейшее (письмо) я с должнейшим почтением принять в целости получил со всенижайшим моим благодарением, из которого, увидев толь милостивое объявленное мне о содержании меня в непрерывной высокой милости обнадеживание, всепокорно и нижайше благодарствую, прилежно и усердно прося милостиво меня и впредь оные не лишить и, яко верного и истинного раба, содержать в неотъемлемой протекции вашей светлости, на которую я положил всю мою несумненную надежду, и хотя всего того, какие я до сего времени ее и. в-ства паче достоинства и заслуг моих высочайшие милости чрез милостивые вашей светлости предстательства получил, не заслужил и заслужить не могу никогда, однако ж от всего моего истинного и чистого сердца вашей светлости и всему вашему высокому дому всякого приращения и благополучия всегда желал и желать буду, и, елико возможность моя и слабость ума моего достигает, должен всегда по истине совести моей служить и того всячески искать, даже до изъятия живота моего».

(Там же)

9) *Из реляции генерала Александра Ивановича Румянцева к Бирону из Бабадага от 11 декабря 1740 года* : «Из высочайшего его импер. в-ства указу

усмотреть я мог, что усопшая государыня императрица, яко истинная мать отечества, как в жизни своей всегда неусыпное материнское попечение о благополучии империи своей иметь изволила и оную великими своими делами и сильными прогрессами наивысшее прославить, то и при конце жизни своей не хотела нас, бедных рабов, сырых и плачущих оставить, высочайшим своим тестаментом наследника нам великого государя императора Иоанна Третьего определить соизволила, а за младенческими его летами ваше высочество регентом всероссийского империя изобрела, ведая вашего высочества достойные к себе того правления квалиты, которые ваше высочество еще при жизни ее импер. в-ства оказать изволили и теми своими мудрыми делами довольно себя ее импр. в-ству изъяснили, что не токмо мы, яко верные ваши раби и дети отечества, но и весь честной свет то беспристрастно признать и засвидетельствовать может. И таким своим высочайшим государским и материнским определением бессмертную славу себе оставить изволила. Я, повергши себя пред высочайшими вашего величества ногами, по моей рабской и всеподданнейшей должности приемлю смелость чрез сие мое всенижайшее вашему величеству поздравление принести и дражайшего вашего величества руку целовать. Приемлю мое рабское всенижайшее дерзновение вашего высочества всенижайше просить, дабы я, последний, однако вернейший вашего высочества раб, не отринут был от высокие вашего высочества милости и протекции, которые всегда имел на себе и что и при жизни ее импер. в-ства все мое благополучие (составляло), и имел счастье вашего высочества милосердым призрением (пользоваться), что и ныне, повергши мя и всю мою бедную фамилию пред честнейшими вашего высочества ногами, и повторне милосердия прошу, дабы и не исчислен был из числа вашего высочества вернейших рабов. А я по бозе моем единое твердое упование вашего высочества на высочайшую милость имею и до конца жизни моей и до излияния последней капли крови моей в числе вашего высочества вернейших рабов быть обещаюсь».

(Москов. архив Мин. иностр. дел)

10) *Экстракт о годовых и чрезвычайных расходах*. В прошлом, 1724 году, когда его и. в-ство Петр Великий изволил сухопутную армию и артиллерию положить на подушный сбор, адмиралтейское содержание на таможенные и кабацкие сборы, прочие ж коллегии и канцелярии на особливые в них доходы, которые в прежнем и нынешнем, поданном ее и. в-ству для всемилостивейшей конфирмации штатах объявлены, а затем не положенных в штат во всем государстве разных доходов осталось 1133633 рубля. И хотя оные в настоящих годах сполна в сборе не бывали, однако ж умножались доимкою, которую собирали за прошлые годы, а по случаям и из остаточных, которые имели быть в остатках от положенных в прежнем штате расходов. Из тех собираемых доходов поныне отправлялись по указам повсягодные государственные положенные расходы, а прочие ныне вновь по указам отправлять велено, а именно: 1) в городовую канцелярию на всякие стрелные дворцовые и публичные дела – 200000 рублей; 2) из Военной коллегии из подушных денег прежде отпускалось на пять полков пехотных 160410 рублей 65 к., на Мекленбургский корпус – 13249 рублей 18 коп., козакам и прочим – 1367 рублей, убитых иноземцев женам и детям и прочим – 3768 рублей 34 коп., итого – 178995 рублей 17 коп., а ныне отпускается

из не положенных в штат доходов; 3) Низового корпуса на генералитет и их канцелярию на пехотных на 12 полков, которые на подушные деньги не положены к вышеписанным 160410 рублям 65 коп., из государственной суммы – 462306 рублей 85 коп., а с оными – 622000717 руб. 50 коп.; 4) на нерегулярные в том корпусе войска – 30473 р. 50 коп.; 5) на украинские и низовские новые 24 полка, ежели не определено будет из остаточных по новому штату подушных денег дополнять, то надлежит отпускать из общей суммы в дополнение к четырехгривенным деньгам 255382 рубля 20 коп.; 6) лейб-гвардии на Измайловский полк – 83460 рублей 78 коп.; 7) конной гвардии к подушному сбору прежнего лейб-регимента в прибавку – 39000 рублей; 8) на всю пехотную гвардию за окладной провиант – 42257 рублей 40 коп.; 9) отставного гвардии баталиона – 13176 рублей 64 коп.; 10) на фортецию – 70000 рублей; 11) донским, яицким, терским, гребенским, аграханским козакам и пригородочным служилым людям и прочим тому подобным – 64827 рублей 32 коп.; 12) обретающимся в Шлюссельбурге гвардии отставным и Нижегородской губернии солдатской роте – 1840 рублей 7 коп.; 13) заполошным и отставным офицерам, и их женам, и детям, и кормовщикам, и прочим – до 12000 рублей; 14) в ружные монастыри и церкви на вино церковное, ладан, свечи и на жалованья и в городех на строения, на приказные расходы и на прогоны – 145971 рубль 45 коп.; 15) на содержание астраханской аптечки – 5864 рубля; 16) на строение в Москве цейхгауза – по 20000 рублей в год; 17) на строение Выборгских и Кексгольмских крепостей – по 17939 рублей; 18) на строение на Васильевских буграх крепости – по 19000 рублей; итого 1662493 рубля 98 коп. Да по примерам прошлых годов на всякие разные обыкновенно повсягодные и чрезвычайные расходы в год исходило до 700000 рублей, а именно: в дом ее и. в-ства и на строение в Москве дворцов в Дворцовую канцелярию, в Конюшенный приказ, в Интендантскую контору, в Иностранную коллегию и на другие случившиеся расходы. Да ныне генерал-фельдмаршал граф фон Миних на разные дела требует: 1) на доделку Ладожского канала сверх того числа, что собирается по каналу пошлин и с кабаков и ладожских таможенных пошлин, которых по примеру прошлых лет быть имеет с 40000 рублей, 110000; 2) к прежде данным деньгам на починку и на дело вновь Новгородской дороги до С.-Петербурга к 37000 еще 42580 рублей; 3) на дело вновь из Тверцы реки во Мстино-озеро канала – 120000 рублей; 4) на починку и на дело вновь крепостей Уфимской, Царицынской, Новопавловской – 105874 руб. 19 коп. А с вышеписанными положенными государственными и чрезвычайными расходами, которых точно положить не можно, больше 2 миллионов. – Доклад Сената 1732 года.

(Архив Мин. юст., д. Сената по Кабинету, № 6/1083)

11) Миних подал доклад о выпуске двоих кадетов из корпуса в кирасирский полк, причем представил их аттестаты за рукою директора корпуса Теттау, данные на основании генерального экзамена 1738 года; оба кадета поступили в корпус в 1732 году и имели по 20 лет. *Аттестат кадета Карла Шульца* : 1) франц. язык: переводит с немецкого на французский экстемпоре исправно; 2) российский язык: с немецкого на русский переводит; 3) гистория: знает русскую и польскую гисторию; 4) география: в математической географии начало имеет доброе; 5)

немецкий штиль: komponует письма по заданным диспозициям; 6) фехтовать: фехтует в контру; 7) геометрия: отчасти стереометрию обучил; 8) верховая езда: ездит шпорами и стременами, может обучать и дрезировать лошадей. *Аттестат кадета Федосея Байкова* : 1) геометрия: геометрию, планиметрию, стереометрию и тригонометрию практическую со всеми доказательствами знает преизрядно и ответственствовал с похвалою; 2) немецкий язык: с немецкого на русское переводить начинает; по-немецки пишет и орфографию знает посредственно; 3) фехтование: лекционы принимает и начинает волтожировать; 4) арифметика: все твердо знает; 5) делает ландшафты красками и портреты миниатурою весьма изрядно; 6) танцевание: танцует миновет; 7) фортификация: фортификацию окончил всю и ответственствовал весьма преизрядно; 8) верховая езда: обучается в позитурах изрядно ездить рысью и скачет. *В аттестатах других кадетов означено* : история: в универсальной дошел до новой истории; география: окончил пять карт европейских специальных: португальскую, гишпанскую, французскую, британскую и италийскую; танцевание: танцует балет. Или: французский язык: учит вокабулы и разговор; из арифметики: в делении долей; в истории: в универсальной дошел до Карола Магнуса. Аттестат кадета Магнуса Фока, дававший право на поступление к гражданским делам: 1) французский язык: переводит с немецкого на французский екстемпоре; 2) латинский язык: с немецкого на латинский komponует екстемпоре; 3) философия: юс натуре, институционес юстинианес, пандектум и юс феудале; в философии Гейнеции элемента, юс секундум ординем пандекторум до 41 книги дошел; 4) российский язык: с русского на немецкий экспонирует. Все аттестаты 1739 года.

(Архив Мин. юст., д. Сената по Кабинету, № 15/1092)

12) *Письмо А. И. Румянцева к императрице Анне от 20 августа 1735 года* : «Всемиловитейшая государыня императрица. Я, бедный, всенижайший и последний вашего и. в-ства раб, сего августа 15 дня получил вашего и. в-ства высочайший и всемиловитейший указ из прав. Сената, что в. и. в-ство пожаловали меня, виновного пред в. и. в-ством и всякой казни достойного всенижайшего своего последнего раба, прежним моим чином генерал-лейтенантом и кавалером орьдина св. Александра. И всемиловито ж повелела мне быть губернатором в Астрахани. И получа оный в. и. в-ства всемиловитейший и высочайший указ и усмотря в нем в. и. в-ства высокопоказанную ко мне, бедному и уже всякой надежды отчаянному и не имущему ниоткуда помощи, высокую императорскую и матернюю милость и приняв шпагу и кавалерию, со всею моею бедною и всенижайшею фамилиею в церкви божией ко всевышнему творцу со слезами моими о вашем императорском и дражайшем здравии моление принес и в. и. в-ству чрез сие мое слезное и всенижайшее доношение за показанные высокие и неизреченные ко мне, бедному и последнему своему рабу, милости, повергая себя пред ногами в. и. в-ства, должное рабское и всенижайшее благодарение приношу».

(Там же, № 54/1131)

13) *Экстракт* . В челобитьи бунчукового товарища Данилы Забелы показано: когда слушал государь первый Петр Великий, император, более часу в Вышнем суде его дела с персонами многими присутствующими, хотя иные преставились, а иные еще суть в живых, которые о его деле ведают и скажут, что как государь гетманиху Скоропадскую блудницею называл, а Андрея Марковича плутом и дураком, и как мужичей породы не должны они быть в простых козаках, а кто жидовской породы, в таких нет постоянства, и многими словами сенаторове укоряли. А его обнадеживал государь милостию своею, и многие сенаторы генералы, присутствующие в Вышнем суде, слышали, как его жаловал деньгами император из Кабинета, а по преставлении Петра Великого и государыня Екатерина Алексеевна то ж из Кабинета его деньгами жаловала, и от Сената дали ему при печати государственный указ, где написано собственною рукою государя о полковничьем уряде и многих селах... Маркович с сестрою своею гетманихою Скоропадскою держали его под караулом в 1709 году за изменника Мазепу, что он, Забела, его проклинал и говорил, что бог поможет нашему императору, что одолеет шведа и выиграет, а Мазепа проклятый пропал, и имя его вовеки пропало, за что Андрей Маркович оскорбился великим гневом, сказал, что тебе до того и проклятым на что ты зовешь Мазепу, как Мазепа выиграет, где ты поденешься; потом вышла гетманиха Скоропадская из комнаты в Глухове и, видя, что он спорит с Андреем Марковичем, тож оскорбилась на ево и говорила слова надобные, которые не может спомнить, токмо сие ему в памяти, что сказала: мы-де и гетманству сему не ради, что еще Мазепа в живых гетман, и никто не силен у ево булаву взять и скинуть с гетманства; а мы с нужды хоть взяли, то нам се прощено будет, а ты хотя и мудрый человек, а проклинаешь Мазепу напрасно. И тогда гетманиха Скоропадская с Андреем Марковичем велела его взять под караул.

(Архив Мин. юст., д. Сената по Кабинету, № 67/1144)

14) По *генералитетной переписи 1738 года жителей* : в Москве (с уездом) – 151529 (кроме того, 1677 ямщиков). В Дмитрове – 43128. В Клину – 76704. В Волоколамске – 15349. Рузе – 15683. Можайске – 30077. Верее – 13992. Боровске – 23758. Коломне – 50933. Переяславле Рязанском – 74652. Костроме – 19888. Нерехте – 58978. Шуе – 10089. Владимире – 116141. Муроме – 67842. Суздале – 126003. Переяславле Залесском – 85338. Ростове – 67330. Угличе – 40519. Кашине – 59289. Бежецком Верхе – 61010. Туле – 30483. Ярославле – 126705. Пошехонье – 47573. Калуге – 24372. Козельске – 49462. Всего в Московской губернии – 2065527 (да 7673 ямщика). В Новгороде – 168802 (да 6198 ямщиков). Олонецке – 34325. Во Пскове – 4493. Твери – 37252 (651 ям.). Торжке – 18007. Ржеве Володимеровой – 37849. Белеозере – 50210. Великих Луках – 50927. Всего в Новгородской губернии – 551290 (8030 ямщиков). В Смоленске – 104763 (1196 ямщиков). Вязьме – 61964. Во всей Смоленской губернии – 217303 (1441 ямщиков). В Архангельске и Холмогорах – 31026. Ваге – 25816. Вологде – 92077 (1154 ямщиков). Устюге – 47524. Галиче – 42148. Унже – 33968. Всего в Архангельской губернии – 386234 (1197 ямщиков). В Казани – 192422. Пензе – 76038. Саранске – 48439. Симбирске – 108714. Соликамске – 40867. Кунгуре – 20508. Вятке – 41262. Всего в Казанской губернии – 799352 (1186 ямщиков). В

Нижем Новгороде – 156375. Балахне – 41206. Юрьевце Повольском – 49889. Арзамасе – 90329. Алатыре – 74401. Всего в Нижегородской губернии – 440226 (1325 ямщиков). Курске – 56353. Севске – 63625 (1017 ямщиков). Рыльске – 38532. Путивле – 40931. Брянске – 55064. Кромах – 33767. Орле – 44506. Всего в Белгородской губернии – 565546 (да неокладных 3892, да ямщиков 3592). Воронеже – 17021. Ельце – 28995. Ливнах – 26817. Тамбове – 49370. Козлове – 27195. Ряжске – 48757. Шацке – 81756. Всего в Воронежской губернии – 514969 (2877 ямщиков). В Астрахани – 1150. В Красном Яру – 23. В Черном Яру – 14. В Царицыне – 408. Во всей Астраханской губернии – 1595. В Тобольске – 57818 (2866) ямщ.). Томске – 12479. Енисейске – 10089. Иркутске – 7545. Илимске – 7251. Всего в Сибирской губернии – 132918 (6723 ямщ.). Итог: купечества – 184947, да не в окладе – 170; крестьян – 4958341, дворовых – 46019.

(Архив Мин. юст., д. Сената по Кабинету, № 86/1163)

По синодским ведомостям в конце царствования Анны в Петербурге было 35 приходских церквей; 6151 двор; духовенства – 270 муж., 236 жен.; военных – 18141 м., 7427 ж.; разночинцев – 9354 м., 8764 ж.; приказных – 1697 м., 1409 ж.; посадских – 2686 м., 2083 ж.; дворовых людей – 7246 м., 3889 ж.; поселян – 3575 м., 1364 ж.; итого православных – 42969 м., 25172 ж.; раскольников не показано. В Москве приходских церквей – 266; дворов – 13832; духовенства – 2588 м., 2868 ж.; военных – 5731 м., 9617 ж.; разночинцев – 14109 м., 18366 ж.; приказных – 3375 м., 3858 ж.; посадских – 11543 м., 12164 ж.; дворовых – 18181 м., 17778 ж.; поселян – 9482 м., 8828 ж.; итого православных – 65009 м., 73479 ж.; раскольников – 170 м., 134 ж. В Александровой слободе – 77 церквей; 6785 дворов; жителей – 23804 м., 24104 ж. Во Владимире церквей – 201; дворов – 17581; жителей – 70014 м., 67828 ж. В Переяславле Залесском церквей – 164; жителей – 29390 м., 30402 ж. В Дмитрове церквей – 130; дворов – 8216; жителей – 25853 м., 25136 ж. В Севске церквей – 149; дворов – 5045; жителей – 37919 м., 37171 ж. В Тамбове церквей – 129; дворов – 11988; жителей – 58950 м., 58431 ж. В Козлове 103 церкви; дворов – 7596; жителей – 25502 м., 25393 ж. В Пензе 183 церкви; дворов – 15502; жителей – 58133 м., 55050 ж. Во Ржеве Володимеровой 123 церкви; дворов – 12080; жителей – 44671 м., 43790 ж. В Галиче 149 церквей; 9623 двора; жителей – 35539 м., 32224 ж. Всего приходских церквей – 16901; дворов – 1282405; духовенства – 124923 м., 124950 ж. Военных – 392422 м., 359901 ж. Разночинцев – 439741 м., 442864 ж. Приказных – 15997 м., 16931 ж. Посадских – 218951 м., 229075 ж. Дворовых – 318824 м., 323413 ж. Крестьян и бобылей – 4045982 м., 3821338 ж. Раскольников – 8419 м., 9457 ж., всего – 5565259 м., 5327929 ж.

(Архив Мин. юст., д. Сената по Кабинету, № 8/1085)

15) *Донесение Кейзерлинга из Варшавы 1736 года* : «Езуитский прокуратор в Литве его величества короля чрез мемориал просил у вашего и. в-ства исходатайствовать, дабы заарестованный в Вильне патер их ордена Алексей Ладыженской, которой вашего и. в-ства подданной, освобожден был. Сей мемориал его в-ства король мне сообщил и притом поручил ваше и. в-ство именем просить, дабы помянутому езуиту назад в монастырь его возвратиться толь наипаче позволение дано было, что он уже пред 24 годами езуитской ордена

принял, и тем бы причиненное беспокойство здешнему духовенству, которое в здешнем королевстве в делах великую силу всегда имеет, утолено быть могло» Просьба короля не была исполнена: Ладыженского в 1737 году велено бить нещадно шелепами и сослать в тобольский гарнизон в солдаты.

(Там же, № 94/1171)

16) *Из дела о бароне Синклере* . а) От императрицы Анны к фельдмаршалу Миниху: «Мы сообщаем вам при сем, что по отправлении нашего последнего рескрипта от римско-цесарского и королевско-польского дворов нам о заключном случае с Синклером вяще сообщено. Вы из того усмотрите, коль богомерзко, безумно и безответственно те люди поступили, и мы великую причину имеем толь паче сожалеть, понеже сие дело явно происходило, уже повсюду известно учинилось, и легко чаять мочно, какое злое действие оное в Швеции иметь может, что же наизлейшее есть, недоброжелательным виду подобным претекстом служить может, нас за наступателя поставлять. Что мы при таких обстоятельствах здесь ныне учинить за благо изобрели, состоит в следующем: что тотчас как в Швеции, так и ко всем нашим при чужестранных дворах обретающимся министрам декларация от нас отправлена. Мы оную для того вам сообщаем, дабы и вы с своей стороны по тому поступить и по силе оной говорить и меры принять могли. Причем мы оное, что мы уже о таких убицах к вам писали, ежели они точию из наших людей суть, повторяем, их надлежит самым тайным образом отвести и содержать, пока не увидим, какое окончание сие дело получит и не изыщутся ли еще способы оное утолить». 9 июля 1739 г.

б) Из рескрипта к барону Кейзерлингу в Дрезден: «Сие безумное, богомерзкое предприятие нам подлинно толь наипаче чувствительно, понеже не токмо мы к тому никогда указу отправить не велели, но и не чаем, чтоб кто из наших оное определить мог. Иное было бы писма отобрать, а иное людей до смерти бить, но к тому ж еще без всякой нужды. Однако ж как бы оное ни было, то сие зело досадительное дело есть и всякие досадительные следства иметь может».

с) *Миних императрице* : «Я знаю, что все вашего и. в-ства дела и поведении не на чем, как на великодушии и честности, основаны, чего я сам с самых моих молодых лет по сие время навикнуть тщился, и хотя я мой живот и все в службе вашего и. в-ства с радости положить всегда готов, то, однако ж, сие меня никогда подвинуть не может, чтоб нечто учинить, что честности противно, и сие еще толь наименше, понеже я не токмо вашего и. в-ства указами к тому не уполномочен, но и сам совершенно знаю, коль мало оное от вашего и. в-ства апробовано и вам приятно было б. И тако вашему и. в-ству должностнейше засвидетельствую, что я в сем приключении ни малейшего участия не имею и никогда и ни в какое время никому для произведения такого скаредного дела комиссии не давал, ниже уполномочивал или толко к тому повод подал. А что до именованного в берлинской ведомости Кутлера касается, то я все полковые книги рассмотреть велел, и хотя находится, что один сего имени Кутлер в службе вашего и. в-ства капитаном обретался, однако ж оной еще в прошлом году со многими другими офицерами, которые отчасти сами о том просили, отчасти же и для своего поступка свои абшиты получили, из которых многие в польскую службу вступили,

а другие еще и поныне под именем российских офицеров по разным местам в Польше живут и бог знает от кого и чрез кого тамо содержаны быть имеют».

d) *Рескрипт Миниху 26 июля*: «Хотя мы совершенно уверены находимся, что вы в сем мерзостном приключении столько ж мало участия, как мы, имеете и вам ничто тому подобное без нашего указа чинить никогда в мысль не придет, також мы и никак не чаем, чтоб кто из наших офицеров с пренебрежением всей чести и совести так мерзостно погрешить и в таком на большой дороге смертном убийстве виною быть мог; то, однако ж, вы сие дело наиприлежнейше и жесточайше исследуйте и без всякого укоснения и малейшей утайки и умолчания всего того, что вам о сем всем деле сведомо быть может, нам обстоятельно донесете. Нам и нашей чести весма в том нужда есть, чтоб сие дело и правдивое основание оного разведать, и мы прежде успокоиться не можем, пока оно не учинится».

e) *Из рескрипта Бракелю в Вену*: «Когда сей Зинклер в прошлом году из секретного аусшуса с тайными комиссиями в Константинополь послан и таковые комиссии не инако как турков еще более от мира удалить имели, тогда между обоими дворами договорено: сего эмиссара, ежели в цесарских областях или в Польше его достать можно, заарестовать. Нам здесь по указу многократно обнадеживание чинено, что во всех цесарских наследных землях к тому именныя указы отправлены. Ежели сии обнадеживания сущи были, для чего ж он не заарестован, как он по другому подозрению в Бреславе допрашиван. А ежели в противность таким поданным обнадеживаниям таковые указы не отправлены, то для чего они посторонним людям без начальственного указа сыскные давали и тако на заарестование позволили? Нам же никогда в мысли не приходило, что от наших людей он до шленских границ преследован быть мог, якоже мы по сие время верить не хотим, что то наши люди были, но некоторые интриги в том обращаются, от кого б оные не произошли. Мы подлинно в том не виновны, но сие предприятие не инако как за крайнейшую мерзость поставлять можем, а между тем обоим дворам в том нужда, дабы оное дело всячески заминать. Чего ради необходимо потребно, чтоб как от обер-амта браславского, так и от прочих шлезинских мест все в крайнейшем секрете и тайно содержано, и, что известно быть не имеет, в том отречено было».

f) *Из реляции Кейзерлинга от 14/3 сентября*: «Имян убицов удобно заминить не мочно, ибо они пашпорт от цесарского резидента (Киннера в Варшаве) имеют, в котором имена их и секретарь означен и таким образом на почтовых дворах в знаемость пришли».

g) *Из секретнейшего рескрипта к Кейзерлингу*: «Пакеты синклерских писем чрез тайного советника Сума исправно нами получены. И понеже мы к пресечению происшедшего от сего мерзостного дела как в Швеции, так и в других местах слуху и шуму запотребно изобрели такие письма скрытым образом в Швецию и тамошнему двору в руки доставить, того ради мы к тому иного способу, кроме сего, не изыскали, что письмо, якобы от римско-католицкого духовного писанное, вымышлить, которым бы он показал, что один незнакомый человек под секретом исповеди ему открыл, коим образом он купно с некоторыми другими прелщен получением злой корысти офицера шведского на дороге подстерегал оного ограбить, и как он, супротивляясь, по нем выстрелил, то он другого способа не имел его и обретавшиеся при нем вещи в руки получить, как чтоб оного умертвить».

i) *Из инструкции Миниха драгунскому поручику Левицкому 23 сентября 1738 года:* «Понеже из Швеции послан в турецкую сторону с некоторою важною комиссиею и с писмами маеор Синклер, который едет не своим, но под именем одного называемого Гагберха, которого ради высочайших ее и. в-ства интересов всемерно потребно зело тайным образом в Полше перенять и со всеми имеющимися при нем писмами. Ежели по вопросам об нем где уведаете, то тотчас ехать в то место и искать с ним случая компанию свести или иным каким образом ево видеть; а потом наблюдать, не можно ль ево или на пути, или в каком другом скрытном месте, где б поляков не было, постичь. Ежели такой случай найдете, то старатца его умертвить или в воду утопить, а писма прежде без остатка отобрать».

j) 29 января 1739 года дана Минихом такая же инструкция капитану Кутлеру и поручику Веселовскому относительно ехавших из Франции в Турцию молодого Рагоци и молодого Орлика, а также и Синклера, если случайно с ним встретятся.

k) *Из инструкции, подписанной Остерманом, Волынским и Ушаковым, Преображенского полка подпоручику Коновницыну 16 июля 1739 года:* «Вчерашнего числа в Шлиссенбурх сержантом Колобовым препровождены два человека, которых оттуда с имеющимися при них людьми надлежит немедленно отвезти в Сибирь, в отдаленное и такое место, где б они тайно и скрытно содержаны быть могли таким образом, чтоб отнюдь никто об них ничего уведать не мог. И понеже вы в Сибири знакомы и тамошние места знаете, того ради ее и. в-ство указала вам оную комиссию поручить. Вы, сыскав такое место или монастырь, тамо при оных людех до указу с конвоем вашим неотменно быть и наиприлежнейшее старание и попечение иметь, чтоб они тамо секретно были и никто про оных знать и их видеть не мог, и для того ни самих их, ни людей их из квартиры не спускать, также искусным образом вам смотреть, чтоб они никуда писем от себя посылать не могли; однако ж о том, что вы такой приказ имеете, им не объявлять, но во всем с учтивостию, без озлобления с ними поступать и токмо им твердить, чтоб они для собственной их безопасности себя, также и людей своих в тайне держали».

l) *Из реляции Миниха от 1 августа 1739 года:* «По получении ваших и. в-ства указов от 4 августа прошлого 1738 г. и от 16 января сего года, каким наилучшим и способнейшим образом как о Синклере, так о Рагоции и Орлике комиссии исполнить и их анлевировать довольное рассуждение еще до посылки ради исполнения того нарочных я имел; токмо в поимке их предусматривались крайние затруднения и невозможности; а что касается до его, Синклеровой, персоны, невзирая на консиквенцию других государств, то понеже, как известно, он, Синклер, веема злой Российской империи неприятель и с турками и татарами всякие интриги противу вашего и. в-ства и вашего в-ства союзников и всего христианства интересов употреблял, и потому хотя турка, или татарина, или его убить, то мнится все равно, в каковом рассуждении, что ежели сия важная комиссия анвелированием, о котором, ежели возможность допустить, посланным офицерам зело прилежно от меня рекомендовано, исполнено быть не может, то в крайнем случае так поступать велено, как в приобщенных при сем инструкций копиях показано. 29 минувшего июля из тех посланных от поручика Левицкого получен репорт от 17 числа того ж, коим образом с маером Синклером при прусских границах порученная комиссия исполнена, а отобранные депеши взяты от него, Левицкого, полномочным министром бароном Кейзерлингом. После того

получено мною известие, яко из тех посланных капитан Кутлер и поручик Левицкой отпавились из Варшавы прямо в С.-Петербург, а подпоручик Веселовский к армии».

m) Убийц Синклера, Кутлера и Левицкого, тайно отпавили в Сибирь и содержали близ Тобольска, в селе Абалаке; Веселовского содержали в Казани. В 1743 году императрица Елисавета велела произвести Кутлера в подполковники, Левицкого – в майоры, находящихся с ними четырех сержантов – в прапорщики и оставить еще их некоторое время в Сибири. Потом в том же году их перевели в Казанский гарнизон, с тем чтоб они переменяли имена, Кутлер назывался бы Туркелем, а Левицкий – Ликевичем.

17) *Реляция Бракля из Берлина от 19 февраля 1740 года:* «Принужден нахожусь о невероятных и отчасу умножающихся продерзостях и мотовстве молодого Румянцева (знаменитого впоследствии Задунайского, Петра Александровича) жалобы нижайше произнестъ. И не безопасно, что он от драк по ночам, от чего оно ни добрым, ни злым увещанием удержать не мочно или живота, или, по последней мере, здоровья лишится, или он за часто получаемым ругательством и побоями тайно куда уедет, к чему оной и неоднократно собирався, но принятыми моими предосторожностями по сие время в том препятствован. Он отнюдь ничему обучаться не хочет, и приставленные к нему мастера и учителя жалуются о его лености и забиячестве, и уже никто с ним никакого дела иметь не хочет. Я как на выкуп заложенных его галантерей и вещей, так и на потребные расходы уже слишком 600 ефимков за него выдал и ни в чем до нужды оно не допускаю; Однако ж, на сие несмотря, он многие мотовские долги чинит, и еще вчера свое белье и платье продать или заложить искал, чтоб свои беспутные мотовства с солдатами, лакеями и с другими бездельными людьми продолжить мог, а я уже более не в состоянии его в руках держать». Реляция от 23 февраля: «Молодой Румянцев 21 числа в ночи тайно из своей квартиры ушел, свое платье и вещи за окно выбрасать, уборы в своей квартире перепортить и перебить, а росейского служителя, который ему следовал и от злого его намерения удерживать хотел, на улице двум мужикам, вещи оно носившим, так ужасно разбить велел, что он по сие время на постели тронуться не может. Еще ж он в некоторых местах декларовал, что оной отцу своему вперед сказывал, ежели от него в Германию он послан будет, то ничего доброго делать не станет, и так поступать хочет, что оно вскоре паки назад взять принуждены будут. Правды из уст его ни одного слова не исходит, и он наимерзостнейшим шалостям, которые токмо вымыслить мочно, предан». Реляция 26 февраля: «Молодого Румянцева я наконец сыскал и добрым порядком возвращению в квартиру его уговорить велел. Он купил себе лошадь, намерясь чрез Польшу в Киев к отцу своему ехать. Оной вчера просил у меня в своих погрешениях прощения, однако ж притом представлял, чтоб я как наискорее отсюда в отечество ему возвратиться толь паче позволил, понеже он за своим худым поступком публично показаться более не может, к тому ж у него к гражданскому чину и обучению оному весьма склонности нет, но хочет солдатом быть, которым, по его превращенному мнению, ничего знать или учить, кроме того, что к солдатскому делу принадлежит, ненадобно».

(Москов. архив Мин. иностр. дел. Прусские дела)

18) Список с грамоты месные. Князь великий Дмитрий Костантинович Нижнего Новаграда и городецкой и курмышской. Пожаловал семи бояр своих и князей, дал им месную грамоту по их челобитью и по печалованию архимандрита нижегородского печерского отца своего духовного Ионы и по благословению владычню Серапиона нижегородского и городецкого и сарского и курмышского: кому с кем сидеть и кому под кем сидеть, велел садиться от своего места тысяцкому своему Дмитрию Алибуртовичу, князю волынскому, а под Дмитрием садиться князю Ивану Васильевичу городецкому, да против его в скамье садитца Дмитрию Ивановичу Лобанову, да в лавке же под князем Иваном князю Федору Полскому Андреевичу, да садиться боярину его Василью Петровичу Новосильцеву, да против в скамье садиться казначею боярину Тарасию Петровичу Новосилцову. А пожаловал его боярством за то, что он окупил исполону государя своего дважды великого князя Дмитрия Костянтиновича, а втретье окупил великую княгиню Марфу. Да садиться боярину князю Петру Ивановичу березопольскому, да садиться в лавке князю Дмитрию Федоровичу курмышскому. А к месной грамоте князь великий велел боярам своим и дьяку руки прикладывать, а местную грамоту писал великого князя дьяк Петр Давыдов сын Русин.

(Государств. архив. Список с грамоты находится при деле о Волынском)